Библиотека
всемирной литературы

Серия третья ✲ ✲ ✲

Литература XX века

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Бажан М. П.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Грабарь-Пассек М. Е.
Грибанов Б. Т.
Егоров А. Г.
Елистратова А. А.
Емельяников С. П.
Жирмунский В. М.
Ибрагимов М.
Кербабаев Б. М.
Конрад Н. И.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Самарин Р. М.
Семпер И. Х.
Сучков Б. Л.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Шамота Н. З.

РОМЕН РОЛЛАН

ЖАН-КРИСТОФ

КНИГИ ПЕРВАЯ — ПЯТАЯ

ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО

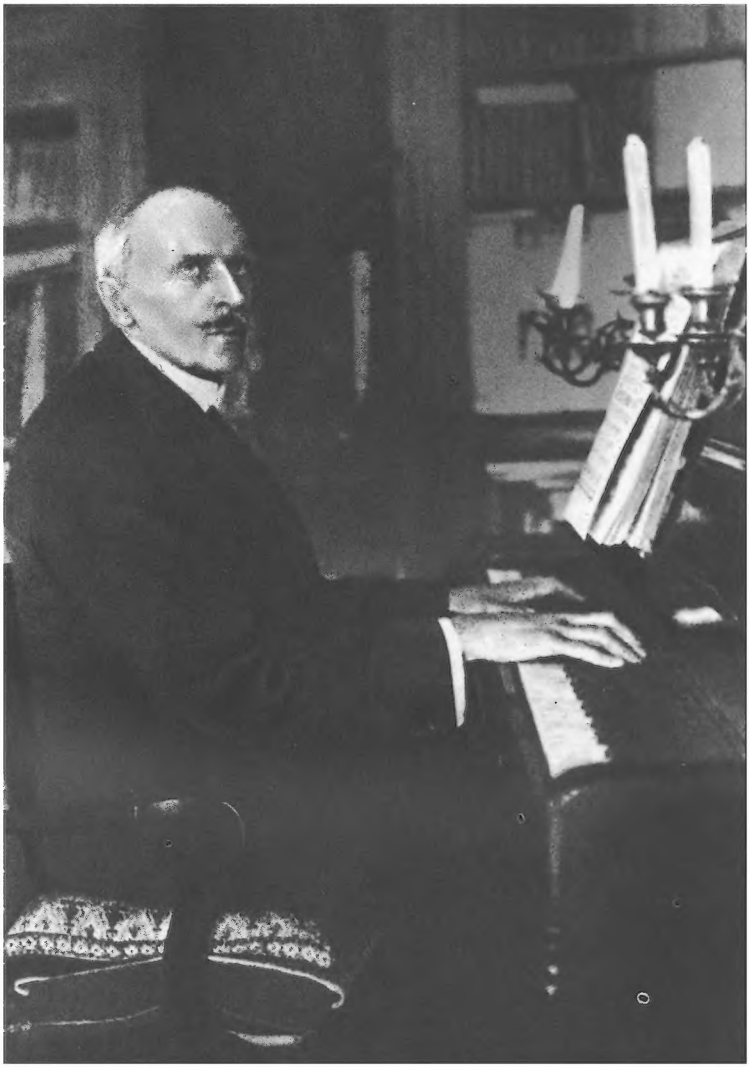
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА • 1970

Вступительная статья и примечания
И. Лилеевой

И (Фр)
Г 67

Иллюстрации
Франса Мазереля

7-3-4
Подп. изд.



ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ДУШИ

Среди многочисленных книг, существующих в мире, есть книги особые. Их нелегко читать, они требуют абсолютного внимания, они сталкивают с важнейшими социальными и общественными проблемами, заставляют думать, решать сложные и трудные вопросы, а иногда вызывают и на своеобразный внутренний спор с автором. Подобные книги всегда щедро вознаграждают своего читателя, открывая перед ним мир высоких чувств и глубоких мыслей, раздвигая горизонты его интересов. К таким умным и требовательным книгам относится роман «Жан-Кристоф». Его автору, Ромену Роллану, было тридцать семь лет, когда он записал в дневнике: «Сегодня, 20 марта 1903 года, я окончательно начинаю писать «Жан-Кристофа».

Этой записи предшествовали трудные для Роллана годы поисков своего пути в искусстве, в литературе.

Ромен Роллан родился в 1866 году в Бургундии, в старинном городке Кламси. С ранней юности им владели две страсти — любовь к музыке и любовь к литературе.

Будучи студентом Парижской Нормальной школы (высшего педагогического заведения), Роллан решает вначале специализироваться по истории и теории музыки.

Двухлетнее пребывание в Италии, путешествие по Германии раскрывают перед ним огромные богатства, созданные творческим гением человека. Роллан защищает диссертацию по истории оперы, читает лекции по истории музыки в Нормальной школе, затем в Сорбонне.

Но его все больше и больше влечет к себе литература, как искусство, способное наиболее полно и глубоко отразить жизнь народа.

Рубеж XIX и XX веков, когда Роллан начинает свою литературную деятельность, был временем, когда буржуазная Франция все более откро-

венно и циничпо обнажала свою сущность «республики без республиканцев». Собирала силы реакция, поднимали голову монархические круги, генерал Буланже пытался установить в стране военную диктатуру. Правительства радикалов послушно выполняли волю финансовой олигархии. Нашумевшая панамская афера раскрыла потрясающие факты политической коррупции, всеобщей продажности. Дело Дрейфуса всколыхнуло общественное мнение Франции, обнажив все усиливающееся влияние милитаристских кругов. Страну потрясали социальные битвы, беспрестанно вспыхивали стачки рабочих. Роллан пытается разобраться в этих сложных явлениях современности. Он понимал далеко не все, но он знал одно — он на стороне демократических сил. Не мог он пройти в те годы и мимо социалистических идей, которые играли все бо́льшую роль в общественной жизни страны. Роллан верил, что социалистические идеалы смогут обновить искусство. Его сближение с социализмом в то время было весьма поверхностным. Он сам называл себя «социалистом по интуиции», «социалистом чувства». Но очень знаменательна позиция молодого писателя, его стремление быть в гуще жизни времени, его демократические симпатии.

Уже тогда, в 90-е годы, Роллан смело и решительно выступает против декадентского искусства, враждебного и равнодушного к людям. «Я задыхался от пошлого запаха продажности, от бесплодного умственного разврата, бессилия и неискренности, отсутствия настоящей, глубокой человечности» [1].

Он был верен мудрому уроку, полученному им в юности от Льва Николаевича Толстого. В 1887 году, будучи еще студентом, Роллан обратился с письмом к великому писателю, спрашивая его о цели и назначении искусства. «Только от Вас я могу ждать ответа, ибо только Вы поставили вопросы, которые преследуют меня». Толстой в своем ответе «дорогому брату» подчеркнул, что лишь любовь к народу может помочь художнику создать настоящие произведения, что только в служении правде и народу путь подлинного искусства.

В разгар всеобщего увлечения декадентством Роллан мечтает о героическом искусстве, которое будило бы в людях лучшие чувства, обогащало их жизнь, звало на подвиг, помогало бы противостоять удушливой атмосфере Третьей республики.

Искусство должно стать «школой героизма» — провозглашает молодой писатель, но... его мало кто слышит. Имя Роллана еще не известно, его почти не печатают, и все же в 90-е годы он начинает свой творческий подвиг, утверждая высокий героический идеал. Свое художественное credo он провозглашает в 1903 году в предисловии к книге «Жизнь Бет-

---

[1] Р. Роллан, Воспоминания, «Художественная литература», М. 1966, стр. 334.

ховена»: «Вокруг нас душный, спертый воздух. Дряхлая Европа впадает в спячку в этой гнетущей, затхлой атмосфере... Мир погибает, задушенный своим трусливым и подлым эгоизмом. Мир задыхается. Распахнем же окна! Впустим вольный воздух! Пусть нас овеет дыханием героев!» [1]

Утверждение героического начала в искусстве определяет звучание всего творчества Роллана, определяет его особое, высокое место во всей литературе XX века.

Роллан в 90-е годы еще не знал, кто должен стать носителем его героических идеалов, с какими общественными силами связан его герой. Он мечтал создать в искусстве мир великих людей, который стал бы обвинением современной буржуазной пошлости и продажности, который противостоял бы оскудению и унижению человека. Он начинает с драматургии. Он ищет своих героев в прошлом. Обращаясь к истории, он создает два цикла драм: «Трагедии веры» и «Драмы революции». Драмы революции были созданы Ролланом как народная героическая эпопея Франции из истории революции XVIII века.

Роллан искал героев среди гениальных творцов, великих нравственной силой. Так возникает его цикл «Героические жизни»: «Жизнь Бетховена» (1903), «Жизнь Микеланджело» (1906), «Жизнь Толстого» (1911).

Для творческого развития писателя особое значение имела книга «Жизнь Бетховена» — первая из его книг о великом немецком композиторе и гражданине. Бетховен — любимый герой Роллана, и на протяжении всей жизни он будет для писателя высшим примером героизма, идеалом человека, воплотившего победу духа над всеми жизненными невзгодами. Ни бедность, ни одиночество, ни глухота, ни равнодушие окружающих — ничто не могло сломить Бетховена. Преодолевая несчастья и страдания, он прославляет радость борьбы и создает в конце своей жизни «Девятую симфонию», завершающуюся торжествующей одой «К радости». Слова Бетховена: «Через страдание к радости» — стали девизом жизни и творчества Роллана. Изнеженной, болезненной литературе декаданса он смело противопоставил образ бунтаря.

«Жизнь Бетховена» — не просто музыковедческая работа, а страстное утверждение величия и героизма человека-творца.

Для Роллана в те годы героизм заключался не столько в конкретных поступках и действиях человека, сколько в его верности своим высоким и благородным принципам, в умении мужественно преодолевать страдания, в способности сохранить и не предать свой духовный мир. «Я называю героями,— писал он,— не тех, кто побеждал мыслью или силой. Я называю героем лишь того, кто был велик сердцем» [2]. Это абстрактное понимание героизма лишь как величия человеческого духа

---

[1] Р. Роллан, Собр. соч., т. 2, Гослитиздат, М. 1954, стр. 10.
[2] Там же, стр. 11.

лежит в основе образа Бетховена, созданного Роллапом. «Жизнь Бетховена» принесла писателю первый литературный успех.

В многолетних поисках нового героя созревал и оформлялся замысел «Жан-Кристофа». Впервые мысль о создании книги о бунтаре и творце возникла у Роллана весной 1890 года, когда он жил в Риме. Както мартовским теплым вечером поднялся он на Яникульский холм полюбоваться красотой города и окрестной Кампаньи. В вечерних сумерках терялись и расплывались знакомые очертания города. Роллан отдался своим мыслям, литературным планам. Позже он вспоминал: «Я перестал ощущать окружающее, не чувствовал времени... Я увидел вдали свою землю, свои замыслы, самого себя... На этом самом месте зародился «Жан-Кристоф». Конечно, его образ был еще неясен, но в зародыше он возник еще тогда... Независимый творец, он видел и судил нынешнюю Европу глазами нового Бетховена» [1]. Роллан не раз отмечал, что если бы он не открыл для себя героев, подобных Бетховену, он не отважился бы на создание эпопеи о Жан-Кристофе. Роллан рассматривал цикл «Героические жизни» как своеобразную подготовительную работу к воплощению образа современного героя, ибо писатель ясно понимал, что только современный герой может ответить на вопросы современности, волноваться ее проблемами, жить ее надеждами. Он долго готовился к решению этой особо важной для него творческой задачи — создать современную героику. Роллан долго обдумывал и вынашивал образ Жан-Кристофа. «Я его не писал... Он складывался в глубине моих ночей и дней, хотя я еще не прикасался к чернильнице» [2]. Непосредственной же работе над романом писатель отдал около десяти лет. Он писал огромный, подобно медленно текущей реке, роман, не надеясь на признание читателей, не думая об успехе. Он создавал эту книгу, потому что не мог ее не писать, так как она вобрала в себя весь мир его идеалов, надежд и стремлений, его раздумья, открытия и разочарования, всю его ненависть и всю его любовь: книга эта стала для него «символом веры», он вложил в нее все свое понимание жизни. Роллан придавал своему роману большое общественное значение, он хотел, чтобы его книга «в период морального и социального разложения Франции пробудила дремлющий под пеплом духовный огонь» [3].

Рассказ о жизни гениального композитора-бунтаря развертывается на широком фоне современной Роллану Европы.

Временные и пространственные рамки романа очень широки. Он вмещает в себя описание событий, происходящих в Германии, Франции, Швейцарии, Италии.

Первые страницы книги, рассказывающие о рождении героя, пере-

---

[1] Р. Роллан, Воспоминания, «Художественная литература», М. 1966, стр. 310.

[2] Там же, стр. 446.

[3] Р. Роллан, Собр. соч., т. 6, Гослитиздат, М. 1956, стр. 373.

носят читателя в небольшое прирейнское немецкое герцогство второй половины XIX века, в последних же главах стареющий Жан-Кристоф с тревогой наблюдает рост шовинистических, милитаристских настроений предвоенной Европы. «Кристоф умирает, достигнув пятидесятилетнего возраста, в канун 1914 года»,— уточнял позже Роллан. Нельзя не отметить несоответствие исторического времени времени действия романа. Время жизни героя течет значительно быстрее истории. Это особенно заметно в последней книге — «Грядущий день», где, по словам автора, «Кристоф не считает больше убегающих лет». Если оба временных плана привести в соответствие, то смерть Кристофа следовало бы отнести к тридцатым годам, то есть через восемнадцать лет после того, как был закончен роман.

Роман вобрал в себя политическую и общественную жизнь, развитие культуры, искусства Европы между франко-прусской войной 1870 года и началом первой мировой войны 1914 года.

Все десять книг романа объединены образом Жан-Кристофа, героя «с чистыми глазами и сердцем». «Герой этот,— писал Роллан Мальвиде фон Мейзенбуг в 1902 году,— Бетховен в нашем сегодняшнем мире». Он постоянно подчеркивал, что не следует в Жан-Кристофе видеть прямое повторение Бетховена, несмотря на совпадение отдельных биографических фактов. Жан-Кристоф — герой бетховенского плана, то есть человек такого же душевного героизма, бунтарского духа, врожденного демократизма, что и гениальный немецкий композитор. Герой ролланновского романа — немец, что вызывало немало нареканий, упреков со стороны националистически настроенной части французской критики 900-х годов. Объясняя свой выбор героя, писатель отмечал, что герой-иностранец, немец мог посмотреть на современную Францию свежими глазами и острее схватить и понять положительные и отрицательные стороны ее общественной жизни. Но, подчеркивал Роллан, главное же состоит в том, что Жан-Кристоф прежде всего — человек, «настоящий человек», «человек полноценный». Он воплощал положительный идеал писателя, с образом Жан-Кристофа связан героический пафос всего произведения.

Вот что писал сам автор: «От окончания «Утра» и до начала «Грядущего дня» — героическая поэма о Жан-Кристофе заполнена *бунтом* — бунтом жизни против всего, что извне душит и отравляет ее своими смрадными объятьями (искусственно созданные условности и моральные предрассудки, лицемерие и растленность общества, труп прошлого, пожираемый червями, «Ярмарка на площади»)» [1].

Воссоздавая процесс формирования творческой личности, писатель особенно внимательно перелистывает первые страницы жизненной летописи Жан-Кристофа. Ласково склоняется Роллан над колыбелью ребенка,

---

[1] Р. Роллан, Воспоминания, «Художественная литература», М. 1966, стр. 177.

пытаясь проникнуть в мир его чувств и ощущений. Первое, еще неясное и смутное восприятие окружающего мира, тепло материнских рук, ласковое звучание голоса, ощущение света, темноты, тысячи разных звуков... Роллан подчеркивает впечатлительность, одаренность мальчика. Звон весенних капель, гудение колоколов, пение птиц — чудесный мир звуков восхищает маленького Кристофа, и, наконец, в его жизни наступает великое мгновение — открытие музыки. Он слышит музыку всюду, так как для гениального музыканта «все сущее есть музыка — нужно только ее услышать». Кристоф рано знакомится с трудностями и горестями жизни. Сын кухарки, он еще в детстве познает социальную несправедливость; рано видит смерть, с ужасом и отвращением сталкивается с пьянством. С одиннадцати лет маленький музыкант вынужден работать, помогая матери прокормить младших братьев, в четырнадцать лет он уже глава семьи. Развитие и возмужание Кристофа идет через глубокие внутренние потрясения и душевные кризисы. Каждое новое столкновение с жизнью неизбежно приносит ему новое разочарование. Обманчивой оказывается мечта о дружбе с Отто Динером, горький осадок в душе оставляет увлечение Минной и встреча с Адой. Неожиданная смерть Сабины обрывает большое чувство Кристофа. Но из всех этих испытаний и горестей он выходит еще более сильным и закаленным. Внимание писателя сосредоточено не на описании подробностей различных событий, а на их психологических результатах.

С самого начала сознательной жизни своего героя Роллан подчеркивает присущий ему дух непокорности и бунтарства, протест против страданья. «Широко открыв глаза, вдыхать всеми порами могучее дыхание жизни, видеть вещи как они есть, смотреть в лицо своим бедам — и смеяться». В этом жизнеутверждающем оптимизме — великая сила Кристофа; затем он передаст его героям других книг Роллана: весельчаку Кола Брюньону, умной и мужественной Аннете Ривьер. Героическое начало объединяет всех этих любимых детей писателя. «Я люблю больше всего тех людей, которые прошли сквозь страдание, не унизившись и не утратив богатства своей внутренней жизни»,— говорил Роллан. Жан-Кристоф несет высокий идеал человеческого мужества и достоинства. Роллан наделил этого гениального композитора ярким, незаурядным характером, неукротимой силой чувств, ибо только такой герой мог противостоять затхлому миру буржуазной Европы. Жан-Кристофу чуждо равнодушие к жизни. Он все воспринимает глубоко и обостренно, целиком отдаваясь охватившему его чувству, будь то дружба, любовь, ненависть, горе или радость. Писатель не идеализирует своего героя. Необузданный, правдивый иногда до грубости, он нередко слишком резок, подвержен вспышкам гнева, порою необъективен в суждениях. Роллан шутливо жаловался в одном из своих писем: «Это ужасный человек, он доставляет мне много беспокойства, никогда не знаешь, не выкинет ли

он какую-нибудь глупость». Но при всем этом Жан-Кристоф покоряет читателя своей добротой, величием таланта, высоким накалом творческого горения. Человек большой требовательности к себе, Жан-Кристоф с этой же меркой относится ко всем людям и не прощает им недостатков и слабостей. Подобно ибсеновскому Бранду, он не признает компромиссов, уступок, живет по жестокому закону: «Все — или ничего», поэтому ему нередко очень тяжело, поэтому он чаще всего одинок.

На протяжении всех десяти книг романа образ Кристофа дается в непрерывном развитии. Следуя за героем по его трудной жизненной дороге, читатель видит, как с годами постепенно нарастает у него возмущение окружающей действительностью, как зреет в нем смерч бунта. Сама логика характера Кристофа приводит его к открытому столкновению с буржуазным обществом. Это четвертая книга романа — «Бунт». Кристоф бросает дерзкий вызов выродившемуся искусству Германии. Родина Гете и Бетховена предстает перед ним страной, где всюду, даже в искусстве, торжествует пошлость и посредственность. Потворствуя вкусам филистеров, современные композиторы пишут слащавые, сентиментальные Lieder (песни). Старый Шульц, тонкий ценитель народной и классической музыки, кажется современникам смешным чудаком, слава избирает своим баловнем пустого, отравленного ядом декаданса композитора Гаслера, который ничего не может дать людям, ибо искусство для него лишь средство личного преуспеяния. Великие музыканты прошлого превращены в идолов, которым слепо и бездумно поклоняются. Кристоф вначале обрушивается даже и на великих классиков, вроде Брамса, возмущенный бездарностью его истолкователей.

Прозорливость большого художника помогает Роллану увидеть тревожные симптомы в политической жизни Германии. Опьяненная победой во франко-прусской войне 1870 года, страна охотно бросается в объятья прусской военщины.

Противопоставляя своего героя измельчавшей немецкой культуре, Роллан подчеркивает, что источник внутренней силы Кристофа — творчество. В музыке его звучит тема борьбы и бунта, она не ласкает слух, не успокаивает, не радует — она вселяет чувство беспокойства, тревоги; ее не понимают и не принимают.

Роллан обращается к одной из самых трагических проблем искусства: художник и общество.

Художник — избранная натура, он обычно неизбежно одинок и противостоит окружающему миру. Не понятый им, он презирает его, гордо удаляясь в «башню из слоновой кости», или гибнет, сломленный борьбой и жизненными невзгодами, или же растрачивает свой талант, идя на службу власть и золото имущим,— так чаще всего решалась эта проблема в произведениях XIX века. Кристоф дан в романе тоже в неизбежном конфликте с буржуазным обществом, но он не идет ни по одному из

этих путей. Он не уступает, сохраняет до конца жизни свою творческую независимость, преодолевает все трудности и в конце концов добивается признания. Это было новым решением проблемы. Искусство Кристофа сохраняет верность жизни, народу, еще в детстве открывшему ему красоту народной песни и великий закон искренности и правды. «Вся музыка живого бытия звучала в Кристофе. Все, что он видел, все, что он чувствовал, незаметно для него самого преображалось в мелодии». Это живое творческое начало, противное фальши и компромиссу, определяет прежде всего для Роллана истинную ценность человека. Писатель стремится приоткрыть перед читателем святая святых художника — тайну творческого процесса, томительно-мучительное состояние поиска, пьянящую радость озарения, открытия. Он часто вводит в ткань повествования внутренние монологи, лирические излияния героя.

Роллан не замыкает, однако, своего героя только в мире творчества, он сталкивает его с важнейшими социальными проблемами современности.

В пятой книге — «Ярмарка на площади» — действие переносится во Францию. Книга эта занимает особое место в структуре всего произведения, на ее страницах Жан-Кристоф отходит на задний план, уступая место критическому изображению французской действительности. «Ярмарка на площади» написана в совершенно иной тональности, чем другие части произведения. Этот музыкальный термин вполне уместен в разговоре о книге Роллана, ибо он сам писал, что роман его строится как четырехчастная симфония, где каждая часть отличается своим особым звучанием и настроением. «Ярмарка на площади» — резкий обличительный памфлет.

Эпиграфом к этой книге могли бы служить слова А. М. Горького, обращенные к Франции, из его памфлета «Прекрасная Франция», написанного в то же время: «...все лучшие дети твои — не с тобой. Со стыдом за тебя, содержанка банкиров, опустили они честные глаза свои, чтобы не видеть жирного лица твоего... Жадность к золоту опозорила тебя, связь с банкирами развратила честную душу твою, залила грязью и пошлостью огонь ее» [1].

...Начало века. Третья республика. Политика стала предметом спекуляции ловких и наглых авантюристов. Продажные лидеры различных буржуазных партий искусно прикрывают громкими словами свои низкие, корыстные интересы. Социалист Люсьен Леви-Кэр ведет тайные переговоры с реакционными политиканами, делает карьеру в модных буржуазных салонах. Для другого социалиста, депутата Руссэна, социализм тоже лишь удобная реклама.

---

[1] М. Горький, Собр. соч. в 30-ти томах, т. 7. Гослитиздат, М. 1950, стр. 71.

Вслед за Бальзаком и Мопассаном Роллан с возмущением пишет о лживой и продажной прессе. В журналах и газетах сотрудничают беспринципные Сильвены Коны, невежественные Гужары.

На Ярмарке создается не искусство, а фабрикуется товар в угоду извращенным вкусам пресытившихся буржуа.

«В театре показывали убийства, изнасилования, разные виды безумия, пытки, выколотые глаза, вспоротые животы, короче — все, что могло дать встряску нервам и удовлетворить скрытые варварские инстинкты ультрацивилизованной верхушки общества». Поражает точность наблюдения Роллана, убедительность его выводов о неизбежности деградации продажного буржуазного искусства. Писатель вскрывает главную причину страшного заболевания современной ему культуры — губительную власть денег. Больное, оторванное от народа искусство обречено на бесплодие, на медленное умирание — таков вывод Роллана. Да, именно самого Роллана, так как охваченный болью за Францию, писатель в этой книге нередко забывает своего героя и непосредственно сам говорит с читателем. Подчеркнутая публицистичность, свойственная всему роману, особенно ярко звучит в «Ярмарке на площади». Читатель явственно слышит гневный голос писателя, обращенный к правителям Третьей республики: «Что Вы сделали с Францией, куда вы ее ведете?» Имя Роллана в нашем сознании связано прежде всего с понятиями гуманизма, доброты, человечности, но этот предельно добрый, мягкий человек умел и ненавидеть, когда речь шла о врагах человечества и прогресса. У Роллана «голос тих, но тверд»,— писал Горький [1]. В 30-е годы голос писателя, «совести Европы», был слышен во всем мире, он призывал к борьбе против фашизма, против войны. Впервые ненависть зазвучала в голосе Роллана в «Ярмарке на площади». Он слишком любил Францию, чтобы писать спокойно.

Роллан и Кристоф вершат суд над Ярмаркой. Жан-Кристоф в Париже не просто наблюдатель. Его живая, активная натура заставляет его во все вмешиваться, громко выражать свое возмущение, негодование, свое неприятие; он резко, подчас с подчеркнутым вызовом противопоставляет свою точку зрения взглядам признанных авторитетов, бездарность он называет бездарностью, фальшь — фальшью. Образ Кристофа — титана, творца и бунтаря возвышается над пигмеями, суетящимися на толкучке Ярмарки. Кристоф бедствует, голодает, но не сдается, не идет против своих принципов. В этой книге его бунт достигает своего апогея. «Кристофу необходим был вольный воздух... возможность обнять тех, кто ему дорог, обличать врагов, бороться и побеждать». Правда, Кристоф далеко не всегда ясно понимает, что же он конкретно хочет

[1] М. Горький, Собр. соч. в 30-ти томах, т. 24. Гослитиздат, М. 1953, стр. 261.

противопоставить ненавистной Ярмарке. Он жаждет борьбы, но не знает, с кем и во имя чего бороться, не всегда понимает, кто его друзья и союзники. Бунт его вызван скорее чувством, эмоциями, нежели разумом, глубокой и трезвой оценкой действительности, поэтому бунт этот неизбежно принимает форму стихийного протеста. Образ одинокого бунтаря Кристофа у Роллана, однако, принципиально отличен от часто встречавшихся в литературе того времени героев — индивидуалистов, с ницшеанским презрением смотревших на других людей, высокомерно противопоставлявших себя массе. При всем своем трагическом одиночестве Кристоф не враждебен людям, он не может без людей и постоянно тянется к ним. Он всегда кого-то любит, о ком-то заботится, кого-то опекает, его талант питается общением с людьми. Кристофу лучше среди простых людей, отзывчивых и добрых, таких, как его мать Луиза, дядя Готфрид, Лорхен, нежели среди завсегдатаев модных салонов. Блуждая в сутолоке Парижа, он упорно и настойчиво ищет подлинную, настоящую Францию, ибо у героя Роллана отрицание неразрывно связано с поисками положительных идеалов. «Франция — это мы»,— нагло заявляет ему Сильвен Кон. Но Кристоф уверен, что «Франция не такая... Такой народ не протянул бы и двадцати лет... Должно быть что-то другое».

Друг Кристофа, мечтательный мыслитель Оливье Жанен, знакомит его с французским народом, проникновенно рассказывая о незаметных тружениках, о скромных обитателях жалких мансард. Нельзя, однако, не заметить, что все разговоры Оливье о французском народе, о его неугасимом стремлении к справедливости и истине звучат абстрактно. Роллан в те годы еще не мог помочь Кристофу в его поисках народного героя.

Обанкротившейся Третьей республике, разложившейся буржуазной культуре в романе противопоставлен не народ, а одинокий бунтарь Кристоф и группа интеллигентов-гуманистов, друзей Оливье Жанена.

Рассказу о детстве Оливье и его сестры посвящена целая книга романа — «Антуанетта». Это своеобразное лирическое интермеццо, и хотя оно несколько замедляет повествование о жизни Кристофа, читатель благодарен за него автору.

Любовью к Франции, глубокой верой в человека, восхищением женской самоотверженностью пронизаны страницы, посвященные скромной и мужественной Антуанетте, просто и незаметно отдавшей свою жизнь брату. Роллан всегда возражал против попыток отождествить Антуанетту с кем-либо из реально существовавших людей. Она была для него воплощением всего лучшего, что он видел в женщинах своей страны; ее нежное лицо виделось писателю в наивных статуях мадонн, изваянных народными мастерами и украшающих порталы средневековых соборов. И если в 90-е годы Роллан считал, что героизм — это привилегия натур избранных и великих, то образ Антуанетты свидетельствует о расшире-

нии этого понятия. Позже, в 1920 году, Роллан писал Стефану Цвейгу: «Героизм распространен повсюду, среди самых простых, самых незаметных людей, и нигде, может быть, он не носит такой чистый и чудесный характер, как у них» [1].

Говоря об Антуанетте, нельзя не вспомнить замечательные слова Алексея Максимовича Горького: «Меня удивляет стойкость любви Ромена Роллана к миру и человеку; я завидую его крепкой вере в силу любви» [2].

Антуанетта мало приспособлена для жизненной борьбы, она гибнет. Роллан с горечью и болью писал: «Современное общество убивает их каждый год». Большим счастьем для писателя будет возможность через несколько лет увидеть в жизни более решительную и сильную «сестру» Антуанетты — Аннету Ривьер, героиню «Очарованной души», смело ринувшуюся в бой с социальным злом.

Дружба с Оливье помогает Жан-Кристофу познать Францию. Аналитическая мысль Оливье дополняет эмоциональный пафос Кристофа. Друзья живут в доме, который как бы в миниатюре представляет различные социальные слои страны. Это несколько условное построение седьмой книги («В доме») нужно было Роллану, чтобы столкнуть своего героя, а вместе с ним и читателя, с чрезвычайно важной для него проблемой разобщенности людей. О трагической невозможности человеку достучаться до сердца другого человека с отчаянием и болью писал уже Мопассан. Эта мысль была подхвачена «литературой конца века», которая стала всячески муссировать тему о якобы неизбежном отчуждении людей. Гуманист Роллан горячо и страстно восстает против этого. Великой животворной силой, которая, с его точки зрения, может и должна объединить людей, является искусство. Музыка Кристофа не только несет радость, она помогает самым разным, страдающим от одиночества людям найти путь друг к другу. Кристофу удается преодолеть различные политические, социальные и национальные предрассудки, разделявшие жильцов дома, а иногда и членов одной и той же семьи. Жан-Кристоф выступает носителем идеи абстрактного гуманизма, свойственного в те годы самому Роллану: «Я люблю людей, я хочу любить вас всех». Этот абстрактный гуманизм исключал признание революционной борьбы, что неизбежно воздвигало между Кристофом, его друзьями и рабочим людом Парижа стену взаимного непонимания и недоверия.

В 900-е годы Роллану, разочаровавшемуся в социалистических идеях, кажется, что революционная борьба бессмысленна. Он видел только

---

[1] «Ромен Роллан. 1866—1966. По материалам юбилейной сессии», «Наука», М. 1968, стр. 96.

[2] М. Горький, Собр. соч. в 30-ти томах, т. 24, Гослитиздат, М. 1953, стр. 260.

то, что лежало на поверхности рабочего движения того времени,— перерождение верхушки социалистических партий, непонятные для него разногласия между правым и левым крылом, слабость отдельных неорганизованных выступлений рабочих. Отсюда неверие писателя в силы революционной борьбы пролетариата, уверенность, что изменение общества может быть осуществлено лишь самоотверженностью гуманистов-одиночек.

В книге «Неопалимая купина», написанной в 1910—1911 годах, отразилась волна забастовок, прокатившихся в это время по всей стране. Но Роллан изображает выступление рабочих как стихийный, неожиданный взрыв,— таково описание демонстрации и баррикадных боев в день 1 Мая.

Трагически бессмысленно погибает Оливье. Кристоф, поддавшийся внезапному опьянению бунта и распевавший на баррикаде свою революционную песнь, отрезвляется, приходит к горькому разочарованию и отказывается от каких-либо новых попыток сблизиться с рабочими.

Оторванностью Роллана от революционного движения того времени объясняется то, что писатель исключил целую книгу, где, по первоначальному замыслу, он хотел показать участие Кристофа в революционной борьбе Германии и Польши. От стихийного бунта Роллан вновь приводит своего героя к абстрактному, утопическому идеалу: «связать узами братства всех честных людей, хотя бы они и были самых разных верований и принадлежали к разным классам». Кристоф больше не пытается сблизиться с народом. Пройдя через неожиданно вспыхнувшую страсть к Анне Браун, через тяжелый духовный кризис, он находит успокоение в природе, в музыке, в дружбе «чистых и великих душ»...

Течет река жизни героя, течет время... Военным угаром охвачена Франция, в Германии повсюду блеск штыков, милитаристский ажиотаж захватывает Италию. Социальная тема вновь властно и громко звучит в романе. Роллан глубоко обеспокоен агрессивностью молодого поколения буржуазии, презирающего ценности духовной культуры, признающего лишь культ грубой силы, издевающегося над демократией. «Они стали агрессивными», «они прославляли наковальню сражений». «Не без бахвальства они превозносили ограниченность и здравый смысл, грубый реализм, бесстыдный шовинизм». Последняя книга романа — «Грядущий день» — вышла в 1912 году, и мечта Роллана о братском союзе всех народов звучала в атмосфере предвоенной грозы смело и прогрессивно. Воплощением этой мечты писателя является дружба его героев: немца Кристофа, француза Оливье, итальянки Грации, олицетворяющих лучшие черты своих народов.

В последней книге Кристоф уже стар. Как художник он победил, он добился признания, никогда ни в чем не отступив от своих эстетиче-

ских идеалов и принципов. Он сохранил благородство чувств, но утратил бунтарский дух. Теперь он стоит в стороне от бурных событий, спокойно и мудро созерцая жизнь. Музыка для него уже не выражение жизни и борьбы людей, а самоценное искусство. «Ты — вне мира. Ты — целый мир». Самое дорогое для постаревшего Кристофа — его дружба с Грацией, которая близка ему своим душевным спокойствием, «недвижным, блаженным созерцанием».

Эволюция неукротимого бунтаря в мудрого стоика-созерцателя закономерна для героя Роллана. Кристоф отказался от борьбы. Кристоф уходит из жизни, так и не найдя пути, который привел бы его к сближению с народом. Трагедия Кристофа — трагедия абстрактного гуманизма, не имеющего реальной социальной опоры, это неизбежный крах индивидуалистического, пусть даже благородного и гуманистического, мировоззрения. Это крушение иллюзий о силе избранных душ, это трагедия целого поколения, воспитанного в духе подобных иллюзий.

Судьба Кристофа заключает в себе не только высокий пример героизма, но и трагический урок. Буржуазной интеллигенции Европы придется пройти через тяжелые испытания первой мировой войны, фашизма, второй мировой войны, через потрясения социальных битв XX века, чтобы лучшие ее представители смогли наконец освободиться от абстрактных идеалов и понять, что в классовом мире нет и не может быть свободы вообще, добра вообще, гуманизма вообще, понять, что в наш век художник не может творить вне жизни и борьбы народа.

В 900-е годы Роллан и его герои были еще в плену абстрактных иллюзий. В своих письмах и статьях 30-х годов он не раз будет подчеркивать, что самым трудным для его поколения было изживание индивидуализма и иллюзии абстрактной свободы. В книге «Пятнадцать лет борьбы» он писал: «Только лишь в августе 1914 года я, даже вопреки самому себе, вошел в политику. До тех пор я был пропитан идеологией моего времени и моего класса... идеологией абстрактного человека, отделенного (тогда говорили — освобожденного) от случайностей политической и социальной жизни».

Утопичность идейных воззрений тех лет сочеталась у Ромена Роллана с жизнеутверждающей верой в будущее. Последние главы романа полны смутных предчувствий нового, новых путей борьбы, новых целей. «Приближается новая эра... Общество возродится на основе новых законов». В 1930 году, оглядываясь назад, Роллан писал: «Ибо конец «Жан-Кристофа» — не конец: это этап» [1].

Роман заканчивается символически — Кристоф сливается со вселенной. Он умирает, чтобы возродиться вновь. В эпилоге появляется символическая фигура святого Христофора, несущего младенца — Грядущий

[1] Р. Роллан, Собр. соч., т. 6, Гослитиздат, М. 1956, стр. 377.

день. Роллан не знал, каков будет этот будущий день, какие силы приблизят его, по какому пути следует идти ему навстречу, но он верил в неотвратимость рождения нового мира. Великое счастье Роллана-художника в том, что все его творчество было устремлено к будущему, что, пройдя через мучительные сомнения и колебания, он все же найдет путь к «Грядущему дню» мира социализма. Герои его другого романа-эпопеи, «Очарованной души», Аннета Ривьер и ее сын Марк обретут ясность цели и методов революционной борьбы. Роллан имел полное право посвятить своего «Жан-Кристофа» «свободным душам всех наций, которые страдают, борются и побеждают».

Роман «Жан-Кристоф» — смелое новаторское произведение, в нем поставлены важнейшие политические и социальные проблемы 900-х годов, оно строго судит буржуазное общество, вводит в литературу нового героя — жизнелюбца и бунтаря. Эти задачи, естественно, невозможно было решить в рамках традиционного романа с четко развивающейся сюжетной линией. Роллан, стремясь в своей книге показать все течение человеческой жизни, сознательно отошел от канонической композиции. Он не раз подчеркивал свободное построение «Жан-Кристофа». «Но что же такое мое произведение? Поэма? Зачем Вам непременно нужно название? Когда вы встречаете человека, разве вы спрашиваете, роман он или поэма? А я создал именно человека. Человеческая жизнь не укладывается в рамки какой-либо литературной формы. Ее закон — в ней самой; а всякая жизнь имеет свои законы». Через все произведение как лейтмотив проходит образ жизни — реки. «Есть человеческие жизни, похожие на спокойные озера, другие — на широкое светлое небо с плывущими по нему облаками... Жан-Кристоф всегда представлялся мне рекою». Река жизни Кристофа течет то быстро, то медленно, то образуя большие тихие заводи, то принимая в себя различные притоки, так же движется и сюжет романа, вбирая в себя различные самостоятельные части: публицистические отступления, бытовые зарисовки, лирические исповеди, памфлеты, философские размышления.

Отдельные звенья произведения объединены образом главного героя. Роллан сталкивает героя с различными людьми, общение с которыми выявляет разные стороны характера Кристофа. Этот композиционный прием является выражением определенных эстетических принципов писателя. Роллан постоянно подчеркивал, что он не представляет себе существование изолированной личности, что он видит и понимает человека только в связи с другими людьми, в связи с обществом. Сочетание истории духовной жизни героя с изображением современной ему действительности, стремление автора создать героический образ и одновременно «вымести из жизни накопившийся пепел и мусор» объясняют последовательно проведенную двуплановость романа, соединение лирического и эпического начала, многообразие стилевых приемов. Через весь

роман проходит антитеза: героический пафос Кристофа и пошлость буржуазных пигмеев. В этом контрастном построении доминирует (за исключением книги «Ярмарка на площади») героическая, патетическая тема Кристофа.

«Жан-Кристоф» — роман огромный по охвату жизненного материала, сложный по композиции и стилю, подчас противоречивый по мысли. Основным своим звучанием он утверждает величие человека, веру в его творческие силы. Это замечательное создание литературы XX века приобретает особое значение в сравнении с книгами многих современных писателей Запада, интересующихся лишь «подпольем человеческой души»...

* * *

«Жан-Кристоф» завершил целый большой период творческого развития Ромена Роллана. В гнетущей предвоенной атмосфере писатель ищет опоры в народе, в ценностях национальной культуры. Обращаясь к фольклору, к народным традициям, Роллан создает свою самую жизнерадостную книгу — «Кола Брюньон», написанную в форме дневника старого резчика по дереву, жителя бургундского городка Кламси. Автор переносит читателя в XVI век, в эпоху Возрождения. Кола Брюньон — воплощение народа, воплощение его неистребимой жизненной силы, мужества и трудолюбия. За полвека жизни Брюньону пришлось немало пережить: много раз набеги солдат разоряли и уничтожали его дом, чума уносила близких людей, всю жизнь его душили налоги и поборы, но Брюньон всегда, вопреки всему, радовался жизни. Пока он жив, пока он видит над собой небо, ощущает запах родной французской земли, чувствует силу в своих руках — он счастлив. Каждая страница книги пронизана горячей любовью автора к своему герою, к Франции, к ее народу, к ее земле; в ней воспевается труд, как одна из самых больших радостей жизни. Горький с восхищением писал о «Кола Брюньоне»: «Это, может быть, самая изумительная книга наших дней. Нужно иметь сердце, способное творить чудеса, чтобы создать во Франции, после трагедий, пережитых ею, столь бодрую книгу — книгу непоколебимой и мужественной веры в своего родного человека, француза» [1].

Эта искрящаяся жизнерадостностью книга прозвучала смелым вызовом реакционным силам, оживившимся в канун первой мировой войны (писатель ее закончил в мае 1914 года). Прославление творческого труда простых людей, прославление радости мирной жизни, красоты природы и людей — все это звало к миру.

---

[1] М. Горький, Собр. соч. в 30-ти томах, т. 24, Гослитиздат, М. 1953, стр. 259.

Первая мировая война застала Роллана в Швейцарии. Годы войны были сложным и трудным периодом внутреннего развития писателя: в это время особенно резко проявились как сильные, так и слабые стороны его идейных воззрений. Роллан сразу же смело и решительно выступил против преступной политики современных ему правителей, резко осудил захватнический, империалистический характер войны. Однако вначале Роллан не понимал, где лежит правильный путь борьбы с империалистической бойней. Недоверие к политической деятельности, недооценка революционного потенциала масс вновь приводят Роллана к проповеди абстрактного гуманизма, «свободы духа», нравственного самоусовершенствования. Все это нашло свое выражение в сборнике статей, написанных в первый год войны, «Над схваткой».

Однако трагический опыт войны не прошел для писателя даром. Постепенно Роллан приходит к убеждению, что надежды на лучшее, социально справедливое будущее можно связывать только с народом.

С большим вниманием и интересом отнесся Роллан к первым известиям о Великой Октябрьской социалистической революции. Он не сразу смог понять и принять революционные методы пролетарской диктатуры, не сразу смог отказаться от идеалов абстрактного гуманизма, но несмотря на все это, он был одним из первых верных друзей молодой Советской республики. Писатель выступал против походов Антанты, горячо приветствовал первые успехи советских людей в строительстве нового мира. Роллану в 20-е годы пришлось пройти трудный и сложный путь, чтобы окончательно отказаться от своих заблуждений и иллюзий, чтобы понять и принять идеи пролетарской революции, чтобы прийти к социализму. В статьях 30-х годов, собранных в сборнике «На защиту нового мира», Роллан неоднократно повторял: «Я буду защищать героическое дело, возглавленное СССР».

В эти годы особое значение имела для Роллана его дружба с Алексеем Максимовичем Горьким. Горький помог Роллану лучше и глубже понять значение и величие Октябрьской революции, осознать сущность пролетарского гуманизма. Новые открывшиеся перед писателем горизонты жизни и творчества дали ему возможность создать роман «Очарованная душа».

Роман-эпопея «Очарованная душа», так же как и «Жан-Кристоф», состоит из нескольких книг, объединенных темой внутреннего развития главного героя. В «Очарованной душе» рассказана история жизни Аннеты Ривьер, начиная с ее молодости и кончая смертью; перед читателем проходит более тридцати лет мечтаний и борьбы, радостей и страданий героини, он видит Аннету учительницей, секретарем крупного дельца, активной участницей антифашистского движения. По своему характеру Аннета родственна любимым героям Роллана — Жан-Кристофу и Кола Брюньону. Она человек большой силы воли, настойчивости, щедрого

сердца, ей присуще мужество Кристофа, брюньоновская любовь к жизни. Аннете приходится преодолеть немало ошибок, сомнений, иллюзий, чтобы стать на путь активной антифашистской борьбы. В романе «Очарованная душа» подробно раскрыт сложный путь интеллигенции Запада к революции, этот путь проходит не только Аннета, но и ее сын Марк. Когда Марк погибает в Италии от рук фашистов, Аннета мужественно и стойко продолжает борьбу, которую вел ее сын. «Очарованная душа» — важная веха в творческом пути писателя. Роллану удается создать художественно убедительный образ активного действующего героя — революционера.

Большой интерес представляет статья Роллана о Ленине — «Ленин. Искусство и действие» (1934). Роллан подчеркивает, что в образе В. И. Ленина воплощено единство мысли и действия, что сила Ленина — в его неразрывной связи с революционными массами. В революционной деятельности Ленина писатель видит пример подлинного гуманизма, гуманизма пролетарской революции.

Тридцатые годы были годами идейного и творческого подъема Роллана. Роллан принимает самое активное участие в борьбе за мир и демократию, против войны и фашизма. Голос Роллана, писателя, воплощающего «совесть Европы», громко звучит в защиту жертв фашистского террора: Тельмана, Грамши, Димитрова. Вместе с Барбюсом Роллан — инициатор и организатор международных конгрессов в защиту культуры. Поистине удивительной была энергия этого уже немолодого и очень больного человека. Своей задачей писателя и гражданина Роллан считает борьбу за сплочение людей разных взглядов и убеждений во имя мира.

Роллан вновь обращается к теме революционных традиций Франции,— в очерке «Вальми» он воскрешает победу французских республиканцев над интервентами в 1792 году, в драме «Робеспьер» показывает дни и события якобинской диктатуры 1794 года.

В годы второй мировой войны Роллан оказался в зоне фашистской оккупации. Семидесятичетырехлетний больной писатель был отрезан от мира, он находился под неусыпным надзором фашистских молодчиков. Истощенный голодом и болезнью, оторванный от своего народа, Роллан жил только надеждой на освобождение Франции,— об этом говорят сохранившиеся его письма к активному участнику Сопротивления, рабочему-коммунисту Эли Валаку. Роллан сообщал, что он продолжает работать, так как верит в скорую победу над фашизмом. В эти тяжелые последние годы своей жизни Роллан создает новые книги мемуаров, заканчивает большое семитомное исследование о жизни и творчестве своего любимого композитора Бетховена, вновь подчеркивая героическое бунтарское начало в его личности и музыке.

Роллан увидел счастливый день лета 1944 года, когда его родина была освобождена от фашистских оккупантов. Он обратился с письмом к руководителю французских коммунистов Морису Торезу, где говорил о своей глубокой и искренней симпатии к коммунистам, возглавлявшим в годы войны борьбу за национальное освобождение Франции.

Здоровье и силы писателя были подорваны всем пережитым за годы войны. В декабре 1944 года Ромен Роллан умер, но, как все великие люди, он жив в памяти прогрессивного человечества своей искренней, большой любовью к человеку, своим стремлением к истине и справедливости, своим желанием будить в людях героические чувства, своей многолетней борьбой в защиту мира и демократии.

И. ЛИЛЕЕВА

СВОБОДНЫМ ДУШАМ ВСЕХ НАЦИЙ,
КОТОРЫЕ СТРАДАЮТ, БОРЮТСЯ И ПОБЕЖДАЮТ

Для этого издания «Жан-Кристофа, содержащего его окончательную редакцию, мы приняли новое деление, иное, чем в десятитомном издании. Там десять книг романа были разбиты на три части:

1. Жан-Кристоф	1. Заря 2. Утро 3. Отрочество 4. Бунт
2. Жан-Кристоф в Париже	1. Ярмарка на площади 2. Антуанетта 3. В доме
3. Конец пути	1. Подруги 2. Неопалимая купина 3. Грядущий день

В отличие от прежнего построения, мы следуем не фактам, а чувствам, не логическим и в известной мере внешним признакам, а признакам художественным, внутренне обоснованным, в силу чего мы и объединяем книги, близкие по атмосфере и звучанию.

Таким образом, произведение в целом предстает как четырехчастная симфония:

Первый том («Заря», «Утро», «Отрочество») охватывает юные годы Кристофа — пробуждение его чувств и сердца в родительском гнезде, в узких пределах «малой родины» — и ставит Кристофа перед лицом испытаний, из которых он выходит весь истерзанный, но зато перед ним открывается, как бы во внезапном озарении, его жизненная миссия и весь его удел — удел человека, мужественного в страданиях и в борьбе.

Второй том («Бунт», «Ярмарка на площади») — единая по своему замыслу история бунта, ристалище, на котором юный Зигфрид, простодушный, нетерпимый и необузданный, вступает в схватку с ложью, разъедающей как общество, так и искусство того времени, и, подобно Дон-Кихоту, разившему своим копьем погонщиков мулов, алькальдов и ветряные мельницы, он разит все и всяческие Ярмарки на площади — в Германии и во Франции.

Третий том («Антуанетта», «В доме», «Подруги»), овеянный атмосферой нежности и душевной сосредоточенности, служит контрастом к предыдущей части с ее исступленным энтузиазмом и ненавистью и звучит, как элегическая песнь во славу Дружбы и чистой Любви.

И, наконец, четвертый том («Неопалимая купина», «Грядущий день») есть, по сути, великое Испытание в середине жизненного пути, картина разбушевавшихся Сомнений и опустошительных страстей, душевных бурь, которые угрожают снести все и разрешаются безмятежно ясным финалом при первом блеске невиданной Зари.

Каждая книга романа, впервые обнародованного в журнале «Двухнедельные тетради» (февраль 1904 — октябрь 1912 гг.), имела эпиграфом следующую надпись, которую обычно высекали на постаменте статуи святого Христофора, стоящей в нефе готических соборов:

Christofori faciem die quacumque tueris,
Illa nempe die non morte mala morieris [1].

Эти слова выражали сокровенную надежду автора, что его Жан-Кристоф станет для читателей тем, кем он был для меня самого: верным спутником и проводником во всех испытаниях.

Испытания выпали на долю всех; и автор не обманулся в своих надеждах, как о том свидетельствуют отклики со всех концов мира. Автор и сейчас выражает все ту же надежду. Ныне, когда разразились новые бури, которым еще предстоит греметь и греметь, пусть Кристоф тем более остается другом, сильным и верным, способным вдохнуть радость жизни и любви,— вопреки всему.

Ромен Роллан

Париж, 1 января 1921 г.

---

[1] В тот день, когда ты будешь взирать на изображение Христофора, ты не умрешь дурной смертью *(лат.)*.

КНИГА ПЕРВАЯ

ЗАРЯ

Dianzi, nell'alba che precede al giorno,
Quando l'anima tua dentro dormia...

Purg. IX[1]

[1] Когда заря была уже светла,
А ты дремал душой... *(итал.).— Данте, «Божественная комедия», Чистилище», песнь IX.*

ПЕРЕВОД О. ХОЛМСКОЙ

Come, quando i vapori umidi e spessi
A diradar cominciansi, la spera
Del sol debilemente entra per essi...
Purg. XVII[1]

Глухо доносится шум реки, протекающей возле дома. Дождь стучит в окна — сегодня он льет с самого утра. По запотевшему надтреснутому стеклу ползут тяжелые капли. Тусклый, желтоватый свет дня угасает за окном. В комнате тепло и душно.

Новорожденный беспокойно зашевелился в колыбели. Старик еще на пороге снял свои деревянные башмаки, но половица все же хрустнула под его ногой, и ребенок начинает кряхтеть. Мать заботливо склоняется к нему со своей постели, и дедушка спешит ощупью зажечь лампу, чтобы ребенок, проснувшись, не испугался темноты. Маленькое пламя озаряет обветренное, красное лицо старого Жан-Мишеля, его щетинистую седую бороду, насупленные брови и живые, острые глаза. Он делает шаг к колыбели, шаркая по полу толстыми синими носками. От его плаща пахнет дождем. Луиза поднимает руку — не надо, чтобы он подходил близко! У нее очень светлые, почти белые волосы; осунувшееся кроткое лицо усыпано веснушками, полураскрытые бледные и пухлые губы робко улыбаются; она не отводит глаз от ребенка — а глаза у нее голубые, тоже очень светлые, словно выцветшие, с узкими, как две точки, зрачками, но исполненные бесконечной нежности...

Ребенок проснулся и начинает плакать. Мутный взгляд его блуждает. Как страшно! Тьма — и внезапно во тьме яркий, резкий свет лампы; странные, смутные образы осаждают едва отделившееся от хаоса сознание; еще объемлет его со всех сторон душная колышущаяся ночь; и вдруг в бездонном

[1] ...когда опять начнет
Редеть густой и влажный пар,— как хило
Шар солнца сквозь него сиянье льет... *(итал.).— Данте, «Божественная комедия», «Чистилище», песнь XVII.*

мраке, как слепящий сноп света, возникают не испытанные дотоле острые ощущения; боль вонзается в тело, плывут какие-то призраки, огромные лица склоняются над ним, чьи-то глаза сверлят его, впиваются в него — и нельзя понять, что это такое... У него нет даже сил кричать, он оцепенел от страха, глаза широко открыты, рот разинут, дыхание вырывается с хрипом. Вздутое припухшее личико морщится, складываясь в гримаски, жалкие и смешные... Кожа на лице и руках у него темная, почти багровая, в коричневатых пятнах...

— Господи! До чего безобразный! — с чувством проговорил старик и, отойдя, поставил лампу на стол.

Луиза надулась, как девочка, которую разбранили. Жан-Мишель искоса поглядел на нее и засмеялся.

— Не говорить же мне, что он красавец! Ты бы все равно не поверила. Ну, ничего, это ведь не твоя вина. Они, когда родятся, всегда такие.

Младенец вышел из оцепенения, в которое повергли его свет лампы и взгляд старика, и разразился криком. Быть может, он инстинктом угадал ласку в глазах матери и понял, что есть кому пожаловаться. Она простерла к нему руки.

— Дайте его мне!

Старик, как всегда, начал читать ей наставления:

— Нельзя во всем уступать детям, как только они заплачут. Пускай себе кричит.

Все же он подошел и вынул ребенка из колыбели, бормоча себе под нос:

— Ну и урод! Таких безобразных я еще не видывал!

Луиза жадно схватила ребенка и укрыла его у себя на груди. Она всматривалась в него со смущенной и сияющей улыбкой.

— Бедняжечка ты мой! — пролепетала она, вся застыдившись.— Какой ты некрасивый, ой, какой некрасивый! И как же я тебя люблю!

Жан-Мишель вернулся к очагу и с брюзгливым видом стал ворошить угли, но улыбка морщила его губы, противореча напускной суровости.

— Да ладно уж,— сказал он.— Не огорчайся, он еще похорошеет. А если нет, так что за беда! От него только одно требуется — чтобы он вырос честным человеком.

Ребенок утих, прильнув к теплой материнской груди. Слышно было, как он сосет, захлебываясь от жадности. Жан-Мишель откинулся на стуле и повторил торжественным тоном:

— Честность — вот истинная красота!

Он помедлил, соображая, не следует ли еще развить эту мысль. Но слова не приходили, и после минутного молчания он сказал уже с сердитой ноткой в голосе:

— А муж твой где? Как это вышло, что его в такой день нет дома?

— Он, кажется, в театре,— робко ответила Луиза.— У них репетиция.

— Театр закрыт. Я только что проходил мимо. Опять он тебе наврал.

— Ах нет, не нападайте на него! Наверно, я сама спутала. Он, должно быть, на уроке.

— Пора бы уже вернуться,— недовольно проворчал старик. И потом, понизив голос, словно стыдясь чего-то, спросил: — А он что... опять?

— Нет, нет! Вовсе нет, отец,— торопливо проговорила Луиза.

Старик пристально посмотрел на нее, она отвела глаза.

— Неправда,— сказал он.— Нечего меня обманывать.

Луиза молча заплакала.

— Господи, боже мой! — воскликнул старик, ударяя ногой в подпечек.

Кочерга с шумом упала на пол. Мать и ребенок вздрогнули.

— Не надо,— сказала Луиза.— Я вас прошу! А то он опять заплачет.

Ребенок, казалось, несколько секунд колебался, заплакать ему или продолжать свою трапезу. Но так как нельзя было делать то и другое сразу, он в конце концов снова принялся за еду.

Жан-Мишель продолжал уже тише, но еще с гневными раскатами в голосе:

— Чем я согрешил, за что мне такая кара, что сын у меня пьяница! Стоило жить, как я жил всю жизнь,— всегда во всем себе отказывать!.. Ну а ты-то, ты почему его не можешь удержать? Ведь это же, черт возьми, твоя обязанность! Что это за жена, у которой муж никогда не сидит дома!

Луиза расплакалась еще сильнее.

— Не браните меня, мало у меня и так горя! Я уже все делала, что только можно. Вы думаете, мне самой не страшно, когда я тут одна его дожидаюсь?.. Мне все мерещится — вот его шаги на лестнице. Потом ждешь — вот сейчас откроется дверь, а какой он войдет? Какой будет? Мне прямо нехорошо, когда я об этом подумаю.

Она задыхалась от рыданий. Старик встревожился. Он подошел к ней, укрыл одеялом ее вздрагивающие плечи, погладил по волосам загрубелой рукой.

— Ну, ну перестань, не бойся, я же тут, с тобой.

Она заставила себя успокоиться — ради ребенка; даже попыталась улыбнуться.

— Напрасно я вам сказала.

Старик глядел на нее, покачивая головой.

— Бедняжка,— проговорил он.— Неважный я тебе сделал подарок.

— Я сама виновата,— откликнулась она.— Не надо было ему на мне жениться. Теперь вот жалеет.

— О чем это ему жалеть, скажи, пожалуйста!

— Вы сами знаете. Ведь и вы тоже не хотели, чтобы он на мне женился.

— Ну, что об этом вспоминать. Мне, правда, было немножко досадно. Такой молодец, как он,— я не в обиду тебе говорю, но ведь верно,— и образованный — я для него ничего не жалел — и музыкант какой, настоящий виртуоз — он мог бы и получше тебя найти. А то что это — из простых совсем, и денег-то ни гроша, и даже не музыкантша! Чтобы у кого-нибудь из Крафтов жена была не из семьи музыкантов — этого уже сто лет не бывало! Но ведь я же на тебя зла не держал, а потом, когда лучше узнал тебя, то даже и полюбил. Да и вообще раз выбор сделан, так назад не пятятся! Выполняй честно свой долг — и все!

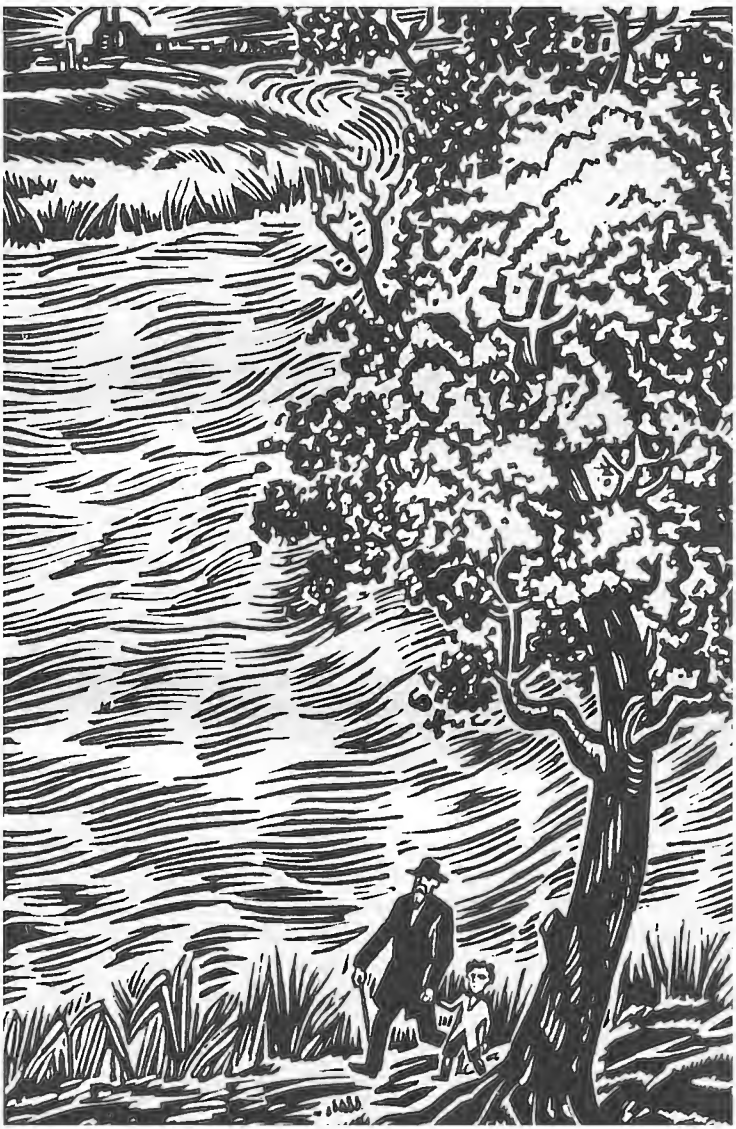
Он вернулся к очагу, снова сел и, помолчав, изрек с той торжественностью, с какою он произносил все свои афоризмы:

— Главное в жизни — это выполнять свой долг!

Он помедлил, как бы ожидая возражений, сплюнул в огонь. Но так как ни мать, ни дитя не обнаружили желания ему противоречить, он хотел было продолжать — и не сказал ни слова.

Долгое время оба молчали. Старый Крафт, сидя у очага, Луиза, откинувшись на подушки, предавались невеселым мыслям. Старик думал о женитьбе сына, и, вопреки всем своим недавним уверениям, не без горечи. Луиза думала о том же и винила во всем себя, хоть ей и не в чем было себя упрекнуть.

Она работала прислугой. И вдруг Мельхиор Крафт, сын Жан-Мишеля, женился на ней, очень удивив этим всех и в первую очередь самого себя. Крафты были люди небогатые, но пользовались большим уважением в прирейнском городке, где



«Жан-Кристоф». Книга первая.

Жан-Мишель поселился около полувека назад. Все Крафты были музыканты из поколения в поколение, и в среде музыкантов по всему Рейну от Кельна до Маннгейма они были хорошо известны. Мельхиор играл первую скрипку в придворном театре, Жан-Мишель в свое время дирижировал на концертах, которые устраивал великий герцог. Старый Крафт был в отчаянии от женитьбы сына; он возлагал большие надежды на Мельхиора и мечтал для него о славе, в которой ему самому отказала судьба. Неосторожный поступок сына положил конец этим честолюбивым замыслам. Не удивительно, что вначале старик неистовствовал и осыпал проклятиями и Мельхиора и Луизу. Но он был добрый человек, и когда ближе познакомился со своей невесткой, то простил ее и даже стал питать к ней отеческие чувства, которые, впрочем, выражались главным образом в том, что он бранил ее без милосердия.

Никто не мог понять — и меньше всех сам Мельхиор,— что толкнуло его на этот брак. Уж конечно, не красота Луизы. В ее наружности не было ничего такого, что могло бы покорить мужчину. Маленькая, бледная, хрупкая, она представляла разительный контраст с Мельхиором и Жан-Мишелем, краснолицыми гигантами с широкой грудью и увесистыми кулаками, любившими если поесть, так уж вволю, если выпить, так на славу, и всюду приносившими с собой шумный говор и оглушительный смех. Рядом с ними она казалась совсем серой и незаметной; никто не обращал на нее внимания, и сама она старалась еще больше стушеваться. Будь у Мельхиора доброе сердце, можно было бы подумать, что он всякому внешнему блеску предпочел тихую доброту Луизы; но Мельхиор был воплощенное тщеславие. И, уж конечно, никто не ожидал, что молодой человек такого пошиба, недурной собою,— что ему самому было небезызвестно,— не лишенный таланта и притом отчаянный фат, имея возможность взять невесту с приданым и, может быть, даже — кто знает! — вскружить голову какой-нибудь из своих богатых учениц,— он не раз хвалился такими победами! — изберет себе в подруги жизни совсем простую девушку, бедную, необразованную, некрасивую и даже никогда не старавшуюся ему понравиться,— то есть вдруг сделает все наоборот, как будто его кто подзуживал.

Но Мельхиор был из тех людей, которые всегда делают обратное тому, чего от них ожидают, и даже тому, чего они сами хотят. И не оттого, что они так уж недальновидны,— жизнь их достаточно учила, а ведь за ученого, говорят, двух неученых дают. Они даже особенно гордятся тем, что их не собьешь, что

они умеют твердо вести свой корабль к намеченной цели. Но одного они не принимают в расчет — самих себя, ибо себя-то они и не знают. Приходит минута душевной опустошенности,— чему они вообще подвержены,— и они бросают руль; а вещи, предоставленные самим себе, имеют коварный обычай вести себя как раз наперекор желаниям своих хозяев. Лодка, которой никто не правит, устремляется прямо на подводный камень — и честолюбец Мельхиор женился на кухарке, хотя в тот день, когда он на всю жизнь связал себя с нею, он не был ни пьян, ни отуманен страстью — до страсти тут вообще было очень далеко! Но есть, быть может, что-то иное, что движет человеческой судьбой,— не ум, не сердце и даже не чувственность,— иные таинственные силы, которые захватывают власть в те минуты, когда молчит сознание и дремлет воля, и не они ли глянули на Мельхиора из светлых глаз, робко поднятых к нему,— глаз простой девушки, встреченной им на берегу реки, где он однажды вечером присел с ней рядом среди камышовых зарослей и, сам не зная почему, предложил ей руку.

Назавтра после свадьбы он уже горько раскаивался и не считал нужным скрывать это от Луизы, а та, смиренница, робко просила у него прощенья. Он охотно прощал ее — он был не злой человек, но вскоре что-нибудь снова бередило его рану — чья-нибудь усмешка, когда он сидел в кругу приятелей, или презрительная гримаска какой-нибудь богатой ученицы, которая уже не вздрагивала больше от прикосновения его руки, когда он поправлял ей пальцы на клавишах. В такие дни он возвращался домой мрачный, как туча, и в его лице Луиза с первого же взгляда читала привычные упреки; либо он до позднего вечера засиживался в кабачке, пока не обретал на дне стакана довольства собой и снисходительности к другим. Тогда он входил в дом с веселым смехом, который удручал Луизу еще больше, чем язвительные намеки или глухая враждебность. Она чувствовала себя в какой-то мере ответственной за неразумное поведение мужа, тратившего на выпивку последние гроши и топившего в вине скудные остатки здравого смысла. Мельхиор все больше опускался. В том возрасте, когда ему бы следовало особенно усердно работать, совершенствуя свое небольшое дарование, он шел уже не вперед, а назад — и другие занимали его место.

Но что было до этого той неведомой силе, которая свела незадачливого музыканта и служанку с льняными волосами? Мельхиор выполнил свое назначение, и маленький Жан-Кристоф вступил в этот мир, куда его толкала неотвратимая судьба.

Ночь уже глядела в окна. Голос Луизы пробудил Жан-Мишеля от дремоты, в которую он впал, размышляя о своих прошлых и настоящих печалях.

— Отец,— ласково окликнула его молодая женщина,— пора вам домой. Наверно, уже поздно, а вам далеко идти.

— Я дождусь Мельхиора,— ответил старик.

— Ах нет, не надо. Пожалуйста, не ждите.

— Почему?

Она промолчала.

— Ты боишься? —сказал он.— Ты не хочешь, чтоб мы встретились?

— Ну да,— призналась она.— Зачем? Чему это поможет? Вы поссоритесь. Я не хочу. Лучше идите. Пожалуйста!

Старик вздохнул и поднялся со стула.

— Хорошо.

Он подошел к ней, коснулся ее лба жесткой бородой, спросил, не нужно ли ей что-нибудь подать, прикрутил огонь в лампе и направился к дверям, натыкаясь в полутьме на стулья. Но, выйдя на лестницу, он остановился. Он представил себе, как его сын, вдребезги пьяный, возвращается домой. И мысль о всех несчастиях, какие могут случиться, если не присмотреть за ним, заставляла Жан-Мишеля медлить на каждой ступеньке...

В постели, возле матери, ребенок снова беспокойно задвигался. Какая-то боль поднималась из глубины его существа. Он попытался бороться с ней — напряг все тельце, сжал кулачки, нахмурил брови. Боль усилилась, она медленно нарастала, неотвратимая, уверенная в своей власти. Ребенок не знал, что это такое и где предел этому. Казалось, страданью не будет конца. И ребенок залился надрывным плачем. Тотчас нежные руки матери приласкали его. Боль поутихла. Но он продолжал плакать, ибо чувствовал, что она еще где-то тут, возле него, в нем. Взрослый человек может бороться с болью, так как знает, по крайней мере, откуда она идет; в мыслях он связывает ее с определенным участком своего тела, который можно вылечить, можно в крайнем случае отрезать; он очерчивает границы своего страдания и отделяет его от себя. Ребенок лишен этого обманчивого утешения. Его первая встреча с болью намного страшнее и реальнее. Он не ощущает границ своего тела, и боль представляется ему такой же безграничной. Он чувствует, как она проникает ему в грудь, заползает в сердце, навечно водворяется в его теле, как хозяйка. И это так и есть: она больше его не покинет, пока не изгрызет до конца.

Мать прижимает его к себе, твердя бессмысленные нежные слова:

— Ну вот и все, ну вот и прошло, ну и не надо плакать, ангельчик ты мой, рыбочка ты моя золотая...

Но прерванный было плач возобновляется. Как будто этот жалкий, бесформенный и бессознательный комочек предчувствует, какая цепь страданий суждена ему в будущем. И ничем нельзя его утешить...

Вдруг запевают в ночи колокола. Это зазвонили в церкви святого Мартина. Медленные, задумчивые звуки. Во влажном от дождя воздухе они проходят приглушенной поступью, как шаги по мху. И младенец вдруг умолк, не докончив плача. Чудесная музыка вливается в него словно струя молока. Ночь озарилась, воздух стал мягким и теплым. Боль исчезла бесследно, сердце смеется от радости. И со вздохом облегчения он погружается в сон.

Все три колокола продолжали мерно звонить — завтра праздник. И Луиза, прислушиваясь к ним, думала о своих прошлых горестях и о том, кем станет со временем этот обожаемый крошка, спящий сейчас у ее груди. Бог весть сколько уже часов пролежала она тут одна! Как она устала, как все у нее болит. Руки ее горели, все тело тоже. Пуховик давил, как каменный; от темноты было тесно и душно. Но она не смела пошевельнуться. Она глядела на ребенка, и сумрак не мешал ей читать грядущее в его сморщенном, старообразном личике. Ее клонило в сон, смутные видения, спутники лихорадки, проплывали в ее мозгу. Вдруг ей почудилось, что Мельхиор открывает дверь,— она вздрогнула всем телом... Временами гул реки становился громче; он раскатывался в тишине, как рычание зверя. Раз или два прозвенело еще оконное стекло под пальцем дождя. Колокола пели все медленнее, все тише, наконец умолкли совсем. И Луиза уснула возле своего ребенка.

Все это время старый Жан-Мишель, дрожа от холода, стоял на страже перед домом; дождь забирался ему за воротник, борода намокла. Он ждал возвращения своего беспутного сына, ибо воображение рисовало ему картины одна страшнее другой: мало ли что может наделать пьяный человек! И хоть он сам не верил своим страхам, он не сомкнул бы глаз во всю ночь, если бы не удостоверился, что сын вернулся и все обошлось благополучно. Пение колоколов навеяло на него тоску, воскресив в памяти все погибшие надежды. Он думал о том, из-за чего ему приходится сейчас, ночью, стоять под дождем на улице. И он плакал от стыда.

Медленно катится огромный поток времени. Ночь и день наплывают и откатываются в непрерывном однообразном движении, словно прилив и отлив безбрежного моря. Проходят недели и месяцы — проходят и начинаются сызнова. И чреда дней ощущается как один-единственный день.

Бесконечный безмолвный день, размечаемый лишь ритмом света и тени и ритмом жизни в крохотном, погруженном в полусон создании, дремлющем в своей колыбели,— властными потребностями его тела, приносящими боль, приносящими радость, возникающими так неотвратимо и равномерно, что, кажется, не смена дня и ночи порождает их, но сами они порождают и ночь и день.

Мерно и тяжко раскачивается маятник жизни. Эти медлительные колебания поглощают все существо новорожденного. Остальное — только сны, только обрывки снов, мутных, дрожащих; только пляска пылинок, водоворот, клубящийся вихрь, который проносится над ним, то пугая его, то заставляя смеяться. Какие-то гулы и шумы, какие-то ежесекундно искажающиеся очертания, боль, ужас, смех — и сны, сны без конца... Один непрерывный сон и днем и ночью... И среди этого хаоса — свет ласковых глаз, улыбающихся ему, сладостная струя, которая из материнского тела, из набухшей молоком груди вливается в тело младенца, и растущая в нем огромная бессознательная сила, океан, который бурлит и бьет в стены своей тесной тюрьмы — крохотного детского тельца. Кто сумел бы его постичь, тот увидел бы еще наполовину погребенные во мраке миры, уплотняющиеся туманности, вселенную в процессе становления. Его существо не имеет границ. Он есть все сущее...

Проходят месяцы... В реке жизни возникают островки воспоминаний. Сперва это крошечные, затерянные среди вод клочки суши, подводные скалы, едва выступающие над поверхностью. Вокруг них, за ними в предрассветных сумерках во все стороны простирается безмерная водная гладь. Потом еще островки, уже позлащенные солнцем.

Из темной бездны души выплывают случайные образы, до странности четкие. В огромном едином дне, который вечно возобновляется, неизменный, всегда один и тот же, в мощных, однообразных его колебаниях вырисовывается хоровод дней, подающих друг другу руки; уже можно различить их лица, одни смеющиеся, другие печальные. Но звенья цепи то и дело рвутся,

и память шагает через провалы, в которых бесследно исчезли месяцы и недели...

Шум реки... Звон колоколов... В самых ранних воспоминаниях, в далях времени, в любой час, вызванный из прошлого,— эти два столь знакомых, звучных голоса поют Кристофу...

Ночь. Ребенок дремлет... Тускло белеет окно... Слышен гул реки. В тишине ее мощный голос покрывает все; он властвует над всеми живыми существами. То он укачивает их сон и сам словно засыпает под шелест бегущих волн. То вдруг он нарастает, в нем слышится злоба, это вой разъяренного зверя, готового броситься и укусить. Потом рев утихает; теперь это нежнейший лепет, серебристые звуки, словно чистый перезвон колокольцев, словно детский смех, тихое пение, танцующая музыка. Великий материнский голос, не умолкающий никогда! Он баюкает Кристофа, как баюкал в прошедших веках, от колыбели до гроба, те поколения, что жили до него; он вливается в мысли ребенка, заполняет его сны, овевает его своими текучими гармониями; и они будут веять над ним и тогда, когда он заснет последним сном на маленьком кладбище высоко над Рейном...

Колокола... А, уже заря! Они перекликаются тягуче и чуть-чуть грустно, ласковые, спокойные. Стоит прозвучать их медлительным голосам — и перед Кристофом встает сонм грез, грез о прошлом — желания, надежды, тоска по умершим, которых он никогда не видел и не знал, и, однако, он — это они, ибо он жил в них и они воскресают в нем. Целые века воспоминаний дрожат в этих созвучиях. Сколько слез, сколько празднеств! И когда в тесной запертой комнате он внимает перекличке колоколов, ему кажется, что над ним в светлом воздухе проходят широкие звучные волны, пролетают вольные птицы, проносится теплый ветер. А в окно, улыбаясь, глядит уже кусочек голубого неба. Сквозь занавеску пробился луч солнца и упал на постель. И маленький мир, столь привычный для глаза ребенка, все, что он, пробуждаясь утром, видит из своей кроватки, все, что он — ценой таких усилий — научился распознавать и называть по имени, для того чтобы подчинить себе,— все его царство внезапно озаряется. Вот стол, за которым едят; вот буфет, в котором Кристоф прячется, играя; вот пол из каменных плиток, по которому он ползает; на стенах обои — их узоры корчат ему рожицы и рассказывают целые истории, то страшные, то смешные; а там часы с болтливым маятником, который, заикаясь, торопливо бормочет какие-то слова, понятные одному Кристофу. Чего только нет в этой комнате! Кристоф всего еще не знает. Каждое утро он отправляется в путешествие, исследуя эту

подвластную ему вселенную, ибо все здесь принадлежит ему. Ничто ему не безразлично; все одинаково важно — и человек и муха; все живет: кошка, стол, огонь в печке, пылинки, вьющиеся в солнечном луче. Комната — это целая страна; один день — это целая жизнь. Как не заблудиться среди таких необъятных просторов! Мир так велик! Кристоф совсем затерялся в нем. А эти огромные фигуры, шагающие ноги, взмахи рук, движение, шум, какой-то непрестанный вихрь вокруг него!.. Он устал, глаза слипаются, он засыпает. Сладкий, глубокий сон овладевает им внезапно, когда и где угодно, на коленях ли у матери или под столом, где он любит прятаться... Как хорошо ему! Как все хорошо!..

Эти первые дни шумят в его воспоминаниях, как листва на ветру, как волнующаяся нива, по которой пробегают огромные тени от облаков...

Тени рассеиваются, солнце проникает в чащу. Кристоф начинает находить свою тропу в лабиринте дней.

Утро... Отец и мать спят. Сам он лежит в своей кроватке и смотрит, как полосы света пляшут на потолке. До чего занятно! Можно глядеть без конца. И вдруг он смеется — звонким детским смехом, от которого радуется сердце у всякого, кто его слышит. Мать наклоняется над ним:

— Чему ты, дурачок?

В ответ он смеется еще громче, он смеется уже нарочно, потому что теперь у него есть слушатель... Мама делает строгое лицо, прикладывает палец к губам: не разбуди отца! Но ее усталые глаза тоже невольно смеются. Мать и дитя перешептываются... Вдруг сердитое ворчание отца. Мама скорее поворачивается спиной к Кристофу, словно нашалившая девочка, притворяется спящей. Кристоф ныряет под одеяло; он лежит, затаив дыхание... Немая тишина...

Немного погодя головенка его опять высовывается из-под одеяла. На крыше скрипит флюгер. Из водосточной трубы мерно падают капли. Звонят к заутрене. Когда ветер с востока, слышно, как на том берегу, где-то далеко, далеко, откликаются колокола деревенских церквей. На поросшей плющом стене стая воробьев поднимает отчаянную возню, и, как в толпе играющих детей, средь общего гама выделяются одни и те же три-четыре особо пронзительных голоска. На трубе воркует голубь. Все эти звуки баюкают Кристофа. Он и сам начинает напевать, сперва тихонько, потом погромче, потом совсем громко, пока снова не раздается гневный окрик отца:

— Да замолчишь ли ты, осел! Вот погоди, я встану — надеру тебе уши!

Кристоф опять скрывается под одеялом. Он не знает, смеяться ли ему или плакать. Он напуган и обижен, но вдруг прыскает со смеху — ему так живо представился осел, с которым его только что сравнили! Притаившись в кроватке, он пробует подражать ослиному крику. И получает за это несколько увесистых шлепков. Он плачет, плачет горько, безутешно. Что он такого сделал? Ему так хочется смеяться, двигаться. А ему запрещают даже пошевельнуться. Эти взрослые только и делают, что спят! Когда же можно будет наконец вставать?..

Однажды он не выдержал. На улице мяукнула кошка или залаяла собака, там что-то случилось, наверно, страшно интересное! Он спрыгнул с кроватки и, неловко топоча ножонками, устремился к двери — выйти на лестницу, посмотреть! Но дверь оказалась запертой. Он вскарабкался на стул, чтобы ее открыть. И вдруг все с грохотом обрушилось, он больно ушибся, расплакался, и в довершение всего его отшлепали. Вечно его за что-нибудь шлепают...

Вот Кристоф в церкви, с дедушкой. Ему скучно и вообще как-то не по себе. Двигаться ему не велят, а сидящие кругом люди то вдруг разом произносят какие-то непонятные слова, то опять умолкают. Лица у них торжественные и строгие, совсем не такие, как всегда. Кристоф робко их разглядывает. Рядом сидит их соседка, старушка Лина; вид у нее такой, будто она сердится; даже дедушка иногда кажется совсем чужим. Кристофу немножко страшно. Потом он привыкает и пробует хоть чем-нибудь развлечься. Он раскачивается взад и вперед, запрокидывает голову и смотрит в потолок, корчит гримасы, дергает дедушку за рукав, разглядывает плетеное сиденье стула и пытается пальцем проколупать в нем дырочку, прислушивается к щебету птиц и зевает во весь рот.

Вдруг — водопад звуков: заиграл орган. Холодок пробегает по спине Кристофа. Он поворачивается на стуле, опирается подбородком на спинку и слушает, притихнув. Он не знает, что это за звуки, откуда, что они значат: что-то сверкает, кружится, ничего не разберешь. Но ему хорошо. Как будто и не сидел целый час на жестком, неудобном стуле в старом, унылом здании. Кажется, что паришь в воздухе, словно птица; и когда волна звуков прокатывается по всей церкви, заполняя своды, ударяясь в стены, она подхватывает Кристофа, бросает его ввысь, несет,

точно на крыльях... Как хорошо! Какая свобода, какое солнце! Кристоф засыпает...

Дедушка недоволен им. Он говорит, что Кристоф не умеет вести себя в церкви.

А вот он дома, сидит на полу на коврике, подобрав под себя ноги. Он только что выдумал новую игру: коврик — это лодка, а пол — река. Если сойти с коврика — утонешь. Кристофа очень удивляет и даже сердит, что другие этого не видят и ходят как ни в чем не бывало по всей комнате. Он хватает мать за юбку:

— Мама! Там же вода! Надо идти по мосту! (Мост — это бороздки меж красных плиток.)

Мать даже не слушает и проходит мимо. Кристоф обижается на нее, как мог бы обидеться автор, увидев, что публика разговаривает во время представления его пьесы.

Через минуту все уже забыто. Пол больше не море. Кристоф лежит плашмя, упершись подбородком в каменную плитку, распевает какую-то арию собственного сочинения и сосет палец, пуская слюни. Он погружен в созерцание узкой щели между плитками. Щели слагаются в узор, и эти узоры гримасничают, как живое человеческое лицо. Чуть заметное углубление ширится, превращается в ущелье; вокруг возвышаются горы. Пробегает двухвостка — она огромная, как слон. Если бы рядом грянул гром, Кристоф бы не услышал.

Никто им не занимается, да ему никого и не нужно. Он может обойтись даже без ковриков-лодок и без ущелий в полу с их фантастической фауной. Ему довольно самого себя. Сколько тут интересного! Кристоф часами разглядывает свои ногти и громко хохочет. У каждого ноготка свое лицо, и некоторые даже очень на кого-то похожи, на кого-то знакомого. Кристоф заставляет их разговаривать друг с другом, танцевать, драться. А остальное тело... Кристоф обследует все эти принадлежащие ему чудеса. Сколько тут удивительных вещей! Есть прямо-таки очень странные. Кристоф разглядывает их с величайшим любопытством.

Когда его ловят на этом занятии, ему здорово попадает.

В иные дни, улучив минуту, когда мать чем-нибудь занята, Кристоф удирает из дому. На первых порах за ним бежали, ловили его, приводили назад. Потом привыкли: пусть себе бродит, лишь бы не уходил чересчур далеко. Дом стоит на самой окраи-

не, почти сейчас же за ним начинаются поля. Пока Кристофа еще видно из окон, он идет, не останавливаясь, мерными шажками, по временам припрыгивая на одной ножке. Но за поворотом дороги, где его уже заслоняют кусты, он разом меняет свои повадки. Прежде всего он останавливается и, засунув палец в рот, соображает, какую сегодня рассказать себе историю. Этих историй у него огромный запас. Правда, все они очень похожи одна на другую, и каждая уместилась бы в трех-четырех строчках. Кристоф выбирает. Чаще всего он продолжает начатую вчера — или с того места, на котором остановился, или опять сначала, внося новые подробности; но довольно какого-нибудь пустяка, какого-нибудь мелькомом услышанного слова, чтобы мысль Кристофа устремилась по новому следу.

Любая случайность открывает перед ним целые богатства. Трудно даже себе представить, как много может подсказать какая-нибудь щепка или обломанная веточка,— их всегда сколько угодно валяется вдоль изгородей (а если не валяется, так можно отломить). Это волшебная палочка. Если она длинная и прямая, она превращается в копье или шпагу; достаточно ею взмахнуть — и возникает войско. Кристоф — генерал; он маршрует во главе своих полков, он их ведет, он бросается в атаку на ближайший пригорок. Если веточка тонкая и гибкая, она превращается в хлыстик. И вот уже Кристоф мчится верхом, перелетая через пропасти. Бывает, что конь спотыкается на всем скаку, и всадник, очутившись в канаве, не без смущения разглядывает свои перепачканные руки и расцарапанные колени. Если палочка коротенькая, Кристоф становится дирижером. Он и дирижер и оркестр одновременно: машет палочкой и распевает во все горло; а потом раскланивается перед кустами, которые при каждом порыве ветра кивают ему своими зелеными головками.

Кристоф вообще великий волшебник. Вот он шагает по полю, глядя в небо и размахивая руками. Он — повелитель туч. Он приказывает им идти направо. А они все равно идут налево. Тогда он бранит их и повторяет приказание. С бьющимся сердцем он исподтишка следит за ними,— может быть, хоть одна, хоть самая маленькая, все-таки его послушается. Но они по-прежнему идут и идут себе налево. Тогда он топает ногой, он взмахивает своим волшебным жезлом и гневно приказывает — идите налево! И, смотри-ка, на этот раз они беспрекословно повинуются. Кристоф очень доволен; он горд своим могуществом. Он прикасается палочкой к цветку и велит ему превратиться в золоченую карету — ведь именно так бывает в сказках!

Правда, до сих пор у него ни разу еще не получалось, но он уверен, что когда-нибудь получится, нужно только терпение. Он ловит кузнечика, чтобы превратить его в лошадь, осторожно кладет свою палочку ему на спину и произносит заклинание. Кузнечик пытается улепетнуть, Кристоф преграждает ему дорогу, а через минуту он уже лежит, растянувшись на земле, позабыв свою роль мага и волшебника. Теперь Кристоф перевернул кузнечика на спину и хохочет от души, глядя, как тот изворачивается, пытаясь снова стать на лапки.

А не то, привязав к своему волшебному жезлу веревочку, Кристоф забрасывает ее в реку и терпеливо ждет, пока клюнет рыба. Он отлично знает, что рыбы не имеют обычая ловиться на простую веревочку, без крючка и наживки, но он считает, что один-то разок могут же они сделать для него исключение! Ему даже случалось в безграничном своем доверии удить прямо на улице, пропустив кнутик сквозь решетку канализационной ямы. И время от времени он в волнении выдергивал кнутик — ему казалось, что леска отяжелела и сейчас он вытащит сокровище, как было в одной из тех сказок, что ему рассказывал дедушка...

Но случается — и нередко,— что во время этих игр на Кристофа вдруг находит словно какой-то странный сон, минута полного забвения. Тогда все окружающее исчезает; он уже не помнит, что́ он только что делал, не помнит даже, кто он такой. Это происходит в один миг и совершенно неожиданно. Идя по улице, поднимаясь по лестнице, он вдруг словно проваливается в пустоту. Ему кажется потом, что в эту минуту он ровно ни о чем не думал. Но когда он приходит в себя, все плывет у него перед глазами, ему странно, что он стоит, как стоял, на той же самой полутемной лестнице. Как будто за это время он прожил целую жизнь,— а он всего-то поднялся на две ступеньки...

Отправляясь на вечернюю прогулку, дедушка часто берет Кристофа с собой. Малыш семенит рядом со стариком, держась за его руку. Они бредут по тропинкам, через распаханные поля, от которых идет сильный, приятный запах. Стрекочут кузнечики. Большие сороки стоят поперек тропинки, боком поглядывая на дедушку и Кристофа, и тяжело взлетают при их приближении.

Дедушка покашливает, Кристоф хорошо понимает, что это значит. Старику не терпится начать рассказ, но он хочет, чтобы мальчуган сам попросил. Кристоф охотно это делает. Они с де-

душкой вообще отлично ладят. Старик обожает внука и счастлив, что нашел в нем внимательного слушателя. Для него огромное удовольствие рассказывать какие-нибудь случаи из собственной жизни или из жизни великих мужей древности и более поздних времен. Голос его в такие минуты звучит торжественно, иногда даже прерывается от волнения и ребяческого восторга, хоть дедушка и старается не показывать своих чувств. Но ясно, что он сам наслаждается своим рассказом. К несчастью, ему то и дело не хватает слов. К этой беде ему пора бы уже привыкнуть, ибо она постигает его всякий раз, как он пытается воспарить на крыльях красноречия. Но он тотчас забывает о прежних неудачных попытках и повторяет их снова и снова.

Он говорит о Регуле, об Арминии, о стрелках Лютцова, о Кернере, о Фридрихе Штабсе, покушавшемся на жизнь императора Наполеона. Когда рассказ доходит до каких-нибудь геройских подвигов, лицо Жан-Мишеля сияет. Исторические фразы он произносит таким торжественным тоном, что понять их невозможно. Ему нравится томить слушателя, он видит в этом особое искусство; в самый острый момент он останавливается, делает вид, что поперхнулся, шумно сморкается; и сердце его ликует, когда Кристоф спрашивает, дрожа от нетерпения:

— А дальше?.. А дальше что, дедушка?..

Позже, когда Кристоф подрос, он разгадал дедушкины уловки и стал назло ему притворяться, будто его ничуть не интересует конец истории. Это очень огорчало бедного старика. Но сейчас мальчик весь во власти рассказчика. Он слушает, затаив дыханье; в наиболее драматических местах сердце у Кристофа начинает сильно биться. Он, правда, толком не разбирается в событиях и не представляет себе, где и когда совершались все эти подвиги; очень возможно, что дедушка был лично знаком с Арминием, а Регула — бог весть почему это взбрело ему в голову! — Регула сам Кристоф, может быть, видел в церкви в прошлое воскресенье. Но все равно, при рассказе об этих героических деяниях и у старика и у ребенка сердце ширится в груди от гордости и восторга, словно они сами все это совершили,— ибо и дедушка и внук оба в равной мере дети.

Но куда скучнее получалось, когда дедушка в самую патетическую минуту прерывал рассказ и переходил к своим излюбленным поучениям на духовно-нравственные темы. Поучения эти можно было свести к какой-нибудь совсем простой мысли — весьма почтенной, конечно, но не слишком новой, например: «Лучше действовать лаской, чем грубостью»; или: «Честь дороже

жизни»; или: «Лучше быть добрым, чем злым» — только у дедушки это выходило гораздо запутаннее. Старик не опасался критики со стороны своей юной аудитории и разглагольствовал всласть с обычной для него неуклюжей высокопарностью, не стесняясь повторять одни и те же слова или оставлять фразы неоконченными или даже, безнадежно увязнув посреди речи, болтать что ни попало, лишь бы заполнить пробелы мысли. Стараясь придать своим словам бóльшую силу, он сопровождал их жестами, которые частенько вовсе не вязались со смыслом. Кристоф слушал его с почтением: он считал, что дедушка очень красноречив, но немножко скучен.

Оба любили обращаться мыслью к легендарным похождениям воинственного корсиканца, покорившего Европу. Дедушке самому довелось воевать с ним. Он чуть было не принял участия в одном из исторических сражений. Но он умел признавать величие противника: он тысячу раз говорил, что отдал бы правую руку, лишь бы такой человек родился по сю сторону Рейна. Судьба решила иначе: ну что ж, а все-таки он преклонялся перед ним и сражался против него,— то есть чуть было не начал сражаться. Но так как оказалось, что Наполеон всего в десяти милях, то маленький отряд, выступивший ему навстречу, внезапно охватила паника, и все бойцы разбежались по лесу с криком: «Измена!» Тщетно пытался дедушка остановить беглецов — так, по крайней мере, выходило по его рассказам,— напрасно преграждал им путь, грозя и умоляя чуть не со слезами; он сам был увлечен волной бегущих и опомнился лишь на следующий день на весьма значительной дистанции от поля боя — так ему угодно было называть то место, откуда они пустились наутек. Но Кристоф нетерпеливо прерывал его и требовал рассказа о подвигах любимого героя: его приводили в восторг эти легендарные рейды по Европе. Он представлял себе Наполеона во главе бесчисленных армий, встречавших полководца приветственными кликами и по мановению его руки бросавшихся на врага, который неизменно обращался в бегство. Для Кристофа это была настоящая волшебная сказка. Дедушка еще немножко прибавлял от себя, приукрашая историю: у него Наполеон покорял Испанию и чуть ли даже не Англию — англичан старый Крафт терпеть не мог.

Иногда старик вплетал в свой восторженный рассказ гневные обличения по адресу своего героя. В нем пробуждался патриот — и чаще всего тогда, когда он доходил до поражений императора, но не тогда, когда речь шла о битве под Иеной. Он останавливался, грозил кулаком в сторону реки, плевался, осы-

пал императора бранью, правда, только в самом возвышенном стиле — он никогда не унижался до вульгарной ругани. «Злодей! — восклицал он.— Кровожадный зверь! Человек, лишенный нравственности!» Если он надеялся этим способом пробудить в ребенке чувство справедливости, то не достигал желаемого, ибо Кристоф по детской своей логике легко мог сделать обратный вывод: «Если такой великий человек был лишен нравственности, значит, нравственность вещь неважная,— гораздо важнее быть великим человеком». Но старик не догадывался, какие мысли бродили в голове у малыша, семенившего с ним рядом.

Затем оба погружались в задумчивость, переживая, каждый на свой лад, только что рассказанную героическую сагу, и уже до самого дома не прерывали молчания — разве что им попадался по пути кто-нибудь из дедушкиных знатных клиентов, тоже совершавший послеобеденную прогулку. Тогда дедушка останавливался, отвешивал низкий поклон, рассыпался в изъявлениях подобострастной учтивости. Кристоф всегда краснел в такие минуты, сам не зная почему. Но дедушка втайне преклонялся перед людьми, достигшими высокого положения, «сделавшими карьеру»; и своих любимых героев он чтил, может быть, именно потому, что видел в них счастливцев, которым удалось сделать карьеру лучше других и возвыситься надо всеми.

В жаркие дни старый Крафт присаживался иногда отдохнуть под деревом; через минуту он уже дремал. Кристоф устраивался где-нибудь поблизости — на куче камней, на придорожном столбике или каком-нибудь другом столь же неподходящем и неудобном седалище, лишь бы повыше — и мечтал бог весть о чем, болтая ножками и напевая себе под нос. А не то ложился на спину и смотрел, как по небу бегут облака: они были такие разные — одно совсем как бык, другое как шляпа, или как великан, или как старуха в наколке, а иногда они слагались в целый пейзаж. Кристоф тихонько разговаривал с ними; его волновала судьба маленького облачка — другое, побольше, старалось его пожрать; а тех, что были синими, почти черными и бежали очень быстро, тех он боялся. Ему казалось, что от них многое зависит в жизни людей; очень странно, что ни мать, ни дедушка не обращают на них внимания! Для него это были грозные существа, которые, если б захотели, могли причинить ему страшное зло. К счастью, они проходили над ним, не останавливаясь,— плыли и плыли себе дальше, добродушные и немножко смешные. Под конец, оттого что он так долго смотрел вверх, у него начи-

нала кружиться голова и он хватался за землю и дрыгал ногами — ему казалось, что он сейчас упадет в небо. Потом он начинал моргать все чаще и чаще — сон уже подкрадывался к нему... Кругом тишина. Чуть колеблются листья и поблескивают на солнце, над землей встает светлая дымка; сонный мушиный рой висит в воздухе и гудит, как орган; опьяневшие от солнца кузнечики пронзительно стрекочут, ликуя. Все замерло... Слышен только крик дятла: под зелеными сводами леса он звучит таинственно, почти волшебно. С далекой пашни долетает голос крестьянина, понукающего волов, с белой от пыли дороги — мерное цоканье копыт... Веки Кристофа смыкаются. У самого его лица по сухой веточке, лежащей поперек борозды, ползет муравей. Кристоф впадает в забытье... Проходят века. Он пробуждается. Муравей не успел еще добраться до конца веточки.

Случалось, что дедушка, разморившись, спал чересчур долго; тогда лицо у него застывало, как неживое, длинный нос еще больше вытягивался, подбородок отвисал. Кристоф поглядывал на него с тревогой: ему чудилось, что дедушкина голова прямо на глазах превращается во что-то загадочное и страшное. Чтобы разбудить деда, он принимался громко петь или с грохотом скатывался с груды камней, на которой сидел. Как-то раз он придумал новую уловку: набрав в горсть сосновых игл, бросил их в лицо старику, а потом сказал, что они сами осыпались с ветки. Старик поверил, и Кристоф исподтишка хохотал над ним. Но, на свою беду, он вздумал повторить эту шалость и, уже занеся руку, увидел вдруг устремленные на него глаза старика. Дело обернулось плохо для Кристофа. Старик не понимал шуток и не терпел неуважения к своей особе. Целую неделю после этого дед и внук дулись друг на друга.

Чем хуже была дорога, тем больше она нравилась Кристофу. Каждый камешек что-то говорил ему; он знал их все наперечет. Выступы дорожной колеи были для него горами, по меньшей мере такого же значения, как Таунус. Он хранил в памяти подробную карту местности на два километра вокруг дома: там была отмечена каждая выбоина и каждый бугорок. И если ему случалось что-нибудь преобразовать в этом ландшафте, он преисполнялся гордости, словно инженер во главе партии рабочих; когда он разбивал каблуком сухой гребень какой-нибудь кочки и засыпал пролегавшую у ее подножья долину, он чувствовал, что недаром прожил этот день.

Иногда им попадался навстречу крестьянин в тряской своей двуколке. Почти всегда он оказывался одним из дедушкиных знакомцев. Дедушка с внуком тоже усаживались рядом с ним.

Это уже было райское блаженство. Лошадь бежала быстро, и Кристоф хохотал от восторга, разумеется, пока на дороге никого не было. Но стоило появиться вдали прохожему, и Кристоф сейчас же принимал равнодушный и непринужденный вид, точно ему не в диковину было кататься на лошади, а у самого сердце трепетало от гордости. Дедушка разговаривал с возницей, на Кристофа ни тот, ни другой не обращали внимания. Затиснутый между ними, прижатый их коленями, сидя на самом краешке, а то и вовсе ни на чем не сидя, Кристоф блаженствовал — и все время он болтал без умолку, не заботясь о том, слушают его или нет. Он смотрел, как шевелятся уши у лошади. До чего же странные зверюшки эти уши! Они поворачивались во все стороны, направо, налево, наставлялись вперед, свисали набок, закладывались назад — такие смешные, что Кристоф хохотал во все горло! Он теребил дедушку, чтобы тот тоже посмотрел. Но дедушку уши ничуть не интересовали. Он отстранял Кристофа: не приставай с глупостями! Кристоф погружался в раздумье: вот, значит, что это такое — быть взрослым; взрослые — сильные, они все знают и уже ничему не удивляются. И Кристоф старался тоже быть как взрослые: скрывать свое любопытство и казаться ко всему равнодушным.

Он умолкал. Тарахтенье тележки убаюкивало его. Прыгали и звенели бубенчики на сбруе у лошади. Динь-дон, динь-дон. В воздухе рождались мелодии. Они вились вокруг серебряных колокольцев, словно пчелиный рой; они взлетали и падали в такт постукиванью колес. Это был неисчерпаемый источник песен; одна сменялась другой. Все они казались Кристофу очень красивыми, а одна была прямо чудесная. Кристофу захотелось, чтобы и дедушка тоже послушал. Он пропел ее погромче. Никто даже и не заметил. Он пропел опять — еще громче, потом еще раз — уже во весь голос. И дедушка сердито прикрикнул на него:

— Да замолчишь ли ты наконец! Вот надоел, трубит, как труба!

От обиды у Кристофа перехватило дыханье; он покраснел до ушей и смолк, уязвленный. В глубине души он презирал обоих стариков: вот дураки, не понимают, какая это чудная песня. Небо раскрывается, когда ее слышишь, а им все равно. И какие противные — на щеках седая щетина,— видно, неделю не брились,— и как от них дурно пахнет!

Но вскоре он утешился, глядя на тень от лошади. Вот тоже удивительное зрелище! Как будто рядом с дорогой, лежа на боку, бежит какое-то черное животное. Позже вечером, когда

они уже возвращались домой, тень становилась длинная, длинная, она закрывала чуть не половину луга, и если по пути попадался стог сена, голова этой черной твари вдруг взлетала на самую его вершину, а потом, когда стог оставался позади, опять водворялась на прежнее место; морда у нее была вытянутая и обмякшая, как воздушный шарик, если из него выпустить воздух, уши длинные и прямые, словно свечки. Да уж тень ли это? А может быть, она живая? Неприятно было бы встретиться с ней один на один. Кристоф не посмел бы побежать за ней, как он бегал за тенью дедушки, стараясь наступить ей на голову и поплясать на ней. Тени деревьев, под вечер, когда солнце садилось, тоже вызывали Кристофа на размышления. Они ложились поперек дороги, словно преграждая путь. Казалось, то были какие-то унылые, тощие призраки, которые говорили: «Дальше идти нельзя!» А скрип осей и стук копыт повторяли за ними: «Дальше нельзя!»

Дедушка и возница вели меж собой нескончаемую беседу. По временам они повышали голос, особенно когда речь шла о местных делах, о своих и чужих обидах. Кристоф выходил из задумчивости и посматривал на них с опаской. Ему казалось, что они сердятся друг на друга, что они сейчас подерутся. А как раз в эти минуты между обоими стариками царило полное единодушие: их объединяла общая ненависть. Но еще чаще в них не было ни ненависти, ни какой-либо иной страсти: они говорили о вещах самых безразличных и кричали во все горло просто потому, что им это нравилось,— люди из народа любят покричать. Кристоф же, не понимавший, о чем идет речь, слышал только раскаты их голосов, видел искаженные лица и думал со страхом: «Боже мой, до чего же он злой! Как они ненавидят друг друга! Как он вращает глазами, как разевает рот! Все лицо мне заплевал! Господи! Он сейчас убьет дедушку!..»

Потом тележка останавливалась. Крестьянин говорил:

— Ну, вот вы и приехали.

Недавние враги пожимали друг другу руки. Дедушка сходил первым. Потом хозяин тележки ссаживал ему на руки Кристофа, ударял кнутом по лошади. Тележка катила прочь, а дедушка с внуком вступали на узкую, меж высоких обочин, дорожку, тянувшуюся по берегу Рейна. Позади, за полями, садилось солнце. Тропинка вилась у самой воды. Густая, сочная трава похрустывала под ногами. Старые ветлы низко склонялись над рекой, затопленные до половины. Целым облаком плясала в воздухе мошкара. Бесшумно проплывала лодка, влекомая спокойным, но мощным течением. Ветви плакучих ив окунались в

воду, и волны засасывали их, словно прихватывая губами, с легким чмокающим звуком. Светлая дымка окутывала берег, воздух был свежий, река серебристо-серая. Пели сверчки. И вот уже виден дом, и с порога улыбается бесконечно милое лицо мамы...

О, сладостные воспоминания, благодатные облики — всю жизнь будут они сопровождать нас звенящим, поющим роем!.. Путешествия, которые совершаешь взрослым, огромные города, волнующиеся океаны, невиданной красоты пейзажи, любимые лица — ничто не запечатлеется в душе с такой безошибочной точностью, как эти прогулки детских лет или незатейливый уголок сада, который ты ребенком, прильнув к окну, разглядывал иной раз от нечего делать сквозь затуманенное твоим дыханьем стекло...

Настает вечер, двери заперты на запор, Кристоф дома. Дом... Надежное убежище от всего, что внушает страх,— от темноты, от ночи, от всех неизвестных и потому страшных вещей. Ничто враждебное не смеет переступить порог... В очаге пылает огонь. Медленно вращается вертел и на нем золотой от жира гусь. По комнате разливается восхитительный запах жареного. Какой он вкусный, этот гусь, какая на нем подрумяненная, хрустящая корочка! О, блаженство еды, несравненное счастье, священный восторг, неудержимое ликование! От тепла в комнате и усталости за день, от говора знакомых голосов Кристофа совсем разморило. Он словно пьян от сытости, и все, что его окружает,— фигуры людей, тени на стене, абажур на лампе, пламя, которое, рассыпаясь дождем искр, пляшет в черном жерле печки,— все кажется ему сейчас каким-то особенным, радостным, волшебным. Он прижимается щекой к тарелке, чтобы полнее насладиться своим счастьем...

А потом вдруг он оказывается в своей теплой постельке. Как он туда попал? Приятная усталость сковывает тело. Голоса в комнате и все увиденное за день перемешалось в его сознании. Отец вынимает скрипку; и вот уже звучит в ночи ее пронзительная и нежная жалоба. Но самое большое счастье наступает, когда приходит мама и, взяв за руку уже засыпающего Кристофа, склонившись над ним, поет по его просьбе старую песенку, слова которой ничего не значат. Отец говорит, что это дурацкая мелодия, но Кристофу она никогда не надоедает. Он слушает, затаив дыхание; ему хочется и плакать и смеяться — сердце его полно до краев. Он не помнит, где он, что он; нежность захлестывает его, как волна; охватив ручонками шею матери, он стискивает ее изо всех сил.

— Да ты меня задушишь! — смеясь, говорит мама.

Он сжимает ее еще крепче. Как он ее любит! Как он любит все на свете! Всех людей, все вещи. Все такие добрые, все так прекрасно... Он засыпает. Сверчок поет за печкой. В блаженном сумраке проплывают героические образы из дедушкиных рассказов... Быть героем, как они... Он будет, будет героем!.. Он уже сейчас герой... Ах, как хорошо жить!..

Какая огромная сила, какая радость и гордость заключена в этом маленьком существе! Какой избыток энергии! И тело его и ум вечно в движении; его словно несет, словно кружит и кружит в неудержимом хороводе. Как маленькая саламандра, он день и ночь пляшет среди пламени. Им владеет восторг, который не угасает, для которого все служит пищей. Самозабвенная мечта, веселье, как бьющий фонтан, неиссякаемая надежда, смех, песня, непрестанное опьянение. Действительность еще не наложила на него руку, он ежеминутно ускользает от нее и реет в бесконечности. Как он счастлив! Как все в нем приспособлено для счастья! Он верит в счастье каждой крупицей своего существа, он страстно тянется к нему всеми своими детскими силами!..

Жизнь позаботится о том, чтобы его отрезвить.

L'alba vinceva l'ora mattutina
Che fuggia innanzi, si che di lontano
Conobbi il tremolar della marina...

Purg. I [1]

Крафты были родом из Антверпена. Жан-Мишель провел там весьма бурную молодость: по своему задорному нраву он вечно ввязывался в драки; одна имела печальные последствия, и молодому человеку пришлось покинуть родину. Лет пятьдесят назад он бросил якорь в одном из немецких княжеств, в маленьком городке, где дома с островерхими красными крышами и тенистые сады, сбегая по мягким, пологим склонам, смотрятся в бледно-зеленые глаза Рейна. Жан-Мишель был прекрасным музыкантом и быстро завоевал признание в этих краях, где все любят музыку. Он осел здесь прочно, особенно после того, как сорока с лишком лет женился на Кларе Сарториус, дочери придворного капельмейстера, и тесть передал ему свою должность. Клара была кроткая, флегматичная немочка, имевшая две страсти — к стряпне и к музыке. Мужа своего она окружила таким же преклонением, каким раньше окружала отца. Жан-Мишель боготворил ее; они прожили пятнадцать лет в полном согласии и родили четверых детей. Потом Клара умерла. Жан-Мишель неутешно оплакивал ее, а через пять месяцев женился на Оттилии Шварц, двадцатилетней краснощекой толстухе и хохотунье. Оттилия имела не меньше добродетелей, чем Клара, и Жан-Мишель не меньше любил ее. После восьми лет замужества она умерла, успев подарить супругу семерых детей. Всего, стало быть, у него их было одиннадцать, из которых в живых остался только один. Жан-Мишель горячо их всех любил и горячо всех

[1] Уже заря одолевала в споре
Нестойкий мрак, и, устремляя взгляд,
Я различал трепещущее море *(итал.).— Данте, «Божественная комедия», «Чистилище», песнь I.*

оплакивал; но даже столько похорон не поколебало его несокрушимого благодушия. Самым тяжелым ударом была смерть Оттилии; он потерял ее три года назад, в том возрасте, когда уже трудно строить жизнь заново и создавать себе новый семейный очаг. И в первую минуту он растерялся; но никакое несчастье не могло надолго выбить его из колеи, и скоро к нему вернулось обычное спокойствие.

Нельзя сказать, чтобы он не был способен на глубокую привязанность; но этот здоровяк питал органическое отвращение ко всякой печали: ему был нужен смех — бьющее через край, шумное веселье на фламандский манер. Какое бы горе на него ни свалилось, он не терял охоты к вкусным блюдам и не отказывался пропустить стаканчик; и музыка в его доме никогда не умолкала. Под его руководством придворный оркестр приобрел в прирейнских городах даже некоторую славу — и оркестр, и его дирижер; сколько там ходило анекдотов о его могучем сложении и его вспыльчивости! В минуту гнева он не знал удержу, а потом раскаивался, ибо этот буян был, в сущности, робкий человек: он любил благообразие и дрожал перед общественным мнением. Но гнев слепил его, кровь ударяла в голову, и бывали случаи, что он не только на репетициях, но даже во время придворных концертов швырял оземь свою дирижерскую палочку, топал ногами, как одержимый, и, заикаясь от ярости, диким голосом орал на провинившегося оркестранта. Герцога это забавляло, но музыканты, посрамленные публично, затаивали в душе обиду. Тщетно старался потом Жан-Мишель, через минуту уже стыдившийся своей выходки, усиленной любезностью и даже угодливостью восстановить добрые отношения,— по первому же поводу он взрывался снова, и эта неудержимая вспыльчивость, возрастая с годами, делала его положение все более трудным. Он сам наконец это понял, и однажды, когда такая бурная сцена чуть не вызвала забастовку всего оркестра, подал в отставку. Он надеялся, что из уважения к его долголетней службе отставку не примут, будут упрашивать его не уходить. Этого не случилось, а самому пойти на попятный ему не позволяла гордость. И он удалился с сокрушенным сердцем, горько сетуя на человеческую неблагодарность.

Оставшись не у дел, он заскучал. Ему было уже за семьдесят, но сил еще хватало, и он стал давать уроки, бегал деньденьской по городу, спорил, разглагольствовал, вмешивался во все, что вокруг происходило. Он был не лишен способностей и скоро нашел себе еще занятие — ремонт музыкальных инструментов; он делал опыты, придумывал усовершенствования — и

подчас довольно удачно. Кроме того, пытался писать музыку,— готов был лечь костьми, лишь бы хоть что-нибудь написать. Когда-то он сочинил торжественную мессу, о чем часто заговаривал сам и чем немало гордилась вся семья Крафтов. Это произведение стоило ему таких трудов, что чуть не довело до апоплексического удара. Он старался уверить себя, что его месса гениальная вещь, но в глубине души слишком хорошо знал, что во всем этом творении нет ни единой настоящей мысли; и он даже боялся заглядывать в рукопись, так как, перечитывая ее, в музыкальных фразах, которые считал своими, узнавал вдруг обрывки чужих мелодий, насильственно слепленные вместе. Это была его давняя, незаживающая рана. Случалось, что в голове у него как будто начинала звенеть мелодия — чудесная, божественная! Он бросался к столу,— может быть, хоть на этот раз его посетит вдохновение! Но едва он брал перо в руки, как все умолкало. Он опять был один, в немой тишине. И все усилия заставить вновь зазвучать угасший голос приводили лишь к тому, что в уши ему лезли избитые мотивы Мендельсона или Брамса.

«Есть,— говорит Жорж Санд,— несчастные гении, которым не дано выразить себя; они уносят в могилу тайну своих размышлений, так ни с кем ею и не поделившись, чему примером служит один из представителей этой многочисленной семьи пораженных немотой или косноязычием великих людей — Жоффруа де Сент-Илер». Старый Жан-Мишель тоже принадлежал к этой семье. Он бессилен был выразить себя как в музыке, так и в речи, и все еще не мог с этим примириться — ему так хотелось говорить, писать, быть великим музыкантом, знаменитым оратором! Это было его тайное горе; он не поверял его никому, даже самому себе; он старался об этом не думать — и все же думал беспрерывно, и эта мысль его убивала.

Бедный старик! Ни в чем не удавалось ему быть вполне самим собой. Столько прекрасных и могучих ростков носил он в своем сердце, но они так и не могли расцвести. Глубокая трогательная вера в высокое назначение искусства, в духовную ценность жизни — а выражалась она в напыщенном, неленом краснобайстве. Такая благородная гордость — а в жизни чуть не рабское преклонение перед сильными мира сего. Такая любовь к независимости — а на деле жалкая покорность. Претензии на вольнодумство — и ворох предрассудков! Восхищение героизмом, истинная отвага — и столько робости!.. Душа, остановившаяся на полдороге.

Жан-Мишель перенес все свои честолюбивые мечты на сына, и вначале Мельхиор как будто обещал оправдать эти надежды. Еще в детстве он проявлял большие способности к музыке. Он усваивал все с необыкновенной легкостью и еще совсем юношей достиг такой виртуозности в игре на скрипке, что надолго сделался любимцем, даже кумиром посетителей придворных концертов. Он также не без приятности играл на рояле, да и мало ли еще на чем. Поговорить он тоже умел и обладал недурной внешностью того типа, который в Германии считается образцом классической красоты: широкий, невыразительный лоб, правильные крупные черты, курчавая бородка — Юпитер с берегов Рейна. Старый Жан-Мишель наслаждался успехами сына; его приводили в восторг изощрения виртуоза, тем более что сам он за всю жизнь так и не научился порядочно играть ни на одном инструменте. Про Мельхиора уж никак нельзя было сказать, что его затрудняет выражение мыслей; беда только в том, что мыслей у него никаких не было, да он и не стремился их иметь. У него была душа посредственного актера, который следит лишь за переливами своего голоса, не заботясь о том, что они выражают, и отмечает с самолюбивым беспокойством, какое впечатление они производят на слушателей.

Любопытно, однако, что и в нем, несмотря на его постоянную оглядку на зрительный зал, как и в Жан-Мишеле, несмотря на его боязливое почитание общественных условностей, проявлялось по временам что-то порывистое, неожиданное и сумасбродное, заставлявшее людей говорить, что, видно, все эти Крафты с придурью. Сперва это ему не вредило; наоборот, его чудачества считались признаком гениальности, ибо люди, гордящиеся своим здравым смыслом, убеждены, что гению природа в нем отказала. Но скоро всем стала ясна подоплека его сумасбродств: источником их чаще всего бывала бутылка. Ницше говорит, что Бахус — бог музыки, и Мельхиор, должно быть догадываясь об этой истине, чтил помянутое божество, которое, однако, платило ему черной неблагодарностью, ибо, вместо того чтобы даровать своему поклоннику недостающий разум, отняло у него и те крупицы, какие еще оставались. После своей нелепой женитьбы — нелепой в глазах света, а стало быть, и в его собственных — Мельхиор совсем отпустил поводья. Музыкой он вовсе перестал заниматься: он так был уверен в своем превосходстве, что и сам не заметил, как его потерял. Появлялись другие виртуозы, и публика на них переносила свое благоволение; это больно ранило Мельхиора, но, вместо того чтобы пробудить его энергию, неудачи убили в нем последние остатки мужества. Он

мстил своим соперникам, злословя на их счет в кругу завсегдатаев кабачка. Самомнение его было таково, что он рассчитывал получить пост придворного капельмейстера после отца; но назначили другого. Тогда он решил, что его травят, и стал разыгрывать непризнанного гения. Из уважения к старому Жан-Мишелю за Мельхиором сохранили место первой скрипки в оркестре, но все свои уроки в богатых домах он мало-помалу растерял. Это был жестокий удар по его самолюбию и еще худший — по карману. С тех пор как счастье от него отвернулось, доходы семьи сильно уменьшились. Прежде было довольство, даже изобилие, теперь приходилось урезывать себя во всем — и чем дальше, тем больше. Но Мельхиор отказывался это замечать и ни на грош не сокращал трат на свои костюмы и развлечения.

Он был не злой человек, но только наполовину добрый,— а это, пожалуй, еще хуже,— слабохарактерный, без всякой способности к сопротивлению, без нравственной стойкости; вместе с тем он искренне считал себя хорошим отцом, хорошим сыном, хорошим мужем и добряком в душе; и, может быть, он и заслуживал такое название, если для этого достаточно той ленивой доброты, которая так охотно проливает слезы умиления, и той животной привязанности к своим, которая основана на ощущении, что они часть тебя самого. Его нельзя было даже назвать эгоистом — для этого он был недостаточно сильной личностью. Он вообще не был ничем. Самое страшное в жизни — это люди, которые представляют собой полное ничто. Как балласт, сброшенный с высоты, их неудержимо влечет вниз; они неизбежно должны упасть и, падая, тащат за собой всех, с кем связала их судьба.

Как раз к тому времени, когда семья Крафтов оказалась в особенно стесненных обстоятельствах, Кристоф подрос настолько, что стал способен понимать происходящее вокруг.

Он уже не был единственным ребенком. Мельхиор плодил детей, нимало не задумываясь над тем, что с ними будет дальше,— Луиза рожала каждый год. Двое умерли во младенчестве. Оставалось, кроме Кристофа, еще двое: одному было три года, другому четыре. Луиза, уходя из дому, поручала Кристофу смотреть за ними, а ему и самому-то было всего шесть лет.

Для него это было большой обузой: из-за братишек приходилось отказываться от столь любимых послеобеденных прогулок в поле. Но он гордился тем, что с ним обращаются, как со взрослым, и ревностно выполнял свою обязанность. Он забавлял

малышей, как умел: показывал им свои игрушки, разговаривал с ними, подражая матери,— он ведь не раз слыхал, как она воркует над младенцем. А иногда он брал их на руки и носил по комнате — сперва одного, потом другого; он видел, как это делают взрослые. Кристофу это было нелегко: он шатался под тяжестью, стискивал зубы, изо всех сил прижимал ребенка к груди, боясь его уронить. А малышам нравилось: они вечно требовали, чтобы их носили, и когда Кристоф выбивался из сил, поднимали отчаянный рев. Много было с ними хлопот, и подчас даже непосильных для Кристофа: когда малышам случалось намочить штанишки, он не знал, что с ними делать,— тут нужны были материнские руки. Надоедали они ему смертельно — иногда так и хотелось их треснуть; но он говорил себе: «Они же маленькие, они не понимают»,— и великодушно сносил их щипки, пинки и всяческие капризы. Эрнст готов был реветь по любому поводу; он топал ногами, катался по полу от злости; это был нервный ребенок, и Луиза постоянно внушала Кристофу, что ему нельзя перечить. Рудольф — тот отличался обезьяньей хитростью, и стоило Кристофу отвернуться, возясь с Эрнстом, как он тут же начинал проказить — ломал игрушки, опрокидывал кувшин с водой, пачкал свое платьице, забирался в буфет и сбрасывал на пол тарелки.

Столько бед успевали они натворить, что, когда Луиза возвращалась домой, Кристоф вместо похвалы получал от нее одни упреки. Она, правда, не бранила его, но, глядя на произведенный в комнате разгром, говорила с досадой:

— Бедный мой мальчик, какой же ты неловкий!

Это очень огорчало Кристофа; у него становилось грустно на сердце.

Луиза, никогда не упускавшая случая немного подработать, продолжала и после замужества наниматься поварихой в богатые дома, когда там нужно было устроить парадный обед по какому-нибудь особому случаю, вроде крестин или свадьбы. Мельхиор делал вид, что ничего об этом не знает; самолюбие его страдало, но он не прочь был, чтобы Луиза работала, лишь бы ему это не было известно. Маленький Кристоф не догадывался еще о том, как сложна жизнь; он не знал иных запретов для своей воли, кроме тех, что налагали на него родители,— запретов не слишком обременительных, ибо он рос почти что без присмотра; и он мечтал скорее стать взрослым; тогда, думалось ему, он будет делать только то, что захочет! Он понятия не

имел о преградах, с которыми человек сталкивается на каждом шагу, и, уж во всяком случае, не подозревал, что его родители не всегда могут поступать по своему желанию. Когда ему впервые открылось, что люди делятся на тех, кто приказывает, и тех, кому приказывают, и что его родители не принадлежат к числу первых, все в нем возмутилось; этот день стал для него переломным.

Однажды Луиза еще с утра нарядила его в самый лучший костюм — поношенное старье, кем-то ей подаренное, которому она ценой бесконечного терпения и изобретательности ухитрилась придать приличный вид. Затем она ушла, а во вторую половину дня Кристоф, как было уговорено, отправился в тот дом, где она тогда работала. Ему было очень страшно входить одному. На крыльце, зевая по сторонам, стоял лакей. Он остановил мальчика, спросил свысока, что ему надо. Краснея от смущения, Кристоф пролепетал, что хочет видеть «госпожу Крафт»,— сказать так велела ему мама.

— Госпожу Крафт? А что тебе нужно от госпожи Крафт? — осведомился лакей, иронически подчеркивая слово «госпожа».— Ах, она твоя мать? Ступай по этой лестнице, потом по коридору в самый конец. Луиза на кухне.

Кристоф покраснел еще больше: ему стало стыдно оттого, что этот человек запросто называл его мать Луизой. Он почуял в этом какое-то оскорбление, и ему захотелось убежать на милую его сердцу реку, забиться в гущу зеленых кустов, где он любил бродить, рассказывая себе сказки.

Растворив дверь в кухню, он очутился в толпе слуг — его встретили шумными восклицаниями. В глубине, возле плиты, стояла мама и улыбалась ему ласково и чуть смущенно. Он бросился к ней и спрятал лицо в ее юбках. На ней был белый фартук, в руках — большая деревянная ложка. Но мама еще усугубила его конфуз: ей вздумалось показать сына всем присутствующим, и она велела ему поднять голову и пойти поздороваться с каждым за руку. Кристоф ни за что не хотел, он отвернулся к стене и закрылся локтем. Потом он немного осмелел: над плечом из-под руки показался блестящий, смеющийся глаз; но стоило кому-нибудь посмотреть в ту сторону — и глаз скрывался. Кристоф украдкой разглядывал людей, суетившихся в кухне. Мать была, видимо, очень занята, и какая она была важная — дома он никогда ее такой не видал. Она открывала то одну, то другую кастрюлю, что-то пробовала, распоряжалась: прибавьте того, сделайте то, уверенным тоном объясняла, как готовить то или другое блюдо, и постоянная кухарка внимала ей с почте-

нием. Кристофа распирало от гордости — как все здесь уважают его маму! Она тут самая главная, в этой великолепной кухне, сверкающей золотом и начищенной медью.

Вдруг все разговоры смолкли. Дверь растворилась. Шелестя шелками, вошла какая-то дама. Остановилась, обвела всех подозрительным взглядом. Она была уже немолода, но одета в нарядное светлое платье с широкими рукавами. И одной рукой она все время подбирала шлейф,— должно быть, боялась испачкаться. Это, однако, не помешало ей подойти к плите, заглянуть в кастрюли и даже отведать от всех кушаний. Когда она поднимала руку, рукава откидывались, и видны были голые локти. Кристоф нашел, что это очень некрасиво и неприлично. Как сухо и повелительно разговаривала она с Луизой! И как покорно отвечала ей та! Сердце у Кристофа сжалось. Он совсем притих в своем уголке, надеясь, что его не заметят, но напрасно. Дама спросила, кто этот мальчик. Луиза вытащила его из угла и, крепко держа за руки, чтобы он не мог закрыть лицо, подвела к вновь пришедшей, и, как ни хотелось ему вырваться и убежать, он каким-то смутным инстинктом понял, что на этот раз противиться нельзя. Дама вгляделась в перепуганное лицо малыша и по первому, чисто материнскому, побуждению ласково ему улыбнулась, но тотчас же приняла покровительственный вид и стала спрашивать Кристофа, как он себя ведет, ходит ли в церковь, а тот в ответ молчал как убитый. Она пожелала также посмотреть, впору ли ему пришелся костюмчик, и Луиза торопливо ответила, что в самый раз, как будто на него шито, и начала обдергивать на Кристофе курточку. Кристоф чуть не плакал: курточка была тесная, ему было больно и неудобно. И он не понимал, за что мама так благодарит эту женщину.

Потом дама взяла его за руку и сказала, что хочет познакомить со своими детьми. Кристоф бросил на мать взгляд, полный отчаяния, но Луиза так заискивающе улыбалась хозяйке, что ему стало ясно — тут на помощь нечего рассчитывать; и он поплелся за своей водительницей, как ягненок, которого ведут на бойню.

Они пришли в сад. Там было двое детей такого же примерно возраста, как и Кристоф; они сидели, отвернувшись друг от друга, оба очень сердитые,— должно быть, только что поссорились. Появление Кристофа их развлекло. Они подошли ближе и уставились на него. Дама удалилась, а Кристоф остался стоять посреди аллеи, не смея поднять глаза. Дети разглядывали его с головы до ног, подталкивали друг друга локтями, хихи-

кали. Наконец решились заговорить. Они спросили Кристофа, как его зовут, где он живет, чем занимается его отец. Кристоф молчал, онемев от страха; особенно он испугался девочки; у нее были белокурые косы, очень короткая юбочка и голые коленки.

Потом они затеяли игру. Кристоф уже начал понемножку приходить в себя, как вдруг маленький барич остановился перед ним, ткнул пальцем в его курточку и воскликнул:

— Да это моя!

Кристоф не понял. С какой стати этот мальчишка называет своей его курточку? Он негодующе замотал головой.

— Ну как же, я-то ведь знаю! — продолжал мальчик.— Это мой старый синий костюм. Вот тут еще есть пятно,— и он показал пальцем. Потом оглядел ноги Кристофа и спросил, откуда тот взял такие башмаки, все в заплатках.

Кристоф покраснел, как рак. Девочка вздернула носик и шепнула брату на ухо: это же маленький нищий! Кристоф услышал и так возмутился, что даже обрел дар речи. Он был уверен, что может одним словом посрамить своего обидчика,— и, запинаясь, придушенным голосом пролепетал: неправда, он сын Мельхиора Крафта, а его мама — кухарка Луиза! Ему казалось, что это звание не хуже всякого другого, и в этом он, конечно, не ошибался. Но дети, хотя и заинтересовались, видимо, не разделяли его мнения. Наоборот, они сейчас же приняли с ним снисходительный тон. А кем он сам будет, когда вырастет? — спросили они. Тоже поваром? А может быть, кучером? Кристоф опять умолк. Он чувствовал, что в сердце ему проникает какой-то ледяной холод.

Его молчание раззадорило маленьких барчуков. Как это часто бывает с детьми, они вдруг — неизвестно почему — невзлюбили Кристофа и стали придумывать с бессознательной детской жестокостью, чем бы еще помучить маленького бедняка. Особенно усердствовала девочка. Она заметила, что Кристофу трудно двигаться в его слишком тесной одежде, и тотчас же коварно предложила: пусть покажет, как он умеет прыгать через барьер! Принесли две скамеечки, приставили одну к другой и велели Кристофу прыгать. Несчастный мальчик не смел сказать, что́ ему мешает; собравшись с духом, он прыгнул — и растянулся на земле. Дети захохотали. Еще раз! — потребовали они. Со слезами на глазах Кристоф сделал отчаянное усилие — и перепрыгнул. Но маленькие истязатели не унимались; они решили, что барьер недостаточно высок, и принялись громоздить на него всякую всячину, пока не получилось такое соору-

жение, что вряд ли можно было через него перепрыгнуть, не сломав себе шею. Кристоф попробовал взбунтоваться: он объявил, что не станет прыгать. Тогда девочка сказала, что, значит, он просто трусишка. Этого Кристоф не снес: зная наперед, что упадет, он все-таки прыгнул — и действительно упал. Он зацепился за что-то ногой, и вся баррикада обрушилась с ним вместе. Он ободрал себе руки, чуть не разбил голову; и в довершение позора штанишки лопнули у него на коленях и еще в других местах. Кристоф не помнил себя от стыда; он слышал, как дети пляшут вокруг, радуясь его несчастью; страданье его перешло всякую меру. Он чувствовал, что его презирают, что его ненавидят — за что? За что? Он жаждал умереть. Что может сравниться с болью, которую испытывает ребенок, впервые столкнувшись с человеческой злобой! Ему кажется, что весь мир ополчился на него, и уж нигде, ни у кого не найти ему защиты,— ни у кого, нигде!.. Кристоф попытался встать; мальчик толчком свалил его на землю, девочка пинала его ногами. Он попробовал опять, тогда оба накинулись на него, уселись ему на спину, тыча его лицом в песок. И тут Кристоф вдруг словно обезумел от гнева. Нет, это уж слишком! Руки у него все в ссадинах, новый костюм испорчен, а это была катастрофа! Столько несчастий сразу! Стыд, боль, обида, возмущение против несправедливости — все вместе мгновенно вылилось в неудержимую ярость. Он уперся в землю руками и коленями, привстал, встряхнулся, как собака, сбросил с себя своих мучителей, а когда они опять хотели на него напасть, он ринулся вперед, нагнув голову, закатил девчонке оплеуху и ударом кулака опрокинул мальчишку на клумбу с цветами.

Какой тут поднялся крик! Дети бросились к дому, визжа, как будто их резали. Захлопали двери, послышались гневные возгласы. Нарядная дама прибежала бегом, путаясь в шлейфе. Кристоф видел, как она бежит к нему, но не пытался удрать. Он уже и сам испугался того, что сделал; это была неслыханная дерзость, преступление. Но он ни в чем не раскаивался. Он ждал. Он знал, что погиб. Ну и пусть! Все равно! Им овладело отчаяние.

Дама в ярости бросилась к нему. Он чувствовал удары. Он слышал, как она что-то злобно кричит, но ничего не мог понять в этом потоке слов. Его маленькие враги вернулись в сад, чтобы присутствовать при расправе; оба ревели во всю глотку. Слуги, наверно, тоже были тут — Кристоф слышал их голоса. Наконец, прибежала Луиза: ее вызвали из кухни. И тут Кристоф испытал худшую за весь день обиду, ибо, вместо того чтобы его

Потом родители перенесли свой гнев друг на друга. Отвешивая сыну пощечины, Мельхиор одновременно орал, что мальчишка прав! Чего и ждать, когда идешь в услужение к чужим людям, которые думают, что им все позволено, потому что у них есть деньги! А Луиза, награждая Кристофа тумаками, кричала мужу, что он зверь, а не человек, что она не даст ему пальцем тронуть ребенка, что он его изувечил! У Кристофа действительно текла кровь из носу, но он этого даже не замечал и не почувствовал никакой благодарности к матери, когда та принялась вытирать ему лицо мокрой тряпкой, так как она при этом больно прижимала ему нос и вдобавок не переставала браниться. В конце концов его втолкнули в темный чулан и заперли там, не дав поужинать.

Он еще долго слышал перебранку родителей, и в эту минуту он сам не знал, кого больше ненавидел — отца или мать. Должно быть, мать,— он не ожидал, что она такая злая! Ему было очень нехорошо, как будто все случившееся за день разом навалилось ему на сердце — все, что он перестрадал: несправедливость детей, несправедливость дамы, несправедливость родителей и еще эта новая, свежая рана, не осознанная им пока, но уже мучившая его больше, чем все остальное,— добровольное унижение родителей, которыми он так гордился, перед теми, другими людьми, злыми и достойными презрения. Впервые он смутно почувствовал душевную слабость своих близких, и она его оскорбляла. Все в нем было поколеблено: привязанность к родным, благоговение, которое они ему до сих пор внушали, доверие к жизни, наивная потребность любить и быть любимым, вся его вера в добро, слепая, но оттого еще более страстная. Это было полное крушение; он был раздавлен грубой силой — и нечем было защититься и не на что надеяться. Он задыхался; ему казалось, что он умирает. Но он не хотел сдаваться — еще раз, в последнем усилии, он напрягся весь, руками, ногами, головой стал биться об стену, дико закричал и в судорогах упал на пол, ушибаясь о мебель.

Отец и мать прибежали, подняли его, взяли на руки. Теперь они наперебой выказывали ему нежность. Мать раздела его, уложила в постель, села у изголовья и отошла только тогда, когда он немного успокоился. Но он не смирился; он не хотел простить мать и притворился спящим, чтобы избегнуть ее поцелуя. Злая. Трусливая. Не посмела за него заступиться. Так думал он о матери. Он не знал, как трудно было ей жить и сохранять жизнь ему, как она страдала оттого, что вынуждена была идти против собственной плоти и крови.

защитить, мать, даже не разобрав в чем дело, прежде всего дала ему затрещину, а затем велела сейчас же попросить у детей прощения. Он в бешенстве отказался. Она встряхнула его, как котенка, и потащила к нарядной даме и ее детям, требуя, чтобы он стал перед ними на колени. Кристоф вопил, топал ногами, укусил мать за руку. Наконец, вырвался и убежал под смех собравшихся слуг.

Он шел по улице, подавляя рыдания; лицо у него горело от гнева и от полученных пощечин. Он старался ни о чем не думать, только идти быстрее, потому что не хотел плакать на улице. Скорее бы домой! Там можно будет дать волю слезам. Горло у него сжималось, кровь стучала в висках; еще минута — и он не выдержит.

Наконец дошел! Бегом взбежал по темной лестнице. Вот и сконная ниша, где он любил сидеть, глядя на реку; задыхаясь, он бросился на подоконник и разразился рыданиями. Он сам не знал, о чем плачет, но ему нужно было выплакаться. И когда вылились первые слезы, переполнявшие его сердце, он продолжал плакать уже нарочно, потому что хотел плакать,— плакал даже с какой-то злобой, чтобы еще сильнее страдать, как будто своим страданием он наказывал и других, а не одного себя. Потом он вспомнил, что скоро должен вернуться отец; мама ему расскажет; мучения еще не кончились. Он решил бежать куда глаза глядят и больше никогда не возвращаться домой.

Но едва он начал спускаться по лестнице, как столкнулся с отцом.

— Ты что тут делаешь, малыш? Ты куда? — спросил Мельхиор.

Кристоф не ответил.

— Напроказил, что ли? А? Что ты сделал, признавайся!

Кристоф упорно молчал.

— Что ты наделал? — повторил Мельхиор.— Ну! Будешь ты говорить или нет?

Кристоф опять заплакал, а Мельхиор стал кричать на него. Рыдания одного и крики другого становились все громче, пока на лестнице не послышались торопливые шаги. Это возвращалась домой Луиза. Она вошла все еще расстроенная и сердитая и с ходу начала бранить Кристофа, попутно угощая его подзатыльниками, к которым Мельхиор, как только узнал в чем дело, а может быть, и раньше, прибавил от себя несколько таких затрещин, что у Кристофа зазвенело в ушах. Теперь уже оба вопили — и Мельхиор и Луиза. Кристоф захлебывался от крика.

Когда Кристоф выплакал все слезы,— бездонное море их заключено в глазах ребенка! — ему стало немножко легче. От усталости он не мог шевельнуть пальцем, он был весь разбит, но слишком напряженные нервы не давали ему заснуть. Он лежал в полузабытьи, и впечатления дня снова оживали перед ним. Особенно ярко вспоминалась ему девочка: ее блестящие глаза, презрительно поднятый носик, косы по плечам, голые ножки, манера говорить, ребяческая и вместе деланная, как у актрисы. Он даже вздрогнул — так явственно ему вдруг послышался ее голос. Он вспоминал, как глупо вел себя с нею, и сердце его глодала неутолимая ненависть. Он не прощал ей своего унижения, он жаждал унизить и ее, заставить ее плакать. Он стал придумывать, как это сделать,— и ничего не придумал. Навряд ли они даже встретятся. Она и не вспомнит никогда о нем. Он это знал, но, в утешение себе, вообразил, что все сделалось по его желанию. Во-первых, сам он прославился, стал знаменитостью и богачом. А она... ну, она, конечно, влюбилась в него. И Кристоф принялся рассказывать себе одну из тех фантастических историй, в которые под конец сам начинал верить; они становились для него реальнее, чем сама действительность.

Она любила его без памяти. А он ее презирал. Когда он проходил мимо ее дома, она провожала его взглядом, прячась за занавесками. Он знал, что она на него смотрит, но делал вид, что ничего не замечает, и весело болтал с друзьями. Он даже покидал родной город, отправлялся в далекие путешествия, чтобы еще больше ее помучить. Он совершал подвиги... Тут он вводил в свой рассказ какой-нибудь эпизод из героических повествований дедушки. А она тем временем заболевала от горя. Ее мать, эта надменная дама, приходила к нему. «Моя бедная дочь умирает,— говорила она.— Умоляю вас, посетите ее!» Он шел к ней. Она лежала в постели, бледная, исхудавшая. Она не могла говорить, но брала его руку и целовала, обливаясь слезами. Тогда он обращал к ней взгляд, полный неизъяснимой доброты и кротости. «Выздоравливайте,— говорил он,— я согласен, чтобы вы меня любили!» Эта сцена так нравилась Кристофу, что он несколько раз принимался рассказывать ее себе сначала, меняя отдельные слова и положения. И незаметно к нему подкрался сон, и он заснул утешенный.

Но когда он открыл глаза, было светло, начинался день. И этот новый день не был уже таким сияющим и безмятежным, как вчерашнее утро. Что-то изменилось в мире: Кристоф познал несправедливость.

«Жан-Кристоф». Книга первая.

Иногда в доме бывало совсем туго с деньгами. И это случалось все чаще и чаще. В такие дни все ели впроголодь. И голоднее всех приходилось Кристофу. Отец — тот ничего не замечал; он первый накладывал себе на тарелку, и на его долю всегда хватало. Громко разговаривая и сам хохоча над своими остротами, он не слышал, каким принужденным смехом отвечала ему жена, не видел, как настороженно следила она за ним, когда он брал себе кушанье, а потом передавал ей наполовину опустевшее блюдо. Луиза оделяла малышей. Когда доходила очередь до Кристофа, на блюде оставалось всего три картофелины, а мама еще не ела! Он наперед знал, что так будет,— он еще раньше успевал сосчитать все порции,— и, собравшись с духом, нарочито небрежно говорил:

— Мне только одну, мамочка.

Мама как будто удивлялась:

— Почему одну? Две, как всем.

— Нет, пожалуйста, только одну.

— Разве ты не голоден?

— Да, мне что-то не хочется.

Но тогда она и себе клала только одну. Каждый старательно очищал свою картофелину, резал на крохотные кусочки, старался есть как можно дольше. Мать поглядывала на сына. Когда он кончал, она говорила:

— Ну, возьми еще одну.

— Нет, спасибо.

— Да ты болен, что ли?

— Ничего я не болен, а просто не хочу.

И случалось, что отец обзывал его привередником и забирал последнюю картофелину. Но против этого Кристоф стал принимать свои меры: он брал сразу две и одну оставлял у себя на тарелке для Эрнста — тот всегда бывал голоден и с самого начала обеда жадным взором следил за спорной картофелиной; под конец он не выдерживал.

— Ты больше не хочешь? — спрашивал он Кристофа.— Ну, дай мне!

Ах, как ненавидел Кристоф отца в такие минуты! Почему отец нисколько не думает о них? Ведь он даже и не заметил, что съел их долю! Кристофа до того мучил голод, что в сердце у него накипала злоба — и так хотелось высказать ее вслух отцу! Но гордый мальчик считал, что не имеет на это права, потому что живет на чужой счет. Отец отнимает у них кусок хлеба — но ведь этот кусок он сам и заработал. А от него, Кристофа, никому нет никакой пользы; он сидит на чужой шее, ну,

значит, и должен молчать. Но когда-нибудь он заговорит, когда-нибудь он все скажет, если только доживет до этого дня! Да нет, куда там — он еще гораздо раньше умрет с голоду!..

Кристоф, больше чем любой другой ребенок на его месте, страдал от этих вынужденных постов: здоровый желудок требовал пищи. Временами Кристоф испытывал настоящие муки: его бросало в дрожь, начинала болеть голова, под ложечкой становилось пусто, как будто там высверлили буравом огромную дыру; и бурав все вертелся, и дыра делалась все больше. Но он не жаловался; он знал, что мама следит за ним, и старался принять равнодушный вид. Луиза догадывалась с болью в сердце, что ее первенец отказывается от еды для того, чтобы другим осталось больше; она гнала от себя это подозрение, но оно возвращалось снова и снова. Она не смела проверить, не смела в упор спросить Кристофа, правда ли это; потому что, если бы это оказалось правдой, что она могла сделать? Сама она с малых лет привыкла молча терпеть лишения: что толку жаловаться, раз нельзя ничего изменить? Но она не брала в расчет, что ей, при ее слабом здоровье и малых потребностях, было все-таки не так трудно, как Кристофу. Она не отваживалась прямо заговорить с ним, но иной раз после обеда, когда все расходились — дети на улицу, Мельхиор по делам, она просила старшего остаться и помочь ей в чем-нибудь. Кристоф держал на распяленных руках моток шерсти, мать разматывала нитку. Вдруг она все бросала, привлекала его к себе, сажала на колени,— хоть он для этого был уже слишком велик и тяжел,— страстно прижимала к груди. И Кристоф изо всех сил обнимал ее за шею; оба заливались слезами и осыпали друг друга поцелуями.

— Бедный мой мальчик!..

— Мамочка! Милая моя мамочка!..

Больше они ничего не говорили, но они понимали друг друга.

Кристоф долго не знал, что его отец пьяница. Напиваясь, Мельхиор все же не переходил известных границ, особенно вначале: он не буянил во хмелю, а только становился чересчур весел — болтал всякую чепуху, распевал песни, отбивал такт кулаком по столу, а иногда пускался в пляс и требовал, чтобы Луиза и дети составляли ему компанию. Кристоф, правда, видел, что мама в таких случаях становится очень грустной: она садилась где-нибудь в уголке, низко склонялась над работой, избегая даже смотреть на мужа, и кротко старалась его унять, когда он отпускал шуточки, от которых ее бросало в краску.

Но все это было недоступно пониманию Кристофа, а жажда веселья была в нем так сильна, что каждое шумное возвращение отца он приветствовал как праздник. Обычно в доме царило уныние, и эти сумасбродства служили Кристофу отдушиной. Он смеялся нелепым жестам и глупым шуткам отца, пел и плясал вместе с ним и очень обижался на маму, когда та сердито приказывала ему перестать. Разве это может быть дурно, если сам папа так делает? С острой детской наблюдательностью, которая ничего не пропускает и все запечатлевает в памяти, Кристоф не раз уже замечал в поведении Мельхиора много такого, с чем не мирилось его по-детски взыскательное чувство справедливости. А все-таки он обожал отца. Это такая властная потребность в ребенке! В ней проявляется, должно быть, все та же неискоренимая любовь к себе. Когда человек слаб или считает себя слабым и его желания и честолюбие поневоле остаются неутоленными, тогда он переносит свою мечту на другого — ребенок на своих родителей, старик, побежденный жизнью, на своих детей. Они совершат все то, что ему уже не удалось или что ему еще недоступно; они — борцы за его права, они его отомстители; и в этом горделивом отречении в пользу другого сладко переплетаются любовь и эгоизм. Поэтому Кристоф охотно забывал все обиды, нанесенные ему отцом, и находил тысячу оправданий для своей любви к нему: он восторгался статной фигурой Мельхиора, его мускулистыми руками, его голосом, смехом, веселостью; сиял от гордости, когда кто-нибудь хвалил виртуозную игру отца или когда тот сам, вдвое преувеличивая, рассказывал о полученных похвалах. Хвастовство Мельхиора он принимал за чистую монету и готов был видеть в отце гения, героя, вроде тех, о которых рассказывал дедушка.

Однажды вечером Кристоф сидел дома один. Было часов около семи. Младшие братья гуляли с Жан-Мишелем, Луиза на реке стирала белье. Дверь распахнулась, и появился Мельхиор, без шляпы, в растерзанной одежде. Переступая порог, он высоко задрал ногу, словно готовясь выкинуть лихое коленце, потом тяжело плюхнулся на стул. Кристоф захохотал — ну, сейчас начнется потеха! — и подошел к отцу. Но, поглядев ему в лицо, он перестал смеяться. Мельхиор сидел, свесив руки, уставившись куда-то вдаль осовелыми, беспрестанно мигавшими глазами; лицо у него было багровое, рот разинут — и из этого разинутого рта вылетали какие-то кудахтающие звуки — бессмысленный, пьяный смех. Кристоф обомлел. Он подумал в первый миг, что отец делает это нарочно, что он шутит, но Мельхиор сидел, как неживой, и Кристофу стало страшно.

— Папа! — воскликнул он.— Папа!

Мельхиор продолжал кудахтать по-куриному. Не помня себя, Кристоф схватил его за руку и тряхнул сколько было сил.

— Папа! Папочка! Да отвечай же! Скажи хоть что-нибудь!

Тело Мельхиора мотнулось в сторону, словно было без костей, и чуть не сползло со стула; голова повисла, глаза обратились к сыну: он что-то пробурчал невнятно и сердито. Когда эти тусклые зрачки глянули в глаза Кристофу, мальчика охватил настоящий ужас. Он отбежал в самый дальний угол комнаты, бросился на колени перед кроватью, зарыл лицо в подушки. Так прошло довольно много времени. Мельхиор тяжело раскачивался на стуле, все так же глупо хихикая. Кристоф затыкал себе уши, чтобы не слышать, и дрожал всем телом. Бог весть что происходило в нем в эту минуту. Он был потрясен до глубины души; ужас леденил его; и такая боль щемила сердце, как будто при нем только что умер кто-то, кого он любил и перед кем благоговел.

Никто не возвращался домой, они были одни. Темнело, и страх Кристофа возрастал с каждой секундой. Он невольно прислушивался; кровь застывала у него в жилах, когда в тишине комнаты — и еще более страшный от этой тишины — долетал к нему неузнаваемый, как будто вовсе незнакомый голос; а маятник прерывисто постукивал словно в такт этому невнятному бормотанью. Наконец Кристоф не выдержал: он решил бежать. Но чтобы добраться до двери, надо было пройти мимо отца. Еще раз увидеть его глаза! Кристоф дрожал при одной этой мысли; ему казалось — случись это, он умрет. Он пополз на четвереньках, едва дыша, не смея глянуть в сторону, замирая на месте при каждом движении Мельхиора, чьи ноги видны были под столом,— и вдруг одна заерзала! Но вот Кристоф уже у двери; трясущейся рукой он поднял щеколду и от волнения не удержал — она упала со стуком. Мельхиор повернулся к дверям, потерял равновесие и вместе со стулом грохнулся на пол. У Кристофа с перепугу подкосились ноги; он застыл, прильнув к стене, остолбенело глядя на отца, распростертого на полу, и отчаянным голосом стал звать на помощь.

Падение немного отрезвило Мельхиора. Он выругался, помянул бога и черта, треснул кулаком стул, сыгравший с ним такую штуку, попытался встать. Это ему не удалось. Тогда он сел поудобнее, прислонившись к ножке стола, и стал обозревать окрестность. Он увидел плачущего навзрыд Кристофа и поманил его к себе. Кристофу очень хотелось убежать, но ноги не слушались. Мельхиор опять его позвал, а увидев, что мальчик не

идет, разразился бранью. Кристоф наконец подошел, дрожа всем телом. Мельхиор привлек его к себе, посадил на колени. Для начала он надрал ему уши и заплетающимся языком повел речь о том, что дети должны почитать своих родителей. И тут же настроение его изменилось,— он принялся подкидывать Кристофа на коленях, хохоча во все горло и бормоча какой-то вздор. Затем, без всякого перехода, им овладели мрачные мысли: он начал оплакивать судьбу Кристофа и собственную горькую участь; сжимая мальчика в объятиях, так что тот чуть не задыхался, он осыпал его поцелуями и поливал слезами; а под конец стал баюкать, как младенца, и громко затянул «De Profundis». Кристоф не делал попыток высвободиться: он оцепенел от страха и отвращения. В нос ему било винным перегаром и зловонной отрыжкой, все лицо было мокро от пьяных слез отца и его слюнявых поцелуев; он задыхался, его тошнило. Он хотел закричать, но ни один звук не вылетел из его горла. Этот кошмар продолжался, как ему казалось, целую вечность; вдруг растворилась дверь, и вошла Луиза, неся в руках корзину с бельем. Она вскрикнула, уронила корзину, бросилась к Кристофу и с нежданной силой вырвала сына из объятий Мельхиора.

— Ах ты! — закричала она.— Мерзкий пьяница!

Глаза ее пылали гневом.

Кристоф подумал, что отец убьет ее. Но Мельхиора так поразил грозный вид жены, что он даже не пикнул, а потом ударился в слезы. Он валялся на полу, колотясь головой о стулья, причитая и всхлипывая: да, да, она права, он мерзкий пьяница, он разорил семью, пустил детей по миру, лучше ему умереть! Луиза с презрением отвернулась. Она унесла Кристофа в другую комнату, ласкала его, старалась утешить. Но мальчик только дрожал и на все ее расспросы не отвечал ни слова; потом вдруг разразился рыданиями. Луиза обмыла ему лицо, нежно его уговаривала, плакала вместе с ним. Наконец, оба успокоились. Луиза опустилась на колени, поставила Кристофа рядом с собой. Они стали молиться: дай, господи, чтобы папа исцелился от этого отвратительного порока и опять стал таким же добрым и хорошим, каким был раньше! Луиза уложила мальчика в постель; он умолял ее не уходить, подержать его за руку. И она полночи просидела с ним: у Кристофа сделался жар, он бредил. А в комнате рядом храпел Мельхиор, растянувшись на полу.

Вскоре после этого с Кристофом в школе случилась неприятность. Он не был примерным учеником и заслужил нелюбовь учителя, так как двух минут не мог посидеть смирно и никогда не учил уроков. Действительно, в классе он занимался

главным образом тем, что разглядывал мух на потолке или толкал в бок соседа, стараясь спихнуть его с парты; там, где сидел Кристоф, вечно слышался смех. Но однажды спихнули его самого; он шлепнулся на пол, и учитель, распекая его, позволил себе намекнуть на некое всем в городе известное лицо, по чьим стопам Кристоф, по-видимому, намерен следовать. Дети расхохотались, и кое-кто поспешил уточнить этот намек в весьма ясных и далеко не учтивых выражениях. Кристоф поднялся на ноги, весь красный от стыда, схватил чернильницу и запустил в голову первому, на чьем лице увидал усмешку. Учитель налетел на него с кулаками; Кристофа высекли, поставили в угол, задали в наказание двойной урок.

Он вернулся домой бледный и молчаливый, скрывая ярость, и объявил, что больше в школу не пойдет. На его слова не обратили внимания. Но когда на следующее утро мать напомнила ему, что пора уже идти, он совершенно спокойно ответил:

— Я же сказал, что не пойду!

Тщетно Луиза усовещивала его, бранилась, грозила — ничто не помогало. Кристоф сидел в углу, упрямо сдвинув брови. Мельхиор исколотил его без пощады; Кристоф отчаянно ревел, но после каждой трепки — а отец несколько раз принимался за него — он на все уговоры отвечал с еще большей злобой: «Нет!» Его просили хоть объяснить, почему он не хочет; он стискивал зубы и молчал. Наконец Мельхиор сгреб его в охапку, насильно отнес в школу и усадил за парту. Тогда Кристоф принялся не спеша приводить в негодность все, что было у него под рукой: разбил чернильницу, сломал перо, изорвал учебник и тетрадки — все это он делал в открытую, вызывающе глядя на учителя. Его заперли в темный карцер. Немного погодя учитель зашел туда и увидел, что Кристоф, обмотав шею платком, изо всех сил тянет за концы: он хотел удавиться.

Пришлось отослать его домой.

Кристоф был выносли́в, как все Крафты. От отца и деда он унаследовал могучее здоровье. В семье вообще не принято было нежничать: здоров ты или болен — жаловаться не полагалось, и никакая сила в мире не могла, кажется, заставить Мельхиора и Жан-Мишеля отступить от постоянных своих привычек. Они выходили в любую погоду, и летом и зимою; часами мокли под дождем или жарились на солнце, не удостаивая даже запахнуть воротник или покрыть голову, то ли по небрежности, то ли из молодечества; вышагивали, без всяких признаков усталости, милю за милей и с презрительным сожалением смотрели на бедную Луизу, которая не смела ничего сказать, но то и дело

останавливалась, бледная как полотно,— ноги у нее распухали, а сердце, казалось, готово было выскочить из груди. Кристоф почти что разделял их пренебрежение к матери: сам он просто не понимал — что это такое быть больным; и если ему случалось упасть, ушибиться, порезаться, обжечься, он не плакал, а только злился, как на врага, на причинивший ему боль предмет. Грубость отца и маленьких товарищей Кристофа — уличных мальчишек, с которыми он дрался,— послужила ему хорошей закалкой. Он привык стойко переносить удары и нередко являлся домой с разбитым в кровь носом и шишками на лбу. Один раз Кристофа даже пришлось спасать: его вытащили из свалки еле живого, ибо противник, насев сверху, в упоении колотил его головой о мостовую. Все это Кристоф находил в порядке вещей и всегда готов был на удар ответить ударом.

И вместе с тем он многого боялся. Правда, никто об этом не знал. Кристоф был очень горд и скорее бы умер, чем выказал себя трусом, но долгое время — несколько лет подряд — его детство было омрачено постоянными страхами. Особенно тяжелы были два-три года: страх мучил его тогда, как болезнь.

Его пугало то неведомое, что таится в темноте, злые силы, подстерегающие все живое, чудовища и уроды, чей фантастический образ ребенок с трепетом носит в своем мозгу и невольно примешивает ко всему, что видит. Быть может, то всплывали в нем последние остатки древней, вымершей фауны или вновь оживала память о призраках, терзающих младенца в первые дни по выходе из небытия, о снах в плену материнского лона, о пробуждении зародыша в недрах материи.

Он боялся, например, двери на чердак. Она открывалась на лестницу и почти всегда стояла полуотворенная. Когда надо было пройти мимо, сердце у Кристофа начинало колотиться. Он бросался бегом и прыгал через три ступеньки. Ему казалось, что кто-то гонится за ним. А в те дни, когда дверь бывала закрыта, он ясно слышал, через форточку для кошек, что там внутри что-то шевелится. И не удивительно — на чердаке было полно крыс. Но Кристоф представлял себе нечто совсем иное — скелет с клочьями мяса на костях, лошадиную голову, глаза, от взгляда которых можно умереть. Он не хотел об этом думать, но ему думалось против воли. Дрожащей рукой он пробовал, хорошо ли задвинута задвижка; и хотя знал, что запор надежен, все же десять раз оборачивался, пока спускался по ступенькам.

Он боялся ночью выходить из дому. Ему случалось иногда допоздна задерживаться у дедушки, а иногда его вечером посылали к старику с каким-нибудь поручением. Старый Крафт

жил на отлете, в крайнем доме на шоссе по дороге в Кельн. От последних освещенных окон города надо было пройти еще шагов триста; Кристофу это расстояние казалось втрое больше. В одном месте дорога делала поворот, тут даже городские огни пропадали из виду. Кругом были только пустынные поля; в сумерках земля становилась черной, небо зловеще-бледным. Когда кончались кусты, росшие по краям дороги, и Кристоф поднимался на пригорок, впереди низко над горизонтом еще тлели желтые отблески заката. Но этот свет ничего не освещал: он давил на сердце хуже любого мрака, и темнота от него делалась еще гуще,— это был какой-то похоронный свет. Тучи нависали над самой землей. Кусты становились огромными; в них что-то шевелилось. Голые деревья походили на уродливых стариков. Белые придорожные столбики тускло отсвечивали, как саван на покойнике. Тьма оживала. В канавах, притаившись, сидели гномы, в траве вспыхивали искры, что-то проносилось в воздухе, что-то стрекотало, потрескивало то тут, то там, не поймешь где. Кристоф каждый миг ожидал увидеть что-то ужасное, противное всем законам естества. Он пускался бежать со всех ног, и сердце у него билось, как птица в клетке.

Завидев свет в окнах у дедушки, он успокаивался. Но иногда оказывалось, что старый Крафт еще не вернулся. Это было хуже всего. В ветхом доме, затерянном среди полей, на Кристофа даже и днем иной раз находила жуть. Он не боялся, когда дедушка был дома, но иногда старик куда-нибудь отлучался, не сказавшись Кристофу. Мальчик не сразу это замечал. Комната выглядела так мирно. Всюду давно знакомые, привычные предметы. Широкая кровать из некрашеного дерева; на полочке у изголовья большая Библия; на камине букетики бумажных цветов и выстроившиеся в ряд фотографии обеих жен старого Крафта и его одиннадцати детей; под каждой старик записал даты рождения и смерти того, кто был на ней изображен. По стенам в рамках стихи из Священного писания и две плохие литографии — Моцарт и Бетховен. В одном углу кабинетный рояль, в другом виолончель; несколько полок — и на них книги, в большом беспорядке; развешенные на крючках трубки; на подоконнике горшки с геранью. Казалось, тебя со всех сторон окружают друзья. В комнате рядом слышались шаги дедушки; он что-нибудь строгал или приколачивал, а иногда разговаривал сам с собой, обзывал себя дураком, басистым голосом напевал вперемежку отрывки из хоралов, сентиментальные Lieder[1],

[1] Песни *(нем.)*.

воинственные марши и застольные песни. Кристоф чувствовал себя в безопасности. Он сидел в большом кресле у окна с книгой на коленях и рассматривал картинки. День угасал, становилось все темнее; под конец Кристоф уже не глядел в книгу: он грезил бог весть о чем с открытыми глазами. Издалека с дороги доносилось тарахтенье телеги; на лугу мычала корова. В городе устало и сонно начинали звонить к вечерне колокола. Неясные желания, смутные предчувствия вставали в сердце замечтавшегося ребенка.

Вдруг Кристоф пробуждался от грез, охваченный беспокойством. Он поднимал глаза — темно! Он прислушивался — тишина! Значит, дедушка ушел. Давно или только сейчас? Дрожь пробегала по спине Кристофа. Он выглядывал в окно: может быть, дедушка не успел еще уйти далеко? Но дорога была пуста. И тотчас все знакомые предметы принимали угрожающий вид. Господи! А вдруг *оно* войдет! Что? Кристоф и сам не знал. Но что-то ужасное. Ни одна дверь в доме толком не запиралась. А на лестнице уже скрипнула ступенька как будто под чьими-то шагами. Кристоф вскакивал одним прыжком, перетаскивал кресло, оба стула и стол в самый укромный угол комнаты. Он сооружал из них ограду — кресло к стене, слева один стул, справа другой, спереди стол. Посередине он ставил стремянку и забирался на самый верх, захватив ту книгу, которую читал, и еще несколько других, как боеприпасы на случай осады. Тут он вздыхал свободнее, ибо у него был уговор с самим собой, правило, созданное его ребяческим воображением: он свято верил, что враг ни за что не посмеет переступить за ограду. Это ему не дозволено.

Но враг иногда появлялся из книги, которую Кристоф держал в руках. Среди ветхих книжиц, без разбору накупленных старым Крафтом, попадались иллюстрированные; и некоторые из этих иллюстраций произвели неотразимое впечатление на Кристофа: они и притягивали его и страшили. Сюжеты были самые фантастические: какое-нибудь искушение святого Антония — одна из тех странных картин, на которых птичьи скелеты гадят в графины, в распоротых лягушечьих животах копошатся, как черви, мириады зародышей, отрезанные головы выступают на звериных лапах, толстые зады играют на трубе, а кухонная утварь и трупы животных шествуют торжественным шагом, драпируясь в простыни, и приседают в глубоком реверансе, словно старые дамы. Эти картинки внушали Кристофу отвращение, но его так и тянуло еще раз поглядеть — и отвра-

щение только усиливало соблазн. Он подолгу их рассматривал и одновременно косился на занавеску: не шевелится ли она, не прячется ли что-то там, в складках? Но еще омерзительнее был рисунок в анатомическом атласе, изображавший ободранного человека. Кристоф не решался перевернуть страницу, когда подходил в книге к этому месту. Грубо раскрашенная схема приобретала для него необычайную живость; творческое воображение, присущее детям, дополняло недостатки рисунка. Кристоф не видел разницы между этой пачкотней и действительностью. Ночью, во сне, эти немудреные изображения вставали перед ним с большей яркостью, чем все увиденное за день.

Он боялся заснуть. Несколько лет подряд страшные сны отравляли ему ночной отдых. Он блуждал по бесконечному, тесному подземелью; вдруг в слуховое окно просовывался ободранный человек и корчил ему отвратительные гримасы. Или же он сидел один в комнате; вдруг в коридоре раздавался шорох шагов,— Кристоф бросался к двери, он успевал еще ухватиться за ручку, но кто-то стоял по ту сторону, кто-то тянул дверь к себе; Кристоф никак не мог повернуть ключ, руки у него слабели, он звал на помощь — ему хорошо было известно, *кто* стоит за дверью, *кто* хочет войти! Или он был дома среди своих; вдруг лица их искажались, они начинали проделывать самые невероятные вещи... Или же он спокойно сидел, читая; внезапно он чувствовал, что он не один — что-то копошилось вокруг... Он хотел бежать — руки и ноги у него были связаны; хотел закричать — рот у него был заткнут. Чья-то омерзительная рука сжимала ему горло. Он просыпался, задыхаясь, стуча зубами, и долго еще дрожал, как в лихорадке: даже пробуждение не освобождало его от страха.

Он спал с братьями в тесном чуланчике без окон и двери; старая занавеска на железном пруте отделяла их угол от спальни родителей. В спертом воздухе было трудно дышать. Братья, спавшие в одной с ним постели, брыкались во сне. Голова у Кристофа горела; не сон, а какое-то лихорадочное полузабытье овладевало им: все дневные заботы и огорчения возвращались удесятеренные, чтобы снова его мучить. В этом напряженном состоянии, близком к кошмару, малейший звук причинял ему боль. Треск половицы пугал его до дрожи. Сонное дыхание отца становилось все громче, громче, раскатывалось по всей комнате — и Кристоф холодел от страха: это уже не человек дышал, нет, там в углу притаилось какое-то страшное животное. Ночная темнота давила Кристофа; казалось, этому не будет конца, утро никогда не наступит, он уже целые месяцы лежит

во мраке. Задыхаясь, он приподнимался в постели, садился, отирал рукавом рубашки мокрый от пота лоб. Иногда он толкал Рудольфа в надежде, что тот проснется, но братишка только что-то бурчал сквозь сон, стаскивал с Кристофа последний уголок одеяла и засыпал еще крепче.

Так продолжалось, пока на пол из-под края занавески не ложилась тусклая, чуть светлеющая во мгле полоска. Это первое, робкое предвестие далекой еще зари проливало мир в душу Кристофа. Он улавливал эту смутную белизну, когда еще ничей глаз не смог бы отличить ее от тени. И тотчас лихорадка начинала спадать, биение крови утихало, как будто вышедшая из берегов река мирно возвращалась в свое русло. По всему телу разливалось ровное тепло, воспаленные от бессонницы веки смыкались сами собой.

Но вечером он опять со страхом ждал часа, когда надо будет ложиться спать. Он решал про себя, что ни за что не поддастся сну, что будет бодрствовать всю ночь — что угодно, только не переживать опять эти ужасы! Но усталость брала свое, и, как раз когда он меньше всего ожидал, на него вновь набрасывались чудовища.

О, грозная ночь! Столь мирная для большинства детей, но для иных столь мучительная! Кристоф боялся заснуть. И боялся не засыпать. Во сне ли, наяву ли под покровом ночи его обступали безобразные видения, призраки, порожденные его собственным мозгом, таинственные страшилища, населяющие предрассветный сумрак детства, так же как населяют они мрачную полутьму болезни.

Но вскоре пришел для Кристофа час, когда все эти воображаемые страхи отступили перед страхом величайшим, тем, который грызет всех людей и который мудрость тщетно силится отрицать или забыть,— перед страхом Смерти.

Однажды, когда Кристоф зачем-то рылся в шкафу, под руку ему попались две вещицы, которых он еще не видал,— детское платьице и полосатая шапочка. Он с торжеством принес свою находку матери, но Луиза, вместо того чтобы улыбнуться, строго приказала ему положить все обратно. Кристоф не сразу послушался: он стал спрашивать, почему эти вещи нельзя трогать; тогда мама, не отвечая, вырвала их у него из рук и спрятала на самую верхнюю полку, куда он не мог дотянуться. Это разожгло его любопытство, и он до тех пор приставал к матери, пока она наконец не объяснила, что платьице и шапочка принадлежали маленькому братцу, который умер еще до того, как Кристоф родился. Кристоф был очень удив-

лен: он даже никогда не слыхал об этом маленьком братце. Помолчав с минуту, он опять принялся за расспросы. Мама отвечала как-то рассеянно, но рассказала все-таки, что маленького братца тоже звали Кристофом, только он был куда умнее и послушнее. Кристоф спрашивал еще и еще, но маме, видно, не хотелось говорить: она ответила только, что сейчас братик на небе и молится за всех родных. Больше Кристоф от нее ничего не добился. Под конец она даже прикрикнула на него: замолчи и не мешай работать! И склонилась над шитьем; вид у нее был озабоченный, она не поднимала глаз. Но немного погодя она посмотрела на Кристофа, который, надувшись, сидел в углу, улыбнулась и сказала: «Иди на улицу, играй...»

Этот случайный разговор глубоко взволновал Кристофа. Значит, у мамы был еще ребенок, еще один маленький мальчик, совсем как он, и звали его тоже Кристофом — и он умер! Что такое «умер», Кристоф ясно себе не представлял; он знал только, что это что-то страшное. И подумать только, что об этом другом Кристофе в семье никогда не говорили: он был совершенно забыт. Значит, и с ним так будет, если он умрет? Эта мысль еще грызла Кристофа, когда вечером все сели за стол и сам он вместе со всеми; он смотрел на них и видел, что они смеются, он слышал, как весело они разговаривают о всяких пустяках. Вот так же они будут болтать и смеяться, когда и он умрет! Кто бы подумал, что мама может быть такой бессердечной! Смеяться после того, как у нее умер маленький сыночек! В эту минуту Кристоф ненавидел всех своих родных; ему до слез было жаль себя: он заранее оплакивал свою смерть. Вместе с тем ему о стольком хотелось расспросить маму! Но он не осмеливался: он помнил, как сердито она велела ему замолчать. Под конец он не выдержал. Когда он уже лег и Луиза пришла поцеловать его на ночь, он вдруг сказал:

— Мама! Он тоже спал в этой кроватке?

Луиза вздрогнула.

— Кто? — спросила она с деланным безразличием.

— Маленький мальчик... тот, что умер,— продолжал Кристоф, понизив голос.

Мать вдруг стиснула его в объятиях.

— Молчи, молчи! — вскрикнула она.

Голос Луизы дрожал. Кристоф, припав к груди матери, слышал, как сильно забилось у нее сердце. Мгновение оба молчали; потом мама сказала:

— Не надо об этом говорить, мой маленький... Никогда не надо. Спи спокойно... Нет, он не спал в этой кроватке.

Она поцеловала Кристофа, и ему показалось, что щека у нее мокрая. Ах, если бы знать наверное!.. Ему стало немного легче: значит, мама все-таки горюет об умершем мальчике. Но через минуту он опять усомнился: из соседней комнаты донесся к нему голос матери — совсем спокойный, такой, как всегда. Что же правда: то, что сейчас, или то, что было минуту назад?.. Он долго ворочался в постели, не находя ответа. Ему хотелось, чтобы мать страдала,— жалко, конечно, маму, но это так бы его утешило! Он бы не чувствовал себя таким одиноким. И он заснул, а на другой день уже не вспоминал о вчерашнем.

Неделю или две спустя один из мальчиков, с которыми Кристоф играл, не пришел в обычное время на улицу. Другой мальчик сказал, что он болен, и дети скоро привыкли к его отсутствию: оно имело объяснение, все было очень просто. Но однажды вечером Кристоф лежал в постели; было еще не поздно; из закоулка, где стояла кровать, Кристоф видел свет в спальне. В дверь постучали — пришла соседка. Кристоф только в пол-уха слушал ее разговор с родителями — он, по обыкновению, рассказывал себе какую-то историю; слова доходили до него урывками. Вдруг он услышал, как соседка сказала: «Он умер». Сердце у Кристофа остановилось: он сразу понял, о ком идет речь. Затаив дыханье, он стал прислушиваться. Отец и мать что-то говорили, изумлялись, жалели. Потом отец громко крикнул:

— Кристоф! Слышишь? Бедняжка Фриц умер.

Кристоф сделал над собой усилие и ровным голосом ответил:

— Да, папа.

Грудь его сжимало, как тисками.

Мельхиор рассердился.

— «Да, папа»! Больше тебе нечего сказать? Тебя это не огорчает?

Луиза, лучше понимавшая сына, шикнула на Мельхиора:

— Тсс. Не мешай ему спать!

Они заговорили тише. Но Кристоф все слышал — он был весь внимание, и ни одна подробность от него не ускользнула: как мальчик захворал — его болезнь называлась тифом,— как ему делали холодные ванны, как он бредил, как горевали родители. Кристоф едва дышал, какой-то комок застрял у него в горле; он дрожал, точно в лихорадке; эти страшные подробности неизгладимо запечатлелись в его сознании. Больше всего его потрясло то, что эта болезнь заразная,— значит, и он, Кристоф, может ~~ее~~ схватить и тоже умереть, как тот! Он похоло-

дел от ужаса: ведь он брал Фрица за руку, когда они виделись в последний раз; и не дальше как сегодня он проходил перед самым их домом! Но он молчал, притворяясь спящим, чтобы не надо было говорить, и когда отец, проводив соседку, окликнул его: «Кристоф! Ты спишь?» — он не ответил. Он слышал, как Мельхиор сказал Луизе:

— Совершенно бессердечный ребенок!

Луиза ничего не ответила, но минуту спустя тихонько отдернула занавеску и поглядела на Кристофа. Он едва успел закрыть глаза и задышать ровно — он помнил, что так дышали во сне его братья. Луиза отошла на цыпочках. А как ему хотелось ее позвать! Сказать, что ему страшно! Умолять, чтобы она его спасла или хоть успокоила! Но он боялся, что над ним станут смеяться, что его назовут трусом; да кроме того, он понимал, что никакие успокоения не помогут. И долго еще, час за часом, он лежал без сна, в невыносимой тревоге; он чувствовал, что болезнь уже заползает в него — вот заболела голова, вот уже давит сердце, и он твердил про себя в отчаянии: «Кончено, все кончено, я захворал, я умру! Умру!..» Раз он даже привстал в постели, тихонько позвал маму. Но мать и отец спали, и он не посмел их будить.

С этого дня все его существование было отравлено мыслью о смерти. Его мучили беспричинные нервные боли — стеснение в груди, колотье, удушье. И в самом ничтожном симптоме его расстроенное воображение видело предвестие конца, подкрадывающиеся шаги страшного зверя, который отнимет у него жизнь. Сколько раз он переживал предсмертные муки, сидя в двух шагах от матери, а она и не догадывалась! Ибо при всем своем малодушии Кристоф имел достаточно мужества, чтобы скрывать страх; его побуждали к тому самые разные чувства: гордость — он не желал ни у кого просить помощи; стыд — он не хотел признать себя трусом; любовь — ему жаль было беспокоить маму. Но про себя он думал: «Я болен, болен, на этот раз уж наверно, я тяжело заболел. У меня начинается ангина...» Где-то он услыхал это название, и оно засело у него в памяти. «Господи! Только бы на этот раз не умереть!»

Кристоф был верующий мальчик. Он с готовностью принимал все, что ему внушала мать: что душа после смерти возносится к богу и, если она была праведной, идет в рай. Но эта перспектива скорее пугала его, чем привлекала. Ему не казалась завидной участь добрых детей, которых, по словам матери, бог в награду за хорошее поведение призывает к себе во время сна и без страданий берет на небо. Засыпая, он вся-

кий раз дрожал от страха: а что, если богу придет в голову призвать его, Кристофа! Как это, должно быть, страшно — вдруг вырвут тебя из теплой постельки и потащат через необозримые пространства, а потом поставят перед лицом божьим! Бога он представлял себе в виде огромного солнца с громовым голосом; стоять перед ним, наверно, очень больно! От него, наверно, пышет огнем — и глаза тебе спалит, и уши, и самое сердце. А кроме того, бог ведь может и наказать; разве наперед угадаешь!.. К тому же это вознесение на небо не исключало всех прочих ужасов, которых Кристоф подробно не знал, но о которых догадывался по разговорам взрослых: тело твое положат в ящик и опустят в яму, и будешь там лежать в тесноте, среди других могил, на этом противном кладбище, куда Кристофа иногда водили молиться... Господи! Господи! Как это грустно — умирать!..

Правда, и жить было невесело: вечно ходить голодным, видеть пьяного отца, терпеть побои, всячески мучиться — от злых шуток других детей, от оскорбительной жалости взрослых — и не находить ни в ком понимания и сочувствия, даже в собственной матери. Каждый старается тебя унизить, никто тебя не любит, ты всегда один, один, тебя ни во что не ставят! Да, но именно это и пробуждало в нем жажду жизни. Гнев закипал в нем, и в гневе он черпал силу. Странная это была сила! Она еще ничего не могла, она казалась какой-то далекой, связанной, скованной, оцепенелой: Кристоф не знал, ни чего она хочет, ни чем станет в будущем. Но она была в нем — это он знал; он чувствовал, как она бурлит и клокочет. Завтра, завтра она всем им покажет! Он бешено хотел жить, чтобы отомстить за все свои страдания, за все несправедливости — покарать злых, совершить великие подвиги. «Ах, только бы дожить до...— тут он на мгновение задумывался,— до восемнадцати лет!» Иногда он увеличивал срок: «До двадцати одного года!» Это уже был предел. Кристоф считал, что этого ему хватит, чтобы покорить мир. Он вспоминал своих любимых героев — Наполеона и другого, более отдаленного во времени, но более близкого его сердцу, Александра Великого. Он тоже станет таким, как они, только бы прожить еще двенадцать лет... пусть даже десять! Тех, кто умирал в тридцатилетнем возрасте, Кристоф нисколько не жалел. Это уже старики; вон им сколько было отпущено жизни! Если она им не удалась, значит, сами виноваты. Но умереть сейчас — какая обида! Исчезнуть, когда ты еще совсем маленький, навсегда остаться в людской памяти несчастным мальчишкой, которого

всякий мог бранить и попрекать! Кристоф плакал от ярости, как будто жизнь его уже была кончена.

Этот ужас перед смертью преследовал его долгие годы — большую часть детства, и только отвращение к жизни, мысль о беспросветном ее унынии умеряла по временам терзавший его страх.

Но среди этого гнетущего мрака, как раз тогда, когда с каждым часом все теснее смыкалась вокруг угрюмая тень, перед Кристофом, как звезда, затерянная в ночи, впервые забрезжил свет, который должен был озарить всю его жизнь: божественная музыка...

Дедушка подарил своим внукам рояль. Это была старая рухлядь, которую ему даром отдали в каком-то богатом доме, только бы сбыть с рук; но старый Крафт, затратив уйму терпения и изобретательности, ухитрился кое-как подлечить калеку. Подарок деда не вызвал больших восторгов. Луиза жаловалась, что в комнате и без того было тесно, а теперь уж и вовсе не повернешься; Мельхиор заметил, что папенька любит дарить так, чтобы себе не в убыток. Разве это рояль? Дрова! Один только Кристоф, сам не зная почему, обрадовался новому пришельцу. Рояль представлялся ему волшебной шкатулкой, битком набитой чудесными историями, вроде той книги сказок — томика «Тысячи и одной ночи»,— из которой Жан-Мишель иногда читал ему вслух две-три странички, равно восхищавшие и дедушку и внука. Еще в первый день, как только рояль привезли, Мельхиор присел к нему, чтобы попробовать звук,— и Кристоф услышал, как из-под пальцев отца пролился вдруг мелкий дождь арпеджий, словно те блестящие капли, что осыпаются с мокрых после ливня ветвей, когда их встряхнет порывом теплого ветра. Кристоф забил в ладоши и крикнул: «Еще!» — но Мельхиор с презрением захлопнул крышку и объявил, что рояль никуда не годится. Кристоф не посмел настаивать — только с этого дня он бродил, словно приворожденный, вокруг рояля и, стоило взрослым отвернуться, тихонько поднимал крышку и осторожно нажимал клавишу — так, бывало, он тыкал пальцем в зеленый кокон какого-нибудь крупного насекомого, чтобы посмотреть, что оттуда выползет. Иногда второпях он ударял слишком сильно; тогда мать кричала на него:

— Да посиди ты, наконец, спокойно! Все тебе надо руками трогать!

А случалось, что, захлопывая крышку, он больно прищемлял себе палец и корчил жалобные гримасы, посасывая ушибленное место...

Теперь он радовался, когда мать уходила из дому — в город ли за покупками или на работу,— она по-прежнему нанималась иногда кухарить. Кристоф чутко прислушивался к ее шагам: вот они на лестнице, вот уже на улице... Вот их уже не слышно. Он один. Он открывает рояль, подтаскивает стул, взбирается на сиденье; подбородок его приходится чуть повыше клавиш — ничего, хорошо и так. Зачем ему нужно быть одному? Ему не запретили бы играть, лишь бы не очень громко; но ему стыдно перед другими, при них он не смеет. И потом, когда кто-нибудь дома, в комнате ходят, разговаривают — это портит все удовольствие. Совсем другое дело, когда ты один,— как тогда хорошо!.. Кристоф даже старается не дышать, чтобы стало еще тише, да и, кроме того, ему немножко теснит грудь от волнения, как будто он готовится выстрелить из пушки. С бьющимся сердцем он кладет палец на клавишу, отнимает его, не нажав до конца, кладет на другую... Какую выбрать? Что скрыто в этой? А что вон в той?.. Внезапно рождается звук — иногда он низкий, иногда высокий, иногда звенит, как стекло, иногда раскатывается, как гром. Кристоф подолгу вслушивается в каждый, он следит за тем, как постепенно затихают и гаснут звуки... При этом они словно бы колеблются, становятся то громче, то слабее, как колокольный звон, когда его слышишь где-нибудь в поле и ветром его то наносит прямо на тебя, то относит в сторону. А если хорошенько прислушаться, то там, в глубине, можно различить еще и другие голоса — они переплетаются, порхают, вьются, как рой мотыльков, они словно зовут, увлекают тебя куда-то... все дальше, дальше... в ту таинственную даль, где они тонут и замирают... Исчезли... Нет! Еще слышен их лепет... Биение крыльев... Как все это странно! Они — точно духи. А вместе с тем они повинуются тебе: сидят вот запертые в этой старой коробке! Нет, это просто удивительно!

Но лучше всего получается, когда положишь один палец на одну клавишу, а другой на другую и нажмешь обе сразу. Никогда нельзя наперед сказать, что из этого выйдет. Иногда эти два вызванных духа оказываются врагами: они сердятся, дерутся, ненавидят друг друга, они обиженно ворчат; их голос превращается в крик, порою гневный, порою жалобный. Кристофу это страшно нравится: ему чудится, что это два скованных чудовища грызут свои цепи и бьются в стены своей тюрь-

мы — вот сейчас они сбросят путы и вырвутся на свободу, как те джинны, о которых говорится в арабских сказках,— могучие духи, запертые в ларец и запечатанные печатью Соломона. А другие как будто хотят подольститься к тебе, они ласкаются, заигрывают, но чувствуешь, что они вот-вот укусят — какие-то они беспокойные... Кристоф не понимает, чего они хотят, но они и привлекают его и тревожат — он даже слегка краснеет от смущения. А есть звуки, которые любят друг друга: они обнимаются и целуются, как люди; они ласковые и прелестные. Это добрые духи; у них нежные, смеющиеся лица, без единой морщинки; они любят маленького Кристофа, и Кристоф их любит; он слушает их со слезами на глазах и готов вызывать их снова и снова. Это его друзья, дорогие, любимые друзья...

Так бродит ребенок в чаще звуков, ощущая вокруг себя тысячи неведомых сил, которые манят его и подстерегают,— то ли чтобы приласкать, то ли чтобы поглотить...

Однажды Мельхиор застиг его за этим занятием. Кристоф даже подскочил на стуле, услыхав вдруг над собой громкий голос отца, и поспешно закрыл руками уши,— его ведь всегда драли за уши, когда ему случалось в чем-нибудь провиниться. Но, против ожидания, его не разбранили; наоборот, отец смотрел на него с любопытством, добродушно посмеиваясь.

— Ишь ты! — сказал Мельхиор и ласково потрепал сына по голове.— Значит, это тебе интересно, а, малыш? Хочешь, я поучу тебя играть?

Хочет ли он!.. Кристоф пролепетал: «Да!» — не помня себя от радости. Оба уселись рядом,— отец предварительно положил на стул Кристофа несколько толстых книжек — и начался первый урок. Вряд ли у Мельхиора был когда-нибудь такой внимательный ученик. Кристоф ловил каждое его слово. Он узнал в первую очередь, что эти говорливые духи имеют названия: у них были странные имена, как у китайцев,— из одного слога, даже из одной буквы. Это очень удивило Кристофа: он представлял себе их прозвища совсем другими — звучными и красивыми, как у принцесс в сказках. И ему не нравилось, что отец так запросто говорит о них. Впрочем, и сами духи, когда их вызывал Мельхиор, были уже не те, что раньше; вылетая из-под его пальцев, они утрачивали таинственность. Все же Кристофу любопытно было услышать, что они находятся друг с другом в определенных отношениях, что у них своя иерархия; гаммы развертывались, словно армия с королем во главе или вереница шагающих гуськом негров. Он с удивлением узнал, что каждый солдат или каждый негр, в

свою очередь, может стать монархом или вожаком в другой подобной же колонне, что можно даже выстроить их в целые батальоны и заставить маршировать из одного конца клавиатуры в другой. Его очень забавляло, что он держит в руках нить, управляющую их движением. Но все это было уже гораздо проще и ребячливее, чем то, что виделось ему раньше. Куда девался его волшебный лес! Скучно ему все же не было, и он усердно трудился, дивясь про себя терпению отца. Тому не лень было по десять раз заставлять Кристофа проигрывать одно и то же. Это растрогало мальчика. Вот ведь как папа для него старается! Значит, он его любит? Какой он добрый! И Кристоф сам старался изо всех сил: благодарность переполняла его сердце.

Он был бы, пожалуй, менее послушным, если бы знал, какие мысли бродят в голове его учителя.

С этого дня Мельхиор стал брать Кристофа с собой, когда шел к соседу, с которым они три раза в неделю устраивали вечера камерной музыки. Мельхиор на этих вечерах исполнял партию первой скрипки, Жан-Мишель играл на виолончели. Кроме них, участвовали еще двое — служащий банка и старый часовщик с Шиллерштрассе. Иногда к ним присоединялся аптекарь со своей флейтой. Начинали в пять часов и играли до девяти. В промежутках пили пиво. Заходили соседи и молча слушали, прислонясь к стене, покачивая головой и притоптывая в такт; комната мало-помалу наполнялась клубами дыма. Музыканты играли страницу за страницей, пьесу за пьесой с неистощимым терпением. Они не разговаривали между собой: сморщив лоб, поглощенные игрою, они лишь изредка крякали от удовольствия, хотя, по правде говоря, не только не умели словами описать красоту того или другого произведения, но даже и почувствовать ее. Они играли не очень верно и не очень в такт, но никогда не сбивались и аккуратно соблюдали все оттенки, указанные в партитуре. Нельзя сказать, чтобы они были бездарны, но, невзыскательные к себе, они мирились на малом, и в их игре было то совершенство посредственности, которое не так уж редко встречается у представителей народа, прослывшего самым музыкальным в мире. Отсюда же шел и неразборчивый их вкус, ценивший в музыкальной пьесе не столько ее достоинства, сколько размер,— тот солидный аппетит, для которого любое блюдо хорошо, было бы посытнее, та всеядность, которая не видит разницы между

Брамсом и Бетховеном, а среди произведений одного композитора — между бессодержательным концертом и волнующей сонатой: ведь тот же повар их стряпал, в конце концов!

Кристоф на этих вечерах держался в сторонке; он облюбовал себе уголок позади фортепиано — там уж он знал, что никто ему не помешает; ему и самому-то приходилось становиться на четвереньки, чтобы туда пролезть. В этом закоулке было темно; сидеть можно было только на полу, да и то скорчившись — иначе не хватало места. От табачного дыма ело глаза и першило в горле, и от пыли тоже: она висела тут большими хлопьями, похожими на овечью шерсть; но Кристофу было все равно: он сидел, поджав ноги по-турецки, проковыривал грязным пальчиком дырки в парусиновой задней стенке инструмента — и слушал. Не все, что играли, ему нравилось, но над этим он не задумывался, ибо считал, что он еще маленький и, наверно, просто не понимает, тем более что скучно ему никогда не бывало. В одних случаях музыка его усыпляла, в других пробуждала, но слушать все равно было приятно. Сам он, конечно, не отдавал себе в том отчета, однако именно хорошая музыка обычно приводила его в волнение. Он принимался гримасничать,— благо его никто не видел! — морщил нос, стискивал зубы, высовывал язык, свирепо таращил глаза или томно их закатывал, с вызовом или с угрозой потрясал кулаками. Ему хотелось маршировать, сражаться, обратить земной шар в пепел. Он поднимал такую возню, что, случалось, чья-нибудь голова появлялась над фортепиано, и слышался голос:

— Что с тобой, малыш, ты с ума сошел! Оставь фортепиано в покое! Убери руки! Вот я тебе сейчас уши надеру!

Кристоф затихал, пристыженный и сердитый. Почему люди всегда стараются испортить тебе удовольствие? Он ничего плохого не делал, а к нему вечно придираются! И отец с ними заодно. Кристофа корили за то, что он шумит, за то, что он не любит музыки. В конце концов он и сам этому поверил. Как удивились бы эти честные чиновники, готовые часами перемалывать концерты, если бы им сказали, что из всех собравшихся только один умел по-настоящему чувствовать музыку — этот вот мальчуган!

Если хотят, чтобы он сидел смирно, зачем ему играют мелодии, от которых так и подмывает вскочить? В этих нотных страничках заключено так много — бешеный стук копыт, звон шпаг, воинственные клики, упоение победой, а взрослые хотят, чтобы он сидел, как они, покачивая головой и мерно отбивая носком такт! Тогда пусть играют что-нибудь тихое и

мечтательное или одну из тех болтливых страничек, которые всё что-то говорят, говорят, да так в конце концов ничего и не скажут,— ну хоть ту пьесу Гольдмарка, про которую старый часовщик недавно говорил с довольной улыбкой:

— Прелестно! Ни одного острого угла... Все закруглено...

Такая музыка не мешала Кристофу сидеть спокойно. На него находила дрема. Он уже не замечал, что́ играют, а потом и совсем переставал слышать. Но ему было хорошо: истома обволакивала его тело, он отдавался мечтам.

Эти мечты не представляли собою связных историй,— обычно у них не было ни начала, ни конца. По временам возникал какой-нибудь образ: мама на кухне готовит пирожное и счищает ножом приставшие к пальцам кусочки теста; водяная крыса, которую Кристоф вчера видел на реке; ветка ивы, из которой он хотел сделать себе кнутик... Бог весть почему всплывали вдруг эти воспоминания! Но чаще всего он ничего не видел, зато бесконечно много чувствовал. Вдруг что-то поднималось в душе — очень важное, но такое, что нельзя выразить словами, да и не нужно — и так понятно! Что-то, что было всегда и что Кристоф всегда знал... Иногда на него находила глубокая грусть, но в этой грусти не было ничего безобразного, грязного, мучительного — совсем не так, как в жизни, когда он получал пощечины от отца или, корчась от стыда, вспоминал о каком-нибудь пережитом унижении; от этой грусти в сердце водворялось меланхолическое спокойствие. А иногда его охватывала радость, словно в душе разливался свет, и Кристоф думал: «Да, да, это *так*... вот *так* когда-нибудь и я сделаю!» Он не сумел бы объяснить, что он понимает под этим *так* и почему он это говорит, но ему самому все было ясно, как божий день, и почему-то непременно надо было это сказать. Он словно слышал рокот моря: оно было совсем рядом, за узкой полоской дюн. Что это за море, чего оно хочет, он не знал. Но он знал твердо, что когда-нибудь оно перехлестнет через все преграды — и тогда... Тогда все будет хорошо. Тогда он будет счастлив. Уже и сейчас, оттого только, что рядом звучал этот могучий голос, все мелкие огорчения и все обиды теряли свою злую власть; они еще печалили сердце, но уже не ранили и не оскорбляли; все казалось естественным, во всем была даже какая-то сладость.

Как ни странно, но часто именно посредственная музыка вызывала в нем это пьянящее чувство. Ее писали люди с мелкой душой, думавшие только о том, как бы заработать, или старавшиеся скрыть от себя пустоту собственной жизни; для

этого они прилежно нанизывали ноты согласно установленным правилам или, если хотели быть оригинальными, против этих правил. Но в звуках, даже когда они выходят из-под пальцев глупца, заключена такая сила жизни, что они могут поднять бурю в неискушенном сердце. И, может быть, видения, вызванные этой музыкой, даже более таинственны и более свободны, чем те, что навязывает нам мощная мысль гения, властно увлекающая нас за собой, ибо пустая болтовня и бесцельное движение не мешают духу углубляться в самого себя...

Так, забывая обо всем и забытый всеми, грезил Кристоф в своем тайнике за фортепиано, пока по онемевшим ногам у него не начинали бегать мурашки. Тогда, внезапно очнувшись, он словно видел себя со стороны: маленький мальчуган сидит в пыльном углу, обхватив руками колени, уткнувшись носом в стенку, и ногти у него грязные, и нос перепачкан в известке...

В тот день, когда Мельхиор, войдя на цыпочках, увидел Кристофа, сидящего на стуле перед слишком высокой для него клавиатурой, он не сразу окликнул сына: с минуту он молча наблюдал за ним, и за эту минуту его осенила блестящая мысль: вундеркинд! Как он раньше об этом не подумал! Ведь это сущий клад для семьи! Правда, Мельхиор всегда считал, что от мальчишки ждать нечего — вырастет деревенщиной, как его мать... Но отчего не попробовать? Попытка не пытка. А вдруг да выйдет! Тогда можно будет устроить турне по Германии, а то и за границей. Вот была бы жизнь! Веселая и благородная при этом! Мельхиор всегда искал благородства в своих поступках и, поразмыслив, обычно находил.

Уверившись в возвышенности своих побуждений, он после ужина, не дав Кристофу доесть кусок, снова усадил его за рояль и до тех пор заставлял повторять утренний урок, пока у мальчика глаза не стали слипаться от усталости. Назавтра опять — три раза. И послезавтра тоже. А дальше так и пошло — каждый день, без передышки. Кристофу эти уроки скоро надоели; потом стали вызывать смертельную скуку; наконец, он не вытерпел и взбунтовался. Зачем все это нужно — то, что его заставляют делать? Бегать как можно быстрее руками по клавишам, подвертывая большой палец, или без конца упражнять безымянный, который никак не хочет подниматься отдельно от своих соседей,— что в этом красивого? Только устаешь до боли в висках. Где волшебные отголоски, таинственные духи, мир грез, который, бывало, приоткрывался перед ним

в то мгновение, когда палец нажимал клавишу?.. Гаммы, упражнения, сухие, монотонные, скучные до слез, еще скучнее, чем разговоры за столом, а уж что, кажется, скучнее этих разговоров — каждый день одно и то же: все о еде, а и еда-то каждый день одна и та же... Кристоф стал невнимателен на уроках, получил нахлобучку, но не исправился. На него посыпались тумаки — это его только озлобило. Последней каплей послужил подслушанный им как-то вечером из соседней комнаты разговор Мельхиора с Луизой, в котором отец излагал свои планы насчет карьеры Кристофа. Вот, значит, для чего его заставляют целый день перебирать эти костяшки,— для того, чтобы потом показывать, как дрессированную собачку! Умирай вот тут от скуки! Даже на реку некогда сходить — проведать милые его сердцу уголки. Да что они все, сговорились, что ли, его мучить! Кристоф был возмущен: мало того что держат взаперти, еще хотят сделать из него посмешище. Он решил, что больше не станет играть или будет играть так дурно, что отобьет у отца охоту с ним возиться. Конечно, придется пострадать, но надо же спасать свою независимость.

На следующем уроке он попытался привести свой план в исполнение. Он старательно ударял не по той клавише и делал все ошибки, какие мог придумать. Мельхиор стал кричать на него, потом орать от бешенства, потом пустил в ход линейку. На уроках у него всегда в руках была тяжелая линейка. При каждой фальшивой ноте Кристоф получал удар по пальцам, а над ухом у него гремел оглушительный голос отца,— казалось, барабанные перепонки сейчас лопнут. Мальчик кривился от боли, кусал губы, чтобы не заплакать, но стоически продолжал мазать — только втягивал голову в плечи в предчувствии ударов. Но он избрал неправильную тактику — в этом он скоро сам убедился. Мельхиор был не менее упрям и поклялся, что не спустит ему ни одного промаха, хотя бы пришлось двое суток просидеть за роялем. Кроме того, Кристоф переусердствовал: он не брал уже ни одной верной ноты, и Мельхиор скоро заподозрил неладное, видя, как маленькая рука нарочито неуклюже опускается на клавиши, всякий раз попадая не туда, куда надо. Линейка заработала еще быстрей. Кристоф от боли уже не чувствовал собственных пальцев. Он молчал, только плакал все горше, давясь рыданиями, захлебываясь и глотая слезы. Наконец он понял, что так ничего не выйдет, и принял отчаянное решение. Он снял руки с клавиш и, заранее трепеща при мысли о том, какая сейчас разразится буря, храбро проговорил:

— Папа, я не хочу больше играть.

Мельхиор задохнулся от негодования.

— Что?.. Что?..— закричал он и так дернул мальчика за руку, что чуть ее не вывихнул.

Кристоф, трясясь от страха и наперед заслоняясь локтем, продолжал:

— Не хочу больше играть. Во-первых, потому, что не хочу, чтобы меня били. А потом...

Он не договорил. От оглушительной пощечины у него перехватило дыханье. Мельхиор закричал:

— Ах, ты не хочешь, чтобы тебя били? Ты не хочешь!

Удары посыпались градом. Кристоф вопил сквозь рыдания:

— А потом... я не люблю музыки!.. Я не люблю музыки!..

Он сполз со стула. Мельхиор насильно посадил его обратно, схватил за руки, стал колотить ими по клавишам. Он кричал:

— Будешь играть!

А Кристоф кричал в ответ:

— Не буду! Не буду!

Мельхиору не удалось его переупрямить. В конце концов, избив мальчика до полусмерти, он выбросил его из комнаты, прибавив в виде напутствия, что есть ему не дадут ни сегодня, ни завтра,— месяц будешь сидеть голодный, пока не проиграешь все упражнения, все до единого! И, поддав Кристофу ногой под зад, он захлопнул за ним дверь.

Кристоф очутился на лестнице, на хорошо знакомой ему темной и грязной лестнице с подгнившими ступеньками. Сквозь разбитое стекло тянуло сквозняком; стены слезились от сырости. Кристоф присел на липкую ступеньку; сердце у него колотилось от гнева и пережитых волнений. Он вполголоса ругал отца:

— Скотина! Вот ты кто! Скотина... грубиян... изверг... Да, да, изверг!.. Ненавижу тебя! Ненавижу!.. Чтоб ты скорее умер! Ах! Чтоб ты скорее умер!..

Ему все сильнее теснило грудь. С тоской оглядел он замусоренную лестницу, паутину над разбитым стеклом, качавшуюся от сквозняка. Один, один, никому не нужный, один со своим горем, словно в пустыне... Он заглянул через перила в пролет лестницы... Броситься туда?.. Или в окно?.. Убить себя, им назло? Вот тогда они пожалеют! Глухой удар от паденья. Дверь наверху распахивается. Встревоженные голоса: «Упал! Упал!» Бегут по лестнице. Мать и отец приникают к его телу.

Мама рыдает: «Это ты виноват! Ты его убил, ты!» А он, отец, бьет себя в грудь, падает на колени, колотится головой о перила, кричит: «Я негодяй! Я негодяй!» Кристофу стало легче, когда он все это вообразил. Он даже чуть было не пожалел своих скорбящих родителей, но потом решил: нет, так им и надо! Он упивался местью...

Но, кончив рассказывать себе эту драму, он опять увидел, что сидит в полутьме на лестнице. Заглянул еще раз вниз, и ему совсем не захотелось туда бросаться. Наоборот, по спине у него пробежал холодок, он отодвинулся подальше от края — вдруг упадешь! И тогда он окончательно понял, что он в плену: заперт, как птица в клетке, навсегда, без всякой надежды — и нет никакого выхода, кроме как разбить себе голову, а ведь это, наверно, очень больно! Он заплакал, и плакал долго. Слезы катились у него по лицу, он тер глаза грязными кулачками, так что в один миг весь перемазался. Но, хныча и всхлипывая, он все же поглядывал по сторонам, и то, что он видел, его невольно развлекало. На минуту его рыдания совсем утихли: паук шевельнулся в паутине, и Кристоф с любопытством следил за ним. Потом он опять принялся плакать, но уже не так безутешно. Он все еще ныл потихоньку, и сам прислушивался к этому тягучему звуку, забывая уже по временам, из-за чего, собственно, он плачет. Наконец он встал: его тянуло к окну. Он уселся на подоконник, как можно дальше от края, искоса поглядывая на паука, который очень его занимал, хотя и внушал ему отвращение.

Внизу у самого дома протекал Рейн. Если смотреть из окна, казалось, что висишь прямо над рекой, покачиваясь в небе. Кристоф всегда выглядывал в окно, когда вприпрыжку спускался по лестнице. Но никогда еще он не видел реку так, как сейчас. Горе обостряет восприятие, как будто слезы вымывают из глаз пыль воспоминаний, и все зримое предстает с невиданной яркостью. Кристоф увидел теперь реку, как живое существо — загадочное, но насколько же более могущественное, чем все люди, которых он знал! Он нагнулся, чтобы лучше видеть, прижался губами и носом к стеклу. Куда *она* спешит? Зачем? Она неслась так свободно, как будто сама выбирала себе дорогу. Ничто ее не остановит. В любой час дня и ночи, тучи ли, солнце ли на небе, скорбь ли, веселье ли царит в доме, река течет мимо, вперед, вперед, не замедляя бега; ей дела нет до наших печалей, сама она не ведает горя, она наслаждается своей силой. Какое счастье быть как она, бежать среди лугов, под ветвями прибрежных ив, по блестящей гальке,

по светлому песку и не знать забот, не ощущать над собой ничьей власти — быть свободным!..

Кристоф с жадностью смотрел и слушал: ему казалось, что река уводит его за собой, что он уже странствует где-то далеко вместе с нею... Закрывая глаза, он видел переливы красок — синие, зеленые, желтые, красные; огромные тени пробегали над ним, вокруг расстилалась сияющая гладь... Потом его видения стали более отчетливы. Вот широкая равнина, камыши, нивы, волнующиеся на ветру; оттуда веет запахом свежей травы и мяты. И цветы, всюду цветы — васильки, маки, фиалки. Какая красота! Какой чудный воздух! Как хорошо бы растянуться на мягкой густой траве... Кристофу весело, пожалуй он чуточку опьянел, как в праздники, когда отец давал ему отпить немножко рейнского вина из своего большого стакана... Но река течет дальше... И все кругом меняется... Теперь по берегам толпятся большие деревья, низко склоняя ветви; узорчатые листья, словно крохотные ладони, окунаются в воду, плещутся, трепещут, переворачиваются под волной... Укрытая в зелени деревушка смотрится в реку. Кипарисы и кресты над белой оградой кладбища, которую лижут волны... А дальше скалы, теснина среди гор, виноградники на склонах, сосновая рощица, развалины старинных замков... Потом опять луга, нивы, птицы, солнце...

Огромный поток катит свои зеленые воды — сплошной, единый, как единая мысль, без ряби, без морщинки, отливая атласным маслянистым блеском. Кристоф не видит его — он закрыл глаза, чтобы лучше слышать. Немолчный гул реки заполняет его слух; у него кружится голова, его зовет, его уносит извечная властительная греза, стремящаяся неведомо куда. Из плеска волн рождаются быстрые ритмы, они взвиваются вверх с пламенным весельем. И по этим ритмам, как виноградная лоза по решетке, поднимаются мелодии: серебристые арпеджии рояля, жалобное пение скрипок, круглые, бархатные звуки флейт... Горы и луга исчезли, река исчезла. Кругом разливается какой-то странный, нежный, сумеречный свет. Сердце у Кристофа трепещет от волнения. Что это перед ним? О, какие прелестные лица!.. Темнокудрая девочка манит его, томно и лукаво усмехаясь... Бледный голубоглазый юноша задумчиво смотрит на него... Еще улыбки, еще глаза — любопытные, вызывающие... Кристоф краснеет под их взглядом,— и добрые, печальные, как глаза собаки, и глаза, которые повелевают, и глаза, полные страданья... А эта женщина, без кровинки в лице, с черными как смоль волосами... Губы ее плотно сжаты,

бездонные глаза впиваются в него с таким страстным вниманием, что от этого больно... Но вот та всех милее — та, с ясными серыми глазами, с полураскрытыми губками, меж которых белеют маленькие ровные зубы... Какая добрая, ласковая улыбка! От нее тает сердце. Как она радует, какое дарит счастье! Еще! Улыбнись еще! Не уходи!.. Исчезла! Но в душе остается какое-то неизъяснимое блаженство, как будто нет уже больше на свете зла, нет печалей, ничего нет... Только легкий сон, безмятежная музыка — она плывет в солнечном луче, как паутинка по ветру в погожие летние дни... Но что же это было? Чьи это лица, почему наполняют они Кристофа скорбным и сладким волнением? Он никогда их не видел, но они знакомы ему, он их узнает... Откуда же они возникли? Из каких темных бездн бытия? Из прошлого... или, может быть, из будущего?..

Но вот уже все тает... Стираются все ясные очертания. Еще раз сквозь пелену тумана, точно с огромной высоты, где ты паришь, как птица над землей, видна река в разливе, затопившая луга и поля, величавая, спокойная, почти неподвижная... А там, вдали, на горизонте, стальной блеск, водная ширь, гряда бегущих волн,— море! Река стремится к нему. Оно как будто бежит к ней. Оно зовет ее. Она покорствует зову. Сейчас они сольются... Музыка нарастает, как буря, стремительные, плясовые ритмы взлетают и кружатся, все сметено их победным вихрем... Освобожденная душа уносится сквозь пространство, как опьяневшая от солнца ласточка, врезающаяся в небо с пронзительным криком... О, радость! Радость! Ничего больше нет!.. О, нескончаемое счастье!..

Прошел не один час, наступил вечер, на лестнице стало совсем темно. Пролился дождь; от его капель по гладкой одежде реки разбегались колечки, и волны, танцуя, уносили их с собой. Бесшумно проплывали сломанные ветки и черные куски коры, увлекаемые течением. Паук вдоволь напился крови и уполз отдыхать в самый темный угол. А маленький Кристоф все еще лежал, склоня голову на край окна, с блаженной улыбкой на бледном, перепачканном личике. Он спал.

Et la faccia del sol nascere ombrata...
Purg. XXX [1]

Пришлось покориться. Кристоф героически сопротивлялся, но побои сломили в конце концов его упорство. Теперь каждое утро и каждый вечер он по три часа кряду просиживал перед орудием пытки. Скривившись от напряжения, изнывая от скуки, он играл, и крупные слезы скатывались по его щекам и по носу; красные ручонки, окоченевшие от холода,— в комнате не всегда бывало тепло,— бегали по черным и белым клавишам; при каждой неверной ноте на пальцы Кристофа обрушивалась линейка, и над самым его ухом гремел зычный голос отца, что было для него еще мучительнее, чем удары. Он был убежден, что ненавидит музыку. Однако занимался он с таким рвением, которое нельзя было объяснить одним только страхом перед Мельхиором. Несколько слов, оброненных как-то дедушкой, глубоко запали ему в душу. Однажды, видя слезы Кристофа, старик сказал тем значительным тоном, какой всегда сохранял в разговорах с внуком: можно немного и пострадать ради того, чтобы овладеть прекраснейшим и благороднейшим из искусств, дарованных человеку для его утешения и для его славы. И Кристоф, всегда признательный дедушке за то, что тот говорил с ним, как со взрослым, втайне был тронут этим бесхитростным советом, так хорошо согласовавшимся с его ребяческим стоицизмом и нарождающимся честолюбием.

Но еще больше, чем все доводы рассудка, повлияли на него глубокие волнения, которые ему как раз об эту пору довелось пережить в связи с музыкой; они-то окончательно

[1] И солнца лик, поднявшись невысоко... *(итал.).— Данте, «Божественная комедия», «Чистилище», песнь XXX.*

покорили его и сделали на всю жизнь рабом этого ненавистного искусства, против которого он тщетно пытался взбунтоваться.

В их городе, как почти во всех городах Германии, имелся театр, в котором ставились оперы, музыкальные комедии, оперетты, драмы, водевили, одним словом все, что можно поставить на сцене, во всех родах и жанрах. Представления происходили три раза в неделю, от шести до девяти часов вечера. Жан-Мишель не пропускал ни одного и ко всем проявлял одинаковый интерес. Однажды он взял внука с собой. Еще за несколько дней до спектакля он во всех подробностях рассказал Кристофу содержание пьесы. Кристоф мало что понял; он уловил только, что будут происходить какие-то ужасы, и хотя ему очень хотелось все это посмотреть, в душе он порядком трусил. Он знал, что будет гроза, и боялся, как бы и его не спалило молнией; знал, что будет сражение, и не был уверен, что и его не убьют. Накануне вечером, ложась в постель, он уже дрожал от страха, а утром в день спектакля готов был молить бога, чтобы дедушке что-нибудь помешало и он бы не пришел. Но, по мере того как приближался назначенный час,— а дедушка и правда не шел,— Кристоф стал все больше волноваться и поминутно выглядывать в окно. Наконец старик появился; они отправились. Сердце у Кристофа сильно билось, в горле так пересохло, что он не мог выговорить ни слова.

Они подошли к таинственному зданию, о котором так часто поминалось в разговорах домашних. У входа Жан-Мишель повстречал кого-то из знакомых, и Кристоф, судорожно цеплявшийся за дедушкину руку, чтобы, не дай бог, не потеряться, смотрел на них с изумлением: как это можно в такую минуту болтать о чем-то, да еще и смеяться?

Дедушка уселся на свое обычное место в первом ряду у самого оркестра и тотчас, опершись на балюстраду, затеял нескончаемый разговор с контрабасом. Тут он был в своей среде, тут его слушали со вниманием, уважая его многолетний музыкальный опыт, и старый Крафт этим пользовался, можно даже сказать — злоупотреблял. Кристоф ничего не слышал. Он был совершенно подавлен и собственным страхом в ожидании спектакля, и великолепием зала, который казался ему пределом роскоши, и многолюдством — эти сотни лиц повергали его в неистовое смущение. Он не смел повернуть голову: ему чудилось, что все смотрят на него; судорожно зажав между колен свой картузик, он не отрывал широко раскрытых глаз от волшебного занавеса.

Наконец прозвучали три удара. Дедушка высморкался, и достал из кармана либретто — он всегда так старательно следил за ходом действия по либретто, что забывал иной раз смотреть на сцену. Заиграл оркестр. При первых же аккордах Кристоф успокоился. В мире звуков он чувствовал себя, как дома, и с этой минуты, какие бы нелепости ни происходили на подмостках, ему уже все казалось естественным.

Поднялся занавес; за ним обнаружились картонные деревья и люди, тоже не слишком похожие на настоящих. Кристоф смотрел, разинув рот от восхищения, но ничто его не удивляло, хотя действие развертывалось в самой непривычной для него обстановке — на некоем фантастическом Востоке — и вся пьеса представляла собой такое сплетение несуразиц, что разобраться в ней было невозможно. У Кристофа сразу все перемешалось в голове: он путал действующих лиц, принимал одного за другого, дергал дедушку за рукав и задавал ему нелепые вопросы, из которых видно было, что он ничего не понял. Но он не скучал, наоборот, никогда еще ему не было так интересно. Не считаясь с идиотическим либретто, он сочинял собственную повесть, не имевшую ничего общего с тем, что совершалось на сцене; театральное действие на каждом шагу противоречило его фантазиям, приходилось все пересочинять, но это не смущало Кристофа. Он уже облюбовал кое-кого среди этих странных существ, расхаживавших по сцене, что-то выкрикивая на разные голоса, и теперь следил, трепеща от волнения, за судьбой тех, кому подарил свое сочувствие. Особенно пленила его босоногая красавица не первой молодости с длинными ярко-золотистыми косами и глазами непомерной величины. Чудовищное неправдоподобие постановки ему не мешало, хотя он и не мог его не видеть острым своим детским зрением. Он не замечал ни безобразия актеров — мужчины, как на подбор, все были долговязые и костлявые, а хористки, и маленькие и большие, выстроившиеся в две шеренги, поражали своим уродливым сложением,— ни косматых париков, ни неестественных жестов, ни красных от натуги лиц, ни высоких каблуков тенора, ни примитивного грима его партнерши-примадонны, у которой все лицо было исчерчено разноцветными гримировальными карандашами, словно покрыто татуировкой. Кристоф был как влюбленный, которому страсть не позволяет видеть любимый предмет таким, каков он есть в действительности. Чудесная власть иллюзии — этот счастливый дар детства — преображала безобразные впечатления, прежде чем допустить их в душу.

Музыка творила все эти чудеса. Она окружала все туманным ореолом — и все становилось прекрасным, благородным и желанным. Она будила в сердце страстную жажду любви, и она же утоляла эту жажду возникавшими отовсюду призраками любви,— создавала пустоту и сама помогала ее заполнить. Кристоф совсем растерялся от нахлынувших на него чувств. Иные слова, жесты, музыкальные фразы вызывали в нем трепет; он не смел поднять глаза, он уже не знал, хорошо это или дурно, он то краснел, то бледнел, капли пота выступали у него на лбу, и больше всего он боялся, как бы все эти собравшиеся в зале люди не заметили его волнения. Когда разразились неизбежные катастрофы, постигающие любовников в четвертом акте оперы, дабы дать случай тенору и примадонне пустить свои самые пронзительные рулады, Кристоф почувствовал, что задыхается; горло у него болело, как от простуды, он держался руками за шею и не мог проглотить слюну, глаза его переполнились слезами, руки и ноги стали холодными, как лед. К счастью, дедушка был не менее потрясен. Он переживал все происходящее на сцене с непосредственностью ребенка. В самых драматических местах он покашливал с напускным равнодушием, но Кристоф отлично видел, что дедушка тоже волнуется, и это его радовало. В зале была нестерпимая жара, Кристоф чуть не падал от усталости, и сидеть ему было очень жестко. Но он думал только о том, много ли еще осталось. «Ах, если бы подольше, ах, только бы еще не конец!..»

И вдруг все кончилось, неизвестно почему. Занавес упал, все начали вставать с мест, очарование развеялось.

Они возвращались по темным улицам — двое детей, старый и малый. Какая чудная была ночь! Как ярко светила луна! Оба молчали, припоминая про себя все увиденное за этот вечер. Наконец дедушка спросил:

— Ну что, малыш, понравилось тебе?

Кристоф не мог даже ответить; он еще не опомнился от пережитых волнений, и ему не хотелось говорить, чтобы не спугнуть свои грезы; наконец, сделав над собой усилие, он пробормотал чуть слышно, с глубоким вздохом:

— Ах! Очень!

Старик улыбнулся. Немного погодя он опять заговорил:

— Видишь теперь, какое это замечательное занятие — быть музыкантом? Создавать живые образы, чудесные зрелища,— какой славный удел для человека! Ведь это все равно что быть богом на земле!

Слова дедушки поразили Кристофа. Как! Все это было создано каким-то одним человеком? Такая мысль даже не приходила ему в голову. Ему казалось, что все это создалось само собой: сотворила природа... А оказывается — человек, музыкант, каким и Кристоф когда-нибудь будет! Господи! Стать таким хоть на один день, на один только день!.. А потом — потом уже все равно! Хоть умереть. Он спросил:

— Дедушка! А кто же это написал?

Старик стал рассказывать ему о Франце Марии Гаслере, молодом немецком композиторе, который теперь жил в Берлине и которого дедушка когда-то знал. Кристоф слушал, ловя каждое слово. Вдруг он сказал:

— А ты, дедушка?

Старика передернуло.

— Что я? — спросил он.

— А ты? Ты тоже писал такие вещи?

— Ну, а как же! Писал, конечно,— сердито буркнул старик.

И замолчал, а пройдя еще несколько шагов, тяжело вздохнул. Это была заноза в его сердце — ему всю жизнь хотелось писать для театра, и всю жизнь вдохновение изменяло ему. В папках Жан-Мишеля хранились наброски одного или двух актов задуманной им оперы, но он не обманывался насчет ее достоинств и даже ни разу не решился показать кому-нибудь свои труды.

Больше они за всю дорогу не проронили ни слова. И оба не спали в эту ночь. Старик был расстроен и обратился за утешением к своей Библии. Кристоф в постели заново переживал все события вечера: он припоминал мельчайшие подробности; босоногая дева снова и снова проходила перед ним. Когда он уже совсем было засыпал, в ушах у него вдруг опять начинала звучать какая-нибудь музыкальная фраза — так отчетливо, словно оркестр был тут же, в комнате. Кристоф вздрагивал всем телом, поднимал с подушки одурманенную мелодиями голову и восклицал про себя: «Когда-нибудь и я так напишу! Боже мой! Неужели я смогу?»

С этого дня им владело одно желание — еще раз побывать в театре, и он стал учиться с невероятным усердием, тем более что отец объявил: пускать его в театр будут только в награду за успехи. Театр поглощал все мысли Кристофа: первую половину недели он жил воспоминаниями о прошлом спектакле, вторую — ожиданием будущего. Больше всего он боялся захворать в день представления, и этот страх нередко вызывал в

«Жан-Кристоф». Книга первая.

нем симптомы сразу двух или трех болезней. А в самый день спектакля он уже ничего не мог есть за обедом, скитался по дому, как неприкаянный, поминутно смотрел на часы и приходил в отчаяние оттого, что вечер все не наступает; наконец, не в силах больше терпеть, он за добрый час до начала бежал в театр; по дороге он терзался страхом, что не найдет свободного места, а когда он наконец входил первым в совершенно пустой зал, начинались новые тревоги. Дедушка как-то сказал ему, что бывали случаи, когда публика не собиралась, и актеры решали лучше вернуть деньги, чем играть перед горсточкой зрителей. И Кристоф напряженно следил за приходящими и пересчитывал их: «Двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять... Ой, как мало!.. Да когда же они соберутся!» Но тут в ложах или в партере появлялся какой-нибудь известный в городе человек, и у Кристофа становилось немножко легче на сердце. Он думал: «Ну, этого они не посмеют отослать домой! Для него-то уж они будут играть!» Но успокаивался он, только когда оркестранты рассаживались по местам. И то еще его мучили сомнения: вдруг в последнюю минуту перед поднятием занавеса объявят о перемене спектакля — так один раз уже было. Своими острыми, как у рыси, глазами он старался прочитать заглавие на партитуре контрабаса — то ли оно, что значилось в программе? А прочитав и убедившись, что то самое, он через две минуты опять проверял — вдруг да он ошибся! И почему до сих пор нет дирижера? Господи, неужели захворал?.. За занавесом слышался какой-то шум — поспешные шаги, голоса... Ну вот, что-то случилось, какое-то несчастье, неожиданная помеха!.. Наконец водворялась тишина. Дирижер стоит за пультом. Все как будто готово... А почему-то не начинают! Да в чем же дело?.. Кристоф весь кипел от нетерпения. Наконец — наконец-то! — раздавался сигнал к началу. У Кристофа екало сердце. Оркестр играл вступление, и затем, несколько часов подряд, Кристоф утопал в блаженстве, отравляемом лишь мыслью о том, что скоро оно кончится.

Через некоторое время произошло событие, еще больше взбудоражившее мысли Кристофа. Стало известно, что в город приезжает Франц Мария Гаслер, автор той первой оперы, которая так потрясла мальчика, и будет дирижировать концертом из своих произведений. Весь город пришел в волнение. Творчество молодого композитора вызывало в Германии яростные споры, и уже за две недели до его приезда в городе толь-

ко о нем и говорили. А что началось, когда он приехал! К Мельхиору то и дело забегали знакомые музыканты, собственные его приятели или старые друзья Жан-Мишеля, и приносили последние новости; они рассказывали всякие чудеса о привычках знаменитого композитора и его странностях. Кристоф с жадным вниманием прислушивался к этим разговорам. Мысль, что великий человек находится здесь, в городе, что он дышит тем же воздухом и ходит по тем же тротуарам, повергала Кристофа в немой восторг. Мальчик жил теперь единственной надеждой его увидеть.

Гаслер остановился во дворце — герцог предложил ему свое гостеприимство — и никуда не выходил, кроме как в театр на репетиции, а туда Кристоф не имел доступа. У него, стало быть, очень мало было шансов на осуществление своей мечты, тем более что Гаслер был небольшой любитель моциона и обычно совершал свой путь туда и обратно в герцогской карете. Один только раз удалось Кристофу различить в глубине экипажа закутанную в меха фигуру, хотя он часами простаивал на улице в толпе зевак, работая локтями и коленями, чтобы сперва завоевать, а потом удержать место в первом ряду. Оставалось по целым дням глазеть на те два окна в герцогском дворце, за которыми, как ему сказали, скрывался маэстро. Чаще всего Кристоф видел одни только ставни, ибо Гаслер вставал поздно и окна у него не открывались почти до полудня. Это давало повод разным всезнайкам утверждать, что Гаслер не выносит дневного света и даже днем старается создать вокруг себя ночь.

Наконец Кристофу дано было лицезреть своего героя. Наступил день концерта. Весь город собрался в театр. Герцог и его свита заняли придворную ложу, увенчанную короной, которую поддерживали два парящих в воздухе толстощеких и толстоногих амура. Театр имел праздничный вид. Сцена была убрана дубовыми листьями и цветущим лавром. Все сколько-нибудь известные в городе музыканты сочли своим долгом играть на этот раз в оркестре. Мельхиор сидел за своим пюпитром, Жан-Мишель дирижировал хором.

Когда появился Гаслер, его встретил гром рукоплесканий; дамы вставали, чтобы лучше его рассмотреть. Кристоф пожирал его взглядом. У Гаслера было тонкое молодое лицо, но уже слегка опухшее и утомленное; он начинал лысеть с висков, да и на макушке среди кудрявых светлых волос тоже просвечивала небольшая преждевременная плешинка. Голубые глаза смотрели куда-то вдаль. Насмешливый рот под коротки-

ми светлыми усиками все время чуть заметно подергивался. Он был высокого роста, но держался неловко, не от застенчивости, а скорее от усталости или скуки. Дирижировал он как бы всем своим гибким, развинченным телом, делая то вкрадчивые, то неожиданно резкие движения, словно извивался весь,— точь-в-точь как и его музыка. Видно было, что это не человек, а комок нервов, и его музыка была точным его подобием. Эта порывистая, трепетная жизнь расшевелила всех — даже обычно вялых и равнодушных оркестрантов. Кристоф с трудом переводил дыхание; несмотря на всегдашнюю свою боязнь привлечь к себе чьи-нибудь взгляды, он не мог усидеть на месте — ерзал, привставал; эта музыка словно толкала его в сердце — так сильно и так неожиданно, что временами он просто не мог не двигать головой, руками, ногами — к великому неудобству соседей, которые защищались, как могли, от его неистовой жестикуляции. Впрочем, и вся публика выражала восторг, покоренная не столько достоинствами музыки, сколько славой музыканта. Под конец разразилась настоящая буря оваций, а трубы оркестра, по немецкому обычаю, присоединили к ней еще и свои торжествующие фанфары, приветствуя победителя. Кристоф трепетал от гордости, словно все эти почести воздавались ему самому. Он возликовал, увидев, что лицо Гаслера озарилось детской радостью. Дамы кидали ему цветы, мужчины махали шляпами; потом все устремились к рампе, каждый хотел пожать руку маэстро. Кристоф видел, как одна восторженная поклонница поднесла эту руку к губам, другая похитила носовой платок, забытый Гаслером на пульте. Кристоф тоже старался пробиться к сцене, сам не зная зачем, ибо, очутись он в этот миг перед Гаслером, он тотчас бы убежал, подавленный волнением и страхом. А все-таки он рвался вперед, тараня головой стену из ног и юбок, отделявшую его от Гаслера. Но он был слишком мал и так и не пробился.

К счастью, после концерта за ним пришел дедушка; музыканты надумали исполнить серенаду в честь Гаслера, и Жан-Мишель решил взять внука с собой. Было уже темно; участники несли зажженные факелы. Собрались все оркестранты, и разговоры шли только об услышанном в этот вечер шедевре. Подойдя к дворцу, музыканты, стараясь не шуметь, расположились под окнами. Они напускали на себя таинственность, хотя всем в городе, и Гаслеру в том числе, заранее было известно, что́ затевается. Затем в прекрасной ночной тишине они сыграли несколько самых известных отрывков из произведений Гаслера. В окне показался сам композитор рядом с гер-

цогом, и музыканты громкими криками приветствовали обоих. На площадь вышел слуга и от имени герцога пригласил всех во дворец. Они прошли через анфиладу залов, расписанных фресками, на которых изображены были голые мужчины в касках; тело у этих воинов было красноватого цвета, они делали угрожающие жесты, а в небе над ними плавали пухлые облака, похожие на губки. Еще в этих залах стояли по углам мраморные мужчины и женщины в набедренных повязках из жести. Полы повсюду были устланы толстыми мягкими коврами, заглушавшими шаги. Под конец все вошли в зал, где было светло, как днем, и столы были уставлены винами и разными удивительными кушаньями.

Герцог тоже был тут, но Кристоф его даже не заметил — он никого не видел, кроме Гаслера. Гаслер подошел к музыкантам, поблагодарил их; он запинался, не сразу находил слова, совсем запутался в какой-то фразе и закончил ее грубоватой шуткой, которая вызвала общий смех. Потом все принялись за угощение. Гаслер беседовал с четырьмя или пятью музыкантами, которых выделил из остальных; дедушка был в их числе. Ему Гаслер сказал несколько очень лестных слов, припомнил, что Жан-Мишель одним из первых стал исполнять его произведения, и добавил, что часто слышал весьма хвалебные отзывы о господине Крафте от своего друга, который некогда был дедушкиным учеником. Дедушка рассыпался в изъявлениях благодарности; он отвечал Гаслеру такими непомерными похвалами, что Кристофу, несмотря на все его преклонение перед великим композитором, стало стыдно. Но Гаслер, по-видимому, находил все это естественным и приятным. Под конец дедушка, окончательно увязнув в своих витиеватых комплиментах, потянул за руку Кристофа и представил его Гаслеру. Тот улыбнулся мальчику, рассеянно погладил его по голове; узнав же, что Кристоф поклонник его музыки и так мечтал его увидеть, что даже не спал несколько ночей, он посадил мальчика к себе на колени и стал ласково его расспрашивать. Кристоф был ошеломлен таким счастьем; весь раскрасневшись, он потупил глаза и не мог вымолвить ни слова. Гаслер взял его за подбородок, заставил поднять голову. Кристоф решился взглянуть — и увидел перед собой такие добрые, смеющиеся глаза, что и сам засмеялся. И тогда его охватила такая радость, ему так хорошо стало в объятиях своего кумира, что он заплакал. Гаслера тронула эта простодушная любовь, он поцеловал Кристофа и стал утешать его с материнской нежностью, тут же подшучивая над ним, говоря ему всякие забав-

ные словечки, щекоча его, чтобы рассмешить, и Кристоф невольно хохотал сквозь слезы. Вскоре он совсем освоился и уже без стеснения отвечал на вопросы; он даже сам стал поверять на ухо Гаслеру все свои маленькие тайны и мечты: он признался, что хочет быть музыкантом, как Гаслер, писать такие же чудесные вещи, как Гаслер, стать великим человеком. Куда девалась всегдашняя его застенчивость: он говорил, не думая, он был в каком-то экстазе. Гаслер смеялся его лепету. Он сказал:

— Когда вырастешь большой и выучишься музыке, приезжай ко мне в Берлин. Я сделаю из тебя человека.

Кристоф онемел от восторга. Гаслер поддразнил его:

— Не хочешь?

Кристоф яростно закивал головой — он кивнул, наверно, раз пять или шесть подряд. Конечно, он хочет!

— Значит, договорились?

Опять кивки.

— Ну, давай поцелуемся, что ли!

Кристоф обнял его за шею и сжал изо всех сил.

— Фу, ты меня всего измазал! Будет уже! Довольно! Да ты бы хоть высморкался!

Гаслер хохотал. Он сам вытер нос пристыженному и счастливому мальчику. Потом спустил его с колен, взял за руку, подвел к столу, насовал ему полные карманы конфет и печенья и расстался с ним, сказав напоследок:

— Ну, до свиданья! Помни же, что ты мне обещал.

Кристоф был на седьмом небе. Весь остальной мир перестал существовать для него. Если бы его спросили, кто еще там был, что еще происходило в зале, он не смог бы ответить: весь вечер он влюбленными глазами следил за выражением лица и жестами Гаслера. Одна фраза, брошенная композитором, поразила Кристофа. Гаслер стоял, держа стакан в руке; он произносил тост, и вдруг его лицо исказилось; он сказал:

— Как ни весело нам сегодня, одного мы не должны забывать: своих врагов. Врагов никогда нельзя забывать! Если мы еще не раздавлены, то не по их вине; они не пожалели на это труда. И мы не пожалеем труда, чтобы раздавить их! Вот почему в своем тосте я хочу вам напомнить, что есть люди... за здоровье которых мы пить не будем!..

Все встретили смехом и рукоплесканиями этот необычный тост. Гаслер смеялся вместе со всеми, и лицо его опять приняло добродушное выражение. Но Кристофу стало неловко. Он не посмел бы и на секунду усомниться в правоте своего

кумира, а все-таки ему было неприятно, что Гаслер в этот вечер думает о чем-то злом и безобразном,— в этот вечер, когда ничему не должно быть места, кроме света и ликования. Но это чувство лишь смутной тенью прошло в душе Кристофа и почти тотчас было вытеснено перекипавшей через край радостью и той капелькой шампанского, которую дедушка дал ему выпить из своего бокала.

Когда они возвращались домой, дедушка всю дорогу не переставал ораторствовать — похвалы Гаслера привели его в восторженное состояние; он кричал на всю улицу, что Гаслер гений, такие, как он, рождаются раз в столетие! А Кристоф молчал, скрывая глубоко в сердце любовное упоение: *Гаслер* поцеловал его! *Гаслер* держал его на коленях! Как *он* добр! Как *он* велик!

«Ах! — думал Кристоф, лежа потом в своей кроватке и страстно обнимая подушку.— Я хотел бы умереть за него! Умереть за него!..»

Пронесшийся над их городком блестящий метеор оказал решительное влияние на ум Кристофа. С этих пор, в течение всего детства, Гаслер стоял перед его внутренним взором как живой образец, и по его примеру маленький шестилетний человечек решил, что тоже будет сочинять музыку. По правде сказать, он давно уже это делал, сам того не подозревая; ему, чтобы творить, не нужно было знать, что он занимается творчеством.

Всё музыка для музыкальной души. Все, что колеблется, и движется, и трепещет, и дышит,— солнечные летние дни и свист ночного ветра, струящийся свет и мерцание звезд, гроза, щебет птиц, жужжание насекомых, шелест листвы, любимые или ненавистные голоса, все привычные домашние звуки, скрип дверей, звон крови в ушах среди ночной тишины,— всё сущее есть музыка; нужно только ее услышать. И вся эта музыка живого бытия звучала в Кристофе. Всё, что он видел, всё, что он чувствовал, незаметно для него самого преображалось в мелодии. Он был как улей, полный звенящих пчел. Но никто этого не замечал и меньше всех сам Кристоф.

Как все дети, он постоянно напевал. В любой час дня, что бы он ни делал — гулял ли по улице, припрыгивая на одной ножке, разглядывал ли картинки, растянувшись на полу в спальне у дедушки и подпирая кулаками склоненную над книгой голову, сидел ли под вечер в своем креслице в самом тем-

ном углу кухни, мечтая бог весть о чем в сгущающихся сумерках,— всегда он тихонько гудел себе под нос, надувая щеки и плотно сжав рот или наигрывая на губах. Кристофу никогда не надоедало это занятие. И Луиза привыкла к его монотонному жужжанию. Только иногда ее вдруг охватывало раздражение, и в сердцах она кричала на Кристофа.

Потом он внезапно выходил из своей полудремоты; ему хотелось шуметь и двигаться. Тогда он сочинял арии и распевал их во все горло. У него были особые мелодии для всех случаев жизни. Одну он пел по утрам, когда плескался в тазу, как утенок. Другую — когда садился на табурет перед ненавистным роялем, а третью — когда сходил с табурета, и эта была особенно бравурная. Еще одну он пел, когда мама подавала суп на стол; он тогда бежал впереди, испуская трубные звуки. Он играл на губах триумфальные марши, торжественно направляясь вечером из столовой в спальню. Иногда он с братишками устраивал целые шествия; все трое с важностью выступали друг за другом, и каждый исполнял свой собственный марш, но себе Кристоф по праву выбирал самый красивый. Каждый напев предназначался для своей особой цели, и Кристоф никогда их не путал. Другим они могли казаться одинаковыми, но Кристоф различал в них оттенки, в которых нельзя было ошибиться.

Однажды у дедушки он кружился по комнате; закинув голову и выпятив живот, притопывая каблуками, он делал круг за кругом — до одури и тошноты — и распевал воинственную песнь. Дедушка в это время брился; внезапно он поднял намыленный подбородок и, поглядев на Кристофа, спросил:

— Что это ты поешь?

Кристоф ответил, что не знает.

— Ну-ка, спой сначала! — сказал Жан-Мишель.

Кристоф попробовал, но не мог вспомнить. Тогда, польщенный вниманием дедушки, он затянул на свой лад какую-то оперную арию, стараясь петь как можно громче,— очевидно, дедушке понравился его прекрасный голос! Но старику не того было нужно. Он замолчал и больше уже как будто не обращал внимания на Кристофа. Но с этих пор он стал оставлять дверь открытой, когда мальчик играл один в соседней комнате.

Несколько дней спустя Кристоф, расставив полукругом стулья, разыгрывал на этой импровизированной сцене музыкальную комедию, которую сам состряпал из обрывков своих театральных воспоминаний; он с важным видом выделывал па в темпе менуэта, подражая актерам в какой-то из виденных

им пьес, и отвешивал поклоны перед портретом Бетховена, висевшим над столом. Сделав по всем правилам пируэт, он вдруг увидел просунувшуюся в приотворенную дверь голову дедушки: старик внимательно смотрел на него. Кристофу подумалось, что дедушка над ним смеется, и ему стало стыдно; он замер на месте, потом побежал к окну и прижался к стеклу лицом, как будто разглядывал на дворе что-то очень интересное. Но дедушка и не думал смеяться; он подошел к Кристофу, обнял его и поцеловал, и видно было, что старик доволен. Детское тщеславие Кристофа не замедлило вышить узоры по этой канве: смышленый мальчик отлично понял, что ласка дедушки была данью его талантам, он только не мог решить, в каком именно качестве заслужил он дедушкино одобрение — как драматический автор, как музыкант, как певец или как танцовщик. Скорее всего последнее, ибо сам Кристоф выше всего ценил свои достижения в этой области.

Через неделю, когда Кристоф уже обо всем этом забыл, дедушка вдруг подозвал его и объявил с таинственным видом, что хочет что-то ему показать. Он достал из письменного стола нотную тетрадь и, раскрыв ее на рояле, предложил Кристофу сыграть. Тот, подзадориваемый любопытством, принялся, как умел, разбирать пьесу. Ноты были писаны от руки, крупным дедушкиным почерком, очень аккуратно и четко,— старик, видимо, постарался. Заголовки были украшены завитушками и росчерками. Дедушка сидел рядом с Кристофом и переворачивал страницы; вдруг он спросил:

— А ты знаешь, что это такое?

Кристоф, поглощенный процессом игры, не замечал, что играет, и равнодушно ответил:

— Не знаю.

— Подумай. Вот этот мотив, разве он тебе не знаком?

Да, как будто что-то знакомое. Но где слыхал, неизвестно. Дедушка засмеялся.

— Вспомни!

Кристоф помотал головой:

— Да нет же, не знаю.

Собственно говоря, что-то мелькало у него в уме; как будто бы эти мотивы... Но нет! Он не смел, он не решался их узнать.

— Право же, не знаю...

А краска уже заливала ему щеки.

— Ах ты, дурачок, разве ты не видишь, что это твое?

Он уже давно догадался, и все-таки, когда это сказали вслух, сердце у него словно подпрыгнуло.

— Дедушка! Дедушка!

Старик, сияя, стал перелистывать тетрадь.

— Вот смотри: «Ария». Это ты пел во вторник, когда лежал на полу. «Марш». Это то, что я на прошлой неделе просил тебя повторить, а ты не мог вспомнить. «Менуэт». Это ты пел, когда танцевал перед креслом. Смотри сюда.

На переплете было тщательно выписано великолепным готическим шрифтом:

Жан-Кристоф Крафт.— «Утехи детства».
Ария, менуэт, вальс и марш. (Ор. 1).

Кристоф не верил своим глазам. Его имя на обложке, пышное заглавие, толстая тетрадь — его собственные сочинения!.. Он только растерянно повторял:

— Дедушка! Дедушка!

Старик привлек его к себе. Кристоф бросился ему на шею, спрятал лицо у него на груди. Он весь разрумянился от радости. Дедушка, чуть ли не более счастливый, чем сам Кристоф, продолжал нарочито равнодушным голосом, так как боялся совсем разволноваться:

— Ну конечно, я приписал аккомпанемент и гармонизировал мелодию в соответственной тональности... И потом... (он покашлял) я еще вот тут вставил *трио* в менуэт, потому что... ну, потому что так принято... и кроме того, мне кажется, что оно не такое уж плохое...

Он сыграл это *трио*. Кристоф был очень горд тем, что они с дедушкой вместе пишут музыку.

— Дедушка, но тогда нужно поставить и твое имя!

— Нет. Не надо. Пусть никто об этом не знает, кроме тебя. Но позже... (тут голос его задрожал) позже, когда меня уже не будет, это останется тебе как память о твоем старом дедушке... Ты ведь будешь вспоминать о нем? Да? Ты не забудешь?

Старик не хотел признаться, что не устоял перед невинным соблазном подкинуть одно из своих неудачных детищ внуку, чьи творения, он чувствовал, переживут его. Это желание приобщиться к чужой славе было таким смиренным и таким умилительным, ибо он соглашался остаться безвестным, лишь бы передать потомству частицу своих мыслей, лишь бы не умереть совсем... Кристоф растрогался до слез: он без счета целовал дедушку. И старик, с каждой минутой все больше умиляясь, тоже целовал мальчика в голову.

— Ты меня не забудешь, нет? Когда-нибудь, когда ты станешь настоящим музыкантом, великим художником и про-

славишь свою семью, и свое искусство, и свою родину, когда ты будешь знаменит, ты вспомнишь, что твой старик дед первый это угадал, что он первый предсказал твое будущее...

Он говорил, и от жалости к самому себе на глазах у него выступили слезы. Но он не хотел, чтобы мальчик заметил его слабость. Поэтому он раскашлялся, нахмурился, отослал Кристофа играть и заботливо убрал в стол драгоценную рукопись.

Кристоф возвращался домой, не чуя под собой ног от радости. Придорожные камни плясали вокруг него. Но прием, оказанный ему родителями, несколько его отрезвил. Когда он, захлебываясь, стал рассказывать о своих музыкальных подвигах, отец и мать накричали на него. Луиза попросту его высмеяла; Мельхиор сказал, что старик, видно, уж совсем спятил, полечился бы лучше, чем забивать мальчишке голову всякой чепухой; а Кристоф пусть раз и навсегда забудет об этих глупостях — сейчас же пусть садится за рояль и четыре часа играет упражнения. Сперва надо научиться играть как следует, а композицией можно заняться как-нибудь потом, когда другого дела не будет.

Не следует, однако, думать,— как можно было бы заключить из этих разумных слов,— что Мельхиор опасался для сына гибельных последствий преждевременного самомнения. Он скоро показал, что такие опасения ему чужды. Но так как у него не было ни своих мыслей, ни вообще стремления что-либо выразить в музыке, то он, самовлюбленный, как большинство виртуозов, привык считать композицию делом второстепенным, которому только искусство исполнителя придает цену. Восторженные встречи, оказываемые публикой великим композиторам, как, например, Гаслеру, не оставляли, конечно, Мельхиора равнодушным. Это был успех, а Мельхиор преклонялся перед всяким успехом, и к этим овациям он относился с почтением и долей зависти, ибо считал, что по праву они должны бы достаться ему. Но он знал из собственного опыта, что успехи виртуоза могут быть не менее блестящи, не говоря уже о том, что они гораздо больше способствуют его личной славе и дают больше приятных и ощутимых результатов. В разговорах Мельхиор всегда старался подчеркнуть свое глубокое уважение к прославленным творцам музыки, но вместе с тем с особым удовольствием рассказывал про них всякие вздорные анекдоты, дававшие весьма нелестное представление об их уме и нравственности. Виртуоза он помещал на верху артистической лестницы, ибо,

говорил он, известно, что язык — самый благородный орган нашего тела: чем была бы мысль без слов? Чем была бы музыка без исполнителя?

Но какими бы побуждениями ни руководствовался Мельхиор, взбучка, заданная им Кристофу, была для мальчика полезна, так как хоть немного его отрезвила, иначе он рисковал совсем утратить здравый смысл под влиянием дедушкиных похвал. К сожалению, она еще мало подействовала: Кристоф не преминул рассудить, что просто дедушка умнее отца; и если после отцовской нотации мальчик безропотно уселся за рояль, то отнюдь не из послушания, а только потому, что ему хотелось помечтать всласть, как он часто делал, пока его пальцы машинально бегали по клавишам. Он разыгрывал бесконечные упражнения, а сам все время слышал внутренний голос, горделиво повторявший: «Я композитор, я великий композитор!»

Раз композитор, значит, надо сочинять. И с этого дня Кристоф усердно принялся марать бумагу. Он не умел еще толком писать буквы, но целыми часами старательно вырисовывал четверти и восьмые на листках, вырванных из тетрадки, в которой Луиза записывала хозяйственные расходы. Однако попытки понять свою мысль и потом ее записать стоили ему такого труда, что под конец в голове у него не оставалось вовсе никаких мыслей, кроме мысли о том, что он хочет иметь какую-нибудь мысль. Все же он упрямо продолжал лепить музыкальные фразы, и так как он был прирожденным музыкантом, это ему кое-как удавалось, хотя фразы эти ровно ничего не значили. Затем он с торжеством нес их дедушке, и тот плакал от умиления — слезы легко приходили к дряхлеющему старику — и объявлял, что это гениально.

Так можно было бы вконец испортить мальчика. К счастью, его спас природный здравый смысл и влияние одного человека, который, однако, ни на кого не стремился оказывать влияние и сам никак не мог служить образцом здравого смысла, по крайней мере с точки зрения окружающих. Это был брат Луизы.

Как и сестра, он был невелик ростом, тщедушный, хилый, сгорбленный. Неизвестно, сколько ему было лет,— во всяком случае, лишь ненамного перевалило за сорок, но по виду ему давали пятьдесят и даже больше. У него было маленькое румяное лицо, все в морщинках, и добрые голубые глаза, очень светлые, как поблекшие незабудки. Он постоянно ходил в шапке, из страха перед сквозняками, а когда решался ее снять, под ней обнаруживалась совершенно лысая, розовая и заостренная кверху голова; ее странный вид до крайности потешал Кри-

стофа и его братьев. Поощряемые грубыми шутками Мельхиора, они вечно приставали к дяде, допрашивали, куда он девал свои волосы, грозились отшлепать его по лысине. Он сам первый смеялся и терпеливо сносил все их шалости. По ремеслу он был бродячий торговец: ходил по деревням с огромным тюком за плечами, а в тюке было всего понемногу — бакалея, галантерея и письменные принадлежности, платки, шали, башмаки, консервы, календари, песенники, конфеты и пилюли. Крафты не раз пытались устроить его где-нибудь оседло, покупали ему запас товаров, снимали для него помещение под мелочную лавочку или маленький галантерейный магазин. Но он не мог долго усидеть на месте; как-нибудь утром он вставал еще до света, прятал ключ под порогом и исчезал вместе со своим тюком. Месяц, два о нем не было слышно; вдруг как-нибудь вечером раздавался робкий стук, дверь приотворялась, в щелку просовывалась маленькая лысая голова — без шапки, как того требует вежливость,— показывалось знакомое лицо с добрыми глазами и застенчивой улыбкой. «Привет всей компании»,— говорил он, старательно обтирал ноги, здоровался со всеми по очереди, начиная с самого старшего, и скромно усаживался в уголке. Потом закуривал трубку и, смиренно сгорбившись, пережидал, пока истощится запас грубых шуток, которыми его всегда встречали у Крафтов. И Мельхиор и Жан-Мишель относились к нему с насмешливым презрением. Этот недоносок казался им пародией на человека; к тому же странствующий торговец! Такое ничтожное положение! Их гордость была уязвлена, и они без стеснения давали ему это почувствовать. Но он как будто ничего не видел и всегда проявлял к ним величайшую почтительность; и это обезоруживало их, в особенности Жан-Мишеля, чувствительного к любым знакам уважения. Поэтому они ограничивались шутками, но уж шуточки были такие, что Луизу от них нередко бросало в краску. Привыкнув склоняться перед умственным превосходством Крафтов, она и в этом случае не подвергала сомнению правоту мужа и свекра, но она горячо любила брата, а тот питал к ней молчаливое обожание. Их только двое осталось от всей семьи — оба смиренные, незаметные, сломленные жизнью; из общего горя, которое они переносили без жалоб, и взаимного сострадания родилась грустная и нежная привязанность. Среди Крафтов, шумных и грубых здоровяков, отлично приспособленных к тому, чтобы наслаждаться всеми благами жизни, эти два кротких и слабых существа были как бы вне мира, вне жизни или где-то сбоку — не мудрено, что они без слов понимали и жалели друг друга.

Кристоф с бездумной жестокостью детства разделял презрение отца и деда к маленькому торговцу. Он заставлял его играть роль шута, донимал всякими дурачествами, которые тот переносил с невозмутимым спокойствием. А вместе с тем Кристоф любил его, сам того не сознавая, любил прежде всего как безответную игрушку, с которой можно делать все, что вздумается; любил также и за то, что дядя всегда припасал для Кристофа что-нибудь приятное — лакомство, картинку, забавную выдумку. Возвращение дяди было праздником для детей: они так и ожидали какого-нибудь сюрприза и никогда не обманывались. При всей своей бедности он ухитрялся каждому сделать подарок, и не было случая, чтобы он забыл чей-нибудь день рождения. Когда наступала торжественная дата, дядя Готфрид был уже тут как тут и вынимал из кармана какую-нибудь хорошенькую, с любовью выбранную вещицу. Все так к этому привыкли, что даже не считали нужным благодарить; да разве и не было для него достаточной наградой то удовольствие, которое он сам получал от своих подарков? Но Кристоф, который спал плохо и часто по ночам перебирал в уме события дня, додумывался иногда до мысли, что дядя очень добр, и его охватывал порыв благодарности к этому скромному человеку. Впрочем, эти чувства редко доживали до утра; днем Кристоф только о том и думал, как бы посмеяться над дядей. Да и вообще он был еще слишком мал и не умел ценить доброту; для ребенка добрый и глупый почти одно и то же, и дядя Готфрид казался живым подтверждением этой истины.

Раз вечером Готфрид, оставшись один,— Мельхиор обедал в гостях, а Луиза укладывала малышей,— спустился к реке и сел на берегу недалеко от дома. Кристоф от нечего делать поплелся за дядей и, по обыкновению, начал теребить его, как разыгравшийся щенок; наконец, запыхавшись, он повалился наземь у ног дяди и, растянувшись на животе, зарылся лицом в траву. Отдышавшись, он стал придумывать, что бы еще сказать почуднее, и, придумав, выкрикнул найденное слово, корчась от смеха. Никто ему не ответил. Удивленный этим молчанием, он поднял голову, намереваясь повторить свою остроту, и увидел лицо дяди, освещенное последними отблесками заката, угасавшего в золотом дыму. Слова замерли на устах у Кристофа. Готфрид улыбался; глаза его были почти сомкнуты, губы приоткрылись, болезненные черты хранили неизъяснимо печальное и торжественное выражение. Кристоф молча смотрел, приподнявшись на локте. Вечерело; лицо Готфрида мало-помалу растворялось в сумерках. Стояла ненарушимая тишина. Таин-

ственные чувства, отражавшиеся на лице Готфрида, постепенно завладевали и Кристофом. Он погрузился в какое-то оцепенение. Тень одевала землю, но небо было ясное; зажигались звезды. На берег с чуть слышным плеском набегали мелкие волны. Рядом звенел сверчок. Кристоф вяло жевал травинки, невидимые в темноте; его все больше одолевала дрема,— казалось, еще минута, и он заснет... Вдруг в темноте Готфрид запел. Он пел слабым надтреснутым голосом, словно про себя; в десяти шагах его, пожалуй, никто бы не услышал. Но в его пении была волнующая искренность: казалось, он думает вслух, и сквозь звуки песни, как сквозь прозрачную воду, можно увидеть его душу до самого дна. Никогда еще Кристоф не слышал, чтобы так пели. И такой песни он никогда не слыхал. Медленная, детски простая по напеву, грустная, чуть-чуть монотонная, она шла задумчивой поступью, никуда не спеша, то умолкала надолго, то снова пускалась в путь, не думая о цели, теряясь в ночи... Казалось, она пришла из бесконечной дали и уходит неведомо куда. В ее безмятежности была тайная тревога; под внешним спокойствием дремала извечная боль... Кристоф не дышал, он не смел шелохнуться, он весь похолодел от волнения. Когда песня умолкла, он подполз к Готфриду.

— Дядя...— с трудом выговорил он; спазма сжимала ему горло.

Готфрид не ответил.

— Дядя! — повторил мальчик, опершись руками и подбородком на колени Готфрида.

Ласковый голос откликнулся ему:

— Что, деточка?

— Дядя! Что это такое, скажи? Что это ты пел?

— Я не знаю.

— Ну, скажи же!

— Но я не знаю. Так, песня.

— Это ты сочинил?

— Ну вот еще! Где же мне. Это старая песня.

— Кто ее сложил?

— Не знаю.

— Когда?

— Не знаю.

— Когда ты был маленький?

— Ну нет, гораздо раньше. Когда я еще не родился, и мой отец еще не родился, и отец моего отца, и отец моего деда... Она была всегда.

— Как странно! Мне никогда об этом не говорили...

Мальчик помолчал минуту.

— Дядя! А еще песни ты знаешь?

— Знаю.

— Спой еще. Пожалуйста!

— Зачем петь еще? Довольно одной. Поешь, когда хочется петь, когда не можешь не петь. А петь для забавы не надо.

— А если занимаешься музыкой?

— Это не музыка.

Кристоф задумался. Он не совсем понял слова дяди, но не стал просить объяснений. Ведь правда, это не музыка, во всяком случае не такая, как обыкновенно. Потом заговорил снова:

— Дядя! А ты тоже их сочинял?

— Что сочинял?

— Песни!

— Песни? Ну как это возможно!.. Их не сочиняют.

Но Кристоф настаивал с обычным своим упорством:

— Дядя, да ведь кто-нибудь сочинил же эту песню?

Готфрид упрямо мотал головой.

— Никто ее не сочинял. Она была всегда.

Кристоф не унимался:

— Ну хорошо, а другие песни можно сочинить? Новые?

— А зачем? Песни есть для всего. Когда тебе грустно — для этого есть песня, и когда тебе весело — для этого есть другая. И когда устал и скучаешь по дому; и когда презираешь себя, потому что ты всего-навсего жалкий грешник, червь земной. И когда тебе хочется плакать оттого, что люди недобрые; и когда у тебя сердце радуется оттого, что светит солнце, и ты видишь над собой божье небо, и господь как будто улыбается тебе, потому что он всегда добр... Для всего есть песни. Зачем же еще их сочинять?

— Чтобы стать великим человеком! — воскликнул мальчик, вспоминая наставления дедушки и свои простодушные мечты.

Готфрид тихонько рассмеялся. Кристоф, несколько обиженный, спросил:

— Чему ты смеешься?

— Ничего, это я так,— откликнулся Готфрид.— Да и что говорить обо мне!

Он погладил мальчика по голове и спросил:

— Так ты, стало быть, хочешь быть великим человеком?

— Да,— с гордостью ответил Кристоф. Он думал, что дядя его похвалит.

Но Готфрид сказал:

— А зачем?

Кристоф стал в тупик. Подумав, он объяснил:

— Чтобы слагать прекрасные песни!

Готфрид опять засмеялся.

— Ты хочешь слагать песни, чтобы стать великим, а великим хочешь быть для того, чтобы слагать песни. Ты — как собака, которая ловит свой хвост.

Кристоф очень обиделся. Он привык сам смеяться над дядей, а тут вдруг дядя смеется над ним! В другое время он бы этого не стерпел. Вместе с тем ему было удивительно, что дядя оказался таким умным — даже нечего ему ответить. Кристофу очень хотелось опровергнуть дядины рассуждения или хоть нагрубить ему, но он ничего не мог придумать. А Готфрид продолжал:

— Будь ты велик, как отсюда до Кобленца, ни одной песни тебе все равно не сложить.

Кристоф возмутился.

— А если я хочу!

— Мало чего ты хочешь. Чтобы слагать песни, нужно самому быть, как они. Слушай...

Луна уже вставала над полями, круглая, яркая. Серебристая дымка затягивала землю и светлое зеркало вод. Переговаривались лягушки, в лугах слышалась мелодичная флейта жаб. Тонкое тремоло сверчков как бы перекликалось с мерцанием звезд. Ветер трогал листья на старой ольхе, и они чуть слышно лепетали. С холмов над рекой струилась переливчатая песня соловья.

— Зачем петь? — вздохнул Готфрид после долгого молчания. (Может быть, он говорил с Кристофом, а может быть, с самим собой.) — Разве это не лучше всего, что ты можешь сочинить?

Кристоф много раз слыхал все эти ночные звуки и любил их. Но так он еще никогда их не слышал. Правда, зачем петь?.. Сердце его исполнилось нежности и грусти. Ему хотелось обнять луга, реку, небо и эти милые, милые звезды... На него вдруг нахлынула любовь к дяде Готфриду — этот маленький человек теперь казался Кристофу самым лучшим, самым умным, самым красивым из всех, кого он знал. Он вспомнил, как всегда смеялся над ним, и подумал, что, наверно, от этого дядя такой грустный. Его охватило раскаяние. Ему хотелось сказать: «Дядя, не горюй! Я больше не буду! Прости меня! Я так тебя люблю!» Но он не смел... В страстном порыве он бросился вдруг на шею Готфриду; однако заготовленные слова не шли с его губ; он только твердил: «Я люблю тебя!» — и горячо целовал дядю. Удивленный и растроганный, Готфрид спрашивал: «Ну что ты?

Что ты?» — и тоже целовал его. Наконец он поднялся и, взяв Кристофа за руку, проговорил:

— Пора домой.

Кристоф пошел за ним, как в воду опущенный; ему грустно было оттого, что дядя его не понял. Но, уже подойдя к дому, Готфрид вдруг сказал:

— Если хочешь, мы как-нибудь вечером опять пойдем слушать божью музыку, и я спою тебе еще другие песни.

И когда Кристоф, преисполненный благодарности, крепко обнял дядю, прощаясь с ним на ночь, он знал, что тот его понял.

После этого они часто гуляли по вечерам. Они шли вдоль реки или по тропинке через поля. Оба молчали. Готфрид не спеша покуривал трубку. Кристоф, слегка робея в темноте, держался за дядину руку. Потом садились на траву, и, помолчав еще немного, Готфрид начинал говорить. Он рассказывал Кристофу о звездах, о тучах; учил его различать голоса земли, и воды, и воздуха, писки и шелесты, пение и крики всех летающих, плавающих, ползающих тварей — всего этого мира малых существ, населяющих темноту; объяснял, что́ предвещает дождь, а что́ ясную погоду; заставлял мальчика вслушиваться в бесчисленные звуки, из которых слагается симфония ночи. Иногда Готфрид пел; песни бывали печальные, бывали веселые, но все они чем-то напоминали ту первую и будили в Кристофе такое же волнение. Готфрид никогда не пел больше одной песни в вечер, и Кристоф заметил, что он не любит петь, когда его просят,— нужно было, чтобы это вышло само собой, чтобы ему самому захотелось петь. Иногда приходилось долго ждать, долго сидеть молча, и, уже когда Кристоф с огорчением думал: «Ну, сегодня он не будет петь»,— Готфрид вдруг начинал.

Однажды вечером, когда стало ясно, что от Готфрида ничего не дождешься, Кристоф вздумал пропеть ему одну из своих собственных мелодий, на которые тратил столько труда и которыми так гордился. Он хотел показать дяде, как замечательно он умеет сочинять. Готфрид внимательно его прослушал, потом сказал:

— Как это плохо! Бедный мой Кристоф, как это плохо!

Кристоф так оскорбился, что не нашел слов для ответа. Готфрид сокрушенно продолжал:

— Зачем ты это делал? Это *так* плохо! Никто ведь тебя не заставлял.

Кристоф негодующе воскликнул, весь красный от гнева:

— Дедушка говорит, что это очень хорошая музыка!

— А-а...— протянул Готфрид, нисколько не смущаясь.—

Ну, раз он говорит, значит, так и есть. Он ученый человек. Он понимает в музыке. А я в ней ничего не понимаю...

Но через секунду он добавил:

— Только, по-моему, это очень плохо.

Он кротко посмотрел на Кристофа, увидел его расстроенное лицо, улыбнулся и сказал:

— У тебя, наверно, есть еще что-нибудь? Может быть, то мне больше понравится.

Кристоф воспрянул духом. В самом деле, может быть, другие вещи изгладят неблагоприятное впечатление от первой. Он спел их все подряд. Готфрид молча слушал; он ждал, пока Кристоф кончит. Затем покачал головой и сказал с глубоким убеждением:

— Эти еще хуже.

Кристоф прикусил губу; у него дрожал подбородок, рыдания подступали к горлу. Готфрид и сам был огорчен, но не мог покривить душой.

— Как это плохо! — повторил он.

Кристоф воскликнул со слезами в голосе:

— Но почему, почему ты так говоришь? Чем это плохо?

Готфрид посмотрел на него своим ясным, правдивым взглядом.

— Чем плохо? Не знаю... Погоди... Это плохо... прежде всего потому, что это глупо... Да, да, в этом все дело... Это глупо, это ничего не значит... Вот. Когда ты это писал, тебе нечего было сказать. Так зачем же ты писал?

— Не знаю,— жалобно ответил Кристоф.— Мне хотелось сочинить что-нибудь хорошее.

— Ну да! Ты писал так, лишь бы написать. Ты писал, чтобы показать, какой ты замечательный музыкант, чтобы тебя похвалили. Ты возгордился и допустил в свое сердце ложь; и за это ты наказан... Вот! В музыке всегда так: когда гордишься и лжешь, всегда бываешь наказан. Музыка должна быть скромной и правдивой, ибо что она такое иначе? Кощунство, хула на господа бога, который даровал нам прекрасные песни, чтобы выражать настоящие, а не поддельные чувства...

Видя огорчение мальчика, Готфрид хотел его обнять, но Кристоф сердито отвернулся. После этого он несколько дней не разговаривал с дядей. Ему казалось, что он ненавидит Готфрида. Но напрасно твердил он себе в утешение: «Он просто дурак. Он ничего не понимает. Дедушка куда умнее, а дедушка говорит, что мои пьески очень хорошие»,— в глубине души он знал, что прав дядя, а не дедушка. Слова Готфрида тяжело

легли мальчику на сердце, и ему было стыдно оттого, что его уличили во лжи...

Не скоро зажила рана, нанесенная самолюбию Кристофа; и все же, как ни был он сердит, теперь, сочиняя музыку, он всякий раз думал: а что об этом скажет дядя? И часто разрывал написанное, потому что ему вдруг становилось стыдно... А если эта мысль его не останавливала и он дописывал до конца какую-нибудь вещицу, о которой знал, что она не совсем искренняя, он прятал ее от дяди, страшась его приговора; и как же зато он бывал счастлив, когда, решившись что-нибудь показать Готфриду, слышал из его уст скупую похвалу:

— Ну, это не так уж плохо... Мне нравится...

Иногда, правда, он в отместку устраивал дяде каверзы: напевал ему, будто свои, отрывки из произведений знаменитых композиторов и торжествовал, когда Готфрид, как не раз бывало, находил их отвратительными. Но Готфрида это ничуть не смущало. Он смеялся от души, видя, как Кристоф бьет в ладоши и прыгает в восторге оттого, что подловил дядю, а затем спокойно повторял свой обычный приговор:

— Может быть, это и хорошо написано, только это ничего не значит.

Он не любил присутствовать на домашних концертах, которые иногда устраивались у Крафтов. Какую бы блестящую вещь ни исполняли, он через некоторое время начинал зевать и явно изнемогал от скуки. А скоро ему и вовсе становилось невтерпеж, и он старался незаметно улизнуть. После он объяснял Кристофу:

— Видишь ли, деточка, музыка, если ее писали в четырех стенах, это еще не музыка. Это все равно что солнце в комнате. Настоящая музыка бывает только под открытым небом, где дышится свежо и над тобою веет дух божий.

Он постоянно говорил о боге; он был очень набожен, в противоположность обоим Крафтам,— те, и отец и сын, корчили из себя вольнодумцев, хотя на всякий случай остерегались есть скоромное по пятницам.

Вдруг, неизвестно почему, Мельхиор изменил свое отношение к попыткам Кристофа сочинять музыку. Теперь он не только одобрял дедушку за то, что тот запечатлел на бумаге импровизации внука, но даже, к величайшему удивлению мальчика, не поленился снять с рукописи две или три копии, потратив на это несколько вечеров. На все расспросы, зачем он это делает, он отвечал с важностью: «Там видно будет»,— и самодо-

вольно потирал руки; а иногда тяжелой дланью шутливо ерошил волосы Кристофу либо, смеясь, закатывал ему звонкие шлепки. Кристоф терпеть не мог такого фамильярного обращения, но радовался, видя, что отец доволен, хотя и не понимал почему.

Потом у Мельхиора с дедушкой начались таинственные совещания. И однажды вечером Кристоф с изумлением узнал, что он, Кристоф, посвятил «Утехи детства» его высочеству герцогу Леопольду. У герцога заранее испросили согласия принять посвящение юного музыканта — об этом позаботился Мельхиор,— и герцог милостиво согласился, после чего Мельхиор с торжеством объявил, что теперь нужно, не теряя ни минуты, сделать три вещи: во-первых, составить официальное посвящение; во-вторых, опубликовать произведения Кристофа; в третьих, устроить концерт, на котором они будут исполнены.

Опять дедушка и Мельхиор стали держать совет. Два или три вечера они провели в оживленных спорах. Детям было строго запрещено им мешать. Мельхиор писал, зачеркивал, опять писал, опять зачеркивал. Дедушка что-то декламировал нараспев, как будто читал стихи. Иногда оба сердились и стучали кулаками по столу — это значило, что они не могут найти нужное слово.

Потом позвали Кристофа, усадили его за стол, дали ему в руки перо; справа сел отец, слева дедушка, и Жан-Мишель принялся диктовать. Кристоф не понимал ни слова: все его внимание уходило на то, чтобы выписывать буквы; вдобавок Мельхиор дудел ему прямо в ухо, а дедушка так напыщенно произносил слова, что Кристоф, пораженный их странным звучанием, даже не пытался уразуметь смысл. Дедушка, однако, был очень взволнован; он не мог усидеть на месте, вставал, расхаживал по комнате, бессознательно сопровождая актерскими жестами произносимый текст, поминутно возвращался к столу и заглядывал в лежавшую перед Кристофом страницу, а того до крайности смущали эти две склоненные над ним огромные головы; он высовывал язык, перо его не слушалось, в глазах мутилось, он прибавлял лишние палочки, путал буквы, и Мельхиор вопил от негодования, и Жан-Мишель рвал и метал; приходилось начинать все сызнова — раз, и два, и три; а когда уже дошли благополучно до конца, на безукоризненную страницу легла вдруг огромная клякса. Кристофу надрали уши, он рыдал, а ему запрещали плакать, чтобы он не закапал слезами бумагу, и диктовка опять началась с первой строчки. Кристофу уже стало казаться, что он так и будет до последнего своего часа все писать и писать это злополучное письмо.

Наконец написали. Жан-Мишель, прислонившись к печке, прерывающимся от полноты чувств голосом прочитал свое творение, а Мельхиор, откинувшись на стуле и вперив глаза в потолок, кивками выражал согласие, смакуя, как тонкий знаток стиля, нижеследующее послание:

«Ваше пресветлое и преславное высочество,
всемилостивейший государь мой!

С четырехлетнего возраста музыка стала любимым занятием моих юных лет. Едва вступив в общение с благородной музой, пробудившей в сердце моем влечение к чистым гармониям, я полюбил ее всей душой; и думается мне, что и она не была ко мне неблагосклонна. Ныне я достиг шестого года моей жизни; и давно уже в часы вдохновения муза шептала мне на ухо: «Дерзай! Дерзай! Запечатлей на бумаге наполняющие твою душу созвучия!» Но — шесть лет! — думал я. Как я посмею? Что подумают обо мне искушенные в музыкальном искусстве мужи? Я колебался. Я трепетал. Но муза настаивала... Я покорился. Я стал писать.

А теперь осмелюсь ли я,

о милостивый государь мой,

возложить на ступени Твоего трона первые плоды моих юных усилий?.. Дерзну ли я уповать, что Ты обронишь на них царственную милость Твоего отеческого взгляда?..

О да! Ибо науки и искусства издавна находили в Тебе мудрого покровителя и великодушного заступника, ибо талант всегда процветал под священной Твоей эгидой!

Преисполненный сей глубокой веры, воодушевленный сей надеждой, я решаюсь повергнуть к Твоим стопам мои юные опыты. Прими же их как чистосердечный дар моего детского обожания и благоволи,

о всемилостивейший государь,

осчастливить Твоим взором эти скромные подношения и юного их автора, униженно припадающего к Твоим стопам!

Вашего высокочтимого, пресветлого и преславного высочества

всенижайший, смиреннейший и всепокорнейший слуга

Жан-Кристоф Крафт».

Кристоф не слушал; он только радовался, что его муки кончены, и, опасаясь, как бы его не засадили опять за писание, поспешил улизнуть из дому. Он ничего не понял в том, что написал, да его это и не интересовало. Зато дедушка, прочитав

один раз, сейчас же начал читать вторично, наслаждаясь каждым словом, и когда он кончил, оба они с Мельхиором решили, что это здорово написано. Таково же, по-видимому, было и мнение герцога, которому передали это послание вместе с экземпляром пьес Кристофа. Его высочество милостиво велел сказать, что и посвящение и музыка выполнены в весьма изящном стиле. Он разрешил концерт и приказал предоставить в распоряжение Мельхиора зал Музыкальной академии; он даже обещал лично принять юного артиста в день его выступления.

Мельхиор, не мешкая, принялся за устройство концерта. Он заручился содействием Hof Musik Verein'a [1] и задумал — ибо успех первых шагов разжег в нем жажду славы — одновременно выпустить «Утехи детства» в роскошном издании. На обложке он мечтал поместить портрет Кристофа, сидящего за роялем, а рядом должен был стоять он сам, Мельхиор, со скрипкой в руках. От этого пришлось отказаться не из-за дороговизны — Мельхиор готов был на любые расходы,— но по недостатку времени. Тогда, несколько сбавив свои требования, Мельхиор помирился на аллегорической виньетке: колыбель, игрушечная труба, барабан и деревянная лошадка окружали лиру, из которой исходили во все стороны солнечные лучи. На титульном листе, после длинного посвящения, в котором имя герцога выделено было огромными буквами, сообщалось также, что «господину Жан-Кристофу Крафту в настоящее время исполнилось шесть лет». По правде сказать, Кристофу было уже семь с половиной. Все эти затеи стоили очень дорого; для того чтобы их оплатить, дедушке пришлось продать старинный ларь XVIII столетия, украшенный резными фигурками, с которым он до сих пор не соглашался расстаться, несмотря на неоднократные предложения Вормсера, торговца случайными вещами. Но Мельхиор не сомневался в том, что подписка на издание с лихвой окупит все расходы.

Его терзала другая забота: в каком костюме выпустить Кристофа на эстраду? По этому поводу состоялся семейный совет. Мельхиору хотелось, чтобы Кристоф вышел с голыми икрами и в коротеньком платьице, как четырехлетний ребенок. Но Кристоф был рослый мальчик, даже для своих лет, к тому же все в городе его знали, так что вряд ли удалось бы кого-либо обмануть насчет его возраста. Тогда Мельхиора осенила блестящая мысль. Он решил одеть мальчика во фрак с белым галстуком. Напрасно возмущалась бедная Луиза, говоря, что ее сына

[1] Придворного музыкального общества *(нем.)*.

хотят вырядить, как шута. Мельхиор именно и рассчитывал на то, что столь неожиданный наряд развеселит публику и настроит ее на добродушный лад. Так и решили, и немедленно в доме появился портной, чтобы снять мерку с маленького щеголя. К вечернему костюму понадобилось тонкое белье и лакированные туфли; это тоже стало в копеечку. Новая одежда очень стесняла Кристофа; чтобы мальчик попривык, его несколько раз заставляли репетировать в полном параде. Целый уже месяц он не сходил с табурета. Его учили также раскланиваться перед публикой. В общем, у Кристофа не оставалось ни минуты свободной. Он злился, но не смел противиться, так как и сам верил, что готовится совершить подвиг, который покроет его славой; он и гордился, и трепетал от страха. К тому же никогда с ним так не нянчились, как сейчас: укутывали в кашне, чтобы его не продуло, грели ему носки, чтобы он не застудил ноги, а за столом подкладывали самые лакомые кусочки.

Наконец великий день настал. Явился парикмахер и завил непокорную шевелюру Кристофа; мальчик вышел из его рук курчавый, как барашек. Все семейство собралось поглядеть на Кристофа и решило в один голос, что он великолепен. Мельхиор осмотрел сына со всех сторон, повертел его вправо и влево и вдруг, ударив себя по лбу, притащил откуда-то огромный цветок и вдел Кристофу в петлицу. Но Луиза, увидя это, всплеснула руками и объявила, что мальчика совсем изуродовали,— чистая обезьяна! — чем жестоко обидела Кристофа. Он, впрочем, сам не знал, гордиться ему своим нарядом или же стыдиться. Чутье подсказывало ему, что все это почему-то стыдно. Но еще худший стыд он испытал на самом концерте; это чувство было сильнее всего, что пережил Кристоф в тот памятный день.

До начала оставались считанные минуты. Но зал был наполовину пуст. Пуста была и герцогская ложа. Некий всеведущий доброжелатель — такие всегда находятся — принес известие, что во дворце происходит заседание совета и герцог не придет; это он знает из самых достоверных источников. Мельхиор, в полном расстройстве, не находил себе места, бегал взад и вперед, высовывался в окно. Жан-Мишель тоже волновался, но больше из-за внука, и донимал его советами. Тревога старших передалась Кристофу; он ничуть не боялся за свое исполнение, но ведь придется раскланиваться перед публикой! Чем больше он об этом думал, тем больше терзался.

Однако пора было начинать; публика проявляла нетерпение. Оркестр Hof Musik Verein'a заиграл увертюру к «Ко-

риолану». Кристоф не знал, ни кто такой Кориолан, ни кто такой Бетховен; музыку Бетховена он, конечно, не раз слыхал, но не знал имени композитора; ему никогда не приходило в голову справляться о названиях исполняемых вещей,— он давал им свои названия, придумывал для каждой маленький рассказ или представлял себе в связи с ней какую-нибудь картину природы, деля их по трем категориям: огонь, земля и вода, со множеством дополнительных оттенков. Моцарт почти всегда был вода — то лужайка на берегу ручья, то светлый туман над рекою, то быстрый весенний дождь, то радуга. Бетховен был огонь: пылающий костер с высокими языками пламени и огромными клубами дыма; горящий лес и над ним грозная черная туча, из которой сверкают молнии; бездонное небо с мерцающими звездами, и одна вдруг срывается,— Кристоф сам не раз с бьющимся сердцем наблюдал это в ясные сентябрьские ночи,— срывается и скользит вниз и тихо гаснет... И теперь, как всегда, повелительная страсть этой героической души обожгла его, словно огненный вихрь. Все остальное исчезло; какое ему было дело до всего остального? Досада Мельхиора, тревога Жан-Мишеля, вся эта суета кругом, публика, герцог — что ему до них до всех? Что его с ними связывает? Он был уже не здесь, его увлекала за собой эта неукротимая воля... Он всем существом стремился ей вслед, задыхаясь, со слезами на глазах; ноги у него онемели, все тело напряглось от ладоней до подошв, кровь била в виски, как барабан перед атакой, он весь дрожал... И вдруг, в момент наивысшего внимания, когда он слушал, едва дыша, притаившись за стойкой для декораций, его словно с размаху ударили в сердце: музыка оборвалась на середине такта, а затем после секунды молчания взвыли трубы, загремели литавры — оркестр оглушил зал казенно-торжественным военным маршем. Переход был таким грубым и таким неожиданным, что Кристоф заскрежетал зубами, топнул ногой об пол и показал кулак стене. Но Мельхиор ликовал: герцог уже входил в ложу, и это его приветствовали национальным гимном. И Жан-Мишель спешил дрожащим голосом преподать внуку последние наставления...

Увертюра возобновилась и на этот раз была благополучно доведена до конца. Наступил черед Кристофа. Мельхиор весьма тонко составил программу с таким расчетом, чтобы продемонстрировать одновременно виртуозность и сына и отца: первым номером они должны были вместе исполнить сонату Моцарта для скрипки и рояля. Чтобы не выкладывать все эффекты сразу, решено было, что сперва Кристоф выйдет один. Его

подвели к выходу на сцену, показали рояль, поставленный на середине, ближе к рампе, еще раз повторили, что́ и в каком порядке он должен делать, и вытолкнули из-за кулис.

Кристоф вышел довольно спокойно — он уже привык к театральным залам; но когда он очутился один на сцене под взглядами сотен глаз, он вдруг так оробел, что невольно попятился и даже повернул было назад, намереваясь юркнуть обратно за кулисы, но там стоял отец и, делая страшные глаза, грозил Кристофу. Пришлось идти дальше. Его уже заметили из зала. Поднялся шепот, стали раздаваться смешки — то тут, то там, все громче и чаще. Мельхиор не ошибся: маскарадный костюм маленького дебютанта производил именно то впечатление, на которое он рассчитывал. Люди прыскали со смеху при виде лохматого и смуглого, как цыганенок, мальчугана, который во всех доспехах светского франта нерешительно семенил по сцене. Многие вставали, чтобы лучше его разглядеть, и скоро всех охватило неудержимое веселье; это был не злой смех, но все же такой прием мог бы смутить и более закаленного гастролера. Кристоф, напуганный шумом, взглядами, направленными на него со всех сторон лорнетками, думал только об одном — как бы скорее добраться до рояля, который представлялся ему спасительным островом среди бурного моря. Опустив голову, не глядя по сторонам, он ускоренным шагом промаршировал вдоль рампы, а дойдя до середины, вместо того чтобы раскланяться, как его учили, круто повернул и ринулся прямо к роялю. Стул был слишком высок; Кристоф не мог сесть без помощи отца, но сконфуженный мальчик не догадался подождать и вскарабкался на сиденье, помогая себе коленками. Это еще усилило общую веселость. Но теперь Кристоф был спасен: сидя перед роялем, он уже никого не боялся.

Наконец вышел Мельхиор; благожелательность публики распространилась и на него — его встретили довольно горячими аплодисментами. Начали с сонаты. Маленький человечек у рояля играл с невозмутимой уверенностью, плотно сжав губы, не отводя глаз от клавиш; короткие его ножки свисали с сиденья, не доставая до земли. По мере того как развертывались музыкальные фразы, ему становилось все легче и свободнее, как будто его окружали хорошо знакомые, добрые друзья. Из зала к нему долетал ропот одобрения, и временами его охватывало чувство удовлетворенной гордости при мысли, что столько людей собралось его послушать и все им восхищаются. Но едва он кончил, как снова оробел и, слыша со всех сторон рукоплескания, испытывал не удовольствие, а стыд. Еще хуже

стало, когда Мельхиор взял его за руку, подвел к рампе и велел поклониться публике. Он повиновался и с забавной неуклюжестью отвесил низкий поклон. Но ему было совестно, он покраснел до ушей, как будто делал что-то смешное и гадкое.

Его опять усадили за рояль, и он, уже соло, сыграл «Утехи детства». Публика неистовствовала. После каждой пьески раздавались вопли восторга и требования повторить; и как ни горд был Кристоф своим успехом, эти овации его оскорбляли, ибо звучали как приказания. Под конец весь зал поднялся и рукоплескал стоя; сам герцог аплодировал из своей ложи, подавая пример остальным. Но Кристоф продолжал сидеть, не смея шевельнуться,— отца на этот раз не было возле него, и он совсем растерялся. Аплодисменты усилились. Кристоф все ниже опускал голову, словно виноватый, краснел, как рак, и отворачивался от публики. Мельхиор поспешил ему на помощь; он взял мальчика на руки и, повернув лицом к герцогской ложе, велел послать туда воздушный поцелуй. Кристоф и ухом не повел. Мельхиор до боли стиснул ему локоть и вполголоса пригрозил его выпороть. Тогда Кристоф стал покорно посылать на все стороны поцелуи, но глаз так и не поднял и по-прежнему отворачивался от зала. Он чувствовал себя глубоко несчастным, сам не зная почему; самолюбие его страдало, и все эти люди в зале были ему противны. Его мучил стыд оттого, что все видят его в этой нелепой позе — взяли на руки, как маленького, да еще заставляют рассылать воздушные поцелуи,— не мудрено, что все хохочут над ним, хоть и аплодируют; и Кристоф сердился на публику за этот смех, сердился даже за аплодисменты. Когда Мельхиор наконец поставил его на пол, он, не оглядываясь, устремился за кулисы. Какая-то дама бросила ему букетик фиалок, цветы задели его по лицу — это повергло его в панику, и он пустился бежать со всех ног, опрокинув стул, попавшийся на пути. И чем быстрее он бежал, тем громче смеялись в зале, а чем громче смеялись, тем он быстрее бежал.

Наконец он у выхода — там тоже стояли люди и смотрели на него, но Кристоф головой пробил себе дорогу и спрятался в самом дальнем углу за артистическими уборными. Там его нашел дедушка: старик не помнил себя от радости и не скупился на похвалы Кристофу. Оркестранты, хохоча от души, поздравляли мальчика, но тот ни на кого не смотрел и никому не желал подать руку. Мельхиор, прислушиваясь к неумолкающим аплодисментам, вздумал было еще раз вывести Кристофа на сцену, но мальчик с яростью отказался; он вцепился

в дедушкин сюртук и пинал ногами всех, кто пытался к нему подойти. Под конец он истерически разрыдался; пришлось оставить его в покое.

В эту минуту вошел офицер и объявил, что герцог просит исполнителей к себе в ложу. Что было делать? Как показать ему Кристофа в таком виде? Мельхиор пришел в бешенство и накинулся на сына с бранью; от этого Кристоф зарыдал еще пуще. Но дедушка нашел способ прекратить наводнение: он посулил Кристофу фунт шоколада — только перестань плакать, и Кристоф, большой сластена, тотчас затих, проглотил слезы и беспрекословно дал себя унести; правда, пришлось сперва торжественно поклясться, что его не выведут обманом на сцену.

В герцогской ложе Кристофа подвели к какому-то маленькому, краснощекому и пухлому господину в визитке, лицом напоминавшему мопса; у него были закрученные кверху усы и подстриженная остроконечная бородка; он шутливо приветствовал Кристофа, потрепал его по щеке жирной ручкой и назвал: «Моцарт redivivus!»[1] Это и был герцог. Затем Кристофа представили герцогине, ее дочери и всей их свите. Но так как Кристоф не смел поднять глаз, то единственным его впечатлением от первого знакомства с великосветским обществом был вид десятка женских юбок и форменных военных рейтуз. Юная дочь герцога усадила его к себе на колени и принялась расспрашивать, но Кристоф сидел ни жив ни мертв, не шевелясь и почти не дыша, и на все вопросы вместо него отвечал Мельхиор — угодливым тоном и в почтительных до лакейства выражениях. Однако юная принцесса его не слушала и на все лады поддразнивала Кристофа. Тот краснел все гуще; боясь, что окружающие это замечают, он решил наконец объясниться и произнес с глубоким вздохом:

— Я потому такой красный, что мне очень жарко.

Юная девица покатилась со смеху. Но Кристоф на нее не обиделся, как обижался только что на публику; наоборот, этот смех ему понравился, а когда она его поцеловала, это ему понравилось еще больше.

В эту минуту он увидел дедушку. Старик стоял в коридоре у входа в ложу; на лице у него был написан восторг и вместе с тем смущение: ему тоже хотелось бы подойти и вставить словечко, но он не смел, так как его не позвали, и только издали наслаждался триумфом внука. Кристофа вдруг охватила горячая любовь к дедушке; ему захотелось, чтобы бедному ста-

[1] Воскресший Моцарт *(лат.)*.

рику тоже отдали должное, чтобы все узнали, какой он замечательный человек. Это развязало Кристофу язык; он потянулся к уху своей новой приятельницы и прошептал:

— Я хочу сказать вам один секрет.

Она засмеялась.

— Какой?

— Помните, в моем менуэте есть такое красивое *трио?* Ну, в том менуэте, что я играл? Помните? (Он тихонько пропел это трио.) Ну вот! Так это дедушка сочинил, а совсем не я. Остальное все мое, а вот это, самое красивое, это дедушкино. Он только не велел никому говорить. Вы никому не расскажете? — И, указывая на старика, Кристоф добавил: — Вот это мой дедушка там стоит. Я его очень люблю. Он очень добрый и все для меня делает.

Дочь герцога еще веселее расхохоталась, сказала, что Кристоф душка, расцеловала его в обе щеки и, к великому конфузу и дедушки и внука, немедленно повторила это признание вслух. Все тоже засмеялись, а герцог поздравил смущенного старика, который тщетно пытался что-то объяснить, путаясь и заикаясь, словно уличенный в преступлении. Но Кристоф надулся, и, сколько ни заигрывала с ним потом герцогская дочь, он на все ее вопросы молчал, как каменный: он презирал ее за то, что она не сдержала слова. Его представление о коронованных особах весьма пострадало от этого предательства. Он был так возмущен, что уже не замечал ничего вокруг и не слыхал даже, как герцог, смеясь, объявил, что назначает его своим придворным пианистом — Hof Musicus'ом.

Потом Кристофа увели, но и в фойе и даже на улице множество людей подходили к нему с поздравлениями, а некоторые даже целовали в щечку, к крайнему его неудовольствию, так как он не любил поцелуев, да и вообще терпеть не мог, чтобы им распоряжались без его согласия.

Наконец пришли домой, и, захлопнув за собой дверь, Мельхиор тотчас принялся бранить Кристофа; он обозвал его «простофилей» за то, что тот разболтал про дедушкино *трио.* Кристоф, считавший, что совершил похвальный поступок, достойный поощрения, а не упреков, возмутился и наговорил отцу дерзостей. Тот, в свою очередь, вознегодовал и заявил, что по-настоящему Кристофу надо бы задать хорошую трепку, ну да уж ладно, счастье его, что он играл прилично, поэтому его прощают, но, конечно, из-за его глупости весь эффект концерта пропал. Кристоф, оскорбленный в своем чувстве справедливости, обиделся и ушел в угол; там он и сидел, мрачно насупясь и мысленно казня

презрением отца; юную принцессу и весь мир. Его уязвляло также и то, что приходившие соседи, смеясь, обращались с поздравлениями к Мельхиору и Луизе, как будто это они, а не он отличились в концерте и вся заслуга принадлежит им, а сам он так, ничто, неодушевленный предмет, их собственность.

Неожиданно появился придворный лакей и принес подарки — великолепные золотые часы от герцога, а от его дочери коробку превосходных конфет. Оба подарка очень понравились Кристофу, трудно сказать, который больше, но он не хотел в этом признаться даже самому себе и продолжал хмуриться, искоса с вожделением поглядывая на конфеты и раздумывая, прилично ли ему принять этот дар от особы, которая обманула его доверие. Он совсем уж было решил, что ничего, принять все-таки можно, как вдруг отец потребовал, чтобы он немедленно сел за стол и написал благодарственное письмо под его диктовку. Это уж было слишком! Сказалось ли нервное возбуждение, вызванное событиями дня, или Кристофу было стыдно начинать письмо, как требовал отец, раболепными словами: «Вашего высочества маленький слуга и музыкант — Knecht und Musicus»,— но Кристоф вдруг неудержимо расплакался, и больше от него ничего не удалось добиться. Лакей ждал, иронически усмехаясь. Пришлось Мельхиору самому написать письмо. Это не улучшило его настроения. В довершение всех бед Кристоф уронил часы, и они разбились. Тут уж его разбранили не на шутку. Мельхиор пригрозил, что его оставят без сладкого. Кристоф дерзко ответил, что он и сам его есть не станет. Луиза вздумала в наказание отобрать у него конфеты. Кристоф, окончательно обозлившись, закричал, что она не имеет права — «конфеты мои, их мне подарили, а не тебе, никому не отдам!» Ему закатили пощечину; тогда, в исступлении, он вырвал коробку из рук матери, швырнул ее на пол и растоптал ногами. Его выпороли, унесли в спальню, раздели и уложили в постель.

Вечером собрались гости, и все уселись за обед — роскошный обед, специально изготовленный по случаю концерта; Луиза хлопотала целую неделю. За столом громко смеялись и чокались. Кристоф все это слышал, мечась по подушке, и чуть не умер от такой несправедливости. Приглашенным сказали, что мальчик очень утомился, и больше о нем никто не вспоминал. Только когда обед кончился и гости уже расходились, в спальне послышались шаркающие шаги. Жан-Мишель склонился над кроваткой, с чувством поцеловал Кристофа, проговорил: «Милый мой, дорогой мальчик!..» — и тотчас, словно устыдившись, ушел, сунув Кристофу принесенные в кармане лакомства.

Это немного утешило мальчика. Но он так устал от пережитого за день, что у него не хватило сил ни подумать о том, что сделал дедушка, ни даже притронуться к припасенным для него сластям. Его всего разламывало от усталости, и он почти сейчас же заснул.

Сон его не был спокоен. Нервы еще не угомонились — Кристофа то и дело подбрасывало во сне, словно от электрического тока. В его сновидениях звучала нестройная музыка. Среди ночи он проснулся. Увертюра Бетховена, которую он слышал днем, гремела у него в ушах. Она наполняла всю комнату своим прерывистым дыханием. Кристоф сел в кровати, протер глаза. Во сне это или наяву?.. Нет, это не сон. Он узнавал эту музыку — эти вопли гнева, эти бешеные выкрики, он слышал, как колотится это неукротимое сердце, словно хочет вырваться из груди, как кипит в жилах эта неистовая кровь; в лицо ему хлестал ветер — ураган, который мнет тебя, и крутит, и валит с ног, и вдруг сам падает ниц, побежденный титанической волей. Эта гигантская душа внедрялась в его собственную душу, раздвигая границы его существа, превращая его самого в великана. Он шагал по земному шару. Он был как гора, и бури бушевали в нем. Бури гнева!.. Бури страданья!.. О, какая боль!.. Но это ничего! Он чувствовал в себе такую силу!.. Страдать? Пусть! Он готов. Еще! Еще!.. О, как хорошо быть сильным! Как хорошо страдать, когда ты силен...

Он рассмеялся. Смех звонко прозвучал в ночной тишине. Отец проснулся.

— Кто там? — окликнул он.

Мать ответила шепотом:

— Тише! Это он во сне.

И все трое умолкли. И все умолкло вокруг. Затихла музыка. И в тишине слышно было только ровное дыханье людей, спавших в комнате,— невольных попутчиков, брошенных судьбой в одну и ту же утлую ладью, которую необоримой силой увлекало куда-то в ночную темь.

КНИГА ВТОРАЯ

УТРО

ПЕРЕВОД Н. ЖАРКОВОЙ

«Жан-Кристоф». Книга вторая.

СМЕРТЬ ЖАН-МИШЕЛЯ

Прошло три года. Кристофу скоро минет одиннадцать. Занятия музыкой продолжаются. Гармонию он изучает под началом старика органиста из церкви святого Мартина, дедушкиного друга, ученейшего Флориана Хольцера, не устававшего внушать своему ученику, что аккорды — чередование столь любимых Кристофом аккордов, от которых замирает сердце и холодок пробегает вдоль спины,— что все эти аккорды неблагозвучны и под запретом. На недоуменный вопрос мальчика неизменно следует ответ: запрещен правилами. Но Кристоф, в крови которого живет неприязнь к дисциплине, больше всего любит именно запрещенные гармонии. И с какой радостью он отыскивал крамольную гармонию у великих композиторов, и с каким торжеством показывал деду или учителю, на что дедушка отвечал, что у великих музыкантов это и в самом деле восхитительно и что Бетховену или Баху все дозволено. Учитель же, менее сговорчивый, сердился и ядовито замечал, что как раз эти места отнюдь не лучшее в их творениях.

Кристоф по-прежнему имел свободный доступ в концерты и театр. Там он перепробовал понемножку все инструменты. В скором времени мальчик уже неплохо играл на скрипке, и отец решил, что пора ему занять постоянное место в оркестре. Кристоф так успешно справлялся со своей партией, что после нескольких месяцев испытания его официально зачислили второй скрипкой в Hof Musik Verein. Так он начал зарабатывать на жизнь, и давно пора, потому что дома дела шли все хуже и хуже. Мельхиор становился все невоздержанней, а дедушка заметно дряхлел.

Кристоф понимал, сколь плачевно положение семьи. Он сразу повзрослел, ходил с серьезным и озабоченным видом. Он мужественно исполнял свои обязанности, хотя работа в оркестре его отнюдь не интересовала: вечерами он чуть не валился со стула от желания спать. Театр не доставлял теперь ему прежних радостей, которые он испытывал, когда был еще маленький, то есть четыре года назад,— мечтать о таком счастье: сидеть вот здесь перед своим пюпитром, перед которым он сидит сейчас? А сейчас большинство исполняемых оркестром пьес ему не нравилось; он еще не решался вынести свой приговор: просто глупые пьесы, думалось ему; а когда случайно играли что-нибудь истинно прекрасное, мальчика сердило исполнение — слишком уж простодушное, как ему казалось; самые любимые вещи вдруг чем-то становились похожи на его коллег-музыкантов, которые, как только опускался занавес, прекращали дуть или пиликать, утирали, улыбаясь, мокрые лбы и спокойно поверяли друг другу незамысловатые новости, будто они и не играли целый час, а просто проделывали гимнастические упражнения. Кристоф часто видел теперь белокурую певицу с босыми ногами, предмет своих детских воздыханий, встречался с нею в антрактах, в ресторанчике при театре. Певица, узнав о его юном чувстве, охотно целовала своего поклонника, но ласки ее не доставляли Кристофу ни малейшего удовольствия, ему отвратительно было в ней все — жирный слой грима, запах, пухлые руки, непомерный аппетит; теперь он просто ее ненавидел.

Герцог не забывал своего придворного пианиста, хотя жалованье, присвоенное на этом основании Кристофу, выплачивалось неаккуратно, всякий раз приходилось выпрашивать деньги; зато время от времени Кристоф получал приказ явиться в замок, и случалось это в те дни, когда у герцога собиралось избранное общество, а то и просто среди недели, когда его светлости с супругой и домочадцами приходила фантазия послушать музыку. Обычно это бывало вечером, а именно в эти часы Кристофу хотелось побыть одному. Приходилось бросать любые занятия и спешить на зов. Иногда мальчика заставляли ждать в прихожей, так как гости не подымались еще из-за обеденного стола. Слуги уже привыкли к Кристофу и держались с ним запросто. Наконец мальчугана вводили в гостиную, где в огромных зеркалах дробился свет люстр, и отяжелевшие после трапезы гости разглядывали юное дарование с оскорбительным любопытством. А еще нужно было пересечь всю комнату, не поскользнувшись на натертом до блеска

паркете, и поцеловать руку его светлости. И чем старше становился Кристоф, тем более неуклюжим делались его движения: он сам считал себя смешным, и самолюбие его страдало.

Затем он усаживался за рояль и должен был играть перед этими дураками, ибо он считал, что все они дураки. Минутами он так мучительно ощущал окружавшее его равнодушие, что казалось, пальцы вот-вот замрут на клавишах и он ни за что не доиграет начатой пьесы. Ему не хватало воздуха, он задыхался. Когда он кончал играть, слушатели осыпали его удручающе пошлыми похвалами, наперебой представляли незнакомым гостям. А Кристофу чудилось, что все они смотрят на него, как на какую-то диковинную обезьянку, как на обитателя герцогского зверинца, и похвалы эти относятся скорее к хозяину дома, чем к нему самому. Он чувствовал себя униженным и становился болезненно-подозрительным; страдания его усугублялись еще и тем, что обнаруживать своих чувств он не смел. Самые простые жесты и слова казались ему оскорбительными; если в углу гостиной раздавался взрыв смеха, он был уверен, что смеются над ним, и старался угадать, что вызвало такое веселье: его манеры, костюм или внешность — руки, ноги? Все его унижало; унижало, если с ним не говорили, унижало, если к нему обращались с разговором, унижало, когда ему предлагали конфетку, словно младенцу какому-то. И особенно его унижало, когда герцог, сунув юному пианисту в руку золотую монету, с вельможной бесцеремонностью отсылал его домой. Он страдал оттого, что беден, что с ним обращаются, как с бедняком. Однажды на обратном пути, пользуясь ночною тьмой, Кристоф швырнул в сточную канаву ненавистную монету, которая жгла ему ладонь. И тут же спохватился — он готов был на все, лишь бы вернуть золотой. Ведь семейство Крафтов задолжало за несколько месяцев.

Родители не подозревали о страданиях его самолюбия. Они были в восхищении от герцогских милостей. Бедняжка Луиза не могла представить лучшей доли для своего мальчика, чем эти вечера в замке среди блестящего общества. А Мельхиору милость герцога давала богатую пищу для хвастовства перед своими приятелями. Но больше всех радовался дедушка. Хотя сам он охотно выказывал при любом случае свою независимость, свой непокорный нрав, свое презрение к сильным мира сего, в глубине души он испытывал простодушное восхищение перед деньгами, властью, почестями, перед любыми проявлениями общественной иерархии; с чувством неописуемой гордости

думал он, что его внук вхож в этот круг; он наслаждался, словно отблеск славы мальчика падал и на него; дедушка крепился, стараясь не выдать своей радости, но лицо его так и сияло. В те вечера, когда Кристоф играл в замке, старый Жан-Мишель подольше задерживался у Луизы, выискивая для своего неурочного сидения различные предлоги. Он поджидал внука с детским нетерпением, и как только Кристоф появлялся на пороге, дед начинал свои расспросы издалека, с самым равнодушным видом:

— Ну, как нынче твои дела?

Или с ласковой вкрадчивостью восклицал:

— А вот и наш Кристоф, что-то он нам расскажет новенького!

А иной раз, желая задобрить мальчика, отпускал какой-нибудь замысловатый комплимент:

— Привет придворному фавориту!

Но угрюмый и сердитый Кристоф сухо бросал: «Добрый вечер»,— и, нахохлившись, садился в угол. Старик не сдавался: он засыпал внука вопросами, на которые тот отвечал кратким «нет» или столь же кратким «да». Тогда и все домашние вмешивались в разговор, расспрашивали о подробностях вечера; Кристоф сидел надувшись, отмалчивался, и кончалось тем, что взбешенный Жан-Мишель выходил из себя и прикрикивал на внука. Кристоф отвечал уж совсем непочтительно. Вспыхивала крупная ссора. Громко хлопнув дверью, дедушка уходил, не попрощавшись. Радость родителей бывала вконец испорчена,— бедняги недоумевали, почему их мальчик приходит из замка в таком раздражении. Но можно ли было их винить за это раболепство,— они и не подозревали, что можно быть иными.

Так Кристоф окончательно замкнулся в себе; он не осуждал своих родителей, но чувствовал, как растет пропасть между ним и домашними. Без сомнения, он преувеличивал глубину этой пропасти. И возможно, как ни различны были их взгляды, родители поняли бы мальчика, побеседуй он с ними по душам. Но нет на свете ничего более трудного, чем полная откровенность между ребенком и родителями, даже при самой нежной привязанности, ибо с одной стороны сковывает привычное уважение, мешая признаниям, а с другой — исходят из ошибочного представления о превосходстве, даруемом летами и опытом, что не позволяет брать всерьез чувства ребенка, которые подчас глубже чувств взрослого и почти всегда искреннее.

Отдаляло Кристофа от родных и то общество, которое собиралось у них дома, и те разговоры, которые велись за столом.

К Мельхиору приходили его приятели-оркестранты, всё народ холостой да к тому же и выпивохи; люди они были, в сущности, неплохие, но безнадежно вульгарные, от их громкого смеха и тяжеловесных шагов сотрясались стены. Они любили музыку, но говорили о ней чудовищные глупости. Нескромные и грубые их восторги ранили чистые чувства мальчика. Когда они подобным образом расхваливали любимые произведения Кристофа, мальчику казалось, будто наносят оскорбление ему лично. Он весь сжимался, бледнел, сидел с ледяным видом, притворяясь, что его не интересует музыка, и если бы мог, действительно возненавидел бы музыку. Мельхиор со вздохом говорил о старшем сыне:

— У этого малого нет сердца, ничего-то он не чувствует. Никак не пойму, в кого он такой уродился.

Иногда гости пели в четыре голоса четырехдольные немецкие песни, неразличимо похожие одна на другую, которые начинались медленно, с какой-то тупой торжественностью и разрешались пошлой гармонией. Кристоф тогда убегал в самую дальнюю комнату и в одиночестве клял певцов на чем свет стоит.

Были свои друзья и у дедушки: органист, обойщик, часовщик, контрабасист из оркестра — все болтливые старички, и пробавлялись они одними и теми же незатейливыми шуточками, пускались в бесконечные споры об искусстве, политике или разбирали родословные местных жителей,— казалось, их интересовала не столько сама тема разговора, сколько возможность поговорить и находить темы для разговора.

Луиза же виделась только с соседками, завзятыми сплетницами. Изредка являлась какая-нибудь «добрая дама», которая под предлогом благотворительного визита желала заручиться услугами Луизы для предстоящего званого обеда и выражала готовность последить за религиозным воспитанием ее детей.

Но никто из посетителей родительского дома не вызывал у Кристофа такой жгучей неприязни, как дядя Теодор. Дядя Теодор был пасынок дедушки, сын бабушки Клары, жены Жан-Мишеля, от ее первого брака. Он был пайщиком в крупной торговой фирме, которая вела дела с Африкой. Дядя Теодор полностью воплощал тип современного немца, того немца, что притворно отрекается от старого германского идеализ-

ма, высмеивает его и, упоенный победой, возводит в культ силу и успех, между тем именно этот-то культ и показывает, что и сила и успех ему в диковинку. Но поскольку трудно сразу переделать целый народ со всеми его вековыми привычками, то загнанный внутрь идеализм мстил за себя: он вырывался наружу на каждом шагу, сказывался в языке, в манерах, в нравственных правилах, в цитатах из Гете по любому самому незначительному поводу; удивительное это было смешение совестливости и корысти, забавных усилий сочетать принципы честности, которыми так гордится старая немецкая буржуазия, с цинизмом современных кондотьеров от коммерции; и смесь эта довольно мерзко припахивала лицемерием — до того старались такие, как дядя Теодор, превратить немецкую силу, алчность и немецкое корыстолюбие во всеобъемлющий символ права, справедливости и истины.

Прямодушный Кристоф принимал все это как личное оскорбление. Он не мог судить, прав ли дядя или нет, но ненавидел его, чувствовал в нем врага. Дедушке тоже не по душе были разглагольствования пасынка, он возмущался его теориями; однако в спорах велеречивый Теодор без труда брал верх над стариком да еще выставлял в смешном виде благородную наивность отчима. В конце концов Жан-Мишель начинал стыдиться своего доброго сердца и, желая доказать, что он вовсе не такой уж отсталый, каким его считают, пытался говорить языком Теодора, хотя подобные речи в его устах резали ухо даже ему самому. Но что бы дедушка ни думал, пасынок невольно внушал ему уважение: он благоговел перед его деловой хваткой и завидовал тем сильнее, что знал за собой полную неспособность к практической деятельности и мечтал, чтобы хоть один из его внуков добился высокого положения в коммерческом мире. Таково же было желание и Мельхиора, который решил пустить Рудольфа по стопам дяди Теодора. В итоге весь дом заискивал перед богатым родственником в надежде на его будущую помощь. А дядя, чувствуя, что в нем нуждаются, вел себя у Крафтов как хозяин, вмешивался во все дела, давал советы и даже не считал нужным скрывать своего полного презрения к искусству и его служителям, вернее он демонстрировал это свое презрение, дабы унизить родственников-музыкантов, отпускал грубые шуточки насчет музыки и родни, а родственники угодливо хихикали.

Особенно доставалось Кристофу; дядя выбрал его мишенью своих насмешек, а племянник, как известно, не отличался долготерпеньем. Мальчик злобно молчал, стискивал зубы,

дядя же от души забавлялся этим немым бешенством. Но в один прекрасный день, когда Теодор за обедом особенно разошелся, Кристоф, вне себя от ярости, плюнул дяде в физиономию. Неслыханное, небывалое оскорбление! Обида была столь велика, что дядя от изумления даже замолчал, но потом, обретя дар речи, разразился градом проклятий. Кристоф застыл на стуле от ужаса перед содеянным, не чувствуя даже колотушек и тумаков, на которые не поскупились родители; но когда мальчика подтащили к дядюшке и хотели поставить перед ним на колени, он стал судорожно отбиваться, оттолкнул мать и убежал из дому. Он бежал прямо в поле, не оглядываясь, и остановился, только когда окончательно выбился из сил. Он слышал вдалеке голоса родителей и молча размышлял, не броситься ли ему самому в реку, если уж нельзя бросить туда своего врага. Ночь он провел в поле, а на заре постучался у дедушкиной двери. Старик был так напуган исчезновением Кристофа,— он всю ночь не сомкнул глаз,— что у него не хватило духу пожурить внука. Дед отвел Кристофа домой, и здесь мальчику тоже ничего не сказали, видя, что он еще не пришел в себя, а так как вечером ему предстояло играть в замке, то его оставили в покое. Правда, Мельхиор в течение нескольких недель допекал сына намеками; не обращаясь ни к кому в частности, он нудно распространялся на тему о том, что вот, мол, стараешься служить примером добродетели, учишь, учишь хорошим манерам людей, того недостойных, а они тебя же еще и позорят. Когда Кристоф случайно встречал на улице дядюшку, тот отворачивался и демонстративно затыкал себе нос, всем своим видом выказывая глубочайшее отвращение к племяннику.

Кристоф старался как можно реже оставаться дома, где видел так мало тепла и сочувствия. Он страдал от вечного принуждения, от того что ему вечно навязывали что-то и родители и дедушка: слишком много вещей, слишком много людей требовалось почитать, не спрашивая даже, почему и за что, а Кристоф от рождения был лишен шишки почтительности. Чем сильнее старались его дисциплинировать, сделать из него маленького бюргера, честного немчика, тем сильнее росла в нем потребность сбросить иго. Как хотелось ему после мучительно скучных часов, проведенных в замке или в оркестре, покататься, точно жеребенку, по траве, съехать в новых штанишках с высокого, зеленого откоса или побросаться камнями с соседскими мальчиками! И если он предавался своим любимым забавам не так часто, как ему хотелось, то отнюдь не

из страха перед родительской воркотней и тычками — у него просто не было товарищей; ему никак не удавалось сойтись с другими детьми. Даже мальчики с их улицы не любили играть с Кристофом. Кристоф слишком всерьез принимал любую игру, и если уж начинал драться, то дрался изо всех сил.

К тому же он привык сидеть дома: он сторонился сверстников, стыдясь своей неловкости, и не осмеливался принимать участие в их развлечениях. Приходилось делать вид, что такие пустяки очень мало его интересуют, хотя на самом деле Кристоф сгорал от желания присоединиться к играющим. Но мальчики его не приглашали, и он проходил мимо с бесстрастным, презрительным лицом, хоть сердце его разрывалось от горя.

Единственным его утешением было бродить с дядей Готфридом, когда тот заглядывал в их края. Мальчик все больше и больше привязывался к дяде, чувствуя родственную душу в этом независимом человеке. Он понимал теперь, как должно быть приятно и легко дяде Готфриду бродить по дорогам, нигде не оседая, не задерживаясь. Иногда дядя и племянник отправлялись вечером в поле, шли куда глаза глядят, и так как Готфрид никогда не знал, который час, полуночников обычно встречали дома ворчанием. И уж ни с чем не сравнимой радостью были ночные походы — незаметное бегство втихомолку из погруженного в сон дома. Дядя Готфрид понимал, что поступает не очень похвально, но мальчик так умолял его, да и сам он не мог устоять перед искушением. В полночь он подходил к дому Крафтов и свистел условным свистом. Кристоф в такие вечера ложился в постель, не раздеваясь. Он осторожно подымался и, держа в руках башмаки, затаив дыхание, чуть не ползком, как индеец, добирался до кухонного окошка, которое выходило на дорогу. Тут он залезал на стол, а Готфрид, подставив плечи, уже ждал его под окном, и оба пускались в поход счастливые, словно школьники.

Иногда они заходили к Иеремии — рыбаку, другу дяди Готфрида; тот катал их на лодке по серебряной от лунных лучей реке. Капли скатываются с весел в воду, вызванивая то короткие арпеджии, то хроматические гаммы. Над рекой струится молочно-белый туман. Спокойно мерцают звезды. Сонно пропоет петух, и на том берегу ему ответит другой; иногда где-то в немыслимой глубине неба послышится трель жаворонка, обманутого лунным светом. Наши путники молчат. Готфрид чуть слышно затянет вдруг песню. Или Иеремия расскажет странную историю из жизни зверей, и истории эти кажутся еще та-

инственнее оттого, что говорит рыбак кратко и загадочно. Луна скрывается за лесом. Лодка проплывает вдоль черной гряды холмов. Темная вода сливается вдали с темным небом. Река лежит ровная, без единой морщинки. Все звуки стихают. Лодка скользит в ночи. Да и скользит ли? Плывет ли? Или просто стоит на месте? Шурша, словно шелк, расступаются камыши. Лодка бесшумно причаливает к берегу. Обратно дядя с племянником возвращались пешком. Иногда они добирались до дома только на заре. Путь их лежал берегом реки. Стайки серебристых уклеек — зеленых, как колос, или синих, как сапфир,— затевали игры при первых отблесках дня, рыбки кишели, словно змеи на голове медузы; они суетливо набрасывались на корку хлеба, которую кидал им Кристоф; когда корка медленно погружалась в воду, вслед за ней по спирали скользила вся стайка и вдруг пропадала из виду, блеснув в последний раз, как солнечный луч. По реке уже плыли розовато-лиловые блики. Просыпались и пели на разные голоса птицы. Дядя торопил Кристофа. Так же осторожно мальчик пробирался в душную спаленку, валился в постель и сразу же засыпал, чувствуя свежесть в теле, вобравшем все запахи полей.

Ночные похождения сходили до времени благополучно, и родители так ничего и не заметили бы, если бы Эрнст, самый младший из братьев, не донес на Кристофа; отныне ему строго-настрого запретили уходить с дядей и даже стали следить за ним. Тем не менее Кристофу удавалось улизнуть из дому — всякому другому обществу он предпочитал общество скромного коробейника и его друзей. Домашние были скандализованы. Мельхиор прямо заявил, что у его старшего сына мужицкие вкусы. Старик Жан-Мишель ревновал внука к Готфриду и нередко увещевал мальчика: как это он может находить удовольствие в таком простонародном обществе, когда ему оказана высокая честь приблизиться к избранным и служить самому герцогу. Словом, все единодушно решили, что Кристоф лишен чувства собственного достоинства, что он не уважает самого себя.

Хотя денежные затруднения Крафтов росли с каждым днем, причиной чего являлась невоздержанность бездельника Мельхиора, жили они все-таки более или менее сносно, пока с ними был Жан-Мишель. Он единственный имел влияние на Мельхиора и хоть немного удерживал сына от пагубного порока. Многие безрассудные выходки прощались пьянице Мель-

хиору из-за того уважения, каким старик пользовался в городе. А главное, когда с деньгами бывало уж совсем туго, дед неизменно приходил на помощь. Жил он на весьма скромную пенсию, которую получал в качестве бывшего хормейстера, да, кроме того, по-прежнему сбирал скромную лепту в виде платы за уроки музыки и настройку фортепиано. Большую часть этих денег он отдавал невестке, хотя Луиза всячески старалась скрыть от проницательного ока свекра истинное положение дел. Не раз Луиза плакала при мысли, что ради них старик вынужден отказывать себе в самом необходимом; жертвы дедушки казались тем значительнее, что привык он жить на широкую ногу, да и потребности у него были немалые. Но нередко даже этих жертв не хватало на покрытие всех нужд, и, чтобы удовлетворить чересчур назойливого кредитора, дедушка тайком продавал что-нибудь из мебели, книги, какие-нибудь любимые и памятные ему вещицы. Мельхиор проведал, что отец тайком от него помогает Луизе деньгами, и нередко накладывал на них свою лапу, не обращая внимания на горячие протесты жены. Но когда старик, в свою очередь, узнал о проделках сына,— узнал не от Луизы, конечно, которая никому не рассказывала о своих горестях, а от внуков,— он впал в ярость; между отцом и сыном стали разыгрываться ужасные сцены. Оба старших Крафта отличались необузданным нравом и с первых же слов более или менее мирный разговор переходил в ругань, угрозы; казалось, еще немного — и сын подымет на отца руку. Но чувство сыновнего уважения не покидало Мельхиора даже в минуты пьяной злобы; в конце концов он замолкал и, склонив голову, выслушивал проклятия, унизительные упреки, на которые не скупился разошедшийся старик. Но сын только ждал подходящего случая начать все сызнова, и Жан-Мишель с тревогой думал о будущем; его мучили самые черные предчувствия.

— Бедные мои дети,— не раз говорил он Луизе,— что-то с вами станется, когда меня не будет в живых! Хорошо еще, что я пока держусь,— добавлял он, нежно гладя Кристофа по головке,— а потом уж он вытащит вас из нужды.

Но дедушка ошибался в своих расчетах: жизненный путь его подходил к концу. Никто не подозревал об этом. Старик был на редкость крепкий для своих восьмидесяти с лишним лет. В его густой гриве, среди серебряной седины, еще виднелись темные пряди, а пышная борода была наполовину черная. Зубов у него осталось всего с десяток, но и с этим десятком он управлялся неплохо. Приятно было смотреть на дедушку, когда

он садился за стол. Аппетитом он славился отменным, и хотя упрекал Мельхиора за пьянство, сам тоже не промах был выпить. Особое предпочтение он отдавал белому мозельвейну. Впрочем, он воздавал должное также и прочим маркам вин, пиву, сидру,— словом, всем щедрым дарам господа бога. Но никогда вино не затемняло его рассудка, потому что старик знал свою меру. Правда, мера эта была немалая, и для менее крепких мозгов одного дедушкиного стакана хватило бы с избытком. Дедушка был еще молодец хоть куда и полон самой кипучей энергии. В шесть часов утра он был уже на ногах и тщательно занимался туалетом: он весьма пекся о своей внешности и держал себя с большим достоинством. Жил он в собственном домике один, один управлялся со всеми делами и не терпел, чтобы невестка совала нос в его хозяйство: сам убирал комнаты, сам варил себе кофе, сам пришивал пуговицы, что-то приколачивал, клеил, что-то убирал; в одной рубашке, неустанно бегая по лестнице с первого на второй этаж, он распевал арии рокочущим баском, с удовольствием прислушиваясь к раскатам своего голоса, и сопровождал пение выразительными актерскими жестами. Покончив с уборкой, дедушка выходил из дому — в любую погоду. Ни одного дела он никогда не забывал, но точностью не отличался: то остановится на углу и вступит в оживленную беседу со знакомым, то пошутит с соседкой, чье личико ему приглянулось, ибо дедушка равно любил старых друзей и молоденьких красоток. Поэтому-то он всюду задерживался и не соблюдал назначенного времени. Только один час он соблюдал свято — час обеда; и обедал там, где его заставал этот час или, вернее, где он сам напрашивался на обед. Вечером он долго сидел с внуками и возвращался домой уже в темноте. Перед сном в постели он любил прочесть страницу-другую из потрепанной Библии и даже ночью,— ибо спал дедушка не более двух-трех часов подряд,— подымался и брал первую попавшуюся книжку из своей библиотеки, которая составлялась в разные времена и от случая к случаю; тут были и труды по истории и теологии, и беллетристика, и научные трактаты. Дедушка открывал книгу наудачу, прочитывал несколько страниц и, независимо от того, интересовало ли его чтение или, наоборот, нагоняло скуку, понимал ли он все или не понимал ничего, он читал, не пропуская ни слова, пока не засыпал с миром. По воскресеньям он бывал у обедни, водил гулять внуков и играл в шары. Никогда он ничем не болел, мучила его только подагра, и ночами он прерывал чтение Библии громкими проклятиями — до того ныли пальцы обеих ног.

Казалось, так оно и будет идти до ста лет, да и дедушка сам, в сущности, не видел никаких причин, почему бы ему не перешагнуть даже за сотню. Когда ему предрекали, что он умрет в столетнем возрасте, он, подобно другому прославленному старцу, говорил, что не следует ставить пределов благости провидения. С годами дедушка стал легко проливать слезу и все чаще раздражался. Других примет старости в нем не было заметно. От какого-нибудь сущего пустяка Жан-Мишель свирепел и впадал в гнев. Его и без того красное лицо и короткая шея густо багровели. В такие минуты он начинал в бешенстве заикаться и останавливался на полуслове, стараясь набрать побольше воздуху. Домашний врач Крафтов — старый дедушкин приятель — не раз уговаривал Жан-Мишеля последить за собой, умерить свой необузданный нрав и свой столь же необузданный аппетит. Но упрямый, как и все старики, дедушка просто из чистого бахвальства совершал одну неосторожность за другой да еще поносил медицину и медиков. На словах дед выказывал полное презрение к смерти и охотно сообщал собеседнику, что он лично ничуть не боится курносой.

В один из летних дней, в сильную жару, дедушка, изрядно выпив и к тому же поспорив, вернулся домой и прошел прямо в садик поработать: он любил повозиться с цветами. Еще не остывший после спора, он яростно орудовал мотыгой, даже не прикрыв головы от палящих лучей солнца. Кристоф, с книгой в руках, сидел поблизости в беседке, но не читал, мечтательно прислушиваясь к ленивому стрекоту кузнечиков и машинально следя за взмахами дедушкиной мотыги. Лица старика он не видел — дед стоял к нему спиной и, согнувшись, усердно выпалывал сорную траву. Вдруг Кристоф заметил, что дедушка резко выпрямился, нелепо взмахнул руками и ничком грузно рухнул на грядку. В первую минуту мальчику стало даже смешно. Но он увидел, что дедушка не шевелится. Кристоф окликнул его, подбежал и начал трясти изо всех сил. Ему стало страшно. Опустившись на колени, он пытался обеими руками приподнять огромную голову старика, бессильно лежавшую на траве. Голова была странно тяжелая, и дрожащему от ужаса мальчику едва удалось лишь слегка повернуть ее. Но когда Кристоф увидел закатившиеся, налитые кровью белки, он весь похолодел; дико вскрикнув, он разжал руки, вскочил и в страхе бросился прочь из сада. Он кричал и плакал навзрыд. Какой-то прохожий остановил мальчика. Кристоф не мог произнести ни слова, он только молча указывал на дедушкин домик и вместе с незнакомцем вошел в калитку. На кри-

ки мальчика сбежались соседи, и весь садик сразу же заполнился народом. Люди шагали прямо по клумбам, и вскоре вокруг дедушки собралась целая толпа; все что-то кричали, нагибаясь к старику. Двое-трое мужчин подняли тело с земли. Кристоф стоял у входной двери, повернувшись к стене и закрыв лицо руками; он не решался взглянуть; но любопытство превозмогло, и когда шествие поравнялось с ним, он слегка разжал пальцы и увидел дедушку — его огромное, неподвижное, беспомощное тело. Левая рука волочилась по траве; бессильно моталась в такт шагам голова и при каждом движении носильщика касалась его колена; опухшее лицо в крови и в земле промелькнуло мимо Кристофа; промелькнули страшные глаза, открытый рот. Мальчик снова закричал во весь голос и пустился бежать. Не останавливаясь, не глядя по сторонам, он добежал до родительского дома, словно за ним гнались. С ревом ворвался он на кухню, где Луиза чистила овощи. Кристоф в отчаянии бросился к матери и обхватил ее обеими руками, ища у нее на груди защиты и помощи. Губы его сводила судорога, он пытался что-то произнести и не мог. Но мать сразу поняла. Ножик вывалился у нее из рук, она побледнела и, не произнеся ни слова, выбежала на улицу.

Оставшись один, Кристоф забился за шкаф; он плакал, горько плакал. Младшие братья играли в соседней комнате. Мальчик не мог осмыслить всего происшедшего. Он даже не думал о дедушке — он думал о том ужасном зрелище, которому стал свидетелем, и больше всего боялся, что ему велят вернуться к дедушке, а там он снова увидит ту страшную картину.

И действительно, когда малыши, набегавшись на свободе по всему дому и все перетрогав, начали канючить, что они устали, что им скучно, что им хочется есть, торопливо вошла Луиза, взяла детей за руки и повела к деду. Шла она очень быстро, так что Эрнст и Рудольф, по обыкновению, расхныкались, но Луиза прикрикнула на них таким тоном, что оба разом умолкли. Детьми овладел безотчетный страх; на пороге дедушкиного дома они начали плакать. Темнота еще не наступила. Последние отблески заката скользили по комнатам, выхватывая из темноты то медную ручку двери, то край зеркала, то причудливо освещали скрипку, висевшую на стене в полутемной столовой. Но в спальне горела свеча; дрожащий язычок пламени боролся с умирающим светом дня, и казалось, в углах комнаты зловеще сгущается тяжелый ночной мрак. Сидевший у камина Мельхиор плакал навзрыд. Доктор, склонившись над постелью, заслонял лежавшее на ней тело. Сердце Кристофа

неистово забилось. Луиза велела детям стать около постели на колени. Тут Кристоф осмелился поднять глаза. Он ждал чего-то очень страшного после того, что видел там, в саду, и вначале почувствовал даже облегчение. Дедушка лежал неподвижно и как будто спал. Мальчику на минуту показалось, что дедушка выздоровел и теперь все снова в порядке, но когда он услышал тяжелое дыхание больного, когда, приглядевшись, увидел отекшее лицо, синяк, разлившийся в большое лиловое пятно, когда понял, что тот, кто лежит здесь на постели, умрет, он задрожал всем телом. И, повторяя за Луизой слова молитвы, прося господа о выздоровлении дедушки, он просил про себя: если дедушка не выздоровеет, то пусть уж поскорее умрет. Он ужасался тому, что должно произойти.

Старик так и не пришел в себя. Сознание вернулось к нему только на минуту, но в эту минуту он все понял; и всё охватил мрак. Священник стоял возле изголовья и читал отходную. Старика приподняли на подушках, он с трудом открыл глаза,— казалось, тяжелые веки не повинуются его воле; он шумно задышал и отсутствующим взглядом обвел комнату, лица родных, огоньки свечей, потом вдруг раскрыл рот; непередаваемый ужас исказил его черты.

— Значит, я умираю,— пробормотал он,— значит, я умираю.

Ужас, с каким были произнесены эти слова, пронзил сердце Кристофа на всю жизнь; им навсегда суждено было остаться в его памяти. Старик не произнес больше ни слова; он начал стонать, как ребенок. Потом впал в забытье, но дыхание его становилось все более затрудненным. Он жалобно стонал, судорожно двигал руками, словно боролся против могильного сна. Раз он почти бессознательно позвал:

— Мама!

О, как жутко было слышать лепет старика, в ужасе позвавшего мать, как позвал бы свою маму сам Кристоф,— позвавшего мать, о которой он никогда не говорил прежде и к которой воззвал теперь,— последнее и, увы, бесполезное прибежище в последний, страшный час. На минуту он, казалось, успокоился, сознание вновь вернулось к нему, тяжелый взгляд его бессмысленно блуждающих глаз упал на Кристофа, похолодевшего от ужаса,— и вдруг глаза умирающего просветлели. Старик с усилием улыбнулся и хотел что-то сказать. Луиза подвела старшего сына к постели. Жан-Мишель пошевелил губами и приподнял руку, очевидно, желая погладить любимого внука по головке, но внезапно снова впал в забытье. Это был конец.

Детей тут же выпроводили в соседнюю комнату, все были заняты, и никто ими не интересовался. Кристоф, прикованный ужасом, не отрываясь, смотрел сквозь полуоткрытые двери на трагическое лицо, запрокинувшееся на подушках, посиневшее, будто вкруг шеи обвились чьи-то безжалостные руки,— смотрел на старческое лицо, на котором уже западали щеки, губы, глаза, по мере того как все существо уходило в небытие, словно его всасывала пустота,— вслушивался в отвратительный хрип, механический ритм дыхания, будто на поверхности воды лопались, булькая, один за другим пузырьки воздуха,— последние вздохи тела, упорствующего в своем желании жить, когда душа уже отлетает. Потом голова старика соскользнула с подушки, и стало тихо.

Только несколько минут спустя Луиза заметила стоящего в дверях сына. Мальчик побледнел, зрачки его остановились, рот мучительно искривился; судорожно сжимая рукой ручку двери, он наблюдал за поднявшейся в спальне суматохой, сопровождаемой рыданиями и молитвами. Луиза в испуге подбежала к сыну. Когда она схватила его на руки и понесла прочь, у него сделался нервный припадок. Он потерял сознание. Очнулся он на своей постели и завопил от страха, потому что возле случайно никого не оказалось. Припадок повторился; и мальчик вновь потерял сознание. Всю ночь и весь следующий день его била лихорадка. Мало-помалу он успокоился и проспал ночь глубоким сном. Проснулся он около полудня. Он смутно припоминал, как кто-то ходил по комнате, как наклонялась мать над его изголовьем и целовала его, ему чудилось тихое и отдаленное пение колоколов. Но ему не хотелось двигаться, он был в полузабытьи.

Когда Кристоф снова открыл глаза, в ногах его постели сидел дядя Готфрид. Мальчик так ослабел, что ничего не помнил. Постепенно память вернулась к нему, и он громко заплакал. Готфрид поднялся с места и обнял мальчика.

— Ну как, малыш, как ты? — спросил он ласково.

— Ах, дядя, дядя!— простонал мальчик, прижимаясь к Готфриду.

— Плачь,— сказал Готфрид,— плачь.

И он заплакал вместе с Кристофом.

Слезы облегчили Кристофа, он утер глаза и взглянул на Готфрида. Дядя понял, что мальчик хочет его о чем-то спросить.

— Нет,— сказал он, кладя ему на губы палец.— Не надо говорить, надо плакать, а говорить не надо.

Но мальчик не унимался.

— Все равно я тебе не буду отвечать.

— Только одну вещь скажи, только одну.

— Ну, чего тебе?

Кристоф запнулся.

— Дядя, а где он сейчас?

— Он в царстве небесном, детка.

Но не это хотелось знать Кристофу.

— Нет, ты не понимаешь. Где он, он сам?

Под словом «он» Кристоф подразумевал тело.

И добавил дрожащим голосом:

— Он еще дома?

— Сегодня утром похоронили нашего старика,— ответил Готфрид.— Ты что же, разве не слыхал, как колокола звонили?

Кристоф вздохнул с облегчением. Но при мысли, что никогда больше он не увидит милого дедушки, мальчик снова горько заплакал.

— Бедный ты мой котеночек,— повторял Готфрид, жалостливо глядя на мальчика.

Кристоф думал, что Готфрид будет его утешать, но дядя даже не пытался смягчить горе ребенка, сознавая всю бесполезность своих слов.

— Дядя Готфрид,— спросил мальчик,— а ты разве не боишься? Совсем не боишься этого? (Как хотелось Кристофу, чтобы дядя не боялся и открыл ему эту тайну!)

Но Готфрид задумался.

— Тише,— произнес он дрогнувшим голосом.— Как же, конечно, боюсь,— продолжал он помолчав.— Да что поделаешь? Так уж оно есть. Приходится покоряться.

Кристоф возмущенно потряс головой.

— Приходится покоряться, малыш,— повторил Готфрид.— Такова его воля там, на небесах, а мы должны принимать его волю.

— Я его ненавижу,— злобно воскликнул Кристоф, грозя небу кулаком.

Готфрид оторопело поглядел на племянника и велел ему замолчать. Да Кристоф и сам уже испугался своих слов и начал повторять молитвы вслед за дядей. Но сердце его кипело от негодования, и пока уста твердили слова рабского смирения и покорности, в душе росло лишь одно чувство — страстный бунт и ужас перед этой гнусностью и перед Тем, кто был ее чудовищным творцом.

Череда дней и дождливых ночей прошла над свежевскопанной землей, где одиноко покоился старый Жан-Мишель. Сначала Мельхиор плакал, кричал, рыдал. Но уже к концу недели Кристоф с удивлением услышал беспечный смех отца. Когда при Мельхиоре упоминали о покойном, лицо его омрачалось, губы плаксиво кривились, но он тут же продолжал прерванный разговор и возбужденно размахивал руками. И хотя он был искренне огорчен, он не мог долго предаваться печальным думам.

Безропотная Луиза покорно приняла новое горе, как безропотно принимала она все. К ежевечерним своим молитвам она присоединила еще одну; она аккуратно посещала старое кладбище и старательно ухаживала за могилкой, как будто и могилка стала частью ее домашнего обихода.

Дядя Готфрид с трогательным вниманием относился к маленькому холмику земли, где покоился старый Жан-Мишель. Когда дядя возвращался домой из своих странствований, он всякий раз приносил дедушке в подарок какую-нибудь вещицу — то самодельный крестик, то любимые цветы Жан-Мишеля. Никогда он не пропускал случая зайти на кладбище, если попадал в город хотя бы на несколько часов, но посещения свои держал от всех в тайне.

Иногда Луиза брала старшего сына с собой на кладбище. Кристоф чувствовал непреодолимое отвращение к жирной кладбищенской земле в мрачном убранстве деревьев и цветов, к тяжелым запахам, которые плыли в солнечных лучах, заглушая мелодичное дыхание кипарисов. Но он не смел признаться матери, что здесь ему все отвратительно; в душе он упрекал себя в трусости и безбожии. Кристоф сильно страдал. Мысль о дедушкиной смерти неотступно мучила его. А ведь он уже давно знал, что смерть вообще существует, даже думал о ней, даже боялся ее. Но он никогда еще не видел смерти и, увидев ее впервые, понял, что раньше не знал, совсем ничего не знал ни о смерти, ни о жизни. Все вдруг разом пошатнулось, рассудок тут бессилен. Считается, что живешь, считается, что приобрел какой-то опыт в жизни, и внезапно оказывается, что ничего-то ты не знал, ничего-то ты не видел, что жил доселе за плотной завесой иллюзий, сотканной усилиями твоего собственного ума, и за этой завесой не разглядел страшного лика действительности. Нет ничего общего между идеей страдания и живым существом, которое страдает и исходит кровью. Нет ничего общего между мыслью о смерти и судорогами тела и души, мятущейся в предсмертной муке. Все людские слова, вся человеческая премуд-

рость — все это лишь игра деревянных паяцев из театра ужасов в траурном сиянии реальности, где жалкие существа из праха и крови в отчаянном и тщетном усилии цепляются за жизнь, которую подтачивает каждый убывающий час.

Кристоф думал об этом все время. Картина дедушкиной агонии преследовала его; каждую ночь он видел во сне дедушку, слышал его хрип. Даже сама природа как-то вдруг изменилась: казалось, ее окутал ледяной туман; со всех сторон, изо всех углов до его лица долетало мертвенное дыхание незрячего зверя, он понимал, что над ним занесен кулак грозной Силы разрушения и что ничего поделать нельзя. Но мысль эта отнюдь не пригнетала его; наоборот, он весь кипел негодованием и ненавистью. Кристоф никогда не был смиренником. Упрямо наклонив голову, бросался он навстречу непостижимому,— пусть хоть десятки раз расшибется он в кровь, пусть он слабее противника, никогда не перестанет он восставать против страдания. И с этого времени его жизнь стала ежечасной, ежеминутной борьбой против жестокого удела, который он не мог и не хотел принять.

Сама жизнь грубой рукой оторвала его от навязчивых мыслей. Разорение семьи, которое мужественно отдалял Жан-Мишель, стало неизбежным, когда старик умер. Со смертью дедушки Крафты лишились источника постоянной помощи, и нищета смело вошла в их дом.

Немало способствовал этому сам Мельхиор. Он не только не стал больше работать, наоборот: вырвавшись из-под опеки отца, окончательно предался разгулу. Почти каждую ночь он возвращался пьяным и не приносил домой ни копейки из заработанных денег. Постепенно он растерял все уроки. Однажды он предстал перед одной из своих учениц мертвецки пьяный; естественно, последовал скандал, и двери всех домов закрылись перед Мельхиором. В оркестре его терпели еще из уважения к покойному отцу, но Луиза дрожала, что вот-вот его выгонят из театра после какой-нибудь скандальной истории. И так уже Мельхиор несколько раз приходил в театр лишь к концу спектакля, и его серьезно предупредили, что дело может кончиться плохо. А раза два он вообще не изволил явиться. Впрочем, оно, пожалуй, и к лучшему, ибо в такие минуты нелепого возбуждения его так и подмывало делать или говорить глупости. Разве, когда давали «Валькирию», не пришла ему в голову сумасбродная мысль исполнить посреди акта свой собственный скрипич-

ный концерт? И с каким трудом удалось товарищам по оркестру отговорить его. Иной раз во время спектакля он начинал вдруг громко хохотать,— то ли его смешила забавная сцена, разыгравшаяся на подмостках, то ли собственные воспоминания. Он потешал своих соседей-оркестрантов, и многое сходило ему с рук именно из-за этих чудачеств. Но снисхождение окружающих было горше самой неприкрытой суровости, и Кристоф сгорал от стыда.

Мальчик играл теперь в оркестре первую скрипку. Он старался ни на минуту не упускать отца из виду, чтобы в случае надобности заменить его, утихомирить, если на Мельхиора нападет буйный стих. Все это давалось нелегко, и лучше было бы вообще не обращать на отца никакого внимания, ибо пьяница, чувствуя на себе взгляд сына, нарочно начинал гримасничать или разглагольствовать. Тогда Кристоф быстро опускал глаза, но его охватывала дрожь при мысли, что отец опять выкинет какое-нибудь коленце; мальчик старался весь уйти в музыку, но до него долетали глубокомысленные замечания Мельхиора и смех его соседей. Слезы навертывались на глаза Кристофа. Музыканты, в сущности славные люди, заметили страдания своего юного коллеги и сжалились над ним. Они старались смеяться тихонько, под сурдинку, и, заводя игривые беседы с Мельхиором, прятались от мальчика за пюпитрами. Но Кристоф понимал, что все это делается из жалости к нему, и знал, что стоит ему только выйти, как оркестранты снова возьмутся за свое, он знал, что Мельхиор посмешище всего города. Он ничем не мог помешать этому и жестоко страдал. По окончании спектакля Кристоф брал отца под руку и вел его домой, мужественно выслушивая его несвязную болтовню; он выбивался из сил, лишь бы прохожие не заметили неуверенной походки Мельхиора. Но кого он этим обманывал? Кроме того, вопреки всем своим усилиям, мальчику редко удавалось благополучно доставить Мельхиора домой. Дойдя до какого-нибудь перекрестка, Мельхиор вдруг вспоминал, что его ждут друзья, и на все мольбы сына отвечал, что не может нарушить данное слово. Впрочем, Кристоф и не слишком настаивал, боясь привлечь взоры соседей к патетической сцене родительского проклятья.

Все хозяйственные деньги уходили на разгул. Но Мельхиор не довольствовался тем, что пропивал свой заработок. Он пропивал также скудные сбережения жены и старшего сына, жалкие гроши, накопленные с таким огромным трудом. Луиза плакала, но не смела перечить, она помнила, как муж не раз грубо

заявлял, что в их доме ей ничего не принадлежит и что он взял ее разутую и раздетую. Кристоф пытался было сопротивляться, но Мельхиор давал ему подзатыльник, обзывал щенком и силой отнимал деньги. Мальчику шел тринадцатый год, он был не по возрасту крепок и храбро огрызался, когда отец подымал на него руку; однако он не смел еще бунтовать открыто и, не желая подвергаться новым унижениям, позволял себя обирать. Они с Луизой прятали деньги — иного средства не оставалось,— но у Мельхиора был поразительный нюх по части распознавания тайников, и он неизменно обнаруживал деньги в отсутствие жены и сына.

Вскоре Мельхиору и этого стало мало. Он начал продавать вещи, оставшиеся после старика. Кристоф с горечью видел, как исчезали из дома дорогие его сердцу предметы: книги, дедушкина кровать, его кресло, портреты великих музыкантов. Но он молчал. Однажды Мельхиор спьяна налетел на старенькое дедушкино пианино, грозно чертыхнулся и, потирая ушибленное колено, крикнул, что в квартире пошевелиться нельзя,— все заставили хламом; вот тут-то Кристоф поднял голос. Правда, в комнатах стало теснее, с тех пор как Крафты перевезли к себе дедушкину мебель при продаже домика, милого домика, где Кристоф провел лучшие часы своего детства. Правда и то, что пианино было старенькое и не ценное, а клавиши издавали дребезжащий, негромкий звук. Правда и то, что Кристоф уже давно не притрагивался к нему, упражняясь на новом хорошем фортепиано — свидетельстве герцогских щедрот, но старое дедушкино пианино, ветхое и неприглядное, было лучшим другом Кристофа: наедине с ним он, еще ребенком, открывал безбрежный мир музыки; пожелтевшие клавиши, отполированные сотнями прикосновений, вводили его в царство звуков и знакомили с их законами; это было детище Жан-Мишеля, он сам долгие месяцы чинил и настраивал инструмент для внука и по-детски гордился своей работой,— словом, в каком-то смысле это была святыня. Поэтому-то Кристоф и крикнул, что никто не имеет права продавать дедушкин инструмент. Мельхиор велел мальчику замолчать. Тогда Кристоф закричал уже во весь голос, что пианино его и что он запрещает к нему прикасаться. Он ждал, что тут же воспоследует солидная затрещина. Но Мельхиор взглянул на сына с недоброй усмешкой и промолчал.

На следующий день Кристоф уже забыл о разыгравшейся накануне сцене. Домой он вернулся усталый, но в хорошем расположении духа. Младшие братья исподтишка наблюдали за

ним, и он раза два перехватил их любопытные взгляды. Мальчики притворялись, что усердно читают, но не спускали с Кристофа глаз и следили за каждым его движением, а когда Кристоф случайно оглядывался, оба быстро хватались за книги. Кристоф не сомневался, что сорванцы затеяли какую-то скверную шутку, но он так привык к их выходкам, что даже не обратил на это внимания — только решил про себя, что, когда их шалость откроется, он их здорово вздует, как обычно делал в подобных случаях. Поэтому он не стал доискиваться причины неумеренной веселости братьев, а принялся беседовать с отцом, который, сидя в углу у камина, с преувеличенным и вовсе не свойственным ему интересом расспрашивал старшего сына о его делах. Вдруг во время разговора Кристоф заметил, что Мельхиор украдкой от него подмигивает мальчикам. Сердце у Кристофа сжалось... Он бросился в спальню. Там, где стояло пианино, было пусто! Кристоф закричал от горя и услышал в соседней комнате приглушенный смех братьев. Кровь ударила ему в лицо. Кристоф набросился на мальчиков с кулаками. Он завопил:

— Где мое пианино?

Мельхиор поднял голову и с самым миролюбивым и непонимающим видом посмотрел на Кристофа, отчего мальчики захохотали еще громче. Да и сам отец не мог удержаться от смеха при виде растерянного, жалкого лица Кристофа и, отвернувшись в сторону, фыркнул. Кристоф на мгновение потерял рассудок. Как безумный, бросился он на отца. Мельхиор сидел, откинувшись на спинку кресла, и не успел ни подняться, ни посторониться. Мальчик схватил отца за горло и крикнул ему прямо в лицо:

— Вор!

Одним движением Мельхиор выпрямился и отшвырнул от себя яростно вцепившегося в него Кристофа. Кристоф ударился о каминную подставку, но тотчас поднялся на колени и, высоко вскинув голову, твердил прерывающимся от бешенства голосом:

— Вор! Ты вор! Ты нас обворовываешь — маму и меня! Ты вор! Ты обворовываешь дедушку!

Мельхиор успел уже встать с кресла и занес было кулак над Кристофом. Мальчик дерзко глядел ему прямо в глаза ненавидящим взглядом и весь дрожал от гнева. Мельхиор тоже начал дрожать. Он опустился в кресло и закрыл лицо руками. Малыши с громкими воплями выбежали из комнаты. В столовой после шума и криков вдруг воцарилась тишина. Мельхиор что-

то жалобно бормотал. Кристоф, прижавшись к стене, не спускал с отца глаз; он трясся всем телом, крепко сцепив челюсти, но на Мельхиора вдруг нашло покаянное настроение:

— Верно, я вор. Я разоряю семью. Мои собственные дети меня презирают. Лучше бы мне умереть.

Когда отец кончил причитать, Кристоф, не трогаясь с места, сурово осведомился:

— Где пианино?

— У Вормсера,— ответил Мельхиор, не смея поднять глаза.

Кристоф шагнул к нему и властно потребовал:

— Давай деньги!

Мельхиор, окончательно уничтоженный, вынул из кармана деньги и протянул их сыну. Мальчик направился к дверям, но отец вдруг окликнул его:

— Кристоф!

Мальчик остановился. Мельхиор заговорил дрожащим от волнения голосом:

— Кристоф, сынок! Не презирай меня!

Кристоф с рыданьем бросился на шею отцу.

— Папа, дорогой мой папочка! Я тебя вовсе не презираю, я так несчастлив!

Оба теперь плакали навзрыд. И Мельхиор жалобно твердил:

— Не моя это вина, сынок. Ведь я не злой человек. Верно, Кристоф? Скажи, разве я злой?

Он обещал бросить пить. Кристоф недоверчиво покачал головой, и Мельхиор сознался, что когда в кармане у него заводятся деньги, он не может устоять. Кристоф задумался.

— Знаешь, папа,— сказал он.— Вот что надо бы сделать...

И замолчал.

— Что сделать?

— Мне стыдно...

— За кого стыдно? — простодушно спросил Мельхиор.

— За тебя!

Мельхиор сморщился.

— Да ладно! — сказал он.

Кристоф изложил отцу свой план: лучше всего было бы, если бы все деньги, даже жалованье Мельхиора, находились, скажем, у матери или у Кристофа, а они уж будут выдавать Мельхиору каждый день, каждую неделю нужную ему сумму.

Мельхиор, на которого окончательно напал покаянный стих,— он уже с утра успел приложиться к рюмочке,— согласен

был на все и заявил даже, что желает немедленно написать письмо герцогу, с тем чтобы жалованье выплачивалось непосредственно Кристофу. Кристоф отказался — он краснел, видя унижение Мельхиора. Но отец, не утоливший еще жажды самопожертвования, настаивал. Он сам был приятно взволнован собственным великодушием. Кристоф так и не согласился взять письмо. А Луиза, которая подоспела к концу разговора, сказала, что лучше она милостыню собирать пойдет, но не допустит такого позора! Она добавила еще, что твердо верит в своего Мельхиора и что он непременно исправится во имя любви к детям и к ней самой. Этой умилительной сценой завершился семейный раздор, и письмо Мельхиора, забытое на столе, завалилось за шкаф, где и осталось лежать.

Но через неделю Луиза, убирая комнату, обнаружила письмо мужа, и так как последнее время Мельхиор, забыв свои клятвы, снова пустился во все тяжкие, письмо она не разорвала, а аккуратно спрятала. Так оно и пролежало несколько месяцев, уж очень претила Луизе мысль воспользоваться им, хотя чаша терпения ее переполнилась. Но когда в один прекрасный день Мельхиор снова исколотил Кристофа и отнял у него последние деньги, Луиза решилась. Оставшись наедине с горько плачущим мальчиком, она достала письмо, вручила его сыну и коротко сказала:

— Иди!

Кристоф все еще не мог собраться с духом, хотя и понимал, что нет иного средства спасти семью от полного разорения, спасти хотя бы то малое, что оставалось в доме. И он отправился в замок. Путь, который обычно отнимал у Кристофа всего двадцать минут, занял теперь больше часа. Он уже стыдился задуманного шага. За последние годы — годы грустные и одинокие, все возрастала его полуребяческая гордость, и сейчас при мысли о том, что порок отца будет выставлен на публичное осмеяние, сердце его исходило кровью. Конечно, он знал, что порок Мельхиора известен в их городе всем и каждому, но в силу нелепой, хотя вполне естественной, непоследовательности упорно пытался доказать себе обратное, притворяясь перед самим собой, что ничего не замечает: он скорее позволил бы четвертовать себя, чем признался бы в слабости отца. А сейчас он сам идет туда! Раз двадцать он собирался повернуть домой, два или три раза обошел весь город и, как только приближался к цели, возвращался вспять. Но ведь дело было не в нем одном. Речь шла о его матери, о младших братьях. Раз отец их бросил, раз предает их, значит, он, старший сын, должен занять отцов-

ское место, должен прийти семье на помощь. Кристоф больше не колебался. Он сломил свою гордыню: ничего не поделаешь, придется испить позор до конца. Он вошел в замок. Подымаясь по лестнице, он чуть было снова не повернул обратно, ноги у него подкашивались. Несколько минут он стоял на площадке, схватившись за ручку двери, но послышались чьи-то шаги, мальчик принужден был войти. Чиновники герцогской канцелярии отлично знали молодого Крафта. Кристоф попросил аудиенции у управляющего театром его высочества, барона Хаммер-Лангсбаха. Служащий канцелярии, молодой, но уже тучный человек, с девичьим румянцем на полных щеках, в белом жилете и розовом галстуке, дружески пожал Кристофу руку и сразу же заговорил о вчерашнем исполнении оперы. Кристоф повторил свою просьбу. Чиновник ответил, что его превосходительство сейчас занят, но если Кристоф желает передать какое-нибудь ходатайство, то его вручат вместе с другими бумагами, когда их понесут на подпись. Кристоф протянул письмо. Чиновник быстро пробежал его глазами и удивленно присвистнул.

— Ах, вот в чем дело,— весело произнес он.— Что ж, прекрасная мысль! Давно пора. Это лучшее, что Крафт сделал за всю свою жизнь! Ах, он старый пьяница! Да как же это он, черт побери, решился написать письмо, а?

Но договорить фразу ему не удалось. Кристоф, позеленев от гнева, дерзко вырвал письмо из рук молодого человека.

— Не смейте меня оскорблять! — закричал он.— Я запрещаю вам меня оскорблять!

Чиновник опешил.

— Но, дорогой мой Кристоф,— произнес он, с трудом подыскивая слова,— кто же тебя оскорбляет? Я сказал только то, что все знают. Да и сам ты прекрасно это знаешь.

— Нет! — яростно воскликнул Кристоф.

— Как не знаешь? Ты не знаешь, что отец пьет?

— Это неправда,— возразил Кристоф.

И топнул ногой.

Служащий пожал плечами.

— Зачем же он написал такое письмо?

— Написал потому...— начал Кристоф и запнулся (он не знал, что сказать),— потому... потому что я получаю каждый месяц свое жалованье, поэтому мне удобно получать и папино жалованье тоже. Зачем нам обоим ходить, тратить зря время... Папа очень занят.

Нелепее ничего выдумать было нельзя, и Кристоф сам покраснел от смущения. Молодой чиновник посмотрел на него на-

смешливо и сострадательно. Кристоф, зажав злополучное письмо в кулаке, повернулся к дверям. Но чиновник поднялся со стула и схватил его за руку.

— А ну-ка, подожди минутку, я сейчас все устрою.

И прошел в кабинет директора. Кристоф ждал, чувствуя на себе любопытные взгляды всей канцелярии. Кровь кипела в его жилах. Он сам не знал, что делает, что собирается делать, что нужно делать. Ему хотелось убежать, не дождавшись ответа, и он бочком уже двинулся к выходу, когда дверь директорского кабинета вдруг приоткрылась.

— Его превосходительство желает с тобой поговорить,— обратился к мальчику чиновник.

Пришлось войти в кабинет.

Его превосходительство барон Хаммер-Лангсбах, низенький, чистенький старичок с пробритым подбородком, в бакенбардах и усах, взглянул на Кристофа поверх золотых очков. Директор не прекратил своего занятия,— он что-то писал,— даже не кивнул в ответ на неловкий поклон Кристофа.

— Итак,— спросил он, отложив перо,— чего вы просите, господин Крафт?

— Ваше превосходительство,— быстро заговорил Кристоф.— Простите меня, пожалуйста. Я раздумал, я ничего не прошу.

Старичок даже не попытался найти объяснение столь крутой перемене в поведении юного просителя. Он поднял на Кристофа проницательный взор, кашлянул и сказал:

— Не угодно ли вам, господин Крафт, дать мне письмо, которое вы держите в руке.

Тут только Кристоф заметил, что директорские глаза прикованы к письму, которое он судорожно мял в кулаке.

— Не нужно, ваше превосходительство. Сейчас уже не стоит.

— Дай-ка, пожалуйста, письмо,— спокойно повторил старичок, словно не слышал возражения.

Кристоф машинально подал на ладони смятый листок, но тут же снова протянул руку, намереваясь схватить в случае надобности письмо, и что-то бессвязно залепетал. Его превосходительство аккуратно разгладил листок, прочел, посмотрел на Кристофа, с минуту послушал его путаные речи и пресек их, заявив с лукавым огоньком в глазах:

— Хорошо, господин Крафт, ваша просьба будет удовлетворена.

Старичок махнул ручкой, что означало конец аудиенции, и снова уткнулся в свои бумаги.

Мальчик вышел из кабинета совершенно убитый.

— Ну, ну, не сердись, Кристоф,— сердечным тоном произнес молодой чиновник, когда мальчик проходил мимо его стола.

Кристоф не смел поднять глаза, не смел отнять у чиновника руку, которую тот дружески пожал. Наконец он выбрался из замка. Он словно весь заледенел от пережитого позора. Теперь, когда он припоминал все происшедшее, ему слышалась даже в сочувственных словах людей, жалевших и уважавших его, оскорбительная ирония. Дома он нехотя и довольно раздраженно отвечал на расспросы Луизы, словно именно на нее падала ответственность за унизительную сцену в канцелярии. Его жестоко терзало раскаяние при мысли об отце. Кристофу хотелось признаться Мельхиору во всем, вымолить его прощенье, но Мельхиора не было дома. Лежа в постели без сна, Кристоф поджидал возвращения отца почти всю ночь. Чем больше он думал об отце, тем острее были укоры совести; он даже начал идеализировать Мельхиора. Твердил себе, что отец просто слабый человек. Добрый, но несчастный, да к тому же самые близкие люди так подло предали его. И, услышав под утро на лестнице шаги, мальчик вскочил с постели, побежал навстречу отцу, желая лишь одного — броситься ему на шею. Но Мельхиор вернулся пьяный, мерзкий, и у Кристофа не хватило мужества подойти к нему; он потихоньку поплелся в спальню, лег в постель. И горько же ему было расставаться со своими мальчишескими иллюзиями...

Через несколько дней Мельхиор узнал историю с письмом и пришел в неистовый гнев; не слушая мольбы Кристофа, он отправился в замок с твердым намерением устроить хорошенькую сцену. Но вернулся он оттуда какой-то растерянный и ни словом не обмолвился о том, что произошло в канцелярии. А там встретили старшего Крафта весьма сурово. Ему прямо заявили, что, во-первых, жалованье ему выплачивают лишь из уважения к заслугам сына, и, во-вторых, ежели в дальнейшем произойдет хоть один скандал, жалованье выплачиваться вообще не будет. И поэтому лучше всего ему сбавить тон. На следующий день удивленный и обрадованный Кристоф увидел, что отца словно подменили: он не только примирился с новым положением, но при случае даже хвастал своим самопожертвованием.

Однако все эти выспренние речи отнюдь не помешали Мельхиору горько плакаться в компании друзей. Он жалобно твер-

дил, что жена и дети обобрали его, высосали всю его кровь, а теперь еще оставляют без копейки. Он выманивал у Кристофа деньги, всячески хитрил, пускался даже на нежности, и, глядя на него, мальчик еле удерживался от смеха, хотя поводов для смеха было мало. Но так как Кристоф мужественно отбивал все атаки, Мельхиор отступал. Под суровым взглядом четырнадцатилетнего подростка он чувствовал какое-то необъяснимое смущение. Но зато глупо и скверно мстил сыну исподтишка. Отправлялся, например, в кабачок, пил и ел там за двоих и уходил, не уплатив ни гроша. Пусть, заявлял он, за его долги платит сын. Боясь скандала, Кристоф шел на все, и, с согласия Луизы, они из последнего оплачивали долги Мельхиора. Перестав получать на руки жалованье, Мельхиор окончательно охладел к своей скрипке. Теперь он пропускал один спектакль за другим, и, несмотря на отчаянные просьбы Кристофа, старшего Крафта выставили из оркестра. Мальчику пришлось одному содержать отца и младших братьев, содержать всю семью.

Так в четырнадцать лет Кристоф стал главой семьи.

Он мужественно взял на себя непосильное бремя. Гордость не позволяла ему обращаться за помощью к чужим людям. Он поклялся выпутаться из трудного положения своими силами. С самого детства он страдал, когда мать принимала, чуть ли не выпрашивала, унизительные подачки. Как часто вступал он с Луизой в спор, когда она возвращалась домой и, сияя от счастья, с торжеством показывала подарочек, полученный от очередной благодетельницы! Худого в том она ничего не видела и от души радовалась, что с помощью этих подачек Кристоф сможет не так надрываться над работой, а семья получит к скудному обеду еще одно блюдо. Но Кристоф хмурился. Целыми вечерами он не разговаривал с матерью; не объясняя причины, он наотрез отказывался прикоснуться к еде, добытой такой ценой. Луиза огорчалась. Она настойчиво подкладывала сыну лакомые куски; он отказывался; мать раздражалась и говорила ему колкости, он отвечал ей в тон; заканчивались такие сцены тем, что Кристоф, бросив на стол салфетку, уходил из комнаты. Отец пожимал плечами и называл старшего сына ломакой. Братья потихоньку хихикали и жадно съедали его порцию.

А жить было не на что. Жалованья, которое Кристоф получал в оркестре, не хватало. Он стал давать уроки. Талант виртуоза, хорошая репутация и особенно покровительство герцога

привлекли к нему многочисленную клиентуру в богатых буржуазных домах. Каждое утро с девяти часов Кристоф обучал игре на рояле девиц, многие из которых были старше своего учителя, смущали его ужасно своим кокетством и раздражали своим идиотским бренчанием. К музыке они были постыдно тупы. Но зато все без изъятия обладали даром видеть смешное. И язвительный взгляд девичьих глаз отмечал каждую неловкость Кристофа. Уроки превращались для него в сущую пытку. Примостившись рядом с ученицей на самом краешке стула, багрово-красный и важный, подавляя гнев и не смея пошевелиться, стараясь не сказать какой-нибудь глупости и страшась звука собственного голоса, Кристоф сидел с нарочито суровым видом и с трудом выдавливал из себя слова; чувствуя на себе быстрые девичьи взгляды, он терялся, прерывал на полуфразе начатое замечание, боялся быть смешным и был действительно смешон и от смущения вдруг разражался ядовитыми упреками. Но ученицы не оставались в долгу; они мстили любым способом, старались смутить и смущали Кристофа, неожиданно вскидывая на него глаза, с невинным видом задавали самые простые вопросы, отчего он краснел до ушей, а то просили его оказать какую-нибудь мелкую услугу — принести стул или забытый в соседней комнате носовой платок,— и вот это-то и было самым мучительным для него испытанием: приходилось пересекать комнату под огнем лукавых глаз, которые безжалостно следили за каждым жестом юного музыканта и подмечали все: его неуклюжие движения, негнущиеся пальцы, его одеревеневшие от смущения ноги.

После уроков Кристоф спешил в театр на репетицию. Сплошь и рядом он не успевал даже позавтракать и в антрактах жевал бутерброд с ветчиной, принесенный из дома. Иногда он заменял Musik Director'а [1] Тобиаша Пфейфера, который благоволил к мальчику и время от времени поручал ему провести репетицию. А ведь надо было бы еще подумать о собственном музыкальном образовании. Но снова приходилось бежать на уроки, которые длились вплоть до начала спектакля. Часто вечерами, перед концом спектакля, за ним еще присылали из замка. Кристоф должен был играть перед своими покровителями два-три часа подряд. Герцогиня имела слабость считать себя знатоком и ценителем музыки; она действительно любила музыку, но вряд ли отличила бы хорошую музыку от плохой. Она составляла для Кристофа вычурные программы, где какая-ни-

[1] Дирижера *(нем.)*.

будь пошлая рапсодия сменялась подлинным шедевром. Но особенной охотницей была она до импровизаций,— герцогиня усаживала Кристофа за рояль и сама выбирала для него темы — сентиментальные до тошноты.

Кристоф покидал замок только около полуночи. Он еле брел от усталости, пальцы рук его горели, в висках стучало, и кишки подводило от голода. Он выходил из замка весь потный, а на дворе шел снег или поднимался ледяной туман; до дома приходилось шагать чуть ли не через весь город; шел он пешком, лязгая от холода зубами, еле сдерживая слезы, чуть не засыпая на ходу, а тут еще надо было обходить лужи, чтобы не запачкать единственную свою парадную пару.

Он входил в каморку, где по-прежнему спал вместе с братьями; и никогда еще отвращение к жизни, глухая безнадежность и одиночество не угнетали его так, как в эти минуты, в этой душной, вонючей комнатушке, когда он мог наконец ослабить давивший его ошейник нищеты. Даже раздеться не хватало решимости. К счастью, как только голова его касалась подушки, глубокий сон придавливал его, точно плитой, и вместе с сознанием уносил все беды.

Но, так или иначе, надо было покидать гостеприимную постель — летом на заре, зимой еще раньше, до света. Кристофу хотелось поработать и для себя самого, а свободен он был только рано утром, от пяти до шести часов, и все-таки даже это свое собственное время приходилось тратить на выполнение заказов, ибо по званию Hof Musikus'a и в силу благоволения герцога он вынужден был сочинять кантаты и марши к официальным дворцовым празднествам.

Итак, сам источник его жизни и радости был отравлен. Даже в мечтах он не был свободен. Но, как это бывает обычно, мечты только ширились и крепли под гнетом. Когда ничто не стесняет действий, душа с трудом находит основания действовать. Чем теснее сковывали Кристофа кандалы забот и будничных обязанностей, тем явственнее ощущало непокорное сердце свою независимость. Не будь его жизнь сплошным принуждением, он, несомненно, отдался бы свободному течению времени, блаженному ничегонеделанью отрочества. Но на протяжении целых суток в его собственном распоряжении оставалось лишь один-два часа, и сквозь их теснину юношеская сила неистово рвалась, подобно потоку, прорывающемуся сквозь утесы. Ничто так не дисциплинирует художника, как необходимость уложить все свои силы в определенные рамки, и чем они теснее, тем лучше. В этом смысле нищета становится, если так можно выра-

зиться, требовательным наставником не только мысли, но и формы; она приучает мысль к строгости, а тело к воздержанию. Когда время отпущено скупой мерой и каждое слово на счету, человек не станет ни празднословить, ни отвлекаться от главного. Когда нет времени жить, живут вдвойне.

То же самое происходило и с Кристофом. Под тяжелым ярмом он полностью мог оценить прелесть свободы и не растрачивал зря драгоценных минут на ненужные поступки, на бесполезные фразы. Склонный от природы запечатлевать в своих опытах все изобилие искренней, но еще неотчетливой мысли, покорно следуя всем ее прихотям, Кристоф вынужден был выбирать между необходимостью обдумать и успеть сделать возможно больше в возможно более короткий срок. Именно это и повлияло всего сильнее на его творческое и нравственное развитие,— больше, чем уроки учителей, больше, чем великие примеры. В те годы, когда формируется характер человека, Кристоф привык считать музыку самым точным и самым скупым средством выражения мысли, где каждая нота имеет вполне определенный смысл, и в те же годы он возненавидел музыкантов, которые болтают, лишь бы болтать.

Все же композиции Кристофа еще отнюдь не отражали всей полноты его души, потому что и сам-то он еще не знал себя. Он пытался обнаружить себя среди груды благоприобретенных чувств, которые становятся в силу воспитания второй натурой ребенка. Он лишь интуитивно прозревал свое подлинное «я», ибо не прошел еще через юношеские страсти, разом срывающие с личности все взятые напрокат одеяния, как очищает небеса от заволакивающих их испарений первый удар грома. Неясные и острые предчувствия своих замыслов странным образом переплетались в нем с неосознанным воздействием чужих творений, и он никак не мог от них отделаться. Его бесила эта фальшь. Он с отчаянием видел, насколько ниже то, что он написал, того, что жило у него в душе. Он горько сомневался в себе самом, но капитулировать было бы слишком глупо. И он неистовствовал, он добивался совершенства, решил, что создаст во что бы то ни стало великие творения. Но ничто ему не удавалось. Стоило положить перо, и мимолетная иллюзия, во власти которой он пребывал, рассеивалась. Кристоф трезвел, замечал, что все написанное никуда не годится; он рвал бумагу, сжигал все, что творил. И в довершение стыда его официальные опусы — самое посредственное из всего им написанного — продолжали жить, и он не мог их уничтожить. «Королевский орел» — концерт, написанный ко дню именин герцога, кантата «Бракосочетание Пал-

лады», составленная по случаю свадьбы принцессы Аделаиды, вышли щедротами вельмож в роскошном издании и, так сказать, увековечили бездарность Кристофа в грядущих веках, ибо он верил в грядущие века. И при мысли об этом он плакал от унижения.

Лихорадочные, тревожные годы! Ни минуты покоя, ни передышки — ничего, что бы отвлекало от отупляющих трудов. Ни детских игр, ни юношеских дружб; да и как бы он стал играть, где бы нашел друзей? Когда? В послеобеденные часы ребятишки бегали, развлекались, гуляли, а Кристоф, нахмурив от напряжения лоб, сидел перед своим пюпитром в пыльном, плохо освещенном зале. Вечером, когда другие дети, набегавшись, уже сладко спят, он все еще сидит на стуле, согнувшись, точно старичок, усталый и сонный.

И никакой близости с братьями. Младшему, Эрнсту, шел уже двенадцатый год; это был настоящий маленький бездельник, порочный и дерзкий на язык мальчишка, который целые дни носился с такими же, как он, сорванцами и перенял от них не только малопохвальные повадки, но и такие дурные привычки, о которых Кристоф, по своей наивности, даже не подозревал; обнаружив как-то порочные наклонности брата, он оцепенел от ужаса. Средний, Рудольф, любимец дяди Теодора, с юных лет решил посвятить себя коммерции. Он любил во всем порядок, отличался спокойным, но скрытным нравом. Он ставил себя неизмеримо выше Кристофа и не признавал авторитета старшего брата, хотя и находил в порядке вещей есть его хлеб. Он разделял неприязненные чувства Мельхиора и Теодора к Кристофу и любил повторять все их нелепые россказни. Младшие братья не любили музыки, а Рудольф, подражая дяде, делал вид, что презирает музыкантов. Надзор и вечные нравоучения Кристофа, который всерьез считал себя главой семьи, до смерти надоедали обоим мальчикам; они попробовали было поднять бунт, но Кристоф во всеоружии пары здоровых кулаков и в сознании своей правоты живо привел их к повиновению. И все же мальчики вертели старшим братом. Злоупотребляли его доверчивостью, расставляли ловушки, в которые Кристоф неизменно попадался, выманивали у него деньги, бесстыдно врали прямо в глаза, а за глаза издевались над ним. Добродушного Кристофа нетрудно было провести; он так изголодался по любви, что одно ласковое слово могло утишить приступ самого бешеного гнева. Он готов был простить мальчишкам все их грехи за малейшее проявление любви, но однажды доверчивости Кристофа был нанесен тяжелый удар. Однажды он

услышал, как братья хохочут над его глупостью,— в ответ на их лицемерные поцелуи он растрогался чуть не до слез и отдал им подаренные герцогом золотые часы, на которые оба уже давно зарились. Кристоф презирал и Эрнста и Рудольфа и тем не менее постоянно оказывался в дураках,— так неистребима была в нем потребность верить и любить. Впрочем, он сам это знал, клял себя за доверчивость и, обнаружив очередной обман братьев, нещадно осыпал их тумаками. А назавтра он снова попадался на удочку.

Но самое тяжелое испытание было еще впереди. Соседи услужливо донесли Кристофу, что отец плохо о нем отзывается. Сначала Мельхиор гордился успехами Кристофа и всюду ими хвастался, но затем, поддавшись постыдной слабости, стал завидовать сыну и старался, как мог, его опорочить. Это было донельзя глупо, и странно было бы даже сердиться. Презирать — и то не стоило. Разве только молча пожать плечами: ведь Мельхиор не знал, что творит, и к тому же озлобился от вечных неудач. Вот Кристоф и молчал: он боялся, что не выдержит и выскажет отцу в глаза жестокую правду; но сердце у него изнывало от боли.

Ох, эти грустные вечерние сборища! Семья за ужином, настольная лампа освещает скатерть в пятнах, слышатся плоские шутки, громкое чавканье, а вокруг стола сидят существа, которых Кристоф презирает, жалеет и любит. Все-таки любит! Только с мамой, славной мамой, Кристофа связывала взаимная нежность. Но Луиза, набегавшись за день, уставала не меньше сына. К вечеру она окончательно выдыхалась, почти ничего не говорила и после ужина засыпала прямо на стуле, уронив на колени чулок, который собралась было заштопать. Мама была такая добрая и поровну делила привязанность между мужем и тремя своими мальчиками; всех их она любила одинаково. Но Кристоф не мог найти в ней того поверенного своих чувств, в котором он так нуждался.

Потому-то он и замкнулся в себе. Целыми днями он молча, с какой-то яростью выполнял свои однообразные и утомительные обязанности; но подобный образ жизни чреват опасностями, особенно для подростка в переходном возрасте, когда организм так чувствителен и так бессилен против любого разрушительного воздействия и когда так легко искалечить ребенка на всю жизнь. Естественно, что все это отражалось на здоровье Кристофа. От своих предков он унаследовал мощное сложение, крепкое, здоровое, без изъянов тело. Но могучий организм бывает особенно уязвим для недугов, которым прокладывает доро-

«Жан-Кристоф». Книга вторая.

гу чрезмерная усталость и преждевременные заботы. С самого нежного возраста у Кристофа наблюдалось серьезное нервное расстройство. Когда он был еще совсем крошкой, с ним при малейшем раздражении случались обмороки, приступы рвоты, в семь-восемь лет, когда начались его выступления в концертах, он стал плохо и беспокойно спать: что-то говорил во сне, кричал, смеялся, плакал, и это болезненное состояние возобновлялось всякий раз, когда что-нибудь слишком волновало мальчика. Потом начались мучительные головные боли — то словно стягивало обручем затылок и виски, то сдавливало, как свинцовым колпаком, всю голову. Да и с глазами дело обстояло неважно: временами будто иголки впивались в зрачки, Кристоф на несколько секунд терял зрение, не мог даже читать. Нездоровое, скудное, да к тому же нерегулярное питание разрушило его луженый желудок. У него часто болел живот, истощали поносы, но самые страшные мучения причиняло ему сердце, биение которого отличалось какой-то непонятной аритмичностью: то оно, как бешеное, колотилось в груди и, казалось, вот-вот разорвется, то билось еле-еле, будто, того и гляди, остановится совсем. По ночам у мальчика скакала температура, лихорадочное состояние сменялось полным упадком сил; Кристоф горел, как в огне, дрожал от холода, замирал от страха и тоски, грудь у него болезненно теснило, какой-то ком подступал к горлу, мешая дышать. Естественно, что воображение у него разыгрывалось. Он не смел признаться родным в своих страданиях, но сам внимательно анализировал каждое болезненное явление, что только усиливало и умножало его муки. Он находил у себя все известные ему болезни, считал, что непременно ослепнет, и, так как при ходьбе у него случались головокружения, боялся, что упадет на улице и сразу же умрет. В нем жил неотступный страх — боязнь, что путь его прервется, что он умрет безвременно, в расцвете сил; страх этот угнетал его и в то же время взбадривал. Ах, если уж суждено умереть, пусть он умрет, но только после того, как победит!

Победа... Эта неотвязная, хотя и безотчетная, мысль жгла огнем, вела его сквозь усталость, отвращение, через стоячее болото их жизни! Смутное, но непоколебимое сознание того, кем он будет потом, кем он уже стал сейчас. Сейчас? Сейчас он — болезненный, нервный мальчик, который играет в оркестре первую скрипку и пишет посредственные концерты. Нет, этот мальчик лишь часть того Кристофа. Этот мальчик — лишь внешняя оболочка, эфемерный облик. Его суть иная. И нет ничего общего между ней и его теперешним внешним и внутренним обликом.

Он сам отлично это знал. Он гляделся в зеркало и не узнавал себя. Круглое, румяное лицо, выпуклые надбровные дуги, небольшие, глубоко посаженные глаза, короткий, чуть утиный нос с широкими ноздрями, тяжелый подбородок, капризные губы — эта маска, уродливая, вульгарная, чужда ему самому. Он не узнавал себя и в своих творениях. Строго судил их; знал тщету того, что делает, того, что он есть сейчас. И, однако, был уверен в том, что сделает, и в том, кем станет. Иногда он упрекал себя за эту уверенность, видя в ней лишь обман, внушенный гордыней, и с наслаждением унижал себя, в наказание горько над собой издевался. Но уверенность росла, и ничто не могло ее умерить. Что́ бы он ни делал, о чем бы он ни думал, ни одна его мысль, ни один его поступок, ни одно его творение не исчерпывало, не выражало его сути. Он это знает сам, им владеет странное чувство, что тот, кем он является прежде всего и больше всего,— тот Кристоф еще не существует сегодня; он им только будет, *будет завтра, будет!* Он горел этой верой. Он опьянялся этим светом. Ах, только бы *сегодня* не остановило его на полпути! Только бы не споткнуться и не попасть в скрытые ловушки, которые так щедро расставляет на его пути его *сегодня!*

И так он вел свою ладью через водоворот дней, не глядя ни направо, ни налево, застыв у руля, устремив напряженный и внимательный взгляд вперед, к цели, к прибежищу, к зримой уже гавани. В оркестре среди шумливых музыкантов, за обеденным столом в своей семье, в герцогском замке, когда он играл для развлечения вельможных марионеток, не думая о том, что́ играет,— в эти минуты он жил в том будущем, которое, быть может, и не придет, в том будущем, которое могла разрушить любая пылинка. Пусть так. Этим он жив.

Он в мансарде, за стареньким фортепиано, один. Сгущается вечерний сумрак. Последние отблески угасающего дня скользят по нотной тетради. До ломоты в глазах всматривается он в нотные линейки, стараясь не упустить ни капли света. Нежность великих сердец, продолжающая жить на этих немых страницах, волнует его, как ласка. На ресницах повисла слеза. Ему чудится, будто позади стоит какое-то безгранично до́рогое существо и дыхание его касается щеки мальчика, и чудится ему, будто чьи-то руки ласково обнимут сейчас его за плечи. Он оборачивается, дрожа всем телом. Он чувствует, знает, что в комнате кто-то есть. Любящая и любимая душа здесь, с ним рядом. И потому, что не может в нее проникнуть, он стонет. Но это кап-

ля горечи, вливающаяся в его восторги, и она полна тайной сладости. Даже сама грусть светоносна. Мыслями он с любимыми учителями, с гениями, ушедшими навеки, чья великая душа воскресает в музыке. Сердце его переполнено любовью, и он мечтает о том счастье, которое, конечно, было уделом этих великих и славных друзей Кристофа,— счастье сверхчеловеческом, ибо и сейчас еще достаточно одного его луча, чтобы обжечься. Он мечтает стать таким же, как они, изливать вокруг сиянье той любви, самые отдаленные лучи которой озаряют нашу бедную жизнь, словно божественная улыбка. Стать богом, как и они, стать источником радости, стать солнцем жизни.

Увы! В тот день, когда он станет — если только станет — равным тем, к кому полна любовью его душа, когда достигнет он этого лучезарного счастья, которого так жаждет,— в тот день он поймет всю тщету своих иллюзий...

ОТТО

Как-то в воскресенье Тобиаш Пфейфер, Musik Director пригласил Кристофа пообедать к себе на дачу, которая отстояла в часе езды от города. Кристоф решил отправиться на пароходике, бегающем по Рейну. На палубе он уселся возле мальчика, по всей видимости его ровесника, который, заметив Кристофа, предупредительно пододвинулся на скамье и освободил место рядом с собой. Сначала Кристоф не обратил на это внимания. Но, почувствовав, что сосед не спускает с него глаз, Кристоф, в свою очередь, стал присматриваться к мальчику. Это был блондинчик с розовыми пухлыми щечками, скромным косым проборчиком и легким пушком над верхней губой; вид у него был младенчески простодушный, хотя он и старался казаться взрослым джентльменом; одет он был щегольски, даже с претензией,— фланелевый костюмчик, светлые перчатки, белые носки, аккуратно повязанный галстук; в руке он держал тоненькую тросточку. Мальчик искоса поглядывал на Кристофа, не поворачивая головы, смешно, как курица, вытягивая шею, а когда Кристоф посмотрел ему в лицо, мальчик покраснел до ушей, вытащил из кармана газету и притворился, будто погружен в чтение. Но когда от порыва ветра шляпа Кристофа слетела на пол, мальчик быстро ее поднял. Кристоф, не привыкший к такому вежливому обращению, удивленно поглядел на незнакомца, который снова залился краской; Кристоф сухо поблагодарил соседа,— он не терпел этой заискивающей любезности и уж совсем не переносил излишнего интереса к своей персоне. Все же поведение мальчика польстило ему.

Вскоре он перестал думать о соседе — его вниманием завладел пейзаж... Давно уже Кристофу не удавалось вырваться за город, и он жадно вдыхал бьющий в лицо ветер, с наслаждением вслушивался в мерный плеск волн о борт парохода, не спускал глаз с огромного мирного зеркала вод и проплывавших невдалеке берегов, где прихотливо сменяли друг друга высокие серые откосы, ивняк, подымающийся прямо из воды, города, увенчанные готическими башенками и фабричными трубами, откуда валил черный дым, светлая листва виноградников и сказочные утесы. А так как восторги свои Кристоф, не стесняясь, выражал вслух, его сосед оправился от смущения и робко, дрожащим голосом стал называть исторические даты, связанные с обозреваемыми руинами, искусно реставрированными и обвитыми плющом; говорил он с таким видом, будто читал сам себе лекцию. Кристоф заинтересовался и стал расспрашивать своего нового знакомца. Тот охотно отвечал, радуясь, что представился случай выказать свои познания, и, обращаясь к Кристофу, всякий раз величал его «господин придворный музыкант».

— Значит, вы меня знаете? — спросил Кристоф.

— О да,— ответил мальчик с наивным восхищением, что приятно пощекотало самолюбие Кристофа.

Они разговорились. Мальчик часто видел Кристофа в концертах, да и многочисленные рассказы о юном музыканте сильно поразили его воображение. Конечно, он не сказал об этом Кристофу, но Кристоф понял и был приятно удивлен. Он не привык, чтобы с ним говорили таким уважительным и прочувствованным тоном. Он расспрашивал своего спутника о тех местах, мимо которых проплывал пароходик, и тот с восторгом выкладывал свои недавно приобретенные в школе познания; а Кристоф восхищался его ученостью. Однако исторические подробности служили лишь предлогом для беседы: обоих мальчиков интересовало другое, и это другое были они сами. Но они не осмеливались прямо приступить к занимавшей их теме и осторожно вставляли наводящие, хоть и весьма туманные вопросы. Наконец они решились, и Кристоф узнал, что нового его друга зовут господин Отто Динер, что он сын крупного коммерсанта из их города. Совершенно естественно было и то, что у них нашлись общие знакомые; мало-помалу языки развязались. И когда пароходик пристал к городку, где Кристофу надо было сходить, они уже беседовали с жаром. Отто тоже выходил здесь. Это обстоятельство показалось обоим весьма знаменательным, и Кристоф предложил пройтись, так как

до обеда у Musik Director'а оставалось еще время. Мальчики отправились в поле. Кристоф, фамильярно взяв Отто под руку, поверял ему все свои планы и мечты, словно они были знакомы с самого рождения. Целые годы Кристоф был лишен общества сверстников и теперь ощущал огромную радость от знакомства с этим мальчиком, таким образованным и хорошо воспитанным и к тому же проявившим к нему искреннюю симпатию.

Часы шли, но Кристоф не замечал времени. Динер, гордый доверием, которое ему оказывал юный музыкант, не смел напомнить новому другу, что час обеда давно прошел. Наконец, решив, что он обязан предупредить Кристофа, Отто заявил, что так можно и опоздать, однако тот, как раз взбиравшийся на лесистый холм, закричал, что надо же сначала взойти на вершину, а когда путники достигли ее, Кристоф растянулся на траве с таким видом, словно собирался провести здесь целый день. Через четверть часа Динер, видя, что Кристоф отнюдь не расположен уходить, робко напомнил:

— А как же обед?

Кристоф, удобно улегшийся на траву, закинул руки за голову и спокойно ответил:

— Черт с ним!

Потом, взглянув на Отто и увидев его испуганную физиономию, громко расхохотался.

— Уж очень здесь хорошо! — пояснил он.— Я вообще не пойду, пусть ждут!

И сел на траву.

— Может быть, вы спешите? Нет? Не спешите? Тогда давайте вот что сделаем. Хотите, пообедаем вместе? Я знаю здесь одну харчевню.

Отто мог бы многое возразить против, и не потому, что его ждали, а потому, что ему было трудно принять внезапное решение, любое решение: от природы он был методичен и ко всему любил готовиться загодя. Но предложение Кристофа было сделано таким тоном, что не допускало отказа. Поэтому Отто позволил себя уговорить, и мальчики снова принялись болтать.

В харчевне их восторги несколько поостыли. Оба были слишком заняты важным вопросом: кто будет угощать? Каждый в тайниках души полагал, что угостить нового знакомого для него вопрос чести: Динер — потому что был богаче, а Кристоф — потому что был беднее. Прямо они на это не намекали. Вначале Динеру удалось было отстоять свое право — таким по-

велительным тоном он заказывал обед. Кристоф разгадал его замысел и, решив превзойти Отто, потребовал какие-то уж совершенно изысканные блюда; он хотел показать, что чувствует себя здесь вполне непринужденно. Динер сделал было новую попытку, взяв на себя заказ вин, но Кристоф испепелил его взглядом и попросил бутылку самого дорогого вина, какое только имелось в харчевне.

Когда перед мальчиками стали появляться одно за другим роскошные блюда, на них напало смущение. Все темы для разговора иссякли, и они еле прикасались к кушаниям, чувствуя связанность в каждом движении. Вдруг оба заметили, что, в сущности, они совсем чужие друг другу, и насторожились. Напрасны были все попытки возобновить прежнюю непринужденную беседу: разговор явно не клеился. Первые полчаса сидения за столом показались им смертной пыткой. К счастью, вкусная еда возымела свое действие: теперь они уже доверчивее поглядывали друг на друга. Особенно разошелся Кристоф,— он не привык к подобным пирушкам и стал на редкость разговорчив. Он рассказывал о том, как трудно ему живется, и Отто, выйдя из состояния оцепенения, признался, что и он не так-то уж счастлив. Он робок и застенчив от природы, и товарищи пользуются этим его недостатком. Они издеваются над ним. Не прощают ему того откровенного неодобрения, с каким он смотрит на их вульгарные манеры, подстраивают ему нарочно всякие злые шутки. Кристоф сжал кулаки и крикнул, что пусть только попробуют в его присутствии, вряд ли им тогда поздоровится. Оказалось, что и Отто тоже не понимают домашние. Кому, как не Кристофу, было знакомо это несчастье, и оба растрогались своими столь сходными горестями. Родители Динера желают сделать из сына коммерсанта, чтобы он впоследствии возглавил отцовское дело. А он решил стать поэтом, он непременно будет поэтом, если даже ему придется, как Шиллеру, убежать из отчего дома и бороться с нуждой! (Впрочем, рано или поздно состояние все равно перейдет к нему, а состояние это немалое.) С краской в лице Отто признался, что он уже пишет стихи о скуке жизни, но, несмотря на все мольбы Кристофа, отказался их прочесть. Впрочем, к концу обеда он, запинаясь от волнения, прочел два или три стихотворения. Кристоф заявил, что стихи изумительные. Тогда мальчики стали строить общие планы: работать они будут вместе — будут писать драмы и Liederkreise [1]. Оба

[1] Циклы песен *(нем.)*.

млели от взаимного восхищения. Ведь Кристоф был знаменитостью в их городе, и, кроме того, Отто импонировала сила Кристофа, его смелость, решительные речи. А Кристофа умиляло изящество Отто, его изысканные манеры — ибо все на свете относительно,— особенно его солидные знания, которых так не хватало Кристофу и которых он так жаждал.

Отяжелев от еды, бесцеремонно положив локти на стол, мальчики говорили, говорили, слушали друг друга, глядели друг на друга затуманенным нежностью взором. Время шло. Пора было уходить. Отто сделал последнее усилие и потянулся было за счетом, но Кристоф пригвоздил его к месту грозным взглядом, который сразу отбил у бедняги всякое желание настаивать, а Кристофа терзала страшная мысль: вдруг с него потребуют больше, чем есть у него в кошельке; но он решил оставить в залог свои часы, все, что у него имеется, лишь бы не признаться Отто в своей нищете. Однако жертв, слава богу, не потребовалось; счет не превысил суммы, которая равнялась месячным расходам Кристофа.

Мальчики спустились с холма. От сосен ложились на землю вечерние тени, верхушки их еще розовели в предзакатной дымке и важно раскачивались, шумя, как волны; шаги заглушал ковер лиловатых сосновых иголок. Оба молчали. Сердце Кристофа переполняло странное сладостное чувство: он был счастлив, ему хотелось говорить, но какой-то неясный страх томил его. Он остановился, и Отто остановился тоже. Кругом была тишина. Только в косом солнечном луче громко жужжали мухи. С легким хрустом упала сухая ветка. Кристоф схватил Отто за руку и спросил дрожащим голосом:

— Хотите быть моим другом?

Отто прошептал:

— Хочу!

Они обменялись рукопожатием; сердца у обоих бились. Они не смели взглянуть друг другу в глаза.

Через минуту они пошли дальше. Шли они почти рядом — всего на расстоянии нескольких шагов — и молчали до самой опушки леса: они боялись самих себя, боялись своего непонятного волнения; они ускорили шаги и остановились, только выбравшись из лесной чащи. Здесь они вздохнули свободнее и снова взялись за руки. Оба восхищались прозрачностью вечера и только изредка перебрасывались словами.

На пароходике, забравшись на нос, где пробегали полосы света и тени, они начали было говорить о самых невинных предметах, но, охваченные блаженной усталостью, они не слы-

шали своих слов. Им не требовалось ни говорить, ни пожимать друг другу руки, не требовалось даже глядеть друг на друга,— ведь они были рядом.

Еще на пароходике мальчики условились встретиться в следующее воскресенье. Кристоф проводил Отто до его дверей. При свете газового фонаря они робко улыбнулись и взволнованно пробормотали: «До свидания». Расставшись, они облегченно вздохнули — так устали оба от того напряжения, в котором прожили несколько долгих часов, когда каждое слово доставалось с таким трудом.

Один в ночной темноте, Кристоф шагал домой. Но сердце у него пело: у меня есть друг, есть друг. Он ничего не видел. Ничего не слышал. Не думал ни о чем — только о друге.

Он валился с ног от усталости и сразу же заснул, едва коснувшись подушки. Но раза два или три он просыпался ночью, словно разбуженный неотвязной мыслью. «У меня есть друг»,— повторял он и тут же снова засыпал.

Наутро все вчерашнее представилось ему сном. Желая убедить себя в обратном, он стал тщательно припоминать малейшие подробности воскресного дня. Он так ушел в это занятие, что не прерывал его даже на уроках; был он рассеян и на репетиции, состоявшейся под вечер, а при выходе из театра сразу забыл, что́ играли.

Дома его ждало письмо. Ему не было надобности спрашивать, откуда оно. Кристоф бросился в свою комнату, запер дверь и стал читать. Письмо было написано на бледно-голубой бумаге, почерком старательным, крупным, полуребяческим, с аккуратными росчерками:

«Дорогой господин Кристоф, осмелюсь ли я написать: «высокочтимый друг»?

Я очень много думал о нашей вчерашней прогулке и бесконечно благодарен Вам за Вашу доброту. Я так признателен Вам за все, и за Ваши добрые слова, и за чудесную прогулку, и за прекрасный обед! Мне только очень обидно, что Вы истратили так много денег на этот обед. Какой восхитительный день! Не правда ли, есть некое предначертание в этой удивительной встрече? Мне кажется, что сама судьба решила нас соединить. Как радуюсь я при мысли, что увижу Вас в следующее воскресенье. Надеюсь, у Вас не будет больших неприятностей из-за того, что Вы не попали на обед к господину

Hof Musik Director'y. Мне было бы очень больно, если бы я стал причиной каких-либо недоразумений.

Остаюсь, дорогой господин Кристоф, Вашим преданным слугой и другом

Отто Динер.

P. S. Если Вам безразлично, лучше не заходите за мной в воскресенье. Надеюсь, Вы не станете возражать против того, чтобы встретиться в Шлоссгартене».

Кристоф читал письмо со слезами на глазах. Он поцеловал голубой листок, громко захохотал и перекувырнулся на постели. Потом бросился к столу, схватил перо и стал немедленно сочинять ответ. Он не мог ждать ни минуты. Но привычки к писанию писем у него не было, он не умел выражать те чувства, которые переполняли его сердце, перо прорывало бумагу, он перепачкал все пальцы в чернилах, топал ногами от нетерпения. Наконец, высунув кончик языка, испортив пять или шесть листов, он сумел выразить — огромными, уродливыми буквами, в строках, испещренных грубейшими орфографическими ошибками,— свои чувства:

«Душа моя! Как осмеливаешься ты говорить о какой-то благодарности, раз я тебя люблю! Разве не говорил я тебе, как одиноко и печально я жил до встречи с тобой? Дружба твоя — величайшее благо! Вчера я был счастлив, понимаешь, по-настоящему счастлив! Впервые в жизни! Читая твое письмо, я плакал от радости. Да, любимый друг, ты прав. Сама судьба свела нас; она хочет, чтобы мы стали друзьями, дабы свершить великие деяния. Друзья! Какое сладостное слово! Неужели у меня действительно есть наконец друг? О, ты не покинешь меня, не покинешь ведь? Скажи! Ты останешься мне верен навсегда! Навсегда!.. Как будет нам хорошо расти вместе, работать вместе, сочетая мои музыкальные бредни, все те странные мысли, что бродят у меня в голове, с твоим умом и с редкостными твоими знаниями! Ведь ты знаешь так много! Я никогда в жизни не видел такого умного человека, как ты! Только одно меня беспокоит временами: мне кажется, что я недостоин твоей дружбы. Ты так благороден и совершенен, и я ужасно благодарен тебе за то, что ты можешь любить такое неотесанное существо, как я! Но нет, я сам только что сказал, что между нами не может быть речи о благодарности. Дружба не знает ни благодетелей, ни благодетельствуемых. Я не приму никаких благодеяний! Мы равны, ибо мы любим

друг друга. Как мне не терпится тебя увидеть! Я не зайду к тебе — к вам домой,— раз ты этого не хочешь, хотя, откровенно говоря, не понимаю всех этих предосторожностей, но ты ведь умнее и, значит, ты прав...

И еще одно: никогда не говори о деньгах! Я ненавижу деньги и — слово «деньги», и самые деньги. Пусть я не богат, но у меня достанет средств угостить друга, и нет для меня большей радости, чем отдать ему все, что я имею. Разве ты не поступил бы так же? И если бы я нуждался, разве ты не отдал бы мне свое состояние? Но этого никогда не будет! У меня крепкие руки и хорошая голова, я сумею всегда заработать себе на хлеб. До воскресенья! Боже мой! Целую неделю не видеть тебя! А ведь еще два дня назад я тебя не знал. Как мог я жить так долго без тебя?

Наш дирижеришка окрысился было на меня, но не огорчайся — бери пример с меня. Что мне другие? Мне глубоко безразлично то, что думают и что будут думать обо мне. Только один ты мне важен. Люби меня крепко, друг мой, люби меня, как я тебя люблю! Не могу даже выразить, как я тебя люблю. Я твой, твой, целиком твой, от кончика ногтей до кончика волос. Вечно твой

Кристоф».

За неделю Кристоф чуть не извелся от ожидания. Куда бы он ни направлялся, он сворачивал с пути и делал огромный крюк, лишь бы пройти мимо дома Отто,— он даже не надеялся встретить своего друга, но при одном виде их дома он бледнел и краснел от волнения. В четверг он не выдержал и отправил второе послание, еще более восторженное, чем первое. Отто ответил весьма чувствительным письмом.

Наконец-то пришло воскресенье, и аккуратный Отто явился на свидание минута в минуту. Но Кристоф уже больше часа поджидал его на бульваре, сгорая от нетерпения. Он упрекал себя, что проглядел Отто. Боялся, что Отто заболел, ибо ни на минуту не допускал мысли, что его друг не сдержит слово. Он твердил про себя: «Господи, сделай, чтобы он пришел!» И палочкой подгонял камешки, валявшиеся на песке, решив, что, если он трижды промахнется, Отто не придет, а если ударит точно, то Отто тут же появится. И несмотря на то, что испытание Кристоф поставил себе весьма несложное и за выполнение задачи взялся со всем пылом, он трижды промахнулся и как раз после третьего неудачного удара увидел Отто, который направлялся к нему своей спокойной, размеренной походочкой, ибо Отто никогда не нарушал приличий, даже тогда, когда был

чем-нибудь взволнован. Кристоф бросился к нему навстречу и пробормотал вдруг пересохшими губами:

— Добрый день.

Отто ответил:

— Добрый день.

Больше они не знали, что сказать; впрочем, поговорили о погоде, о том, что сейчас пять или шесть минут одиннадцатого, а может быть, и десять часов, так как часы на башне вечно отстают.

Друзья отправились на вокзал и по железной дороге добрались до ближайшей станции, куда обычно ездили на воскресные прогулки горожане. Во время пути оба с трудом выдавили из себя десяток слов. Неловкое молчание они старались возместить красноречивыми взглядами, но с тем же малым успехом. Напрасно надеялись они выразить взорами всю глубину своей дружбы — глаза ровно ничего не выражали, оба поняли, что играют комедию. Кристоф почувствовал себя униженным. Он не понимал, почему не может не только выразить словами, но даже вновь ощутить те чувства, что еще час назад переполняли его сердце. Может быть, Отто не так ясно отдавал себе отчет в этой незадаче, потому что был менее искренен и заглядывал себе в душу лишь весьма почтительно, но и он тоже в конце концов почувствовал разочарование. А дело заключалось в том, что за семь дней разлуки мальчики довели свои чувства до такого накала, что теперь немыслимо удержаться на этом уровне, и при встрече первым ощущением явилось разочарование; надо было снизить тон, но оба не желали этого.

Целый день мальчики пробродили по лугам, однако им так и не удалось избавиться от давящего чувства уныния и неловкости. День был праздничный. Все харчевни и рощицы заполнили гуляющие — добропорядочные буржуа со своими чадами и домочадцами,— все это шумело и закусывало под каждым кустом. Настроение мальчиков от этого не улучшилось: оба считали, что именно из-за этих людишек они не могут обрести великолепной легкости прошлой прогулки. Тем не менее они разговаривали, но с каким трудом подыскивали темы для беседы, и каждый боялся, как бы другой не заметил, что, в сущности, говорить-то не о чем! Отто делился с приятелем школьной премудростью. Кристоф пустился в длиннейшие объяснения насчет техники скрипичной игры и музыки вообще. Они навели друг на друга смертельную тоску. И все-таки они говорили, боясь замолчать, ибо в минуту молчания открывалась бездна, откуда веяло холодом, леденившим обоих. Отто хотелось плакать, а

Кристоф еле удерживался от желания бросить товарища и убежать куда глаза глядят — так ему было стыдно и скучно.

Только за час до возвращения домой мальчики немного повеселели. Где-то в самой чаще леса залаяла собака; она, очевидно, по собственному почину гнала зайца. Кристоф предложил спрятаться поблизости, чтобы увидеть зайца, которого подняла собака. Мальчики бросились в кусты. Собачий лай то удалялся, то приближался. Кристоф и Отто, следуя за ним, сворачивали то направо, то налево, то пробирались вперед, то возвращались обратно. Вдруг лай стал громче; пес надрывался от нетерпения, предвкушая кровавый пир, и, наконец, выскочил прямо на друзей. Кристоф и Отто, лежа на сухих листьях в колее близ тропинки, ждали, затаив дыхание. Вдруг лай замолк; собака, видимо, потеряв след, тявкнула еще раз уже вдали. Все стихло. Воцарившуюся тишину нарушало лишь таинственное кишение миллиардов существ — насекомых и червей, которые без устали подтачивали и губили лес,— размеренный, безостановочный шорох смерти. Мальчики вслушивались, не смея шелохнуться. И как раз в ту минуту, когда оба поднялись со вздохом: «Ясно, теперь уж он не появится»,— из чащи выскочил зайчишка; он бежал прямо на мальчиков — они увидели его одновременно и испустили торжествующий вопль. Зайчик подпрыгнул на месте, затем одним скачком перемахнул через дорожку; они увидели, как он поскакал в кусты, подымая выше головы тяжелый зад; задетая его бегом листва коротко прошуршала и улеглась, словно рябь на поверхности воды. И хотя друзья сожалели о своем крике, это приключение развеселило их. Они смеялись до упаду, вспоминая испуганные скачки косого, и Кристоф смешно изобразил убегающего зайца. Отто тоже изобразил зайца. Потом Кристоф — уже в роли собаки — погнался за зайцем Отто. Они неслись по лесу и лугу, с ходу продираясь сквозь живые изгороди и перепрыгивая через рвы. Какой-то крестьянин чертыхнулся им вслед, так как они выскочили на поле, засеянное ячменем, но мальчики даже не оглянулись. Кристоф подражал хриплому лаю пса с таким мастерством, что Отто хохотал до слез. Под конец они скатились вниз по крутому склону холма, испуская сумасшедшие крики. Совсем задохшись, они не могли произнести ни слова, уселись и поглядели друг на друга смеющимися глазами. Теперь мальчики были по-настоящему счастливы и довольны. Они уже не пытались разыгрывать из себя гомеровских друзей; они были по-настоящему тем, чем были: двумя детьми.

Обратно они возвращались под руку, громко распевая какие-то бессмысленные песенки. Однако, не доходя до станции,

они почему-то возобновили прежнюю игру — и вот на коре дуба, стоявшего на самой опушке, появились два хитро переплетенных вензеля. Но в вагоне веселье взяло верх над чувствительностью, и, случайно встретившись глазами, они начинали громко хохотать. При расставании они искренне старались уверить друг друга, что провели kolossal entzückend — «колоссально восхитительный» день,— а разойдясь по домам, окончательно уверились в этом.

И снова мальчики взялись возводить здание своей дружбы с изобретательностью и терпением пчел; из двух-трех обрывков весьма прозаических воспоминаний каждому удавалось создавать чудесный образ друга и дружбы. Целую неделю они идеализировали один другого, а затем наступала воскресная встреча, и, как ни велик был разрыв между действительностью и фантазией, они привыкли не замечать этого.

Они гордились своей дружбой. Даже разность характеров сближала их. Кристоф не знал никого прекраснее Отто. Все восхищало его в друге — тонкие руки, красивые волосы, свежий цвет лица, сдержанная речь, вежливые манеры и тщательная забота о своей внешности. А Отто покоряла неукротимая сила и независимый нрав Кристофа. Отто вырос в среде, где столетиями питали чисто религиозное благоговение перед любыми авторитетами, и теперь с чувством наслаждения, к которому примешивался страх, дружил с мальчиком, не имевшим от природы ни малейшего уважения к установленным правилам. С легкой, почти сладостной дрожью ужаса слушал Отто, как Кристоф ниспровергает все авторитеты в их городе и дерзко передразнивает даже самого герцога. Кристоф подметил, какое завораживающее действие оказывают на Отто его речи, и старался намеренно поразить друга: перед Отто был опасный революционер, подкапывавшийся под самые основы и законы государства. Отто слушал, ликуя и возмущаясь, пытался даже вторить другу, но, прежде чем произнести крамольное слово, долго оглядывался по сторонам, боясь, что его услышат.

Всякий раз, когда во время воскресной прогулки Кристоф замечал огороженное поле или надпись на воротах, запрещающую вход посторонним, он непременно перепрыгивал через забор или, взобравшись на стену, рвал фрукты в чужих садах. Отто в страхе молил бога, чтобы их не поймали. Но эти набеги были для него источником самых утонченных наслаждений, и вечером, уже возвратясь домой, он с уважением думал о себе

как о настоящем герое. Он восхищался Кристофом и в то же время немножко побаивался его. По врожденной склонности к послушанию он легко находил удовлетворение в дружбе, требовавшей подчинения воле другого. Кристоф сам, не затрудняя Отто, принимал все решения: он предписывал распорядок дня, предписывал даже распорядок жизни, строил насчет будущего Отто, как и своего собственного, различные планы, не подлежащие обсуждению. Отто соглашался, хотя иногда его слегка коробила бесцеремонность, с какой Кристоф распоряжался его капиталами, решив выстроить со временем театр по своему замыслу. Возражать Отто не смел, робея перед повелительным тоном друга, и верил, что деньги, накопленные Commerzienrath'ом [1] Оскаром Динером, не могут найти себе лучшего применения. Ни на одну минуту Кристоф не подозревал, что совершает насилие над волей друга. Он был прирожденный деспот и даже не мог представить, что у Отто могли быть иные желания, чем у него самого. Если бы Отто высказал желание, противоположное желаниям Кристофа, Кристоф, не колеблясь, поступился бы своими личными вкусами. Он пожертвовал бы ради Отто всем на свете. Он жаждал, чтобы представился наконец случай испытать силу его дружбы. Во время прогулок он ждал какой-нибудь опасной встречи, чтобы броситься вперед и прикрыть собой Отто. Он с наслаждением принял бы смерть ради друга. Но подходящих случаев не представлялось, и Кристоф мог только опекать своего Отто и тревожиться о нем: подавал ему, как девочке, руку на плохой дороге, боялся, как бы Отто не устал, боялся, как бы Отто не было слишком жарко, боялся, как бы Отто не замерз; когда они садились отдохнуть под деревом, Кристоф накидывал свой пиджак на плечи Отто; когда они предпринимали длинные прогулки, Кристоф тащил пальто Отто,— он охотно понес бы и самого Отто. Он не сводил с Отто глаз, точно влюбленный. И, по правде говоря, он и был влюбленный.

Кристоф не мог знать этого, так как не знал, что такое любовь. Но временами, когда мальчики оставались одни, Кристофа охватывало странное волнение — как в их первую встречу в сосновом лесу: кровь приливала к щекам Кристофа, он густо краснел. Он боялся. Не сговариваясь, инстинктивно, мальчики сторонились друг друга: один убегал вперед, второй оставался на дороге, замедлял шаг, задерживался; оба притворялись, что ищут спелые ягоды ежевики, и оба не понимали, что их так волнует.

---

[1] Коммерции советником *(нем.)*.

Но зато они давали волю своим чувствам в письмах. Тут уж ничто не стесняло, не вспугивало этих чувств, и мальчики могли свободно предаваться своим иллюзиям. Они писали теперь друг другу три или четыре раза на неделе страстные и лирические послания. Они почти не касались обыденной жизни. Они обсуждали только важные проблемы, и только в самом возвышенном тоне, легко переходя от самых светлых восторгов к самой мрачной безнадежности. Они писали: «мое благо, моя надежда, мой любимый, мое второе «я». Они употребляли слово «душа» во всех падежах и со всеми предлогами. В самых черных красках живописали они горький свой удел и упрекали себя за то, что омрачают жизнь друга, соединив с его судьбой свою печальную судьбину.

«Я сержусь на тебя, любовь моя,— писал Кристоф,— сержусь за то зло, которое я же тебе причинил. Я не могу выносить твоих страданий, их не должно быть, *я не желаю их* (эти слова он подчеркнул такой жирной чертой, что бумага в нескольких местах прорвалась). Если ты страдаешь, где я найду силы, чтобы жить! Мое единственное счастье — это ты. О, будь же счастлив! С какой радостью я приму на себя любое горе! Думай обо мне. Люби меня! Мне так необходимо, чтобы кто-нибудь меня любил! От твоей любви исходит то тепло, которое возвращает мне жизнь. Если бы ты знал, как мне холодно без тебя! Кругом зима, и сердце мое леденит злой ветер. Обнимаю твою душу».

«Моя мысль целует твою»,— писал в ответ Отто.

«Я беру обеими руками твою голову,— не унимался Кристоф,— и то, чего никогда не делали и не сделают мои губы, делаю я сам, всем своим существом,— целую тебя, как люблю. Измерь же силу моей любви!»

Отто притворялся недоверчивым:

«Любишь ли ты меня, как я тебя люблю?»

«О, боже! — восклицал в ответном письме Кристоф.— Не так, а в десять, в сто, в тысячу раз сильнее! Да что там, разве ты сам этого не чувствуешь? Что я должен сделать, чтобы тронуть твое сердце?»

«О, как прекрасна наша дружба,— вздыхал в ответ Отто.— Знает ли история подобные примеры? Она сладостна и свежа, как мечта. Хоть бы она никогда не кончилась. А вдруг ты разлюбишь меня?»

«Как ты глуп, мой любимый,— строчил Кристоф.— Прости, но твой малодушный страх возмущает меня. Как можешь ты спрашивать, перестану ли я тебя когда-нибудь любить? Жить для меня — это значит любить тебя. Сама смерть бессильна против моей любви. Даже ты сам, при всем своем желании, не мог бы разрушить ее. Если ты мне изменишь, если ты растопчешь мое сердце, я умру, благословляя любовь, которую ты мне внушил. Так перестань же раз навсегда сомневаться и не огорчай меня твоей трусливой болтовней».

Но через неделю Кристоф писал Отто:

«Вот уже целых три дня я не имею от тебя ни слова. Я трепещу: уж не забыл ли ты меня? Кровь стынет в жилах при этой мысли... Да! Сомнений быть не может... Уже в прошлый раз я заметил твою холодность в отношении ко мне. Ты не любишь меня более! Ты решил меня покинуть! Так слушай же! Если ты забудешь меня, изменишь мне, я убью тебя, как собаку».

«Ты оскорбляешь меня, мое дорогое сердечко,— жалостливо возражал Отто.— Ты исторгаешь у меня слезы, ибо я не заслужил твоих упреков, но ты можешь позволить себе все. Ты приобрел надо мной такие права, что если ты даже разобьешь мое сердце, то, пока от него останется хоть тень, хоть отблеск,— оно будет жить вечно, дабы любить тебя!»

«Силы небесные! — восклицал на бумаге Кристоф.— Я заставил плакать своего друга! Проклинай меня, бей меня! Топчи меня ногами! Я — подлец! Я не заслуживаю более твоей любви!»

У них были десятки способов надписывать адрес, наклеивать марку вверх ногами, косо, на уголке конверта, снизу, с правой стороны, чтобы сразу отличать свои письма от тех, которые пишут непосвященным. Эти мальчишеские секреты приобретали для них все очарование сладчайшей тайны любви.

В один прекрасный день, возвращаясь с урока, Кристоф заметил в переулке Отто, который шел с каким-то мальчиком его лет. Оба смеялись и дружески болтали. Кристоф побледнел и молча следил за ними взглядом, пока те не скрылись за углом. Мальчики не заметили Кристофа. Он повернулся и побрел домой. Ему показалось, что туча закрыла на минуту солнце. Все кругом омрачилось.

Когда Кристоф и Отто встретились в следующее воскресенье, Кристоф сначала ни о чем не спросил. Но через полчаса он сказал дрожащим голосом:

— А я тебя в среду видел.
— Вот как! — ответил Отто.
И покраснел.
Кристоф продолжал:
— Ты с кем-то шел по Крейцгассе.
— Да,— подтвердил Отто,— с одним мальчиком.
Кристоф судорожно проглотил слюну и спросил вымученно равнодушным тоном:
— А кто этот мальчик?
— Мой двоюродный брат, Франц.
— Вот как! — буркнул Кристоф.
И через минуту снова начал:
— Ты мне о нем никогда не говорил.
— Он живет в Рейнбахе.
— А часто вы видитесь?
— Франц иногда к нам приезжает.
— Ты тоже к ним ездишь?
— Тоже иногда езжу.
— Вот как! — повторил Кристоф.
Отто, который не прочь был переменить тему разговора, указал Кристофу на птичку, хлопотливо стучавшую клювом по стволу. Они заговорили о другом. Но минут через десять Кристоф без всякого перехода вдруг задал вопрос:
— А ты с ним дружишь?
— С кем? — спросил Отто.
(Он отлично знал с кем.)
— С твоим двоюродным братом.
— Да. А почему ты спрашиваешь?
— Ни почему.
Отто не особенно долюбливал своего кузена, который доводил его чуть не до слез своими злыми шуточками. Но, повинуясь какому-то странному коварному чувству, Отто добавил, помолчав немного:
— Он очень хороший.
— Кто? — спросил Кристоф.
(Он отлично знал кто.)
— Франц.
Отто ждал немедленного ответа, но Кристоф, казалось, даже не слышал его слов. Он с преувеличенным вниманием строгал ореховую палочку. Отто расхрабрился:
— Франц очень веселый. Он знает множество разных историй.
Кристоф пренебрежительно свистнул.

А Отто уже не мог остановиться:

— И такой умный... Воспитанный...

Кристоф пожал плечами, но его жест как бы говорил: мне-то какое дело до этого субъекта?

И так как Отто, уязвленный пренебрежением друга, начал было снова перечислять достоинства Франца, Кристоф резко оборвал его речи и предложил наперегонки добежать до дерева.

Вплоть до вечера мальчики не заговаривали о Франце; но в глубине души между ними шла молчаливая борьба, которая на поверхности оборачивалась преувеличенной вежливостью — такой необычной в их отношениях, особенно у Кристофа. Слова застревали у него в горле. Наконец он не выдержал и, круто повернувшись к Отто, который плелся сзади, остановился, схватил его в порыве гнева за обе руки и выпалил одним духом:

— Послушай, Отто! Я не желаю, чтоб ты дружил с Францем, потому что... потому что ты мой друг; и я не желаю, чтобы ты любил кого-нибудь больше меня! Не желаю! Ведь ты для меня все на свете. Ты не смеешь... ты не должен... Если я лишусь тебя, я умру. Я бог знает что могу натворить. Я покончу с собой.— И слезы брызнули у него из глаз.

Отто, взволнованный и напуганный искренностью этого горя, чреватого угрозами, начал поспешно клясться, что он не любит и никогда не полюбит никого сильнее Кристофа, что на Франца ему плевать, что, если Кристоф не хочет, он не будет больше видеться с Францем. Кристоф упивался словами Отто. Он воскрес душой и громко хохотал; жадно вдыхая свежий воздух, он горячо благодарил Отто. Он стыдился сцены, которую только что устроил другу, и все-таки у него точно гора с плеч свалилась. Мальчики смотрели друг другу в глаза, стоя лицом к лицу, держась за руки и не двигаясь с места; оба были слишком счастливы и слишком смущены. Они молча пошли домой и понемногу разговорились; утраченное веселье вернулось; никогда еще они не чувствовали себя такими близкими друг другу.

Но за этой сценой последовали другие. Отто почувствовал свою власть над Кристофом и нередко злоупотреблял ею; он нащупал уязвимое место друга и испытывал неудержимое желание растравлять его рану. Не то чтобы ему доставляли удовольствие гневные вспышки Кристофа, наоборот: он их пугался. Но, причиняя страдания Кристофу, он сам себе доказывал свою силу. Он не был злой — просто у него была девичья душа.

Итак, вопреки всем своим заверениям Отто стал появляться на улицах под руку то с Францем, то с каким-нибудь другим мальчиком; обычно оба страшно галдели, а Отто все время смеялся громким и деланным смехом. Когда Кристоф пенял ему на это, он хихикал и слушал наставления друга с преувеличенно рассеянным видом. Но когда глаза Кристофа темнели и губы начинали дрожать от гнева, испуганный Отто быстро снижал тон и клялся, что в следующий раз этого не будет. И на следующий же день все начиналось сызнова. Кристоф громил в своих посланиях неверного друга:

«Негодяй! Я имени твоего слышать не желаю! Я с тобой больше не знаком. Черт бы побрал тебя — тебя и всех твоих пащенков!»

Но от любого жалостного слова Отто, от цветка, который тот однажды прислал другу в качестве символа своей нерушимой верности, Кристоф корил себя и слал другу следующие строки:

«Ангел мой! Я совсем с ума сошел. Забудь мой идиотский поступок. Ведь ты лучший из людей. Да твой мизинец стоит больше, чем дурень Кристоф со всеми его потрохами. В твоей душе неистощимый кладезь нежности, тонкой и глубокой. Со слезами целую я присланный тобою цветок. Он здесь, у моего сердца. Я кулаком вгоняю его под кожу. И пусть брызнула бы кровь, дабы я сильнее ощутил твою редкостную доброту и мою собственную глупость и подлость».

Но мальчики начали приедаться друг другу. Неверно, что маленькие размолвки укрепляют дружбу. Кристоф сердился на Отто за те несправедливые поступки, которые совершал по вине того же Отто. Напрасно Кристоф старался образумиться, напрасно упрекал себя за свой деспотизм. Его увлекающаяся и честная натура, впервые проходившая через испытания любви, отдавалась ей вся целиком и требовала взамен того же. По мнению Кристофа, дружба была чем-то неделимым. Сам он готов был пожертвовать для друга всем и считал поэтому более чем законным, что и друг должен всем жертвовать ради него — жертвовать даже самим собою. Но он начинал понимать, что не все смертные созданы по его подобию, не все наделены таким цельным характером и требует он того, что получить немыслимо. Тогда Кристоф решил переломить себя. Обвинял он себя жестоко, называл эгоистом, который не имеет права посягать на

свободу друга, присваивать только себе всю его дружбу. И он совершенно искренне пытался дать полную свободу Отто, чего бы это ему ни стоило. Самоуничижения ради он уговаривал Отто не пренебрегать дружбой Франца и пробовал убедить себя, что ему совсем не больно видеть ветреного приятеля в обществе других мальчиков. Но когда хитренький Отто, которого не так-то легко было провести, встречался с товарищами, якобы повинуясь воле Кристофа, Кристоф дулся на него, и дело кончалось ссорой.

Строго говоря, Кристоф простил бы Отто то предпочтение, которое он оказывал другим своим приятелям. Но чего Кристоф простить не мог — так это лжи. Отто не был ни лицемерным, ни лживым, просто ему органически трудно было говорить правду, как трудно заике произнести, не запнувшись, фразу; он не то чтобы врал, но в то же время и не говорил всей правды — от застенчивости ли, а может, и от неуверенности в собственных своих чувствах он редко изъяснялся вполне откровенно, на вопросы отвечал уклончиво; а главное, по любому поводу разводил тайны и скрытничал, что выводило Кристофа из себя. Когда Отто уличали в каком-нибудь проступке или, вернее, в том, что, сообразно их общим представлениям о дружбе, являлось проступком, он не только не признавался чистосердечно, но, наоборот, упрямо опровергал очевидность и плел какую-то несуразицу. Однажды Кристоф, потеряв терпение, закатил другу пощечину. Он решил, что отныне дружбе конец, что Отто никогда не простит ему. Действительно, Отто дулся часа два, а потом первый заговорил с Кристофом, будто ничего не случилось. Он не только не таил злобы против Кристофа за его гневные выходки, но, возможно, находил в них удовольствие, своеобразную прелесть. Отто сердился на Кристофа за то, что тот верит всем его дурацким шуткам, и немножко презирал друга, считая себя выше его. А Кристоф, со своей стороны, не мог простить Отто, что он так безропотно принимает его грубые выходки.

Итак, они уже смотрели друг на друга иными глазами, чем на заре дружбы. Каждый видел недостатки другого в беспощадном свете охлаждения. Теперь Отто уже не восхищался независимыми взглядами Кристофа. Кристоф стал стеснительным спутником прогулок. Меньше всего он заботился о приличиях. Садясь на стул, Кристоф удобно раскидывался, снимал пиджак, расстегивал жилет и воротничок, засучивал рукава сорочки, нацеплял шляпу на кончик тросточки и не скрывал своего ликования, попав на свежий воздух. При ходьбе он размахивал руками, свистел, пел во весь голос; лицо у него становилось красное,

да и вообще он, потный и пыльный, напоминал крестьянского парня, возвращающегося с ярмарки. Аристократически настроенный Отто сгорел бы от стыда, если бы их встретили вместе. Когда Отто замечал на дороге карету, он нарочно отставал и делал вид, что прогуливается в одиночестве.

Не менее стеснительным спутником был Кристоф в харчевне или в вагоне на обратном пути домой, особенно когда он пускался в разговоры. Говорил он обычно громким голосом, высказывал вслух любую мысль, пришедшую ему в голову, обращался с Отто возмутительно фамильярно, не стесняясь в выражениях, сообщал свое мнение — и мнение весьма суровое — о самых почтенных персонах или даже о людях, сидящих на соседней скамейке; или вдруг начинал делиться довольно интимными подробностями о своем здоровье, о том, что делается у них дома. Напрасно Отто многозначительно вращал глазами, испуганно махал на него рукой. Кристоф притворялся, что ничего не замечает, и продолжал без стеснения свои разглагольствования, словно один сидел в вагоне. Отто видел насмешливые улыбочки пассажиров, он готов был сквозь землю провалиться. В такие минуты Кристоф казался ему грубияном; он теперь не понимал, чем мог привлечь его этот развязный, дурно воспитанный подросток.

Но самым крупным преступлением в глазах Отто было то, что Кристоф с прежней непринужденностью пренебрегал изгородями, заборами, запорами, всеми надписями, воспрещающими вход, всеми объявлениями, грозящими штрафом, любыми «Verbot'ами»,— словом, всем, что посягало, по понятиям Кристофа, на его свободу и ограждало от него священную собственность. Отто жил в постоянном страхе, но его сетования оставались втуне: Кристоф еще больше куражился.

В один прекрасный день, когда Кристоф, сопутствуемый Отто, с видом хозяина прогуливался по лесу, являвшемуся частной собственностью, куда он проник вопреки или, вернее, как раз из-за наличия стен, выложенных по гребню бутылочными осколками, через которые приходилось перелезать с немалым риском,— они наткнулись на сторожа. Сторож сначала их долго ругал, а потом долго грозил составить протокол и в конце концов с позором выставил прочь. Отто выдержал испытание без особого блеска: он вообразил, что их сейчас же потащат в тюрьму, и, плача, уверял, притом довольно глупо, что попал сюда по ошибке, что его завел в лес приятель, а он сам даже не знал, где находится. Когда же все окончилось благополучно, Отто накинулся на Кристофа с упреками и твердил, что он его компромети-

рует. Кристоф, испепелив друга взглядом, обозвал его трусом. Завязалась ссора. Отто с удовольствием бы вернулся домой, если бы только знал, куда идти, но без Кристофа он не нашел бы дороги и волей-неволей плелся за ним: однако мальчики упорно делали вид, что не замечают друг друга.

Надвигалась гроза. А они в гневе проглядели ее приближение. В сморенных жаром лугах трещали кузнечики. Вдруг все разом смолкло. Кристоф и Отто только через несколько минут заметили наступившую тишину, в ушах у них гудело. Они посмотрели вверх: небо мрачно нахмурилось; огромные, тяжелые тучи с мертвенно-тусклым оттенком заволакивали небосвод; они надвигались со всех сторон, будто пустившаяся вскачь кавалерия. Казалось, все тучи бегут к какой-то одной точке, к всасывающей их бездне. Отто от страха и тоски не смел жаловаться, а Кристоф, лукаво улыбаясь, делал вид, что не замечает испуга приятеля. И хотя оба по-прежнему молчали, но пошли теперь рядом. Они были одни среди полей. Тишина. Ни дуновения ветерка. Только временами нежная весенняя листва начинала трепетать, словно охваченная лихорадочной дрожью. Вдруг налетевший ветер поднял кучу пыли, начал яростно трепать верхушки деревьев, гнувшихся к земле. Затем снова воцарилась тишина, еще более гнетущая. Наконец Отто не выдержал и произнес дрожащим голосом:

— Сейчас гроза будет, пойдем домой.

— Пойдем,— согласился Кристоф.

Но было уже поздно. Внезапно вспыхнул ослепительный свет, в небе что-то зарычало, под черным сводом туч прокатился гром. В одну секунду мальчиков обволокло ураганным вихрем, их слепили молнии, оглушали громовые раскаты; хлынувший дождь в мгновение ока промочил их до нитки. А от пустынного поля до ближайшего жилья было не меньше получаса ходьбы. Кругом потоки воды, белесый свет, страшные красноватые вспышки молний. Надо бы бежать, но одежда прилипала к телу и мешала даже идти, ботинки хлюпали по лужам, струйки холодной воды стекали вдоль спины. Стало трудно дышать. Отто щелкал зубами и совсем обезумел от злости; он осыпал Кристофа самыми ужасными оскорблениями, уверял, что двигаться во время грозы опасно, клялся, что сейчас вот возьмет и сядет посреди дороги или возьмет и ляжет прямо на землю — тут же, на пашне. Кристоф не отвечал; он молча шел вперед, жмуря глаза от ветра и вспышек молнии, оглушенный всем этим грохотом, и на душе у него тоже было не совсем спокойно, хотя он всячески старался скрыть свой страх.

Вдруг все стихло. Гроза удалилась так же внезапно, как налетела. Но вид у друзей был совсем жалкий. Впрочем, во внешности Кристофа особых изменений не произошло, потому что и обычно вид у него был не слишком аккуратный. Но Отто — Отто, такой выхоленный, так заботившийся о своей внешности,— представлял жалкое зрелище: казалось, он искупался прямо в одежде, и когда Кристоф, обернувшись, увидел друга, он не смог удержаться и захохотал во все горло. Отто так ослаб духом и телом, что не имел силы даже огрызнуться. Кристоф сжалился и что-то весело сказал ему. Отто ответил свирепым взглядом. Кристоф повел его на ферму. Там они обсохли перед очагом и выпили подогретого вина. Кристоф находил, что путешествие получилось страшно интересное, и пытался представить их испуг в смешном виде. Но Отто считал иначе и всю дорогу хранил мрачное молчание. Так они и добрались до города — оба хмурые, надутые, и, прощаясь, даже не подали друг другу руки.

После этого приключения они не виделись целую неделю. Каждый самым суровым образом осуждал в душе другого. Но, наказав самих себя, лишившись воскресной прогулки, мальчики так истосковались, что вся их злоба утихла. Как и обычно, первый шаг к примирению сделал Кристоф. Отто милостиво снизошел, и друзья помирились.

Как бы ни ссорились мальчики, как бы ни осуждали один другого, они не могли обходиться друг без друга. У каждого имелось немало грехов, оба они были эгоисты. Но эгоизм их был так наивен, так далек от расчетливого эгоизма взрослых, так не сознавал себя как эгоизм, что казался почти приятным и не мешал нашим друзьям искренне любить друг друга. Слишком уж глубоко жила в них потребность любви и жертв! Отто, лежа в постели, сочинял романтические истории, где он, герой, проявлял чудеса дружеской верности, и плакал от умиления, уткнувшись в подушку; он измышлял самые трогательные приключения, из которых он, сильный, доблестный, отважный, неизменно выходил победителем и защищал Кристофа — обожаемого, как ему казалось, Кристофа. А Кристоф, увидев или услышав что-нибудь прекрасное или забавное, всякий раз думал: эх, жаль, Отто нет! Ни на один час образ друга не покидал его, и образ этот становился таким милым, что Кристоф забывал все хорошо известные ему слабости и недостатки Отто и впадал в состояние блаженного опьянения. Он припоминал ту или иную фразу Отто, приукрашивал ее в уме и приходил в запоздалое волнение. Мальчики во всем подражали друг другу. Так, Отто перенял манеры, жесты, даже почерк Кристофа, и Кристофа

подчас раздражало, что его друг, с покорностью тени, повторяет каждое его слово, преподносит его мысли как свое собственное открытие. Но Кристоф не замечал, что тоже копирует Отто, подражает его манере одеваться, ходить, произносить отдельные слова. Это был своего рода гипноз. Они прониклись чувствами и мыслями друг друга. Сердца обоих затопляла нежность и щедро изливалась, как неиссякаемый родник. Каждый воображал, что причиной тому — его друг. Они не знали, что это пробуждается юность.

Кристоф, который верил всем и каждому, вечно разбрасывал по дому свои бумаги. Однако из какой-то стыдливости он прятал черновики своих писем к Отто и его ответные послания, но стола не запирал — просто закладывал письма между страницами нотной тетради: кому придет в голову тут рыться! Он не учел пронырливости своих братьев.

Но вот Кристоф стал замечать, что братья при виде его вдруг начинают хихикать и шушукаться, они шепотом произносили длинную фразу, очевидно кого-то цитируя, и оба помирали со смеху. Кристоф не улавливал их слов; да, впрочем, по принятой в отношении мальчиков тактике, он с подчеркнутым равнодушием пропускал мимо ушей их речи и не замечал их суетни. Но раза два он все же насторожился: их слова смутно напомнили ему что-то. В скором времени он уже не сомневался, что братцы прочитали его письма. Когда Кристоф в упор спросил об этом Эрнста и Рудольфа, которые с недавних пор стали называть друг друга с шутовской серьезностью «душа моя», ему ничего не удалось от них добиться. Мальчики притворились, что не понимают, о чем идет речь, и объявили, что имеют полное право называть друг друга, как им угодно. А Кристоф, убедившись, что писем никто не трогал, не настаивал больше.

Через неделю он застал Эрнста на месте преступления. Дрянной мальчишка рылся в ящике комода, где Луиза хранила деньги. Кристоф довольно свирепо тряхнул брата и, воспользовавшись случаем, выложил все, что накипело у него на душе; не стесняясь в выражениях, он перечислил все проступки Эрнста, каковых набралось достаточно. Эрнст, возмутившись полученной нахлобучкой, дерзко ответил, что не Кристофу его учить, и прошелся насчет его дружбы с Отто. Сначала Кристоф растерялся, но, услышав, что к их ссоре приплетают имя Отто, он потребовал объяснения. Мальчишка сначала только хихикал, но, увидев, что Кристоф побледнел от гнева, струсил и замол-

чал. Кристоф понял, что таким путем ему ничего не добиться, поэтому он с убийственным презрением пожал плечами и молча присел к столу. Уязвленный Эрнст снова разошелся: стараясь как можно больнее оскорбить Кристофа, он наговорил целую кучу дерзостей — одна другой гаже. Кристоф сдерживался изо всех сил, чтобы не дать волю ярости, но вдруг он понял, к чему клонит Эрнст. Вся кровь бросилась ему в голову, он вскочил со стула. Эрнст даже крикнуть не успел. Кристоф сбил брата с ног, подмял его под себя и старался побольнее стукнуть его затылком об пол. На испуганные крики жертвы сбежался весь дом во главе с Мельхиором и Луизой. Когда их розняли, Эрнст был в довольно плачевном состоянии. Кристоф не желал выпустить свою добычу: пришлось отколотить его самого. «Прямо зверь!» — воскликнула Луиза, и действительно Кристоф озверел. Глаза его выкатились из орбит, он скрежетал зубами и упорно рвался к Эрнсту; когда у Кристофа стали допытываться, что произошло, он разъярился еще пуще и закричал, что все равно убьет брата. Эрнст тоже отказался объяснить причину ссоры.

Кристоф перестал есть и спать. Он дрожал, как в лихорадке, и ночами плакал в постели. Он страдал не только за Отто. Во всем его существе происходил перелом. Эрнст и не подозревал, какое зло причинил он старшему брату. Душа Кристофа была пуритански прямолинейна, она не принимала житейской грязи и, по необходимости обнаруживая грязь, сжималась от ужаса. В пятнадцать лет он оставался до смешного наивным, хотя вел свободную жизнь взрослого человека и наделен был от природы сильными страстями. Прирожденная чистота и изнурительный труд были ему надежной броней. И вдруг после ссоры с братом перед ним открылась бездна. Никогда бы он сам не додумался до таких мерзостей, и теперь, когда мысль о них проникла в его сознание, радость любить и быть любимым померкла. Не только его дружба с Отто была отравлена, но вообще всякая дружба.

Стало еще хуже, когда, услышав несколько язвительных намеков, он вообразил — и, быть может, вообразил зря,— что сделался объектом нездорового любопытства соседей; особенно же после замечания Мельхиора относительно их совместных прогулок с Отто. Мельхиор, вероятнее всего, не видел в дружбе мальчиков ничего худого, но предубежденному Кристофу всюду чудились намеки, и он счел себя виноватым. Нечто подобное переживал как раз в это время и Отто.

Мальчики попытались еще несколько раз увидеться тайком. Но прежняя непринужденность уже исчезла. Искренность отно-

шений была испорчена. Оба подростка, которые до тех пор любили друг друга с какой-то боязливой нежностью, которые ни разу не осмелились даже обменяться братским поцелуем и для которых не было выше счастья, как видеть друг друга, делиться мечтами и мыслями, почувствовали, что их дружбу бессовестно осквернили нечистыми подозрениями. Вскоре самый невинный жест, взгляд, пожатие руки начали казаться им чем-то дурным; они краснели, таили друг от друга нехорошие мысли. Встречи стали невыносимо тяжелыми.

Не сговариваясь, они начали видеться реже. Пытались было возобновить переписку, но теперь любое выражение чувств настораживало их. Они обменивались холодными и весьма глупыми посланиями. Наконец, они сдались. Переписка прекратилась сама собой. Кристоф ссылался на свою работу, Отто — на школьные занятия. В скором времени Отто уехал учиться в университет, и дружба, озарившая несколько недолгих месяцев их жизни, умерла.

Тогда-то новая любовь, простою провозвестницею которой была дружба с Отто, завладела Кристофом, и в сердце его поблекли все иные источники света.

МИННА

Месяцев за пять до описанных событий г-жа Иозефина фон Керих, недавно похоронившая своего мужа, государственного советника Стефана фон Кериха, оставила Берлин, где ее удерживали дела покойного супруга, и переехала на житье с дочкой на свою родину, в прирейнский городок. Здесь ей принадлежал старый дом, доставшийся от родных; дом стоял среди сада,— вернее, среди парка, полого спускавшегося к реке неподалеку от дома Крафтов. Из своей мансарды Кристоф видел свисающие над оградой тяжелые ветви старых деревьев, видел конек черепичной красной, замшелой, крыши. Справа, вдоль ограды парка, шла горбатая пустынная улочка, тоже сбегавшая к реке; если взобраться на тумбу, можно было поверх ограды увидеть весь сад. Кристоф никогда не отказывал себе в этом удовольствии. Он видел поросшие травой аллеи, полянки, похожие на некошеные луга, разросшиеся на свободе деревья, которые, теснясь в беспорядке, тянулись к солнцу, и белый фасад с вечно закрытыми ставнями. Раз или два в году приходил садовник, осматривал сад и проветривал дом. Но природа брала свое, парк продолжал разрастаться и дичать, и снова в парке воцарялись покой и тишина.

Эта тишина и привлекала Кристофа. Тайком от всех он устраивался на своем наблюдательном посту; он рос и постепенно перерастал стену; сначала из-за нее выглядывали одни только глазенки, потом появился нос и, наконец, вся мальчишеская физиономия. Вскоре пришел день, когда, приподнявшись на цыпочки, Кристоф мог уже положить локти на гребень ограды, и хотя стоять в этой позе было не очень удобно,

он простаивал на тумбе, опершись подбородком на сплетенные пальцы, и все глядел, слушал,— а вечер наплывал на лужайку нежно-золотистыми волнами, которые отливали синим отблеском на фоне темневших елей. Кристоф стоял так, забыв все на свете, пока на улочке не раздавались шаги прохожего. Ночью сад далеко слал свои ароматы: весной оттуда доносилось благоухание сирени, летом — акации, осенью пахло прелой сыростью опавшей листвы. Когда Кристоф возвращался из герцогского замка, как бы он ни уставал за день, он всякий раз останавливался у ворот, впивая сладостное дыхание сада; и как же не хотелось ему возвращаться в свою промозглую комнатушку... Сколько раз он играл — в ту далекую пору, когда его еще увлекали игры,— у входа в дом Керихов на небольшой площади, где между плитами пробивалась травка. По обе стороны ворот росли два огромных каштана; сам дедушка нередко приходил посидеть под ними, покурить трубочку, а дети швыряли друг в друга опавшими каштанами или раскладывали их аккуратными кучками.

Как-то утром, проходя по улице, Кристоф, по обыкновению, вскарабкался на тумбу. Мысли его были заняты чем-то посторонним. Он собрался было уже уходить, как вдруг ему почудилось что-то необычное. Кристоф взглянул на дом: окна были открыты, солнечный свет свободно врывался в комнаты, и хотя никого не было видно, старый дом, казалось, пробудился от долгой пятнадцатилетней спячки и теперь радуется своему пробуждению. И Кристоф, подавляя странное волнение, остался.

За обедом Мельхиор завел разговор о приезде г-жи Керих с дочерью, которые, по его словам, навезли с собой целую груду багажа,— эта тема занимала все умы квартала. Площадь перед домом заполонили зеваки, которым непременно хотелось присутствовать при выгрузке вещей из экипажа. Кристоф, крайне заинтересованный этой новостью, которая в его тусклом существовании была немаловажным событием, вспомнил, идя на урок, рассказы отца, по обыкновению все преувеличивавшего, и постарался представить себе хозяек сказочного дома. Днем Кристоф, занятый по горло, забыл и думать о доме; но вечером, возвращаясь обратно, он вдруг припомнил утренний разговор и, повинуясь острому любопытству, взобрался, по обыкновению, на тумбу, чтобы хоть одним глазом заглянуть в сад. Кроме мирных аллей, кроме деревьев, недвижно дремавших в закатных лучах, он ничего не обнаружил. Через несколько минут мальчик уже не помнил, что именно привлекло

его сюда, и, по обыкновению, замечтался, наслаждаясь тишиной. Нигде так не мечталось ему, как здесь, когда он, с трудом сохраняя равновесие, стоял на тумбе у ограды. Рядом с уродливой, тесной, душной улочкой этот позлащенный солнцем сад был полон волшебных чар. Мысль Кристофа вольно уносилась в эти ясные, как гармония, просторы, и сами собой возникали мелодии; Кристоф погружался в сладкий полусон, забывал время, самую жизнь, стараясь уловить все шепоты своего сердца.

Так, открыв глаза и рот, мечтал он и сейчас, не зная сам, о чем мечтает, ибо ничего не видел. Вдруг его что-то словно кольнуло. Прямо против него на повороте аллеи появились две женские фигуры, и он почувствовал устремленный на себя взгляд. Чуть впереди шла молодая женщина в трауре, с тонкими, неправильными чертами лица, с пепельно-белокурыми волосами, высокая, элегантная, с небрежно-красивой посадкой головы; она смотрела на Кристофа ласково и насмешливо, а чуть позади виднелась фигурка девочки лет пятнадцати, тоже в глубоком трауре; ее личико выражало единственное желание — сдержать внезапный приступ смеха; зажимая обеими ладошками рот, она пряталась за спину матери, а та, не оборачиваясь, досадливо махала ей рукой, и чувствовалось, что девочке стоит больших усилий не расхохотаться во весь голос. Лицо у нее было свежее, бело-розовое и круглое, носик чуть-чуть толстоват, ротик тоже, подбородок пухленький, тонкие брови, светлые глаза и роскошные белокурые волосы, заплетенные в две косы и уложенные вокруг головы, круглая и крепкая шейка; гладкий и белый лоб — настоящая кранаховская девушка.

При появлении дам Кристоф остолбенел. Ему бы бежать, а он стоял, как пригвожденный, на своей тумбе, широко открыв рот, и только когда дама направилась в его сторону, все так же мило и насмешливо улыбаясь, он вышел из оцепенения и спрыгнул, вернее, рухнул на тротуар, а со стены посыпались увлеченные его падением куски известки. Он услыхал, как ласковый голос окликнул его: «Мальчик»,— и вслед за этим взрыв ребячьего смеха, такого ясного и мелодичного, будто пение птички. Прыгая с тумбы, Кристоф упал на четвереньки и, оглушенный падением, постоял так с секунду, потом вскочил и пустился со всех ног, как будто за ним гнались. Его мучил стыд; даже когда он остался один в своей комнатушке, приступы острого стыда еще долго находили на него. С этого дня он стал избегать любимой улочки из какого-то нелепого

страха, словно там за стеной кто-то выслеживает его. И когда случайно ему приходилось сворачивать на знакомую улочку, он шел, держась как можно ближе к ограде, не подымал головы, чуть не бежал бегом, не смея оглянуться. И, однако, он не переставал думать о двух незнакомках, которых он видел тогда; не раз забирался он на чердак и, сняв башмаки, чтобы случайно не затопать, часами глядел в слуховое окошко на дом и сад Керихов, хотя прекрасно знал, что отсюда видны лишь пышные кроны деревьев да труба на крыше.

Примерно месяц спустя он выступал на вечере в Hof Musik Verein'е — вечера эти устраивались еженедельно — с концертом собственного сочинения для фортепиано и оркестра. Он уже доигрывал последнюю часть, как вдруг увидел прямо перед собой в ложе г-жу Керих с дочерью; обе пристально смотрели на него. Меньше всего на свете Кристоф ждал их появления здесь, в концертном зале, и смешался так, что чуть было не пропустил очередное вступление. Конец вещи он играл, как автомат. После концерта он заметил (хоть и старался не смотреть в сторону ложи), что дамы Керих аплодируют, и аплодируют, явно желая привлечь его внимание. Кристоф поспешил скрыться за кулисы. Выходя из театра, он чуть не наткнулся в коридоре на г-жу Керих; она, видимо, поджидала юного музыканта, но их разделила толпа. Невозможно было не увидеть ее, и, однако же, Кристоф притворился, что не видит, круто повернулся и ускользнул из театра через служебный выход. Потом он горько корил себя за глупое бегство: ведь совершенно очевидно, что г-жа Керих ему не враг, и все-таки он знал, что, повторись эта сцена, повторилось бы и бегство. А как он боялся встретиться с ней случайно на улице! Заметив издали женскую фигуру, напоминавшую г-жу Керих, он быстро сворачивал в переулок.

Она сама первая напомнила о себе Кристофу.

Однажды утром Луиза, сияя от гордости, сообщила за столом, что к ним приходил лакей в ливрее с письмом, адресованным Кристофу, и вручила сыну длинный конверт с черной траурной каймой, в углу которого был вытеснен герб Керихов. Кристоф вскрыл письмо и, дрожа от волнения, прочел следующие строки:

«Госпожа Иозефина фон Керих просит господина придворного музыканта Кристофа Крафта пожаловать к ней на чашку чая сегодня в пять тридцать».

— Не пойду,— заявил Кристоф.

— Как не пойдешь! — воскликнула Луиза.— А я сказала, что ты будешь.

Кристоф устроил матери бурную сцену: он упрекал ее за то, что она вмешивается в дела, которые ее не касаются.

— Лакей ждал ответа. Я ему уже сказала, что сегодня ты свободен. Ведь в пять часов у тебя уроков нет.

И как ни кипятился Кристоф, как ни клялся, что никуда не пойдет, все пути отступления были отрезаны. Когда подоспело время визита, он, ворча, стал одеваться; в глубине души он не так уж сетовал на то, что его нежеланию пришлось отступить перед всемогуществом случая.

Тогда, в театре, г-жа Керих без особого труда узнала в музыканте, исполнявшем концерт собственного сочинения, того всклокоченного мальчугана, который с дикарским любопытством заглядывал к ним через ограду в день ее приезда. Она расспросила соседей, и то, что она узнала о семье Крафтов, о трудной и достойной жизни Кристофа, пробудило в ней интерес к мальчику и желание побеседовать с ним.

Кристоф, нелепо напыщенный, в новом длиннополом сюртуке, чем-то похожий на деревенского пастора, позвонил у дверей Керихов, жестоко страдая от застенчивости. Он старался уверить себя, что мать и дочь не успели его хорошенько разглядеть в тот злополучный день. Он шел за лакеем по длинному коридору; толстый ковер заглушал шум его шагов. Его ввели в гостиную, стеклянная дверь которой выходила в сад. С утра накрапывал мелкий холодный дождик, и в камине весело пылал огонь. Возле окна, за которым мокли деревья, окутанные туманом, сидели обе хозяйки; г-жа Керих при появлении Кристофа положила на колени вязание, а ее дочь — книгу. Кристоф заметил, что обе обменялись лукавым взглядом. «Узнали»,— подумал он, смутившись, и сделал неуклюжий поклон, вложив в него все свое умение.

Госпожа Керих весело улыбнулась и протянула Кристофу руку.

— Здравствуйте, дорогой сосед,— произнесла она.— Очень рада вас видеть. Мне так хотелось сказать вам, какое вы тогда, на концерте, доставили нам удовольствие. А так как иного средства сказать вам об этом у меня не было, я и пригласила вас к себе. Надеюсь, вы на меня за это не посетуете.

В банально любезных словах было, однако, столько сердечного чувства, чуть приправленного иронией, что Кристоф воспрянул духом.

«Не узнали»,— подумал он, облегченно вздохнув.

«Жан-Кристоф». Книга вторая.

Госпожа Керих указала на дочь, которая, захлопнув книгу, с любопытством глядела на гостя.

— Моя дочка, Минна, тоже очень хотела вас видеть,— сказала она.

— Но, мама,— возразила девочка,— мы ведь видимся не в первый раз.

И она расхохоталась.

«Узнали»,— подумал в отчаянии Кристоф.

— Правда, не впервые,— подтвердила г-жа Керих со смехом,— в день нашего приезда вы уже нанесли нам визит.

При этих словах девочка засмеялась еще громче. Но у Кристофа сразу стал такой несчастный вид, что, вскинув на него глаза, Минна просто зашлась от смеха. Хохотала она, как безумная,— до слез. Мать хотела было ее остановить, но сама не могла удержаться от смеха, и Кристоф, как ни был он смущен, невольно начал вторить им. Смеялись дамы Керих так искренне, так безудержно, что нельзя было на них обидеться. Однако Кристоф окончательно растерялся, когда Минна между двумя взрывами хохота спросила его, что он делал на их заборе. Девочка, видимо, забавлялась его смущением, а он растерянно бормотал что-то невнятное. Наконец г-жа Керих пришла к нему на помощь и переменила разговор, приказав подать чай.

Она дружески расспрашивала Кристофа о его жизни. Но он никак не мог прийти в себя. Он не знал, как сесть, как держать чашку, которая грозила опрокинуться; всякий раз, когда ему предлагали чаю, молока, сахару или печенья, он считал необходимым вскакивать со стула и с поклоном благодарить хозяйку; и стоял — прямой, затянутый в свой новый сюртук, не смея повернуть шею, скованную, словно броней, галстуком и воротничком, не рискуя оглянуться ни вправо, ни влево, ошеломленный градом настойчивых вопросов г-жи Керих и непринужденностью ее манер, леденея под взглядами Минны, которые подмечали все — и его лицо, и его руки, и каждое его движение, и костюм, и каждый жест. И чем больше хозяйки старались приручить Кристофа, тем больше смущали его,— г-жа Керих неудержимым потоком слов, а Минна кокетливыми взглядами, которые она бросала на гостя просто так, для развлечения.

Наконец хозяйки отказались от попытки заставить Кристофа разговориться: он только кланялся и произносил «да» и «нет»; г-жа Керих, на долю которой выпала вся тяжесть светской беседы, утомилась и попросила Кристофа сыграть.

Кристоф, куда более смущенный, чем на концерте, при многочисленной публике, сыграл адажио Моцарта. Но смущение, даже смятение, которое он испытывал в присутствии двух этих женщин, молодой, наивный трепет, наполнявший его грудь волной тревоги и счастья, так полно сочетались с нежной, юношеской чистотой моцартовского адажио, что под его пальцами оно зазвучало с особой прелестью — прелестью весны. Г-жа Керих была растрогана и высказала это Кристофу в несколько преувеличенно лестных выражениях, столь обычных в устах светских людей; и тем не менее она была искренна, к тому же из любезных уст приятно слушать похвалу, пусть даже неумеренную. Лукавая Минна молчала и удивленно поглядывала на мальчика, такого ненаходчивого во время разговора и такого красноречивого за роялем. Кристоф почувствовал симпатию хозяек и расхрабрился. Он снова начал играть, потом, полуобернувшись к Минне, робко сказал, смущенно улыбаясь и не подымая глаз:

— Вот что я тогда делал на вашей ограде.

Кристоф сыграл небольшую вещицу, навеянную — тут он не солгал — любимым садом, на который он не мог наглядеться со своей тумбы, но написанную, по правде говоря, много раньше, а вовсе не в тот вечер, когда он увидел дам Керих; однако он сам старался убедить себя в обратном,— зачем, из каких неясных побуждений — это было известно лишь его сердцу. В спокойном, убаюкивающем ритме andante con moto звучало безмятежное пение птиц, шорохи летних полей, величественный шелест деревьев-великанов в мирных лучах заката.

Обе слушательницы пришли в восхищение. Когда Кристоф кончил играть, г-жа Керих поднялась с места, с обычной своей живостью подошла к музыканту, схватила обе его руки и горячо поблагодарила. Минна весело захлопала в ладоши и заявила, что это «просто восхитительно»; а так как ей очень хочется, чтобы он написал еще такие же «изумительные» произведения, она велит приставить к ограде лестницу,— пусть Кристоф работает, когда ему угодно. Г-жа Керих сказала Кристофу, чтобы он не слушал эту безумицу Минну: но, в свою очередь, пригласила его в любое время дня приходить к ним, раз ему так нравится в саду, и добавила, что вовсе не обязательно заглядывать в дом, если ему этого не хочется.

— Конечно, можете не заходить к нам,— сочла необходимым добавить Минна.— Только если вы не придете, смотрите, берегитесь!

И сердито погрозила пальчиком.

Вовсе Минне не так уж сильно хотелось, чтобы Кристоф ходил к ним в гости, даже не хотелось заставить его подчиняться приличиям, но приятно было сознавать, что она производит на гостя впечатление, и впечатление, как подсказывал ей инстинкт, самое хорошее.

Кристоф покраснел от удовольствия. Г-жа Керих окончательно приручила его — с таким тактом расспрашивала она мальчика о Луизе и дедушке, которых знала еще по прежним своим приездам в их город. Милая сердечность обеих дам Керих возымела желанное действие: Кристоф был даже склонен преувеличивать эту их привычную благожелательность, так хотелось ему верить в глубину этих чувств. С наивным доверием рассказывал он теперь о своих планах, о своих горестях. Он не заметил, как прошло время, и в изумлении вскочил с места, когда лакей доложил, что кушать подано. Но смущение его тотчас сменилось восторгом: г-жа Керих попросила его отобедать вместе с ними,— они ведь, сказала она, уже добрые друзья. Кристофа усадили между матерью и Минной; за столом он проявил куда меньше блеска, чем за роялем. Надо сказать, что этой стороной воспитания в семье Крафтов пренебрегали; Кристоф искренне считал, что главное за столом есть и пить, а как — это уж второстепенное дело, но чистюля Минна возмущенно поглядывала на гостя.

Хозяйки, очевидно, надеялись, что после обеда Кристоф откланяется, но он поплелся за дамами в гостиную, удобно уселся в кресло и, как видно, отнюдь не собирался уходить. Минна зевала в ладошку и умоляюще поглядывала на мать. Но Кристоф ничего не видел — он был опьянен счастьем и полагал, что и остальные испытывают то же самое. Отчасти виновна была в этом и сама Минна, которая, посматривая на Кристофа, по привычке строила глазки, а кроме того, заняв сидячее положение, Кристоф уже не знал, как встать с места, под каким предлогом уйти. Так бы он и просидел всю ночь, если бы г-жа Керих с милой бесцеремонностью не выпроводила его сама.

Кристоф шел домой, чувствуя на себе ласкающий взгляд карих глаз г-жи Керих и голубеньких глазок Минны; он ощущал прикосновение тонких и нежных, как лепестки цветка, пальцев и уносил с собой еле уловимый, неведомый ему аромат, который обволакивал его, кружил голову, доводил чуть не до обморока.

Через два дня, как и было условлено, Кристоф снова явился к Керихам — дать Минне первый урок на фортепиано. С этого дня он приходил к Керихам дважды в неделю, по утрам, на урок, а нередко заглядывал к ним и вечерами — поиграть и поговорить.

Госпожа Керих, женщина добрая и умная, охотно принимала Кристофа. В тридцать пять лет она потеряла мужа и, сохранив молодость души и тела, без сожаления отдалилась от развлечений, хотя имела в свете большой успех. Быть может, ей далось это тем легче, что она уже насладилась ими: она здраво рассудила, что нельзя одновременно иметь то, что есть, и то, что было. Она почитала память покойного г-на Кериха не потому, что испытывала к нему какое-либо иное чувство, кроме настоящей дружбы, даже в первые годы их брака,— просто она была женщина спокойных чувств и любящего ума. Г-жа Керих посвятила себя воспитанию дочери, но та же самая сдержанность, которую она вносила в супружество, смягчала излишне чувствительную и болезненную восторженность материнства, столь, впрочем, естественную, когда на ребенка — и только на ребенка — мать переносит ревнивую потребность любить и быть любимой. Она очень любила Минну, но судила о ней вполне трезво, не скрывая от себя ее недостатков, точно так же, как не строила никаких иллюзий и на свой собственный счет. Умная и тонкая, она безошибочным глазом с первой встречи обнаруживала смешные или слабые стороны человека, и обнаруживала их с искренним удовольствием, без малейшего злорадства, ибо она была столь же снисходительна, сколь и насмешлива, и, подтрунивая над ближними, охотно оказывала им услуги.

Юный Кристоф дал г-же Керих богатую пищу для проявления как ее доброты, так и критического чувства. В первое время пребывания в маленьком прирейнском городке Кристоф был для нее почти единственным развлечением, так как из-за траура она не поддерживала светских знакомств. И прежде всего ее привлекал талант Кристофа. Не будучи сама музыкантшей, г-жа Керих любила музыку; когда она слушала музыку, ее душа и тело погружались в нирвану, а мысли лениво замирали в приятной меланхолии. Усадив Кристофа за рояль, она устраивалась возле камина с работой в руках и, неопределенно улыбаясь, наслаждалась бесшумным проворством своих пальцев и почти таким же машинальным движением мысли, обращенной к печальным и к светлым воспоминаниям.

Но куда больше, чем музыкой, она интересовалась самим музыкантом. Г-жа Керих была достаточно развитой, чтобы понять, как счастливо одарен Кристоф, хотя вряд ли была способна угадать неповторимость его дара. Ей любопытно было следить, как пробуждается в молодой душе таинственный пламень. Ей не потребовалось много времени, чтобы оценить нравственные достоинства Кристофа, его прямоту, мужество, даже стоицизм, столь трогательный в ребенке. И тем не менее она смотрела на Кристофа неизменно проницательным взглядом своих умных и насмешливых глаз. Ее забавляли его неловкость, смешное и некрасивое лицо, его невинные причуды; она не принимала его особенно всерьез,— впрочем, она мало что принимала всерьез. Нелепые выходки Кристофа, его необузданность, своевольный нрав — все это наводило ее на мысль, что он натура неуравновешенная; впрочем, она считала, что таким и положено быть отпрыску Крафтов, людей хоть и порядочных и хороших музыкантов, но немножко взбалмошных.

Кристоф не замечал этой легкой иронии; он видел только доброту г-жи Керих. Ведь он так не привык к доброте, особенно в отношении себя. Хотя по своему положению придворного музыканта Кристоф имел немало случаев встречаться с людьми светскими, бедняга остался тем, чем и был,— маленьким дикарем, невоспитанным и невежественным. Если во дворце снисходили до Кристофа, то лишь затем, чтобы эгоистически использовать его талант, но до самого музыканта никому не было дела. Кристоф приходил во дворец, сразу же садился за рояль, играл и, окончив играть, уходил домой; и ни разу никто не дал себе труда поговорить с ребенком, разве что иногда ему бросали на ходу банальный комплимент. Никто ни в семье, ни вне семьи со смертью дедушки ни разу не подумал, что ему нужно помочь учиться, направить в жизни, помочь стать человеком. Кристоф жестоко страдал от своего невежества и грубых своих манер. Он из кожи лез вон, стремясь воспитать себя, но тщетно. Ему не хватало книг, общения с людьми, примера — всего не хватало. Как бы хотелось ему пожаловаться на свое горе другу, но он не мог. Даже милому Отто — не мог, потому что после первых же слов Кристофа тот сразу принимал тон презрительного превосходства и словно каленым железом касался наболевшей раны Кристофа.

А вот с г-жой Керих все стало легко. Она сама, без всяких просьб с его стороны,— а что значили для Кристофа просьбы при его-то гордыне! — сама незаметно, но настойчиво указыва-

ла мальчику, чего не надо делать, учила тому, что делать полезно, давала советы насчет костюмов, манер, походки, разговора, не прощала ему ни одной погрешности в обращении, языке или во вкусах; и оскорбляться было невозможно — так нежно было прикосновение направляющей руки, так заботливо щадила она легко уязвимое детское самолюбие. Так же незаметно, словно ни во что не вмешиваясь, следила она за чтением Кристофа; делала вид, что ее ничуть не удивляет его чудовищное невежество, но при каждом удобном случае указывала на его промахи — и все это так спокойно, так просто, словно нет и не было ничего удивительного в том, что он ошибается; не отпугивая мальчика скучными наставлениями, она посвящала вечера делу, заставляя Минну или Кристофа читать вслух увлекательные книги по истории или стихи немецких и иностранных поэтов. Относилась она к Кристофу, будто к родному, а покровительственно-фамильярного тона он не замечал. Даже его туалетом она занималась: кое-что подновила, связала ему шерстяной шарф, подарила несколько необходимых пустячков и делала все так мило, что Кристоф, не стесняясь, принимал ее заботы и ее подарки. Короче говоря, г-жа Керих относилась к Кристофу с вниманием и нежностью почти материнскими, как, впрочем, относятся все незлые женщины к ребенку, которого им доверили или который доверился им, что отнюдь, однако, не предполагает глубокого чувства. Но Кристоф верил, что вся ее нежность направлена на него лично, и расцветал от благодарности; излияния его, внезапные и страстные, казались г-же Керих немножко смешными, но все же доставляли удовольствие.

А вот с Миной отношения у Кристофа складывались совсем по-другому. Когда Кристоф на первом уроке увидел Мину, весь еще под сладостной властью вчерашних воспоминаний и ласковых взглядов, он совсем опешил от удивления, встретив маленькую особу, ничуть не похожую на ту, какой она была всего несколько часов назад. Мина еле глядела на Кристофа и не слушала, что он говорит; а когда наконец вскинула на него глаза, он прочел в них такое ледяное равнодушие, что испугался. Он долго и мучительно вспоминал, чем мог ее оскорбить. Ничем он ее не оскорбил, да и чувства Мины остались прежними — не стали ни горячее, ни холоднее, просто и вчера и сегодня Кристоф был ей глубоко безразличен. Если при первой встрече Минна расточала ему улыбки, то лишь повинуясь инстинктивной кокетливости девочки, которой от нечего делать весело испытывать чары своих взглядов

на ком попало, хоть бы на собачонке. Но на следующий день столь легкая победа уже не представляла ни малейшего интереса. Минна смотрела на Кристофа строгим, оценивающим взглядом, и сейчас он был в ее глазах просто некрасивым, бедным, плохо воспитанным мальчиком, который хоть и хорошо играет на фортепиано, зато руки у него ужасные, держит он вилку за столом самым странным образом, а рыбу режет ножом. Одним словом, он показался ей весьма заурядным. Брать уроки музыки ей хотелось, хотелось даже найти себе развлечение, потому что у нее сейчас не было подруг и потому что, хотя в душе она считала себя уже взрослой, иногда на нее нападало сумасшедшее желание избыть переполнявшую ее радость, именно потому что из-за траура и она и мать вынуждены были сдерживать себя. Но Минна считала Кристофа чем-то вроде кошки или собаки, прижившейся в доме; и если ей случалось вдруг в дни самой своей неприступной холодности сделать ему глазки, то просто по забывчивости и потому, что в эту минуту она думала о чем-нибудь другом, а то и просто практики ради. У Кристофа сердце чуть не выпрыгивало из груди, а Минна смотрела как бы сквозь Кристофа: в это время она про себя сочиняла какую-нибудь душещипательную историю. Эта юная особа была в том счастливом возрасте, когда так легко тешить себя приятными и лестными мечтами. Минна постоянно думала о любви, думала с огромным интересом и любопытством, которое было вполне невинно лишь благодаря ее неведению. Впрочем, она, как и подобает благовоспитанной девице, представляла себе любовь не иначе, как освященной таинством брака. А вот насчет выбора идеала она еще колебалась. То она мечтала выйти замуж за лейтенанта, то за поэта, который писал бы благородные и пристойные стихи,— за эдакого Шиллера. Один проект вытеснял другой. И каждый на первых порах она принимала одинаково серьезно и с той же верой. Впрочем, как упраздненные, так ныне действующие идеалы готовы были отступить перед приманками действительности, ибо поистине примечательно, как самые романтические девушки легко забывают свои мечты, когда перед ними является видение менее идеальное, но зато более надежное.

Сентиментальная Минна, несмотря на все свои мечты, была от природы спокойной и холодной. Вопреки аристократическому имени и приставке «фон» — источнику великой ее гордости,— в ней жила душа маленькой немецкой мещаночки, жила даже в восхитительные годы отрочества.

Кристоф, естественно, не мог разобраться в сложном механизме женского сердца — сложном, впрочем, более по видимости, чем в действительности. Иной раз его сбивали с толку повадки обеих дам, но он испытывал такое счастье от своей любви, что заранее принял на веру, принял как должное даже то, что его слегка тревожило или печалило, лишь бы убедить себя, что он не только любит, но и любим. Одно-единственное слово, один приветливый взгляд погружали его в блаженство. Иногда счастье так переполняло его, что он не мог сдержать слез.

Сидя у стола в тихой небольшой гостиной рядом с г-жой Керих, занятой шитьем, при свете лампы (Минна на другом конце читает книгу, все молчат; дверь, выходящая в сад, полуоткрыта, и из гостиной видно, как в лунном свете блестит песок на дорожках; легкий шелест деревьев один нарушает тишину), Кристоф чувствовал себя таким счастливым, что вдруг без всякой видимой причины вскакивал со стула, бросался на колени перед г-жой Керих, хватал ее руки и, рискуя оцарапать себе нос об иголку, покрывал их поцелуями, рыдая прижимал ее тонкие пальцы к губам, ко лбу, к взмокшим ресницам. Минна поднимала голову от книги и с обычной своей гримаской незаметно пожимала плечами. Г-жа Керих, улыбаясь, глядела на мальчика, который стоял на коленях у ее ног, нежно гладила его по волосам свободной рукой и говорила красивым, ласковым и насмешливым голосом:

— Ну что, ну что, дурачок, ну что случилось?

О, сладостные звуки родного голоса, сладостный покой и тишина, где даже самый воздух пропитан нежностью, где никто тебя не обидит, не оскорбит,— благословенный оазис среди грубой реальности,— и, подобно героическому пламени, позлащающему своим отблеском все вокруг, возникаешь ты, очарованный мир, вызванный к жизни божественной речью Гете, Шиллера, Шекспира,— потоками силы, муки и любви.

Минна читала, склонив головку над книгой, лицо ее слегка розовело от волнения, когда своим звонким, чуть пришепетывающим голоском она, повышая торжественно тон, произносила монологи воинов и королей. Иногда книгу брала сама г-жа Керих; она умела вложить в трагические сцены все обаяние своей умной и нежной натуры, но она предпочитала слушать чтение дочери; откинувшись на спинку кресла, уронив вечное рукоделие на колени, она рассеянно улыбалась, ибо за внешними перипетиями любого произведения обнаруживала неизменно себя самое.

Кристоф тоже пытался читать вслух; но вскоре ему пришлось отказаться от своих попыток. Он мямлил, путался в словах, не останавливался на точках, словно ничего не понимая, и приходил в такое волнение в поэтических местах, что вдруг умолкал посреди фразы, желая скрыть слезы. Тогда в сердцах он бросал книгу на стол, а обе его приятельницы от души хохотали. Как он любил их в эти минуты! Он повсюду носил с собой их образ, и черты их сливались в его представлении с чертами героинь Шекспира и Гете. Он уже перестал отличать реальные существа от поэтических вымыслов. Какое-нибудь пленительное слово поэта, впервые услышанное из милых уст, не только вызывало блаженный трепет страсти в его мальчишеской душе, но навеки сливалось для него с милым образом. Даже через двадцать лет, всякий раз, когда он перечитывал или слушал «Эгмонта» или «Ромео», перед ним вдруг возникали мирные вечера, тогдашние его грезы о счастье, обожаемые черты г-жи Керих и Минны.

Часами он мог глядеть на них, когда они читали вслух, а затем ночью, лежа без сна, с открытыми глазами, он вызывал в памяти прошедший вечер, и даже утром во время репетиции, прикрывая веки,— и машинально исполнял свою партию. Обеих он любил трогательно и безгрешно и, ничего не зная о любви, считал себя влюбленным. Но только не понимал, в кого влюблен: в мать или в дочь. Он сурово допытывался ответа у своего сердца и не знал, какой из двух отдать предпочтение. Но так как он считал, что обязан сделать выбор, то решил остановиться на г-же Керих. И, сделав выбор, тут же обнаружил, что действительно любит именно ее. Любит ее умные глаза, улыбку, рассеянно морщившую ее полуоткрытые губы, красивый и какой-то удивительно молодой лоб, косой пробор в тонких, блестящих волосах, негромкий голос, приглушенное покашливание, матерински нежные руки, изящество ее движений, любит всю ее закрытую для него душу. Он дрожал от счастья, когда, присев рядом, она с ясным, добрым лицом объясняла непонятное место в книге, касаясь рукой его плеча; Кристоф чувствовал сквозь ткань живое тепло ее пальцев, ее дыхание на своей щеке и сладкий аромат, исходивший от всего ее существа; в каком-то экстазе он слушал ее голос, забыв о книге, и ничего, естественно, не понимал. Заметив рассеянность Кристофа, г-жа Керих заставляла его повторить ее слова, но он молчал, и она, смеясь и сердясь одновременно, щелкала его книжкой по носу и говорила, что он просто глупый ослик, на что Кристоф отвечал: пусть он ослик, ему это со-

вершенно безразлично, лишь бы быть ее осликом и лишь бы она его не прогоняла. Г-жа Керих делала вид, что колеблется, но потом заявляла, что, хотя он действительно противный ослик и к тому же безнадежно глупый, она согласна оставить его при себе и, может быть, даже любить, хотя он и не годен ни на что путное, а просто добрый мальчик. Оба начинали хохотать, и Кристоф плавал в блаженстве.

С тех пор как Кристоф открыл, что любит г-жу Керих, он отдалился от Минны. Его начинало раздражать высокомерие и холодность девочки, и, так как они виделись чуть ли не ежедневно, осмелевший Кристоф со свойственной ему непринужденностью давал понять Минне, что ему неприятно ее поведение. Минне нравилось поддразнивать Кристофа, теперь он отвечал ей резко и прямо. Они пикировались, к вящему веселью г-жи Керих. Не искушенный в словесных поединках, Кристоф доходил до такого неистовства, что временами, как ему казалось, просто ненавидел Минну и уверял себя, что ходит к ним только ради г-жи Керих.

Уроки музыки продолжались. Дважды в неделю, от девяти до десяти часов утра, Кристоф слушал, как девочка разыгрывала перед ним гаммы и этюды. Занимались они в комнате, называвшейся «студией». Странная была эта студия, носившая на себе до смешного точный отпечаток взбалмошного характера и вкусов ее юной хозяйки.

На столе красовалась серия крошечных фарфоровых котов-музыкантов — целый оркестр: один кот пиликал на скрипке, другой играл на виолончели; рядом лежало карманное зеркальце, стояли расставленные в идеальном порядке туалетный и письменный приборы. На этажерке — крохотные бюстики великих музыкантов: сердито насупившийся Бетховен, Вагнер в своем берете и здесь же Аполлон Бельведерский. На камине, возле лягушки, курящей трубку из камышинки, бумажный веер с нарисованным на нем байрейтским театром. На двух полках вся Миннина библиотека, состоящая из сочинений Любке, Моммзена, Шиллера, Жюля Верна, Монтеня и «Без семьи» Гектора Мало. На стене большие репродукции «Сикстинской мадонны» и картин Геркомера: все это в голубых и зеленых лентах. Тут же в рамке из посеребренных шишек чертополоха — какой-то швейцарский пейзаж с горным отелем на переднем плане; и повсюду, во всех углах, на всех стенах портреты, десятки фотографий — офицеры, теноры, дирижеры,

школьные подружки,— все это с надписями, а надписи в стихах, или, вернее, не в настоящих стихах, а в таких, что принято считать в Германии стихами. Посреди комнаты на мраморном постаменте царил бородатый Брамс, а над роялем свисали на нитках плюшевые обезьянки и котильонные значки.

Минна обычно запаздывала; она являлась на уроки надутая, с опухшими от сна глазами; небрежно протянув Кристофу руку, она буркала: «Доброе утро»,— и, молчаливая, величественная и гордая, усаживалась перед инструментом. Когда она занималась по утрам без Кристофа, она с удовольствием играла гамму за гаммой, так как бездумный бег пальцев по клавишам позволял ей продлить блаженное состояние утреннего полусна и рассказывать себе бесконечные истории. Но Кристоф настаивал, чтобы она играла трудные упражнения, требовавшие внимания, и порой в отместку Минна всячески изощрялась, чтобы сыграть как можно хуже. Впрочем, девочка была довольно музыкальна; она просто не любила музыки, как большинство немок, но, подобно им, считала своим долгом любить музыку и занималась серьезно, за исключением тех случаев, когда с чисто дьявольским лукавством старалась взбесить юного учителя. Особенно раздражало его то ледяное безразличие, с каким Минна разыгрывала заданный урок. Но хуже всего было, когда она вообразила, что непременно должна играть с душой,— откуда только бралась чувствительность, ведь на самом деле Минна не чувствовала ровно ничего.

Сидя рядом с Минной, Кристоф нередко нарушал правила приличия. Ни разу не похвалил он своей ученицы — куда там! Это, в свою очередь, бесило девочку, и она не спускала ему ни одного замечания. Минна оспаривала каждое слово Кристофа и, даже уличенная в ошибке, упорно твердила, что взяла именно ту ноту, которую требовалось взять. Кристоф раздражался, и дело доходило до открытых вспышек, причем оба друг другу говорили дерзости. Упорно не подымая глаз от клавиш, Минна искоса наблюдала за Кристофом и наслаждалась его яростью. Потом, развлечения ради, она пускалась на мелкие и довольно глупые уловки с целью прервать урок и окончательно допечь Кристофа. То, желая обратить на себя внимание, она делала вид, что задыхается, то на нее нападал кашель, то ей требовалось немедленно отдать важное распоряжение горничной. Кристоф знал, что все это комедия, и Минна знала, что Кристоф знает, что это комедия, и веселилась: ведь Кристоф не мог высказать вслух того, что он о ней думал.

Как-то, разыгрывая очередную комедию, Минна томно покашливала, прикрыв свою розовую мордашку носовым платком, словно у нее начался приступ удушья, а сама уголком глаза следила за разгневанным Кристофом. Вдруг ей пришла в голову великолепная мысль — уронить на пол платок, чтобы Кристофу пришлось его поднять, что он и проделал, но весьма неохотно! Минна милостиво бросила ему «спасибо» с видом светской дамы, отчего он чуть не взорвался.

Эту игру Минна сочла достаточно интересной и решила повторить еще раз. На следующем уроке она снова уронила платок, но Кристоф не шелохнулся. Он кипел от злости. Подождав с минуту, Минна с досадой попросила его:

— Не будете ли вы так любезны подать мне платок?

Кристофа прорвало.

— Я вам не лакей,— грубо крикнул он,— сами подымете!

Минна буквально задохнулась от негодования. Она вскочила, и табуретка с грохотом упала на пол.

— О, это уже слишком! — произнесла она, яростно ударила кулаком по клавишам и выскочила из комнаты.

Кристоф сидел и ждал. Минна не появлялась. Ему стало стыдно: и впрямь он вел себя, как хам. Нет, хватит с него, больше он терпеть не намерен, мало она издевалась над ним, мало дерзила! Он боялся: вдруг Минна пожалуется матери, а та возьмет да и разлюбит его. Кристоф не знал, что делать, и хотя горько сетовал на свою грубость, ни за какие блага мира не стал бы просить прощения.

На всякий случай утром он пришел к Керихам, хотя сомневался, что Минна согласится продолжать уроки. Но Минна, слишком гордая, чтобы жаловаться, Минна, чьей совести все же не окончательно были чужды угрызения, появилась в студии, правда заставив Кристофа прождать лишних минут пять сверх обычного; она уселась перед инструментом прямо, строго, не повернув головы, не произнеся ни слова, будто Кристофа вообще не существовало. Тем не менее урок прошел благополучно, как и все последующие, так как девочка понимала, что Кристоф прекрасно знает музыку, а ей нужно научиться бегло играть на рояле, если она хочет быть тем, чем полагается быть благородной девице, получившей безупречное воспитание.

Но как же она скучала! Как же скучали они оба!

Одним мартовским туманным утром, когда за окном на фоне серенького неба медленно, словно пух, пролетали снежинки, Кристоф и Минна сидели в студии. Было еще темно.

Минна, ударив не по тому клавишу, начала, как обычно, спорить, утверждая, что «так написано». Хотя ложь ее была шита белыми нитками, Кристоф все же нагнулся над нотной тетрадкой, чтобы проверить спорное место. Рука Минны лежала на пюпитре, и она даже не отодвинула ее. Губы Кристофа были рядом с этой рукой. Он пытался разглядеть ноты, но не мог; он видел перед собой нечто иное, нечто нежное, прозрачное, словно лепесток цветка. Вдруг, сам не зная, как и почему это произошло, он крепко прижался губами к лежавшей перед ним лапке.

Оба обомлели от изумления. Кристоф откинулся назад, Минна отняла руку, и оба покраснели до ушей. Они не сказали ни слова, не посмотрели друг на друга. Прошла минута неловкого молчания, потом Минна стала играть; волнение ее не утихало, грудь легонько вздымалась, словно на этот раз ей действительно не хватало воздуха. И фальшивила она невероятно. Но Кристоф ничего не замечал: он был смущен еще больше, чем Минна, в висках у него стучало; он не слышал ничего, не знал, что она играет, и, желая прервать молчание, сделал хриплым голосом несколько не идущих к делу замечаний. Ему казалось, что он безнадежно погиб в глазах Минны. Он оробел, осуждая в душе свой глупый и грубый поступок. Наконец час, отведенный музыке, кончился, и Кристоф вышел из студии, забыв даже попрощаться со своей ученицей, не взглянув в ее сторону. Но Минна извинила Кристофу его забывчивость. Теперь она вовсе не находила его дурно воспитанным мальчиком, и если она ошибалась во время игры, так только потому, что непрестанно следила за ним искоса со смешанным чувством любопытства и удивления и впервые с чувством симпатии.

Оставшись одна, Минна не побежала, как обычно, к матери, а заперлась в своей спальне, чтобы обдумать в одиночестве это необычайное происшествие. Она села перед туалетным столиком и подперлась рукой. Из зеркала на нее глянули нежные, блестящие глаза. Стараясь сосредоточиться, Минна легонько покусывала нижнюю губу. И, вглядываясь не без удовольствия в свое хорошенькое личико, она вдруг вспомнила недавнюю сцену, вспыхнула и улыбнулась. За столом она была весела и на редкость оживленна. Она отказалась идти гулять и долго сидела после обеда в гостиной с работой в руках, но успела за это время сделать всего стежков десять, косых и уродливых. Но что ей было до этого? Пристроившись в углу гостиной, спиной к матери, она то улыбалась своим мыслям, то

вдруг вскакивала с места, начинала прыгать по комнате, распевая что-то во все горло, чтобы дать выход своим чувствам. Г-жа Керих вздрагивала и обзывала ее сумасшедшей. Тогда Минна бросалась к матери на шею и, топоча ногами от смеха, душила ее в своих объятиях.

Вечером Минна не сразу легла в постель. В спальне она снова подошла к зеркалу и снова долго гляделась в него, стараясь что-то припомнить, но не думала ни о чем, так как слишком напряженно думала целый день. Она медленно стала раздеваться и, сидя на кровати, пыталась представить себе образ Кристофа; воображение нарисовало ей того Кристофа, какого ей хотелось видеть, и он показался ей не так уж плох. Минна быстро юркнула в постель и потушила свет. Но через несколько минут ей вспомнилась утренняя сцена, и она громко расхохоталась. Мать тихонько поднялась с места и приоткрыла дверь в спальню. Ей показалось, что Минна, вопреки строгому запрету, читает в постели. Но Минна спокойно лежала под одеялом, только в полумраке комнаты, освещенной ночником, видны были ее широко раскрытые глаза.

— Ты что? — спросила мать.— Что это тебя так развеселило?

— Ничего,— важно ответила Минна,— просто я думаю.

— Что ж, если тебе весело одной, то тем лучше для тебя. А теперь пора спать.

— Хорошо, мамочка,— покорно ответила Минна.

Но про себя она шептала, как заклинание: «Уйди же, ну, уйди!» — пока дверь за матерью не закрылась и снова стало можно упиваться своими мечтами. Истома неслышно окутывала ее. Уже совсем засыпая, Минна вдруг привскочила от радости:

«Он меня любит. Какое счастье! Какой он хороший, что он меня любит! Как я его люблю!»

Она поцеловала думку и заснула по-настоящему.

Когда дети снова встретились после того достопамятного урока, Кристофа поразила любезность Минны. Она первая сказала ему «здравствуйте» и нежным голоском осведомилась, как он себя чувствует; за пианино она уселась со скромным и благоразумным видом, словом — была ангелом послушания. Куда делись ее былые выходки, былые капризы,— она благоговейно внимала замечаниям Кристофа, поспешно соглашалась с ними, испуганно вскрикивала, ударив не по тому клавишу,

и старалась, не дожидаясь слов Кристофа, исправить ошибку. Кристоф ничего уже не понимал. В короткий срок Минна сделала поразительные успехи. Она не только стала лучше играть, но и полюбила музыку. И хоть Кристоф от природы был скуп на похвалы, он вынужден был ее похвалить. Девочка покраснела от радости и наградила его признательным, растроганным взглядом. Теперь Минна занималась туалетом особенно тщательно, и все ради Кристофа; ради него же она вплетала в косы ленты нежнейших тонов; она улыбалась и глядела на Кристофа томным взглядом, что вовсе ему не нравилось, раздражало и волновало до глубины души. Теперь Минна старалась заговорить с Кристофом первая; но в разговорах ее не было прежней ребячливости; говорила она степенно и охотно цитировала стихи напыщенным и поучительным тоном. А он не отвечал ни на взгляды, ни на стихи; ему было не по себе: теперешняя Минна, которую он не узнавал, удивляла и беспокоила его.

Минна не переставала наблюдать за Кристофом. Она ждала... Чего? Да знала ли она сама, чего ждет? Она ждала, чтобы то повторилось. А Кристоф пуще огня боялся этого, считая, что прошлый раз поступил, как деревенщина; казалось, он и думать забыл о том поцелуе. Минна выходила из себя, и в один прекрасный день, когда Кристоф спокойно сидел на табурете, на почтительном расстоянии от опасных ручек, она не могла совладать с охватившим ее нетерпением: быстрым движением, которое опередило даже мысль, девочка сама прижала к губам Кристофа руку. Он остолбенел, потом его охватил гнев и стыд. Тем не менее он поцеловал ручку — и поцеловал со страстью. Наивная дерзость Минны его возмутила, ему хотелось уйти, никогда больше не видеть своей ученицы.

Но он не мог. Он уже был в ее власти. Мысли вихрем кружились в его голове; он ничего не понимал. Словно влажные испарения, ползущие из низины, они подымались из глубины его сердца. Он бродил ощупью, ничего не видя в этом тумане любви; он кружил неотступно вокруг неясной, но назойливой мысли, которая была еще неведомым желанием, грозным и влекущим, как огонь для мотылька. Это вскипели в нем вдруг слепые силы Природы.

Затем начался период выжидания. Они наблюдали друг за другом, тянулись друг к другу и боялись. Спокойствие покинуло их. И хотя между ними продолжались мелкие и круп-

ные стычки, однако прежняя простота отношений исчезла,— оба теперь вообще не разговаривали. Каждый создавал для себя свой образ любви.

Есть у любви странное свойство: она как бы имеет обратную силу. В ту самую минуту, когда Кристоф понял, что любит Минну, он понял, что любил ее всегда. В течение трех месяцев они виделись почти ежедневно, а он и не подозревал даже, что любит ее. Но раз он ее любит, ему необходимо было доказать самому себе, что он любил ее вечно.

С какой огромной радостью понял он наконец, кого он любит! Ведь он любил так долго и не знал — кого! Он, словно больной, страдающий от неизвестного томительного недуга, вдруг почувствовал огромное облегчение, когда этот недуг вдруг определился, локализировался в определенном месте, хотя одновременно пришла и невыносимо острая боль. Ничто так не мучит, как любовь, не направленная на определенный предмет: такая любовь подтачивает силы и сушит. Страсть осознанная доводит до исступления, но, как это ни изнурительно, зато хоть знаешь причину страдания. Пусть она — утомление, все лучше, чем полное истощение сил, чем просто пустота. Хотя Минна неоднократно давала Кристофу доказательства того, что он ей не безразличен, он по-прежнему терзался и считал, что его презирают. Никогда Кристоф не знал, что в действительности представляет собой Минна, равно как и Минна не отдавала себе отчета в существе Кристофа. И никогда они не были так далеки от понимания друг друга, никогда их взаимное представление друг о друге не было так туманно, как в эти дни; была лишь цепь разорванных и причудливых представлений, которые не удавалось связать воедино, ибо оба переходили из одной крайности в другую, приписывали друг другу несуществующие недостатки или достоинства: недостатки — в разлуке, достоинства — при встречах. И в обоих случаях они ошибались.

Они не знали, чего ждут, чего хотят друг от друга. Для Кристофа любовь стала неутолимой жаждой нежности — жаждой полновластной, требовательной и не желающей утоления; она сжигала его с детства, он домогался ее от других и хотел навязать другим — добровольно или силой. Временами к этому деспотическому стремлению примешивалось желание пожертвовать целиком собой и другими, в первую очередь, пожалуй, другими — приступы неясного и грубого желания, от которого у него кружилась голова и которого он не понимал. Минне, в первую очередь в ней говорило любопытство,— той больше

всего нравилось, что у нее настоящий роман, и она старалась извлечь из него как можно больше пищи для своего самолюбия и чувствительности; она чистосердечно обманывалась насчет своей любви. Любовь их больше чем наполовину была надуманной. Они перебирали прочитанные вместе романы и в каждом черпали чувства, коих вовсе не испытывали.

Но близился миг, когда вся эта внешняя ложь, весь этот мелкий эгоизм испарятся перед божественным сиянием любви. День, час, несколько вечных мгновений... И как это всегда неожиданно!..

Как-то вечером они разговорились. Гостиная тонула в полумраке. Постепенно беседа перешла на серьезные вопросы. Они рассуждали о бесконечности, о жизни и о смерти. Так заманчиво было обрамлять величественными идеями свою миниатюрную страсть. Минна горько жаловалась на одиночество, что, естественно, вызывало ответное возражение Кристофа, который заявил, что вовсе она не так уж одинока, как говорит.

— Нет,— возразила Минна, упрямо покачав головкой,— все это одни слова. Каждый живет только для себя, никто тобой не интересуется, никто тебя не любит.

Последовало молчание.

— А я? — вдруг спросил Кристоф, побледнев от волнения.

Маленькая женщина стремительно вскочила с кресла и взяла руки Кристофа в свои.

Дверь приоткрылась. Они отпрянули друг от друга. Вошла г-жа Керих. Кристоф сделал вид, что погружен в чтение какой-то книги, но держал ее вверх ногами. Минна низко нагнулась над вышиванием и уколола иголкой палец.

В тот вечер они не оставались больше одни, да и боялись остаться. Г-жа Керих поднялась было с места, чтобы принести из соседней комнаты забытый носовой платок, и Минна, обычно не особенно услужливая, бросилась со всех ног за платком; Кристоф, воспользовавшись ее отсутствием, ушел, не попрощавшись с Минной.

На другой день они встретились, горя нетерпением возобновить прерванный разговор. Но ничего не получалось. Однако обстоятельства благоприятствовали им. Г-жа Керих решила пойти прогуляться с ними, и они раз десять могли бы

за это время побеседовать на свободе. Но Кристоф не мог вымолвить ни слова; он чувствовал себя таким несчастным, что молча плелся позади Минны, стараясь держаться от нее как можно дальше. А Минна делала вид, что не замечает невежливого поведения Кристофа; однако она была уязвлена и не скрывала этого. Когда же наконец Кристофу удалось выдавить из себя несколько слов, она выслушала его с холодным видом: ему потребовалось немало мужества, чтобы договорить начатую фразу. Прогулка шла к концу. Драгоценное время уходило зря, и Кристоф был в отчаянии, что не сумел воспользоваться благоприятной минутой.

Миновала неделя. Оба решили, что взаимно обманулись в своих чувствах. Уж не пригрезилась ли им та вечерняя сцена? Минна дулась на Кристофа. Кристоф боялся остаться с нею наедине. Отношения их совсем испортились.

И вот что случилось однажды. С самого утра зарядил дождик и шел до самого обеда. Они просидели все время взаперти, не разговаривали, читали, зевали, смотрели в окно, оба скучали и злились. Часам к четырем небо прояснилось. Они выбежали в сад. Опершись на перила террасы, оба смотрели вниз — туда, где покрытый газоном склон мягко сбегал к реке. От земли прямо к солнцу подымался пар, капельки дождя сверкали в траве, запах мокрой земли примешивался к благоухапию цветов; вокруг в шелестящем золотом полете проносились пчелы. Дети стояли рядом и не смели взглянуть друг на друга; хотели и не могли прервать молчание. Намокшая, тяжелая от дождя пчела неловко карабкалась по веточке глицинии, и вдруг на нее струйкой полилась вода. Дети засмеялись и тут же поняли, что вовсе они не сердятся и что все хорошо. Однако они по-прежнему не глядели друг на друга.

Вдруг Минна, не поворачивая головы, схватила Кристофа за руку и коротко приказала:

— Пойдем.

Она потащила мальчика за собой, и оба побежали к так называемому лабиринту — посреди рощицы были расчищены аллейки, обсаженные кустами. Кристоф и Минна стали взбираться по склону холма, скользя по мокрой земле; с потревоженных ветвей на них падали крупные капли. Почти у самой вершины Минна остановилась, чтобы перевести дух.

— Подождем, подождем немножечко...— произнесла она почти шепотом, стараясь отдышаться.

Кристоф взглянул на нее. Она смотрела куда-то в сторону, но улыбалась, тяжело дыша полуоткрытым ртом; рука ее, судорожно сжатая, лежала в руке Кристофа. Оба вдруг почувствовали, как к их ладоням притекла горячая кровь, как задрожали пальцы. Тишина. Белесые, молодые побеги трепетали в солнечном луче, с серебристым звоном сыпались с листвы крупные капли; пронзительно крича, прочерчивали небо ласточки.

Вдруг Минна обернулась к Кристофу — быстрее вспышки молнии. Она бросилась ему на шею. Он бросился к ней.

— Минна, Минна, дорогая моя!

— Я люблю тебя, Кристоф! Я люблю тебя!

Они уселись на мокрую скамейку. Их переполняла любовь — нежная, глубокая, глупенькая детская любовь.

Все растворилось в ней. Ушли куда-то эгоизм, тщеславие, скрытые мысли. Любовь своим дыханием смела все темное, все теневое, что накопилось в душе. Любить, любить — вот что говорили их смеющиеся, мокрые от слез глаза. Эту холодную и кокетливую девчушку, этого гордого мальчика снедала жажда самопожертвования, им хотелось отдать всю свою жизнь другому, страдать, умереть за другого. Они не узнавали друг друга, не узнавали себя, да и впрямь они стали не те: все осветила, все заполонила трогательная доброта и нежность — сердца, взоры, лица. Минуты совершенной чистоты, самоотречения, щедрейшего дара другому, минуты, не повторяющиеся дважды.

Начались бессвязные разговоры, страстные клятвы жить вечно друг для друга, поцелуи и отрывистые восклицания восторга, но вдруг они заметили, что уже поздно, и бегом пустились к дому, держась за руки, спотыкаясь в узких аллеях, налетая на деревья, не чувствуя ничего, ослепшие и пьяные от радости.

Они распрощались, но Кристоф не пошел домой — он не мог заставить себя лечь в постель. Он вышел из города и побрел куда-то по полям в ночной тьме. Свеж был ночной воздух, пустынно и мрачно поле, где-то зябко ухал филин. Кристоф шагал, как лунатик. Взобрался на холм, прошел через виноградник. Внизу, в долине, в стороне города, мерцали огоньки, а наверху, в темном небе,— звезды. Он уселся на ограду и вдруг залился слезами. Он не знал, почему плачет. Он был слишком счастлив; и в переполнявшей его радости была не только радость, но и грусть, была несказанная благодарность судьбе, подарившей ему такое счастье, и жалость к тем, кто

несчастлив, и печальное, примиренное чувство непрочности всего земного, и опьянение жизнью. Наплакавшись всласть, он так и заснул в слезах. И проснулся при первых проблесках зари. Бледный туман плыл над рекой, окутывая виллу, где спала Минна, сраженная усталостью, и сердце ее озаряла улыбка счастья.

На следующий день им удалось встретиться в саду, и они снова и снова повторили друг другу, как сильна их любовь; но в этой их встрече уже не было вчерашнего блаженного неведения. Минна словно немножко представлялась влюбленной, да и Кристоф, при всей своей искренности, тоже разыгрывал роль. Они говорили о будущем. Кристоф сетовал на бедность, на свое жалкое положение. Минна решила быть великодушной и умело прикинулась великодушной. Она уверяла, что денежные вопросы ее не интересуют. Так оно и было в действительности, ибо она не знала, что такое деньги, не знала, что такое не иметь денег. Кристоф обещал ей стать великим музыкантом; она заявила, что это заманчиво и прекрасно, совсем как в романе. Минна решила, что ее долг отныне вести себя, как полагается настоящей влюбленной. Она читала стихи, стала вдруг сентиментальной. И Кристофа тоже коснулась эта зараза. Он начал заботиться о своем туалете — и стал смешон; начал заботиться о строгости речи — и стал напыщенным. Г-жа Керих не могла глядеть на него без смеха и старалась догадаться, почему это он вдруг так поглупел.

Но все же на их долю выпадали минуты непередаваемой поэтичности. И случалось это обычно в серенький денек, словно луч солнца пробивался сквозь мглу тумана. Один взгляд, какое-нибудь движение, какое-нибудь пустое слово — и их затопляла радость; чаще всего это было самое обычное «до свидания», произнесенное вечером на плохо освещенной лестнице, когда взоры искали и находили друг друга в полутьме, когда дрожали в прощальном пожатии руки, когда вдруг срывался голос, и воспоминания об этих, ничего не значащих для постороннего, минутах вдруг пронизывали их ночью среди чуткого сна, когда просыпаешься от каждого боя часов, и сердце их пело, словно журчал ручеек: «Любит!»

Им открылось очарование мира. Весна улыбалась им с поистине чудесной нежностью. Небо становилось сиянием, воздух — лаской, доселе неведомой. Да и весь городок с красными крышами, ветхими заборами и щербатой мостовой вдруг оде-

вался таким очарованием, что у Кристофа щемило от умиления сердце. Ночью, когда все спали, Минна подымалась с постели и долго стояла у окна, не совсем проснувшаяся и дрожащая от ночной прохлады. В предвечерние часы, когда Кристоф еще не появлялся, она мечтала, сидя в качалке, уронив книгу на колени, полузакрыв глаза, убаюканная блаженной истомой, растворяясь душой и телом в вешнем воздухе. Теперь она подолгу не отходила от инструмента, повторяя с раздражающим слушателей упорством какой-нибудь аккорд, какой-нибудь пассаж, а сама бледнела и холодела от волнения. Слушая Шумана, она внезапно начинала плакать. Ей казалось, что она всех жалеет и всех любит. И Кристоф стал таким же. Они старались незаметно подать милостыню нищему, встретившемуся на дороге, и обменивались понимающим взглядом: какие счастливые, что они такие добрые.

По правде сказать, этих чувств хватало ненадолго. В один прекрасный день Минна вдруг обнаружила, сколь печальна участь старой Фриды, вся жизнь которой была сплошным самоотречением с того самого дня, когда она поступила к ним в дом. А ведь тогда мама еще была маленькой; и Минна помчалась на кухню и бросилась на шею удивленной Фриде, которая усердно штопала белье. Но это не помешало ей обрушиться на ту же самую Фриду, когда два часа спустя та не изволила явиться по первому звонку своей молодой госпожи. Да и Кристоф, которого буквально распирало от любви ко всему роду человеческому, который сворачивал с дороги, лишь бы не раздавить букашки, был глубоко равнодушен к своим домашним. По странной игре чувств, чем больше он любил людей — вообще людей,— тем суше и холоднее становился по отношению к родным, почти не думал о них, говорил с ними грубо и тяготился ими. Доброта Минны и Кристофа была не чем иным, как избытком нежности, изливавшейся порывами и на первого встречного. А когда порывы проходили, оба становились эгоистичнее, чем раньше: теперь они были одержимы одной-единственной мыслью, и все вращалось вокруг этой мысли.

Какое непомерно огромное место заняла в жизни Кристофа эта девчушка! Какое волнение охватывало его, когда, обежав весь сад в поисках Минны, он вдруг издали замечал ее белое платьице; или в театре, когда, сидя за несколько стульев от их еще не занятых мест, он вдруг слышал, как открывались двери в ложе бенуара и раздавался веселый, такой знакомый голосок; или когда кто-нибудь случайно произносил столь дорогое ему имя Керих! Он бледнел, краснел, терял на несколь-

ко минут слух и зрение. Какой могучий ток крови проходил тогда по всему его телу, блаженный прилив еще неведомых сил!

Эта немочка, наивная и чувственная, любила странные игры. Ей нравилось, например, класть свое кольцо в горку насыпанной на стол муки; по условию требовалось достать кольцо зубами (что они с Кристофом и пытались делать поочередно), не запачкав кончика носа. Или она натягивала поперек бисквита ниточку, кончики которой каждый из них брал в зубы — в этом случае надо было как можно быстрее сжевать свою ниточку, чтобы первым откусить кусочек бисквита. Их лица приближались, дыхание смешивалось, губы соприкасались, и, чувствуя, как леденеют их пальцы, оба принужденно посмеивались. В такие минуты Кристофу хотелось укусить, причинить боль, и он резко откидывался назад, не слушая наигранного смешка Минны. Они отворачивались, разыгрывая полное равнодушие, но украдкой следили друг за другом краешком глаза.

Эти странные игры притягивали и волновали: им и хотелось играть, и страшно было начинать игру. Особенно боялся этих минут Кристоф и предпочитал даже стеснительное присутствие г-жи Керих или случайно заглянувших гостей. Ничье докучливое соседство не могло прервать немую беседу двух влюбленных сердец, любая помеха придавала ей особенную напряженность и нежность. Все тогда приобретало в их глазах огромную ценность: случайное слово, смешливая складка губ; одного взгляда было достаточно, чтобы под тусклым покровом будней обнаружились вдруг богатейшие, нетронутые сокровища внутренней жизни. И сокровища эти видели только они двое; так, по крайней мере, думалось им, и они улыбались, счастливые сознанием, что у них есть свои маленькие тайны. Со стороны их разговор показался бы пустой салонной болтовней, а для них он был немолчной песней любви. Как открытая книга, были им понятны оттенки милого голоса, движение бровей, они могли бы читать эту сладостную книгу, не подымая сомкнутых век,— достаточно было прислушаться к своему собственному сердцу, чтобы услышать в нем биение сердца любимого. Их переполняла вера в жизнь, в счастье, в себя самих. Надежды их были безграничны. Они любили, были любимы и были счастливы безоблачным, неомраченным счастьем, не знающим страха за будущее. Неповторимая безмятежность этих вешних дней! Ни тучки на небе. И вера — такая свежая и молодая, что казалось, никогда она не поблекнет! И ра-

дость — такая огромная, что никогда она не иссякнет! Как назвать это? Жизнью? Мечтой? Мечтой, конечно. Между жизнью и их мечтами нет ничего общего. Ничего. Разве только то, что в эти магические мгновения они сами становились мечтой: все их существо растворялось в дыхании любви.

Госпожа Керих недолго оставалась в неведении на их счет и довольно быстро заметила все уловки, по их мнению такие тонкие, но такие наивные для материнского глаза. Впрочем, Минна отчасти подозревала это, с того самого вечера, когда ее мать неожиданно вошла в комнату, а они нежно беседовали и, услышав скрип двери, отпрянули друг от друга, смущенные и неловкие. Г-жа Керих притворилась, что ничего не заметила. Минне даже стало немного обидно. Ей хотелось бы с боем отстаивать свою любовь от материнских посягательств: так было бы еще романтичнее.

Но мать предпочитала не давать повода для столкновений. Она была слишком умна, чтобы беспокоиться за Минну или журить ее. Зато в присутствии Минны она говорила о Кристофе с нескрываемой иронией и безжалостно высмеивала его слабые стороны: двух ее слов хватало, чтобы сразить беднягу наповал. Тут не было никакого особого умысла — она действовала, повинуясь инстинкту, с врожденным вероломством женщины — и женщины не злой, а лишь защищающей свое достояние. Напрасно Минна артачилась, напрасно дулась, дерзила матери и упорно отрицала справедливость ее замечаний: они, увы, были более чем обоснованны, да к тому же г-жа Керих умела искусно разить противника в самое уязвимое место. Ничто не ускользало от ее взгляда — и огромные ботинки Кристофа, и жалкие его костюмы, и плохо вычищенная шляпа, и провинциальное произношение, и смешная манера кланяться, и непростительно громкий голос; каждое из этих замечаний было ударом по самолюбию Минны, причем свои замечания г-жа Керих обычно бросала вскользь, на ходу; ни разу не приняли они формы прямого осуждения, и когда рассвирепевшая Минна грудью вставала на защиту Кристофа, мать с самым невинным видом меняла тему разговора. Но капля яда, оброненная в душу Минны, оказывала уже свое действие.

Минна стала глядеть на Кристофа менее снисходительным оком. Он смутно чувствовал это и беспокойно допытывался у Минны:

— Почему вы так на меня смотрите?

И она отвечала:

— Ни почему.

А когда, поверив ее словам, Кристоф начинал шумно радоваться, она упрекала его за дикий смех. Мальчик решительно становился в тупик: никогда он не думал, что при Минне нужно следить даже за тем, как смеешься; вся его радость разом меркла. Или когда, забыв все на свете, он с увлечением разглагольствовал перед Минной, та вдруг с рассеянным и небрежным видом прерывала беседу и указывала на какую-нибудь погрешность в его туалете или наставительно перечисляла все тривиальные выражения, какие позволял себе употреблять Кристоф. Всякое желание разговаривать пропадало, а иногда Кристоф начинал злиться. Но тут же принимался доказывать себе, что эти столь раздражавшие его выходки — не что иное, как знак заинтересованности Минны в его персоне, да и она тоже старалась убедить себя в этом. В своем смирении Кристоф доходил до того, что пытался даже извлечь пользу из ее наставлений. Но Минне это отнюдь не льстило: слишком ясно было, что Кристофу ничто не идет впрок.

Однако и Кристоф, да и сама Минна не успели заметить происшедшей в ней перемены. Наступила пасха, и Минне вместе с матерью предстояло ненадолго поехать к родным, куда-то поблизости от Веймара.

В последнюю перед разлукой неделю к детям вновь вернулась утраченная сердечная близость первых дней. Не считая двух-трех вспышек, Минна относилась к Кристофу нежно, как никогда. Накануне отъезда они долго гуляли в саду; Минна с таинственным видом потащила Кристофа за собой в беседку и одела ему на шею маленький надушенный мешочек, куда зашила свой локон; снова начались клятвы в вечной любви, обещания писать друг другу ежедневно, и была даже выбрана на небесном своде звезда, дабы каждый вечер обоим глядеть на нее в назначенное время.

Роковой день настал. Десятки раз Кристоф просыпался ночью и с тоской думал: «Где-то она будет завтра?» Утром он сказал себе: «Сегодня!.. Сейчас она еще здесь, а вечером ее уже не будет!» — и побежал к Керихам, хотя не было и восьми часов. Минна еще не вставала. Напрасно Кристоф заставлял себя прогуливаться по аллеям — он не выдержал и снова бросился в дом. В коридоре лежали чемоданы и тюки. Кристоф уселся в уголке гостиной, жадно ловя каждый звук, вслушиваясь в скрип половиц, стараясь распознать шаги на втором этаже. Мимо него прошла г-жа Керих; она чуть заметно улыбнулась и на ходу кинула ему насмешливо: «С добрым утром».

Наконец появилась Минна, бледная, с опухшими глазами: она, как и Кристоф, тоже не спала всю ночь. С озабоченным видом она отдавала распоряжения прислуге и протянула руку Кристофу, не прерывая разговора по хозяйству со старухой Фридой. К отъезду она уже приготовилась. Снова показалась г-жа Керих. Мать и дочь заспорили о какой-то шляпной картонке. Минна словно не замечала Кристофа, а он, забытый всеми и несчастный, сидел в уголке у пианино. Минна вышла из гостиной вслед за матерью и тут же возвратилась, крикнув что-то с порога г-же Керих. Затем она прикрыла дверь. Дети остались одни. Вдруг Минна бросилась к Кристофу, схватила его за руку и увлекла за собой в маленькую соседнюю комнату, где уже закрыли ставни. Тут она внезапно приблизила свое лицо к лицу Кристофа и крепко поцеловала его. Сквозь слезы она спрашивала:

— Ты обещаешь, обещаешь любить меня вечно?

Оба потихоньку рыдали, делая судорожные усилия заглушить всхлипывания. В соседней комнате раздались шаги, и Минна выпорхнула прочь. Утерев глаза, она снова важно заговорила с прислугой; и хотя губы ее улыбались, голос дрожал.

Кристофу удалось незаметно спрятать в карман носовой платочек, который она обронила,— маленький, грязный, смятый платочек, весь мокрый от слез.

Вместе со своими друзьями, в их карете, Кристоф отправился на вокзал. Несчастные дети, сидя друг против друга, не смели поднять глаза из боязни разреветься. Их руки украдкой встречались, они обменивались крепкими до боли пожатиями. Г-жа Керих смотрела на них с лукавым, добродушно-ироническим видом и притворялась, что ничего не замечает.

Наконец пробил час отъезда. Поезд тронулся, и Кристоф, стоявший у окна, побежал рядом с вагоном, не глядя перед собой, толкая носильщиков, не отрывая глаз от глаз Минны. Он бежал, пока поезд не миновал платформу, бежал, пока последний вагон не скрылся из виду. Только тут он, задыхаясь, остановился и, оглядевшись, увидел, что стоит на самом краю дебаркадера среди равнодушной толпы провожающих. Он побрел домой; к счастью, никого из родных дома не оказалось, и он проплакал все утро.

Так, в первый раз Кристоф познал страшное горе разлуки, боль, непереносимую для любящих сердец. Пуст мир, пуста жизнь, пустота кругом. Сердце так сжимается, что нельзя ды-

шать,— тобой овладевает смертельная тоска. Особенно когда на каждом шагу, в любой мелочи ощущаешь еще такое недавнее присутствие любимой, когда все окружающее вновь и вновь вызывает ее милый образ, когда ты остался среди привычной обстановки, где вы были вместе, когда сам ты с каким-то ожесточением стараешься пережить вновь в дорогих тебе местах исчезнувшее счастье. Тогда словно бездна разверзается под ногами; склоняешься над ней, не в силах сдержать головокружение, знаешь, что сейчас упадешь, и действительно падаешь. Кажется, что видишь лицом к лицу смерть. Да и впрямь видишь смерть, ибо разлука — лишь одно из ее обличий. Видишь воочию, как исчезает то, дороже чего не знало сердце; уходит сама жизнь — вместо нее черная яма, небытие.

Чтобы острее почувствовать боль, Кристоф обошел все их любимые уголки. Г-жа Керих оставила ему ключ, и он мог в любое время бродить по их саду. Он пошел туда в первый же день и едва не задохся от муки. Он надеялся обрести хотя бы частицу той, что уехала, но обрел больше, чем мог вместить; образ любимой витал над каждой лужайкой; с замиранием сердца он ждал, что вот-вот появится она из-за поворота аллеи, хотя знал, слишком хорошо знал, что она не появится; и замучил себя, стараясь найти ее там, где все еще дышало их любовью. Вот они — их дорожка в лабиринте, вот склон, усаженный глициниями, вот скамейка в беседке; и с каким-то палаческим упорством он повторял: «Неделю назад... три дня назад... вчера, вчера еще она была здесь... даже сегодня утром еще была...» Он так натрудил бедное свое сердце этими мыслями, что вынужден был присесть: он задыхался, он умирал. К скорби примешивался гнев на самого себя, на прекрасные, втуне потерянные дни, которыми он не сумел воспользоваться. Сколько минут, сколько часов наслаждался он беспредельным счастьем, видел ее, вдыхал, впитывал в себя все ее существо! И не оценил этого! Позволял зря убегать времени, не упившись каждой минутой, каждым мигом! А сейчас? А сейчас слишком поздно! Непоправимо поздно! Непоправимо!

Кристоф пошел домой. Родные вызывали в нем неприязненное чувство. Он не мог больше выносить их лица, их жесты, их несносные разговоры — все те же разговоры, которые велись вчера, велись позавчера, велись тогда, когда она еще была здесь. Они продолжали жить своей обычной жизнью, словно и не совершилось рядом с ними ни с чем не сравнимого несчастья. И город тоже не подозревал о муках Кристофа. Люди шли по своим делам,— шли смеющиеся, шумные, озабоченные; все так

же пели сверчки, все так же безоблачно было небо. Кристоф ненавидел всех их; ему казалось, будто он не выдержит этого всеобщего эгоизма. Но сам Кристоф был бóльшим эгоистом, чем все эгоисты, вместе взятые. Он теперь ничем не дорожил. Куда исчезла былая доброта! Былая любовь к людям!

Наступила́ череда унылых дней. Как автомат, выполнял он свои обязанности, но для настоящей жизни ему не хватало мужества.

Как-то вечером, когда Кристоф сидел в кругу семьи, молчаливый и подавленный, у дверей постучался почтальон и вручил ему письмо. Сердце узнало его раньше, чем он успел взглянуть на почерк. Четыре пары глаз устремились на Кристофа с нескромным любопытством, в надежде, что он сейчас прочтет письмо вслух, развлечет их, рассеет их вечную скуку. Кристоф молча положил письмо у прибора; он заставил себя не прикоснуться к конверту, сидел с равнодушным видом, словно давно знал, что там написано. Но братья надулись и, не поверив игре Кристофа, зорко следили за ним, так что до конца обеда он терпел самую настоящую пытку. Только когда встали из-за стола, он смог уйти к себе и запереться на ключ. Сердце билось, как бешеное, и, вскрывая конверт, он чуть было не порвал вложенный туда листок. Он дрожал с головы до пят, не зная, что готовит ему судьба, но, прочитав первые строчки, весь отдался во власть своей радости.

Письмо было недлинное, но очень нежное. Минна опустила его потихоньку от матери. Она писала: «Дорогой мой Кристоф» — и сообщала, что много плакала, что каждый вечер глядит на звезду, что она была во Франкфурте, что Франкфурт — грандиозный город и магазины там замечательные, но она ничего не заметила, так как думает только о нем, о Кристофе. Она напоминала Кристофу, что он обещал хранить ей верность и ни с кем не видеться в ее отсутствие, дабы все время думать только о ней одной. Ей очень хотелось бы, чтобы до ее возвращения Кристоф работал как можно больше и скорее стал знаменитым, и она тоже много занимается. В заключение Минна спрашивала, не забыл ли он маленькой гостиной, где они попрощались в день отъезда, и просила как-нибудь утром зайти туда, ибо, уверяла Минна, она будет там мысленно и снова попрощается с ним, как попрощалась тогда. Подписалась она: «Навеки твоя! Навеки...» А в постскриптуме советовала Кристофу купить соломенное канотье вместо противной фетровой шляпы — все порядочные люди носят здесь канотье; лучше всего купить канотье из крупной соломки с широкой синей лентой.

Кристоф четыре раза перечел письмо, прежде чем понял его содержание. Он был ошеломлен, у него не хватало сил даже радоваться; он вдруг почувствовал такую усталость, что лег в постель и стал перечитывать письмо, каждую минуту прижимая листок к губам. Потом засунул конверт под подушку и все время тревожно ощупывал, на месте ли его сокровище. Неизъяснимое блаженство снизошло на него. Он заснул и сладко проспал до утра.

Снова можно было жить. Вокруг него витали мысли его верной Минны. Кристоф засел за ответное письмо; но он не вправе был писать обо всем открыто, он обязан был таить свои чувства, а это давалось ему мучительно, с огромным трудом. Он пытался — и весьма неуклюже — скрыть свою любовь под общепринятыми церемонно-вежливыми фразами, которые и всегда-то звучали нелепо в его устах.

Отправив письмо, он стал ждать ответа и жил теперь только этим ожиданием. Надо было набраться терпения, и он пытался гулять, читать, но думал лишь о Минне, настойчиво, с трепетом повторял ее имя, как маньяк, как идолопоклонник; он боготворил это имя и повсюду таскал с собой в кармане томик Лессинга только потому, что там упоминалось имя «Минна»; каждый день, выходя из театра, он делал большой крюк, лишь бы пройти мимо галантерейного магазина, где на вывеске были начертаны пять обожаемых букв. Он упрекал себя за рассеянный образ жизни, а ведь Минна хотела, чтобы он работал, чтобы поскорее стал знаменитым. Наивное тщеславие, сквозившее в этой просьбе, трогало его как знак доверия. И он решил в ответ создать произведение, в котором Минна присутствовала бы не только в посвящении, но и в каждой ноте. Да он и не мог бы сейчас заниматься ничем иным. Едва только он набросал несколько первых тактов, как музыка нахлынула на него. Словно масса воды, месяцами скапливавшаяся в водоеме, вдруг разом выступила из берегов, сметая плотину. Целую неделю он не выходил из комнаты. Луиза молча ставила обед перед дверью, потому что он не впускал ее к себе.

Кристоф написал квинтет для кларнета и струнных инструментов. Первая часть была поэмой надежд и юношеских желаний, в последней части — любовная шутка, где звучал немного диковатый юмор, свойственный Кристофу. Но весь квинтет написан был ради средней части, *ларгетто,* в нем Кристоф изобразил юную, пламенную и наивную душу, вернее говоря, портрет Минны. Никто бы ее не узнал, и сама Минна меньше прочих; но Кристоф узнал ее сразу, и это было главное, он испытывал

сладостный трепет, воображая, что завладел существом любимой. Ни одна работа не давалась ему так счастливо легко, в ней нашло себе выход чувство любви, теснившее грудь в разлуке, и в то же время забота о самом искусстве, которое требует от художника умения совладать со своей страстью и вложить ее в ясную и совершенную форму, давала прекрасное ощущение духовного здоровья, гармонию всех природных данных и доставляло Кристофу чисто физическое наслаждение. Высшее наслаждение, знакомое каждому художнику в минуты творчества: пока он творит, он перестает быть рабом желаний и тоски,— он сам их господин; и все, что приносило ему радость, и все, что причиняло ему горе,— отныне для него лишь проявления его свободной воли. Как кратки эти мгновения и какими тяжелыми кажутся после них цепи действительности!

Пока Кристоф был занят своим квинтетом, у него почти не оставалось времени, чтобы думать о разлуке с Минной,— он жил подле нее. Минна уже перестала быть Минной, а стала частью его самого. Но когда квинтет был окончен, Кристоф снова почувствовал себя одиноким — еще более, чем раньше, еще более усталым, исчерпанным до дна; он вспомнил, что две недели не писал Минне и что она не ответила ему.

Кристоф послал ей второе письмо, и на сей раз не мог принудить себя остаться в рамках, которыми сам себя ограничил в первом послании. Он упрекал Минну — правда, шутливо, потому что сам тому не верил,— что она его совсем забыла. Поддразнивал ее за леность и ласково выговаривал ей. О своей работе он сообщил весьма таинственно, желая возбудить ее любопытство и сделать ей к приезду сюрприз. В мельчайших подробностях описал он свою новую шляпу и добавил, что, повинуясь приказу маленького деспота,— ибо он писал это письмо с величайшей осторожностью,— не выходит из дому и даже сказался больным, лишь бы не принимать ничьих приглашений. Он умолчал, однако, о том, что отношения его с герцогом испортились, так как он переусердствовал и разрешил себе не явиться в замок на музыкальный вечер, хотя и был туда зван. Все письмо было составлено в тоне милой непринужденности и полно невинных тайн, столь любезных сердцу влюбленных: Кристоф воображал, что одна лишь Минна поймет его, и гордился своей ловкостью, так как сумел заменить слово «любовь» словом «дружба».

Отослав письмо, Кристоф почувствовал огромное облегчение, потому что переписка давала иллюзию живого разговора с

отсутствующей, а особенно потому, что не сомневался в немедленном ответе Минны. Поэтому он был на редкость терпелив в течение трех дней, которые отпустил почтовому ведомству на то, чтобы доставить его письмо Минне и ответ Минны ему. Но к концу четвертого дня снова стало невозможно жить. Пропала вся энергия, ничто его не занимало, и он оживал только за час до предполагаемого появления почтальона. Тут его начинала бить дрожь нетерпения. Он становился суеверным и в любых мелочах — в потрескивании дров в камине, в случайно услышанном слове — искал знака, предвещающего получение письма. Но срок проходил, и он снова впадал в угнетенное состояние. Работа, прогулки были заброшены; единственной целью жизни стало ожидание почтальона, и все силы Кристофа расходовались на то, чтобы выдержать это ожидание. Но когда наступал вечер и прошедший день не оправдывал надежд, Кристофа охватывало уныние; ему казалось, что он ни за что не доживет до завтра, и он часами сидел за столом, ни с кем не разговаривая, ни о чем не думая, не имея даже силы подняться и пойти спать; только усилием воли он заставлял себя добраться до постели, а улегшись, забывался в тяжелой полудремоте, приносившей такие нелепые сновидения, что, казалось, ночь никогда не кончится.

Это постоянное ожидание стало под конец физической пыткой, настоящим недугом. Кристоф начал подозревать отца, братьев, даже почтальона, что они получили письмо и спрятали. Тревога изводила Кристофа. В верности Минны он не сомневался ни на минуту. Раз она не пишет, значит, она заболела, умирает, может быть, уже умерла. Он судорожно схватил перо и написал третье послание — всего несколько взволнованных строк; и на этот раз не думал ни об орфографии, ни о необходимости скрывать свои чувства. Надо было спешить, чтобы не опоздать к моменту выемки писем из почтового ящика, и письмо получилось с помарками, листок он помял, вкладывая в конверт, а конверт испачкал, запечатывая,— ну, да бог с ним! Он не дотянул бы до следующего дня. Он побежал на почту и только там опустил письмо и снова стал ждать, замирая от гнетущей тоски. На вторую ночь ему так ясно привиделась Минна: она была больна, призывала его; он вскочил с постели и хотел сейчас же бежать к ней, быть с ней. Но куда? Где найти ее?

На четвертое утро наконец-то пришел ответ от Минны — всего на полстраничке, холодный и чопорный. Минна писала, что не понимает, откуда у Кристофа такие нелепые предчувст-

вия, что здоровье ее в полном порядке, что ей просто нет времени писать и что она просит впредь не впадать в такой неумеренный тон и вообще прекратить переписку.

Кристоф был подавлен. Ни на минуту не разуверился он в искренности чувств Минны. Он обвинял только себя, решил, что Минну рассердили его неосторожные и глупые письма. Он обзывал себя дурнем, со злости бил себя кулаками по голове. Но все напрасно: ему пришлось понять, что Минна не любит его так, как он любит Минну.

Потянулись несказанно мрачные дни. Разве опишешь небытие? Лишившись последнего, что привязывало его к жизни,— переписки с Минной, Кристоф жил теперь машинально и чувствовал, что оживает только вечером, перед сном, когда с замиранием сердца он, словно школьник, вычеркивал в своем календаре еще один нескончаемо долгий день, отделявший его от свидания с Минной.

Назначенный день приезда уже давно прошел. Дамы Керих должны были вернуться еще неделю назад. Уныние Кристофа сменилось лихорадочным возбуждением. Уезжая, Минна обещала известить его о дне и часе прибытия. Он ждал этой весточки с минуты на минуту, чтобы тут же броситься к ним; и терялся в догадках, стараясь объяснить себе их запоздание.

Однажды к вечеру, после обеда, их сосед по дому, старый дедушкин друг, обойщик Фишер, заглянул, по обыкновению, к Крафтам выкурить трубочку и поболтать с Мельхиором. Кристоф, который не находил себе места, случайно сошел в столовую, напрасно прождав целый день почтальона. Вдруг он вздрогнул — Фишер сказал, что завтра рано утром ему велено прийти к Керихам: надо повесить гардины. Кристоф вскочил с места.

— Значит, они вернулись?

— Ах ты, притворщик! — насмешливо сказал старик Фишер.— Будто сам не знаешь. Давно уже приехали. Еще позавчера.

Дальнейшего Кристоф не слышал. Он выбежал из комнаты и начал быстро переодеваться. Луиза, несколько дней украдкой следившая за сыном, остановила его в коридоре и робко осведомилась, куда он идет. Кристоф не ответил. Он слишком страдал.

Он побежал к Керихам. Было девять часов вечера. Мать и дочь сидели в гостиной и, казалось, нимало не удивились появлению Кристофа. Они спокойно поздоровались с ним. Минна, не отрываясь от письма, которое она усердно писала, протянула ему через стол руку и рассеянно спросила, что нового. Впрочем, она тут же извинилась за свою невежливость и сделала вид, что слушает рассказ Кристофа; однако немедленно прервала его, спросив что-то у матери. Кристоф приготовил десятки трогательных фраз, долженствовавших объяснить Минне, как страдал он в разлуке, но теперь с трудом пробормотал несколько слов; разговор не поддержали, да и у него самого не хватило мужества продолжать — уж очень все получилось фальшиво.

Кончив письмо, Минна взяла работу, уселась неподалеку от Кристофа и начала рассказывать об их путешествии. Она говорила, как весело и приятно провела время, говорила о прогулках верхом, о жизни в замке, об интересных знакомствах; мало-помалу она воодушевилась и, забыв о собеседнике, вскользь бросала какую-нибудь непонятную для Кристофа фразу о событиях и людях, которых он не знал; и мать и дочь весело смеялись своим воспоминаниям. Кристоф чувствовал себя совсем чужим и, не зная, как лучше держаться, тоже смеялся, но смеялся принужденно. Он, не отрываясь, смотрел на личико Минны, как милостыню вымаливая ее взгляды. Но когда Минна изредка подымала на него глаза,— она обращалась чаще к матери, чем к Кристофу,— он ловил на себе лишь любезный и равнодушный взор. Старалась ли она усыпить подозрения матери, или он просто ничего не понимал? Ему хотелось поговорить с Минной наедине, но г-жа Керих ни на минуту не выходила из комнаты. Кристоф попытался перевести разговор на близкие ему темы, заговорил о своей работе, о своих планах; он смутно понимал, что Минна ускользает от него, и, повинуясь инстинкту, пытался пробудить в ней интерес к своей особе. И действительно, ему показалось, что Минна стала слушать его внимательнее; хотя она и прерывала его рассказ различными, не всегда идущими к месту, восклицаниями, в голосе ее зазвучал интерес. Но как раз в ту минуту, когда к нему вернулись надежды, когда он опьянел от счастья, увидев ее прелестную улыбку, Минна вдруг прикрыла ротик рукой и зевнула. Кристоф замолчал. Минна заметила это и мило извинилась, сославшись на усталость. Кристоф поднялся с места, надеясь, что его попросят остаться. Но никто не попросил. Он стал медленно раскланиваться, рассчитывая получить приглашение на завтра, но приглашения не последовало. Надо было идти домой. Мин-

F.M.

«Жан-Кристоф». Книга третья.

на, против обыкновения, не проводила его до передней. Только равнодушно протянула ему руку, и рука ее холодно ответила на его пожатие; пришлось распрощаться с дамами в гостиной.

С тоскою в сердце вернулся он домой. От той Минны, которую он знал еще два месяца назад, от его ненаглядной Минны не осталось ничего. Что же произошло? Что с нею? Несчастный подросток, он ничего не знал о непрерывных переменах, происходящих в живой душе, о ее способности начинать новое существование и даже перестать существовать вовсе, не знал о том, что душа — это по большей части целый сонм различных душ, сменяющих друг друга, преобразующихся и постоянно угасающих,— эта простая истина была слишком жестока, чтобы он мог решиться в нее поверить. Он с ужасом отвергал эту мысль и старался убедить себя, что чего-то не понял, что Минна все та же. Он решил завтра же пораньше отправиться к Керихам и любой ценой поговорить с Минной наедине.

Кристоф не спал всю ночь. Он слышал, как били башенные часы. На заре он уже бродил вокруг дома Керихов и при первой возможности явился туда. Но увидел не Минну, а г-жу Керих, как обычно, уже на ногах и уже за работой,— она поливала из графина цветы на веранде. Заметив Кристофа, она насмешливо улыбнулась.

— А, это вы! — произнесла она.— Вы пришли очень кстати: я как раз хотела поговорить с вами. Подождите-ка минутку.

Она скрылась в комнаты, поставила на место графин, вытерла мокрые руки, а затем вышла на веранду и снова чуть улыбнулась, заметив смущенную физиономию Кристофа, который предчувствовал надвигавшуюся беду.

— Пойдемте в сад,— сказала она.— Там нам никто не помешает.

Они вышли в сад, где все еще напоминало Кристофу о его любви, и он молча зашагал вслед за г-жой Керих. А она не торопилась начинать разговор, забавляясь смятением мальчика.

— Давайте присядем здесь,— сжалилась она наконец.

Они уселись на ту самую скамейку, где накануне отъезда Минна протянула ему свои губки.

— Надеюсь, вы понимаете, о чем пойдет речь,— начала г-жа Керих, рассчитывая, что ее торжественный тон усугубит смущение Кристофа.— Я этого от вас, Кристоф, никак не ожидала. Я считала вас серьезным мальчиком. Всегда вам доверяла.

И никогда не думала, что вы злоупотребите моим доверием и попытаетесь вскружить голову моей дочери. Я полагалась на ваше благоразумие. Вы должны были ее уважать, уважать меня, уважать, наконец, самого себя.

В голосе г-жи Керих слышались иронические нотки: она не придавала ни малейшего значения этой полудетской любви, однако Кристоф не почувствовал иронии и воспринял упреки трагически, как воспринимал все на свете, всем своим сердцем.

— Но, сударыня,— пробормотал он, и слезы выступили у него на глазах.— Я никогда не злоупотреблял вашим доверием... Прошу вас, не думайте, что я... Клянусь, я честный человек. Я люблю фрейлейн Минну, я люблю ее всей душой и хочу на ней жениться.

Госпожа Керих улыбнулась.

— Нет, мой бедный мальчик,— произнесла она благожелательно, но с оттенком неприметного презрения, и Кристоф впервые услышал эту презрительную нотку,— нет, это невозможно, все это просто ребячество.

— Но почему же? Почему? — допытывался он.

Кристоф схватил г-жу Керих за обе руки, не веря, что она говорит серьезно,— так ласково звучал ее голос. Г-жа Керих, все так же приветливо улыбаясь, ответила:

— Потому.

Кристоф настаивал. Тогда насмешливо, не щадя его самолюбия,— г-жа Керих отнюдь не собиралась принимать всерьез чувства Кристофа,— она заявила, что он беден, что у Минны совсем иные вкусы и привычки. Кристоф страстно доказывал, что это ничего не значит, что он будет богат, знаменит, он добьется славы, почета, денег — всего, чего только хочет Минна. Г-жа Керих позволила себе усомниться в словах Кристофа, ее забавляла эта молодая самоуверенность, и, не возражая прямо, она отрицательно покачала головой. Но Кристоф упорствовал.

— Нет, Кристоф,— произнесла она решительным тоном.— Нет, не стоит нам с вами даже спорить. Это невозможно. Тут вопрос не только в деньгах. Есть еще очень многое!.. Ваше положение...

Госпоже Керих не пришлось кончить начатой фразы. Слова ее, как иголка, пронзили Кристофа до мозга костей. У него вдруг открылись глаза. В дружелюбной улыбке он прочел иронию, в благожелательном взгляде — холодное презрение и понял, сколь многое отделяет его от этой женщины, которую он

любил, как сын, и которая, казалось, сама относилась к нему по-матерински; он понял вдруг, что она любила его, но любовью покровительственной и слегка пренебрежительной. Он вскочил со скамьи бледный как полотно. А г-жа Керих продолжала что-то ласково говорить, но все было кончено — для него уже не существовало музыки ее речей, в каждом слове он обнаруживал черствость этой изящной души. Слова не шли у него с языка. Он убегал. Все кружилось вокруг него.

Дома он бросился на кровать, и, как в раннем детстве, его охватили судороги гнева и уязвленной гордости. Он кусал угол подушки, он засунул в рот носовой платок, чтобы заглушить рвавшиеся из груди крики. Он ненавидел теперь г-жу Керих. Он ненавидел Минну. Он страстно презирал их обеих. Кристофу казалось, что ему надавали пощечин; он трясся от стыда и ярости. Необходимо было отвечать, действовать немедленно. Если он не отомстит, он умрет.

Он вскочил с постели и написал бешеное до глупости письмо:

«Сударыня!

Не знаю, чем, как Вы говорите, я обманул Вас. Но я знаю, что я сам жестоко в Вас обманулся. Я верил, что вы мои друзья. Вы сами об этом говорили, вы притворялись друзьями, а я любил вас больше жизни. Теперь я вижу, что все это одна ложь, и ваша любовь ко мне — сплошной обман: я был вам нужен, я вас забавлял, развлекал вас, я играл вам на рояле, я был для вас слугой. Но я не был и не буду вашим слугой, не буду ничьим слугой!

Вы мне слишком жестоко дали понять, что я не имею права любить Вашу дочь. Ничто на свете не помешает моему сердцу любить того, кого оно любит, и, если я не принадлежу к Вашему кругу, я не менее благороден, чем Вы. Человека делает благородным сердце: хоть я и не граф по рождению, во мне, быть может, больше благородства, чем во всех графах, вместе взятых. Кто бы меня ни оскорблял — лакей или граф — я презираю его. Презираю, как прах своих ног, все, что почитает себя благородным, но не обладает подлинным благородством души.

Прощайте. Я не тот, за кого Вы меня принимали. Вы меня обманули. Я презираю Вас.

Тот, кто любит вопреки Вам и кто будет любить до последнего издыхания фрейлейн Минну, *потому что она принадлежит ему* и никто не может ее у него отнять».

Но едва письмо было опущено в ящик, как Кристоф похолодел от страха. Что он наделал? Он старался не думать о своем письме, но отдельные фразы приходили ему на память; он обливался холодным потом при мысли, что г-жа Керих прочла весь этот бред. В первые часы его еще поддерживало отчаяние, но уже на следующий день он понял, что из-за своего письма он навсегда будет разлучен с Минной, а это было самым ужасным несчастьем. Он еще надеялся, что г-жа Керих, зная его несдержанный нрав, и на сей раз не примет всерьез его нелепой выходки, что все ограничится суровым выговором и — кто знает? — она, быть, может, будет тронута такой искренней страстью. Одно слово, и он бросится к ее ногам. Он ждал этого слова пять дней. На шестой пришло письмо. Оно гласило:

«Дорогой господин Кристоф!

Поскольку, по Вашему мнению, между нами (по чьей вине — не важно) произошло недоразумение, благоразумнее всего было бы покончить с ним немедля. Могу ли я навязывать Вам отношения, ставшие для Вас столь тягостными? Конечно, нет. Следовательно, Вы сочтете вполне естественным прекращение этих отношений. Надеюсь, в скором времени Вы приобретете новых друзей, которые сумеют оценить Вас, как Вам того желательно. Верю, что Вас ждет славное будущее, и всегда буду с симпатией следить издали за успехами Вашей музыкальной карьеры.

Остаюсь Ваша *Иозефина фон Керих*».

Самые горькие упреки звучали бы не так жестоко. Кристоф понял, что все пропало. Можно ответить на несправедливое обвинение. Но как бороться против небытия, против этого вежливого равнодушия? Он сходил с ума. Он думал о том, что не увидит больше Минны, не увидит никогда, и не мог перенести этой мысли. Понял, как ничтожно мала вся гордыня мира в сравнении с одной каплей любви. Он забыл все свое достоинство, он малодушно слал письмо за письмом, вымаливая прощение. И письма эти были не умнее того, которое он послал г-же Керих под горячую руку. Ответа не последовало. Этим было сказано все.

Кристоф чуть не умер. Он хотел убить себя. Убить кого-нибудь. По крайней мере, воображал, что хочет. Он мечтал о поджогах, преступлениях. Взрослые не знают, как сильны при-

ступы любви и ненависти, испепеляющие подчас сердце ребенка: пожалуй, это был один из самых страшных кризисов его детства. И кризисом этим кончилось его детство. Закалилась воля. Но пережитые испытания чуть было не сломили ее навсегда.

Он не мог больше жить. Опершись на подоконник, он часами смотрел на вымощенный плитами двор и думал, как и в детстве, что есть средство освободиться от пытки жизни, когда пытка эта становится слишком непереносимой. И средство это здесь, внизу, у него перед глазами, верное и быстрое... Быстрое ли? Кто знает... А если часы — целые века — жестоких страданий?.. Но так сильно было его детское отчаяние, что он даже не сопротивлялся этим доводящим до головокружения мыслям.

Луиза видела, что Кристоф страдает. Она не могла знать точно, что происходит в сердце сына, но материнским чутьем смутно угадывала опасность. Она пыталась приласкаться к сыну, узнать, в чем его горе, утешить. Но бедняжка давно отвыкла говорить по душам с Кристофом; уже много лет, как он замкнулся, скрывал от нее свои мысли; а мать, поглощенная повседневными заботами, не имела времени задумываться над тем, что он чувствует. Теперь же, когда ей так хотелось помочь Кристофу, она не умела к нему приступиться; она как неприкаянная бродила вокруг него — ей хотелось найти нужные слова, от которых Кристофу станет легче; но она не осмеливалась начать разговор из боязни рассердить сына, и несмотря на все маневры матери, само ее присутствие, ее вид раздражали Кристофа, ибо Луиза была не очень-то ловка, а он не очень-то снисходителен. Однако он любил мать, они любили друг друга. Но какой малости подчас достаточно, чтобы разлучить два дорогих друг другу существа! Слишком громкое слово, резкий жест, самая безобидная привычка, подергивание века или ноздри, манера есть, ходить и смеяться, просто присутствие другого человека, вызывающее непонятную физическую скованность! Сколько ни убеждаешь себя, что все это пустяки, однако это целый мир. Иногда из-за пустяков мать и сын, братья, близкие, друзья на всю жизнь остаются далекими и чужими.

Итак, Кристоф не мог найти в материнской любви опоры, которая помогла бы ему пережить кризис. Впрочем, какую цену имеет любовь близкого по сравнению с эгоизмом страсти, особенно если страсть всецело поглощена самой собою!

Ночью, когда домашние спали, а Кристоф сидел у стола, не думая ни о чем, весь уйдя в свои опасные размышления, на

их тихой улочке вдруг послышались шаги, и стук во входную дверь вывел мальчика из оцепенения. В комнату донесся неясный гул голосов. Кристоф вспомнил, что отец еще не возвращался, и со злостью подумал, что опять его привели пьяного, как на той неделе, когда его подобрали на тротуаре в беспамятстве, так как в последнее время Мельхиор совсем опустился и окончательно предался своему пороку. Впрочем, его богатырское здоровье, казалось, нимало не страдало от излишеств и безобразий, которые давно убили бы другого. Ел он за четверых, пил до бесчувствия, ночами бродил под ледяным дождем, выходил невредимым из любой драки, а наутро как ни в чем не бывало вставал с постели, шумный и веселый, и требовал, чтобы все вокруг были веселы.

Луиза, услышав стук, вскочила с постели и быстро пошла отпирать. Кристоф не тронулся с места и, не желая слышать пьяного голоса Мельхиора и насмешливых замечаний соседей, заткнул себе уши...

Вдруг необъяснимая тревога сжала ему сердце; он затрясся всем телом, закрыл лицо руками. И сразу же вскинул голову, услышав раздирающий душу крик. Одним прыжком он бросился к дверям...

В коридоре, тускло освещенном дрожащим светом фонаря, среди кучки мужчин, разговаривавших вполголоса, на носилках лежало, как лежал тогда дедушка, неподвижное тело в мокрой одежде. Луиза рыдала, припав к трупу. Соседи нашли Мельхиора — он утонул в ручье у мельницы.

Кристоф закричал. Весь мир исчез, все былые муки вдруг словно вымело из его души. Он упал на тело отца рядом с Луизой, и они долго плакали вместе.

Сидя возле кровати, оберегая последний сон Мельхиора, на лице которого застыло торжественное и строгое выражение, Кристоф чувствовал, как проникает в него мрачное спокойствие смерти. Его детская страсть прошла, точно приступ лихорадки: ее унесло ледяное дыхание могилы. Минна, его гордость, его любовь, он сам... Увы, как все это мелко и ничтожно перед лицом этой реальности, единственной реальности, перед лицом смерти! Стоило ли так страдать, желать чего-то, метаться, чтобы все кончилось вот этим!

Он смотрел на спящего вечным сном отца, и бесконечная жалость овладевала им. Он вспоминал мельчайшие проявления нежности и доброты Мельхиора, так как при всех своих поро-

ках Мельхиор был человек не злой, в нем было много хорошего. Он любил семью, был по-настоящему честен. В нем жила крупица несгибаемой крафтовской порядочности, которая в вопросах морали и чести не терпит никаких попустительств и не принимает даже мелкой нравственной нечистоплотности, той самой, какую люди из общества не считают грехом. Он был храбр и встречал любую опасность чуть ли не с радостью. Он транжирил деньги на свои удовольствия, но ничего не жалел для других; он не мог видеть печальных лиц и щедрою рукой давал первому встречному бедолаге все, что ему принадлежало, а также и то, что ему не принадлежало. Все эти качества Кристоф теперь видел особенно ясно, а быть может, преувеличивал. Ему казалось, что он не знал хорошенько своего отца. Он упрекал себя за то, что недостаточно любил его. Считал теперь, что отца сломала жизнь; ему чудились сетования этой несчастной души, которую уносит течением,— души, бессильной бороться против соблазнов и оплакивающей свою потерянную жизнь. Он, корчась от боли, слышал жалобную просьбу отца, которая однажды так потрясла его.

«Не презирай меня, Кристоф».

И Кристоф мучился угрызениями совести. Он бросился на кровать и, рыдая, целовал остывшее лицо и твердил, как тогда:

— Папочка, дорогой папочка, я не презираю тебя, я тебя люблю! Прости, прости меня!

Но сетования не утихали, и снова и снова звучало тоскливое:

«Не презирай же меня, не презирай!»

И вдруг Кристоф увидел себя самого на смертном ложе, услышал страшные слова, выходящие из его собственных уст, почувствовал, как его давит отчаяние, накопившееся в течение бесплодно прожитой, безвозвратно потерянной жизни. И он подумал со страхом: «Пусть всё, любые страдания, все муки мира, только не это!» А ведь он был на один шаг от этого! Чуть не поддался искушению, чуть собственноручно не прервал своей жизни, надеясь трусливо ускользнуть от ее горестей. Ведь все горести, все измены — лишь ребяческие огорчения перед лицом той пытки, того неслыханного преступления, к которому ведет измена самому себе, отречение от своей веры, презрение к себе в свой смертный час.

Он видит, что жизнь — это битва без передышки и пощады, где тот, кто хочет стать человеком, достойным имени человека, должен неустанно бороться против целого сонма невиди-

мых врагов: гибельных сил природы, смутных желаний, темных помыслов, которые исподтишка толкают тебя на путь унижения, грозят небытием. Он видит, что чуть-чуть не попался в эту ловушку. Видит, что счастье и любовь — минутный обман — стремится обезоружить сердце и заставить сдаться. И маленький, пятнадцатилетний пуританин услышал голос бога своего:

«Иди, иди, не зная отдыха».

«Но куда идти мне, господи? Ведь что бы я ни делал, куда бы ни шел, разве конец не всегда один, разве не сбудутся сроки мои?»

«Вы, кто обречен на смерть, идите к смерти! Страдайте, обреченные на страдание! Жизнь дана вам не на радость! Жизнь дана, чтобы исполнить закон. Мой закон... Страдай! Умри! Но будь тем, кем ты должен быть: будь человеком!»

КНИГА ТРЕТЬЯ
ОТРОЧЕСТВО

ПЕРЕВОД Н. ЖАРКОВОЙ

В ДОМЕ У ЭЙЛЕРА

Дом погрузился в тишину. После смерти отца все, казалось, умерло. Сейчас, когда умолкли раскаты его громового голоса, с утра до вечера слышался только назойливый плеск реки.

Кристоф упорно трудился. С безмолвным ожесточением он карал себя за свое дерзкое желание быть счастливым. Он словно окаменел от гордыни и не отвечал ни на утешения, ни на сердечные слова. Стиснув зубы, он выполнял свои каждодневные обязанности и глядел на учеников леденяще-внимательным взглядом. А они, слышавшие о несчастье Кристофа, возмущались его бесчувственностью. И только те, кто был постарше и уже сталкивался с человеческим горем, понимал, что под этим внешним холодным спокойствием подросток скрывает душевную муку, и жалели его. А он даже не был благодарен им за это сочувствие. Музыка — и та не приносила Кристофу обычного облегчения. Он занимался музыкой без удовольствия, словно по обязанности. Казалось, он испытывал жестокую радость, ни в чем не находя или стараясь не находить отрады,— с умыслом не видел смысла в жизни и все-таки жил.

Оба младших брата, не выдержав пугающей тишины погруженного в траур дома, при первой же возможности уехали. Рудольф поступил в торговое предприятие дяди Теодора и поселился в его семье. А Эрнст перепробовал с десяток различных занятий, пока, наконец, не нанялся на пароход, ходивший между Майнцем и Кельном. О семье он вспоминал, только когда нуждался в деньгах. Кристоф остался вдвоем с матерью, в слишком теперь просторном для них доме; вечный недостаток средств, долги, обнаружившиеся после смерти Мельхиора, побудили их искать другое помещение, поскромнее да и поде-

шевле, как ни печально им было расставаться с насиженным углом.

Они подыскали квартиру в третьем этаже — две-три комнатки в одном из домов на Рыночной улице. Квартал был шумный — самый центр города, вдали от реки, вдали от деревьев, вдали от всех родных мест. Но приходилось считаться с доводами рассудка, а не с чувствами. Лишний и к тому же прекрасный повод для Кристофа ощутить нелегкую усладу уничижения. Впрочем, хозяин дома, старик Эйлер, бывший секретарь суда, был дедушкиным другом и хорошо знал Крафтов; этот довод окончательно убедил Луизу, которая растерянно бродила по опустевшим комнатам и всей душой влеклась к тому, что еще хранило память о дорогих ей существах.

Кристоф и Луиза стали готовиться к переезду. Оба без конца упивались горькой печалью последних дней, которые доживаешь у осиротевшего домашнего очага, столь милого тому, кто покидает его навеки. Даже намеком не осмеливались они выказать свою боль, стыдились ее, а быть может, и боялись. Каждый считал себя не вправе открыть свою слабость другому. Сидя за столом в мрачной комнате, при полузакрытых ставнях, они, не смея произнести ни слова, наспех проглатывали обед, стараясь даже случайно не встретиться взглядом, страшась вдруг выдать свое смятение. После обеда они тут же молча расходились; Кристоф шел по делам, но когда выпадала свободная минутка, он возвращался, тайком проскальзывал в дом и подымался на цыпочках в свою спаленку или на чердак. Там, заперев дверь, он пристраивался в углу на каком-нибудь старом чемодане или на узеньком подоконнике и сидел так без мыслей, вбирая в себя невнятные шорохи старого дома, сотрясавшегося даже от шагов на улице. И сердце его дрожало вместе с этими ветхими стенами. Он тревожно ловил легчайшие шумы, идущие с улицы или же из недр самого дома: вот хрустнула половица, вот послышались почти неуловимые и такие привычные звуки — он знал их все наперечет. Мысли его путались, уносились в прошлое, и, только когда на колокольне святого Мартина били часы, он спохватывался, вспоминал, что пора отсюда уходить.

Этажом ниже раздавались робкие шаги Луизы. Целыми часами ее не было слышно — она двигалась совсем бесшумно. Кристоф напряг слух. Он спустился, испытывая тревогу, какая долго еще таится в сердце после большого несчастья. Он заглянул в полуоткрытую дверь: Луиза сидела спиной к нему перед стенным шкафом, среди наваленного кучей старого хлама, каких-то тряпок, разрозненных подсвечников, дорогих по воспо-

минаниям вещей, которые она вытащила якобы для укладки. Но силы оставили ее — каждая вещь что-то напоминала, она долго вертела ее в пальцах и уносилась мыслями вдаль; вещица выпадала из рук, а Луиза, не замечая этого, поникнув всем телом, часами сидела, погруженная в болезненное оцепенение.

Теперь несчастная Луиза жила только прошлым, это были лучшие ее часы,— жила трудным прошлым, таким скупым на радости; но она привыкла страдать и благоговейно хранила память о малейших знаках внимания,— эти жалкие огоньки, вспыхивавшие так редко, освещали теперь ярким огнем всю ее жизнь. Зло, которое причинял ей Мельхиор, забылось, и в памяти осталась только его доброта. История их брака стала великим романом всей ее жизни. Мельхиор женился на ней из каприза и быстро раскаялся в своем поступке, а она отдала ему свое сердце, верила, что любима так же сильно, как любит сама, и чувствовала теперь к мужу только нежную благодарность. Она и не пыталась понять, почему вдруг Мельхиор покатился по наклонной плоскости. Неспособная видеть действительность такой, какова она есть, Луиза, мужественная и смиренная женщина, умела лишь переносить ее любые тяготы, и, чтобы жить, ей не требовалось понимать жизнь. А то, чего она не могла объяснить сама, она надеялась, что объяснит господь бог. В простоте благочестивой души она возлагала на господа бога ответственность за все те огорчения, что причинял ей Мельхиор и другие люди, а все хорошее, что ей делали, приписывала их доброму нраву. Поэтому жалкое существование не отравило ее душу горечью. Но, некрепкая от природы, она ослабла за эти годы лишений и утомительного труда, и теперь, когда Мельхиора не было с нею, когда оба ее младших сына выпорхнули из родного гнезда, да и третий, казалось ей, уже может обойтись без матери, Луиза как-то сразу утратила всю энергию: она чувствовала себя усталой, ей все время хотелось спать, воля сдала. На нее находили приступы неврастении, которая нередко поражает на старости лет трудолюбивых людей, когда после какого-нибудь неожиданного удара работа наша теряет всякий смысл. Ей не хватало душевных сил заштопать чулок, прибрать в шкафу, откуда она наспех вынимала какую-нибудь вещь, подняться, чтобы закрыть окно; она подолгу сидела без мыслей, без сил, все силы ее уходили теперь на воспоминания. Она сама понимала, что опустилась, и краснела, словно совершила что-то постыдное; она старалась скрыть свое состояние от сына, и Кристоф, эгоистически поглощенный собственным горем, ничего не замечал.

Правда, иногда он втайне негодовал на медлительность, с какою мать теперь разговаривала и делала самую незначительную работу, но ему не приходило в голову, как велика разница между прежней деятельной Луизой и этой вялой, еле таскающей ноги женщиной.

Эта мысль впервые поразила его лишь в тот день, когда он застал мать среди разбросанного тряпья,— тряпки лежали у ног Луизы, она держала их на коленях, не замечая, что они сползают на пол. Луиза сидела неподвижно, вытянув шею, и черты ее лица были искаженные, застывшие. Услышав шаги, она вздрогнула всем телом, бледные щеки ее порозовели, инстинктивным движением она отшвырнула прочь тряпки, попыталась их спрятать и смущенно пробормотала:

— Вот видишь, разбираюсь...

Щемящая жалость к этой бедной душе, которая угасала среди дорогих ей вещей, вдруг охватила Кристофа. Однако, желая вывести мать из апатии, он заговорил грубоватым, ворчливым тоном:

— Ну, знаешь, мама, совершенно незачем тебе целыми днями сидеть в пыли, в запертой комнате! Ведь так и заболеть недолго. Встряхнись, давай побыстрее укладываться.

— Хорошо,— покорно ответила мать.

Луиза попыталась встать, чтобы уложить разбросанное тряпье в ящик, но тут же опустилась на стул и в отчаянии выронила из рук уже сложенные вещи.

— Ох, не могу я, не могу,— простонала она,— никогда я не уложусь...

Кристоф испугался. Он нагнулся к матери, ласково провел ладонью по ее лбу.

— Мама, да что это ты? — спросил он.— Хочешь, я тебе помогу? Может быть, ты больна?

Луиза не ответила. Она рыдала без слез. Кристоф взял ее руки в свои, опустился перед ней на колени, стараясь в полумраке разглядеть ее лицо.

— Мама! — тревожно окликнул он.

Луиза, упав головой на плечо сына, горько рыдала.

— Мальчик мой,— повторяла она, прижимая Кристофа к груди,— сынок мой! Ты меня не бросишь? Обещай мне, что ты со мной не расстанешься.

Сердце Кристофа раздирала жалость.

— Да нет, мама, я всегда буду с тобой. Что это тебе взбрело на ум?

— Я так несчастна! Все меня покинули, все...

Она обвела рукой комнату, и нельзя было понять, говорит ли она о вещах, о сыновьях или об умерших.

— Ты останешься со мной? Не бросишь меня?.. Что со мной будет, если ты тоже уйдешь!

— Я не уйду. Говорю тебе: мы будем жить вместе. Не плачь, мама. Обещаю тебе.

Но Луиза не могла удержать слез. Сын отер ей глаза своим носовым платком.

— Да что с тобой, мамочка? Ты больна?

— Не знаю, сама не знаю, что со мной.

Она попыталась взять себя в руки, успокоиться, улыбнуться.

— Как я ни старалась образумиться, ничего не помогает, по любому пустяку начинаю плакать... Вот видишь, опять плачу... Прости меня, глупую. Я ведь уже старуха. Сил больше у меня нет. Ничто мне не мило. Ни на что я не гожусь. Хоть бы меня похоронили вместе с ними.

Кристоф, как ребенка, прижал ее к своей груди.

— Не мучай себя, мама. Отдохни, не думай больше...

Мало-помалу Луиза утихла.

— Мне даже стыдно, до чего все глупо получается... Но что со мной такое? Что со мной?

Эта вечная труженица не могла понять, почему силы вдруг оставили ее, и в глубине души чувствовала себя униженной. Сын притворился, что ничего не замечает.

— Ты, мама, просто немножко устала,— сказал он, стараясь говорить равнодушным тоном.— Это пустяки, вот ты сама увидишь...

Но и он тоже взволновался. С детских лет он привык видеть другую Луизу — покорную и мужественную, молча противостоящую всем испытаниям. И этот внезапный упадок сил его испугал.

Он помог матери собрать разбросанные вещи и уложить их в шкаф. Луиза не сразу решалась расстаться с какой-нибудь вещицей, но сын ласково брал ее из рук матери, и она покорно разжимала пальцы.

С этой минуты Кристоф решил как можно больше времени проводить с матерью. Окончив занятия, он не запирался в своей комнате, а сразу шел к Луизе. Он понимал, что она одинока и у нее не хватает сил переносить свое одиночество; опасно было оставлять ее одну в таком состоянии.

Вечерами Кристоф садился рядом с Луизой у открытого окна, выходившего на дорогу. Поля окутывал сумрак. Люди расходились по домам, а вдали, в городе, загорались слабые огоньки. Сколько раз мать и сын видели эту картину! Но скоро больше не увидят. Говорили они мало, перебрасывались отрывистыми фразами. Перед ними была все та же давным-давно знакомая улица, и, однако, они с неослабеваемым интересом следили за всем, что происходило там вечерами. Подолгу молчали; или вдруг Луиза без всякой видимой причины начинала рассказывать какую-нибудь бессвязную историю, почему-то пришедшую ей в голову. Теперь, когда она почувствовала подле себя любящее сердце, язык ее развязался. Она принуждала себя говорить. Давалось ей это с трудом: слишком долго она молчала, привыкнув стушевываться при домашних: сыновей и мужа она считала слишком образованными людьми, чтобы свободно с ними разговаривать, даже в их беседы не смела вмешиваться. Благоговейное внимание Кристофа — нечто ей совершенно незнакомое — хоть и было ей сладостно, но немного смущало. Луиза подыскивала слова, с трудом составляла из них фразы, однако фразы получались кургузые, туманные. Иногда ей самой стыдно было за свое косноязычие, она взглядывала на сына и вдруг замолкала, не досказав начатого. Но он нежно пожимал ей руку, и, воспрянув духом, она заканчивала рассказ. Кристофа охватывала острая жалость и любовь к этой детской и в то же время материнской душе, служившей ему когда-то надежной защитой против всех его мальчишеских бед, а теперь искавшей поддержки в сыне. И мало-помалу эта неинтересная для любого постороннего, нескончаемая болтовня стала доставлять ему грустное удовольствие; он подолгу слушал рассказы о мелких событиях этой серенькой и безрадостной жизни, имевших в глазах Луизы ни с чем не сравнимую ценность. Иногда он осторожно пытался переменить разговор и уговаривал мать лечь, опасаясь, как бы воспоминания не омрачили ее душу. Луиза разгадывала его невинные хитрости и говорила с сияющими благодарностью глазами:

— Да нет, уж поверь мне, мне так лучше, посидим еще немножко.

И они сидели, пока не наступала глубокая ночь и весь квартал не погружался в тишину. Тогда они желали друг другу спокойного сна, Луиза — с невольным облегчением, переложив на плечи сына хоть часть своих горестей, а он — чувствуя, как ему на сердце они ложатся новым грузом.

Приближался день отъезда. Накануне вечером они дольше обычного сидели в столовой, не зажигая огня. Оба молчали. Время от времени с губ Луизы срывалось жалостное: «Ах ты, боже мой, боже мой!» Кристоф старался отвлечь ее внимание всякими мелочами, заговаривал о предстоящем переезде. Луиза никак не хотела идти спать. Он ласково настаивал. Но, поднявшись в свою комнату, сам тоже лег не сразу. Высунувшись из окна, он пытался взглядом проникнуть сквозь окружающую тьму, в последний раз увидеть черный бег реки там, внизу, у самого дома. Он слушал, как в саду Керихов шумел ветер в верхушках огромных елей. Небо было совсем черное. Ни прохожего, ни торопливых шагов на улице. Начал накрапывать холодный дождь. Пронзительно заскрипели флюгера. В соседнем доме заплакал ребенок. Ночь унылой громадой нависла над землей, давила душу. Надтреснутый, однообразный звон отмечал каждый час, каждые полчаса, каждые пятнадцать минут и затихал в мрачной тишине, глубину которой подчеркивал мерный стук дождя, барабанившего по крышам и мостовой.

Кристоф продрог; холод, проникший до самого сердца, прогнал его от окна, и вдруг он услышал, как внизу тоже хлопнуло окошко. И, ложась в постель, он с горечью думал о том, что привязанность бедняков к своему прошлому оборачивается для них лишней болью, ибо они не имеют права на прошлое, в отличие от богачей; и нет у них очага, нет у них уголка на всей земле, куда бы могли они приткнуться со своими воспоминаниями, и счастливые и печальные дни бесследно уносит ветер.

На другой день под проливным дождем они перевезли свой жалкий скарб на новую квартиру. Фишер, старик обойщик, одолжил им тележку и лошадь, да и сам пришел подсобить соседям. Но всю мебель нельзя было взять с собой, новая квартира оказалась много меньше. Кристоф уговорил мать бросить негодные и ненужные вещи. Послушалась она не сразу — любая мелочь казалась ей бесконечно дорогой: колченогий столик, продырявленный стул — ничего она не желала оставлять. Наконец, Фишер, старинный дедушкин друг, что придавало ему особый авторитет в глазах Луизы, присоединил свой ворчливый голос к мольбам Кристофа. Человек добрый, он понял горе соседки и даже пообещал дать в своем сарае приют этим бесценным калекам в ожидании того дня, когда обстоятельства

позволят Крафтам их забрать. Только тогда Луиза, чуть не плача от горя, согласилась на временную разлуку.

Обоих братьев предупредили о переезде. Но Эрнст еще накануне заявил, что не сможет прийти, а Рудольф явился только на минуту, ровно в полдень; он посмотрел, как грузят мебель, дал несколько советов и удалился с озабоченным видом.

Кортеж двинулся по грязным улицам; Кристоф вел под уздцы лошадку, оступавшуюся на мокрой мостовой. Луиза шла рядом с сыном и тщетно старалась укрыть его от дождя, который все не прекращался. И какое это было мрачное новоселье — сырые стены, темные комнаты, казавшиеся еще темнее в тусклых отсветах низко нависшего неба. Сын и мать, пожалуй, не справились бы с гнетущим отчаянием, если бы не участие новых хозяев. Но вот уехала тележка, мебель кое-как втащили в комнаты. Спускалась ночь. Луиза без сил присела на ящик рядом с сыном, устроившимся на мешке; вдруг они услышали негромкий сухой кашель — кто-то постучался в дверь. Вошел старик Эйлер. Он церемонно извинился, что потревожил дорогих жильцов, и добавил, что в ознаменование счастливого события просит их сегодня отужинать вместе, по-семейному. Луиза, погруженная в свои печальные мысли, хотела было отказаться. Кристофа тоже не особенно соблазняла перспектива этого семейного сборища, но старик настаивал, и Кристоф, решив, что матери лучше провести первый вечер не наедине со своими мыслями, принудил ее принять приглашение.

Они спустились в нижний этаж, где ждала в полном сборе вся семья: старик, его дочь, его зять Фогель и внуки — мальчик и девочка чуть помоложе Кристофа. Все семейство столпилось вокруг новых жильцов, поздравляло их с переездом, участливо расспрашивало, не устали ли они, понравилось ли им новое жилище; задавались десятки вопросов, на которые оглушенный Кристоф не знал, что и отвечать, так как говорили все разом.

Суп уже дымился на столе, все уселись. Но шум голосов не стихал. Дочь Эйлера Амалия тут же пожелала ознакомить Луизу со всеми примечательными особенностями их квартала, с его топографией, перечислила привычки своего семейства и все преимущества, которые связаны с местоположением их дома; назвала час, когда приходит молочник и когда она сама подымается с постели, посоветовала, к каким поставщикам следует обращаться, и сообщила, выше каких цен она лично ни-

когда не платит. И пока не объяснила все в мельчайших подробностях, не отстала от Луизы. Полусонная Луиза пыталась сделать вид, что крайне заинтересована сообщаемыми ей сведениями, но те редкие замечания, которые она решалась делать, обнаруживали, что ничего она не поняла. Однако это лишь распалило Амалию, и, негодующе ахнув по адресу непонятливой слушательницы, она присовокупила к прежним подробностям еще десяток новых. Старик судейский толковал с Кристофом о трудностях музыкальной карьеры. Другая соседка Кристофа, дочь Амалии — Роза, тоже не закрывала рта; как только сели за стол, она заговорила, и говорила так быстро, что временами ей не хватало воздуха; задохнувшись, она останавливалась посреди начатой фразы, но быстро оправлялась и досказывала начатое. Угрюмый зять Эйлера, Фогель, подвергал критике каждое блюдо, подававшееся на стол, и это служило поводом к страстным и долгим спорам. Амалия, старый Эйлер, его внучка на минуту замолкали, чтобы снова кинуться в бой; шли бесконечные разговоры о пересоленном или недосоленном рагу, каждый взывал к соседу, и, конечно, оценки резко расходились. Каждый презирал мнение другого и почитал непогрешимым только свой собственный вкус. По всему было видно, что здесь могут спорить до второго пришествия.

В конце концов за столом воцарилось согласие — все дружно начали сетовать на тяжелые времена. Хозяева с чувством говорили о несчастье Луизы и Кристофа и хвалили его мужественное поведение в таких лестных тонах, что он даже растрогался. С каким-то наслаждением они перечисляли беды, обрушившиеся не только на их гостей, но и свои собственные, не забыв упомянуть о бедах своих друзей и своих знакомых; и все дружно заключили, что хорошему человеку всегда плохо,— легко живется только эгоистам да людям нечестным. В заключение они заявили, что жизнь вообще невеселая штука, что жить не для чего и уж лучше умереть, да, видно, на то нет воли божьей: приходится страдать и жить. Так как эти мысли отвечали теперешним пессимистическим взглядам Кристофа, он почувствовал уважение к своим хозяевам и охотно закрыл глаза на все их маленькие слабости.

Когда они с матерью поднялись в свою неубранную квартиру, оба почувствовали грусть и усталость, но зато они были не так одиноки; лежа в постели с открытыми глазами, Кристоф не мог заснуть от утомления и непривычных шумов на улице; еще долго прислушивался он к тяжелому грохоту повозок, от которого сотрясались стены, к сонному дыханию семьи,

спавшей этажом ниже, и пытался уверить себя, что будет если и не обязательно счастлив, все же не так несчастлив, как раньше, что Эйлеры неплохие люди: пусть они немного скучноваты, но они мучаются теми же муками, что и он, хотят понять его, и он их, кажется, понимает.

Наконец он забылся сном, но на заре его ждало неприятное пробуждение — отчетливо доносились голоса хозяев, уже повздоривших по какому-то поводу, и яростный скрежет насоса, предвещавший генеральную уборку лестницы и двора.

Юстус Эйлер был низенький, сгорбленный старичок, с беспокойно бегающими угрюмыми глазками, с красным, морщинистым и бугристым лицом, с беззубой челюстью и небрежно подстриженной бородкой, которую он все время теребил. Честный, даже педантично честный и глубоко нравственный человек, он был очень хорош с покойным дедушкой. Говорили, что они в чем-то похожи. И действительно, оба принадлежали к одному поколению и воспитаны были в одинаковых принципах, но Эйлеру не хватало жизненной мощи покойного Жан-Мишеля; другими словами, будучи о многих предметах одного мнения с дедушкой, Юстус, при ближайшем рассмотрении, оказывался ничуть не похожим на своего друга, так как человека формирует темперамент в еще большей мере, чем идеи; и каковы бы ни были искусственные или реально существующие различия между людьми, единственное правильное деление людей — это деление на здоровых и тех, кто не принадлежит к их числу. А Эйлер как раз и не принадлежал. О морали он говорил, как и дедушка; но мораль его существенно отличалась от дедушкиной: ей не хватало прекрасного желудка, вместительных легких, силы и жизнерадостности Жан-Мишеля. На Юстуса, да и на всех его родичей, материалу было отпущено скупо, в обрез. Прослужив сорок лет в качестве судейского секретаря и выйдя в отставку, Эйлер жестоко страдал от горького ничегонеделания, особенно непереносимого для стариков, которые не сумели накопить «на дожитье» достаточно душевных ресурсов. Все его врожденные или благоприобретенные в семье и на работе привычки придавали ему брюзгливый и педантичный вид, что в той или иной мере сообщилось и его домашним.

Зятю его, Фогелю, чиновнику герцогской канцелярии, было лет пятьдесят. Высокий, крепкий, совершенно лысый, в золотых очках, дужки которых врезались ему в виски, мужчина

вполне здоровый, он почему-то считал себя больным, да и вправду был болен, хотя ни одного из недугов, которые он сам у себя обнаруживал, у него не имелось; но какая-то озлобленность чувствовалась в нем, и одряхлел он не по возрасту от бессмысленных канцелярских занятий и сидячей жизни. Впрочем, он был крайне трудолюбив, обладал немалыми достоинствами и даже известной культурой. Но, подобно всем чиновникам, прикованным к своим канцеляриям, он пал жертвой демона ипохондрии, жертвой нелепой современной жизни. Словом, то был типичный несчастливец, из тех, кого Гете охарактеризовал, как «ein trauriger ungriechischer Hypochondrist» — «унылый и отнюдь не античный ипохондрик»,— таких поэт жалел, но всячески сторонился.

Амалия не жалела и не сторонилась своего супруга. Крепкая, шумливая и деятельная, она равнодушно выслушивала жалобы мужа, а порой даже резко их обрывала. Но при долгой совместной жизни сгибается любая воля. А когда один из супругов страдает неврастенией, с течением времени почти всегда неврастениками станут оба. Сколько ни кричала Амалия на Фогеля в силу привычки и просто необходимости, минуту спустя она сама начинала его оплакивать, и столь резкие переходы от грубых окриков к стенаниям отнюдь не способствовали улучшению состояния мужа; напротив, она лишь приумножала его недуги, раздувала любой пустяк до невероятных размеров. В конце концов она наводила тоску не только на несчастного Фогеля, который пугался, видя, как оборачиваются его жалобы в устах вторящей ему супруги, но и на всех и вся, в том числе и на себя самое. Она тоже взяла в привычку постоянно жаловаться на свое достаточно крепкое здоровье, равно как и на здоровье отца, дочери и сына. Это сделалось у нее манией: достаточно было пожаловаться в ее присутствии на какое-нибудь недомогание, как и она уже ощущала его симптомы. Обычный насморк превращался в трагедию, все становилось поводом для тревоги. Больше того, когда домашние чувствовали себя хорошо, Амалия мучилась вдвойне, ожидая неминуемых болезней. Так и проходила ее жизнь в постоянных страхах. При всем том Эйлеры чувствовали себя совсем неплохо, и, казалось, именно жалобы укрепляют их здоровье. Каждый ел, спал, работал, как положено, и жизнь шла своим нормальным ходом. Хлопотливая Амалия не находила удовлетворения в непрерывном сновании по дому с первого этажа на второй — она требовала от всех такой же непрестанной деятельности, и в доме с утра до ночи переставляли мебель, мыли

каменный пол, натирали паркеты, все время слышались громкие голоса, шаги, все время что-то сотрясалось и грохотало.

Сын и дочь, подавленные этой бурной деятельностью, которая не давала им ни минуты передышки, по-видимому, считали естественным безропотное подчинение. У мальчика, по имени Леонгард, было хорошенькое, но бесцветное личико и точные, размеренные движения. Девочка, Роза, блондиночка, с довольно красивыми глазами, голубыми, нежными и приветливыми, была бы очень недурна, особенно при свежем цвете лица и добром выражении, если бы не нос, чересчур крупный и даже немножко кривой, отчего лицо девушки казалось грубым и глуповатым. Она напоминала портрет работы Гольбейна из Базельской галереи — дочь бургомистра Мейера: вот она сидит, белесые волосы распущены по плечам, руки сложены на коленях, глаза опущены, вид смущенный — она явно стыдится своего нелепого носа. Но Роза совсем не думала о красоте носа, и ничто не мешало ей болтать с утра до ночи. Все время слышался ее голос, пронзительный, захлебывающийся, словно Роза боялась, что не успеет досказать очередную историю,— голос взволнованный и самозабвенный, не умолкавший даже после сердитых окриков матери, отца и деда, которых выводила из себя не столько болтливость девочки, как то, что за ее разговорами никто не мог вставить слова. Ибо эти превосходные люди, добрые, честные, преданные, подлинные образцы порядочности, обладая почти всеми добродетелями, не имели лишь одной — и именно той, что составляет всю прелесть жизни: добродетели молчания.

Но на Кристофа как раз нашел стих терпения. Пережитое горе умерило его нетерпимый и увлекающийся нрав. Он знал теперь на своем личном опыте, какой холодной жестокостью веет от изысканных душ, и потому особенно ценил добрых людей, отнюдь не изящных и дьявольски скучных, но имевших о жизни строгие и возвышенные представления; и раз живут они безрадостно, значит, и слабостей у них нет, думалось ему. Решив, что Эйлеры превосходные люди и должны поэтому ему нравиться, Кристоф пытался, как истый немец, убедить себя в том, что они действительно ему нравятся. Но это плохо удавалось. Кристофу не хватало того услужливого германского идеализма, который не желает видеть и не видит того, что ему неприятно замечать, из боязни нарушить удобный покой собственных суждений и внести смуту в собственную жизнь. На-

против, когда Кристоф любил людей, когда хотел их любить без всяких оговорок, он особенно ясно видел все их недостатки; и происходило это в силу бессознательной честности, неистребимой жажды правды, непримиримости, которая делала его особенно прозорливым и особенно требовательным в отношении тех, кто дорог его сердцу. Потому он вскоре почувствовал глухое раздражение против своих квартирохозяев. Обычно люди кичатся своими достоинствами, а эти выставляли напоказ самые непереносимые свои недостатки, тогда как достоинства их таились где-то очень глубоко. Так, по крайней мере, думал Кристоф и, упрекнув себя в несправедливости, решил пренебречь первыми впечатлениями и вопреки всему обнаружить те самые превосходные качества, которые его квартирохозяева скрывали столь тщательно.

Он пытался беседовать с Эйлером, а старику только того и надо было. В душе Кристоф питал к нему слабость в память дедушки, который любил Юстуса и часто его хвалил. Но добродушный Жан-Мишель, не в пример внуку, обладал счастливой способностью строить самые радужные иллюзии насчет своих друзей, и Кристоф скоро в этом убедился. Напрасно взывал он к памяти Юстуса, надеясь узнать от него что-нибудь о покойном деде. Жан-Мишель в отрывочном и скучном пересказе Эйлера получался пресный, даже почти карикатурный. Всякий раз Эйлер начинал разговор словами:

— Как я говорил твоему бедному дедушке...

Больше он ничего не помнил. Он помнил только то, что говорил сам.

Быть может, и Жан-Мишель слушал тоже только самого себя. Большинство дружб основано на взаимной снисходительности, позволяющей говорить о себе с другим. Но дедушка, с такой чистосердечной радостью пускавшийся в долгие беседы, имел, по крайней мере, неистощимый запас симпатий, щедро раздаваемых направо и налево. Его интересовало все; он жалел, что ему не пятнадцать лет и он не увидит чудесных открытий, которыми осчастливят мир новые поколения, не сможет разделить их чаяния и мысли. Дед обладал одним из ценнейших даров: с неослабевающим любопытством он следил за течением жизни, и эта свежесть чувств не только не исчезла, но, напротив, возрождалась с каждой утренней зарей. Правда, ему не хватало таланта использовать этот дар, но сколько талантливых людей могли бы ему позавидовать! Большинство людей, в сущности, умирает в двадцать — тридцать лет: перешагнув этот возраст, они становятся лишь своею собственной

тенью; всю остальную жизнь они подражают сами себе, повторяя с каждым днем все более механически и уродливо то, что уже когда-то говорили, делали, думали или любили в те времена, когда они еще были они.

Но так давно прошло то время, когда Эйлер был Эйлером, и так мало он был собой, что нынешний Эйлер — жалкий остаток прежнего — казался незначительным и чуточку смешным. Он не знал ничего, что выходило за пределы его бывшей службы или семьи, да и не хотел знать. Обо всем у него имелись свои готовые представления, которые восходили еще к дням его юности. Он почитал себя знатоком искусств, однако и здесь ограничивался десятком общепризнанных авторитетов, по поводу которых всякий раз повторял восторженные фразы; все же остальное не принималось им в расчет и просто не существовало. Когда ему говорили о современных художниках, он даже не слушал и заговаривал о другом. Утверждал, что обожает музыку, и требовал, чтобы Кристоф ему играл. Но как только Кристоф, поверив старику Эйлеру, начинал играть, старик тут же заводил громкие разговоры со своей дочерью, словно именно музыка обостряла его интерес к предметам, наиболее отдаленным от музыки. Возмущенный Кристоф вскакивал с места, не доиграв пьесы, но никто этого не замечал. Только несколько старинных вещей — счетом три или четыре,— одни действительно прекрасные, другие просто отвратительные, но все в равной мере признанные, обладали особой привилегией: их слушали в относительном молчании и безоговорочно хвалили. С первых же нот старик впадал в экстаз, на глаза его навертывались слезы — не столько потому, что он наслаждался в данную минуту, сколько в силу того, что в подобных обстоятельствах он некогда уже испытывал наслаждение. В конце концов Кристоф возненавидел любимые эйлеровские пьесы, хотя искренне ценил некоторые из них, в частности «Аделаиду» Бетховена; старик, дрожащим голоском подпевая его игре, говорил всякий раз: «Вот это настоящая музыка»,— и с презрением сравнивал ее с «теперешней мерзкой музыкой, в которой и мелодии никакой нет». Правда, современной музыки он не знал вовсе.

Зять его, человек более образованный, был в курсе современного искусства, но так получалось еще хуже,— каждое его суждение переходило в открытую брань. Ему нельзя было отказать ни во вкусе, ни в уме — но он органически не мог испытывать восхищение перед тем, что современно. С такой же страстью поносил бы он Моцарта и Бетховена, будь они его

современниками, и восхвалял бы Вагнера или Рихарда Штрауса, умри они столетие назад. Фогель с инстинктивным и мрачным упорством отказывался признавать, что сейчас, при его жизни, могут существовать живые великие люди; эта мысль была для него непереносима. Фогеля так озлобила неудавшаяся жизнь, что он старался убедить себя, будто у всех его современников жизнь тоже не удалась, что иначе и быть не может, а те, кто с этим несогласен, либо мерзавцы, либо притворщики.

Поэтому о всех новых знаменитостях он говорил тоном горькой иронии, и так как он отнюдь не был глуп, то ему с первого же взгляда удавалось обнаруживать их слабые или смешные стороны.

Каждое новое имя настораживало его, и, ничего толком не узнав, он уже бросался критиковать. К Кристофу он питал искреннюю симпатию: он верил, что этот угрюмый подросток разделяет его мрачные взгляды на жизнь и к тому же лишен всякого дарования. Ничто так не способствует сближению мелких и неудовлетворенных душ, как сознание общего бессилия. И ничто так не пробуждает вкуса к здоровью и к жизни в том, кто здоров и жизнестоек, как соприкосновение с дурацким пессимизмом людей посредственных, больных, которые, будучи несчастливы сами, отрицают счастье вообще. Кристоф испытал это на себе самом; те же мрачные мысли не раз приходили и ему в голову, но он с удивлением обнаруживал их в речах Фогеля и не узнавал их,— более того, они казались ему враждебными, оскорбляли.

Но еще больше возмущало его поведение Амалии. А ведь эта славная женщина только применяла на практике теорию самого же Кристофа насчет долга. Слово «долг» не сходило у нее с языка. Работала она с утра до ночи и требовала, чтобы все работали так же. Но работа эта отнюдь не преследовала цели сделать Амалию или ее близких более счастливыми,— напротив, целью ее неустанных трудов было создавать вокруг себя лишь неудобства, сделать жизнь как можно более неприятной, чтобы принять ее в этом виде. Ничто не могло убедить Амалию хотя бы на минуту прервать священный труд домоводства, и эта святая святых заменяла ей, как и многим женщинам, все прочие моральные и общественные обязанности. Дочь Эйлера сочла бы свою жизнь загубленной, если бы в назначенный день, в назначенный час не натирала паркетов, не мыла лестниц, не начищала до блеска дверных ручек, не выбивала с остервенением ковров, не переставляла бы стулья, столы и шкафы. Во все эти хлопоты она вкладывала немало

тщеславия. Со стороны казалось, что дело идет о ее чести. Впрочем, не в этом ли полагает огромное число женщин свою честь и не этим ли способом ее защищает? Для них честь нечто вроде мебели, которая должна бросаться в глаза своим блеском, что-то вроде превосходно натертого паркета, холодного, гладкого и скользкого.

Неукоснительное выполнение всех домашних обязанностей отнюдь не прибавляло приятности г-же Фогель. Она с головой погружалась в бессмысленные мелочи хозяйства, словно выполняла долг, завещанный ей богом. И презирала тех, кто не следовал ее примеру, кто осмеливался отдохнуть, кто умел среди работы урвать минуту радости. Она преследовала Луизу, врывалась даже в ее комнату, когда та садилась у окна помечтать немножко, не закончив работы. Луиза хотя и вздыхала, но покорялась с робкой улыбкой. К счастью, Кристоф ничего не знал. Амалия вторгалась в квартиру Крафтов, только когда за Кристофом захлопывалась входная дверь, на него самого она пока еще прямо не нападала, да он бы и не потерпел этого. Кристоф испытывал к Амалии скрытую, настороженную враждебность. И, пожалуй, меньше всего склонен был прощать ее шумливый нрав. Она выводила его из себя. Запершись в своей спальне, крохотной комнатушке с низким потолком, выходящей во двор, он плотно закрывал окно, хотя не хватало воздуху, лишь бы не слышать непрерывной возни домохозяев,— и все-таки слышал, вопреки всем принятым мерам. Помимо воли, с неестественным вниманием вслушивался он в каждый шорох, идущий снизу, и когда ненавистный голос, легко проходивший сквозь любые перегородки, после мгновенного затишья снова доносился наверх, Кристоф впадал в ярость: он орал, стучал в пол ногами, выкрикивал через стену ругательства. Но в общем шуме вспышки Кристофа проходили незамеченными: хозяева думали, что он, верно, сочиняет музыку. Кристоф посылал г-жу Фогель ко всем чертям. Тут уж не оставалось места ни для уважения, ни для почтительности. В эти минуты ему казалось, что он предпочел бы иметь дело с самой распутной и самой глупой женщиной, лишь бы только она молчала. Чего стоят все добродетели — ум и честность,— раз добродетели столь шумливы.

Ненависть Кристофа к шуму и крикам сблизила его с Лесингардом. Лишь он один среди всеобщего волнения и галдежа сидел с невозмутимо спокойным видом и не повышал голоса,

что бы ни случилось. Говорил он вежливо и размеренно, подбирая слова, и никогда не торопился. Вспыльчивой Амалии не хватало терпения дослушать сына до конца, и вся семья ахала и охала, сетуя на его медлительность. Но Леонгарда это не трогало. Ничто не могло нарушить его спокойствия и почтительной вежливости. Когда Кристоф узнал, что молодой Фогель решил избрать духовную карьеру, он еще больше заинтересовался им.

В ту пору у Кристофа сложилось довольно странное отношение к религии; он и сам не знал, как к ней относится. До сих пор у него никогда не находилось времени, чтобы подумать всерьез над этими вопросами. К тому же мешал недостаток знаний; вечные заботы, поглощавшие его с головой, трудная и полная лишений жизнь не позволяли разобраться в самом себе, привести в порядок свои мысли. Страстная натура, он постоянно переходил от одной крайности к другой — от безоговорочной веры к полному отрицанию, нимало не тревожась о том, чтобы свести концы с концами. Когда он бывал счастлив, он не думал о боге, но был склонен верить в него. Когда он был несчастлив, он думал о боге, но совсем в него не верил: ему казалась невероятной мысль, что бог может терпеть несправедливость и людское горе. Но, в сущности, не так уж он мучился этими мыслями. В глубине души он был слишком религиозен, чтобы часто думать о боге. Он жил в боге и не имел необходимости в него верить. Вера хороша для тех, кто слаб по своей природе или ослабел от бледной немочи своего существования. Такие люди тянутся к богу, как травинка к солнцу. Умирающий цепляется за жизнь. Но тот, кто сам в себе носит солнце и жизнь, не станет искать света где-то на стороне.

Если бы Кристоф жил один, он, возможно, так и не задумался бы над подобными вещами, но есть обязанности, налагаемые обществом, которые заставляют сосредоточиваться на этих ребячески наивных праздных вопросах, занимающих непропорционально большое место в жизни человека, и нельзя просто отмахнуться от них хотя бы потому, что с ними сталкиваешься на каждом шагу. Как будто нет у человеческой души, истинно благородной и здоровой, тысячи более неотложных дел, чем терзаться вопросом, существует бог или нет! Если бы еще можно было верить в бога вообще! Но надо верить именно в такого-то и притом в одного бога — определенных размеров и форм, определенного цвета или определенной расы! Однако до таких мыслей Кристоф не доходил. Христос не за-

нимал никакого места в его раздумьях о боге. Не то чтобы он не любил Христа,— он любил его, когда думал о нем; но почти никогда не думал. Иногда он даже упрекал себя за это, огорчался, что не испытывает интереса к фигуре Христа. Однако Кристоф соблюдал обряды,— все домашние строго соблюдали обряды, а дедушка беспрерывно читал Библию,— поэтому Кристоф аккуратно ходил в церковь, даже принимал участие в богослужении в качестве органиста и выполнял свои обязанности с примерной добросовестностью. Но если бы при выходе из церкви его спросили, о чем он только что думал, он встал бы в тупик. Он стал читать Священное писание, желая прояснить свои мысли, и чтение это развлекало и даже увлекало его: как любая интересная и прекрасная книга, мало чем отличающаяся от всех прочих книг, которые, однако, никому в голову не приходит называть священными. По правде говоря, если Кристоф и питал симпатию к Иисусу, то куда больше привлекал его Бетховен. Сидя за органом в церкви святого Флориана, где он играл во время воскресной мессы, Кристоф интересовался не столько службой, сколько органом, и в те дни, когда играли Баха, чувствовал бóльший религиозный подъем, чем в те дни, когда играли Мендельсона. Случалось, что богослужение приводило его в состояние религиозного экстаза. Но трудно сказать, любил ли он в эти минуты господа бога или только музыку, как пошутил однажды весьма неосторожно священник, не подозревая, какое смятение внесут в душу мальчика его слова. Другой на месте Кристофа пропустил бы шутку мимо ушей и продолжал бы жить, как живется (великое множество людей свыкается с тем, что не знает своих собственных мыслей!). Но Кристофа вечно терзала обременительная потребность в искренности, по любому поводу вызывавшая угрызения совести. И, раз начавши терзаться, он терзался уже постоянно и не мог иначе. Он мучил себя, обнаруживая чуть ли не в каждом своем поступке двуличие. Верит он или не верит? Кристофу недоставало ни внешних, ни внутренних ресурсов (ибо здесь требуются знания и досуг, чтобы одному, без посторонней помощи, решить этот вопрос. И, однако, надо было его решить. Иначе он — равнодушный или хуже того — лицемер. А он был равно неспособен ни к равнодушию, ни к лицемерию.

Кристоф старался незаметно и робко доискаться правды у окружающих — таких, казалось бы, уверенных в себе. Он жаждал узнать, на чем зиждется их вера, но не добился ничего. Никто так и не дал ему точного ответа,— обычно начинались долгие разговоры «по поводу». Одни упрекали Кристофа в

гордыне; о таких вопросах не спорят, заявляли они; тысячи людей — куда умнее и лучше, чем он,— верят, не рассуждая, и пусть он последует их примеру. Другие чуть ли не обижались, словно Кристоф оскорбил их лично, задав такой нелепый вопрос. Но как раз эти-то, пожалуй, и не были так уж тверды в своих убеждениях. Третьи пожимали плечами и говорили с улыбкой: «Да ведь это никому не вредит». И в этой улыбке ясно читалось: «Зато так удобнее!» Последних Кристоф презирал всеми силами своей души.

Пытался он как-то поведать свои сомнения и священнику, но был обескуражен этой попыткой. Священник даже не стал серьезно с ним говорить. Очень вежливо почтенный собеседник Кристофа дал ему понять, что они не ровня: само собой разумелось, что превосходство пастыря бесспорно и что разговор может вестись только в угодных ему границах, и нарушать их было бы бестактно. Словом, все свелось к парадной и безобидной игре. Когда же Кристоф пошел напролом и поставил несколько вопросов, на которые достойному священнослужителю отнюдь не хотелось отвечать, тот, покровительственно улыбаясь, прибег к латинским цитатам и родительскому увещеванию,— надо молиться, молиться, чтобы господь бог просветил его, Кристофа. Кристоф ушел униженный и оскорбленный этим вежливо-покровительственным тоном. Справедливо или нет, но теперь он ни за какие блага мира не пошел бы за советом к священнику. Он охотно признавал, что священники выше его и по своему уму, и по своему сану, но ведь когда споришь, то нет ни высших, ни низших, нет ни чинов, ни званий, ни возраста, ни репутации — существует лишь истина, одна истина, перед которой все равны.

Поэтому-то Кристоф был так рад познакомиться с мальчиком, своим ровесником, который верил в бога. Сам Кристоф готов был последовать его примеру и надеялся, что Леонгард сумеет представить ему убедительные доводы. Он стал первым заговаривать с Леонгардом. А тот отвечал, как обычно,— мягко, но равнодушно. Так как дома невозможно было вести сколько-нибудь связной беседы,— Амалия или старик Эйлер постоянно вмешивались в чужие разговоры,— Кристоф однажды вечером предложил Леонгарду погулять. Молодой Фогель был слишком вежлив, чтобы отказаться, а отказался бы он с охотой: ленивый и вялый по натуре, он боялся быстрой ходьбы, долгих разговоров, словом, всего, что требовало хоть каких-то усилий.

Смущенный Кристоф не знал, как приступить к беседе. После двух-трех не особенно ловких фраз на посторонние темы он вдруг очертя голову задал Леонгарду вопрос, который так занимал его: он спросил Леонгарда, правда ли, что тот будет священником, и делает ли он этот выбор по собственной воле. Леонгард бросил на собеседника беспокойный взгляд, но, увидев, что Кристоф не имеет никаких враждебных намерений, успокоился и мягко ответил:

— Ну конечно, а как же иначе?

— Ох! — вздохнул Кристоф.— Какой же вы счастливый!

Леонгард уловил в голосе Кристофа нотку зависти и был приятно польщен. Он сразу же весь как-то переменился, стал разговорчивее, лицо его просветлело.

— Да,— подтвердил он.— Я счастлив.

Лицо его теперь просто сияло.

— А как вы этого достигли? — спросил Кристоф.

Леонгард ответил не сразу. Он предложил присесть на скамейку, стоявшую в спокойном уголке галереи монастыря святого Мартина. Отсюда была видна часть небольшой площади, обсаженной акациями, а дальше за городом — поля, окутанные вечерней дымкой. У подножия холма струил свои воды Рейн. Старый, заброшенный погост, с могилами, поросшими густой травой, мирно спал за железной решеткой.

Леонгард начал говорить. Он говорил, и глаза его блестели от удовольствия; он рассказывал, как сладостно уйти от грубой жизни, обрести приют, который есть и всегда будет надежнейшим из всех приютов. Кристоф, еще так мучительно ощущавший свои не зажившие раны, страстно сочувствовал этому желанию покоя и забвения, но его не покидала какая-то грусть. Он спросил со вздохом:

— А разве вам так легко отказаться от жизни?

— Да,— спокойно ответил Леонгард.— Если бы было о чем жалеть... Но ведь жизнь так печальна и безобразна.

— Все-таки в жизни много прекрасного,— возразил Кристоф, глядя на прекрасный закат.

— Возможно, но слишком редко оно встречается.

— Пусть редко, мне и этого достаточно.

— Ну что ж, будем рассуждать здраво. С одной стороны, немножко добра и много зла, с другой — ни блага, ни зла, а затем вечное блаженство — разве можно колебаться хоть минуту?

Кристофу не понравились эти арифметические выкладки. Столь скудно скалькулированная жизнь казалась ему чересчур

убогой. Однако он попытался убедить себя, что именно в этом и есть высшая мудрость.

— Значит,— спросил он не без иронии,— вы не боитесь, что вас может соблазнить какое-нибудь, пусть минутное, удовольствие?

— Что за нелепость! Ведь я же знаю, что это лишь минута, час, а впереди вся вечность.

— Выходит, вы так уверены в этой вечности?

— Ну конечно.

Кристоф продолжал допрос. Он весь трепетал от страсти и надежды. Ах, если бы Леонгард мог дать неопровержимые доказательства в пользу веры. С каким восторгом отказался бы он от этого мира и последовал бы за Леонгардом по стезе господней!

Сначала Леонгард, гордый своей ролью апостола, решил, что Кристоф сомневается лишь для виду и при первых же веских доводах уступит, как человек тактичный. И юный проповедник стал щедро сыпать цитатами из священных книг, ссылался на Евангелие, на чудеса, на предания. Но он недовольно нахмурился, когда Кристоф, послушав внимательно несколько минут, вдруг прервал его и заявил, что так говорить — значит отвечать вопросом на вопрос, он же вовсе не просит рассуждать о предмете его сомнений, а просит лишь помочь ему найти способ разрешить сомнения. Леонгард вынужден был признать, что Кристоф заражен неверием сильнее, нежели можно было думать,— иначе он не стал бы требовать от своего собеседника убеждения с помощью разума. Однако, по мнению Леонгарда, Кристоф просто разыгрывал вольнодумца (Леонгард и представить себе не мог, что существуют убежденные вольнодумцы). А потому он не отчаялся и во всеоружии недавно приобретенных сведений, призвав на помощь всю школьную премудрость, выложил перед Кристофом — в полном беспорядке, но зато с немалой авторитетностью — весь свой багаж: посыпались метафизические доказательства существования бога и бессмертия души. Кристоф, весь напрягшись, мучительно наморщив лоб, вникал в речи Леонгарда, стараясь переварить предлагаемую ему пищу: просил повторить отдельные слова, добросовестно пытался вникнуть в их смысл, впитать их в себя, не упускал ни одного звена в цепи рассуждений. Вдруг он взорвался, заявил, что над ним просто насмехаются, что все это пустая игра ума, шуточки краснобаев, которые выдумывают себе на утеху громкие слова и радуются, что слова эти что-то значат. Леонгард обиженно возразил, что он

ручается за добросовестность цитируемых им авторитетов. Кристоф пожал плечами и чертыхнулся: эти авторитеты либо шарлатаны, либо проклятые писаки, а ему лично требуются иные доказательства.

Когда остолбеневший Леонгард убедился, что Кристоф бесповоротно заражен неверием, он потерял всякий интерес к спору. Он вспомнил, что им советовали не терять золотого времени на убеждение неверующих, по крайней мере, когда те упорствуют в своем неверии. Чего доброго, сам впадешь в соблазн, не принеся пользы другому. Лучше предоставить заблудшую душу попечениям господа бога, который и просветит несчастного, если будет на то его милость; а ежели нет, кто же осмелится идти против воли божией? Поэтому Леонгард не горел желанием продолжать богословский спор. Он только ласково заметил, что сейчас всякие разговоры бесполезны, никакими убеждениями не выведешь на правильный путь того, кто не желает видеть, и что надо молиться, взывать о благодати, ибо она — всё, и, чтобы верить, надо хотеть этого.

«Хотеть! — горько думал Кристоф.— Итак, бог существует только потому, что я хочу, чтобы он существовал! Значит, смерти не существует, потому что я желаю ее отрицать! Увы! Как легка жизнь тому, кто не испытывает потребности видеть истину, тому, кто умеет видеть ее такой, какою пожелает, и строит для себя удобные иллюзии — прибежище сладких снов». Но на таком ложе — Кристоф это твердо знал — он лично никогда не заснет...

А Леонгард продолжал говорить. Он перешел на свою излюбленную тему — о прелестях жизни созерцательной и, заняв эту безопасную позицию, стал поистине неистощим. Монотонным, дрожащим от удовольствия голоском он рассказывал о радости жизни в боге, жизни за пределами этого мира, над ним, вдали от шума, о котором он вдруг заговорил с неожиданной ненавистью (он ненавидел шум не меньше, чем Кристоф), там, где нет насилия, нет насмешек, нет жалких бед, от коих страдаешь здесь каждодневно, где можно укрыться в теплом и надежном гнездышке веры, откуда мир человеческой скорби предстает далеким и чужим. Слушая его речи, Кристоф понимал, как пропитана эгоизмом эта вера. Леонгард что-то заподозрил и поспешил пояснить свои слова. Он, мол, имеет в виду жизнь созерцательную, но отнюдь не бездеятельную. Напротив, молитва куда деятельнее любого действия, без молитвы — что сталось бы с нашим миром? Молящийся искупает грехи ближних, берет на себя все бремя их заблуждений, слу-

«Жан-Кристоф». Книга третья.

жит им своими добродетелями, предстательствует за них перед лицом бога.

Кристоф слушал, не перебивая, но враждебное чувство к проповеднику росло в его душе. Он понимал, как лицемерен Леонгард в этом призыве к отречению. Но у него хватило справедливости признать, что не все верующие — Леонгарды. Он отлично знал, что у ничтожной кучки людей это отречение от живой жизни не что иное, как просто неспособность жить, острое отчаяние, желание умереть... и что у единиц — это страстный экстаз (но сколько времени длится этот экстаз — вот в чем вопрос). В большинстве же случаев подобный отказ от жизни — результат холодного умозаключения человека, которому дороже свое собственное спокойствие, чем счастье людей или истина. И если чистые сердцем сознают это, как же должны они страдать при мысли, что так грубо попирается их идеал!..

А Леонгард, весь сияя от счастья, разглагольствовал теперь о красоте и гармонии мира, открывающегося с его небесной колокольни. Здесь, в сей юдоли, все — мрак, все — несправедливость, все — страдание, и все предстает оттуда светом, ясностью, порядком; мир в его изображении становился подозрительно похож на аккуратно выверенный часовой механизм...

Теперь Кристоф слушал рассеянно. Он думал: «Верит ли Леонгард на самом деле или только верит, что верит?» Однако собственная его вера, его страстная жажда веры не поколебалась. Не дурачку вроде Леонгарда с его жалкими и пошлыми аргументами дано было смутить такого Кристофа.

Над городом спускалась ночь. Галерею, где они сидели, окутал мрак; зажглись звезды; от реки тянулся белый туман; на кладбище под деревьями трещали сверчки. Послышался благовест: прозвучал удар колокола — его пронзительная жалоба, как птичий крик, о чем-то вопросила небеса; потом прозвучал другой, на терцию ниже, и присоединился к жалобе; и, наконец, рокочущей квинтой ответил последний колокол. Три голоса слились в один. Отсюда, снизу, казалось, что там, на колокольне, вдруг загудел огромный пчелиный рой. Воздух и сердце затрепетали. Удерживая дыхание, Кристоф думал, как бедна наша музыка по сравнению с этим океаном музыки, где сливаются голоса мириад существ: здесь — целый мир дикой природы, ничем не скованный мир звуков, а там — приручённая, зажатая в рамки, холодно перенумерованная человеческим

разумом музыка. И он растворился весь в этой звучащей громаде без берегов и без границ...

Когда могучее бормотанье стихло, когда последние его отзвуки угасли в небе, Кристоф очнулся. Он испуганно огляделся... И не узнал знакомых мест. Все изменилось вокруг него, в нем самом. Бога больше не было...

Часто вера и благодать осеняют человека вдруг, и так же часто, во внезапном прозрении, человек теряет веру. Разум тут ни при чем, а решает все сущий пустяк — слово, молчание, удар колокола. Человек спокойно гуляет, мечтает, не подозревая ни о чем. И вдруг все рушится разом. Кругом тебя одни развалины. Ты один. И ты не веришь более.

Испуганный Кристоф не мог понять, почему и как произошел в нем этот перелом. Так вдруг начинается весной ледоход...

А голосок Леонгарда по-прежнему звучал рассудительно, однообразно, как трескотня кузнечиков. Кристоф теперь не слушал его. Совсем стемнело. Леонгард замолчал. Взглянув на неподвижную фигуру Кристофа, он удивился и, обеспокоенный тем, что они опоздают домой, предложил вернуться. Кристоф не ответил. Леонгард взял его за руку. Кристоф задрожал всем телом и испуганно посмотрел на него.

— Кристоф, нам пора домой,— начал было Леонгард.

— Да иди ты к черту! — яростно прокричал Кристоф.

— Боже мой! Кристоф, чем же я вас обидел? — боязливо и недоуменно спросил Леонгард.

Кристоф спохватился.

— Прости меня, дружок,— сказал он более мягким тоном.— Я сам не знаю, что говорю. Иди с богом! Иди с богом!

Он остался один. Сердце его сжималось от тоски.

— Ах, боже мой! Боже мой! — воскликнул он, судорожно сжав руки, запрокинув голову и со страстной надеждой глядя в черное небо.— Почему я не верю больше? Почему я не могу больше верить? Что произошло во мне?

Слишком уж большое несоответствие было между полным крушением его веры и разговором, который произошел у него только что с Леонгардом; значит, не в разговоре тут было дело, так же как и не в Амалии с ее вечными криками, и не в странностях семейства Эйлера,— не это стало причиной тех нравственных потрясений, которые происходили в нем. Все это было лишь предлогом. Источник потрясения был не вне его, а в нем самом. Кристоф чувствовал, как со дна его души подымаются неведомые чудища, и не имел мужества заглянуть в глубь своих собственных мыслей и в упор рассмотреть свой недуг...

Недуг? Полно, разве это недуг? Это томление и пьянящая, сладостная тоска. Кристоф не принадлежал более самому себе. Тщетно пытался он замкнуться, застыть в своем стоицизме, который был так силен еще вчера. Все рухнуло разом. Он вдруг почувствовал, как огромен мир — пылающий, дикий, ни с чем не соизмеримый мир... и как узки для него рамки религии!..

Это был лишь краткий миг. Однако и его оказалось достаточно, чтобы нарушить равновесие прежней жизни Кристофа.

Из всей семьи старика Эйлера Кристоф меньше всего обращал или, вернее, вовсе не обращал внимания на Розу. Девушка не отличалась красотой, а Кристоф, сам не будучи красавцем, предъявлял весьма строгие требования к чужой внешности. В нем говорила хладнокровная жестокость юности, для которой некрасивая женщина вообще не существует — разве что она уже вышла из того возраста, когда внушают нежные чувства, и отныне к ней относишься спокойно, уважительно, почти благоговейно. Роза была неглупая, ничем не примечательная девушка, но ее болезненная болтливость обращала Кристофа в бегство. Поэтому-то он и не дал себе труда изучить ее, решив заранее, что изучать тут нечего. Он ее просто не видел.

Однако Роза была достойнее многих своих сверстниц, во всяком случае куда достойнее обожаемой Минны: не кокетка, она ничего о себе не воображала и до встречи с Кристофом даже не замечала своей некрасивости или, во всяком случае, мало тревожилась по этому поводу, потому что все домашние тоже не тревожились. Если иногда под сердитую руку дедушка или мать обзывали ее дурнушкой, она от души хохотала и не придавала этому никакого значения, да и они тоже. Сколько дурнушек — порой даже совсем безобразных — находят человека, который любит их всей душой. Немцы вообще обладают счастливой снисходительностью к физическим несовершенствам: они умеют не видеть их, более того, умеют приукрашать их силою услужливого воображения, которое вдруг находит самое неожиданное сходство между понравившимся лицом и наиболее признанными образцами человеческой красоты.

Дедушка Эйлер, например, мог вполне серьезно заявить, что нос у его внучки, точь-в-точь как у Юноны, и его не пришлось бы долго в этом уговаривать. К счастью, старый ворчун не склонен был делать комплименты кому бы то ни было, и Роза, забывая о несовершенстве своего носа, все девичье самолюбие вкладывала в пресловутые домашние хлопоты, неукоснительно следуя семейным обычаям. Как божественному гласу, внимала она всем поучениям домашних. Редко встречаясь с чужими людьми,

она не имела достаточно поводов для сравнений и наивно восхищалась родными, свято веря каждому их слову. Экспансивная, доверчивая, умеющая довольствоваться малым, Роза старалась ни в чем не нарушать царившего в доме унылого тона и покорно повторяла пессимистические рассуждения родителей. А сердечко у нее было на редкость преданное — Роза думала только о других, старалась угодить каждому, разделить с каждым его горе, угадывала чужие желания — так велика была в ней потребность любить, не помышляя о взаимности. Естественно, что близкие злоупотребляли этой склонностью, хотя вообще люди они были добрые и, безусловно, любили Розу,— все мы склонны злоупотреблять любовью того, кто всецело отдает нам себя. Все Эйлеры были так уверены в неизменной услужливости Розы, что не испытывали к ней особенной благодарности,— чем больше Роза делала для других, тем больше от нее ждали. К тому же она не отличалась ловкостью, движения ее были неуклюжие, быстрые, ухватки резкие, почти мальчишеские, а бурные изъявления нежности обычно вели к катастрофам. То разбивался стакан, то падал графин, то слишком громко хлопала дверь, и каждая оплошность со стороны Розы вызывала негодование всех домашних. Огорченная грубым окриком, девочка забивалась куда-нибудь в уголок и горько плакала. Но слезы быстро высыхали на ее глазах, через минуту она снова весело смеялась и болтала с обидчиком, не помня зла.

Переезд Крафтов к ним на квартиру стал для нее важным событием. Она и раньше часто слышала разговоры о молодом музыканте. Имя Кристофа охотно поминалось городскими сплетниками: это была своего рода маленькая местная слава; упоминалось его имя и в их домашнем кругу, особенно когда был еще жив дедушка Жан-Мишель, который, гордясь внуком, во время своих визитов к знакомым пел хвалы его таланту. Два или три раза девочку водили на концерты юного музыканта. Когда она узнала, что Кристоф поселится у них, она от радости даже в ладоши захлопала. Но, строго одернутая за непристойные манеры, совсем смешалась. Ничего дурного ведь она не подумала. Просто появление нового человека в их монотонной жизни было нечаянной радостью. В дни, предшествовавшие переезду Крафтов, она жила в лихорадочном ожидании. Ее охватил страх, что Крафтам у них не понравится, и она старалась изо всех сил привести квартиру в наиболее привлекательный вид. В знаменательное утро переезда она даже поставила на камине маленький букетик, что означало «добро пожаловать». Зато даже не подумала прихорашиваться, и с первого же взгляда Кристоф за-

метил, что юная особа дурна собой и безвкусно одета. Сама Роза вынесла о Кристофе иное суждение, хотя к этому имелось мало оснований, ибо Кристоф, озабоченный, исхудалый, давно не стриженный, был еще менее красив, чем обычно. Но Роза, неспособная плохо подумать о ком бы то ни было, Роза, почитавшая деда, отца и мать совершенством красоты, не преминула увидеть Кристофа таким, каким хотела его видеть, и восхитилась им от души. Сидя с ним рядом за столом, она не знала, куда деться от смущения, но, к несчастью, смущение ее выражалось в потоках слов, что сразу же лишило ее симпатии Кристофа. Сама Роза не заметила этого, и первый их совместный ужин стал для нее лучезарным воспоминанием. Сидя после ужина у себя в спальне, она прислушивалась к шагам новых жильцов, доносившимся сверху, и каждый шаг радостно отдавался в ее сердце; их дом теперь словно ожил.

На следующий день Роза впервые в жизни посмотрелась в зеркало с каким-то тревожным вниманием. Она еще не отдавала себе отчета в том, сколь велико ее несчастье, но почувствовала что-то недоброе. Разглядывая в зеркале свое отражение, она пыталась увидеть себя со стороны, но это не удавалось, и сердце ее сдавили печальные предчувствия. Тогда, глубоко вздохнув, она решила хоть чем-нибудь украсить свой обычный наряд. Но от этого стала только еще некрасивее. И тут ей пришла в голову злополучная мысль покорить Кристофа своей неутомимой предупредительностью. По наивности она решила видеться с жильцами как можно чаще и быть им приятной, для чего она целый день бегала взад и вперед по лестнице, приносила какие-то ненужные им вещи, назойливо предлагала свои услуги и помощь — и все это со смехом, криками, болтовней. Только нетерпеливый окрик Амалии, звавшей дочь, мог положить конец ее неумеренному рвению и столь же неумеренной болтовне. Кристоф сидел насупившись; если бы не принятое заранее решение, он бы уже давно взорвался. Так прошло два дня, а на третий он не выдержал и запер дверь на ключ. Роза стучалась, звала; наконец, пристыженная, спустилась вниз и не возобновляла больше своих попыток. При встрече Кристоф объяснил Розе, что у него была срочная работа, от которой он не хотел отрываться. Девочка смиренно попросила прощения. Она не могла не видеть, как неудачны ее невинные авансы: они возымели обратное действие, отдалив от нее Кристофа. А он уже не давал себе труда скрывать свою досаду, не дослушивал обращенных к нему слов, явно выказывая нетерпение. Роза сама чувствовала, что болтовня ее раздражает Кристофа, и ей удавалось иногда уси-

лием воли промолчать почти весь вечер; но такой искус был ей не по силам: она вдруг срывалась, слова лились из ее уст еще более неудержимым потоком, чем обычно, а Кристоф вставал посреди ее разглагольствований и уходил. Роза не сердилась на Кристофа. Она сердилась на самое себя. Она упрекала себя в глупости, назойливости, в неуклюжести; каждый недостаток вырастал в ее глазах до размеров преступления, ей хотелось побороть свои слабости, но, обескураженная неудачей первых попыток, она твердила про себя, что все равно ничего не получится, что она не сумеет. И тем не менее снова и снова начинала борьбу.

Но имелись еще и другие недостатки, против которых Роза была бессильна. Как, например, быть с уродством? Теперь она уже не сомневалась, что некрасива. Уверенность эта пришла к ней внезапно, когда, глядясь в зеркало, она уразумела свое несчастье; это было как удар грома среди ясного неба. Естественно, что девочка еще и преувеличивала свою беду — нос казался ей в десять раз больше настоящего размера: по ее мнению, на всем лице только и виден был этот нос и больше ничего; она не осмеливалась теперь даже попадаться на глаза Кристофу, ей хотелось умереть. Но юность обладает таким неисчерпаемым запасом надежд, что эти приступы отчаяния длились недолго. Роза попыталась убедить себя, что она ошибается, и временами ей начинало казаться, что нос у нее самый обыкновенный и даже довольно красивый. Тогда, почти инстинктивно, она стала прибегать — правда, довольно неудачно — к ребячьим хитростям: например, начесывала волосы на лоб, чтобы не так выделялся и не так бросался в глаза непропорционально крупный нос. Но делала она это без всякого кокетства; ни разу мысль о любви не мелькнула в ее голове, а если и мелькнула, то втайне от самой девочки. Ведь Роза просила так мало — немножко дружбы, но и эту малость Кристоф, по всей видимости, был не расположен ей дарить. Розе казалось, что она была бы наверху блаженства, если Кристоф при их случайных встречах ласково пожелал бы ей «доброго утра» или «спокойной ночи». Но взгляд Кристофа был обычно так строг, так холоден, что Роза вся внутренне сжималась. Кристоф не говорил ей ничего невежливого или неприятного; но ей, бедняжке, любые упреки были бы милее жестокого молчания.

Вечерами Кристоф усаживался за пианино и играл. Он поселился в маленькой, узкой комнатушке под самым чердаком, чтобы хоть немножко укрыться от постоянного шума. А внизу Роза, задыхаясь от волнения, слушала его игру. Она любила музыку,

хотя вкус у нее был плохой, необработанный. Если Амалия сидела тут же, Роза устраивалась в уголке столовой, низко склонившись над шитьем, но вся ее душа устремлялась к звукам, которые шли сверху, и жадно ловила их. Однажды, когда Амалия вышла из комнаты, призываемая неотложными хозяйственными делами, Роза вскочила с места, бросила работу и с замирающим сердцем поднялась по лестнице. Там, затаив дыхание, она приникла ухом к двери и продолжала стоять так до тех пор, пока Амалия не вернулась в столовую. Тогда, осторожно ступая, на цыпочках, чтобы случайно не зашуметь, Роза принялась было спускаться с лестницы, но по обычной своей неловкости — да еще в спешке,— чуть не скатилась вниз. В другой раз, когда она слушала игру Кристофа, наклонившись всем телом вперед и прижавшись щекой к замочной скважине, она вдруг поскользнулась и ударилась лбом о косяк. От растерянности и отчаяния она чуть не упала в обморок. Игра разом смолкла, но у Розы даже не хватило сил спастись бегством. И когда дверь распахнулась, она успела лишь выпрямиться. Кристоф метнул на нее испепеляющий взгляд, потом в полном молчании невежливо оттолкнул девочку, яростно стуча каблуками, сбежал по лестнице и вышел из дому. Вернулся он только к обеду и не обратил никакого внимания на Розу, словно ее и в комнате не было,— не заметил ее отчаянных взглядов, вымаливавших прощение. В течение нескольких недель он ни разу не подошел к инструменту. Роза втихомолку оплакивала свое горе,— никто не видел ее слез, никому не было до нее дела. Девочка горячо молила бога... О чем? Она и сама не знала. Просто ей необходимо было поведать кому-то свою печаль. Она была убеждена, что Кристоф ее ненавидит.

И все же она не теряла надежды. То ей казалось, что Кристоф пристально посмотрел на нее, то — прислушался к ее словам, то — пожал ей руку ласковее, чем обычно...

К тому же несколько фраз, которыми родители неосторожно обменялись в ее присутствии, направили мысли девочки на ложный путь.

Старик Эйлер и его семья питали к Кристофу искреннюю симпатию. Шестнадцатилетний мальчик, серьезный и замкнутый, имевший самые возвышенные представления о долге, внушал им известное уважение. А в таком доме, как их, гневные вспышки Кристофа, упорное молчание, хмурый вид и неловкие манеры никого не удивляли. Даже сама г-жа Фогель, которая всех людей, причастных к искусству, обзывала бездельника-

ми,— даже она, при всей своей напористости, не осмеливалась, как ей подчас ни хотелось, упрекнуть Кристофа в смертном грехе безделья, когда вечерами он без всякой цели торчал у окна в своей комнатушке и до поздней ночи глядел во двор, перевесившись через подоконник. Она знала, что весь день, с самого раннего утра, мальчик бегает по урокам, и не трогала его,— так же как другие члены семьи,— лелея про себя некий план, который все домашние одобряли, хотя и не говорили о нем вслух.

Роза не раз замечала, что, когда она беседует с Кристофом, родители ее обмениваются многозначительными взглядами и о чем-то таинственно шушукаются. Сначала девочка не придавала этому значения. Потом ее заинтересовало их странное поведение, но причины спросить она не смела.

Как-то вечером Роза привязывала к дереву веревку для белья и, прыгая с садовой скамейки, оперлась на плечо Кристофа. В эту минуту взгляд ее упал на деда и отца, которые сидели у порога, покуривая трубочку. Оба обменялись выразительным взглядом, и Юстус Эйлер сказал вполголоса зятю:

— А недурная получилась бы парочка.

Но, почувствовав резкий удар в бок,— это Фогель, заметив, что Роза прислушивается к их разговору, ткнул свекра локтем,— дедушка весьма ловко (так, по крайней мере, казалось ему самому) вышел из положения: он закашлял столь оглушительно, что его было слышно на двадцать шагов в окружности. Но Кристоф, стоявший к мужчинам спиной, ничего не заметил. Роза же в смятении чувств неосторожно спрыгнула на землю и подвернула ногу. Она непременно упала бы, если бы Кристоф, проклиная в душе ее вечную неуклюжесть, не подхватил девочку. Розе было очень больно, но она даже виду не показала: она не думала о подвернувшейся ноге, а думала только об услышанных словах. С трудом она поднялась к себе; каждый шаг причинял ей ужасную боль, но она крепилась, боясь, как бы родители не пристали к ней с расспросами. Всю ее пронизало какое-то радостное волнение. Доковыляв до своей комнаты, она уселась на стул, стоявший в ногах кровати, и уткнулась лицом в одеяло. Щеки ее горели, на глазах выступили слезы, а из груди рвался неудержимый смех. Ей было стыдно, ей хотелось спрятаться куда-нибудь, мысли разбегались, в висках стучало, мучительно ныла лодыжка. Ее лихорадило и в то же время охватывало какое-то оцепенение. До слуха Розы доносились обычные шумы, крики детей, игравших на улице, но в ее ушах звучали слова деда; дрожь еще усиля-

лась, Роза беззвучно смеялась, она молилась, она благодарила бога, она надеялась, она боялась чего-то — она любила.

Мать позвала ее. Роза попыталась встать. При первых же шагах она почувствовала такую непереносимую боль, что чуть не лишилась сознания. Голова закружилась. Девочка решила, что умирает; ей и хотелось умереть, и в то же время всеми силами души, всем своим юным существом хотелось жить,— жить ради обещанного ей счастья. Не дождавшись Розы, мать вошла к ней в комнату, и сразу же в доме начался переполох. Первым делом виновница происшествия получила строгий выговор, затем ногу забинтовали, девочку уложили в постель; физическая боль и переполнявшая душу радость отзывались во всем теле сладостным замиранием. Незабываемая ночь! Воспоминание об этих чудесных часах без сна осталось для Розы священным. Она не думала о Кристофе, она вообще не могла бы сказать, о чем думала. Она была счастлива.

Наутро Кристоф, который считал себя отчасти виновником происшествия, зашел к Розе справиться о здоровье; впервые он говорил с ней почти ласково. Как Роза была признательна, как благословляла свою боль! Ей хотелось болеть всю жизнь, чтобы всю жизнь испытывать такую радость. Несколько дней Розе пришлось пролежать в постели, и все эти дни она на сотни ладов обдумывала слова дедушки и подвергала их сомнению, ибо у нее появились сомнения. Ведь неизвестно, что сказал дедушка:

— Получится.

Или:

— Получилась бы.

Да и мог ли он сказать такую вещь? Нет, сказал, она сама слышала... Да что это они! Неужели же они не видят, какая она дурнушка, не видят, что Кристоф терпеть ее не может... Но так хорошо было надеяться! Иногда Роза убеждала себя: а вдруг она ошиблась и вовсе не такая некрасивая, как ей кажется. Она приподымалась на стуле, стараясь рассмотреть себя в зеркале, висящем напротив, над камином, и окончательно ничего не понимала. Дедушке и папе виднее, чем ей; ведь никто не может беспристрастно судить о своей внешности... Господи боже мой, а вдруг это возможно... А вдруг окажется — случайно окажется,— что она хорошенькая и даже сама об этом не знает!.. А может быть, она преувеличивает неприязнь Кристофа... Правда, равнодушный к Розе Кристоф, так мило беседовавший с нею на следующий день после рокового случая, больше не думал о ней и забывал справиться о здоровье Розы, но Роза все прощала,— ведь он так занят! Где ему заботиться еще и о ней? Нельзя под-

водить под общую мерку артиста, ведь он не такой человек, как прочие...

Однако при всей своей безропотной покорности Роза ждала с замиранием сердца хоть одного ласкового слова от Кристофа, равнодушно проходившего мимо. Одно-единственное слово, один-единственный взгляд! А воображение дорисует все остальное. Какой малостью обходится любовь при своем зарождении! Достаточно одного взгляда, случайного прикосновения, и душу затопляют такие неудержимые мечты, что она сама, без вмешательства извне, творит свою любовь; пустяк, ничто погружает ее в восторги, которые вряд ли повторятся позже, когда она овладеет наконец тем, к чему стремилась, и, познав удовлетворение, станет требовательнее. И Роза жила романом, созданным ею от начала до конца: Кристоф тайно ее любит и не смеет в этом признаться по робости или по какой-то другой причине — романтической или романической, в зависимости от того, какая пища требуется воображению семнадцатилетней глупенькой гусыни. На этой канве Роза без конца вышивала истории, одну нелепее другой, она сама видела всю их нелепость и не хотела видеть; склонясь над рукодельем, она с каким-то сладострастием лгала себе. Она даже разучилась болтать: весь неиссякаемый поток слов ушел вспять, подобно тому как воды реки вдруг уходят под землю. Но там, в глубине души, они с избытком брали свое. Какой разгул диалогов, немых разговоров, которых никто не слышал, кроме нее одной! Иногда губы ее шевелились,— так люди, желая лучше понять прочитанное, порой произносят какое-нибудь слово про себя по слогам.

А когда мечта иссякала, Роза чувствовала себя счастливой и грустной. Она отлично знала, что все не так, как она только что рассказывала себе; но в ней продолжал теплиться огонек счастья, и она снова начинала верить в жизнь. Она надеялась завоевать сердце Кристофа.

И, не отдавая себе в этом отчета, Роза стала действовать. Безошибочный инстинкт, который дается настоящим чувством, помог неуклюжей и неискушенной девочке найти пути, ведущие к сердцу друга. Роза не обращалась теперь прямо к Кристофу. Но, встав с постели и начав бродить по дому, она решила сблизиться с Луизой. Она пользовалась любым предлогом. Оказывала матери Кристофа десятки мелких услуг. Всякий раз спрашивала, не нужно ли купить чего новой жилице; мало-помалу она стала ходить вместо Луизы на рынок, торговалась с молочником, приносила ей воду из колодца, даже помогала по

хозяйству: мыла лестницу, натирала паркет, и все это несмотря на горячие протесты Луизы. Как ни совестно было Луизе, что она без посторонней помощи не может справиться со своими прямыми обязанностями, она была совсем измучена и не имела сил противиться. Кристофа целыми днями не было дома; Луиза страдала от одиночества, и общество этой любезной, шумливой девушки доставляло ей искреннюю радость. Роза чуть ли не переселилась к Крафтам. Она приходила к Луизе со своим рукодельем, и обе болтали не переставая. Девушка с наивной хитростью старалась перевести разговор на Кристофа. Говорить о Кристофе, даже слышать его имя было для нее счастьем; руки у нее начинали дрожать, она боялась поднять глаза. А Луиза — в восторге, что может говорить о своем ненаглядном сыне,— рассказывала один за другим смешные и пустяковые случаи из его детства — пустяковые, но только не для Розы. Девушка с радостью и захватывающим волнением представляла себе Кристофа маленьким карапузиком, со всеми его ребяческими шалостями и выдумками; к материнской нежности, которая живет в сердце каждой женщины, примешивалась иная нежность, и Роза смеялась от души или утирала глаза. Луизу трогало это внимание. Она смутно догадывалась о том, что происходит в душе девушки, и, не показывая виду, испытывала истинное удовольствие: изо всех обитателей дома она одна знала, какое сокровище это чистое сердечко. Иногда посреди рассказа Луиза умолкала и смотрела на Розу, а та, удивленная внезапным молчанием, поднимала глаза от рукоделья. Луиза улыбалась. С неожиданной страстью Роза бросалась ей на шею, прятала на ее груди свое раскрасневшееся личико. Потом обе брались за работу, и снова начинался разговор, словно ничто его и не прерывало.

Вечерами, когда Кристоф приходил домой, Луиза, исполненная благодарности к Розе, не уставала расхваливать молоденькую соседку,— у Луизы тоже был свой незамысловатый план. Кристофа трогала доброта Розы. Он видел, что общество ее приятно Луизе, что лицо матери мало-помалу начинает светлеть, и он горячо благодарил девушку. Она же что-то бормотала в ответ и убегала, желая скрыть волнение,— в эти минуты она казалась Кристофу в сотни раз умнее и привлекательнее, чем когда пускалась в разговоры. Он глядел теперь на нее менее предубежденным оком и с нескрываемым удивлением обнаруживал в ней те качества, о которых и не подозревал раньше. Роза заметила это; она поняла, что Кристоф относится к ней с большей симпатией, и надеялась, что симпатия эта

приведет к любви. Как никогда, отдавалась она своим мечтаниям. С великолепной самонадеянностью юности она готова была верить, что, если чего-нибудь сильно желаешь, оно непременно сбудется. Впрочем, чем уж так безрассудны были ее желания? Почему Кристоф должен быть менее чувствителен к доброте, к ласковой заботе, выказываемой на каждом шагу, чем любой другой?

А Кристоф не думал о Розе. Он уважал Розу, но она не занимала в его мыслях ни малейшего места. В те дни его мучило другое. Кристоф уже не был Кристофом. Он не узнавал самого себя. В его душе свершалась грандиозная работа, которая должна была все перевернуть и все разметать.

. . .

Кристоф ощущал какую-то усталость и непомерное беспокойство. Он был весь словно разбит, хотя причин к этому не имелось: подымался с постели с тяжелой головой, все чувства были напряжены, как звенящая струна,— все, вплоть до слуха и зрения. Невозможно сосредоточиться на чем бы то ни было. Мысль перепрыгивала с предмета на предмет — утомительно, как в бреду. Это непрерывное мелькание образов доводило Кристофа до головокружения. Сначала он приписывал это весне, которая всегда вызывала у него чрезмерную усталость и нервную раздражительность. Но прошла весна, а его болезненное состояние только усилилось.

Это было то, что поэты, которые касаются всего легко и изящно, называют: одни — треволнениями юношества, другие — томлением Керубино или пробуждением любовных желаний в теле и сердце подростка. Как будто можно свести к пустым словам тот страшный кризис, от которого раскалывается на части, умирает все молодое существо и рождается вновь; как будто можно определить так детски наивно этот катаклизм, где все — вера, мысль, действие, сама жизнь словно перестают существовать и вновь воскресают в ином качестве, пройдя сквозь корчи муки и радости.

И тело и дух Кристофа были в непрестанном брожении. Сам он, не имея сил сопротивляться, смотрел на себя с любопытством и отвращением. Он не понимал, что с ним происходит. Все его существо распадалось. Дни проходили в удручающем отупении. Работа стала пыткой. А ночью — тяжелые сны, без конца и начала, уродливые видения, первые ростки желания; зверь, сидевший в его душе, неистовствовал. Весь в поту, сжигаемый внутренним огнем, Кристоф со страхом при-

глядывался к себе. Он пытался стряхнуть нечистые и безумные мысли, с ужасом думал: уж не сумасшествие ли это? Наступал день, но и день не приносил защиты от зверя, завладевшего его мыслями. Словно где-то там, в самых скрытых тайниках души, прорвало плотину и не за что было ухватиться, не из чего было воздвигнуть преграду хаосу. Вся броня, все крепости, защищавшие доселе Кристофа надежным кольцом стен — его бог, его искусство, его гордыня, его нравственная вера,— все отваливалось кусками. Кристофу казалось, что он, обнаженный, связанный, лежит и не в силах пошевелиться, как труп, кишащий червями. Временами он сжимал кулаки, с возмущением вопрошал себя, куда девалась его воля, которой он так кичился. Тщетно призывал он ее; так ночью человек, хотя и знает, что все это только сон, делает усилия, чтобы проснуться, и жаждет пробуждения, но безуспешно: один свинцово-тяжелый сон сменяется другим, и только сильнее задыхается скованная душа. Под конец он решил не мучиться и не бороться. Он подчинился своей участи с равнодушным и унылым фатализмом.

Мерное течение его жизни нарушилось. То он весь целиком проваливался в подземные трещины, то яростными скачками подымался на поверхность. Цепь дней распалась. Среди гладкой равнины времени вдруг открывались зияющие бездны, грозившие поглотить его без остатка. Кристоф смотрел на все это глазами постороннего зрителя. Все и вся, да и сам он, стали ему чужими. Он по-прежнему ходил по делам, выполнял свои обязанности, но бездумно, как автомат: ему казалось, что вот-вот сейчас остановится машина его жизни — механизм пришел в негодность. Сидя за столом бок о бок с матерью и со своими домохозяевами, или в оркестре, среди музыкантов, или перед публикой, он вдруг ощущал какую-то пустоту; тупо глядел он на окружающих, на их неестественно гримасничающие лица и ничего не понимал. «Какое отношение,— думалось ему,— имеют эти люди...» Он не смел добавить: «...ко мне?»

Он не знал, существует ли он вообще. Когда он говорил, ему казалось, что говорит кто-то другой. Он видел свои собственные движения издали, словно глядел сверху, с высокой башни. В полной растерянности он проводил ладонью по лбу. Казалось, еще минута, и он совершит что-то непонятное и странное.

Особенно часто овладевало им такое состояние, когда он бывал на людях и приходилось вдвойне следить за собой. Вечерами, когда он в замке должен был играть перед герцогом

или на концерте. Его вдруг охватывала непреодолимая потребность сделать уродливую гримасу, сказать грубость, схватить за нос самого герцога или ударить ногой под зад какую-нибудь важную даму. Как-то раз, дирижируя оркестром, он с трудом поборол в себе желание раздеться на глазах у публики; и чем больше он старался прогнать эту нелепую мысль, тем настойчивее она возвращалась; он напрягал всю волю, чтобы не поддаться наваждению. Он победил в этой идиотской борьбе, но пришел домой весь мокрый от пота и с пустой головой. Он становился по-настоящему сумасшедшим. Стоило ему подумать, что нельзя делать того-то и того-то, как желание сделать именно это овладевало им, доводило до безумия, становилось манией.

Так проходила его жизнь в непрерывной смене безумных порывов и провалов в пустоту. Яростный вихрь над пустыней. Откуда налетали эти вихри? Откуда шло это безумие? Из какой темной бездны выползали эти желания, сводившие судорогой тело и мозг? Кристоф был словно лук, и чья-то жестокая рука натягивала и натягивала хрупкое полукружие,— для чего, зачем? — грозя разломить его и тут же отбросить, как щепку. Чьей он стал добычей? Кристоф не осмеливался додумать это до конца. Он чувствовал себя побежденным, униженным и боялся убедиться в своем поражении. Он устал, он трусил. Теперь он понимал тех, кого так презирал раньше,— людей, не желающих видеть стеснительной правды. В эти часы провалов, граничивших с небытием, когда память услужливо рисовала зря проходившие дни, заброшенную работу, загубленное будущее, он леденел от ужаса. Но, леденея, продолжал бездействовать; и малодушно отыскивал оправдание этой отчаянной тяге к небытию; с горькой усладой он отдавался этому ощущению, как обломок корабля — прибою. К чему бороться? Ведь нет ничего, совсем ничего — ни красоты, ни добра, ни бога, ни жизни, ничего живого. Когда он шагал по улицам, ему вдруг не хватало даже земли под ногами: все исчезало — и земля, и воздух, и свет; исчезал он сам. Он чуть не падал, ему казалось, что голова перевешивает и он вот-вот стукнется лбом о землю. Он думал, что это смерть, внезапная, молниеносная. Он думал, что он уже мертв...

Кристоф менял кожу. Кристоф менял душу. И, видя сброшенную душу, сносившуюся и ненужную, душу его детства, он не знал еще, что в нем зреет новая душа — молодая и мощная. Подобно тому как человек меняет телесную оболочку, так же в течение жизни меняет он и душу; и превращение это не всег-

да совершается медленно, день за днем; бывают такие часы, когда все обновляется в единое мгновение. Повзрослев, мы меняем душу. Прежняя оболочка умирает. В эти часы тоски и страха человеческое существо считает, что всему пришел конец. А все только начинается. Умирает одна из жизней. И уже родилась новая.

Как-то ночью Кристоф сидел в своей комнатушке, опершись локтями о стол, освещенный скудным огоньком свечи. Он повернулся спиной к окну. Он не работал. Теперь по целым неделям он не мог работать. Мысли беспорядочно кружились в голове. Все стояло под вопросом: религия, мораль, искусство, сама жизнь. И в этом беспощадном разброде мыслей — ни порядка, ни системы. Кристоф набрасывался на книги, обнаруженные в пестрой и случайно подобранной библиотеке дедушки и Фогеля; читал книги по теологии, научные труды, философию, ничего не понимал в этих разрозненных томиках — всему надо было учиться с азов; не прочитав до конца ни одной книжки, он заблудился среди туманных разглагольствований и бесконечных отступлений, от которых оставались только усталость и смертельная тоска.

Так и в этот вечер он сидел исчерпанный до дна, отупевший. Все в доме спали. Окно его комнаты было открыто. Ни дуновения ветерка. Темные тучи сдавливали небосвод. Кристоф без мысли глядел на свечку, догоравшую в подсвечнике. Он не мог заставить себя лечь. Не думал ни о чем. Он чувствовал, как это небытие становится поистине бездонным; старался не видеть бездны, грозившей его поглотить, и невольно склонялся над нею, погружал взоры в темные ее глубины. Там, в пустоте, шевелился сам хаос, громоздился мрак. Кристофа охватил ужас, по спине прошла дрожь, кожа покрылась пупырышками, как от холода, он вцепился в край стола, чтобы не упасть. Это было мучительное ожидание того, что не имело имени,— чуда, бога...

Вдруг словно раскрылись шлюзы, и на улице, за его спиной, хлынули потоки воды, застучали тяжелые, щедрые, прямые струи. Неподвижный воздух дрогнул. Сухая и твердая земля зазвенела, как колокол. И могучие запахи земли, пышущей животным жаром, аромат цветов, плодов, влюбленной плоти дошел до него в яростной спазме наслаждения. Кристоф, почти галлюцинируя, напрягся всем телом, чувствуя, как содрогаются его внутренности. Он затрепетал... Завеса разодра-

лась. Ослепительный свет! При блеске молнии в глубине ночи он увидел бога, он стал богом. Бог был в нем самом. Он разбил потолок комнатушки, стену дома; подались тесные оковы человеческого существа: он заполонил все небо, всю вселенную, небытие. Мир хлынул из него водопадом. В ужасе и восторге перед этим крушением Кристоф падал тоже, уносимый ураганом, который дробил и сметал, как соломинки, все законы природы. Он с трудом переводил дыхание, он опьянел от этого низвержения в пределы бога... Бог — бездна! Бог — пропасть! Костер бытия! Ураган жизни! Все безумие жизни, без цели, без узды, без смысла,— ради самого исступления жизни!

Когда приступ миновал, Кристоф заснул глубоким сном. Так сладко и спокойно он не спал уже давно. Утром у него кружилась голова, весь он был вялый, разбитый, словно выпил накануне. Но в глубине сердца все еще мерцал отблеск мрачного и могучего света, который опалил его вчера. Он попытался раздуть этот пламень. Тщетно. И чем больше он старался, тем меньше это ему удавалось. Он всеми силами стремился оживить хоть раз промелькнувшее видение. Бесполезные попытки. Восторг не откликался на призыв воли.

Однако за этим приступом мистического бреда последовали и другие; правда, никогда не достигали они такой силы, как в первый раз. И приходили они тогда, когда Кристоф не ждал их появления; краткий миг, такой краткий, такой внезапный, не успеешь поднять глаза, протянуть руку — и видение исчезало, прежде чем Кристоф мог опознать его; и он недоуменно спрашивал себя: уж не пригрезилось ли это ему? В ту ночь горел ослепительным светом метеор, а теперь по следу его пролетала светящаяся пыль, пробегали крохотные огоньки, такие быстрые и маленькие, что глаз не успевал проследить их бег. Но появлялись они все чаще и чаще; и, наконец, они окружили Кристофа кольцом неугасимых, но нечетких мечтаний, ускользавших от сознания. Все, что могло отвлечь от этой полуяви, полубреда, раздражало Кристофа. Работа не шла на ум. Общество людей было ему отвратительно, и в первую очередь — общество самых близких, даже родной матери, потому что они предъявляли больше прав на его душу.

Он уходил теперь на целые дни и возвращался домой только поздно ночью. Он жаждал одиночества полей, чтобы в тишине всласть упиться своими грезами, подобно тому как маньяк, одержимый навязчивой идеей, во всем видит помеху своей

мании. Но вольный воздух омывал его грудь, нога чувствовала упругость земли, и наваждение проходило, мысли, неотвязные, как призраки, вдруг обретали ясность. Возбуждение не улеглось, скорее даже росло; но теперь это был не бред, опасный для ума, а здоровое опьянение всего существа, тела и души, обезумевших от прилива новых сил.

Кристоф снова открывал мир, будто никогда и не видел его раньше. Опять начиналось детство. Ему чудилось, что волшебный глас изрек: «Сезам, откройся!» Природа пламенела, ликуя. Солнечные лучи вскипали. Небеса прозрачной рекой текли куда-то. Земля стонала и дымилась в сладострастье. Растения, деревья, насекомые, мириады живых существ были словно сверкающие языки великого огня жизни, который, клубясь, подымается ввысь. Все испускало крики радости.

И эта всеобщая радость становилась радостью Кристофа. И эта сила становилась его силой. Он не отделял себя от всего сущего. До сего времени, даже в безмятежную пору детства, когда он смотрел на все окружающее с жадным и восторженным любопытством, живые существа казались ему маленькими, замкнутыми мирками, страшными или смешными, но совсем непонятными и не имеющими к нему, Кристофу, никакого отношения. Вряд ли он верил, что они тоже чувствуют, живут, что это не просто какие-то странные механизмы; с беспечной жестокостью ребенка Кристоф отрывал крылышки у несчастной мухи, даже не думая о том, страдает она или нет,— просто из удовольствия видеть, как она корчится. Однажды дядя Готфрид, обычно такой спокойный, не выдержал этого зрелища и с негодованием вырвал из рук Кристофа несчастную стрекозу. Мальчик сначала пытался смеяться, но, заразившись дядиным волнением, горько заплакал: он начал понимать, что его жертва действительно живая, такая же, как он сам, понял, что совершил тяжкое преступление. Но если с тех пор Кристоф никогда уже не мучил животных, он не испытывал к ним и ни малейшей симпатии, равнодушно проходил мимо, не пытаясь разобраться, что движет их маленьким механизмом; вернее, он боялся думать — все это слишком походило на дурной сон. А вот теперь вдруг все разом прояснилось. Эти смиренные создания тоже стали для него очагами света.

Растянувшись на траве, где так и кишела жизнь, в тени листвы, пронизанной жужжанием насекомых, Кристоф наблюдал за лихорадочной деятельностью муравьев, длинноногих пауков, которые, казалось, приплясывали на ходу, за прыжками кузнечиков, вдруг выскакивавших из травы, за тяжелыми и

суетливыми жуками и земляным червяком, с гладким, розовым, упругим, словно резиновым, тельцем, испещренным белыми бляшками. Или, закинув руки за голову, прикрыв глаза, он прислушивался к невидимому оркестру, к голосу насекомых, с ожесточением круживших в солнечном луче возле смолистых сосен, различал фанфары мошкары, органное жужжание шмелей, колокольное гудение диких пчел, вьющихся вокруг верхушки дерева, божественный шепот леса, слабые переборы ветерка в листве, ласковый шелест и колыхание трав, какое-то дуновение, от которого морщится лучезарное чело озера, шорох легкого платья и милых шагов — вот они приближаются, проходят мимо и тают в воздухе.

Все эти шумы, все эти крики Кристоф слышал и в самом себе. В самом крошечном и в самом большом из всех этих существ текла та же река жизни, что омывала и его. Итак, он был одним из них, был родной им по крови; их радости и страдания рождали в нем братский отклик, их сила удесятеряла его силу,— так ширится река от вливающихся в нее сотен ручейков. Он растворялся в них. Грудь распирало от мощного напора воздуха, распахивавшего с силой окна и врывавшегося в закупоренный наглухо дом — в задыхавшееся сердце Кристофа. Перемена была слишком внезапной; раньше перед ним повсюду открывалась бездна небытия; когда он занимался только собой, своим собственным существованием и чувствовал, как оно вот-вот прольется дождем и уйдет от него; а теперь, когда он пожелал забыть самого себя и возродиться во вселенной, теперь повсюду было бытие, бытие без конца и без меры. Ему казалось, что он выходит из могилы. Он с наслаждением плыл по этой полноводной жизни и, увлекаемый ее течением, думал, будто он свободен. Он не знал, что сейчас он был еще менее свободен, чем всегда, что ни одно существо не свободно, что несвободен даже закон, управляющий вселенной, что, быть может, освобождает одна лишь смерть.

Но куколка, только что вышедшая из душного своего кокона, уже нежилась в новой оболочке и не успела еще понять, как тесно и это новое узилище.

Началась новая череда дней. Золотые, лихорадочные дни, таинственные и волшебные, как в раннем детстве, дни постепенного открытия мира вещей, увиденных впервые. От зари до сумерек он жил среди нетаявшего марева. Все занятия были заброшены. Добросовестный мальчик, который ни разу за все

годы, даже больным, не пропустил ни одного урока, ни одной репетиции в театре, теперь на каждом шагу искал предлога, чтобы увильнуть от работы. Он не боялся даже лгать и не испытывал ни малейших угрызений совести. Стоические принципы, которым он охотно подчинял свою волю — мораль, Долг с большой буквы,— все представлялось ему теперь бессмысленным и ложным. Их ревнивая тирания не могла устоять против могущества Природы. Здоровый, сильный, свободный человек — вот единственная добродетель,— так к черту же все остальное! Только снисходительный смех могут вызывать эти мелочные, глупенькие законы осторожной политики, которую люди украшают пышным названием «мораль», желая сковать ею жизнь. Нелепое кротовье старание, жалкие муравьи! Ничего, сама жизнь проучит их. Хлынет ее поток, и все будет сметено...

Подстегиваемый энергией, Кристоф временами готов был разрушать, жечь, бить, лишь бы дать выход силе, душившей его. Такие взлеты кончались самой неожиданной разрядкой: он начинал плакать, бросался на землю, целовал ее, ему хотелось впиться в нее зубами, руками, насытиться ею, слиться с ней; он дрожал от лихорадки и желания.

Как-то под вечер он бродил по опушке леса. Глаза его устали от ослепительного света, голова кружилась; он находился в том состоянии восторженности, когда все живое, каждый неодушевленный предмет предстает иным, чем на самом деле. Бархатистый вечерний свет сообщал всему волшебную прелесть. Пурпурно-золотые лучи меркли в верхушках деревьев. От лугов, казалось, подымался фосфоресцирующий свет. Небо было ласково и нежно, как сияние живых глаз. Рядом на лужайке ворошила сено девушка. В одной рубашке и короткой юбке, с голой шеей и обнаженными руками, она подгребала в кучу подсыхающую траву. Нос у девушки был короткий, щеки пухлые, лоб выпуклый, волосы прикрыты платочком. Заходящее солнце окрашивало в красноватые тона ее загорелую кожу, которая словно впитывала в себя последние отблески дня.

Кристоф был очарован. Прислонившись к стволу вяза, он со страстным вниманием следил, как девушка приближается к опушке леса. Все на свете сгинуло куда-то. Девушка даже не заметила Кристофа. Только раз она взглянула на него; глаза у нее были суровые, синие, казавшиеся особенно яркими на загорелом лице. Она прошла так близко от Кристофа, что, когда нагнулась за сеном, в вырезе рубашки он увидел вдоль позвонка золотистый пушок. Смутное желание, переполнявшее его, вдруг прорвалось наружу. Он набросился сзади на девушку,

схватил ее за шею и за талию, запрокинул ей голову назад и впился поцелуем в полуоткрытые губы. Он целовал эти сухие и шершавые губы, чувствовал холодок ее зубов, в гневе укусивших его. Его руки скользнули по крепким плечам, по рубашке, смоченной потом. Девушка яростно отбивалась. Кристоф прижимал ее к себе все сильнее — ему хотелось ее задушить. Наконец она вырвалась из его объятий, с отвращением плюнула, что-то крикнула, утерла губы ладонью и принялась его ругать. Кристоф бросился напрямик через поле. Девушка швырнула ему вслед камень и осыпала его отборной бранью. Кристоф покраснел от стыда: его смутили не так ее слова или нелестные соображения на его счет, как страх перед тем, что он сам думал о себе. Этот бессознательный поступок ужаснул Кристофа. Что он наделал? Что он хотел сделать? Он не совсем понимал, что побудило его так поступить, но чувствовал к себе отвращение. И в самом этом отвращении было что-то влекущее. Он боролся против себя самого и не знал, где же настоящий Кристоф. Слепая сила одолевала его. Тщетно бежал он от нее — это значило бежать от самого себя. Что сделала эта сила с ним? Что сделает он сам завтра... через час... или в эту минуту, пробегая через пашню? Добежит ли он до дороги? А не остановится ли вдруг, не повернет ли назад, не бросится ли к этой девушке? И тогда что?.. Кристоф вспомнил то мгновение, когда он схватил девушку за шею — это было как бред. Значит, он способен на все. Все поступки равноценны... Даже преступление... Да, даже преступление... Сердце так билось в груди, что не хватало дыхания. Выбравшись на дорогу, Кристоф остановился, ловя открытым ртом воздух. Девушка разговаривала со своей подругой, прибежавшей на крик, и обе, упершись кулаками в бока, смотрели вслед Кристофу и хохотали...

Кристоф вернулся домой. Он заперся в своей комнате и просидел несколько дней, никуда не выходя. Даже в город он выбирался только в случае крайней необходимости. Он боязливо сторонился городских ворот и не решался вновь отправиться в поле: боялся, что повторится порыв безумия, который обрушился на него, как порыв ветра среди предгрозового спокойствия. Может быть, городские стены спасут его от соблазна? Кристоф не понимал, что враг умеет проскользнуть в самую узкую и неприметную щелочку между закрытых ставней, куда не проникнуть даже человеческому взору.

САБИНА

В одном из крыльев дома, по ту сторону двора, квартиру в нижнем этаже занимала молодая женщина, лет двадцати; она недавно овдовела и жила одна с дочкой. Г-жа Сабина Фрелих тоже снимала квартиру у Эйлера. Ее магазинчик выходил фасадом на улицу, а во двор смотрели две комнаты; к флигелю прилегал садик, отделенный от эйлеровских владений простой проволочной сеткой, обвитой плющом. Сама хозяйка в садике появлялась редко, зато девочка с утра до вечера копалась здесь в песочке; за садом никто не ухаживал, и все в нем разрослось по собственной прихоти, к великому неудовольствию старика Юстуса, который любил тщательно подметенные дорожки и образцово ухоженную природу. Несколько раз он пытался просветить свою жиличку на сей счет, но, должно быть, из-за его внушений она избегала выходить из дому, а сад ничуть не выигрывал от этого.

Госпожа Фрелих держала маленькую галантерейную лавочку, и дела могли бы идти неплохо в силу ее удачного расположения на торговой улице в самом центре города, но хозяйка занималась магазином не больше, чем садом. Вместо того чтобы самой вести дом, как и подобает порядочной женщине,— так, по крайней мере, считала г-жа Фогель, особенно если не располагаешь достаточными средствами, которые если и не оправдывают, то хоть объясняют безделье,— жиличка держала прислугу, девчонку лет пятнадцати, которая приходила каждое утро на несколько часов убрать комнаты и присмотреть за магазином, пока молодая хозяйка нежилась в постели или засиживалась за туалетом.

Иногда Кристоф видел из своего окошка, как Сабина лениво бродит по комнате босиком, в длинной ночной рубашке, или часами сидит перед зеркалом, ибо она была так беспечна, что забывала опустить занавески, и даже когда замечала это упущение, то ленилась закрыть окно. Кристоф, более стыдливый, чем молодая галантерейщица, отходил от окна, не желая смущать ее, но искушение было слишком велико. С легкой краской на скулах он украдкой глядел на голые худощавые руки, лениво касавшиеся неубранных волос, видел скрещенные на затылке пальцы, которые расцеплялись сами собой, онемев от усталости, видел всю ее фигурку, забывшуюся в небрежно-томной позе. Кристоф пытался убедить себя, что любуется этим приятным зрелищем просто случайно и что оно отнюдь не мешает его музыкальным думам, но мало-помалу так втянулся в это занятие, что под конец проводил у окна, глядя на г-жу Сабину, столько же времени, сколько тратила она времени на одевание. Не то чтобы она была кокеткой,— скорее неряхой и, уж конечно, не могла сравниться с Амалией и Розой, которые особенно заботливо следили за собой. Если Сабина и сидела часами за туалетным столом, так это от лени: воткнув в волосы шпильку, она подолгу отдыхала от этого непомерного труда и глядела на себя в зеркало со скорбной гримаской. Так она и оставалась до вечера полуодетой.

Часто прислуга уходила раньше, чем Сабина успевала привести себя в порядок, а покупатель звонил у дверей лавчонки. Сабина, не подымаясь со стула, слушала звонки и крики. Наконец, не торопясь, она с улыбкой входила в лавку, не торопясь начинала искать спрошенный покупателем предмет, и, если не могла обнаружить нужную вещь сразу (бывало и так) или требовалось приложить хоть какое-нибудь усилие, скажем, перенести стремянку в другой конец лавки, хозяйка спокойно заявляла, что таких товаров у нее нет; и так как она даже не пыталась навести в лавке хоть относительный порядок, пополнить недостающий ассортимент, терпение покупателей истощалось, и они шли в соседние магазины. Впрочем, покупатели не сердились на Сабину. Да и как можно было сердиться на такую миленькую особу, с таким нежным голоском и невозмутимым видом! Вряд ли ее огорчали упреки или замечания посетителей,— это чувствовалось с первого взгляда; и даже если клиент начинал было жаловаться, у него не хватало мужества продолжать, и он уходил, ответив улыбкой на очаровательную улыбку хозяйки; однако больше не возвращался. А ее это ничуть не тревожило. Она улыбалась.

Лицом Сабина напоминала молодую флорентинку. Тонко очерченные дуги бровей, серые полузакрытые глаза под густой щеточкой ресниц. Нижние веки слегка припухшие, с легкой складочкой. Небольшой, аккуратный носик с закругленной линией горбинки и приподнятым кончиком. Другая закругленная линия шла от носа к верхней губке, слегка выступавшей вперед; маленький рот был всегда полуоткрыт в капризно-усталой улыбке. Нижняя губа была немного толще верхней; в очертаниях подбородка чувствовалось что-то детски серьезное, как у мадонн Филиппо Липпи. Цвет лица был смугловатый, волосы светло-каштановые, вечно в беспорядке, из-под сбитого набок пучка выбивались небрежные локоны. Хрупкая, миниатюрная, она двигалась лениво, как будто против воли. Одетая не особенно тщательно — жакет не застегнут, половина пуговиц отсутствует, в старых, стоптанных башмачках,— Сабина не производила впечатления чистюли и тем не менее очаровывала каждого своим молодым изяществом, нежностью и инстинктивно кошачьими ухватками. Когда она выходила на порог лавки подышать свежим воздухом, молодые люди, проходя мимо, с удовольствием оглядывались на нее; и, хотя Сабина меньше всего думала о поклонниках, она замечала каждый такой взгляд. В подобные минуты глаза ее светились благодарностью и радостью, как у любой женщины, чувствующей, что ее внешность привлекла внимание. Казалось, она говорила:

«Спасибо! А ну-ка еще раз! Взгляните еще! Смотрите же на меня!»

Но, как ни сильно было удовольствие нравиться, никогда Сабина, по своей лености, не делала никаких усилий, чтобы понравиться.

Она служила объектом постоянного возмущения Эйлеров — Фогелей. Все в Сабине оскорбляло это семейство: ее беспечность, беспорядок в доме, небрежный туалет, то вежливое равнодушие, с каким она выслушивала их замечания, ее вечные улыбки, возмутительное спокойствие, с которым она принимала все: смерть мужа, нездоровье дочки, коммерческие неудачи, крупные и мелкие неприятности — ничто не могло нарушить милых ей привычек, ее вечного ничегонеделания, словом, все в Сабине оскорбляло домохозяев и больше всего то, что такая женщина может нравиться. Вот этого г-жа Фогель никак не могла простить своей жиличке, словно Сабина задумала осмеять и опровергнуть своим поведением все традиции, истинные принципы, глупейший долг, безрадостный труд, суету, шум, ссоры, жалобы, здоровый пессимизм, словом, все, что составляло смысл существо-

вания семейства Эйлера, как и прочих честных людей, и до времени превращало их жизнь в чистилище. Чтобы женщина, завзятая бездельница, целый божий день палец о палец не ударившая, да еще позволяла себе подтрунивать над ними, которые убиваются на работе, как каторжники,— а тут еще и окружающие оправдывают ее,— это уж чересчур, так, пожалуй, и честным человеком не стоит быть. К счастью,— слава тебе господи! — имеются еще на земле здравомыслящие люди. Г-жа Фогель искала отрады и утешения в их обществе. С ними-то и обсуждалось во всех подробностях поведение молоденькой вдовы — то, что успели подглядеть в щелочку ставней. Эти пересуды доставляли самые чистые радости семейству Эйлера в часы обедов и ужинов. Кристоф обычно слушал их разговоры рассеянно, краем уха. Он уже привык к тому, что Фогели строго осуждают поведение всех соседей, и не обращал на их обвинительные речи никакого внимания. Впрочем, он и не знал тогда г-жи Сабины, вернее, знал только ее нежную шейку и обнаженные руки, и, как ни привлекало Кристофа это зрелище, все же его было недостаточно, чтобы вынести окончательное суждение о Сабине. Так или иначе, он не только не осуждал Сабину, но, из духа противоречия, был даже признателен ей, и в первую очередь за то, что она не угодила г-же Фогель!

Солнце за день так раскаляло все вокруг, что даже вечерами во дворе у Эйлера не было прохлады. Единственно, где можно было вздохнуть хоть немного, это у порога дома, прямо на улице. Эйлер и его зять, а нередко и Луиза, выходили посидеть часок-другой у порога. Г-жа Фогель и Роза если и появлялись здесь, то лишь на минутку, так как хозяйственные заботы не давали им передышки: Амалия считала делом чести и самолюбия ежечасно показывать, что ей нет времени бездельничать, и она во всеуслышание заявляла, что не может спокойно смотреть на всех этих дармоедов,— расселись тут и пальцем не шевельнут; это зрелище ей просто на нервы действует. А так как заставить их работать она не могла (хоть и сожалела об этом), она предпочитала вообще их не видеть и с удвоенной яростью принималась за домашние хлопоты. Роза считала необходимым подражать матери. А Эйлеру и Фогелю повсюду мерещились сквозняки, они боялись простуды и, посидев немного, уходили домой; ложились они рано, любое нарушение сложившихся привычек казалось им гибельным, так что к девяти часам на улице оставались только Луиза с Кристофом. Целые дни Луиза про-

водила в комнатах, и вечерами, когда Кристоф был свободен, он чуть не силой выводил ее подышать свежим воздухом и сам сидел с ней вместе. Без него Луиза вообще не спустилась бы вниз,— уличный шум наводил на нее ужас. Ребятишки, пронзительно визжа, гонялись друг за другом. Все окрестные псы отвечали им лаем. Из окон неслись звуки фортепиано, подальше кто-то упражнялся на кларнете, а за углом хрипел корнет-а-пистон. Кто-то кого-то окликал. Люди кучками прогуливались перед своими домами. Луизе казалось, что, останься она одна среди этой суеты, она пропадет. Но, сидя бок о бок с сыном, она была даже рада вечернему оживлению. Уличные шумы постепенно стихали. Первыми укладывались спать дети и собаки. Люди расходились по домам. Свежело. Спускалась тишина. Луиза тоненьким голоском пересказывала Кристофу все дневные происшествия, которые сообщали ей Амалия или Роза. Не то чтобы она интересовалась этими пустяковыми событиями. Но она не знала, о чем говорить с сыном, а ей так хотелось сблизиться с ним, сказать ему хоть что-нибудь. Кристоф, разгадав мысли матери, с преувеличенным интересом слушал ее рассказы, но на самом деле ничего не слышал. Он просто сидел, не двигаясь, словно оцепенев в блаженной лени, и мысленно обозревал минувший день.

Однажды вечером, когда они сидели у порога и мать что-то рассказывала, Кристоф увидел, как открылась дверь соседней лавочки. Показался женский силуэт, потом женщина бесшумно вышла и села на улице, всего в нескольких шагах от стула Луизы. Она пристроилась в самом темном уголке. Кристоф не мог разглядеть ее лица, но он сразу узнал Сабину. Его оцепенение как рукой сняло. Воздух вдруг стал мягче. А Луиза, не заметив присутствия Сабины, вполголоса продолжала свой неторопливый рассказ. Теперь Кристоф слушал ее на самом деле внимательно, он вставлял свои замечания, заговорил сам: ему хотелось, чтобы его слышали. Тонкая фигурка не шевелилась. Сабина сидела, слегка ссутулясь, скрестив ноги, положив руки ладошками на колени. Смотрела она прямо перед собой и, казалось, ничего не слышала. Луиза стала клевать носом и вскоре ушла. Кристоф сказал матери, что хочет посидеть еще немножко.

Было уже около десяти часов. Улица опустела. Соседи расходились по домам. Со стуком запирались двери лавчонок. Подмигивали освещенные окна и постепенно гасли. Медлили только два или три окна, но и в них умер свет. Тишина... Они остались одни, они не смотрели друг на друга, они удерживали дыхание

и, казалось, сами не знают, что сидят бок о бок. С дальних лугов доносился аромат скошенного сена, а на соседнем балкончике благоухал левкой. Воздух был недвижим. Над их головой мерцал Млечный Путь. Вправо багровел Юпитер. Над крышей нависла Малая Медведица. В бледно-зеленом небе расцветали, как маргаритки, звезды. На колокольне приходской церкви пробило одиннадцать, и удары часов тотчас подхватили все церкви в округе чистыми или простуженными голосами, а за стенами домов откликались приглушенным звоном стенные часы или хрипло куковали кукушки.

Кристоф и Сабина очнулись от дремы и одновременно поднялись. И, входя в дом, каждый в свой подъезд, они молча кивнули друг другу. Кристоф прошел к себе. Он зажег свечу, пододвинул кресло к столу и, опустив голову на руки, долго сидел так, ни о чем не думая. Потом глубоко вздохнул и лег.

Наутро, встав с постели, он по привычке подошел к окну и посмотрел на окна Сабины. Но занавески были спущены. Они были спущены все утро. И отныне уже не подымались.

Вечером Кристоф предложил матери пойти снова посидеть у порога. Он уже привык к этим вечерним сидениям. И Луиза была рада: она беспокоилась, видя, что сын проводит в своей спальне все вечера при закрытых окнах и ставнях. Тоненькая молчаливая тень вскоре выскользнула из двери и оказалась на вчерашнем месте. Кристоф и Сабина кивнули друг другу, но так быстро, что Луиза ничего не заметила. Кристоф болтал с матерью, Сабина улыбалась своей дочке, которая играла тут же, на улице; в девять часов она отвела девочку спать, а потом все так же бесшумно возвратилась. Когда она задержалась в комнатах, Кристоф испугался, что соседка вообще не выйдет. Он ловил все шумы в их квартире, смех девчурки, которая не желала ложиться, различил даже шелест платья Сабины еще прежде, чем она переступила порог лавки. Тогда он отвел глаза и заговорил о чем-то с Луизой — оживленно и весело. Ему казалось, что Сабина нет-нет да и взглянет на него. И он, в свою очередь, бросал на нее быстрые взгляды. Но глаза их не встретились ни разу.

Знакомство началось из-за девочки. Она бегала со своими сверстницами по улице. Девочки дразнили большого добродушного пса, который дремал, уткнув морду в передние лапы; вдруг он приоткрыл глаз, показав налитый кровью белок, и досадливо тявкнул; проказницы бросились врассыпную, визжа от радости и страха. Дочка Сабины, оглашая улицу пронзительными крика-

ми, тоже обратилась в бегство, но при этом она не спускала глаз с собаки, словно ждала, что та вот-вот бросится за ней вдогонку. И по ошибке подбежала к Луизе и прижалась к ее коленям; Луиза ласково засмеялась и не сразу отпустила девчурку, спросив у нее что-то. Сабина вмешалась, и начался общий разговор. Кристоф не принимал в нем участия. Он не говорил с Сабиной, Сабина не говорила с ним. По молчаливому соглашению оба делали вид, будто не знают друг друга. Но он ловил каждое слово, которым обменивались женщины. Его молчание показалось Луизе враждебным. Сабина думала иначе, но его присутствие смущало ее, и ответы звучали не совсем уверенно. Наконец под каким-то предлогом она ушла к себе.

Целую неделю Луиза не выходила из комнаты — она простудилась. Кристоф и Сабина сидели вечерами одни. В первый раз они даже испугались. Сабина, желая придать себе духу, не спускала дочку с колен и осыпала ее поцелуями. Смущенный Кристоф не знал, как себя вести,— прилично ли делать вид, будто он не замечает того, что происходит рядом. Положение создалось трудное: хотя они не обменялись ни словом, знакомство все-таки состоялось через Луизу. Кристоф постарался выдавить из себя две-три фразы, но слова не шли с его губ. И на сей раз девочка вывела их из затруднения. Она начала играть в прятки и все время крутилась вокруг стула Кристофа, который наконец схватил ее и поцеловал. Он не очень любил детей, но эту девочку поцеловал с какой-то особенной нежностью. Малышка вырывалась, ей не терпелось снова начать игру. Кристоф нарочно не спускал ее с колен, она укусила его за палец. Тогда он поставил ее на землю. Сабина засмеялась. Глядя на девочку, они обменялись какими-то незначительными замечаниями. Потом Кристоф (он считал необходимым сделать это) попытался завязать разговор, но он был не очень изобретательный собеседник, да и Сабина не спешила прийти к нему на выручку: она повторяла слова Кристофа, и только.

— Какой сегодня хороший вечер.

— Да, вечер прекрасный.

— У нас во дворе прямо дышать нечем.

— Да, во дворе очень душно.

Поддерживать разговор становилось все труднее. Сабина, воспользовавшись тем, что пора было укладывать дочку, вошла в дом и больше не показалась.

Кристоф боялся, что она не выйдет и на следующий вечер, что она избегает сидеть с ним наедине, поскольку Луиза еще не появлялась на улице. Но получилось наоборот: на следующий

день Сабина первая попыталась завязать разговор. Видно было, что она насилует себя и не получает от беседы удовольствия; чувствовалось, с каким трудом она отыскивает темы для разговора и как скучно ей слушать свои собственные вопросы; а вопросы и ответы замирали на лету среди гнетуще длинных пауз. Кристоф вспоминал свои первые встречи с Отто; но с Сабиной круг разговора был еще более ограничен, да она и не обладала долготерпением Отто. Видя, что попытки ее ни к чему не ведут, она сдалась: стоит ли так мучиться? Скучно... Сабина замолчала, и Кристоф последовал ее примеру.

И сразу все стало несказанно милым. Вернулась ночная тишина, вернулись обычные мысли. Сабина, мечтая о чем-то, медленно покачивалась на стуле. Кристоф сидел рядом и тоже мечтал. Они не обменялись ни словом. Через полчаса Кристоф, словно говоря сам с собой, начал вполголоса восторгаться пьянящим запахом, который шел от ручной тележки, служившей для развозки клубники. Сабина бросила в ответ два слова. Они снова замолчали. Они наслаждались очарованием этих неоконченных фраз, этих ничего не значащих слов, они мечтали об одном, они были полны одной и той же мыслью, они не знали, что это за мысль, и даже не доискивались. Когда пробило одиннадцать часов, они разошлись по домам, улыбнувшись друг другу на прощание.

На другой день они и не пытались завязать беседу. Оба снова молчали, и это было так хорошо! Время от времени они обменивались каким-нибудь кратким, односложным замечанием, которое подтверждало, что оба думают об одном и том же.

Сабина вдруг рассмеялась.

— Гораздо лучше,— сказала она,— не принуждать себя и не пытаться во что бы то ни стало говорить! Чувствуешь, что обязан говорить, а это так скучно!

— Ох, если бы все придерживались вашего мнения,— произнес Кристоф прочувствованно.

Они засмеялись. Оба подумали о г-же Фогель.

— Бедная женщина! — вздохнула Сабина.— Какая она утомительная.

— Зато она сама никогда не утомляется! — ответил Кристоф с безнадежным видом.

Сабину развеселили слова и печальный вид Кристофа.

— Вам смешно? — спросил он.— Вам-то хорошо. Вы от нее защищены.

— Еще бы! — ответила Сабина.— Недаром я запираюсь на ключ.

Она засмеялась, смех у нее был негромкий, почти беззвучный. Кристоф слушал, восхищенный. Он с наслаждением вдыхал свежий воздух, спокойствие ночи.

— До чего же хорошо молчать! — сказал он, потягиваясь на стуле.

— И до чего же бесполезно говорить! — подхватила Сабина.

— Да,— подтвердил Кристоф,— без слов все гораздо лучше понимаешь!

Снова воцарилось молчание. Ночная темнота мешала им видеть друг друга. Они потихоньку улыбались.

Однако если, сидя бок о бок, они переживали одно и то же,— или, по крайней мере, так им казалось,— на самом деле они ничего не знали друг о друге. Сабину это нимало не тревожило. Кристоф был более любопытен. Как-то вечером он спросил Сабину:

— Вы любите музыку?

— Нет,— просто ответила она.— Очень быстро надоедает. Я в музыке ничего не понимаю.

Эта откровенность пленила Кристофа. Ему так надоела ложь, так надоели люди, которые заявляют, что без ума от музыки, а сами умирают от скуки, слушая ее,— поэтому он считал чуть ли не добродетелью Сабины то, что она не любит музыку и открыто говорит об этом. Он осведомился, читает ли Сабина.

Нет, да у нее и книг нету.

Кристоф предложил к ее услугам свою библиотеку.

— А книги серьезные? — спросила она тревожно.

Если она не хочет серьезных, есть несерьезные, например стихи.

— Но это тоже серьезные книги.

— Тогда романы.

Сабина сделала гримаску.

Как, и романы ее тоже не интересуют?

Интересовать-то интересуют, только они очень длинные, никогда у нее не хватает терпения дочитать до конца. Она забывает начало, перескакивает через главы, в результате ничего не понимает, ну и бросает книгу.

Чудесное доказательство занимательности книги!

Нет, почему же, достаточно занимательно для выдуманных историй. Но она предпочитает интересоваться другим.

Театром, быть может?

Ах, нет!

Что же, она и в театр не ходит?

Да, не ходит. Там слишком жарко. Слишком много народа. Гораздо приятнее сидеть дома. К тому же яркий свет режет глаза, и актеры все такие уродливые.

Тут он был с ней согласен. Но ведь в театре есть и еще кое-что: пьесы.

— Да,— рассеянно согласилась Сабина.— Но у меня нет времени.

— Что же вы делаете с утра до вечера?

Она улыбнулась.

— Помилуйте, у меня столько дела!

— Вы правы,— согласился Кристоф,— ведь у вас магазин.

— О,— спокойно возразила Сабина,— магазином я не особенно много занимаюсь.

— Значит, все ваше время отнимает дочь?

— Ах, нет, бедная девочка! Она такая умненькая, она сама играет.

— Тогда что же?

Кристоф извинился за свою нескромность. Но Сабина, наоборот, находила разговор забавным.

— Столько, столько дела...

Какого?

Сабина не могла объяснить. Всякого дела, разного. Утром нужно встать с постели, одеться, подумать об обеде, приготовить обед, съесть обед, подумать об ужине, прибрать комнаты... Так весь день и проходит... А ведь нужно еще хоть немножко времени, чтоб ничего не делать!

— И вы никогда не скучаете?

— Никогда.

— Даже когда ничего не делаете?

— Именно когда ничего не делаю. Вот делать что-нибудь — это, пожалуй, скучно.

Они, смеясь, посмотрели друг на друга.

— Какая же вы счастливая! — вздохнул Кристоф.— А я вот не умею ничего не делать.

— А по-моему, прекрасно умеете.

— Учусь в последние дни.

— И успешно учитесь.

После разговора с Сабиной на душе у Кристофа становилось мирно и спокойно. Ему достаточно было просто смотреть на нее. Куда-то отходили все тревоги, раздражительность, нервическая тоска, сжимавшая сердце. Когда он говорил с ней, ничто не смущало его спокойствия. И ничто не смущало его спокойствия, когда он думал о ней. Он не смел признаться в этом самому

себе, но когда он сидел рядом с ней, он чувствовал, как на него нисходит чудесное оцепенение, почти дремота. И ночами теперь он спал, как никогда не спал раньше.

Возвращаясь домой с работы, Кристоф заглядывал в магазинчик. Почти всякий раз он заставал там Сабину. Они с улыбкой раскланивались. Иногда она стояла у порога, и тогда они с минуту разговаривали, или, заметив в полуоткрытой двери квартиры дочку Сабины, Кристоф подзывал ее и совал ей в руку пакетик леденцов.

Однажды он решился войти. Предлог был готов — якобы требуются пуговицы к пиджаку. Сабина начала искать пуговицы, но ничего подходящего не обнаружилось. Все пуговицы были перемешаны, и разобраться в этой мешанине не представлялось возможным. Сабине было неприятно, что Кристоф видит весь этот беспорядок. А он шутливо и даже с любопытством нагнулся над прилавком, чтобы лучше видеть.

— Не надо,— сказала Сабина, стараясь прикрыть ящик руками.— Не глядите, здесь такой хаос.

Она продолжала поиски. Но присутствие Кристофа ее стесняло. Она вдруг рассердилась и задвинула ящик.

— Все равно ничего не найду,— заявила она.— Идите к Лиззи. Это на соседней улице. У нее, наверное, такие пуговицы есть. У нее все есть, что требуется покупателю.

Кристоф от души посмеялся над таким способом вести торговые дела.

— Вы так всякий раз и отсылаете ваших покупателей?

— Иногда, конечно, случается,— ответила она весело.

Однако ей все-таки было стыдно.

— Уж очень скучно прибирать,— продолжала она.— Я со дня на день откладываю уборку. Но завтра непременно уберу.

— Хотите, я вам помогу? — предложил Кристоф.

Сабина отказалась. Ей хотелось согласиться, но ее пугали сплетни, и она не посмела принять предложение. Да, кроме того, и унизительно было.

Они продолжали болтать.

— А пуговицы? — вдруг вспомнила Сабина.— Разве вы не пойдете к Лиззи?

— Ни за что на свете,— ответил Кристоф.— Подожду, когда вы наведете здесь порядок.

— Ох,— вздохнула Сабина, уже успевшая забыть о своем решении,— не стоит вам так долго ждать.

Этот крик души развеселил обоих.

Кристоф решительно шагнул к ящику, пренебрежительно задвинутому Сабиной.

— Позвольте, я сам поищу, можно?

Сабина бросилась к нему с явным намерением помешать.

— Нет, нет, прошу вас, не надо, я знаю, у меня таких пуговиц все равно нет.

— А я держу пари, что есть.

И Кристоф сразу же торжественно извлек из ящика требуемую пуговицу. Но нужно было найти еще несколько штук. Он хотел продолжать свои поиски, но Сабина вырвала у него из рук ящик и, уязвленная в своем самолюбии, стала сама рыться среди груды пуговиц.

Вечерело. Сабина подошла к окну. Кристоф уселся рядом с ней, девочка забралась к нему на колени. Он притворялся, что слушает ее лепет, и рассеянно отвечал на ее вопросы. На самом же деле он смотрел на Сабину, и она знала, что он на нее смотрит. Она низко нагнулась над ящиком. Он видел только ее шею и часть щеки. И, глядя на нее, он вдруг заметил, что Сабина покраснела. И он тоже покраснел.

Девочка продолжала что-то лепетать. Никто ей не отвечал. Сабина не шевелилась. Кристоф не видел, что она делает; он знал, что она ничего не делает, что не видит даже ящика, который держит в руках. Тишина стала гнетущей. Девочка, испуганная молчанием матери, соскользнула с колен Кристофа и спросила:

— Почему вы ничего не говорите?

Сабина резко обернулась и схватила дочку в объятия. Ящик упал на пол; девочка испустила радостный вопль и на четвереньках бросилась в погоню за пуговицами, закатившимися под стулья. Сабина снова стала у окна и прижалась лицом к стеклу. Казалось, она внимательно смотрит на что-то, происходящее на улице.

— Прощайте,— смущенно сказал Кристоф.

Сабина не повернула головы и тихо произнесла:

— Прощайте.

В воскресенье после обеда дом обычно пустел. Все семейство Эйлеров — Фогелей отправлялось к вечерне. Сабина не ходила в церковь. Кристоф в шутку упрекал ее за это, увидев как-то вечером, что она сидит в садике, хотя все колокола надрываются, призывая ее в храм божий. Сабина отвечала в том же шутли-

вом тоне, что только к обедне ходить обязательно, а к вечерне вовсе нет; бесполезно и даже, если хотите, нескромно проявлять излишнее молитвенное рвение, и она предпочитает думать, что бог вовсе на нее не сердится, а скорее доволен ее поведением.

— Вы творите бога по своему образу и подобию,— заметил Кристоф.

— По моему образу? На его месте я бы страшно скучала,— ответила Сабина убежденным тоном.

— Вы не особенно рьяно занимались бы людскими делами, будь вы на его месте.

— Я бы хотела только одного: чтобы он не занимался мною.

— Что ж, может, так оно было бы лучше,— ответил Кристоф.

— Замолчите! — воскликнула Сабина.— Мы просто кощунствуем.

— Какое же тут кощунство? Я только сказал, что бог похож на вас. И уверен, что такое сравнение ему бы польстило.

— Да замолчите же! — повторила Сабина не то сердито, не то смеясь. Она испугалась, что бог и в самом деле вознегодует, и поспешно переменила тему разговора.

— Кроме того,— добавила она,— в эти часы единственный раз за всю неделю можно спокойно посидеть в саду.

— Да,— согласился Кристоф.— Их нет дома.

Они переглянулись.

— Какая тишина! — добавила Сабина.— Как-то даже непривычно... Будто мы и не здесь...

— Ух! — вдруг гневно воскликнул Кристоф.— Иной раз так бы и передушил их всех...

Объяснять, кого и зачем, не было надобности.

— Неужели всех? — весело спросила Сабина.

— Ах да,— растерянно ответил Кристоф.— Розу бы не стал душить.

— Бедная девочка! — вздохнула Сабина.

Помолчали.

— Вот если бы всегда было так, как сейчас,— вздохнул Кристоф.

Сабина вскинула на него смеющиеся глаза и потупилась. Тут только Кристоф заметил, что она чем-то занята.

— Что вы делаете? — спросил он.

(Кристоф стоял за густой завесой плюща, отделявшего сад Эйлера от садика Сабины.)

— Вы же сами видите,— ответила Сабина, приподняв миску, стоявшую у нее на коленях,— лущу горошек.

И она тяжело вздохнула.

— Это не так уж трудно,— со смехом заметил Кристоф.

— Ох, все время заниматься приготовлением обеда до смерти скучно,— ответила она.

— Держу пари,— заметил Кристоф,— что, будь хоть малейшая возможность, вы бы никогда не обедали, лишь бы избавиться от надоедливой стряпни.

— Конечно, не обедала бы! — подтвердила Сабина.

— Подождите-ка! Я вам сейчас помогу.

Кристоф перепрыгнул через изгородь и подошел к Сабине. Сабина сидела на стуле у порога дома. Он опустился на ступеньки у ее ног. В складках подобранного у талии платья он брал пригоршни зеленых стручков и бросал маленькие круглые горошинки в миску, стоявшую на коленях у Сабины. Кристоф упорно смотрел в землю. Он видел черные чулки Сабины, плотно обтягивавшие лодыжки и икры, одна туфля держалась только на кончиках пальцев. Он не смел поднять глаз.

Свинцовый воздух предвещал грозу. Ни дуновения под низкими, белесыми небесами. Ни один лист не шевелился. Сад был замкнут высокими стенами: мир кончался за ними.

Девочку увела соседка. Кристоф и Сабина остались одни. Они ничего не говорили. Не могли говорить. Не глядя, брал он с колен Сабины горстку гороха, и пальцы его дрожали, касаясь ее платья; и пальцы Сабины дрожали тоже, когда вдруг, перебирая свежие и гладкие стручки, дотрагивались до руки Кристофа. Они, не сговариваясь, прервали работу. Оба теперь сидели неподвижно, не глядя друг на друга: она — откинувшись на спинку кресла, с полуоткрытым ртом, с бессильно повисшими руками, он — у ее ног, чувствуя плечом теплые колени Сабины. Им не хватало воздуха. Кристоф приложил ладони к каменным ступеням, чтобы освежить пылающие руки, и случайно задел ногу Сабины, ту, с которой спадала туфелька, и так и замер, не в силах отвести руку. Обоих охватила дрожь. Они чуть не теряли сознания. Рука Кристофа все сильнее сжимала тонкие пальчики, маленькую ножку Сабины. Сабина медленно приблизила к Кристофу похолодевшее, чуть влажное лицо...

Вдруг знакомые голоса вывели их из опьянения. Оба вздрогнули. Кристоф быстро поднялся с места и перескочил изгородь. Сабина собрала очистки в подол юбки и пошла в дом. Во дворе Кристоф обернулся. Она стояла на пороге. Они посмотрели друг на друга. Мелкие капли дождя забарабанили по листве. Сабина захлопнула дверь. Г-жа Фогель и Роза подымались по лестнице. Кристоф прошел в свою комнату...

Когда окрашенный желтизной день угас в потоках дождя, Кристоф, повинуясь неодолимому влечению, поднялся из-за стола; он бросился к закрытому окошку и протянул руки к домику напротив. И в ту же самую минуту в окошке напротив за стеклом, в полумраке комнаты, он увидел — решил, что увидел,— Сабину, протягивавшую к нему руки.

Он бросился туда. Спустился с лестницы. Побежал к изгороди. Пусть все видят, он все равно пойдет. Но когда он взглянул на окно, где только что стояла Сабина, он увидел, что все ставни закрыты. Дом, казалось, спал. Кристоф не осмелился постучать. Старик Эйлер, направлявшийся к погребу, заметил Кристофа и окликнул его. Кристоф вернулся домой вместе с Эйлером. Он решил, что все это лишь пригрезилось ему.

Роза недолго оставалась в неведении относительно происходившего. Но ей чуждо было малейшее недоверие, и она не знала еще, что такое ревность. Она готова была отдать все, ничего не требуя взамен. Но если она с грустью и смирением принимала как должное то, что Кристоф не любит ее, она не могла допустить мысли, что Кристоф полюбит другую.

Однажды вечером после обеда она закончила наконец вышивать надоевший стенной коврик, над которым трудилась долгие месяцы. Счастливая, она решила хоть как-нибудь отпраздновать свое освобождение и побеседовать с Кристофом. Когда мать занялась чем-то в комнатах, Роза незаметно выбралась из дому. Выскользнула потихоньку, как напроказивший школяр. Она радовалась, предвкушая свое торжество над Кристофом,— ведь он не раз пренебрежительно уверял, что ей никогда не разделаться с ковриком. Она подстережет его на улице — то-то будет весело. Бедняжка прекрасно знала, какие чувства питает на ее счет Кристоф, но упорно считала, что раз она при встрече с тем или иным человеком испытывает удовольствие, то и ему должно быть приятно.

Роза вышла на улицу. Перед домом, как обычно, сидели Кристоф и Сабина. Сердечко Розы сжалось. Однако она прогнала это мимолетное неприятное ощущение и весело окликнула Кристофа. Звук ее пронзительного голоса в вечернем безмолвии произвел на Кристофа впечатление фальшивой ноты. Его даже передернуло, лицо его исказилось от гнева. Роза торжествующе сунула ему под нос свой коврик. Кристоф нетерпеливо отмахнулся.

— А я кончила вышивать, кончила! — твердила Роза.

— Ну и прекрасно. Начинайте новый,— сухо ответил Кристоф.

Роза оцепенела. Вся ее радость разом померкла.

А Кристоф продолжал злым тоном:

— Когда вы закончите вышивать тридцатый коврик, когда вы станете дряхлой старухой, у вас хоть будет приятное сознание, что вы не зря прожили жизнь.

Слезы выступили на глазах у девочки.

— Господи,— сказала она,— какой вы злой, Кристоф!

Кристофу стало стыдно, и он пробормотал какую-то любезную фразу. А Розе так мало требовалось, она разом обрела обычную безмятежность духа и начала болтать, говорить тихо она не умела и кричала, будто оглашенная, подобно прочим обитателям дома. Как ни старался Кристоф сдержать свою ярость, ему это плохо удавалось. Сначала он отвечал на болтовню Розы односложно, но сердито, потом вообще перестал отвечать, повернулся к ней спиной, вертелся на стуле, скрипел зубами, слыша над ухом ее трескотню. Роза видела, что он злится, знала, что ей следует помолчать, но не унималась. Сабина, сидевшая чуть поодаль, молча с невозмутимой иронией наблюдала эту сцену. Затем, поняв, что вечер потерян, устало поднялась и ушла домой. Кристоф заметил ее уход не сразу. Но, заметив, встал и, даже не извинившись, удалился, сухо пожелав Розе спокойной ночи.

А Роза, оставшись одна, растерянно глядела на дверь, за которой скрылся Кристоф. Слезы душили ее. Она быстро вбежала в переднюю, тихонько, чтобы не остановила мать, поднялась к себе в спальню, быстро разделась и бросилась в постель; закрывшись с головой одеялом, она начала рыдать. Она не пыталась понять, что именно произошло, она не думала, любит ли Кристоф Сабину, ненавидят ли Кристоф и Сабина ее, Розу; она знала, что все потеряно, что жизнь отныне не имеет никакого смысла и что остается одно: умереть.

Утро принесло неизменную и обманчивую надежду, а вместе с нею и рассудительность. Перебирая в памяти события вчерашнего вечера, Роза убедила себя, что зря приписывает незначительному, в сущности, происшествию такую важность. Пусть Кристоф ее не любит: она покорялась неизбежному, ибо про себя тайно лелеяла мысль, что, любя так сильно, заставит Кристофа полюбить себя. Да и откуда она взяла, что между Кристофом и Сабиной что-то есть? Разве мог он, такая умница, полюбить столь незначительную особу, не видеть ее пустоты? Роза воспрянула духом, но все же стала следить за Кристофом. Днем она ничего не сумела заметить, так как нечего было замечать; а Кристоф, видя, как с самого утра Роза без всякой види-

мой причины не отходит от него, пришел в неистовый гнев... Гнев достиг своего апогея, когда вечером Роза появилась на улице и решительно уселась между Кристофом и Сабиной. Повторилась вчерашняя сцена. Говорила одна Роза. Но на сей раз Сабина еще раньше, чем накануне, ушла домой, и Кристоф последовал ее примеру. Роза не могла не видеть, что ее присутствие становится назойливым, но несчастная девочка старалась себя обмануть. Она не нашла ничего лучшего, как снова навязать Кристофу свое общество, и с обычной своей неловкостью продолжала держаться этой тактики все последующие вечера.

Назавтра Кристоф в компании Розы напрасно дожидался Сабины.

А еще через день Роза сидела на улице в полном одиночестве. Кристоф и Сабина уступили ей поле битвы. Бедняжка добилась только одного — ненависти Кристофа, который впал в неистовство, когда его лишили единственной отрады — милых вечерних часов. И он тем менее был склонен простить Розе ее вмешательство, что, поглощенный своими собственными чувствами, даже не пытался разобраться в чувствах Розы.

А Сабина знала, уже давно знала, что Роза ревнует, знала даже раньше, чем поняла, что сама может влюбиться в Кристофа; она молчала и с жестокостью хорошенькой женщины, которая не сомневается в победе, спокойно и насмешливо следила за бесполезными стараниями своей незадачливой соперницы.

Роза, оставшись хозяйкой на поле битвы, пожинала плоды своей тактики. Самое разумное было бы с ее стороны не настаивать, ждать, оставить хоть на время Кристофа в покое, но как раз этого она не желала и, наоборот, сделала худшее, что могла сделать,— стала говорить с ним о Сабине.

С замирающим сердцем она, желая знать мнение Кристофа, робко заметила ему, что Сабина хорошенькая. Кристоф сухо ответил, что очень хорошенькая. И хотя Роза ждала именно такого ответа, даже сама его вызвала, услышав подтверждение из уст Кристофа, она почувствовала удар в сердце. Она отлично знала, что Сабина хорошенькая, но как-то никогда не придавала этому значения; теперь же, взглянув на нее глазами Кристофа, впервые увидела тонкие черты, аккуратный носик, маленький рот, хрупкую фигурку, изящество движений... О, какая мука! Чего бы только не дала Роза, чтобы иметь такую же оболочку! Она слишком хорошо понимала, что эту оболочку предпочли ее собственной. Ах! Да разве она ее выбирала? Как Роза тяготи-

лась своей внешностью! Какой уродливой казалась себе! Она стала сама себе отвратительна. И только смерть избавит ее от этого бремени! Роза была слишком горда и вместе с тем слишком смиренна и не жаловалась, что ее не любят; она не имела на это никакого права и старалась еще сильнее принизить себя. Но что-то в ней бунтовало... Нет, какая несправедливость! Почему она, ее тело — это ее тело, а не Сабинино? И почему любят Сабину? Что она сделала, чтоб быть любимой? Роза смотрела на нее беспощадным взором и видела маленькую ленивицу, неряху, эгоистку, равнодушную ко всему на свете, не занимающуюся ни хозяйством, ни ребенком, любящую только самое себя, живущую только ради того, чтобы спать, слоняться без толку и ничего не делать. И вот такая-то понравилась... Понравилась Кристофу... Кристофу, такому суровому, Кристофу, умеющему судить обо всем строго и правильно, Кристофу, которого она уважала и которым восхищалась превыше всех на свете. Ах, это слишком несправедливо! Даже глупо! Как Кристоф не видит этого сам? Она не могла удержаться и время от времени вставляла какое-нибудь нелестное замечание о Сабине. Получалось это помимо ее собственной воли. Всякий раз она потом раскаивалась в своем необдуманном слове, потому что была добрая девочка и не любила осуждать ближних. Но еще сильнее раскаивалась потому, что всякий раз злобные ответы Кристофа показывали ей силу его увлечения. Он ничего и никого не щадил. Оскорбленный в своем чувстве, он сам старался оскорбить; и, надо сказать, это ему удавалось. Роза не отвечала и молча уходила, опустив голову и крепко сжав губы, чтобы не разреветься. Она считала, что сама виновата, раз получила по заслугам,— зачем она задела Кристофа, неосторожно оскорбив предмет его любви.

Мать ее проявляла меньше терпения. Г-жа Фогель, от которой ничего не могло укрыться, быстро приметила, равно как и дедушка Эйлер, частые беседы Кристофа с их молоденькой жиличкой; нетрудно было догадаться, что здесь роман. А это шло вразрез с их тайными планами женить Кристофа на Розе, и семейству Эйлера теперь казалось, что Кристоф,— у которого никто не спрашивал согласия,— обидел их лично, хотя вовсе он не обязан был знать, как распорядились они его судьбой. Но деспотичная Амалия не могла допустить, чтобы кто-нибудь думал иначе, чем она, и возмущалась тем, что Кристоф не разделяет того пренебрежительного мнения о Сабине, которое неоднократно высказывалось ею вслух.

Амалия не стеснялась напоминать Кристофу это свое мнение. Как только Кристоф оказывался рядом, г-жа Фогель под любым предлогом заговаривала о соседке, стараясь особенно больно уязвить Кристофа; и так как глаза и язык ее были беспощадны, она не слишком затруднялась в подыскании соответствующих фактов и выражений. С безжалостным чутьем женщин, которые оставили далеко позади мужчину в искусстве причинять боль, равно как и творить добро, Амалия не столько распространялась о лености и прочих нравственных недостатках Сабины, сколько упирала на ее нечистоплотность. Ее нескромное око соглядатая в поисках доказательств проникало сквозь закрытые ставни, выслеживало Сабину в спальне; она без стеснения оглашала женские секреты и сама наслаждалась грубой откровенностью своих наблюдений. А когда приличие не позволяло сказать всего, Амалия прибегала к многозначительным намекам.

Кристоф бледнел от стыда и ярости, он становился белым, как бумага, губы у него тряслись. Роза, предвидя, что воспоследует, умоляла Амалию замолчать, даже становилась на сторону Сабины. Но слова дочери лишь распаляли г-жу Фогель.

Обычно кончалось тем, что Кристоф, как бешеный, вскакивал со стула. Он молотил кулаками по столу и кричал, что подло так говорить о женщине, подло шпионить за нею, смеяться над ее бедностью; только злобный человек может так ополчиться против прелестного, доброго, безобидного создания, живущего в стороне от всех, никому не причиняющего зла, ни о ком не злословящего. И вообще зря стараются, пусть не воображают, что можно повредить Сабине в чьем-либо мнении, напротив, так она еще милее, еще лучше видишь ее доброту.

Амалия понимала, что зашла слишком далеко, но отповеди Кристофа ее оскорбляли, и, переводя спор в другую плоскость, она заявляла, что слишком легко говорить о доброте,— чего только не оправдывают этим словом! Черт возьми! Нетрудно прослыть доброй, ничего и никогда не делая, не заботясь ни о людях, ни о выполнении своего долга.

На это Кристоф отвечал, что первейший долг человека делать жизнь приятной своим близким, но что имеется немало таких особ, которые полагают свой долг в ином — делают все, что безобразно, противно, надоедают другим, стесняют чужую свободу, злятся, оскорбляют соседей, слуг, домашних, самих себя. Храни нас бог от таких людей и их долга, как от чумы!

Спор обострялся. Амалия не скупилась на ядовитые намеки. Кристоф не отставал. Все это привело лишь к тому, что Крис-

тоф нарочно стал показываться теперь вместе с Сабиной. Он при всех стучался к ней в дверь. Весело говорил с ней, смеялся и с умыслом выбирал такие минуты, когда Амалия и Роза могли их видеть. Амалия мстила ядовитыми речами. Но чувствительное сердце Розы страдало от этой утонченной жестокости; она догадывалась, что Кристоф ненавидит их всех, что он им мстит, и горько плакала.

Так Кристоф, сам не раз страдавший незаслуженно от человеческой несправедливости, научился приносить другим незаслуженные страдания.

Спустя некоторое время брат Сабины — мельник, живший в Ландегге, маленьком селении, всего в нескольких лье от городка, решил отпраздновать крестины своего новорожденного сына. Сабине предложили быть крестной матерью. Она пригласила Кристофа. Кристоф не любил таких торжеств, но из желания досадить Фогелям и побыть с Сабиной охотно согласился.

Сабина не могла отказать себе в невинном удовольствии и пригласила также Амалию и Розу, зная заранее, что они откажутся. Обе действительно не преминули отказаться. Розе до смерти хотелось принять приглашение. Она вовсе не питала к Сабине неприязни, временами даже чувствовала к ней настоящую нежность,— ведь Сабину любил Кристоф; Розе хотелось сказать об этом своей сопернице, броситься к ней на шею. Но рядом была мать, мать, служившая образцом и примером. Поэтому Роза ожесточилась в своей гордыне и отклонила приглашение ехать. Когда же Кристоф с Сабиной уехали и Роза подумала о том, что они вместе, что они счастливы, что они теперь прогуливаются этим чудесным июльским днем, тогда как она сидит в комнате, перед нею стопка белья, которое нужно перештопать, да еще мать все ворчит,— ей показалось, что в их доме можно задохнуться, и она прокляла свое самолюбие. А может быть, еще не поздно? Увы, если бы даже не было поздно, она все равно поступила бы так же...

Мельник прислал за Сабиной и Кристофом тележку. По дороге они заезжали за другими приглашенными из города и с соседних ферм. Погода стояла прохладная, сухая. Яркие лучи солнца играли в краснеющих кистях придорожной рябины и в вишеннике, посаженном вдоль межи. Сабина улыбалась. Ее бледное личико порозовело от свежего воздуха. Кристоф держал на коленях девочку. Им не хотелось разговаривать, они

обменивались с соседями пустыми замечаниями; для обоих было радостью слышать голос друг друга, было радостью сидеть рядом на одной скамеечке. Показывая друг другу на какой-нибудь домик, дерево, прохожего, они переглядывались важно и весело, как дети. Сабина любила деревню, но почти никогда не ездила к брату: слишком уж ее одолевала лень. Уже скоро год, как Сабина не выбиралась из города, и теперь всякий пустяк веселил ее взор. Кристофу все это было давно знакомо, но он любил Сабину и, как всякий любящий, смотрел глазами любимой, откликался на каждое ее радостное движение, вдвое восторгался, видя ее восторг, ибо, разделяя чувства Сабины, составлял с нею одно целое. На дворе у мельника собрались все родные и гости, прибывшие раньше; они встретили появление тележки громогласными криками. Кудахтанье кур, кряканье уток, лай псов сливались в оглушительный шум. Сам мельник, по имени Бертольд, белокурый малый, с квадратным черепом и такими же плечами, высокий и крепкий, полная противоположность тоненькой и хрупкой Сабины, подхватил ее на руки и бережно поставил на землю, будто боялся разбить. Кристоф сразу же заметил, что сестричка, как то и бывает, вертит гигантом-мельником, а тот, хоть и отпускал довольно тяжеловесные шутки, прохаживаясь насчет ее капризов, лености и множества других недостатков, служит ей покорно, как раб. И она так к этому привыкла, что считала такое поведение в порядке вещей. Она все считала в порядке вещей и ничему не удивлялась. Она не прилагала никаких усилий, чтобы внушить к себе любовь; ей казалось, что так оно и должно быть, а если кто-нибудь не особенно ее жаловал, ну и бог с ним,— поэтому-то все ее и любили.

Кристоф сделал и другое, менее приятное открытие. Он совсем позабыл, что на крестинах полагается быть не только крестной матери, но и крестному отцу и что куму, по обычаю, даются кое-какие права над кумой, от чего вряд ли кто-нибудь откажется, особенно если кума молоденькая и хорошенькая. Кристоф вспомнил об этом лишь тогда, когда какой-то фермер с белокурыми кудрями и сережками в ушах подошел к Сабине и со смехом расцеловал ее в обе щеки. Ему бы сказать себе, что только такой глупец, как он, мог забыть об этом, что нелепо обижаться на всем известный обычай, а он вместо этого надулся на Сабину, будто она нарочно заманила его в ловушку. А так как во время церемонии он оказался далеко от Сабины, он еще больше рассердился. Время от времени Сабина оборачивалась и, высмотрев Кристофа среди длинной процессии, про-

тянувшейся по лугу, бросала ему ласковый взгляд. Но он притворялся, что ничего не замечает. Сабина чувствовала, что Кристоф сердится, догадывалась даже почему, но ничуть не тревожилась, а только забавлялась. Если бы даже она по-настоящему поссорилась с любимым человеком и по-настоящему огорчилась этой ссорой, она все равно бы пальцем не шевельнула, чтобы положить конец недоразумению: уж очень много хлопот. Все и так окончится хорошо, все образуется само собой.

За столом Кристофа усадили между мельничихой и толстой краснощекой девицей,— Кристоф уже шел с нею в паре в церковь, но тогда не удосужился даже обернуться в ее сторону; а тут он решил разглядеть получше свою соседку, нашел, что она недурна, и, желая отомстить Сабине, стал любезничать со своей дамой, надеясь привлечь внимание изменницы. Он успел в своем замысле, но не такой женщиной была Сабина, чтобы ревновать кого-нибудь к кому-нибудь, лишь бы ее любили, а там не важно, любят или нет еще и других, и, не почувствовав никакой обиды, она от души радовалась, что Кристофу так весело. Она посылала ему через весь стол самые очаровательные улыбки. Кристоф был обескуражен, он не сомневался более в полном равнодушии Сабины; он вдруг сердито замолчал, и слова из него нельзя было вытянуть — не помогли ни шутки, ни вино. Наконец он совсем раскис, ругательски ругал себя за то, что согласился поехать на эти проклятые крестины, и не слышал даже, как мельник предложил гостям покататься на лодке, а кстати развезти кое-кого по домам. И не видел, как Сабина быстро кивнула ему головой, приглашая сесть в одну с ней лодку. Но когда Кристоф спохватился, места в лодке уже не оказалось, ему пришлось сесть в другую лодку. Понятно, эта новая незадача не улучшила его настроения, но он сообразил, что, к счастью, почти все его спутники постепенно сойдут на берег. Тогда он воспрянул духом и стал даже любезно улыбаться. Да и прекрасная прогулка по реке, удовольствие, которое ему доставляла гребля, веселый смех и шутки соседей окончательно развеселили Кристофа. Раз Сабины нет с ним, он может дать себе волю и со спокойной душой развлекаться так же, как и все остальные.

Гости разместились в трех лодках. Шли они корма в корму и старались обогнать соседей. С лодки на лодку неслась веселая и беззлобная ругань. Когда лодки Кристофа и Сабины поравнялись, он увидел веселый взгляд молодой женщины и сам улыбнулся в ответ: оба поняли, что мир восстановлен. Ведь Кристоф твердо знал, что обратно они поедут вместе.

Гости запели на четыре голоса. Каждая группа по ходу песни пела один куплет, а хор подхватывал припев. Лодки плыли теперь на значительном расстоянии друг от друга, и голоса доносились, как эхо. Звуки скользили по воде, словно птицы. Время от времени какая-нибудь лодка причаливала к берегу, и двое-трое приглашенных крестьян высаживались; и долго еще они стояли на берегу, махая рукой вслед отплывающим. Компания таяла. С каждой остановкой хор все редел. Наконец Сабина, Кристоф и мельник остались одни.

Они пересели в одну лодку и пустили ее вниз по течению. Кристоф и Бертольд, сидевшие на веслах, бросили грести. Сабина, пристроившаяся на корме лицом к Кристофу, говорила с братом, а смотрела на Кристофа. Так они могли вести немую беседу и знали, что их диалог оборвется, стоит замолкнуть ненужным словам. Слова, казалось, говорили: «Я гляжу вовсе не на вас». А взгляды говорили: «Кто ты? Кто ты? Ты, кого я люблю! Ты, кого я люблю, каков бы ты ни был!»

Небо нахмурилось, с лугов потянуло сыростью, над рекой заклубился туман, и в нем потухли последние лучи солнца. Сабина продрогла и накинула на голову и плечи небольшую черную шаль. Она выглядела усталой. Лодка скользила сейчас вдоль берега под ветвями плакучих ив. Сабина прикрыла глаза, ее маленькое личико побледнело, вокруг губ легла страдальческая складка, она не шевелилась; казалось, она страдает, отстрадала, уже умерла. У Кристофа сжалось сердце. Он нагнулся к Сабине. Она подняла веки и, заметив тревожный и вопросительный взгляд Кристофа, улыбнулась ему. Это было как солнечный луч. Он сказал, понизив голос:

— Вы больны?

Она отрицательно покачала головой и ответила:

— Нет, просто замерзла.

Оба мужчины набросили на нее свои пальто, закутали ей ноги, подоткнули края пальто под коленки, словно ребенку в кроватке. Она молча приняла их услуги и поблагодарила взглядом. Заморосил мелкий, холодный дождик. Кристоф с мельником приналегли на весла, торопясь поскорее добраться до дома. Тяжелые тучи обволокли все небо. Нос лодки рассекал чернильно-темную воду. В окнах домов, там и сям, замелькали огоньки. Когда они добрались до мельницы, дождь хлынул вовсю, и Сабина совсем окоченела.

В кухне жарко растопили камин, и в ожидании, когда прекратится ливень, все уселись у огня. Но дождь лил все сильнее, поднялся ветер, а до города надо было ехать целых три лье.

Мельник заявил, что он ни за что не отпустит Сабину в такую погоду, и предложил Кристофу и сестре переночевать у него на ферме. Кристоф не знал, соглашаться или нет, он пытался прочесть ответ в глазах Сабины, но глаза Сабины не отрывались от яркого пламени; казалось, она боится поднять взгляд и подсказать Кристофу ответ. Когда же Кристоф согласился, она молча повернула к нему порозовевшее личико (или, может быть, то был отсвет пламени), и черты ее выразили удовольствие.

Незабываемый вечер... Непогода бушевала во дворе. Пламя, лизавшее черную пасть очага, рассыпалось роем золотых звездочек. Гости и хозяева сидели у огня. По стенам скользили их причудливые силуэты. Мельник показывал дочурке Сабины зайчиков, ловко складывая пальцы. Девочке не верилось, и она все смеялась. Сабина, немного нагнувшись, машинально шевелила поленья длинными щипцами; она сильно устала и рассеянно улыбалась своим мыслям; и видно было, что она не слушает золовки, которая что-то с жаром рассказывает гостье о домашних делах, и только для виду утвердительно кивает головой. Кристоф, сидя в темноте рядом с мельником, нежно перебирал волосики девочки и смотрел на улыбающиеся губы Сабины. Она знала, что он на нее смотрит. А он знал, что она улыбается ему. За целый вечер им не удалось обменяться ни словом, не удалось даже поглядеть друг другу в глаза, да они и не стремились к этому.

Спать разошлись рано. Сабину и Кристофа поместили в двух смежных комнатах. Между ними была прорезана дверь. Кристоф машинально взглянул на дверь и заметил, что задвижка находится с той стороны. Он лег и честно старался заснуть. В окна стучал дождь. Ветер сердито завывал в трубе. На верхнем этаже хлопала дверь. Тополь, сгибаясь под порывами бури, надсадно скрипел под окном. Кристоф лежал с открытыми глазами. Он думал, что она рядом, под одною с ним крышей, только стена их разделяет. Из комнаты Сабины не доносилось ни звука. Но ему казалось, что он видит ее. Присев на кровати, он звал ее тихим голосом, он говорил ей туда, через стену, нежные и страстные слова. Он даже протягивал к ней руки. И ему чудилось, как отвечает ему милый голос, как повторяет его слова, зовет его шепотом: и он не знал, действительно ли говорит Сабина, или он сам отвечает на свои вопросы. Вдруг призыв стал так слышен, что Кристоф не выдержал... Он соскочил с постели, ощупью добрался до двери — он не хотел ее отпирать: ему было бы спокойнее, если бы она была

заперта. Но когда он еще раз коснулся ручки ладонью, он почувствовал, что дверь подалась...

Кристоф оцепенел... Он тихонько прикрыл дверь, снова ее открыл и снова закрыл. Разве Сабина не заперла только что дверь? Заперла, он знал, что заперла. Кто ж тогда ее открыл? Сердце бешено стучало в груди, он задыхался. Он оперся о спинку кровати и присел, стараясь отдышаться. Страсть сразила его, лишила его возможности смотреть, слушать, шевелиться; он дрожал всем телом. Ему внушало страх то самое неизведанное счастье, которое он призывал долгие месяцы и которое теперь было здесь, рядом, от которого его ничто не отделяло. И этот обуянный неистовой страстью подросток вдруг почувствовал лишь ужас и отвращение теперь, когда желания его сбывались. Он стыдился своих желаний, стыдился того, что должно было произойти. Он слишком любил и не смел насладиться своей любовью, он даже пугался этой мысли, он готов был на все, лишь бы избежать счастья. Любить, любить. Неужели любовь — это осквернение того, что любишь?..

Он снова подошел к двери и, дрожа от страсти и ужаса, положил руку на засов.

А по ту сторону двери стояла босыми ногами на каменных плитах дрожащая от холода Сабина.

И так они ждали, они не решались... Сколько прошло времени? Минута? Час? Они не знали, что рядом, за дверью, стоит другой,— и все-таки знали. Они тянулись друг к другу: он — не смел войти, раздавленный бременем любви, а она ждала, звала его и трепетала при мысли, что он войдет. И когда он решился наконец войти, было поздно — она решилась и заперла дверь.

«Сумасшедший!» — шептал он. Он налег на дверь всей тяжестью тела. Прижав губы к замочной скважине, он умолял:

— Откройте!

Он шепотом звал Сабину; до нее долетало его прерывистое дыхание. Она стояла, прижавшись к двери, неподвижная, застывшая, зубы ее громко стучали, она не имела силы ни открыть дверь, ни отойти от двери...

Порывистый ветер стучался в ставни, гнул под окном жалобно скрипевшие деревья. Сабина и Кристоф медленно разошлись по своим постелям, чувствуя усталость во всем теле и тоску в сердце. Хрипло пропел петух, ему ответил другой; забрызганные грязью окна посветлели — начинался рассвет. Безрадостный, белесый рассвет, еле пробивающийся сквозь упрямый дождь...

Кристоф поднялся с постели, спустился на кухню, заговорил с хозяевами. Ему хотелось поскорей уехать. Он боялся остаться наедине с Сабиной. Он почувствовал облегчение, когда мельник сказал, что Сабина прихворнула,— слишком перемерзла вчера на лодке и в город сегодня не поедет.

Как мрачен был обратный путь! Кристоф отказался от тележки и пошел пешком; он брел по мокрым лугам среди тумана, желтым саваном окутывавшего землю, деревья, дома. И вся жизнь казалась тусклой, как этот свет. Все казалось призрачным. И сам он был словно призрак.

Дома его встретили сердитые лица. Все были возмущены — провести неизвестно где ночь, да еще с Сабиной. Кристоф заперся в своей комнате и сел за работу. Сабина вернулась на другой день и тоже не выходила. Они избегали встреч. Погода стояла дождливая, оба не покидали дома. Но они видели друг друга сквозь стекла плотно закрытых окон. Сабина, укутавшись в шаль, сидела у очага и о чем-то думала. Кристоф не подымал головы от своих бумаг. Они раскланивались через окошко, сдержанно, даже холодно, и тут же с нарочитой поспешностью брались за прерванное занятие. Они не отдавали себе ясного отчета в своих чувствах: просто сердились друг на друга, на самих себя, на все и на вся. Они изгнали из памяти ночь, проведенную у мельника; они краснели, вспоминая о ней, и не знали, краснеют ли, стыдясь охватившего их тогда безумия, или, наоборот, стыдятся, что не уступили ему. Видеться для них стало мукой, так как при встречах они вспоминали то, что хотелось забыть, и словно по уговору избегали встреч и сидели безвыходно дома, надеясь, что все забудется. Но это оказалось не так-то легко, и оба страдали, чувствуя втайне взаимную неприязнь. Кристофу всюду чудилось выражение холодной неприязни, подмеченное как-то на личике Сабины. А сама Сабина тоже страдала от таких же мыслей. Напрасно она боролась, напрасно пыталась их подавить: они были с ней всегда. Да еще стыд от сознания, что Кристоф догадывается об ее переживаниях, жгучий стыд оттого, что сама предложила себя... предложила себя и не посмела отдаться.

Поэтому Кристоф с жаром ухватился за предложение уехать с концертами в Кельн и Дюссельдорф. Ему улыбалась перспектива провести две-три недели подальше от дома. Приготовления к отъезду и новая соната, которую он торопился закончить, чтобы исполнить в концертах, поглотили его, и в конце

концов назойливые воспоминания отошли куда-то. Отошли они и от Сабины, которую снова засосала цепенящая скука будней. Они уже думали друг о друге с полным безразличием. Любили ли они друг друга? Теперь они сомневались в этом. Кристоф готов был уехать в Кельн, даже не попрощавшись с Сабиной.

Накануне отъезда их свел случай. Было это в воскресенье к вечеру. Фогели и Эйлер отправились, по обыкновению, в церковь. Кристоф тоже ушел в город, решив сделать покупки к отъезду. Сабина сидела в своем крошечном садике, греясь в лучах заходящего солнца. Кристоф как раз возвратился; он спешил, и первым его побуждением было поздороваться с Сабиной и молча пройти мимо. Но когда он поравнялся с нею, какое-то смутное чувство удержало его. Было ли тому причиной бледное лицо Сабины или неясный страх, угрызения совести, нежность?.. Он остановился, подошел и, опершись о проволочную изгородь, поздоровался с Сабиной. Она молча протянула ему руку. На губах ее играла добрая улыбка, такой доброй улыбки он еще ни разу у нее не видел. Доверчиво протягивая Кристофу руку, она, казалось, говорила: «Мир, мир! Забудем все». Он схватил протянутую сквозь проволочную изгородь руку, нагнулся и поцеловал ее. Сабина не отняла руки. Ему хотелось броситься перед нею на колени, закричать: «Я люблю вас...» Они молча глядели друг на друга. Но объяснение не состоялось. Подождав с минуту, Сабина отняла руку и отвернулась. Кристоф отвернулся тоже, желая скрыть охватившее его волнение. Потом они снова поглядели друг на друга просветленным взглядом. Солнце садилось. По холодному и чистому небу легко пробегали лиловые, оранжевые и розовые отблески. Таким знакомым и милым жестом Сабина плотнее закуталась в шаль.

— Как вы себя чувствуете? — спросил Кристоф.

Сабина сделала гримаску, словно отвечать не стоило. Счастливые, они смотрели друг на друга. Им казалось, что они потеряли было друг друга и вот нашли.

Кристоф первый нарушил молчание.

— А я завтра уезжаю,— сказал он.

Сабина испуганно взглянула на него.

— Уезжаете? — повторила она.

— Всего на две-три недели,— поспешно добавил Кристоф.

— На две-три недели,— произнесла она уныло.

Кристоф объяснил, что он согласился дать несколько концертов, но, вернувшись домой, уже никуда не тронется с места, целую зиму просидит здесь.

— Зиму,— повторила Сабина.— До зимы далеко...

— Да нет,— возразил Кристоф,— совсем недолго.

Она, не глядя на него, покачала головой.

— Когда же мы увидимся? — спросила она, помолчав.

Кристоф не понял ее вопроса: ведь он же сказал когда.

— Сразу же, как вернусь,— значит, через две-три недели.

Но Сабина по-прежнему сидела с таким растерянным видом, что Кристоф решил пошутить.

— Ну, для вас время быстро пройдет,— сказал он,— будете спать.

— Да,— сказала Сабина.

Она упорно не подымала глаз, пыталась улыбнуться, но губки ее задрожали.

— Кристоф,— вдруг произнесла она, подавшись к нему всем телом.

В ее голосе послышалось смятение. Казалось, она молила: «Останьтесь! Не уезжайте!»

Кристоф схватил Сабину за руку, посмотрел на нее; он не понимал, почему так испугала ее эта разлука, ведь они не увидятся всего две недели; и он ждал от нее одного-единственного слова, чтобы ответить: «Я остаюсь...»

Сабина хотела что-то сказать, но калитка распахнулась, и появилась Роза. Сабина отдернула руку и быстро ушла к себе. На пороге она обернулась, посмотрела еще раз на Кристофа и скрылась за дверью.

Кристоф надеялся увидеть Сабину вечером. Но под бдительным оком Фогелей он не сумел вырваться к ней ни на минуту, сам, по обыкновению, замешкался с приготовлениями к отъезду, да и мать ходила за ним весь вечер по пятам.

На следующий день он уехал, как только забрезжил рассвет. Проходя мимо домика Сабины, он хотел зайти, постучать в окошко,— так мучительно было расставаться, не сказав ей «до свидания», ибо вчера появление Розы помешало ему произнести эти слова. Но он решил, что Сабина еще спит и, пожалуй, рассердится, если он разбудит ее в такую рань. Да и что он ей скажет? Сейчас уже поздно отказываться от поездки, а вдруг она именно этого попросит? И к тому же ему было приятно чувствовать свою власть над нею, хотя даже от себя он скрывал эту мысль: что ж, пусть немножко помучается. Он никак не мог поверить, что Сабина действительно так близко приняла к сердцу его отъезд; и он радовался при мысли, что

эта недолгая разлука только усилит ее нежность, если она вообще чувствует к нему нежность.

Он побежал на вокзал. По дороге его все-таки мучили угрызения совести. Но как только тронулся поезд, все было забыто. Сердце захлестнула безудержная молодость. Он весело посмотрел на удаляющийся старый город, крыши и башни которого розовели в первых лучах солнца, и с беспечностью уезжающего послал последнее прости остающимся и забыл о них.

За все время, проведенное в Дюссельдорфе и Кельне, он ни разу не вспомнил о Сабине. С утра до ночи шли репетиции, а потом концерты, обеды, разговоры, новые впечатления, горделивое сознание успеха,— просто не хватало времени на воспоминания. Только раз, на пятую ночь после отъезда, он вдруг проснулся после кошмара и понял, что во сне думал о ней и что именно от этой мысли проснулся, но он не мог вспомнить, как он о ней думал. Только какая-то тоска и волнение не унимались. Впрочем, ничего удивительного в этом не было: вчера он играл в концерте, после концерта его пригласили ужинать, а за ужином он выпил несколько бокалов шампанского. Заснуть он больше не мог и встал с постели. Его упорно преследовала одна музыкальная фраза. Он сказал себе, что именно эта фраза мучила его во сне, мешала ему спать, и он записал ее. Прочитав ее, он удивился, до чего печально она звучит, а ведь когда он писал, он не испытывал грусти, так, по крайней мере, ему казалось. Но он тут же вспомнил, что не раз уже в минуты грусти писал только веселую музыку, и эта веселость оскорбляла его. Кристоф не стал раздумывать над этим обстоятельством. Он привык к таким неожиданным переменам в себе и даже не пытался понять их. Он тотчас же заснул, а проснувшись, ничего не помнил.

Кристоф решил задержаться еще на три-четыре дня. Ему даже нравилось, что он задерживается, тем более что стоило ему захотеть, и он мог бы сразу же тронуться в обратный путь, но он не торопился. Только сидя в поезде, увозившем его в родные места, он вдруг вспомнил о Сабине. Он ни разу ей не написал. И по беспечности не потрудился зайти на почту и получить письма до востребования, если такие пришли на его имя. В этом он находил даже какую-то тайную радость,— он знал, что его ждут и любят. Любят? Ни разу она еще не сказала ему, что любит, и ни разу он ей не сказал того же. Но оба знали это без слов. Но ведь ничто не могло сравниться с признанием. Так зачем же они медлили? Всякий раз, когда они готовы были заговорить, какое-нибудь случайное обстоятельство мешало им.

Почему? Почему? Столько времени потеряно зря. Кристоф сгорал от нетерпения услышать слова любви из ее милых уст. Ему не терпелось произнести их, он и произносил их вслух в пустом купе. И чем ближе подходил к родному городку поезд, тем сильнее томили его нетерпение и тоска. Скорее! Скорее же! О, подумать только, что через час он увидит ее!..

Было половина седьмого утра, когда Кристоф добрался домой. Все еще спали. Окна Сабининой квартиры были закрыты. На цыпочках Кристоф прошел по двору, боясь, как бы она не услышала его шаги. Вот будет весело застать ее врасплох! Он поднялся к себе. Мать еще спала. Стараясь не шуметь, Кристоф умылся и переоделся. Очень хотелось есть, но Кристоф боялся, что загремит чашками в буфете и разбудит Луизу. Во дворе послышались шаги, он тихонько открыл окошко и увидел Розу,— как и обычно, она встала раньше всех в доме и принялась мести двор. Кристоф вполголоса окликнул ее. Увидев его, Роза вздрогнула от неожиданности и счастья, но тут же взглянула на него суровым взглядом: «Должно быть, дуется еще»,— подумал и тут же забыл Кристоф — в таком он был чудесном настроении. Он сбежал во двор.

— Роза, Роза,— заговорил он весело,— дай мне поскорее поесть, а то я тебя съем! Я просто умираю с голоду.

Роза улыбнулась и повела его на кухню, расположенную в нижнем этаже. Наливая молоко в чашку, Роза не удержалась и засыпала Кристофа вопросами относительно его путешествия и концертов. И хотя Кристоф отвечал ей многословно и охотно (он был так счастлив, что вернулся домой, он радовался даже Розиной болтовне), Роза внезапно замолчала, не докончив начатой фразы, лицо ее вытянулось, она отвела глаза в сторону и задумалась. Потом она опять принялась болтать, но чувствовалось, что она раскаивается в своей болтливости; через минуту она снова прервала себя. Кристоф наконец заметил это и обратился к ней с вопросом:

— Да что с тобой, Роза? Неужели ты на меня сердишься?

Роза энергично покачала головой, желая показать, что нет, не сердится, и вдруг с обычной своей угловатостью повернулась к Кристофу и обеими руками схватила его за руку.

— О Кристоф! — сказала она.

Кристоф был поражен. Кусок хлеба выпал у него из рук.

— Что? Что случилось? — спросил он.

— Ах, Кристоф, какое несчастье! Какое огромное несчастье!

Кристоф оттолкнул стул. Он спросил, запинаясь:

— Где?

Роза указала на домик, стоявший по ту сторону двора.

— Сабина! — закричал он.

Роза заплакала.

— Она умерла.

Кристоф на мгновение словно ослеп. Он поднялся, чуть не упал, вцепился в угол стола, опрокинув чашку и кувшин,— ему хотелось кричать в голос. Его терзала жесточайшая боль. Он задыхался, его начало рвать.

Роза испуганно захлопотала вокруг него; плача, она поддерживала ему голову.

Наконец он обрел дар речи и сказал:

— Это неправда...

Он знал, что это правда. Но он не хотел этой правды, хотел, чтобы не было того, что произошло. Увидев, как струятся слезы по лицу девушки, он уже не мог сомневаться и зарыдал.

Роза подняла голову.

— Кристоф! — окликнула она.

Упав грудью на стол, он закрыл лицо обеими руками.

Роза нагнулась над ним.

— Кристоф! Мама идет!..

Кристоф поднялся.

— Нет, нет,— сказал он,— я не хочу, чтоб она меня видела.

Роза схватила Кристофа за руку и отвела его в маленький деревянный сарайчик, стоявший во дворе. Кристоф шел за ней, шатаясь, ничего не видя от слез. Роза закрыла дверь. Они очутились в темноте. Кристоф присел на колоду, на которой рубили дрова. Роза пристроилась напротив на связке хвороста. Все уличные шумы доходили сюда приглушенно, словно издалека. Здесь Кристоф мог плакать и кричать, никто бы его не услышал. И Кристоф рыдал яростно, неудержимо. Роза никогда не представляла себе, что Кристоф может так рыдать, не верила даже, что он может плакать; по сравнению с ее полудетскими, быстро высыхающими слезами отчаяние мужчины было страшно и вызывало жалость. Ее пронизывала страстная любовь к Кристофу. И в любви этой не было ничего эгоистического: Роза испытывала неодолимую потребность жертвы, материнское самоотречение, ей хотелось страдать, лишь бы не страдал он, хотелось взять на себя всю его боль. И она, как мать, обняла Кристофа.

— Кристоф, дорогой,— повторяла она,— не плачь, ну, не плачь же!

Кристоф отвернулся.

— Я хочу умереть.

Роза умоляюще сложила руки.

— Не говори так, Кристоф.

— Я хочу умереть! Я не могу... не могу больше жить... К чему мне жизнь!

— Кристоф, Кристоф, миленький, ведь ты не один. Все тебя любят.

— А мне-то что? Я ведь больше никого не люблю. Пускай все умрут или живут, мне-то что. Я никого не люблю. Я только ее любил! Только ее!

И Кристоф зарыдал еще громче, пряча лицо в ладони. Роза не знала, что сказать. Эгоистическая страсть Кристофа как ножом резала ей сердце. Она-то надеялась, что сейчас, в горе, будет ближе к нему, а стала совсем одинокой, совсем несчастной, еще несчастнее, чем раньше. Горе не сблизило их, а только сильнее разлучило. И Роза горько заплакала.

Прошло несколько минут, Кристоф вдруг перестал плакать и спросил:

— А как? Как?

Роза поняла.

— Она тут же после твоего отъезда, в тот же вечер, заболела инфлюэнцой. Ей сразу стало очень плохо.

— Боже мой! — простонал Кристоф.— Почему же мне не написали?

— Я писала,— ответила Роза.— Я только не знала твоего адреса. Ты же нам ничего не сказал. Я спрашивала в театре. Никто не мог толком объяснить.

Кристоф знал, как застенчива Роза и чего стоили ей эти расспросы. Он сказал:

— Это она... она тебя посылала?

Роза отрицательно покачала головой.

— Нет, я подумала, что...

Кристоф поблагодарил ее взглядом. Сердце Розы растаяло.

— Кристоф, бедный мой Кристоф! — повторяла она.

Рыдая, Роза бросилась ему на шею. Кристоф понял, как драгоценна эта чистая нежность. Он так нуждался в утешении! И он обнял ее.

— Какая ты хорошая,— сказал он,— ты, значит, любила ее...

Роза высвободилась из объятий Кристофа, бросила на него горящий взгляд и, ничего не ответив, снова зарыдала.

Этот взгляд все сказал ему. Взгляд этот говорил: «Не ее я любила, а...»

Наконец Кристоф увидел то, чего не желал видеть все эти долгие месяцы. Он понял, что Роза его любит.

— Тише,— сказала Роза,— мама меня зовет.

Со двора доносился голос Амалии.

— Ты пойдешь к себе? — спросила Роза.

— Нет,— ответил Кристоф,— я пока еще не могу, я не могу говорить с мамой... Потом пойду.

— Тогда посиди здесь,— посоветовала Роза.— Я сейчас вернусь.

Кристоф остался один в темном сарайчике; узкая полоска света проникала сквозь окошко, затканное паутиной. С улицы доносились крики торговки, за стеной в соседней конюшне фыркала лошадь и нетерпеливо стукала копытом. Открытие, только что сделанное Кристофом, не доставило ему никакого удовольствия, но на минуту отвлекло его от черных мыслей. Теперь он объяснил себе многое, чего раньше не понимал. Десятки мелких, незначительных фактов, которым он раньше не придавал никакого значения, пришли ему на память и получили новый смысл. Он удивлялся, что может думать сейчас о таких пустяках; негодовал на себя, что смел хоть на минуту забыть свое горе. Но горе это было так велико, так давило грудь, что в действие вступил инстинкт самосохранения, более властный, чем воля, чем мужество, чем любовь; он-то и заставил Кристофа отвлечься, ухватиться за новую мысль, подобно тому как утопающий в отчаянии хватается за первый попавшийся предмет, даже зная, что не спасется, а только для того, чтобы хотя бы миг продержаться на поверхности. Впрочем, именно потому, что Кристоф страдал, он чувствовал теперь, как страдает и другой человек, страдает из-за него. Он оценил эти слезы, которые сам исторг сейчас... Он жалел Розу. Он вспоминал, как был жесток с ней, и знал, что и впредь будет так же жесток. Ибо он не любил ее. К чему ему любовь Розы! Бедная девочка!.. Напрасно он твердил себе, что она хорошая, добрая (ведь только сейчас она доказала свою доброту). А на что ему ее доброта? На что ему ее жизнь?

«Почему,— думал он,— умерла не она и почему та не осталась в живых?»

«Она жива, она любит меня,— думал он,— она может говорить мне о своей любви сегодня, завтра, всю жизнь, а та, единственная, которую я любил, она умерла, так и не сказав

мне, что любит меня, и я не сказал ей, что люблю ее, и никогда я не услышу от нее слов любви, и никогда она не узнает...»

И вдруг он вспомнил последний вечер, вспомнил, как они разговаривали и как их разговору помешала Роза. Теперь он ненавидел Розу...

Дверь сарайчика скрипнула. Роза шепотом окликнула Кристофа и в темноте ощупью добралась до него. Она взяла его за руку. Ему вдруг стало невыносимо ее присутствие, и он напрасно упрекал себя за это чувство — оно было сильнее его.

Роза молчала. Она так глубоко жалела Кристофа, что научилась даже молчать. Кристоф был благодарен ей за то, что она не смущает его горе ненужными словами. Однако ему хотелось знать... Ведь Роза, только одна Роза могла говорить с *ней*. Он спросил еле слышно:

— А когда она...

(Он не осмелился сказать: «умерла».)

— В субботу на той неделе,— ответила Роза.

Вдруг воспоминания прорезали тьму.

— Ночью,— сказал он утвердительно.

Роза с изумлением посмотрела на Кристофа и подтвердила:

— Да, ночью, между двумя и тремя часами.

Похоронная мелодия пришла ему на память.

Дрожа, он спросил:

— Она сильно страдала?

— Нет, слава богу, нет, дорогой Кристоф, совсем почти не страдала. Она ослабла. Даже не боролась с болезнью. Мы сразу поняли, что она умрет.

— А она понимала?

— Не знаю. Думаю...

— Она что-нибудь говорила?

— Нет, ничего. Стонала только, как ребенок.

— Ты была там?

— Да, была, целых два дня, пока ее брат не приехал.

В порыве признательности Кристоф крепко сжал руку Розы.

— Спасибо тебе!

Роза почувствовала, как вся кровь прилила к ее сердцу.

Помолчав немного, он произнес наконец те слова, которые жгли его:

— А она мне ничего не велела передать?

Роза печально покачала головой. О, если бы она могла от-

ветить так, как ему хотелось... И она упрекала себя, что не умеет лгать. Она попыталась его утешить:

— Она ведь была без сознания.

— А она говорила что-нибудь?

— Говорила, только никто не мог понять. Очень тихо говорила.

— А где ее дочка?

— Брат увез к себе в деревню.

— А *она?*

— И ее тоже похоронили в деревне. В прошлый понедельник увезли туда.

И оба заплакали.

Раздался голос г-жи Фогель, она опять звала Розу. Оставшись один, Кристоф мучительно думал о днях, протекших после ее смерти. Восемь дней, уже восемь дней... О, боже, что с ней сталось!.. Ведь всю неделю дождь поливал землю. А он тем временем смеялся, он был счастлив!

Он нащупал в кармане сверток, завернутый в шелковистую бумагу; это были серебряные пряжки, он купил их ей, для туфелек. Он вспомнил тот вечер, когда его рука сжимала ее маленькую ножку, с которой соскользнула туфля. Маленькие ее ножки, что с ними сталось сейчас? Как, должно быть, им холодно!.. Он подумал, что так и не познал ее желанное тело и прикосновение к этой теплой и живой ножке было единственным и последним. Ни разу он не осмелился притронуться к ней, обнять ее, прижать к себе. И вот она ушла — неузнанная и никогда он ее не узнает. Он ничего не знал о ней, не знал ни ее души, ни ее тела. Как ему вспоминать о ее земной оболочке, о ее жизни, о ее любви?.. Да и любила ли она его, где доказательства?.. Ни письма, ни слова — ничего у него нет. Где найти, где обрести ее, вне или в самом себе? О, небытие! Ничего не осталось ему от нее, кроме любви к ней, ничего не осталось, кроме любви... И наперекор всему властное желание вырвать любовь из-под власти разрушения, настоятельная потребность отрицать смерть силою неистовой веры привязывали его к этой любви, к тому, что от нее уцелело.

...Ne son gia morto; e ben c'albergo cangi,
Resto in te vivo, c'or mi vedi e piangi,
Se l'un nell'altro amante si trasforma...

«...Я не умерла, я лишь переменила жилище, я продолжаю жить в тебе, кто видит меня и плачет обо мне. В душу любящего превращается душа любимой...»

Кристоф никогда не читал этих возвышенных строф, но они были в нем. Каждому из нас приходит черед подыматься на Голгофу веков. И достоянием каждого становятся муки, безнадежная надежда и безумие веков. Каждый идет по стопам тех, что были раньше, до него, тех, что раньше боролись со смертью, отрицали смерть и умерли.

Кристоф заперся у себя и никуда не выходил. С утра до вечера не открывались ставни: слишком было страшно увидеть окна домика, стоявшего на противоположной стороне двора. Он избегал Фогелей. Они стали ему отвратительны. Упрекнуть их было не в чем: они были слишком славные люди и слишком верующие, они сумели смирить свои чувства перед лицом смерти. Они поняли горе Кристофа и отнеслись к нему с уважением, не считаясь с личными симпатиями; они избегали произносить при нем имя Сабины. Но когда она была жива, они были ее врагами, и этого было достаточно, чтобы теперь, когда она умерла, они стали врагами Кристофа.

Впрочем, ничто не изменилось в этом шумном и хлопотливом семействе, и хотя Фогели испытывали искреннюю жалость, правда довольно быстро прошедшую, слишком явно чувствовалось, что смерть Сабины мало их трогает (что было более чем естественно); возможно, в глубине души они чувствовали даже облегчение. Так, по крайней мере, казалось Кристофу. Теперь, когда планы Фогелей на его счет стали ему известны, он с умыслом их преувеличивал. А на самом деле их меньше всего интересовал Кристоф, и совершенно напрасно он приписывал себе такое значение. Так или иначе, он не сомневался, что со смертью Сабины исчезла главная помеха, мешавшая осуществлению их планов, и поле действия оставалось, таким образом, за Розой. Поэтому-то он и ненавидел Амалию. То, что они (читай: Фогели, Луиза и сама Роза) посмели втихомолку, даже не посоветовавшись с ним, распоряжаться его судьбой,— да это одно, при любых условиях, настораживало Кристофа против той, которую ему навязывали. Всякий раз когда ему чудилось, что кто-либо другой посягает на его настороженное свободолюбие, он вставал на дыбы. А в данном случае речь шла не о нем одном. Права, предъявляемые на него, затрагивали не только самого Кристофа, но и покойную Сабину, которой принадлежало навеки его сердце. И он яростно защищал свои права, хотя никто на них не думал покушаться. Он подозрительно смотрел даже на добрую Розу, которая страдала,

видя его страдания, и часто стучалась к нему в комнату, желая утешить Кристофа, поговорить с ним о той, другой. Он не отталкивал Розу: ему необходимо было говорить о Сабине с тем, кто ее знал, ему хотелось в мельчайших подробностях слышать, что происходило во время ее болезни. Но никакой благодарности к Розе он не чувствовал, он видел в этих беседах лишь корыстный интерес. Разве не ясно, что Амалия разрешала эти визиты и эти долгие беседы, которых раньше она не потерпела бы, только потому, что это на руку Фогелям? А разве Роза во всем не согласна с домашними? Кристоф не хотел верить, что Роза жалеет его искренне, что руководят ею отнюдь не корыстные соображения.

А ведь так оно и было. Роза жалела Кристофа всем сердцем. Она заставляла себя видеть Сабину глазами Кристофа, любить ее, любя его, она сурово осуждала себя за те дурные чувства, которые временами подымались в ней против Сабины, и вечером, молясь, просила у покойницы прощения. Но могла ли Роза забыть, что она-то жива, видит Кристофа десятки раз на день, любит его и что теперь ей нечего бояться соперницы, которая исчезла и память о которой исчезнет мало-помалу, тогда как она, Роза, осталась и, быть может, в один прекрасный день... Разве могла она, переживая собственную скорбь, переживая скорбь друга, которая была ей ближе, чем своя собственная, могла ли она сдержать невольные вспышки радости, помешать безрассудной надежде? Правда, Роза тут же одергивала себя. И вспышка — всего лишь вспышка. Но и этого было достаточно. Кристоф все замечал. Он бросал на Розу такой взгляд, что у нее леденело сердце. Она читала в его глазах ненависть и понимала, что он сердится за то, что она живет, когда та, другая, умерла.

Как-то приехал со своей тележкой мельник забрать скромную обстановку Сабины. Возвращаясь с урока, Кристоф увидел, что перед дверью прямо на улице стоит кровать, шкаф, лежат матрацы, белье — все, что у нее было, все, что от нее осталось. Зрелище было непереносимо тяжелым. Кристоф быстро прошел мимо. В воротах он встретил Бертольда, и тот его остановил.

— Ах, дорогой мой сударь,— сказал он, горячо пожимая руку Кристофу,— кто бы мог подумать, что такое горе приключится! Как мы веселились тогда! А ведь с того самого дня, с этой проклятой лодки все и пошло, с тех пор она и заболела. Да что поделаешь, слезами горю не поможешь. Умерла. А там и наш черед придет. Такова жизнь... А как ваше здоровьице? Я-то, слава богу, ничего!

Был он красный и потный, и пахло от него вином. И это ее брат, он имеет право горевать о ней, вспоминать ее,— мысль эта оскорбляла Кристофа. Он страдал, слыша, как этот человек говорил о той, которую любил он, Кристоф. А мельник, напротив, радовался, что наконец-то нашелся человек, с которым можно по душам поговорить о покойнице Сабине, и не понимал, почему Кристоф холодно молчит в ответ на его речи. Мельник не подозревал, что его присутствие, вызвавшее память о счастливом дне, проведенном в деревне, грубое прикосновение к светлым минутам, жалкий скарб Сабины, валявшийся прямо на земле, даже то, что мельник в такт разговору постукивал ногой о спинку кровати,— все это подымало боль и горечь в душе Кристофа. Уже одно то, что мельник смел произносить имя Сабины, причиняло Кристофу жестокие муки. Ему хотелось прервать Бертольда, но он не знал, как это сделать. Он стал подыматься по лестнице, но мельник увязался за ним и даже придержал за рукав, чтобы удобнее было разговаривать. Когда же мельник стал рассказывать о последних днях Сабины с тем необъяснимым удовольствием, с которым многие люди, особенно простые, говорят о болезнях, присовокупляя множество мельчайших подробностей, Кристоф не выдержал (он весь сжался, чтобы не закричать от боли) и решительно прервал рассказчика.

— Простите,— сказал он ледяным тоном, свирепо глядя на мельника,— мне нужно идти.

И ушел, даже не попрощавшись. Такая бесчувственность возмутила Бертольда. Он догадывался о взаимных чувствах покойной сестры и Кристофа. И вдруг этот молодой человек взял и выказал такое чудовищное безразличие! Мельник решил, что у Кристофа нет сердца.

А Кристоф вбежал в свою комнату, он задыхался. И пока мельник грузил на тележку Сабинины пожитки, он все время просидел взаперти. Он поклялся не подходить к окну, но тут же нарушил клятву и, спрятавшись за занавеску, с мучительным вниманием следил за тем, как исчезали с его глаз такие трогательные и любимые вещи. И, видя, что они исчезают навсегда, он еле сдержался, чтобы не сбежать вниз, крикнуть: «Нет, нет, оставьте их мне! Не увозите!» Он бы со слезами вымолил у мельника какой-нибудь пустяк, чтобы хоть что-то от нее осталось. Но как заговорить с ним? Кто он для этого мельника? О его любви даже она не знала — как же открыться чужому человеку? Да если Кристоф начнет говорить, он тут же разрыдается... Нет, нет, надо молчать, надо молча глядеть,

как исчезает навсегда все то, что связано с его любовью, и не сметь, не мочь сделать ни шага, не сказать ни слова, чтобы спасти хоть обломок крушения...

И когда все было кончено, когда домик опустел, закрылись за мельником ворота, когда прогрохотала мимо тележка и задрожали в окнах стекла, когда затих последний стук колес,— Кристоф бросился ничком на пол и лежал так без слез, без мыслей; он не страдал и не боролся, он оцепенел, он сам был как мертвый.

В дверь постучали. Кристоф не пошевелился. Вторичный стук. Оказывается, Кристоф забыл запереть дверь на ключ. В комнату вошла Роза. Увидев Кристофа, распростертого на полу, она вскрикнула и в испуге остановилась. Он поднял голову и гневно спросил:

— Чего тебе? Чего тебе надо? Оставь меня в покое.

Но Роза не уходила. Она стояла, прислонившись спиной к двери, и, запинаясь, повторяла:

— Кристоф!

Кристоф молча поднялся — ему было стыдно, что Роза видела его в минуту слабости, и, стряхивая с пиджака пыль, он сурово спросил:

— Ну, что тебе нужно?

— Прости, Кристоф,— смущенно пролепетала Роза.— Я пришла... я тебе принесла...

Только сейчас Кристоф заметил, что Роза что-то держит в руке.

— Вот, возьми,— сказала она, протягивая Кристофу какой-то предмет.— Я попросила Бертольда, чтобы он дал мне что-нибудь на память о Сабине. Я подумала, что тебе будет приятно...

Это было маленькое карманное зеркальце в серебряной оправе; Сабина смотрелась в него часами, не из кокетства, нет, а просто от нечего делать. Кристоф схватил зеркальце, схватил протянувшую его руку Розы.

— О Рези! — произнес он.

Его потрясла доброта Розы и своя собственная несправедливость. Быстрым движением он опустился на колени и поцеловал ей руку.

— Прости... прости...— твердил он.

Сначала Роза ничего не поняла, потом поняла все, слишком хорошо поняла; она покраснела, задрожала и залилась слезами. Она поняла, что значило это «прости».

«Прости, что я так несправедлив к тебе... прости, что я тебя не люблю... прости, что я не могу... что я не могу тебя любить, прости, что я тебя никогда не полюблю!..» Роза не приняла руки: она знала, что сейчас Кристоф целует не ее. И, прижавшись щекой к ладони Розы, Кристоф горько плакал, он знал, что она угадала его мысли; ему было больно и грустно, что он не может полюбить ее, что он заставляет ее страдать.

И они долго плакали в полутемной комнате.

Наконец, Роза отняла руку. Кристоф все бормотал:

— Прости меня!

Роза тихо положила ладонь на его волосы. Кристоф поднялся. Они молча поцеловались, и каждый ощутил на своих губах едкий вкус слез.

— Мы с тобой всю жизнь будем друзьями! — шепнул Кристоф.

Роза кивнула головой и вышла из комнаты; она страдала и не могла говорить.

Оба думали: как скверно устроен этот мир. Кто любит — того не любят. Кто любим — тот не любит. А кто любит и кто любим — рано или поздно разлучается со своей любовью... И мы страдаем. И заставляем страдать другого. И не всегда самый несчастный тот, кто страдает.

Кристоф по-прежнему избегал сидеть дома. Он не мог здесь оставаться. Не мог видеть окна без занавесок, опустевшие комнаты.

Но еще горшая боль подстерегала его. Старик Эйлер поспешил сдать квартиру Сабины. В один прекрасный день Кристоф увидел в комнате Сабины чужие лица. Новая жизнь, ворвавшаяся сюда, стерла последние следы навсегда исчезнувшей жизни.

Кристоф при каждом удобном случае убегал прочь и целые дни проводил вне дома; возвращался он только ночью, когда все уже спали. Снова начались загородные прогулки. И всякий раз ноги сами приводили его к ферме Бертольда. Но он не вошел туда ни разу, не смел приблизиться; он на почтительном расстоянии бродил вокруг дома. Случайно он обнаружил укромный уголок, откуда были видны вся ферма мельника, река и домик; здесь заканчивалась каждая его прогулка. Отсюда он следил за излучинами реки, вплоть до той дальней, где сбегали к воде плакучие ивы, где впервые он увидел на личике Сабины тень смерти. Отсюда он различал два окна, в двух соседних

комнатах, где они не спали всю ночь, такие близкие, такие далекие, разделенные только дверью — дверью, которая вела в вечность. У подножия холма, внизу, лежало кладбище, но он не осмеливался туда войти — с детства он испытывал ужас перед этой полной тлена землей, с которой для него не связывались образы любимых и ушедших навеки людей. Но отсюда, сверху, маленький деревенский погост вовсе не казался печальным — он мирно спал в лучах солнца. Спал! Она так любила спать!.. И теперь уж ничто не потревожит ее сна. Внизу в долине перекликались петухи. Оттуда, с фермы, долетал глухой стук мельничного колеса, кудахтанье, кряканье, детские веселые крики. Он видел дочку Сабины, видел, как она бегала, до него доносился ее смех. Как-то раз он подстерег ее на развилке дорог, огибавших забор фермы, схватил девочку на руки и осыпал жадными поцелуями. Девчушка испуганно заплакала. Она уже забыла Кристофа.

— Тебе здесь хорошо? — спросил он.

— Да, здесь весело.

— А ты не хочешь возвратиться домой?

— Нет, не хочу!

Он опустил девочку на землю. Равнодушный тон ребенка опечалил его. Бедная Сабина!.. Все же это она, какая-то часть ее... Крохотная часть! Девочка совсем не походила на мать; правда, что-то перешло к ней от матери, но ребенок сохранил от этой таинственной близости лишь легчайший аромат исчезнувшего существа — нотки голоса, нетерпеливое движение губкой, манеру наклонять голову. А во всем остальном это было совсем другое существо; и это другое существо, с примесью Сабины, отталкивало Кристофа, хотя он не признавался себе в этом.

Нет, только в себе самом Кристоф обретал образ Сабины. Она повсюду следовала за ним, но по-настоящему она была с ним, только когда он сидел в одиночестве. Нигде она не была ему ближе, чем здесь, в этом укромном уголке, на вершине холма, вдали от посторонних взглядов, здесь, в этой местности, где все напоминало о ней. Он проходил не одно лье, чтобы добраться до холма, бегом подымался на вершину; сердце его билось, словно он торопился на свидание, да и действительно это было свидание. Там он ложился на землю, на ту самую землю, где покоилось ее тело; он закрывал глаза, и она завладевала им. Он не видел ее лица, не слышал ее голоса, да этого ему и не требовалось: она проникала в него, брала его — и всецело принадлежала ему. В эти минуты страстного бреда он не пони-

мал, что происходит; он ничего не понимал, знал только, что она с ним.

Но это длилось недолго. Если говорить правду, вполне искренен он был лишь в первый раз. А уже назавтра потребовалось призвать на помощь волю. Только тогда ему удалось впервые воскресить облик и лицо Сабины, раньше он и не думал об этом. Были какие-то мгновения, вспышки ярче молнии, когда это ему удавалось. Но он расплачивался за них часами ожидания и мрака.

«Бедная Сабина,— думал он,— все тебя забыли, только один я люблю тебя, только я навсегда сохранил твой образ, о бесценное сокровище! Ты моя, ты со мной, ты никогда не уйдешь от меня!»

Он говорил так, потому что она уже ускользала, уходила из его мыслей, как вода из пригоршни. Он, верный любовник, по-прежнему отправлялся на свидание. Ему хотелось думать о Сабине, он закрывал глаза. Но проходило полчаса, час, два часа, и он вдруг замечал, что не думает ни о чем. Его расплывчатая и податливая мысль, как губка, впитывала все звуки, подымавшиеся снизу: шум воды у плотины, позвякивание колокольчиков, сопровождавшее каждое движение двух коз, что паслись на склоне холма, шелест ветра, игравшего низенькими тоненькими осинками, в чахлой тени которых он лежал. Он злился на глупые свои думы; послушная мысль пыталась запечатлеть исчезнувший навеки образ, с которым он жаждал связать свою жизнь; но мысль сдавалась, уставшая и обессиленная, и вновь со вздохом облегчения он отдавался ленивому потоку впечатлений мимолетных ощущений.

Он старался стряхнуть с себя оцепенение. Бегал по всей округе в поисках Сабины. Искал ее в зеркале, отражавшем ее улыбки. Искал ее на берегу реки, в воды которой она окунала руки. Но зеркало и вода отражали только его лицо. Возбужденный ходьбой, свежим воздухом, мощным током молодой крови, он чувствовал, как в нем просыпается музыка. Он пытался обмануть себя.

«О Сабина!..» — вздыхал он.

Ей посвящал он свои песни, решив оживить в музыке свою любовь и свою боль. И действительно, любовь и боль оживали в звуках, но бедная Сабина была здесь ни при чем. Любовь и боль обращены были к будущему, а не к прошедшему. Кристоф ничего не мог поделать со своей молодостью. Соки жизни забродили в нем с новой силой. Его горе, его печаль, его целомудренная и пламенная любовь, его затаенные желания — все

лишь разжигало лихорадку. И, словно смеясь над его скорбью, сердце билось веселым и буйным биением, задорные песни неслись, как пьяные, сметая все рамки: все славословило жизнь, сама грусть становилась празднеством. Кристоф, слишком честный по натуре, не пытался продолжать обман и презирал себя. Но жизнь стремительно уносила его, и, с нахмуренным челом, с душой, возлюбившей смерть, и с телом, возлюбившим жизнь, он вновь отдавался нарождающейся силе, хмельной и бессмысленной радости бытия; ибо боль, жалость, отчаяние, горящая рана непоправимой потери — все смертные муки лишь закаляют и подгоняют сильных духом, впиваясь в бока, словно яростные удары шпор.

Однако Кристоф знал, что в глубинах души он сохранит, как в неприступном и неприкосновенном тайнике, тень Сабины. Никакому потоку жизни не унести ее. Каждый из нас носит в себе как бы маленькое кладбище, где покоятся все, кого мы любили. Они мирно спят там годами, и ничто не нарушает их сна. Но приходит день — мы знаем, что такой день приходит,— и могильный ров расступается. Мертвецы выходят из своих могил и улыбаются бескровными устами, все теми же любящими устами, любимому, возлюбленному, в чьем лоне живет их память, подобно тому как спит ребенок в материнской утробе.

АДА

После дождливого лета наступила сверкающе ясная осень. Ветви яблонь и груш гнулись под тяжестью плодов. Краснощекие яблоки блестели сквозь листву, как бильярдные шары. То тут, то там деревья поспешно облекались в блистательное убранство осени: огненно-красное, пурпуровое, цвета спелой дыни, апельсина, лимона, цвета густой подливы, цвета подрумяненного окорока. Лес стоял пестрый, как тигровая шкура, и луга убрались крохотными розовыми огоньками прозрачных безвременников.

Кристоф спускался с холма. Воскресный день угасал. Шагал он крупно, почти бежал, следуя крутому уклону. Напевал музыкальную фразу, которая с утра настойчиво звучала у него в ушах. Растрепанный, с обветренным лицом, он шел, дирижируя в такт шагам рукой, дико вращая глазами, и вдруг на повороте дороги увидел стену, а на стене белокурую девушку, которая изо всех сил притягивала к себе толстую ветку дерева и жадно засовывала в рот маленькие синеватые сливы. Оба замерли от неожиданности. Девушка, пережевывая сливу, с испугом смотрела на Кристофа, потом вдруг расхохоталась. Кристоф последовал ее примеру. На незнакомку приятно было глядеть: ее круглое личико лучистым ореолом обрамляли белокурые вьющиеся волосы, щеки у нее были круглые и розовые, глаза голубые, нос довольно большой, но задорно вздернутый, рот маленький, из-под ярко-красных губ виднелись белые зубы с крупными, немного выступающими вперед резцами, подбородок чувственный, и вся она была статная, полнотелая, хорошо сложенная, крепко сбитая. Кристоф крикнул ей, не останавливаясь:

— Приятного аппетита!

Но девушка окликнула его:

— Послушайте-ка! Будьте добренькі, помогите мне. Никак не слезу...

Кристоф подошел поближе и осведомился, как же ей удалось влезть на стену.

— А когти-то на что... Влезать легко...

— Особенно когда над самой головой висит такое лакомое угощение.

— Ну конечно... Зато когда наешься, вся храбрость сразу пропадает, не знаешь, как быть.

Он взглянул на склонившееся над ним девичье лицо и сказал:

— Вам и здесь хорошо, на стене. Подождите до завтра. Я зайду вас проведать.

Но сам не трогался с места, словно прирос к земле.

Девушка сделала притворно-испуганную мину и, мило гримасничая, стала умолять Кристофа, чтобы он не оставил ее в беде. Они со смехом смотрели друг на друга. Показывая на ветку, за которую она держалась, девушка спросила:

— А разве вы не хотите?

Чувство уважения к чужой собственности не возросло в Кристофе со времени совместных прогулок с Отто, и он сразу же согласился. Девушка от души забавлялась, швыряя в Кристофа сливами. Когда он наелся, она потребовала:

— А теперь помогайте.

Однако Кристофу было приятно мучить незнакомку. А она сердилась и нетерпеливо понукала его. Наконец он решился:

— Прыгайте! — и протянул ей руку.

Девушка совсем было собралась прыгнуть, но вдруг спохватилась:

— Подождите-ка, сначала нужно запастись на дорогу.

Она стала рвать самые крупные сливы, до которых могла дотянуться, и засовывала их за приятно округлый корсаж.

— Осторожнее, слышите! Смотрите не раздавите слив!

А Кристофу как раз этого и хотелось.

Девушка нагнулась и прыгнула прямо в его объятия. Мускулистый Кристоф невольно пошатнулся под тяжестью ее тела и подался назад. Они были одного роста. Их лица соприкасались. Кристоф поцеловал ее влажные, сладкие от сока слив губы, и она без малейшего стеснения ответила на поцелуй.

— Куда вы идете? — спросил он.

— Сама не знаю.

— Вы, значит, одна гуляете?

— Нет, с друзьями. Только я их потеряла. Эй, ау, ау! — вдруг закричала она во всю силу своих легких.

Никто не ответил.

Но девушку, видимо, это не смутило. Они зашагали рядом, сами не зная куда, просто так, без дороги.

— А вы куда идете? — спохватилась она.

— Сам не знаю.

— Вот и чудесно. Тогда пойдемте вместе.

Она вытаскивала сливы из-за оттопырившегося корсажа и, вкусно причмокивая, жевала их.

— Вы же заболеете.

— Я? Да никогда в жизни. Я их с утра до ночи ем.

В глубоком вырезе платья Кристоф увидел кружево рубашки.

— Только они сейчас теплые.

— Посмотрим.

Девушка со смехом протянула ему сливу. Он съел. Она искоса смотрела на него и по-детски сосала мякоть сливы. Кристоф уж и сам не знал, чем может окончиться это приключение. Возможно, что у нее на этот счет были кое-какие соображения. Она ждала.

— Эй, ау! — раздалось в лесу.

— Ау! — ответила она.— Это наши! — обратилась девушка к Кристофу.— Вот и хорошо.

На самом деле она считала, что ничего хорошего в этом нет. Но не затем даны женщине слова, чтобы говорить то, что она думает... Упаси господь! Что бы сталось тогда в нашем мире с нравственностью?

Голоса приближались. Спутники девушки, очевидно, выбрались на дорогу. Вдруг она одним махом перескочила придорожную канаву, взобралась на противоположный откос и спряталась за деревьями. Кристоф с удивлением поглядел на нее. Она властным жестом велела ему последовать за ней. Кристоф повиновался. Она направилась в самую чащу леса.

— Ау, ау! — крикнула она еще раз, когда они уже углубились в лес.— Пускай они меня поищут! — пояснила она Кристофу.

Спутники девушки остановились у дороги, прислушиваясь, откуда идет голос. Они ответили на ее крик и тоже вошли в лес. Но девушка отнюдь не намеревалась их ждать. Посмеиваясь про себя, она забиралась все дальше, петляя по лесу. Друзья чуть не надорвались, зовя ее. А она молча слушала их отчаянные при-

зывы, потом вдруг, отбежав в сторону, начинала аукать. Наконец тем это надоело, и они решили, что лучшее средство вообще не искать ее: сама прибежит.

— Счастливого пути,— донеслось с опушки, и затем послышалась удалявшаяся песня.

Девушка рассердилась: как это они осмелились не подождать ее? Хотя она сама старалась отделаться от них, ей не понравилось, что они так легко отказались от поисков. Кристоф только плечами пожимал. Эта игра в прятки в обществе незнакомой девушки не особенно его увлекала, и он даже не подумал воспользоваться их одиночеством. Да и девушка, казалось, не думала об этом. От досады она даже забыла о Кристофе.

— Ну, это уж слишком,— заявила она, сердито хлопнув в ладоши.— Значит, они меня так здесь одну и оставили.

— Но ведь вы сами этого хотели,— заметил Кристоф.

— Вовсе не хотела.

— Вы же от них убежали.

— Пусть убежала, это мое дело, а не их. А они должны были меня искать. Вдруг я заблужусь?

У нее даже губы задрожали при мысли о том, что могло произойти, если... если произошло бы то, чего не произошло.

— Ну, я им теперь покажу! — воскликнула она.

И быстрым шагом направилась к дороге.

Только тут она вдруг вспомнила о Кристофе и взглянула на него. Но слишком поздно. Девушка рассмеялась. Чертенок, который сидел в ней, вдруг куда-то исчез. Поэтому она смотрела на Кристофа равнодушным взглядом. И потом, ей хотелось есть. Желудок настойчиво напоминал, что пора ужинать, и она торопилась догнать своих друзей, которые, как было условлено, зайдут в харчевню. Она взяла Кристофа под руку и оперлась на него всей своей тяжестью; она ныла, хныкала, уверяла, что от усталости не может шагу ступить. Это не мешало ей тащить за собой Кристофа вниз по склону холма, бегать, кричать и смеяться, как сумасшедшей.

Они разговорились. Девушке не было известно имя Кристофа, и его звание музыканта не вызывало у нее ни малейшего почтения. А он узнал, что она работает в шляпном магазине на Кайзерштрассе (самая шикарная улица города), имя ее Адельхайд, но друзья зовут ее просто Ада. Пошла она сегодня гулять со своей подружкой, которая работает в том же магазине, а кавалеры их очень приличные молодые люди — один служит в банке Вейлера, а другой — приказчик в большом модном магазине. Они решили воспользоваться воскресным днем и услови-

лись пообедать в харчевне «Щука», откуда открывается очаровательный вид на Рейн, а обратно вернуться на пароходике.

Вся компания уже сидела за столом, когда подошли Ада с Кристофом. Ада тут же устроила друзьям бурную сцену, она упрекала их за подлое предательство и представила им Кристофа как своего спасителя. Но они пропустили мимо ушей ее сетования. Оказалось, что оба кавалера знают Кристофа — банковский служащий понаслышке, а приказчик даже помнил кое-что из произведений Кристофа (и тут же из вежливости промурлыкал несколько тактов). Их подчеркнутое уважение к Кристофу произвело сильное впечатление на Аду и еще больше на Мирру, Адину подружку (в действительности ее звали Ганси, или Иоганна); это была брюнетка с раскосыми глазами, выпуклым лбом, с гладко зачесанными волосами, чем-то неуловимо похожая на китаяночку; все ее подвижное, немножко козье личико с золотисто-смуглым оттенком кожи было не лишено своеобразного очарования. Мирра начала явно кокетничать с господином Hof Musicus'ом. Все они упрашивали Кристофа сделать им честь откушать с ними.

Впервые в жизни Кристоф попал на такую пирушку; оба кавалера наперебой старались ему услужить, а обе дамы — покорить гостя и, как полагается добрым приятельницам, отбить его у подружки. Обе заигрывали с Кристофом. Мирра, церемонно улыбаясь и прикрыв веками глаза, касалась под столом его ноги. Дерзкая Ада действовала открыто, пуская в ход разом все свои прелести — красивые глаза, красиво очерченные губы. Это грубоватое кокетство смущало и волновало Кристофа. Бойкие девушки являли приятный контраст с надутыми физиономиями Фогелей. Мирра его заинтересовала — сразу было заметно, что она умнее Ады, но ее заискивающие манеры и двусмысленная улыбка и привлекали Кристофа и отталкивали. Мирра не могла соперничать с Адой, от которой исходил могучий ток жизни, суливший наслаждения, и отлично это понимала. Увидев, что ее попытки не увенчались успехом, Мирра разом прекратила игру и теперь сидела с загадочной улыбкой, в надежде, что придет и ее час. Восторжествовав над своей соперницей, Ада отказалась от дальнейших попыток,— кокетничала-то она с Кристофом, желая досадить подруге, а теперь, когда одержала над ней верх, сразу успокоилась. Но все же игра захватила и ее. В глазах Кристофа она читала страсть, и в ней самой загоралась страсть. Вдруг Ада замолчала, оставила свое надоедливое и грубоватое заигрывание; они без слов смотрели друг на друга, оба ощущая на губах вкус первого беглого по-

целуя. Временами они присоединялись к шумному веселью своих сотрапезников, потом снова замолкали и украдкой переглядывались. А к концу обеда даже и глядеть перестали, боясь выдать себя. Поглощенные своими переживаниями, они таили свои желания.

После обеда решили, что пора домой. До пристани надо было пройти лесом километра два. Ада поднялась первая, за нею Кристоф. На крыльце они остановились подождать остальную компанию; они стояли рядом, не разговаривая, окутанные густым туманом, сквозь который с трудом пробивался свет единственного фонаря, горевшего у входа в харчевню. Мирра все еще охорашивалась перед зеркалом.

Вдруг Ада схватила Кристофа за руку и увлекла за собой; они обогнули дом и углубились в сад, где сгустилась тень. Тут они спрятались под балкончиком, с которого спадала завеса дикого винограда. Мрак окружил их. Они не видели даже друг друга. Ветер сердито раскачивал верхушки сосен. Кристоф чувствовал теплые пальцы Ады, которые она переплела с его пальцами, и запах гелиотропа, исходивший от ее тела.

Внезапно Ада притянула Кристофа к себе. Губы его скользнули по влажным от росы волосам Ады, потом он начал целовать ее глаза, ресницы, ноздри, крепкие скулы, уголок рта и, наконец, нашел ее губы и прильнул к ним.

Кавалеры и Мирра вышли на крыльцо. Кто-то крикнул:

— Ада!

Они не тронулись с места; оба с трудом переводили дыхание, прижавшись друг к другу всем телом, не отрывая губ.

Затем послышался голос Мирры:

— Да они ушли вперед.

Шаги затихли во мраке. А Кристоф и Ада обнялись еще крепче, и их страстный шепот заглушал поцелуи.

Вдали на колокольне пробили часы. Кристоф разжал объятия. Надо было торопиться. Не сговариваясь, они пошли по дороге, крепко держась за руки; он старался шагать в такт ее не крупным, но быстрым и решительным шажкам. На пустынной дороге, в полях не было ни души. Кристоф и Ада с трудом различали путь, но их вела блаженная уверенность, разлитая в этой прекрасной тьме. Ни разу они не оступились, не запнулись о камень. Чувствуя, что опаздывают, они решили идти кратчайшим путем. Тропинка, вившаяся среди виноградника, подымалась и несколько раз опоясывала склон холма. Вдали в тумане слышался плеск реки, звонко били по воде плицы уходившего пароходика. Они сошли с дорожки и побежали прямо через поле.

Вот и берег Рейна, но до пристани было еще далеко. Однако это ничуть не расстраивало их. Ада, казалось, забыла, что весь вечер жаловалась на усталость. Они могли бы шагать так хоть всю ночь по сонным травам, сквозь клочья тумана, который здесь, над рекой, окутанной белым лунным покрывалом, стал еще гуще, еще влажнее. Гудок пароходика вдруг завыл, невидимое во мраке чудовище, пыхтя, тяжело отвалило от пристани. А они со смехом воскликнули:

— Что ж, подождем следующего!

Мелкие волны, поднятые пароходом, бесшумно разбивались у их ног.

На пристани им сообщили:

— Последний пароход ушел.

Сердце Кристофа забилось. Рука Ады крепче сжала его руку.

— Ну и пусть! — воскликнула она.— Завтра ведь будет пароход!

В нескольких шагах среди тумана виднелся бледный нимб — это горел фонарь, висевший на столбе возле реки. А чуть подальше светились окошки маленькой гостиницы.

Они вошли в крошечный садик. Под ногами захрустел песок. С трудом они отыскали лестницу. В гостинице уже начинали тушить огни. Ада, держа Кристофа под руку, потребовала комнату. Их провели в номер, выходивший окнами в садик. Кристоф, высунувшись в окошко, видел фосфоресцирующую реку и одинокий глаз фонаря, о стекла которого ударялись с разлета длинноногие комары. Замок в двери щелкнул. Ада, улыбаясь, стояла у постели. Кристоф не смел взглянуть на нее. Она тоже избегала глядеть на Кристофа, но сквозь опущенные ресницы следила за каждым его движением. Половицы звонко скрипели под ногой. Сквозь тонкие перегородки доносились все шумы гостиницы. Они сели на кровать и молча обнялись.

Мерцающий свет, шедший из сада, погас. Все погасло...

Ночь... Бездна... Ни света, ни проблеска мысли... Бытие. Сила бытия, темная всепожирающая сила. Всевластная радость. Непереносимая радость. Радость, поглощающая все существо, как пустота — камень. Смерч желаний, затягивающий мысль. Нелепый и упоительный закон незрячих и опьяненных собою миров, несущихся во мраке.

Ночь... Слившееся дыхание, золотистая теплота двух тел, растворяющихся друг в друге, оцепенение, куда они проваливаются вдвоем, как в бездну... Ночь, нет, не ночь, а ночи... часы, нет, не часы, а века... мгновения, которые равносильны умира-

нию... Общие трезы, какие-то слова, произнесенные с закрытыми глазами, мимолетное и нежное прикосновение голых ног, ищущих друг друга даже в полусне, слезы и смех, счастье любить среди огромной пустоты мира, вместе погружаться в небытие сна, в беспорядочные образы, пробегающие в сознании, полубред, полусон, шорохи ночи... Рейн тихо плещется в бухточке у самого дома, а дальше волны, разбивающиеся о камень, словно каплями дождя осыпают прибрежный песок. Понтонный мост скрипит и жалобно стонет под тяжелым напором воды. Цепь, удерживающая его, непрерывно звенит, сжимая и растягивая ржавые звенья. Голос Рейна крепнет, заполняет всю комнату. Кровать кажется лодкой. И этих двух лежащих рядом увлекает головокружительное течение — они будто взвешены в пустоте, как птица в полете. Ночь становится чернее, а пустота совсем пустой. Они тесно прижимаются друг к другу. Ада плачет, Кристоф почти теряет сознание. Они оба исчезают под волнами ночи...

Ночь... Смерть... Зачем возвращаться к жизни?..

Рассвет робко жмется к мокрым от росы стеклам. Огонь жизни зажигается в утомленных телах. Кристоф проснулся. Он видит устремленные на него глаза Ады. Их головы лежат рядом на одной подушке. Руки сплетены. Губы нежно касаются губ. Вся жизнь проходит в течение нескольких минут: дни, полные солнечного света, величия и покоя...

«Где я? Нас двое, или это я в двоих? Да существую ли я еще? Я не ощущаю более самого себя. Меня окружает бесконечность, во мне живет душа статуи, той статуи, что с олимпийским, божественным спокойствием смотрит окрест широко раскрытыми глазами...»

Снова сон на века окутывает их. И привычные шумы рождающегося дня, далекий перезвон колоколов, скрип проплывающей мимо лодки, всплеск весел и мерный стук падающих с них капель, шаги на дороге баюкают, не спугивая их забывшееся сном счастье, напоминая им, что они живы, давая вкусить счастье.

Пароходик, загудевший у окна, вывел Кристофа из оцепенения. Они с Адой условились выехать в семь часов, чтобы вовремя возвратиться в город и не опоздать к занятиям. Он шепнул ей на ухо:

— Слышишь?

Не открывая глаз, Ада улыбнулась, протянула губы, прижала их к губам Кристофа, и тут же ее головка сонно соскольз-

нула на его плечо... Сквозь стекла окна он увидел, как по бледному утреннему небу прошла темная труба пароходика, пустой капитанский мостик, густые клубы дыма. Он снова заснул.

Целый час он проспал, даже не заметив, что спит. Услышав бой часов, он привскочил на постели.

— Ада,— шепнул он на ухо своей подружке.— Хэди,— добавил он ласково.— Уже восемь часов.

По-прежнему не подымая век, Ада нахмурила брови и сердито повела губами.

— Дай поспать,— произнесла она.

И, высвободившись из объятий Кристофа, устало вздохнув, она повернулась к нему спиной и снова заснула.

Кристоф лежал рядом с ней. Ровное тепло наполняло их тела. Кристоф мечтал. Кровь спокойно и мощно струилась по жилам. Его чувства, вдруг ставшие прозрачно-ясными, вбирали все окружающее, вплоть до мелочей, с какой-то первозданной остротой. Он наслаждался своей силой и своей молодостью. Сам того не желая, он ощущал гордость — он мужчина. Он улыбался своему счастью и чувствовал себя одиноким: одиноким, как и вчера, быть может, даже более одиноким, чем раньше, но зато без всякой грусти — и это было высшим одиночеством. Нет больше лихорадочного волнения. Нет мрака. Природа может свободно отражаться в его безмятежной душе. Лежа напротив окна, блуждая взором в ослепительно-блестящей утренней дымке, он улыбался:

«Как хорошо жить!»

Жить... Мимо проплыла лодка... Он вдруг подумал о тех, кто ушел из жизни, о лодке, на которой они плыли вместе — она и он... Она? Нет, не та, что спит сейчас рядом с ним. А та единственная, любимая, несчастная, так рано ушедшая из жизни. А кто та, что лежит рядом? Зачем пришла она сюда? Как попали они в эту комнату, как очутились здесь на постели? Он глядит на Аду, такую незнакомую, на эту чужую девушку, которая еще вчера утром не существовала для него. Что он знает о ней? Знает, что она неумна, знает, что она недобра. Знает, что сейчас она даже некрасива — лицо бледное, опухшее от сна, лоб низкий, полуоткрытый рот жадно втягивает воздух, губы вздулись и вытянуты вперед; сейчас она похожа в профиль на рыбу. Он знает, что не любит ее, совсем не любит. И щемящая боль пронзает его при мысли, что он в первую же минуту поцеловал эти чужие губы, в первую же ночь после знакомства овладел этим красивым, ненужным ему телом, а та, что он так любил, жила и

умерла близ него; и ни разу он не осмелился прикоснуться к ее волосам, так и не узнал благоухания ее существа, ничего не узнал. Все исчезло. Земля поглотила все. А он даже не защитил ее...

И пока он, нагнувшись, всматривался недобрым взглядом в лицо этой ни в чем не повинной девушки, она почувствовала, что на нее глядят. Обеспокоенная, она огромным усилием воли приподняла непослушные веки, улыбнулась и проговорила, чуть-чуть пришепетывая, как не совсем проснувшийся ребенок:

— Не смотри на меня, я уродливая.

И тут же, сраженная сном, откинулась на подушки, снова улыбнулась и пробормотала:

— Я так... так спать хочется!

И уснула.

Кристоф невольно засмеялся; он нежно поцеловал ее ребячески припухший от сна носик и губы, затем, поглядев с минуту на это большое дитя, перелез через неподвижное тело и потихоньку встал. Ада глубоко, с облегчением вздохнула и растянулась на постели. Одеваясь, Кристоф старался не шуметь, чтобы не потревожить спящую, но не так-то легко было ее разбудить; приведя себя в порядок, Кристоф уселся на стул возле окна; он глядел на реку, над которой клубился и уходил к небесам утренний туман, а волна как будто перекатывала блестящие льдинки; так он сидел, ни о чем не думая, и в голове его носилась грустная, пасторальная мелодия.

Время от времени Ада приоткрывала глаза, вскидывала на Кристофа непонимающий взгляд, потом узнавала его, улыбалась и снова засыпала. И спрашивала, который час.

— Без четверти девять.

И, снова засыпая, она задумчиво бормотала:

— А сколько это без четверти девять?

В половине десятого она потянулась в постели, тяжело вздохнула и сказала, что пора вставать. Но пробило десять, и только тогда она зашевелилась.

— Опять часы звонят,— жалостно проговорила она.— Все время звонят!..

Кристоф расхохотался и подсел к ней на кровать. Обняв его за шею, она стала рассказывать свои сны. Кристоф слушал не особенно внимательно, каким-нибудь нежным словом прерывая ее болтовню. Но она требовала, чтобы он молчал, и продолжала рассказ серьезным тоном, будто сообщала невесть какие важные вещи.

Она была на званом обеде, там был тоже герцог. Мирра была ньюфаундлендом, такой большой собакой, нет, кудрявым барашком, и она подавала на стол... Аде вдруг удалось отделиться от земли, ходить, танцевать и даже лежать в воздухе. Вот смотри, как это легко, нужно сделать так, потом — так и готово...

Кристоф посмеивался над ней. Она расхохоталась тоже, но видно было, что ее задели его насмешки.

— Ты ничего не понимаешь,— заявила она, пожав плечами.

Позавтракали они тут же, в постели, пили из одной чашки и ели одной ложкой.

Наконец Ада поднялась, отбросив простыню; она опустила свои красивые, крупные белые ноги, с красиво округлыми коленями, на коврик у кровати, потом уселась спокойно, перевела дух и стала разглядывать себя. Затем хлопнула в ладоши и потребовала, чтобы Кристоф убирался, и так как он медлил, она схватила его за плечи, вытолкала за дверь и заперлась на ключ.

Встав с постели, она потянулась, опять стала разглядывать свои красивые руки и ноги; умываясь, напевала чувствительную Lied в четырнадцать куплетов, плескала водой в Кристофа, который барабанил в окно; наконец, сорвав последнюю розу, расцветшую в садике, они сели на пароход. Туман еще не рассеялся, но солнечные лучи пробивались сквозь его клочья; пароходик шел среди молочно-белой пелены. Ада, насупившись, уселась на корме рядом с Кристофом; вид у нее был сердитый, она ворчала, что свет бьет ей прямо в глаза и что весь день у нее будет голова болеть. И так как Кристоф не особенно вникал в ее жалобы, она надулась и сердито замолчала. Ее полузакрытые глаза смотрели кругом с забавной важностью — так смотрят еще не совсем проснувшиеся дети. Но когда на следующей остановке вошла какая-то изящная дама и уселась неподалеку от них, Ада тотчас же оживилась и сочла необходимым обратиться к Кристофу с возвышенными и чувствительными речами. И снова перешла на церемонное «вы».

Кристоф беспокоился, что она скажет хозяйке, как объяснит свое опоздание. Но Аду это ничуть не тревожило.

— Подумаешь, не в первый раз.

— Что не в первый раз?

— Опаздывать,— отрезала она, явно недовольная этим вопросом.

Кристоф не осмелился спросить, чем были вызваны те, прежние опоздания.

— Но что же ты все-таки скажешь?

— Скажу, что мама заболела, умерла... что-нибудь да скажу.

Кристофу стало неприятно, что она говорит так легкомысленно.

— Я не желаю, чтобы ты врала.

Ада рассердилась.

— Во-первых, я никогда не вру... А во-вторых, не могу же я ей сказать...

Кристоф спросил полушутливо, полусерьезно:

— Почему не можешь?

Ада засмеялась, пожала плечами и заявила, что Кристоф невоспитанный грубиян, и тут же добавила, что просит ей впредь «ты» не говорить.

— Разве я не имею на это права?

— Ни малейшего.

— Даже после того, что произошло?

— Ничего не произошло.

Ада смотрела на Кристофа, смеясь, с вызывающим видом, и хотя она явно шутила, неприятно было думать, что ей ничего не стоит (Кристоф чувствовал это) утверждать то же самое всерьез и самой поверить. Но вдруг ее, по-видимому, рассмешило какое-то забавное воспоминание, она закатилась смехом, глядя на Кристофа, и звучно чмокнула его в щеку, не обращая никакого внимания на соседей, которые, впрочем, не особенно удивились.

Отныне все свои воскресные прогулки Кристоф совершал в обществе мастериц и приказчиков; ему отнюдь не нравились вульгарные повадки новых знакомых, и он всячески старался потерять их где-нибудь в пути, но Ада из чувства противоречия не желала бегать в одиночестве по лесам. Когда шел дождь или мешали какие-нибудь иные причины и нельзя было выехать за город, Кристоф водил Аду в театр, в музей, в Тиргартен, ибо Аде нравилось бывать с Кристофом на людях. Она требовала даже, чтобы он появлялся с нею в церкви в дни торжественных служб, но Кристоф в наивном простодушии не желал переступать порога церкви, раз он стал неверующим (он уже раньше под каким-то благовидным предлогом отказался от места органиста), и в то же время он, сам того не зная, не перестал верить и предложение Ады воспринимал как прямое святотатство.

Вечерами он заходил к Аде. Почти всякий раз он заставал у нее Мирру, которая жила в том же доме. Мирра не помнила обиды, она ласково протягивала Кристофу мягкую руку, говорила несколько минут о каких-нибудь игривых пустяках и

скромно исчезала. Никогда Ада и Мирра не казались так дружны, как сейчас, когда меньше всего имелось поводов для дружбы: девушки почти не разлучались. Ада не имела от Мирры тайн и рассказывала ей решительно все, а Мирра все выслушивала; обе получали от этих интимных излияний истинное удовольствие.

Кристоф чувствовал себя неловко в присутствии этих двух девушек. Их дружба, их нелепые разговоры, слишком вольные манеры, то, что они, и в первую очередь Мирра, смотрели на жизнь циничным взглядом и не скрывали этого (при Кристофе Мирра сдерживалась, но Ада пересказывала ему все речи подруги), их любопытство, непристойная болтовня, глупенькая и чувственная, вся эта двусмысленная, немного животная атмосфера стесняла Кристофа, но отчасти и занимала его; впервые в жизни он видел нечто подобное. Ему не удавалось вставить в их беседу ни слова, и он молча слушал болтовню этих двух молоденьких дикарок, которые страстно рассуждали о тряпках, несли какую-то чепуху, тупо хихикали, а всякий раз, когда разговор заходил на игривые темы, глаза их горели от удовольствия. После ухода Мирры Кристоф вздыхал с облегчением. Когда девушки были вместе, Кристоф словно попадал в чужую страну, языка которой он не знал. И они не понимали его, не слушали, даже издевались над чужестранцем.

Да и наедине с Адой они говорили на разных языках, но, по крайней мере, старались — пусть с трудом — понять друг друга. Откровенно говоря, чем больше он ее понимал, тем непонятнее она ему становилась. Ада была первой женщиной, которую он узнал близко. Правда, была еще Сабина, но он ничего о ней не знал: бедняжка так и осталась для него мечтой, живущей в глубине его души. И он пытался разгадать теперь загадку женщины; впрочем, загадка эта существует только для того, кто ищет в ней смысла.

Ада не отличалась умом, но это было самым незначительным из всех ее недостатков. Кристоф примирился бы с ним, если бы сама Ада признала за собой этот грех. Но хотя Аду занимали одни лишь пустяки, она почитала себя знатоком и ценителем искусств и наук и судила обо всем уверенно и смело. Она рассуждала о музыке и поучала Кристофа таким вещам, которые он прекрасно знал сам; выносила безоговорочные суждения, хулила и одобряла. И бесполезно было переубеждать ее — она ссылалась на свое непогрешимое чутье в любой области; она была ломака, тщеславная упрямица, не желала, да и просто не могла ничего понять. Пусть бы она признала, что ничего не по-

нимает! Насколько бы сильнее он любил Аду, если бы она согласилась быть такой, какая она есть, со всеми своими достоинствами и недостатками!

Но меньше всего Ада любила думать. Ее интересовали только еда, питье, пение, танцы, ей нравилось кричать, смеяться, спать, она хотела быть счастливой, и дай-то боже, чтобы ей это удалось. Но, имея все данные для счастья, Ада — лакомка, чувственная лентяйка, себялюбивая до наивности, возмущавшая и забавлявшая Кристофа, короче, владевшая всеми пороками, которые делают жизнь приятной вам самим, если не вашим друзьям (а впрочем, разве личико, озаренное отблеском счастья, особенно хорошенькое личико, не бросает отблеск счастья и на все окружающее?),— Ада при всем том не обладала достаточным умом, чтобы быть счастливой. Эта красивая и крепкая девушка с волчьим аппетитом, свежая, беспечная, с ярким румянцем, неиссякаемо веселая, вечно беспокоилась о своем здоровье. Уплетала за четверых и тут же грустно заявляла, что она еле ноги таскает от слабости. Жаловалась она буквально на все: и ходить она не может, и не может вздохнуть, у нее болит голова, болят ноги, глаза, желудок, душа. Она боялась всего и была бесконечно суеверна, во всем и везде она видела плохие или хорошие приметы. За столом она следила, чтобы ножи и вилки не лежали крестом, проверяла количество обедающих, бледнела при виде опрокинутой солонки и настаивала на выполнении сложнейших ритуалов, предотвращающих несчастие. На прогулке она следила за полетом ворон, пересчитывала их, замечала, с какой стороны они подлетают; она тревожно смотрела себе под ноги, горько сетовала, когда утром ей доводилось заметить паука, и непременно требовала, чтобы повернули домой; единственным средством уговорить ее продолжать прогулку было внушить Аде, что сейчас уже полдень, а может быть, даже и позже, и, таким образом, обратить злые чары в доброе предзнаменование. Боялась она и своих снов; сны она рассказывала Кристофу длинно, с подробностями и потом еще целых полдня припоминала какую-нибудь забытую деталь. Кристоф обязан был выслушивать всё подряд — длинные нелепые истории о каких-то странных браках, покойниках, портнихах, принцах, о смешных, а подчас и непристойных вещах. И необходимо было слушать внимательно, высказывать свое мнение. Иной раз Ада до вечера ходила мрачная, во власти ночных сновидений. Она заявляла, что жизнь вообще скверная штука, все видела в черном свете, обо всем отзывалась грубо и прямо и донимала Кристофа своими стенаниями; стоило рвать с теми скучными мещанами, чтобы и

здесь обрести извечного врага. «Der traurige ungriechische Hypochondrist» [1],— думал он.

Вдруг посреди сердитого молчания Аду охватывали приступы бурного, неестественно шумного веселья, и тогда было столь же бессмысленно возражать против этих вспышек, как и против только что прошедшей меланхолии; начинался смех, и так как причин для него не имелось, то длиться он мог целыми часами; начиналась беготня по полям, безумные выходки, детские игры; с каким-то непонятным удовольствием Ада делала всякие глупости: брала в руки землю, грязь, зверушек, пауков, муравьев, червей, дразнила их, причиняла им боль, скармливала птичку кошке, червяка курице, паука муравью, и все это беззлобно, в силу какой-то бессознательной потребности, из любопытства, от нечего делать. В такие часы ей было необходимо болтать глупости, по сто раз повторять какое-нибудь бессмысленное слово, дразнить, злить, придираться, выводить из себя собеседников. Или вдруг, заметив кого-нибудь вдалеке, Ада начинала отчаянно кокетничать. Тогда она говорила громко, с воодушевлением, шумела, гримасничала, словом, старалась привлечь к себе внимание; даже походка у нее становилась какая-то неестественная и припрыгивающая. Кристоф с ужасом ждал, что она вот-вот заговорит о серьезном. Так оно и случалось. Ада впадала в чувствительность и тут, по обыкновению, переходила все границы: начинались шумные и долгие излияния. Кристоф страдал, ему хотелось побить Аду. Но прежде всего он не прощал ей неискренности. В то время он еще не знал, что искренность столь же редкий дар, как ум или красота, и несправедлив тот, кто требует их от всех и каждого. Кристоф не выносил лжи, Ада отпускала ее щедрой мерой. Лгала она на каждом шагу, совершенно спокойно, вопреки очевидности. Она обладала удивительной способностью забывать то, что ей неприятно, и даже то, что ей нравилось, подобно всем женщинам, которые живут минутой.

И несмотря на все это, они любили друг друга, любили всем сердцем. В любви Ада была так же искренна, как и Кристоф. Хотя любовь их покоилась не на сродстве душ и ума, это была настоящая любовь, и не было в ней ничего от низких страстей. То была прекрасная юная любовь, и даже чувственность не опошляла ее, потому что все в ней было молодо,— почти целомудренная любовь, омытая наивной пылкостью их страсти. Хотя Ада ни в какой мере не отличалась неопытностью Кри-

[1] «Унылый и отнюдь не античный ипохондрик» (нем.).

стофа, оба они владели божественным даром: оба были юны и душой и телом, оба обладали неподдельной свежестью чувств, светлых и прозрачно-чистых, как лесной ручей. Эгоистка, лгунья, лицемерка в повседневной жизни, Ада в любви становилась простой, искренней, даже доброй. Она начинала понимать радость, которую находишь в забвении себя ради другого. Кристоф с восторгом глядел на нее, он бы охотно умер ради Ады. Кто знает, сколько смешных и трогательных иллюзий привносит любящая душа в свою любовь! Естественные для влюбленного иллюзии удесятерялись у Кристофа в силу способности создавать иллюзии, присущей каждому художнику. Улыбка Ады приобретала для него глубокий смысл, ласковое слово становилось доказательством ее сердечной доброты. В Аде он любил все, что было хорошего и прекрасного во вселенной. Он называл ее своим вторым «я», своей душою, жизнью. Нередко они вместе плакали от любви.

И не только наслаждения связывали их — их связывала несказанная поэзия воспоминаний и грез... Чьих? Их собственных? Или тех, кто любил до них, кто жил до них... быть может, в них самих?.. Они хранили, возможно даже не сознавая того, колдовскую память о первых минутах встречи в лесу, первых днях, первых проведенных вместе ночах, сладком сне в объятиях друг друга, когда лежишь без мысли, тонешь, не шевелясь, в потоке любви и умиротворенной радости. Внезапное воспоминание, пришедшая на память картина, неясная мысль, вдруг промелькнувшая в мозгу, заставляли их бледнеть и вздрагивать от упоения, окружали их словно жужжанием пчелиного роя. Сжигающий и нежный свет... Сердце замирает и молчит, ему не по силам эта слишком большая нежность. Молчание, лихорадочная томность, таинственная и усталая улыбка земли, трепещущей под первым весенним лучом... Не замутненная ничем любовь двух молодых существ подобна апрельскому утру. И быстротечна она, как апрель. Юность сердца выгорает, точно линючий ситец под солнцем.

Ничто так не скрепляло любовных уз, связывавших Кристофа с Адой, как отношение к ним окружающих, их суждения и домыслы.

На следующий же день после их первой встречи весь квартал был в курсе событий. Ада не намеревалась скрывать свое новое приключение; она, наоборот, гордилась победой. Кристофа коробила нескромность посторонних, он чувствовал, что за ним

жадно следят глаза горожан, и так как он вовсе не желал прятаться от этого назойливого внимания, то стал открыто появляться с Адой. По всему городку шли пересуды. Товарищи Кристофа по оркестру с явной издевкой приносили ему свои поздравления, но он не отвечал на их насмешки, так как не переносил вмешательства в свои дела. В замке порицали его неумение вести себя. Городские сплетники сурово критиковали Кристофа. В двух-трех домах ему отказали от уроков. А в прочих семьях матери вдруг сочли необходимым впредь самолично присутствовать на занятиях своих дочек и сидели с настороженным видом, словно Кристоф явился с целью похитить сие юное сокровище. Считалось, что сами девицы ни о чем не подозревают. На самом же деле они всё отлично знали и, с холодным недоумением осуждая Кристофа за его скверный вкус, умирали от желания узнать подробности. Только среди мелких торговцев и приказчиков Кристоф пользовался популярностью, и то недолго,— его в равной мере раздражали как восторженные одобрения одних, так и хула других; и, не будучи в силах прекратить злоязычные разговоры, он постарался отделаться хотя бы от своих почитателей; впрочем, особого труда это не составило. Кристоф негодовал против донимавшего его со всех сторон любопытства.

Сильнее всего порицали Кристофа старик Юстус Эйлер и семейство Фогелей. Поведение Кристофа казалось им личным оскорблением. Особенно серьезных намерений на его счет у них не имелось: они — и в первую очередь сама г-жа Фогель — не доверяли художественным натурам. Но, обладая от природы мрачным складом ума и убежденные в том, что их преследует рок, они внушили себе, что всегда мечтали о браке Кристофа с Розой, именно когда стало ясно, что брак не состоится, и в этом они тоже видели злополучный перст судьбы. По обычной логике выходило, что ежели рок ответствен за их просчет, то виновен в этом не Кристоф, но у Фогелей была своя особая логика — повсюду и во всем находить как можно больше поводов для жалоб. Они твердо верили, что если Кристоф сбился с пути, то вовсе не ради собственного удовольствия, а лишь с целью унизить именно их. Поэтому они были ужасно скандализованы. Люди крайне религиозные, нравственные, носители семейных добродетелей, они считали, что плотский грех — самый страшный из всех семи смертных грехов, самый непростительный и самый позорный, если вообще не единственно опасный (ведь не станут же, в самом деле, порядочные люди красть или убивать). Поэтому Кристоф представлялся им окончательно погибшим человеком, и они изменили к нему свое отношение. Смотрели на

него холодными глазами и отворачивались, когда он проходил мимо. Кристоф, вообще не очень дороживший их обществом, только плечами пожимал, видя все эти ужимки. Он притворялся, что не замечает дерзких выходок Амалии, которая якобы презрительно сторонилась его, а сама страстно желала, чтобы Кристоф сцепился с ней, чтобы выложить все, что накипело у нее на сердце.

Кристофа огорчала лишь Роза. Девушка осуждала его еще более сурово, чем все домашние. Не то чтобы новая любовь Кристофа разрушила ее последние надежды на ответное чувство — она знала, что надежд у нее никаких нет (хотя продолжала надеяться... и надеялась!). Но она сотворила себе из Кристофа кумир, и вдруг кумир этот рухнул. Невинное ее сердце страдало... горько страдало даже не оттого, что Кристоф пренебрег ею, ее не любит. Воспитанная в строгих, пуританских правилах, в рамках беспощадно узкой морали, в которую она свято верила, Роза приняла весть о новой любви Кристофа не только с отчаянием, но с брезгливостью. Когда он любил Сабину, она немало настрадалась. Уже тогда отчасти потускнел ее идеал. То, что Кристоф может любить такую ничем не примечательную особу, казалось ей не только необъяснимым, но и просто позорным. Однако та любовь была хоть чистая, да и сама Сабина отчасти заслуживала ее. Наконец, смерть унесла все и все освятила. Но то, что Кристоф так скоро полюбил другую,— и кого же! — это уж просто низко, гнусно! Роза готова была теперь защищать от Кристофа покойную Сабину. Она не прощала Кристофу, что он так быстро забыл ее... Увы, он думал о Сабине чаще, чем полагала Роза. Но Роза не знала, что в сердцах страстных уживаются самые различные чувства; она считала, что нельзя хранить верность прошлому, если не принести ему в жертву настоящего. Чистая и холодная, она ничего не понимала ни в жизни, ни в самом Кристофе; все должны быть чистыми, прямолинейными, честно исполнять свой долг, как исполняет она. Это скромное существо со скромной душою гордилось только одним — своей чистотой и требовало ее неукоснительно и от себя и от других. Падения Кристофа она не прощала, и не простила никогда.

Кристоф не раз пытался поговорить с Розой, если уж нельзя было ей всего объяснить. (Да и что мог он сказать пуритански наивной девочке?) Ему хотелось бы убедить Розу в своей дружбе, доказать, что он дорожит ее уважением, имеет на него все права. Ему хотелось, чтобы она не отстранялась от него так глупо. Но Роза избегала Кристофа, хранила суровое молчание, и он чувствовал, как она его презирает.

Это сердило и огорчало Кристофа. Он сознавал, что не заслуживает такого презрения, и, однако, невольно страдал от него. Он начинал чувствовать себя преступником. И жестоко упрекал себя при мысли о Сабине.

«Боже мой,— терзался он,— как же это возможно? Что же я за человек?»

Но не было сил бороться против уносившего его потока. Он решил, что преступна сама жизнь; он закрывал глаза, чтобы не видеть ее,— и жил. Ему так хотелось жить, быть счастливым, любить, верить! Ведь в его любви нет ничего достойного презрения! Он признавал, что любить Аду, пожалуй, и неразумно и неумно и что он даже не очень счастлив; но что же тут может быть плохого? Предположим даже (он старался сам не верить этому предположению), что в смысле нравственности Ада оставляет желать многого, но при чем тут его любовь к ней, разве его любовь менее чиста от этого? Ведь любовь в том, кто любит, а не в том, кого любят. Ценность любви определяется достоинствами любящего. Для чистого все чисто. Все чисто для сильного и здорового духом. Любовь, которая убирает птицу многоцветным опереньем, выносит на поверхность все благородное, чем богата чистая душа. Вот почему скрываешь от другого то, что может оскорбить его взор, черпаешь удовольствие в мыслях и поступках, созвучных тому прекрасному образу, который вылепила сама любовь. И горнило юности, закаляющее душу, священное излучение силы и радости, ведь они прекрасны и благотворны, они дарят величие сердцу.

То, что окружающие не понимали Кристофа, наполняло его горечью. Но тяжелее всего было, что и мать тоже страдала.

Луизе была чужда узость нравственных правил Фогелей. Слишком много видела она подлинных страданий, чтобы еще изобретать их. Робкая, сломленная судьбой, испытавшая мало радостей в жизни, да и не просившая их у неба, она покорно принимала и благо и зло, не пытаясь понять происходящее; она и помыслить не смела осуждать или порицать ближних — она считала, что не имеет на это права. Ей ли, глупой, осуждать человека за то, что он поступает иначе, чем она; навязывать другим твердые правила своей веры, своей морали казалось ей просто смехотворным. К тому же ее мораль и ее вера шли не от разума. Благочестивая и требовательная к себе, она охотно закрывала глаза на поведение близких, снисходительно, как большинство простых людей, относясь к человеческим слабостям. За это-то и не жаловал ее покойник дедушка Жан-Мишель. Луиза не делала различия между людьми весьма почтенными и мало-

почтенными; она, не задумываясь, останавливалась на улице или на рынке поздороваться и поболтать с какой-нибудь девицей, славящейся своими похождениями на весь квартал, хотя всякой порядочной женщине следовало пренебрегать таким знакомством. А Луиза полагалась на господа бога — пусть он сам разбирается, где добро и где зло. И карать и миловать — это уж его забота. От людей она просила только одного: хоть немножко сердечной теплоты, которая так облегчает жизнь. А самое главное, чтобы люди поступали хорошо.

Но, поселившись у Фогелей, Луиза незаметно для себя переменилась под их влиянием. Царивший в доме дух всепорицания оказал на нее свое тлетворное воздействие с тем большей легкостью, что она была сражена горем и сопротивляться не хватало силы. Амалия постепенно подчинила себе Луизу, и, слушая с утра до ночи разглагольствования г-жи Фогель, которая говорила за двоих и во время стряпни, и во время уборки, Луиза, безропотная и согнувшаяся под бременем несчастий, незаметно для себя переняла от квартирохозяйки привычку всех судить и все критиковать. Понятно, что Амалия не постеснялась выложить жиличке все свои соображения насчет Кристофа. Спокойствие Луизы ее раздражало. Она считала непристойным, что Луиза так равнодушна к событиям, вызывавшим негодование семьи Эйлера, и успокоилась только тогда, когда внесла смятение в ее душу. Кристоф заметил перемену, происшедшую с матерью. Луиза не смела его прямо упрекать, но каждый день с утра начинались намеки, робкие, тревожные, но назойливые; когда Кристоф, выйдя из терпения, резко обрывал мать, она замолкала, но во взгляде ее он читал скрытую печаль, а иной раз, вернувшись домой, заставал ее с заплаканными глазами. Он слишком хорошо знал мать и понимал, что эта внезапная тревога за его судьбу внушена со стороны. И не сомневался, что это за сторона.

Кристоф решил, что пора положить этому конец. Как-то вечером, когда Луиза не сдержала слез при сыне, встала из-за стола, не окончив ужина, а на все расспросы хранила упорное молчание, он сбежал с лестницы и постучался к Фогелям. Он кипел от гнева. И не только недостойное науськивание г-жи Фогель возмутило его, он мечтал отомстить ей за все разом: и за то, что она восстановила против него Розу, и за травлю Сабины,— словом, за все, чего он натерпелся за долгие месяцы пребывания в их доме. Уже давно он чувствовал, как гнетет его эта копившаяся неделями злоба, и жаждал разом освободиться от груза.

Он ворвался в комнату г-жи Фогель и голосом, дрожащим от гнева, хотя и старался он говорить как можно спокойнее, спросил Амалию, что такое она наговорила его матери и чем довела до такого состояния.

Амалия приняла Кристофа в штыки — она ответила, что вольна говорить все, что ей угодно, что она никому отчетом не обязана, а уж ему, Кристофу, тем паче. И, ухватившись за счастливый случай высказать все, что ее так подмывало высказать, она добавила, что если Луиза несчастна, то зря Кристоф ищет каких-то посторонних причин, виной всему его собственное поведение, позорное для него самого и вызывающее всеобщее возмущение.

Но и Кристоф ждал удара, чтобы ответить на него ударом. Он сердито закричал, что поведение его касается только его одного, что его весьма мало заботит, по душе оно г-же Фогель или нет, что ежели она желает изливать свое недовольство, пусть обращается прямо к нему, пусть говорит ему все, что угодно, хотя ее мнение интересует его как прошлогодний снег, но что он *запрещает* (понятно?), *запрещает* говорить о нем с Луизой и что подло с ее стороны приставать к бедной, немолодой и к тому же больной женщине.

Госпожа Фогель завопила. Впервые в жизни с ней говорили таким тоном. Она сказала, что не потерпит, чтобы в ее собственном доме ей читали нотации, и кто же? — какой-то шалопай. За словом «шалопай» последовали и другие словечки.

На шум сбежалось все семейство, за исключением самого Фогеля, который избегал бурных сцен, так как они могли повредить его здоровью. Старик Эйлер, которого негодующая Амалия призвала в свидетели, сухим тоном попросил Кристофа избавить их впредь от своих посещений и от своих замечаний. И добавил, что они не нуждаются в советах Кристофа, они сами знают, что им следует делать, они выполняют свой долг и будут выполнять его впредь.

Кристоф заявил, что он сам рад уйти и что ноги его больше у Эйлера не будет. Но, прежде чем уйти, он облегчил душу — выложил все свои соображения насчет их пресловутого Долга, который с недавних пор стал его личным врагом. Сказал, что от такого Долга можно полюбить порок. Именно такие люди, как они, отвращают других от добра, так как благодаря их стараниям оно нагоняет на людей тоску. Именно они причина того, что человек в силу контраста поддается соблазну, который исходит от людей пусть не таких идеально честных, зато приятных и веселых. А на каждом шагу помнпать долг ради долга, назы-

вать выполнением долга любое, самое тупое занятие, любые пустяки — это значит извращать самое понятие «долг» и вконец омрачать и отравлять жизнь себе и другим. Долг есть нечто из ряда вон выходящее. Подождите, когда дело дойдет до истинного самопожертвования, а не прикрывайте именем долга свой собственный дурной нрав и желание портить жизнь другим. И если человек по глупости или неумению радоваться ходит надутый, это вовсе не значит, что и другие тоже должны ходить повеся нос,— нельзя заставлять здоровых людей жить, как калеки. Первая изо всех добродетелей — это радость, и добродетель должна быть свободной, счастливой, ничем не принуждаемой. Творящий добро должен сам от того испытывать удовольствие. Но эти разглагольствования о долге на каждом шагу, эта тирания школьных надзирателей, этот крикливый тон, эти бессмысленные споры, эта пустая и ядовитая болтовня, вечный шум, жизнь, лишенная какой-либо привлекательности, прелести, не знающая тишины, этот мелочный пессимизм, который жадно хватается за все, лишь бы обеднить и без того жалкое существование, это всепрезирающее невежество, с помощью коего так легко презирать ближнего, вместо того чтобы понять его,— вся эта мещанская мораль, чуждая величия, радости, красоты, все это и гнусно, и просто вредно; благодаря таким вот людям порок кажется куда более человечным, чем добродетель.

Так думал Кристоф и в своем желании оскорбить тех, кто оскорбил его, не замечал, как он несправедлив и как несправедливы его речи.

Конечно, Кристоф довольно верно нарисовал картину жизни этих несчастных людей. Но не их была в том вина — таково естественное следствие убогой жизни, которая наложила свою печать на их лица, их жесты и мысли. Страшный гнет бедности исказил их человеческий облик,— не той нищеты, что обрушивается на человека сразу и убивает или закаляет его,— но вечных неудач, мелких житейских бед, которые точат душу день за днем от начала до конца жизни... Печальный удел, ибо под неприглядной оболочкой — целая сокровищница прямодушия, доброты, молчаливого героизма... Все силы народа, все соки будущего!

Кристоф был совершенно прав, утверждая, что долг есть нечто из ряда вон выходящее. Но и любовь такое же исключение. Всё исключение. И самый худший враг того, что имеет хоть какую-нибудь цену, не просто зло (пороки тоже имеют

свою цену), а привычка. Заклятый враг души — это каждодневный износ чувств.

Аде начали приедаться их отношения. Она была недостаточно умна, чтобы поддерживать непреходящую свежесть чувства, хотя судьба послала ей такую богатую натуру, как Кристоф. Ее тщеславие и чувственность почерпнули из их любви все радости, которые можно было почерпнуть, кроме одной: радости разрушения этой любви. Ада обладала тайным инстинктом, присущим многим женщинам, даже добрым, и стольким мужчинам, даже умным, которые не создают в жизни ничего — не родят детей, не знают радости творчества и деяния,— а переизбыток жизни мешает им равнодушно и смиренно примириться с собственной бесполезностью. Им хотелось бы, чтобы и другие были так же бесполезны, и они прилагают к тому немало усилий. Иногда это получается даже помимо их воли. И когда они замечают за собой такое преступное желание, они с негодованием подавляют его. Но гораздо чаще их тешит это желание, и они стараются по мере своих сил и возможностей — одни тихой сапой в тесном кругу семьи, другие же, напротив, открыто, всенародно — разрушить все то, что живет, все, что любит жить, все, что заслуживает права жить. Критик, который лезет из кожи вон, чтобы принизить до себя великих людей и великие мысли, и веселая девица, которой нравится унижать своего любовника, по сути дела — два вредоносных зверя одной и той же породы. Правда, второй более приятен.

Итак, Ада стремилась развратить Кристофа, чтобы унизить его. По правде сказать, ей это было не по плечу,— даже для развращения требуется больше ума. Ада чувствовала это и затаила в душе обиду на Кристофа за то, что любовь ее не может причинить ему никакого зла. Впрочем, если бы она могла сделать ему зло, она, возможно, воздержалась бы. Но ее мучила мысль, что она не властна над ним. Если мужчина лишает женщину иллюзии относительно ее благотворного или вредного влияния на любимого человека, это в ее глазах равносильно отсутствию любви, и поэтому-то она настойчиво и по всякому поводу старается подвергнуть любовь все новым и новым испытаниям. Кристоф не поберегся вовремя. Когда как-то Ада, просто от нечего делать, спросила, бросит ли он ради нее музыку (хотя ей это отнюдь не требовалось), он искренне ответил:

— Ну нет, детка, ни ради тебя, ни ради кого-либо другого. Музыку я ни за что не брошу.

— А еще уверяешь, что любишь меня! — воскликнула с досадой Ада.

Ада ненавидела музыку, тем более что ничего в ней не смыслила, и не знала, как вернее поразить невидимого врага, чтобы глубже ранить Кристофа в его страсти. Когда Ада начинала говорить о музыке свысока или презрительно отзывалась о сочинениях Кристофа, он хохотал от души, и как ни злилась Ада, она замолкала, чувствуя, что становится смешной.

Но, отчаявшись уязвить Кристофа с этой стороны, она не преминула обнаружить другое место, куда особенно легко было нанести рану,— его нравственные устои. Несмотря на свою ссору с Фогелями, вопреки всем упоениям юности, Кристоф сохранил врожденную чистоту, потребность в чистоте, которой он сам не сознавал и которая, естественно, должна была поразить, привлечь и очаровать такую женщину, как Ада, а потом начала забавлять ее, надоедать и даже злить. Но она воздерживалась от лобовой атаки. Она лукаво допытывалась:

— Ты меня любишь?

— Ну еще бы!

— А как ты меня любишь?

— Так, как только можно любить.

— Ну, знаешь, это еще не так много... А что бы ты сделал ради меня?

— Все, что ты хочешь.

— Ну, скажем, совершил бы какой-нибудь бесчестный поступок?

— Странный способ доказывать свою любовь.

— Не важно, что странный, скажи, совершил бы?

— Да ведь это не нужно.

— Ну, а если бы я захотела?

— И зря захотела бы.

— Пусть зря... Скажи, сделал бы?

Кристоф потянулся ее обнять. Но Ада оттолкнула его.

— Сделал бы или нет?

— Нет, детка, не сделал бы.

Ада в бешенстве повернулась к нему спиной.

— Ты просто меня не любишь. Ты не знаешь, что такое любовь.

— Возможно,— простодушно отвечал он.

Кристоф отлично понимал, что способен, как и любой человек, в минуту безумия совершить какую-нибудь глупость, даже бесчестную, а может быть, и еще хуже, но ему претило так вот холодно и бесстрастно хвастаться этим и казалось опасным признаться в этом Аде. Инстинкт подсказывал ему, что обожаемый

недруг подстерегает его, запоминает каждое слово, а он не желал давать Аде оружие против себя.

На этом Ада не успокоилась и в другой раз предприняла новую атаку:

— Ты меня любишь потому, что ты меня любишь, или потому, что я тебя люблю?

— Потому что я тебя люблю.

— Значит, если я тебя разлюблю, ты все равно будешь меня любить?

— Буду.

— А если я полюблю другого, ты все равно меня не разлюбишь?

— Не знаю. Думаю, что да... Во всяком случае, тебе я скажу об этом последней.

— А что же переменится?

— Многое. Возможно, я. А ты уж наверняка.

— Но если я и переменюсь, тебе-то что?

— Как что? Я люблю тебя такой, какая ты есть. А если ты станешь другая, я не могу поручиться, что буду тебя любить.

— Ты просто меня не любишь, совсем не любишь! Торгуешься, как в лавке! Любит, не любит. Если ты меня действительно любишь, ты должен меня любить такой, какая я есть, должен всегда любить, что бы я ни сделала.

— В таком случае я любил бы тебя, как животное.

— А я и хочу, чтоб ты меня так любил.

— Значит, ты ошиблась,— сказал он, смеясь.— Я не тот, кто тебе нужен. Если бы я даже хотел, все равно не мог бы. А я и не хочу.

— Очень уж ты гордишься своим умом! Ты больше любишь свой ум, чем меня.

— Но ведь я тебя люблю, неблагодарная ты, больше, чем ты сама себя любишь. И чем ты красивее и лучше, тем больше я тебя люблю.

— Ну, заговорил, хуже учителя,— презрительно произнесла Ада.

— Что ты от меня хочешь? Я люблю все, что прекрасно, а плохое вызывает во мне отвращение.

— Даже во мне?

— А в тебе особенно.

Ада со злости даже ногой топнула.

— Я не желаю, чтоб ты меня осуждал.

— Ну, жалуйся теперь, что я тебя осуждаю, что я тебя люблю,— нежно произнес он, желая ее успокоить.

Ада позволила обнять себя и даже ответила улыбкой на его поцелуй. Но через минуту, когда Кристоф надеялся, что все уже забыто, она тревожно спросила:

— А что ты во мне находишь плохого?

Кристоф поостерегся сказать, что именно, и малодушно ответил:

— Ничего не нахожу.

Ада подумала с минуту, потом улыбнулась и сказала:

— Послушай, Кристли, вот ты говоришь, что не переносишь лжи?

— Да, я ненавижу ложь.

— Ты прав, я тоже ненавижу ложь. Впрочем, на этот счет я спокойна, я никогда не лгу.

Кристоф взглянул на Аду — она говорила вполне искренне. И перед такой наивностью он почувствовал себя обезоруженным.

— Тогда почему же ты рассердишься,— спросила она, обвивая его шею обеими руками,— если я полюблю другого и прямо тебе об этом скажу?

— Не мучай ты меня.

— Я вовсе не мучаю — ведь я не говорю, что люблю другого: наоборот, никого, кроме тебя, не люблю... Ну, а если бы я все-таки полюбила?

— Не будем об этом думать.

— А я хочу об этом думать... Ты на меня рассердишься? А ведь ты не вправе на меня сердиться.

— Я не буду сердиться, я просто уйду, вот и все.

— Уйдешь от меня? Почему уйдешь? А если я тебя буду по-прежнему любить?

— Как же это можно, и меня и другого?

— Ну и что? Ведь бывает и так.

— Бывает, но только не с нами.

— Почему?

— Потому что в тот день, когда ты полюбишь другого, я не буду тебя любить, детка, не буду и не буду.

— А ты только что говорил, что будешь... Вот видишь, ты меня не любишь.

— Ну пусть. Тем лучше для тебя.

— Почему лучше?

— Потому что, если бы я продолжал тебя любить, а ты по-

любишь другого, могло бы плохо кончиться для тебя, и для меня, и для другого тоже.

— Вот тебе на! Ты совсем с ума сошел. Значит, по-твоему, я должна всю жизнь сидеть при тебе?

— Успокойся. Ты совершенно свободна. Можешь уйти от меня в любую минуту, когда захочешь. Только это уж тогда не «до свидания», а «прощай навеки».

— А если я по-прежнему тебя буду любить, тогда что?

— Когда любишь, то поступаешься многим.

— Ну и поступайся, пожалуйста.

Кристоф невольно рассмеялся этому наивному эгоизму. Ада тоже расхохоталась.

— Если жертву приносит один,— сказал он,— значит, и любит только один.

— Ничего подобного. Двое любят. Просто я тебя любила бы еще больше, если бы ты чем-нибудь пожертвовал для меня. И подумай только, Кристли, ведь и ты бы меня любил еще сильнее,— раз ты пожертвовал бы чем-нибудь для меня, ты был бы еще счастливее.

Оба расхохотались, и оба были довольны, что сумели скрыть от самих себя смысл этой размолвки.

Кристоф, смеясь, глядел на Аду. И в самом деле, как сказала Ада, она не имела ни малейшего желания расставаться сейчас с Кристофом; пусть он ее часто злил и надоедал, она понимала, как ценна такая преданность, и никем увлечена не была. И говорила-то она только так, от нечего делать, потому что знала, как неприятны Кристофу подобные разговоры, и потому, что получала удовольствие от копания в фальшивых и нечистых чувствах, словно ребенок, который с наслаждением возится в грязной луже. Кристоф знал это и не сердился на Аду. Но он утомился от нездоровых споров, от постоянной глухой борьбы с этой нестойкой и нездоровой душой, с этой Адой, которую он любит, которая, быть может, любит его; он устал от тех усилий, которые ему приходилось делать, чтобы обманывать себя на ее счет,— словом, устал до слез. Он думал: «Ну зачем, зачем она такая? Почему вообще люди такие? Как заурядна жизнь!» И в то же время он улыбался, глядя на хорошенькое личико, склонившееся к нему; на голубые глаза; нежный, как лепесток цветка, румянец; смеющийся и болтливый, чуть-чуть глуповатый рот, открывавший ярко-розовый кончик языка и блестящие зубки. Их губы почти соприкасались, но он смотрел на нее словно издалека, откуда-то очень издалека, словно из другого мира, и он видел, как она уходит все дальше и дальше,

тает в туманной дымке... И вдруг он перестал видеть ее совсем. Перестал слышать. Он впал в состояние какого-то радужного забытья, и все мысли его влеклись к музыке; он мечтал о чем-то, не имеющем к Аде никакого отношения. Ему слышалась мелодия. Он творил, творил спокойно. О, прекрасная музыка... печальная, такая бесконечно грустная! И, однако, в ней звучит доброта, любовь, и как хорошо становится на душе — вот оно, вот оно... а все прочее ненастоящее.

Он почувствовал, что его трясут за руку. Голос рядом с ним кричал:

— Да что с тобой? Скажи, ты, должно быть, с ума сошел? Почему ты на меня так глядишь? Почему не отвечаешь?

Он увидел рядом с собой пару глаз, смотревших на него. Кто это? Ах да... Он прерывисто вздохнул.

Ада рассматривала его с холодным вниманием. Она пыталась понять, о чем он думает. И ничего не понимала, только чувствовала, как напрасны ее усилия; она владеет не всем Кристофом, не всем целиком, и есть какая-то дверца, через которую он может ускользнуть от нее. И в глубине души она злилась.

— Почему ты плачешь? — как-то раз спросила она Кристофа, когда он вернулся из такого же загадочного путешествия в другую жизнь.

Кристоф провел ладонью по глазам и почувствовал, что они мокрые.

— Не знаю,— сказал он.

— Почему ты не отвечаешь? Я три раза тебя об одном и том же спрашиваю.

— Чего ты хочешь? — тихо сказал он.

Но Ада уже снова завела нелепый спор.

Кристоф устало махнул рукой.

— Ладно, не буду,— заявила она.— Только одно слово.

И снова началось.

Кристоф гневно выпрямился.

— Оставь меня в покое с твоими мерзостями.

— Но ведь я шучу.

— Потрудись выбирать для своих шуток более пристойные темы.

— Хоть объясни, скажи, почему это плохо?

— Не желаю! И объяснять нечего. Навоз воняет, потому что он воняет, и все тут. А я затыкаю нос и прохожу мимо.

И Кристоф уходил; в бешенстве шагал он по улице, жадно вдыхая морозный воздух.

Но Ада снова и снова заводила свои разговоры, заводила завтра, заводила послезавтра. Она выкладывала Кристофу все, что могло задеть или оскорбить его.

Кристоф считал, что это лишь нездоровые забавы неврастенической девушки, которой нравится дразнить людей. Он молча пожимал плечами или притворялся, что не слышит ее слов, которых, впрочем, и не принимал всерьез. И, однако ж, у него иной раз было сильное искушение выбросить ее за окошко,— неврастения и неврастеники были ему не по вкусу.

Но, уйдя от Ады, он уже через десять минут забывал все, что ему так претило. Он возвращался к ней с новым запасом надежд и молодых иллюзий. Он ее любил. Любовь, по сути дела, акт бесконечно возобновляющейся веры. Существует бог или нет — это не важно; верят в него, потому что верят. И любят, потому что любят: любовь не ищет причин.

После сцены, которую Кристоф устроил Фогелям, дальнейшее пребывание в их доме стало невозможным, и Луизе с сыном пришлось перебраться на новую квартиру.

В один прекрасный день самый младший из братьев Крафтов Эрнст, давно не подававший о себе вестей, вдруг свалился к ним как снег на голову. Он остался без места; впрочем, он уже сменил с десяток профессий, так как с каждой должности, на которую он поступал, его выгоняли; денег у него не было ни копейки, да и здоровье расшаталось; поэтому он рассудил, что разумнее всего передохнуть и набраться сил под материнским кровом.

Эрнст поддерживал с обоими братьями добрые отношения; Кристоф и Рудольф его не уважали, он знал это и не сердился на них, потому что ему это было безразлично. И они тоже на него не сердились: только время зря тратить. Он выслушивал любые наставления и тут же забывал о них. Лукавые, красивые глаза улыбались, хотя он пытался принять озабоченный вид и, явно думая о другом, поддакивал, благодарил. А кончалась такая сцена обычно тем, что он выманивал у братьев деньги. Кристоф злился на себя, но любил этого обходительного шалопая, напоминавшего еще больше, чем сам он, Кристоф, дедушку Жан-Мишеля. Эрнст был такой же высокий, как Кристоф, но черты у него были правильные, лицо открытое, светлые глаза, прямой нос, вечная улыбка на губах, прекрасные зубы и вкрадчивые манеры. При виде его Кристоф чувствовал себя обезоруженным и забывал половину своих упреков: он не

мог подавить какое-то чисто материнское снисхождение к этому красивому мальчику, в жилах которого текла их, крафтовская, кровь и внешностью которого он гордился. Кристоф не считал Эрнста плохим, да и глупым он не был. Образования ему не хватало, но он не лишен был тонкости чувств и даже способен был интересоваться самыми серьезными вещами. Он умел наслаждаться музыкой и, не понимая сочинений брата, внимательно слушал его игру. Кристоф, не избалованный симпатией и сочувствием близких, с удовольствием замечал Эрнста среди публики на своих концертах.

Но самым крупным талантом Эрнста было ясное понимание характеров своих братьев и умение играть на их слабых струнках. Пусть Кристоф знал, что Эрнст эгоист и равнодушен ко всему на свете, пусть он знал, что Эрнст вспоминает о них с матерью, только когда ему что-нибудь надо, и все-таки он каждый раз поддавался обаянию ласковых манер младшего брата и ни в чем не мог ему отказать. Он любил его гораздо сильнее, чем своего другого брата — Рудольфа, весьма степенного, корректного юношу, аккуратного в работе, безупречной нравственности, который денег ни у кого не просил, но и сам их никому не давал, и аккуратно по воскресеньям приходил навестить мать; он сидел у Луизы ровно час, говорил только о себе, хвастался своими успехами, своей фирмой и всем, ее касающимся, никогда ни о ком и ни о чем не спрашивал и уходил всегда в одно и то же время, радуясь, что так славно выполнил свой сыновний долг. Кристоф терпеть его не мог. Он старался уйти из дому, лишь бы не встречаться с Рудольфом. А Рудольф завидовал старшему брату — он презирал людей свободных профессий и не мирился с известностью Кристофа. Однако это не мешало ему кичиться скромной славой брата, что было небезвыгодно в кругу коммерсантов, с которыми он общался, но он скрывал это и от Луизы и от Кристофа, делая вид, будто ничего об успехах брата не слышал. И, наоборот, любое неприятное событие в жизни Кристофа немедленно становилось ему известным. Кристоф от души презирал эти мелкие уколы и, в свою очередь, притворялся, что ничего не замечает, но чего он не знал и что узнать было бы горше всего — это то, что самые нелестные сведения о нем Рудольф получал непосредственно от Эрнста. Юный бездельник отлично понимал, как велика разница между Кристофом и Рудольфом, и, без сомнения, чувствовал превосходство Кристофа, а может быть, его даже трогало, хоть и смешило, простодушие брата. Но он не упускал случая обернуть себе на пользу наивность Кристофа, так же как старался

извлечь выгоду из злобного себялюбия Рудольфа. Он льстил ему, разжигал зависть, почтительно, не возражая, выслушивал его ядовитые речи и держал его в курсе всех скандальных сплетен, ходивших по городу, и в первую очередь тех, которые касались Кристофа. Надо сказать, что Эрнст всегда все знал. И неизменно достигал цели: Рудольф, несмотря на всю свою скупость, позволял обирать себя младшему брату, точно так же, как и Кристоф. Так Эрнст пользовался расположением обоих братьев и равно смеялся над ними. И оба брата его любили.

Несмотря на всю свою изворотливость, Эрнст на сей раз вернулся домой, к матери, в самом плачевном состоянии. Он прибыл из Мюнхена, где его, как обычно, быстро выгнали с работы. Большую часть пути ему пришлось проделать пешком, в дождливую погоду, и ночевать где попало. Он был весь с головы до ног покрыт грязью, одежда висела на нем клочьями, будто на бродяге, и к тому же он надрывно кашлял, так как подхватил по дороге серьезный бронхит. При виде его Луиза испуганно вскрикнула, а выбежавший на ее крик Кристоф растрогался. Эрнст, который вообще при случае мог легко пустить слезу, не преминул и на этот раз прибегнуть к эффектному приему. В результате Луиза и Кристоф окончательно смягчились, и все трое, обнявшись, долго плакали.

Кристоф поместил брата в своей комнате; постель, куда уложили больного, который, казалось, вот-вот отдаст богу душу, предварительно согрели грелками. Луиза и Кристоф уселись у изголовья Эрнста и всю ночь по очереди продежурили возле больного. Понятно, появился доктор, понадобились лекарства, особая пища, ярко пылающий камин.

Надо было, кроме того, одеть блудного сына с головы до ног,— и белье, и обувь, и костюм требовались новые. Эрнст все принимал как должное. Луиза и Кристоф из сил выбивались под бременем непредвиденных расходов. Болезнь Эрнста застигла их в трудных обстоятельствах: количество уроков сократилось, а тут еще переезд на новую квартиру, такую же неудобную, но более дорогую, чем прежняя, и всякие прочие траты. Они и так еле сводили концы с концами. Пришлось прибегать к героическим мерам. Кристоф мог бы, конечно, обратиться к Рудольфу, которому легче было пособить Эрнсту, но он не хотел — он считал делом чести самому помочь младшему брату. И считал так потому, что остался за старшего в семье, и потому, что Кристоф был Кристоф. С краской стыда на лице он вынужден был

принять — чуть не просить — недавно отвергнутое с негодованием предложение одного посредника (богач, от имени которого тот выступал, пожелал остаться неизвестным): речь шла о приобретении в полную собственность какого-нибудь произведения Крафта для последующего издания под именем вышеназванного меломана. Луиза нанялась поденно штопать белье. И мать и сын скрывали друг от друга эти жертвы. И оба, заработав несколько грошей, безбожно лгали насчет их происхождения.

Однажды Эрнст, который уже выздоравливал, уютно сидя у камелька, признался между двух приступов кашля, что у него есть кое-какие долги. Заплатили и долги. Никто не сказал ни слова упрека. Это было бы неблагородно по отношению к больному, по отношению к блудному сыну и брату, который в раскаянии вернулся под отчий кров, особенно сейчас, когда Эрнст, казалось, переродился после пережитых испытаний. Со слезами в голосе он говорил о своих былых заблуждениях. И Луиза, обнимая любимого сына, умоляла его забыть тяжелое прошлое. Эрнст вообще был от природы ласков и умел порадовать мать своими нежными излияниями. Кристоф раньше, случалось, даже немножко ревновал. А теперь он считал вполне естественным, что самый младший сын, да к тому же еще болезненный, был и самым любимым. Хотя разница в возрасте у братьев была ничтожная, Кристоф относился к нему скорее как к сыну, чем как к брату. Эрнст выказывал Кристофу неизменное уважение, он несколько раз заводил туманные разговоры о заботах, которые доставляет домашним, о непомерно больших тратах, но всякий раз Кристоф обрывал его, и Эрнст сразу почтительно умолкал, глядя на родных преданным и робким взглядом. Он жадно выслушивал советы Кристофа; казалось, он твердо решил переменить образ жизни и, как только поправится, начать серьезно работать.

И хотя Эрнст поправлялся, выздоровление шло медленно. Врач заявил, что здоровье его молодого пациента подорвано и требует особых забот. Посему Эрнст продолжал жить в материнском доме, делил с Кристофом постель, с аппетитом уписывал хлеб, заработанный трудами старшего брата, и лакомые кушанья, которые Луиза изобретала для любимого сына. Об отъезде он даже не заикался. Молчали на эту тему и Луиза с Кристофом. Они были счастливы вновь обрести любимого сына и брата.

Проводя почти все вечера вместе с Эрнстом, Кристоф мало-помалу привык разговаривать с ним более откровенно. Ему так нужно было довериться кому-то. Неглупый Эрнст с полуслова понимал или делал вид, что понимает брата. Беседы с ним даже

доставляли удовольствие. Однако Кристоф не смел говорить с ним о том, что особенно волновало его душу,— о своей любви. Его удерживала какая-то стыдливость. А Эрнст, который отлично знал все, делал вид, что ничего не знает.

Однажды окончательно выздоровевший Эрнст воспользовался солнечным днем и вышел побродить по берегу Рейна. Проходя мимо какой-то шумной харчевни за околицей города, куда горожане обычно приходили по воскресеньям выпить и потанцевать, он увидел Кристофа, который пировал вместе с Адой и Миррой. Кристоф заметил Эрнста и покраснел. А Эрнст притворился, что ничего не видел, и прошел, не окликнув брата.

Кристофа сильно смутила эта встреча. Он еще острее почувствовал, в каком обществе вращается. Особенно было ему мучительно, что его видел Эрнст, и даже не потому, что отныне он лишался права судить о поведении Эрнста, а потому, что имел слишком высокое, слишком наивное, немного старомодное представление об обязанностях старшего брата, что большинству людей показалось бы просто смешным и нелепым; сам же Кристоф не скрывал от себя, что, пренебрегая своими обязанностями, он теряет в собственном мнении.

Вечером, когда они очутились одни в спальне, Кристоф ждал, что Эрнст намекнет на их встречу. Но Эрнст сам ждал первых слов брата. Они начали раздеваться на ночь, и тут только Кристоф решился рассказать о своей любви. Он так волновался, что даже не смел взглянуть на Эрнста, и именно по застенчивости заговорил в преувеличенно грубом тоне. Эрнст ничем не помог брату; он сидел молча, тоже не глядел на Кристофа, но тем не менее прекрасно все видел: от его проницательного взора не укрылось ни смущение Кристофа, ни его неловкие слова, а главное, то, что было в них смешного. Кристоф едва ли даже не назвал имя Ады, и нарисованный им портрет мог подойти к каждой любимой девушке. Но зато он говорил о своей любви и, отдаваясь потоку нежности, переполнявшей его сердце, воскликнул, что любить — величайшее благо, что он был так несчастлив, пока не увидел этот луч, озаривший его мрачную ночь, и что жизнь ничто без любви, истинной и глубокой. Эрнст слушал с серьезным видом, тактично вставил несколько слов, ни о чем не спросил; лишь порывистое рукопожатье должно было показать, что он разделяет чувства Кристофа. Братья поговорили еще, высказали друг другу свои мысли о любви и жизни. Кристоф был счастлив. Наконец-то его поняли по-настоящему. Перед сном братья обнялись.

«Жан-Кристоф». Книга третья.

Мало-помалу Кристоф привык — правда, очень робко и очень сдержанно — поверять свои чувства Эрнсту, поскольку уверился в его скромности. Он даже поведал ему, что поведение Ады внушает ему беспокойство, но никогда не обвинял ее, а обвинял только себя одного и со слезами на глазах повторял, что не переживет разлуки с нею.

Говорил он и Аде об Эрнсте, хвалил его ум и внешность.

Эрнст отнюдь не выказывал желания познакомиться с Адой; в глубокой меланхолии сидел он целыми днями дома и отказывался пойти погулять, ссылаясь на то, что у него нет знакомых. Кристоф упрекал себя, что по воскресеньям отправляется, как и прежде, за город с Адой, а брат безвыходно сидит дома. Ему было очень трудно отказаться от этих прогулок наедине с Адой, но он корил себя за эгоизм и в один прекрасный день предложил Эрнсту пойти с ними.

Кристоф представил брата Аде на лестничной площадке у ее двери. Эрнст и Ада церемонно раскланялись. Конечно, Ада пригласила с собой неразлучную Мирру, а та при виде Эрнста вскрикнула. Эрнст улыбнулся, подошел и поцеловал Мирру, которая, по-видимому, сочла это в порядке вещей.

— Как, оказывается, вы знакомы? — спросил Кристоф, вне себя от изумления.

— Ну конечно же! — со смехом ответила Мирра.

— И давно?

— Очень давно!

— И ты это знала? — спросил Кристоф Аду.— Почему же ты мне ничего не говорила?

— Неужели я должна знать всех Мирриных любовников! — возразила Ада, пожав плечами.

Мирра расслышала слово «любовник» и притворилась шутки ради рассерженной. Так Кристоф и не узнал больше ничего. Он сразу погрустнел. Он считал, что Эрнст, Мирра и Ада недостаточно искренни, хотя, по правде говоря, не мог упрекнуть их в прямой лжи; но трудно было поверить, чтобы Мирра, не имевшая никаких секретов от Ады, именно на этот раз не посвятила ее в свою тайну и чтобы Эрнст и Ада не были знакомы раньше. Кристоф стал наблюдать за ними. Но они обменивались самыми обычными фразами, и Эрнст всю прогулку был занят только Миррой. Да и Ада тоже говорила только с Кристофом и была с ним гораздо нежнее, чем обычно.

Отныне Эрнст стал принимать участие во всех их прогулках. Кристоф отлично обошелся бы и без него, но он не смел об этом сказать. Ему было стыдно, что брат стал участником его раз-

влечений,— никаких иных причин отделаться от Эрнста у него не имелось. Кристоф был чужд подозрений. Да и Эрнст не давал к этому повода; казалось, он влюблен в Мирру, а с Адой обращался холодно, вежливо и излишне почтительно, что было даже неуместно,— казалось, он хочет перенести на возлюбленную брата частицу того уважения, которое питает к Кристофу. Ада ничуть этому не удивлялась, но продолжала быть настороже.

Теперь они вчетвером совершали длинные прогулки. Обычно братья шагали впереди, чуть позади шли Ада с Миррой и все время перешептывались, пересмеивались; увлекшись беседой, девушки часто останавливались среди дороги. Кристофу и Эрнсту тоже приходилось останавливаться и поджидать своих спутниц. Но нетерпеливый Кристоф не выдерживал таких пауз и пускался в путь; однако вскоре поворачивал обратно, досадуя на Эрнста, хохотавшего и оживленно беседовавшего с двумя болтушками. Ему очень хотелось узнать, о чем они говорят, но когда он подходил ближе, разговор сразу умолкал.

— Да что это вы затеваете? — допытывался он.

Ему отвечали шутками. Эти трое прекрасно спелись.

Как-то Кристоф сильно поспорил с Адой. Все утро оба дулись. Против обыкновения, Ада не приняла благородно-обиженного вида, который обычно принимала в подобных случаях: желая отомстить дерзкому, она становилась невыносимо надоедливой. Но на сей раз она притворилась, что вообще не замечает Кристофа, и была на редкость мила с Миррой и Эрнстом. Можно было подумать, что в глубине души она даже рада этой ссоре.

Кристофу, напротив, ужасно хотелось поскорее помириться. Он был сегодня как-то особенно сильно влюблен. Его нежность подогревалась чувством признательности за все, что было в их любви хорошего; он сожалел о том, что время проходит зря в бессмысленных раздорах и недобрых подозрениях; беспричинный страх, какая-то тайная мысль, что любовь их скоро кончится, мучили Кристофа. Он печально глядел на хорошенькое личико Ады, а она притворялась, что не замечает его, и улыбалась двум другим спутникам; это личико вызывало в Кристофе столько дорогих воспоминаний, такую любовь, такое подлинное ощущение близости, на этом прелестном личике временами (и как раз сейчас) появлялось выражение такой доброты, так ясна была улыбка, что Кристоф с недоумением вопрошал себя,

чего ради они портят друг другу радость, почему она старается забыть эти пронизанные светом часы,— ведь есть в ней прямота и честность, к чему же отрекаться от них, душить в себе все хорошее, какое странное удовольствие находит Ада в том, чтобы смущать, грязнить, пусть даже в мыслях, их чистое чувство. Он ощущал огромную потребность верить в ту, что любил, и пытался вновь и вновь обмануть себя. Он упрекал себя в несправедливости, в том, что приписывает Аде дурные мысли, а сам недостаточно терпим.

Кристоф подошел к Аде и попытался с ней заговорить; она сухо и односложно ответила ему: ей вовсе не хотелось мириться. Кристоф настаивал, он шепотом умолял выслушать его, хоть на минуту отойти в сторону. Ада с явной неохотой последовала за Кристофом. Когда они отошли на несколько шагов и ни Мирра, ни Эрнст не могли их видеть, Кристоф вдруг схватил Аду за руки, стал просить у нее прощения, опустился перед ней на колени — прямо на сухие, опавшие листья. Он говорил, что не может больше так жить в ссоре с ней, что ему и прогулка не в радость, что прекрасный день испорчен, что ничто ему не мило, что он не может даже дышать свободно, зная, что она его ненавидит,— ему необходима ее любовь. Да, он часто бывает несправедлив, неприятен, часто злится, но он умоляет простить его — ведь виновата во всем его любовь; он не терпит ничего мелкого в себе, ничего, что было бы недостойно Ады и воспоминаний о милых днях, пережитых вместе. Он напомнил ей эти дни, напомнил первую встречу, первые часы, проведенные с нею; он говорил, что любит ее все так же, все больше, что будет любить ее вечно,— так пусть же она не обращается с ним так холодно! Ведь она для него все...

Ада слушала, улыбаясь; она была взволнована, даже растрогана. Она посмотрела на Кристофа тем своим взглядом, который говорил, что она добрая, что они любят друг друга и что ссоре конец. Они обнялись и, прижавшись друг к другу, пошли в сторону леса, с которого уже слетела листва. Ада говорила, что Кристоф прелесть, что она благодарна ему за эти нежные слова; но она даже не подумала отказаться от злого каприза. Правда, теперь она заколебалась. Выдумка показалась ей не такой уж забавной. И все же она решила осуществить задуманное. Почему? Кто знает? Потому что уже пообещала себе? Кто скажет? Может быть, ей казалось особенно пикантным обмануть своего друга как раз сегодня, чтобы доказать ему, доказать самой себе, что она свободна. Она не собиралась расста-

ваться с Кристофом — этого ей совсем не хотелось. Она была более чем когда-либо уверена в его любви.

Все четверо вышли на полянку. Отсюда расходились две тропинки. Кристоф направился было по левой, но Эрнст стал уверять, что правая скорее доведет их до вершины холма, куда они держали путь. Ада приняла его сторону. Кристоф, который десятки раз ходил по этой тропинке и знал ее наизусть, кричал, что они ошибаются, но Ада и Эрнст стояли на своем. В общем, было решено сделать опыт, и обе пары поспорили, какая придет первой. Ада пошла с Эрнстом, Мирра — с Кристофом: она притворялась, что вполне уверена в правоте Кристофа, и даже добавила: «Как всегда». Кристоф принял игру всерьез, и поскольку он не любил проигрывать, зашагал быстро, слишком быстро, как заметила Мирра, которая совсем не собиралась бежать сломя голову.

— Да не торопись так, дружок,— сказала она своим обычным насмешливо-спокойным тоном,— все равно мы придем первые.

Кристоф сразу же устыдился.

— Верно,— ответил он,— я иду слишком быстро, это нечестно.

И он замедлил шаг.

— Я-то их знаю,— добавил он,— я уверен, что они бегут во всю мочь, только бы опередить нас.

Мирра расхохоталась.

— Да нет, нет, не беспокойся, пожалуйста.

Она взяла Кристофа под руку и прижалась к нему. Ростом она была лишь немного ниже Кристофа и, шагая рядом с ним, время от времени вскидывала на него ласковый и умный взгляд. Сейчас она казалась хорошенькой, даже соблазнительной. Кристоф с трудом ее узнавал, до чего же она может меняться! Обычно лицо Мирры бледное и немного опухшее, но достаточно было вдруг минутного волнения, задорной мысли или желания понравиться — и эту старообразность как рукой снимало: вдруг розовели щеки, исчезали складочки вокруг век, зажигались глаза, и все ее личико вдруг становилось молодым, живым, умным, чего как раз и недоставало Аде. Кристоф поражался этой перемене и отводил взгляд, очутившись наедине с Миррой. Ее присутствие стесняло Кристофа, он не слушал ее слов, не отвечал на вопросы или отвечал невпопад — ему хотелось помечтать на свободе, он думал, хотел думать только об одной Аде. Думал, какие добрые были у нее только что глаза, думал об ее улыбке, о ее поцелуе, и сердце его переполняла любовь. Мирра

требовала, чтобы он любовался природой, четким рисунком голых веток на ярко-синем небе. И верно, кругом было на редкость красиво — тучи рассеялись, Ада вернулась к нему, ему удалось разбить ледок, легший между ними, они снова любят друг друга, рядом ли они или врозь — все равно, они одно существо. Он с наслаждением думал: как легко дышать, как свеж воздух! Ада вернулась к нему... Все напоминало Аду... Стало чуть свежо — уж не холодно ли ей?.. Деревца были припудрены инеем — как жаль, что Ада их не видит! Тут он вспомнил о заключенном пари и снова заторопился; он боялся теперь только одного: как бы не сбиться с дороги. С каким торжеством он взбежал на вершину холма!

— Ура, мы первые!

И радостно стал размахивать шляпой. Мирра с улыбкой глядела на него. Они находились на вершине крутого холма, среди лесов. Отсюда, сверху, с площадки, окаймленной орешником и низенькими чахлыми дубками, виднелись лесистые склоны, верхушки сосен, окутанных лиловой дымкой, и бесконечная лента Рейна в голубоватой долине. Ни щебета птиц, ни человеческого голоса, ни ветерка. Недвижный, задумчивый день зябко грелся в мертвенно-бледных лучах зимнего солнца. Временами снизу, с долины, доносился короткий свисток паровоза. Кристоф, стоя на склоне холма, разглядывал расстилавшийся вокруг пейзаж. А Мирра разглядывала Кристофа.

Он обернулся к ней и добродушно сказал:

— Ну и лентяи! Говорил же я им... Ничего не поделаешь, придется ждать.

Он растянулся на солнышке, прямо на потрескавшейся земле.

— Что же, подождем,— сказала Мирра, снимая шляпу.

Слова ее прозвучали вдруг такой насмешкой, что Кристоф приподнялся и поглядел на нее.

— Что с тобой? — спросила она спокойно.

— Ты что сказала?

— Я сказала: подождем. Незачем было заставлять меня всю дорогу бежать вприпрыжку.

— Верно.

Они ждали, лежа рядом на неровном склоне. Мирра напевала песенку. Кристоф замурлыкал ей в тон. Но каждую минуту он прерывал свое мурлыкание и прислушивался.

— Кажется, идут.

Мирра продолжала петь.

— Да помолчи ты минутку.

Мирра замолчала.

— Нет, ничего, просто показалось.

Мирра снова затянула песню.

Кристофу не сиделось.

— А вдруг они заблудились?

— Заблудились? Где же они заблудятся? Эрнст знает все тропинки.

Нелепая мысль пришла Кристофу в голову:

— А вдруг они пришли первые и ушли, не дождавшись нас?

Мирра, лежа на спине и глядя в небо, перестала петь и расхохоталась так, что чуть не задохлась. Кристоф упорствовал. Он решил идти вниз, на станцию, где, как он уверял, их уже ждут Ада с Эрнстом. Мирра наконец решилась выйти из своего оцепенения.

— Вот тогда мы их действительно потеряем. Ведь мы условились здесь встретиться, а не на станции.

Кристоф уселся рядом с Миррой. Ее забавляло его нетерпение. Кристоф чувствовал на себе внимательно-насмешливый взгляд. Он уже начал беспокоиться всерьез — беспокоился о них, но дурного не подозревал. Он снова вскочил на ноги. Твердил, что надо вернуться в лес, искать их, звать. Мирра тихонько хихикнула, вытащила из кармана иголку, нитки, маленькие ножницы и начала спокойно шить. Она решила по-новому уложить перья на шляпке и, казалось, готова была просидеть так целый день.

— Да нет же, нет, дурачок,— повторяла она.— Если бы они хотели прийти, неужели, ты думаешь, они без нас не нашли дороги?

Кристофа словно в сердце ударило. Он обернулся к Мирре. Мирра не глядела на него, она углубилась в работу. Он подошел к ней вплотную.

— Мирра! — позвал он.

— А? — откликнулась она, продолжая шить.

Он опустился на колени, стараясь заглянуть ей в лицо.

— Мирра! — повторил он.

— Ну, что тебе? — спросила она, подымая глаза от работы и с улыбкой глядя на него.— Что случилось?

При виде его взволнованного лица она насмешливо поджала губы.

— Мирра! — повторил он, задыхаясь.— Скажи правду, значит, по-твоему...

Мирра с улыбкой пожала плечами и взялась за шитье. Он схватил ее за обе руки, вырвал у нее шляпку.

— Брось, брось сейчас же и скажи...

Мирра смотрела прямо в лицо Кристофу и молчала. Она видела, как тряслись его губы.

— Значит, ты думаешь,— сказал он тихо, почти шепотом,— что Эрнст и Ада...

Она снова улыбнулась.

— А как же!

Кристоф с негодованием отшатнулся от нее.

— Нет! Нет! Это невозможно! Ты вовсе этого не думаешь! Нет! Нет!

Мирра положила руки на плечи Кристофа и залилась смехом.

— Как же ты глуп, как же ты глуп, миленький!

Он свирепо тряхнул ее.

— Не смей смеяться! Почему ты смеешься? Ты бы не смеялась, если бы это было правдой. Ведь ты любишь Эрнста.

Продолжая смеяться, Мирра привлекла к себе Кристофа и поцеловала. Против своей воли он возвратил ей поцелуй. Но, когда он почувствовал на своих губах эти губы, еще теплые от поцелуя брата, он резко отшатнулся и, стараясь уклониться от поцелуев Мирры, спросил:

— Значит, ты знала? Это было условлено между вами, да?

Она, смеясь, ответила:

— Да.

Кристоф не закричал, не ударил Мирру, даже не поднял руки. Он только раскрыл рот, как будто ему не хватало дыхания, зажмурил глаза и прижал обе руки к груди — сердце его разрывалось. Потом он повалился на землю, охватил голову руками и, как в детстве, весь затрясся от слез, отвращения и отчаяния.

Мирра, не особенно мягкая по природе, вдруг по-матерински пожалела Кристофа: она нагнулась над ним, что-то нежно говорила, протянула ему флакончик с нюхательной солью. Он с ужасом оттолкнул ее руку и вскочил так быстро, что она испугалась. Но у него не было ни силы, ни желания мстить. Он посмотрел на Мирру, лицо его перекосилось от боли.

— Дрянь,— сказал он устало,— дрянь. Если б ты только знала, какое зло ты мне причинила.

Мирра пыталась его удержать. Но он побежал прямо через лес, стараясь избыть свое отвращение, забыть всю эту низость, эти нечистые сердца, эту кровосмесительную игру, к которой

они хотели его принудить. Он плакал, он дрожал всем телом, он рыдал от омерзения. Он испытывал гадливость к Аде, к Мирре, к брату, он ненавидел себя, свое тело, свое сердце. Презрение нарастало в нем, как буря, назревавшая уже давно, рано или поздно Кристоф должен был восстать против пошлой, отравленной атмосферы, в которой он жил последние месяцы, против низких помыслов, унизительных компромиссов, но потребность любить, потребность обманывать себя насчет того, кого любишь,— все это задерживало наступление неизбежного кризиса. Кризис разразился вдруг — и к лучшему. Мощным порывом свежего воздуха, суровой чистотой, леденящим дуновением смело все миазмы. И сразу отвращение убило любовь к Аде.

Если Ада надеялась подобным поступком упрочить свою власть над Кристофом, то этот расчет лишний раз обнаружил ее глубокое непонимание любящей души юноши. Ревность, как цепью привязывающая испорченные натуры, могла лишь возмутить чистого и гордого, не тронутого жизнью Кристофа. Он не мог простить Аде одного — и не простит никогда: пусть бы Ада изменила ему под влиянием страсти, пусть даже в минуту нелепого и гнусного каприза, столь неодолимого подчас, что женщина не в силах противиться ему. Но нет. Кристоф понял теперь, что Адой руководило затаенное желание принизить его, сбить с него спесь, наказать за его нравственную стойкость, за чуждую и враждебную ей веру, низвести до уровня мещанской посредственности, держать его у своих ног, доказать самой себе, как велика ее тлетворная сила. И Кристоф с ужасом думал: откуда у людей такая потребность пачкать все то чистое, что живет в них самих и вокруг них, почему с таким наслаждением они валяются, как свиньи, в помоях и радуются, убедившись, что на них не осталось ни одного не тронутого грязью местечка?..

Два дня Ада ждала, что Кристоф вернется. Потом забеспокоилась и послала ему нежную записочку, где ни словом не обмолвилась о воскресном происшествии. Кристоф не ответил. Он ненавидел теперь Аду такой глубокой ненавистью, что даже не мог выразить ее словами. Он вычеркнул Аду из своей жизни. Она перестала существовать для него.

Кристоф избавился от Ады, но не избавился от самого себя. Тщетно старался он обмануть себя и обрести целомудренный и живительный покой. Никому не дано вернуть прошлое. Надо идти, продолжать свой путь, и бесполезно оглядываться назад —

разве только, чтобы запомнить покинутые навсегда места, увидеть далекий дымок над крышей дома, еще вчера служившего тебе приютом, да и дымок уже тает на горизонте, сливаясь с туманом воспоминаний. Но ничто так не отдаляет нас от нашей прежней души, как несколько месяцев страсти. Дорога вдруг резко поворачивает, все окружающее меняется, и в последний раз говоришь «прости» тому, что осталось далеко позади.

Кристоф не желал с этим мириться. Он тянулся к прошлому, он упорно старался воскресить свою прежнюю душу, умиротворенную и сильную одиночеством. Но ее уже не было. Страсть не так опасна сама по себе, как страшны причиняемые ею разрушения. Что из того, что Кристоф сейчас никого не любил, что из того, что сегодня презирал любовь,— она все равно оставила след своего когтя. В сердце зияла пустота, и ее надо было чем-то заполнить. С исчезновением этой страшной жажды нежности и наслаждения, которая снедает раз познавшего ее, требовалась какая-нибудь иная страсть, будь то даже совсем противоположная,— страстное презрение, страстная в своей чистоте гордыня, страстная вера в добро. Но этих страстей было уже недостаточно — они не могли утолить голод сердца, вернее, утоляли его лишь на краткий миг. Жизнь Кристофа стала чередой необузданных порывов, он кидался из одной крайности в другую. То он стремился загнать свою жизнь в суровые рамки безжалостного аскетизма — почти не ел, пил только воду, ходил до тех пор, пока не падал от усталости, не спал ночами, отказывался от всех развлечений. То он убеждал себя, что сила и есть истинная мораль таких людей, как он, и бросался в погоню за наслаждениями. И все равно был несчастлив. Он уже не мог быть одиноким. Он уже не мог не быть одиноким.

Единственным спасением было бы найти истинного друга, хотя бы ту же Розу, но он сам оттолкнул ее дружбу. Крафты и Фогели окончательно рассорились. Они теперь не встречались. Только раз Кристоф увидел Розу. Она выходила из церкви. Он побоялся подойти к ней, но она, заметив Кристофа, сделала шаг в его сторону. Когда же он, расталкивая богомольцев, степенно спускавшихся с лестницы, стал пробираться к Розе, она вдруг отвела взор и, холодно поклонившись, прошла мимо. Кристоф понял, что в ее юном, девичьем сердце живет ледяное и неизбывное презрение. Но он не понял, что она все еще любит его и хотела бы сказать ему о своей любви, хоть и клеймит себя за это дурацкое чувство, считает его ошибкой: Роза смотрела теперь на Кристофа как на скверного, испорченного человека, совсем уж далекого от нее. Так они и потеряли друг друга навсегда. Воз-

можно, к лучшему для обоих. При всей своей доброте Роза не обладала той искоркой жизни, которая требовалась, чтобы понять Кристофа. Как бы Кристоф ни жаждал любви и уважения, он не выдержал бы пошленькой, ограниченной четырьмя стенами жизни без радости, без горести, без свежего воздуха. Оба они мучились бы, мучились бы оттого, что мучают друг друга. И, значит, тот несчастный случай, что развел их в разные стороны, был в конце концов для них счастливым случаем, как это бывает нередко, как это происходит всегда с теми, в ком есть сила и стойкость жизни.

Но сейчас окончательный разрыв был и для Розы и для Кристофа большим горем, настоящей потерей. Особенно для Кристофа. Эта нетерпимость добродетели, эта ограниченность чувств, которая полностью лишает разума даже людей умных и доброты — даже добряков, раздражала и оскорбляла Кристофа, и он наперекор всему начал вести вольную жизнь.

В те дни, когда Кристоф с Адой бродили по окрестным харчевням, он завел знакомство с веселыми молодыми людьми, с настоящей богемой; беспечность и свобода обращения новых знакомцев даже нравились Кристофу. Один из них, некто Фридеман, тоже музыкант — органист, значительно старше Кристофа (ему шел уже тридцатый год),— был неглуп, хорошо знал и любил музыку, однако отличался такой непроходимой ленью, что умер бы с голода, если не от жажды, но пальцем не пошевелил бы, чтобы выбиться в люди. Желая оправдать свою беспечность, он ради собственного утешения поносил людей, которые неизвестно чего ради суетятся и хлопочут, и шутки его, подчас тяжеловесные, вызывали смех. Более независимый, чем его коллеги-музыканты, Фридеман не боялся — правда, робко, намеками, подмигивая — хулить особ уважаемых, даже позволял себе роскошь не повторять вслед общеобязательных мнений насчет музыки и исподтишка любил лягнуть другую знаменитость, шумно входящую в моду. Женщин он не жаловал и шутливо повторял изречение одного монаха-женоненавистника, что «женщина есть смерть души» — «femina mors animae». А Кристоф, как никогда, смаковал этот афоризм.

В том состоянии душевного смятения, в котором жил Кристоф, беседы с Фридеманом являлись даже развлечением. Он знал ему цену; вульгарное зубоскальство нового приятеля быстро приелось Кристофу; уже после двух-трех встреч его стал раздражать насмешливый тон и упорное отрицание всего и вся, скрывавшее, в сущности, духовную никчемность, однако Фридеман был отдохновением от самодовольной глупости филисте-

ров. Презирая в глубине души своего приятеля, Кристоф не мог уже без него обходиться. Они всюду появлялись вместе — вот они сидят в кругу собутыльников, людей опустившихся и подозрительных, фридемановских дружков, только еще ступенью ниже органиста. Целыми вечерами они резались в карты, орали, пили без конца; иногда Кристоф, словно пробудившись, вдыхал мерзкий запах колбас и табака, ошалело глядел на своих друзей, не узнавал их и тоскливо думал: «Что это со мной? Что это за люди? Зачем я с ними?»

Их остроты и смех вызывали в нем тошноту. Но встать и уйти прочь не было сил: Кристофа охватывал страх при мысли, что сейчас он очутится дома, один, глаз на глаз со своими желаниями и укорами совести. Он губил себя и знал, что губит; он искал выхода и в то же время с жестокой ясностью видел в Фридемане, словно в кривом зеркале, того человека, каким ему, Кристофу, суждено стать со временем; он проходил полосу такого душевного упадка, что даже эта страшная угроза не могла отрезвить его душу, а, наоборот, пригибала еще ниже.

Так бы он и погиб, если б только мог погибнуть. К счастью, у людей его сорта есть надежный оплот и прибежище против разложения. Не у всех оно есть — и прежде всего это сила, жизненный инстинкт, который не допускает умирания, который мудрее разума, сильнее воли. Сам того не зная, Кристоф обладал также особым любопытством художника, умел отказаться от собственной личности со страстью,— этим великим даром наделены все истинные творцы. Да, он любил, он страдал, отдавался всем своим страстям, но видел их ясно. Они были в Кристофе, однако они не были Кристофом. Мириады крошечных душ неприметно парили в нем и тяготели к какой-то неведомой, но твердо намеченной и неподвижной точке, подобно тому как влекутся звездные миры к таинственной бездне мироздания. Это состояние непрерывного и неосознанного раздвоения проявлялось с особой силой в те вихревые мгновения, когда замирает повседневная жизнь и в глубинах сна возникает око сфинкса, многообразный лик бытия. Вот уже год Кристофа преследовали сны, когда он с предельной отчетливостью чувствовал себя одновременно несколькими различными существами, подчас далекими друг от друга, разделенными материками, мирами и столетиями. Проснувшись, он долго ощущал какое-то беспокойство, будто еще продолжались видения, а откуда они — он не помнил. Как будто навязчивая идея, уходя, оставляла после себя утомительный след, необъяснимую усталость. Но пока душа его мучительно билась в тенетах повседневности, другая душа, жив-

шая в нем, внимательно и безмятежно наблюдала за этим отчаянным борением. Он не видел этой второй души, но она отбрасывала на него свой потаенный свет. Эта вторая душа жадно и радостно старалась перечувствовать все, всем перестрадать, старалась постичь этих мужчин, этих женщин, эту землю, эти желания, эти страсти, эти помыслы, даже несущие муку, даже самые посредственные, даже нечистые; но всему этому она, вторая душа, сообщала свою светоносность, спасая Кристофа от пустоты небытия, говорила ему,— непонятно как, но говорила,— что он не совсем одинок. Это стремление быть всем и все знать, эта вторая душа как бы плотиной преграждала поток разрушительных страстей.

Она, эта душа, не очень-то помогала Кристофу, она лишь поддерживала его на поверхности вод, но она не позволяла ему выплыть собственными силами. Кристофу не удавалось разобраться в себе, овладеть собой, сосредоточиться. Любая работа валилась у него из рук. Он переживал духовный кризис, самый плодотворный за всю свою жизнь, и вся будущая его жизнь уже была здесь в зародыше, но это внутреннее богатство сплошь и рядом прорывалось пока лишь в чудачествах, так что плоды этого духовного переизбытка мало чем отличали Кристофа от нищих духом. Кристофа захлестывала жизнь. Все его силы испытывали слишком грозный напор и росли слишком быстро, все разом, все вдруг. Одна лишь воля отставала в росте, и она растерялась перед обступившими ее чудовищами. Все трещало под внутренним напором. Посторонние не замечали этого непрестанного колебания почвы, этих внутренних переворотов. Да и сам Кристоф видел лишь свое бессилие хотеть, творить и быть. Желания, инстинкты, мысли вырывались вереницей, словно серные пары из трещины вулкана. И сколько раз он думал:

«А что сейчас появится на поверхности, что станется сейчас со мной? Неужели так будет всегда, или же придет этому конец? Неужели я так ничем и не стану, никогда не стану?»

На свет вырвались наследственные инстинкты, пороки тех, кто жил до него. Кристоф стал пить.

Теперь он возвращался домой улыбающийся и удрученный, и от него пахло вином.

Бедняжка Луиза молча глядела на сына, вздыхала, боясь произнести слово, и молилась за него.

Но однажды вечером, когда Кристоф вышел из какого-то кабачка у городской заставы, он заметил на шоссе в нескольких

шагах впереди смешную фигурку — это брел дядя Готфрид с вечным своим коробом за плечами. Уже несколько месяцев дядя не появлялся в их краях, да и вообще отлучки его становились все продолжительнее. Кристоф радостно окликнул его. Согнувшийся под ношей Готфрид с трудом оглянулся, посмотрел на Кристофа, нелепо размахивавшего руками, и присел на придорожную тумбу, поджидая племянника. Кристоф, с восторженно-веселой физиономией, подпрыгивая на непослушных ногах, пожал дядину руку, всем своим видом изображая неумеренную радость свидания. Готфрид пристально посмотрел на племянника и произнес:

— Здравствуй, Мельхиор.

Кристоф решил, что дядя оговорился, и громко захохотал.

«Э, сдает старик,— подумалось ему,— память теряет».

И действительно, Готфрид очень постарел, весь как-то сморщился, усох, скрючился; дышал он затрудненно и прерывисто. Кристоф продолжал свои разглагольствования. Но Готфрид молча взвалил на спину короб и тихонько побрел вперед. Так они и шли — Кристоф, делая широкие жесты и болтая всякий вздор, а Готфрид, потихоньку покашливая и не произнося ни слова. Но когда Кристоф о чем-то спросил дядю, тот, отвечая, снова назвал племянника Мельхиором. На этот раз Кристоф не выдержал:

— Дядя, да почему ты меня все время зовешь Мельхиором? Ведь ты же отлично знаешь, что меня зовут Кристофом. Неужели ты забыл?

Готфрид, не останавливаясь, вскинул на юношу глаза, отрицательно покачал головой и холодно отчеканил:

— Нет, ты Мельхиор, я тебя сразу узнал.

Кристофа словно хлыстом ударили, он застыл на месте. Готфрид потихоньку семенил по шоссе, и Кристоф молча плелся за ним. Он сразу отрезвел. Проходя мимо дверей какого-то кафе, он подошел к замызганному окну, в котором отражался неяркий свет газовых рожков и пустынная улица, и внимательно посмотрел на себя: он тоже узнал Мельхиора. Домой он пришел потрясенный.

Всю ночь — ночь тоски — он пытал себя, рылся в своей душе. Теперь он понял. Да, он узнавал теперь инстинкты и пороки, пробудившиеся в нем, и они ужасали его. Он вспомнил, как без сна сидел у ложа покойного Мельхиора, вспомнил свои обеты; он придирчиво проверял пройденный путь: каждый день был изменой его тогдашним клятвам. Чем занимался он целый год? Что сделал для своего бога, для своего искусства, для своей

души? Что сделал для вечности? Он не обнаружил ни одного дня, который не был бы безвозвратно потерян, испорчен, осквернен. Ни одной ноты, ни одной мысли, ни часа усидчивого труда. Хаос желаний, взаимно уничтожающих друг друга. Ветер, пыль, небытие... Да, воля была, но что из того? Он не сделал ничего из того, что хотел сделать. Он делал то, чего не хотел делать. Он стал тем, кем не хотел быть. Таков итог его жизни.

Кристоф так и не лег в постель. В шесть часов утра — на улице было еще темно — он услышал, как дядя Готфрид готовится в дорогу, ибо Готфрид не захотел больше оставаться у них. Проходя через их городок, он по привычке заглянул к Крафтам обнять сестру и племянника, но тут же объявил, что завтра чуть свет пойдет дальше.

Кристоф спустился вниз. Готфрид увидел его бледное лицо, осунувшееся после мучительной ночи. Он ласково улыбнулся племяннику и попросил проводить его. Они вышли вместе еще до зари. Им не хотелось, да и незачем было, разговаривать — они понимали друг друга без слов. Когда они поравнялись с кладбищем, Готфрид предложил:

— Хочешь, зайдем?

Каждый раз, попав в родной городок, Готфрид навещал могилы Жан-Мишеля и Мельхиора. Кристоф не был на кладбище целый год. Дядя преклонил колени у могилы Мельхиора и сказал:

— Давай помолимся, чтоб они покоились в мире и не мучили нас.

Слова Готфрида обычно являли странную смесь предрассудков и здравого смысла; иной раз Кристоф дивился дядиным словам, но сейчас он понял его так, как нужно. Они замолчали и так же молча пошли прочь.

Когда за ними скрипнули железные ворота и они зашагали вдоль кладбищенской стены по узкой тропинке, рядом с которой расстилались зябко спящие поля, а на плечи им падали с ветвей кипарисов холодные капли таявшей изморози, Кристоф вдруг заплакал.

— Дядя,— воскликнул он,— если бы ты знал, как мне тяжело!

Он не посмел признаться дяде в печальном опыте своей любви, боясь смутить или оскорбить Готфрида, но он заговорил о своем позоре, о скудости своего дарования, о малодушии, о нарушенных обетах.

— Дядя, скажи, что делать? Я ведь хотел, я ведь боролся, а прошел целый год, я не сдвинулся ни на шаг. Куда там!

Даже отступил. Я ни на что не гожусь, ни на что не способен. Я погубил свою жизнь. Я клятвопреступник.

Они взошли на холм, откуда был виден весь городок. Готфрид мягко произнес:

— И это не в последний раз, сынок. Человек не всегда делает то, что хочет. Одно дело жить, а другое хотеть. Не надо огорчаться. Главное, видишь ли, это не уставать желать и жить. А все остальное от нас не зависит.

Кристоф повторил с отчаянием в голосе:

— Я отрекся от всего.

— Слышишь? — спросил Готфрид.

(В деревне перекликались петухи.)

— Когда-то давно петухи пели тому, кто отрекся. Они поют каждому из нас каждое утро.

— Придет день,— горько сказал Кристоф,— и они не будут петь для меня... День без завтрашнего дня. На что уйдет моя жизнь?

— Завтра всегда есть,— возразил Готфрид.

— Но что же делать, раз хотеть бессмысленно?

— Бди и молись.

— Я не верю больше.

Готфрид улыбнулся.

— Если бы ты не верил, ты бы не жил. Все верят. Молись.

— А кому молиться, о чем?

Готфрид показал на ярко-красное холодное солнце, поднимавшееся над горизонтом.

— Почитай каждый встающий день. Не думай о том, что будет через год, через десять лет. Думай о сегодняшнем дне. Брось все свои теории. Видишь ли, все теории — даже теории добра — все равно скверные и глупые, потому что причиняют зло. Не насилуй живую жизнь. Живи сегодня. Почитай каждый встающий день. Люби его, уважай, не губи его зря, а главное, не мешай ему расцвести. Люби его, если даже он сер и печален, как нынче. Не тревожься. Взгляни-ка. Сейчас зима. Все спит. Но добрая земля проснется. А значит, будь, как эта земля, добрым и терпеливым. Верь. Жди. Если ты сам добр, все пойдет хорошо. Если же ты недобр, если слаб, если тебе не повезло, ничего не поделаешь, все равно будь счастлив. Значит, большего сделать ты не можешь. Так зачем желать большего? Зачем убиваться, что не можешь большего? Надо делать то, что можешь... Als ich kann.

— Это слишком мало,— поморщился Кристоф.

Готфрид ласково рассмеялся.

— Это больше, чем под силу человеку. Ты, я вижу, гордец. Хочешь быть героем, поэтому-то и делаешь глупости... Герой!.. Я не знаю, что такое герой. Но, видишь ли, я считаю так: герой — это тот, кто делает то, что может. А другие не делают.

— Ах,— вздохнул Кристоф,— к чему же тогда жить? Не стоит жить. Ведь говорят же люди: хотеть — это мочь.

Готфрид снова тихонько засмеялся.

— Разве? Значит, сынок, это лгуны, да еще какие. Или хотят они не очень многого.

Они взошли на вершину холма и горячо обнялись. Скоро скрылась из виду фигура дяди, устало шагавшего под тяжестью короба. А Кристоф стоял неподвижно, глядя вслед Готфриду, и повторял про себя:

«Als ich kann». («Так, как я могу».)

И, улыбнувшись, подумал:

«Да, ничего не поделаешь. И это уже немало».

Он повернул в обратный путь. Слежавшийся снег хрустел под ногами. Пронзительный зимний ветер трепал обнаженные ветви корявых дубков, росших на вершине холма. От этого ветра разгорались щеки, он жег кожу, взбадривал кровь. Там, внизу, под ногами Кристофа, красные черепичные крыши весело блестели в ярком холодном солнце. Воздух был свежий и крепкий. Скованная морозом земля, казалось, ликовала суровым ликованием. Сердце Кристофа вторило ей. Он думал:

«Я тоже проснусь».

На глазах его еще стояли слезы. Он вытер их обшлагом рукава и, смеясь, посмотрел на солнце, которое пряталось в завесу тумана. Тяжелые тучи, набухшие снегом, шли над городом, подгоняемые порывами бури. Кристоф показал им нос. Ледяной ветер свистел в ушах...

— Дуй, дуй!.. Делай со мной все, что хочешь! Уноси меня!.. Я знаю, куда пойду.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

БУНТ

ПЕРЕВОД Р. РОЗЕНТАЛЬ

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

На пороге нового этапа «Жан-Кристофа», этапа, где звучит довольно резкая критика, способная задеть читателей любого направления, я прошу моих друзей и друзей Жан-Кристофа не считать наших суждений окончательными. Каждая из наших мыслей — это только определенный момент нашей жизни. Разве не затем мы живем, чтобы исправлять ошибки, преодолевать предрассудки, добиваться широты ума и сердца? Терпение! Окажите нам доверие, если даже мы ошибаемся. Осознав свои ошибки, мы посмотрим на них еще суровее, чем вы сами. Каждый день мы стремимся хоть немного приблизиться к истине. Когда дойдем до конца пути, тогда и судите о наших усилиях. Как гласит старинная пословица: «Конец венчает жизнь, как вечер — день».

Р. Р.

Ноябрь 1906 г.

ЗЫБУЧИЕ ПЕСКИ

Свободен!.. Свободен от себя и других!.. Сеть страстей, целый год оплетавшая его, вдруг порвалась. Как это произошло? Он и сам не знал. Он вдруг вырос, и петли поддались мощному напору его «я». Это был один из тех кризисов роста, когда здоровые натуры единым могучим движением сбрасывают вчерашнюю, уже омертвевшую, оболочку, в которой они задыхались,— свою прежнюю душу.

Кристоф, еще не понимая, что же произошло, дышал полной грудью. Когда он возвращался домой, проводив Готфрида, под аркой городских ворот бушевала ледяная вьюга. Уклоняясь от ее порывов, прохожие втягивали голову в плечи. Девушки, торопившиеся на работу, ожесточенно сражались с ветром, который трепал их юбки: они останавливались, чтобы отдышаться, щеки и нос у них горели, взгляд был сердитый, они с трудом удерживались от слез. Кристоф смеялся от радости. Шквала он не замечал. Он думал о другом шквале, от которого только что спасся. Он смотрел на зимнее небо, на укутанный снегом город, на людей, сражавшихся с ветром; смотрел вокруг себя, в себя: ничто не связывало его ни с чем. Он был одинок... Одинок! Какое счастье быть одиноким, принадлежать себе! Какое счастье стряхнуть с себя свои цепи, боль воспоминаний, неотвязные, как бред, любимые или ненавистные образы! Наконец он живет, наконец он не добыча жизни, а хозяин ее!

Кристоф пришел домой весь в снегу. Он весело встряхнулся, как мокрый пес. Подойдя к матери, которая мела коридор, он обхватил ее и приподнял, что-то ласково выкрикивая, будто играл с ребенком. Старая Луиза беспомощно барахталась в объятиях сына, облепленного таявшим снегом; она обозвала его дуралеем и залилась добрым, детским смехом.

Кристоф в одно мгновение взлетел по лестнице в свою комнату. Он едва различал свое отражение в маленьком зеркале — так сумрачен был дневной свет. Но сердце его ликовало. Тесная, низкая комната, в которой негде было повернуться, показалась ему целым королевством. Кристоф заперся на ключ и даже рассмеялся от удовольствия. Наконец-то он найдет себя! Как давно он себя потерял! Ему не терпелось уйти в свои мысли. Они были — как большое озеро, сливавшееся вдали с золотистой дымкой. После ночи, проведенной без сна, в лихорадке, он стоит на берегу, ноги его лижет студеная вода, тело обдает теплым утренним ветерком. Он бросается вплавь, не зная, куда приплывет,— да и не все ли равно? Радостно отдаваться на волю волн. Он молча смеялся и слушал тысячи голосов, звучавших в его душе,— казалось, в ней роились бесчисленные живые существа. Напрасно Кристоф силился разобраться в этом хаосе,— голова кружилась, рождалось ощущение бурного счастья. Радостно было чувствовать в себе эти неведомые силы. Он испытает свое могущество позднее, решил он беспечно, а пока что, застыв, горделиво упивался своим внутренним цветением, вдруг прорвавшимся, как нежданная весна после долгих месяцев прозябания.

Мать звала его завтракать. Он спустился вниз, чувствуя себя оглушенным, словно наглотался свежего воздуха; он так сиял от радости, что Луиза спросила, что с ним. Вместо ответа он обнял мать за талию и закружился с нею вокруг стола, на котором дымилась миска с супом. Луиза, запыхавшись, крикнула, что он сошел с ума. Вдруг она всплеснула руками.

— Боже мой! — сказала она, с беспокойством глядя на сына.— Ручаюсь, что он опять влюбился.

Кристоф расхохотался. Он подбросил в воздух салфетку.

— Влюбился?! — воскликнул он.— О, боже! Нет, нет, хватит! Можешь не тревожиться. С этим кончено, кончено, на всю жизнь кончено! Уф!

Он залпом выпил стакан воды.

Луиза, успокоившись, смотрела на него, покачивала головой и посмеивалась.

— Утром пьяница клянется, а к вечеру напьется,— сказала она.

— Что же, и то дело,— ответил он добродушно.

— Конечно,— отозвалась Луиза.— Ну, так чему ж ты радуешься?

— Радуюсь — и все тут!

Кристоф уселся напротив матери, положил локти на стол и принялся рассказывать обо всем, что он собирается сделать в

жизни. Луиза любовно и недоверчиво слушала; она тихонько напомнила сыну, что суп остынет. Кристоф знал, что мать не вникает в его речи, но не смущался этим. Ведь говорил он для себя.

Они с улыбкой смотрели друг на друга: он рассказывал, она не слушала. Луиза хоть и гордилась своим сыном, но не придавала большого значения планам юного музыканта. Она думала: «Он счастлив — чего же мне еще?» Кристоф, хмелея от собственных речей, смотрел на милое лицо матери, на строгую черную косынку, повязанную вокруг головы, на седые волосы, молодые глаза, с любовью устремленные на него; вся она дышала добротой и спокойствием. Кристоф читал ее мысли. Он шутливо заметил:

— Тебе не интересно то, что я рассказываю? Да?

Она неуверенно возразила:

— Что ты! Очень интересно!

Он поцеловал ее.

— Нет, не интересно! Брось, не оправдывайся, ты права. Только люби меня, а понимания мне не надо. Ни твоего, ни чьего бы то ни было. Теперь я ни в ком и ни в чем не нуждаюсь: все во мне самом...

— Ну, вот! — сказала Луиза.— Новое помешательство... Но если уж обязательно надо сходить с ума, то, по мне, лучше так.

Какое блаженство отдаться потоку своих мыслей!.. Растянувшись на дне лодки, весь облитый солнцем, подставив лицо поцелуям свежего, бегущего по воде ветра, Кристоф, точно подвешенный в воздухе, засыпает. Из глубины вод легкие толчки передаются лодке, телу Кристофа. Рука его небрежно опускается в воду. Кристоф приподымается; как бывало в детстве, он следит, прижавшись подбородком к борту, за пенящейся струей. В воде поблескивают какие-то странные существа — быстрые, как молния. Еще и еще... и каждый раз все новые, непохожие на прежних... Кристоф смеется — оказывается, это причудливое зрелище развертывается в нем самом; он смеется своим мыслям; у него нет потребности задерживать внимание на какой-нибудь из них. К чему выбирать, когда их тысячи, этих мечтаний! Время терпит... После... Стоит ему только пожелать — и он закинет сеть, он поймает эти диковинные существа, светящиеся в воде... Пусть уносятся... После...

Лодка плывет, подгоняемая теплым ветром и еле заметным течением. Покой, солнце, тишина...

Но вот Кристоф лениво закидывает сети. Он провожает их взглядом, склонясь над журчащей водой, пока они не уходят вглубь. Несколько минут он ждет в оцепенении — и неторопливо вытаскивает их. Чем ближе к поверхности, тем они тяжелее; прежде чем вытащить сети, Кристоф останавливается перевести дух. Он знает, что добыча у него в руках, но не знает какая; пусть же подольше тянется радость ожидания.

Наконец он решился: из воды появляются рыбы в радужных панцирях; они извиваются, как сплетенные в клубок змеи. Он с любопытством следит за ними взглядом, перебирает их; ему хочется одно мгновение подержать в руках самую яркую, но, едва он достает ее из воды, краски тускнеют, расплываются у него в руках. Он снова бросает ее в воду и начинает вылавливать других. Куда заманчивее рассмотреть все эти зыбящиеся в нем мечты одну за другой, чем удержать какую-нибудь из них,— разве они не прекраснее, когда вольно плавают в прозрачной воде озера?..

Он поймал их немало, и все были разные, одна другой причудливее. Мысли без пользы накоплялись месяц за месяцем, и это неистраченное богатство душило его... Все здесь было смешано в кучу, словно на чердаке или в лавке еврея-старьевщика, где свалены вместе и редкости, и дорогие ткани, и ржавое железо, и лохмотья. Он не умел отобрать самое ценное: все тешило его. Это были аккорды, тихие, как шепот, краски, звеневшие, как колокола, созвучия, напоминавшие жужжание пчел, иной раз — мелодии, улыбающиеся подобно устам влюбленных. Это были смутные, как видения, картины природы, лица, страсти, души и характеры, литературные замыслы, метафизические идеи. Это были грандиозные и неосуществимые проекты, сочинения в четырех, в десяти частях, притязающие все живописать языком музыки, объять все миры. Чаще всего это были неясные, но яркие ощущения, вдруг рожденные какой-нибудь безделицей, звуком голоса, лицом прохожего, плеском дождя, внутренним ритмом. Многие из этих замыслов выражались только в названии; некоторые были намечены двумя-тремя штрихами — этого было достаточно. Как все очень молодые люди, Кристоф верил, что задуманное уже создано.

Но Кристоф был слишком полон жизненных сил, и не ему было довольствоваться туманными видениями. Это мнимое обладание утомило его, и он решил приручить свои мечты. С чего начать? Все казались ему одинаково ценными. Он их ворошил,

перебирал, отбрасывал и снова схватывал... Нет, он не мог их снова схватить: это уже были не те, что прежде, их нельзя было дважды поймать, они то и дело менялись прямо на глазах, пока он всматривался в них. Следовало действовать быстро, а это не получалось, и он стыдился своей медлительности: ему хотелось совершить все в один день, а между тем всякий пустяк давался ему с огромным трудом. И что хуже всего — ему сразу же становилось скучно. Мечты сменялись мечтами, и сам он менялся: создавая одно, он жалел, что не взялся за другое. Стоило ему остановить внимание на одном из своих замечательных замыслов, и этот замысел начинал казаться ему незначительным. Так все его сокровища оставались втуне. Его идеи жили только до тех пор, пока он не прикасался к ним. Все, к чему ему удавалось притронуться, тотчас же гибло. Это были муки Тантала: перед ним лежали плоды, но стоило протянуть к ним руку, и они превращались в камень. У самых его губ журчала студеная вода, но, как только он склонялся к ней, она убегала.

Кристоф решил для утоления жажды припасть к источникам, завоеванным уже раньше,— к своим прежним произведениям. Тошнотворный напиток! Глотнув, он с бранью сплюнул. Как, эта тепленькая водица, эта пошлая музыка создана им? Кристоф стал читать свои сочинения одно за другим. Это чтение ужаснуло его: он теперь ничего не понимал, он даже не понимал, как мог это написать. Он заливался краской. После одной особенно бессмысленной страницы, он даже оглянулся — нет ли кого поблизости? — и зарылся головой в подушку, как пристыженный ребенок. А иногда его сочинения казались ему таким карикатурно-смешным вздором, что он забывал, кто их автор.

— Вот идиот! — восклицал он и громко хохотал.

Но особенно его поразили пьесы, в которых ему хотелось выразить страстные чувства — страдания или радости любви. Он вскакивал с места, ударял кулаком об стол, бил себя по голове, гневно рычал; он осыпал себя бранью, обзывал свиньей, ничтожеством, животным, паяцем, пока не истощал весь запас ругательств. Он становился перед зеркалом, багровый от крика, и, зажав в кулаке подбородок, говорил:

— Полюбуйся, кретин, своей ослиной мордой. Я тебя проучу, ты у меня закаешься врать, негодяй! Умойтесь, сударь, свежей водой.

Кристоф совал голову в таз и держал ее в воде, пока не начинал задыхаться. Тогда он поднимался, красный, вытаращив глаза, пыхтя, как тюлень, и стремительно бросался к столу, не потрудившись даже вытереть лужу, которая растекалась по

полу. Он хватал проклятые ноты и со злобой рвал их на куски, бормоча:

— Вот тебе, негодяй. Вот! Вот!

И ему становилось легче.

Кристофа особенно бесила в его музыке ложь. Ни проблеска искреннего чувства. Затверженные фразы, трескучее краснобайство школьника. О любви он говорил, как слепой о цветах. Он рассказывал о ней с чужих слов и повторял ходячие пошлости. Да и не только любовь — все человеческие страсти послужили ему лишь предлогом для декламации. А ведь он всегда силился быть искренним. Но хотеть мало,— надо еще уметь быть искренним. А где почерпнуть это умение, пока ничего не знаешь о жизни? Именно жизненные испытания, через которые он прошел за последние полгода, и обнажили всю фальшь его произведений; именно они внезапно легли рубежом между ним и его прошлым. Он перестал жить призраками; теперь у него была реальная мерка, к которой он прибегал, чтобы судить о лживости или правдивости своих мыслей.

Полный отвращения к своим старым произведениям, рожденным бесстрастной душой, Кристоф, как всегда преувеличивая, решил ничего не писать, пока его не призовет веление страсти. И, отрешившись от погони за идеями, он поклялся навеки расстаться с музыкой, пока не почувствует, что не может не творить, как не может не греметь гром.

Кристоф говорил так, потому что твердо знал: гроза близка.

Молния ударяет, когда хочет и где хочет. Но ее с особенной силой притягивают вершины. Есть местности, есть души, где сшибаются грозы: здесь они возникают, сюда их влечет, как магнитом; и, подобно некоторым месяцам в году, есть возрасты, так сильно насыщенные электричеством, что молния непременно ударяет в свой час, хочешь ты этого или не хочешь.

Все душевные силы напряжены. Буря собирается уже много дней. Белое небо застлано жарким ватным покровом. Ни дуновения. Воздух недвижен, но в нем что-то накипает, бродит. Оцепеневшая земля безмолвствует. Голова гудит, точно в горячке, и, по мере того как накопляются взрывчатые силы, природа все нетерпеливее ждет разряда, когда тяжело поднявшийся молот вдруг ударит по наковальне скрытого тучами неба. Скользят длинные тени, мрачные, горячие; подул огненный ветер; нервы трепещут, подобно листьям... И снова все стихает. Гроза медлит и медлит, как будто собираясь с силами.

Есть в этом ожидании какое-то мучительное упоение. Томит тоска, и все же слышишь, как по жилам разливается тот же огонь, что сжигает вселенную. Охмелевшая душа кипит в этом горне, точно виноград в чане. Мириады зародышей жизни и смерти взрыхляют ее. Чем они станут? Этого она не знает. У нее, как у беременной женщины, взгляд обращен внутрь; она тревожно прислушивается к содроганию жизни в лоне своем и думает: что же родится от меня?

Иногда эти ожидания оказываются напрасными. Буря, не разразившись, стихает; просыпаешься с тяжелой головой, разочарованный, раздраженный, с тоской и отвращением в душе. Но это всего лишь отсрочка — буря грянет; не сегодня, так завтра; чем позже, тем сильнее.

Вот она!.. Изо всех самых укрытых глубин твоего «я» вырвались тучи. Эти косматые, черно-сизые клубы, вспарываемые бешеными рывками молний, несутся в головокружительном и тяжком лёте, обложив весь горизонт души, распластав два крыла на потухшем небе и застилая свет. Час безумия!.. Взыгравшие стихии, ринувшись на волю из клетки, где их держат законы, оберегающие равновесие духа и реальность мира, властвуют над помраченным сознанием, бесформенные и могучие. Кажется, что умираешь. И не к жизни стремишься. Стремишься к концу, к освободительнице-смерти.

И вдруг — молния!

Кристоф чуть не завопил от радости.

Радость, радость во всем своем неистовстве, солнце, льющее свет на все, что есть и будет,— божественная радость созидания! Одно только и есть счастье: творить. Живет лишь тот, кто творит. Остальные — это тени, блуждающие по земле, чуждые жизни. Все радости жизни — радости творческие: любовь, гений, действие — это разряды силы, родившейся в пламени единого костра. Даже и те, кто не находит себе места у великого очага — честолюбцы, эгоисты и бесплодные прожигатели жизни, пытаются согреться хотя бы бледными отсветами его пламени.

Творить — новую ли плоть или духовные ценности — значит вырваться на волю из плена своего тела, значит ринуться в ураган жизни, значит быть Тем, кто Есть. Творить — значит убивать смерть.

Горе существу бесплодному, что осталось на земле одиноким и потерянным, что озирает свое увядшее тело и всматривается в обступивший его мрак, где никогда уже не вспыхнет

пламя жизни! Горе душе, которой не дано производить, почувствовать себя отягченной жизнью и любовью, как дерево в вешнем цвету! Люди могут осыпать ее всеми почестями: они увенчают труп.

Это были как бы удары струи света, и тогда словно электрический ток пробегал по телу Кристофа, трепет непонятного волнения охватывал его. Так среди ночи в беспредельном океане мореплавателю вдруг открывается земля. Или как будто Кристоф пробирался сквозь толпу, и вдруг его пронзил чей-то бездонный взгляд. Чаще всего это случалось после долгих часов оцепенения, когда мысль работает вхолостую, отказываясь заполнить окружающую пустоту. И особенно часто в те минуты, когда он, отвлекшись от своих раздумий, беседовал с матерью или гулял. Если это случалось на улице, какое-то чувство уважения к себе и другим удерживало его от слишком бурных проявлений радости. Но дома он не знал удержу. Он топал ногами: он трубил победу. Мать хорошо знала этот сигнал, и она научилась понимать его смысл. Луиза говорила в таких случаях Кристофу, что он напоминает ей курицу, только что снесшую яйцо.

Внезапно какая-нибудь музыкальная идея завладевала им. Она выливалась иногда в отдельную законченную фразу, но чаще в огромную туманность, скрывавшую целое произведение,— его строй, его общие очертания угадывались сквозь покров, местами разрываемый несколькими ослепительно яркими фразами, которые выделялись в тумане скульптурной четкостью деталей. Всего лишь вспышка молнии, за ней следовали другие, то тут, то там рассеивая мрак. Однако чаще эта своенравная сила, вырвавшись как бы нечаянно наружу, на несколько дней уходила в свои тайники, оставив за собой светлый след.

Радость вдохновения захватывала Кристофа с такою силой, что он терял вкус ко всему другому. Опытный художник отлично знает, какой редкий гость — вдохновение: то, что подсказано внутренним чутьем, доделывает ум; и художник кладет свои замыслы под пресс, он выжимает из них до последней капли божественный сок (нередко ему приходится даже разводить их простой водой). Кристоф по своей молодости и самонадеянности пренебрегал этими средствами. Он предавался несбыточной мечте — выражать в своем творчестве только то, что со стихийной силою вырывается из недр души. Если бы он не закрывал умышленно глаза, он без труда понял бы, как нелепы его наме-

рения. Правда, для него это была пора полноты существования, без провалов, без пустот. Все питало неиссякаемый источник его творчества: все, что видели его глаза, все, что он слышал, все, что затрагивало его в повседневной жизни, каждый взгляд, каждое слово,— все рождало в душе новые мечты и замыслы. Миллионы звезд свершали свой путь в беспредельном небе его мысли. И, однако, даже в эту пору, выдавались минуты, когда вдруг все потухало. И хотя мрак держался недолго и Кристофу не приходилось томиться продолжительным безмолвием души, он не без страха думал о непонятной силе, которая приходила к нему, покидала его, возвращалась, исчезала... Надолго ли на этот раз? И вернется ли она вообще когда-нибудь? Его гордость отвергала эту мысль, он говорил: «Эта сила — я. В тот день, когда она исчезнет, исчезну и я — я убью себя». Невольно дрожь пробегала по его телу, но осознание своей силы было для него новой радостью.

Тем не менее Кристоф сознавал, что если этому источнику не угрожает пока опасность оскудеть, то все же одними его богатствами не наполнить целое произведение. Идеи являлись ему почти всегда в бесформенном и неочищенном виде: надо было затратить много труда, чтобы отделить их от шлака. Они шли нестройной вереницей, рывками; чтобы сплавить их воедино, надо было вложить в них усилие трезвого ума и холодной воли. И из этого сплава вычеканивалось новое творение. Художник в Кристофе был слишком силен, чтобы отказаться от таких усилий, но он не хотел в этом признаваться: он хитрил, уверяя себя, что лишь передает подслушанное в самом себе, а между тем ему волей-неволей приходилось все преображать, чтобы сделать понятным. Более того, бывало и так, что он совершенно искажал первоначальный замысел. Как бы сильно ни захватывала его музыкальная идея, он часто не мог сказать, что она означает. Она изливалась из глубин души, тех глубин, что лежат далеко за пределами сознания; и в этой девственной силе, которую нельзя было мерить общими мерками, сознание не могло различить ни одной из волновавших его мыслей, ни одного из человеческих чувств, которые оно определяет и разносит по рубрикам: радости, страдания — все нераздельно сливалось в единую страсть, которую нельзя было понять разумом, потому что она выше разума. Но, даже не постигая ее, разум вынужден дать название этой силе, включить ее в одно из тех логических построений, которые человек неустанно создает в улье своего мозга.

Так Кристоф уверял себя — стремился себя уверить,— что существование могучей подспудной силы, волновавшей его, имеет точный смысл и что смысл этот согласуется с его волей. Свободный инстинкт, вырвавшийся из глубоких тайников его души, куда не досягает сознание, соединялся под давлением разума и против воли Кристофа с ясной мыслью, совершенно ему чуждой. И возникшее творение было лишь искусственным сочетанием одного из широких замыслов, рожденных умом Кристофа, со стихийными силами, имевшими совсем иной смысл, еще не понятный ему самому.

Он брел упорно, ощупью, увлекаемый бушевавшими в нем противоречивыми замыслами, и из-под его пера выходили нестройные, бессвязные произведения, исполненные могучей, но еще не определившейся силы, которую он выражал неумело, но которая наполняла его горделивою радостью.

В сознании обретенной им мощи он впервые почерпнул мужество взглянуть прямо в лицо всему, что окружало его, к чему ему внушали почтение, что он принял на веру; и тотчас же стал вольно и дерзко судить обо всем. Пелена тумана разорвалась: он увидел немецкую ложь.

У всякой нации, во всяком искусстве можно найти свою долю лицемерия. Мир питается крупицами истины и большим количеством лжи. Немощен ум человеческий: он плохо переносит правду в чистом виде; надо, чтобы религия, мораль, политика, чтобы поэты и художники подавали ему правду в шелухе лжи. Эта ложь подделывается под дух нации: она меняет свое обличье сообразно особенностям каждой из них; именно ложь так затрудняет взаимное понимание между народами, но зато взаимное презрение возникает легко и скоро. Правда у всех одна и та же, но у всякого народа есть своя особая ложь, которую он именует своими идеалами. Все дышат ею от колыбели и до могилы; она становится какой-то непременной принадлежностью жизни. И лишь немногим гениям под силу стряхнуть с себя эту ложь, героически преодолеть кризисы, которые им приходится переживать в одиночестве, в вольном мире своей мысли.

На ложь немецкого искусства у Кристофа открылись глаза после одного незначительного случая. До тех пор он еще не разглядел ее, хотя она была перед самыми его глазами; но он находился слишком уж близко — отсутствовало необходимое расстояние. Теперь, отойдя от горы, он увидел ее.

Кристоф был на концерте в Städtische Tonhalle[1]. Концерт шел в огромном зале, заставленном десятью или двенадцатью рядами столиков,— всего этих столиков было двести — триста. В глубине видна была сцена, где помещался оркестр. Кристофа окружали офицеры, затянутые в длинные темные мундиры,— раскормленные мещанские лица, бритые, багровые, напыщенные; дамы, шумно, с преувеличенной живостью болтавшие и смеявшиеся; милые барышни, которые улыбались, показывая все свои зубы; дородные мужчины, как бы прятавшиеся за стеклами очков и за бородами и похожие на добродушных круглоглазых пауков. Прежде чем выпить бокал, они поднимались и с каким-то благоговением провозглашали тост; в ту минуту у них менялись и выражение лица, и тон: казалось, они служили молебствие, совершали жертвенные возлияния, пили из церковной чаши — торжественно, но не без фиглярства. Звуки голосов и звон посуды заглушали музыку. Впрочем, все старались говорить и есть, не производя шума. Herr Konzertmeister[2], высокий сутулый старик с седой бородой, хвостом свисавшей с подбородка, и с длинным крючковатым носом, оседланным очками, походил на филолога. Все эти лица с давних пор примелькались Кристофу. Но в тот день он был склонен видеть в каждом из них карикатуру. В иные дни нас неизвестно почему вдруг поражают в людях уродливо-комические черты, не замечаемые в обыденной жизни.

В программу концерта были включены: увертюра к «Эгмонту», «Вальс» Вальдтейфеля, «Паломничество Тангейзера в Рим», увертюра к «Виндзорским проказницам» Николаи, жреческий марш из «Аталии» Мендельсона и фантазия «Северная звезда» Мейербера. Оркестр исправно сыграл увертюру Бетховена и в неистовом темпе — вальс. Когда он исполнял «Паломничество Тангейзера», слышно было хлопанье пробок. Толстяк, сидевший неподалеку от Кристофа, отбивал такт «Виндзорских проказниц», подражая Фальстафу. Не первой молодости тучная дама в голубом платье с белым поясом, в золотом пенсне на приплюснутом носу, с красными руками и необъятной талией, пела мощным голосом Lieder Шумана и Брамса. Она вскидывала брови, делала глазки, моргала, склоняла голову то вправо, то влево, улыбалась широкой улыбкой, как бы нарисованной на ее лунообразном лице, и злоупотребляла жестами, которые от-

[1] Городском концертном зале *(нем.)*.
[2] Господин концертмейстер *(нем.)*.

давали бы порой кафешантаном, если бы не монументальная добродетель самой певицы; эта мать семейства пыталась разыгрывать из себя задорную девочку, олицетворение страсти и юности, незаметно привнося в поэзию Шумана пошловатый душок nursery [1]. Публика была вне себя от восторга. Но с особенно торжественным вниманием слушала она хор Общества южных немцев (Süddeutschen Männer-Liedertafel), который пел под орфеон чувствительные куплеты, то еле слышно рокоча, то громко завывая. Казалось, их было не сорок, а четверо, и эти четверо поставили себе целью вытравить из своего исполнения все, что хотя бы отдаленно напоминало хоровое пение. Они щеголяли дешевыми мелодическими эффектами, робкими и слезливыми оттенками, замирающими пианиссимо, которые сменялись внезапными раскатами, точно кто-то бил в большой барабан. Ни полноты, ни художественной меры, везде и во всем — слащавость. Невольно вспоминались слова Основы:

«Вот я буду представлять льва. Буду рычать с нежностью воркующего голубя. Рычать так, что вам послышится песнь соловушки».

Кристоф с самого начала точно остолбенел — он слушал с все возрастающим изумлением. Не то чтобы он увидел что-нибудь новое для себя. Эти концерты, этот оркестр, эта публика были ему знакомы. Но внезапно все стало казаться ему фальшивым. Все, даже то, что он любил больше всего: увертюра к «Эгмонту», больно задевшая его сейчас своей напыщенной разбросанностью и размеренной взволнованностью, показалась ему неискренней. Разумеется, не Бетховена и не Шумана он слушал, а их смешных истолкователей. Он видел публику, которая пережевывала свою жвачку, ее непроходимая глупость окружала музыку Бетховена и Шумана удушливым туманом. Пусть так, но что-то в этой музыке, даже самой прекрасной, вызывало в Кристофе раздражение, которого он никогда прежде не испытывал... Что же это было такое? Он не смел углубляться в свои сомнения, ему казалось кощунством спорить с любимыми учителями. Но, несмотря на желание не видеть, он все же увидел. И продолжал видеть помимо своей воли. Подобно пизанской Vergognosa, он смотрел на мир, прикрывшись рукой.

Немецкое искусство предстало перед ним во всей своей наготе. Все — и гении и глупцы — умиленно и услужливо открывали для всеобщего обозрения свои души. Чувство лилось потоком, нравственное благородство сочилось из всех пор, серд-

[1] Детской *(англ.)*.

«Жан-Кристоф». Книга четвертая.

це исходило неумеренными излияниями: шлюзы опасной немецкой чувствительности были разверсты настежь — она размывала энергию сильных, а слабых захлестывала своими серыми валами; это было наводнение; на дне спала немецкая мысль. А чем порой была эта мысль — мысль Мендельсона, Брамса, Шумана и множества следовавших за ними по пятам мелких авторов слезливых и напыщенных Lieder? Грудой песка... Ни одной скалы. Сырая и бесформенная глина... Все это было так ребячески наивно, что Кристоф не постигал, как же этого не чувствует публика. Он присмотрелся к окружающим; на всех лицах написано блаженство, все заранее уверены в красоте исполняемой музыки и в том, что им полагается испытывать удовольствие. Разве они позволят себе иметь собственное суждение? Они благоговеют перед этими священными именами. Да и перед чем только они не благоговеют? Перед программой концерта, перед своей кружкой пива и перед собственной особой. Нетрудно было угадать, что про себя они титулуют «превосходительством» все имеющее к ним хотя бы самое отдаленное отношение.

Кристоф то смотрел на публику, то вслушивался в исполняемые произведения: они, точно стеклянный садовый шар, отражали публику, а публика отражала их. Кристоф чувствовал, что его начинает душить смех, но сдерживался, и лицо его искажалось гримасой; когда же на эстраду вышли «южные немцы» и напыщенно пропели стыдливое «Признание» влюбленной девушки, Кристоф перестал владеть собой. Он громко расхохотался. На него сердито зашикали: «Тс! Тс!» Соседи с удивлением оглядывались. Их добродушные возмущенные лица вконец рассмешили Кристофа: он засмеялся еще громче, он смеялся до слез. И публика рассердилась. Послышались крики: «Вон!» Он встал и вышел, пожимая плечами, корчась от приступа неудержимого смеха. Его уход произвел впечатление скандала. С этих пор началась война между Кристофом и его городом.

Под влиянием пережитого в этот вечер Кристоф, как только вернулся домой, вздумал перечесть вещи композиторов, «причтенных к сонму». К своему величайшему смущению, он заметил, что некоторые из его наиболее любимых учителей лгут. Он пытался еще сомневаться, пытался уверить себя, что заблуждается. Нет, невозможно. Он был потрясен этим сочетанием посредственности и фальши, из которого складывается сокровищница искусства великого народа. Как мало было страниц, устоявших перед испытанием!

Он принялся за чтение других любимых композиторов не без тревожного биения сердца... Увы! Это было какое-то наваждение: везде его постигала неудача. Некоторые из этих художников причинили ему ужасную боль, будто он потерял любимого друга или внезапно открыл, что друг этот, которому он слепо верил, уже много лет обманывает его. Ему хотелось плакать. Он не спал ночами, терзаясь все той же болью. Он винил себя: уж не утратил ли он способности к оценке жизненных явлений? Не стал ли он круглым идиотом?.. Нет, нет, лучше чем когда бы то ни было он видел яркую прелесть дня, чувствовал роскошное изобилие жизни; сердце не лгало ему...

Долго не смел он дотронуться до тех, кого он причислял к самым лучшим, самым чистым, кто был для него олицетворением всего святого. Он дрожал при мысли, что может потерять свою веру в них. Но как сдержать безжалостный инстинкт правдивой души, побуждающий идти до конца и видеть жизнь, как она есть, не боясь страданий? И он открыл священные творения, он посягнул на императорскую гвардию, на последние резервы... Ему сразу же стало ясно, что не безгрешны и они. Мужество изменило ему, он не мог продолжать. Были минуты, когда он отказывался читать, захлопывал книгу. Подобно сыну Ноя, он набрасывал покров на наготу отца своего.

И вот потрясенный Кристоф стоит посреди развалин. Ему легче было бы потерять руку, чем эти священные иллюзии. Его охватила печаль. Но в нем было столько жизненных сил, что вера его в искусство осталась непоколебленной. Он начинал жизнь сызнова, с наивной дерзостью юноши, как будто до него еще никто не жил. Упоенный бродившей в нем молодой силой, он пришел к выводу — и, пожалуй, был прав,— что, если отбросить некоторые исключения, между живыми страстями и тем, как их выражает искусство, нет ничего общего. Но Кристоф ошибался, думая, что ему самому удалось выразить эти чувства лучше или правдивее. Страсти кипели в нем, и поэтому он без труда находил их во всем, что он написал. Но никто другой не узнал бы их в том несовершенном выражении, которое он дал им. И то же самое можно было сказать о многих из отвергнутых им художников. Они пережили и отразили глубокие чувства в своей музыке, но язык ее остался тайной, которая умерла вместе с ними.

Кристоф не был психологом и не утруждал себя такими мудрствованиями; он считал, что мертвое — оно и есть мертвое. В своей переоценке прошлого он был безжалостен и самоуверенно несправедлив. Он срывал покров с самых благородных

душ, без малейшего снисхождения к их смешным чертам: у Мендельсона он видел пресыщенную меланхолию, причесанную фантазию, благомыслящую пустоту; у Вебера — дешевую мишуру, сухость сердца, рассудочные эмоции. Перед ним предстал Лист: благородный отец, цирковой наездник, неоклассик и капатный плясун, в котором подлинное благородство уживалось с ложным, чистый идеализм — с отвращающей душу виртуозностью. Шуберт утопал в волнах приторной чувствительности, в целом озере прозрачной подслащенной воды. Не были пощажены и старцы героических времен, эти полубоги, пророки, отцы церкви. Даже великий Себастьян — Себастьян, живущий в веках, не был чист от лжи, от глупых причуд моды, от школьной премудрости. Кристофу казалось, что даже этот человек, видевший бога, исповедовал пошлую, слащавую религию в каком-то иезуитском стиле, в стиле рококо. Некоторые из его кантат носили на себе следы влюбленной и набожной томности (диалоги души, кокетничающей с Иисусом). Кристофу это претило: ему виделись круглолицые херувимы, делающие пируэты. К тому же гениальный Cantor, казалось ему, писал, запершись в четырех стенах своей комнаты: от его музыки отдавало затхлостью, в ней не чувствовалось дуновения крепкого, свежего ветра, который струился в творениях других, быть может и не столь великих, музыкантов, но великих людей, более человечных — таких, как Бетховен или Гендель. От классиков Кристофа отталкивало, кроме того, отсутствие свободы: в их произведениях почти все было «сделано». Иногда они восполняли недостаток чувства избитой музыкальной риторикой, иногда, взяв несложный ритм, орнаментальный узор, механически повторяли его во всевозможных сочетаниях, перевертывали на все лады. Эти симметрические построения, состоящие из бесконечных повторов,— сонаты и симфонии — приводили в отчаяние Кристофа, малочувствительного в ту пору к красоте порядка, красоте обширного и стройного плана. Повторы эти напоминали ему скорее работу каменщика, чем музыканта.

Из этого не следует, что к романтикам Кристоф был менее суров. Любопытно, что его особенно раздражали именно те композиторы, которые считали себя носителями наибольшей свободы, неудержимого порыва и меньше всего якобы думали о стройности и слаженности,— те, кто, подобно Шуману, по каплям разлили свою жизнь на десятки мелких произведений. Кристоф тем ожесточеннее нападал на таких композиторов, что узнавал в них себя в пору своего отрочества, узнавал те убогие чувства, которые он поклялся вытравить из своей души. Правда, цело-

мудренного Шумана уж никак нельзя было заподозрить в фальши: он почти никогда не писал о том, чего сам не перечувствовал. Но как раз на его примере Кристоф понял, что немецкое искусство больше всего фальшивило не тогда, когда художник изображал чувства, которых не испытавал, а тогда, когда он стремился выразить чувства, действительно им пережитые, но *сами по себе фальшивые*. Музыка — безжалостное зеркало души. Немецкий композитор, чем он наивнее и добросовестнее, тем он яснее раскрывает слабости немецкой души: ее ненадежные устои, рыхлую чувствительность, неискренность, несколько наигранный идеализм, неуменье видеть самого себя, осмелиться взглянуть себе в лицо. Этим недугом — ложным идеализмом — страдали даже самые великие, даже Вагнер. Кристоф перечитывал его творения со скрежетом зубовным. «Лоэнгрин» казался ему до ужаса лживым. Он ненавидел это сусальное рыцарство, это несносное ханжество, ненавидел этого героя без страха и сердца, олицетворение самовлюбленной и сухой добродетели, которая восхищается собой и ценит себя превыше всего. Кристоф слишком хорошо знал, наблюдал в жизни этот тип немецкого фарисея, непогрешимого и черствого фата, боготворящего собственный свой образ — кумир, которому он, не задумываясь, принес бы в жертву все другие. «Летучий голландец» раздражал его своей беспросветной чувствительностью и угрюмой скукой. Герои тетралогии, эти вырождающиеся варвары, в любви были отталкивающе пошлы. Похищая сестру, Зигмунд слащаво распевал салонный романс. В «Сумерках богов» Зигфрид и Брунгильда, как примерные немецкие супруги, щеголяли друг перед другом — и в особенности перед публикой — своей напыщенной и многоречивой супружеской страстью. В этих произведениях переплелись все виды лжи: лжеидеализм, лжехристианство, лжеготика, лжефольклор, лжебожественность, лжечеловечность. Никогда и нигде так не выпирала из всех щелей сплошная условность, как в этом театре, который брался смести все условности. И ни глаза, ни разум, ни сердце ни на минуту не были введены в заблуждение: чтобы обмануться, надо было хотеть быть обманутым. Публика этого хотела. И Германия тешилась этим устаревшим и ребяческим искусством спущенных с цепи «бестий» или худосочных, мистически настроенных дев.

Но, как ни боролся Кристоф, все же, когда он слышал эту музыку, его так же, как других,— еще больше, чем других,— увлекал за собой ее мощный поток, увлекала дьявольская воля человека, проложившего ей путь. Он смеялся, он трепетал, у

него пылало лицо; казалось, в душе его вихрем проносятся конные орды; и он думал, что таким буревестникам все позволено. Какие радостные возгласы вырывались у него, когда эти священные страницы, которые он уже не мог перелистывать без дрожи страха, снова пробуждали в нем былые пылкие чувства, и ничто не оскверняло чистоты любимых им творений. Это были драгоценные остатки сокровищ, спасенные им от крушения. Какое счастье! Он спасал, казалось ему, частицу самого себя. Да и разве это не он сам? Все эти великие немцы, против которых он возмутился, разве это не кровь и плоть его, не драгоценнейший клад его души? Если он был так суров к ним, то лишь потому, что не менее суров был к себе. Кто же любил их горячее? Кто острее его ощущал доброту Шуберта, целомудрие Гайдна, нежность Моцарта, великое героическое сердце Бетховена? Кто благоговейнее углублялся в шумящие веберовские леса, в величественный сумрак соборов Иоганна Себастьяна, вздымавших к бледным северным небесам над германской равниной свои каменные хребты и исполинские колокольни с ажурными шпилями? Но о том, что было в них лживого и что причиняло ему боль, он не мог забыть. Однако он винил в этом нацию, а величие их приписывал им самим. Он ошибался. И величие и слабости были достоянием нации, чья мощная и беспокойная мысль течет полноводной рекой музыки и поэзии, к которой приникает устами вся Европа... Да и у какого иного народа почерпнул бы он наивную чистоту, которая позволяла ему в ту пору так жестоко осудить собственный народ?

Но Кристоф не сознавал этого; неблагодарный, как избалованный ребенок, он повернул против своей матери врученное ею же оружие. Лишь позже, позже Кристоф постигнет, в каком он неоплатном долгу перед ней и как она ему дорога.

То была полоса слепого сокрушения идолов, которым он поклонялся в детстве. Кристоф возмущался собой, возмущался ими за то, что верил в них так страстно и смиренно. И это было хорошо. В жизни каждого человека наступает пора, когда надо дерзнуть быть несправедливым, уметь начисто покончить со всяким восхищением и преклонением по чужой подсказке и все отмести: и ложь и правду — все, что ты сам не признал правдой. И воспитание ребенка, и все то, что он видит и слышит вокруг, отравляет его душу фальшью и глупостью — вперемежку с важнейшими истинами жизни,— и сбросить с себя все это — насущная потребность для юноши, который хочет превратиться в здорового духом человека.

Кристоф как раз переживал такую полосу отвращения. Он стремился стряхнуть с себя все, что ложилось на сознание давящим грузом,— прежде всего избавиться от тошнотворной сентиментальности, которая сочилась из души немца, как из сырого, затхлого подвала. Света! Света! Крепкого и колючего ветра, чтобы разогнать болотные испарения, приторный душок, которым отдают все эти неисчислимые, как дождевые капли, Lieder, Liedchen и Liedlein [1], куда, не иссякая, изливается и изливается германский Gemüt: [2] этот поток Sehnsucht («Томление»), Heimweh («Тоска по родине»), Aufschwung («Порыв»), Frage («Вопрос»), Warum? («Почему?»), An den Mond («К луне»), An die Sterne («К звездам»), An die Nachtigall («К соловью»), An den Frühling («К весне»), An den Sonnenschein («К солнечному свету»); всех этих Frühlingslied («Весенняя песнь»), Frühlingslust («Весенняя радость»), Frühlingsgruss («Привет весны»), Frühlingsfahrt («Весенняя поездка»), Frühlingsnacht («Весенняя ночь»), Frühlingsbotschaft («Весенняя весть»); все эти Stimme der Liebe («Голос любви»), Sprache der Liebe («Язык любви»), Trauer der Liebe («Печаль любви»), Geist der Liebe («Дух любви»), Fülle der Liebe («Полнота любви»); все эти Blumenlied («Песня цветов»), Blumenbrief («Письмо цветов»), Blumengruss («Привет цветов»), а также Herzeleid («Страдания сердца»), Mein Herz ist schwer («Болит мое сердце»), Mein Herz ist betrübt («Тоскует мое сердце»), Mein Aug' ist trüb («В моем взоре слезы»); наивные и глупые диалоги с Röselein (розочкой), с ручьем, с голубкой, с ласточкой; эти вздорные вопросы: «Если бы шиповник был без шипов?», «Вьет ли ласточка гнездо со старым супругом, или она вновь заневестилась?» — весь этот разлив пошлых нежностей, пошлых волнений, пошлой печали, пошлой поэзии... Сколько чудесных вещей истерлось, сколько высоких чувств утратило свою свежесть от частого употребления и кстати и некстати! Всего хуже, что это было никому не нужно и вызывалось лишь привычкой раскрывать свое сердце на людях, глупо и шумливо сентиментальничать, разглашая собственные тайны. Сказать нечего, а язык мелет! Неужели этому пустословию не будет конца? Эй, квакуши, потише!

Особенно остро Кристоф воспринимал ложь в изображении любви; здесь ему легче было сопоставить ее с жизненной правдой. Вся условность любовных песен, плаксивых и прилизан-

---

[1] Песни, песенки *(нем.)*.
[2] Душа *(нем.)*.

ных, не отражала ни желаний мужчины, ни сердца женщины. А ведь любили же люди, написавшие их, хоть раз в жизни! Неужели именно так любили? Нет, нет, они лгали, лгали по привычке, лгали самим себе: они старались идеализировать себя... идеализировать! Другими словами: боялись смотреть в лицо жизни, не умели видеть вещи, как они есть. Везде и во всем та же опасливость и ни на грош мужественной прямоты. Везде те же холодные восторги, та же напыщенная, показная торжественность — в патриотизме, в попойке, в религии. Их Trinklieder (застольные песни) звучали, как риторические упражнения в честь вина или чаши: «Du herrlich Glas» («О ты, драгоценный кубок»). Их вера была не порывом души или неожиданно забившим родником, а неким фабричным изделием, рыночным товаром. Их патриотические песни, казалось, создавались для стада баранов, научившихся блеять в такт... Лучше уж орать во все горло!.. Но куда им!.. Они готовы лгать до скончания века, «идеализировать» все — даже пьянство, даже бойню, даже помешательство...

Кристоф после всего этого почувствовал ненависть к идеализму. Пусть грубость, лишь бы не фальшь. А в сущности он-то и был идеалистом, в отличие от многих. Как он ни уверял себя, что предпочитает грубых реалистов, именно они и были его заклятыми врагами.

Страсть ослепляла Кристофа. Ему казалось, что этот туман, эта мертвенная ложь, эти «взращенные без солнца идеи-призраки» леденят душу. Он всеми силами тянулся к солнцу. В своем юношеском презрении к ханжеству, наседавшему со всех сторон,— или к тому, что он называл этим именем,— Кристоф проглядел глубокую практическую мудрость нации: сооружая для себя век за веком величественное здание идеализма, она ставила преграду своим диким инстинктам или извлекала из них выгоду. Не случайные причины, не нравственные или религиозные правила, не законодатели и политические деятели, не священники и философы преображают душу нации и обновляют ее природу,— нужны столетия бедствий и испытаний, чтобы народы, у которых есть воля к жизни, научились ковать свое счастье.

Между тем Кристоф продолжал писать; и в своих сочинениях он не был свободен от недостатков, за которые корил других. Для него творчество было непреоборимой потребностью, и оно знать не знало законов, которые провозглашает разум. Тво-

рят не по велению разума. Творят по велению сердца. К тому же мало разглядеть фальшь и наигрыш, присущие многим нашим чувствам, чтобы самому не впасть в этот грех,— для этого нужны продолжительные и упорные усилия. Что может быть труднее, чем оставаться до конца честным в нынешнем обществе, изнемогающем под грузом косных привычек, которые достались ему от прежних поколений? Особенно трудно дается это людям и народам, страдающим манией сердечных излияний! Их сердца говорят без умолку, а лучше, если б они молчали.

У Кристофа было истинно немецкое сердце: он еще не усвоил добродетели молчания; по возрасту он не успел дозреть до нее. От отца к нему перешла потребность говорить, говорить во всеуслышанье. Зная за собой этот недостаток, он боролся с ним, но борьба эта обходилась ему недешево. Кристоф стремился одолеть и другую, не менее неприятную, наследственную черту, доставшуюся ему от деда: неумение точно выразить свою мысль. Кристоф был сыном виртуоза. Он понимал опасные соблазны виртуозности: чисто физическое наслаждение, наслаждение ловкостью, быстротой, мускульным напряжением, радость ослеплять, покорять силой своей личности тысячеголовую толпу; радость вполне простительную, у молодого человека почти естественную и тем не менее пагубную и для искусства и для души. Кристоф знал это чувство, оно было у него в крови; он презирал его и все-таки поддавался ему.

Так Кристоф, раздираемый инстинктами своей нации, с одной стороны, и своего таланта — с другой, под бременем отжившего прошлого, которое слишком глубоко въелось в него, шел вперед, спотыкаясь на каждом шагу, и не так далеко ушел от того, что сам заклеймил. Во всем, что он написал в эту пору, искренность сочеталась с высокопарностью, жизнерадостная мощь с беспомощным лепетом. Лишь временами собственная индивидуальность Кристофа разрывала сковывавшее его кольцо мертвых индивидуальностей.

Кристоф был одинок. Некому было взять его за руку и вывести из топи. В тот самый момент, когда он считал себя в безопасности, его засасывало еще сильнее. Он брел ощупью, растрачивая время и силы на бесплодные попытки. Пришлось пройти через все ступени опыта, ни одной не минуя; и, сбитый с толку лихорадкой творческих потуг, Кристоф уже с трудом отличал плохое от хорошего в своих произведениях. Он увяз в нелепых замыслах, в разбухших симфонических поэмах с претензиями на философскую глубину. Но он был слишком честен и потому предавался им недолго: вдруг наступало отвращение, и он бро-

сал начатое на полпути. Или же задавался целью переложить на музыку, в форме увертюр, самые недоступные творения поэзии. Тут приходилось плутать в чужих владениях. Если Кристоф сам сочинял либретто (а он сочинял их бестрепетно), получалось нечто несуразное; когда же он брался за великие произведения Гете, Клейста, Геббеля или Шекспира, он давал им совершенно ложное толкование. Не ума не хватало Кристофу, а критического чутья: он еще не умел понимать других, он был слишком полон собой; он находил повсюду лишь самого себя, свою наивную, вспененную обманчивыми страстями душу.

Помимо этих мертворожденных уродцев, он сочинял множество небольших пьес, живой отклик на мимолетные движения души — самые вечные из всех,— музыкальные раздумья, Lieder. Здесь, как и везде, он страстно восставал против установившихся привычек. Он то брался за прославленные стихотворения, уже переложенные на музыку, с дерзким намерением передать их иначе, правдивее, чем это сделали Шуберт и Шуман. То силился вернуть поэтическим образам Гете — Миньоне, арфисту из «Вильгельма Мейстера» — их своеобразие, их ясный и беспокойный дух. То принимался за любовные Lieder, которые по молчаливому сговору покладистых художников и пошлой публики обычно облекались в покров приторной сентиментальности; и, освободив их от этого покрова, он вкладывал в них дикую и терпкую чувственность. Словом, он стремился выразить живые страсти, создать живые образы ради них самих, а никак не для забавы немецких бюргеров, готовых проливать по воскресным дням в семейном кругу, за столиком Biergarten [1] слезы дешевого умиления.

Но обычно Кристоф находил, что творения поэтов чересчур отдают литературой; он старался разыскать самые простые тексты: старинные Lieder, старинные духовные песни, обнаруженные в одном сборнике назидательного содержания; он меньше всего стремился сохранить в них стиль хорала и смело придавал им живой, откровенно светский характер. Иногда его внимание привлекала пословица или даже случайно подхваченное слово, обрывок подслушанного в народе разговора, рассуждения ребенка — бесхитростная прозаическая речь, в которой сквозило чистое чувство. Здесь ему было привольно, и он, сам того не подозревая, достигал большой глубины.

Во всех этих произведениях, плохих или хороших,— чаще всего плохих,— жизнь била ключом. Не все в них было ново,

[1] Летнего кафе *(нем.)*.

далеко нет. Кристоф подчас прибегал к общим местам — именно в силу своей искренности. Ему случалось повторять использованные другими формы, потому что они четко выражали его мысль, потому что он сам чувствовал так, а не иначе. Он ни за что на свете не стал бы гнаться за оригинальностью: ему казалось, что лишь отпетая посредственность может связывать себя подобными претензиями. Кристоф стремился высказать то, что чувствует, не заботясь, говорилось это до него или нет. Он осмеливался верить, что это и есть подлинная оригинальность, что Жан-Кристоф только один и другого такого не будет. С великолепной дерзостью молодости он полагал, что ничего еще не сделано, что надо все сделать заново или переделать. Ощущение этой внутренней полноты, этой беспредельности жизни наполняло его буйным, ни от кого не таящимся счастьем. Ликование его не прерывалось ни на минуту: оно не нуждалось в радости, оно могло ужиться и с печалью. Его источником был переизбыток жизни, была сила — матерь всякого счастья и всех добродетелей. Жить, жить, чтобы жизнь лилась через край!.. Кто не чувствует в себе это опьянение силой, эту радость жизни — пусть даже в беде,— тот не художник. Это — безошибочное мерило. Способность ликовать — в радости ли, в несчастье ли — есть признак подлинного величия. Какому-нибудь Мендельсону или Брамсу, богам октябрьского ненастья и нудной осенней слякоти, была неведома эта божественная сила.

Кристоф же обладал ею; и он выказывал свою радость с наивной опрометчивостью. Что тут было дурного — ведь так приятно делиться ею с другими! Он не понимал, что эта радость оскорбительна для многих и многих, кому она не дана. Да и не очень-то его волновало, нравится это или нет. Он был уверен в себе, и ему казалось, что сообщить эту веру другим — самое простое дело в мире. Сопоставляя свои богатства с нищетой поставщиков музыки, он полагал, что легко добьется признания своего превосходства. Слишком даже легко. Стоит лишь показать себя.

И он себя показал.

Этого ждали.

Кристоф не скрывал своих чувств. Познав немецкое фарисейство, это нежелание видеть вещи, как они есть, он возвел в закон для себя безусловную и непримиримую искренность — всегда и везде, даже в оценке произведений или лиц, пользующихся всеобщим признанием. И, так как Кристоф во всем дохо-

дил до крайности, он и здесь не считал нужным сдерживать себя никакими рамками: нес околесицу и вызывал негодование у всех окружающих. Кристоф был безгранично наивен. Он охотно поверял первому встречному свои взгляды на немецкое искусство, как человек, не желающий держать про себя бесценные открытия. Ему в голову не приходило, что это может кого-либо задеть. Убедившись в убожестве какого-нибудь прославленного произведения, весь поглощенный этой мыслью, Кристоф спешил оповестить об этом окружающих, будь то профессиональные музыканты или просто любители музыки. И, сияя от удовольствия, высказывал самые невозможные взгляды. Сначала их принимали за шутку, за причуду и посмеивались, но затем решали, что он слишком уж часто возвращается к этим шуткам, проявляя упрямство самого дурного тона. Стало ясно, что Кристоф верит в свои парадоксы, и тут им перестали улыбаться. Он мог поставить любого в неловкое положение шумными и ироническими замечаниями, нарушавшими тишину концертного зала, ибо, где бы ни находился Кристоф, он почти в открытую выказывал презрение к самым прославленным мастерам.

В маленьком городке всякий слух быстро передается из уст в уста; ни одно слово Кристофа не ускользало от внимания окружающих. На него косились еще с прошлого года — не забыли, как вызывающе вел он себя, всюду показываясь с Адой. Сам он не помнил этого: каждый новый день заслонял собой вчерашний. И Кристоф был уже далеко не тем, чем он был год назад. Но прочие помнили — обыватели из той породы, что считают своим назначением старательно отмечать все промахи, все пороки, все события, плачевные, уродливые, неприятные, знать всю подноготную о своих соседях. Теперь в списке прегрешений Кристофа рядом со старыми сумасбродствами значились новые. Одни объясняли другие. Блюстители обывательской морали прибавили к нанесенным ей прежде оскорблениям еще и скандальное нарушение хорошего тона. Наиболее снисходительные говорили:

— Он старается выделиться.

Большинство же утверждало:

— Total verrückt! (Совсем спятил!)

Наконец по городку прошла еще более опасная и грозная молва, и, так как исходила она из высоких сфер, успех ей был заранее обеспечен: передавали, будто Кристоф, по-прежнему выполнявший свои официальные обязанности в замке, имел бестактность, беседуя с самим герцогом, сделать безобразные и возмутительные по своему неприличию замечания насчет признанных мастеров. Говорили, что про музыку «Ильи» Мендель-

сона он сказал, будто она напоминает «бормотание лицемерного попа», а некоторые из Lieder Шумана назвал «музыкой для девиц», вопреки одобрительному отзыву августейших особ об этих произведениях. Герцог прервал эти дерзкие речи сухим замечанием:

— Иной раз, сударь, слушая вас, начинаешь сомневаться, немец ли вы.

Низринувшись с такой высоты, это бичующее слово не могло не докатиться до самого низу; и все те, кто имел зуб на Кристофа,— из зависти к его успехам или по другим, более личным, соображениям,— тотчас же спохватились, что ведь он и вправду не стопроцентный немец. Родители его отца — как, вероятно, помнит читатель — были родом из Фландрии. Удивительно ли, что этот пришелец пытается очернить все, что составляет славу нации? Разгадка найдена; и для самовлюбленных немцев это было достаточным основанием еще более возвыситься в собственных глазах и еще больше презирать противника.

Эту чисто платоническую месть Кристоф подкрепил — и подкрепил весьма реально. Обрушиваться с критикой на других в такую минуту, когда сам собираешься предстать перед судом критики, весьма неосмотрительно. Более ловкий художник высказал бы больше почтения к своим предшественникам. Но Кристоф не видел оснований таить про себя свое презрение к посредственности и радостное сознание собственной силы. И эта радость бурно прорывалась наружу. В последнее время Кристофа обуяла потребность высказаться. В его душе было слишком много радости для одного человека. Он задохся бы, если бы не поделился ею. За неимением друга он сделал своим поверенным коллегу по оркестру, помощника капельмейстера, молодого вюртембержца Зигмунда Окса, человека добродушного и лукавого. Окс выказывал преувеличенное почтение к Кристофу, а тот ему верил — а если бы и не верил, что было дурного поделиться своей радостью пусть даже с равнодушным слушателем, даже с врагом? Ведь они должны быть благодарны ему за это! Разве не для них он трудился? Он дарил счастье всем — и другу и врагу. Ему и в голову не приходило, что люди всего неохотнее принимают новое счастье; им чуть ли не милее старое горе. Подавай им жвачку, которая жуется и пережевывается века. И совсем уже невыносима для них мысль, что этим счастьем они обязаны другому. Они никогда не прощают этого обидного дара, разве уж когда нельзя от него уклониться; и, во всяком случае, заставляют дарителя горько раскаиваться.

Излияния Кристофа, таким образом, ни у кого не могли найти сочувственный отклик по тысяче причин, у Зигмунда же Окса — по тысяче и одной. В то время ожидали отставки первого капельмейстера Тобиаша Пфейфера. Кристоф, сколь ни был он молод, мог с полным основанием рассчитывать на его место. В качестве истинного немца Окс не мог не признать Кристофа достойным кандидатом, раз за него был двор. Но в то же время он слишком высоко ставил собственную особу, чтобы не считать еще более достойным себя; пусть только двор получше узнает его! Потому-то он со странной улыбкой и слушал доверчивые признания Кристофа, когда тот являлся утром в театр и, как ни старался казаться серьезным, весь так и светился радостью.

— Ну, как? — коварно спрашивал Окс.— Опять новый шедевр?

Кристоф брал его под руку.

— Ах, дружище! Это лучшая из моих вещей... Если бы ты слышал ее... Черт меня возьми! Слишком даже хорошо! Ничего подобного еще не бывало. Помилуй боже бедных людей, которые услышат ее. Послушать и умереть — больше им ничего не остается.

Окс не упускал ни одного слова из признаний Кристофа. Он с тайной иронией выражал свое восхищение; а ведь усмехнись он или дружески подтруни над этими ребяческими восторгами вместе с Кристофом — и тот бы первый расхохотался и повинился, поняв, что он смешон. Окс, напротив, подбивал Кристофа на другие благоглупости, а затем спешил повсюду раззвонить о них, изображая Кристофа в самом карикатурном виде. В маленьком кружке музыкантов над ним немало потешались, и каждый с нетерпением ждал случая произнести свой приговор над пресловутыми сочинениями Кристофа. Они были заранее осуждены.

Наконец они предстали перед судом публики.

Из груды своих пьес Кристоф отобрал увертюру к «Юдифи» Геббеля, который подкупал его своей буйной силой, хотя бы уже по контрасту с общей немецкой вялостью (впрочем, и Геббель начинал раздражать его своей ходульностью, выдававшей стремление любой ценой прослыть гениальным). Вторым номером шла симфония с высокопарно-туманным названием, взятым у базельца Бёклина,— «Сон жизни» и с эпиграфом «Vita somnium breve» [1]. Далее в программу был включен цикл его Lieder, две-три классические пьесы и «Festmarsch» [2] Окса, по друж-

---

[1] Жизнь — краткий сон *(лат.)*.

[2] «Праздничный марш» *(нем.)*.

бе пристегнутый к концерту Кристофом, хотя он отлично понимал, как посредственна эта вещь.

О репетициях в городе почти не было известно. Оркестр ровно ничего не понимал в исполняемых им произведениях, и каждый из музыкантов в глубине души становился в тупик перед этой непривычной и причудливой музыкой, так что оркестр не составил себе никакого мнения, а главное — не был способен его составить, пока не выскажется публика. К тому же оркестру — вышколенному и послушному, как всякий хороший немецкий оркестр,— уверенность Кристофа внушала уважение. Только с певицей дело не ладилось. Это была дама в голубом, певшая на концерте в Tonhalle. Она слыла в Германии знаменитостью: эта мать семейства исполняла Брунгильду и Кундри в Дрездене и Байрейте, где неоспоримо доказала мощь своих легких. Но, усвоив в вагнеровской школе искусство, которым эта школа может по праву гордиться,— отчетливую дикцию, уменье выбрасывать в пространство согласные звуки, меж тем как гласные обрушивались на ошеломленную публику ударами палицы,— она не усвоила — и не случайно — искусства быть естественной. Каждое слово она переиначивала по-своему, каждый штрих был оттенен, каждый слог словно налит свинцом, и каждая фраза дышала трагедией. Кристоф просил ее поубавить драматической выразительности. И она добродушно старалась вначале примениться к его вкусам, но врожденная косность и потребность играть своим голосом возобладали. Кристоф начинал терять терпение. Обратившись к почтенной даме, он выразил желание, чтобы в его песнях звучали голоса людей, а не дракона Фафнера. Эта дерзость, как и следовало ожидать, взорвала певицу. Она ответила, что, слава богу, поет не со вчерашнего дня, что она имела честь исполнять Lieder самого Брамса в присутствии этого великого мастера и он готов был без конца слушать ее.

— Тем хуже! Тем хуже! — крикнул Кристоф.

Надменно улыбаясь, певица попросила сделать ей одолжение и объяснить этот загадочный возглас. Он ответил, что так как Брамс всю свою жизнь был весьма далек от естественности, то его одобрение хуже всяких упреков, и хотя он, Кристоф, иной раз бывал не слишком любезен, как она с полным основанием заметила ему, все же он не позволил бы себе так оскорбить ее.

Перепалка продолжалась в том же тоне; и певица упрямо продолжала петь по-своему, с нестерпимым мелодраматическим пафосом — до тех пор, пока Кристоф холодно не заявил,

что ему теперь ясно: такова ее природа, тут уж ничего не поделаешь; но раз нет возможности спеть Lieder как следует, они вообще не будут исполняться: он снимает их с программы. Это было незадолго до концерта; публика рассчитывала на Lieder — сама певица о них повсюду говорила: она была достаточно музыкальна, чтобы оценить некоторые их достоинства. Кристоф нанес ей тяжкое оскорбление, но, поскольку она не была уверена в том, что завтрашний концерт не упрочит известности юного музыканта, она не захотела порывать с восходящим светилом. И певица неожиданно смирилась; на последней репетиции она покорно выполняла все требования Кристофа, но твердо решила на концерте взять свое.

Знаменательный день настал. Кристоф не испытывал ни малейшей тревоги. Он был до краев полон своей музыкой и не мог судить о ней. Он сознавал, что некоторые места его пьес, пожалуй, дадут повод к насмешке. Но так ли это важно? Нельзя творить великое, не рискуя вызвать глумление. Кто стремится достигнуть в искусстве глубины, тому приходится пренебречь людским уважением, правилами вежливости, скромностью и бросить вызов общественному лицемерию, которое, как тяжелой плитой, придавило человеческое сердце. А тот, кто вечно беспокоится, не задел ли он кого-нибудь, обречен всю жизнь преподносить посредственностям посредственную истину, разжиженную и удобоваримую, обречен всю жизнь прожить на подножном корму. Велик лишь тот, кому неведомо это беспокойство. И Кристоф пренебрег им. Возможно, что его и освищут, но зато безразличным к его музыке не останется никто. Он представлял себе, какую физиономию скорчит кое-кто из его знакомых при исполнении некоторых страниц, и от души забавлялся. Он приготовился к резкой критике и при мысли о ней заранее улыбался. Во всяком случае, только глухие могли не почувствовать в его музыке силу, пусть приятную или неприятную, не это важно!.. Приятную?! Важно, что это сила. Она сама проложит себе путь. Пусть смоет все, как рейнская волна.

Началось с неудачи. Герцог не приехал. Герцогскую ложу заполнили статисты в лице нескольких придворных дам. Кристоф почувствовал раздражение. Он думал: «Этот болван дуется. Он не знает, как отнестись к моей музыке, и боится попасть впросак». И Кристоф пожал плечами, сделав вид, что подобная безделица не может его смутить. Но зато другие почуяли недоброе: это было первое назидание и грозное предвестье.

Публика проявила не больше интереса, чем ее повелитель: треть зала была пуста. Кристоф с невольной горечью вспомнил, что на концертах, которые он давал ребенком, зал наполнялся до отказа. Будь у него больше опыта, он не удивился бы этому: естественно, что теперь, когда он писал хорошую музыку, публика уже не валит валом, как прежде, когда он писал плохую. Ведь публику большей частью занимает не музыка, а музыкант; и очевидно, что музыкант, похожий по внешности на всех других музыкантов, куда менее интересен, чем музыкант в детском костюмчике, затрагивающий сентиментальную струнку и возбуждающий всеобщее любопытство.

Кристоф, тщетно прождав некоторое время, не наполнится ли зал, наконец решил начинать. Он пытался убедить себя, что так даже лучше: друзей всего горсточка, да зато хороших. Но эта надежда держалась недолго.

Исполнение программы протекало среди полного молчания зала. Иногда в молчании публики чувствуется, что оно согрето любовью, которая вот-вот прольется на исполнителя. Но тут не ощущалось ничего. Ничего. Сон, небытие. Чувствовалось, что музыкальные фразы одна за другой падают в пучину равнодушия. Хотя внимание Кристофа, стоявшего спиной к публике, было поглощено оркестром, он улавливал все происходившее в зале теми тончайшими фибрами души, которыми наделен всякий истинный художник и которые доносят до него весть о том, как отзываются на его игру сердца слушателей. Кристоф продолжал отбивать такт и взвинчивать себя и все же застывал в ледяном тумане скуки, который полз из партера и лож.

Сыграна наконец и увертюра, зал аплодирует. Холодные, вежливые хлопки — и молчание. Уж лучше бы шикали... хоть один свисток! Хоть какой-нибудь признак жизни, любой отклик, пусть враждебный!.. Ничего. Кристоф смотрел на своих слушателей. Слушатели смотрели друг на друга. Каждый старался прочесть мнение о музыке в глазах соседа. И, не прочитав ничего, опять цепенел в безразличии.

Оркестр заиграл снова. На очереди была симфония. Кристоф едва довел ее до конца. Были минуты, когда ему хотелось бросить палочку и убежать куда глаза глядят. Всеобщая апатия передалась и ему: он уже и сам не понимал, что играет оркестр, которым он дирижирует; ему чудилось, что он летит в бездонный омут скуки. Не раздалось даже насмешливого шепота, который он ожидал услышать в некоторые моменты: публика была поглощена чтением программы. Кристоф слышал, как переворачиваются страницы — все сразу, с сухим шелестом; и затем

снова тишина, и так до последнего аккорда, когда публика, поняв, что произведение окончено, отметила это вежливыми аплодисментами. Правда, прозвучали еще три-четыре запоздалых хлопка, но, не будучи поддержанными, они стыдливо умолкли; пустота от этого показалась еще более пустой, и эта деталь помогла понять слушателям, как они смертельно скучали.

Кристоф сел среди оркестрантов, не решаясь смотреть ни направо, ни налево. У него накипали слезы, он весь дрожал от гнева. Ему хотелось вскочить и крикнуть всем: «Надоели вы мне! Ах! До чего же вы мне надоели! Убирайтесь, убирайтесь все к чертям!»

Зал немного оживился: ждали певицу — ее привыкли встречать аплодисментами. В этом океане новой музыки, где публика блуждала без компаса, певица была для нее верным оплотом, привычным и надежным берегом,— теперь уже не грозила опасность сбиться с пути. Кристоф прекрасно понял это и язвительно рассмеялся. Певица тоже угадывала настроение публики. Об этом говорили ее горделивые жесты, которых не мог не заметить Кристоф, когда зашел пригласить ее на сцену. Кристоф не только не повел певицу сам, а нарочно сунул руки в карманы, и ей пришлось выйти на сцену одной. И она вышла, растерянная, дрожа от ярости. А за ней со скучающим видом следовал Кристоф. Зал встретил появление певицы взрывом рукоплесканий: все вздохнули с облегчением; лица осветились улыбками, все ожили, нацелились на артистку биноклями. Уверенная в своей власти над публикой, она приступила к исполнению Lieder — разумеется, на свой лад, совершенно не считаясь с указаниями, которые сделал ей накануне автор. Аккомпанировавший ей Кристоф побелел. Он заранее предугадывал этот бунт. При первой же допущенной ею вольности он стукнул по роялю и запальчиво сказал:

— Нет!

Она продолжала. Он зашипел ей в спину приглушенным, дрожащим от бешенства голосом:

— Нет! Нет! Не так! Не так!

Певица, взволнованная этим сердитым шипением, которое не могла слышать публика, но ясно слышал оркестр, все же стояла на своем и донельзя замедляла темп, делая паузы, растягивая звуки. Кристоф, не обращая на это внимания, опередил ее на целый такт. Для публики это прошло незамеченным: она давно уже решила, что в музыке Кристофа мало приятного и правильного; но композитор, не разделявший этого мнения, дер-

гался, как одержимый; наконец его прорвало. Он внезапно остановился, не докончив фразы.

— Будет! — крикнул он во всю глотку.

Певица с разбегу не смогла остановиться, но через полтакта замолчала и она.

— Будет! — сухо повторил Кристоф.

Публика застыла от удивления. После короткой паузы Кристоф сказал ледяным тоном:

— Начинаем сначала!

Певица растерянно смотрела на него. Руки ее дрожали, у нее было желание швырнуть ему в лицо ноты; впоследствии она сама не могла понять, что же ее удержало. Но, подавленная авторитетом Кристофа, она начала сначала. Она пропела все Lieder, не позволив себе отступлений ни в оттенках, ни в темпе: она чувствовала, что поблажки ей не будет, и ее бросало в жар при мысли о новом скандале.

Когда она кончила, поднялась буря рукоплесканий. Аплодировали не Lieder (что бы ни спела артистка, ей все равно бы хлопали), а знаменитой певице, состарившейся на подмостках: публика знала, что тут можно выражать свой восторг, ничем не рискуя. К тому же слушатели желали сгладить резкость выходки Кристофа. Они смутно поняли, что виновата певица, однако находили непристойным поведение Кристофа, осмелившегося это заметить. Публика кричала «бис», но Кристоф решительно захлопнул крышку рояля.

Певица не заметила этой новой выходки: она была так взволнована, что не могла и думать о вторичном выступлении. Опрометью бросилась она вон, заперлась в своей уборной и там с четверть часа отводила душу, громко изливая всю накипевшую ненависть и ярость. Истерические крики сменялись потоками слез, гневной бранью, проклятиями по адресу Кристофа. Ее бешеные вопли слышны были сквозь запертую дверь. Друзья певицы, которым удалось проникнуть к ней, рассказывали, вернувшись, что Кристоф вел себя, как грубиян. И это мнение, как обычно бывает в театральных залах, скоро стало общим достоянием. Когда Кристоф снова поднялся и встал за пульт, чтобы исполнить последний номер, публика была уже настроена воинственно. Но теперь шла вещь не Кристофа, а Окса — его «Festmarsch». Публика при первых же звуках этой пошлой музыки нашла простое средство выразить свое порицание Кристофу, не прибегая к таким крайним мерам, как свист: она стала подчеркнуто вызывать Окса, вновь и вновь требовать автора, который с удовольствием выходил раскланиваться. Так кончился концерт.

Нетрудно догадаться, что герцог и придворные — да и весь маленький городок, спасавшийся от скуки сплетнями,— узнали в мельчайших подробностях обо всем, что произошло на концерте. Дружественные певице газеты ни слова не проронили о происшедшем, но они хором восторгались ее мастерством и лишь мимоходом упомянули о Lieder, которые она исполняла. Другим произведениям Кристофа они уделили лишь несколько строчек почти одинакового содержания: «...Владеет контрапунктом. Пишет слишком сложно. Вдохновения не ощущается. Мелодия отсутствует. Пишет головой, а не сердцем. Нет искренности. Погоня за оригинальностью...» А затем шли рассуждения о подлинной оригинальности давно умерших и похороненных мастеров: Моцарта, Бетховена, Лёве, Шуберта, Брамса («тех, кто оригинален, не стараясь быть оригинальным»). Отсюда естественный переход к опере Конрадина Крейцера «Nachtlager von Granada» [1], возобновленной на сцене герцогского театра, и пространный отзыв об этой «очаровательной музыке, до сих пор еще не утратившей свежести и яркости».

В общем, сочинения Кристофа встретили полное непонимание и удивление даже у благожелательно настроенных критиков, глухую вражду у тех, кто его не любил, и, наконец, равнодушие у широкой публики, которая не чувствовала направляющей руки критики — ни враждебной, ни дружественной. Как известно, широкая публика, когда ей предоставляют думать самостоятельно, перестает думать.

Кристоф был сражен.

И, однако, в том, что его постигла неудача, не было ничего неожиданного. Его произведения не могли нравиться — на это имелось целых три причины: произведения эти не были достаточно зрелы; они озадачивали своей новизной и потому не могли быть сразу поняты; и, наконец, слушатели Кристофа обрадовались поводу проучить дерзкого юношу. Но только зрелый ум мог понять закономерность этого поражения. Кристофу же не хватало спокойствия, которое не сразу дается подлинному художнику, страдающему от непонимания, от неизлечимой глупости публики. Рушилась наивная вера Кристофа в справедливость публики и в свой успех, которого он надеялся достигнуть по той простой причине, что он его заслуживал. Кристоф счел бы естественным иметь врагов. Но у него не оказалось ни еди-

[1] «Ночной лагерь у Гранады» *(нем.)*.

ного друга, и это буквально ошеломило его. Даже те, на кого он рассчитывал, кто до сих пор, казалось, проявлял интерес к его музыке, не нашли для него после концерта ни одного доброго слова. Он попытался выяснить причину их молчания, но они отделывались ничего не значащими фразами. Он упорствовал, он хотел знать, что же они думают о нем. Наиболее искренние хвалили его прежние произведения, его детский лепет, не приемля теперешнего Кристофа. И сколько раз еще ему придется слушать, как осуждают его новые произведения и хвалят старые — те самые, которые подвергались столь же суровому осуждению, когда они были новыми; таков закон. Кристоф не желал мириться с этим. Он громко выражал свое негодование. Его не любят — отлично! Он не возражает, он даже доволен, он не напрашивается в друзья всему свету. Но объясняться ему, Кристофу, в любви и запрещать ему расти, требовать, чтобы он всю жизнь оставался в пеленках,— это уж превосходит всякую меру! То, что хорошо в двенадцать лет, плохо в двадцать. Кристоф надеялся, что он не застрянет на полпути, будет еще меняться, всегда меняться... Глуп тот, кто стремится задержать течение жизни!.. В его детских сочинениях интересен не ребяческий лепет, а та сила, которая зреет для будущего! И это будущее хотят убить!.. Нет, они никогда не понимали, никогда не любили его! Их привлекало только то, что было в нем заурядного, что роднило его с посредственностью, а не *подлинный* Кристоф. Их дружба была лишь недоразумением.

Он, быть может, преувеличивал. Нередко бывает, что даже благожелательные люди не способны полюбить новое произведение, но проникаются искренней любовью к нему, когда оно обретает двадцатилетнюю давность. Слишком крепок аромат новой жизни для их слабых голов, им надо, чтобы он выветрился на сквозняке времени. Произведение искусства становится понятным для них не прежде, чем оно покроется многолетним слоем пыли.

Но Кристоф не мог допустить, чтобы понимали *вчерашнего* Кристофа, а не *сегодняшнего*. Он предпочитал думать, что его не понимают вовсе, да и никогда не понимали. И это приводило его в бешенство. Кристоф — не смешно ли! — добивался, чтобы его поняли, пускался в объяснения, в споры; пустая трата сил: для этого пришлось бы привить своему времени иные вкусы. Но он ни перед чем не останавливался. Он решил, добром ли, силой ли, произвести основательную чистку немецких вкусов. Однако возможности Кристофа были ограничены: можно ли убедить кого-нибудь мимоходом, в беглой беседе, когда с трудом

находишь слова и с необузданной резкостью нападаешь на великих музыкантов и даже на своих собеседников? Он лишь наживал себе новых врагов. Ему бы не торопясь все обдумать, привести в порядок свои мысли, а уж тогда бы заставить публику выслушать себя...

И вот подоспела минута, когда судьба — его злосчастная судьба — вложила ему в руки желанное оружие.

Кристоф сидел за столиком в театральном ресторане, в кругу своих товарищей-музыкантов, и ошарашивал их суждениями об искусстве. Не все они сходились во взглядах друг с другом, но вольность его речей коробила всех. Старый Краузе — альт, добрая душа и отличный музыкант, искренне любивший Кристофа,— пытался переменить разговор: он кашлял, искал случая вставить каламбур. Но Кристоф не слушал его, он упорно продолжал развивать свою мысль. И Краузе сокрушался:

«К чему это он? Храни его бог! Такие вещи можно думать, но их не говорят, черт возьми!»

Краузе, что любопытнее всего, и сам не чужд был «таких вещей» или, во всяком случае, смутно подозревал об их существовании, и слова молодого композитора пробуждали в нем немало сомнений, но он не смел признаться в этом отчасти из боязни уронить себя во мнении окружающих, отчасти из скромности, из неуверенности в себе.

Вейгль, корнет-а-пистон, и слушать не хотел речей Кристофа: у него была привычка восторгаться всеми и всем, хорошим и дурным, звездой или газовым рожком,— все было у него под один колер; в своем вечном восторге он забывал о степенях сравнения: он восторгался, восторгался, восторгался. Это была для него насущная потребность; он физически страдал, когда пытались умерить его восторги.

Еще больше страдал виолончелист Кух. Он обожал плохую музыку. Все, над чем Кристоф так язвительно смеялся, что он поносил, было бесконечно дорого виолончелисту; он от природы тяготел к самому искусственному в музыке, его душа была неиссякаемым кладезем слезливых и выспренних чувств. Он был абсолютно честен в своем поклонении лжегениям, а лгал именно тогда, когда убеждал себя, что преклоняется перед истинным искусством — правда, лгал в полной душевной невинности. Есть такие «брамины», они верят, что обрели в своем новоявленном божестве дыхание гениев прошлого: они любят Бетховена в Брамсе. Кух их превзошел: в Бетховене он любил Брамса.

Но сильнее всех возмущался необычными суждениями Кристофа фагот Шпиц. Они задевали не столько его музыкальные вкусы, сколько врожденное раболепие. Один из римских императоров выразил желание умереть стоя. Шпиц желал бы умереть, как он жил: ползая на брюхе; это была для него самая естественная поза. Он глубоко наслаждался, припадая к стопам своих кумиров — всех и всего, что носит на себе печать официального признания, успеха, что освящено вышестоящими; и он был вне себя, когда ему мешали лакействовать.

Итак, Кух испускал стоны, Вейгль хватался за голову, Краузе каламбурил, а Шпиц визгливо протестовал. Но Кристоф, не смущаясь, старался всех перекричать; он изрекал немыслимые сентенции о Германии и немцах.

За соседним столиком сидел молодой человек и, надрываясь от смеха, прислушивался к их беседе. У него были курчавые черные волосы, красивые умные глаза, довольно солидный нос, который у самого кончика как бы останавливался и, не решаясь идти ни вправо, ни влево, ни прямо, раздавался в обе стороны; рот у него был губастый, лицо, умное и подвижное, выражало сочувственное и ироническое внимание ко всему, что говорил Кристоф; на лбу, на висках, в уголках глаз, вдоль щек и у ноздрей собирались тонкие морщинки — весь он сотрясался от судорожных приступов смеха и забавно гримасничал. Он не вмешивался в разговор, но слышал все от слова до слова. Особенно он потешался, когда Кристоф, завязнув в собственных доказательствах и разъяренный замечаниями Шпица, сбивался, бормотал что-то, захлебывался от гнева в поисках того единственного слова, которым он раздавит, как лавиной, своего противника. И удовольствию незнакомца не было границ, когда страсть подсказывала Кристофу то, чего он и сам не думал, и на свет появлялись невероятные парадоксы, исторгавшие вопли ужаса у слушателей.

Наконец они разошлись, устав от спора, в котором каждый чувствовал и старался утвердить свое превосходство над другими. Кристоф остался в зале позже остальных, и в ту минуту, когда он уже хотел взяться за ручку двери, к нему подошел юноша, которого так забавляли его речи. Кристоф до сих пор не замечал его. Незнакомец учтиво снял шляпу и с улыбкой отрекомендовался:

— Франц Маннгейм.

Извинившись за нескромность, он признался, что внимательно прислушивался к спору, и поздравил Кристофа с мастерским разгромом своих противников. При одном воспоминании

об этом его и сейчас разбирал смех. Кристоф смотрел на незнакомца с счастливой улыбкой, не совсем, впрочем, доверяя ему.

— Вы это серьезно? — спросил он.— Вы не смеетесь надо мной?

Молодой человек стал клясться всеми богами. Лицо Кристофа прояснилось.

— Значит, по-вашему, я прав, не так ли? Вы согласны со мной?

— Знаете ли,— сказал Маннгейм,— по совести говоря, я не музыкант и ничего не смыслю в музыке. Если какая-нибудь музыка мне по душе, так это ваша (может быть, для вас это и не особенно лестно). То есть я хочу сказать, что вкус мой не так уж дурен.

— О! — с сомнением в голосе произнес Кристоф, все же польщенный.— Это еще не доказательство.

— На вас не угодишь. Но правда ваша: это не доказательство. И я не берусь судить, насколько верно все то, что вы говорили о немецких музыкантах. Зато вы очень верно судите о немцах вообще — о стариках, обо всех этих романтических идиотах с их заплесневевшими идеями, плаксивостью, старческим шамканьем, которым мы почему-то обязаны восхищаться,— *«этим вечным вчера, которое всегда было и всегда будет, которое останется законом завтра на том основании, что оно было законом сегодня!»*

Он продекламировал известные стихи Шиллера:

...Das ewig Gestrige
Das immer war und immer wiederkehrt... [1]

— И у него самого в первую очередь!..— воскликнул молодой человек, обрывая чтение.

— У кого? — спросил Кристоф.

— У сапожника, написавшего эти стихи.

Кристоф ничего не понял. Но Маннгейм продолжал:

— Я, например, желал бы, чтобы каждые пятьдесят лет производилась генеральная чистка мысли и искусства, чтобы после нее камня на камне не оставалось.

— Это уж вы хватили через край,— с улыбкой ответил Кристоф.

— Нисколько, уверяю вас, пятьдесят лет — это еще слишком редко, вернее было бы — тридцать... Да и то!.. Это гигиеническая мера. Ведь не храним же мы у себя дома наших прадеду-

[1] Вечно вчерашнее, всегда бывшее и всегда возвращающееся *(нем.)*.

шек. Когда они умирают, их вежливо спроваживают, пусть себе тлеют в другом месте, да еще для верности придавливают сверху камнем, чтобы они не вздумали вернуться. Чувствительные души, кроме того, убирают могилы цветами. Пусть! Мне-то что до этого! Мне нужно одно: чтобы они оставили меня в покое. Ведь я же их оставляю в покое! Каждому свое! Пусть мертвые будут с мертвыми, живые с живыми.

— Есть покойники, которые живее живых.

— Нет, нет! Вернее было бы сказать, что есть живые, которые мертвее мертвых.

— Пожалуй, что и так. Во всяком случае, есть старое, в котором много юного.

— Ну что ж, юное от нас не уйдет... Но что-то не верится. То, что было хорошо однажды, не бывает таким вторично. Хороша только перемена. Самое важное для нас оградить себя от стариков! В Германии их тьма-тьмущая. Смерть старикам!

Кристоф внимательно слушал заносчивые афоризмы молодого человека, но не соглашался с ним; впрочем, отчасти он разделял высказанные незнакомцем мнения и даже узнавал в его словах некоторые свои мысли; его смущало лишь то, что молодой человек все преувеличивает до карикатуры. Но, приписывая, как обычно, собственную серьезность другим, Кристоф убеждал себя, что, быть может, его собеседник, который казался ему образованнее и красноречивее, чем он сам, и более последователен в своих логических выводах. Кристоф, которому многие не прощали его гордой веры в себя, часто бывал до наивности скромен; его легко было поддеть на удочку ученым людям, если только они не слишком козыряли своими знаниями, желая уклониться от стеснительного спора. Маннгейм, которого тешили собственные парадоксы, постепенно утратил всякую меру и щеголял изречениями, одно другого сумасбродней: он и сам в душе над ними подсмеивался, ибо не привык, чтобы к нему относились серьезно. Его искренне забавлял Кристоф, добросовестно оспаривавший его вздорные утверждения, вникавший в них; но, подтрунивая над Кристофом, Маннгейм все же был польщен уважительным тоном своего собеседника,— он находил его смешным и очаровательным.

Расстались они, как старые друзья. Часа через три, на репетиции в театре, Кристоф, к удивлению своему, внезапно увидел в приоткрывшейся маленькой двери, которая вела в оркестр, голову Маннгейма. Он весь сиял, гримасничал и делал Кристофу какие-то непонятные знаки. По окончании репетиции Кристоф подошел к нему. Маннгейм по-приятельски взял его под руку.

— Найдется у вас свободная минутка? Послушайте. Меня осенила одна идея. Вам она, может быть, покажется вздорной. Нет ли у вас желания изложить на бумаге все ваши размышления о музыке и наших музикусах? Вы надрываетесь, поучая четырех ослов из вашей братии, которые знают одно: дуть в трубу или пиликать на деревяшке. Не лучше ли вместо этого обратиться к широкой публике?

— Не лучше ли? Нет ли у меня желания?! Ах, черт... Да где же меня напечатают? Хорош совет!

— Подождите. У меня есть предложение... Дело в том, что я и мои друзья — Адальберт фон Вальдгауз, Рафаэль Гольденринг, Адольф Май и Люциан Эренфельд — основали журнал (вам он, конечно, знаком), единственный свободомыслящий журнал во всем городе — «Дионис». Все мы — ваши поклонники и были бы счастливы, если бы вы к нам примкнули. Хотите взять на себя музыкальную критику?

Кристоф пришел в замешательство от оказанной ему чести; ему до смерти хотелось согласиться на предложение Маннгейма. Но он боялся, что не оправдает доверия редакции: он не умел писать.

— Да будет вам! — сказал Маннгейм.— Ручаюсь, что вы отлично справитесь. И, наконец, раз вы станете критиком, вам и книги в руки. С публикой не церемоньтесь. Она тупа, как чурбан. Что ей художник! Художника можно освистать. А вот критик — тот имеет право сказать: «Освищите-ка мне этого человека!» Ведь это снимает с публики тяжелую повинность: думать. А вы — думайте все, что вам взбредет в голову. Или, вернее, делайте вид, что думаете. Лишь бы задать корм гусям, а уж какой — не важно. Подберут все до крошки!

Кристоф в конце концов согласился и стал рассыпаться в изъявлениях благодарности. Но поставил одно условие: чтобы ему было дано право говорить все, что он сочтет нужным сказать.

— А как же,— ответил Маннгейм.— Безусловная свобода! У нас все свободны!

В третий раз Маннгейм подстерег Кристофа в театре, где и представил его после спектакля Адальберту Вальдгаузу и своим друзьям. Кристофу был оказан дружеский прием.

Кроме Вальдгауза, который принадлежал к одному из старейших и знатнейших родов во всем крае, все остальные происходили из богатых еврейских семей: отец Маннгейма был бан-

кир, Гольденринга — владелец известной винодельческой фирмы, Мая — директор металлургического завода, Эренфельда — крупный ювелир. Эти отцы принадлежали к старому поколению немецких евреев, трудолюбивых и упорных, верных национальному духу, приумножавших свое благосостояние жесткой и энергичной рукой и в этом упорстве черпавших больше наслаждения, чем в своем богатстве. Сыновья были, казалось, рождены, чтобы расточать созданное отцами: они глумились над семейными традициями, над скопидомством и муравьиным трудолюбием, которыми были одержимы их отцы; они корчили из себя свободных художников и делали вид, что презирают богатство, что готовы бросить свое состояние на ветер. Но на деле они держались за него крепко и, каким бы безумствам ни предавались, никогда не теряли до конца трезвости мысли и практического чутья. Да и отцы были начеку и в случае надобности натягивали вожжи. Самый ветреный из этих молодых людей, Маннгейм, охотно раздарил бы все, что имел; но у него ничего не было; и, браня отца за его крохоборство, он про себя лишь посмеивался и находил, что отец прав. И только Вальдгауз, сам распоряжавшийся своим капиталом, отдавал журналу и душу и деньги. Вальдгауз был поэтом. Он писал «Полиметры» в стиле Арно Гольца и Уолта Уитмена — длиннейшие строки чередовались в них с короткими, а точки, двоеточия, многоточия, вопросительные и восклицательные знаки, тире, прописные буквы, курсив, подчеркнутые слова играли важную роль, наравне с аллитерациями и повторами слов, строк, целых фраз. Кроме того, он вкрапливал в свою поэзию слова на всех языках. Он собирался переложить на стихи (непонятно зачем) Сезанна. При всем том он обладал поэтической душой и не выносил заурядности. Чувствительность уживалась в нем с сухостью, простодушие с салонной изощренностью. Хотя его стихи были плодом усидчивого труда, он старался придать им налет бесшабашной небрежности. Вальдгауз был бы недурным поэтом для светского общества. Но эта порода уже расплодилась и в журналах и в гостиных; а он хотел быть единственным. Он почему-то решил разыгрывать из себя аристократа, поднявшегося над предрассудками своей касты. На деле же он сам был начинен ими, хотя и не признавался себе в этом. Вальдгаузу доставляло удовольствие окружать себя в журнале только евреями, чтобы досадить родственникам-антисемитам и лишний раз уверить себя в своем свободомыслии. С сотрудниками журнала он держался подчеркнуто учтиво, на равной ноге, но на самом деле чувствовал к ним невозмутимое и безграничное презрение. Вальдгауз не закрывал

глаз на то, что они рады пользоваться его именем и деньгами, и мирился с этим ради удовольствия презирать их.

А они презирали его за то, что он мирится с этим; они прекрасно знали, что в накладе он не остается. За даяние — воздаяние. Вальдгауз предоставлял в их распоряжение свое имя и капитал, они же отдавали ему свой талант, свое деловое чутье и клиентуру. Друзья Вальдгауза были гораздо умнее его. Это не значит, что они были крупнее по своей индивидуальности. Может быть, даже напротив — мельче. Но в маленьком городке, как, впрочем, везде и всегда, они были — вследствие своей национальной обособленности, которая веками отгораживала их от остального общества и обостряла их насмешливость и наблюдательность,— самыми передовыми умами; они чуяли издали смешные черты переживших себя институтов и старозаветных идей. Но, поскольку характер у них был не такой независимый, как ум, они, даже подсмеиваясь, заботились не столько о преобразовании этих учреждений и идей, сколько о том, чтобы извлечь из них выгоду. Вопреки своему показному свободомыслию, они были — не менее, чем дворянин Адальберт Вальдгауз — мелкими провинциальными снобами, досужими сынками богачей и литературой занимались, как спортом и флиртом. Эти молодые люди становились в позу сокрушителей основ, но, по существу, были смирные обыватели, и сокрушали они только беззащитных — тех, кто не мог им повредить ни при каких условиях. Меньше всего они собирались ссориться с обществом, памятуя, что им придется рано или поздно слиться с ним и жить мирно, как и все, усвоив те же самые предрассудки, с которыми они некогда боролись. Если они и рисковали ниспровергать устои или — рекламы ради — под гром литавров объявляли войну модному кумиру, когда он уже начинал шататься, они предусмотрительно не сжигали своих кораблей, чтобы в случае опасности вернуться на них. Как бы ни заканчивалась такая кампания — филистеры могли спать спокойно. Молодым людям хватало ее надолго. Новоявленные Davidsbündler стремились лишь к одному: внушить всему городу, что стоит им только захотеть, и они все сокрушат, но они, мол, не хотят. Им куда приятнее якшаться с артистами и ужинать с актрисами.

Кристофу в этом обществе было не по себе. Здесь говорили главным образом о лошадях и женщинах — и говорили, называя вещи своими именами. Эти люди отличались благоразумием. Адальберт цедил слова бесцветным, тягучим голосом — изысканно вежливо; он сам скучал и наводил скуку на других. Секретарь редакции, Адольф Май, тяжеловесный, приземистый, су-

тулый человек с грубыми манерами, считал себя и любое свое суждение непогрешимым. Он говорил решительно и резко, не слушал возражений и всем своим видом выказывал презрение к словам и особенно к личности собеседника. Художественный критик Гольденринг, страдавший нервным тиком, то и дело мигал из-за своих внушительных очков, носил длинные волосы,— должно быть, в подражание художникам, в кругу которых он вращался,— молчаливо дымил папиросой, цедил сквозь зубы обрывки фраз и в пояснение своих слов рисовал что-то в воздухе большим пальцем. Низенький, плешивый, улыбающийся Эренфельд, со светлой бородкой, тонким, утомленным лицом и орлиным носом, ведал отделом мод и светской хроники. Он говорил приятным голосом самые рискованные вещи, был остроумен, но зол, а порой и просто отвратителен. Эти молодые миллионеры были, как водится, анархистами: владея всем, можно позволить себе наивысшую роскошь — отрицать общество; таким образом освобождаешь себя от всякого долга по отношению к нему. Так вор говорит прохожему, предварительно ограбив его: «Чего ты здесь торчишь? Убирайся! На что ты мне теперь!»

Из всей этой компании Кристофу был симпатичен только Маннгейм. Это был живой человек,— во всяком случае, на фоне остальной четверки; он потешался над тем, что говорил сам, что говорилось вокруг; заикаясь, мямля, хихикая, он нес всякую чушь, неспособен был следить ни за мыслью собеседника, ни даже за собственной мыслью; но Маннгейм был добрый малый, ни к кому не питавший злобы, без тени честолюбия. По правде говоря, он никогда не был самим собой — он вечно играл какую-нибудь роль, но играл вполне безобидно, никого не задевая. Он носился со всякими странными и прекраснодушными утопиями, но сам был слишком хитер и слишком насмешлив, чтобы верить в них всерьез. В своих увлечениях он не терял головы и остерегался применять свои теории к жизни. Но он не мог дня прожить без какого-нибудь нового конька: одна игра сменялась у него другой. В данное время таким коньком была для него доброта. Быть просто добрым не удовлетворяло Маннгейма: он хотел, чтобы эту доброту видели все. Он исповедовал религию доброты, он играл в доброту. Из протеста против трезвого и бездушного делячества своих родных, против ригоризма, милитаризма, германского мещанства он был толстовцем, нирванистом, евангелистом, буддистом — он и сам не знал чем: проповедником дряблой и бесхребетной морали, которая щедро отпускает все грехи и особенно грехи похоти, которая не скрывает своего благоволения к ним, но лишь скрепя сердце прощает доб-

родетели; морали, напоминающей устав какого-нибудь общества любителей наслаждения, союза взаимного попустительства и распутства; морали, которая окружает себя ореолом святости. Это было, пожалуй, игрой, отдававшей не совсем приятным для чувствительного обоняния душком; от нее можно было бы и вовсе задохнуться, если б она велась всерьез. Но она, слава богу, ни на что не претендовала и довольствовалась сама собой. При первом же удобном случае он охотно сменил бы это дурашливое христианство на другой конек, который на сей раз мог называться грубой силой, империализмом, «иронией львов». Маннгейм играл перед самим собой комедию и играл ее от души: он щеголял всеми чувствами по очереди, хотя был их лишен, прежде чем превратиться в доброго старого еврея, такого же, как все другие, со всеми особенностями своей нации. Он вызывал большую симпатию и безграничное раздражение.

Таким коньком для Маннгейма стал на некоторое время Кристоф. Молодой человек только Кристофом и бредил, повсюду трубил о нем. Он прожужжал уши своим родственникам хвалебными гимнами Кристофу. По его словам, Кристоф был гением, выдающимся человеком, который сочинял презабавную музыку и главное — говорил о ней удивительно красноречиво, который был не только умен, но и красив — правильный рот, великолепные зубы. Маннгейм прибавлял, что Кристоф от него без ума. Наконец однажды вечером он привел его к себе домой обедать. Кристоф встретился здесь с отцом своего нового друга, банкиром Лотарем Маннгеймом, и с сестрой Франца, Юдифью.

Он впервые попал в дом к евреям. Еврейское общество, составлявшее в их маленьком городке довольно многочисленный слой и довольно влиятельное в силу своего богатства, спаянности и ума, тем не менее жило несколько на отшибе. Народ питал к нему упорное предубеждение и затаенную вражду, добродушную, но обидную. Семья Крафтов не была исключением. Дедушка не любил евреев, но по иронии судьбы два его самых выдающихся ученика (один из них стал композитором, а другой — известным виртуозом) были евреи; славный старик сам страдал от этого: были минуты, когда он готов был расцеловать своих способных учеников, но тут же с грустью вспоминал, что они распяли Христа, и не знал, как примирить непримиримое. И все же кончалось тем, что он заключал их в свои объятия. Он склонен был думать, что их любовь к музыке зачтется им на том свете и бог простит их. Отец Кристофа, Мельхиор, разыгрывав-

ший из себя вольнодумца, не дрогнув, брал у евреев деньги и брал их даже с удовольствием. Но и Мельхиор насмехался над евреями и презирал их. Что же касается матери Кристофа, то она была не совсем уверена, что, прислуживая евреям в качестве стряпухи, не впадает в грех. Надо сказать, что евреи, с которыми она имела дело, обращались с ней надменно, но она не обижалась на них,— она вообще ни на кого не обижалась,— и от души жалела этих несчастных, проклятых богом людей; глядя на молодую девушку — дочь хозяев, слыша веселый смех малышей, она сокрушалась.

«Такая красавица!.. Такие милые детки!.. Вот несчастье!» — думала она.

Мать не посмела что-либо возразить Кристофу, когда он предупредил ее, что будет обедать у Маннгеймов, но у нее ёкнуло сердце. Быть может, и не стоит верить всем россказням, которые распространяют о евреях,— о ком не говорят плохое, ведь честные люди есть повсюду, но все-таки лучше, приличнее, если каждый будет держаться своего круга — евреи останутся у себя, а христиане у себя.

Кристоф был свободен от подобных предрассудков. Уже в силу вечного протеста против своей среды, он даже тянулся к этой столь отличной от немцев нации. Но он мало знал евреев. Он соприкасался изредка лишь с низами еврейского населения: с мелкими торговцами, с толпой, кишевшей на улицах между набережной Рейна и собором и до сих пор еще составлявшей — в силу присущего всем людям стадного инстинкта — нечто вроде маленького гетто. Он не раз слонялся по этому кварталу, с любопытством и симпатией поглядывал на типичные лица женщин — впалые щеки, полные губы, выдающиеся скулы и несколько униженная улыбка, напоминающая мадонн да Винчи; к сожалению, спокойная гармония их черт исчезала, как только раздавался их резкий говор и отрывистый смех. Даже на дне, там, где толклись эти большеголовые существа со стеклянными глазами и порою каким-то животным выражением лица, эти приземистые, коротконогие люди — выродившиеся потомки благороднейшей из рас — даже здесь, в смрадной и засасывающей тине, мелькали какие-то фосфорические вспышки, точно блуждающие огни на болоте: чарующий взгляд, дышащие умом лица; неуловимые токи, исходящие от этой трясины пленяли и волновали Кристофа. И он не мог не думать о том, что есть здесь чудесные души, которые судорожно бьются в грязи, великие сердца, рвущиеся на волю; и ему хотелось узнать их, оказать им поддержку; он любил их, неведомых, хотя и не без опаски. Но

никогда не вступал в близкое общение ни с кем из них. И уж тем более не имел случая соприкасаться с верхушкой еврейского общества.

Поэтому обед у Маннгеймов привлекал его прелестью новизны и даже очарованием запретного плода. Было особенно приятно получить его из рук здешней Евы. Кристоф, с тех пор как вошел, уже не спускал глаз с Юдифи Маннгейм. Она принадлежала к новой для него породе женщин, совершенно непохожей на тех, с которыми он сталкивался раньше. Это была высокая, стройная девушка, худощавая, но крепкого сложения; ее лицо оттеняла черная рамка волос, не пышных, но густых, низко спускавшихся на виски и золотисто-смуглый выпуклый лоб; у нее были близорукие чуть-чуть навыкате глаза с припухшими веками, большой нос с трепещущими ноздрями, впалые щеки, придававшие ей одухотворенное выражение, тяжелый подбородок и довольно яркий цвет лица. Очень хорош был энергичный, отчетливый профиль, но если смотреть прямо, лицо казалось более неопределенным, изменчивым, сложным, а глаза и щеки слегка ассиметричными. В ней угадывалась сильная порода, при создании которой в дело пошли самые разнообразные элементы: было тут и высокое и низменное. Особенно красили ее спокойный рот и глаза, казавшиеся еще более глубокими от близорукости и более темными от синевато-черных теней, которыми они были обведены.

Не Кристофу, с его более чем скромным жизненным опытом, было понять эти глаза, отражавшие не столько личные черты, сколько национальные, прочесть во влажном и пламенном взоре душу сидевшей перед ним женщины. Душа народа Израиля открывалась в этих жгучих и мрачных глазах, которые таили ее в себе, сами того не зная. И он затерялся в их глубине. Немало прошло времени, не раз тонул он в темных зрачках, пока научился находить путь в этом восточном море.

Она тоже смотрела на него, и ничто не смутило проницательной ясности ее взгляда: ничто, по-видимому, не составляло для нее тайны в душе этого христианина. Кристоф это понял. В обворожительном женском взгляде он почувствовал мужскую волю, ясную и холодную, бесцеремонно вторгавшуюся в его внутренний мир. В этой бесцеремонности не было ничего обидного. Юдифь завладевала им. Но не так, как завладевает кокетка, которой безразлично, кого обольщать. Кокетства в ней было больше, чем в любой женщине, но она знала свою силу и спокойно полагалась на инстинкт,— уж он сам справится, в особенности с такой легкой добычей, как Кристоф. Ее интересовало

другое: изучить своего противника (всякий мужчина, всякий незнакомец был для нее противником, с которым можно будет после, при случае, заключить союз). Раз жизнь — игра, где выигрывает тот, кто умнее, надо угадать карты партнера, не открывая своих. Выиграв, она наслаждалась победой. Ей было безразлично, какие выгоды принесет эта победа. Она играла ради удовольствия самой игры. Превыше всего Юдифь ценила ум. Не абстрактный ум, хотя ее мозг вполне мог бы овладеть, пожелай она этого, любой наукой и хотя она скорее, чем ее брат, могла стать достойной преемницей банкира Лотаря Маннгейма. Но ее больше привлекал живой ум, проявляющийся в общении с людьми. Для нее было наслаждением заглянуть в человеческую душу, взвесить ее достоинства, и проделывала она это с тем же вниманием и старанием, с каким Еврейка Массейса взвешивает монеты; необычайно прозорливая, она умела в мгновение ока обнаружить в человеке его ахиллесову пяту, недостатки и слабости и, подобрав ключ к его душе, проникнуть в ее тайны; это и значило в ее понимании овладеть чужой душой. Но она недолго упивалась победой и не пользовалась трофеями. Удовлетворив свое любопытство и гордость, она бросала добычу и искала новой. Вся эта сила оставалась втуне. В душе, столь полной жизни, завелась червоточина. Ею владел дух любопытства и скуки.

Итак, Юдифь разглядывала Кристофа, а Кристоф разглядывал ее. Юдифь почти не говорила. Достаточно было одной ее улыбки, чуть заметной, дрожавшей в уголках рта,— и Кристоф был заворожен. Но вот улыбка пряталась, лицо становилось холодным, глаза — равнодушными: она вспоминала о своих обязанностях хозяйки и ледяным тоном отдавала приказания лакею. Казалось, она уже не прислушивается к разговору. И вдруг глаза загорались; несколько метких замечаний, оброненных ею, показывали, что она все слышала и поняла.

Юдифь холодно проверяла мнение брата о Кристофе; она знала, что Франц любит приврать; у нее были все основания посмеяться над ним, когда появился Кристоф (Франц так расхваливал его красоту и благородство манер, словно обладал особым талантом видеть вместо черного белое; а может быть, он и сам верил в свои фантазии, находя в них своеобразную прелесть). Но, заглянув в Кристофа поглубже, Юдифь поняла, что в рассказах Франца не все было выдумкой; и чем больше раскрывалась перед ней душа Кристофа, тем яснее она угадывала в ней

силу, еще не определившуюся и не вполне устойчивую, но мощную, мужественную; это открытие доставило ей удовольствие, ибо она лучше многих понимала, какой редкостный дар сила. Она сумела вызвать Кристофа на откровенность, заставила его раскрыть свои мысли, добилась того, что Кристоф сам помог ей ощутить пределы его силы, понять его слабости: она предложила ему поиграть на рояле. Юдифь не любила музыки, но разбиралась в ней, и для нее было ясно, что Кристоф — яркий и своеобразный талант, хотя его пьесы не пробуждали в ней волнения. Не изменяя своему вежливо-сухому тону, она сделала несколько кратких и метких замечаний, не слишком лестных, но ясно показывавших, что Кристоф начинает ее интересовать.

Кристоф почувствовал этот интерес и был горд им: он понимал, что Юдифь скупа на похвалы, и тем более оценил ее суждение. Он не скрывал своего стремления завоевать ее симпатию и делал это так наивно, что вызывал усмешку у хозяев дома: он говорил только с Юдифью и для Юдифи; на остальных он не обращал внимания, как будто их и не было в комнате.

Франц не отрывал глаз от Кристофа; он следил за его словами, подбодряя его взглядом и улыбкой, то иронической, то восторженной; он часто разражался смехом, бросая лукавые взгляды на отца и сестру, которая хранила бесстрастный вид и прикидывалась, что ничего не замечает.

Лотарь Маннгейм — высокий, плотный, слегка сутулый старик, с багровым цветом лица, седыми, коротко остриженными волосами, очень черными усами и бровями и тяжелой, энергичной, насмешливой физиономией, дышавшей могучею жизненной силой,— тоже приглядывался к Кристофу с добродушным лукавством и тоже очень скоро понял, что в юноше «что-то есть». Но ни музыка, ни музыканты нисколько не занимали его; это было не по его части, он тут ровно ничего не смыслил и ничуть не скрывал этого; он даже этим хвастался (люди такого склада обычно признаются в своем невежестве ради того, чтобы им похвалиться). Поскольку Кристоф, в свою очередь, ничуть не таясь, бесцеремонно и грубовато показывал, что он мог бы, нимало о том не сожалея, обойтись без общества господина банкира и что беседа с Юдифью Маннгейм займет его на весь вечер, старый Лотарь, которого это забавляло, устроился в уголке у камина; он читал газету, краем уха иронически прислушиваясь к бредням Кристофа и его странной музыке, и, посмеиваясь про себя, удивлялся, что есть, должно быть, люди, которые в этом разбираются и находят удовольствие. Старик даже не давал себе труда следить за разговором: он полагался на ум своей до-

чери — уж она скажет ему, какова цена их новому знакомому. Юдифь не обманула ожиданий отца.

После ухода гостя Лотарь спросил у дочери:

— Ну как, исповедала музыканта? Что ты скажешь о нем?

Она рассмеялась, подумала, подводя итог своим впечатлениям, и сказала:

— Он чудаковат, но не глуп.

— Пожалуй, что так,— поддержал ее Лотарь.— Это и мое мнение. По-твоему, он может сделать карьеру?

— Думаю, что да. Это сила.

— Превосходно,— отозвался Лотарь, следуя великолепной логике сильных, для которых существуют только сильные.— Значит, надо будет ему помочь.

Кристоф, в свою очередь, вынес самое яркое впечатление от встречи с Юдифью Маннгейм. Но он не влюбился в нее, как полагала Юдифь. Оба они — она вопреки своей изощренности, он вопреки своему инстинкту, заменявшему ум,— составили себе неверное представление друг о друге. Загадочность облика Юдифи, ее напряженная умственная жизнь обворожили Кристофа, но он не полюбил ее. Пленены были его глаза, его ум, а не сердце. Почему? Трудно сказать. Потому ли, что он почуял в ней что-то не совсем хорошее и беспокоившее его? При иных обстоятельствах это было бы лишним поводом для того, чтобы полюбить: ведь любовь с особой силой вспыхивает именно тогда, когда приближается к источнику своих страданий. Если Кристоф не полюбил Юдифь, то ни он, ни она не были в этом повинны. Настоящая причина — не слишком лестная для них обоих — заключалась в том, что Кристоф не успел достаточно далеко отойти от своей последней любви. Пережитое не прибавило ему благоразумия. Но Кристоф так любил Аду, в огне этой страсти сгорело так много веры, сил, иллюзий, что у него не хватало их для новой страсти. Пламя загорится лишь тогда, когда юноше будет из чего сложить в своем сердце новый костер, а пока это могут быть лишь беглые, случайно вырвавшиеся языки огня — яркие, но короткие вспышки пожара, который угасал за недостатком пищи. Через каких-нибудь полгода Кристоф, может быть, слепо отдался бы любви к Юдифи. Сегодня он видел в ней только друга, хотя к этому чувству примешивалось смутное томление; он силился освободиться от него, оно напоминало ему об Аде,— воспоминание, не слишком для него приятное. К Юдифи его влекло то, что выделяло ее среди других

женщин, а не общие с ними черты. Это была первая умная женщина, с которой он столкнулся. А умна она была с головы до кончиков пальцев. Самая красота ее — жесты, походка, очерк лица, склад губ, глаза, руки, изящная худощавость — все было отсветом ее ума; ум как бы формировал тело,— без него она могла бы показаться даже дурнушкой. Этот ум и восхищал Кристофа. Он представлялся ему более широким и свободным, чем в действительности. Кристоф еще не мог знать, как обманчива прелесть этого ума. Он жаждал довериться Юдифи, поделиться с нею своими мыслями. Никогда и никто не интересовался ими — какая была бы радость найти подругу! В детстве он жалел о том, что у него нет сестры: ему казалось, что сестра могла бы понять его лучше, чем брат. Когда он увидел Юдифь, эта обманчивая надежда на братскую дружбу воскресла вновь. О любви он и не думал. А не будучи влюбленным, он считал любовь менее высоким чувством, чем дружба.

Юдифь очень скоро уловила этот оттенок его отношения к ней, и самолюбие ее было задето. Она не любила Кристофа и пользовалась достаточным успехом у богатых молодых людей, стоявших выше его на общественной лестнице, чтобы испытывать от любви Кристофа слишком уж большое удовлетворение. И все же Юдифь испытывала досаду при мысли, что Кристоф не влюбился в нее. Унизительно было думать, что она может влиять только на его рассудок (несравненно выше ценит женская душа влияние вопреки рассудку!). Но даже и на ум его Юдифь не влияла: Кристоф поступал по-своему. Юдифь была властной натурой. Она привыкла придавать нужную ей форму довольно вялым мыслям своих поклонников, но находила мало удовольствия в господстве над такими посредственностями. С Кристофом было интереснее: тут ее ждало больше трудностей. К его планам Юдифь относилась равнодушно, но ей хотелось бы направлять эту поражавшую новизной мысль, эту нетронутую силу и проложить им путь к успеху — разумеется, к успеху в своем понимании, а не в понимании Кристофа, которого она, впрочем, и не старалась понять. Предстоит борьба,— это она почувствовала сразу, видя, что у Кристофа есть свои твердо установившиеся мнения, свои идеи, которые казались ей сумасбродными, ребяческими: все это были сорняки, и она старалась вырвать их. Но ей не удалось выполоть ни единой травинки. Она не добилась ни малейшей уступки, которая польстила бы ее самолюбию. Кристоф оказался непреклонным. Он не был влюблен и, следовательно, не имел никаких причин поступаться своими взглядами.

Юдифь хотела настоять на своем и некоторое время еще делала попытки завоевать его. И Кристоф, при всей ясности ума, которой он уже обладал в то время, чуть было снова не попался на удочку. Мужчины легко поддаются тому, кто играет на струнах их гордости, их желаний,— особенно люди искусства, ибо у них больше воображения. Юдифи не так уж трудно было бы втянуть Кристофа в опасный флирт — на этот раз еще более опустошающий. Но она, как всегда, быстро утомилась; она находила, что добыча не стоит усилий: Кристоф уже надоел ей, она перестала его понимать. Ибо понимала его лишь до определенной грани.

До этой грани все было ясно, но дальше замечательный ум ее пасовал; тут уж понадобилось бы сердце или, за неимением сердца, то, что на время дало бы иллюзию, что оно есть: любовь. Критические суждения Кристофа о жизни и людях были понятны Юдифи. Она находила их забавными и довольно верными. Отчасти она сама разделяла его взгляды. Но как можно подчинять свои поступки этим взглядам в тех случаях, когда это обременительно или опасно, она понять не могла. Бунтовать против всех, как это делал Кристоф, не имело никакого смысла,— неужели он воображал, что ему удастся переделать мир? Вряд ли. Но если так, то стоит ли биться головой об стенку? Умный человек всегда знает цену окружающим, втихомолку иронизирует над ними, слегка презирает их, но ведет себя так же, как все, или немногим лучше: это единственный способ держать в руках своих ближних. Мысль и действие — два разных мира. Чего ради приносить себя в жертву своим принципам? Мыслить правдиво — пожалуйста! Но зачем говорить правду? Раз уж люди настолько тупоумны, что не терпят правды, зачем ее навязывать им? Мириться с их слабостями, делать вид, что склоняешься перед ними, а в душе чувствовать себя свободным и презирать — разве нет в этом тайной радости? Радости умного раба? Пусть. Но уж раз от рабства не уйдешь, лучше стать рабом добровольно, уклонившись от нелепых и бессмысленных битв. Нет худшего рабства, чем быть рабом своей мысли и всем жертвовать ради нее. Только не обманывать себя! Юдифи было ясно, что если Кристоф будет упорствовать — как он, по-видимому, решил — в своем воинственном неприятии предрассудков немецкого искусства и ума, он восстановит против себя всех, даже своих покровителей, а на этом пути поражение неминуемо. Ей было непонятно, почему он так ожесточенно вредит себе, как будто задался целью себя погубить.

Чтобы разобраться в этом, надо было понять, что не успех был целью Кристофа,— этой целью была его вера. Он верил в искусство, он верил в *свое* искусство, он верил в себя; все это были для него реальные ценности, стоявшие выше не только корыстных соображений, но и самой жизни. Когда Кристоф, раздраженный замечаниями Юдифи, стал развивать перед нею эту мысль в наивных и высокопарных словах, она сначала пожала плечами: она просто не принимала всерьез его признаний. Для нее это были все те же громкие фразы, не раз слышанные от брата, который время от времени оповещал мир о принятых им благородных и безрассудных решениях, однако остерегался выполнять их. Но, убедившись, что Кристоф и впрямь жертва самообмана, она решила, что он помешан, и потеряла всякий к нему интерес.

С этих пор она уже не старалась показать себя с выгодной стороны и оставалась такою, какой была: гораздо более похожей на немку, самую заурядную немку, чем могло представиться при первом знакомстве и чем она, вероятно, сама воображала. Евреев напрасно упрекают в том, что они не принадлежат ни к какой нации и по всей Европе составляют единый монолитный народ, непроницаемый для влияний страны, в которой он расположился на привал. На самом деле ни одна другая нация не приобретает с такою легкостью отпечатка стран, через которые она проходит. Если в облике еврея немецкого и французского можно найти немало общих черт, то еще сильнее контраст между ними — следствие влияний их новой родины; ее духовные навыки прививаются им с необыкновенной быстротой. По правде говоря, скорее навыки, чем дух. Но привычка — вторая натура, даже большей частью единственная; поэтому большинству граждан европейских стран не пристало упрекать евреев в отсутствии глубоко осознанного национального духа,— сами эти европейцы им ни в какой степени не обладают.

Женщины вообще легче поддаются внешним влияниям, они быстрее приноравливаются к условиям жизни и меняются в зависимости от них; еврейские женщины по всей Европе, воспринимая быт и мораль страны, где они живут, часто впадают в крайности, но все же не теряют при этом общего облика своей нации, ее пряного, тяжелого, нелегко выветривающегося аромата. Кристофа это поразило. Он встречал у Маннгейма теток, двоюродных сестер, подруг Юдифи. Как ни мало походили на немок некоторые из этих женщин со жгучими глазами, посаженными слишком близко к носу, и носом, расположенным слишком близко ко рту, с крупными чертами лица и яркой кровью, про-

свечивающей сквозь плотную и смуглую кожу, как ни мало было у них данных стать немками, они все же были немками наперекор всему: та же манера говорить, одеваться, иногда даже подчеркнутая. Юдифь была на голову выше их всех, и рядом с ними ощущалась вся исключительность ее ума, все, чем она была обязана себе самой. Тем не менее она отличалась многими странностями, присущими ее близким. Более свободомыслящая, чем они,— особенно в вопросах морали,— она была не свободнее их в вопросах социальных; вернее, она руководствовалась здесь практическими соображениями, а не свободным умом. Она верила в высший свет, в незыблемость классовых различий, в предрассудки, ибо в итоге так было выгоднее. Насмехаясь над немецким укладом жизни, она сама дорожила им. Безошибочно чувствуя посредственность того или иного признанного артиста, она все же чтила в нем знаменитость, а при личном знакомстве выражала свое восхищение, ибо это льстило ее самолюбию. Она не очень любила музыку Брамса и в глубине души подозревала, что это художник второстепенный, но его слава покорила ее; а получив от него пять-шесть писем, она уверилась, что это гениальнейший из современных музыкантов. Она знала цену Кристофу и нисколько не обманывалась насчет тупоголового обер-лейтенанта Детлева фон Флейшера. Но то, что лейтенант соблаговолил приударить за ее миллионами, льстило ей больше, чем дружба Кристофа: офицер, при всей своей глупости, был представителем другой касты, а пробиться туда немецкой еврейке труднее, чем любой другой женщине. Не разделяя глупых феодальных предрассудков и ясно сознавая, что, выйдя замуж за обер-лейтенанта Детлева фон Флейшера, она окажет ему большую честь, Юдифь тем не менее шла на все, чтобы его завоевать: она унижалась, строила глазки этому болвану фон Флейшеру и льстила его самолюбию. Гордая еврейка,— а для гордости у нее была тысяча причин,— умная и высокомерная дочь банкира Маннгейма стремилась спуститься ступенью ниже, ничем не отличаясь в этом от любой немецкой мещаночки из тех, которых она так презирала.

Опыт длился недолго. Иллюзии Кристофа насчет Юдифи рассеялись почти так же быстро, как и возникли. Надо отдать справедливость Юдифи: она и не старалась поддержать их. С той минуты, как женщина такого склада произнесла над вами свой приговор, с той минуты, как она отвернулась от вас, вы уже для нее не существуете, она вас не замечает, она без стес-

нения, со спокойной дерзостью обнажает перед вами свою душу: ведь раздевается же она в присутствии своей собаки или кошки. Кристоф разглядел, как эгоистична и холодна Юдифь, как она мелочна. Она не успела захватить его целиком, но все же достаточно, чтобы причинить ему муку, привести его в лихорадочное состояние. Он не любил Юдифь, но любил то, чем она могла, чем должна была быть. Взгляд ее красивых глаз очаровывал и причинял боль,— Кристоф не мог их забыть; хоть он и разгадал теперь унылую душу, дремавшую в их загадочной глубине, но продолжал видеть в них то, что ему хотелось видеть, то, что он увидел в первый раз. Такое любовное наваждение без любви нередко овладевает сердцем художника, когда творчество не поглощает его целиком. Это наваждение может возникнуть даже случайно, при виде незнакомки на улице. Художнику открывается вся его красота, которой она не сознает, которой не дорожит. И чем меньше дорожит, тем больше ее любят. Любят, как прекрасную вещь, которая исчезнет прежде, чем узнают ей цену.

Быть может, Кристоф ошибался, и Юдифь Маннгейм не могла быть ничем, кроме того, чем она была. Но Кристоф на мгновенье поверил в нее, и чары еще не рассеялись: он не мог судить беспристрастно. Все, что было в ней прекрасного, казалось ему, принадлежало только ей, было ею самой. Все, что было в ней пошлого, он относил к ее двойственной национальности: еврейской и немецкой; и вторую он винил, пожалуй, больше, чем первую, ибо пострадал от нее больше. Он еще не наблюдал жизни других наций, и немецкий духовный уклад был для него козлом отпущения, отвечавшим за все грехи мира. Разочарование, пережитое им по вине Юдифи, еще сильнее толкало его на борьбу с этим укладом, который подбил крылья такой душе, и Кристоф не прощал этого.

Такова была первая встреча Кристофа с народом Израиля. В этой сильной, отчужденной от других нации он рассчитывал обрести союзника в борьбе. Напрасная надежда. Страстный, изменчивый, действующий по интуиции, Кристоф вечно впадал из крайности в крайность и очень скоро уверил себя, что эта нация гораздо слабее, чем думают, и гораздо податливее — даже слишком податлива — к воздействию извне. Она слаба не только собственной слабостью, но и всеми слабостями мира, приставшими к ней на ее пути. Нет, не здесь была та точка опоры, к которой он мог бы приложить рычаг своего искусства. Вернее всего с этой нацией его поглотили бы пески пустыни.

Поняв угрожавшую ему опасность и не находя в себе достаточно силы справиться с нею, Кристоф сразу перестал бывать у Маннгеймов. Несколько раз его приглашали, но он ограничивался извинениями, не объясняя причин своего отсутствия. Внезапная перемена была замечена, так как прежде он чересчур усердно посещал Маннгеймов; ее отнесли за счет «оригинальности» Кристофа, но никто из трех Маннгеймов не сомневался, что тут повинны прекрасные глаза Юдифи. Как-то за обедом Лотарь и Франц стали подтрунивать над этим. Юдифь пожала плечами, съязвив что-то насчет столь лестной победы, и сухо попросила брата «оставить ее в покое». Однако Юдифь сделала все, чтобы вернуть Кристофа. Написала ему под предлогом, что ей понадобилась справка из области музыки и что больше обратиться не к кому; в конце письма она дружески намекала, что он забыл их, что она была бы рада видеть его. Кристоф в ответном письме дал нужную справку, извинился недосугом — и не пришел. Иногда они встречались в театре. Кристоф упрямо отворачивался от ложи Маннгеймов; он прикидывался, что не видит Юдифь, которая готовилась встретить его самой своей обворожительной улыбкой. Она не настаивала. Не дорожа им, она считала недопустимым, чтобы этот захудалый музыкант предоставил ей нести все издержки, да еще впустую. Захочет — сам вернется. Не захочет — что ж, обойдутся и без него.

И обошлись; вечера Маннгеймов не очень пострадали от отсутствия Кристофа. Но Юдифь невольно затаила недоброе чувство к нему. Она считала естественным не обращать на него внимания, когда он бывал у них, и позволяла ему выражать свою обиду по этому поводу, но так разобидеться, чтобы порвать с нею отношения, было, по ее мнению, нелепой гордостью, проявлением не любви, а эгоизма. Юдифь не выносила своих пороков у других людей.

Тем внимательнее следила она за жизнью Кристофа, за всем, что он делал и писал. Она охотно заводила об этом стороной разговор с братом; выспрашивала, о чем он сегодня говорил с Кристофом; оттеняла его рассказ язвительными замечаниями, не пропуская ни одного смешного штриха, и незаметно для Франца исподволь подкапывалась под его кумир.

В журнале все шло сначала как нельзя лучше. Кристоф еще не понял, какая посредственность его собратья по перу; они же, причтя Кристофа к своим, признали за ним талант. Маннгейм, открывший его, не переставал твердить всем и каж-

дому, хотя и не прочел ни одной строки, написанной Кристофом, что это выдающийся критик, не понимавший своего истинного призвания, пока он, Маннгейм, не открыл ему глаза. О статьях Кристофа публика извещалась в загадочных выражениях, возбуждавших любопытство; и первая его статья взбаламутила сонный городок, точно камень, упавший в болото и всполошивший стаю уток. Эта статья была озаглавлена: «Слишком много музыки».

«Слишком много музыки, слишком много яств и питья,— писал Кристоф.— Едят, пьют, слушают не для того, чтобы удовлетворить голод, жажду или иные потребности, а лишь из привычки к чревоугодию. Как будто откармливают страсбургских гусей... Наша болезнь — ненасытный голод! Нам безразлично, что бы ни поднесли: «Тристана» или «Trompeter von Säckingen» [1], Бетховена или Масканьи, фугу или галоп, Адама, Баха, Пуччини, Моцарта или Маршнера,— нам все равно, что мы едим, лишь бы есть. Это даже не доставляет нам удовольствия. Взгляните на публику в концерте. Зря говорят, что немцы весельчаки! Они понятия не имеют о веселье: они всегда веселы. Их веселье и печаль, как дождик — моросит и моросит. Их радости мелки, как пыль, в них чувствуется дряблость и бессилие. Они готовы часами сидеть и впитывать, расплываясь в блаженной улыбке, звуки, звуки и звуки. Они ничего не думают, ничего не чувствуют — это губки. Подлинную радость, подлинную печаль — силу — нельзя разливать, как пиво из бочки, целыми часами. Она хватает вас за горло и покоряет. И ничего другого вам уже не нужно: душа ваша полна!..

Слишком много музыки! Вы убиваете себя и ее. Себя — это дело ваше. Но что касается музыки — руки прочь! Я не позволю вам унижать озаряющую мир красоту, сваливая в одну кучу и чудесную гармонию, и пошлость, исполняя «Парсифаля», как у вас это водится, вперемежку с фантазией на тему «Дочь полка» и квартетом саксофонов или обрамляя адажио Бетховена каким-нибудь кэк-уоком и бездарной пьесой Леонкавалло. Вы хвастливо называете себя народом великой музыкальности. По вашим словам, вы любите музыку. Какую же? Плохую или хорошую? Вы рукоплещете и той и другой. Надо же наконец сделать выбор. Чего вы хотите? Вы и сами не знаете. Да и не желаете знать: вы слишком боитесь высказать вслух свое мнение и попасть впросак... К черту осмотри-

[1] «Трубач из Зекингена» *(нем.)*.

тельность! Вы стоите выше партий, говорите вы? Выше — это значит ниже...»

И Кристоф привел стихи старого Готфрида Келлера, сурового цюрихского буржуа, одного из писателей, творчество которых было ему дорого музыкальной честностью и терпким ароматом вскормившей его земли:

Wer über den Parteien sich wähnt mit stolzen Mienen,
Der steht zumeist vielmehr beträchtlich unter ihnen.
(Да, всякий, кто себя над партиями мнит,
Как часто ниже их значительно стоит.)

«Имейте смелость быть самими собой,— продолжал он.— Имейте смелость быть уродливыми! Если вы любите плохую музыку, сознайтесь в этом прямо. Покажите себя в своем настоящем обличье. Сотрите с вашей души тошнотворный и двусмысленный грим. Смойте его бесследно. Боюсь, что вы давно уже не видели в зеркале своей физиономии! Могу ее показать вам. Композиторы, исполнители, дирижеры, певцы и ты, милейшая публика,— вы узнаете раз навсегда, кто вы такие. Будьте, чем вам угодно, но будьте же, черт возьми, правдивы! Правдивы, хотя бы в ущерб артистам и искусству! Если искусство не может ужиться с правдой, да погибнет искусство! Правда — это жизнь. Смерть — это ложь».

Эта юношеская декламация с ее крайностями довольно сомнительного вкуса вызвала, разумеется, бурное негодование. Но так как она метила во всех, никого определенно не выделяя, то каждый предпочитал не узнавать себя. Кто же не числит себя в друзьях правды, порою искренне в это веря? Можно было заранее поручиться, что никто не будет оспаривать выводов Кристофа. Но все возмущались общим тоном статьи; все в один голос находили его неуместным, в особенности для артиста, занимающего почти официальное положение. Некоторые музыканты всполошились и резко запротестовали: они предвидели, что Кристоф на этом не остановится. Другие решили, что вернее будет поздравить Кристофа с мужеством, которое он проявил, но и они с немалой тревогой ждали следующих статей.

Ни та, ни другая тактика не оказала влияния на Кристофа. Он уже ринулся в бой, и ничто не могло его удержать; все — и авторы и исполнители, как и посулил Кристоф,— получили по заслугам.

Первыми попали под удар капельмейстеры. Кристоф не удовольствовался отвлеченными рассуждениями о дирижер-

ском искусстве. Он перебрал поименно всех дирижеров своего и окрестных городов; а если он не называл их по имени, то его намеки были так ясны, что их тут же разгадывали. Всем знаком был портрет вялого придворного дирижера Алоиза фон Вернера, покладистого, осыпанного почестями старика, который всего на свете страшился, никого не смел задеть и, боясь сделать замечание музыкантам, покорно приспосабливался к ним; он не решался включать в свои программы ни одной вещи, которая не была бы освящена успехом двадцатилетней давности или хотя бы ограждена официальным одобрением какого-нибудь академического светила. Кристоф иронически превозносил его «смелость»; он поздравлял дирижера с тем, что тот открыл Гаде, Дворжака и Чайковского; он превозносил неизменно аккуратную, метрономически размеренную и ажурно-тонкую (fein-nuanciert) игру его оркестра; он предлагал ему оркестровать к ближайшему концерту «Школу беглости» Черни; он заклинал его не переутомлять себя, не слишком увлекаться и щадить свое драгоценное здоровье. И тут же обрушивался на его манеру дирижировать «Героической симфонией» Бетховена.

«Пушку! Пушку сюда! Огонь по ним!.. Ведь это значит не понимать, что такое бой, что такое поединок с человеческой глупостью и жестокостью и что такое сила, с радостным смехом повергающая их во прах. Да и откуда вам знать? Ведь с вами-то она и сражается! А вашего героизма только на то хватает, чтобы подавлять зевоту, когда вы слушаете или играете «Героическую симфонию» Бетховена (ибо она навевает на вас скуку... Сознайтесь же, что вам скучно ее слушать, что вы умираете от скуки!), или пренебрегать опасностью простудиться от сквозняков, когда вы стоите, обнажив голову и согнув спину в ожидании выхода какой-нибудь *сиятельной особы!»*

Кристоф не жалел язвительных слов, говоря о жрецах консерваторий, для которых гений прошлого — это только *классик.*

«Классик! Этим словом все сказано. Вольную страсть приглаживают, выхолащивают на потребу школярам! Жизнь, ее необозримые просторы, где гуляет ветер, втискивают между четырех стен двора! Бурный и гордый ритм мятущегося сердца укладывают в четырехдольный такт, в тик-так часового механизма, и он мирно бредет своей куцей тропкой, прихрамывая и опираясь на крепкий костыль метронома. Вам и океан

только тогда мил, когда он заключен в банку с золотыми рыбками. Вы начинаете понимать жизнь, лишь превратив ее в труп».

Если Кристоф не щадил «чучельников», как он величал их, то еще менее склонен он был мирволить «цирковым наездникам» — знаменитым дирижерам, объезжающим грады и веси, приводя в восторг публику своими округлыми движениями и набеленными руками, тем, кто щеголяет своей виртуозностью за счет правдивого толкования великих мастеров, в чьем изощренном исполнении становятся неузнаваемы самые известные вещи, кто словно сквозь обруч прыгает сквозь симфонию до-минор. Он честил их старыми кокетками, цыганами, канатными плясунами.

Богатую пищу давали Кристофу виртуозы. Он говорил, что судить об их концертах, этих сеансах фокусников, в сущности, не его дело. Пусть Консерватория искусств и ремесел сама разбирается в этих механических упражнениях, которые можно оценивать только по приборам, показывающим долготу звучания и число нот, а также количество затраченной энергии. Иногда он утверждал, что какой-нибудь прославленный пианист-виртуоз, который мог два часа подряд одолевать ужаснейшие трудности с улыбкой на устах и локоном на глазах, не способен исполнить простейшее *анданте* Моцарта. Разумеется, Кристоф не оспаривал наслаждения, которое приносит преодоление трудностей. Он и сам это испытывал, знал эти счастливые мгновения. Но видеть в подобных трудностях только техническую сторону и докатиться до того, чтобы сводить к ней весь героизм искусства, в его глазах было унизительно и нелепо. Он не давал спуску «львам» и «пантерам» рояля. Но не очень-то миловал и честных педантов, которыми славится Германия: из понятного опасения исказить текст великих мастеров, они тщательно вытравляли из него всякий намек на взлет мысли, как это делал, например, Ганс фон Бюлов, и исполнение насыщенной страстью сонаты походило у них на урок дикции.

Затем пришла очередь певцов. Кристофу давно уже не терпелось отчитать их за варварскую косность и провинциальную манерность. Тут играло роль не только воспоминание о его ссоре с дамой в голубом. Это была отместка за все те спектакли, на которых он претерпел немалые муки. И ушам и глазам было от них одинаково больно. Притом у Кристофа не было еще достаточного материала для сравнений, ему трудно было судить об уродстве этих убогих постановок, этих безвкус-

ных костюмов, этих кричащих красок. Но его не могли не возмущать вульгарность актеров, их жестов, поз, наигранность тона, неспособность их перевоплощаться, непостижимое безразличие, с каким они перепархивали с одной роли на другую, лишь бы эти роли были написаны примерно в одном и том же голосовом регистре. Полнотелые, веселые, пышные матроны показывали себя поочередно в «Изольде» и в «Кармен». Амфортас играл Фигаро!.. Но, разумеется, Кристофа больше всего ужасало безвкусное пение, особенно в классических операх, где так много значит красота мелодии. В Германии уже разучились петь прекрасную музыку конца XVIII столетия, да и не старались. Прозрачный, ясный стиль Глюка и Моцарта, как бы пронизанный, подобно стилю Гете, итальянским светом; этот стиль, который уже у Вебера начинает мельчать, становится суетливым и пестрым; этот стиль, впадающий в смешную и тяжелую карикатуру у автора «Crociato», был окончательно сокрушен в эпоху торжества вагнеровской музыки. Небеса Греции огласились пронзительными криками мчащихся в неистовом полете валькирий. Свет померк от клубящихся туч Одина. И никто уже не думал петь музыку: пели поэмы. Никто уже не замечал небрежной отделки деталей, нестройности, даже фальшивых нот — на том основании, что, мол, важно произведение в целом, важна мысль.

«Мысль! Поговорим о мысли. Можно подумать, что вы ее понимаете. Но так или иначе, понимаете вы ее или нет, благоволите уважать форму, которую она для себя избрала. Ведь музыка — это прежде всего музыка и ею должна остаться!»

Впрочем, эта великая забота о выразительности, о глубине мысли, якобы обуревающая немецких артистов, по мнению Кристофа, была милой шуткой. Выразительность? Мысль? Да, они совали их всюду, куда ни попало. Они ухитрились бы найти мысль даже в шерстяном носке — и ровно столько же, не больше и не меньше, в статуе Микеланджело. Они играли с одинаковым рвением кого угодно и что угодно. В конечном счете для большинства из них главной сутью в музыке, как утверждал Кристоф, была объемность звука, музыкальные шумы. Если любовь к пению была так сильна в Германии, то лишь потому, что оно удовлетворяло потребность в голосовой гимнастике. Главное набрать побольше воздуха, раздуть грудь и со всей энергией, сильно, долго, мерно выталкивать его. И Кристоф преподносил иным знаменитым певицам в качестве комплимента справку о нахождении в добром здравии.

Он громил не только артистов. Перешагнув через рампу, Кристоф взялся за публику, которая слушала его, разинув от удивления рот. Оглушенная атакой, она не могла решить, смеяться или гневаться. Публика имела полное право негодовать на несправедливость Кристофа: ведь она не ввязывалась в схватку между различными течениями в искусстве; она осторожно обходила все жгучие вопросы и из боязни попасть впросак аплодировала всем. И вот Кристоф вменяет ей в вину то, что она аплодирует... Аплодирует плохим произведениям? Это бы еще полбеды! Но Кристоф шел дальше: он упрекал ее за то, что она аплодирует великим произведениям!

«Притворщики,— писал он.— Можно подумать, что вы захлебываетесь от восторга! Бросьте! Вы доказываете как раз обратное. Хлопайте, если вам угодно, пьесам или страницам, которые сами напрашиваются на аплодисменты. Хлопайте шумливым финалам, созданным, говоря словами Моцарта, «для длинных ушей». Тут можете дать себе полную волю: ослиный рев здесь предусмотрен, это неотъемлемая часть концерта. Но после «Missa Solemnis» [1] Бетховена!.. Ничтожества!.. Ведь это день Страшного суда! Перед вами только что прошла, как шторм на океане, пламенная Gloria [2], перед вами промчался вихрь исполинской и яростной воли. Вот он замер, зацепившись за облака, судорожно повиснув над бездной,— и снова бешено ринулся в пространство. Ураган рычит. В самом разгаре бури — неожиданная модуляция, ярко блеснувший звук прорезывает мрак неба и падает на свинцовое море пятном света. И это всё: дикий полет ангела-истребителя сразу прекращается; его крылья пронзены тремя зигзагами молний. Но все еще трепещет вокруг. Весь мир зыбится перед опьяненным взором, как при головокружении. Сердце стучит, дыхание прерывается, тело цепенеет. Но не успела отзвучать последняя нота, как вы уже довольны и веселы, вы шутите, смеетесь, критикуете, рукоплещете! Так, значит, вы ничего не увидели, не услышали, не пережили, ничего, ровно ничего не поняли! Страдания художника для вас — только представление. Вы находите, что Бетховен тонко передал пережитую им смертную муку. Вы способны кричать «бис» на Голгофе. Человек, почти равный богам, целую жизнь страдает и борется — и все для того, чтобы на часок-другой доставить вам развлечение, потешить ваше любопытство!..»

---

[1] «Торжественная месса» *(лат.)*.

[2] Слава *(лат.)*.

Так Кристоф разъяснял и истолковывал, сам того не зная, великие слова Гете; но он еще не достиг его горделивой ясности.

«Для народа красота возвышенного — забава. Если бы он и мог постичь ее, у него не хватило бы сил ее созерцать...»

Когда бы Кристоф этим и ограничился!.. Но в своем увлечении он перескочил через публику и пушечным ядром врезался в алтарь, в святая святых, неприкосновенное убежище посредственности — в ряды критиков. Он обрушился на своих собратьев. Один из них дерзнул наброситься на одареннейшего из композиторов того времени, наиболее передового глашатая новой школы — Гаслера, автора программных симфоний, отмеченных печатью таланта, хотя и не свободных от сумасбродства. В душе Кристофа, который познакомился с Гаслером еще в детстве, до сих пор жило тайное чувство нежности и благодарности за то радостное волнение, которое он когда-то пережил при их встрече. То, что скудоумный и, насколько ему было известно, невежественный критик поучает человека такого масштаба, как Гаслер, предлагая ему держаться порядка и положенных правил, взорвало Кристофа.

«Порядок! Порядок! — воскликнул он.— Для вас существует только один порядок: полицейский. Гений не дает увлечь себя на избитые тропы. Он сам создает порядок и волю свою возводит в закон».

От этого гордого заявления он перешел к атаке на злополучного критика и, разобрав весь тот вздор, который был им написан за последнее время, беспощадно расправился с ним.

Критики, все, как один, почувствовали себя уязвленными. До этого случая они оставались вдали от поля битвы. У них не было смелости одергивать Кристофа: они знали молодого композитора, знали, что он хорошо разбирается в вопросах музыки и не отличается терпением. Кто-то из них смиренно выразил сожаление, что такой даровитый композитор заблудился в дебрях чужого ремесла,— на большее они не отважились. Какого бы мнения они не держались сами (в тех случаях, когда таковое у них было), они чтили в Кристофе свою собственную привилегию — все критиковать, самим не подвергаясь критике. Однако, как только они увидели, что Кристоф грубо нарушил связывавшую их круговую поруку, они тотчас же признали его врагом общественного порядка. Они дружно сочли недопустимым, что молодой человек позволил себе высказать непочтение к именам, составляющим славу нации, и вы-

ступили в ожесточенный поход против Кристофа. Они не писали пространных статей, не затевали длительной полемики (им не особенно улыбалась перспектива схватиться на этой почве с противником, лучше вооруженным, нежели они сами, хотя, надо сказать, журналисты обладают особой способностью спорить, не считаясь с доводами противника и даже не ознакомившись с ними): долгий опыт показал им, что читатель всегда придерживается взглядов своей газеты и посему даже видимость спора подорвет их авторитет,— надо либо утверждать, либо, еще лучше, отрицать. Сильнее действует отрицание. Это прямое следствие закона тяготения: легче уронить камень, чем метнуть его вверх. Поэтому критики предпочли обстреливать Кристофа коротенькими заметками — каверзными, едкими, глумливыми — и печатали их настойчиво и упорно изо дня в день на самом видном месте. Они выставляли в смешном виде заносчивого Кристофа, не называя его имени, но говоря о нем обиняком и в весьма прозрачной форме. Они передергивали его слова, так что получался невероятный вздор, рассказывали о нем анекдоты, порой исходя из действительного происшествия, к которому они приплетали собственные измышления, хитро рассчитанные на то, чтобы поссорить его со всем городом, и в первую очередь с двором. Они изображали в карикатурном виде даже его наружность, черты лица, манеру одеваться, и, когда эта карикатура примелькалась публике, многие начали находить в ней сходство с оригиналом.

Все это мало трогало бы друзей Кристофа, если бы в этой потасовке не получил несколько царапин и их журнал. Правда, пока это были скорее предостережения: критики не имели намерения втравить журнал в свою ошибку с Кристофом, скорее они добивались разрыва между ними; они выражали удивление, что журнал не бережет своей репутации, и намекали, что если слова их не будут услышаны, то придется, как ни жаль, посчитаться и с остальными сотрудниками редакции. Первые, довольно безобидные, выпады против Адольфа Мая и Маннгейма всполошили все осиное гнездо. Маннгейм только смеялся при мысли о том, как взбесится его отец, а за ним и дядюшки, двоюродные братья, словом, вся его многочисленная семейка, почему-то считавшая себя вправе надзирать за всеми его действиями и возмущаться. Но Адольф Май отнесся к этой атаке весьма серьезно и упрекнул Кристофа за то, что

он своим поведением набрасывает тень на журнал. Кристоф дал ему резкий отпор. Прочие, поскольку их не трогали, находили забавным, что Май, действовавший заодно с ними, расплачивается за все. Вальдгауз втайне радовался; он заявил, что, где сражение, там и головы летят. Разумеется, он был уверен, что уж его-то голова, во всяком случае, уцелеет, что он недосягаем для ударов в силу положения своей семьи и ее связей. Если же его союзников, евреев, немножко потреплют, беда невелика. Эренфельд и Гольденринг, тоже не попавшие под обстрел, не слишком боялись нападения: они могли постоять за себя. Их гораздо сильнее раздражало упорное стремление Кристофа перессорить их со всеми их друзьями и особенно с приятельницами. Когда появились первые статьи Кристофа, все члены редакции от души посмеялись и нашли, что шутка вышла преуморительная: их восхищало, что Кристоф бьет стекла с таким темпераментом; они полагали, что нетрудно будет умерить его боевой задор, указав Кристофу, кого не следует трогать. Ничуть не бывало. Кристоф ничего и никого не слушал: он не считался с их пожеланиями и окончательно закусил удила. Если его не обуздать, то хоть беги из города. Уже не раз в редакцию врывались их приятельницы, расстроенные, разъяренные, и устраивали сцены. Члены редакции пустили в ход все свои дипломатические таланты, уговаривая Кристофа хоть немного смягчить резкость своих отзывов. Кристоф не соглашался. Друзья начали сердиться; рассердился и Кристоф, но на уступки не пошел. Вальдгауз только посмеивался над смятением приятелей, ничуть его не трогавшим, и, желая позлить их, стал на сторону Кристофа. Быть может, он лучше прочих способен был оценить великодушное сумасбродство Кристофа, который несся в атаку стремглав, один против всех, отрезая себе все пути к отступлению, не подготовив прибежища на будущее. Что касается Маннгейма, то он был в восторге от всей этой кутерьмы: бросить помешанного в среду разумных людей — это ли не потеха? И он потешался, когда удары наносил Кристоф, потешался, когда громили Кристофа. Хотя Маннгейм, под влиянием сестры, уже склонялся к мысли, что у Кристофа «не все дома», он еще сильнее полюбил его за это (у него была потребность находить смешные стороны у тех, кто ему нравился). И он продолжал вместе с Вальдгаузом поддерживать Кристофа против остальных.

Не лишенный делового чутья, вопреки всем стараниям уверить себя и других в противном, Маннгейм здраво рассу-

дил, что для его друга было бы выгодно вступить в союз с наиболее передовым музыкальным направлением в стране.

В их городе, как в большинстве немецких городов, существовало Wagner-Verein [1], отстаивавшее новаторство в противовес консервативному течению. Разумеется, в то время уже можно было без всякой опаски защищать Вагнера, ведь слава его прогремела повсюду, и его произведения прочно утвердились в репертуаре всех оперных театров Германии. Однако эта победа не была признана добровольно, а скорее навязана силой, и в душе большинство слушателей упрямо цеплялись за старые традиции, и уж тем более в провинциальном городке, который держался вдали от новейших течений современности и гордился своей древней славой. Здесь сильнее, чем где-либо, давало себя знать врожденное недоверие немцев ко всякому новаторству, та лень чувства, которая заставляла их сторониться всего правдивого и сильного, всего, что не было пережевано несколькими поколениями. Это сквозило в неприязни, с какою публика встречала если не оперы самого Вагнера, против которых она уже не смела спорить, то все новые произведения, проникнутые вагнеровским духом. И, конечно, Wagner-Verein сделали бы полезное дело, взяв на себя задачу отстаивать молодые и своеобразные художественные дарования. Иногда они так и поступали, и в лице вагнерианцев Брукнер или Гуго Вольф обрели вернейших соратников. Но ученики слишком часто были отмечены печатью того же себялюбия, что и учитель; и если Байрейт был предназначен для необузданной хвалы одному лишь таланту, то и *филиалы* Байрейта были маленькими храмами, где днем и ночью кадили фимиам единому богу. В лучшем случае в боковые приделы допускались верные ученики, которые держались буквы священных канонов и, распростершись во прахе, поклонялись своему божеству — единому во многих лицах: в музыке, поэзии, драме и метафизике.

Точно такими же свойствами отличалось Wagner-Verein в том городе, где жил Кристоф. Но оно действовало осмотрительно: здесь вербовались молодые таланты, если можно было рассчитывать на их услуги; и на Кристофа здесь уже давно имели виды. С ним осторожно заигрывали, на что Кристоф не обращал внимания, не испытывая ни малейшей потребности вступать в союз с кем бы то ни было; он не понимал, чего ради его соотечественники вечно сбиваются в стадо, как будто они

[1] Вагнеровское общество *(нем.)*.

не способны предпринять что-либо в одиночку: попеть, погулять, выпить. Самый дух ферейнов отталкивал его. Но уж если с каким-нибудь мириться, то с вагнеровским: тут, по крайней мере, давали прекрасные концерты; не вполне сходясь с вагнерианцами в их взглядах на искусство, Кристоф стоял ближе к ним, чем к другим музыкальным течениям. Казалось бы, он мог найти общий язык с кружком, столь же несправедливым, как и он сам, к Брамсу и «браминам». Итак, он согласился познакомиться с вагнерианцами. Роль посредника играл Маннгейм: он знал всех и вся. Сам не будучи музыкантом, он тем не менее был членом Wagner-Verein. Руководители общества следили за кампанией, которую Кристоф повел в журнале. Расправы его с представителями противоположного лагеря показывали, что он обладает могучими кулаками и что неплохо было бы залучить его к себе. Кристоф, правда, два-три раза не совсем уважительно отозвался о священном кумире вагнерианцев, но они предпочли не замечать этого; и, быть может, как раз под влиянием этих первых довольно невинных наскоков вагнерианцы по безмолвному соглашению и поспешили завладеть Кристофом, не дожидаясь, чтобы он высказался яснее. У него любезно попросили разрешения сыграть некоторые его пьесы на одном из предстоящих концертов общества. Польщенный Кристоф выразил согласие. Он явился в Wagner-Verein и, по настоянию Маннгейма, согласился вступить в него.

Общество возглавляли в то время два человека, из которых один был известен как писатель, а другой как дирижер. Оба фанатически веровали в Вагнера. Первый, Иозиас Клинг, был автором вагнеровского словаря — «Wagner-Lexikon», из которого можно было в любой момент почерпнуть сведения о мыслях учителя de omni re scibili. Это творение было делом его жизни. Он без труда мог читать наизусть целые главы своей книги, подобно тому как французские провинциалы-буржуа в свое время читали целые песни из «Орлеанской девственницы». В «Байрейтер блеттер» печатались статьи Клинга о Вагнере и об арийском духе. Для него Вагнер, разумеется, был воплощением того арийского типа, который сохранился в чистом виде лишь в немецкой нации, этой неприступной крепости, куда не проникли разлагающие влияния латинского и, в частности, французского семитизма. Он возвещал окончательное поражение низменного галльского духа. И, однако, Клинг изо дня в день ожесточенно сражался с этим духом, как будто сей извечный враг был все еще грозен и опасен. Во всей

Франции он находил одного лишь великого человека: графа Гобино. Клинг был маленький старичок, почти карлик, весьма учтивый и конфузливый, как барышня. Другим столпом Wagner-Verein был Эрих Лаубер, бывший директор химического завода; в сорокалетнем возрасте он вдруг бросил все свои дела и стал дирижером. Сильная воля и богатство помогли ему добиться намеченной цели. Это был фанатический приверженец Байрейта: если верить слухам, он совершил туда паломничество из Мюнхена — как полагается пешком, в сандалиях. Любопытная черта: этот человек, начитанный, немало поездивший по свету, перепробовавший несколько профессий и везде выказавший незаурядную энергию, в музыке стал одним из баранов панургова стада,— всю свою самобытность он употребил здесь на то, чтобы быть еще немного глупее, чем прочие. Слишком нетвердо чувствуя себя на почве музыки и не доверяя поэтому собственному чутью, он рабски держался толкований, которые давали Вагнеру капельмейстеры и артисты, получившие патент из Байрейта. Он стремился воспроизвести в мельчайших подробностях постановки и пестрые костюмы, приводившие в восторг маленький ванфридский двор и отвечавшие его незрелому, варварскому вкусу. Лаубер был из той же породы, что и фанатический ученик Микеланджело, переносивший на свои копии даже плесень, которая появилась на священных творениях и потому сама стала священной.

Кристоф, разумеется, не очень жаловал Лаубера и Клинга. Но это были светские люди, любезные, не без образования; с Лаубером даже было интересно побеседовать — на любую тему, кроме музыки. К тому же он был сумасброд, а сумасброды привлекали Кристофа в силу контраста с несносной заурядностью благоразумных людей. Он еще не знал, что нет ничего несноснее человека, для которого не обязательна логика, и что оригинальность еще реже свойственна тем, кого зря называют «оригиналами», чем всем прочим. Ибо эти «оригиналы» — попросту маньяки, мышление которых не сложнее тиканья часов.

Иозиас Клинг и Лаубер, которым хотелось завоевать Кристофа, сначала наперебой подчеркивали свое уважение к нему. Клинг напечатал хвалебную статью о его музыке, а Лаубер, дирижируя оркестром, исполнявшим пьесы Кристофа на одном из концертов общества, старался соблюсти мельчайшие указания автора. Кристоф был тронут. Но благоприятное впечатление быстро стерлось по неразумию самих господ вагнерианцев. Кристоф не умел обольщаться насчет людей под влиянием

похвал и восторгов. Он был требователен и не желал, чтобы восхищались качествами, отнюдь ему не свойственными,— более того, противоречащими его натуре; для него друг по недоразумению быть чуть ли не страшнее врага. А посему Кристоф не питал ни малейшей признательности к Клингу, который произвел его в ученики Вагнера и пытался сопоставлять фразы из его Lieder с отдельными местами «Тетралогии», хотя в них только и было общего, что несколько нот в гамме. И он без всякого удовольствия слушал одно из своих произведений, втиснутых — вкупе с какой-то бездарной подделкой под Вагнера — между двумя массивными, как глыбы, отрывками из творений бессмертного Рихарда.

Вскоре Кристоф начал задыхаться в этой молельне вагнеровской секты. Это была та же консерватория, не менее ограниченная, чем старые, и еще менее терпимая к другим, как всякий неофит в искусстве. Кристоф начинал понимать, как он ошибался, придавая самодовлеющее значение форме в области искусства или мышления вообще. Раньше он предполагал, что свет великих идей повсюду следует за ними. Теперь он убедился, что, как бы ни менялись идеи, люди — всегда люди; и в конечном итоге все дело в них: они накладывают свой отпечаток на идеи. Если люди бездарны, раболепны, то даже гениальные идеи, пройдя через их души, становятся посредственными, и клич свободы, брошенный героем, сбрасывающим свои цепи, становится для будущих поколений актом порабощения. Кристоф не мог удержаться, чтобы не высказать своих чувств. Он обрушился на фетишизм в искусстве. Он заявил, что не нужно никаких кумиров, никаких классиков и называться преемником вагнеровского гения вправе лишь тот, кто способен низвергнуть Вагнера и идти вперед прямо, без оглядки на прошлое, кто имеет мужество предоставить умереть тому, что должно умереть, и пребывает в пламенном общении с жизнью. Глупость Клинга заставила Кристофа перейти в наступление. Он стал подчеркивать все то ложное и смешное, что обнаруживал у Вагнера. Вагнерианцы не замедлили упрекнуть его в комичной зависти к их божеству. Кристоф, со своей стороны, не сомневался, что те самые Клинги и Лауберы, которые боготворили Вагнера после его смерти, первые стали бы душить его при жизни,— в чем он был неправ. У них тоже бывали минуты, озаренные вдохновением; лет двадцать назад они принадлежали к передовому лагерю, но, как большинство, тут и застряли. Человек так слаб, что выдыхает-

ся при первом же подъеме; очень немногим хватает дыхания, чтобы продолжать восхождение.

Поведение Кристофа скоро расхолодило его новых друзей. Их поддержка, по существу, была сделкой: они стояли бы за него, если бы он стоял за них; а между тем они поняли, что Кристоф не поступится своим ни на йоту, что приручить его не удастся. Теперь его встречали сухо. Раз он отказывался кадить большим и малым богам, признанным этим кланом, то и ему отказывали в славословиях. Да и произведения его уже не встречали такого приема, как прежде. Некоторые даже выражали недовольство по поводу того, что его имя слишком часто мелькает в программах. Над ним насмехались за спиной, а тем временем критики продолжали свой поход. Отмалчиваясь, Клинг и Лаубер как бы выражали свое согласие с ними. Тем не менее они опасались порвать с Кристофом: во-первых, мозг прирейнского жителя предпочитает полурешения, ничего не решающие и удобные тем, что они позволяют затягивать неопределенное положение до скончания века; а кроме того, они рассчитывали в конце концов обломать Кристофа: взять его если не убеждением, то измором.

Но Кристоф опередил их. Если кто-нибудь питал к нему неприязнь, но не желал в этом признаться, пытался обмануть себя и поддерживал с ним приятельские отношения, Кристоф умел доказать приятелю, что в действительности они враги. После одного из вечеров Wagner-Verein, где Кристоф наткнулся на стену скрытой враждебности, он, не долго думая, послал Лауберу извещение о своем выходе из общества. Лаубер ничего не понял, а Маннгейм прибежал к Кристофу с намерением все уладить. С первых же слов Кристофа прорвало:

— Нет, нет, нет и нет! Ни слова об этих субъектах. Не хочу я их больше видеть; не могу, понимаешь, не могу... Мне так опротивели люди, что я почти не в состоянии смотреть на них.

Маннгейм хохотал от всего сердца. Он не столько успокаивал взволнованного Кристофа, сколько старался развлечься интересным зрелищем.

— Я прекрасно знаю, что не очень-то они хороши,— сказал он,— но разве это новость для тебя? Что же, в сущности, произошло нового?

— Ничего. Просто мне надоело... Да, можешь сколько угодно хохотать, насмехаться. Известно — я сумасшедший. Благоразумные люди прислушиваются к голосу рассудка. Я — нет; я действую по мгновенному побуждению. Когда во мне нако-

пилось много электричества, необходим во что бы то ни стало разряд; и тем хуже для других, если они обожгутся! И тем хуже для меня! Я не создан, чтобы жить в обществе. Отныне я сам себе господин.

— Неужели ты воображаешь, что можешь обойтись без людей? — спросил Маннгейм.— Ведь не будешь же ты сам исполнять все свои произведения! Тебе понадобятся певцы, певицы, оркестр, дирижер, публика, клака...

Кристоф кричал:

— Нет! нет! нет!

Но при слове «клака» он вскочил:

— Что? Как тебе не стыдно?

— Не будем говорить о наемной клаке (хотя, откровенно говоря, пока еще не найдено другого средства убедить публику в ценности того или иного произведения). Но вообще без клаки не обойтись — пусть это будет маленькая, но хорошо вымуштрованная группа приятелей; у каждого автора она есть; вот тут-то и могут пригодиться друзья.

— Не нужны мне друзья!

— Ну, значит, тебя освищут.

— Пусть освищут — этого я и хочу.

Маннгейм был на седьмом небе.

— Это забава ненадолго. Тебя просто не будут играть.

— Пусть! Разве я домогаюсь славы?.. Да, я изо всех сил рвался к ней... Бессмыслица! Безумие! Глупость!.. Как будто удовлетворение пошленького тщеславия может вознаградить за все жертвы — неприятности, мучения, подлости, унижения, гнусные уступки,— за все, чем оплачиваешь славу! Да будь я проклят, если я буду еще засорять свой мозг подобными заботами! Ну их! Не желаю я иметь ничего общего с публикой и рекламой. Реклама — гнусная мошенница. Я хочу быть частным лицом, хочу жить для себя и для тех, кого люблю...

— Вот как! — насмешливо сказал Маннгейм.— В таком случае возьмись за какое-нибудь ремесло. Почему бы тебе не тачать сапоги?

— Ах, будь я башмачником, как несравненный Сакс! — воскликнул Кристоф.— Вот весело было бы жить! Башмачник в будни, музыкант в воскресенье, да и то в тесном дружеском кружке, на радость себе и двум-трем приятелям. Вот это была бы жизнь!.. Только сумасшедший может расточать время и труды ради сомнительного удовольствия попасть в когти безмозглых критиков. Разве не лучше, не прекраснее, когда тебя любит и ценит десяток честных людей, чем когда

тебя слушают тысячи ослов и то смешивают с грязью, то превозносят до небес... Нет, теперь дьяволу гордости и честолюбия не поддеть меня, уж поверь!

— Верю,— сказал Маннгейм. И подумал: «Посмотрим, что он скажет через час».

Он спокойно подвел итог:

— Итак, мы помиримся с Wagner-Verein?

Кристоф воздел руки к небесам:

— Да я же целый час надсаживаюсь, доказывая обратное! Я же говорю тебе: никогда ноги моей там не будет! Меня в дрожь кидает от всех этих Wagner-Verein, от этих обществ, от этих загонов, где бараны сбиваются в кучу и блеют хором. Передай им от моего имени, этим баранам, что я волк, что я зубаст и не в моей натуре довольствоваться подножным кормом!

— Ладно, ладно, передам,— отозвался Маннгейм и ушел, довольный проведенным утром. Он думал: «Совсем сумасшедший, хоть вяжи...»

Юдифь, которой Маннгейм немедленно пересказал весь разговор с Кристофом, пожала плечами и заметила:

— Сумасшедший? Ну, нет, не верю, как бы ему того ни хотелось. Просто глуп и до смешного заносчив.

Между тем ожесточенный поход, начатый Кристофом в журнале Вальдгауза, продолжался. Не то чтобы это доставляло Кристофу удовольствие: ему уже порядком надоела роль критика, и он готов был все и всех послать к черту. Но, поскольку ему изо всех сил старались зажать рот, он упирался: враги, чего доброго, могли бы подумать, что он капитулирует.

Теперь всполошился уже и Вальдгауз. Пока он сам оставался невредим среди града ударов, он с олимпийским спокойствием наблюдал за схваткой. Но с некоторых пор другие издания, по-видимому, перестали сознавать, что его особа неприкосновенна. Они нападали на него, уязвляя его авторское самолюбие с такой жестокостью, что при более тонком нюхе он сразу почуял бы когти друга. И в самом деле, эти атаки производились по тайному почину Эренфельда и Гольденринга: они не видели другого способа заставить Вальдгауза прекратить полемические наскоки Кристофа. Они рассчитали правильно. Вальдгауз тотчас же заявил, что Кристоф начинает его раздражать, и перестал поддерживать композитора. Тогда

вся редакция взапуски принялась изыскивать наилучший способ заткнуть рот Кристофу. Но попробуйте надеть намордник на гончую в то мгновенье, когда она рвет свою добычу! Все увещания только подливали масла в огонь. Кристоф обзывал новых приятелей трусами и заявлял, что будет говорить все — все, что считает своим долгом сказать. Если они хотят выставить его за дверь — на то их воля! Всему городу станет известно, что они такие же трусы, как все прочие, но добровольно он не уйдет.

Удрученные коллеги Маннгейма только растерянно переглядывались и горько выговаривали ему за подарок, который он им преподнес в лице этого помешанного. Маннгейм, по своему обыкновению смеясь, взялся один укротить Кристофа: он побился об заклад, что уже в следующей статье Кристоф возьмет тоном ниже. Ему не поверили, но события показали, что обещание Маннгейма не было пустым хвастовством. В следующей статье Кристофа, далеко не медоточивой, все же не было язвительных выпадов. Способ, примененный Маннгеймом, был донельзя прост, и все только удивлялись, как это им раньше не пришло в голову. Кристоф никогда не перечитывал написанные для журнала статьи; корректуру он пробегал небрежно и наспех. Адольф Май не раз делал ему по этому поводу кисло-сладкие замечания: он говорил, что опечатки — позор для журнала; Кристоф же, ставивший критику ниже искусства, отвечал, что те, кого он заденет, уж как-нибудь поймут его. На этом и сыграл Маннгейм: он сказал, что Кристоф прав, что читать гранки дело корректора; он охотно сам возьмет на себя эту обязанность. Кристоф собирался рассыпаться в изъявлениях благодарности, но все в один голос поспешили уверить его, что редакция от этого только выиграет, так как избавится от лишней проволочки. И Кристоф предоставил свои корректуры в распоряжение Маннгейма, прося его получше их выправить. Маннгейм и стал их выправлять: это было для него развлечением. Вначале он лишь отваживался слегка умерять резкость некоторых выражений, выбрасывал кое-где обидные эпитеты. Окрыленный удачей, он пошел дальше: начал переправлять уже целые фразы, извращать их смысл; он проявил в этом занятии подлинную виртуозность. Вся соль была в том, чтобы сохранить костяк фразы и своеобразную манеру Кристофа и все же вложить в его уста противоположное тому, что он хотел сказать. На подтасовку мыслей Кристофа Маннгейм затрачивал больше стараний, чем на собственные статьи: он никогда за всю жизнь так усердно не трудился. Но зато успех

был полный: музыканты, которых Кристоф донимал насмешками, с удивлением убеждались, что он мало-помалу становится любезнее и даже начинает расточать им похвалы. Редакция была в восторге. Маннгейм читал им вслух плоды своих упражнений. Они хохотали до упаду! Эренфельд и Гольденринг иногда говорили Маннгейму:

— Осторожней! Ты перегибаешь палку!

— Не беспокойтесь,— отвечал Маннгейм.

И продолжал трудиться с еще большим усердием.

Кристоф ничего не замечал. Он являлся в редакцию, вручал статью, и с этой минуты она переставала занимать его. Иногда он отзывал Маннгейма в сторону:

— На сей раз я им сказал все начистоту, этим канальям. Почитай-ка.

Маннгейм читал.

— Ну, как по-твоему?

— Сильно, дорогой мой! Ты их стер в порошок.

— Как ты думаешь, что они на это скажут?

— Подымут визг и вой!

Но никакого визга не последовало. Напротив, лица вокруг Кристофа расцветали улыбками; люди, вызывавшие у него отвращение, раскланивались с ним на улице. Однажды он явился в редакцию встревоженный и сумрачный; бросив на стол визитную карточку, он спросил:

— Что это значит?

Визитная карточка была от музыканта, которого он только что отчитал; на ней значилось: «От искренне благодарного».

Маннгейм, смеясь, ответил:

— Это он иронизирует.

Кристоф с облегчением вздохнул.

— Вот оно что,— сказал он,— а я было подумал, уж не доставил ли я ему удовольствие своей статьей.

— Он взбешен,— сказал Эренфельд,— и не хочет в этом признаться. Пытается подчеркнуть, что он выше всего этого, издевается...

— Издевается!.. Свинья! — воскликнул Кристоф, снова впадая в негодование.— Так я преподнесу ему еще статью. Хорошо смеется тот, кто смеется последним!

— Нет, нет,— сказал, встревожившись, Вальдгауз.— Не думаю, чтобы он насмехался. Скорей уж это кротость, он — добрый христианин: когда его бьют по одной щеке, подставляет другую.

— Час от часу не легче! — сказал Кристоф.— Вот трус! Если это ему нравится, я опять его вздую!

Вальдгауз хотел было вмешаться, но остальные только рассмеялись.

— Да брось...— сказал Маннгейм.

— Вообще говоря,— отозвался, вдруг успокоившись, Вальдгауз,— статьей больше или меньше...

Кристоф ушел. Приятели веселились от души и хохотали, как безумные. Когда они немного успокоились, Вальдгауз сказал Маннгейму:

— А ведь все висело на волоске. Прошу тебя, будь поосторожнее. Как бы мы не попались по твоей милости.

— Да нет же,— ответил Маннгейм.— Мы еще позабавимся... И потом, ведь я создаю ему друзей.

ПЕСКИ ЗАСАСЫВАЮТ

Как раз в эту пору деятельности Кристофа, мечтавшего возродить немецкое искусство, в городе проездом побывала труппа французских актеров. Вернее сказать, не труппа, а, как водится, кучка, случайное сборище неизвестно где подобранных полунищих субъектов, молодых и никому не ведомых актеров, готовых идти в кабалу, только бы им позволили выступать на сцене. Все они были впряжены в колесницу старой и прославленной актрисы. Гастролируя в Германии, она по пути остановилась в маленькой столице, где собиралась дать три спектакля.

Журнал Вальдгауза поднял вокруг этих гастролей большой шум. Маннгейм и его друзья были осведомлены о литературной и светской жизни Парижа, или, вернее, хвастали своей осведомленностью: повторяли сплетни, подобранные в бульварных листках и понятые с грехом пополам; они представляли в Германии французский дух. Не мудрено, что Кристоф потерял к нему всякий интерес. Маннгейм наскучил ему своими гимнами в честь Парижа. Он не раз ездил туда; в Париже у него жили родные,— у него была родня во всех концах Европы; повсюду она усваивала национальные особенности страны и иногда получала ее титулы. Сие Авраамово племя насчитывало в своей среде английского баронета, бельгийского сенатора, французского министра, депутата рейхстага и папского графа. При всей своей спаянности и уважении к общему корню, от которого они происходили, это были завзятые англичане, бельгийцы, французы или паписты; они уже из одной гордости не допускали, чтобы страна, где они поселились, не была лучшей из всех. Один лишь Маннгейм из любви к парадоксам решил, что забавнее будет предпочесть любую чужую

страну своей. О Париже он говорил часто и восторженно, но, расхваливая парижан, изображал их чуть ли не помешанными — какими-то развратниками и бахвалами, которые только и знают, что устраивать пирушки и революции, и никогда серьезно не относятся даже к себе; поэтому Кристофа не очень-то прельщала «византийствующая и упадочная республика по ту сторону Вогез». Кристоф искренне представлял себе Париж таким, каким он был изображен на одной наивной гравюре, которую ему довелось видеть в каком-то немецком издании, посвященном вопросам искусства: на первом плане — дьявол собора Парижской богоматери; скорчившись, сидит он над крышами города. Внизу надпись:

Ненасытный Вампир — извечная Похоть — подстерегает свою добычу, паря над великим Городом.

Как истый немец, Кристоф питал презрение к развратным французам и их литературе, хотя знал только несколько игривых водевилей, да еще «Орленка», «Мадам Сан-Жен» и кафешантанные куплеты. Возмущенный провинциальным снобизмом людей, более чем равнодушных к искусству и ныне суетливо и шумно спешивших запастись билетом на спектакль, Кристоф подчеркивал свое презрительное равнодушие к знаменитой комедиантке. Шагу он не сделает, чтобы пойти посмотреть ее, заявлял он. Этот зарок было тем легче выполнить, что билеты продавались по бешеным ценам, которые были ему не по карману.

В репертуаре, вывезенном в Германию французской труппой, были две-три классические пьесы, но главное место в нем занимал тот хлам, который по преимуществу импортируется из Парижа: нет ничего более интернационального, чем посредственность. Кристоф знал «Тоску», которую гастролерша выбрала для первого спектакля; он видел ее в немецкой постановке, приправленной всеми дешевыми эффектами, какие только сумел измыслить театрик прирейнского городка; прощаясь с торопившимися на спектакль приятелями, Кристоф говорил с иронической улыбкой, что его и силком не вытащишь второй раз смотреть эту вещь. Однако на следующий день он внимательно прислушивался к восторженным отзывам о спектакле: его бесило, что он сам лишил себя даже права спорить, отказавшись смотреть то, о чем говорил весь город.

Вторым спектаклем шел «Гамлет» во французском переводе. Кристоф никогда не упускал случая посмотреть пьесу Шекспира. Шекспир, как и Бетховен, был для него неисся-

каемым родником жизни. А «Гамлет» стал ему особенно дорог после бурных творческих исканий и сомнений, через которые недавно прошел сам Кристоф. И хотя ему было страшно снова посмотреть на себя в это волшебное зеркало, его неудержимо тянуло в театр; он бродил вокруг театральных афиш, боясь сознаться себе, что горит желанием купить билет. Но упрямому юноше трудно было идти на попятный после всего, что он наговорил своим приятелям, и Кристоф остался бы дома и в этот вечер, если бы не случай. Он уже брел домой, как вдруг натолкнулся на Маннгейма.

Маннгейм взял его под руку и с сердцем стал рассказывать, не переставая, впрочем, балаганить, что старая хрычовка, сестра его отца, вдруг свалилась на них, как снег на голову, со всеми своими чадами и домочадцами; придется остаться дома и принимать гостей. Маннгейм пытался было сбежать, но отец не склонен шутить, когда дело касается семейного этикета и почтения к предкам, а в данный момент он должен волей-неволей считаться с отцом, так как собирается накрыть его на некоторую сумму; ничего не остается, как уступить, отказаться от спектакля.

— А билеты у вас уже есть? — спросил Кристоф.

— Еще бы! И места превосходные: ложа! Вдобавок мне же поручено отнести билет этому кретину Грюнбауму, компаньону моего папаши, которому хотелось покрасоваться там со своей дражайшей половиной и индюшкой-дочкой. Весело!.. Ну, я сумею ввернуть им словечко, чтобы испортить настроение этой семейке. Впрочем, им наплевать! Для них главное — получить билеты на спектакль... Конечно, это не то, что банковые билеты, а все же...

Вдруг он замолчал, с раскрытым ртом глядя на Кристофа.

— Постой! Вот что... Как это я не подумал...

Он захихикал:

— Кристоф, ты идешь в театр?

— Не собираюсь.

— Нет, собираешься. Я прошу тебя об услуге. Ты не можешь отказаться.

Кристоф ничего не понял.

— У меня же нет билета.

— Вот он! — сказал, торжествуя, Маннгейм и силой втиснул ему в руку билет.

— Да ты с ума сошел,— ответил Кристоф.— Ведь отец поручил тебе...

Маннгейм расхохотался.

— Ничего, пусть побесится папаша,— сказал он.

Он вытер глаза и прибавил:

— Деньги я получу у него завтра утром, пораньше, так что он ни о чем еще не успеет проведать.

— Нет, нет, как же я могу взять,— сказал Кристоф,— зная, что это будет ему неприятно...

— Ничего ты не знаешь, и тебя это не касается.

Кристоф развернул билеты.

— Да это, оказывается, ложа на четверых! Куда же мне!

— Уж это твое дело! Хочешь, поспи там или потанцуй. Можешь пригласить даму. Ведь есть же у тебя знакомые женщины? А нет, так я познакомлю.

Кристоф протянул билет Маннгейму:

— Нет, не возьму. Бери обратно!

— Ни за что,— сказал Маннгейм, отступив на несколько шагов.— Я не могу насильно отправить тебя в театр, если он тебя не интересует. Но билет возьми себе. По мне, хоть сожги его или снеси Грюнбаумам, если хочешь живым попасть в рай. Теперь это уже не моя забота. До свидания!

И он исчез, оставив Кристофа посреди улицы, с билетом в руках.

Кристоф был смущен. Он убеждал себя, что следует отнести билет Грюнбаумам, но эта перспектива не особенно его прельщала. Он пришел домой в полной нерешительности и, когда догадался посмотреть на часы, увидел, что времени осталось в обрез,— только чтобы переодеться и успеть в театр. Не пропадать же зря билету. Кристоф пригласил было мать, но Луиза призналась, что с гораздо большим удовольствием ляжет спать. Кристоф отправился один; по правде сказать, он был в восторге от этого обстоятельства. Но Кристоф не умел радоваться в одиночку. Это отравляло ему удовольствие. Он не чувствовал ни малейших угрызений совести, когда думал о папаше Маннгейме или Грюнбаумах, которых лишил билета в театр, но зато он считал себя виноватым перед теми, кто мог бы разделить с ним ложу. Воображение рисовало ему молодых людей вроде него,— как они наслаждались бы спектаклем! И Кристоф жалел, что не доставит им этой радости. Перебирая в уме всех знакомых, он так и не придумал, кому бы предложить билет. А время не ждало, надо было спешить.

Войдя в здание театра, Кристоф прежде всего увидел закрытое окошко кассы с аншлагом: «Все билеты проданы». Среди возвращающихся с пустыми руками, разочарованных людей его внимание привлекла молодая девушка, которая никак

не могла решиться уйти и с завистью смотрела на входящих. Она была невысокого роста, худенькая, хрупкого сложения, в черном, очень простом платье; Кристоф не заметил, хороша она или некрасива. Он уже прошел было мимо, но вдруг оглянулся и остановился. Не давая себе времени раздумывать, он выпалил:

— Вам не досталось билета, фрейлейн?

Девушка покраснела и проговорила с иностранным акцентом:

— Нет, мосье.

— У меня есть билет в ложу, и я не знаю, куда мне его девать. Хотите, пойдем вместе?

Она еще сильней покраснела и поблагодарила Кристофа, извиняясь, что не может принять его предложение. Сконфуженный отказом, он извинился, со своей стороны, и стал ее уговаривать; но девушка не уступала, хотя было видно, что ей до смерти хочется посмотреть спектакль. Кристоф сам не знал, что делать. Вдруг он решился.

— Послушайте, есть простой способ все устроить,— сказал он,— возьмите билет. Для меня утрата невелика, я уже видел этот спектакль. (Это была неправда.) Вам он доставит больше удовольствия. Возьмите, я от всей души.

Поступок Кристофа, его сердечный тон так тронули девушку, что она еле сдержала слезы. Она пролепетала несколько слов благодарности и прибавила, что ни за что не лишит его такого удовольствия.

— Ну, что ж, тогда пойдемте вместе,— сказал он и улыбнулся.

В его облике было столько доброты и честности, что незнакомка устыдилась своего отказа и ответила, все еще конфузясь:

— Я согласна... Благодарю вас.

Они вошли. Ложа Маннгеймов находилась напротив сцены, на самом виду: укрыться от любопытных взоров в ней было невозможно. И, конечно, их появление не осталось незамеченным. Кристоф усадил молодую девушку в первом ряду, а сам сел позади, не желая стеснять ее. Она сидела, прямая и неподвижная, не смея повернуть голову, до отчаяния смущенная: она бы много дала сейчас, чтобы иметь возможность отказаться! Кристоф отвернулся, будто смотрел в зал, чтобы дать ей время прийти в себя. Он не знал, о чем говорить с

ней. Но куда бы он ни глядел, ему было ясно, что его появление с незнакомой дамой среди блестящей публики лож вызвало любопытство: на них косились, шушукались. Кристоф бросал злые взгляды направо и налево; его бесило это назойливое внимание со стороны людей, которыми он ничуть не интересовался. Смотрели не столько на Кристофа, сколько на его спутницу, но он не подозревал, как оскорбительно для нее это любопытство. Желая показать, сколь ему безразлично все, что говорит или думает эта публика, он наклонился к своей соседке и что-то сказал. Но она так испуганно вскинулась, отвечала ему с таким несчастным видом, с таким трудом выжимала из себя «да» или «нет», не смея поднять глаза, что Кристоф сжалился над бедной дикаркой и снова отодвинулся в глубь ложи. К счастью, спектакль начался.

Кристоф не взглянул на афишу и не слишком интересовался, какую роль играет великая актриса: он был из тех неискушенных зрителей, которые в театре смотрят пьесу, а не актеров. Он не задавался вопросом, будет ли знаменитая актриса Офелией или королевой; а если бы думал об этом, вероятно, решил бы, что — королевой, принимая во внимание возраст обеих матрон. Но ему в голову не могло прийти, что она будет играть Гамлета. Увидев приезжую знаменитость в этой роли, услышав звук ее голоса, голоса механической куклы, он не сразу поверил своим ушам и глазам.

«Но кто же, кто это? Кто?— говорил он про себя.— Неужели?.. Не может быть...»

И, когда он уверился, что это, наперекор рассудку, Гамлет, у него вырвалось ругательство, которого девушка, как иностранка, к счастью, не поняла, но зато его прекрасно поняли в соседней ложе: на него тотчас же с негодованием зашикали. Кристоф скрылся в глубине ложи и там дал волю своему гневу. Он никак не мог успокоиться. Будь Кристоф справедливее, он оценил бы изящество маскарада, факирские чудеса искусства, благодаря которым шестидесятилетняя женщина могла выйти на сцену в костюме юноши и даже казаться красивой, по крайней мере, для снисходительных взоров. Но он ненавидел факиров от искусства, ненавидел все противоестественное. Приятно, когда женщина — женщина, а мужчина — мужчина (что не так уж часто встречается в наши дни). Он не совсем мирился с наивным и нелепым переодеванием бетховенской Леоноры. Но переодеться Гамлетом — это уж превосходило все дозволенные границы нелепости. Превратить в женщину крепкого датчанина, бледного и тучного,

хитрого, рассудочного, мнительного, почти одержимого, и даже не в женщину, а в урода, ибо женщина, играющая мужчину, это только чудовище,— сделать Гамлета каким-то евнухом, двуполым существом сомнительной репутации!.. Только в такую упадочную эпоху и с такой неумной критикой можно было терпеть хотя бы один день всю эту мерзость и глупость и не освистать их!.. Услышав голос актрисы, Кристоф окончательно вышел из себя. У нее была та протяжная рубленая дикция, та однообразная напевность, которая со времен Шанмеле всегда, по-видимому, была по душе наименее поэтическому народу в мире. Кристоф в исступлении готов был завыть по-звериному. Он отвернулся от сцены и нахмурился, уткнувшись носом в стенку, как наказанный ребенок. К счастью для него, незнакомка не смела оглянуться, иначе она приняла бы его за умалишенного.

И вдруг злая гримаса сошла с лица Кристофа. Он замер в неподвижности и стал слушать. Раздался прекрасный, музыкальный голос, нежный, юный, грудной. Кристоф весь превратился в слух. По мере того как актриса говорила, он в каком-то недоумении поворачивался к сцене, чтобы взглянуть на невиданную птицу. Он увидел Офелию. Она, впрочем, мало походила на шекспировскую. Красивая, высокая, сильная девушка, стройная, как статуя юной гречанки, Электры или Кассандры, казалась воплощением жизни, свежести и силы. Она старалась оставаться в рамках роли, но не могла скрыть молодости и радости, прорывавшихся в ее жестах, в смеющихся карих глазах, в каждой жилке. И так велика власть прекрасного тела, что Кристоф, еще минуту назад придирчиво оспаривавший толкование роли Гамлета, и не подумал сетовать на то, что Офелия уже вовсе не походит на сложившийся в его уме образ; и он без сожаления пожертвовал той Офелией ради этой. С бессознательным лукавством всех страстных натур он даже нашел глубокую правду в том, что эта целомудренная, смятенная душа горит юношеским пылом. Прелесть голоса, теплого, бархатного, усиливала обаяние. Слова звенели, как чудесные аккорды; сочный южный говор, отрывистый и резкий, пропитывал каждый слог ароматом дикого тмина или мяты. Странная была эта Офелия из Арля! В ней чувствовались тамошнее золотое солнце и сумасшедший мистраль.

Забыв о существовании соседки, Кристоф присел рядом с нею у края ложи: он не отрывал взгляда от прекрасной актрисы, имени которой не знал. Но зрители, не затем явившиеся сюда, чтобы слушать никому не ведомую артистку, не обра-

щали на нее никакого внимания: хлопать они решались только тогда, когда на сцену выходил Гамлет женского пола. А Кристоф каждый раз взрывался и обзывал их «ослами» — шепотом, который можно было расслышать в десяти шагах.

Кристоф вспомнил о своей соседке, лишь когда упал занавес и начался антракт; видя, что она все еще дичится, он усмехнулся и подумал, что, вероятно, испугал ее своими выходками. И Кристоф не ошибся: молодая девушка, с которой случай свел его на несколько часов, отличалась почти болезненной застенчивостью; предложение Кристофа она приняла лишь потому, что в ту минуту была во власти необычайного, восторженного возбуждения. У нее сразу же явилось желание как-нибудь отделаться от незнакомца, под каким-нибудь предлогом убежать. Но она еще больше смутилась, когда почувствовала, что вызывает всеобщее любопытство; и ее тревога только возрастала оттого, что там, позади (куда она не отваживалась оглянуться), все громче раздавались глухие проклятия и ропот соседа. От такого можно было ожидать всего; и когда он подсел к ней, она застыла от ужаса: каким еще сумасбродством он ее удивит? Ей хотелось провалиться сквозь землю. Молодая девушка инстинктивно отодвигалась: она боялась прикоснуться к Кристофу.

Но все эти страхи исчезли, когда наступил антракт и она услышала добродушный голос:

— Что, неприятный вам попался сосед? Уж вы меня извините.

Тогда она подняла глаза и увидела ту самую добрую улыбку, которая решила дело, когда Кристоф предложил ей билет.

Он продолжал:

— Я не умею таить про себя свои мысли... И, кроме того, всему есть мера!.. Эта женщина, она же старуха!

Его опять передернуло от отвращения.

Она улыбнулась и почти шепотом сказала:

— И все-таки это прекрасно.

Он заметил ее акцент и спросил:

— Вы иностранка?

— Да.

Он взглянул на ее простенькое платье.

— Учительница?

Она покраснела и ответила:

— Да.

— Откуда же вы родом?

Она сказала:

— Я француженка.

Он ответил жестом удивления.

— Француженка? Ни за что не подумал бы.

— Почему же? — спросила она застенчиво.

— Вы такая... серьезная! — сказал он.

(Она подумала, что в его устах это звучит не очень-то большой похвалой.)

— Есть среди нас и серьезные,— отозвалась девушка, совсем сконфузившись.

Кристоф смотрел на ее открытое лицо с выпуклым лбом, маленьким прямым носом, нежным подбородком и впалыми щеками в рамке каштановых волос. Он смотрел и не видел ее: мысли его были заняты прекрасной актрисой. Он повторил:

— Вы француженка — это любопытно!.. Вы, значит, землячка Офелии? Трудно поверить.

После короткого молчания Кристоф добавил:

— Как она хороша!

Он не заметил, что тем самым проводит нелестное для своей соседки сравнение. Незнакомка очень хорошо это уловила; но она не рассердилась на Кристофа, так как была с ним согласна. Он попытался узнать некоторые подробности об актрисе, но ничего не узнал: по-видимому, незнакомка была далека от театральной жизни.

— Должно быть, вам приятно послушать французскую речь? — спросил он.

Он сказал это просто так, но, видимо, задел самую чувствительную струну.

— Ах! — ответила девушка с поразившим его выражением искренности.— Это для меня такая радость! Я просто задыхаюсь здесь.

На этот раз он всмотрелся в нее пристальнее: она незаметно сжала руки и потупилась, но тут же подумала, что слова ее могли прозвучать оскорбительно.

— Ох, извините,— сказала девушка,— я сама не знаю, что говорю.

Он искренне рассмеялся.

— Не извиняйтесь! Вы и не знаете, как вы правы. Вовсе не надо быть французом, чтобы задыхаться здесь. Уф!

Кристоф расправил плечи и глубоко вдохнул в себя воздух.

Но девушка устыдилась нечаянного признания и окончательно ушла в себя. К тому же она заметила, что из соседних лож следят за их разговором; Кристоф тоже это заметил и вски-

пел. Их беседа прервалась; и так как антракт еще не кончился, он вышел в фойе. Слова незнакомки отдавались у него в ушах, но он не слышал их: перед ним стоял образ Офелии. В следующих актах она окончательно покорила его, и когда красавица актриса дошла до сцены безумия и запела печальную песенку любви и смерти, голос ее прозвучал так трогательно, что Кристоф еле справился со своим волнением — он почувствовал, что вот-вот разревется, как теленок. Злясь на себя за это проявление слабости (по его мнению, непозволительное для настоящего художника) и не желая привлекать к себе внимание, он быстро вышел из ложи. Коридоры и фойе были пусты. Взбудораженный Кристоф сбежал по лестнице и сам не помнил, как очутился на улице. Ему нужна была ночная прохлада, хотелось широко шагать по темным, безлюдным улицам. Очнулся он только на берегу канала, где стоял, облокотившись на парапет, и созерцал безмолвную воду, по темной поверхности которой пробегали блики от фонарей. И то же было в его душе: неясный свет, трепет. Вглядываясь, он видел там только отблески великой радости, пробегавшие по поверхности. Зазвонили куранты, но он уже не смог бы вернуться в театр и дослушать пьесу. Быть свидетелем торжества Фортинбраса? Нет, этим его не заманишь... Да и хорошо торжество! Кто позавидует такому победителю? Кто согласится быть на его месте, уже наглядевшись досыта на все эти мерзости жестокой и нелепой жизни? Вся драма — грозный обвинительный акт против жизни. Но вся она заряжена такой могучей жизненной силой, что страдания переплавляются в радость и сама горечь опьяняет.

Кристоф возвратился домой, уже не думая о незнакомой девушке, которую он покинул в ложе, не узнав даже ее имени.

На следующее утро он разыскал актрису в третьеразрядной гостинице, куда ее водворил, вместе с остальной труппой, импресарио, между тем как великая артистка устроилась в лучшем отеле города. Его ввели в маленькую, убого обставленную приемную, где на крышке открытого рояля стояла неубранная посуда, валялись шпильки и потрепанные, засаленные ноты. В смежной комнате звонко распевала Офелия, точно ребенок, который радуется, что можно пошуметь. Она замолчала, когда ей доложили о госте, и весело спросила, нисколько не смущаясь тем, что голос ее слышен в соседней комнате:

— Что ему угодно, этому господину? Как его зовут?.. Кристоф... Кристоф... Как? Кристоф Крафт? Ну и фамилия!

(Она повторила ее два или три раза, сильно раскатывая букву «р».)

— Точно ругательство...

(Она произнесла какое-то ругательство.)

— Молодой он или старый?.. Интересный?.. Хорошо, иду.

Она снова принялась напевать:

Что сладостней моей любви?

Актриса обшарила весь номер, проклиная куда-то запропастившуюся в этом хаосе черепаховую шпильку. Она начинала терять терпение, бранилась, гремела на всю комнату. Кристоф, не видя ее, мысленно представлял себе все ее движения и смеялся про себя. Наконец шаги приблизились, дверь с шумом распахнулась, и появилась Офелия.

Она была полуодета, в халате, который она то и дело запахивала, с обнаженными руками, выглядывавшими из широких рукавов; на лоб и глаза в беспорядке свисали локоны. Эти красивые карие глаза смеялись, смеялся рот, смеялись щеки, на подбородке смеялась очаровательная ямочка. Она заговорила прекрасным, певучим, низким голосом, небрежно извиняясь перед гостем за свой вид. Она знала, что извиняться незачем и что он может быть только благодарен ей. Она было подумала, что это журналист, явившийся для интервью. Услышав, что гость пришел по собственному желанию, плененный ее игрой, она не только не выразила разочарования, но пришла в восторг. Она действительно была очень славная, любила нравиться и не старалась это скрывать: приход Кристофа и впечатление, которое она произвела на него, восхитили актрису (еще не избалованную комплиментами). Она была так естественна во всех своих движениях и повадках, даже в своем невинном тщеславии и в простодушном желании нравиться, что Кристоф ни минуты не испытывал стеснения. Они тотчас же почувствовали себя старыми друзьями. Он кое-как болтал на ломаном французском языке, она — по-немецки; не прошло и часу, как они уже поведали друг другу все свои тайны. Она и не думала выпроваживать его. Эта здоровая и веселая, умная и порывистая южанка умерла бы от скуки среди своих недалеких товарищей в чужой стране, без знания языка, если бы ее не выручала врожденная жизнерадостность, и она обрадовалась человеку, с которым можно было поговорить. А для Кристофа было невыразимым благом встретить в своем городе, среди ограниченных и лицемерных мещан, эту вольную дочь юга, полную жизненных сил, как и сам народ. Он еще не знал, как много напускного в

таких характерах, у которых, в отличие от его сородичей — немцев, все, что в сердце, выставляется наружу, а иногда выставляется и то, чего там нет. Но она была, по крайней мере, молода, полна жизни; она говорила откровенно, напрямик то, что думала; она на все смотрела свободно, наивным и свежим взглядом; в ней чувствовался мистраль ее родины, разгоняющий любые туманы. Коринна была очень даровита: не обладая ни культурой, ни особенным умом, она чутьем и сердцем угадывала и сразу же влюблялась во все прекрасное и светлое, но через минуту уже весело хохотала. Разумеется, молодая актриса была кокетлива, умела играть глазами; она не прочь была показать свою чуть прикрытую полузастегнутым халатом грудь; она с удовольствием вскружила бы голову Кристофу. Но в этом участвовал только инстинкт. Расчета тут не было никакого: ей еще больше нравилось смеяться, весело болтать, дружить по-мужски, не стесняясь и не чинясь. Она посвятила Кристофа в закулисную жизнь театра, рассказала ему о своих мелких невзгодах, о вздорной обидчивости своих товарищей, о притеснениях со стороны Иезавели (так она называла великую актрису), которая не давала ей ходу. Кристоф жаловался ей на немцев; она всплескивала руками и возмущалась вместе с ним. Это, впрочем, была добрая девушка, она ни о ком не хотела злословить, что нисколько не мешало ей злословить всласть. Подсмеиваясь над кем-нибудь, Коринна упрекала себя в коварстве, но, как большинство южан, она была одарена трезвой и насмешливой наблюдательностью и никак не могла устоять перед соблазном набросать одним штрихом карикатурный портрет. Она весело улыбалась бледными губами, открывавшими крепкие, как у щенка, зубы, и ее обведенные тенью глаза ярко блестели на чуть поблекшем от употребления грима лице.

Вдруг они спохватились, что болтают уже больше часа. Кристоф вызвался зайти днем за Коринной (театральное имя актрисы), чтобы показать ей город. Эта мысль привела артистку в восторг, и они решили встретиться сразу же после обеда.

Кристоф пришел точно в условленный час. Коринна сидела в маленькой приемной с тетрадью в руках и читала вслух. Она вскинула на него свои смеющиеся глаза, но не прервала чтения, пока не докончила фразы. Затем она жестом пригласила его сесть на кушетку рядом с ней.

— Садитесь и помолчите,— сказала она,— я просматриваю роль. Позаймусь еще с четверть часа, не больше.

Она водила кончиком ногтя по странице, читая быстро и небрежно, как нерадивая ученица. Он предложил пройти с ней

роль. Коринна протянула ему тетрадь и поднялась с места. Она мямлила, несколько раз повторяла конец фразы, прежде чем начать следующую. Читая, она встряхивала головой; шпильки, которыми были заколоты ее волосы, падали, усеивая пол. Когда какое-нибудь упрямое словечко не давалось ей, она топала от нетерпения, как плохо воспитанный ребенок; у нее вырывалось забавное, а то и просто грубое ругательство, а раз даже она выбранила себя коротким и очень хлестким словцом. Эта смесь таланта и ребячливости удивляла Кристофа. Коринна находила правильные и волнующие интонации. Но в самом разгаре страстного монолога, в который она, казалось, вкладывала всю свою душу, она вдруг начинала нести бессмыслицу. Она произносила заученное, как попугай, не заботясь о смысле; временами это напоминало нелепые тирады балаганного шута. Коринну это ничуть не тревожило; когда она окончательно заговаривалась, то сама начинала хохотать. Наконец Коринна заявила: «Хватит!» — вырвала у Кристофа тетрадь, швырнула в угол и воскликнула:

— Перемена! Звонок! Идем гулять!

Несколько тревожась за судьбу ее роли, Кристоф спросил для успокоения совести:

— Вы думаете, что справитесь?

Она самоуверенно ответила:

— Ну конечно! А суфлер-то на что?

Коринна пошла к себе в спальню надеть шляпу. Кристоф, в ожидании, сел за рояль и взял несколько аккордов. Она крикнула из соседней комнаты:

— О! Что это такое? Сыграйте еще! Как хорошо!

Коринна прибежала, на ходу прикалывая шляпку. Кристоф продолжал играть. Когда он кончил, она потребовала, чтобы он сыграл еще. Актриса выражала свой восторг короткими, несколько жеманными восклицаниями, которые так любят француженки, расточающие их с одинаковой легкостью, идет ли речь о «Тристане» или о чашке шоколада. Кристоф смеялся: эти возгласы составляли приятный контраст с длинными, напыщенными восклицаниями немцев. Две противоположные крайности: здесь делали из безделушки гору, там — из горы безделушку; и то и другое одинаково смешно; но в данный момент Кристофу нравилось то, что произносили уста очаровавшей его девушки. Коринна спросила, кто автор вещи, которую он играл, и, узнав, что эта музыка сочинена им самим, стала шумно выражать свое удивление. Кристоф, правда, сказал ей еще утром, что он композитор, но она как-то пропустила это мимо ушей. Подсев к Кри-

стофу, она потребовала, чтобы он сыграл ей все свои произведения. Коринна не просто хотела показаться вежливой: она страстно любила музыку и обладала редкостным чутьем, восполнявшим недостаток знаний. Вначале, не рассчитывая на серьезность ее суждения, Кристоф выбирал самые несложные мелодии, но когда он случайно сыграл страницу, которую сам по-настоящему ценил, то увидел, что и Коринне, без всякой подсказки с его стороны, она понравилась больше других; это было для него радостной неожиданностью. Он сказал с тем наивным удивлением, которое не умеют скрыть немцы, встретив среди французов хорошего музыканта:

— Странно! У вас хороший вкус! Никогда бы не подумал.

Коринна рассмеялась.

Тогда, желая испытать Коринну, он стал выбирать все более и более трудные для понимания пьесы. Но ее, казалось, нисколько не отпугивала смелость выражения; и после одной особенно своеобразной мелодии, в которой сам Кристоф уже начал было сомневаться, ибо так и не сумел добиться ее признания у немцев, он, к великому своему удивлению, услышал просьбу повторить сыгранное; мало того, Коринна, вскочив со стула, спела весь пассаж по памяти, почти без ошибок! Он обернулся и в волнении схватил ее за руки.

— Да вы музыкантша! — воскликнул он.

Она расхохоталась и объяснила, что начинала свою карьеру певицей в провинциальном оперном театре, но один заезжий импресарио открыл в ней драматический талант и убедил вступить на новый путь. Кристоф воскликнул:

— Как жалко!

— Почему? — удивилась она.— Ведь поэзия — та же музыка.

Она попросила Кристофа объяснить ей смысл его Lieder. Он произносил немецкие слова, а она повторяла их без всяких усилий, подражая Кристофу, перенимая даже движения его губ и глаз. Когда же она пыталась спеть то же самое по памяти, то делала смешные ошибки; а если совсем забывала слова, то изобретала новые, варварского, гортанного звучания, так что оба начинали хохотать. Она просила его играть еще и еще, и он играл; он мог бы без конца слушать ее чудный голос, трогавший какой-то особенной хрупкостью и не испорченный ремесленными уловками; она пела немного горлом, как маленькая девочка. Коринна искренне высказала Кристофу все, что думала о его музыке. Хотя она не могла объяснить, почему ей нравится одно и не нравится другое, ее суждения никогда не были случайны.

К удивлению Кристофа, как раз вещи, наиболее приближающиеся к классическим, наиболее одобряемые в Германии, не особенно привлекали ее: она учтиво хвалила их, но чувствовалось, что она к ним равнодушна. Не обладая музыкальной культурой, она не испытывала и того бессознательного удовольствия, которое доставляет любителям и художникам уже *слышанное;* нередко они, сами того не замечая, перенимают или ценят в новом творении формы и формулы, которые уже полюбили в старых. Коринна не жаловала также излюбленных немцами сентиментальных мелодий (или, по крайней мере, ее сентиментальность была иного рода: Кристоф еще не уловил ее неприятных сторон). Коринну отнюдь не восхищали расслабленно-пошловатые мелодии, которые пользовались успехом в Германии; не понравилась ей и самая посредственная из его Lieder, которую он порывался уничтожить, так как его друзья только о ней и говорили, радуясь, что есть наконец за что похвалить его. Артистическим чутьем Коринна безошибочно узнавала мелодии, правдиво изображавшие какую-то ясно прочувствованную страсть; ими же больше всего дорожил и сам Кристоф. Однако ее отпугивали некоторые шероховатости гармонии, которые казались естественными Кристофу; она вздрагивала и недоуменно спрашивала, «нет ли тут ошибки». Когда он говорил ей, что все правильно, она наконец решалась и приступом брала трудное место, но при этом делала губами гримаску, не ускользавшую от внимания Кристофа. Часто она предпочитала пропустить такт. Тогда он повторял его на рояле.

— Вам это не нравится? — спрашивал он.

Коринна отвечала, наморщив носик:

— Это фальшиво.

— Да нет же,— возражал он, смеясь.— Это правильно! Вдумайтесь в то, что здесь выражено. Разве вы не чувствуете этого вот тут?

(Он показывал на свое сердце.)

Но она качала головой:

— Может быть, вы и правы, но вот тут это звучит фальшиво.

(Она дергала себя за ухо.)

Ее возмущали слишком резкие раскаты голоса в немецкой декламации.

— К чему он говорит так громко? — спрашивала она.— Ведь он же наедине с самим собой. Разве он не боится, что соседи услышат? Получается такое впечатление (извините, вы не обидитесь?)... такое впечатление, будто он кличет парóм.

Кристоф не обиделся; он от души рассмеялся и признал, что в этом есть доля правды. Замечания Коринны нравились ему: таких ему никто еще не делал. Оба они находили, что мелодекламация чаще всего искажает естественную речь наподобие увеличительного стекла. Коринна предложила Кристофу сочинить музыку к какой-нибудь пьесе — так, чтобы можно было читать под аккомпанемент оркестра, а местами и петь. Кристоф ухватился за эту мысль, не испугавшись трудностей ее сценического осуществления: он надеялся на музыкальность и голосовые данные Коринны. И они принялись строить планы на будущее.

Было уже около пяти, когда они вспомнили о прогулке. Но в это время года рано темнеет. Прогулку пришлось отложить. Вечером Коринне предстояла репетиция в театре, куда не было доступа посторонним. Она взяла с Кристофа обещание зайти за ней завтра после обеда, чтобы все-таки совершить задуманную прогулку.

. . .

Назавтра чуть не та же сцена. Кристоф застал Коринну перед зеркалом; она сидела, свесив ноги, на высоком табурете и примеряла парик. При этом присутствовали костюмерша и парикмахер; последнему она делала указания насчет прически, прося подколоть локоны повыше. Она увидела в зеркале улыбавшегося за ее спиной Кристофа и, не оборачиваясь, высунула ему язык. Парикмахер ушел, захватив с собой парик, а Коринна весело повернулась к Кристофу.

— Здравствуйте, дорогой! — сказала она.

И подставила ему щеку для поцелуя. Кристоф не ожидал такого непринужденного обращения, но не стал отказываться от этой милости. Сама Коринна не вкладывала в свой жест особого смысла: не все ли равно, как здороваться!

— Ну, теперь я спокойна за сегодняшний вечер,— сказала Коринна. (Она имела в виду свой парик.) Но до чего же я была расстроена! Хорошо, что вы не пришли утром, я была самая несчастная женщина на свете.

Он осведомился о причине.

Оказалось, что парижский парикмахер при упаковке вещей все перепутал и уложил парик, который не подходит к роли.

— Совершенно гладкий,— рассказывала она,— волосы падают прямыми прядями, понимаете, совсем прямыми. Я плакала горючими слезами. Верно, мадам Дезирэ?

— Когда я пришла и увидела мадам,— отозвалась костюмерша,— я просто испугалась. На мадам лица не было. Краше в гроб кладут.

Кристоф рассмеялся. Коринна увидела его лицо в зеркале.

— Вас это смешит, бесчувственный вы человек? — возмутилась Коринна и тоже рассмеялась.

Кристоф стал расспрашивать о вчерашней репетиции.

Все прошло как по маслу, но только ей хотелось бы, чтобы сделали побольше купюр в других ролях и вовсе не делали в ее роли... Они так заболтались, что не заметили, как прошла часть дня. Коринна одевалась долго: ей доставляло удовольствие спрашивать у Кристофа, какого он мнения о ее туалетах. Кристофу они представлялись верхом изящества, и он простодушно сказал на своем французско-немецком жаргоне, что он никогда не видел более «сладострастной» женщины. Это так огорошило Коринну, что она молча уставилась на него, но вдруг разразилась хохотом.

— Что я сказал? — спросил он.— Что-нибудь не так?

— Так! Так! — воскликнула она, хохоча до слез.— В самую точку.

Наконец они вышли. Вызывающий костюм Коринны, ее быстрая речь обращали на себя внимание прохожих. Актриса смотрела на все насмешливым оком француженки и нисколько не старалась таить про себя свои впечатления. Она презрительно фыркала, глядя на выставку мод или на витрины с художественными открытками, где все было вперемежку: чувствительные сценки рядом с игривыми и комическими, городские кокотки рядом с членами императорской фамилии, и тут же кайзер в красном, кайзер в зеленом, кайзер в виде эдакого морского волка; вот он на палубе корабля «Германия» — рука на руле, а взор с вызовом устремлен к небесам. Коринна прыскала, глядя на столовый сервиз, украшенный хмурой физиономией Вагнера, или на витрину парикмахера, где красовалась мужская голова из воска. Она до неприличия громко смеялась перед патриотическим памятником, изображавшим старого императора в шинели и остроконечной каске, в обществе Пруссии, германских государств и голого гения войны. Все, что давало повод к насмешке, в физиономиях людей, в их походке или говоре, Коринна улавливала мгновенно. Это не укрывалось от жертв актрисы, перехватывавших ее всевидящий и коварный взгляд. Иногда Коринна, повинуясь инстинкту подражания, невольно корчила гримасы, передразнивая веселых или угрюмых провинциалов; она подхватывала на лету фразу или слово, странно

звучавшие для ее уха, и переиначивала их, смешно надувая щеки. Кристоф смеялся от всего сердца, нисколько не смущаясь этой бесцеремонностью,— ведь он и сам был бесцеремонен. К счастью, он уже не мог испортить себе репутации, иначе такая прогулка навеки погубила бы ее.

Они зашли в собор. Коринне вздумалось подняться до самого шпиля; ее не смущали ни высокие каблуки, ни платье, которое волочилось по лестнице. Зацепившись подолом за край ступеньки, она смело рванула затрещавшую ткань и как ни в чем не бывало продолжала взбираться вверх, залихватски подобрав юбку. Кристоф ждал, что она, чего доброго, еще ударит в колокол. С высоты колокольни она прочла стихи Виктора Гюго, из которых Кристоф не понял ни слова, и спела французскую народную песенку. После этого она стала подражать муэдзину. Стемнело. Они сошли вниз, в церковь; густая тень расползлась по гигантским стенам, на которых блестели волшебные зрачки разноцветных стекол. В одном из приделов Кристоф увидел коленопреклоненную молодую девушку, в которой он узнал незнакомку, бывшую с ним на «Гамлете». Она так углубилась в молитву, что не видела его; Кристофа поразило выражение муки, застывшее на ее лице. Он шагнул было, чтобы сказать ей несколько слов или, по крайней мере, поздороваться, но Коринна, как вихрь, увлекла его за собой.

Вскоре они расстались. Коринне надо было готовиться к спектаклю, начинавшемуся, как это принято в Германии, рано. Не успел он войти к себе, как раздался звонок — ему передали записку от Коринны:

«Повезло! Иезавель заболела! Спектакль отменен! Ура!.. Друг! Приходите! Пообедаем вместе!

Ваш друг

Коринна.

P. S. Захватите побольше нот!»

Кристоф не без труда понял, что́ все это значит, а поняв, возликовал не меньше Коринны и тотчас же отправился в гостиницу. Он боялся, что вся труппа сойдется к обеду, но в приемной не было ни души. Исчезла и сама Коринна. Наконец до него донесся из задних комнат звонкий, смеющийся голос; он отправился на поиски и набрел на Коринну в кухне. Актрисе взбрело в голову приготовить блюдо по своему вкусу, одно из тех южных блюд, аромат которых разносится на целый квартал и дурманит даже камни. Коринна была уже на короткой ноге с хозяйкой гостиницы, тучной дамой; они говорили на чудовищ-

ном жаргоне, перемешивая французские, немецкие и даже негритянские слова. Обе громко смеялись, потчуя друг друга своей стряпней. При виде Кристофа они еще сильнее расшумелись. Гостю предложили убраться, но он остался, и ему тоже посчастливилось вкусить замечательного яства. Он чуть-чуть поморщился, за что Коринна обозвала его тевтоном-варваром и прибавила, что он не достоин стольких хлопот.

Они вместе поднялись в маленькую приемную, где был уже накрыт стол на два прибора — для него и для Коринны. Кристоф с удивлением осведомился, где же ее товарищи. Коринна развела руками:

— Не знаю.

— Разве вы не обедаете вместе?

— Вот еще! Довольно и того, что видишься в театре!.. Не хватало еще встречаться за столом!..

Все это так не походило на немецкие нравы, что Кристоф был удивлен и очарован.

— А я-то думал,— сказал он,— что вы общительный народ!

— Да разве я не общительная?

— Быть общительным — это значит жить в обществе. Посмотрели бы вы на нас! Женщины, мужчины, дети — все это состоит в обществах от рождения и до могилы. Все совершается в обществе: едят, поют, мыслят вместе с обществом. Если общество чихнет, тут же чихают все его члены; если хочешь выпить кружку пива, пей в обществе.

— Весело,— сказала она.— Почему уж тогда не пить из одной кружки?

— Разве это было бы не по-братски?

— Ну его, такое братство! Я хочу быть «братом» тех, кто мне по душе, а вовсе не всех подряд!.. Фу! Это уже не общество, это муравейник!

— И я так думаю! А теперь посудите сами, каково мне с ними жить...

— Так переселяйтесь к нам!

Кристоф сказал, что он бы не прочь. Он стал расспрашивать ее о Париже и французах. Сведения, которые она ему давала, не отличались точностью. И причиной тому было не только бахвальство южанки, но и безотчетное желание ошарашить собеседника. Из ее слов можно было заключить, что в Париже все свободны; и так как все парижане умны, то всякий наслаждается своей свободой, но не злоупотребляет ею; всякий делает, что ему угодно, верует, любит — или не любит — по-своему, никто против этого не смеет возражать. Там уж не станут трогать чу-

жие верования, залезать в чужую душу, там не навязывают другим своих мнений. Политические деятели не вторгаются в литературу и искусство, не преподносят орденов, теплых местечек и денег своим друзьям и клиентам. Репутация и успех там не зависят от клики, журналисты не продаются, литераторы не разбивают ни кадильниц с фимиамом о головы друг друга, ни самих голов. Там не бывает, чтобы критика глушила молодые дарования и мелким бесом рассыпалась перед получившими признание талантами. Не бывает, чтобы успех — успех как таковой — становился целью, оправдывающей все средства, чтобы он притягивал восторги публики. А парижские нравы! Какая мягкость, сердечность, доброта! Ни малейшей неискренности в отношениях. Ни тени злословия. Каждый спешит на помощь соседу. Каждый новоприбывший, если только он хоть чего-нибудь стоит, может рассчитывать, что к нему со всех сторон протянутся дружеские руки, что ему постараются расчистить дорогу. Бескорыстные рыцарские души французов горят чистой любовью к прекрасному; единственная их смешная черта — это идеализм; он-то и повинен в том, что французов, при всем их уме, вечно обманывают другие народы.

Кристоф слушал развесив уши; да и было чему удивляться. Коринна и сама удивлялась, слушая себя. Она уже позабыла то, что говорила накануне Кристофу о трудностях своей парижской жизни; да и он об этом не вспомнил.

Но Коринне мало было вдохнуть в немцев любовь к своей родине: ей хотелось, чтобы полюбили и ее, Коринну. Воздерживаться от флирта целый вечер — не слишком ли это мрачный и смешной искус! И она напропалую кокетничала; но то был потерянный труд: Кристоф просто ничего не замечал. Он не признавал флирта. Он любил или не любил. Когда он не любил, то был за тысячу миль от всякой мысли о любви. К Коринне он чувствовал живейшую симпатию, он весь был под обаянием этой южной натуры, такой новой для него, под обаянием непринужденности, веселости, живого и свободного ума актрисы,— этого было предостаточно, чтобы полюбить, но «дух реет, где хочет»; здесь он отсутствовал; а играть в любовь без любви — это Кристофу и на ум не пришло бы.

Его холодность подзадоривала Коринну. Когда Кристоф уселся за рояль и начал играть принесенные им пьесы, Коринна примостилась рядом, обхватила обнаженной рукой шею Кристофа и, следя за нотами, пригнулась к клавишам: она почти касалась щекой щеки своего гостя. Он ощущал прикосновение ее ресниц и видел близко-близко уголок ее лукавого глаза,

всю ее очаровательную мордочку и тонкий пушок над слегка вздернутой, улыбающейся губкой, которая словно бы ждала. Она ждала, но Кристоф не понял ее зова: Коринна мешала ему играть, только это он и почувствовал. Он невольно высвободился и отодвинул свой стул. Обратившись минуту спустя к Коринне с каким-то замечанием, он увидел, что ее душит смех: ямочка на ее щеке смеялась; прикусив губы, она изо всех сил удерживалась, чтобы не расхохотаться.

— Что это вы? — спросил он с удивлением.

Она взглянула на него и ответила шумным взрывом смеха.

Он ничего не мог понять.

— Чему вы смеетесь? — спросил он.— Я сказал что-нибудь смешное?

Чем больше он приставал к ней с расспросами, тем сильнее она смеялась. Стоило ей взглянуть на его озадаченное лицо, и ею овладевал новый приступ смеха. Наконец она поднялась, подбежала к дивану, стоявшему в противоположном углу комнаты, и зарылась в подушки, чтобы нахохотаться всласть: все тело ее смеялось. Кристоф и сам стал смеяться: он подошел к Коринне и слегка хлопнул ее ладонью по спине. Вволю нахохотавшись, она подняла голову, отерла слезы, выступившие на глазах, и протянула ему обе руки.

— Какой же вы милый! — сказала она.

— Не хуже других.

Она не выпускала его рук, все еще вздрагивая от легких взрывов смеха.

— Что, легкомысленный народ *французенки?* — спросила она.

— Вы насмехаетесь надо мной,— весело отозвался Кристоф.

Коринна растроганно взглянула на него и, энергично тряхнув его руку, спросила:

— Друзья?

— Друзья! — произнес он, в свою очередь пожимая ей руку.

— И вы будете вспоминать о Коринне, когда она уедет? Не будете бранить *француженку* за то, что она легкомысленно себя вела?

— А вы, вы не будете бранить варвара-тевтона за то, что он так глуп?

— За это его и любят... И вы приедете ко мне в Париж?

— Решено... Вы будете мне писать?

— Даю клятву... Скажите и вы: клянусь!

— Клянусь!

— Да не так же, не так. Надо протянуть руку.

Коринна стала в позу, как в «Клятве Горациев». Кристоф по ее просьбе обещал, что он сочинит для нее пьесу, мелодраму, которая будет переведена на французский язык и в которой она выступит в Париже. Она уезжала со своей труппой на следующий день. Уговорились встретиться послезавтра во Франкфурте, где уже был объявлен спектакль. Они еще поболтали немного. Актриса преподнесла Кристофу фотографию, где она была снята обнаженной почти до пояса. Затем они весело попрощались, расцеловавшись, как брат и сестра. И в самом деле, Коринна, поняв, что Кристоф очень любит ее, но ничуть не влюблен, тоже полюбила его, без всякого оттенка влюбленности, как добрый товарищ.

Ничто не смущало ни его, ни ее сна. Кристоф не мог попрощаться с актрисой в день ее отъезда: он был занят на репетиции. Но на следующий день он поехал, как было условлено, во Франкфурт, который находился в двух-трех часах езды по железной дороге. Коринна не верила, что Кристоф сдержит слово, но он отнесся к своему обещанию вполне серьезно: к началу спектакля он уже был в театре. В антракте Кристоф постучался в уборную актрисы; она весело и удивленно ахнула и кинулась обнимать его. Коринна была искренне признательна Кристофу за то, что он приехал. К несчастью для Кристофа, она пользовалась гораздо большим вниманием в этом городе, где было много богатых и образованных евреев, которые сразу же оценили ее красоту и предвидели ее успех. Поминутно раздавался стук, и в приоткрывающуюся дверь протискивались грузные субъекты с живыми глазами, изрекавшие с резким акцентом пошлые любезности. Коринна, разумеется, кокетничала со своими новыми поклонниками; ту же нотку задора и рисовки она невольно сохраняла и в разговоре с Кристофом, что его коробило. Он не испытывал к тому же никакого удовольствия от того, что Коринна, ничуть не стесняясь, занималась при нем своим туалетом; он с отвращением смотрел на кремы и румяна, которые она накладывала на руки, грудь и лицо. Он собирался уехать тотчас же по окончании спектакля, не повидавшись с Коринной еще раз; но когда он стал прощаться и извинился, что не может присутствовать на ужине, который давали в ее честь, она с такой очаровательной нежностью запротестовала, что он не выдержал. Коринна потребовала железнодорожное расписание и доказала Кристофу, что он может и должен пробыть с ней еще целый час. Долго уговаривать его не пришлось, и он остался к ужину; он даже сумел совладать с собой и не

слишком ясно показывал, как тошно ему слушать глупости, которые произносились за столом, и видеть заигрывания Коринны с любой образиной. Но упрекать ее у него не хватало духу. Эта милая девушка, без твердых правил, беспечная, чувственная, падкая на удовольствия, ребячески кокетливая и в то же время честная, добрая, сохраняла во всем такое душевное здоровье и непосредственность, что даже недостатки ее вызывали невольную улыбку, почти симпатию. Кристоф, сидевший напротив Коринны, смотрел, пока она говорила, на игру ее оживленного лица, на прекрасные, сияющие глаза и несколько пухлый подбородок, на улыбку, в которой было что-то итальянское,— и доброта, и лукавство, и сладостная томность. Многое в облике Коринны открылось ему впервые. Некоторыми чертами она напоминала ему Аду — те же движения, взгляды, грубоватые ухищрения чувственной натуры,— словом, вечно женственное. Но в Коринне его особенно притягивала щедрость юга, его буйной природы, рождающей не салонных красавиц и книжных умников, а гармонические существа, телом и душой тянущиеся к солнцу. Видя, что Кристоф уходит, Коринна вышла из-за стола, чтобы не прощаться с ним при посторонних. Они опять поцеловались и еще раз пообещали друг другу писать и снова свидеться.

Кристоф уехал последним поездом. На одной из промежуточных станций он увидел встречный поезд, ожидавший отправления. В том вагоне, который был как раз напротив Кристофа, в купе третьего класса сидела молодая француженка, с которой он смотрел «Гамлета». Она тоже заметила и узнала Кристофа. Оба были поражены. Они молча поклонились и застыли, не смея даже взглянуть друг на друга. Кристоф все же успел разглядеть дорожный берет и старенький чемодан, стоявший рядом на скамье. Далекий от мысли, что она навсегда расстается с Германией, он решил, что это лишь временная отлучка. Пока Кристоф раздумывал, заговорить ли с девушкой и что сказать ей, пока он собирался опустить раму, чтобы перемолвиться с ней двумя-тремя словами через вагонное окно, послышался сигнал к отправлению, и Кристоф решил, что говорить не стоит. До отхода поезда оставалось несколько секунд. Они обменялись взглядами. Одни в своих купе, прижавшись лбом к стеклу, они долго смотрели друг на друга, преодолевая ночной мрак. Их разделяли стекла двух вагонных окон. Стоило протянуть руку, и пальцы их могли бы соприкоснуться. Так близко. Так далеко. Загромыхали колеса. Девушка все еще смотрела на него, отрешившись в минуту разлуки от своей робости. Оба так углуби-

лись в созерцание друг друга, что забыли попрощаться хотя бы кивком. Она постепенно исчезала из глаз Кристофа, и, наконец, поезд, уносивший ее, канул в ночь. Как два блуждающих светила, они встретились на мгновение и, разминувшись, уходили в бескрайные пространства, быть может, навсегда.

Не успела она скрыться из виду, как Кристоф ощутил бездонную пустоту, которую оставил в нем взгляд незнакомки; он не отдавал себе отчета, почему, но пустота была. Забившись в угол вагона, он в полудремоте смежил веки и почувствовал на себе ее взгляд; и все другие мысли отступили, чтобы он мог полнее вобрать в себя этот взгляд. Образ Коринны витал где-то близ сердца Кристофа, как бабочка, которая бьет крылышками в стекло закрытого окна и которую не впускают.

Но как только Кристоф вышел из вагона, как только ночная прохлада и движение по улицам сонного города прогнали сковывавшее его оцепенение, этот образ возник снова. Кристоф улыбался, он думал о прелестной актрисе с удовольствием, но и с досадой, смотря по тому, что ему вспоминалось — ее сердечное обращение с ним или пошлое кокетство.

— Ну, и черти же эти французы,— ворчал он, беззвучно смеясь и стараясь раздеться потише, чтобы не разбудить спавшую за стеной мать.

И в памяти всплыли слова, слышанные им в тот вечер в ложе:

— Есть среди нас и серьезные.

Так, уже при первом своем соприкосновении с Францией он стал в тупик перед загадкой ее двойственной природы. Но, как все немцы, он не старался ее разгадать и спокойно повторил, вспомнив о незнакомке, промелькнувшей перед ним в окне вагона:

— Она не похожа на француженку.

Как будто немцу подобает решать, что есть Франция и что на нее не походит.

Была она или не была француженкой, ее образ запал ему в душу; Кристоф проснулся среди ночи со стесненным сердцем: он вспомнил о чемодане, стоявшем на скамейке возле молодой девушки; и вдруг его пронзила мысль, что она совсем уехала из Германии. Правда, эта мысль напрашивалась с первой же минуты, однако он не додумался до нее. А теперь она рождала глухую печаль. Но он пожал плечами.

«Что с того? — спросил он себя.— Мне-то какое дело!»

И тут же опять уснул.

Но на следующее утро первый, с кем Кристоф столкнулся по выходе из дому, был Маннгейм, который осведомился, величая его «Блюхером», не намерен ли он завоевать всю Францию. Через эту живую газету Кристоф узнал, что история с ложей имела успех, превзошедший все ожидания Маннгейма.

— Ты гений! — кричал Маннгейм.— Я перед тобой ничтожество.

— Да что я сделал? — спросил Кристоф.

— Он великолепен,— отвечал Маннгейм.— Просто зависть берет. Выхватить ложу из-под носа у Грюнбаумов и зазвать туда их же учительницу-француженку — нет, до этого никто бы не додумался, а я меньше всего.

— Так это была учительница Грюнбаумов? — спросил огорошенный Кристоф.

— Да, можешь прикидываться, что ты этого не знал, можешь строить из себя невинность, я тебе даже очень советую! Мой папаша до сих пор из себя выходит. Грюнбаумы рвут и мечут! У них расправа короткая: выставили барышню за дверь.

— Как! — вырвалось у Кристофа.— Ее уволили?! Уволили из-за меня!

— А ты не знал? — спросил Маннгейм.— Она тебе не рассказала?

Кристоф был в отчаянии.

— Незачем расстраиваться из-за таких пустяков,— сказал Маннгейм.— И потом, ведь этого надо было ожидать. Когда Грюнбаумы узнали бы...

— Что? — крикнул Кристоф.— Что узнали?

— Что она была твоей любовницей, черт тебя побери!

— Да я с ней незнаком, я даже не знаю, кто она.

Маннгейм ответил улыбкой, явно говорившей: «Нашел дурака!»

Кристоф вспылил и потребовал, чтобы Маннгейм сделал ему честь поверить его словам. Маннгейм заметил:

— В таком случае это еще смешнее.

Кристоф был вне себя. Он твердил, что пойдет к Грюнбаумам, скажет им правду, объяснит, что девушка ни в чем не повинна. Маннгейм принялся отговаривать его.

— Милый мой,— сказал он,— как ни уверяй их, они лишь укрепятся в своем мнении. И потом, слишком поздно. Девушка теперь далеко.

Потрясенный Кристоф старался найти след молодой француженки. Он порывался писать ей, умолять о прощении. Но ни-

кто не имел о ней никаких сведений. Грюнбаумы, к которым он обратился, чуть не выгнали его. Они не знали, куда уехала девушка, да и знать не хотели. Мысль о беде, которую он навлек на нее, терзала Кристофа; его грызла совесть. К тому же он до сих пор испытывал на себе таинственную притягательную силу, которая молчаливо изливалась из глубины исчезнувших глаз. Этот зов, эти угрызения временами ослабевали, смываемые потоком времени и новых мыслей. Но образ незнакомки не уходил. Кристоф не забыл той, которую он называл своей жертвой, он дал себе клятву разыскать ее. Он знал, как мало надежды снова свидеться с нею, и все же твердо верил в это свидание.

Что касается Коринны, то она ни разу не ответила на письма Кристофа. И только через три месяца, когда он уже перестал ждать, от нее пришла телеграмма в сорок слов, полная глупой, но веселой болтовни и нежных эпитетов; актриса спрашивала: любят ли они еще друг друга? Затем, после долгого промежутка, почти через год, от нее получилось письмецо — листочек, испещренный крупными детскими каракулями, с претензией на светскость,— несколько слов, приветливых и шутливых. На этом переписка кончилась. Коринна не забыла Кристофа, но ей некогда было думать о нем.

Еще весь во власти очарования Коринны и мыслей, которыми они обменялись, Кристоф мечтал сочинить музыку для пьесы, где могла бы играть Коринна, с несколькими вставными ариями — своего рода поэтическую мелодраму. Этот некогда ценимый в Германии род искусства, которым страстно увлекался Моцарт, в котором подвизались Бетховен, Вебер, Мендельсон, Шуман, все великие классики, не пользовался успехом с тех пор, как победила школа Вагнера, возомнившая, будто она открыла некую совершенную формулу для драмы и для музыки. Ретивые педанты из вагнерианцев, не ограничиваясь запретом, который они наложили на новую мелодраму, принялись причесывать старые: они тщательно вытравляли из опер диалоги и сочиняли за Моцарта, Бетховена и Вебера речитативы по своему рецепту; они были уверены, что действуют к вящей славе великих мастеров, благоговейно облепляя всякой дрянью их вечные творения.

Кристоф, яснее понявший после критических замечаний Коринны, как неуклюжа порою и безвкусна вагнерианская декламация, спрашивал себя, не противоречит ли здравому смыслу и природе слияние речи и пения в речитативе, не значит ли это

впрячь в одну телегу коня и лань. Ведь и речь и пение имеют свой особый ритм. Можно понять художника, который приносит в жертву одно из этих искусств ради более им ценимого. Но искать компромисса между ними — значит пожертвовать и тем и другим, значит стремиться к тому, чтобы речь не была речью и пение — пением, значит заключить широкое, плавное течение речи в однообразные берега канала; а песню, ее прекрасную нагую плоть, стеснить богатыми и тяжелыми тканями, сковывающими движения. Почему бы не дать простора и тому и другому? Представьте себе прекрасную девушку, упругим шагом идущую вдоль ручья и погруженную в раздумье; лепет струй баюкает ее мечты; она бессознательно соразмеряет ритм своих шагов с песней ручья. Так музыка и поэзия, обе свободные, могут шествовать рядом, сливая свои мечты. Разумеется, не всякая музыка и не всякая поэзия пригодны для такого союза. У противников мелодрамы имелось готовое оружие: они ссылались на топорность всех прежних попыток и всех исполнителей, подвизающихся на этом поприще. Кристоф долго разделял их неприязнь: глупость актеров, декламировавших под музыку, совершенно не считаясь с музыкальным сопровождением, не пытаясь слить с ним свой голос и стремясь, напротив, лишь к одному — чтобы публика слышала только их, могла оскорбить любое музыкальное ухо. Но после того, как Кристоф услышал гармонический голос Коринны — этот прозрачный и чистый голос, который купался в волнах музыки, как луч солнца в воде, который принимал все очертания мелодической фразы, который сам был песней, но более свободной, более гибкой,— он проникся красотой нового вида искусства.

Возможно, что оно этого и заслуживало, но Кристоф еще не был достаточно искушен, чтобы безнаказанно углубляться в дебри искусства, которое по своему жанру труднее других, если только художник действительно стремится сделать его подлинным искусством. Главное условие, которого оно требует,— это полная гармония совокупных усилий поэта, музыканта и исполнителей. Кристофа это не беспокоило: он сам установил законы нового искусства и смело пустился в неведомый путь.

Первой его мыслью было переложить на музыку какую-нибудь феерию Шекспира или один из актов второй части «Фауста». Но такой эксперимент не очень соблазнял театры: они предвидели большие и к тому же бесцельные расходы. Они допускали, что Кристоф — авторитет в музыке, но когда он позволял себе рассуждать о театре, это уже вызывало улыбку, и его не принимали всерьез. Мир музыки и мир поэзии, по-види-

мому, были двумя совершенно обособленными и втайне враждующими мирами. Стремясь найти доступ в царство поэзии, Кристоф вынужден был согласиться на сотрудничество поэта, но ему не позволили сделать выбор по собственному влечению. Да он и сам не решился бы выбирать: он не доверял своему литературному вкусу; ему втолковали, что он ничего не смыслит в поэзии; и он действительно ничего не смыслил в той поэзии, которая приводила в восторг окружающих. Как ни бился Кристоф, стараясь, со свойственной ему искренностью и настойчивостью, почувствовать красоту расхваливаемых стихов, он, к стыду своему, неизменно терпел поражение: нет, решительно он не был поэтом. По правде сказать, он страстно любил некоторых поэтов прошлого; и это утешало его. Но он, должно быть, любил их не так, как полагалось. Не он ли выразил однажды ни с чем не сообразную идею, будто поэт, если он велик, остается великим и тогда, когда мысли его пересказываются даже прозой, даже на иностранном языке, и что цену словам поэта придает только его душа. Друзья подняли его на смех. Маннгейм обозвал его лавочником. Но Кристоф не сделал и попытки отстоять свои взгляды. Ведь он ежедневно убеждался на примере литераторов, рассуждающих о музыке, как смешны бывают художники, когда судят о чуждом им виде искусства. Он примирился с тем, что ничего не смыслит в поэзии (хотя в глубине души не был в этом убежден), и принимал на веру мнения людей, которых считал более сведущими. А посему Кристоф уступил приятелям по журналу, навязавшим ему «знаменитого поэта» из декадентского кружка Стефана фон Гельмута, который принес ему свою переделку «Ифигении». В ту пору немецкие поэты (как и собратья их во Франции) взялись перекраивать все греческие трагедии подряд. Творение Стефана фон Гельмута было одной из тех удивительных греко-немецких пьес, в которых читателю преподносилась мешанина из Ибсена, Гомера и Оскара Уайльда плюс трактаты по археологии. Агамемнон страдал неврастенией, Ахиллес — бессилием; они пространно и скучно сокрушались об этом, но от их жалоб дело, разумеется, не менялось. Весь пафос драмы был сосредоточен на роли Ифигении; Ифигения — неврастеничка, истеричка, синий чулок — поучала героев, декламировала истошным голосом, излагала публике свои пессимистические, ницшеанские взгляды и, опьяненная жаждой смерти, убивала себя с громким смехом.

Кристоф по всему своему душевному складу не выносил этой претенциозной литературы, искусства выродившихся варваров, гримирующихся под греков. Но все кричали, что это

великое произведение искусства. Он малодушно дал уговорить себя. По правде говоря, его переполняла музыка, она занимала его гораздо больше, чем текст. Текст был для него руслом, куда он мог излить свои страсти. Он отнюдь не был склонен к самоотрицанию, к отказу от собственного творческого лица, а именно это требуется от музыкантов, перекладывающих на музыку поэтическое произведение. Он думал только о себе, а ничуть не о тексте пьесы. Он ни за что не признался бы в этом. Впрочем, Кристоф обманывал себя: он видел в поэме совсем не то, что в ней было. Как уже случалось с ним в детстве, Кристоф создал в своем воображении новую пьесу, нисколько не похожую на творение Гельмута.

Однако во время репетиций пьеса предстала перед Кристофом в своем истинном виде. Слушая одну из сцен, он вдруг понял, как она бессмысленна, и решил, что это вина актеров, так исказивших ее; он не только осмелился в присутствии поэта объяснять им вложенную в пьесу мысль — он стал объяснять ее и самому поэту, который взял под защиту актеров. Автор встал на дыбы и сердито сказал, что кто-кто, а уж он-то свой замысел знает. Но Кристоф не унимался: он продолжал утверждать, что Гельмут совершенно не понимает пьесы. Общий смех показал ему, что он попал впросак. И Кристоф замолчал, согласившись, что ведь и вправду стихи написаны не им. Но теперь ему стала ясна ужасающая пустота пьесы, и Кристоф пал духом: как мог он так оплошать? Он обзывал себя идиотом, рвал на себе волосы. Но напрасно он старался успокоиться, напрасно твердил себе: «Не тебе судить о поэзии, да она тебя и не касается — думай о своей музыке!» Ему так стыдно было всего этого убожества, поддельного пафоса, удручающей фальши слов, жестов, поз, что порою, дирижируя оркестром, он готов был бросить свою палочку и бежать, забиться в будку суфлера. Кристоф был слишком прямодушным человеком, слишком неумелым дипломатом, чтобы носить личину. Его мысли читали все: друзья, актеры и сам автор. Однажды Гельмут, натянуто улыбаясь, спросил:

— Моя пьеса все еще не имеет чести вам нравиться?

Кристоф храбро ответил:

— Говоря откровенно, нет. Я не понимаю ее.

— Вы, значит, не читали пьесы, когда писали музыку?

— Читал,— наивно отозвался Кристоф,— но я ошибался, я видел в ней совсем другое.

— Жаль, в таком случае, что вы сами не написали это «другое».

— Ах! Если бы я мог! — сказал Кристоф.

В отместку раздраженный поэт бранил музыку. Он жаловался, что она слишком громоздка, что она глушит стихи.

Если поэт не понимал музыканта, а музыкант — поэта, то актеры не понимали ни того, ни другого, что нисколько их не тревожило. Они лишь выуживали те фразы, из которых можно было извлечь привычные эффекты. Им даже в голову не приходило соразмерить свою декламацию с общим звучанием текста, с музыкальным ритмом: декламация шла своей дорогой, а музыка своей; казалось, что исполнители никак не могут попасть в тон. Кристоф скрежетал зубами и выходил из себя, стараясь поправить их; они спокойно слушали его крики и безучастно продолжали играть по-своему, так и не поняв, чего от них требуют.

Кристоф отступился бы от этой затеи, если бы на репетиции уже не было затрачено столько труда и если бы его не сдерживал страх перед судебным иском. Маннгейм, которому он поведал о своих огорчениях, только посмеялся.

— Что ж тут такого? — спросил он.— Все это в порядке вещей. Вы не понимаете друг друга? Ну и что ж? Разве кто-нибудь понимает произведение, кроме автора? Да еще благо ему, если он сам себя понимает!

Кристоф мучился мыслью о том, что бессодержательная поэма погубит его музыку. Маннгейм готов был признать, что в поэме нет смысла и что автор ее бездарен, но он знал, что Гельмут огражден от критики: он задавал обеды, у него была прехорошенькая жена. Что еще требуется критикам? Кристоф пожимал плечами и обрывал Маннгейма, говоря, что ему некогда слушать всякие бредни.

— Какие же это бредни! — смеялся Маннгейм.— Уж эти мне умники! Они понятия не имеют о том, чем жив человек...

И он советовал Кристофу не слишком беспокоиться о делах Гельмута, а лучше заняться устройством своих. Надо позаботиться о рекламе. Возмущенный Кристоф и слышать об этом не хотел. Когда какой-то репортер пожелал получить у Кристофа сведения о его личной жизни, тот с сердцем ответил:

— Не ваше это дело!

И так же сердито огрызнулся на просьбу дать свою фотографию для одного журнала, закричав, что он, слава богу, не кайзер и не намерен выставлять свою физиономию для всеоб-

щего обозрения. Ввести его во влиятельные салоны было совершенно невозможно. На приглашения он не отвечал; а если почему-либо приходилось принимать их, он забывал прийти или являлся в таком угрюмом настроении, точно задался целью досадить всем и каждому.

И в довершение всего он порвал со своим журналом за два дня до спектакля.

Случилось то, что должно было случиться. Правкой статей Кристофа по-прежнему занимался Маннгейм; он уже без всяких церемоний выбрасывал из них целые строки, содержавшие критику, и заменял их похвалами.

Как-то раз в одном из «салонов» Кристоф встретился с пианистом, светским щеголем, которого он разнес в журнале и который стал его благодарить, показывая все свои белые зубы. Кристоф резко ответил, что благодарить его решительно не за что. Тот настаивал, многословно выражая свою признательность. Кристоф перебил его, заметив, что если статья так ему приятна, он, Кристоф, здесь ни при чем: отнюдь не с этой целью она писалась. И он повернулся к пианисту спиной. Пианист принял его за добродушного ворчуна и, посмеиваясь, отошел. Но Кристофу вдруг вспомнилось, что незадолго до этого он получил визитную карточку с выражением благодарности от другой своей жертвы,— и он вдруг заподозрил неладное. Он бросился на улицу, купил в ближайшем газетном киоске последний номер журнала, отыскал свою статью, прочел ее. В первую минуту Кристоф опешил: уж не рехнулся ли он? Но тут его осенила догадка, и он, весь кипя, побежал в редакцию «Диониса».

Там он застал Вальдгауза и Маннгейма; они беседовали с приятельницей — актрисой. Им незачем было осведомляться у Кристофа о цели его прихода. Он сразу швырнул на стол номер журнала и, не давая себе времени отдышаться, яростно обрушился на них — кричал, обзывал их плутами, подлецами, фальсификаторами и изо всех сил колотил стулом об пол. Маннгейм пытался обратить все дело в шутку. Кристоф хотел дать ему пинка, но Маннгейм, громко хохоча, отгородился от него столом. Вальдгауз же обиделся всерьез. Чванный и натянутый, стараясь перекричать Кристофа, он заявил, что не позволит разговаривать с собою в таком тоне и что Кристоф еще услышит о нем, и протянул ему свою визитную карточку. Кристоф швырнул ее в физиономию Вальдгаузу:

— Ломака! Я и без вашей карточки хорошо знаю, кто вы такой. Шалопай и фальсификатор... Вот вы кто! И вы думаете, что я буду драться с вами?.. Хватит с вас хорошей порки!

Его голос был слышен на улице. Прохожие останавливались. Маннгейм закрыл окна. Гостья, ни жива ни мертва, хотела скрыться, но Кристоф загораживал выход. Мертвенно-бледный, задыхающийся Вальдгауз и что-то лепечущий, хихикающий Маннгейм пытались отвечать Кристофу. Но Кристоф не давал им слова вымолвить. Он обрушил на них град самых обидных ругательств, какие только мог придумать, и не ушел, пока не выложил все и не охрип окончательно. Вальдгауз и Маннгейм опомнились лишь после его ухода. Маннгейм очень быстро принял обычный самоуверенный тон: брань соскальзывала с него, как с гуся вода. Но Вальдгауз чувствовал себя оскорбленным: его достоинство было уязвлено; особенно унизительно было то, что скандальная сцена разыгралась при свидетелях. Никогда он этого не простит! Друзья хором поддакивали ему. Из всей редакции один Маннгейм не злился на Кристофа: он вволю позабавился; по его мнению, несколько ругательств были совсем недорогой ценой за то удовольствие, которое он получил. Препотешная вышла шутка: если бы даже Маннгейм стал ее жертвой, он все равно первый бы посмеялся. И он готов был как ни в чем не бывало пожать руку Кристофу. Но Кристоф оказался более злопамятным: он не отвечал на заигрывания Маннгейма. Последнего это ничуть не трогало: Кристоф был для него побрякушкой, вдосталь его позабавившей, и теперь ему не терпелось найти себе новую забаву. Между ним и Кристофом все было кончено, однако это не мешало Маннгейму, когда заговаривали о Кристофе, по-прежнему называть его своим закадычным другом. Быть может, он и сам этому верил.

Через два дня после разрыва с редакцией состоялась премьера «Ифигении». Это был полный провал. О самой поэме журнал Вальдгауза дал одобрительный отзыв, но ни словом не обмолвился о музыке. Зато другие газеты и журналы отвели душу. Они издевались, они улюлюкали. После третьего представления пьесу сняли, но насмешки не умолкли так быстро. Критики были слишком рады случаю поглумиться над Кристофом: «Ифигения» еще долго служила мишенью для бесконечных острот. Все прекрасно знали, что теперь Кристоф беззащитен, и пользовались этим. Единственной уздой для критиков еще было положение Кристофа при дворе. Хотя отношения с герцогом, после того как придворный музыкант не внял замечаниям его высочества, стали холодными, Кристоф по-прежне-

му время от времени посещал замок и пользовался, как казалось публике, официальным покровительством, скорее обманчивым, чем реальным. Он сам постарался разрушить этот последний свой оплот.

Кристоф страдал от нападок критики. Она взяла под обстрел не только его произведения, но и новую форму искусства, не дав себе труда понять ее (легче ведь было окарикатурить ее, поднять на смех). Кристоф еще не достиг той степени мудрости, когда художник начинает понимать, что лучший ответ злобствующим критикам — не отвечать вовсе, продолжая творить. А он усвоил себе за последние месяцы дурную привычку опровергать несправедливые обвинения. Он написал статью, в которой не давал спуску своим противникам. Две благонамеренные газеты вернули ему статью, учтиво, но иронически извиняясь, что не имеют возможности ее напечатать. Кристоф заупрямился. Он вспомнил, что в городе была социалистическая газета, заигрывавшая с ним. Он был знаком с одним из ее сотрудников: им не раз случалось беседовать. Кристоф охотно встречался с человеком, свободно говорившим о властях, об армии, о гнете устаревших предрассудков. Но беседы эти быстро прекращались: социалист неизменно возвращался к Карлу Марксу, к которому Кристоф был глубоко равнодушен. К тому же Кристоф обнаружил в речах своего свободомыслящего собеседника — наряду с материализмом, которому он не особенно сочувствовал,— знакомую ему педантическую узость и деспотизм мысли, скрытое преклонение перед силой, своего рода милитаризм наизнанку. Все это звучало не так уж ново по сравнению с тем, что он изо дня в день слышал.

И, однако, именно этот человек и его газета пришли на ум Кристофу, когда перед ним захлопнулись двери других редакций. Он, конечно, понимал, что появление его статьи в социалистической газете произведет впечатление скандала: газета славилась своей резкостью и нетерпимостью и вызывала всеобщее осуждение, но Кристоф, сам не читавший ее, рассчитывал лишь на смелость ее идей, нисколько не пугавшую его, и не думал о низменности тона, который наверное оттолкнул бы его. Впрочем, Кристофа настолько возмутил молчаливый сговор других редакций, решивших погубить его, что он пренебрег бы всеми этими недостатками, если бы даже ему открыли на них глаза. Кристоф хотел показать, что с ним не так-то легко справиться. И он отнес свою статью в редакцию социалистической

газеты, где его встретили с распростертыми объятиями. Статья была напечатана на следующий же день; газета в напыщенных выражениях извещала публику, что заручилась сотрудничеством молодого и талантливого музыканта Крафта, как известно, горячо сочувствующего требованиям рабочего класса.

Ни этой заметки, ни своей статьи Кристоф не прочел: в это воскресенье он очень рано, еще до рассвета, отправился за город. На душе у него было радостно. Глядя на восход солнца, он кричал, смеялся, выводил рулады, прыгал, танцевал. К черту редакцию, к черту критику! Наступает весна, снова вернулась к нам музыка небес и земли, самая прекрасная из всех. Долой мрачные концертные залы, удушливые и смрадные, долой надоедливых соседей и скудоумных виртуозов! К небу возносится чудесная песня шелестящих лесов; вновь по полям разлились опьяняющие токи Жизни, которая, пробив земную кору, воскресала из мертвых.

Как только Кристоф, все еще оглушенный гудением весенней музыки и светом, вернулся домой, мать подала ему письмо, принесенное из замка в его отсутствие. Господина Крафта в безличной форме извещали, что ему предлагается явиться в замок сегодня утром. Но утро уже прошло — было около часа. Кристофа это нисколько не обеспокоило.

— Сегодня уже поздно,— сказал он.— Пойду завтра.

Но мать встревожилась.

— Нет, нет, разве можно так запаздывать, ведь время назначено его высочеством; отправляйся сейчас же. Может быть, там какое-нибудь важное дело.

Кристоф пожал плечами.

— Важное? Жди от этих господ важных дел!.. Будет излагать мне свои взгляды на музыку. Страшно весело!.. Еще вздумает состязаться с Зигфридом Мейером[1] и покажет мне какой-нибудь «Гимн Эгиру»! Ну, я с ним церемониться не буду. Скажу ему без околичностей: «Занимайтесь политикой. Тут вы господин и повелитель, значит будете всегда правы. Но в искусстве — как бы не так! Здесь вы предстанете пред нами без каски, без султана, без мундира, без денег, без титулов, без предков, без жандармов... Подумайте, черт возьми, что же от вас останется?»

Простодушная Луиза, не понимавшая шуток, всплеснула руками:

---

[1] Прозвище, под которым германские памфлетисты разумели императора.— *Р. Р.*

— Ты этого не скажешь! Ты помешался! Окончательно помешался!

Он любил пугать Луизу, пользуясь ее доверчивостью, подсмеивался над ней; мать разгадывала его игру лишь тогда, когда он придумывал какое-нибудь совсем уж невероятное сумасбродство.

Она повернулась к нему спиной.

— До чего же ты глуп, мой мальчик!

Кристоф, смеясь, обнял ее. Он был в приподнятом настроении: с прогулки он принес чудесную музыкальную тему и теперь слышал, как она плещется в нем, точно рыба в воде. Он был голоден, как волк, и решил, прежде чем идти в замок, пообедать. После обеда Луиза занялась его туалетом, так как он опять начал поддразнивать ее: уверял, что хорош и так, в старом костюме и запыленных башмаках. Тем не менее он переоделся и почистил обувь, свистя, как дрозд, и подражая всем инструментам оркестра по очереди. Когда он был готов, мать подвергла его осмотру и с важным видом перевязала ему галстук. Он, сверх обыкновения, терпеливо ждал, пока она кончит, ибо был доволен собой, что тоже случалось не часто. Уходя, Кристоф сказал Луизе, что он собирается похитить принцессу Аделанду — дочь великого герцога, хорошенькую женщину, супругу захудалого немецкого принца, приехавшую погостить на несколько недель к своим родителям. Когда Кристоф был маленьким, она выказывала ему расположение, и он питал к ней слабость. Луиза уверяла, что Кристоф ею увлечен, и он, дурачась, прикидывался влюбленным.

Кристоф шел не спеша, останавливался поглазеть на витрины магазинов или погладить собаку, которая грелась на солнцепеке и зевала, наслаждаясь, как и сам он, бездельем. Он перепрыгнул через низкую ограду и очутился на площади перед замком. Это был обширный и пустынный четырехугольник с домами по краям, украшенный бездействующими фонтанами и двумя симметрично расположенными на припеке цветниками, которые разделяла ровная, точно пробор, аллея, аккуратно расчищенная, посыпанная песком и обсаженная померанцевыми деревьями в кадках; посредине высилась бронзовая статуя какого-то герцога в костюме времен Луи-Филиппа, с аллегорическими добродетелями по углам цоколя. Скамейки были пусты, если не считать одинокой фигуры уснувшего над газетой человека. Дремали у решетки замка никому не нужные часовые. Дремали позади игрушечных рвов, на насыпи, две пуш-

ки, обращенные жерлами к спавшему внизу городу. Глядя на эту картину, Кристоф расхохотался.

Войдя в замок, он даже не позаботился принять официальный вид; он снизошел лишь до того, что перестал напевать: мысли его все еще кружились в веселом танце. В вестибюле он бросил свою шляпу на стол и непринужденно окликнул старого лакея, которого знал с детских лет (старик служил здесь уже в ту пору, когда Кристоф впервые пришел в замок с дедушкой в день встречи с Гаслером), но лакей, всегда добродушно отвечавший на бесцеремонные шутки Кристофа, на сей раз принял холодно-надменный вид. Кристоф не придал этому значения. В следующей комнате, передней, он встретил одного из чиновников герцогской канцелярии, обычно словоохотливого и не скупившегося на выражения дружеских чувств; к удивлению Кристофа, этот субъект торопливо прошмыгнул мимо, явно уклоняясь от разговора. Но все это были мимолетные впечатления. Кристоф прошел в соседнюю комнату и попросил доложить о себе герцогу.

Он был допущен в герцогские покои. Его высочество только что отобедал и расположился в одной из гостиных. Прислонившись к камину, он курил и разговаривал с гостями, среди которых Кристоф разглядел свою принцессу, тоже с папиросой во рту. Небрежно развалясь в кресле, она что-то громко говорила толпившимся вокруг нее офицерам. Все были очень оживленны, веселы; Кристоф уже на пороге услышал жирный смех герцога. Но смех сразу умолк, как только взгляд его высочества упал на Кристофа. Он что-то проворчал про себя и, двинувшись прямо на него, крикнул:

— А! Вы! Изволили наконец явиться! Долго еще вы намерены насмехаться надо мной? Вы, сударь, наглец!

Кристоф остолбенел, словно его толкнули в грудь, и не сразу мог разжать челюсти. Он знал за собой лишь одну вину — опоздание, но не могло же оно вызвать такую ярость. Он пролепетал:

— Ваше высочество, что я сделал?

Но герцог не слушал его и запальчиво продолжал:

— Молчать! Я не позволю оскорблять себя всяким бездельникам.

Мертвенно-бледный Кристоф не мог выдавить ни звука из сжатого судорогой горла. Он сделал над собой усилие и крикнул:

— Ваше высочество, вы не имеете права!.. Вы сами не имеете права оскорблять меня. И вы даже не сказали, что я такое сделал...

Герцог обернулся к своему секретарю; тот достал из кармана газету и подал. Озлобление герцога объяснялось не одним лишь желчным характером: винные пары тоже сделали свое дело. Он подошел вплотную к Кристофу и стал сердито размахивать перед самым его носом развернутой и смятой газетой, словно тореадор плащом. Он крикнул:

— Вот она, ваша пачкотня, сударь!.. Вас нужно ткнуть в нее носом?!

Кристоф узнал социалистическую газету.

— Не вижу, что тут плохого,— сказал он.

— Как! Как! — завизжал герцог.— Ну и бесстыдство!.. Писать в этой газете, где гнусные негодяи оскорбляют меня, осыпают мерзкой руганью!..

— Ваше высочество,— сказал Кристоф,— я ее не читал.

— Вы лжете! — воскликнул герцог.

— Я не желаю слушать обвинений во лжи,— ответил Кристоф.— Я ее не читал, я интересуюсь только музыкой. И, помимо того, я имею право писать, где хочу.

— Никаких у вас нет прав, кроме одного: молчать! Я был слишком добр к вам. Я изливал на вас слишком много благодеяний, на вас и ваше семейство... А у меня были тысячи причин расстаться с вами после всего, что учинили вы и ваш отец... Впредь запрещаю вам писать в газете, которая мне враждебна. И вообще раз и навсегда запрещаю вам писать что бы то ни было без моего разрешения. Я сыт по горло вашей музыкальной полемикой. И не позволю человеку, состоящему под моим покровительством, ополчаться на все, что дорого людям со вкусом и сердцем, истинным немцам. Сочиняли бы вы лучше сами хорошую музыку, а уж если это вам не по силам, играли бы ваши гаммы и упражнения. Мне не нужен музыкальный Бебель, который умеет лишь осквернять все, что составляет гордость нации, и сеять смуту в умах. Мы, слава богу, и без ваших поучений знаем, что хорошо и что плохо. Так идите же, сударь, и садитесь за свой рояль, а нас оставьте в покое!

Дородный герцог стоял лицом к лицу с Кристофом, вперив в него презрительный взгляд. Мертвенно-бледный Кристоф пытался что-то произнести; губы его дрожали; он пробормотал:

— Я не раб ваш, я буду говорить, что хочу, буду писать, что хочу...

Он задыхался, он чуть не заплакал от стыда и бешенства, ноги у него подкашивались. Дернув локтем, он сбросил какой-то предмет со стоявшего рядом столика. Он сознавал, что смешон; и в самом деле, послышался смех; бросив взгляд в глу-

бину гостиной, Кристоф увидел, как сквозь туман, принцессу — она, видимо, внимательно наблюдала за всей этой сценой и теперь говорила что-то своим соседям с иронически сочувственной миной. Что было потом, Кристоф уже почти не понимал. Герцог кричал. Кристоф силился перекричать его; он сам не знал, что говорит. Секретарь герцога и какой-то чиновник бросились к Кристофу, стараясь унять его, но он оттолкнул их. Крича, он размахивал пепельницей, которую машинально схватил со стола. Он слышал, как секретарь увещевает его:

— Послушайте, отдайте-ка это, отдайте!

И, словно чужие, до него доносились его собственные бессвязные выкрики и стук пепельницы, которой он колотил о край столика.

— Вон отсюда! — завопил великий герцог вне себя от ярости.— Вон! Вон! Я вас выгоняю!

Офицеры окружили своего государя, пытаясь его успокоить. Но герцог, побагровев, с вылезающими из орбит глазами, кричал, чтобы этого негодяя немедленно вышвырнули вон. Кристоф света невзвидел: он чуть было не хватил герцога кулаком по физиономии, но его сковал хаос противоречивых чувств — стыд, бешенство, остаток робости и германского законопослушания, вековая почтительность, привычка к угодливости перед государем. Кристоф хотел говорить — и не мог, хотел действовать — и не мог; он ослеп, оглох; он позволил себя вытолкать — и убежал.

Кристоф прошел сквозь строй бесстрастных лакеев, столпившихся у дверей и слышавших от начала до конца всю сцену. Тридцать шагов до выходной двери показались ему долгими, как жизнь. Он шел, а галерея, чудилось ему, все вытягивалась. Нет, ей никогда не будет конца!.. Где-то вдали, сквозь стеклянную дверь, виднелся спасительный свет дня... Кристоф, спотыкаясь, спустился с лестницы. Он не замечал, что идет с непокрытой головой; старик швейцар позвал его и подал шляпу. Надо было собрать все силы, чтобы выйти из замка, пересечь двор, добрести до дому. У Кристофа зуб на зуб не попадал. Когда он открыл дверь своей квартиры, мать испугалась его вида: его все еще трясло. Кристоф отстранил Луизу, не ответил на ее вопросы. Он поднялся в свою комнату, заперся и лег. Руки у него так дрожали, что ему никак не удавалось раздеться, дыхание спирало, он был весь разбит... Ах, только бы ничего не видеть, не чувствовать, не слышать требований этой жалкой плоти, не бороться против этой омерзительной жизни и упасть, упасть без дыхания, без мысли, не быть, совсем не быть!.. Он

с невероятными усилиями сдернул с себя одежду, разроняв ее по полу, затем кинулся на постель и зарылся в нее с головой. В комнате не раздавалось ни звука — только слышно было, как сотрясалась под ним железная кровать.

За дверью стояла Луиза; она постучала, тихонько окликнула Кристофа — никто не ответил: подождала еще, тревожно вслушиваясь в тишину; потом ушла. В течение дня она приходила еще два-три раза, прислушивалась; вечером, перед сном, опять постояла у дверей. Так прошел день, прошла ночь, в доме была все та же немая тишина. Кристофа бил озноб; минутами он плакал, а ночью поднимался, грозил кулаком стене. В два часа ночи Кристоф в порыве безумия соскочил с постели — потный, полуголый: он решил, что пойдет и убьет герцога. Стыд и ненависть жгли его; казалось, и тело и душа его корчились в огне. Но эта буря не вырвалась наружу ни словом, ни звуком: он стиснул зубы и все затаил в себе.

Наутро Кристоф, как обычно, спустился вниз. Он был опустошен. Луизе он не сказал ни слова, а она не посмела спросить: соседи уже донесли ей обо всем. Весь день Кристоф просидел на стуле у печки, немой, дрожащий, сгорбленный, как старик; оставшись один, он начинал беззвучно плакать.

Вечером к нему явился сотрудник социалистической газеты. Разумеется, он был в курсе дела и интересовался подробностями. Растроганный Кристоф в простоте душевной объяснил себе этот визит как знак сочувствия, как извинение со стороны тех, кто невольно его подвел; из самолюбия он подчеркивал, что ни в чем не раскаивается, и доверчиво излил все, что у него накипело на душе, в откровенной беседе с человеком, ненавидевшим гнет, как и он сам. Гость подзадоривал Кристофа: он видел во всем происшедшем отличный козырь для своей газеты, повод для скандальной статьи и рассчитывал, что Кристоф, если не захочет сам написать ее, то, по крайней мере, снабдит его материалом; он надеялся, что после происшедшего взрыва придворный музыкант отдаст «делу» свой талант полемиста, что было весьма ценно, а также кое-какие секретные документики о дворе, вещь, еще более ценную. Журналист, не страдавший щепетильностью, без всяких околичностей изложил Кристофу свою просьбу. Кристоф вскочил, как ужаленный; он заявил, что ничего не намерен писать,— ведь отныне нападки на герцога с его стороны будут восприняты как акт личной мести; теперь, будучи свободен, он обязан быть более сдержан-

ным, чем прежде, когда руки у него были связаны, когда выражать свои мысли было для него рискованно. Журналист ничего не разобрал во всех этих тонкостях; он пришел к выводу, что Кристоф — человек недалекий и клерикал в душе. А главное, трус. Он сказал:

— Ну, что ж, предоставьте это нам. Я сам напишу. От вас ничего не требуется.

Кристоф умолял его отказаться от этой затеи, но он не мог заткнуть ему рот. К тому же журналист доказывал, что оскорблен не только сам Кристоф, но и газета, которая имеет право ответить. На это трудно было что-либо возразить; единственное, чего добился Кристоф, это обещания не предавать огласке сведения, которые он сообщил ему как другу, а не как журналисту. Тот охотно согласился. Кристофа это не успокоило: слишком поздно спохватился он, какую совершил оплошность. По уходе гостя он снова перебрал в уме все сказанное — и содрогнулся. Сгоряча, не подумав, он написал журналисту и умолял его не разглашать всего того, что было ему доверено (несчастный повторил в своем письме некоторые факты, ранее сообщенные гостю).

Наутро первое, что ему бросилось в глаза, когда он поспешно развернул газету, была его беседа, полностью напечатанная на первой полосе. Все сказанное им накануне было раздуто до невероятности — следствие профессионального искажения, которому подвергается любое событие, прошедшее через мозг журналиста. Газета обрушилась на герцога и его двор потоком ругани. Некоторые подробности, приведенные в статье, касались лично Кристофа, были известны ему одному, и не приходилось сомневаться, что авторство статьи будет приписано именно ему.

Этот новый удар доконал его. Он читал, и на лбу его выступал холодный пот. Кончив, он продолжал сидеть, растерянно озираясь вокруг. Он порывался бежать в редакцию газеты, но мать не пустила его, справедливо опасаясь его необузданного нрава. Кристоф и сам опасался того же, он чувствовал, что натворит в редакции глупостей, и остался дома, чтобы совершить другую. Он написал журналисту гневное письмо, в самых резких выражениях клеймя его поступок, и, решительно отмежевываясь от статьи, объявлял, что порывает с социалистами. Письмо не было напечатано. Кристоф снова написал в газету, требуя его оглашения. Тогда ему преподнесли копию его первого письма, которое было написано в вечер беседы с журналистом и подтверждало факты, изложенные в газете; ре-

дакция осведомлялась, не огласить ли заодно и это послание. Кристоф понял, что находится у них в руках. А тут еще он, на горе свое, столкнулся на улице с нескромным журналистом и, не удержавшись, высказал ему в лицо свое презрение. На следующий день в газете появилась ядовитая заметка о придворных лакеях, которые не могут отрешиться от своего лакейства, даже когда их выгоняют взашей. Намеки на недавно разыгравшееся происшествие ясно показывали, в кого метит газета.

Как только стало ясно, что Кристоф лишился последней опоры, вдруг оказалось, что у него тьма врагов, о которых он даже не подозревал. Все, кого он задел прямо или косвенно, критикуя их или ополчаясь на их взгляды и вкусы, не теряя времени, перешли в наступление и отплатили ему сторицей. Та самая публика, которую Кристоф пытался расшевелить, с удовлетворением созерцала, как учиняют расправу над дерзким юношей. Все помнили, что он собирался произвести переворот в общественном мнении и смущал сон порядочных людей. Кристоф тонул, и каждый еще старался толкнуть его.

В атаку ринулись не все сразу. Для начала один из его врагов осторожно нащупал почву. Видя, что Кристоф не отвечает, тот набросился на него смелее. За ним последовали другие и, наконец, вся свора. Одни присоединились к общему хору забавы ради; как щенки, которые из озорства поднимают ножку на глазах у всех,— это был летучий отряд журналистов-невежд, которые стараются замаскировать свое невежество, превознося победителей и осыпая оскорблениями побежденных. Другие выкатывали тяжелую артиллерию, которую они именовали своими принципами, и били напропалую; они не оставляли за собой камня на камне; это была критика большого стиля: она убивала.

К счастью для Кристофа, он не читал газет. Преданные друзья позаботились послать ему самые едкие из появившихся статей, но он так и не прикасался к грудам бумаги, выраставшим на его рабочем столе. Наконец его внимание было привлечено красной рамкой, которой чья-то рука обвела очередную статью, посвященную ему. Он прочел в ней, что его Lieder походят на звериный рык, что симфонии его, по-видимому, вырвались из дома умалишенных, что его искусство истерично, что судорожные потуги найти какую-то особенную гармонию имеют целью прикрыть сухость сердца и убожество мысли. Критик с громким именем заканчивал так:

«Крафт, выступая на поприще журналиста, явил нам несколько поразительных примеров своего стиля и вкуса, которые немало позабавили наших музыкантов. Ему тогда же был дан дружеский совет посвятить свои силы композиции. Как показали последние творения его музы, этот совет был дан неосмотрительно, хотя и от доброго сердца. Господин Крафт прирожденный хроникер».

Прочитав эту статью и лишившись на целое утро работоспособности, он решил обозреть всю враждебную ему прессу, чтобы окончательно потерять равновесие. Но Луиза, имевшая обыкновение выбрасывать все, что валялось без толку, уже сожгла газеты под предлогом «наведения порядка». Сначала это раздосадовало Кристофа, затем он почувствовал облегчение и, подав матери прочитанную газету, выразил сожаление, что и этот листок не попал в печку.

Но были и горшие обиды. Квартет, посланный им во Франкфурт известному музыкальному обществу, отклонили единогласно и без объяснений. Увертюру, которую взялся было сыграть один кельнский оркестр, Кристофу вернули через несколько месяцев как непригодную для исполнения. Но самое жестокое испытание было уготовано Кристофу Обществом оркестровой музыки в его собственном городе. Руководитель Общества, капельмейстер Эйфрат, был неплохим музыкантом, но, как многие дирижеры, чуждался всяких исканий; он страдал, или, вернее, наслаждался, присущей его профессии косностью, которая побуждает музыкантов заигрывать до отупения наиболее популярные вещи, а от всего подлинно нового бежать, как от чумы. Это был неутомимый организатор бетховенских, моцартовских и шумановских концертов: здесь ему оставалось лишь нестись по течению под рокот знакомых и привычных ритмов. Но зато он терпеть не мог современной музыки. Он не имел мужества признаться в этом и даже уверял, что приветствует любое молодое дарование; и в самом деле, когда на его суд отдавали вещи, скроенные по старинке,— перепевы произведений, которые были новыми с полстолетия назад,— он оказывал им хороший прием, даже упорно навязывал их публике. Ведь такие сочинения не мешали ни привычным музыкальным эффектам, которыми щеголял дирижер, ни привычным переживаниям публики. Зато он испытывал презрение и ненависть ко всему, что грозило нарушить этот привычный порядок и утомляло его своей новизной. Если новатор не имел никакой надежды выдвинуться, брало верх презрение. Если же существовала какая-нибудь вероятность успеха, прорывалась

ненависть,— разумеется, лишь до той поры, когда этот успех становился прочным.

Кристоф еще далеко не преуспевал. И он был очень удивлен, когда ему косвенно дали понять, что герр Эйфрат не прочь сыграть какую-нибудь из его вещей. Он никак не ожидал этого уже потому, что капельмейстер был близким другом Брамса и некоторых других музыкантов, с которыми Кристоф обошелся в своих обзорах не очень-то вежливо. Но Кристоф был добряк, и он приписывал своим противникам те же великодушные побуждения, на которые был способен сам. Теперь, когда его травят, им хотелось показать, думал он, что они стоят выше мелочной мести; это его тронуло. Он написал Эйфрату в самом задушевном тоне и приложил к письму свою симфоническую поэму. Эйфрат через секретаря ответил ему сухим, но учтивым письмом, подтвердив получение поэмы и прибавив, что, по правилам Общества, симфония будет роздана оркестру и прослушана на репетиции, прежде чем отдана на суд публики. Правило есть правило, и Кристоф подчинился. К тому же это была чистая формальность, выручавшая в тех случаях, когда требовалось избавиться от стряпни назойливых любителей.

Две или три недели спустя Кристоф получил извещение, что его поэму скоро начнут репетировать. По правилам эти репетиции полагалось устраивать при закрытых дверях, не приглашая даже автора. Но от этого правила обычно отступали, и автор присутствовал, хотя держался в тени. Все знали о его присутствии, и все делали вид, что не замечают его. В день репетиции за Кристофом зашел один приятель, и они вместе явились в концертный зал. Кристоф уселся в глубине ложи. Он очень удивился, увидев, что на этой закрытой репетиции зал — или, во всяком случае, партер — был наполнен почти до отказа: оттуда доносились шарканье и гомон толпы дилетантов, критиков и просто любопытствующих. Оркестру было внушено не замечать многочисленного собрания.

Сначала шла рапсодия Брамса для альта, мужского хора и оркестра, написанная на отрывок из книги Гейне «Зимнее путешествие на Гарц». Кристоф, которому претила торжественная сентиментальность этой пьесы, решил, что «брамины» прибегли к вежливому способу мести, принудив его прослушать произведение, которое он так неучтиво разбранил. Эта догадка рассмешила его, и он развеселился еще больше, когда за рапсодией последовали произведения других известных композиторов, которых он тоже подверг критике,— умысел Эйфрата показался ему совершенно ясным. Он невольно поморщился, но

подумал, что это все же допустимый способ ведения войны, и он оценил если не музыку, то сыгранную с ним шутку. Он даже не без удовольствия иронически похлопал вместе с публикой, восторженно рукоплескавшей Брамсу и родственным ему по духу композиторам.

Но вот на очереди симфония Кристофа. Взгляды, которые оркестранты и публика бросали в направлении его ложи, показывали, что его присутствие ни для кого не тайна. Он скрылся в глубине ложи. С волнением, знакомым всякому музыканту, он ждал минуты, когда взовьется палочка дирижера, когда нарастающая в тишине волна музыки вдруг прорвет сдерживающую ее плотину. Никогда еще он не слышал своих вещей в исполнении оркестра. Заживут ли полной жизнью задуманные им образы? Как прозвучат их голоса? Он слышал в себе их гул и, склонившись над звенящей бездной, с трепетом ждал, что́ из нее поднимется.

А поднялось из нее нечто, чему нет имени, какое-то бесформенное месиво. Аккорды, которые должны были складываться в мощные колонны, несущие на себе фронтон здания, падали как попало, и все вместе напоминало разваливающийся дом, прах и пыль от осыпающейся штукатурки. Кристоф сначала подумал, что играют не его вещь. Он искал в ней нить, ритм своей мысли и не узнавал. Она брела, пошатываясь, заикаясь, цепляясь за стены, точно пьяница, и Кристоф сгорал от стыда, ему казалось, что это он сам предстает перед всеми в таком виде. Пусть он знает, что написал совсем иное,— если истолкователь калечит, искажает вашу мысль, вы на какой-то миг начинаете сомневаться, уж не вы ли сами ответственны за эту нелепицу. Но публика — она не сомневается ни в чем; она верит исполнителям, певцам, оркестру, с которым сжилась, верит, как своей газете: уж они-то не могут ошибиться; если вещь у них получается глупая, значит, глуп автор. А в данном случае публика не только не сомневалась — она с удовольствием верила в глупость автора. Кристоф убеждал себя, что капельмейстер не может не замечать всей этой какофонии; он остановит оркестр и заставит его начать сызнова. Инструменты даже начали играть вразнобой. Корнет вступил слишком поздно и пропустил один такт; он играл несколько минут, потом вдруг остановился и стал прочищать инструмент. Некоторые места из партии гобоев совсем исчезли. Самое изощренное ухо не уловило бы в симфонии нить музыкальной мысли, даже слабого намека на нее. Своеобразие инструментовки, яркие вспышки юмора — все становилось уродливо-комическим вследствие гру-

бости исполнения. Это было до отчаяния глупо и, казалось, написано тупицей или фигляром, ничего не смыслящим в музыке. Кристоф рвал на себе волосы. Он хотел остановить оркестр, но приятель, сидевший в ложе, удержал его: он твердил, что *герр капельмейстер* и сам заметит промахи оркестра и наведет порядок — к тому же Кристоф не имеет права показываться, и его вмешательство произведет скверное впечатление. Он настаивал, чтобы Кристоф пересел в глубь ложи. Кристоф послушался; но он бил себя по голове кулаками и при каждой новой выходке оркестра хрипел от негодования и боли.

— Негодяи! Негодяи!..— стонал Кристоф и кусал себе руки, чтобы не закричать.

Теперь с фальшивыми нотами сливался гомон публики, которая задвигалась, зашумела. Сначала поднялся лишь смутный рокот, но вскоре не осталось никаких сомнений: публика смеялась. Сигнал был дан оркестром: некоторые из музыкантов откровенно потешались. Как только публика удостоверилась, что симфония Кристофа достойна осмеяния, она стала громко хохотать. Теперь уже веселился весь зал; особенно развлекал публику один мотив, весьма выразительный по ритму и еще подчеркнутый шутовским аккомпанементом контрабасов. И среди этого сумбура один лишь капельмейстер продолжал бесстрастно отбивать такт.

Наконец симфонию доиграли (всякому счастью приходит конец). Слово было за публикой. И ее вдруг прорвало. Разразилась буря веселых возгласов, продолжавшихся несколько минут. Одни улюлюкали, другие издевательски хлопали; наиболее находчивые кричали «бис». Из глубины зала донесся чей-то бас, исполнявший все тот же окарикатуренный мотив. Нашлись еще весельчаки, которые стали наперебой подражать ему. Кто-то крикнул: «Автора!» Эти умники давно уж так не потешались.

Когда вся сумятица поутихла, невозмутимый капельмейстер, повернувшись почти лицом к публике, но как будто не видя ее (все еще считалось, что публика отсутствует), жестом показал оркестру, что он желает говорить. Раздались возгласы: «Тише!» — и все замолкло. Капельмейстер подождал еще немного и заговорил (его голос звучал отчетливо, холодно и безапелляционно):

— Милостивые государи, если я позволил себе доиграть до конца *сие произведение*, то лишь потому, что пожелал дать урок господину, который имел дерзость поносить нашего учителя Брамса.

Он кончил и, соскочив с эстрады, ушел под исступленные аплодисменты зала. Его вызывали, рукоплескания продолжались несколько минут. Но он не вернулся. Оркестранты стали расходиться. Публика тоже. Концерт окончился.

Веселый выдался денек.

Кристоф уже исчез. Как только дирижер отошел от пульта, юноша ринулся вон из ложи; он несся вниз по лестнице, перескакивая через несколько ступеней, чтобы настичь негодяя и отхлестать его по физиономии. Приятель кинулся было удержать Кристофа, но тот отшвырнул его и чуть не сбросил с лестницы (он имел основания подозревать, что ловушка подстроена не без участия этого субъекта). К счастью для капельмейстера и самого Кристофа, дверь на сцену оказалась запертой. Он стал в исступлении барабанить по ней кулаком, но никто не открывал. А публика начала расходиться. Стоять здесь становилось неудобно. Он убежал.

Юноша был в негодовании. Он шел, сам не зная куда, размахивая руками, вращая глазами, громко, как сумасшедший, разговаривая сам с собой; он душил в себе крики возмущения и ярости. Улица опустела. Концертный зал соорудили всего год назад, в новом квартале, за чертою города; и Кристоф, сам того не замечая, побежал за город, по пустырям, где поднимались одинокие бараки за невысокими заборами да стройки, обнесенные лесами. Мысли одна другой кровожаднее роились в его мозгу, он готов был стереть с лица земли человека, так жестоко посмеявшегося над ним. Но к чему? Разве убийством смиришь вражду этих людей, чей издевательский смех еще отдавался в его ушах? Их целое сонмище, они сильнее его. Многое их разделяет, но они найдут общий язык, чтобы опозорить и раздавить его. Это уже не просто непонимание — это ненависть. Что же он сделал им? Он полон прекрасных мыслей и чувств, несущих радость сердцу человека. Он хотел выразить их, чтобы и другие могли порадоваться; он верил, что эти другие будут счастливы вместе с ним. Пусть даже он не сумел увлечь их, разве самое намерение его не заслуживает благодарности, разве не должны они, по крайней мере, дружески объяснить ему, в чем он ошибся? Все можно было понять, только не это злорадное оплевывание его мыслей, ими же подло подтасованных, это желание растоптать, уничтожить насмешкой. Распаленный обидой, Кристоф преувеличивал ненависть этих людей. Он видел глубину там, где была лишь по-

средственность, ни на что глубокое не способная. «Что я им сделал?» — сквозь рыдания восклицал он. Он задыхался, ему казалось, что все кончено, как в детстве, когда он впервые познал людскую злобу.

Взглянув себе под ноги, Кристоф вдруг заметил, что очутился на берегу речки, у мельницы, на том самом месте, где несколько лет назад утонул его отец. И вдруг ему пришла мысль: утопиться! В то же мгновение он решил прыгнуть в воду.

Но когда он склонился над откосом, завороженный ясным и спокойным оком реки, рядом на дереве вдруг самозабвенно залилась песней крошечная птичка. Кристоф замер, слушая ее. Тихо бормотала вода. Шуршала заколосившаяся рожь, клонясь под ленивой лаской ветра. Трепетала листва тополя. В саду, за изгородью, бежавшей у края дороги, невидимый рой пчел оглашал воздух своей благоуханной музыкой. На другом берегу корова мечтательно вперяла вдаль взгляд прекрасных глаз, окаймленных черными кругами. Примостившись на выступе стены, светловолосая девочка, с легкой плетушкой за спиной, точно крылатый ангелок, тоже мечтала, болтая босыми ножками и мурлыкая песенку, понятную ей одной. Вдали на лугу носилась, описывая большие круги, белая собака...

Прислонившись к дереву, Кристоф слушал, оглядывал весеннюю землю; в него вливались покой и радость, которыми дышал окружающий мир, а с ними — забвение, забвение... Вдруг он обхватил руками прекрасное дерево, прильнул к нему щекой. Потом бросился наземь, зарылся головой в траву и расхохотался, расхохотался от счастья. Вся красота, радость, прелесть Жизни объяли его, переполнили. Он думал:

«Отчего ты так хороша, а они — люди — так уродливы?»

Ну и пусть! Он любил ее, любил, он чувствовал, что всегда будет любить ее и ничто не угасит в нем этой любви. В упоении он приник к земле. Он обнимал Жизнь.

«Ты во мне! Ты — моя. И отнять тебя они не в силах. Пусть делают, что хотят! Пусть причиняют мне страдания!.. Страдать — это тоже значит жить».

Кристоф храбро засел за работу. Какое ему дело до «литераторов», знаменитостей, фразеров, никчемных болтунов, журналистов, критиков, деляг, торгашей от искусства! А музыканты пусть так и знают, что не станет он тратить зря время на борьбу с их предрассудками и завистью. Они его не признают?

Что же из этого? И он их не признает. Он должен делать свое дело. И будет его делать. Двор возвратил ему свободу: спасибо. Он благодарен людям за их вражду: теперь он наконец-то сможет работать без помех.

Луиза всей душой одобряла сына. Ей было чуждо честолюбие — ведь она не принадлежала к роду Крафтов; ни с отцом, ни с дедом Кристофа у нее не было никакого сходства. Луиза не гналась за почестями и славой для своего сына. Что и говорить: будь он богат и знаменит, она бы порадовалась, но если за эти блага приходится расплачиваться слишком большими треволнениями, так уж бог с ними. Она, конечно, страдала за Кристофа после его разрыва с двором, но самому разрыву не придавала большого значения; и в душе она была довольна, что он рассорился с журналистами. Как истая крестьянка, она с большой опаской смотрела на всякую исписанную бумагу: на нее только зря время тратишь, да еще беду накликаешь. Луиза иногда прислушивалась к разговорам Кристофа с молодыми людьми из редакции,— ее ужасала их злость; они все и вся разносили, все и вся оплевывали; и чем больше нагромождали клеветы, тем веселее им становилось. Не нравились они ей; ума и учености у них не отнимешь, но уж очень злые. Луиза была рада, что Кристоф порвал с ними. Она думала, как и сын: «Какой от них толк?»

— Пусть их говорят, пишут, судят обо мне, как им вздумается,— говорил Кристоф.— Они не могут помешать мне быть самим собой. Их искусство, их мысли? Я все это отрицаю!

Отрицать окружающее — это звучит красиво! Но окружающему нет дела до музыканта, который отрицает его в своем мальчишеском задоре. Кристоф был искренен, однако он заблуждался насчет самого себя. Он не был рожден отшельником и по складу своей натуры, а главное, по возрасту не мог отрешиться от мира. В первое время Кристоф не очень тяготился своим затворничеством: музыка поглощала его целиком, и, пока он работал, он ни в ком и ни в чем не нуждался; но в полосу спада, который обычно наступает по окончании работы и сменяется новым творческим подъемом, он оглянулся вокруг и ощутил ледяной холод одиночества. Он спросил себя: зачем он пишет? Пока работаешь, этот вопрос не возникает: надо писать, тут спорить не о чем. Но вот перед тобой твое произведение; могучий инстинкт, исторгший его из тебя, умолк, и непонятно, зачем оно родилось; с трудом узнаешь в нем себя, оно

тебе чуждо, ты рад бы забыть о нем. А это невозможно, пока оно не обнародовано, не сыграно, не зажило отдельной от тебя жизнью. До тех пор это — нечто живое, сросшееся с живой плотью, как младенец, которого пуповина еще связывает с матерью; надо отсечь от себя это творение, чтобы жить. Чем больше писал Кристоф, тем больше угнетала его мысль, что его создания не могут ни жить, ни умереть. Кто избавит его от них? Какая-то непонятная сила влекла вперед эти детища его мысли; они стремились оторваться от него, оплодотворить другие души, подобно живым семенам, разбрасываемым ветрами по вселенной. Неужели ему не вырваться из этой полосы бесплодия? Да он с ума сойдет.

Все обычные пути — театры, концерты — были заказаны для Кристофа, и он не желал идти на поклон к тем директорам, которые уже однажды закрыли перед ним свои двери; у него не оставалось другого выхода, как напечатать свои произведения; но он не обольщался, он знал, как трудно найти издателя, который согласился бы сделать ему имя, и оркестр для исполнения своей музыки. Он уже предпринял две-три весьма неумелые попытки — и хватит с него! Нарываться на новый отказ, просить и убеждать этих торгашей, выносить их покровительственный тон? Кристоф предпочел выпустить издание на свой счет. Это было чистейшее безумие: у него остались маленькие сбережения от жалованья, которое выплачивал ему герцог, и от случайных концертов, но сам источник этих доходов уже иссяк, а новый предвиделся еще не скоро; будь он осмотрительнее, он берег бы эти маленькие средства, чтобы как-нибудь продержаться в предстоящие трудные времена. Он же не побоялся влезть в долги, ибо сбережения не покрывали расходов по изданию. Луиза не смела перечить; она не понимала, как может разумный человек сорить деньгами ради удовольствия увидеть свое имя напечатанным на обложке книги, но пусть тешится, лишь бы терпеливо сносил свою судьбу, лишь бы удержать его подле себя.

Вместо того чтобы представить на суд публики произведения, написанные в знакомом ей, прочно привившемся стиле, Кристоф отобрал из своих рукописей несколько глубоко своеобразных вещей, особенно им ценимых. Это были пьесы для фортепиано, чередовавшиеся с Lieder — то коротенькими, в народном духе, то более сложными, почти драматического звучания. Все вместе составило сюиту, цепь грустных или радостных впечатлений, естественно чередовавшихся друг с другом то в

пьесах для фортепиано, то в песнях — сольных или с аккомпанементом. «Ведь мечтая,— говорил Кристоф,— я не всегда облекаю в какую-нибудь форму свои чувства: я страдаю, я радуюсь, не выражая этого словами; но приходит мгновенье, когда я не могу не высказаться и невольно начинаю петь: иной раз несколько отрывистых музыкальных фраз или бессвязных слов, иной раз целые поэмы; затем я опять погружаюсь в мечты. Так пролетает день, и один такой день я хотел запечатлеть. Разве обязательно составлять сборники из одних только песен или прелюдий? Это донельзя искусственно и негармонично. Попытаемся передать свободную игру душевных сил!» Кристоф назвал свою сюиту «Один день». Отдельным частям этого сочинения он дал подзаголовки, пояснив в кратких словах содержание этой вереницы грез. Кристоф написал к ним загадочные посвящения, поставил инициалы и даты, которые он один мог понять и которые оживляли в его памяти некогда пережитые поэтические минуты или любимые лица: смеющуюся Коринну, томную Сабину и безвестную француженку.

Кроме этого произведения, он отобрал около тридцати Lieder — из тех, что особенно нравились ему самому и, значит, меньше всего привлекали публику. Он не хотел брать самые «мелодичные» из своих мелодий; он взял самые характерные. (Известно, что публика чурается всего «характерного». Бесхарактерное, должно быть, гораздо больше сродни ей.)

В своих Lieder Кристоф переложил на музыку стихи старинных силезских поэтов XVII века, обнаруженные им в одном сборнике и пленившие его своей безыскусственной простотой. Из этих силезцев ему были особенно дороги — дороги, как братья,— двое талантливых поэтов (оба они умерли, не достигнув тридцати лет): обаятельный Пауль Флемминг, добровольно скитавшийся по Кавказу и Исфагану и пронесший целомудренную, любящую, кристально чистую душу сквозь жестокости войны и жизненные невзгоды, несмотря на продажные нравы того времени, и Иоганн Христиан Гюнтер, талантливый и беспутный, щедро расточавший свою жизнь и сгоревший в пламени оргий и отчаяния. У Гюнтера Кристоф взял для своих песен вызов и мстительную иронию, крик, обращенный к богу-врагу, который топчет поверженного титана, а тот шлет ему яростные проклятия и, перехватив обрушенную на его голову молнию, возвращает ее громовержцу. У Флемминга его внимание привлекли песни любви к Анемоне и Базилине, яркие и нежные, как цветы; хоровод звезд — «Tanzlied» («Плясовая песня») для чистых и

ликующих сердец и героический, полный спокойствия сонет «К себе самому» («An sich»), который Кристоф повторял каждое утро, точно молитву.

Улыбчивый оптимизм благочестивого Пауля Гергардта тоже очаровал Кристофа. Здесь он находил отдых от пережитых страданий. Ему нравилось в словах о боге наивное прозрение природы, свежие луга, важная поступь аиста, шествующего среди тюльпанов и белых нарциссов по песчаному берегу певучего ручья; прозрачный воздух, в котором носятся острокрылые ласточки и плавно реют горлинки; радостный луч солнца, пронзающий пелену дождя, светлое, смеющееся небо в прорезе облаков, торжествующая ясность вечера, мирный сон лесов, стад, городов и пашен. Некоторые из этих кантат,— их еще пели в протестантских общинах,— он отважился переложить на музыку. Но Кристоф вытравил из них все, напоминавшее хорал: он не выносил этот род музыки и дал песням вольное, живое выражение. Старца Гергардта кинуло бы в дрожь от дьявольской гордыни, одушевлявшей теперь некоторые строфы его «Песни христианского странника», он проклял бы языческое веселье, которое превращало мирную гладь его «Песни о лете» в ревущий поток.

Сборник вышел в свет, но, разумеется, все было сделано наперекор здравому смыслу. Издатель, которому Кристоф заплатил за печатание своих Lieder и хранение их на складе, имел за собой ту единственную заслугу, что он был соседом Крафтов. Типография оказалась недостаточно оборудованной для такой сложной задачи; печатание затянулось на долгие месяцы; вследствие обилия опечаток приходилось делать дорогостоящие исправления. Кристоф, ничего не понимавший в этом деле, не рассуждая, платил за все втридорога; расходы сильно превысили предусмотренную смету. Когда печатание было закончено, на руках у Кристофа оказался большой тираж, который он не знал, куда девать. Своей клиентурой издатель не располагал; он и пальцем не пошевелил для распространения сборника. Впрочем, его бездеятельность была вполне под стать поведению самого Кристофа. Когда издатель для успокоения совести предложил автору набросать несколько строк для рекламы, то в ответ услышал, что рекламы Кристоф не желает: «если его музыка хороша, она сама за себя постоит». Издатель в точности выполнил волю автора: он сложил все издание в самом темном углу склада и хорошо хранил его,— за полгода он не продал ни одного экземпляра.

В ожидании, пока публика опомнится и придет к Кристофу, необходимо было как-нибудь заткнуть брешь, образовавшуюся в его маленьком бюджете; привередничать не приходилось: надо было жить и выплачивать долги. Они оказались более значительными, чем он предполагал, а сбережения, на которые он надеялся,— более скромными. Возможно, что Кристоф потерял часть денег или плохо их сосчитал (он никогда не умел правильно сделать даже простое сложение). Но не все ли равно, по какой причине не хватало денег? Их не хватало. Луиза, выручая сына, лишилась последних крох. Кристоф терзался и дал себе слово немедля возместить потраченное. Начались поиски уроков, как ни тяжело было обивать пороги и нередко нарываться на отказ. Кристоф сильно упал во мнении публики; с превеликим трудом нашел он несколько учеников. И когда ему предложили место в школе, он с радостью согласился.

Это было заведение полудуховного типа. Директор, человек оборотистый, сразу понял, не будучи музыкантом, как много он выгадает на Кристофе при сложившихся обстоятельствах. Он был отменно вежлив, но жалованье назначил ничтожное. На робкое возражение Кристофа директор, благодушно улыбаясь, ответил, что, так как Кристоф не занимает теперь официального положения, на большее рассчитывать не приходится.

И скучища же это была! Кристофу вменялось в обязанность не столько обучать музыке, сколько создать у родителей и учеников обманчивую уверенность, будто они ее знают. А главное, требовалось натаскивать своих питомцев, чтобы они могли выступать перед публикой на школьных торжествах... Любым способом... Кристофу это претило; он даже не мог сказать себе в утешение, что делает полезное дело: совесть не позволяла так лицемерить. Он пытался дать детям более серьезные знания, знакомя их с классической музыкой, вдохнуть в них любовь к ней, но ученикам не было дела до музыки. Кристоф не умел подчинить себе класс, не завоевал авторитета и, говоря по совести, оказался негодным педагогом. Он не мог без скуки слушать, как его ученики беспомощно тычут пальцами в клавиши; он хотел сразу же объяснить им теорию музыки. Давая урок игры на фортепиано, он засаживал ученика за симфонию Бетховена, которую играл с ним в четыре руки. Разумеется, ничего путного из этого не получалось. Кристоф выходил из себя, прогонял ученика и вместо него подолгу играл сам. Точно так же он поступал и на частных уроках. Терпения у него не было ни на волос: он говорил тонной девице, помешанной на аристократических манерах, что она играет,

как кухарка; или писал матери одной из своих учениц, что отказывается от урока, ибо у ее дочери нет ни искры таланта и дальнейшие занятия с ней вгонят его в гроб. Все это не улучшало положения Кристофа. Ученики, найденные с таким трудом, разбегались: ни один не занимался с ним больше двух месяцев. Мать старалась его образумить. Она взяла с него слово, что он, по крайней мере, не бросит школы, если он потеряет это место, жить будет не на что. И Кристоф насиловал себя: несмотря на все свое отвращение, он был образцово точен и добросовестен. Но как удержаться, когда осел-ученик в десятый раз калечит какой-нибудь пассаж или когда приходится к будущему ученическому концерту без конца повторять с классом один и тот же дурацкий хор! (Кристофу даже не позволяли выбирать пьесы: не полагались на его вкус.) Ясно, что он не вкладывал в свои занятия особого рвения. Но Кристоф старался переломить себя. Молчаливый, угрюмый, он лишь изредка выдавал свою ярость, так ударяя кулаком по столу, что ученики подскакивали на скамьях. Иногда, впрочем, пилюля казалась ему слишком горькой: он не мог ее проглотить. На середине фразы он вдруг прерывал певцов:

— Будет! Будет! Уж лучше я сыграю вам Вагнера.

А ученикам только того и нужно было. За его спиной они затевали игру в карты. Всегда находился охотник доложить об этом директору, и Кристофу приходилось выслушивать замечания: учитель существует вовсе не для того, чтобы внушать ученикам любовь к музыке, а для того, чтобы научить их петь. От этих выговоров Кристофа пронимала дрожь, но он мирился с ними, он не желал доводить дело до разрыва.

Кто бы мог предвидеть несколько лет назад, когда, казалось, ему была обеспечена блестящая карьера(хотя в то время он ничего еще не сделал), что ему придется идти на такие унижения после того, как он почувствует свою силу!

Особенно страдало самолюбие Кристофа в те дни, когда приходилось выполнять тяжелую повинность: делать визиты сослуживцам. Он побывал у двоих; это было так скучно, что не хватало мужества обойти всех. Те двое, которых он осчастливил, не почувствовали никакой благодарности, но зато остальные сочли себя обиженными. Все они думали, что Кристоф стоит ниже их по положению и уму, и в обращении с ним взяли покровительственный тон. Их самоуверенность, их безапелляционное мнение о нем так действовали на Кристофа, что он, случалось, смотрел на себя их глазами; рядом с ними он казался себе тупицей и не мог найти темы для разговора. Они знали

только свое ремесло, ничто другое для них не существовало. Их нельзя было назвать ни людьми, ни даже книгами! Разве что примечаниями к книгам, учеными комментариями.

Кристоф избегал встреч с сослуживцами. И все-таки волей-неволей приходилось встречаться. Раз в месяц директор принимал у себя в дневные часы; он желал видеть на этих приемах всех своих подчиненных. От первого приглашения Кристоф уклонился, даже не извинившись, в ложной надежде, что, если он не подаст признаков жизни, его отсутствие пройдет незамеченным, но назавтра ему пришлось выслушать кисло-сладкие замечания. Мать тоже пожурила его, и в следующий раз Кристоф решил пойти, но поплелся туда, словно на похороны.

Там уже собралось целое общество: учителя школы и других учебных заведений города, их жены и дети. Они толпились в маленькой гостиной, расположившись группами, по иерархии; на Кристофа они не обратили никакого внимания. В ближайшей группе разговор шел о педагогике и о кухне. У всех этих учительских жен были свои кулинарные рецепты, и каждая восхваляла их с настойчивостью проповедника. Мужчины проявляли не менее живой интерес к этим вопросам и, пожалуй, не меньшую осведомленность. Домашними талантами своих жен они гордились в такой же мере, как те ученостью супругов. Кристоф стоял возле окна, жался к стене. Не зная, как себя вести, он то глупо улыбался, то уныло смотрел в одну точку, судорожно наморщив лоб,— словом, умирал от скуки. В нише окна, скучая, как и Кристоф, сидела молодая женщина, с которой никто не разговаривал. Оба смотрели на собравшееся в гостиной общество, но ни разу не встретились глазами. Они заметили друг друга только тогда, когда оба, окончательно потеряв терпение, отвернулись в сторону, желая скрыть зевок. И тут они обменялись взглядом, как друзья и сообщники. Кристоф подошел поближе к молодой женщине. Она пролепетала:

— Весело? А?

Кристоф, стоя спиной к залу и лицом к окну, высунул язык. Она громко рассмеялась и вдруг, точно проснувшись, сделала ему знак подсесть к ней. Они познакомились. Оказалось, что это жена Рейнгарта, преподавателя естествознания, лишь с недавних пор поселившегося в городе, где супруги никого еще не знали. Г-жа Рейнгарт не отличалась красотой. У нее был крупный нос, плохие зубы и не очень свежий цвет лица, но живые глаза выражали ум, улыбка сияла добротой. Она болтала, как сорока, не отставал от нее и Кристоф: ее откровенность, ее неожиданные и смешные замечания забавляли его. Они смея-

лись и громко обменивались впечатлениями, не обращая внимания на окружающих. Соседи, которые не соблаговолили раньше заметить их присутствие, хотя великодушнее было бы избавить их от одиночества, теперь бросали на них недовольные взгляды: что за дурной тон так веселиться! Но до мнения соседей обоим болтунам не было никакого дела: они спешили наверстать потерянное.

К концу вечера г-жа Рейнгарт познакомила Кристофа со своим мужем. Он был очень некрасив: синевато-бледное, лишенное растительности лицо, все в рябинах, довольно унылое, но скрашенное выражением доброты. Он говорил сдавленным голосом, глубокомысленно подчеркивая слова, мямлил, запинался.

Они поженились всего несколько месяцев назад; и трогательно было видеть, как эти два таких некрасивых существа нежно любят друг друга. В их взглядах и словах, в их манере браться за руки, где бы они ни находились, проглядывала глубокая нежность,— это было и трогательно и смешно! Желание одного было законом для другого. Они тотчас же пригласили Кристофа поужинать у них после приема у директора. Кристоф сначала ответил шутливым отказом: он сказал, что сегодня вечером самое лучшее пойти спать,— от скуки его даже ломит, точно он прошел десять миль. Но г-жа Рейнгарт ответила, что потому-то и нельзя так заканчивать вечер: опасно засыпать под впечатлением зловещих мыслей. Кристоф уступил их настояниям. В своем одиночестве он обрадовался этой встрече со славными людьми, ничем особенно не примечательными, но простыми и gemütlich [1].

Скромная обстановка, в которой жили Рейнгарты, оказалась такой же gemütlich, как они сами. Довольно болтливый Gemüt, поражавший обилием надписей. Мебель, домашняя утварь, посуда назойливо твердили о том, как они рады принять «дорогого гостя», осведомлялись о его здоровье, давали ему любезные и высоконравственные советы. На диване — между прочим весьма жестком — красовалась подушечка, ласково шептавшая: «Только на четверть часика!» (Nur ein Viertelstündchen!) Чашка кофе, поданная Кристофу, настойчиво упрашивала его, чтобы он выпил «еще глоточек» (noch ein Schlückchen). Тарелки сдабривали нравоучениями кушанья, кстати сказать превосходные. На одной было написано: «Подумай обо всем, чтоб не каяться ни в чем». На другой: «Благодарность,

---

[1] Уютный, приятный *(нем.)*.

доброта привлекают все сердца. На добро ответишь злом — не найдешь любви ни в ком».

Хотя Кристоф не курил, пепельница на камине поспешила представиться ему: «Местечко для отдыха недокуренных сигар» (Ruheplätzchen für brennende Zigarren). Он захотел вымыть руки. Мыло, лежавшее на туалетном столике, заверило его, что оно «к услугам дорогого гостя» (für unseren lieben Gast).

А полотенце, как вежливый хозяин, которому нечего сказать, но который все же считает своим непременным долгом сказать хоть что-нибудь, глубокомысленно и не совсем кстати сообщило ему полную здравого смысла истину: «Кто рано встает, тот золото найдет» (Morgenstund hat Gold im Mund).

Кристоф под конец не решался даже пошевелиться на стуле, опасаясь, как бы из всех углов комнаты к нему не понеслись еще голоса. Ему хотелось сказать:

«Тише вы, черти! Дайте слово вымолвить!»

На него вдруг напал неудержимый смех, и он в оправдание сказал хозяевам, что ему вспомнилось собравшееся у директора общество. Ни за что на свете не хотел бы он обидеть Рейнгартов. К тому же он и сам был не особенно чувствителен к смешному и очень скоро привык к болтливой сердечности вещей и хозяев. Он простил бы им и не такие прегрешения! Это были славные люди! И с ними он не скучал — за отсутствием вкуса они брали умом.

Рейнгарты чувствовали себя одинокими в этом городе, где поселились с недавних пор. Местные жители, желчно-обидчивые, подобно всем провинциалам, считали недопустимым, чтобы в их город въезжали, как на постоялый двор, не домогаясь чести войти в их среду. Рейнгарты не соблюдали провинциального кодекса приличий, точно устанавливающего обязанности приезжих по отношению к местному обществу. Возможно, что сам Рейнгарт и подчинился бы, но жена его, на которую эта повинность наводила смертельную скуку, со дня на день откладывала ее выполнение: она не любила стеснять себя. В списке визитов она выбрала для начала наименее скучные, остальные были отложены на неопределенный срок. Именитые горожане, которых она отнесла к этому последнему разряду, разгневались на дерзкую особу. Анжелика Рейнгарт (муж называл ее Лили) отличалась вольностью манер; ей никак не удавалось усвоить официальный тон. Она так непринужденно разговаривала с вышестоящими лицами, что те багровели от негодования. Она даже не боялась при случае перечить им. Г-жа

Рейнгарт была бойка на язык и все, что приходило ей в голову, тут же и выкладывала — порою ужаснейшую чепуху, над которой насмехались за ее спиной; а еще чаще — язвительные остроты, которые она выпаливала прямо в лоб, чем наживала себе смертельных врагов. Всякий раз, как острое слово срывалось с ее уст, она готова была откусить себе язык, но было уже поздно. Ее муж, при всей своей кротости и вежливости, делал ей на сей счет робкие замечания. Жена обнимала его, каялась в глупости, говорила, что он прав. Но очень скоро все начиналось сызнова; и именно тогда, когда следовало бы воздержаться, она непременно стремилась сообщить свое мнение, как будто невысказанные слова жгли ей губы. Не удивительно, что они с Кристофом быстро поняли друг друга.

В числе многочисленных глупостей, от которых следовало бы воздержаться Лили Рейнгарт и которые она как раз потому и делала, было вечное и неуместное сопоставление Германии с Францией. Эта немка (а она была насквозь немка), воспитанная в Эльзасе и сохранившая дружеские связи с эльзасскими французами, испытывала неодолимую тягу к латинской цивилизации, как, впрочем, многие немцы в отторгнутых от Франции провинциях,— даже такие, которые по своим врожденным свойствам, казалось бы, не способны ее понимать. Эта тяга к Франции в Анжелике, возможно, усилилась еще из чувства противоречия с той поры, как она вышла замуж за северного немца и очутилась в чисто германской среде.

В первый же вечер знакомства с Кристофом она заговорила с ним на свою излюбленную тему. Г-жа Рейнгарт восторгалась приятной непринужденностью, с какой ведут беседу во Франции. Кристоф ей поддакивал. Франция для него была Коринна: прекрасные сияющие глаза, юный смеющийся рот, свободное, естественное обхождение, звонкий голос,— об этой Франции ему хотелось бы узнать как можно больше.

Лили Рейнгарт, обнаружив в Кристофе единомышленника, захлопала в ладоши.

— Жаль,— сказала она,— что здесь уже нет моей милой подруги-француженки; но она не могла у нас прижиться — уехала.

Образ Коринны тотчас же померк. Другой образ, другие глаза возникли перед Кристофом; так после погасшего фейерверка в темном небе внезапно проступает глубокое и нежное сияние звезд.

— Кто? — спросил Кристоф, вскочив.— Молоденькая учительница?

— Как! — удивилась г-жа Рейнгарт.— И вы тоже знали ее?

Оба описали внешность француженки; портреты совпали.

— Вы, значит, были с ней знакомы! — повторил Кристоф.— О, прошу вас, расскажите мне все, что вам известно о ней!

Госпожа Рейнгарт начала с уверения, что они были очень дружны и все поверяли друг другу. Но, когда речь зашла о подробностях, это «все» свелось к немногому. Встретились они у общих знакомых. Первый шаг к сближению сделала г-жа Рейнгарт: с обычной своей сердечностью она позвала молодую девушку к себе. Та два-три раза бывала у нее, и они подолгу беседовали. Любопытная и живая Лили не без труда выпытала у молодой француженки кой-какие подробности о ее жизни: девушка была очень замкнутая, приходилось чуть не силой вырывать у нее каждое слово. Г-жа Рейнгарт только и узнала, что ее зовут Антуанетта Жанен, что у нее нет никаких средств, что из родных у нее остался только младший брат, который живет в Париже, и что она посвятила всю себя задаче поставить его на ноги. Девушка могла часами говорить о брате — тут ее сдержанность как рукой снимало; Лили Рейнгарт завоевала ее доверие тем, что от души пожалела мальчика, который остался в Париже один и жил в пансионе при лицее, без родных, без друзей. Чтобы покрыть расходы на его образование, Антуанетта согласилась принять место за границей. Но бедные дети не могли жить врозь: они писали друг другу каждый день; если письмо хоть немного запаздывало, они впадали в тоску и тревогу. Девушка непрестанно думала о брате; мальчик не имел мужества таиться от сестры — его жалобы разрывали сердце Антуанетты. Ее терзала мысль, что он страдает, что он болен и скрывает это. Чуткая г-жа Рейнгарт не раз дружески журила ее за беспричинные страхи, и ей удавалось хоть ненадолго успокоить девушку. О родне Антуанетты, о среде, в которой она выросла, о ее внутренней жизни Анжелика так ничего и не узнала. При первой же попытке девушка замкнулась в броне застенчивого молчания. Антуанетта была образованна и, по-видимому, рано умудрена жизненным опытом: при всей своей наивности она утратила уже немало иллюзий; религиозность уживалась в ней с трезвостью. Несладко жилось ей в этом городе, в этой семье, среди бестактных, недобрых людей. О причине ее отъезда г-жа Рейнгарт не имела точных сведений. Говорили о ее предосудительном поведении. Анжелика не верила сплетням; она головой ручалась, что это гнусная клевета, плод

тупости и злопыхательства обывателей. Но какой-то повод был — и не все ли равно какой?

— Да,— сказал Кристоф, опустив голову.

— Так или иначе, она уехала.

— И что же она вам сказала на прощание?

— Ах,— ответила Лили Рейнгарт,— такая незадача! Я, как назло, уехала на два дня в Кельн, а когда вернулась... Zu spät! (Слишком поздно!) — вдруг перебила она себя, обернувшись к горничной, опоздавшей подать лимон к чаю.

И она глубокомысленно прибавила с той непроизвольной торжественностью, которую истые немцы придают самым обыкновенным словам и действиям даже в повседневном быту:

— Слишком поздно. Как часто это бывает в жизни!..

(Так и осталось невыясненным, относились ли ее слова к лимону или к прерванному рассказу.)

Она продолжала:

— Вернувшись, я нашла от нее записочку. Антуанетта благодарила меня за все, что я для нее сделала, и извещала о своем отъезде в Париж. Но адреса не оставила.

— И больше не писала вам?

— Ни слова.

И вновь исчезли в ночи грустное личико и глаза, которые только что на мгновенье возникли перед ним такими, какими он видел их в последний раз через окно вагона.

Загадка Франции сызнова, еще неотвязнее, встала перед Кристофом. Он жадно расспрашивал г-жу Рейнгарт об этой стране, судя по ее словам, хорошо ей знакомой. И Анжелика, ни разу не побывавшая во Франции, не смущаясь, подробно живописала ее Кристофу. Рейнгарт, добрый патриот, сильно предубежденный против Франции, которую он знал не лучше, чем его жена, иногда осмеливался, если Лили слишком пересаливала в своих восторгах, выразить сомнение, но это только разжигало ее. А Кристоф уже без всяких оснований просто поддакивал г-же Рейнгарт.

Еще сильнее, чем воспоминания Лили о Франции, Кристофа интересовали ее книги. Она собрала маленькую библиотечку из французских книг: тут были школьные учебники, несколько романов, несколько случайно купленных пьес. Для Кристофа, ничего не знавшего о Франции и жаждавшего узнать о ней все, это был целый клад; Рейнгарты любезно предоставили свои книги в его распоряжение.

На первых порах он принялся за чтение хрестоматий — старых учебников, по которым учились еще Лили Рейнгарт и ее муж. Рейнгарт уверял, что если Кристоф не хочет заблудиться в дебрях незнакомой ему литературы, надо начать с азов. Кристоф, преисполненный почтения ко всем, кто знал больше его, свято последовал совету Рейнгарта и в тот же вечер приступил к чтению. Сначала он попытался обозреть в общих чертах доставшиеся ему богатства.

Он познакомился со следующими французскими писателями: Теодором-Анри Барро, Франсуа Пети де ля Круа, Фредериком Бодри, Эмилем Делеро, Шарлем-Огюстом-Дезире Филоном, Самюэлем Декомба и Проспером Бором. Он читал стихи аббата Жозефа Рейра, Пьера Лашамбоди, герцога Нивернуа, Андрэ ван Гасселта, Андриэ, г-жи Коле, принцессы Констанс-Мари де Сальм-Дик, Анриетты Оллар, Габриэля-Жана-Батиста-Эрнеста-Вильфрида Легуве, Ипполита Виоло, Жана Ребуля, Жана Расина, Жана Беранже, Фредерика Бешара, Гюстава Надо, Эдуарда Плювье, Эжена Манюэля, Гюго, Мильвуа, Шендолэ, Жама Лакура Делатра, Феликса Шаванна, Франсиса-Эдуарда-Иоахима — он же Франсуа Коппэ и Луи Бельмонтэ. Кристоф, захлебнувшись и чуть не потонув в этом потоке поэзии, взялся за прозу. Он нашел здесь Гюстава де Молинари, Флешье, Фердинанда-Эдуарда Бюиссона, Мериме, Мальт-Брена, Вольтера, Ламе-Флери, Дюма-отца, Жан-Жака Руссо, Мезьера, Мирабо, Мазада, Кларети, Кортамбера, Фридриха II и де Вогюэ. Из французских историков больше всего места было уделено Максимилиану-Самсону-Фредерику Шеллю. Кристоф обнаружил в этой французской антологии Декларацию молодой Германской империи; он прочел характеристику немцев, набросанную Фредериком-Констаном де Ружмоном, из которой узнал следующее: «Немец рождается для того, чтобы жить в духовном мире. Ему чуждо шумное и легкомысленное веселье французов. У него тонкая душа; привязанности его нежны и глубоки. Он неутомим в трудах и упорен в своих начинаниях. Ни один народ не отличается такой высокой нравственностью и таким долголетием. Писателей в Германии множество. В области искусства эта страна поистине гениальна. Если обитатели других стран считают для себя честью принадлежать к французам, англичанам, испанцам,— немец, напротив, объемлет своим сердцем и без малейшего пристрастия все человечество. Наконец, находясь в самом центре Европы, германская нация, по-видимому, является в одно и то же время и сердцем, и высшим разумом человечества».

Утомленный и озадаченный Кристоф захлопнул книгу и подумал:

«Французы — славные ребята, но умом не блещут».

Он взял другую книгу. Она предназначалась для более серьезных читателей. Это было пособие для высшей школы. Здесь Мюссе отводилось три страницы, Виктору Дюрюи тридцать, Ламартину шесть, а Тьеру около сорока. «Сид» был помещен почти целиком (из него лишь выпустили монологи дона Диего и Родриго, как слишком длинные); Ланфре превозносил Пруссию, браня Наполеона I, поэтому для него места не пожалели: ему одному отвели больше страниц, чем всем великим классикам XVIII века, вместе взятым. Не поскупились и на описания поражения Франции 1870 года, взятые из «Разгрома» Золя. В хрестоматию не включили ни Монтеня, ни Ларошфуко, ни Лабрюйера, ни Дидро, ни Стендаля, ни Бальзака, ни Флобера. Зато Паскаля, отсутствовавшего в первой книге, в качестве некоего курьеза включили во вторую, и Кристоф попутно узнал, что этот кликуша «принадлежал к общине монахов Пор-Рояля, основавшей институт для молодых девиц под Парижем» [1].

Кристоф чуть было не бросил все к черту, голова у него шла кругом, мысли путались. Он твердил себе: «Никогда я этого не одолею». Разобраться в прочитанном не было никакой возможности. Часами листал он наугад то одну, то другую книгу, не зная, чего он, собственно, ищет. Читать по-французски было для него нелегким делом; когда же ему удавалось наконец добраться до смысла иной страницы, почти всегда оказывалось, что это высокопарный и бессодержательный вздор.

И, однако, этот сумбур иногда прорезывала полоса света, сверкали лезвия шпаг, слышались бичующие, сильные слова, богатырский смех. Мало-помалу у Кристофа складывался — не без влияния составителей сборника — определенный взгляд на Францию. Немецкие издатели подобрали отрывки, в которых нашли свое отражение засвидетельствованные самими же французами слабости французов и бесспорное превосходство

[1] Антологии французской литературы, взятые Жан-Кристофом из библиотеки его друзей Рейнгартов, носят следующие заглавия: 1) «Избранные отрывки из произведений французских писателей для средней школы». Составитель доктор философии Губерт Вингерат, директор реального училища св. Иоганна в Страсбурге, вторая часть для средних классов, 7-е издание, 1902, Дюмон-Шауберг; 2) Л. Геррик и Ж.-Ф. Бюргюи, «Литературная Франция», обработка Тендеринга, директора реальной гимназии «Иоганнеум» в Гамбурге, 1904, Брауншвейг.— *Р. Р.*

немцев. Но они не приняли во внимание, что в глазах людей независимого ума, вроде Кристофа, этим лишь подчеркивается несравненное свободомыслие французов, которые критикуют все у себя и превозносят своих противников. Мишле воспевал Фридриха II, Ландре — англичан под Трафальгаром, Шарра — Пруссию 1812 года. Даже заклятые враги Наполеона не дерзали отзываться о нем слишком сурово. Не было такой святыни, на которую не посягнул бы беспокойный ум французов. И даже при Великом короле поэты в париках дерзали высказывать правду. Мольер не давал спуску никому. Лафонтен осмеивал все и вся, Буало разоблачал знать, Вольтер клеймил войну, крушил религию, бичевал отечество. Моралисты, сатирики, памфлетисты, авторы комедий старались превзойти друг друга веселой или мрачной дерзостью. Это была непочтительность, возведенная в принцип. Благонравных немецких издателей все это подчас озадачивало; у них являлась потребность успокоить свою совесть, и тогда они извинялись за Паскаля, который сваливал в одну кучу лакеев, крючников, солдат и холуев; они уверяли в примечании, что Паскаль рассуждал бы совершенно иначе, будь он знаком с благородными армиями нашего времени. Они не упустили случая напомнить об удачном исправлении басен Лафонтена Лессингом, заменившим, по совету женевца Руссо, кусок сыра, подобранного вороной, куском отравленного мяса, от которого негодница-лиса и околела:

О, если бы всегда, проклятые льстецы, возмездьем был вам яд!

Издатели щурились, ослепленные нагой истиной, но Кристоф ликовал: он любил свет. Правда, и Кристофа передергивало от иных страниц: он не привык к той безудержной независимости, которая в глазах немца, даже свободомыслящего, но ушибленного дисциплиной, кажется анархией. Кристофа, помимо того, озадачивала французская ирония: некоторые вещи он принимал слишком всерьез; а беспощадное отрицание, напротив того, представлялось ему занятным парадоксом. Пусть так! Озадаченный или возмущенный, Кристоф постепенно входил во вкус. Он не желал разносить по рубрикам свои впечатления; одно чувство сменялось другим,— он жил. Жизнерадостные французские новеллы — Шамфора, Сегюра, Дюма-отца, Мериме,— поданные вперемежку, как попало, веселили дух. А с иной страницы шквалом вырывалось опьяняющее и грозное дуновение революций.

Уже близилось утро, когда спавшая в смежной комнате Луиза проснулась и заметила свет, пробивавшийся из-под двери,

ведущей в спальню Кристофа. Она постучала в стену и осведомилась, не захворал ли он. Скрипнул отодвинутый стул; распахнулась дверь, и на пороге появился Кристоф, в сорочке, со свечой и книгой в руке. Он делал какие-то странные и торжественные жесты. Испуганная Луиза приподнялась на постели, решив, что он помешался. Кристоф разразился смехом и, размахивая свечкой, принялся декламировать сцену из пьесы Мольера. Вдруг, на полуслове, он фыркнул и сел у изголовья кровати; огонек свечи затрепетал в его руке. Луиза, успокоившись, добродушно заворчала:

— Что с тобой? Да что же это такое? Ложись спать! Бедный мой мальчик, ты уж совсем спятил!

Но он не унимался:

— Нет, вот это ты должна послушать!

И, расположившись поудобнее, Кристоф принялся читать Луизе пьесу с начала. Перед ним, как живая, стояла Коринна; казалось, он слышит ее задорный голос. Луиза возмутилась:

— Ступай! Ступай же! Ты простудишься. Ты мне надоел. Дай же мне спать!

Но неумолимый Кристоф продолжал читать. Он басил, размахивал руками и задыхался от смеха; он допытывался у матери, неужели она может не восторгаться. Луиза позернулась к нему спиной, натянула одеяло себе на голову и заткнула уши.

— Оставь меня в покое!

Но при каждом новом взрыве смеха она сама тихонько смеялась. Под конец она перестала возмущаться. И когда Кристоф кончил и, не добившись от Луизы признания несравненной прелести прочитанного, наклонился над нею, она спала. Тогда он улыбнулся, тихонько поцеловал ее в голову и, стараясь не шуметь, ушел к себе.

Кристоф продолжал читать книги из библиотеки Рейнгартов. Он брал их одну за другой — какая попадалась под руку, пока не проглотил все. Ему так хотелось полюбить родину Коринны и незнакомки, в нем было столько неизрасходованного воодушевления,— и вот он нашел, к чему приложить его. Даже в книгах второразрядных авторов выдавалась страница, иногда одно слово, от которого веяло вольным ветром. Он часто преувеличивал это впечатление, особенно в беседах с г-жой Рейнгарт, а та еще подзадоривала его. Хотя она была круглой невеждой, ей доставляло удовольствие сравнивать немецкую

культуру с французской и доказывать превосходство последней, чтобы позлить мужа и отомстить за малоприятное пребывание в провинциальном городке.

Рейнгарт негодовал. Вне рамок своей профессии он не пошел дальше школьных знаний. По его мнению, французы — люди ловкие и умные в практической жизни, вежливые, говоруны, но легкомысленные, обидчивые, бахвалы, не способные ни на что серьезное, ни на какое прочное чувство, на искренность,— народ без музыки, без философии, без поэзии (если не считать «Искусства поэзии» Буало, да еще Беранже и Франсуа Коппэ), любители ложного пафоса, эффектных жестов, преувеличений и порнографии. Он не уставал обличать в сильных выражениях латинскую безнравственность. Исчерпав весь свой лексикон, он обычно напирал на французскую *фривольность* — слово, в которое Рейнгарт, как и другие его соотечественники, вкладывал особенно обидный смысл. Свою речь он заканчивал привычным гимном в честь благородного немецкого народа — народа высокой нравственности («Этим,— говорит Гердер,— он выделяется среди всех прочих»), народа верного (treues Volk; treu — в этом все: искренний, верный, преданный, прямодушный), Народа с большой буквы, как говорит Фихте; гимном в честь немецкой силы — символа справедливости и правды,— немецкой мысли, немецкого Gemüt, немецкого языка — единственного языка, не знающего заимствований, единственного, который остался чистым, как и сама немецкая раса; гимном в честь немецких женщин, немецкого вина и немецкой песни... «Германия, Германия превыше всего!»

Кристоф протестовал. Г-жа Рейнгарт сердилась. Все трое громко кричали. И все же прекрасно понимали друг друга, ибо все трое знали, что они — добрые немцы.

Кристоф часто приходил побеседовать со своими новыми приятелями, обедал у них, бродил вместе с ними. Лили его баловала, угощала прекрасными ужинами: она радовалась предлогу вкусно поесть. Все, включая кулинарию, было для нее поводом выразить внимание Кристофу. Ко дню его рождения она испекла торт, украшенный двадцатью свечами, а в центре — крошечной сахарной фигуркой в греческой одежде и с букетом в руках,— Ифигенией, по замыслу Лили. Кристоф был немец до мозга костей, и, как он ни открещивался от этих не слишком утонченных проявлений искренней привязанности, они все же трогали его.

Вскоре славные супруги дали бесспорное доказательство всей глубины своих дружеских чувств. Рейнгарт, с трудом чи-

тавший ноты, приобрел по просьбе жены Lieder Кристофа — десятка два экземпляров (он был их первым покупателем); он распространил их по Германии, разослал в разные города, товарищам по университету; несколько экземпляров он послал в лейпцигские и берлинские книжные магазины, откуда ему приходилось выписывать учебные пособия. Эта трогательная и наивная попытка, сделанная без ведома Кристофа, сначала, впрочем, не дала никаких результатов: Lieder, посланные в разные концы страны, как в воду канули, и Рейнгарты, раздосадованные всеобщим равнодушием, даже радовались, что утаили от Кристофа свои хлопоты, которые принесли бы ему больше горя, чем радости. Но в действительности ничто не исчезает бесследно, и жизнь дает тому ежедневные доказательства; ни одно усилие не остается напрасным. Целые годы нет отклика, и вдруг в один прекрасный день узнаешь, что мысль, брошенная тобою, пробила себе дорогу. Сочинения Кристофа, бредя по свету, нашли доступ к сердцу нескольких славных людей, разбросанных по захолустным углам, слишком застенчивых или слишком усталых, чтобы подать о себе весть.

Из этих безвестных друзей откликнулся только один. Месяца через два или три после рассылки нот Кристоф получил горячее, церемонное и восторженное письмо, написанное старомодным слогом. Оно пришло из маленького тюрингенского городка и было подписано: «Universitätsmusikdirector — профессор, доктор Петер Шульц».

Рейнгарты еще больше обрадовались, когда Кристоф, сидя у них, распечатал письмо, которое по рассеянности два дня проносил в кармане. Они прочли его вместе. Рейнгарт переглянулся с женой, чего Кристоф не заметил. Он весь сиял, как вдруг Рейнгарт увидел, что его юный друг насупился и умолк.

— Ну, что же ты остановился? — спросил Рейнгарт.

(Они уже были на «ты».)

Кристоф в сердцах бросил письмо на стол.

— Нет, это уж слишком! — сказал он.

— Что такое?

— Читай!

Он повернулся спиной к столу и хмуро уселся в сторонке. Муж и жена вместе дочитали письмо и решительно ничего не обнаружили в нем, кроме выражений самого неумеренного восторга.

— Ничего не понимаю,— с удивлением сказал Рейнгарт.

— Не понимаешь? Не понимаешь?..— воскликнул Крис-

тоф, выхватывая у него письмо и ткнув в него пальцем.— Ты что же, читать не умеешь? Не видишь разве, что он «брамин»?

Тогда только Рейнгарт вспомнил, что Шульц в одном месте своего письма сравнивал Lieder Кристофа с песнями Брамса.

Кристоф жалобно сказал:

— Друг! Наконец я нашел друга!.. И не успел его найти, как уже потерял.

Сравнение с Брамсом возмутило его. И если бы Рейнгарты не остановили Кристофа, он сгоряча написал бы Шульцу какую-нибудь глупость. Или, пожалуй, решив, что это будет верхом сдержанности и великодушия с его стороны, вовсе не ответил бы. К счастью, Рейнгарты, которых рассмешила вспышка Кристофа, не позволили ему сделать еще и эту глупость. Они заставили его написать несколько слов благодарности. Но письмо, написанное под диктовку, вышло сдержанным, натянутым. Это нисколько не расхолодило Петера Шульца: он написал Кристофу еще два-три таких же восторженных письма. Кристоф был не любитель писать письма, и, хотя искренность, сквозившая в каждом слове, в каждой строке посланий Шульца, примирила его с незнакомым другом, он не отвечал; Шульц тоже умолк, и переписка заглохла. Кристоф перестал о нем вспоминать.

. . . . . .

Теперь он, что ни день, заглядывал к Рейнгартам, иногда даже по нескольку раз. Они проводили вместе почти все вечера. После дня, прожитого в одиночестве, наедине со своими мыслями, Кристоф ощущал физическую потребность поболтать, рассказать о том, что было у него на душе, даже не требуя понимания; посмеяться — по любому поводу или вовсе без повода,— словом, дать выход своим силам, отдохнуть.

Он играл Рейнгартам. За неимением другого средства выразить им свою признательность, он садился за рояль и играл целыми часами. Г-жа Рейнгарт ничего не понимала в музыке и с трудом сдерживала зевоту, но из симпатии к Кристофу прикидывалась, будто интересуется его игрой. Рейнгарт был не более музыкален, чем его жена, однако некоторые места оказывали на него чисто физическое действие; иногда он даже не мог сдержать слез, хотя корил себя за глупость. Обычно же игра трогала его не более, чем всякий другой шум. Нравилось ему как раз то, что было наименее сильного в пьесе — какие-нибудь ничего не говорящие места. Супруги старались уверить себя, что они понимают Кристофа; Кристофу тоже хотелось

поверить в это. Случалось, он из озорства, желая подтрунить над ними, завлекал их в ловушку: преподносил им бессмысленный набор звуков, какие-нибудь идиотские попурри с таким видом, будто играет собственные опусы. А потом, выслушав восторженные похвалы, сознавался, что слукавил. С тех пор они стали осторожнее; когда Кристоф с многозначительным видом садился за рояль, они ждали очередного фокуса и пускались в критику. Кристоф выслушивал их, поддакивал, соглашался, что вещь эта ни к черту не годна, и вдруг разражался смехом:

— Ну, и плуты! Впрочем, вы совершенно правы!.. Это я написал!

Он радовался, как ребенок, если его проделка удавалась. Г-жа Рейнгарт с досады угощала его щелчком, но он смеялся так искренне, что друзья начинали вторить ему. Они отнюдь не считали себя непогрешимыми. Не зная, чего им теперь держаться, они решили, что Лили будет все критиковать, а ее муж все хвалить: тут уж они не ошибутся — не один, так другой попадет в тон.

Они ценили в Кристофе не столько музыканта, сколько славного малого, пусть чудаковатого, но сердечного и жизнерадостного. Дурная молва, которая шла о нем в городе, вызывала у них сочувствие к Кристофу: ведь и они задыхались в душной атмосфере провинциального городка; ведь и они были люди прямые, жили своим умом; о Кристофе они судили как о взрослом ребенке, не приспособленном к практической жизни, как о жертве своего прямолинейного нрава.

Кристоф не слишком предавался иллюзиям насчет своих новых друзей; он не без грусти думал о том, что они не знают его внутреннего мира — и никогда не узнают. Но он не был избалован дружбой, он жаждал ее и преисполнился благодарности к Рейнгартам за то, что они хоть немного полюбили его. Опыт минувшего года умудрил Кристофа: он не считал себя вправе быть слишком разборчивым. Каких-нибудь два года назад он не проявил бы такой терпимости; не без раскаяния и насмешки над самим собой Кристоф вспоминал, как сурово он обходился с честными и скучными Фогелями. Увы! Теперь он стал рассудительнее! У него даже вырвался легкий вздох. Тайный голос шептал ему: «Надолго ли?»

Эта мысль вызывала у него усмешку — и утешала его.

Чего бы не дал Кристоф, чтобы обладать другом — единственным, способным понять его, жить с ним одной жизнью! Но при всей своей молодости он не лишен был жизненного

опыта и знал, как несбыточно такое желание и как мало у него прав требовать этого счастья, редко выпадающего на долю истинных артистов. Он кое-что знал о жизни своих великих предшественников. Ему было известно из книг, взятых у Рейнгартов, через какие ужасные испытания прошли немецкие музыканты XVII века, какую спокойную стойкость проявили многие из этих благородных душ и самый благородный из всех — героический Шюц, неуклонно шедший своим путем, хотя вокруг пылали города, мор опустошал целые провинции, бушевало пламя войны и родина была захвачена и поругана ордами, нахлынувшими со всех концов Европы; и страшнее всего было видеть свою родину разбитой, обессиленной, согнувшейся под бременем страданий, утратившей волю к борьбе, ко всему безразличной, жаждущей лишь одного: покоя. Кристоф думал: стыдно жаловаться, имея перед глазами подобный пример! Их музыки никто не слушал, у них не было будущего; они писали для себя и для бога; созданное ими сегодня мог бесследно уничтожить завтрашний день. А они продолжали творить и не падали духом: что бы ни происходило, они не теряли своего неистребимого добродушия; они удовлетворялись тем, что слагали песни, а у жизни просили немногого: жить, добывать кусок хлеба, изливать в звуках то, что созрело в душе, да еще дружбы, даже не художников, а двух-трех честных, простых, искренних людей, которые, быть может, не понимали их, зато попросту любили. Смеет ли он быть более взыскательным? Существует какая-то малая доля счастья, которой человек вправе требовать. Но не больше; что сверх того, требуйте от самих себя: никто не обязан вас одаривать.

От этих мыслей у Кристофа становилось светло на душе; и он еще сильнее любил своих славных Рейнгартов. Мог ли он думать, что его захотят лишить даже этой последней привязанности!

Однако он не принял в расчет коварства обывателей. Их злоба упорна — тем более, что она бесцельна. Настоящая ненависть, зная, чего она хочет, стихает, достигнув цели. Но кто учиняет пакость от скуки, никогда не складывает оружия, ибо скучает вечно. Кристоф был хорошей мишенью для таких бездельников. Да, они его одолели; но, по-видимому, это не особенно удручало дерзкого юнца. Кристоф теперь уже никого не беспокоит, но и сам он ни о ком не беспокоится. Он ничего не требует: что с такого возьмешь? Он радуется новой

дружбе, ему безразлично, что о нем говорят и думают. А этого уж нельзя терпеть. Еще большее раздражение вызывала у обывателей г-жа Рейнгарт. В том, что она так явно, наперекор всему городу, подчеркивала свою дружбу с Кристофом,— да и во всей ее повадке,— им чудился вызов. Добрая Лили Рейнгарт никому не бросала вызова: у нее и в мыслях не было досаждать кому-либо; она делала то, что считала за благо делать, не спрашивая мнения соседей. Но именно это и казалось самым злостным вызовом.

За ними, за каждым их движением шла слежка. Они же не соблюдали ни малейшей осторожности. Один был фантазер, а другая — сумасбродка, и оба нисколько не таились ни на улице, когда выходили вместе, ни даже у себя дома, когда по вечерам болтали и смеялись, облокотясь на перила балкона. В простоте душевной они позволяли себе в обращении друг с другом известную короткость, что и послужило предлогом для клеветы.

Однажды утром Кристоф получил анонимное письмо. В грязно-оскорбительных выражениях его объявляли любовником г-жи Рейнгарт. У него опустились руки. Никогда он не помышлял даже о невинном флирте с ней: он был слишком честен; он испытывал пуританский страх перед всяким нарушением супружеской верности,— уже одна мысль об этом нечистоплотном разделе претила ему. Отбить у друга жену представлялось ему преступлением, и уж не ей, не Лили Рейнгарт, было соблазнить его на это: бедняжка отнюдь не блистала красотой, и он не мог бы даже сослаться на захватившую его страсть.

Он пришел к своим друзьям с чувством стыда и неловкости. Они были смущены не менее его. Каждый из супругов получил такое же письмо, но они не посмели открыться друг другу; и теперь каждый из троих следил за остальными и за собой,— они не решались ни говорить, ни шевелиться и делали глупость за глупостью. Если у Лили Рейнгарт врожденная беззаботность на мгновенье брала верх, если она начинала смеяться и говорила всякий вздор, то, перехватив взгляд мужа или Кристофа, она вдруг снова вспоминала о письме и в смущении прерывала беседу. Кристоф и Рейнгарт тоже чувствовали себя неловко. И каждый из них думал:

«А они? Знают ли?»

Однако они так и не признались ни в чем друг другу и старались поддерживать прежние непринужденные отношения.

Но анонимные письма, все более оскорбительные и непристойные, приходили вновь и вновь. И все трое не могли отде-

W

«Жан-Кристоф». Книга четвертая.

латься от чувства невыносимого стыда и душевной тревоги. Получив письма, друзья прятались друг от друга; у них не хватало решимости бросить эти послания в огонь, не читая. Они распечатывали их дрожащими руками и со стесненным сердцем развертывали листок; а прочитав то, чего так боялись, да еще с новыми вариациями,— вернее, с новыми хитроумными и гнусными выдумками привыкшего пакостить обывателя,— они украдкой плакали. Все трое терялись в догадках, стараясь понять, кто же этот негодяй, преследующий их с таким остервенением.

Однажды г-жа Рейнгарт, не выдержав, рассказала мужу, что она стала жертвой травли; он со слезами на глазах признался ей в том же. Сказать ли об этом Кристофу? Они не смели. Но как не предостеречь его, чтобы он был начеку? После первых же слов, которые произнесла, залившись краской, г-жа Рейнгарт, она с горестным изумлением убедилась, что и Кристофа не пощадили. Перед такой лютой злобой они растерялись. Г-жа Рейнгарт уже не сомневалась, что весь город участвует в заговоре. Они не только не нашли в себе силы подбодрить друг друга, но окончательно пали духом. Что делать? Кристоф грозился размозжить кому-то голову. Но кому? И ведь это лишь подлило бы масла в огонь!.. Сообщить о письмах полиции? Но тогда неизбежна огласка... Не обращать на них внимания? Это уже невозможно. Отныне их дружба была омрачена. Как ни верил Рейнгарт в чистоту своей жены и Кристофа, он помимо воли начал подозревать их. Он понимал, сколь унизительны, сколь бессмысленны его подозрения; он нарочно оставлял Кристофа наедине с Лили. Но он страдал, и жена его понимала это.

Однако и Лили было не слаще. Ей никогда не приходило на ум флиртовать с Кристофом, как и Кристофу — с ней. Но после наветов анонимного автора у них возникла до смешного глупая мысль, что, может быть, Кристоф и в самом деле в нее влюблен; и хотя он никогда не выказывал ни малейших признаков влюбленности, она сочла своим долгом принять меры. Однако вместо прямого объяснения Лили прибегла к неловким намекам, которые Кристоф не сразу понял, а когда понял, то вышел из себя. До чего же это глупо — хоть плачь! Чтобы он влюбился в эту добродетельную мещаночку, эту дурнушку, славную, но такую заурядную!.. И она может этому поверить!.. А он лишен возможности защищаться, сказать ей, ее мужу:

«Да что вы! Успокойтесь! Нет ни малейшей опасности!..»

Но нет, не мог он обидеть этих милых людей. К тому же Кристоф понимал, что если она обороняется от его воображаемой любви, то не потому ли, что сама начинает тайком любить его: анонимные письма сделали свое дело, они заронили в ней эту глупую романтичную мысль.

Положение становилось таким тягостным и нелепым, что продолжать прежние отношения не было никакой возможности. Лили Рейнгарт, несмотря на свой острый язычок, не отличалась силой характера, она потеряла голову перед этой затаенной враждой целого города. Чтобы избегнуть встречи с Кристофом, Рейнгарты малодушно хватались за первый попавшийся предлог:

«Госпоже Рейнгарт нездоровится... Рейнгарт очень занят... Отлучились на несколько дней...»

Неуклюжая ложь, в которой случай почти всегда коварно изобличал их.

Кристоф был более откровенен. Он сказал Рейнгартам:

— Простимся, бедные друзья мои. Они оказались сильнее.

Рейнгарты заплакали. Но после разрыва с Кристофом они с облегчением вздохнули.

Город мог торжествовать. На сей раз Кристоф очутился в полном одиночестве. У него отняли последнее дуновение свежего воздуха — скромную привязанность, без которой не может жить ни одно сердце.

ОСВОБОЖДЕНИЕ

Теперь вокруг Кристофа была пустота. Ни одного друга. Милый дядя Готфрид, который был ему опорой в трудные времена и в котором он так нуждался сейчас, уже несколько месяцев, как исчез, и на этот раз — навеки. Как-то летним вечером Луиза получила письмо, написанное крупным почерком, судя по обратному адресу, из какой-то отдаленной деревни; неизвестный адресат писал, что брат ее умер: старенький разносчик при всех своих немощах ни за что не хотел отказаться от скитаний. Там, на сельском кладбище, его и предали земле. Последняя мужественная и чистая дружба, в которой Кристоф мог бы найти поддержку, канула в бездну. Он остался один со своей одряхлевшей матерью, которая могла лишь любить сына, но не понимала его. Вокруг него расстилалась огромная германская равнина — угрюмый океан. При каждой попытке выбраться на берег его захлестывала еще более высокая волна. А враждебно настроенный город хладнокровно взирал, как он тонет.

И вот, когда он бился, стараясь удержаться на поверхности, перед ним возник, словно молния в обступившей его ночи, образ Гаслера — великого музыканта, которого он боготворил с детских лет, чья слава теперь гремела по всей стране. Он вспомнил обещания, некогда данные ему Гаслером, и со всей силой отчаяния ухватился за эту последнюю соломинку. Гаслер может спасти его! Гаслер должен спасти его! Чего он, Кристоф, просит? Не помощи, не денег, не материальной поддержки. Только одного: чтобы его поняли. Ведь и Гаслера некогда травили, как его, Кристофа. Гаслер — свободный человек. Он

поймет свободного человека, которого так мстительно преследует и грозит задушить немецкая посредственность. Ведь оба они ведут одну битву.

Он не стал откладывать задуманное: предупредил мать, что будет отсутствовать неделю, в тот же вечер сел в поезд и отправился в большой город на севере Германии, где Гаслер был дирижером. Кристоф не мог больше ждать. Он чувствовал, что задохнется без этого глотка свежего воздуха.

Гаслер был знаменит. Его враги не сложили оружия; а друзья его хором кричали, что он величайший музыкант настоящего, прошлого и будущего. Окружающие ругали или хвалили его, доходя до абсурда и в том и в другом. Закалки у него не было, и поэтому критика его ожесточила, поклонение избаловало. Все свои силы Гаслер расходовал на то, чтобы досаждать своим критикам и исторгать у них вопли негодования,— он напоминал мальчишку, измышляющего всякие каверзы, и надо сказать, что каверзы Гаслера были самого дурного пошиба: он не только разменивал свой огромный талант на ухищрения, которые приводили в ужас жрецов искусства, но из озорства выбирал причудливые тексты, странные сюжеты, двусмысленные и даже скабрезные ситуации, словно нарочно старался оскорбить здравый смысл и чувство приличия. Рычание буржуа доставляло ему удовольствие; и буржуа не отказывал в этом удовольствии Гаслеру. Сам император, который вмешивался в дела искусства с наглой самоуверенностью, свойственной выскочкам и царствующим особам, расценивал успех Гаслера как успех скандала и никогда не упускал случая выказать пренебрежение и равнодушие к его бесшабашной музыке. Гаслера выводила из себя и восхищала эта оппозиция его величества, которую передовое немецкое искусство воспринимало, как аттестат зрелости, и он продолжал еще усерднее бить стекла. При всяком новом дурачестве композитора его друзья исступленно кричали, что он гений.

Круг сторонников Гаслера состоял, главным образом, из декадентствующих литераторов, художников и критиков, и надо отдать им справедливость: они храбро сражались с реакцией и ее орудием — ханжеством и официальной моралью, этим исконным бичом Северной Германии. Но, борясь за свою независимость, они бессознательно ударялись в смешную крайность, ибо многие из них если и обладали довольно своеобразным талантом, то не блистали умом и вовсе были лишены

вкуса. Они уже не могли жить вне той атмосферы искусственности и фальши, которой сами окружили себя, и, как всякая секта, давно утратили чувство реальности. Они создавали законы для самих себя и для нескольких сотен дураков, которые читали их журналы и, разинув рот, слушали и принимали на веру все, что угодно было изречь оракулам. Лесть, которой они окружали Гаслера, оказалась для него пагубной: он утратил необходимую для художника взыскательность. Он не находил нужным продумывать музыкальные идеи, приходившие ему в голову, и, признавая, что написанное им ниже его таланта, говорил, что это все же выше творений прочих композиторов. К несчастью, это суждение в большинстве случаев оправдывалось, отчего оно отнюдь не становилось полезным для самого автора и не способствовало рождению шедевров. Гаслер в глубине души относился с полнейшим презрением ко всем — и к друзьям и к недругам; и это горькое, глумливое презрение он простирал и на себя самого, и на всю жизнь. Отрешившись от своей прежней веры в некоторые благородные и наивные идеалы, он тем охотнее погрязал в нынешнем своем насмешливом скептицизме. Не сумев отстоять свои юношеские мечтания от разрушительного действия времени, он не обладал и достаточной дозой лицемерия, чтобы выдавать неверие за веру; оставалось одно: вышучивать свое собственное прошлое. Беспечный и мечтательный, как многие уроженцы германского юга, он плохо переносил слишком большую удачу или неудачу, жару или холод и нуждался для сохранения равновесия в умеренной температуре. Он незаметно отдался пассивному наслаждению жизнью: любил вкусную еду, крепкие напитки, любил побездельничать, лениво помечтать неизвестно о чем. Это сказывалось на его творчестве, но он был чересчур одарен, и искры таланта все еще сверкали в его наспех сделанной, рассчитанной на модные вкусы музыке. Он сам, лучше чем кто-либо, сознавал всю глубину своего падения. Вернее, он один только и сознавал это, но тут же гнал от себя докучливые, впрочем мимолетные, мысли. Тогда он становился нелюдим, впадал в хандру, возился с собой, пекся о своем здоровье и отворачивался от всего, что некогда рождало в нем восторг или ненависть.

Вот у этого-то человека и решил искать опоры Жан-Кристоф. С какой надеждой прибыл он холодным и ненастным утром в город, где жил тот, кто олицетворял в его глазах дух независимости в искусстве! Он ожидал, что услышит слова

дружбы, которые дали бы ему мужество продолжать неблагодарную и необходимую для всякого истинного художника битву— битву с окружающим миром; продолжать ее до последнего вздоха, не складывая оружия ни на один день, ибо, как сказал Шиллер, «есть только одна форма отношений с публикой, в которой никогда не раскаиваешься,— это война с ней».

Кристофу так не терпелось увидеться с Гаслером, что он оставил свои вещи в первой привокзальной гостинице и устремился в театр, чтобы получить адрес композитора. Гаслер жил вдали от центра, в одном из предместий. Кристоф сел в трамвай, уплетая за обе щеки маленький хлебец. Сердце его стучало: он приближался к цели.

Квартал, где жил Гаслер, был застроен домами того нового, причудливого архитектурного стиля, в котором отразилось академическое варварство молодой Германии, старавшейся в поте лица своего быть гениальной. Среди обыкновенного города с прямыми, безликими улицами неожиданно поднимались какие-то египетские склепы, норвежские шале, монастыри, крепости, павильоны всемирной выставки или пузатые, приземистые, похожие на безногих уродов дома, с мертвенными фасадами, с единственным огромным глазом, с тюремными решетками, с тяжелыми, как в подводной лодке, дверьми, с железными обручами, с таинственными золочеными надписями на перекладинах решетчатых окон, с изрыгающими пламя драконами над входной дверью, с плитами из синей майолики, вделанными в самых неожиданных местах, с пестрой мозаикой, изображающей Адама и Еву, с крышами из разноцветной черепицы; особняки под феодальные замки с зубчатыми карнизами, с уродливыми животными на крыше, вовсе без окон с одной стороны и с множеством квадратных или прямоугольных дыр, зияющих, как отверстые раны,— с другой; высокие голые стены, из которых вдруг выпирал поддерживаемый кариатидами нибелунговского типа массивный балкон с одним окном; сквозь его каменные перила высовывались две заостренные головы бородатых и косматых старцев: бёклиновских людей-рыб. На фронтоне одной из таких тюрем — низкого одноэтажного здания, напоминавшего жилище фараона, с двумя голыми гигантами у дверей,— архитектор начертал:

Seine Welt zeige der Künstler,
Die niemals war, noch jemals sein wird!

«Пусть художник покажет свой мир, которого никогда не было и никогда не будет!»

Кристоф, поглощенный единственной мыслью о Гаслере, смотрел на все это, как ошалелый, даже не пытаясь понять. Он нашел дом, который искал, один из самых простых, в стиле времен Каролингов. Внутри пестрая и банальная роскошь; на лестнице — духота от перегретого калорифера. Кристоф отказался от тесного лифта, чтобы выгадать время и подготовиться к свиданию; замедлив шаг, он поднялся на пятый этаж,— ноги у него подкашивались, сердце тревожно билось. За короткие минуты подъема Кристоф вспомнил — казалось, это было только вчера — свиданье с Гаслером, свои ребяческие восторги, дедушку.

Было уже около одиннадцати, когда Кристоф позвонил у дверей квартиры Гаслера. Ему открыла бойкая горничная с повадками serva padrona. Она смерила посетителя дерзким взглядом и сразу выпалила, что «барин не принимает, потому что барин устал». Но наивное разочарование, отразившееся на лице Кристофа, рассмешило ее; бесцеремонно осмотрев гостя, она вдруг переменила гнев на милость, повела Кристофа в кабинет Гаслера и сказала, что уж так и быть, она все устроит и барин примет его. Стрельнув в Кристофа глазами, она закрыла дверь.

По стенам было развешано несколько импрессионистских картин и гравюр игривого содержания работы французских художников XVIII века. Гаслер мнил себя тонким ценителем искусств, он одинаково восхищался Мане и Ватто, как то полагалось в его кружке. В том же смешанном стиле была и мебель: вокруг прекрасного письменного стола в стиле Людовика XV стояли архисовременные кресла и восточный диван с целой горой пестрых подушек; в двери были вделаны зеркала; этажерки и камин, на котором возвышался бюст Гаслера, заставлены японскими безделушками. На столике красовалась чаша, едва вмещавшая кипу фотографий с шуточными или восторженными надписями: тут были и певицы, и поклонницы, и друзья. На письменном столе царил неописуемый беспорядок; рояль был открыт; на этажерках лежал слой пыли; по всем углам валялись недокуренные сигары.

В смежной комнате раздался чей-то капризный, брюзгливый голос и вслед за тем развязная скороговорка горничной. Очевидно, Гаслер не горел желанием выйти к гостю. Но девица поклялась себе, что заставит хозяина выйти, и бойко, фамильярно возражала ему. Ее пронзительный голос доносился сквозь стену. Кристофа покоробили некоторые замечания, сделанные ею Гаслеру, но последнего они ничуть не тронули. Напротив, казалось, эти дерзости его потешают; не переставая брюзжать,

Гаслер в то же время не без удовольствия подтрунивал над девушкой и поддразнивал ее. Наконец стукнула дверь, и послышались шаркающие шаги Гаслера, который на ходу все еще ворчал и зубоскалил.

Гаслер вошел. Сердце Кристофа упало. Он узнал его. Уж лучше бы не узнал! Это был Гаслер и не Гаслер. Тот же большой, не тронутый морщинами лоб, то же лицо, без единой складки, как у ребенка; но он оплешивел, обрюзг, пожелтел, у него был заспанный вид, нижняя губа немного отвисла, капризная складка в углу рта выражала скуку. Он сутулился, руки он засунул в карманы неопрятной куртки и звонко шлепал ночными туфлями; сорочка на нем пузырилась, вылезая из неаккуратно застегнутых брюк. Гаслер взглянул на Кристофа сонным взором, который не оживился и тогда, когда молодой человек пробормотал свою фамилию. Он безмолвно, как автомат, поклонился, движением головы указал Кристофу на кресло и со вздохом рухнул на диван, подоткнув себе под спину подушки. Кристоф повторил:

— Я уже имел честь... Вы были так добры... Я — Кристоф Крафт...

Гаслер зарылся в подушки, скрестил длинные ноги и, сцепив на правом колене худые руки, подтянул его к подбородку.

— Не помню,— бросил он.

Кристоф, у которого, как тисками, сжимало горло, старался воскресить в памяти Гаслера их встречу. Говорить об этих сокровенных воспоминаниях он затруднился бы в любой обстановке, но здесь это было просто пыткой: он сбивался, не находил слов, говорил глупости, от которых сам краснел. Гаслер не пришел ему на помощь; он слушал его лепет, глядя на него мутными, безразличными глазами. Когда Кристоф кончил, Гаслер некоторое время продолжал молча покачивать ногой, как бы ожидая продолжения. Затем сказал:

— Да... Такие воспоминания не молодят...

Он потянулся и, зевнув, прибавил:

— Извините... Не спал... Ужинал в театре...

Опять зевок.

Кристоф ждал, что Гаслер хоть каким-нибудь намеком откликнется на его рассказ, но Гаслер, которого эти воспоминания ничуть не тронули, не отозвался на них ни словом, не задал Кристофу ни единого вопроса о его жизни. Отзевавшись, он спросил:

— И давно вы в Берлине?

— Я приехал сегодня утром,— ответил Кристоф.

— А! — сказал Гаслер, ничем другим не выразив своего удивления.— Где же вы остановились?

Не дослушав ответа, он ленивым движением поднялся, протянул руку к электрической кнопке и позвонил.

— Вы позволите? — спросил он.

Появилась все та же развязная горничная.

— Китти,— сказал Гаслер,— ты, что же, решила заморить меня сегодня голодом?

— Не приносить же вам еду сюда, когда у вас гость,— возразила она.

— Почему бы и нет? — отозвался Гаслер, насмешливо подмигнув Кристофу.— Он будет питать мой дух, а я — тело.

— Постыдились бы... Они будут смотреть, как вы кушаете... словно в зверинце на дикого зверя.

Гаслер нисколько не рассердился. Он, смеясь, поправил девушку:

— Ну, зверь, положим, совсем ручной. Ничего, принеси,— продолжал он.— Стыд я проглочу вместе с завтраком.

Пожав плечами, Китти вышла.

Кристоф видел, что Гаслер не расположен расспрашивать его, и сделал попытку возобновить беседу. Он заговорил о том, как тяжело жить в провинции, среди посредственных, ограниченных людей, в полном одиночестве. Он старался вызвать у Гаслера сочувствие к своим нравственным страданиям. Но композитор, развалясь на диване, откинув голову на подушку и полузакрыв глаза, слушал и, казалось, не слышал его; время от времени, приподняв веки, он холодно и насмешливо бросал два-три слова, какой-нибудь игривый каламбур по адресу провинциалов, отбивавший у Кристофа всякую охоту к более откровенной беседе.

Снова появилась Китти; она несла поднос с завтраком — чашку кофе, масло, ветчину и прочее; сделав недовольную мину, она расставила посуду на письменном столе, среди разбросанных бумаг. Кристоф выжидал, пока она уйдет, собираясь возобновить свой печальный рассказ, который давался ему с таким трудом.

Гаслер придвинул к себе поднос; он налил кофе, пригубил и, прервав Кристофа на полуслове, спросил с добродушной фамильярностью, чуть-чуть презрительно:

— Не выпьете ли кофе?

Кристоф поблагодарил. Он попытался снова связать разорвавшуюся нить своего рассказа, но окончательно сбился и уже не знал, что говорить. Он не мог отвести глаз от Гаслера, ко-

торый, чуть не уткнувшись подбородком в тарелку, жадно, как невоспитанный ребенок, набивал себе рот бутербродами и брал ветчину прямо руками. Все же Кристофу удалось рассказать, что он композитор, что написанная им увертюра к «Юдифи» исполнялась оркестром. Гаслер слушал рассеянно.

— Was? (Что?) — переспросил он.

Кристоф повторил название.

— Ach! So, so! (А! Так, так!) — произнес Гаслер, обмакивая в чашку бутерброд вместе с пальцами.

И это было все.

Растерявшийся Кристоф готов был подняться и уйти, но он подумал о долгой поездке, о том, что придется возвращаться ни с чем, и, собрав все свое мужество, заикаясь от смущения, предложил Гаслеру сыграть кое-что из своих вещей. Гаслер не дал ему договорить.

— Нет, нет, я ни черта в этом не смыслю,— сказал он обидно ироническим тоном.— И мне, знаете ли, некогда.

У Кристофа на глаза навернулись слезы. Но он дал себе клятву не уходить до тех пор, пока Гаслер не выскажет своего мнения о его музыке. Подавляя смущение и закипавший гнев, он сказал:

— Простите, но когда-то вы обещали послушать меня; я приехал для этого и только для этого с другого конца Германии, и вы меня послушаете.

Гаслер, не привыкший к такому тону, взглянул на юношу, неловкого в своем гневе, покрасневшего, чуть не плачущего, и улыбнулся; он устало пожал плечами, ткнул пальцем в сторону рояля и произнес с комическим смирением:

— Ну что ж!.. Давайте!..

Он устроился на диване, словно собирался соснуть: взбил кулаком подушки, развалился на них поудобнее, полузакрыл глаза, снова открыл их, чтобы прикинуть, велик ли сверток с нотами, извлеченный Кристофом из кармана, подавил легкий вздох и, не скрывая скуки, приготовился слушать.

Кристоф, смущенный и подавленный, начал играть. Гаслер сразу насторожился и стал прислушиваться с профессиональным интересом художника, плененного помимо своей воли прекрасным произведением. Сначала он ничего не говорил; он не трогался с места, но взгляд его перестал блуждать, а брезгливо опущенные губы зашевелились. Теперь он окончательно проснулся и промычал что-то удивленно и одобрительно. Хотя он ограничивался невнятными междометиями, тон его не оставлял сомнений, и Кристоф почувствовал себя на седьмом небе.

Гаслер уже не считал количества страниц, которые были сыграны и которые еще осталось доиграть. Когда Кристоф кончал одну вещь, он восклицал:

— Еще!.. Еще!..

Он вспомнил, что существует человеческий язык.

— Вот это хорошо! Хорошо!..— восклицал он.— Замечательно! Здорово! (Schrecklich famos!) Черт возьми! — удивленно ворчал он.— Что это?

Он приподнялся, вытянул голову вперед, приложил ладонь к уху; он разговаривал сам с собой, смеялся от удовольствия, а при некоторых особенно своеобразных гармонических решениях высовывал кончик языка, как бы собираясь облизать пересохшие губы. Один совсем уж неожиданный переход произвел на него такое впечатление, что он вдруг ахнул и подсел к Кристофу. Казалось, он даже не замечал присутствия гостя, не думал ни о чем, кроме музыки; когда вещь была доиграна до конца, он схватил ноты, перечел страницу и взялся за следующие, как бы поверяя самому себе свои восторги и свое удивление, будто был один в комнате.

— Ах, черт!..— говорил он.— И откуда только он все это взял, мошенник!

Отстранив Кристофа движением плеча, он исполнил некоторые пассажи сам. Касаясь клавиш, пальцы его становились прекрасными — нежными, ласкающими, легкими. Кристоф не отводил глаз от его тонких, длинных, холеных рук, в которых чувствовалось что-то болезненно-аристократическое, так не вязавшееся со всем его обликом. На некоторых аккордах Гаслер задерживался, повторял их, подмигивая и прищелкивая языком; он гудел, надув губы в подражание различным инструментам и перебивая самого себя восклицаниями, выдававшими и радость и досаду: он не мог отделаться от безотчетного раздражения, от глубоко затаенной зависти и в то же время жадно наслаждался.

Хотя Гаслер по-прежнему обращался только к самому себе, как будто Кристофа даже не было в комнате, покрасневший от радости юноша понимал, что эти возгласы относятся к нему, и начал объяснять композитору, что́ именно он хотел выразить своей музыкой. Сначала Гаслер как будто совершенно не вникал в его слова и продолжал размышлять вслух, но некоторые выражения Кристофа задели его за живое. Он замолчал и, листая по-прежнему нотную тетрадь, стал прислушиваться, но не подавал виду, что до него доходят слова гостя. А Кристоф мало-помалу воспламенялся; в конце концов он доверчиво

открылся Гаслеру и с наивным волнением заговорил о своих планах, о своей жизни.

Лицо Гаслера, все еще молчавшего, снова приняло иронические выражение. Он позволил взять у себя тетрадь. Облокотившись на крышку рояля, уронив голову на руки, он приглядывался к Кристофу, который объяснял ему свое произведение с юношеским пылом и трепетом, и горько улыбался, думая о начале своего творческого пути, о своих ожиданиях, об ожиданиях Кристофа, о предстоящих ему разочарованиях.

Кристоф говорил, опустив глаза и боясь сбиться. Молчание Гаслера как бы поощряло его. Он чувствовал, что композитор наблюдает за ним, вслушивается в каждое его слово; ему казалось, что лед наконец разбит, и сердце его согрелось надеждой. Кончив, он поднял голову и взглянул на Гаслера — смущенно, доверчиво. Но расцветавшая в нем радость сразу сникла, как преждевременно пробившийся росток: он увидел устремленный на себя угрюмый, насмешливый, недобрый взгляд. И умолк.

После нескольких мгновений ледяного молчания Гаслер сухо заговорил. Он снова преобразился: в его тоне чувствовалась подчеркнутая жесткость. Замыслы юноши, его надежды на успех Гаслер зло вышучивал,— казалось, он глумился над самим собой, узнавая себя в Кристофе. Композитор упорно, холодно подрывал его веру в жизнь, веру в искусство, веру в себя. Он с горечью сослался на собственный пример, в оскорбительных выражениях разобрал свои последние вещи.

— Сплошная пакость! — говорил он.— Как раз то, что требуется для этих свиней. И вы думаете, что в мире найдется хотя бы десять человек, которые любят музыку? Да есть ли хоть один?

— Есть — я! — горячо откликнулся Кристоф.

Гаслер взглянул на него, пожал плечами и устало сказал:

— И вы будете не лучше других. И поступать будете, как другие. Будете искать успеха, легкой жизни... Да оно и понятно...

Кристоф хотел возразить, но Гаслер прервал его, снова взял в руки ноты и принялся жестоко критиковать произведения, которыми за минуту до того восхищался. Он не только подчеркивал с обидной придирчивостью все небрежности, ошибки, не замеченные молодым автором погрешности против вкуса или формы, но еще и высказывал нелепые суждения, достойные самой узколобой и ограниченной критики, от которой Гаслер страдал всю жизнь. Он спрашивал, какой во всем

этом смысл. Он даже не критиковал, а только отрицал: казалось, что он злобно силится выйти из-под власти впечатления, которое помимо его воли произвела на него музыка Кристофа.

Ошеломленный Кристоф даже не пытался отвечать. Да и как отвечать на глупости, которые стыдно слушать, особенно из уст человека, уважаемого и любимого? Впрочем, Гаслер и не принял бы никаких возражений. Он стоял неподвижно, держа в руках закрытую тетрадь, с пустым взглядом и горько сжатым ртом. Наконец он сказал, как будто опять забыв о существовании Кристофа:

— Ах! Хуже всего то, что нет ни одного человека, ни единого, кто способен был бы понять тебя!

Кристоф вздрогнул от полоснувшей его боли, он внезапно обернулся, положил руку на руку Гаслера и с сердцем, полным любви, повторил:

— Есть! И человек этот — я!

Но рука Гаслера не ответила; и пусть сердце его откликнулось, в угасших глазах не отразилось ничего. Пересилили ирония и эгоизм. Он сделал церемонный и комический полупоклон.

— Весьма польщен! — сказал Гаслер.

А сам думал:

«Велика честь! Неужели ты полагаешь, что я загубил свою жизнь ради тебя?»

Гаслер поднялся, бросил тетрадь на рояль и неверной походкой направился обратно к дивану. Кристоф угадал эту мысль, почувствовал всю ее оскорбительность и с достоинством начал объяснять, что незачем искать понимания у всего света: есть люди, которые стоят целого народа; их мысли и должны стать мыслями народа. Но Гаслер уже не слушал, он снова впал в состояние безразличия, являвшееся следствием истощения жизненных сил. Кристоф, с его душевным здоровьем, не понимал этой резкой смены настроений, он только смутно почувствовал, что игра проиграна, но не желал сдаваться, почти достигнув цели. Он делал судорожные попытки вновь расшевелить Гаслера: взяв тетрадь с нотами, он старался обосновать то, что композитор счел ошибочным. Зарывшийся в диванные подушки Гаслер угрюмо молчал; он не одобрял, не противоречил — он ждал конца визита.

Кристофу стало ясно, что ему здесь больше делать нечего. Не докончив начатой фразы, он свернул ноты и встал. Встал и Гаслер; Кристоф неловко извинялся, не зная, куда деваться от жгучего стыда и смущения. Гаслер слегка поклонился.

С изысканно надменным и скучающим видом он холодно, учтиво протянул гостю руку, проводил его до входных дверей и ни одним словом не попытался его удержать, не пригласил даже заглянуть еще раз.

Убитый своей неудачей, Кристоф снова очутился на улице. Он побрел куда глаза глядят. Машинально пройдя два или три квартала, он дошел до остановки трамвая. Юноша сел в вагон в состоянии полного отупения. Он рухнул на скамью, чувствуя разбитость во всем теле. Не было сил подумать, собраться с мыслями, да и мыслей не было. Он не решался заглянуть в себя, так пусто было в душе. И такая же пустота вокруг, в этом городе; нечем дышать: туман, дома — все навалилось на него тяжелой громадой. И единственной мыслью было: бежать, бежать без оглядки, как будто спастись из этого города значило оставить здесь пережитое жгучее разочарование.

Кристоф возвратился в гостиницу. Еще не было половины первого. Еще не истекло двух часов с тех пор, как он вошел сюда — с каким светом в душе! А теперь все померкло!

Он не позавтракал, даже не поднялся в свой номер. К удивлению хозяина, он потребовал счет, уплатил за целые сутки и сказал, что уезжает. Напрасно уверяли его, что нет надобности спешить, что поезд его уходит лишь через несколько часов, что разумнее провести оставшееся время в гостинице. Кристоф хотел немедля отправиться на вокзал, сесть в первый попавшийся поезд, ни на один час не задерживаться в этом городе. После долгой поездки, после всех затрат Кристоф, с такой радостью предвкушавший не только свидание с Гаслером, но и посещение музеев, концертов, новые знакомства, думал теперь лишь об одном: уехать...

Кристоф пошел на вокзал. Поезд действительно отходил через три часа. Это был не экспресс (Кристоф ехал четвертым классом — так было дешевле) — он останавливался на всех станциях. Выгоднее было бы сесть в следующий поезд, который уходил на два часа позже и обгонял первый. Но тогда пришлось бы провести в городе лишних два часа — мысль, нестерпимая для Кристофа. Он даже не желал выйти за пределы вокзала. Мрачные часы ожидания в обширных и пустынных залах, гулких и угрюмых; точно тени, снуют взад и вперед озабоченные, куда-то бегущие люди, чужие, все чужие, все равнодушные — ни одной знакомой души, ни одного дружеского лица! Мертвенно-бледный день угасал. Электрические лампоч-

ки пунктиром прочерчивали полосу тумана, отчего тьма казалась еще гуще. Кристоф, изнемогая от тоски, тревожно ждал минуты отъезда. Раз по десяти в час отправлялся он взглянуть на расписание поездов и удостовериться, не вышло ли ошибки. Пробегая глазами расписание, чтобы хоть как-нибудь убить время, он вдруг остановился на одном поразившем его названии: оно было ему чем-то знакомо; после минутного размышления он вспомнил, что в этой местности живет старик Шульц, написавший ему такие задушевные письма. И в его смятенном уме сразу возникла мысль повидать неизвестного друга. Это было не совсем по пути Кристофу, в двух часах езды по пригородной ветке. В общем, ехать придется целую ночь, два-три раза пересаживаться и бесконечно ждать на полустанках. Но Кристоф не желал ничего высчитывать. Он тотчас же решил отправиться к Шульцу: у него была инстинктивная потребность согреться чьим-то сочувствием. Не долго думая, он протелеграфировал Шульцу, что приедет утром. Но, отправив телеграмму, тут же стал раскаиваться в своем решении. Он горько вышучивал себя, свои бесконечные иллюзии. Зачем нарываться на новое разочарование? Но что сделано, то сделано, отступать поздно.

Этими мыслями был наполнен последний час ожидания. Наконец подали состав. Кристоф первый сел в вагон и, снедаемый ребяческим нетерпением, вздохнул полной грудью лишь тогда, когда поезд загромыхал на стрелках и он увидел в окно, как постепенно стираются на фоне серого неба, иссеченного полосами унылого дождя, очертания города, на который медленно спускалась ночь. Ему казалось, что провести здесь эту ночь было бы равносильно смерти.

В этот самый час — около шести вечера — в гостиницу на имя Кристофа пришло письмо от Гаслера. Встреча с Кристофом разбередила душу композитора. Весь день он с горечью и не без сочувствия вспоминал о бедном юноше, который явился к нему с таким запасом любви и которому он оказал ледяной прием. Теперь он упрекал себя за эту холодность. В сущности, это был только один из обычных для него приступов хандры. Ему хотелось загладить свою вину, и он послал Кристофу билет в оперу с запиской, в которой назначал ему свидание после спектакля. Кристоф никогда не узнал об этом, а Гаслер, увидев, что он не пришел, подумал:

«Обиделся. Тем хуже для него!»

Он пожал плечами и перестал думать об этом. На другой день он уже забыл о Кристофе.

Да и далеко был от него Кристоф на другой день — так далеко, что даже вечности не хватило бы, чтобы снова сблизить их. И оба остались одинокими навсегда.

Петеру Шульцу уже исполнилось семьдесят пять лет. Он всегда отличался слабым здоровьем, да и время не пощадило его. У этого высокого сутулого старика с бессильно склоненной на грудь головой были больные бронхи, и он страдал одышкой. Его вечно терзали катары, бронхиты, астма; тяжелая борьба с недугом — сколько ночей просидел он в постели, сгорбившись, обливаясь потом, судорожно ловя воздух больною грудью! — проложила страдальческие складки на его продолговатом, худом, бритом лице. У него был длинный, у переносицы несколько утолщенный нос. Резкие морщины, расходясь от глаз, изрыли глубоко запавшие щеки. Не только болезни и возраст вылепили эту старческую маску,— горести жизни тоже сделали свое дело. И тем не менее Шульц не казался грустным. Большой рот выражал спокойную и безмятежную доброту. Но особенно трогательную мягкость придавали его лицу светло-серые, прозрачные и ясные глаза; они смотрели прямо в лицо людям, спокойно, открыто; они ничего не скрывали: вся душа читалась в них.

Жизнь Шульца была бедна событиями. Он остался в одиночестве много лет назад. Жена его умерла. Она была не очень добра, не очень умна и даже не хороша собой, но он вспоминал о ней с нежностью. Шульц потерял ее уже двадцать пять лет назад, и с тех пор не проходило вечера, чтобы он мысленно не вел с ней перед сном грустной и нежной беседы: он приобщал ее к прожитому дню. Детей у него не было, о чем он горевал всю жизнь. Свою жажду привязанности Шульц перенес на учеников, которых любил, как родной отец. Но они не всегда платили ему тем же. Старое сердце тянется к юному, чувствуя себя почти ровесником его: оно знает, как быстротечны годы, которые легли между ними. Но юноша об этом не подозревает: старик для него человек другой эпохи; к тому же он слишком поглощен треволнениями сегодняшнего дня и бессознательно отвращает взор от грустного итога всех своих усилий. Случалось, что ученики Шульца, тронутые его живым, искренним интересом ко всем их удачам и неудачам, выражали ему свою признательность; время от времени они навещали старого профессора; кончив университет, писали ему, благодарили за его заботы; некоторые два-три раза присылали весточку о себе и

в последующие годы. А затем старый Шульц терял их из виду и разве только из газет узнавал об успехах того или другого — и радовался этим успехам, как своим собственным. Он не обижался на учеников за их молчание, находя ему тысячи оправданий. В их преданности старик ничуть не сомневался и даже наиболее эгоистичных наделял чувствами, которые испытывал сам.

Но надежнейшим прибежищем были для него книги: они-то не забудут, не изменят. Души, которые делали дорогими для него эти страницы, были уже вне потока времени — они не менялись, запечатленные в веках силою любви, которую они внушали и, казалось, сами чувствовали, изливая ее на всех, кто полюбил их. Профессор эстетики и истории музыки Шульц был подобен старому бору, звенящему песнями. Некоторые из этих песен доносились издалека, из глубокой старины, не потеряв ни своей прелести, ни своей таинственности. Существовали и другие, более близкие и милые сердцу; они стали его дорогими спутниками: каждое слово в них напоминало ему счастье и скорби прожитой жизни, сознательной или прошедшей за пределами сознания (ибо за простой завесой дня, озаренного лучами солнца, текут другие дни, сияющие неведомым нам светом). Были, наконец, песни, никогда еще им не слышанные; он находил в них то, чего давно уже ждал, в чем давно нуждался,— всем сердцем он впитывал их, как земля впитывает влагу. Так старый Шульц слушал в безмолвии своей одинокой жизни шумы наполненного песнями леса; и, подобно тому легендарному монаху, что уснул, завороженный песней волшебной птицы, он не заметил, как прошли годы, как наступил вечер жизни; душе его все еще было двадцать лет.

Не только музыка составляла богатство Шульца. Он любил поэтов — старинных и новых. Он предпочитал поэтов своей родины, в особенности Гете, но любил и иностранных. Шульц был разносторонне образован и знал несколько языков. По своим воззрениям он принадлежал к современникам Гердера и великим Weltbürger — «гражданам мира» конца XVIII века. Как свидетель ожесточенной борьбы, происходившей до и после семидесятого года, он привык мыслить широко. Но, обожая Германию, Шульц не кичился ею. Вместе с Гердером он полагал, что «из всех бахвалов самый глупый тот, кто кичится своей национальностью», и вместе с Шиллером находил, что «писать для одной лишь нации — слишком убогий идеал». Если он порой и проявлял робость мысли, то сердце у него было открытое, оно с любовью обнимало все, что есть прекрасного в мире.

Шульц, пожалуй, был слишком терпим к посредственности, но его инстинкт безошибочно подсказывал ему, что лучше и что хуже; и если у него не хватало силы осудить лжеталанты, которыми восторгался свет, он всегда находил в себе силу отстаивать своеобразных и сильных художников, гонимых светом. Доброта часто подводила его: он боялся совершить несправедливость; а если ему не нравилось то, что нравилось другим, он, не колеблясь, признавал себя неправым и начинал любить отвергнутое. Любовь и восхищение были еще более необходимы ему для его духовной жизни, чем воздух для его чахлой груди, и он испытывал признательность к тем, кто пробуждал в нем эти чувства. Кристоф даже не подозревал, что значили для Шульца его Lieder. Он сам, создавший их, не чувствовал того, что порождали они в сердце старого Шульца. Ведь для Кристофа это были всего лишь несколько искорок того огня, которым он горел: немало других еще взовьется из горна его души. А для Шульца это был целый мир, внезапно распахнувшийся перед ним,— мир, на который он мог обратить свою любовь. Мир, осветивший всю его жизнь.

Год назад Шульцу пришлось распроститься с университетом и выйти в отставку: здоровье его ухудшилось, стало трудно преподавать. Он был болен и лежал в постели, когда книготорговец Вольф, по заведенному обыкновению, прислал ему пачку последних музыкальных новинок и среди них Lieder Кристофа. Шульц жил в полном одиночестве. Возле него не было ни одной близкой души; немногие его родственники давно уже умерли. Он находился на попечении старой служанки, которая злоупотребляла его немощью и вела дом по своему усмотрению. Время от времени его навещали два-три приятеля столь же преклонных лет; они тоже не отличались здоровьем; в плохую погоду они сидели в четырех стенах и редко навещали друг друга. Была зима, на улицах таял только что выпавший снег; Шульц никого не видел весь день. Комната тонула во мраке, желтый туман прильнул к окнам, и взгляд упирался в его непроницаемую стену; от печки шел тяжелый, томительный жар. На соседней церкви старые куранты XVII века через каждые четверть часа выпевали ужасающе фальшивым и разбитым голосом фразу монотонного хорала — их бодрящий напев казался неестественным тому, кто сам был не очень весел. Старик, обложенный подушками, кашлял. Он старался углубиться в чтение Монтеня, которого любил, но сегодня чтение не радовало его,

как обычно; он выпустил из рук книгу, ему дышалось трудно, он ушел в мечты. Пачка нот лежала тут же на постели, но у него не было мужества распечатать ее, сердце томила печаль. Наконец старик Шульц вздохнул, аккуратно развязал шнурок, надел очки и принялся разбирать ноты. Мыслями он был не здесь, а в прошлом, которое хотелось и не удавалось забыть.

Взгляд его упал на гимн в старинном стиле, написанный на слова простодушного и благочестивого поэта XVII века, которым Кристоф придал новое звучание. То была «Песнь странника-христианина» Пауля Гергардта:

Hoff, o du arme Seele,
Hoff und sei unverzagt!
. . . . . .
Erwarte nur der Zeit,
So wirst du schon erblicken
Die Sonn der schönsten Freud...

Надейся, бедная душа,
Надейся, будь бесстрашна!
. . . . . .
Жди, твой придет черед,
И солнце Радости
Перед тобой блеснет...

Старому Шульцу были хорошо знакомы эти простые слова, но никогда они не трогали его так, как сейчас. Куда-то исчезла бездумная набожность, которая смиряет и убаюкивает душу своей однообразностью. Теперь в них трепетала душа, его собственная душа, но более юная и могучая; она страдала, жаждала надеяться, жаждала видеть Радость и видела ее. Его руки дрожали, по щекам текли крупные слезы. Он продолжал читать:

Auf! Auf! gib deinem Schmerze
Und Sorgen gute Nacht!
Lass fahren, was das Herze
Betrübt und traurig macht!

Вставай, простись с заботой,
Гони печали прочь!
Пусть все уйдет, что в сердце
Твое вселила ночь!

Кристоф сообщил этим мыслям отвагу и задор молодости; молодой героический смех громко звучал в нижеследующих, проникнутых наивным доверием словах:

Bist du doch nicht Regente,
Der alles führen soll,—

Gott sitzt im Regimente
Und führet alles wohl.

Не ты ведь вседержитель,
Мир не тебе вести,—
Господь жизнь направляет
По верному пути.

И, наконец, шла строфа, дышавшая пламенным вызовом,— Кристоф с дерзостью юного варвара беспечно вырвал ее из середины стихотворения и превратил в финал своей Lied:

Und ob gleich alle Teufel
Hier wollten widerstehn,
So wird doch ohne Zweifel
Gott nicht zurücke gehn.

Was er ihm vorgenommen,
Und was er haben will,
Das muß doch endlich kommen
Zu seinem Zweck und Ziel.

Пусть корчатся все черти
И разъярится ад,
Того, что раз замыслил,
Бог не возьмет назад.

От цели не отступит
Господь наш ни на пядь,
Он выполнит решенье
И не вернется вспять...

Здесь музыка разражалась неистовым взрывом веселья, в ней слышалось упоение боем, триумф римского императора.

Старик дрожал всем телом. Трудно дыша, он следил за буйным течением музыки, как ребенок, которого схватил за руку и увлекает вперед бегущий товарищ. Сердце его стучало, слезы струились по щекам. Он лепетал:

— Ах, боже мой!.. Ах, боже мой!..

Он всхлипывал, смеялся. Он был счастлив. У него перехватило дыхание. Начался ужасный припадок кашля. Прибежала Саломея, старая служанка,— ей показалось, что старику пришел конец. А он все плакал, кашлял и твердил:

— Ах, боже мой! Боже мой!..

В краткие минуты передышки между двумя припадками кашля он смеялся тихим, тонким смешком.

Саломея думала, что он помешался. С трудом поняв наконец, что привело его в такое волнение, она напустилась на него:

— Можно ли так с ума сходить из-за всякой чепухи!.. Дайте-ка мне эту тетрадь! Я ее заберу! И больше вы ее не увидите.

Но старик, кашляя, крепко ухватился за ноты; он крикнул Саломее, чтобы она оставила его в покое. Так как старуха не унималась, Шульц вышел из себя и стал всячески бранить ее, ловя ртом воздух. Никогда еще хозяин так не сердился, никогда он не смел ей перечить. Ее даже оторопь взяла — и она сдалась, но не поскупилась на язвительные словечки: сказала, что он на старости лет выжил из ума, что она до сих пор принимала его за приличного человека, но, видно, обманулась,— он так ругается и богохульствует, что любого извозчика за пояс заткнет, что глаза у него совсем на лоб вылезли,— одним таким взглядом убить можно... И она угомонилась лишь после того, как взбешенный Шульц приподнялся и крикнул ей:

— Убирайтесь!

И крикнул таким не допускавшим возражения тоном, что Саломея ушла, хлопнув дверью. Пусть теперь зовет ее, заявила она на прощание, она и не подумает прийти, пусть себе помирает один-одинешенек.

В комнате, уже погруженной в полумрак, снова воцарилась тишина. И снова спокойное безмолвие вечера нарушал только перебор курантов, вызванивавших смешные и сентиментальные мелодии. Смущенный своей вспышкой, старик Шульц неподвижно лежал на спине и дожидался, когда уймется бурное биение сердца: он прижимал к груди драгоценные Lieder и смеялся, как дитя.

Последовавшие за тем одинокие дни проходили в состоянии, близком к экстазу. Шульц уже позабыл о своих немощах, о зиме, о ненастье, о своем одиночестве. Все вокруг было сиянием и любовью. Приближаясь к земному пределу, Шульц чувствовал, как он возрождается в юной душе неведомого друга.

Он силился нарисовать себе образ Кристофа. Композитор представлялся ему совсем не таким, каким был в действительности. В своем воображении Шульц видел светловолосого, худощавого человека с голубыми глазами, со слабым, глуховатым голосом, кроткого, застенчивого и доброго. Но каков бы он ни был на самом деле, Шульц все равно создал бы себе идеальный образ Кристофа. Он идеализировал всех окружающих; учеников, соседей, приятелей, старуху служанку. Добрый и любящий, неспособный критиковать и, быть может, умышленно

уклонявшийся от критики,— так легче было отгонять горькие мысли,— он населял мир ясными и чистыми душами по своему подобию. Это была ложь от избытка доброты, и эта ложь помогала ему жить. Шульц и сам знал в глубине души, что обманывает себя — и по ночам, в постели, часто вздыхал, вспоминая прожитый день — десятки мелочей, противоречивших его идеализированным представлениям. Он отлично знал, что старая Саломея за его спиной насмехается над ним, судачит о нем с кумушками всего квартала и потихоньку приписывает к очередному счету по субботам. Он отлично знал, что ученики заискивают перед ним, пока он им нужен, а получив желаемое, исчезают. Он знал, что старые товарищи по университету забыли о его существовании с тех пор, как он вышел в отставку, а новый профессор эстетики обкрадывает его в своих статьях без указания источника или же вероломно ссылается на него как раз тогда, когда приводит какую-нибудь малозначащую фразу из его сочинений или подчеркивает его промахи (прием, весьма распространенный среди критиков). Он знал, что его приятель Кунц не далее как сегодня налгал ему и что не видать ему, как своих ушей, книг, которые он дал на несколько дней другому своему приятелю, Поттпетшмидту; а это очень огорчало Шульца — книги свои он любил, как живых людей. И много еще припоминалось ему горького из недавнего и далекого прошлого. Не хотелось ему об этом думать, но назойливые мысли все время были с ним. Воспоминания пронзали его жгучей болью.

— Ах! Боже мой, боже мой! — вздыхал он в ночной тишине.

Но Шульц отмахивался от этих докучливых мыслей: он их просто отстранял. Ему хотелось быть доверчивым, верить во все доброе, верить в людей. И он верил. Сколько раз жизнь грубо разбивала его иллюзии! А на их месте снова и снова возникали другие. Он не мог обходиться без них.

Незнакомец, по имени Кристоф, стал для старика источником света. Первое письмо, полученное от Кристофа, холодное и угрюмое, не могло не огорчить его, но он не хотел признавать этого, он радовался, как дитя. Старик был так невзыскателен, так мало требовал от людей, что и немногое способно было утолить его жажду любви и благодарности. Свиданье с Кристофом было бы для него радостью, на которую он не смел рассчитывать: куда ему, старому, пускаться в далекий путь к берегам Рейна! А попросить Кристофа навестить его он даже и помыслить не мог.

Телеграмма от Кристофа была получена вечером — Шульц как раз садился за стол. Сначала он пришел в недоумение: подпись ему ничего не говорила, и он решил, что телеграмма подана ему по ошибке. Он перечел ее три раза; от волнения очки не сидели на месте, лампа горела слишком тускло, буквы плясали перед глазами. Когда же он наконец понял, новость так ошеломила его, что он забыл об обеде. Напрасно кричала на него Саломея,— кусок не шел ему в горло. Старик небрежно бросил салфетку на стол, хотя обычно аккуратно складывал ее; он с трудом поднялся, взял шляпу, трость — и вышел. Первой мыслью старого Шульца, когда он получил счастливую весть, было разделить это счастье с другими, известить своих друзей о приезде Кристофа.

У него было двое приятелей, тоже страстных любителей музыки, которым он сумел передать свое восторженное отношение к Кристофу: судья Самюэль Кунц и зубной врач Оскар Поттпетшмидт, славившийся своим замечательным голосом. Старые приятели, собравшись втроем, часто говорили о Кристофе; они переиграли все его вещи — все, что им удалось найти. Поттпетшмидт пел, Шульц аккомпанировал, Кунц слушал. А затем они целыми часами делились друг с другом своими восторгами. Исполняя пьесы Кристофа, они нередко повторяли:

— Ах! Если бы с нами был Крафт!

Шульц шел и тихонько смеялся от радости и оттого, что сможет порадовать своих друзей. Спускалась ночь; деревушка, где жил Кунц, находилась в получасе ходьбы от города. Но небо было чистое, апрельский вечер ласкал теплом, пели соловьи. Сердце старого Шульца ликовало; он не чувствовал одышки, он шел легко, как в двадцать лет, не смущаясь тем, что часто спотыкался в темноте о камни. Проезжали экипажи, и тогда он молодцевато сторонился и посылал веселый привет вознице, а тот с удивлением всматривался в освещенную на мгновение фонарем фигуру старика, взгромоздившегося на придорожную насыпь.

Наконец Шульц добрался до домика Кунца, стоявшего в саду на окраине деревни; уже наступила ночь. Он принялся барабанить в дверь и громко звать хозяина. Окно распахнулось, и из него высунулся растерянный Кунц. Вперив глаза в темноту, он спросил:

— Кто там? Что вам угодно?

Запыхавшийся Шульц радостно вскрикнул:

— Крафт... Крафт завтра приезжает...

Кунц ничего не понял, но он узнал старика по голосу.

— Шульц! В чем дело? Так поздно? Что случилось?

Шульц повторил:

— Он приезжает завтра, завтра утром!..

— Что-о? — переспросил озадаченный Кунц.

— Крафт! — крикнул Шульц.

Кунц помолчал, стараясь разгадать смысл сказанного, и вдруг громко ахнул: он наконец понял.

— Иду! — крикнул он.

Окно захлопнулось. Кунц, с лампой в руке, показался на лестнице и спустился в сад. Это был низенький толстенький старичок, большеголовый, седой, с рыжей бородкой, с веснушками на лице и на руках. Он шел мелкими шажками, попыхивая фарфоровой трубкой. Благодушный, сонливый Кунц редко что принимал близко к сердцу. Но новость, преподнесенная Шульцем, взбудоражила даже его; он уже издали сыпал вопросами и, забыв, что держит лампу, размахивал короткими ручками:

— Что? Неужели правда? Он приезжает?

— Завтра утром! — с торжеством повторил Шульц, размахивая телеграммой.

Два старых друга уселись на скамье в беседке. Шульц поднял лампу. Кунц бережно развернул телеграмму и медленно вполголоса прочитал; Шульц, глядя из-за его плеча, перечел ее вслух. Кунц стал разбирать окаймлявшие телеграмму служебные отметки: время подачи, время получения, число слов, после чего вернул драгоценный документ Шульцу, так и сиявшему от удовольствия, посмотрел на него, покачал головой и сказал:

— Ах! Хорошо!.. Ах! Хорошо!..

Затем подумал, затянулся, выдохнул густое облако дыма и, положив руку на колени Шульцу, произнес:

— Надо сообщить Поттпетшмидту.

— Я как раз собирался идти к нему,— сказал Шульц.

— Пойдем вместе,— подхватил Кунц.

Он отнес лампу в дом и тотчас же появился снова. Старики пошли под руку. Дом Поттпетшмидта находился на противоположном краю деревни. Шульц и Кунц рассеянно обменивались отрывистыми замечаниями, размышляя о полученном известии. Вдруг Кунц остановился и стукнул палкой о землю.

— Ах, черт! — сказал он.— Ведь его нет дома!

Он только сейчас вспомнил, что Поттпетшмидт собирался с вечера к пациенту в соседний город, где предполагал остаться

на день-два. Шульц расстроился, Кунц — не меньше его. Они гордились Поттпетшмидтом, им хотелось похвастаться этим замечательным певцом перед Кристофом. Оба стали как вкопанные посреди дороги, не зная, что предпринять.

— Что же делать? Что же делать? — спросил Кунц.

— Крафт должен во что бы то ни стало послушать Поттпетшмидта,— сказал Шульц. Подумав, он прибавил: — Пошлем ему телеграмму.

Отправились на телеграф и общими усилиями составили пространную и путаную телеграмму, из которой ничего нельзя было понять. Пошли обратно. Шульц что-то высчитывал и наконец сказал:

— Если он сядет на первый поезд, то может приехать завтра утром.

Но Кунц заметил, что уже поздно и телеграмму Поттпетшмидту вручат только завтра. Шульц покачал головой; оба то и дело повторяли:

— Вот беда!

Дойдя до дома Кунца, они расстались. При всей своей любви к Шульцу Кунц даже не подумал проводить приятеля за окраину деревни: он не рискнул бы проделать этот путь и потом возвратиться один в темноте. Уговорились, что завтра Кунц будет обедать у Шульца. Шульц тревожно посматривал на небо:

— Только бы завтра не испортилась погода!

Он вздохнул с облегчением, когда Кунц, слывший знатоком по части метеорологии, с важным видом заявил, поглядывая на небо (ему не меньше, чем Шульцу, хотелось, чтобы Кристоф увидел их местность во всем блеске):

— Погода будет хорошая.

Шульц направился к дому; он спотыкался о колеи, о камни, кучами лежавшие вдоль обочины, и наконец добрался до города. Прежде чем повернуть к себе, он зашел в кондитерскую и заказал особый торт, которым она славилась на весь город. Уже у порога своего дома он остановился и пошел обратно, решив осведомиться на вокзале о точном времени прибытия поезда. Наконец он добрался до дома и позвал Саломею; началось продолжительное совещание о завтрашнем обеде. Затем старик улегся уже в полном изнеможении, но он был взбудоражен, как ребенок в ожидании рождественских подарков, и всю ночь проворочался в постели, не смыкая глаз. Уже за полночь он вдруг

поднялся и направился было будить Саломею, чтобы заказать к обеду тушеного карпа,— это блюдо особенно ей удавалось,— но воздержался и хорошо сделал. Все же он встал и принялся приводить в порядок комнату, предназначенную для Кристофа, всячески стараясь не шуметь, чтобы не потревожить Саломеи: он боялся, что ему достанется. Хотя по расписанию поезд не мог прийти раньше восьми, Шульц был в страхе, как бы не опоздать. Он встал ни свет ни заря и прежде всего взглянул на небо. Кунц не ошибся: погода стояла великолепная. Шульц на цыпочках сошел в погреб, куда не заглядывал уже много лет, опасаясь холода и крутой лестницы. Он отобрал лучшие вина; на обратном пути он сильно ударился головой о притолоку и чуть не задохся, пока добирался до выхода со своей тяжелой ношей. Затем он вышел, вооружившись ножницами, в сад и безжалостно срезал самые прекрасные розы и первые ветки распустившейся сирени. После этого он снова поднялся в свою комнату, стал с судорожной поспешностью бриться, раза два порезался, оделся особенно тщательно и отправился на вокзал. Было семь часов. Саломее не удалось заставить его выпить хотя бы чашку молока: он твердил, что ведь и Кристоф не успеет поесть,— они позавтракают вместе по возвращении с вокзала.

За три четверти часа до прибытия поезда Шульц был уже на вокзале. Он так истерзался в ожидании Кристофа, что в конце концов разминулся с ним. Ему бы терпеливо дожидаться у входа, а он вышел на перрон и, очутившись в водовороте отбывавших и приезжавших пассажиров, окончательно потерял голову. И хотя в телеграмме было точно указано время прибытия Кристофа, Шульц вдруг почему-то вообразил, что он приедет следующим поездом; кроме того, он никак не думал, что композитора надо искать среди пассажиров четвертого класса. Он прождал его на вокзале больше получаса, а тем временем Кристоф, давно уже приехавший, отправился прямо к нему домой. Как на грех, Саломея только что ушла на рынок,— Кристоф очутился перед запертой дверью. Соседка, которой Саломея наказала передать, если кто-нибудь позвонит, что она скоро будет дома, в точности выполнила поручение, ничего не прибавив от себя. И Кристоф, который приехал отнюдь не ради Саломеи и даже не имел представления об этой почтенной особе, не мог понять, что это за шутки с ним шутят; он спросил, в чем же дело, разве Herr Universitätsmusikdirector Шульц уехал из города? Ему ответили, что он в городе, но где — неизвестно. Кристоф, рассердившись, ушел.

Вернувшись домой с вытянутой физиономией и услышав обо всем происшедшем от Саломеи, старик пришел в отчаяние и чуть не заплакал. Тупоумие служанки, которая посмела уйти в его отсутствие и даже не догадалась попросить соседку задержать Кристофа, вывело его из себя. Саломея ответила не менее резко, что хорош и он: надо же быть таким ротозеем и разминуться с человеком, которого ждешь. Но старик недолго пререкался с Саломеей: не теряя ни минуты, он сбежал с лестницы и пустился разыскивать Кристофа по тому весьма неопределенному следу, который ему указали соседи.

Кристофа обидело, что хозяин не только отсутствовал, но даже не потрудился оставить записки с извинением. Не зная, как скоротать время до поезда, он решил прогуляться по окрестностям, которые показались ему красивыми. Маленький, тихий, спокойный городок приютился среди мягко очерченных холмов; дома, тонувшие в зелени, вишни в цвету, изумрудные лужайки, уютные тенистые уголки, развалины, которые здесь считались древностью, бюсты давно почивших принцесс на мраморных постаментах среди деревьев; спокойные и приветливые лица прохожих. Вокруг города лежали луга, холмы. В расцветшем кустарнике наперебой свистели дрозды — целый концерт смеющихся, звонких флейт. Кристоф сразу повеселел. О Петере Шульце он и думать забыл.

Старик бегал по улицам, тщетно расспрашивая встречных. Он даже взобрался на холм, где высился старый замок, и уже возвращался в полном отчаянии, когда вдруг разглядел своими дальнозоркими глазами лежавшего на лужайке, в тени кустов, человека. Не зная в лицо Кристофа, Шульц не мог решить, он ли это. Незнакомец лежал к нему спиной, зарывшись головой в траву. Шульц, у которого вдруг сильно забилось сердце, стал бродить вокруг лужайки.

«Он... Нет, как будто не он...»

Окликнуть незнакомца он не решался. Вдруг его осенило — он стал напевать первую фразу Lied Кристофа: «Auf! Auf!» (Вставай! Вставай!)

Кристоф вынырнул из травы, как рыба из волн, и громоподобным голосом подхватил куплет. Он повернулся к Шульцу, веселый, раскрасневшийся, с травинками в волосах. Они оба вскрикнули и бегом бросились навстречу друг другу. Шульц перемахнул через канаву, Кристоф — через изгородь. Они обменялись горячим рукопожатием и пошли к дому Шульца, громко смеясь и разговаривая. Старик поведал гостю о своих злоключениях. Кристоф, который за минуту до того решил, что

он уедет немедленно, махнув рукой на Шульца, почувствовал, какая перед ним добрая и чистая душа, и полюбил старика. Еще не дойдя до дому, они успели многое поведать друг другу.

Дома они застали Кунца; узнав, что Шульц отправился разыскивать Кристофа, он спокойно уселся и стал поджидать их. Подали кофе, но Кристоф заявил, что уже позавтракал. Старик расстроился: для него было чуть ли не горем, что Кристофа первым в их городе угостил не он, Шульц,— для его любящего сердца всякая мелочь имела значение. Кристоф все понял и втайне посмеялся. Старик ему нравился все больше; желая утешить его, Кристоф признался, что он вполне может позавтракать дважды, и доказал это с честью.

Все его печали как ветром сдуло: Кристоф почувствовал себя среди искренних друзей, он воскрес. О своей поездке, о своих разочарованиях юноша рассказал в юмористических тонах; он напоминал школьника, которого отпустили на каникулы. Шульц не сводил с Кристофа лучившихся радостью глаз и смеялся от всего сердца.

Вскоре, естественно, заговорили о том, что связывало всех троих невидимой нитью: о музыке Кристофа. Шульц горел желанием послушать пьесы Крафта в исполнении автора, но не смел и заикнуться об этом. Кристоф, беседуя со стариками, ходил взад и вперед по комнате. Шульц провожал его глазами и всякий раз, когда гость приближался к раскрытому роялю, старик молил бога, чтобы Кристоф остановился. То же было на уме и у Кунца. У обоих застучало сердце, когда Кристоф, разговаривая, машинально присел на табурет у рояля и, не глядя на инструмент, прошелся по клавишам. Шульц не ошибся: при первых же случайных аккордах музыка завладела Кристофом. Он еще продолжал болтать, нанизывая звуки, затем сливая их в целые фразы, и вдруг замолчал и весь отдался игре. Обрадованные старики лукаво переглянулись.

— Это вам знакомо? — спросил Кристоф, игравший одну из своих Lieder.

— Еще бы! — восторженно отозвался Шульц.

Кристоф, не прерывая игры, слегка повернул голову:

— Э! Не очень-то он хорош, ваш рояль!

Старик смутился и стал оправдываться.

— Стар,— робко сказал он,— совсем как я.

Кристоф повернулся на табурете, посмотрел на старика, который словно просил прощения за свою старость, и, смеясь, взял его за обе руки. Он заглянул в его детски честные глаза.

— О, вы,— сказал он,— вы моложе меня.

Шульц рассмеялся счастливым смехом и стал рассказывать о своих старческих недугах.

— Ладно, ладно,— прервал его Кристоф,— не об этом речь; я знаю, что говорю. Разве не правда, Кунц?

(Он уже отбросил официальное «Herr» [1].)

Кунц энергично подтвердил.

Шульц заодно попытался замолвить словечко и в защиту своего старого рояля.

— Некоторые ноты звучат прекрасно,— сказал он не совсем уверенно.

Старик притронулся к клавишам: четыре или пять нот в пределах октавы в среднем регистре прозвучали довольно чисто. Кристоф понял, что рояль для Шульца — старый товарищ, и мягко сказал, думая о глазах старика:

— Да, глаза у него прекрасные.

Лицо Шульца просветлело. Он было пустился в славословие в честь дряхлого рояля, но запутался и умолк; Кристоф снова заиграл. Lieder полились одна за другой. Кристоф тихо подпевал себе. Шульц следил повлажневшими глазами за каждым его движением. Кунц, скрестив руки на животе, закрыл глаза, чтобы полнее насладиться игрой. Сияющий Кристоф часто оборачивался к двум старикам, слушавшим его в полном упоении; он говорил с наивным восторгом, который ничуть не казался им смешным:

— А? Разве это не прекрасно?.. А это?.. Как вам нравится?.. А вот это!.. Это лучше всего... А теперь я вам сыграю вещь, которая вознесет вас на седьмое небо...

Он доигрывал какой-то задумчивый финал, как вдруг на стенных часах подняла трезвон кукушка. Кристоф вскочил и закричал от гнева. Кунц, точно спросонок, вращал расширенными от изумления глазами. Шульц сначала ничего не понял. Но при виде Кристофа, который грозил кулаком кланяющейся кукушке и кричал, чтобы отсюда — ради всех святых — унесли прочь эту дуру, это страшилище, эту чревовещательницу, он тоже впервые в жизни почувствовал, что пение кукушки невыносимо. Он схватил стул и попытался влезть на него, чтобы удалить нарушительницу спокойствия, но чуть не упал и, по настоянию Кунца, позвал Саломею. Старушка пришла, по своему обыкновению не торопясь, и совершенно остолбенела, когда ей сунули в руки часы, которые нетерпеливый Кристоф сам сорвал с гвоздя.

---

[1] Господин *(нем.)*.

— Что прикажете с ними делать? — спросила она.

— Что хочешь, то и делай. Убери! Чтобы я их больше не видел! — говорил Шульц так же запальчиво, как и Кристоф.

Теперь он сам не понимал, как можно было так долго терпеть этот ужас.

Саломея решила, что все они спятили.

Кристоф снова сел за рояль. Проходили часы. Саломея доложила, что обед подан. Шульц зашикал на нее. Она вернулась через десять минут, затем еще через десять; на сей раз она была вне себя и вся кипела от гнева, но старалась сохранить невозмутимый вид; став посреди комнаты и будто не замечая отчаянных жестов Шульца, она отчеканила:

— Если господа желают кушать холодный или подгоревший обед, дело ихнее; мне-то все равно: что прикажете, то и буду делать.

Шульц, сконфуженный неожиданной выходкой Саломеи, хотел было напуститься на нее, но Кристоф вдруг расхохотался. К нему присоединился Кунц, а под конец и сам Шульц. Саломея, удовлетворенная эффектом своих слов, удалилась с видом королевы, соизволившей помиловать смиренно повинившихся подданных.

— Молодчага! — сказал Кристоф, поднимаясь.— Она права. Что может быть несноснее публики, которая приходит к середине концерта?

Сели за стол. Обед был сверхобильный и изысканный. Шульц сыграл на самолюбии Саломеи, которая обрадовалась случаю блеснуть своими талантами. Впрочем, случай был не первый. Старики любили поесть. Кунц за столом преображался: он сиял, как солнце, и его физиономия могла бы украсить собой вывеску трактира. Шульц не менее его любил полакомиться вкусной едой, но плохое здоровье требовало воздержания. Правда, он не всегда об этом помнил, за что незамедлительно расплачивался. В таких случаях он никогда не сетовал: легче страдать, когда знаешь за что. Он, как и Кунц, владел старинными поварскими рецептами, которые передавались из поколения в поколение, от отца к сыну. И Саломея привыкла к требовательным вкусам двух знатоков. На сей раз она ухитрилась соединить в одной программе все свои шедевры: это была как бы выставка превосходной прирейнской кухни, честной, без всякого обмана, с ароматами кореньев, жирными соусами, овощами, питательными супами, отличными бульонами, величественными карпами, квашеной капустой, гусями, домашними пи-

рогами, хлебцами с анисом и тмином. Кристоф восторгался, уплетал за обе щеки,— он поглощал всю эту снедь, как людоед: на этом поприще он отличался столь же выдающимися способностями, как его отец и дед, которым нипочем было съесть целого гуся. Но надо сказать, что он так же легко мог неделями обходиться одним хлебом и сыром. Шульц, церемонно вежливый и радушный, смотрел на него умиленным взглядом и без конца потчевал рейнвейном. Таявший от удовольствия Кунц узнавал в нем достойного собрата. Широкая физиономия Саломеи тоже сияла. При появлении Кристофа она было разочаровалась. Шульц так описал его, что ей рисовался чиновный господин с титулами и при орденах. Увидев Кристофа, она разочарованно воскликнула:

— Так это он и есть?

Но за обедом Кристоф заслужил ее расположение. Никто еще так рьяно не воздавал должное ее талантам. И она не ушла в кухню, а осталась стоять у дверей столовой, глядя на Кристофа, который весело шутил и в то же время неутомимо работал челюстями; подбоченившись, она смеялась до упаду. Все веселились от души. Одно лишь темное облачко омрачало их радость: Поттпетшмидт не приехал. Они то и дело вспоминали его:

— Ах! Если бы он был здесь! Вот кто умеет поесть! И выпить! И спеть!

Приятели не скупились на похвалы.

— Если бы Кристоф мог послушать его!.. Но еще не все потеряно. Мы ждем Поттпетшмидта вечером, в крайнем случае — ночью...

— О! Ночью я буду далеко,— сказал Кристоф.

Светившееся радостью лицо Шульца омрачилось.

— Как это далеко?! — сказал он дрожащим голосом.— Ведь вы же не уезжаете?

— Вот именно — уезжаю! — весело отозвался Кристоф.— Вечерним поездом.

Шульц пришел в отчаяние. Он рассчитывал, что Кристоф заночует у него и пробудет не один день. Он бормотал:

— Нет, нет, не может быть!..

Кунц повторял:

— А Поттпетшмидт?!

Кристоф смотрел на обоих: разочарование, которое явно читалось на их открытых, дружеских лицах, тронуло его. Он сказал:

— Какие вы оба милые! Я уеду завтра. Идет?

Шульц схватил его руку.

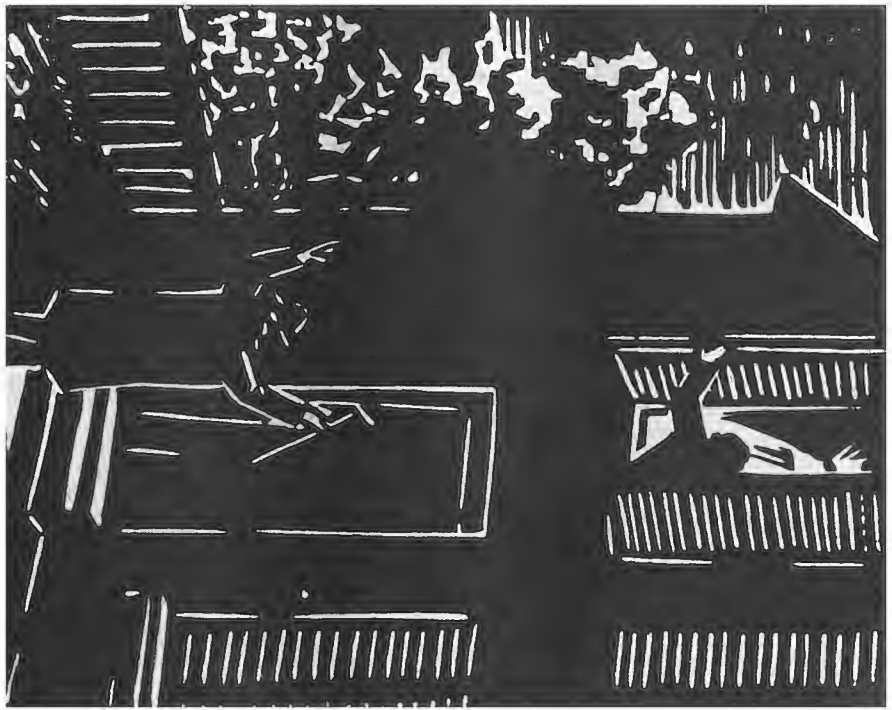
— Ах! — сказал он.— Какое счастье! Спасибо! Спасибо!

Старик радовался, как ребенок, для которого завтра — это так далеко, так далеко, что нет смысла о нем думать. Сегодня Кристоф не уезжает, в их распоряжении целый день, они пробудут весь вечер вместе, юноша переночует под его кровом,— вот все, что видел Шульц; а видеть дальше он не желал.

И веселье продолжалось. Вдруг Шульц торжественно встал и провозгласил взволнованный и высокопарный тост за дорогого гостя, который оказал им высокую честь — осчастливил своим посещением их маленький городок и его, Шульца, скромный дом; он пил за благополучное возвращение Кристофа, за его успехи, за его славу, за все радости мира сего, которых он от чистого сердца желал юноше. Второй бокал был поднят за «благородное искусство — музыку», и еще один за старого друга Кунца, и еще один за весну; не забыт был и Поттпетшмидт. Кунц, со своей стороны, выпил за Шульца и еще за каких-то лиц, а Кристоф, чтобы покончить с тостами, выпил за «почтенную Саломею», которая так и зарделась. И тут же, не оставляя ораторам времени для ответа, запел известную немецкую песенку; старики подтянули. За ней последовала вторая, а затем и третья, на три голоса — о дружбе, музыке и вине. В качестве аккомпанемента звучали взрывы смеха, звенели рюмки: друзья то и дело чокались.

Поднялись из-за стола в половине четвертого, уже несколько осоловевшие. Кунц повалился в кресло — он был не прочь соснуть. У Шульца от утренних похождений и многочисленных тостов подкашивались ноги. Оба они мечтали, чтобы Кристоф снова сел за рояль и играл им еще и еще. Но Кристоф, этот необыкновенный Кристоф, в котором силы так и кипели, взяв три-четыре аккорда, вдруг захлопнул крышку рояля, выглянул в окно и спросил, не пройтись ли им до ужина. Его тянуло за город. Кунц не выказал большого восторга, но Шульц тотчас же подхватил эту превосходную мысль и заявил, что гостю необходимо показать аллею Шенбухвельдер. Кунц слегка поморщился, однако безропотно поднялся вместе со всеми: ему не меньше, чем Шульцу, хотелось хвастнуть перед гостем красотами их края.

Вышли. Кристоф взял Шульца под руку, и старику волей-неволей пришлось прибавить шагу. Кунц шел следом, отирая пот с лица. Они весело болтали. Жители города, стоя у дверей домов, провожали их взглядом и находили, что Herr Profes-



«Жан-Кристоф». Книга четвертая.

sor[1]. Шульц выглядит совсем молодым человеком. Выйдя за город, они пошли лугом. Кунц сетовал на жару. Но безжалостный Кристоф восторгался упоительным воздухом. К счастью для стариков, они поминутно останавливались в пылу спора, и за оживленной беседой забывался трудный путь. Вступили под сень леса. Шульц декламировал стихи Гете и Мёрике. Кристоф очень любил стихи, но плохо запоминал. Слушая их, он обычно погружался в смутные мечты, музыка вытесняла слова, и они забывались. Память Шульца его поражала. А какая живость ума! Как непохож этот немощный, слабый старик, проводивший долгие месяцы в четырех стенах, всю жизнь почти ничего не видевший, кроме своего захолустья, на Гаслера, еще молодого, прославленного, стоящего в самом центре художественной жизни, исколесившего всю Европу во время своих гастролей и ко всему равнодушного, ничего не желающего знать! Шульц не только свободно разбирался во всех явлениях современного искусства, известных Кристофу,— он хорошо знал музыкантов прошлого и иностранных композиторов, о которых Кристоф даже и не слыхал. Память Шульца походила на глубокий бассейн, куда стеклись самые чистые потоки, пролившиеся на землю с небес. Кристоф мог бы век черпать из этого источника; и Шульц был наверху блаженства, видя, как воодушевился Кристоф. Ему и прежде доводилось встречать снисходительных слушателей или ревностных учеников. Но старику всегда не хватало молодого и горячего сердца, с которым он мог бы поделиться своими восторгами, а он задыхался от избытка их.

Все трое уже стали наилучшими друзьями в мире, когда Шульц вдруг допустил невольный промах: он стал восхищаться Брамсом. Это вызвало у Кристофа приступ холодного гнева: он выпустил руку Шульца и резко сказал, что тот, кто любит Брамса, ему не друг. Старики съежились, как от холодного душа. Шульц, слишком застенчивый, чтобы спорить, слишком правдивый, чтобы лгать, хотел объясниться и невнятно забормотал что-то. Но Кристоф остановил его решительным возгласом:

— Довольно!

Наступило ледяное молчание. Прогулка продолжалась. Старики не смели смотреть друг на друга. Кунц, кашлянув, попытался возобновить беседу,— он заговорил о красоте леса, о хорошей погоде, но ему не удавалось втянуть в разговор Кри-

[1] Господин профессор *(нем.)*.

стофа, который дулся и отвечал односложно. Кунц, не встретив отклика с этой стороны, попытался — лишь бы только нарушить молчание — заговорить с Шульцем; но у Шульца перехватило дыхание, и он не в состоянии был вымолвить ни слова. Кристоф, искоса поглядывавший на него, чуть не расхохотался,— он уже отошел. Да он и не сердился всерьез — даже упрекал себя за то, что по-свински огорчил бедного Шульца, но, чувствуя свою власть, не пожелал отступиться от высказанного мнения. Так они и шли молча до опушки леса,— в тишине раздавались лишь шаркающие шаги двух смущенных стариков; Кристоф что-то насвистывал и, казалось, забыл о них. Но выдержки его хватило ненадолго. Разразившись смехом, он обернулся к Шульцу и схватил его за плечи своими сильными руками.

— Милый мой, дорогой Шульц! — воскликнул он, нежно глядя на него.— Как это прекрасно! Как это прекрасно!

Он подразумевал красоту этих мест, счастливо проведенный день, но его смеющиеся глаза говорили: «Ты — хороший. А я — скотина. Прости меня! Я очень тебя люблю!»

Старик Шульц растаял от блаженства, как будто из-за туч вновь выглянуло солнце. Прошло несколько минут, пока он обрел дар речи. Кристоф снова взял его под руку и стал разговаривать с ним как можно ласковее,— в порыве увлечения он еще прибавил шагу, не замечая, что спутник его еле дышит. Шульц не жаловался: от радости он не замечал утомления. Он знал, что за все безумства этого дня придется расплачиваться. Но он думал:

«Ну и пусть! Это будет завтра. Кристоф уже уедет, и я отдохну».

Зато Кунц, натура менее восторженная, порядком отстал от них, и вид у него был довольно жалкий. Кристоф наконец заметил это. Он сконфузился, стал извиняться и предложил полежать на лужайке, в тени тополей. Конечно, Шульц сейчас же согласился, махнув рукой на свой бронхит. К счастью, Кунц был не так забывчив, а может быть, тревога за Шульца была для него только предлогом, чтобы позаботиться о самом себе: он был весь мокрый после прогулки и боялся лежать на росистой траве. Поэтому он предложил сесть на ближайшей станции в поезд и вернуться в город. Так и сделали. Как ни устали старики, пришлось поторапливаться, чтобы поспеть вовремя; они явились на вокзал как раз к приходу поезда.

При их появлении какой-то толстяк стремительно высунулся из окна вагона и выкрикнул имена Шульца и Кунца, при-

совокупив к ним полный перечень их званий и чинов; при этом он, как помешанный, размахивал руками. Шульц и Кунц тоже завопили и замахали руками; они бросились в вагон, но толстяк уже устремился им навстречу, расталкивая публику. Оторопевший Кристоф ринулся вслед за ними, допытываясь на ходу:

— Что случилось?

Старики, ликуя, ответили:

— Это же Поттпетшмидт!

Эта фамилия мало что говорила Кристофу. Тосты, провозглашенные за обедом, уже вылетели у него из головы. Поттпетшмидт на площадке вагона, Шульц и Кунц — на подножке подняли оглушительный шум: они не могли надивиться своей удаче. Когда расселись в купе, Шульц представил гостя. Поттпетшмидт, мгновенно придав своему лицу торжественно-окаменелое выражение, вытянувшись, как столб, отвесил поклон; проделав эту церемонию, он схватил Кристофа за руку, пять-шесть раз тряхнул ее с такой силой, как будто хотел оторвать, и опять принялся вопить. Кристоф с трудом понял, что его новый знакомый благодарит бога и свою счастливую звезду за эту необычайную встречу. Впрочем, он тут же, без всякого перехода, ударил себя по бедрам и проклял свою злосчастную судьбу, удалившую его из города,— это его-то, который вообще никогда не отлучается — и когда же? — в день прибытия господина капельмейстера. Телеграмму Шульца ему вручили только утром, через час после отхода поезда. Когда ее принесли, он еще спал, и его не решились разбудить. За это он все утро разносил служащих гостиницы, да и сейчас еще весь кипел от негодования. И вот он послал к черту своих больных, свои деловые встречи и выехал первым же поездом — так он спешил вернуться; но этот поезд, дьявол его побери, прибыл с опозданием на главную линию, где была пересадка, и Поттпетшмидту пришлось ждать три часа на какой-то станции; он исчерпал весь запас проклятий, какие только были в его словаре, и раз двадцать успел поведать о своих злоключениях пассажирам и станционному сторожу. Наконец он уехал. Он дрожал от страха при мысли, что явится слишком поздно... Но слава богу! Слава богу!

Поттпетшмидт снова взял Кристофа за руки и чуть не раздавил их в своих больших волосатых лапах. Он поражал непомерной толщиной и массивностью: у него была квадратная голова, рыжие, коротко остриженные волосы, бритое, в рябинах лицо, большие глаза, большой нос, большой рот, двойной под-

бородок, короткая шея, необъятной ширины спина, круглое, как бочка, брюхо, растопыренные руки, огромные кисти и ступни. Словом, это была гигантская туша, обезображенная неумеренным поглощением яств и пива, не человек, а котел с приделанной к нему человеческой физиономией,— такого субъекта не встретишь нигде, кроме как на улицах баварских городов, хранящих секрет откорма этой породы людей, подобно тому как существует способ откармливания индюшек. От радости и от зноя он лоснился, точно брусок масла; он сидел, широко расставив ноги и держа руки у себя на коленях или на коленях собеседника, и без устали говорил, выбрасывая слова с силой катапульты. Время от времени он разражался смехом, сотрясавшим все его тело: запрокидывал голову, разверзал рот, хрипел, пыхтел и задыхался. Его смех передавался Шульцу и Кунцу. Когда приступ кончался, они взглядывали на Кристофа, вытирая глаза. Казалось, они спрашивали его:

«Ну? Что скажете? Хорош?»

Кристоф не говорил ничего; он с ужасом думал:

«И вот это чудище поет мои вещи?»

Вернулись к Шульцу. Кристоф пропускал мимо ушей намеки Поттпетшмидта, горевшего желанием петь: он надеялся, что сия чаша минует его. Но Шульцу и Кунцу не терпелось похвастать своим другом — пришлось идти на заклание. Кристоф сел за рояль довольно неохотно, он думал:

«Ах, дружок, если бы ты знал, что тебя ждет: берегись! И не надейся на пощаду».

Кристоф знал, что расстроит Шульца, и это было ему тяжело; тем не менее он твердо решил не допускать, чтобы сэр Джон Фальстаф коверкал его песни. Но Кристофу не пришлось огорчать своего старого друга: у толстяка оказался замечательный голос. После первых же тактов у Кристофа вырвался жест удивления. Шульц, пристально следивший за ним, задрожал: ему показалось, что Кристоф недоволен, и он успокоился, лишь когда увидел, что лицо юноши светлеет с каждой минутой. И сам он засветился отблеском его радости, когда пьеса была окончена и Кристоф, обернувшись, воскликнул, что никто еще так хорошо не исполнял его Lieder. Шульц не скрыл сладостного восторга, несравнимого не только с удовольствием, полученным остальными слушателями, но даже с торжеством исполнителя,— ведь каждый из них радовался лишь за себя, а Шульц еще и за обоих своих друзей. Концерт продолжался. Кристоф был вне себя от удивления: как этот заурядный провинциал, неповоротливый тюлень ухитряется так верно пере-

давать его Lieder?! Конечно, не все их оттенки были воспроизведены точно, но хорошо был передан порыв, страсть, все то, чему Кристоф никогда не мог научить профессиональных певцов. Он смотрел на Поттпетшмидта и спрашивал себя:

«Неужели он в самом деле почувствовал это?»

Но в глазах певца он видел лишь огонь удовлетворенного тщеславия. Какая-то бессознательная сила жила в этой тяжеловесной громаде. Сила слепая и покорная, напоминавшая армию, которая дерется, не зная, против кого и за что. Дух Lieder Кристофа завладевал ею, и она радостно повиновалась: она рвалась к действию, но, предоставленная самой себе, не знала бы, как действовать.

Кристоф подумал, что в дни сотворения мира великий ваятель не очень-то утруждал себя, составляя из разрозненных частей намеченные им вчерне создания, и что подбирал он эти части наспех, не беспокоясь о том, подойдут ли они друг к другу, составят ли единое целое. Каждый оказался слепленным из самых разнообразных кусков, один человек был рассеян в пятишести различных людях: мозг — у одного, сердце — у другого, тело, которое гармонировало бы с этой душой,— у третьего; инструмент оказывался в одних руках, а мастер вовсе без инструмента. Некоторые — как чудесные скрипки, обреченные годами лежать в футляре, за отсутствием музыканта. А истинным музыкантам приходится всю жизнь довольствоваться жалкими деревяшками. Кристофу ли было не знать этого? Сколько раз он, взбешенный, отходил от рояля, не будучи в состоянии правильно спеть и страницы из своих произведений. Он пел фальшиво и не мог без ужаса слушать себя.

Тем временем Поттпетшмидт, упоенный своим успехом, начал исполнять Lieder Кристофа «с выражением». Другими словами, он давал им собственное толкование. Кристоф, разумеется, не нашел, что его музыка от этого выигрывает, и насупился. Шульц это заметил. Старик, лишенный критической жилки и слепо преклонявшийся перед своими друзьями, никогда бы не посмел признаться себе в том, что у Поттпетшмидта дурной вкус. Но он так полюбил Кристофа, что улавливал тончайшие оттенки его мысли: он существовал уже не сам по себе, а в Кристофе, и его тоже покоробила напыщенность Поттпетшмидта. Он попытался удержать своего приятеля, вступившего на опасный путь. Но унять Поттпетшмидта было нелегко. Исчерпав все песни Кристофа, разошедшийся певец взялся было за стряпню посредственных композиторов, от одного имени которых юный гость весь ощетинивался, как дикобраз, и Шуль-

цу пришлось приложить героические усилия, чтобы избавить Кристофа от этого сомнительного удовольствия.

К счастью, друзей позвали ужинать, и Поттпетшмидт угомонился. Перед ним открылась новая арена, на которой он мог блеснуть. Здесь он не знал соперников; и Кристоф, уже несколько уставший от утренних подвигов, даже не пытался затмить его.

Так проходил вечер. Сидя вокруг стола, три старых приятеля не спускали глаз с Кристофа; они упивались каждым его словом. У Кристофа было какое-то странное чувство: непонятно, почему он здесь, в этом глухом городке, и сидит в кругу стариков, которых никогда раньше не видел, но с которыми сблизился теснее, чем со своими родными. Он думал о том, какое счастье для художника знать, что где-то в мире рассеяны неведомые друзья и спутники его мысли,— как это согревает сердце, приумножает силы... Но чаще всего бывает иначе: человек живет одиноким и одиноким умирает, и чем больше художнику есть что сказать, чем острее потребность высказаться, тем больше страх обнаружить свои подлинные чувства. Нетрудно говорить тому, кто расточает пошлые любезности. Тот же, кто любит искренне, лишь с трудом заставляет себя разжать зубы и сказать о своей любви. Так будем вдвойне благодарны людям, которые осмеливаются говорить: они помимо своего ведома становятся соратниками того, кто творит. Кристоф проникся благодарностью к Шульцу. Он не смешивал его с двумя другими стариками: он понимал, что Шульц — душа этой маленькой группы друзей; двое других светят отраженным светом, исходящим от этого живого очага любви и доброты. Дружеские же чувства Кунца и Поттпетшмидта к Кристофу происходили из совершенно другого источника. Кунц был эгоист: музыка давала ему приятные ощущения, как жирному коту прикосновение ласковой руки. Поттпетшмидт искал в музыке удовлетворения своему самолюбию, и она являлась для него даже какой-то приятной гимнастикой. Ни тот, ни другой не старались понять Кристофа. Шульц же совершенно забывал о себе: он любил.

Было уже поздно. Гости ушли. Кристоф остался наедине с Шульцем. Он сказал ему:

— Теперь я буду играть только для вас.

Он сел за рояль и начал играть, как он умел играть для тех, кто ему дорог. Он исполнял свои новые вещи. Старик блаженствовал. Сидя возле Кристофа, он не отрывал от него глаз и сдерживал дыхание. Добрая душа, он неспособен был хранить радость для себя одного и все повторял:

— Ах! Какая жалость, что здесь нет Кунца!

(Признаться, это несколько раздражало Кристофа.)

Прошел час; Кристоф все играл; оба не проронили ни слова. Кристоф кончил, но молчание не прерывалось. Стояла немая тишина: дом, улица спали. Кристоф обернулся и увидел, что старик плачет; он встал, подошел к нему и обнял. Они тихонько заговорили, стараясь не нарушить спокойствия ночи. Из смежной комнаты доносилось приглушенное расстоянием тиканье стенных часов. Шульц говорил почти шепотом, сцепив руки, наклонившись всем телом вперед; он рассказывал Кристофу, в ответ на его расспросы, о своей жизни, о своих невзгодах; но ему было стыдно, что он жалуется, ему хотелось сказать:

«Нет, я не прав... Мне не на что жаловаться... Все были очень добры ко мне...»

Да он и не жаловался, но скупой рассказ о его одинокой жизни вызывал невольную горечь. В самых печальных местах старик окрашивал свою повесть в тона какого-то расплывчатого и сентиментального идеализма, который раздражал Кристофа, но который было бы жестоко разрушать. Старик не столько верил, сколько страстно желал верить — смутно надеялся и отчаянно цеплялся за свои надежды. Он искал сочувствия во взгляде Кристофа. Кристоф прочел этот призыв в глазах друга, которые смотрели на него с трогательным доверием, молили, сами подсказывали ответ. И юноша произнес слова, проникнутые спокойной верой и силой, которых ждал от него Шульц и которые подействовали на него благотворно. Старый и молодой забыли о разделявших их годах,— это были братья и сверстники, согретые взаимной любовью и поддержкой; более слабый искал опоры у более сильного; старик искал прибежища в душе юноши.

Они разошлись уже за полночь. Кристоф собирался подняться рано, чтобы поспеть на тот самый поезд, которым приехал. Поэтому он быстро разделся. Старик так заботливо убрал комнату своего гостя, как будто Кристофу предстояло жить в ней месяцы. На столик он поставил вазу с розами и ветку лавра. Письменный стол украсил новым бюваром. Еще утром распорядился внести в комнату пианино. Из своих книг старик отобрал самые дорогие ему и расставил их на полочке у изголовья кровати. Каждую мелочь он любовно продумал. Но это был потерянный труд: Кристоф ничего не заметил — он бросился на постель и тотчас же заснул как убитый.

Шульц не спал. Он перебирал одну за другой все радостные минуты дня и заранее страдал при мысли об отъезде друга. Он еще раз пересказал себе все, о чем они говорили; он думал о том, что совсем близко, за стеной, у которой стоит его постель, спит милый Кристоф. Шульц был разбит усталостью, изнурен, он чувствовал, что простудился во время прогулки и что новый приступ уже не далек, но на уме у него было одно:

«Лишь бы дотянуть до его отъезда!»

И старик дрожал при мысли, что с ним сделается приступ кашля и Кристоф проснется. Он был полон благодарности к богу и стал перекладывать на стихи гимн старца Симеона «Nunc dimittis». Весь в испарине, он поднялся, чтобы записать стихи, и просидел за столом до тех пор, пока не переписал их начисто, вместе с посвящением, в котором выразил всю свою любовь; затем поставил подпись, дату, даже час. И опять лег, но его знобило, и он никак не мог согреться до самого утра.

Забрезжило утро. Шульц с сожалением думал о вчерашнем рассвете. Но он корил себя за то, что отравляет такими мыслями последние оставшиеся ему мгновения; он знал, что завтра будет жалеть о часах, улетающих так быстро, и решил не терять ни одной минуты. Старик прислушивался, не раздастся ли в соседней комнате шорох. Но ничего не было слышно. Кристоф как лег, так и проспал всю ночь, не шелохнувшись. Часы пробили половину седьмого, а он все не просыпался. Проще всего было бы не будить его — пусть бы проспал поезд; он только посмеялся бы над этим. Но совесть не позволяла Шульцу распоряжаться другом помимо его воли. И напрасно он убеждал себя:

«Ведь вина будет не моя. Я тут ни при чем. Не разбужу его — и все. Он проспит, и я смогу провести с ним целый день».

Но он тут же возразил себе:

«Нет, я не имею права».

И Шульц счел своим долгом разбудить Кристофа. Он постучал в дверь. Кристоф не сразу ответил. Пришлось постучать еще раз. Огорченный старик думал:

«Ах, как он сладко спит! Он бы не проснулся до полудня!..»

Наконец за стеной раздался веселый голос Кристофа. Узнав, что уже поздно, юноша ахнул, послышался шум, быстрые шаги; Кристоф торопливо одевался, что-то напевал, дружески переговаривался с Шульцем через стену, дурачился. Старик невольно смеялся, несмотря на все свое огорчение. Дверь от-

крылась: на пороге показался Кристоф, свежий, обновленный отдыхом, сияющий; о горе Шульца он и не думал. Надо сказать, что особых причин торопиться не было; он ничего не потерял бы, оставшись дня на два, на три, а как обрадовался бы Шульц! Но Кристофу это не пришло в голову. Как ни приятен был ему старик, он рад был уехать: его утомил целый день бесконечных разговоров, утомили люди, цеплявшиеся за него в безнадежной жажде любви. Ведь он-то был молод, и ему представлялось, что еще будет время свидеться,— не на край же света он уезжает! А старик знал, что очень скоро он будет куда дальше, чем на краю света, и, глядя на Кристофа, старался наглядеться на целую вечность.

Несмотря на ужасную усталость, Шульц проводил Кристофа на вокзал. Моросил бесшумный холодный мелкий дождик. На вокзале Кристоф, открыв кошелек, увидел, что у него не хватает денег на обратный проезд. Он понимал, что Шульц с радостью даст ему взаймы недостающую сумму, но постеснялся просить... Почему? Почему лишать человека, который любит вас, возможности и счастья оказать вам услугу?.. Но Кристоф не захотел — из скромности, а быть может, из самолюбия. Он купил билет до одной из промежуточных станций, рассчитывая пройти остаток пути пешком.

Настала минута прощания. Кристоф стоял на подножке вагона. Они обнялись. Шульц тихонько вложил в руку Кристофа стихотворение, написанное ночью. Он стоял на перроне у окна купе. Оба не знали, о чем говорить, как это часто бывает при затянувшемся расставании, но глаза Шульца говорили за него,— он вглядывался в лицо Кристофа, пока поезд не тронулся.

Вот вагон уже скрылся за поворотом. Шульц снова остался один. Он отправился домой по грязному шоссе, с трудом волоча ноги; вдруг он почувствовал усталость, холод, печаль ненастного дня. Старик едва добрался до дому, едва осилил лестницу. Как только он вошел в спальню, начался приступ удушья и кашля. На помощь явилась Саломея. Шульц твердил, стараясь подавить раздиравший грудь кашель:

— Какое счастье!.. Какое счастье, что я дотянул до его отъезда!

Ему стало очень плохо. Он лег. Саломея побежала за врачом. Как только старик очутился в постели, все его тело обмякло. Он не в силах был шевельнуться, только грудь ходила ходуном, как кузнечные мехи. Отяжелевшая голова пылала. Весь день он перебирал, минута за минутой, все, что было на-

кануне. От этих воспоминаний было больно, но он не позволял себе жаловаться — ведь судьба послала ему нечаянное счастье. И, сложив руки, чувствуя, как от молитвы ширится сердце, Шульц возносил благодарность богу.

Кристоф возвращался домой; день, проведенный с Шульцем, любовь, которую он заронил в сердце старика, вернули Кристофу веру в свои силы. На станции, до которой был взят билет, он вышел и весело пустился в путь. Ему предстояло пройти пешком километров шестьдесят. Он не торопился и шагал беспечно, как школьник. Стоял апрель. Но весна еще не вошла в полную силу. На концах черных веток раскрывали свои сморщенные ладошки нежные листья; кое-где уже расцвели яблони, а вдоль изгородей улыбались хрупкие цветы шиповника. Над голыми лесами, едва покрытыми легким светло-зеленым пухом, на вершине невысокой горы, как шлем поверженного недруга на острие копья, высился старинный романский замок. В нежно-голубом небе дымились темные тучи. Тени бежали по весенней земле; проходил короткий и сильный дождь, а потом снова выглядывало солнце, пели птицы.

Кристоф вдруг поймал себя на том, что вот уже несколько минут думает о дяде Готфриде. Давно не вспоминал он беднягу, и он старался понять, почему именно теперь так упорно льнет к нему это воспоминание; шагая по аллее, окаймленной тополями, вдоль горевшего на солнце канала, он ни на минуту не переставал думать о нем. Образ Готфрида неотступно преследовал его, и вдруг ему показалось, что старик вот-вот выйдет навстречу из-за высокой стены.

Небо заволокло тучами. Пошел проливной дождь с градом, заворчал гром. Невдалеке виднелась деревня; среди зелени мелькали дома, с розовыми фасадами и красными крышами. Он прибавил шагу и укрылся под навесом крайнего дома. Крупные градины звенели по черепице и отскакивали от мокрой мостовой. По колеям неслись ручьи. Над цветущими садами радуга протянула по сизым облакам свою дикарски пеструю перевязь.

На пороге дома стояла и вязала чулок девушка. Она приветливо предложила Кристофу войти. Он последовал за ней. Комната, в которую его провели, служила одновременно и кухней, и столовой, и спальней. В глубине над огнем висел котелок. Крестьянка, чистившая овощи, поздоровалась с Кристофом и позвала его к огню обсушиться. Девушка пошла за бутылкой вина и подала гостю стакан. Усевшись по другую сторону сто-

ла, она продолжала вязать, время от времени покрикивая на расшалившихся детей — а те старались уколоть друг друга в шею острыми стебельками травы, которые в деревне называют «ворами» или «трубочистиками». Она заговорила с Кристофом. Он не сразу заметил, что его собеседница — слепая. Она не отличалась красотой. Это была крепкая, румяная девушка, белозубая, с сильными руками, но черты ее улыбающегося лица были неправильны и, как у многих слепых, невыразительны; она усвоила привычку, тоже характерную для слепых, говорить о вещах и людях так, будто она их видит. Когда девушка сказала Кристофу, что он отлично выглядит и что поля сегодня на редкость красивы, он в первую минуту опешил и подумал, что она смеется над ним. Но, переводя взгляд со слепой на старуху, чистившую овощи, он убедился, что слова девушки никого не удивили. Женщины дружелюбно расспрашивали Кристофа, откуда он, по какой дороге пришел. Слепая вмешивалась в разговор с несколько неестественной живостью, подтверждая или дополняя замечания Кристофа о том, что он видел в пути. Разумеется, она сплошь и рядом попадала впросак. Казалось, она хотела внушить себе, что видит не хуже других.

Вошли остальные члены семьи — могучего сложения крестьянин лет тридцати и его молодая жена. Кристоф поддерживал разговор со всеми, поглядывая на очищавшееся от туч небо и соображая, скоро ли можно будет пуститься в путь. Слепая напевала песенку, быстро работая спицами. Мотив показался Кристофу знакомым.

— Как! Вы знаете эту песенку? — заметил он.

(Когда-то он слышал ее от Готфрида.)

И Кристоф вполголоса подхватил куплет. Слепая рассмеялась. Теперь она начинала, а Кристоф шутки ради подхватывал. Наконец он поднялся, желая взглянуть, не перестал ли дождь, и, пересекая комнату, машинально обвел ее взглядом. Вдруг он заметил в углу возле шкафа с посудой что-то, от чего невольно вздрогнул: то была длинная изогнутая палка, ручку которой украшала грубая резьба. Она изображала согнувшегося в поклоне человечка. Кристофу эта палка была хорошо знакома: ребенком он играл ею. Он схватил ее и взволнованно спросил:

— Откуда вы... откуда она у вас?

Крестьянин посмотрел и сказал:

— От друга, старого друга, он уже умер.

Кристоф крикнул:

— От Готфрида?

Все повернулись к нему и в один голос спросили:

— Откуда вы знаете?

Когда Кристоф сказал, что Готфрид приходился ему дядей, все взволновались. Слепая поднялась. Клубок шерсти покатился по полу; наступив на вязанье, она схватила Кристофа за руки и спросила:

— Значит, вы его племянник?

Все заговорили разом. Кристоф, в свою очередь, спрашивал:

— А вы... вы-то откуда его знаете?

Крестьянин сказал:

— Он умер тут, у нас.

Все опять уселись; когда волнение улеглось, старуха, не прерывая работы, рассказала, что Готфрид стал бывать у них много лет назад; во время своих скитаний он всегда останавливался здесь, а на обратном пути опять заходил к ним. В последний свой приход (это было в июле прошлого года) он еле добрался до них; снял с плеч короб и несколько минут сидел молча, не в силах выговорить ни слова; никто не обратил на это внимания, все знали, что ему трудно бывает отдышаться после долгого перехода. Готфрид не жаловался. Он никогда не жаловался,— говорил, что нет худа без добра. Если работа была тяжела, он радовался при мысли, что вечером будет приятно улечься в постель, а болея, думал о том, как радостно выздоравливать...

— Это неправильно — быть всегда довольным,— прибавила старушка.— Раз ты не жалуешься, то и другие тебя не жалеют. Я, например, всегда жалуюсь...

Так в этот вечер никто и не присмотрелся к Готфриду. Даже говорили в шутку, что он совсем молодцом, а Модеста (так звали слепую), которая подошла, чтобы снять с него короб, спросила, до каких же пор он будет бегать по деревням, словно какой-нибудь юнец. Он только улыбался в ответ — говорить он был не в силах. Готфрид присел на скамье возле двери. Все взялись за свои дела: мужчины отправились в поле; мать занялась стряпней. Модеста подошла поближе: прислонившись к дверям, она вязала и разговаривала с Готфридом. Он не откликался, но она и не ждала ответа — она рассказывала ему обо всем, что произошло за время его отсутствия. Старику дышалось трудно, и Модеста слышала, как он силится что-то выговорить. Но она и тут не встревожилась.

— Не разговаривай,— сказала она.— Отдыхай. Потом поговоришь... До чего ты стал уставать!..

Старик замолчал. А Модеста, думая, что он ее слушает, продолжала свой рассказ. Вдруг он вздохнул — и затих. Когда

мать немного спустя подошла к ним, Модеста все еще говорила, а Готфрид неподвижно сидел на скамье, запрокинув голову и глядя в небо: уже несколько минут Модеста беседовала с мертвецом. Тогда только она поняла, что в свои последние предсмертные минуты бедняга пытался что-то сказать, но у него не хватило сил; он покорился и, грустно улыбаясь, закрыл глаза, овеянный миром и спокойствием летнего вечера...

Дождь перестал. Невестка отправилась в сарай; сын взял заступ и пошел расчищать забитую грязью канаву возле дома. Модеста исчезла в ту минуту, когда мать начала свой рассказ. Кристоф остался в комнате наедине с матерью и, потрясенный всем слышанным, молчал. Словоохотливой старухе было невмоготу долго молчать, и она поведала гостю всю историю своего знакомства с Готфридом. Давняя это была история. Когда она была молодой девушкой, Готфрид полюбил ее. Признаться ей он не смел. Пошли намеки, шутки. Она тоже посмеивалась над ним, как и все (так уж повелось всюду, где он появлялся). И все-таки Готфрид каждый год возвращался к ним. Он принимал как должное и то, что над ним смеялись, и то, что она не отвечала на его любовь, и то, что вышла за другого и была с ним счастлива. Она была слишком счастлива, она слишком хвалилась своим счастьем, и на нее обрушилось горе. Скоропостижно умер муж. Затем дочь, пригожая, сильная, цветущая девушка, на которую они не могли нарадоваться и которая должна была выйти замуж за сына самого богатого крестьянина во всей округе, неожиданно ослепла от несчастного случая. Однажды она взбиралась на высокую грушу за домом, чтобы снять плоды; лестница соскользнула, и, когда девушка падала, обломившийся сучок сильно хлестнул ее по глазу. Все думали, что она отделается шрамом, но у нее начались непрерывные головные боли, она стала терять зрение — сначала в одном глазу, потом в другом. Как ее ни лечили, все было напрасно. Конечно, брак расстроился; жених сбежал без всяких объяснений, и из всех молодых людей, которые еще месяц назад готовы были убить друг друга за один тур вальса с Модестой, никто не решился (да это и понятно) взвалить на себя такую обузу, как увечная жена. Тогда Модеста, эта беспечная, задорная хохотушка, впала в такое отчаяние, что стала призывать смерть. Она отказывалась принимать пищу, с утра до вечера проливала слезы, а по ночам громко рыдала в постели. Не знали, как и подступиться к ней. Что было делать? Горевать вместе с ней? Но от этого она плакала еще горше. Наконец она извела всех своими жа-

лобами; ей стали выговаривать, а она отвечала, что бросится в канал. Иногда приходил священник; он говорил ей о боге, о вечной жизни, о заслугах, которые зачтутся ей на том свете, если она будет терпеливо сносить свои страдания, но это ее ничуть не утешало. И вот однажды явился Готфрид. Модеста никогда не обращалась с ним особенно ласково. Она была не злая девушка, но важничала, в голове у нее гулял ветер; она любила посмеяться и порой коварно подшутить над стариком. Когда Готфрид узнал о свалившейся на Модесту беде, он очень расстроился, но и вида не показал. Старик уселся возле девушки и, ни словом не поминая о происшедшем, стал спокойно с ней разговаривать, как, бывало, прежде. Он не причитал над ней, как прочие; казалось, он даже не замечает ее слепоты. Но старик никогда не заводил речи о вещах, которые Модеста уже не могла видеть, а говорил лишь о том, что она могла слышать или замечать, несмотря на слепоту. У него это выходило просто, само собой, как будто он тоже не видел. Сперва она не слушала — и все плакала, но на следующий день стала прислушиваться к его словам и даже отвечала ему.

— Не знаю,— продолжала старушка,— что он мог ей сказать. У нас был сенокос, и мне было не до нее. Но вечером, вернувшись с поля, мы застали ее совсем спокойной. И с тех пор ей с каждым днем становилось легче. Она вроде бы совсем забыла о своем убожестве. А потом вдруг все начиналось сызнова: она плакала или заговаривала с Готфридом о своей горькой судьбе, он же, будто не расслышав, спокойно продолжал рассказывать о том, что могло унять ее боль, что было ей интересно слушать. Старик уговорил наконец Модесту выйти погулять,— с тех пор как с ней стряслась беда, она ни за что не хотела выходить из дому. Он сперва заставил ее пройтись по саду, потом стал совершать с ней более далекие прогулки в поля. Вот она и научилась находить дорогу без посторонней помощи и узнавать, что делается вокруг,— совсем как зрячая. Модеста замечает даже такие вещи, на которые мы не обращаем внимания: до всего ей дело, а ведь раньше девушка, кроме себя самой, ни о чем не думала. В этот приход Готфрид оставался у нас дольше, чем всегда. Мы-то не осмеливались просить его погостить еще, но он сам пробыл у нас до тех пор, пока не увидел, что Модеста совсем успокоилась. И вот однажды — Модеста была во дворе — я услышала ее смех. Не могу вам даже передать, что я почувствовала. И Готфрид тоже обрадовался. Он сидел возле меня. Мы взглянули друг на друга, и скажу вам, не стыдясь, что я от всего сердца поцеловала его. А он говорит:

«Теперь мне как будто можно уйти. Я уже не нужен».

Я старалась задержать его, но он ответил:

«Нет. Мне пора уходить. Больше оставаться я не могу».

Всем нам было известно, что он как Вечный Жид: нигде не может поселиться надолго. И мы не стали его удерживать. Он ушел, но с тех пор старался, когда только мог, завернуть в наши места; и каждый его приход был радостью для Модесты. Она чувствовала себя все лучше. Снова принялась хозяйничать; брат ее женился, и она взяла на себя заботу о его детях. Теперь мы никогда не слышим от нее жалоб, и по всему видно, что она довольна. Я часто думаю: была ли бы она счастливее при двух глазах! Право же, иной раз думаешь — уж лучше ослепнуть и не видеть подлых дел и скверных людишек. Испортился народ, все пошло к худшему. Но я боюсь, как бы не прогневить бога: чем ослепнуть, уж лучше видеть свет, как он ни плох.

Вошла Модеста, и мать перевела разговор на другой предмет. Кристоф собрался было идти, так как уже распогодилось, но его не пускали. Пришлось остаться поужинать и заночевать у новых знакомых. Модеста села рядом с Кристофом и весь вечер не отходила от него. Ему хотелось поговорить по душам с девушкой, судьба которой внушала ему глубокую жалость. Но повода для откровенной беседы не находилось. Модеста расспрашивала о Готфриде. Если Кристоф рассказывал о нем что-нибудь новое для нее, она и радовалась, и как будто ревновала. Сама она говорила о Готфриде словно против воли: чувствовалось, что она многое таит про себя — скажет несколько слов и раскается; эти воспоминания стали ее собственностью, она не любила делиться ими с кем бы то ни было. В свое чувство к Готфриду она вкладывала жадность крестьянки, привязанной к своему клочку земли: ее огорчала мысль, что Готфрид может быть кому-нибудь столь же дорог, как ей. Впрочем, она даже и мысли такой не допускала, а Кристоф, читавший в ее душе, не отнимал у нее этой радости. Слушая ее речи о Готфриде, он подметил, что девушка, относившаяся к старику свысока, ослепнув, создала себе новый, далекий от действительности образ; на этот призрак она перенесла всю свою потребность в любви. И до сих пор ничто не нарушило ее иллюзий. С бесстрашной самоуверенностью слепых, спокойно сочиняющих то, чего они не знают, она заявила Кристофу:

— Вы на него похожи.

Он понял, что в последние годы она как бы обжилась в доме с закрытыми ставнями, куда не проникала правда жизни. А теперь, когда она научилась видеть в объявшем ее мраке и не замечать этого мрака, она, быть может, даже страшилась луча правды, который мог бы вторгнуться в ее новый мир. В разговоре с Кристофом она воскрешала десятки ничтожных мелочей, улыбаясь и роняя бессвязные, сбивавшие его с толку фразы. Кристофа раздражал этот лепет: он не мог постичь, как она не повзрослела, пройдя через такие страдания, и может пробавляться пустяками; напрасно заговаривал он с нею о более серьезных вещах — отклика не было. Модеста не могла или не желала следовать за ним.

Наконец улеглись спать. Но Кристоф долго лежал без сна. Он думал о Готфриде, он старался воссоздать его образ из младенчески наивных воспоминаний Модесты. Это стоило ему немалых усилий, от которых лишь росла его досада. Печаль охватила Кристофа при мысли, что дядя скончался здесь, что его тело покоилось вот на этой постели. Юноша старался почувствовать смертельную тоску последних мгновений Готфрида, когда он смежил веки, готовясь к смерти, не в силах ни сказать хоть слово, ни объясниться со слепой. Как хотелось бы ему приподнять веки старика и прочесть мысли, скрывавшиеся за ними, разгадать загадку этой души, которая исчезла, не понятая никем, даже самим Готфридом. Мудрость ее и состояла в том, чтобы не гнаться за мудростью, никому и ничему не навязывать своей воли, а отдаться течению жизни, принять ее и любить. Только поэтому его душа и могла постигать таинственную сущность жизни; и если общение с Готфридом было таким благотворным для слепой, для Кристофа и для многих, Кристофу не известных, то лишь потому, что вместо обычных слов, выражающих бунт человека против природы, он нес с собой спокойствие природы, примирение с природой. От него исходила какая-то благодатная сила, как от полей и лесов. Кристоф воскрешал в памяти вечера, проведенные с дядей за городом, их совместные прогулки в годы детства, рассказы и песни по ночам. Вспомнилась ему и последняя их беседа тоскливым зимним утром, на холме, у подножия которого лежал город; и слезы застлали ему глаза. Ему не хотелось спать; не хотелось терять ни одной минуты этого священного бдения в глухой деревушке, где жила душа Готфрида и куда он, Кристоф, случайно забрел. Но, убаюканный прерывистым шумом родника и пронзительным писком летучих мышей, Кристоф уснул здоровым, необоримым сном юности.

Когда он проснулся, сияло солнце; все на ферме уже взялись за работу. Внизу он застал только старуху и детей. Молодой крестьянин с женой были в поле, а Модеста отправилась доить коров; ее искали, но не нашли. Кристоф не стал дожидаться молодой девушки,— он не так уж жаждал повидать ее и, сославшись на недосуг, ушел. На прощанье он попросил старуху передать всем привет.

За околицей, на повороте дороги, Кристоф увидел слепую, сидевшую на откосе у заросшей боярышником изгороди. Заслышав его шаги, она поднялась, подошла к нему и, взяв за руку, произнесла с улыбкой:

— Идемте.

Они дошли лугами до маленькой цветущей поляны, по которой были разбросаны кресты. Девушка привела гостя к могильной насыпи и сказала:

— Он здесь.

Оба опустились на колени. Кристоф вспомнил о другой могиле, у которой он стоял, преклонив колени вместе с Готфридом, и подумал:

«Скоро и моя очередь».

Но ни тени печали не было сейчас в этой мысли. Земля дышала покоем. Кристоф, приникнув к могиле, беззвучно взывал к Готфриду:

«Войди в меня!..»

Модеста, сложив руки, молилась, неприметно шевеля губами. Кончив молиться, она на коленях проползла вокруг могилы, ощупью перебирая стебли трав и цветы,— будто ласкала их; ее умные пальцы видели: они бережно выдергивали мертвые стебли плюща и засохшие фиалки. Затем она встала и оперлась на плиту. Кристоф заметил, что пальцы ее бегло прошлись по буквам, составлявшим имя Готфрида. Она сказала:

— Какая добрая нынче земля.

Модеста протянула руку юноше, он дал ей свою, и девушка провела его ладонью по сырой нагретой земле. Он держал ее руку, и их сплетенные пальцы ушли в мягкую землю. Кристоф обнял Модесту. Она поцеловала его в губы.

Они встали с колен. Модеста подала Кристофу букетик собранных ею свежих фиалок, а завядшие спрятала за корсаж. Отряхнув пыль с колен, они покинули кладбище в полном молчании. В полях пели жаворонки. Вокруг носились в танце белые бабочки. Молодые люди уселись на лугу. Дым над крышами деревенских домов вертикально подымался в

омытое дождем небо. Среди тополей блестела на солнце неподвижная гладь канала. Над лугами и лесами стлалась легкая, как пух, пелена голубоватого света.

Оба молчали. Наконец Модеста тихо заговорила о том, как хорош день, будто она его видела. Полуоткрыв рот, она впитывала в себя воздух и чутко ловила голоса живых существ. Кристофу тоже была понятна вся прелесть этой музыки, и он выразил словами то, что думала, не умея высказать, слепая. Он определил происхождение некоторых звуков и еле уловимых шелестов, раздававшихся здесь, в траве, и высоко в небе. Она сказала:

— А! Значит, и вы разбираетесь в них?

Он ответил, что этому его научил Готфрид.

— И вас? — отозвалась она чуть ли не с горечью.

Ему хотелось сказать ей:

«Зачем же ревновать!»

Но он увидел божественный свет, ласкавший все вокруг, заглянул в ее мертвые глаза, и его пронизала жалость.

— И вас он тоже научил? — спросил Кристоф.

Модеста ответила, что да и что теперь она наслаждается этим больше, чем до... (Она не сказала до чего, она избегала произносить слово «слепота».)

Оба молчали. Кристоф смотрел на нее с глубоким состраданием. Девушка ощутила на себе этот взгляд. Ему хотелось сказать, как он жалеет ее, хотелось, чтобы она пожаловалась, доверилась ему. Он мягко спросил:

— Вам было очень тяжко?

Модеста молчала, вся сжавшись. Она срывала травинки и покусывала их. Через несколько минут (песня жаворонка взвилась в небо) Кристоф стал рассказывать, что он тоже очень страдал и что Готфрид помог ему... Он говорил о своих невзгодах и треволнениях, как бы размышляя вслух. И лицо слепой, внимательно слушавшей его, светлело. Кристоф видел, что она порывается заговорить: она подалась вперед и протянула ему руку. Он сделал движение ей навстречу, но девушка снова замкнулась в своем бесстрастном молчании и, когда он кончил, отозвалась на его слова лишь двумя-тремя незначительными фразами. За ее выпуклым, без единой морщинки, лбом угадывалось каменное упрямство крестьянки. Она сказала, что ей нужно вернуться,— дома ее ждут племянники; она говорила о них со спокойной улыбкой. Кристоф спросил:

— Вы счастливы?

Вопрос Кристофа заставил ее действительно поверить в свое счастье. Она ответила утвердительно и стала пространно объяснять, как много дано ей для счастья; она пыталась уверить в этом Кристофа; она говорила о детях, о доме...

— Да,— повторила Модеста,— я очень счастлива!

Она поднялась, а вслед за нею поднялся и Кристоф. Они попрощались весело и равнодушно. Рука Модесты чуть-чуть дрожала в ладони Кристофа. Девушка промолвила:

— Вам приятно будет идти в такую хорошую погоду.

И объяснила ему, куда повернуть, дойдя до перекрестка, чтобы не сбиться с дороги.

Они расстались. Кристоф сбежал с холма. Внизу он обернулся. Модеста стояла все на том же гребне; она махала платком и делала ему какие-то знаки, будто видела его.

Было что-то героическое и смешное в этом упрямом отрицании своего несчастья, трогавшем и удручавшем Кристофа. Он признавал, что Модеста достойна сочувствия и даже восхищения, но прожить возле нее хотя бы два дня было бы выше его сил. Шагая по дороге между цветущими изгородями, он вспомнил и милого старого Шульца, вспомнил его ясные и нежные глаза, которые видели столько горя и не желали видеть, не видели оскорбительной действительности.

«А каков я в его глазах? — думал Кристоф.— Ведь я так не похож на того, каким кажусь ему. Я для него таков, каким он хочет меня видеть. Он все создает по своему образу и подобию, все представляется ему чистым и благородным, как он сам. И не мог бы он вынести жизнь, если бы видел ее, как она есть».

Он думал об этой девушке, которая жила во мраке, отрицала этот мрак и сплилась поверить, что то, чего нет,— есть, а того, что есть,— того нет.

И Кристоф понял величие немецкого идеализма, который так часто вызывал в нем ненависть, ибо для посредственных душ это источник ханжества и глупости. Он понял, что в этой вере, которая создает себе свой мир, отделенный от реальности, как островок в океане,— есть своя красота. Но для себя он не принимал этой веры, он отказывался искать прибежища на этом острове мертвых... Жизни! Правды! Не желает он быть героем, который лжет. Слабым душам эта оптимистическая ложь, может быть, нужна, чтобы жить; и Кристоф счел бы преступлением отнять у этих несчастных спасительную иллюзию. Но для себя он отвергал подобные уловки: лучше умереть, чем жить иллюзиями... А разве искусство не та же иллюзия?

Нет, во всяком случае, не должно быть ею! Правды! Правды! Широко открыв глаза, вдыхать всеми порами могучее дыхание жизни, видеть вещи, как они есть, смотреть в лицо своим бедам — и смеяться.

. . . . . .

Пробежало еще несколько месяцев. Кристоф потерял надежду вырваться из своего города. Единственный, кто мог бы его спасти, Гаслер, не пожелал поддержать его, а дружба старого Шульца была ему дарована лишь для того, чтобы тотчас же лишиться ее.

Вернувшись домой, Кристоф написал Шульцу — и получил от него два пламенных послания, но какая-то усталость, а главное, невозможность выразить свои мысли на бумаге, помешала ему поблагодарить Шульца за его чудесные слова,— он оттягивал ответ со дня на день. Когда же Кристоф решился наконец написать, он получил от Кунца несколько слов с известием о кончине его старого друга. Кунц сообщал, что у Шульца был приступ бронхита, осложнившийся воспалением легких; старик запретил беспокоить Кристофа, о котором говорил беспрестанно. Крайняя слабость и тяжелая болезнь не избавили его от мук долгого умирания. Шульц поручил Кунцу уведомить о своей смерти Кристофа и передать, что он мысленно был с ним до последнего часа, что он благодарит его за то счастье, которым обязан своему юному другу, что его благословение всегда будет с Кристофом. Но Кунц умолчал о том, что, по всей вероятности, день, проведенный с Кристофом, был причиной обострения болезни и смерти Шульца.

Кристоф молча плакал, он только тогда понял, как много потерял в лице своего друга и как он любил его; он страдал, как всегда, оттого, что не сумел открыться полнее и лучше. Но было уже поздно. А что теперь осталось у него? Милый Шульц вошел в его жизнь лишь для того, чтобы с его уходом пустота стала еще более пустой. Что касается Кунца и Поттпетшмидта, он дорожил ими лишь в меру дружбы, которую они питали к Шульцу, а Шульц — к ним. Кристоф написал им, и на этом их связь оборвалась. Он сделал попытку списаться с Модестой, но получил от нее ничем не примечательное письмо, где говорилось о самых безразличных вещах. Он отказался продолжать этот диалог. Теперь он никому не писал, и никто не писал ему.

Молчание. Молчание. Оно навалилось на Кристофа тяжелой плитой. Оно засыпало его пеплом. Казалось, уже близок вечер,

а ведь Кристоф еще только-только начал жить! Он не желал покоряться! Час сна еще не наступил. Жить!..

А жить в Германии Кристоф уже не мог. Он так настрадался в захолустной духоте маленького городка, где погибал его талант, что стал даже несправедлив. Нервы его были напряжены, и малейший укол превращался в рану. Так мучатся несчастные звери, погибающие от тоски в неволе, в загонах и клетках Stadtgarten (городского сада). Кристоф из сочувствия иногда приходил взглянуть на них; он всматривался в их прекрасные глаза, в которых горел, с каждым днем потухая, огонь ярости и отчаяния. Ах! Уж лучше жестокая освободительница — пуля! Все, что угодно, только не это свирепое равнодушие людей, которые не дают им ни жить, ни умереть!

Но сильнее всего удручала Кристофа не вражда окружающих, а непостоянство их натуры, бесформенность и пустота их душевного мира. Уж лучше ожесточенное упрямство той твердолобой и ограниченной людской породы, которая отказывается признавать всякую новую идею! Против силы можно действовать силой — киркой и динамитом, от которого взлетают на воздух скалы. Но что делать с бесформенной массой, которая поддается, как кисель, малейшему нажиму и даже не сохраняет отпечатка? Все мысли, вся сила — все исчезает, как в пучине; разве только от упавшего камня чуть подернется рябью поверхность. Пасть откроется, сомкнется — и прощай все живое!

Какие это враги?! Уж лучше бы они были врагами! Эти люди не имели силы для любви или ненависти, веры или неверия — ни в религии, ни в искусстве, ни в политике, ни в обыденной жизни; вся их энергия расходовалась на попытки примирить непримиримое. Со времени германских побед они всячески старались создать компромисс, отвратительное месиво из новой силы и старых принципов. Они не отрекались от былого идеализма — для этого понадобилась бы искренность, на которую они не были способны; они лишь фальсифицировали его, чтобы подчинить немецким интересам. Подобно безмятежному и двойственному Гегелю, ожидавшему лишь Лейпцига и Ватерлоо, чтобы приспособить свою философию к идее прусского государства, все меняли свои убеждения, по мере того как изменялись интересы. Когда немцев били, они уверяли, что идеалом для Германии является человечность. Теперь, когда немцы побили других, они стали доказывать, что Германия и есть образец человечности. Когда перевес был на стороне других отечеств, они утверждали вместе с Лессингом, что «любовь к отечеству есть героическая слабость, без которой легко можно обойтись». Они

именовали себя «гражданами мира». Теперь, после победы, они всячески выражали свое презрение к утопиям «на французский манер», вроде всеобщего мира, братства, мирного прогресса, прав человека, естественного равенства; они говорили, что у наиболее могущественного народа есть абсолютное право по отношению к другим народам, а эти последние, будучи более слабыми, бесправны перед Германией. Она — живой бог, олицетворенная идея, развитие которой осуществляется на путях войны, насилия, гнета. Сила — Сила с большой буквы — теперь, когда она была на стороне Германии, стала священной. Силу превратили в образец идеализма, образец разума.

Правду говоря, Германия так страдала целые столетия от наличия идеализма и отсутствия силы, что после всех испытаний ей позволительно было сделать невеселое признание: превыше всего — Сила. Но сколько тайной горечи в этом признании народа Гердера и Гете! Эта победа Германии — увы! — означала отступничество от германского идеала, посрамление его... И немцы с невероятной легкостью отреклись от идеала в силу прискорбной склонности, присущей даже лучшим из них,— склонности к подчинению.

«Характерная особенность немца,— сказал Мозер уже более столетия назад,— это послушание».

А госпожа де Сталь говорила:

«Они титаны послушания. Они прибегают к философским доводам, чтобы объяснить то, что не имеет ничего общего с философией: уважение к силе и размягчающее действие страха, под влиянием коего уважение это перерастает в восторг».

Кристоф обнаруживал это чувство у всех немцев, великих и малых, начиная с шиллеровского Вильгельма Телля, этого степенного мелкого буржуа, здоровенного, как грузчик, который, по выражению свободомыслящего еврея Берне, «проходит мимо столба «дорогого господина» Геслера с опущенными долу глазами, в надежде примирить честь со страхом и оправдаться тем, что, раз он не видел шляпы, значит, не ослушался» — и кончая уважаемым профессором Вейссе, семидесятилетним старцем, одним из самых высокочтимых ученых их города, который, завидев «господина лейтенанта», торопливо сбегает с тротуара на мостовую, чтобы уступить ему дорогу. У Кристофа закипала кровь при виде этих повседневных проявлений раболепства. Он терзался так, как будто унизили его самого. Надменная повадка офицеров, с которыми он сталкивался на улице, их наглая чопорность вызывали у него глухой гнев: он не скрывал своего нежелания уступать им дорогу и, проходя мимо, отвечал им та-

ким же надменным взглядом. Не раз, казалось, он был на волосок от беды; он как будто сам напрашивался на нее. А между тем он прекрасно понимал всю опасность и бесцельность подобных выходок; но на него находили минуты затмения: узда, в которой он вечно держал себя, накопленные, не находившие себе выхода силы доводили его до бешенства. Тогда он способен был на любые безумства, и ему казалось, что если он останется здесь еще хоть год, то погибнет. Он ненавидел удушливую атмосферу грубого милитаризма, бряцанье сабель о мостовую, составленные в козлы ружья, пушки, выстроившиеся перед казармами, с нацеленными на город жерлами. В то время вышло несколько нашумевших романов, рисовавших испорченные нравы гарнизонов; офицеры изображались в них какими-то злодеями, которые за пределами службы, превратившей их в автоматов и бездельников, умели лишь пить, играть, занимать деньги, жить на иждивении других, злобно сплетничать и на всех ступенях служебной лестницы, сверху донизу, злоупотребляли своей властью над подчиненными. При одной лишь мысли, что настанет день, когда он сам вынужден будет повиноваться таким офицерам, Кристоф задыхался. Он не в силах, нет, он никогда не в силах будет нести это ярмо, обесчестить себя в собственных глазах, мириться с унижением и несправедливостью. Он не знал, что некоторые из этих военных умеют проявить истинное нравственное величие, не знал, как много они выстрадали сами, сколько было утеряно надежд, сколько растрачено впустую сил, молодости, чести, веры, сколько страстной жажды самоотречения; не знал, как они тяготятся бессмысленностью своей службы, которая превращается,— если это просто служба, а не самоотверженное служение,— в мрачную возню, нелепый парад, обряд без веры в то, что делаешь...

Родины уже было недостаточно для Кристофа. Он ощущал в себе ту неведомую силу, которая в определенное время года пробуждается у птиц, внезапно и неодолимо, подобно приливу и отливу,— инстинкт великих перелетов. Читая книги Гердера и Фихте, оставленные ему старым Шульцем, он видел, что они проникнуты тем же духом — это не «дети земли», рабски к ней прикованные, а «дети солнца», тянущиеся к свету.

Куда он направится? Он и сам не знал. Но взгляд его устремился к латинскому югу Европы. И прежде всего к Франции. Франция — извечное прибежище смятенных германских душ. Как часто немецкая мысль обогащалась за счет Франции, не переставая ее поносить. Даже после семидесятого года, какую мощную притягательную силу излучал горящий город, город-

мученик, взятый на прицел немецкими пушками. Все формы мышления и искусства, самые революционные и самые косные, черпали здесь, каждая в свой черед, а порой одновременно, пример для подражания и вдохновения. Кристоф, как многие великие немецкие музыканты, в своем смятении тянулся к Парижу. К чему сводились его знания о Франции? К двум женским образам и к тому, что он вычитал в нескольких случайно подвернувшихся книгах. Но этого было достаточно, чтобы создать в своем воображении страну — источник света, веселья и задора, пусть даже с легкой примесью галльского бахвальства: ведь там, где молодость и отвага, оно не кажется неуместным. Он верил в свою мечту, ибо нуждался в этой вере и всей душой желал не обмануться.

Кристоф решил уехать. Но его удерживала мысль о матери. Луиза старилась. Она обожала сына, свою единственную радость. Да и Кристофу мать была дороже всех на свете. И все же они мучили друг друга. Она не понимала и не очень-то стремилась понять сына; одна лишь была у нее забота: любить его. Луиза, при своем весьма ограниченном, робком, неразвитом уме, была одарена чудесным сердцем — она жаждала любить и быть любимой, что трогало, но подчас и стесняло. Луиза относилась к сыну с уважением, так как он представлялся ей очень ученым, но она делала все, чтобы задушить его талант. Она надеялась, что он на всю жизнь останется возле нее, в их городке. Долгие годы они прожили вместе, и она не могла даже вообразить, что они рано или поздно расстанутся. Ведь она здесь счастлива — почему бы не быть счастливым и ему? Найти ему в жены дочь какого-нибудь состоятельного горожанина, слушать по воскресеньям в церкви его игру на органе, а главное, не разлучаться с ним до конца дней своих — дальше этого ее мечты не шли. Она видела в Кристофе двенадцатилетнего мальчика, и ей хотелось, чтобы он так и остался ее маленьким мальчиком. В простоте душевной она заставляла страдать несчастного юношу, а он метался в своей тесной клетке.

Все же была своя правда и даже нравственное величие в этой безотчетной мудрости матери, для которой не существовало честолюбивых замыслов и все счастье которой заключалось в семейных привязанностях и в выполнении своего скромного долга. Эта душа жаждала любви, только любви. Лучше отрешиться от жизни, от разума, от логики, от мира, но только не от любви! И любовь эта была беспредельна, она умоляла, она

требовала; она все отдавала и взамен хотела всего; она отрекалась от жизни и ждала такого же отречения от других, от любимых. О, какая сила таится в этой любви простых душ! Она безошибочно и сразу выводит их на ту дорогу, которую лишь ощупью, ценою колебаний находит разум гениев, подобных Толстому, или слишком утонченное искусство угасающей цивилизации,— дорогу, обретаемую в итоге целой жизни, целых веков отчаянной борьбы и мучительных усилий!.. Но гордая сила, бушевавшая в душе Кристофа, подчинялась иным законам и требовала иной мудрости.

Кристоф давно уже собирался объявить свое решение матери. Но он дрожал, предчувствуя, что причинит ей горе: всякий раз в последнюю минуту у него не хватало духу, и он все откладывал этот разговор. Два-три раза он нерешительно, намеками, заговаривал о своем отъезде. Луиза пропускала эти намеки мимо ушей,— может быть, она умышленно не принимала их всерьез, надеясь, что он и сам перестанет верить в серьезность своих замыслов. И Кристоф не смел продолжать, но ходил мрачный, подавленный, словно его глодала тяжелая тайна. А несчастная женщина, угадывая эту тайну, делала робкие попытки отсрочить хоть на время откровенный разговор. По вечерам, когда они сидели рядом при свете лампы, ей вдруг начинало казаться, что он вот-вот нарушит молчание, тогда она в страхе принималась быстро рассказывать что-нибудь — первое, что приходило в голову; она и сама не знала что́ — лишь бы только не заговорил Кристоф. Инстинкт подсказывал ей обычно те доводы, на которые Кристоф не смел возражать. Она робко жаловалась на здоровье, на то, что у нее отекают руки и ноги, не сгибаются суставы,— она преувеличивала свои немощи и называла себя развалиной, калекой. Кристоф без труда разгадывал эти наивные уловки; он грустно, с безмолвным упреком подымал глаза на мать; а затем уходил к себе, говоря, что устал и хочет спать.

Но подобные приемы не могли выручать Луизу долго. Однажды вечером, когда она снова пыталась уклониться от решительного разговора, Кристоф собрался с духом и, взяв ее за руку, произнес:

— Мама, я должен тебе что-то сказать.

Луиза вся сжалась, но она улыбнулась и спросила:

— Что такое, мой мальчик?

Кристоф, сбиваясь и путаясь, сказал ей о своем намерении уехать. Она попыталась, по обыкновению, отделаться шуткой и заговорила о другом, но он не отступил и высказал все так твердо и серьезно, что всякие сомнения отпали. И Луиза за-

молчала, сердце ее замерло,— немая и застывшая, она смотрела на сына полными ужаса глазами. И такая боль была в этом взгляде, что слова застряли у Кристофа в глотке; оба молча сидели друг против друга. Отдышавшись, Луиза сказала (губы ее дрожали):

— Нет, не может быть... Не может быть...

Две крупные слезы медленно ползли по ее щекам. Кристоф в отчаянии отвернулся и закрыл лицо руками. Оба заплакали. Через несколько минут он ушел в свою комнату и больше не показывался. С тех пор они ни словом не касались происшедшего; Луиза пыталась истолковать это молчание как уступку со стороны Кристофа. Но жила отныне в вечном страхе.

Наступила минута, когда Кристоф почувствовал, что молчать больше нельзя. Надо было говорить, хотя бы это разбило ей сердце,— уж слишком он страдал. Эгоизм взял верх: собственная мука оказалась сильнее, чем мысль о муке, им причиняемой. И он опять завел речь об отъезде; он сказал все, стараясь не смотреть на мать из боязни смалодушничать. Кристоф даже назначил день отъезда, чтобы больше не возвращаться к разговору. (Он не был уверен, что еще раз найдет в себе печальное мужество, которого набрался сегодня.) Луиза кричала:

— Нет, нет, молчи!

Кристоф, стискивая кулаки, продолжал с непреклонной решимостью. Кончив, он взял ее руки в свои (Луиза рыдала) и попытался объяснить ей, что отъезд, хотя бы на некоторое время, насущно необходим для его творчества, для всей его жизни. Мать ничего не желала слушать и с плачем твердила только:

— Нет, нет!.. Ни за что!..

Все попытки Кристофа уговорить Луизу ни к чему не привели, и он оставил ее в покое, надеясь, что за ночь она образумится. Но когда они наутро встретились за столом, Кристоф снова неумолимо заговорил о своих планах; мать уронила кусок хлеба, который поднесла было ко рту, и промолвила с болью и укоризной:

— Зачем ты меня мучаешь?

Взволнованный Кристоф ответил:

— Мама, дорогая, так нужно.

— Нет, нет же! — повторяла она.— Не нужно... ты просто хочешь помучить меня... Это же безумие!

Оба хотели высказать каждый свое, но не слушали друг друга. Кристоф понял, что спорить нет смысла, что промедление сулит им лишь новые страдания; и стал, уже не таясь, готовиться к отъезду.

Когда Луиза убедилась, что мольбами сына не удержишь, она впала в унылое оцепенение. С утра до ночи безвыходно сидела в своей комнате, не зажигая даже огня при наступлении темноты, не говорила, не ела; ночью Кристоф слышал ее рыдания. Сердце его разрывалось. Снедаемый раскаянием, он чуть не стонал от муки, всю ночь ворочался с боку на бок, не смыкая глаз. Он так любил мать! Зачем ему суждено мучить ее?.. Увы! не ее последнюю, он знал это... Зачем судьба вложила в него жажду и волю следовать своему призванию и тем обрекла на страдания его близких и любимых!

«Ах! — думал он.— Будь я свободен! Если бы только меня не гнала вечно эта неумолимая сила, это стремление либо стать тем, чем я должен стать, либо умереть от стыда и отвращения к самому себе! Сколько бы счастья я дал всем, кого люблю! Так предоставьте же мне идти своим путем, жить, бороться, страдать; и я вернусь к вам с еще большей любовью в сердце. Как хотел бы я отдаться только одному: любить, любить, любить!..»

Кристоф не в силах был бы вынести укоров этой отчаявшейся души, если бы Луиза таила их про себя. Но малодушная и словоохотливая старушка не умела скрывать переполнявшую ее скорбь. Она поведала свое горе соседкам. Она излила душу перед двумя другими сыновьями. Те ухватились за столь прекрасный повод унизить Кристофа и выразить ему свое порицание. И особенно Рудольф: его всегда снедала зависть к старшему брату — зависть, просто бессмысленная при данных обстоятельствах; его выводила из себя малейшая похвала по адресу Кристофа; втайне он боялся будущей славы брата, не смея сознаться себе в этой подленькой мысли (он был достаточно умен, чтобы чувствовать силу таланта, и опасался, как бы ее не почувствовали и другие),— словом, Рудольф был счастлив раздавить Кристофа своим превосходством. Сам он, отлично зная, как нуждается мать, никогда о ней не беспокоился, заботу о ней он всецело предоставил Кристофу, хотя имел все возможности помогать ей. Но когда Рудольф узнал о планах Кристофа, он вдруг открыл в себе неистощимые запасы сыновней любви и нежности. Он вознегодовал на Кристофа, который решается покинуть мать, кричал, что это чудовищный эгоизм. Он имел наглость сказать об этом в глаза Кристофу и стал читать ему свысока нравоучение, как мальчишке, заслуживающему розог, бесстыдно напоминая о его долге по отношению к матери, о всех жертвах, которые она ему принесла. Кристоф чуть не задохнулся от ярости. Он пинками выгнал вон Рудольфа, обозвав его шутом и чертовым лицемером. В отместку Рудольф восстановил

Луизу против Кристофа. Подстрекаемая им, Луиза вдруг решила, что Кристоф плохой сын. Со всех сторон ей толковали, что он не имеет права покидать ее, и она ухватилась за эту мысль. Теперь она действовала не только слезами — своим самым сильным оружием,— она набросилась на Кристофа с несправедливыми упреками, которые взорвали его. Они наговорили друг другу много обидного; и вот Кристоф, который все еще колебался, стал думать лишь об одном: как бы ускорить приготовления к отъезду. Он узнал, что жалостливые соседки проливают слезы над участью его несчастной матери и что во всем их квартале общественное мнение объявило Луизу жертвой, а ее сына — палачом. Он стиснул зубы и твердо решил не уступать.

Время шло. Кристоф и Луиза почти не разговаривали. Им бы наслаждаться этими последними днями совместной жизни, наслаждаться каждой минутой, а эти два любящих существа расточали время на бесплодные размолвки, которые — увы! — слишком часто подрывают самые нежные привязанности. Встречались они только за столом; сидели друг против друга молча, не поднимая глаз, и через силу глотали пищу — не столько для того, чтобы есть, сколько для порядка. Кристоф с трудом выдавливал из себя два-три слова, но Луиза не отвечала; а когда она, в свою очередь, пыталась завязать разговор, молчал он. Это становилось невыносимо для обоих; и чем дальше, тем труднее было им пересилить себя. Неужели они так и расстанутся? Луиза наконец спохватилась, что она несправедлива, но взялась за дело неловко: она так сильно мучилась, что уж и не знала, как вернуть доверие сына, которого считала потерянным для себя, как помешать разлуке, о которой старалась даже не думать. Кристоф тайком всматривался в посеревшее, распухшее от слез лицо матери и терзался жестокими угрызениями совести; но он твердо решил уехать и, зная, что на карту поставлена вся его жизнь, испытывал лишь трусливое желание поскорее очутиться в пути, бежать от этих мук.

Отъезд был назначен на послезавтра. Только что окончилась одна из их грустных встреч за столом. После ужина, за которым оба не проронили ни слова, Кристоф удалился в свою комнату; он сидел за письменным столом, закрыв лицо руками, не в силах чем-либо заняться, и молча страдал. Было уже поздно — около часу ночи. Вдруг в смежной комнате раздался шум — упал опрокинутый стул. Дверь распахнулась, и мать, в одной рубашке, босая, с рыданием бросилась к нему на шею. Она вся горела, как в лихорадке, целовала сына и восклицала посреди отчаянных всхлипываний:

— Не уезжай! Не уезжай! Умоляю тебя, умоляю! Мой маленький, останься!.. Я умру!.. Я не могу, не могу этого вынести!..

Ошеломленный и испуганный, Кристоф целовал ее, повторяя:

— Мамочка, дорогая, успокойся, прошу тебя!

Но она продолжала:

— Не вынесу я этого... Ты же теперь у меня один. Если ты уедешь, что со мной станется? Я умру, если ты уедешь. Я не хочу умереть без тебя. Не хочу умереть одна-одинешенька. Хоть дождись, пока я умру!

У него разрывалось сердце. Он не знал, что сказать, как утешить ее. Что значили любые доводы перед этой бурей любви и страдания! Он посадил ее к себе на колени, старался успокоить поцелуями и ласковыми словами. Луиза постепенно утихла и только слабо всхлипывала. Когда она немного пришла в себя, он сказал:

— Пойди ложись: ты простудишься.

Она повторила:

— Не уезжай!

Он тихо сказал:

— Я не уеду.

Она задрожала и схватила его за руку.

— Это правда? — спросила она.— Правда?

Кристоф в изнеможении отвернулся.

— Завтра,— ответил он,— завтра скажу... Оставь меня, прошу!..

Мать послушно поднялась и ушла к себе.

На следующее утро она уже стыдилась этого бурного отчаяния, которое овладело ею среди ночи, точно приступ безумия; она с трепетом думала о том, что скажет ей сын. Усевшись в уголке, она ждала его. Чтобы не думать, Луиза взялась за вязание, но руки не слушались ее, и клубок упал на пол. Вошел Кристоф. Они почти шепотом, не глядя друг на друга, поздоровались. Он остановился, нахмурившись, подле окна, повернулся спиной к матери и стоял, не говоря ни слова. В его душе шла борьба, и, заранее предчувствуя ее исход, он медлил. Луиза не смела обратиться к нему, страшась получить ответ, которого ждала. Она заставила себя вязать, но ничего не видела, и петли ложились вкривь и вкось. Начался дождь. После долгого молчания Кристоф подошел к матери. Она даже не пошевелилась, только сильнее застучало сердце. Кристоф смотрел на нее, не двигаясь, и вдруг упал на колени, зарылся головой в ее платье и молча заплакал. Она поняла, что он остается, и смертельная

тоска отпустила ее сердце, но тотчас же в него вошли муки раскаяния: она чувствовала, какую жертву приносит ей сын, и теперь переживала те страдания, которыми терзался Кристоф, когда собирался принести в жертву ее. Она склонилась к сыну, жадно целуя его лоб и волосы. Оба плакали, оба болели одной болью. Наконец Кристоф поднял голову, и Луиза, притянув к себе его лицо, заглянула ему в глаза. Ей хотелось сказать:

«Уезжай!»

Но она не могла.

Ему хотелось сказать:

«Я рад, что остаюсь».

Но он не мог.

И выхода не было. Ни он, ни она ничего не могли изменить. В порыве мучительной неясности она произнесла со вздохом:

— Ах! Если б можно было вместе родиться и вместе умереть!

Эта наивная мольба вызвала у Кристофа прилив нежности; он отер слезы и, через силу улыбнувшись, сказал:

— Мы умрем вместе.

Она спросила еще раз:

— Значит, теперь ты уже не уедешь? Ты твердо решил?

Он поднялся с колен.

— Ведь я же сказал, и не будем к этому возвращаться. Я не переменю решения.

Свое обещание Кристоф сдержал: он не заводил речи об отъезде, однако не думать о нем было выше его сил. Он остался, но его жертва дорого стоила матери, которая с тех пор всегда видела его печальным и хмурым. Луиза все делала не к месту и, хотя знала за собой эту слабость, досаждала ему расспросами о причинах его горя, которые были ей совершенно ясны. Она преследовала его своей лихорадочной, утомительной, болтливой нежностью, напоминая ему то, о чем он хотел забыть,— разделявшее их расстояние. Сколько раз он порывался откровенно поговорить с матерью! Но при первой же попытке между ними вырастала глухая стена, и он утаивал про себя свои мысли. Она угадывала, что́ с ним происходит, но не смела или не умела вызвать его на откровенность. А когда она все-таки отваживалась, дело кончалось тем, что он еще глубже запрятывал свои тайны, как ни жгли они его самого.

Тысячи мелочей, невинных слабостей отделяли Кристофа от Луизы, раздражали его. По старческой забывчивости она нередко повторяла по нескольку раз одно и то же. Она с восторгом пересказывала сплетни, слышанные от соседок, а главное, не

уставала вспоминать всякие пустячки из младенческих лет Кристофа с упорством кормилицы, которой не хочется верить, что питомец ее давно уже не в колыбели. Столько кладешь трудов, чтобы повзрослеть, стать человеком! А тут перед тобой — точно назло — развертывают, подобно кормилице Джульетты, измаранные пеленки, жалкие мыслишки, повесть о той злосчастной поре, когда рождающаяся душа трепещет и бьется, защищаясь от жестокого гнета низменной материи, от окружающего мира!

Однако наряду с этим у Луизы бывали порывы трогательной нежности, когда она видела в сыне просто свое малое дитя; Кристофа покоряла эта ласка, и он отвечал на нее, как малое дитя.

Но, что хуже всего, они с утра до вечера оставались вместе, всегда вместе, отрезанные от других людей. Когда страдают двое и не могут помочь друг другу, страдание неизбежно становится невыносимым: каждый считает другого виновником своего горя, и в конце концов оба утверждаются в этом мнении. Уж лучше быть одному, тогда и страдаешь за одного себя.

Эта пытка повторялась изо дня в день. Ей не было бы конца, если бы, как всегда, не выручил случай — случай на первый взгляд несчастный, но по своим последствиям счастливый,— который сразу же вывел их из томившей обоих нерешительности.

Октябрь. Воскресенье. Четыре часа дня. Солнце сияет. Кристоф с утра заперся у себя в комнате. «Упиваясь тоской», он погрузился в свои мысли.

Наконец он не выдержал, его неодолимо потянуло на воздух, побродить, устать до изнеможения,— лишь бы не думать.

Накануне у него произошла размолвка с матерью. Поэтому он вышел, не простившись с ней. Но, закрыв за собою дверь, почувствовал, какую боль это причинит ей, как тоскливо ей будет в одиночестве. Он вернулся, стараясь уверить себя, будто что-то забыл. Дверь в комнату Луизы была приоткрыта. Кристоф просунул голову в щель. Несколько секунд он смотрел на мать: какое место этим секундам суждено было занять в его жизни!

Луиза только что пришла из церкви. Она сидела на своем любимом месте, в углу у окна. Грязно-белая, облупленная стена противоположного дома заслоняла вид, но направо Луиза видела из своего уголка через дворы соседних домов краешек лужайки величиной с ладонь. На подоконнике стояли горшки с вьюнками; вьюнки карабкались вверх по веревочкам, раскидывая по этой воздушной лесенке тоненькую сетку, позолоченную солнцем.

Луиза устроилась на низком табурете; она сидела сутулившись, с раскрытой толстой Библией на коленях, но не читала. Положив на книгу руки — руки труженицы со вспухшими венами и квадратными, слегка загнутыми книзу ногтями,— она любовалась чахлым растением и лоскутом неба, синевшим сквозь сетку вьюнков. Отблеск солнца, пройдя сквозь золотисто-зеленую листву, ложился на ее усталое лицо с проступавшими на нем красными прожилками, на седые, редкие, очень тонкие волосы и полуоткрытый улыбающийся рот. Она упивалась этим часом покоя, лучшим за всю неделю. Она старалась не упустить этих минут забытья, особенно сладостных для вечных тружеников, когда мысли куда-то уходят, а в немой полудреме только слышен голос наполовину уснувшего сердца.

— Мама,— сказал Кристоф,— мне хочется пройтись. Я пойду в сторону Буйра, вернусь поздно.

Дремавшая Луиза встрепенулась. Повернув голову к сыну, она взглянула на него своим мягким, спокойным взглядом.

— Иди, мальчик,— сказала она,— день погожий, надо погулять.

Она улыбнулась. Он ответил ей улыбкой. Несколько мгновений они смотрели друг на друга, затем молча попрощались еле заметным кивком головы и взглядом.

Кристоф тихо закрыл дверь. Луиза не спеша вернулась к своим грезам, которые словно посветлели от улыбки сына,— как бледные листья вьюнков под лучом солнца.

Так он покинул ее — навсегда.

Октябрьский вечер. Бледное, нежаркое солнце. Деревня тихо засыпает. С маленьких деревенских колоколен плывет над безмолвными полями ленивый перезвон. Над пашнями медленно поднимается пар. Вдалеке колышется прозрачная дымка. Белые туманы, прильнувшие к земле, ждут ночи, чтобы подняться. На свекловичном поле петляет охотничья собака, не отрывая морды от следа. В сером небе суетливо носится стая ворон.

Кристоф, погруженный в свои мечты, хотя и шел как будто без цели, все же инстинктивно направлялся к определенной цели. Уже несколько недель он каждую свою прогулку заканчивал, сам того не замечая, у околицы какой-то деревни, где неизменно встречал приглянувшуюся ему красивую девушку. Это было только увлечение, смутное, но острое. Кристоф не мог обходиться без любви к кому-нибудь; сердце его редко оставалось незанятым, в нем всегда царил чей-то прекрасный образ, кото-

рому он поклонялся. И вовсе не обязательно было, чтобы кумир знал о любви Кристофа,— ему важно было любить, чтобы сердцем не завладел мрак.

Предметом его нового увлечения была дочь крестьянина, которую он встретил, как Елеазар Ревекку, возле источника; но она не подала ему напиться,— она брызнула ему водой в лицо. Девушка стояла на коленях и проворно полоскала белье в ручье, примостившись в углублении между двумя ивами, как бы в гнездышке из сплетенных корней; языком она молотила не менее рьяно, чем руками, громко разговаривая и пересмеиваясь с деревенскими девушками, которые тоже стирали по другую сторону ручья. Кристоф расположился неподалеку на траве, в нескольких шагах, и смотрел на них, опершись подбородком на руки. Это нисколько не смущало девушек, они продолжали болтать, уснащая свою речь крепкими словечками. Кристоф слушал — не слова, а только звуки веселых голосов, шум вальков и далекое мычание стада; погруженный в мечты, он не сводил глаз с прекрасной прачки. Девушки быстро смекнули, на кого он заглядывается; они стали перебрасываться лукавыми намеками, его избранница не отставала от прочих,— Кристоф не отзывался; девушка встала, взяла узел отстиранного и отжатого белья и начала расстилать его на кустах, подходя все ближе и ближе к Кристофу, чтобы получше его рассмотреть. Мимоходом она ухитрилась задеть его мокрой простыней и, смеясь, задорно поглядела на него. У девушки — крепкой и худощавой — был твердый, слегка выступающий подбородок, короткий нос, правильно очерченные брови, блестящие синие глаза, жесткий, смелый взгляд, красивый рот с полными, немного пухлыми, выступающими вперед, как на греческих масках, губами, густые светлые волосы, свернутые узлом на затылке, и смуглая от загара кожа. Голову она держала высоко, смеялась при каждом слове и шагала, как мужчина, размахивая позолоченными солнцем руками. Девушка развешивала белье и, дерзко поглядывая на Кристофа, как бы вызывала его на разговор. Кристоф, в свою очередь, разглядывал ее, но беседовать с ней у него не было охоты. Наконец она фыркнула ему прямо в лицо и отошла к подругам. Кристоф не двинулся с места; он лежал, пока не спустились сумерки. Он видел, как она удалялась с корзиной за плечами: скрестив на груди обнаженные руки, согнувшись под ношей, она продолжала болтать и смеяться.

Через несколько дней Кристоф встретил ее на городском рынке, среди гор моркови, помидоров, огурцов и капусты. Он слонялся между рядами торговок, которые стояли у своих кор-

зин шеренгами, как выстроенные на продажу рабыни. Полицейский, с сумкой и рулоном квитанций, переходя от одной к другой, получал монету и выдавал расписку. Продавщица кофе сновала между рядами с корзиной, наполненной маленькими кофейниками. Старая монахиня, веселая и тучная, обходила рынок, держа два больших лукошка, и, забыв про смирение, бойко выпрашивала овощи во имя божие. Все галдели; старые весы с зелеными чашами звякали цепями; большие собаки, запряженные в тележки, весело лаяли, гордые доверием хозяев. Среди этой сутолоки Кристоф вдруг увидел свою Ревекку. Звали ее Лорхен. Девушка прикрыла свои светлые волосы большим зеленовато-белым капустным листом, точно зазубренной каской. Восседая на корзине среди груд золотого лука, маленькой желтовато-розовой репы, зеленой фасоли и румяных фруктов, она уписывала яблоко за яблоком и ничуть не заботилась, есть ли у нее покупатели. Ела она не переставая. Время от времени Лорхен отирала подбородок и шею передником, откидывала волосы, терла себе щеку о плечо или почесывала нос тыльной стороной руки. Или же, опустив руки на колени, без конца перебрасывала из ладони в ладонь горсть горошка. Она лениво поглядывала кругом, но подмечала все, что происходит, и, не показывая виду, ловила обращенные на нее взгляды. Кристофа она тотчас же узнала. Разговаривая с покупателем, Лорхен как-то по-особенному прищурилась и следила через голову собеседника за своим поклонником. Она держалась важно, с достоинством, как папа римский, но про себя посмеивалась над Кристофом. И юноша заслуживал этого: он стоял, как столб, в нескольких шагах, пожирая ее взглядом, а затем исчез, не промолвив ни слова.

Несколько раз после этого Кристоф направлялся к деревне, где жила Лорхен, и блуждал поблизости. Она без устали сновала по двору фермы, а он подолгу стоял на дороге, следя за ней взором. Кристоф не признавался себе, что приходит сюда ради нее, да и в самом деле почти не думал о Лорхен. Поглощенный сочинением новой вещи, Кристоф вел себя, точно лунатик: одной частью души он сознательно следил за развертыванием музыкальной мысли, тогда как другая часть, не подвластная сознанию, подстерегала минуты, когда ум бездействует, чтобы вырваться на волю. Встретившись с девушкой, Кристоф не переставал слышать гул рождающейся музыки и, глядя на милое лицо, мечтал и мечтал. Он не знал, любит ли он ее, и даже не задавался этим вопросом; видеть ее было радостью — вот и все. Желание, каждый раз приводившее его сюда, было пока безотчетно.

Эти частые появления Кристофа вызвали в деревне пересуды. На ферме в конце концов узнали о нем всю подноготную и стали над ним подсмеиваться. Впрочем, на него скоро перестали обращать внимание,— слишком уж он казался безобидным. Говоря откровенно, вид у него был преглупый, но это мало беспокоило самого Кристофа.

В деревне был престольный праздник. Мальчишки разбивали камнем пистоны с криком: «Да здравствует кайзер! Ура!» («Kaiser lebe! Hoch!») Громко раздавалось мычание запертого в сарае теленка да нестройное пение собравшихся в кабачке крестьян. Над полями трепетали в воздухе бумажные змеи, хвостатые, словно кометы. Куры судорожно разрывали золотой навоз; ветер раздувал их перья, точно юбки старой дамы. Розовая свинья, растянувшись на боку, спала на припеке сладким сном.

Кристофа приманила красная кровля гостиницы «Три короля», над которой плескался на ветру маленький флаг. По фасаду были развешены вязки луку, а на окнах стояли огненно-красные и желтые настурции. Кристоф вошел в зал, где клубился табачный дым. На стенах висели выцветшие картины, а в красном углу — ярко расписанный портрет императора, окаймленный гирляндой из дубовых листьев. В зале шли танцы. Кристоф не сомневался, что найдет среди танцующих свою красотку. И в самом деле, он сразу увидел ее. Он устроился в укромном уголке, откуда мог спокойно следить за танцорами. Но, несмотря на все принятые им предосторожности, Лорхен очень скоро обнаружила Кристофа. Танцуя без передышки вальс за вальсом, она бросала через плечо кавалера быстрые взгляды на Кристофа и, чтобы раззадорить его, кокетничала напропалую с деревенскими парнями, смеясь своим большим, красиво очерченным ртом. Говорила Лорхен неестественно громко и болтала глупости, ничем не отличаясь от светских молодых девушек, которые под устремленными на них взглядами начинают смеяться, суетиться, выставлять напоказ свою глупость, хотя куда лучше было бы таить ее про себя. А может быть, это не так уж и глупо: ведь они знают, что на них смотрят, а не слушают. Кристоф, облокотившись на стол и подпершись кулаком, следил за маневрами Лорхен горящим и злым взглядом: он достаточно владел собой, чтобы видеть все ее ухищрения, но все же недостаточно, чтобы им не поддаваться. Он то сердито ворчал, то тихонько смеялся и пожимал плечами, недоумевая, зачем сам лезет в петлю.

Но и за Кристофом тоже следил кое-кто: отец Лорхен. Это был низенький и коренастый старик — большеголовый, курносый, с голым, покрасневшим от солнца черепом, окаймленным венчиком волос, некогда золотистых и кудрявых, как у святого Иоанна на картине Дюрера, аккуратно выбритый, невозмутимый, с длинной трубкой в углу рта. Он вел степенную беседу с другими крестьянами, искоса следя за жестами Кристофа, и втихомолку потешался над ним. Но вот старик кашлянул; с лукавым огоньком в серых глазках он поднялся и подсел к Кристофу. Раздосадованный юноша, насупившись, повернулся к нему; он встретил хитрый взгляд, услышал бойкую речь крестьянина, который даже не вынул трубки изо рта. Кристоф знал, что старик слывет мошенником, но, питая слабость к дочери, был снисходителен и к отцу; встреча с ним даже доставляла ему странное удовольствие,— хитрый старик догадывался и об этом. Поговорив о дожде и хорошей погоде, позубоскалив насчет прекрасных девиц и насчет самого Кристофа, который, дескать, правильно делает, не утруждая себя танцами,— понимает, что куда приятнее сидеть за кружкой пива,— старик развязно напросился на угощение. Отхлебывая из кружки, он неторопливо повел речь о своих делах, о том, как трудно стало жить, о тяжелых временах и дороговизне. Кристоф отвечал больше междометиями. Беседа со стариком мало занимала его: он смотрел на Лорхен. Иногда фермер умолкал в ожидании ответа, но ответа не было, и он опять принимался говорить с тем же чинным спокойствием. Кристоф недоумевал, с чего это старик вдруг почтил его своим обществом и доверием. Но вскоре все стало ясно. Крестьянин, покончив с жалобами, перешел на другой предмет: он стал расхваливать отличное качество своих продуктов — овощей, птицы, яиц, молока и вдруг спросил, не может ли Кристоф порекомендовать его как поставщика во дворец. Кристоф подскочил:

— Откуда вы взяли? Вы, значит, знаете меня?

— Знаю,— сказал старик.— Все узнается...

Он не прибавил:

«Надо только не лениться и самому последить за нужным человеком».

Кристоф не отказал себе в ехидном удовольствии и сообщил папаше Лорхен, что хоть «все и узнается», но одно, по-видимому, еще не узналось, а именно: что он недавно поссорился со двором; да и вообще, если он когда и пользовался влиянием на дворцовую кухню (в чем он сам, впрочем, сомневается), то сейчас это уже дело прошлое — было и быльем поросло. У старика чуть заметно покривились губы. Однако он не сдался: не-

много погодя он спросил, не может ли Кристоф порекомендовать его — на худой конец — некоторым семьям в городе. И перечислил без запинки все дома, с которыми Кристоф и в самом деле был знаком,— старик, оказывается, собрал на рынке самые подробные справки. В другой раз Кристоф впал бы в бешенство, узнав о подобной слежке, но его рассмешила мысль, что крестьянин остался в дураках, несмотря на всю свою изворотливость (ведь он и не подозревал, что рекомендация Кристофа не только не доставила бы ему новых заказчиков, а еще лишила бы старых). И Кристоф не мешал ему без толку выкладывать весь свой запас мелких и неуклюжих хитростей, не отвечая ни да, ни нет. Но крестьянин не отставал. Теперь он уже посягал на самого Кристофа, на Луизу, которых приберег к концу,— он хотел во что бы то ни стало сбывать им молоко, масло, сливки. Старик напомнил Кристофу как музыканту, что для голоса нет ничего лучше свежих яиц в сыром виде — одно утром, одно вечером,— брался поставлять их тепленькими, прямо из-под курицы. Поняв, что старик принимает его за певца, Кристоф расхохотался. Крестьянин воспользовался и этим — заказал еще бутылочку. И, выжав из Кристофа все, что можно было выжать в данную минуту, без долгих церемоний ушел.

На улице темнело. Танцы были в самом разгаре. Лорхен уже позабыла о Кристофе: она и без того захлопоталась, стараясь пленить одного из кавалеров, сына богатого фермера, за которым охотились и другие девушки. Кристоф с увлечением наблюдал за этим соперничеством: он видел, как нежно улыбались девицы, впрочем еле сдерживаясь, чтобы не вцепиться друг другу в волосы. Добряк Кристоф, забывая о себе самом, желал победы Лорхен. Но когда победа была достигнута, он опечалился и упрекнул себя за эту печаль. Ведь он не любит Лорхен,— так пусть же она полюбит, кого ей вздумается. Это все так. Но мало радости сознавать, что сам по себе ты никому не мил. О тебе вспоминают лишь тогда, когда ждут какой-то выгоды, а затем над тобой же издеваются. Кристоф повздыхал, глядя на Лорхен, которая стала еще краше от сознания, что ей удалось затмить и разозлить своих соперниц, и собрался уходить. Было почти девять, а ему предстояло сделать добрых две мили.

Кристоф поднялся из-за стола, но как раз в эту минуту распахнулась дверь; в зал шумно ввалилось человек десять солдат. С их приходом веселье замерло. Крестьяне стали перешептываться. Танцующие пары одна за другой останавливались, тревожно поглядывая на вновь прибывших. Зрители, стоявшие возле дверей, вызывающе повернулись спиной к солдатам и стали

разговаривать между собой; и все же незаметно потеснились, освобождая проход. В последнее время по всему краю шла глухая борьба с гарнизоном фортов, окружавших город. Солдаты отчаянно скучали и отыгрывались на крестьянах. Они нагло издевались над ними, затевали драки, а с девушками вели себя так, точно находились в завоеванной стране. Неделю назад солдаты, напившись, расстроили праздник в соседней деревне и до полусмерти избили одного крестьянина. Кристоф, которому все это было известно, разделял чувства крестьян; поэтому он снова уселся за стол и решил подождать.

Нелюбезная встреча ничуть не смутила солдат; они шумной гурьбой устремились к занятым столам, расталкивая во все стороны крестьян, чтобы очистить себе место,— на это потребовалось не более минуты. Большинство посетителей отодвигалось, ворча себе под нос. Какой-то старик, сидевший на краешке скамьи, недостаточно проворно посторонился,— солдаты дернули скамью, и старик полетел кубарем на пол под взрывы громкого смеха. Вся кровь бросилась в лицо Кристофу; он в негодовании вскочил, но, прежде чем Кристоф успел вмешаться, старик тяжело поднялся с полу,— он не только не возмутился, но еще стал униженно извиняться. К столу Кристофа направились двое солдат; он смотрел на них, стискивая кулаки. Но обороняться ему не пришлось. Это были дюжие и добродушные парни; они, как бараны, подчинялись двум-трем удальцам и подражали им во всем. При виде высокомерного Кристофа они даже оробели, а он сухо сказал:

— Место занято...

Солдаты поспешили извиниться и присели на край скамьи, чтобы не обеспокоить его: в голосе Кристофа слышались властные интонации — и привычная угодливость взяла верх. Они сразу поняли, что перед ними не крестьянин.

Несколько смягченный их смирением, Кристоф мог уже более хладнокровно наблюдать за тем, что происходит вокруг. Нетрудно было заметить, что верховодит во всей этой компании один унтер — приземистый бульдог с колючими глазками и лакейской внешностью, лицемерный и злобный; это был один из героев схватки, случившейся в прошлое воскресенье. Сидя за столом по соседству с Кристофом, уже изрядно опьяневший, он нагло рассматривал крестьян и бросал обидные и язвительные замечания, которые те пропускали мимо ушей. Особенно донимал он танцующих, подчеркивая их физические изъяны или преимущества в грязных выражениях, вызывавших бурное веселье у его собутыльников. Девушки заливались краской, слезы вы-

ступали у них на глазах. Их кавалеры стискивали зубы и, затаив ярость, молчали. Унтер взглядом палача медленно обводил зал, никому не давая спуску. Кристоф видел, что приближается и его черед. Он схватил кружку и, судорожно сжимая ее, ждал. Он решил, что при первом же обидном слове швырнет ее в голову солдату. Про себя он думал:

«Я с ума сошел. Лучше уйти. Они заколют меня; а если я останусь в живых, меня посадят в тюрьму,— игра не стоит свеч. Надо уходить, пока он не вывел меня из себя».

Но гордость его возмущалась: еще могут подумать, что он спасается бегством от этих молодчиков. Колючий и злой взгляд задержался на нем. Кристоф, окаменев, с гневом смотрел на унтер-офицера. Тот некоторое время молча рассматривал его; по-видимому, облик Кристофа вдохновил унтера на подвиги: он подтолкнул локтем своего соседа, кивнул, хихикая, на молодого человека и уже открыл рот, чтобы выпалить оскорбительные слова. Кристоф, весь сжавшись, готов был с размаху бросить в него кружкой. Но и на этот раз его выручил случай. В то самое мгновенье, когда пьяница уже совсем было собрался заговорить, одна из танцующих пар нечаянно налетела на него и столкнула на пол его кружку. Взбешенный вояка обернулся и накинулся на неловких танцоров с градом ругательств. Это отвлекло его внимание — он уже забыл о Кристофе. Последний еще ждал несколько минут; затем, видя, что враг не пытается возобновить начатый разговор, встал, медленным жестом взял шляпу и неторопливо направился к выходу. Он не отводил взгляда от скамьи, на которой сидел унтер, всем своим видом показывая, что его уход не есть отступление. Но унтер решительно позабыл о нем, да и никто не обращал на него внимания.

Кристоф уже взялся за ручку двери; еще несколько секунд, и он был бы за порогом. Но благополучно выйти отсюда ему было не суждено. В глубине зала вдруг поднялась суматоха. Подвыпившие солдаты решили потанцевать. Увидев, что все девушки уже заняты, они оттерли кавалеров, и те покорно отступили. Но не такая девушка была Лорхен, чтобы подчиниться. Недаром же у нее были дерзкие глаза и своевольный подбородок, пленившие Кристофа. Она самозабвенно кружилась в вальсе, когда унтер-офицер, которому она приглянулась, бросился к ней, намереваясь отбить ее у танцевавшего с ней парня. Лорхен топнула ногой и с бранью оттолкнула солдата, заявив, что ни за что на свете не будет танцевать с такой дубиной. Солдат погнался за нею, расшвыривая ударами кулака тех, за кем она пыталась укрыться. Наконец ей удалось отгородиться столиком, и здесь,

в относительной безопасности, она перевела дух и снова начала ругать преследователя. Она понимала, что ее отпор ни к чему не приведет, и вся трепетала от ярости, бранясь и выбирая самые хлесткие выражения, сравнивая обидчика со всеми обитателями скотного двора. Он стоял, пригнувшись, по другую сторону стола и зловеще улыбался; глаза его даже засверкали от гнева. Вдруг он отступил на несколько шагов, разбежался, перепрыгнул через стол и облапил Лорхен. Она отбивалась, как полагалось скотнице,— и кулаками и ногами. Пьяный унтер пошатнулся и чуть не потерял равновесие. В бешенстве он притиснул девушку к стене и влепил ей пощечину. На этом и кончились его подвиги: кто-то накинулся на него сзади, изо всей силы хватил по лицу и ударом ноги отшвырнул в толпу. Это был Кристоф — он ринулся на мерзавца, опрокидывая столики и сшибая с ног людей. Унтер-офицер обернулся и в исступлении стал вытаскивать из ножен саблю. Но он не успел пустить ее в ход: Кристоф оглушил его ударом табуретки. Все это произошло так молниеносно, что никто не успел вмешаться. Унтер рухнул на пол, как бык, и тут поднялся невообразимый шум. Солдаты, выхватывая на ходу сабли, кинулись к Кристофу, но на них напали крестьяне. Началась рукопашная схватка. По залу летели кружки, вдруг с грохотом опрокидывался стол. Взыграли крестьянские сердца — слишком давние счеты были у них с солдатами. Дерущиеся катались по полу, с остервенением кусали друг друга. Кавалер, у которого вырвали из рук Лорхен, дюжий батрак, повалил одного из своих обидчиков, схватил его за голову и колотил ею об стену. Лорхен, вооружившись кочергой, наносила удары направо и налево. Остальные девушки разбежались, визжа от ужаса, за исключением двух или трех воительниц, которые решили всласть отвести душу. Одна из них, маленькая, белокурая толстушка, заметив, что гигант-солдат — один из тех, что сели за столик Кристофа,— уперся коленом в грудь опрокинутого наземь противника, кинулась к печке и, схватив горсть горячей золы, бросила ее в глаза озверевшему солдату. Тот взвыл от боли. Девушка торжествовала, осыпая отборной бранью поверженного врага, которого крестьяне колотили изо всей мочи. Наконец солдаты поняли, что силы неравны, и выбрались наружу, оставив две жертвы на поле брани. Теперь бой шел на улице. Солдаты с неистовыми криками вторгались в дома, угрожая все разгромить, а крестьяне бежали за ними с вилами и спускали на врага свирепых псов. На улице упал третий солдат — ему проткнули вилами живот. Остальным пришлось обратиться в

бегство: за ними гнались до самой околицы, а они, убегая, кричали, что вернутся с подкреплением.

Крестьяне победителями возвращались в трактир. Они торжествовали: наконец-то они отплатили за все унижения, которые им приходилось терпеть, и всякий хвалился своими подвигами. Они как брата обнимали Кристофа, а тот радовался завязавшейся между ними дружбе. Лорхен взяла его руку, на мгновенье сжала ее своей жесткой рукой и с усмешкой посмотрела на него. В ту минуту он уже не казался ей странным.

Занялись ранеными. Крестьяне отделались сравнительно легко: выбитые зубы, сломанные ребра, шишки и кровоподтеки — вот и все. Солдаты пострадали серьезнее. Трое из них находились в тяжелом состоянии: гигант с ожогом глаз, у которого плечо было наполовину отсечено ударом топора; солдат с распоротым животом, не переставший стонать, и унтер-офицер, которого свалил Кристоф. Их уложили на земле, возле печки. Унтер-офицер, пострадавший меньше других, открыл глаза. Он медленно обвел горевшим ненавистью взглядом склонившихся над ним крестьян. Придя в сознание и припомнив все случившееся, он стал извергать потоки ругани. Он клялся, что рассчитается с ними, что они еще у него попляшут; он хрипел от бешенства; казалось, будь это в его силах, он истребил бы всех до одного. Кое-кто из крестьян попытался улыбнуться, но вообще им было не до смеха. Один молодой крестьянский парень крикнул раненому:

— Заткни пасть, не то убью!

Унтер-офицер, порываясь подняться, впился в парня налитыми кровью глазами и прокричал:

— Негодяи! Убивайте! Вам отрубят головы.

И опять принялся вопить. Парень с распоротым животом испускал визгливые крики, точно свинья под ножом. Третий лежал, не шевелясь и вытянувшись, как покойник. Крестьяне вдруг оцепенели от ужаса. Лорхен с помощью других женщин поволокла раненых в соседнюю комнату. Оттуда гневные выкрики унтер-офицера и стоны умирающего доносились глуше. Крестьяне молчали; они продолжали стоять, сбившись в кружок, как будто у ног их все еще лежали три тела; не смея тронуться с места, они тоскливо переглядывались. Наконец отец Лорхен произнес:

— Хороших же вы наделали дел!

Послышался испуганный шепот; у всех пересохло в горле. И вдруг все заговорили разом. Сперва они шушукались, будто опасаясь, что их подслушают, но вскоре голоса зазвучали гром-

че, пронзительней: крестьяне стали переругиваться, обвиняя друг друга в нанесенных солдатам увечьях. Перепалка, казалось, вот-вот перейдет в рукопашную. Но отец Лорхен всех примирил. Сложив руки на груди и повернувшись к Кристофу, он кивнул в его сторону.

— А этот,— сказал он,— зачем пожаловал к нам?

Мгновенно весь гнев толпы обрушился на Кристофа.

— Правильно! — орали крестьяне.— Вот кто начал. Не будь его, ничего бы и не случилось!

Ошеломленный Кристоф попытался было возразить:

— То, что я сделал, я сделал не для себя, а для вас, и вы это знаете.

Но они в бешенстве кричали:

— Не можем мы сами за себя постоять, что ли? Очень нам нужны указчики из города! Кто у тебя спрашивал совета? И кто тебя сюда звал? Уж лучше бы сидел дома!

Кристоф пожал плечами и направился было к дверям, но отец Лорхен взвизгнул и загородил ему выход.

— Вот! Вот! — кричал он.— Теперь он наутек! Накликал на нас беду — и удирать. Ну нет, не уйдешь!

Крестьяне заревели:

— Не уйдет! Он всему причина. Пускай за все и расплачивается.

Его со всех сторон обступили, грозили кулаками. Злобные физиономии придвигались к самому его лицу: крестьяне обезумели от страха. Кристофа всего передернуло; он с отвращением молча швырнул шляпу на стол и сел в глубине зала спиной к присутствующим.

Но тут к крестьянам бросилась возмущенная Лорхен. Ее красивое лицо пылало гневом. Девушка грубо растолкала обступивших Кристофа мужчин.

— Трусы! Зверье! — кричала она.— И вам не стыдно? Вы хотите подстроить так, чтобы он один вышел виноватым? А сами вы что делали? Все до одного лупили направо и налево! Все дрались. Да найдись хоть один, кто стоял бы сложа руки, я бы первая плюнула ему в лицо и крикнула: «Трус! Трус!..»

Крестьяне, опешив от неожиданного наскока, на мгновенье умолкли, но потом снова загалдели:

— Начал-то он! Не будь его, ничего бы и не случилось.

Отец Лорхен напрасно старался знаками утихомирить дочь. Она напустилась и на него:

— Да, верно, начал он, а не вы! Нашли чем хвастаться. Если бы не он, вы бы всё проглотили: пусть себе глумятся над вами и над нами. Трусы! Негодяи!

Она накинулась на своего друга:

— А ты тоже хорош! Ни слова не сказал! Состроил умильную рожу и подставил зад — пусть, мол, себе колотят сапожищами! Чуть в ножки им не поклонился! И тебе не стыдно?.. И всем вам не стыдно? Хороши. Ну и мужчины! Бараны вы, уперлись лбом в землю и рады! А он показал вам пример! И теперь вы хотите все свалить на него?.. Ну нет, так не выйдет! Уж вы мне поверьте! Он дрался за нас. Или вы спасете его, или будете отвечать вместе с ним: даю вам слово, так и знайте!..

Отец Лорхен тянул ее за рукав и кричал, не помня себя:

— Замолчи! Замолчи!.. Да угомонишься ты, сука!

Она оттолкнула его и завопила еще громче. Крестьяне орали, Лорхен старалась перекричать их своим пронзительным голосом, от которого можно было оглохнуть.

— А вот ты, что скажешь? Думаешь, я не видела, как ты разделывал каблуками солдата — того, который лежит в той комнате? Может, уже кончился. А ты, покажи-ка свои руки!.. На них до сих пор еще кровь. Думаешь, я не приметила, как ты орудовал ножом? Все расскажу, если вы будете топить его. Всех вас засудят до единого.

Крестьяне с дикими криками и бранью наступали на Лорхен. Один из них погрозил ей кулаком, но друг Лорхен сгреб дерзкого за шиворот, и они схватились. Какой-то старик сказал Лорхен:

— Если нас засудят, то и тебя тоже.

— И меня,— отозвалась она,— я не такая трусливая, как вы.

И пошла, и пошла...

Крестьяне уж не знали, что и делать. Обратились к отцу:

— Что ты не заткнешь ей глотку?

Старик понял, что выводить Лорхен из терпения было неосторожно. Он знаком предложил крестьянам замолчать. Наступила тишина. Только девушка продолжала говорить, но, не встречая возражений, и она утихла, как огонь без пищи. Отец Лорхен откашлялся и начал:

— Ну, так куда же ты гнешь? Неужели ты хочешь загубить нас?

— Я хочу, чтобы его спасли,— ответила она.

Крестьяне погрузились в раздумье. Кристоф даже не пошевелился: он застыл в своей гордыне и, казалось, не понимал, что

спор идет о нем; однако вмешательство Лорхен взволновало его. Лорхен же как будто не замечала его присутствия: прислонившись к столу, за которым сидел Кристоф, она дерзко смотрела на крестьян, а те курили, не подымая глаз. Наконец старик, пососав трубку, начал:

— Топи не топи — если он останется, его песенка спета. Унтер признал его. По головке за такие вещи не гладят. Одно для него спасение: немедля перемахнуть через границу.

Крестьянин сообразил, что в конечном счете для всех будет выгоднее, если Кристоф исчезнет: он таким образом как бы сам признает свою вину. Так как беглеца тут уже не будет, они смогут всю вину свалить на него. Остальные поддержали старика — они с полуслова понимали друг друга. Теперь, когда решение было принято, им хотелось одного: чтобы Кристоф поскорее убрался. Словно забыв обо всем, что они наговорили юноше за минуту перед тем, они подошли к нему с таким видом, будто только и думали о его спасении.

— Дорога каждая минута, сударь,— сказал отец Лорхен.— Они скоро вернутся. За полчаса они дойдут до форта. Да еще кладите полчаса на обратный путь... Так что времени осталось в обрез, надо бежать.

Кристоф поднялся. Он успел принять решение. Было ясно, что остаться здесь — значит идти на верную гибель. Но уехать, уехать, не свидевшись с матерью?. Нет, нет, это выше его сил. Он сказал, что сперва отправится в город,— он успеет еще уехать и перейти границу ночью. Но крестьяне неистово завопили. Только что они преграждали путь к дверям, чтобы не дать ему скрыться, а теперь сердились, что он медлит. Вернуться в город — значит наверняка попасться: небось уже сейчас его ждут, и как только он переступит порог дома — его арестуют. Но Кристоф уперся на своем. Лорхен поняла его:

— Вы хотите повидать свою маму? Я сама пойду к ней.

— Когда?

— Сегодня же вечером.

— Это правда? Вы пойдете?

— Иду сию же минуту.

Она накинула косынку.

— Напишите несколько слов, я ей отнесу... Пойдемте, я дам вам чернил.

Девушка повела его в смежную комнату. На пороге она обернулась и, строго глядя на своего милого, наказала ему:

— А ты будь наготове. Ты его и проводишь. И не вздумай уходить, пока он не будет по ту сторону границы.

— Ладно, ладно,— отозвался тот.

Он больше чем кто-либо торопился сплавить Кристофа во Францию, а если можно, то и дальше.

Лорхен вышла с Кристофом в другую комнату. Он все еще не мог решиться. Сердце его разрывалось от боли при мысли, что он не обнимет на прощанье мать. Когда-то он свидится с нею? Она так стара, так устала, так одинока! Этот новый удар добьет ее. Как она будет жить без него? Но что будет с нею, если он останется, если его осудят, бросят на годы в тюрьму? Ведь тогда-то уж наверное ее ждет нищета и одиночество! Если же он будет на свободе, хотя бы вдали от матери, он сможет оказать ей поддержку; она приедет к нему.

Но раздумывать было некогда. Лорхен взяла его руки в свои; она стояла перед ним и смотрела ему прямо в глаза; их лица почти соприкасались; она обхватила его шею руками и поцеловала в губы.

— Скорей! Скорей же! — сказала она вполголоса, указывая на стол.

Кристоф махнул рукой и сдался. Он сел. Лорхен вырвала из конторской книги листок бумаги в клетку с красными линейками.

Он написал:

«Дорогая мамочка. Прости меня! По моей вине на тебя обрушилась большая беда. Действовать иначе я не мог. Я не сделал ничего плохого. Но теперь я принужден бежать и расстаться с родиной. Та, что передаст тебе эту записку, расскажет тебе все. Я хотел проститься с тобой. Но меня не пускают. Говорят, что меня все равно арестуют еще до свидания с тобой. Я так несчастен, что сам уже ничего не могу решить. Я перейду границу и буду ждать от тебя весточки. Девушка, которая вручит тебе мое письмо, привезет мне ответ. Скажи, как мне поступить? Что ты мне скажешь, то я и сделаю. Ты хочешь, чтобы я вернулся? Скажи одно только слово, и я вернусь! Мне невыносима мысль, что ты останешься одна. Как же ты будешь жить? Прости меня! Прости! Я люблю тебя и целую...»

— Поспешим, сударь, а то будет поздно,— сказал друг Лорхен, приоткрыв дверь.

Кристоф торопливо подписался и протянул письмо Лорхен.

— Вы сами передадите?

— Сейчас же,— сказала девушка и стала собираться.— Завтра,— продолжала она,— я привезу вам ответ: ждите меня в Лейдене (это первая станция по ту сторону границы), на перроне вокзала.

(Любопытная Лорхен успела прочесть письмо Кристофа через его плечо.)

— Вы мне расскажете все? Как она перенесла этот удар? И все, что она скажет? Вы ничего не утаите от меня? — с мольбою спрашивал Кристоф.

— Все, все расскажу.

Они уже не могли говорить так свободно, как раньше: друг Лорхен стоял на пороге и смотрел на них.

— И потом, господин Кристоф,— сказала Лорхен,— я буду иногда бывать у нее, я напишу вам о ней, не тревожьтесь.

Она крепко, по-мужски, стиснула его руку.

— Идем! — сказал крестьянин.

— Идем! — сказал Кристоф.

Все трое вышли. Дойдя до дороги, они расстались: Лорхен повернула в одну сторону, а Кристоф со своим провожатым в другую. Шли молча. Серп луны, задернутый прозрачным, как пар, облачком, исчезал за лесом. Бледный свет лился на поля. В оврагах стлались густые и белые, как молоко, туманы. Зябко вздрагивала листва, омываемая влажным воздухом... Как только они вышли за околицу, крестьянин вдруг отступил назад и знаком остановил Кристофа. Оба прислушались. С дороги доносился мерный солдатский шаг. Крестьянин перескочил через изгородь и пошел полем. Кристоф последовал за ним. Теперь они шли прямо через пашню. Топот затих. Крестьянин, обернувшись к дороге, погрозил в темноте кулаком. Сердце у Кристофа екнуло, как у затравленного зверя. Они пустились в путь, обходя деревни и одинокие фермы, так как лай собак выдал бы их. Перевалив через поросший лесом холм, они увидели вдалеке красные огни железнодорожного полотна. Соображаясь с этими маяками, решили направиться к станции. Это оказалось нелегким делом. Чем ниже спускались они в долину, тем гуще становился туман. Путь преграждали два-три небольших ручья. Дальше расстилались неоглядные свекловичные поля, пашни. Казалось, никогда им не будет конца. Долина шла волнами: пригорки сменялись оврагами, и приходилось зорко смотреть себе под ноги. Проплутав некоторое время наудачу в тумане, они наконец увидели на насыпи, в двух-трех шагах, фонари железной дороги. Взобрались на откос. Пренебрегая опасностью, пошли вдоль полотна и остановились, метрах в ста, не доходя станции; здесь они снова выбрались на дорогу. А вот и станция. До отхода поезда оставалось двадцать минут. Вопреки наказу Лорхен, крестьянин расстался здесь с Кристофом. Он спешил домой — ему не тер-

пелось узнать, какая судьба постигла его односельчан и его собственный дом.

Кристоф, купив билет до Лейдена, сидел в ожидании поезда в пустом зале третьего класса. Когда поезд прибыл, клевавший носом чиновник подошел к Кристофу, мельком взглянул на его билет и открыл ему дверь. В вагоне не было ни души. В поезде все спало. Все спало в полях. Но Кристоф, как он ни был измучен, не спал. Тяжелые стальные колеса несли его к границе, и чем ближе, тем сильнее жаждал он очутиться вне опасности. Через час — воля. А пока достаточно одного слова — и его схватят... Схватят... Все в нем возмущалось против этой мысли. Быть раздавленным ненавистной силой!.. Ему не хватало воздуха. Он забыл о матери, об отчизне, которую покидал. Перед угрозой утраты свободы все вытеснила единственная эгоистическая мысль — о ней, о свободе, которую он жаждал спасти. Любой ценой! Да, пусть даже ценой преступления... Он жестоко каялся, что сел в поезд, когда можно было добраться до границы пешком. Решил выгадать несколько часов. Стоило спешить! Чтобы угодить прямо волку в пасть. Конечно, его уже ждут на пограничной станции; вероятно, даже послан приказ об аресте... Не соскочить ли на ходу с поезда? Он приоткрыл дверь купе, но было уже поздно: поезд остановился. Прошло минут пять. Вечность. Кристоф, забившись в угол купе, в страхе смотрел из-за занавески на перрон, где маячила фигура жандарма. Начальник станции вышел из кабинета с депешей в руках и быстрым шагом двинулся к жандарму. Кристоф не сомневался, что депеша о нем. Рука его невольно искала оружие. У него ничего не было, кроме острого ножа о двух лезвиях. Он открыл его, не вынимая из кармана. Кондуктор, с фонарем на груди, наскочил на начальника станции и затем побежал вдоль поезда. Кристоф видел, как он приближается к его вагону. Судорожно зажав в кулаке рукоятку ножа, он думал:

«Я погиб!»

Нервы его были натянуты до предела, и он, не задумываясь, ударил бы ножом кондуктора, если бы тому пришла в голову злополучная мысль подойти и открыть дверь его купе. Но кондуктор задержался у соседнего вагона: он проверял билет у нового пассажира. Поезд тронулся. Кристоф старался утишить неистовое биение сердца. Он не шевелился. Он не смел еще сказать себе, что спасен. Пока граница не останется позади, он не поверит этому. Рассветало. В темноте проступали очертания деревьев. На дороге причудливой тенью промелькнул экипаж, запели колокольчики, мигнул глаз фонаря... Прижавшись лицом

к стеклу, Кристоф старался разглядеть столб с императорским гербом, отмечавший границу, где кончалось его рабство. Он все еще искал глазами этот столб в еле брезжившем свете, когда раздался свисток, извещавший о прибытии на первую бельгийскую станцию.

Кристоф вскочил, широко раскрыл дверь и всей грудью вдохнул ледяной воздух. Свободен! Впереди — целая жизнь! Радость жизни!.. И тотчас же на него навалилась тоска: тоска по тому, что он покидал, тоска перед тем, что ждет его впереди; и усталость от этой тяжелой ночи сразила его. Он без сил рухнул на скамью. Уже показалась станция. Когда кондуктор спустя минуту открыл дверь купе, он застал Кристофа спящим и дернул его за рукав. Тот, проснувшись, сконфузился,— ему казалось, что он проспал целый час; тяжелым шагом вышел он из вагона, поплелся к таможне и, уверившись наконец, что находится на иностранной территории, что опасность миновала, растянулся на скамье в зале ожидания и свалился, как камень, в бездну сна.

Кристоф проснулся почти в полдень. Лорхен могла приехать не раньше, чем через два-три часа. В ожидании прибывающих поездов Кристоф метался по перрону маленькой станции, а затем спустился со ступенек и пошел прямо, лугами. День выдался серенький, скучный, освещенный каким-то сонным светом, уже пахнувший зимой. В тоскливое безмолвие врывались лишь жалобные свистки маневрировавшего состава. Почти у самой границы, на пустынном поле, Кристоф остановился. У ног его блестел маленький, не больше лужи, прозрачный водоем, в котором отражалось унылое небо. Он был обнесен низенькой деревянной оградой, по краям стояли два дерева. Направо — тополь с трепетавшей обнаженной кроной. За тополем — высокий орешник с черными голыми сучьями, точно гигантский спрут. На нем тяжелыми гроздьями раскачивались вороны. Листья, отдав последние капли сока, падали один за другим на неподвижную поверхность пруда...

Кристофу померещилось, что он уже видел все это: два дерева, пруд... И вдруг все как-то странно заколебалось. Такое ощущение бывает у человека в иные мгновения его жизненного пути. Время внезапно останавливается. Не знаешь, где ты, кто ты, в каком живешь веке и сколько веков это длится. Кристофу чудилось, что все это было однажды. И то, что происходило теперь, на самом деле было не теперь, а когда-то, в прошлом. Он

уже не был он. Он видел себя со стороны, издали, он был кем-то, кто уже однажды стоял здесь, на этом самом месте. В нем росли, гудели воспоминания о том, чего не было; в его венах шумела кровь: «Так... Так... Так...»

Рокот столетий.

До него много Крафтов прошли через испытания, которые он пережил сегодня, испили горечь последнего часа на родной земле. Род, вечно скитавшийся и повсюду гонимый за свою независимость и мятежный нрав. Род, вечно мучимый владевшим им демоном, который не позволял ему нигде осесть. Род, все же оставшийся верным земле, от которой его отторгали, и уходивший в нее своими корнями...

Теперь настала очередь и Кристофу пройти теми же тернистыми тропами; и он обнаруживал следы тех, кто прошел здесь до него. Он смотрел застланным слезами взглядом, как теряется в тумане родная земля, с которой ему предстояло распроститься. Но не он ли сам так горячо стремился покинуть ее? Да. А теперь, когда он действительно расставался с нею, его одолевала тоска... Надо иметь сердце зверя, чтобы без волнения расстаться с родной землей. Ведь, счастливые или несчастные, мы жили общей с ней жизнью; эта земля была нам матерью, подругой; она родила нас, здесь мы жили. Мы напитались ее соками; в лоне ее схоронен бесценный клад — наши мечты, наша прошлая жизнь и священный прах родных и любимых. Кристоф видел перед собою длинную череду прошедших дней, дорогие образы, которые он оставлял на этой земле или в земле. Его страдания были ему не менее милы, чем радости. Минна, Сабина, Ада, дедушка, дядя Готфрид, старый Шульц — все пронеслись перед его глазами за эти мгновения. Он не мог оторваться от своих мертвецов (он и Аду числил среди мертвых). Невыносима была мысль о матери, которую он покидал,— единственной живой среди всех любимых, среди всех этих призраков. У него было искушение вернуться — такой трусостью вдруг показалось ему искать спасения в бегстве. И он решил, что если в ответе матери, который передаст ему Лорхен, он услышит слишком жгучую муку, то вернется, а там будь что будет. Если же он не получит ничего? Если Лорхен не удалось повидаться с Луизой? Или привезти ему ответ? Ну что ж, тогда он вернется.

Кристоф отправился обратно на станцию. После долгого и тоскливого ожидания прибыл наконец поезд. Кристоф всматривался, не покажется ли в окне смелое девичье лицо: он твердо верил, что Лорхен сдержит слово. Но ее нигде не было видно. Охваченный тревогой, он обежал всю цепь вагонов. И вдруг

во встречной волне пассажиров мелькнуло лицо, которое показалось ему знакомым. Это была девочка тринадцати — четырнадцати лет, с пухлыми щечками, низенькая, большеротая, румяная, как яблоко, с широким вздернутым носиком и толстой косой, обернутой вокруг головы. Кристоф взглянул на нее пристальней и увидел у нее в руках старый чемодан, как будто его собственный. И она тоже искоса посматривала на Кристофа, точно воробей; убедившись, что он заприметил ее, девочка сделала несколько шагов навстречу Кристофу и молча остановилась, глядя на него в упор своими мышиными глазками. И Кристоф узнал маленькую скотницу с фермы Лорхен. Он показал на чемодан и спросил:

— Это мне?

Девочка, не трогаясь с места и напустив на себя простоватый вид, ответила:

— Как знать. Сначала скажите, откуда вы едете.

— Из Буйра.

— А от кого посылка?

— От Лорхен. Да ну же!

Девчонка подала ему чемодан.

— Нате!

И прибавила:

— Я вас сразу узнала.

— Так чего же ты дожидалась?

— Чтобы вы мне сказали, что это вы.

— А Лорхен? — спросил Кристоф.— Почему она не приехала?

Девочка молчала. Кристоф сообразил, что она не хочет говорить на людях. Но сперва пришлось снести чемодан в таможню. Когда с осмотром вещей было покончено, Кристоф увел девочку в конец перрона.

— Явилась полиция,— рассказывала девчонка, у которой теперь развязался язык.— Только-только вы ушли. Стали врываться в дома, допрашивали всех, арестовали длинного Сами, Христиана и дядюшку Каспара. И еще Меланию и Гертруду, хотя они вопили, что ничего не сделали; они обе стали плакать, а Гертруда исцарапала жандарма. Наши говорили полицейским, что это вы все натворили, а те не слушали.

— Как, я? — воскликнул Кристоф.

— Ну да,— невозмутимо ответила девочка,— вам ведь от этого вреда не будет, раз вы уехали. И тут полиция стала вас повсюду разыскивать. Бросились во все концы.

— А Лорхен?

— Лорхен не было дома. Она вернулась после, ведь она ходила в город.

— Она видела мою маму?

— Да. Вот письмо. Лорхен собиралась ехать к вам, но ее тоже арестовали.

— Как же тебе удалось?..

— А так: Лорхен вернулась в деревню украдкой. Она стала собираться в дорогу. Но на нее донесла Ирмина, сестра Гертруды. Пришли ее арестовать. Она, как завидела жандармов, поднялась в свою комнату и оттуда крикнула, что она сейчас выйдет — одевается, мол. А я — я была в винограднике, за домом; она шепотом кликнула меня через окно: «Лидия! Лидия!» Я и подошла. Она спустила мне ваш чемодан и письмо вашей мамы и объяснила, как вас найти; наказывала отправиться бегом и не попадаться. Я побежала, вот и все.

— И она ничего больше не сказала?

— Сказала. Велела передать вам вот эту косынку — в знак того, что я от нее.

Кристоф узнал белую косынку, вышитую красными горошинками и цветами, и вспомнил, что Лорхен повязала ею голову, расставаясь с ним накануне. Наивный предлог, который Лорхен сочинила, чтобы переслать ему этот дар любви, не вызвал у него, однако, улыбки.

— А вот и мой поезд,— сказала девочка.— Мне пора. Прощайте.

— Погоди-ка,— ответил Кристоф.— А где ты взяла деньги на дорогу?

— Лорхен дала.

— Ну хорошо, возьми,— сказал Кристоф, всовывая ей в ладошку немного мелочи.

Он удержал за руку убегавшую девочку.

— И потом...

Он наклонился и поцеловал ее в обе щеки. Она, будто рассердившись, отстранилась от него.

— Ну, ну,— сказал Кристоф.— Это я ведь не тебя целую.

— О! Я знаю,— лукаво отозвалась девчонка,— это для Лорхен.

Но не одну только Лорхен целовал Кристоф, касаясь полных щечек маленькой скотницы: он посылал поцелуй всей Германии.

Девочка вырвалась и бегом бросилась к поезду, который уже трогался. Она не отходила от окна и махала носовым платком, пока не скрылась из виду. А он не отрывал взгляда от ма-

ленькой вестницы, деревенской девочки, которая принесла ему в последний раз аромат его родины и привет от тех, кого он любил.

Когда поезд исчез вдали, Кристоф остался один — на этот раз совершенно один, всем чужой человек на чужой земле. В руках у него было письмо от матери и косынка — залог любви. Он сунул ее за пазуху и хотел распечатать письмо, но пальцы его дрожали. Что он прочтет? Какую новую муку сулят ему эти строки? И ему уже как бы слышался горький упрек — нет, это выше его сил, он должен вернуться.

Наконец Кристоф развернул письмо и прочел:

«Мое бедное дитя, не волнуйся обо мне. Я буду благоразумна. Господь наказал меня. Нельзя было думать только о себе, удерживать тебя здесь. Уезжай в Париж. Может быть, все это к лучшему для тебя. А обо мне не думай. Как-нибудь справлюсь. Главное, чтобы ты был счастлив. Целую тебя.

Мама.

Напиши, как только сможешь».

Кристоф сел на чемодан и заплакал.

Кондуктор уже вызывал пассажиров на Париж. Тяжелый поезд, громыхая, приближался к перрону. Кристоф отер слезы, поднялся и прошептал:

— Так надо.

Он взглянул на горизонт — в ту сторону, где находился Париж. Мрачное небо там было еще мрачнее. Мрак казался бездонным. У Кристофа защемило сердце, но он еще раз повторил:

— Так надо.

Поднявшись в вагон, он прижался к стеклу и все всматривался в зловещую даль.

«О Париж,— думал он,— Париж! Приди мне на помощь! Спаси меня! Спаси мои замыслы!»

Темная завеса тумана становилась все плотнее. Позади Кристофа, над страной, которую он оставлял, полоска голубого неба, узенькая, как прищуренные глаза — глаза Сабины, грустно улыбнулась ему сквозь тяжелую пелену туч и погасла. Поезд тронулся. Начался дождь. Началась ночь.

КНИГА ПЯТАЯ
ЯРМАРКА НА ПЛОЩАДИ

ПЕРЕВОД А. ФРАНКОВСКОГО

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

ДИАЛОГ АВТОРА СО СВОЕЙ ТЕНЬЮ

Я.— Да ты не об заклад ли уж побился, Кристоф? Решил поссорить меня с целым светом?

Кристоф.— Нечего притворяться удивленным. С первого же мгновенья ты знал, куда я тебя поведу.

Я.— Ты критикуешь и критикуешь, нельзя так. Раздражаешь врагов и смущаешь друзей. Разве тебе не известно, что хороший вкус предписывает не замечать непорядков в приличном доме?

Кристоф.— Что поделаешь! У меня нет вкуса.

Я.— Да, знаю: ты просто дикарь, то и дело попадаешь впросак. Они объявят тебя врагом всех и вся. Ты ведь уже в Германии прослыл германофобом. Во Франции ты прослывешь франкофобом или — что еще серьезнее — антисемитом. Берегись, не трогай евреев. «Они сделали тебе слишком много добра, чтобы ты имел право говорить о них дурно...»

Кристоф.— Почему же мне нельзя высказать все то хорошее и плохое, что я о них думаю?

Я.— Ты говоришь о них преимущественно плохое.

Кристоф.— Потом будет хорошее. Почему нужно щадить их больше, чем христиан? Если я воздаю им полной мерой, значит, они того заслуживают. Я не забываю их роли, ибо они заняли почетное место на авансцене нашего клонящегося к упадку Запада. Некоторые из них несут смертельную угрозу нашей культуре. Но я помню, что другие обогащают нашу энергию и нашу мысль. Я знаю, сколько еще величия заключено в этой

нации. Я знаю их способность к самопожертвованию, их гордое бескорыстие, их страстное стремление к лучшему, неутомимую деятельность, упорный и незаметный труд многих тысяч из них. Я знаю, что в них живет бог. И поэтому-то я негодую на тех, кто отрекся от бога, кто, ради позорного преуспеяния и низменного благополучия, предает судьбы своего народа. Бороться с ними — это значит выступить против них же на стороне их народа, точно так же, как, нападая на продажных французов, я защищаю Францию.

Я.— Милый мой, ты суешься не в свое дело. Вспомни, как не терпится жене Сганареля, чтобы ее отколотили. Не суйся, куда не следует... Дела Израиля нас не касаются. А что до Франции, то она, как Мартина, согласна, чтобы ее прибили, но она не выносит, чтобы ей говорили об этом.

Кристоф.— И все же нужно говорить ей правду, особенно когда ее любишь. Кто скажет правду, если не я? — Ведь не ты же. Все вы связаны между собой сложившимися в обществе отношениями, необходимостью считаться друг с другом, все вы щепетильны. А я ничем не связан, я не принадлежу к вашему миру. Никогда я не участвовал ни в ваших кружках, ни в ваших распрях. Ничто не обязывает меня поддакивать вам или быть вашим соучастником в заговоре молчания.

Я.— Ты чужеземец.

Кристоф.— Ах да, я и забыл, что немецкий композитор не имеет, по-вашему, права судить вас и не способен вас понять. Допустим. Я, быть может, заблуждаюсь. Но, по крайней мере, я скажу вам то, что о вас думают некоторые великие чужеземцы, ты знаешь их не хуже меня,— величайшие из наших мертвых и наших живых друзей. Если даже они заблуждаются, все равно полезно знать, что они думают: это может пригодиться. Во всяком случае, так оно лучше, чем самим убеждать себя, как у вас это принято, что весь мир восхищается вами, и самим восхищаться собой или поносить себя — попеременно. Какой толк кричать в припадке регулярно повторяющихся увлечений той или иной модой, что вы величайший народ мира, и тут же — что латинские нации пребывают в безнадежном упадке; что великие идеи исходят из Франции, и тут же — что вы годны лишь забавлять Европу. Не следует закрывать глаза на подтачивающий вас недуг, как не следует и падать духом; напротив — вас должна вдохновлять мысль о борьбе за жизнь и честь вашей нации. Кто почувствовал жизнестойкость этой нации, которая не желает умирать, тот может и должен смело обнажать ее язвы и ее смешные черты, дабы бороться с ними, а в первую

очередь, дабы бороться с теми, кто использует все плохое и живет этим.

Я.— Не трогай Францию — даже ради ее защиты. Ты смущаешь честных людей.

Кристоф.— О да, честных людей, тех честных людей, которые огорчаются, услышав, что во Франции не все благополучно, что есть в ней много и невеселого и уродливого. Их самих используют во зло, но они не хотят в этом признаться. Им так тяжело обнаружить плохое в других, что они предпочитают быть жертвой. Им необходимо хотя бы раз в день слышать, что все к лучшему в этой лучшей из стран, что:

О Франция, ты ввек пребудешь первой!

После чего честные люди успокаиваются и снова погружаются в сон,— а дела за них делают другие... Славные, милые люди! Я огорчил их. Я огорчу их еще больше. Да простят они меня... Но если им неугодно принимать помощь в борьбе против своих угнетателей, то пусть не забывают: терпят гнет не только они и не все обладают их безропотным нравом и способностью обольщаться иллюзиями,— других эта безропотность и это обольщение иллюзиями отдают во власть угнетателей. Вот где подлинные страдания. Вспомни! Как мы страдали! А сколько еще страдало вместе с нами, когда на наших глазах атмосфера с каждым днем становилась все более удушливой, искусство разлагалось, цинизм и безнравственность разъедали политическую жизнь, дряблая мысль отступала, проваливаясь в бездну, не скрывая самодовольного смеха... И мы с тоской наблюдали это, тесно прижавшись друг к другу... Да, тяжелые годы прожили мы вместе! Учителя наши и не подозревают о тех муках, которых мы натерпелись в молодости, под их эгидой... Мы устояли... Мы спаслись... Неужели мы не спасем других? Будем равнодушно смотреть, как другие, в свой черед, терпят те же страдания, и не протянем им руки? Нет, мы связаны общей участью. Нас тысячи во Франции, которые думают так же,— я только высказал вслух их мысли. Я знаю, что я говорю от их имени. И скоро я заговорю о них самих, я жажду показать истинную Францию, Францию угнетенную, Францию во всей ее толще: евреев, христиан, людей свободомыслящих, людей разных верований, разной крови. Но чтобы добраться до настоящей Франции, нужно сначала пробиться сквозь толпу тех, кто охраняет двери дома. Пусть прекрасная пленница стряхнет с себя апатию и разрушит наконец стены темницы. Она сама не знает своих сил и убожества своих противников.

Я.— Ты прав, ты — моя душа, но что бы ты ни предпринял, остерегайся ненавидеть.

Кристоф.— Я чужд ненависти. Даже когда я думаю о самых злых людях, я твердо помню, что они люди, что они страдают так же, как и мы, и что когда-нибудь они умрут. Но я должен бороться с ними.

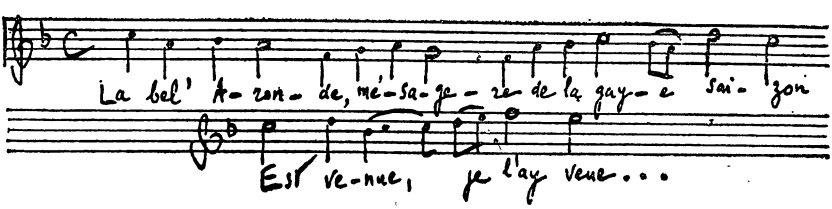
Я.— Бороться — значит делать зло, даже когда борешься во имя блага. Страдание, которое ты почти неизбежно причинишь хотя бы одному живому существу, стоит ли блага, которое ты собираешься принести этим прекрасным кумирам: «искусству» или «человечеству»?

Кристоф.— Если таково твое мнение, откажись от искусства и откажись от меня.

Я.— Нет, не оставляй меня. Что станется со мной без тебя? И когда же наступит мир?

Кристоф.— Когда ты добьешься его. Скоро... Скоро... Смотри, над нами уже летит весенняя ласточка.

Я.—



Кристоф.— Хватит мечтать, дай мне руку, пойдем.

Я.— Да, надо следовать за тобой, тень моя.

Кристоф.— Кто же из нас тень?

Я.— Как ты вырос! Я не узнаю тебя.

Кристоф.— Это солнце садится.

Я.— Ребенком ты нравился мне больше.

Кристоф.— Пойдем. Осталось лишь несколько часов до наступления ночи.

Р. Р.

Март. 1908

---

[1] Прекрасная ласточка, вестница радостной поры, уже прилетела, я видел ее *(франц.)*.

Порядок, уживающийся с беспорядком. Нерадивые и развязные кондукторы. Протестующие против правил, но все же подчиняющиеся им пассажиры. Кристоф был во Франции.

Удовлетворив любопытство таможенников, он снова сел в парижский поезд. Ночь спускалась на размокшее от дождя поле. Резкие огни вокзалов сильнее оттеняли унылость нескончаемой, погребенной во мраке равнины. Встречные поезда, проносившиеся все чаще, раздирали воздух свистками, от которых вздрагивали погруженные в сон пассажиры. Подъезжали к Парижу.

Еще за час до прибытия Кристоф приготовился к выходу: нахлобучил шляпу, застегнулся на все пуговицы, помня, что Париж, как ему рассказывали, кишит ворами; раз двадцать вставал и снова садился, раз двадцать перекладывал свой чемодан с сетки на скамейку и со скамейки на сетку, к негодованию соседей, которых, по своей неловкости, он каждый раз толкал.

Перед самым вокзалом поезд остановился в полной темноте. Прильнув лицом к оконному стеклу, Кристоф тщетно пытался разглядеть хоть что-нибудь. Он оборачивался к спутникам в надежде встретить располагающий к разговору и расспросам взгляд. Но все дремали или притворялись, что дремлют; лица у всех были хмурые и скучающие; никто даже не шевельнулся, чтобы выяснить причину остановки. Кристофа удивило это равнодушие,— как мало походили эти надутые и осовелые люди на французов, рисовавшихся его воображению. В конце концов он разочарованно уселся на свой чемодан и, покачиваясь в такт движению поезда, сам задремал, как вдруг его разбудил шум открываемых дверей. Париж! Пассажиры повалили из вагонов.

Кристофа толкали, и он сам толкал других, направляясь к выходу и отстраняя предлагавших свои услуги посильщиков. Подозрительный, словно крестьянин, он в каждом встречном видел вора. Взвалив на плечо свой драгоценный чемодан, он пошел вперед, не обращая внимания на гневные окрики людей, среди которых он прокладывал себе путь. И наконец очутился на липкой парижской мостовой.

Но Кристоф ничего не видел, затертый среди экипажей, весь поглощенный своей ношей и заботами о предстоящем ночлеге. Прежде всего требовалось найти комнату. В гостиницах недостатка не было: они подступали к самому вокзалу, ярко горевший газ обозначал их названия. Кристоф стал искать наименее яркую вывеску,— ни одна не казалась ему достаточно скромной для его кошелька. Наконец на одной из боковых улиц он увидел грязный постоялый двор с кухмистерской в нижнем этаже. Назывался он «Отель де ла Сивилизасьон». За столом сидел толстый человек без пиджака и курил трубку; увидя входящего Кристофа, он подбежал к нему. Он не понял ни слова из ужасного французского языка новоприбывшего, но с первого же взгляда сообразил, что за человек этот неуклюжий и детски простодушный немец, который отказывался расстаться со своими пожитками и силился произнести целую речь на каком-то несуществующем жаргоне. Хозяин провел Кристофа по зловонной лестнице в душную комнату, выходившую во внутренний двор. При этом он не преминул расхвалить тишину комнаты, куда не доходят уличные шумы, и заломил за нее огромную цену; Кристоф плохо понимал, что ему говорят, ничего не зная об условиях парижской жизни; плечо его ныло от тяжелой ноши, и он был согласен на все, лишь бы поскорее остаться одному. Но когда он осмотрелся кругом, его покоробило от грязи, и, не желая поддаваться подступавшей к горлу тоске, Кристоф поспешил выйти на улицу, предварительно окунув голову в воду, столь пыльную, что она казалась даже жирной. Чтобы заглушить отвращение, он старался не смотреть и не дышать.

Кристоф вышел на улицу. Плотный, пронизывающий октябрьский туман отдавал тем приторным парижским запахом, в котором вонь пригородных заводов смешивается с тяжким дыханием города. В десяти шагах ничего не было видно. Тусклые огни газовых рожков мигали, как гаснущие свечи. В полумраке двумя встречными потоками текли людские толпы. Экипажи сталкивались, наезжали один на другой, загромождали путь, застопоривали движение, словно плотина. Лошади скользили по обледеневшей грязи. Брань извозчиков, гудки и

звонки трамваев сливались в оглушительный шум. Этот шум, эта давка, этот запах ошеломили Кристофа. Он остановился на мгновенье, но его тотчас подхватил и понес за собой людской поток. Он прошел по Страсбургскому бульвару, ничего не видя, неуклюже налетая на прохожих. С самого утра он ничего не ел. Попадавшиеся на каждом шагу кафе страшили его и внушали ему отвращение,— так они были переполнены. Он обратился к полицейскому, но настолько медленно подыскивал слова, что тот даже не дал себе труда выслушать до конца фразу и, пожав плечами, повернулся к нему спиной. Кристоф машинально побрел дальше. Перед витриной стояло несколько человек. Кристоф тоже машинально остановился. Это был магазин фотографий и почтовых открыток, изображавших девиц в рубашках и без оных; там же можно было увидеть иллюстрированные издания, пестревшие непристойными карикатурами. Дети и молодые женщины спокойно рассматривали все это. Тощая рыжеволосая девица, увидя погруженного в созерцание Кристофа, предложила ему пройтись. Он ничего не понимал и только смотрел на нее. Тупо улыбаясь, она взяла его под руку. Он высвободился и пошел дальше, весь красный от гнева. Бесконечной вереницей тянулись кафешантаны с кричащими афишами у входов. Толпа становилась все гуще; Кристоф поражался множеству порочных физиономий, подозрительных фланеров, гнусных оборванцев, намазанных и до тошноты надушенных девиц. Его знобило. От усталости, слабости и невыносимого отвращения, которое все росло, у него кружилась голова. Он стиснул зубы и пошел быстрее. Чем ближе к Сене, тем плотнее становился туман. Экипажи, двигавшиеся нескончаемой вереницей, то и дело задевали друг друга рессорами и колесами. Вдруг одна лошадь поскользнулась и упала на бок; кучер стал нещадно стегать ее, но ей никак не удавалось подняться — подпруга душила ее, лошадь билась, вставала на ноги, снова падала и лежала неподвижно, словно мертвая. Для Кристофа это столь обычное зрелище было той каплей, которая переполняет душу. Судороги несчастной лошади, мучившейся на глазах равнодушных людей, с такой остротой заставили Кристофа почувствовать свое собственное ничтожество среди этой тысячной толпы и с такой неудержимой силой прорвалось в нем, вопреки его воле, отвращение к этому людскому стаду, к этой отравленной атмосфере, к этому враждебному миру, что он, задыхаясь, разразился рыданиями. Прохожие удивленно оглядывались на великовозрастного юношу с искаженным от боли лицом. Слезы струились по его щекам, а он все шагал, не вытирая их. Иные

останавливались на мгновение и провожали его глазами. Если бы он мог читать в душе этой толпы, казавшейся ему такой враждебной, то, быть может, различил бы у некоторых братское сочувствие,— правда, не без легкой примеси парижской иронии. Но он уже ничего не видел: слезы ослепляли его.

Он очутился на площади, возле фонтана. Вымыл руки, окунул в воду лицо. Мальчик-газетчик, с любопытством смотревший на Кристофа, пускал по его адресу насмешливые, но беззлобные замечания и тем не менее, когда Кристоф обронил шляпу, поднял ее. Ледяная вода освежила Кристофа. Он оправился и повернул обратно, стараясь не смотреть по сторонам; он даже перестал думать об еде; он не в силах был с кем-либо заговорить,— достаточно было пустяка, чтобы слезы вновь хлынули у него из глаз. Он выбился из сил. Он заблудился, побрел наудачу и вдруг оказался перед своей гостиницей в тот самый момент, когда считал, что безвозвратно погиб,— он позабыл даже название улицы, на которой поселился.

Кристоф вошел в свое гнусное пристанище, голодный, с горящими глазами, весь разбитый душевно и физически, и бессильно опустился на стоявший в углу стул; так он просидел два часа, не в состоянии шевельнуться. Наконец он стряхнул с себя оцепенение и лег. И тут же впал в лихорадочное забытье, от которого каждую минуту пробуждался с таким ощущением, точно проспал несколько часов подряд. В комнате не хватало воздуха; все тело его жгло, как огнем; мучительно хотелось пить; он был во власти бессмысленных кошмаров, не покидавших его, даже когда он открывал глаза; приступы жгучей тоски пронзали его, словно удары ножом. Среди ночи он проснулся, охваченный таким ужасным отчаянием, что готов был завыть; он заткнул рот простыней, чтобы заглушить крик,— ему казалось, что он сходит с ума. Он сел на кровати и зажег свечу. Пот лил с него градом. Он встал и открыл чемодан, чтобы достать платок. Рука его нащупала старую Библию, засунутую матерью в стопку белья. Кристоф никогда не был усердным читателем этой книги, но сейчас ему было невыразимо отрадно раскрыть ее. Библия принадлежала деду и отцу деда. Дед и прадед вписали на чистом листе в конце книги свои имена и даты важнейших событий их жизни — рождений, браков, смертей. Крупным почерком деда были записаны карандашом числа, когда он читал и перечитывал ту или иную главу; страницы были переложены клочками пожелтевшей бумаги, на которые старик заносил свои незамысловатые размышления. Эта Библия стояла на полке над изголовьем его кровати; он брал ее в долгие, бессон-

ные ночи и не столько читал, сколько беседовал с нею. Она была его спутницей до смертного часа, как раньше была спутницей его отца. Целым столетием семейных радостей и утрат веяло от этой книги. Кристоф вдруг почувствовал себя менее одиноким.

Он открыл книгу на самых мрачных строках:

«Не определено ли человеку время на земле, и дни его не то же ли, что дни наемника...

Когда ложусь, то говорю: «когда-то встану?»; а вечер длится, и я ворочаюсь досыта до самого рассвета...

Когда подумаю: «утешит меня постель моя, унесет горесть мою ложе мое», Ты страшишь меня снами и видениями пугаешь меня...

Доколе же Ты не оставишь, доколе не отойдешь от меня, доколе не дашь проглотить мне слюну мою?

Если я согрешил, то что я сделаю Тебе, страж человеков!..

Все одно; поэтому я сказал, что Он губит и непорочного и виновного.

Вот, Он убивает меня; но я буду надеяться...»

Пошлым сердцам трудно понять, сколь благотворна эта безысходная печаль для несчастных. Всякое величие благостно, и высший предел скорби есть уже избавление от нее. Если что принижает, угнетает, непоправимо губит душу,— так это убожество горя и радости, мелочное и себялюбивое страдание, недостаточно сильное, чтобы отрешиться от утраченного наслаждения, и втайне готовое на любые низости ради нового наслаждения... Суровое дуновение, исходившее от старой книги, вернуло Кристофу бодрость; ветер с Синая, из широких пустынь, с могучего моря выметал ядовитые испарения. Лихорадка утихла. Кристоф снова лег и мирно проспал до утра. Когда он открыл глаза, было уже светло. С еще большей отчетливостью выступила вся неприглядность его временного пристанища: живо ощутил он свою нищету и свое одиночество и взглянул бедам прямо в лицо. Уныние прошло; осталась только мужественная печаль. Он перечел слова Иова:

«Вот, Он убивает меня; но я буду надеяться...»

Он встал и спокойно ринулся в бой.

Он решил не откладывать и предпринять первые шаги в это же утро. Только двое знакомых было у него в Париже — двое молодых людей, его земляков: бывший друг его Отто Динер,

ныне торговец сукном в компании с дядей в квартале Майль, и некий еврейчик из Майнца, Сильвен Кон, по слухам работавший в большом книжном магазине; адреса его Кристоф не знал.

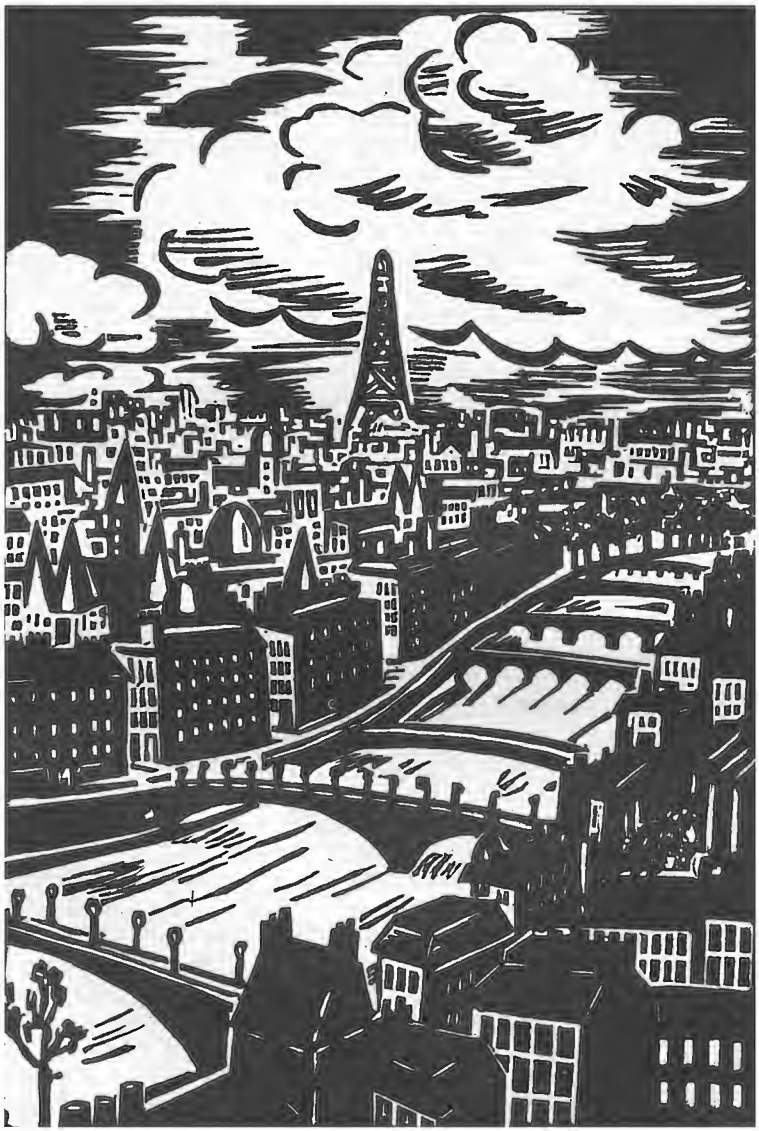
Кристоф очень дружил с Динером, когда им было лет по пятнадцати [1]. Он питал к нему тогда ту детскую дружбу, которая опережает любовь и сама уже является любовью. Динер тоже любил его. Пухленький, робкий и уравновешенный Отто был покорен бурной независимостью Кристофа и старался подражать ему изо всех сил, что получалось смешно,— Кристофа это раздражало и в то же время льстило ему. В ту пору они строили грандиозные планы, которые должны были перевернуть мир. Потом Динер отправился путешествовать для пополнения коммерческого образования, и они больше не виделись. Однако Кристоф получал о нем вести от земляков, с которыми Динер не порывал связи.

С Сильвеном Коном у Кристофа были иные отношения. Они познакомились совсем еще малышами, в школе, где юркий, как обезьяна, Кон подстраивал Кристофу разные штуки, а тот в отместку колотил его. Кон не защищался; он безропотно позволял швырять себя на землю и тыкать лицом в пыль и только хныкал, но тут же снова с неутомимым коварством принимался за свои проделки, пока наконец Кристоф не напугал шалуна всерьез, пригрозив его убить.

Кристоф вышел из дому рано. По дороге он завернул в кафе позавтракать. Он решил пользоваться любым случаем, чтобы говорить по-французски, как бы при этом ни страдало его самолюбие. Раз ему предстояло жить в Париже, может быть, долгие годы, надо было как можно скорее приспособиться к условиям тамошней жизни и преодолеть неприязненные чувства. Поэтому он твердо решил не обращать внимания на официанта, насмешливо слушавшего его тарабарщину, храбро строил тяжеловесные и неуклюжие фразы и повторял их до тех пор, пока его наконец не поняли.

Он пустился на поиски Динера. Как и обычно, когда им овладевала какая-нибудь мысль, он не видел ничего вокруг. Во время этой первой прогулки Париж произвел на него впечатление старого и неопрятного города. Кристоф привык к городам молодой Германской империи, одновременно и очень старым и очень юным, в которых ощущается гордость неизрасходованной

[1] См. «Утро».— *Р. Р.*



«Жан-Кристоф». Книга пятая.

силы. И его неприятно поразили разрытые тротуары, грязные мостовые, людская толчея, беспорядочное движение экипажей всех сортов и видов — от почтенных конных омнибусов до паровых и электрических трамваев, ларьки на тротуарах, карусели с деревянными лошадками (или, вернее, с деревянными уродцами) на площадях, уставленных статуями мужчин в сюртуках,— словом, все это неряшество средневекового города, приобщенного к благам всеобщего голосования, но неспособного отделаться от своей старой нищенской натуры. Вчерашний туман сменился мелким пронизывающим дождем. Во многих лавках горел газ, хотя было уже больше десяти часов.

Поблуждав в лабиринте улиц, прилегающих к площади Победы, Кристоф добрался наконец до магазина на Банковской улице. При входе ему показалось, будто в глубине длинной и темной лавки стоит Динер, окруженный служащими, и разбирает какие-то тюки. Но Кристоф был немного близорук и не полагался на свое зрение, хотя оно редко обманывало его. Когда Кристоф назвал свое имя встретившемуся ему приказчику, в кучке людей, разбиравших товар, засуетились и после минутного совещания от нее отделился молодой человек, который сказал по-немецки:

— Господин Динер ушел.

— Ушел? Надолго?

— Полагаю, что да. Он только что вышел.

Кристоф с минуту подумал, потом сказал:

— Хорошо, я подожду.

Удивленный служащий поспешно прибавил:

— Он вряд ли вернется раньше, чем через два-три часа.

— Ничего,— спокойно отвечал Кристоф.— Мне в Париже делать нечего. Я могу ждать хоть целый день, если понадобится.

Молодой человек с недоумением покосился на него, думая, что он шутит. Но Кристоф уже позабыл о своем собеседнике. Он спокойно уселся в уголок, спиной к входной двери, с таким видом, точно собирался здесь заночевать.

Приказчик снова удалился в глубь магазина и стал шептаться с товарищами; с комическим замешательством они обсуждали, как бы отделаться от назойливого посетителя.

После нескольких минут всеобщей растерянности дверь в контору открылась, и показался г-н Динер. У него было широкое красное лицо с фиолетовым шрамом, пересекавшим щеку и подбородок, светлые усы, гладко причесанные на боковой пробор волосы, золотое пенсне, золотые запонки в манишке, а на толстых пальцах — кольца. В руках он держал шляпу и зонтик.

Он непринужденно подошел к Кристофу. Замечтавшийся на стуле Кристоф подскочил от изумления. Он схватил Динера за руки и огласил магазин таким шумным ликованием, что приказчики фыркнули, а Динер покраснел. У него имелось немало оснований воздерживаться от возобновления прежних отношений с Кристофом, и он решил сразу же поставить друга детства на место, подавив его внушительностью своей особы. Но едва только встретился он глазами с Кристофом, как снова почувствовал себя маленьким мальчиком. Гнев и стыд овладели им. Он торопливо пробормотал:

— Пройдем в кабинет... там будет удобнее разговаривать.

Кристоф вспомнил его всегдашнюю осторожность.

Но и в кабинете, дверь которого Динер тщательно затворил, Кристофу не было предложено сесть. Не садясь сам, хозяин начал тяжеловесное объяснение:

— Очень рад... А я как раз собирался уходить... Они думали, что я уже ушел... Но мне надо идти... В моем распоряжении одна минута... Неотложное дело...

Кристоф понял, что приказчик солгал ему, и солгал по сговору с Динером, чтобы спровадить его. Кровь бросилась ему в голову, но он сдержанно и сухо сказал:

— Успеется.

Динера передернуло. Он был возмущен такой бесцеремонностью.

— Как это успеется? — вскричал он.— Дела...

Кристоф посмотрел ему прямо в лицо:

— Неправда.

Пухлый немчик опустил глаза. Он ненавидел Кристофа за то, что так смалодушничал перед ним. Он что-то досадливо пробормотал. Кристоф перебил его:

— Вот что. Ты знаешь...

(Это «ты» покоробило Динера, который тщетно старался с первых же слов воздвигнуть барьер между собой и Кристофом обращением на «вы».)

— ...Ты знаешь, почему я здесь?

— Да, знаю,— отвечал Динер.

(Ему было известно из писем о выходке Кристофа и о возбужденном против него деле.)

— Значит,— продолжал Кристоф,— тебе известно, что я нахожусь здесь не ради удовольствия. Мне пришлось бежать. У меня нет ни гроша. Мне надо как-то жить.

Динер ждал просьбы. И выслушал ее со смешанным чувством удовлетворения (ибо она снова давала ему превосходство

над Кристофом) и неловкости (ибо он не решался дать почувствовать Кристофу это превосходство так, как бы ему хотелось).

— Ах, как досадно, как досадно! — с важностью произнес он.— Жить здесь трудно. Все так дорого. У нас огромные расходы. Столько служащих...

Кристоф презрительно перебил его:

— Я не прошу у тебя денег...

Динер был сбит с толку. Кристоф продолжал:

— Хорошо идут твои дела? Покупателей много?

— Недурно, слава богу...— осторожно ответил Динер. Он боялся быть откровенным.

Кристоф бросил на него яростный взгляд и продолжал:

— У тебя много знакомых в немецкой колонии?

— Много.

— Так вот расскажи им обо мне. Среди них наверное есть любители музыки. У них есть дети. Я хочу давать уроки.

Динер совсем смутился.

— Это еще что? — удивился Кристоф.— Уж не сомневаешься ли ты в моих познаниях?

Он просил об услуге таким тоном, точно сам ее оказывал. Динер, который если бы и оказал Кристофу услугу, то лишь ради удовольствия дать почувствовать другу, что он его осчастливил, твердо решил, что и пальцем не шевельнет ради него.

— О, у тебя знаний в тысячу раз больше, чем нужно... Только...

— Ну?

— Видишь ли, это трудно, ужасно трудно из-за твоего положения...

— Моего положения?

— Да... Понимаешь, эта история, этот процесс... Вдруг все это разгласится... Мне это неудобно. Это может привести к большим неприятностям для меня.

Он замолчал, увидев, что лицо Кристофа перекосилось от гнева, и поспешно добавил:

— Я не из-за себя... Сам-то я не боюсь... Будь я один... Но дядя... Фирма принадлежит ему, без него я здесь — ничто.

Все больше и больше пугаясь лица Кристофа и неминуемой с его стороны вспышки, Отто закончил скороговоркой (ибо, в сущности, он был неплохой человек; в нем боролись скупость и тщеславие; он не прочь был оказать услугу Кристофу, но по дешевке):

— Хочешь пятьдесят франков?

Кристоф побагровел. Он шагнул к Динеру с таким видом,

что тот одним прыжком оказался у двери и широко распахнул ее, готовясь позвать на помощь. Но Кристоф вплотную приблизил к нему налившееся кровью лицо и зычно крикнул:

— Свинья!

Он оттолкнул его и двинулся к выходу, где строем стояли приказчики. На пороге он брезгливо плюнул.

Кристоф быстро шагал по улице, пьяный от гнева. Дождь отрезвил его. Куда он шел? Он и сам не знал. Знакомых у него не было. Чтобы собраться с мыслями, он остановился перед витриной книжного магазина и смотрел, не видя, на выставленные книги. Вдруг внимание его привлекла фамилия издателя, напечатанная на обложке. Почему, он сам не понимал. Через несколько секунд он вспомнил, что это фамилия издателя, у которого служил Сильвен Кон. Он записал адрес... Зачем? Конечно, он не пойдет туда... Почему не пойдет? Если этот мерзавец Динер, который был его лучшим другом, оказал ему такой прием, то чего же ожидать от человека, с которым Кристоф в свое время обращался так бесцеремонно и который, наверно, ненавидит его? Ничего, кроме лишних унижений! Вся кровь кипела в нем. Но, должно быть, прирожденный пессимизм, развившийся в нем под воздействием воспитания, побуждал его испить до конца чашу людской подлости. «Я не вправе слишком привередничать. Надо все испробовать, а потом уж околевать».

Внутренний голос добавил: «И я не околею».

Кристоф еще раз прочитал адрес и отправился к Кону. Он решил разбить ему физиономию при первом же дерзком слове.

Издательство помещалось в квартале Мадлен. Кристоф поднялся в приемную на втором этаже и спросил Сильвена Кона. Швейцар в ливрее ответил, что «не знает такого». Кристоф удивился, решив, что, очевидно, плохо произнес имя, и повторил вопрос, но швейцар, внимательно выслушав его, подтвердил, что в издательстве таких не имеется. Совсем опешивший Кристоф извинился и уже собрался уходить, как вдруг в конце коридора отворилась дверь и показался сам Кон, провожавший какую-то даму. Под впечатлением полученной от Динера обиды Кристоф склонен был везде видеть насмешку. Поэтому первой его мыслью было, что Кон заметил, как он входил, и приказал сказать, что его нет. В негодовании он быстро направился к выходу, как вдруг услышал свое имя. Зоркие глаза Кона издали узнали Кристофа, и вот уже сам Кон бежал к нему с улыбкой на губах, с протянутыми руками, сияя от радости.

. Сильвен Кон был низенький, коренастый, гладко выбритый по американской моде жгучий брюнет, багрово-красный, широколицый, с заплывшими жиром чертами, с прищуренными бегающими глазками, немного перекошенным ртом и брезгливой хитрой улыбкой. Одет он был с изяществом, которое долженствовало скрывать изъяны его сложения — сутулые плечи и широкие ляжки. Никакие другие недостатки не тревожили самолюбия Кона, но он бы с удовольствием согласился получать каждый день по пинку в зад, лишь бы это прибавило ему росту и стройности. Во всем остальном он был вполне доволен собой и считал себя неотразимым. И самое замечательное, что он не ошибался. Этот немецкий еврейчик, этот увалень, сделался хроникером и арбитром парижской моды. Замысловато-утонченным слогом писал он нудные отчеты о светской жизни. Он считался поборником изящного французского стиля, французской элегантности, французской галантности, французского остроумия,— словом, само регентство, красные каблучки, кавалер Лозен. Над ним потешались, но это не мешало ему преуспевать. Те, что говорят, будто в Париже смешное убивает, не знают Парижа: смешное там не только не убивает, а, наоборот, многих кормит; смешное помогает достичь в Париже всего, даже славы, даже успеха у женщин. Сильвен Кон терял счет признаниям в любви, которые получал ежедневно за свое франкфуртское фиглярство.

Говорил он фистулой, с сильным акцентом.

— Вот приятный сюрприз! — весело вскричал он, тряся руку Кристофа своими жирными ручками с короткими, раздутыми, как сосиски, пальцами.

Он все не мог решиться выпустить Кристофа из объятий. Казалось, это встретились два лучших друга. Ошарашенный Кристоф подумал, уж не насмехается ли над ним Кон. Но Кон не насмехался. А если и насмехался, то не больше обычного. Кон не отличался злопамятством, он был слишком умен для этого. Давным-давно позабыл он суровые расправы Кристофа, а если бы и вспомнил, то не придал бы этому значения. Он заранее восторгался тем, что случай предоставил ему возможность показать себя старому товарищу во всем своем новом блеске и щегольнуть перед ним изысканностью парижского обхождения. Он не лгал, говоря о приятном сюрпризе: менее всего на свете он ожидал увидеть Кристофа; и хотя он был слишком искушенным человеком, чтобы не догадаться о цели этого визита, он искренне обрадовался Кристофу — уже потому, что видел в этом посещении признание своей влиятельности.

— Вы прямо из наших мест? Как поживает мамаша? — спрашивал он с фамильярностью, которая в другое время покоробила бы Кристофа, но здесь, в этом чужом городе, показалась ему даже приятной.

— Но, позвольте, ведь мне сейчас сказали,— недоверчиво заметил Кристоф,— что никакого господина Кона здесь вообще нет?

— Господина Кона действительно здесь нет,— со смехом подтвердил Сильвен Кон.— Я больше не Кон. Меня зовут Гамильтоном.— Виноват! — вдруг прервал он сам себя и побежал пожать руку проходившей мимо даме, состроив при этом самую любезную улыбку.

Он тут же вернулся и объяснил, что это писательница, прославившаяся жгуче-сладострастными романами. У современной Сафо были пышные формы и огненно-рыжие волосы, обрамлявшие веселое накрашенное лицо; грудь была украшена орденом на фиолетовой ленточке. Она говорила претенциозно, мужским голосом, с акцентом Франш-Контэ.

Кон возобновил свои расспросы. Он осведомился о всех земляках, интересовался, кокетничая своей памятью, что сталось с таким-то или таким-то. Кристоф позабыл про свою былую антипатию; он уже чувствовал признательность и отвечал сердечно, приводил массу подробностей, совершенно неинтересных Кону (пока тот снова не прервал его).

— Виноват! — прервал он разговор и побежал здороваться с другой посетительницей.

— Что это? — удивился Кристоф.— Неужели во Франции пишут одни только женщины?

Кон расхохотался и фатовато ответил:

— Франция — женщина, дорогой мой. Если хотите преуспеть, намотайте себе это на ус.

Но Кристоф не слушал его и продолжал свое. Чтобы как-нибудь положить конец его излияниям, Кон спросил:

— Но как вы сюда попали, черт возьми?

«Так и есть! — подумал Кристоф.— Он ничего не знает. Оттого-то он так и любезен. Все изменится, когда я ему скажу».

Он счел делом чести сообщить обо всем, что могло скомпрометировать его: о драке с солдатами, о возбужденном против него судебном преследовании и о бегстве из Германии.

Кон покатился со смеху.

— Браво! — кричал он.— Браво! Презабавная история!

Он с жаром пожал Кристофу руку. Его приводило в восторг любое посрамление властей. Рассказ же Кристофа осо-

бенно позабавил его, поскольку он знал героев этой истории; ему наглядно представился весь ее комизм.

— Послушайте,— продолжал он.— Уже первый час. Сделайте мне удовольствие... позавтракаем вместе.

Кристоф с благодарностью принял предложение. Он подумал: «Действительно, он славный малый. Как я ошибался!»

Они вышли вместе. По дороге Кристоф отважился изложить свою просьбу.

— Вы сами видите, в каком я положении. Я приехал сюда искать работы, уроков музыки, пока меня еще не знают. Могли бы вы порекомендовать меня?

— Еще бы! — воскликнул Кон.— Сколько угодно. Я всех здесь знаю. Весь к вашим услугам.

Он был счастлив щегольнуть своим влиянием.

Кристоф рассыпался в благодарностях. Огромная тяжесть свалилась с его плеч.

За столом он набросился на пищу с аппетитом человека, голодавшего уже третьи сутки. Он повязал салфетку вокруг шеи и ел с ножа. Прожорливость его и мужицкие манеры шокировали Кона-Гамильтона. А пожалуй, еще больше задевало равнодушие Кристофа к его бахвальству. Кон намеревался ослепить молодого человека рассказами о своих блестящих знакомствах, об умопомрачительном успехе у женщин. Но зря он старался — Кристоф не слушал, бесцеремонно перебивал. Язык у него развязался, он чувствовал себя слишком непринужденно. Сердце его было переполнено благодарностью, и он совсем замучил Кона, простодушно поверяя ему свои планы на будущее. Особенно раздражала Кона манера Кристофа тянуться к нему через стол и с чувством пожимать ему руку. И уже в совершенную ярость его привело предложение Кристофа чокнуться по немецкому обычаю и выпить сентиментальный тост за земляков и за «Vater Rhein» [1]. Кон с ужасом ожидал, что Кристоф, чего доброго, еще запоет. Соседи иронически поглядывали на них. Сославшись на неотложные дела, Кон извинился и встал. Но Кристоф уцепился за него: он хотел знать, когда он может получить рекомендацию, пойти к кому-нибудь, начать уроки.

— Я займусь этим. Сегодня же. Сегодня же вечером,— пообещал Кон.— Даже сейчас. Можете быть спокойны.

Кристоф не отставал:

— Когда же вы дадите мне знать?

---

[1] Отец Рейн *(нем.)*.

— Завтра... завтра... или послезавтра.

— Отлично. Я завтра к вам зайду.

— Нет, нет,— поспешно перебил его Кон.— Я сам извещу вас. Не беспокойтесь...

— Помилуйте, какое же беспокойство! Наоборот! Ведь пока что мне в Париже нечего делать.

«Черт!..» — подумал Кон.

— Нет,— произнес он вслух,— лучше я вам напишу. Вы меня не застанете в ближайшие дни. Дайте мне ваш адрес.

Кристоф продиктовал адрес.

— Великолепно. Я вам завтра напишу...

— Завтра?

— Завтра. Можете положиться на меня.

Он вырвал свою руку из рук Кристофа и скрылся.

«Уф! — отдувался он.— Вот надоел!»

Придя в контору, он предупредил швейцара, что его не будет на месте, когда бы к нему ни явился «немец». Через десять минут он уже позабыл о Кристофе.

Кристоф вернулся в свою конуру. Он расчувствовался. «Добрый малый! — думал он.— Как я был несправедлив к нему! И он на меня ничуть не сердится!»

Его мучили угрызения совести; он чуть было не написал Кону, как ему тяжело теперь, что он плохо судил о нем в школьные годы и не испросил у него прощения за прошлые обиды. У Кристофа даже слезы навернулись на глаза. Но написать письмо ему было труднее, чем партитуру, и, выругав раз десять чернила и перо, действительно дрянные, перемарав, исчеркав и изорвав четыре или пять листов бумаги, он потерял терпение и послал все и вся к черту.

Было еще рано, но Кристоф так устал от тяжелой ночи и утренней ходьбы по городу, что задремал тут же, на стуле. Очнулся он лишь под вечер, сразу же лег в постель и проспал двенадцать часов подряд.

На другой день он уже с восьми часов утра стал ждать обещанного ответа. В аккуратности Кона он не сомневался. Он не уходил ни на минуту из дому, решив, что Кон зайдет, быть может, в гостиницу по дороге на службу. Боясь отлучиться, он около двенадцати часов велел подать себе завтрак из кухмистерской, что помещалась внизу. Потом снова стал ждать, в полной уверенности, что Кон заглянет к нему по пути из ресторана. Он шагал по комнате, садился, опять принимался шагать,

бросаясь к двери каждый раз, когда на лестнице раздавались шаги. У него даже не было желания прогуляться по Парижу, чтобы убить время. Он прилег на кровать. Мысль его постоянно возвращалась к старушке матери, которая одна только о нем и думала. Он чувствовал к ней беспредельную нежность и укорял себя за то, что покинул ее. Но он не стал ей писать. Он ждал, когда можно будет порадовать ее вестью о том, как он устроился. Несмотря на глубокую взаимную любовь, ни ей, ни ему не пришло бы в голову писать, просто чтобы выразить друг другу свои чувства,— письма ведь существуют для того, чтобы сообщать об определенных событиях и вещах. Закинув руки за голову, Кристоф лежал и мечтал. Хотя комната выходила во двор, гул Парижа нарушал тишину: даже дом сотрясался. Снова пришла ночь, а письма все не было.

Опять наступил день, во всем похожий на вчерашний.

На третий день Кристоф, доведенный чуть не до безумия этим добровольным заключением, решил выйти на улицу. Но Париж с первого же вечера внушил ему инстинктивное отвращение. У Кристофа не было ни малейшего любопытства, никакого желания осматривать Париж; поглощенный заботами о собственной жизни, он не находил удовольствия в наблюдении жизни других людей, и эти воспоминания о прошлом, памятники города, оставляли его равнодушным. Едва очутившись на улице, он почувствовал такую тоску, что, вопреки принятому решению, отправился к Кону не через неделю, а тут же.

Предупрежденный швейцар сказал, что г-н Гамильтон уехал из Парижа по делам. Это было неожиданным ударом для Кристофа. Заикаясь, он спросил, когда же г-н Гамильтон вернется. Швейцар наобум ответил:

— Дней через десять.

Кристоф вернулся домой в полном унынии и все следующие дни просидел взаперти. Он никак не мог снова взяться за работу. С ужасом заметил он, что его скромные капиталы — немножко денег, которые прислала ему мать, бережно завернув их в платок и спрятав на дно чемодана,— быстро тают. Кристоф посадил себя на самую строгую диету. Только раз в день спускался он обедать в кабачок, где быстро приобрел среди посетителей известность под кличкой «пруссак» или «кислая капуста». Сделав над собою невероятное усилие, написал он письма двум-трем французским композиторам, смутно знакомым ему по имени. Один из них умер уже десять лет назад. В почтительных выражениях Кристоф испрашивал у них аудиенции. Орфография письма была самая фантастическая, а слог усна-

щен причудливыми построениями и церемонными обращениями, обычными в немецком языке. Адресовал он свои послания «Во дворец Французской Академии». Единственный прочитавший это произведение адресат только весело посмеялся над ним в кругу приятелей.

Через неделю Кристоф опять явился в издательство. На сей раз ему посчастливилось. Он встретился на пороге с выходившим Сильвеном Коном. Кон сделал гримасу, увидев, что его застигли врасплох, но Кристоф был так рад, что ничего не заметил. По своему раздражающему обыкновению, он схватил Кона за обе руки и весело спросил:

— Вы уезжали? Хорошо съездили?

Кон кивнул, но гримаса не сходила с его лица. Кристоф продолжал:

— Я заходил, вы знаете... Вам передавали, не правда ли? Ну, что нового? Вы говорили обо мне? Что же вам сказали?

Кон хмурился все больше. Кристоф был удивлен его натянутостью: перед ним стоял как будто совсем другой человек.

— Я говорил о вас,— сказал Кон,— но ничего еще не знаю, все было некогда. Я был страшно занят с тех пор, как видел вас. Дел выше головы. Не знаю, как справлюсь. Совсем одолели. Кончится тем, что я свалюсь.

— Вы нехорошо себя чувствуете? — с участливой тревогой спросил Кристоф.

Кон лукаво покосился на него и ответил:

— Да, очень нехорошо. Уже несколько дней со мной что-то творится. Сильно нездоровится.

— Ах, боже мой! — воскликнул Кристоф, беря его под руку.— Так полечитесь хорошенько. Вам нужно отдохнуть. Как я браню себя за то, что наделал вам столько хлопот! Надо было сказать мне. А что с вами такое?

Он так чистосердечно принял на веру коварную выдумку Кона, что тот, веселясь в душе, был обезоружен этим забавным простодушием. Ирония — излюбленная забава евреев, но в Париже немало и христиан, которые в этом отношении — настоящие евреи, и посему они в высшей степени терпимы к тому, кто им докучает,— даже к врагам, если те доставляют им случай поупражняться на их счет в иронии. К тому же Кон не был нечувствителен к вниманию, которое Кристоф проявил к его особе. У него явилось желание оказать Кристофу услугу.

— Мне пришла в голову блестящая мысль,— сказал он.— В ожидании уроков не согласились бы вы поработать для музыкального издательства?

Кристоф с готовностью согласился.

— Я придумал, как помочь вам,— сказал Кон.— Я близко знаком с одним из владельцев крупной музыкальной фирмы Даниэлем Гехтом. Я вас представлю; может быть, для вас найдется там работа. Я ведь, как вы знаете, ничего в этом деле не смыслю. Но Гехт знаток в музыке. Вы легко столкуетесь.

Они уговорились встретиться на следующий день. Кон рад был отделаться от Кристофа и в то же время облагодетельствовать его.

На другой день Кристоф зашел за Коном в контору издательства. По его совету он захватил с собой несколько своих произведений, чтобы показать Гехту. Они застали Гехта в музыкальном магазине возле Оперы. Гехт не шевельнулся при их появлении, холодно протянул два пальца Кону, вовсе не ответил на церемонный поклон Кристофа; затем, по просьбе Кона, перешел с ними в соседнюю комнату. Он не предложил им сесть и сам остался стоять, прислонившись спиной к нетопленному камину и устремив глаза в потолок.

Даниэль Гехт был сорокалетний мужчина резко выраженного финикийского типа, высокий, тщательно одетый, с умным и неприятным выражением холодного лица, хмурым взглядом, черными волосами и длинной четырехугольной бородой, как у ассирийских царей. Он почти никогда не смотрел в лицо собеседнику, разговаривал грубо, ледяным тоном, что действовало как оскорбление, даже когда он просто здоровался. Эта дерзость была скорее напускной. Конечно, в ней сказывался его презрительный нрав, но еще больше — его скованность и даже какая-то автоматичность. Евреи этого типа не редкость, и общественное мнение не склонно щадить их, расценивая как нахальство эту оскорбительную резкость, тогда как часто она является лишь следствием неизлечимой физической и душевной неуклюжести.

Сильвен Кон представил своего протеже с шутливой торжественностью, расточая похвалы его таланту. Смущенный таким приемом, Кристоф неловко переминался с ноги на ногу, держа в руках шляпу и рукописи. Когда Кон умолк, Гехт, до этой минуты как будто и не подозревавший о присутствии Кристофа, пренебрежительно оглянулся на него и, тут же отведя глаза, сказал:

— Крафт... Кристоф Крафт... Никогда не слышал.

Слова эти подействовали на Кристофа как удар кулаком в грудь. Кровь бросилась ему в лицо. Он гневно ответил:

— Будет время — услышите.

Гехт даже бровью не повел и невозмутимо продолжал, как будто никакого Кристофа и не было здесь:

— Крафт... Не знаю.

Он принадлежал к числу тех людей, для которых вы ноль хотя бы уже потому, что они с вами не знакомы.

Он продолжал по-немецки:

— Так вы из Рейнланда?.. Удивительно, кто только там не занимается музыкой! По-моему, просто все подряд!

Гехт хотел пошутить, у него не было намерения сказать дерзость, однако слова его покоробили Кристофа. Он собирался уже возразить, но Кон предупредил его.

— Прошу прощения,— обратился он к Гехту,— хоть на меня не взводите поклепа: я же ничего не смыслю в музыке.

— Это делает вам большую честь,— ответил Гехт.

— Если для того, чтобы вам понравиться,— сурово сказал Кристоф,— нужно не быть музыкантом, я, к сожалению, вам не подойду.

Гехт, по-прежнему глядя в сторону, продолжал с тем же равнодушием:

— Вы уже что-нибудь сочинили? Что у вас написано? Lieder, разумеется?

— Lieder, две симфонии, симфонические поэмы, квартеты, сюиты для рояля, музыка для театра,— выпалил раскипятившийся Кристоф.

— В Германии много пишут,— с презрительной любезностью заметил Гехт.

То обстоятельство, что его посетитель написал столько произведений, а он, Даниэль Гехт, о них не слыхал, только увеличивало его недоверие к молодому композитору.

— Что же, я, пожалуй, мог бы дать вам работу,— сказал он,— раз вас рекомендует мой приятель Гамильтон. Мы издаем в настоящее время сборник легких фортепианных пьес — «Библиотеку для юношества». Могли бы вы «упростить» нам «Карнавал» Шумана и аранжировать его для четырех, шести и восьми рук?

Кристоф взбеленился.

— Так вот что вы мне предлагаете? И это мне, мне!

Это наивное «мне» развеселило Кона; но Гехт принял обиженный вид:

— Не понимаю, что могло вас так удивить. Это вовсе не легкая работа! А если она вам кажется слишком простой, тем лучше. Потом увидим. Вы мне говорите, что вы хороший музыкант. Вынужден вам верить. Но ведь я вас не знаю.

А про себя он думал: «Послушать этих крикунов, так они уже заткнули за пояс самого Иоганна Брамса».

Не отвечая ни слова (он поклялся обуздывать свои порывы), Кристоф нахлобучил шляпу и направился к двери. Кон со смехом остановил его.

— Подождите, подождите же! — крикнул он. И добавил, обращаясь к Гехту: — Ведь он принес несколько своих вещей, чтобы вы могли составить себе представление о нем.

— А! — отозвался сразу заскучавший Гехт.— Посмотрим, что там такое.

Кристоф молча протянул рукописи. Гехт небрежно скользнул по ним взглядом.

— Что это? «Фортепианная сюита»... (Читая:) «День»... Ах, опять программная музыка!..

Несмотря на кажущееся равнодушие, он читал с большим вниманием. Он был отличный музыкант, прекрасно знал свое дело и ничем вообще не интересовался, кроме музыки. С первых же тактов он ясно почувствовал, кто перед ним. Он умолк, продолжая пренебрежительно перелистывать ноты. Талантливость вещи поразила его. Но природное высокомерие и задетое словами Кристофа самолюбие не позволяли ему выразить свои впечатления. Он молча дочитал рукопись, не пропустив ни одной ноты.

— Да,— проговорил он наконец покровительственным тоном,— недурно написано.

Самая суровая критика меньше бы оскорбила Кристофа.

— Я не нуждаюсь в ваших отзывах! — раздраженно крикнул он.

— Мне кажется, однако,— заметил Гехт,— что раз вы показали мне эту вещь, то, очевидно, с целью услышать о ней мой отзыв.

— Никоим образом.

— В таком случае,— обиженно заявил Гехт,— я не понимаю, чего вам от меня нужно.

— Я прошу у вас работы, и больше ничего.

— В настоящее время я могу предложить вам только ту работу, о которой уже говорил. Да и то не наверное. Я сказал предположительно.

— И вы не можете найти ничего другого для такого композитора, как я?

— Такого композитора, как вы? — оскорбительно-ироническим тоном повторил Гехт.— Скажу только, что композиторы ничуть не хуже вас не считали ниже своего достоинства зани-

маться такой работой. Некоторые — я мог бы назвать вам имена, пользующиеся сейчас широкой известностью в Париже,— даже были мне за нее признательны.

— Потому что это холуи! — крикнул Кристоф. (Он успел уже усвоить тонкости французского языка.) — Не воображайте, пожалуйста, что имеете дело с одним из таких господ. Неужели вы думаете произвести на меня впечатление своей манерой не смотреть в лицо и говорить сквозь зубы? Вы даже не удостоили меня ответом на мой поклон, когда я вошел... Но кто вы такой, чтобы так обращаться со мной? Да понимаете ли вы вообще в музыке? Написали ли вы хоть что-нибудь?.. И вы смеете учить меня, как писать, меня, человека, для которого вся жизнь в этом!.. И, ознакомившись с моим произведением, вы не находите ничего лучшего, как предложить мне калечить великих композиторов и стряпать из их творений разную дрянь, под которую будут танцевать девчонки!.. Обращайтесь к вашим парижанам, если они так угодливы, что готовы слушать ваши поучения! Ну, а мне лучше околеть с голоду!

Невозможно было остановить разбушевавшийся поток.

Гехт произнес ледяным тоном:

— Как вам угодно.

Кристоф вышел, хлопнув дверью. Гехт пожал плечами и сказал хохотавшему Кону:

— Вернется, не он первый, не он последний.

В глубине души он проникся уважением к Кристофу. Он был достаточно умен и знал цену не только произведениям, но и людям. В гневной вспышке Кристофа он разглядел силу, которая встречается не часто, особенно в артистической среде. Но Гехт был самолюбив и упрям: ни за что на свете не согласился бы он признать свою неправоту. Он искренне чувствовал потребность отдать должное Кристофу, но сделать это, не унизив Кристофа, было выше его сил. Он был уверен, что Кристоф еще придет: печальный скептицизм и знание жизни научили его тому, что нужда ломает самую сильную волю.

Кристоф вернулся домой. Его гнев сменился глубоким унынием. Он решил, что погиб. Единственная поддержка, на которую он рассчитывал, рухнула. Он не сомневался, что нажил себе смертельного врага не только в лице Гехта, но и Кона, познакомившего его с Гехтом. Теперь он обречен был на полное одиночество во враждебном ему городе. Кроме Динера и Кона, у него не было здесь знакомых. Его друг Коринна,

красивая актриса, с которой он сблизился в Германии, уехала из Парижа: она гастролировала теперь за границей, в Америке, на сей раз самостоятельно,— она стала знаменитостью; газеты печатали восторженные отчеты о ее поездке. Была еще та скромная француженка-учительница, которая по его милости, хотя и не по его вине, лишилась места; долгие месяцы он мучился, вспоминая ее, и даже не раз клялся отыскать, когда будет в Париже! Но теперь, приехав в Париж, он сообразил, что позабыл одну мелочь: фамилию девушки. И никак не мог вспомнить. Помнил только, что ее зовут Антуанеттой. Да если бы и удалось припомнить, как найти бедную, скромную учительницу в этом людском муравейнике?

Нужно было как можно скорее обеспечить себе кусок хлеба. У Кристофа оставалось пять франков. Подавляя отвратительное чувство тошноты, он решил спросить у своего хозяина, толстого кабатчика, нет ли у него поблизости знакомых, которые нуждались бы в учителе музыки. Хозяин и без того был невысокого мнения о постояльце, питавшемся раз в день и говорившем по-немецки; узнав же, что он музыкант, кабатчик потерял к нему всякое уважение. Француз старого закала, он почитал музыку занятием для бездельников.

— Уроки музыки! — сказал он с презрительной гримасой.— Вы, значит, бренчите на фортепиано? Поздравляю вас!.. И охота же заниматься таким делом по доброй воле! По мне, уж лучше, когда дождь шумит, чем когда играют... А не поучиться ли мне у вас? Как вы думаете, ребята? — крикнул он рабочим, стоявшим у стойки.

Те шумно расхохотались.

— Дело невредное,— отозвался один из них.— Чистое. А главное, дамам нравится.

Кристоф плохо понимал по-французски, особенно насмешку; он не находил слов, чтобы ответить, и не знал, должен ли обидеться. Жена хозяина сжалилась над ним.

— Полно, полно, Филипп, перестань болтать пустяки,— остановила она мужа. Потом сказала, обращаясь к Кристофу: — А ведь у меня, пожалуй, есть на примете подходящее место.

— У кого же это? — спросил муж.

— У Грассэ. Ты ведь знаешь, их дочке купили рояль.

— А-а, эти кривляки! Пожалуй, и верно.

Кристофу объяснили, что речь идет о дочери мясника: родители хотят сделать из нее настоящую барышню; они не прочь были бы поучить ее музыке, благо тогда о них заговорят во всем квартале. Хозяйка пообещала устроить это дело.

На другой день она сказала Кристофу, что жена мясника хочет его видеть. Он пошел в мясную лавку и застал хозяйку за прилавком, среди груды туш. Узнав, зачем он явился, слащаво улыбавшаяся, румяная, дородная красавица напустила на себя важный вид. С первых же слов она завела речь о цене, поспешив предупредить, что много платить не намерена, потому что игра на фортепиано хоть и приятная вещь, но не обязательная, и предложила франк за час. Потом недоверчиво спросила Кристофа, хорошо ли, по крайней мере, он знает музыку. Услышав, что Кристоф не только знает, но и сам сочиняет, она, видимо, успокоилась и стала более любезной: самолюбие супруги мясника было весьма польщено; она уже решила про себя, что разнесет по всем соседям важную новость: дочь ее, мол, берет уроки у одного композитора.

Когда Кристоф сел на другой день за рояль — ужасный, купленный по случаю, дребезжавший, как гитара,— рядом с дочкой мясника, бестолково тыкавшей короткими, толстыми пальцами в клавиши, неспособной отличить один тон от другого, ерзавшей от скуки на стуле и с первых же минут начавшей громко зевать, когда Кристоф очутился под надзором матери и принужден был выслушивать ее мнения о музыке и музыкальном воспитании,— он почувствовал себя таким жалким, таким униженным, что у него не хватило даже силы возмутиться. Он возвращался домой совершенно разбитым; в иные дни ему кусок не шел в горло. Если он так низко пал уже через несколько недель, то до чего же докатится со временем? Стоило ли так возмущаться предложением Гехта? Ведь работа, на которую он согласился, была куда унизительнее.

Как-то вечером он разрыдался у себя в комнате, в отчаянии бросился на колени перед кроватью и стал молиться... Кому он молился? Кому он мог молиться? Он не верил в бога, он верил, что бога нет... Но молиться было необходимо, он молился себе... Только пошляки никогда не молятся. Им неведома потребность сильных душ скрываться в своем святилище. После целого дня унижений Кристоф прислушивался к безмолвным стенаниям своего сердца, к живущему в нем вечному Существу. Волны будней перекатывались где-то там; что было общего между Ним и этой жалкой жизнью? Все скорби мира, жадные до разрушения, разбивались о его твердыню. Кристоф слышал, как шумит, словно прибой, его кровь, и чей-то голос повторял:

«Вечен... Я есмь... есмь...»

Он хорошо знал этот голос: с тех пор как он помнил себя, он всегда его слышал. Ему случалось забывать о нем; иногда этот мощный и однообразный ритм долгие месяцы не доходил до его сознания, но он знал, что голос звучит, что он никогда не умолкнет, подобно рокочущему в ночи океану. И каждый раз, когда он погружался в мир этой музыки, он обретал спокойствие и энергию. Вот и сейчас он поднялся с колен умиротворенный. Нет, его теперешняя суровая жизнь не постыдна; он может есть свой хлеб, не краснея. Краснеть должны те, кто заставляет его такой ценой добывать себе хлеб. Терпение! Придет час...

Но уже на следующий день снова не хватало терпения. Как он ни сдерживался, все же однажды на уроке он яростно обрушился на тупую, как пень, девчонку, вдобавок еще дерзкую, которая издевалась над его произношением и с каким-то обезьяньим коварством делала как раз обратное тому, что он требовал. В ответ на гневные крики Кристофа раздались вопли испуганной девицы, возмущенной тем, что человек, которому платят деньги, осмелился непочтительно обойтись с нею. Она стала орать, что учитель побил ее (Кристоф действительно довольно грубо дернул ее за локоть). Мамаша примчалась, как фурия, осыпала дочь поцелуями, а Кристофа ругательствами. Явился и сам мясник и заявил, что не допустит, чтобы какой-то оборванец-пруссак смел прикасаться к его дочери. Бледный от стыда и гнева, боясь, как бы через минуту он не бросился душить мужа, жену и дочку, Кристоф пустился бежать. Дома хозяева, видевшие, в каком волнении вернулся их постоялец, без труда выведали от него все подробности происшествия, и их злорадство по адресу мясника не знало предела. Но вечером весь квартал уже твердил, что немец — грубая скотина и бьет детей.

Кристоф снова обратился к музыкальным издателям; его попытки не привели ни к чему. Он находил, что французы неприветливы, а их бестолковые метания сбивали его с толку. Ему казалось, что он живет в анархическом обществе, которым руководит произвол спесивой бюрократии.

Однажды вечером Кристоф бродил по Бульварам, унылый, измученный бесплодностью своих попыток, и вдруг увидел шедшего ему навстречу Сильвена Кона. Твердо считая, что они в ссоре, Кристоф отвел глаза и хотел было пройти мимо. Но Кон окликнул его.

— Скажите, что с вами сталось после того знаменитого случая? — со смехом спросил он.— Я все хотел зайти к вам, но потерял адрес... Черт возьми, дорогой мой, я и не подозревал, какой вы. Вы были неподражаемы.

Кристоф посмотрел на него удивленно и немного сконфуженно.

— Вы на меня не сердитесь?

— Сержусь на вас? Что за вздор!

Кон не только не сердился, но очень был доволен, что Кристоф отчитал Гехта; он получил тогда настоящее удовольствие. Ему было совершенно безразлично, кто прав — Гехт или Кристоф: он интересовался людьми лишь постольку, поскольку они способны были позабавить его; в Кристофе же он угадал целый кладезь комизма высшей марки и решил, что было бы грешно упустить такой случай.

— Почему вы ко мне не зашли? — продолжал он.— Я вас ждал. Вы заняты сегодня вечером? Пойдемте вместе обедать. Я вас не отпущу. Мы будем в своем кругу — несколько писателей и художников, мы собираемся раз в две недели. Вам необходимо познакомиться с этим миром. Пойдемте. Я вас представлю.

Кристоф безуспешно отговаривался, ссылаясь на свой скверный костюм. Но Сильвен Кон чуть не силой увел его.

Они вошли в ресторан на одном из бульваров и поднялись на второй этаж. Кристоф оказался в компании трех десятков молодых людей, от двадцати до тридцати пяти лет, о чем-то оживленно споривших. Кон представлял его как человека, только что вырвавшегося из германских тюрем. Спорившие не обратили на новоприбывшего ни малейшего внимания и даже не прервали страстного спора, в который с ходу вмешался и Кон.

Оробев в столь избранном обществе, Кристоф молчал и весь обратился в слух. С трудом следя за быстрой французской речью, он напрасно старался понять, какие важные художественные проблемы служили предметом обсуждения. И сколько он ни вслушивался, ему удавалось уловить только такие слова, как «трест», «скупка», «понижение цен», «цифры дохода», вперемежку с такими выражениями, как «достоинство искусства» и «авторские права». В конце концов он все-таки разобрал, что речь идет о коммерции. Несколько писателей, принадлежавших, по-видимому, к какому-то финансовому обществу, возмущались попыткою создать конкурирующее общество, которое может оспаривать у них монопольное право издания. Предательство некоторых из их коллег, нашедших для себя выгодным перейти

с оружием и амуницией в конкурирующую организацию, вызывало припадки бешенства. Они готовы были снести им головы и так прямо и говорили: «...Подлость... Измена... Позор... Продажные души...»

Другие, не трогая живых, обрушились на покойников: бесплатные перепечатки их произведений наводняли рынок. Так, творения Мюссе, недавно ставшие общественным достоянием, по-видимому, расходились в слишком большом количестве. Поэтому собравшиеся требовали энергичного вмешательства государства, обложения высокими налогами шедевров, чтобы воспрепятствовать их продаже по сниженным ценам, причем едко определяли это как недобросовестную конкуренцию по отношению к современникам.

Вдруг и те и другие умолкли: кто-то назвал цифру отчислений, полученных авторами от вчерашних спектаклей. Особые восторги вызывала карьера одного ветерана драматургии, прославившегося в обоих полушариях,— они презирали его, но еще больше ему завидовали. От доходов авторов перешли к доходам критиков. Речь зашла о суммах, которые получал (несомненно, чистейшая клевета!) один из их собратьев, известный рецензент, за хороший отзыв о каждой премьере в одном из театров на Бульварах. Это был честный человек: раз сторговавшись, он добросовестно выполнял взятые на себя обязательства; но он был непревзойден (как они уверяли) в искусстве такого прославления пьесы, которое вело к ее скорейшему снятию со сцены и тем вызывало необходимость новой постановки. Рассказ (вернее, подсчет гонорара) вызвал смех, но никого не удивил.

Все это они пересыпали громкими словами, говорили о «поэзии», об «искусстве для искусства». Под звон золота это звучало, как «искусство для денег»; эти барышнические нравы, недавно усвоенные французской литературой, вызывали негодование Кристофа. Ничего не смысля в денежных вопросах, он перестал следить за спором, но вот наконец заговорили о литературе, или, вернее, о литераторах. Кристоф насторожился, услышав имя Виктора Гюго.

Присутствующие затеяли спор о том, был ли Виктор Гюго рогоносцем или нет. Началось продолжительное обсуждение любовных отношений между Сент-Бёвом и г-жой Гюго. Потом перешли к любовникам Жорж Санд и их сравнительным достоинствам. Обнюхав все закоулки в домах великих людей, заглянув в шкафы, перерыв все ящики, критики начинали шарить в альковах. Больше всего им была по душе поза г-на де Лозена, залезшего под кровать короля и г-жи Монтеспан, ибо здесь про-

цветал культ истории и культ истины. (Все в то время были приверженцами культа истины.) Сотрапезники Кристофа делали вид, что они прямо одержимы этим культом истины и что в поисках ее они не остановятся ни перед чем. Простирая свои исследования не только на прошлое, но и на настоящее, они с той же страстью к точности и подробностям разбирали частную жизнь какого-нибудь известного современника. Любопытно, что им были известны мельчайшие обстоятельства таких сцен, которые обычно происходят без свидетелей. Можно было подумать, что действующие лица сами спешат снабдить публику точными сведениями о себе все из той же преданности истине.

Испытывая все большую неловкость, Кристоф пробовал заговорить со своими соседями о чем-нибудь другом. Но никто им не интересовался. Правда, сначала ему задали несколько расплывчатых вопросов о Германии,— вопросов, обнаруживших, к его вящему изумлению, полнейшее невежество этих изысканных и по видимости образованных людей относительно самых элементарных сторон их ремесла, как только речь не касалась Парижа; наиболее просвещенные знали понаслышке несколько громких имен: Гауптман, Зудерман, Либерман, Штраус (Давид, Иоганн или Рихард?), среди которых они лавировали с большой осторожностью из боязни совершить неприятную оплошность. Да и расспрашивали они Кристофа из вежливости, а не из любопытства — любопытством они не грешили; они почти не слушали его ответов и торопились вернуться к парижским темам как наиболее увлекательным для сотрапезников.

Кристоф сделал робкую попытку заговорить о музыке. Ни один из этих литераторов не был музыкантом. В глубине души они смотрели на музыку как на искусство низшего порядка. Но ее возраставший за последние годы успех втайне вызывал у них досаду, а так как музыка была в моде, они притворялись, будто интересуются ею. Особенно большой шум подняли они вокруг одной новой оперы; они не прочь были начинать с нее историю музыки вообще или, по крайней мере, новую музыкальную эру. Идея эта как нельзя лучше подходила к их невежеству и снобизму, ибо избавляла их от труда изучить все остальное. Автор этой оперы, парижанин, имя которого Кристоф слышал в первый раз, перечеркнул, как говорили, все, что было до него, совершенно обновил и пересоздал музыку. Кристоф встрепенулся. Он рад был поверить появлению гения. Но гений такого размаха, одним ударом уничтожающий прошлое!.. Черт побери! Вот молодчина! Да как же это он ухитрился? Кристоф попросил объяснений. Но его собеседники, которые

при всем желании не могли бы удовлетворить его просьбу, переадресовали назойливого Кристофа к единственному музыканту из их кружка, известному музыкальному критику Теофилю Гужару, тут же заговорившему о септимах и ноннах. Кристоф почувствовал себя в знакомой сфере. Гужар знал музыку приблизительно так же, как Сганарель знал латынь:

«— ...Вы не понимаете по-латыни?

— Нет.

— (С увлечением:) Cabricias, arci thuram, catalamus, singulariter... bonus, bona, bonum...» [1]

Очутившись в обществе человека, который «понимал по-латыни», Гужар благоразумно ретировался в дебри эстетики. Из этого неприступного убежища он и стал расстреливать Бетховена, Вагнера и все классическое искусство, о которых и речи-то не было; но во Франции нельзя похвалить артиста, не принеся ему в жертву всех, кто не похож на него. Гужар возвещал пришествие нового искусства, громя унаследованные от прошлого условности. Он говорил о музыкальном языке, только что открытом Христофором Колумбом парижской музыки и совершенно упразднявшем язык классиков — отныне мертвый язык.

Кристоф, воздерживаясь от оценки гения-обновителя до той поры, пока не познакомится с его произведениями, все же насторожился, смущенный этим музыкальным Ваалом, которому приносилась в жертву вся музыка. Его оскорбляли такие отзывы о великих мастерах,— он совсем позабыл, что еще недавно в Германии сам и не так отзывался о них. Он, который считал себя там, в Германии, революционером в искусстве, он, который шокировал всех дерзостью своих суждений и своей прямолинейностью, во Франции с первых же слов почувствовал себя консерватором. Кристоф вступил в спор, но тут же доказал свой дурной вкус, ибо, в отличие от благовоспитанных людей, которые лишь высказывают, но не обосновывают свои взгляды, он выступил как профессионал, опирающийся на точно установленные факты и сражающий ими противника. Он не побоялся даже углубиться в специальные объяснения. Разгорячившись, он допустил такие интонации, которые могли лишь оскорбить уши избранного общества, а его аргументы, как и горячность, с какою он их отстаивал, казались здесь в равной

[1] Бессмысленный набор слов, в которых использованы формы латинского языка.

мере смешными. Критик поспешил малоостроумной шуткой положить конец скучному спору, и ошеломленный Кристоф убедился, что его собеседник не понимает ровно ничего в том, о чем говорил. Тут мнение о педантичном и отсталом немце сложилось окончательно; музыка его заранее была признана отвратительной. Но зато три десятка молодых людей с насмешливым взором и склонностью к уловлению смешного невольно обратили внимание на странную эту фигуру; и, в самом деле, Кристоф неуклюже и неистово размахивал худыми руками, в воздухе мелькали его огромные кулаки, глаза яростно сверкали, а голос подымался до фистулы. Сильвен Кон задумал угостить своих друзей Кристофом.

Разговор окончательно отклонился от литературы и перешел на женщин. Правду сказать, это была лишь другая сторона того же предмета, ибо вся их литература занималась исключительно женщинами, а все их женщины — только литературой, поскольку они состояли при литературе и при особах писателей.

Заговорили об одной почтенной, известной в парижском свете даме, женившей любовника на своей дочери, чтобы вернее удержать его при себе. Кристоф вертелся на стуле и брезгливо морщился. Кон увидел это и, толкнув локтем соседа, заметил, что рассказ, по-видимому, очень взволновал немца, и тот, наверное, сгорает от желания познакомиться с этой дамой. Кристоф покраснел, пробормотал что-то бессвязное и наконец с гневом заявил, что такую женщину следовало бы высечь. Предложение это было встречено взрывом гомерического хохота, а Сильвен Кон медовым голосом возразил, что нельзя прикасаться к женщине даже цветком и т. д. и т. д. (В Париже он слыл паладином Любви.) Кристоф отвечал, что женщина такого склада просто-напросто сука, а с блудливыми суками одна расправа — кнут. Раздались шумные протесты. Кристоф заявил, что их учтивость — одно лишь лицемерие, что меньше всего уважают женщину именно те, кто больше всего говорит об уважении к ней, и обрушился на их скандальные сплетни. Ему возразили, что тут нет ничего скандального,— вещь самая естественная,— и все в один голос признали героиню истории не только очаровательной женщиной, но и Женщиной с большой буквы. Немец запротестовал. Сильвен Кон вкрадчиво спросил его, какою же, по его представлению, должна быть Женщина с большой буквы. Кристоф почувствовал, что ему расставляют ловушку, но тут же бросился в нее очертя голову, свято веря в свою правоту. Он принялся развивать насмешливым парижа-

нам свои взгляды на любовь. Не находя слов, с трудом их подыскивая, он выуживал из памяти самые несообразные выражения, говорил глупости, от которых ликовала аудитория, но не смущался, сохраняя великолепную серьезность и трогательно пренебрегая тем, что был смешон, ибо не мог же он не видеть, что над ним бесстыдно издеваются. В конце концов он безнадежно запутался в какой-то фразе, стукнул кулаком по столу и замолчал.

Попробовали снова вовлечь его в спор, но Кристоф нахмурил брови и застыл, положив локти на стол, пристыженный и раздраженный. До конца обеда он не проронил ни слова и разжимал рот только для еды и питья. Пил он страшно много, в противоположность всем этим французам, которые едва прикасались к вину. Сосед коварно поощрял его, подливая в стакан, который Кристоф, не задумываясь, осушал. Но хотя он и отвык от таких излишеств, особенно за последние полуголодные недели, он держался крепко и не потешил компании смешным зрелищем, на которое здесь рассчитывали. Он только погрузился в раздумье; на него перестали обращать внимание, думая, что он осовел от вина. Ему стоило большого напряжения следить за французской речью, а кроме того, он устал слушать разговоры о литературе и только о литературе — об актерах, писателях, издателях, закулисных сплетнях и литературных альковах; вот, оказывается, к чему сводится мир. Он совсем потерялся среди этих новых лиц и этого пустозвонства, и ему так и не удалось запечатлеть в своей памяти ни одной физиономии, ни одной мысли. Его близорукие глаза рассеянно и задумчиво обходили стол, останавливаясь на присутствующих и словно не видя их. И все же Кристоф видел их — и как еще видел,— только не отдавал себе в этом отчета. Смотреть глазами Кристофа означало совсем иное, чем смотреть глазами этих парижан и этих евреев, чей взгляд выхватывает, точно клювом, лишь мелкие клочки предметов — мелкие-премелкие — и раскле вывает их на части в одно мгновение. Он долго молча впитывал в себя, как губка, души и лица живых людей и уносил их с собой. Ему казалось, будто он ничего не видел и ничего не запомнил. А много времени спустя — через несколько часов, часто через несколько дней,— оставшись один и уйдя в себя, Кристоф замечал, что он все унес с собой.

Но в ту минуту он производил впечатление просто увальня-немца, набивавшего себе брюхо едой и озабоченного лишь тем, чтобы не проворонить лакомого куска. Пропуская мимо ушей все разговоры, он слышал только, как обедающие обращались

друг к другу по фамилиям, и спрашивал себя с настойчивостью пьяного, почему у большинства этих французов иностранные фамилии: фламандские, немецкие, еврейские, левантийские, англо- или испано-американские...

Он не заметил, как встали из-за стола, и продолжал сидеть, мечтая о прирейнских холмах, о густых лесах, нивах, заливных лугах, о старушке матери. Несколько обедавших еще разговаривали, стоя на другом конце зала. Большинство уже разошлось. Наконец поднялся и он и, ни на кого не глядя, двинулся за пальто и шляпой, висевшими у входа. Он оделся и готовился уйти, не попрощавшись, как вдруг в приоткрытую дверь заметил в соседнем кабинете предмет, завороживший его,— рояль. Уже много недель он не прикасался к музыкальному инструменту. Он вошел, любовно погладил клавиши, сел, как был — в шляпе и пальто, — и начал играть, совершенно позабыв, где находится. Он не заметил, как в комнату прокрались два человека послушать его игру. Один был Сильвен Кон, страстный любитель музыки, бог ведает почему, так как он ничего в ней не понимал и одинаково любил и хорошую и плохую. Другой — музыкальный критик Теофиль Гужар. С ним дело обстояло проще: он и не понимал и не любил музыки, что ничуть не мешало ему рассуждать о ней. Наоборот, нет более свободного ума, чем ум, не обремененный никакими знаниями, ибо, когда не знаешь того, о чем говоришь, совершенно безразлично — сказать то или другое.

Теофиль Гужар был крупный мужчина, широкоплечий и мускулистый, с черной бородкой, с густыми волосами, ниспадавшими завитушками на лоб, покрытый глубокими невыразительными морщинами, с квадратным, неправильной формы лицом, точно грубо вытесанным из дерева, короткорукий, коротконогий, с пухлой грудью: ни дать ни взять овернский дровяник или грузчик. Манеры у него были вульгарные, речь заносчивая. В музыку он вошел через двери политики, которая в те времена была во Франции единственным средством выдвинуться. Он пристроился к одному министру, своему земляку, открыв какое-то отдаленное родство или свойство с ним,— как говорится, «племянник побочного сына нашего аптекаря». Но министры не вечны. Когда положение его патрона пошатнулось, Теофиль Гужар поспешил покинуть тонущий корабль, унеся с собой все, что можно было захватить, и в первую очередь — знаки отличия, ибо он обожал славу. Устав от политики, в которой он начал получать с некоторых пор довольно ощутительные щелчки, отдуваясь и за своего патрона, Гужар принялся

искать какой-нибудь тихой заводи, где можно было бы причинять неприятности другим, самому им не подвергаясь. Всего естественнее было заняться критикой. Как раз в это время освободилось место музыкального критика в одной большой парижской газете. Занимавший его молодой талантливый композитор был уволен, ибо упорно говорил об авторах и их произведениях то, что думал. Гужар никогда не интересовался музыкой и совершенно не знал ее, и его пригласили без всяких колебаний. Редакции надоело возиться с компетентными людьми; с Гужаром, по крайней мере, нечего было опасаться: он не имел смешной привычки слишком держаться за свое мнение, всегда был к услугам редакции, всегда готов был в угоду ей разругать и расхвалить. А что он не музыкант — это играло второстепенную роль. Во Франции все достаточно разбираются в музыке. Гужар быстро приобрел необходимые сведения, и весьма простым способом: в концертах он садился рядом с каким-нибудь хорошим музыкантом, по возможности с композитором, и выспрашивал его мнение об исполнявшихся вещах. Нескольких месяцев такой выучки оказалось вполне достаточно для овладения ремеслом: птенец оперился. Правду говоря, орел из него не вышел, и бог ведает, какую только чепуху не плел Гужар в своей газете, да еще с каким апломбом. Он слушал и читал как попало, все путалось в его неповоротливом мозгу, но он самоуверенно поучал других; статьи его были пересыпаны каламбурами и насквозь пропахли воинствующим педантизмом: по складу ума это был типичный классный наставник. Время от времени он получал жестокий отпор; в таких случаях он не подавал признаков жизни и строго воздерживался от каких-либо возражений. Он был одновременно и большим хитрецом, и грубияном, наглым или льстивым, смотря по обстоятельствам. Он расшаркивался перед «нашими дорогими мэтрами», обладавшими положением или пользовавшимися официальной славой (иного способа наверняка оценить музыкальные заслуги он не знал). С остальными он обходился пренебрежительно и эксплуатировал голодную братию. Словом, был не дурак.

Несмотря на приобретенный авторитет и репутацию, он отдавал себе отчет в том, что ничего не смыслит в музыке, и чувствовал, что Кристоф знает ее отлично. Не собираясь признаваться в этом, он все же проникся к Кристофу уважением. Теперь он слушал его игру и с сосредоточенным, глубокомысленным видом силился хоть что-то понять, но мыслей не было,— он совершенно не разбирался в этом тумане звуков, однако кивал головой с видом знатока, соразмеряя свои знаки

одобрения с подмигиваниями Сильвена Кона, которому стоило огромного труда сохранять спокойствие.

Наконец Кристоф, сознание которого мало-помалу освобождалось от винных и музыкальных паров, почувствовал — вернее, угадал — разыгрывавшуюся за его спиной пантомиму; обернувшись, он увидел обоих любителей искусства. Они тотчас же бросились к нему и стали энергично трясти его руки: Сильвен Кон, захлебываясь, божился, что Кристоф играет, как бог, а Гужар с важным видом утверждал, что у него левая рука Рубинштейна, а правая Падеревского (если только не наоборот). Оба в один голос заявили, что такой талант не должен оставаться под спудом, и взялись явить его миру. А для начала оба рассчитывали извлечь из него побольше славы и выгод для себя.

На другой день Сильвен Кон пригласил Кристофа заходить к нему, любезно предоставив к его услугам свой великолепный рояль, стоявший без всякого употребления. Кристоф, изголодавшийся по музыке, не заставил себя упрашивать и воспользовался приглашением.

В первые вечера все шло хорошо. Кристоф отдавался радости игры, а Кон, пожелав проявить известную деликатность, не мешал ему наслаждаться. Он и сам искренне наслаждался. По какой-то странности, наблюдающейся, впрочем, нередко, человек этот, совсем не музыкант, не художник, с черствым, чуждым всякой поэзии и подлинной доброты сердцем, поддавался чувственному воздействию музыки: он не понимал ее, но сладострастно упивался звуками. К несчастью, он не мог сидеть молча. Когда Кристоф играл, ему непременно требовалось громко говорить. То он сопровождал игру напыщенными возгласами, подражая концертным снобам, то начинал рассуждать самым нелепым образом. Тогда Кристоф стучал по роялю и заявлял, что так он играть не может. Кон пытался замолчать, но это было выше его сил: через мгновение он уже опять посмеивался, стонал, насвистывал, притопывал, напевал, подражал звукам разных инструментов. А по окончании пьесы он должен был во избежание разрыва сердца непременно поделиться с Кристофом своими дурацкими соображениями.

Он представлял собой курьезную смесь германской сентиментальности, парижского пустословия и лично ему присущего самодовольства. Тут были и жеманно-изысканные суждения, и причудливые сравнения, и непристойности, прямая похабщина, околесица, несуразности. Желая похвалить Бетховена, он вдруг

представлял его любострастным распутником. Квартет в до-диез-минор казался ему выражением очаровательной дерзости. Возвышенное *адажио* Девятой симфонии напоминало ему Керубини. После трех отрывистых ударов, которыми начинается Пятая симфония, он кричал: «Не входите. Я не один». Он восхищался битвой в «Героической симфонии», потому что ему слышалось в ней пыхтенье автомобиля. И всегда, поясняя прослушанное, он ссылался на возникавшие у него образы, притом самые вздорные, ни с чем не сообразные. Было непонятно, как мог он любить музыку. Однако он любил музыку, и при исполнении некоторых страниц, которые он толковал самым идиотским образом, на глазах у него навертывались слезы. Но, умилившись отрывком из Вагнера, он барабанил на рояле галоп Оффенбаха или после оды «К радости» напевал какую-нибудь навязшую в зубах шансонетку. Тогда Кристоф вскакивал и вопил от ярости. Но эти несуразности Сильвена Кона еще можно было терпеть,— гораздо хуже бывало, когда он тужился сказать что-нибудь глубокомысленное и утонченное, когда хотел блеснуть перед Кристофом, то есть когда говорил не Сильвен Кон, а Гамильтон. В такие минуты Кристоф метал на него пылающие ненавистью взгляды и сокрушал холодными, оскорбительными замечаниями, задевавшими самолюбие Гамильтона: музыкальные сеансы часто заканчивались ссорой. Но на другой день Кон все забывал, а Кристоф, коривший себя за несдержанность, считал своим долгом помириться.

Все это были бы пустяки, если бы Кон не вздумал приглашать приятелей послушать Кристофа. Он чувствовал потребность хвастнуть своим музыкантом. В первый раз, застав у Кона трех или четырех молоденьких евреев и его любовницу, высокую, намазанную, глупую, как пробка, девицу, повторявшую дурацкие каламбуры и подолгу рассказывавшую о том, что́ она сегодня ела, но считавшую себя музыкальной на том основании, что каждый вечер показывала свои ляжки в очередном обозрении варьете, Кристоф откровенно нахмурился. Во второй раз он напрямик заявил Сильвену Кону, что не станет больше у него играть. Сильвен Кон поклялся всеми богами, что никого не будет приглашать. Однако он продолжал украдкой звать гостей и прятал их в соседней комнате. Конечно, Кристоф в конце концов заметил это и, взбешенный, ушел — но на сей раз не вернулся.

Все же ему приходилось быть любезным с Коном, ибо тот знакомил его с космополитическими семьями и доставлял ему уроки.

Со своей стороны, Теофиль Гужар через несколько дней разыскал Кристофа в его конуре. Он ничуть не был шокирован тем, что нашел его в столь жалкой обстановке. Напротив, он был очарователен. Он сказал Кристофу:

— Я подумал, что вам приятно будет послушать музыку, а у меня всюду даровые места — вот я и заехал за вами.

Кристоф пришел в восторг. Он был польщен таким вниманием и стал рассыпаться в благодарностях. Гужар оказался совсем не такой, каким он его видел в первый вечер. С глазу на глаз он сбрасывал с себя спесь, держался по-приятельски, даже застенчиво, готов был поучиться у других. И только в обществе он мгновенно напускал на себя величественный вид и начинал вещать. Впрочем, в своем желании поучиться он всегда преследовал практические цели. К тому, что не успело еще стать злобой дня, он не проявлял ни малейшего интереса. В данный момент ему хотелось узнать мнение Кристофа об одной полученной им партитуре, о которой он должен был высказаться, и он находился в затруднении, ибо с трудом читал ноты.

Они вместе отправились на симфонический концерт. В том же здании помещался кафешантан, и вход был общий. Тесный извилистый коридор вел в зал без боковых дверей; духота была страшная; узкие стулья сдвинуты слишком плотно; часть публики стояла, загораживая все проходы,— чисто французское неумение устраиваться удобно. Некто, по-видимому снедаемый неисцелимой скукой, галопом дирижировал симфонией Бетховена, словно торопясь поскорее кончить. Долетавшие из смежного кафешантана завывания «танца живота» врывались в похоронный марш «Героической симфонии». Публика все прибывала, с шумом усаживалась, наставляла во все стороны бинокли. Но, не успев даже усесться, тут же начинала расходиться. Кристоф напрягал все силы, чтобы следить за музыкой среди этой толчеи, и ценою энергичных усилий достиг того, что стал слушать с удовольствием (оркестр оказался очень недурной, а Кристоф долгое время был лишен симфонической музыки), как вдруг в разгаре концерта Гужар взял его под руку и сказал:

— Будет. Пойдем теперь на другой концерт.

Кристоф нахмурил брови, но без возражения последовал за своим вожатым. Проехав пол-Парижа, они прибыли в другой зал, где пахло конюшней; здесь в свободные часы давали феерии и пьесы для народа (музыка в Париже находится на положении бедных рабочих, снимающих комнату вдвоем: когда один

встает, другой ложится на еще теплую постель). И, понятно, та же духота; со времен Людовика XIV французы считают свежий воздух вредным для здоровья; поэтому гигиенические условия парижских театров таковы, что в них, как некогда в Версале, невозможно дышать. Благородный старец с жестами укротителя спускал с цепи очередной акт вагнеровской оперы: несчастное это животное — оперный акт — похоже было на льва в зверинце, ослепленного огнями рампы, которого приходится стегать хлыстом, дабы напомнить ему, что он все же лев. Дебелые ханжи и щупленькие дурочки с улыбкой на губах любовались представлением. После того как лев прошелся на задних лапах, а укротитель раскланялся и оба были награждены шумными рукоплесканиями публики, Гужар вознамерился потащить Кристофа еще на третий концерт. Но на сей раз Кристоф крепко вцепился в ручки кресла и заявил, что не двинется с места: ему надоело бегать с концерта на концерт, ловя на лету в одном месте клочки симфонии, в другом — обрывки оперы. Напрасно Гужар пытался растолковать ему, что музыкальная критика в Париже есть ремесло, для занятия коим важнее видеть, нежели слышать. Кристоф возразил, что музыку не слушают, несясь на извозчике, и что она требует сосредоточенности. От этой мешанины концертов его мутило: с него хватало и одного концерта в вечер.

Кристоф был очень удивлен этим музыкальным потопом. Как многие немцы, он считал, что музыка занимает во Франции мало места, и ожидал, что ее будут подавать ему небольшими, но изысканно приготовленными порциями. И вот ему поднесли для начала пятнадцать концертов в неделю. Концерты давали каждый вечер, часто даже по два, по три в один вечер, в те же часы, в различных концах города. А по воскресеньям давалось четыре концерта, причем всегда одновременно. Кристофа поражала эта жадность к музыке. Не в меньшей степени был он поражен и разнообразием программ. До сих пор он полагал, что музыкальное обжорство, претившее ему еще в Германии, является неотъемлемой чертой его соотечественников. Теперь же он убедился, что парижане могут дать немцам несколько очков вперед. Парижан кормили на совесть: две симфонии, концерт, одна или две увертюры, акт лирической драмы. И все это разного происхождения: немецкого, русского, скандинавского, французского; пиво, шампанское, оршад и вино — все проглатывали они, даже не поморщившись. Кристоф дивился вместительности желудков парижских меломанов. Им все было нипочем. Бочка Данаид... Наполнить — невозможно.

Вскоре Кристоф обнаружил, что это изобилие музыки сводится, в общем, к очень немногому. На всех концертах он встречал все те же лица и слышал все те же произведения. Обширные программы не выходили за пределы ограниченного круга. Почти ничего до Бетховена. Почти ничего после Вагнера. А в промежутках одни пробелы! Как будто вся музыка сводилась к пятишести немецким знаменитостям, к трем-четырем французским, а со времени заключения франко-русского союза — еще и к полдюжине «московских пьес». Ничего из старых французов, ничего из великих итальянцев. Никого из немецких колоссов XVII и XVIII веков. Полное отсутствие современной немецкой музыки, за исключением одного только Рихарда Штрауса, который, будучи более предприимчивым, нежели прочие, сам приезжал каждый год знакомить парижскую публику со своими новыми произведениями. Полное отсутствие бельгийской музыки. Полное отсутствие чешской. Но что самое удивительное — почти полное отсутствие современной французской музыки. А меж тем говорили о ней в таинственных выражениях, точно ей суждено было перевернуть мир. Кристоф тщетно искал возможности ее послушать; он отличался широтой интересов и был свободен от всякой предвзятости: он сгорал от желания услышать новое, насладиться гениальными произведениями. Но, несмотря на все усилия, ему это не удавалось, если не считать трех-четырех вещиц, довольно искусно написанных, но холодных и нарочито сложных, так что они не привлекли особого внимания Кристофа.

В ожидании, когда явится возможность составить собственное мнение о современной французской музыке, Кристоф попробовал обратиться за помощью к музыкальной критике.

Разобраться в ней было нелегко — это был сумбур, все говорили разом. Различные музыкальные листки не только резко противоречили друг другу, но и в каждом из них одна статья противоречила другой. Если бы читать все подряд, голова пошла бы кругом. К счастью, авторы читали только свои собственные статьи, публика же вовсе их не читала. Но Кристоф, желавший составить себе точное представление о французской музыке, старался ничего не пропускать и невольно дивился неунывающему спокойствию французов, плававших в противоречиях, как рыба в воде.

В этой неразберихе больше всего его поражал менторский тон критиков. Кто это выдумал, будто французы милые, ни во

что не верящие фантазеры? Те, с которыми знакомился Кристоф, были навьючены музыкальными истинами — даже когда ничего не знали — несравненно больше, чем все зарейнские критики, вместе взятые.

В то время французские музыкальные критики решили поучиться музыке. Некоторые из них даже знали ее; то были оригиналы, взявшие на себя труд поразмыслить над своим искусством, и поразмыслить самостоятельно. Понятно, что, замкнувшись в своих журнальчиках, они не пользовались большой известностью; за одним или двумя исключениями, газеты для них были закрыты. То были прекрасные, умные, интересные люди, но одиночество приучило их к парадоксам, выработало привычку разговаривать с собой вслух — отсюда болтливость и нетерпимость к суждениям ближнего. Другие наспех изучали начатки гармонии и сами восхищались своей новоиспеченной ученостью. Наподобие господина Журдена, выучившего правила грамматики, они не могли опомниться от восторга:

«Д-а-да. Ф-а-фа. Р-а-ра... Ах, как чудесно! И до чего же чудесная вещь наука!..»

Они только и говорили что о теме и контртеме, гармонических результирующих тонах, сцеплении нонн и последовательности мажорных терций. Перечислив ряд гармонических созвучий на протяжении одной страницы, они с гордостью вытирали вспотевший лоб: им казалось, что, объяснив произведение, они чуть ли не сами написали его. На деле же они только излагали написанное на манер гимназиста, который по учебнику делает грамматический разбор Цицерона. Но даже лучшим из них было трудно понимать музыку, как естественный язык души, и они либо относили ее к одной из ветвей пластических искусств, либо помещали на задворках науки и сводили к проблемам гармонических построений. Естественно, что столь ученые мужи должны были смотреть свысока на композиторов прошлого. Они находили ошибки у самого Бетховена, поучали Вагнера. Над Берлиозом и Глюком насмехались. Для них не существовало никого, кроме модных в то время Иоганна Себастьяна Баха и Клода Дебюсси. Впрочем, первого, провозившись с ним несколько лет, стали вдруг находить устарелым педантом и, говоря начистоту, немножко чудаковатым. Самые изысканные люди с таинственным видом превозносили Рамо и Куперена, именовавшегося Великим.

Между этими учеными мужами завязывались иногда титанические битвы. Все они были музыкантами, но не все придерживались одного толка, и потому каждый утверждал, что лишь

его толк хорош, и предавал анафеме своих собратьев. Они обзывали друг друга лжелитераторами и лжеучеными и норовили сразить противника словами «идеализм» и «материализм», «символизм» и «веризм», «субъективизм» и «объективизм». Стоило ли приезжать из Германии в Париж, чтобы встретить здесь те же немецкие распри, думал Кристоф. Они даже не догадывались, что хорошая музыка заслуживает благодарности за все разнообразие даруемых ею наслаждений; они признавали только свою школу, и, как в свое время в «Налое», сторонники контрапункта и сторонники гармонии разбились на два лагеря и вели ожесточенную войну. Подобно «тупоконечникам» и «остроконечникам» Свифта, одни с пеной у рта утверждали, что ноты нужно читать горизонтально, а другие — что их нужно читать вертикально. Одни слышать ни о чем не хотели, кроме вкусных аккордов, тающих переливов, сочных гармоний,— они говорили о музыке как о кондитерской. Другие начисто отрицали, что композитор должен считаться с таким пустяком, как ухо: музыка была для них ораторской речью, заседанием парламента, на котором все ораторы говорят разом, не считаясь с соседями, пока не выскажутся до конца; пусть их не слушают — не все ли им равно: речи их можно будет прочесть на следующий день в «Журналь офисьель»,— ведь музыка существует для того, чтобы ее читали, а не слушали. Когда Кристоф впервые услыхал об этой распре между «горизонталистами» и «вертикалистами», он подумал, что все они просто сошли с ума. На требование сделать выбор между армией сторонников «последовательности» и армией сторонников «одновременности» он отвечал своим обычным девизом, звучащим несколько иначе, чем девиз мольеровского Созия:

— Господа, я враг вам всем!

А так как его продолжали настойчиво допрашивать: «Что же важнее в музыке: гармония или контрапункт?» — он отвечал:

— Музыка. Но где она у вас?

По поводу своей собственной музыки у них не было разногласий. Эти неустрашимые вояки неустанно тузили друг друга, за исключением тех минут, когда сообща тузили какого-нибудь знаменитого покойника, слишком долго пользовавшегося славой, и все забывали свои распри, объединенные единой страстью — своим патриотическим музыкальным пылом. Франция была для них великой музыкальной нацией. На все голоса кричали они об упадке Германии. Кристофа это не оскорбляло. Он столько раз сам твердил это, что не мог искренне оспари-

«Жан-Кристоф». Книга пятая.

вать их приговора. Но притязания французской музыки на первенство его немного удивляли; по правде сказать, в прошлом он не видел для этого достаточных оснований. Французские музыканты утверждали, однако, что искусство их было ни с чем не сравнимо уже в самые отдаленные времена. Для вящего прославления французской музыки они высмеивали всех французских знаменитостей прошлого века, за исключением одного — прекрасного, весьма строгого художника, по происхождению бельгийца. После такой расправы было много легче восхищаться давно забытыми, а по большей части и вовсе неизвестными архаическими композиторами. В противоположность антиклерикальным школам во Франции, ведущим летоисчисление от французской революции, эти музыканты на сию последнюю взирали как на горную цепь, за которую следует перевалить, дабы узреть лежащий позади золотой век музыки, Эльдорадо искусства. После долгого периода упадка этот золотой век возрождался ныне, древняя стена рушилась, новый волшебник звуков воскрешал чудесную благоухающую весну: старое древо музыки одевалось юной нежной листвой, в цветнике гармонии тысячи цветочков раскрывали смеющиеся глазки навстречу новой заре; слышалось журчание серебристых струек, звонкая песенка ручейков... Словом, идиллия.

Кристоф был в восхищении. Но, пересматривая афиши парижских театров, он неизменно встречал слишком знакомые имена Мейербера, Гуно, Массне, даже Масканьи и Леонкавалло; и он спрашивал своих друзей, неужели эта бесстыдная музыка, от которой млеют девицы, эти искусственные цветы, эта парфюмерная лавочка и есть обещанные ими сады Армиды? Те оскорбленно протестовали: по их словам, это были пережитки умирающей эпохи, о которых никто и не вспоминал. В действительности же «Сельская честь» царила в «Опера комик», а «Паяцы» — в «Гранд опера»; Массне и Гуно делали полные сборы, а музыкальная троица: «Миньон», «Гугеноты» и «Фауст» — бодро перешагнула тысячное представление. Но это были мелочи, на которые не стоило обращать внимания. Когда факты имеют наглость опрокидывать теорию, ничего нет проще, как отрицать их. И французские критики отрицали эти дерзкие произведения, отрицали аплодировавшую им публику; еще немного, и они отвергли бы начисто всю оперную музыку вообще. Опера была для них литературным жанром, следовательно, не чистым искусством (так как все они были литераторами, то все открещивались от литературы). Вся выразительная, описательная, эмоциональная музыка,— словом, вся музыка, желавшая что-то

сказать, была объявлена нечистой. В каждом французе сидит Робеспьер. Французу всегда нужно кого-то или что-то обезглавливать во имя идеала чистоты. Великие французские критики допускали только чистую музыку, а всякую иную оставляли черни.

Кристоф с огорчением думал, что он тоже чернь. Немного утешало его лишь то, что все эти музыканты, презиравшие театр, писали для театра: среди них не было ни одного, кто не сочинял бы опер. Но, по-видимому, и это тоже была мелочь, на которую не стоило обращать внимания. Они желали, чтобы их судили, как они того хотят, по их чистой музыке, и Кристоф стал искать чистую музыку.

Теофиль Гужар повел его на концерты одного общества, посвятившего себя поощрению национального искусства. Там создавались и заботливо выхаживались новые таланты. Это был великий Орден, или маленький собор с несколькими приделами. В каждом приделе был свой святой, у каждого святого были свои почитатели, охотно злословившие по адресу святого из смежного придела. Сначала Кристоф не видел большой разницы между всеми этими святыми. Вполне естественно, что, привыкнув к совсем иному искусству, он ничего не понимал в этой музыке — и понимал еще меньше оттого, что воображал, будто понимает.

Никогда здесь не рассеивался полумрак. Создавалось впечатление какого-то серого фона, на котором линии расплывались, пропадали, местами снова выступали и снова стирались. Иногда они образовывали жесткий, резкий и сухой рисунок, словно вычерченный по линейке, с острыми, как локти худощавой женщины, углами. Бывали среди них волнистые линии, которые закручивались, как кольца сигарного дыма. Но в целом все тонуло в серой мгле. Неужели во Франции не стало больше солнца? Кристоф, со дня своего приезда в Париж видевший только дождь и туман, готов был поверить этому. Но ведь задача художника в том и заключается, чтобы создать солнце, когда его нет. Эти композиторы зажигали, правда, свой фонарик, да только похож он был на светляка: совсем не грел и еле мерцал. Заглавия произведений менялись, речь шла то о весне, то о полдне, о любви, о радости жизни, о прогулке по полям; но музыка не менялась: она оставалась однообразно мягкой, бледной, приглушенной, анемичной, чахлой. В то время во Франции среди утонченных любителей была мода на шепот

в музыке, и они были правы, ибо, как только голос возвышался, он тотчас переходил в крик — середины не существовало. Выбор был возможен лишь между изысканной полудремой и мелодекламацией.

Стряхнув начинавшую овладевать им сонливость, Кристоф посмотрел в программу и был очень удивлен, когда увидел, что эти клочковатые туманы, проползавшие по серенькому небу, притязают на изображение конкретных сюжетов. Ибо, наперекор теориям, эта чистая музыка почти всегда была программной или, по крайней мере, сюжетной. Как ни поносили эти люди литературу, они и шагу не могли сделать без литературных костылей. Странные костыли! Кристофа поразила причудливая наивность избираемых композиторами сюжетов. Фруктовые сады, огороды, курятники, музыкальные зверинцы — настоящий зоологический сад. Некоторые транспонировали для оркестра или для рояля картины из Лувра или фрески из Оперы; перекладывали на музыку Кейпа, Бодри, Паулуса Поттера, в пояснительных примечаниях говорилось, что здесь представлено яблоко Париса, там — голландская харчевня или круп белой лошади. Все это казалось Кристофу игрой взрослых детей, которых интересуют только картинки, и, не умея рисовать, они усердно и как попало марают свои тетради, наивно крупными буквами подписывая под своей мазней, что вот это — дом, а это — дерево.

Наряду с этими слепыми рисовальщиками, которым уши заменяли глаза, имелись также философы: они разрабатывали в музыке метафизические проблемы; их симфонии были борьбой отвлеченных принципов, толкованием какого-нибудь символа или догмата веры. И они же в своих операх брались за разрешение злободневных юридических и общественных вопросов: декларации прав женщины и гражданина. Они не теряли надежды взяться за музыкальное изложение таких вопросов, как развод, установление отцовства, отделение церкви от государства. Они разбились на два лагеря: символистов антиклерикальных и символистов клерикальных. В их операх выступали тряпичники-философы, гризетки-социологи, булочники-пророки, рыбаки-апостолы. Уже Гете говорил о художниках своего времени, «воспроизводивших идеи Канта в аллегорических картинах». Современники Кристофа излагали социологию в восьмых и шестнадцатых. Золя, Ницше, Метерлинк, Баррес, Жорес, Мендес, Евангелие и «Мулен-Руж» — все это пополняло водоем, откуда черпали свои мысли авторы опер и симфоний. Многие из них, опьяненные примером Вагнера, воскли-

цали: «Я тоже поэт!» — и самонадеянно подписывали под своими нотами рифмованные и нерифмованные вирши в стиле христоматий для начальной школы или декадентских стишат в литературных приложениях.

Все эти мыслители и поэты были ревнителями чистой музыки. Но они больше любили говорить о ней, чем писать ее. Впрочем, иногда им случалось кое-что написать. И получалась музыка, которая ничего не желала выражать. К сожалению, это нередко удавалось: такая музыка действительно не говорила ровно ничего,— по крайней мере, сердцу Кристофа. Правда и то, что он не владел ключом к ней.

Чтобы понимать иностранную музыку, нужно взять на себя труд изучить ее язык, отрешившись от мысли, будто знаешь его заранее. Кристоф же, как всякий истый немец, считал, что уже владеет им. Не будем слишком к нему строги! Ведь многие французы сами понимали этот язык не лучше Кристофа. Подобно немцам эпохи Людовика XIV, которые столь усердно изощрялись во французской речи, что под конец совсем забыли родной язык, французские музыканты XIX века настолько разучились говорить по-французски, что французская музыка стала для них чужеземной грамотой. Только совсем недавно началось движение, ратовавшее за то, чтобы во Франции говорили по-французски. Однако не всем это удавалось, привычка укоренилась слишком глубоко: за исключением очень немногих, французская речь французов звучала по-бельгийски или же сохраняла немецкий душок. Естественно поэтому, что немец впадал в заблуждение и со свойственной ему самоуверенностью заявлял, что это плохой немецкий язык, не означающий ровно ничего,— ибо он, немец, ничего в нем не понял.

Кристоф же полагал, что и понимать тут нечего. Французские симфонии казались ему отвлеченной диалектикой, в которой музыкальные темы противопоставлялись одна другой или следовали друг за другом наподобие арифметических действий,— для обозначения их комбинаций можно было бы с таким же успехом пользоваться цифрами или буквами алфавита. У одних произведение строилось на последовательном развертывании определенной звуковой формулы, которая, выступая в законченном виде только на последней странице последней части, оставалась в зачаточном состоянии на протяжении девяти десятых вещи. Другие загромождали тему вариациями, и она появлялась лишь в конце, нисходя понемногу от усложненности к простоте. Это были очень замысловатые игрушки. За-

бавляться ими могла лишь глубокая старость и раннее детство. Изобретателям своим они стоили неслыханных усилий. Годами вынашивалась какая-нибудь фантазия. Не один композитор поседел в поисках новых комбинаций аккордов, чтобы выразить... не все ли равно, что? Выразить новую выразительность. Как наличие того или иного органа создает соответствующие потребности, так и выражение в конце концов всегда порождает мысль; самое существенное — чтобы она была новой. Нового, нового, какой угодно ценой! Они испытывали болезненный страх перед «уже сказанным». Даже самые талантливые были парализованы этой болезнью. Чувствовалось, что они все время с тревогой следят за собой, вымарывают написанное, терзаются, спрашивая себя: «Ах, боже мой, где я уже слышал это?» Есть композиторы,— особенно много их в Германии,— которые только тем и заняты, что склеивают чужие фразы. Во Франции, наоборот, сочинив фразу, композитор проверяет, не встречается ли она в каталоге уже использованных другими мелодий, и скоблит, скоблит бумагу, меняет форму своего носа, до тех пор, пока он не перестает быть похожим на все известные ему носы и даже на нос вообще.

Но Кристоф не поддавался на обман; как ни рядились они в путаные замысловатости, как ни пытались подражать сверхчеловеческим порывам, доводя оркестр до конвульсий, как ни насаждали искусственные гармонии, тягучую монотонность, напыщенность в стиле Сарры Бернар, их атональная музыка спотыкалась и брела, как сонный мул по скользкому краю обрыва. Кристоф безошибочно различал под любой маской приторные и холодные душонки, непристойно наодеколоненные на манер Гуно и Массне, но без их естественности. И он мысленно повторял несправедливые слова Глюка по адресу французов: «Оставьте их в покое: все равно им никуда не уйти от своих пастушек и овечек». Только современные французы, по мнению Кристофа, старались придать изощренную форму своим «пастушкам и овечкам». Для своих ученых симфоний они брали темы народных песен, как берут тему для диссертации в Сорбонне. Это стало повальной забавой. Были использованы одна за другой народные песни всех стран. Они писали на них Девятые симфонии и квартеты в стиле Франка, но гораздо более мудреные. Как только у кого-нибудь рождалась ясная музыкальная фраза, он сейчас же торопился ввести вторую, совершенно бессмысленную, но жестоко диссонировавшую с первой. И при всем том чувствовалось, что эти бедняги — спокойнейшие и уравновешеннейшие люди!..

Дирижируя такими произведениями, молодой капельмейстер, корректный, с растерянным взглядом, бесновался, метал громы, принимал микеланджеловские позы, словно вел в бой армии Бетховена или Вагнера. Публика, состоявшая из светских людей, которые умирали со скуки, однако ни за что на свете не отказались бы от дорогостоящей чести зевать на модном концерте, и скромных подмастерьев от искусства, с радостью убеждавшихся в своей школьной учености всякий раз, как им удавалось распутать на лету клубок профессиональных фокусов, проявляла свои восторги с тем же неистовством, с каким капельмейстер дирижировал, а оркестр надсаживался...

— Шик, да и только...— говорил Кристоф.

(Ибо он стал заправским парижанином.)

Но овладеть парижским жаргоном легче, чем постичь парижскую музыку. Кристоф судил о ней с присущей ему страстностью и с прирожденной неспособностью немца понять французское искусство. Во всяком случае, он был искренен и, когда ему доказывали, что он не прав, охотно признавал свои ошибки. Словом, Кристоф отнюдь не считал себя связанным своими суждениями и оставлял дверь широко открытой для новых впечатлений, способных изменить его взгляды.

Он вполне готов был признать талантливость этой музыки, считал, что у французских композиторов есть достойный внимания материал, любопытные находки в области ритма и гармоний, не отрицал тонкости, мягкости, блеска и разнообразия звуковой ткани, живости расцветки, неиссякаемой изобретательности и остроумия. Кристоф забавлялся и учился. Все эти щеголи обладали бесконечно большей свободой духа, чем немецкие композиторы: они отважно покидали наезженную дорогу и устремлялись прямо через лес. Они даже старались заблудиться. Но этим слишком благонравным детям никак не удавалось заблудиться. Одни через двадцать шагов снова попадали на торную дорогу. Другие сейчас же уставали и останавливались где попало. Некоторые, правда, добирались до новых тропинок, но на большее их не хватало, и они устраивались где-нибудь на опушке под деревом. Больше всего им не хватало воли, силы; они обладали всевозможными дарованиями, за исключением одного: жизненной мощи. А главное: казалось, что все их огромные усилия прилагаются бестолково и остаются втуне. Редко кто из этих художников понимал характер своего дарования и еще меньше умел неуклонно и планомерно двигаться к заданной цели. Обычное проявление французской анархии: целые россыпи таланта и доброй воли уничтожаются

вследствие вечных колебаний и противоречий. Почти не было случая, чтобы какой-нибудь крупный французский композитор вроде Берлиоза или Сен-Санса,— не говоря уже о новейших,— не запутался в собственных тенетах и с ожесточением не губил бы и не отрицал бы себя,— прискорбный результат недостатка энергии, недостатка веры и прежде всего — отсутствия внутреннего компаса.

Со свойственной тогдашним немцам заносчивостью Кристоф думал:

«Французы умеют только расточать свои силы на изобретения, которые остаются втуне. Им всегда нужен какой-нибудь иноплеменный повелитель вроде Глюка или Наполеона, который пришел бы и пожал плоды их революции».

И Кристоф улыбался при мысли о возможности нового восемнадцатого брюмера.

Однако среди всеобщей анархии была одна группа, старавшаяся восстановить порядок и дисциплину в сознании художников. Для начала она приняла латинское название, напоминавшее некое церковное учреждение, которое процветало четырнадцать веков тому назад, во времена великого нашествия готов и вандалов. Кристоф был немного удивлен, зачем забираться в такую глубь веков. Конечно, неплохо возвыситься над своим временем. Но могло случиться, что башня в четырнадцать веков вышиной окажется неподходящим наблюдательным пунктом и что с нее удобнее будет следить за движением звезд, нежели за поведением наших современников. Но Кристоф быстро успокоился: сыны святого Григория редко засиживались в своей башне,— они поднимались туда, только чтобы звонить в колокола. А все остальное время проводили в нижнем храме. Кристоф, присутствовавший на некоторых их богослужениях, не сразу заметил, что совершаются они по католическому обряду: он был убежден поначалу, что имеет дело с мелкой протестантской сектой. Коленопреклоненная публика; благоговейные, нетерпимые к инакомыслящим и драчливые прозелиты; во главе их некто очень фанатичный, очень холодный, волевой, немного наивный, соблюдающий нерушимость религиозной, нравственной и художественной догмы; он толковал в отвлеченных терминах музыкальное евангелие небольшой кучке избранных и бесстрастно проклинал Гордыню и Ересь. Этим порокам он приписывал все ошибки искусства и все заблуждения человечества: Возрождение, Реформацию и

современный иудаизм, валя все в одну кучу. Чучела евреев-композиторов облачали в позорные одежды и предавали сожжению. Колосса Генделя стегали плетьми. Один лишь Иоганн Себастьян Бах удостаивался спасения милостью господа, который распознал в нем «протестанта по недоразумению».

Храм на улице Сен-Жак выполнял апостольскую миссию: там спасали души и музыку. Там систематически обучали правилам гениальности. Трудолюбивые ученики с большим старанием и непоколебимой уверенностью применяли эти рецепты в жизни. Словно они задались целью своей благоговейной усидчивостью искупить непростительное легкомыслие дедов — Оберов, Адамов и особенно архипроклятого, чертова осла, Берлиоза — олицетворение самого дьявола, diabolus in musica[1].

С похвальным пылом и искренним благоговением здесь проповедовали культ «признанных мэтров». И за каких-нибудь десять лет было достигнуто немало значительных результатов: французская музыка подверглась полному преобразованию. Не только французские критики, но и сами музыканты изучали историю музыки. Теперь можно было встретить композиторов и даже виртуозов, знавших все произведения Баха! Особенно много усилий было затрачено на преодоление французской привычки к домоседству. Французы законопатились у себя в домах: они отвыкли выходить на улицу. Оттого и музыке их не хватает воздуху: музыка у них камерная, более того, комнатная, музыка покойных кресел, музыка, не знающая, что такое движение. Полная противоположность Бетховену, который творил, шагая по полям, любил спуститься бегом по крутому склону, странствовал часами под солнцем и дождем, пугая пасущиеся стада своей жестикуляцией и криками. Будьте спокойны: парижские композиторы не потревожат соседей слишком шумливым вдохновением — не то что боннский медведь. Сочиняя, они подкладывали сурдинку под свои мысли, а тяжелые драпри не пропускали к ним никаких уличных шумов.

Schola старалась освежить воздух,— она открыла окно в прошлое. Но только в прошлое. Это было все равно, что открыть окна во двор, а не на улицу. Большой пользы от этого не получилось. И, едва распахнув окно, члены Общества захлопывали его, как старые дамы, боящиеся схватить насморк. Таким образом, в комнату проникало лишь несколько глотков средневекового воздуха — Бах, Палестрина, народные песни. Но разве этого было достаточно? Воздух по-прежнему оставался

[1] Дьявол в музыке *(лат.)*.

затхлым. Впрочем, они чувствовали себя привольно в этой затхлости,— к свежим течениям современности они относились недоверчиво. И если они знали больше, чем другие, зато и отрицали больше других. Музыка приобретала в этом кругу чисто доктринерский характер; она не давала отдыха: концерты превращались в уроки истории или в назидательные примеры. Передовые мысли засушивались в академической печи. Великого бурлящего Баха приняли в лоно церкви, предварительно причесав. Музыка его претерпевала в схоластических мозгах приблизительно такую же метаморфозу, как неистовая и чувственная Библия в мозгах англичан. Все проповедуемые доктрины отдавали аристократическим эклектизмом, который пытался объединить отличительные черты трех или четырех великих музыкальных эпох с VI по XX век. Если бы возможно было осуществить это на деле, получилось бы музыкальное подобие тех ублюдочных построек, что были воздвигнуты одним вице-королем Индии: объездив весь мир, он набрал повсюду драгоценные материалы и пустил их в дело. Но здравый французский смысл спасал общество святого Григория от крайностей этого ученого варварства,— они тщательно остерегались применять свои теории на практике; они поступали с ними, как Мольер с врачами: брали рецепты, но не принимали лекарств. Более сильные шли своей дорогой. Остальное стадо довольствовалось очень учеными и головоломными упражнениями в контрапункте, называя их сонатами, квартетами и симфониями...

«Соната, чего ты хочешь от меня?» А она хотела лишь одного — быть просто сонатой. Мысль их была абстрактной и безличной, выделанной и безрадостной. Искусство добросовестного нотариуса. Кристоф, сначала обрадовавшийся тому, что французы не любят Брамса, теперь убеждался, что и во Франции есть много своих брамсиков. Все эти работяги — трудолюбивые и добросовестные — были преисполнены всяческих добродетелей. Кристоф расстался с ними, напичканный разного рода сведениями, но весь пропитанный скукой. Ничего не скажешь: хорошо, даже превосходно...

Но как прекрасен чистый воздух!

При всем том в Париже было несколько независимых композиторов, не принадлежавших ни к какой школе. Только они одни интересовали Кристофа. Они одни могли служить мерилом жизнеспособности искусства. Школы и кружки являются

выразителями лишь поверхностной моды да надуманных теорий. Независимые же художники, которые умеют уйти в себя, умеют и уловить подлинные мысли своего времени и своего народа. Правда, от этого иностранцу еще труднее понять их, чем всех прочих.

Так именно и случилось с Кристофом, когда он услышал впервые то знаменитое произведение, о котором французы говорили тысячи нелепостей, а иные объявляли величайшей музыкальной революцией за последние десять веков. (Что им века? Дальше своего века они мало что понимают...)

Теофиль Гужар и Сильвен Кон пригласили Кристофа в «Опера комик» на «Пелеаса и Мелисанду». Оба сияли от радости, что угостят его таким произведением: казалось, что они сами его написали. Они намекали Кристофу, что здесь-то он и найдет свой путь в Дамаск. Спектакль уже начался, а они все продолжали свои комментарии. Кристоф попросил их замолчать и весь превратился в слух. После первого акта он повернулся к Сильвену Кону, который, возбужденно блестя глазами, спросил его:

— Ну, уважаемый, что скажете?

Кристоф, в свою очередь, ответил вопросом:

— И так будет все время?

— Да.

— Но тут и слушать нечего.

Кон в негодовании обозвал его мещанином.

— Решительно нечего,— продолжал Кристоф.— Нет музыки. Нет развития. Никакой последовательности. Никакой связности. Очень тонкие гармонии. Мелкие оркестровые эффекты совсем неплохи, просто даже хорошего вкуса. Но в общем ничего, решительно ничего...

Он снова принялся слушать. Мало-помалу фонарик разгорался,— Кристоф начинал кое-что различать в полумраке. Да, Кристоф понимал, что тут сдержанность умышленная в противовес идеалу вагнерианцев, которые топили драму в волнах музыки; но он спрашивал себя не без иронии, не обусловлен ли этот жертвенный экстаз тем, что жертвующий приносил в жертву нечто такое, чем сам не обладал. Кристофу почудился в этом произведении страх перед настоящим трудом, поиски эффектов при наименьшей затрате сил, отказ ленивца от серьезных усилий, требуемых мощными вагнеровскими построениями. Он не остался нечувствительным к ровной, простой, скромной, притушенной декламации, хотя она показалась ему монотонной, и, как немец, он находил ее не совсем правдивой.

(Он находил, что чем больше она стремилась к правдивости, тем сильнее чувствовалось, как мало подходит для музыки французский язык, слишком логичный, слишком графичный, со слишком четкими контурами,— по-своему совершенный, но герметически замкнутый мир.) Тем не менее попытка была любопытной, и Кристоф оценил в ней дух революционного протеста против необузданности и напыщенности вагнеровского искусства. Французский композитор как будто старался, с иронической сдержанностью, выражать все страстные чувства вполголоса. Любовь, смерть — все без крика. Лишь по неуловимому содроганию мелодической линии и по дрожи оркестра, подобной легкому подергиванию губ, можно было заключить о драме, разыгрывавшейся в душах. Художник словно страшился выдать себя. У него был тончайший вкус, изменявший ему лишь в те редкие мгновения, когда дремлющий в каждом французском сердце Массне просыпался и впадал в лиризм. Тогда сейчас же появлялись слишком белокурые волосы, преувеличенно алые губы,— буржуазка Третьей республики, играющая роль страстно влюбленной. Но решали не эти мгновенья,— они являлись передышкой от предельной сдержанности, которую предписывал себе автор; в остальных частях произведения царила утонченная простота — простота, которая не была простой, а являлась результатом волевого усилия, изысканным цветком состарившегося общества. Юный варвар вроде Кристофа неспособен был как следует насладиться ею. Особенно же его раздражала сама драма, оперное либретто. Ему все представлялась стареющая парижанка, разыгрывающая из себя девочку и требующая, чтобы ей рассказывали волшебные сказки. Это, конечно, не вагнеровская мазня, сентиментальная и тяжеловесная, как здоровенная рейнская девка. Но франко-бельгийская мазня — со всеми ее ужимками и салонным кривляньем («локоны», «бедный отец», «голубки»), со всей этой мистикой на потребу светским дамам — была не лучше. Парижские души гляделись в эту пьесу, как в зеркало, отражавшее в лестных образах их томный фатализм, их будуарную нирвану, их изнеженную меланхолию. И ни крупицы воли. Никто не знал, чего он хочет. Никто не знал, что он делает.

«Не я виноват! Не я виноват!..» — хныкали эти взрослые дети. На протяжении пяти действий, которые развертывались в сплошных сумерках — леса, пещеры, подземелья, комнаты со смертным ложем,— маленькие заморские птички еле шевелили крылышками. Бедные маленькие птички! Хорошенькие,

теплые, изящные... Как они боялись слишком яркого света, грубых жестов, слов, страстей, самой жизни!.. Жизнь не слишком утонченна. Ее надо брать без перчаток...

Кристофу слышался приближающийся грохот пушек, которые сметут эту выдохшуюся цивилизацию, эту маленькую угасающую Грецию.

Может быть, именно это чувство горделивой жалости и внушило ему, несмотря ни на что, симпатию к опере. Во всяком случае, она заинтересовала его больше, чем он склонен был признать. Хотя по выходе из театра он упорно отвечал Сильвену Кону, что «вещь очень, очень тонкая, но ей не хватает Schwung (порыва), и на его вкус — в ней мало музыки», все же он не смешивал «Пелеаса» с другими французскими музыкальными произведениями. Его привлекал этот светильник, горевший в тумане. Он заметил и другие яркие, причудливые огоньки, мерцавшие кругом. Эти блуждающие огоньки занимали его: ему хотелось подойти к ним ближе, чтобы рассмотреть, как они светят, но они все время исчезали. К этим свободным музыкантам, которых Кристоф не понимал и которых он с тем большим любопытством желал бы понаблюдать, трудно было подступиться. Они, по-видимому, не чувствовали той страстной потребности в симпатии, которая томила Кристофа. За исключением одного-двух, они мало читали, мало знали, мало желали знать. В силу обстоятельств и по своей воле почти все они держались в стороне, обособленно, замкнувшись в тесном кружке,— из гордости, из дикости, из отвращения, из апатии. Как ни мало их было, они делились на крошечные соперничающие между собой группки, которые никак не могли ужиться друг с другом. Они отличались крайней обидчивостью, не выносили ни врагов, ни соперников, ни даже друзей и косились на них, когда те осмеливались восхищаться каким-нибудь другим музыкантом или позволяли себе восхищаться самими собою слишком холодно либо слишком пылко, слишком обычно либо слишком необычно. Угодить им было чрезвычайно трудно. Каждый из этих отшельников в конце концов заводил себе какого-нибудь критика, давал ему полномочия, и тот ревниво стоял на страже у пьедестала статуи. Прикасаться к ней воспрещалось. Но если ты один себя понимаешь, не рассчитывай, что тебя поймут другие. Избалованные лестью, сбитые с толку чрезмерным поклонением слишком горячих приверженцев и собственным самомнением, они утрачивали ясное представле-

ние о своем искусстве и своих дарованиях. Милые выдумщики изображали из себя реформаторов. Художники александрийского толка выступали в роли соперников Вагнера. Почти все были жертвой своих раздутых репутаций. Надо было каждый день прыгнуть выше, чем они прыгали накануне, и выше, чем прыгнули их соперники. Эта вольтижировка не всегда проходила удачно, да и интерес эти упражнения представляли лишь для немногих профессионалов. Им не было дела до публики; публике не было дела до них. Их искусство было искусством без народа, музыкой, питавшейся музыкой же, профессиональной сноровкой. Между тем у Кристофа сложилось впечатление — правильное или ошибочное,— что никакая музыка не нуждается больше, чем французская, в поддержке извне. Это гибкое вьющееся растение не могло жить без подпоры; эта музыка не могла обойтись без литературы. В себе самой она не находила достаточных причин для существования. Она страдала одышкой, малокровием, слабоволием. Она походила на истомившуюся женщину, ожидающую самца, который овладел бы ею. Но эта увешенная драгоценностями византийская императрица с хилым и бескровным телом была окружена евнухами: снобами, эстетами и критиками. Нация в целом не была музыкальной; и все это увлечение, вся эта шумиха вокруг Вагнера, Бетховена, или Баха, или Дебюсси, длившаяся уже двадцать лет, не выходила за пределы узкой касты. Бесчисленные концерты — этот все заливающий поток музыки на всякую цену — отнюдь не являлись подлинным отражением развития общественного вкуса. То были просто крайности моды, которая захватывала лишь верхи и разлагала их. Любила музыку по-настоящему только горсточка людей; и часто даже не те, для кого она была постоянным занятием: не композиторы и не критики. Как мало во Франции музыкантов, действительно любящих музыку!

Так думал Кристоф, позабыв, что то же самое наблюдается везде, что даже в Германии немногим больше настоящих музыкантов и что в искусстве важны не тысячи, ничего в нем не понимающие, но горстка любящих его людей, которые с горделивой скромностью служат ему. Встречались ли ему такие люди во Франции? Да. Таковы были творцы и критики — лучшие из них трудились в тиши, вдали от шума, подобно Франку (подобно наиболее даровитым современным композиторам, истинным художникам, которые проживут всю жизнь в тени, дабы впоследствии доставить какому-нибудь журналисту славу открыть их и назваться их другом); сюда же относился не-

большой отряд трудолюбивых ученых, людей без всякого честолюбия, забывающих о себе ради того, чтобы камень за камнем восстановить величие Франции прошлого и подготовить величие будущей Франции, воспитав новых музыкантов. Сколько среди них было настоящих умниц, какое богатство интересов, какая свобода и ненасытная любознательность, как потянулся бы к ним Кристоф, если б встретился с ними! Но он лишь мельком видел двух-трех из них и знал их взгляды на искусство — только в уродливо искаженном виде. Он замечал лишь недостатки, раздутые обезьянничающими поклонниками и коммивояжерами прессы.

Эти последние — эта музыкальная чернь — больше всего возмущали Кристофа своим формализмом. Никогда не возникало у них иных вопросов, кроме вопросов формы. О чувстве, о характере, о жизни — ни слова! Никому из них в голову не приходило, что каждый истинный музыкант живет в мире звуков, и течение дней отзывается в нем потоком музыки. Музыка — воздух, которым он дышит, небо над его головой. Даже душа его — музыка; музыка — все, что любит душа, что она ненавидит, от чего страдает, чего боится, на что надеется. Когда музыкальная душа любит прекрасное тело, то и оно для нее — музыка. Милые глаза, которые чаруют,— не голубые, не серые, не карие; они — музыка; они волнуют так же, как могут волновать пленительные созвучия. Эта внутренняя музыка в тысячу раз богаче той, что выражает ее, и клавиатура недостойна того, чьи пальцы пробегают по ней. Гений измеряется силою жизни, которую стремится пробудить искусство, этот несовершенный инструмент. Но многие ли во Франции сознают это? Для французов — народа химиков — музыка лишь искусство сочетания звуков. Они принимают азбуку за книгу. Кристоф только плечами пожимал, когда ему говорили, что для понимания искусства нужно отвлечься от человека. Они произносили этот парадокс с величайшим самодовольством, воображая, что тем самым доказали свою музыкальность,— все, вплоть до глупца Гужара, который никогда не мог понять, как это люди ухитряются запоминать целые страницы нот, и всё выпытывал объяснения этой тайны у Кристофа. Он даже пробовал убедить Кристофа, будто величие души Бетховена и чувственность Вагнера имели так же мало значения для их музыки, как модель для создаваемых живописцем портретов!

— Это лишь доказывает,— с досадой воскликнул наконец Кристоф,— что прекрасное тело не представляет для вас худо-

жественной ценности! Равно как и сильная страсть! Жалкий человек! Вы, значит, даже не подозреваете, что красота совершенного лица усиливает красоту портрета, а красота великой души — красоту музыки?.. Жалкий человек!.. Вас интересует только техника? Лишь бы произведение было хорошо сделано, а что оно хочет выразить, вам это безразлично?.. Жалкий человек!.. Есть такие люди, которые слушают не то, что говорит оратор, а только звук его голоса, смотрят, не понимая, на его жестикуляцию, а потом заявляют, что он говорит чертовски хорошо!.. Бедный вы, бедный!.. Кретин вы, вот вы кто!..

Но Кристофа раздражало не только какая-нибудь определенная теория, а все теории вообще. Ему надоели эти византийские диспуты, эти вечные разговоры музыкантов о музыке и только о музыке. Они могли отбить вкус к музыке у самого преданного музыканта. Подобно Мусоргскому, Кристоф держался того мнения, что музыкантам не худо бы время от времени бросать свой контрапункт и гармонии ради хороших книг и приобретения жизненного опыта. Музыканту мало одной музыки: с одной музыкой не достигнет он господства над веком и не возвысится над ничтожеством... Жизнь!.. Вся жизнь! Все видеть и все знать. Любить, искать, стремиться к обладанию истиной — прекрасной Пентесилеей, царицей амазонок, которая на поцелуй отвечает укусом.

Довольно музыкальной говорильни, довольно лавочек, торгующих аккордами! Вся эта стряпня поваров от гармонии не помогала Кристофу в его поисках новой гармонии, такой гармонии, которая была бы живым существом, а не уродцем!

И Кристоф повернулся спиной ко всем этим ученым Вагнерам, прозябавшим над своими ретортами в надежде высидеть Гомункула, и, бежав от французской музыки, стал изучать литературную среду и парижское общество.

Подобно миллионам людей во Франции, Кристоф познакомился с современной французской литературой прежде всего по газетам. Желая как можно скорее войти в круг духовных интересов парижан и заодно совершенствоваться в языке, он решил добросовестно прочитывать газеты, которые ему рекомендовали, как самые что ни на есть парижские. В первый же день он прочел в хронике сенсационных происшествий, занимавшей вместе с фотографиями несколько столбцов, сообщение о сожительстве отца с пятнадцатилетней дочерью,— факт был изложен как самый заурядный и даже довольно трогатель-

ный. На другой день он прочел в той же газете о сожительстве отца и двенадцатилетнего сына с одной и той же девицей. На третий день он прочел о сожительстве брата с сестрой. На четвертый — о сожительстве двух сестер. На пятый... на пятый он с отвращением отшвырнул газету и спросил Сильвена Кона:

— Да что это с вами со всеми? Вы больны?

Сильвен Кон расхохотался:

— Это искусство.

Кристоф пожал плечами:

— Да вы смеетесь надо мной!

Кон захохотал еще громче:

— Ничуть. Вот взгляните.

Он показал Кристофу недавно проведенную анкету об Искусстве и Нравственности, из которой следовало, что «Любовь освящает все», что «Чувственность — закваска Искусства», что «Искусство не бывает безнравственным», что «Нравственность — это условность, насажденная иезуитским воспитанием», что следует считаться только «с безмерностью Желания». Одному роману, изображавшему нравы сутенеров, парижская печать единогласно выдала свидетельство о нравственной благонадежности. Среди откликнувшихся на анкету были самые крупные литературные имена и самые суровые критики. Некий поэт для «семейного чтения», буржуа и католик, давал свое благословение художника одному весьма обстоятельному описанию извращенных греческих нравов. Поэтически выспренняя реклама превозносила романы, в которых развертывалась подробнейшая картина разврата на протяжении веков: Рим, Александрия, Византия, итальянское и французское Возрождение, век Людовика XIV... словом, полный курс. Другой цикл исследований охватывал различные страны земного шара: добросовестнейшие писатели с терпением бенедиктинцев посвящали себя изучению злачных мест всех пяти частей света. Среди этих географов и историков случки встречались изысканные поэты и первоклассные писатели. Их можно было отличить от остальных только по эрудиции. Они расписывали старинные непристойности в безупречнейших литературных терминах.

Больно было смотреть, как порядочные люди и настоящие художники, пользующиеся во французской литературе заслуженной славой, изощрялись в занятии, для которого у них не имелось никаких данных. Иные, чтобы не отстать от других, тратили свои силы на описание всяких мерзостей, которые

утренние газеты преподносили порциями. Они разрешались этой пошлостью регулярно, по определенным дням, раз или два в неделю, и так продолжалось годами. Они, как куры,— неслись, неслись, неслись, несмотря на то, что им нечего было больше сказать, сушили себе мозги, чтобы выудить оттуда что-нибудь новенькое, посмешнее, понеприличнее, ибо пресыщенной публике все скоро приедалось и она находила пресными фантастические описания самых разнузданных наслаждений,— приходилось вечно лезть из кожи вон, чтобы затмить других, затмить себя самого. И, бесплодные, они истекали кровью, выворачивали наизнанку все свое нутро,— зрелище было жалкое и нелепое.

Кристоф не знал подоплеку этого прискорбного занятия; да если бы и знал, то не пожалел бы их, ибо ничто в мире не оправдывало в его глазах художника, продающего искусство за тридцать сребреников...

(— Даже для того, чтобы обеспечить благосостояние близких?

— Даже для этого.

— Вы бесчеловечны.

— Я бесчеловечен?! Нужно быть не просто человечным, а человеком... Бог с ним, с вашим худосочным гуманизмом!.. Нельзя любить двадцать вещей сразу, нельзя служить нескольким богам!..)

В течение всей своей трудовой жизни Кристоф был ограничен горизонтом маленького немецкого городка; ему и в голову не приходило, что разложение в художественной среде, столь явное в Париже, наблюдается почти во всех больших городах; и в нем просыпалось наследственное предубеждение «целомудренной Германии» против «латинской безнравственности». Сильвен Кон легко мог бы ему возразить, противопоставив этой картине многое, что происходило на берегах Шпрее,— ужасающее разложение избранного общества императорской Германии, еще более отвратительное вследствие внешней грубости. Но Сильвен Кон и не помышлял прибегать к этому оружию — берлинские нравы претили ему не больше, чем нравы парижские. Он думал не без иронии: «У каждого народа свои обычаи»,— и находил вполне естественными обычаи общества, в котором жил; таким образом, Кристоф с полным правом мог считать, что коренятся они в самой природе французской нации. Поэтому он, подобно своим соотечественникам, не преминул решить, что язва, разъедающая аристократов духа

во всех странах, есть якобы специфический изъян французского искусства, порок латинских наций.

Это первое соприкосновение с парижской литературой было ему весьма тягостно, и понадобилось немало времени, чтобы впечатление изгладилось. Между тем во Франции было не так уж мало произведений, отнюдь не ограничивавших себя той областью, которую один писатель вежливо называл «вкусом к основательным утехам». Но прекраснейшие и лучшие из таких книг не доходили до Кристофа. Их авторы были не из тех, что ищут одобрения Сильвенов Конов; они не беспокоились о Сильвенах Конах, а те не беспокоились о них; они друг о друге просто не знали. Никогда Сильвен Кон не заговорил бы о них с Кристофом. Самым искренним образом он был убежден, что вкупе со своими друзьями воплощает французское искусство и что, за исключением тех, кого их круг произвел в великие люди, нет талантов, нет искусства, нет Франции. Так Кристоф ничего и не узнал о поэтах, которые составляли славу литературы, славу Франции. В числе романистов, которые дошли до него, поднявшись над болотом посредственности, оказались Баррес и Анатоль Франс. Но он еще слишком мало освоился с языком, чтобы вполне насладиться иронической ученостью первого и чувственным интеллектом второго. Некоторое время с любопытством рассматривал он апельсинные деревья в кадках, произраставшие в оранжерее Анатоля Франса, и бледные нарциссы, испещрявшие кладбище души Барреса. Он остановился на несколько мгновений перед не очень возвышенным и чуточку простоватым талантом Метерлинка,— слишком уж от него веяло бесцветным светским мистицизмом. Кристоф, отряхнувшись, ринулся в многоводный поток мутного романтизма Золя, с которым был уже знаком, и вынырнул лишь для того, чтобы окончательно захлебнуться в литературном потопе.

Над всей этой гладью стоял густой odor di femina[1]. Тогдашняя литература кишела женщинами и женоподобными мужчинами. Можно приветствовать женщин-писательниц, если они искренне изображают то, что не удавалось разглядеть вполне ни одному мужчине,— глубину женской души. Но лишь очень немногие отваживались заглянуть в нее; большинство писало только для того, чтобы привлечь внимание мужчины: они были так же лживы в своих книгах, как и в своих салонах, безвкусно прихорашивались и флиртовали с читателем. Лишившись духовника, которому они могли поведать свои малень-

[1] Запах женщины *(итал.)*.

кие грешки, они стали исповедоваться публике. Такие романы лились потоком, почти всегда скабрезные, всегда манерные, написанные каким-то сюсюкающим языком, и все отдавало парфюмерной лавочкой и пахло до одури приторно и сладковато. Любое произведение их литературы узнавалось по этому признаку. Кристоф думал вслед за Гете: «Пусть женщины сочиняют стихи и прозу, сколько их душе угодно! Но что мне совсем не нравится, это когда мужчины пишут, как женщины!» Сдерживая тошноту, Кристоф видел это двусмысленное кокетство, эти ужимки, эту чувствительность, расточаемую преимущественно на людей, наименее достойных внимания, этот стиль, сотканный из жеманства и грубости, это топорное сердцеведение.

Но Кристоф сознавал, что вынести правильное суждение весьма нелегко. Его оглушил гомон словесной ярмарки. Красивые свирельные напевы безнадежно тонули в нем. Ибо среди этих услаждающих чувства произведений попадались и такие, где на прозрачно-чистом небе проступала, как улыбка, гармоничная линия холмов Аттики — просвечивали талант и грация, сладость жизни, изощренность стиля, мысли, похожие на томных отроков Перуджино и юного Рафаэля, улыбающихся, с полузакрытыми глазами, своим любовным мечтам. Кристоф ничего этого не видел. Ничто не могло помочь ему уловить истинное движение мысли. Впрочем, и французу не легко было бы разобраться в этом. И Кристоф сделал единственный правомерный вывод, что Францию захлестывает словесность и что этот разгул принял размеры общественного бедствия. Казалось, писали все: мужчины, женщины и дети, офицеры, актеры, светские люди и плагиаторы. Настоящая эпидемия.

Кристоф отложил до времени окончательное суждение. Он чувствовал, что такой поводырь, как Сильвен Кон, может только сбить его с толку. Печальный опыт знакомства с неким литературным кружком в Германии по праву настораживал его; он с недоверием относился к книгам и журналам: кто поручится, что они не выражают взглядов какой-нибудь сотни бездельников, или того меньше — что единственный их читатель и слушатель не сам автор? Театр давал более точное представление об обществе. Он занимал в повседневной жизни Парижа несоразмерно большое место. Это была какая-то пантагрюэлевская обжорка, неспособная, однако ж, утолить аппетит двух миллионов человек. Три десятка больших театров, не считая мелких театриков в каждом квартале, кафешантанов, различных зрелищ,— словом, около сотни залов, и почти все каждый

вечер бывали полны. Целая армия актеров и театральных служащих. Четыре субсидируемых театра обслуживались почти тремя тысячами человек и обходились в десять миллионов. Весь Париж гремел от славословий лицедеям. На каждом шагу бесчисленные фотографии, рисунки, карикатуры повторяли их гримасы, граммофоны — их гнусавые голоса, газеты — их суждения об искусстве и политике. У них была своя особая пресса. Они публиковали свои героические и семейные мемуары. Над всеми прочими парижанами, взрослыми детьми, которые фланировали и обезьянничали, царили комедианты — эти обезьяны в кубе; они держали скипетр, а драматурги состояли при них канцлерами. Кристоф попросил Сильвена Кона ввести его в это царство отражений и теней.

Но Сильвен Кон был столь же малонадежным руководителем в этой области, как и в области выбора книг, и благодаря ему первое впечатление от парижских театров получилось у Кристофа такое же отталкивающее, как и от чтения. Казалось, что повсюду царит тот же дух интеллектуальной проституции.

Имелось две школы торговцев наслаждением. Одна держалась добрых старых приемов, национального стиля; она откровенно преподносила грубые, хорошо проперченные, запросто подаваемые блюда, потешала безобразием, угощала щедро — подешевле да побольше уродства, щеголяла в подштанниках, любила казарменные остроты, раковый суп, красный перец, говядину с душком, отдельные кабинеты,— все это называлось «здоровой откровенностью», якобы примирявшей вольность и мораль, поскольку после четырех актов непристойностей неизменно торжествовал кодекс: в результате какой-нибудь путаницы законная жена попадала в постель мужа, которому собиралась наставить рога (раз спасен закон, спасена и добродетель),— игривая честность, которая оберегает брак, придавая ему внешность разврата; словом, галльский жанр.

Другая школа была modern style [1], гораздо утонченнее, но и гораздо отвратительнее. Опарижанившиеся евреи (и объевреившиеся христиане), переполнявшие театры, внесли туда уродливое смешение чувств, являющееся отличительной чертой выродившегося космополитизма. Эти сыновья, стыдившиеся своих отцов, всячески старались отречься от своего нацио-

[1] Современного стиля *(англ.)*.

нального сознания и отлично в этом преуспели. Когда же они лишились векового наследия — своей души,— они остались при таких крохах своего индивидуального облика, что пришлось заняться перемешиванием интеллектуальных и моральных ценностей других народов и стряпать себе на потребу какой-то винегрет, olla podrida [1], и в этом видели удовольствие. Те из них, что были мэтрами парижского театра, научились превосходно толочь в одной ступе грязь и сердечные чувства, придавая добродетели запах порока, а пороку запах добродетели, извращая все отношения между поколениями, полами, членами семьи, близкими друзьями. Их искусство приобретало от этого аромат sui generis [2], в котором слышались и смрад и благоухание,— гаже не придумаешь; они называли это «аморализмом».

Одним из излюбленных героев был тогда влюбленный старик. Репертуар театра давал целую галерею его портретов. Драматурги проявляли необыкновенную изобретательность, изображая его в самых различных видах. То шестидесятилетний герой делал интимные признания дочери, рассказывая ей о своей любовнице, а она, в свою очередь, рассказывала ему о своих любовниках; они по-родственному советовались, добрый отец помогал дочери в ее прелюбодеяниях; добрая дочь выступала посредницей перед неверной любовницей, умоляя ее вернуться. То достойный старец сам выслушивал интимные признания своей любовницы, беседовал с нею о ее любовниках, требовал рассказа о ее распутстве и в заключение даже находил в этом удовольствие. Тут можно было увидеть любовников — безупречных джентльменов, служивших управляющими у своих прежних любовниц и ведавших их денежными и любовными делами. Светские дамы были воровками, мужья — сутенерами, дочери — лесбиянками. Все это происходило в самом лучшем обществе — в среде богатых людей, единственной, которая принималась в расчет. Ибо под прикрытием соблазнов роскоши легче было сбывать порченый товар. Подкрашенный таким образом, он раскупался мгновенно; особенно к нему пристрастились молодые женщины и старички. От всего этого разило трупом и гаремным рахат-лукумом.

Язык этих писателей представлял такую же мешанину, как и их чувства. Они выработали себе жаргон, составленный из словечек всех классов и всех стран, педантичный, кафешантанный, классический, лирический, жеманный, липкий, ры-

[1] Похлебка с острой приправой *(исп.)*.
[2] Собственный, своеобразный *(лат.)*.

ночный, вычурный, некое снадобье из нелепостей, сальностей и острословия, звучавший как-то по-иностранному. Ироничные и одаренные шутовским юмором, эти люди лишены были настоящего остроумия, но, будучи людьми ловкими, довольно искусно научились фабриковать его на парижский образец. Хотя камень не всегда бывал самой чистой воды и хотя почти всегда оправа отличалась безвкусием и излишним богатством, зато при огне вещь блестела, а другого и не требовалось. Люди, впрочем, неглупые, хорошие наблюдатели, но наблюдатели близорукие, со зрением, испорченным веками стояния за прилавком, привыкшие рассматривать чувства в лупу, преувеличивать мелочи и не видеть крупного, издавна пристрастившиеся к мишуре, они способны были изображать только то, что их снобизм выскочек признавал идеалом элегантности; поэтому они и описывали десяток пресыщенных прожигателей жизни и авантюристов, которые оспаривали друг у друга обладание украденными деньгами и распутными самками.

Иногда, впрочем, пробуждалась истинная природа этих еврейских писателей; она всплывала из самой глубины их существа, вызванная к жизни каким-то таинственным отзвуком случайно брошенного слова. Тогда представало перед всеми причудливое смешение веков и рас, дуновение пустыни, приносившее из-за морей в эти парижские альковы вонь турецкого базара, раскаленные пески, галлюцинации, хмельную чувственность, громы проклятий, нервное исступление, граничащее с конвульсиями, бешеную потребность в разрушении,— Самсон, просидевший века во мраке, внезапно поднимался, как лев, и яростно потрясал колонны храма, который обрушивался на него и на вражеское племя.

Кристоф заткнул нос и сказал Сильвену Кону:

— В этом есть своя сила, но от нее смердит. Довольно! Пойдемте посмотрим что-нибудь другое.

— Что же? — спросил Сильвен Кон.

— Францию.

— Да ведь это она и есть! — воскликнул Кон.

— Не может быть,— отвечал Кристоф.— Франция не такая.

— И Франция и Германия.

— Не верю. Такой народ не протянул бы и двадцати лет: от него уже сейчас несет разложением. Должно быть что-то другое.

— Во всяком случае, лучше ничего нет.

— Нет, есть другое,— заупрямился Кристоф.

— Ах да! У нас есть еще прекрасные души и театры по их образу и подобию,— отвечал Кон.— Не желаете ли? Можно угостить и этим.

Он повел Кристофа в «Театр Франсэ».

В тот вечер играли современную комедию в прозе, трактовавшую один правовой вопрос.

С первых же слов Кристоф перестал понимать, где все это происходит. Голоса актеров были преувеличенно полнозвучны, медлительны, важны, размеренны; они произносили все слоги, точно давали урок дикции, будто беспрерывно скандировали александрийские стихи с трагическими придыханиями. Жесты были торжественные, почти обрядовые. Героиня, задрапированная в свой пеньюар, как в греческий пеплум, подняв руку и опустив голову, изображала Антигону, и только Антигону, и улыбалась жертвенной улыбкой, играя самыми глубокими нотами своего красивого контральто. Благородный отец шагал по сцене, как учитель фехтования, с зловещим достоинством,— сам романтизм в черном фраке. Первый любовник холодно сжимал себе горло, надеясь выдавить из него рыдание. Пьеса была написана в стиле не то трагедии, не то фельетона: отвлеченные слова, канцелярские эпитеты, академические парафразы. Ни одного непредвиденного движения, ни одного непредвиденного возгласа. С начала до конца — часовой механизм, заданная задача, драматическая схема, лишенная плоти, голый костяк пьесы, книжные речения. В основе рассуждений, притязавших на смелость,— робкие мыслишки, душонка спесивого мещанина.

Героиня развелась с негодяем мужем, от которого у нее был ребенок, и вышла вторично замуж за порядочного человека, которого любила. Но требовалось доказать, что даже и в этом случае развод осужден природой, не менее чем предрассудками. Достигалось это чрезвычайно легко: по воле автора первый муж однажды нечаянно вновь овладевал бывшей женой. А потом вместо простой и естественной развязки, которая выразилась бы в угрызениях совести, быть может в стыде, и одновременно усилила бы любовь ко второму, порядочному мужу, давалась ходульная неестественная развязка. Ведь при неестественности так несложно быть добродетельным! Французские писатели, по-видимому, не особенно коротко знакомы с добродетелью: говоря о ней, они форсируют голос; не веришь им ни на минуту. Кажется, что это герои Корнеля, короли из

трагедии. Впрочем, разве не короли эти герои-миллионеры, эти героини, у каждой из которых по меньшей мере один особняк в Париже и два или три замка в провинции? Для писателей этого сорта богатство — это красота, почти добродетель.

Публика удивила Кристофа еще более, чем пьеса. Неправдоподобные положения нисколько ее не смущали. Она дружно смеялась в тех местах, когда актер произносил фразу, которой полагалось вызвать смех, возвещая об этом заранее, чтобы все успели подготовиться. Она сморкалась, взволнованно кашляла, утирала глаза, когда трагические истуканы вскрикивали, завывали или падали в обморок, согласно освященному веками обычаю.

— А еще говорят, французы легкомысленны! — воскликнул Кристоф, выходя из театра.

— Всему свое время,— насмешливо отвечал Сильвен Кон.— Вам хотелось добродетели? Вы видите теперь, что она еще есть во Франции.

— Но ведь это же не добродетель,— возразил Кристоф,— это красноречие!

— У нас,— отвечал Сильвен Кон,— добродетель на сцене всегда красноречива.

— Добродетель адвокатов,— сказал Кристоф,— и пальмовая ветвь всегда достается самому болтливому. Я ненавижу адвокатов. Неужели у вас во Франции нет поэтов?

Сильвен Кон повел его в театры поэтов.

Поэты во Франции были. Даже большие поэты. Но театр был не для них. Он оказался к услугам рифмоплетов. Театр для поэзии — то же, что опера для музыки. «Sicut amori lupanar» [1],— как говорил Берлиоз. Кристоф увидел принцесс-куртизанок, которые считали вопросом чести стать проститутками,— их сравнивали с Христом, восходящим на Голгофу; увидел друзей, обманывающих друга из преданности к нему; добродетельные супружества втроем, героических рогоносцев (тип этот, вместе с целомудренной проституткой, стал общеевропейским товаром — пример короля Марка вскружил всем голову; подобно оленю святого Губерта, их представляли не иначе, как с ореолом вокруг чела). Кристоф увидел также девиц легкого поведения, разрывающихся, подобно Химене, между страстью и долгом; страсть призывала их последовать за новым любовником; долг требовал остаться с прежним — со стариком, дававшим им

[1] То, чем является дом терпимости в сравнении с любовью *(лат.)*.

деньги, которого, впрочем, они обманывали. В конце концов они благородно избирали долг. Кристоф находил, что долг этот мало чем отличается от грязной корысти, но публика была довольна. Она удовлетворялась словом «долг»; существом дела она не дорожила — вывеска прикрывала товар.

Верхом искусства считалось наиболее неожиданное сочетание половой распущенности с корнелевским героизмом. Тут уж парижская публика получала полное удовлетворение: в равной мере ублаготворялись и ее распутство, и любовь к ораторству. Будем справедливы — болтливостью она отличалась еще в большей степени, чем похотливостью. Она упивалась красноречием. Она дала бы себя выпороть за красивую речь. Порок и добродетель, сногсшибательный героизм и самая грязная низость — не было такой пилюли, которой не проглотили бы, лишь бы пилюля эта была позолочена звучными рифмами и громкими словами. Все становилось материалом для куплетов. Все становилось фразой. Все становилось игрой. Когда Гюго метал свои громы, он тут же (по словам его апостола Мендеса) заглушал их сурдинкой, чтобы не испугать и малого ребенка... (Апостол почему-то считал, что говорит комплименты.) Никогда в этом искусстве не чувствовалась мощь природы. Парижские поэты все припомаживали: любовь, страдание, смерть. Как и в музыке,— и даже гораздо больше, чем в музыке, которая была во Франции более молодым и относительно более наивным искусством,— здесь тоже пуще огня боялись пресловутого «уже сказано». Наиболее даровитые холодно изощрялись в сочинительстве «навыворот». Рецепт был простой: брали какую-нибудь легенду или даже детскую сказку и писали как раз обратное тому, что в них говорилось. Получался Синяя Борода, избиваемый своими женами, или Полифем, выкалывающий себе глаз по доброте сердечной, чтобы пожертвовать собой ради счастья Акиса и Галатеи. Во всем этом не было ничего серьезного, кроме формы. Вдобавок Кристофу казалось (но он был плохим судьей), что эти мастера формы — скорее хлыщи и подделыватели, а не крупные писатели, не создатели своего стиля, владеющие широкой кистью.

Нигде поэтическая ложь не выставляла себя с большей наглостью, чем в героической драме. О герое у них было самое смехотворное представление:

Что нужно? Нужен дух роскошный и свободный,
Орлиный взор, чело — как храм высокосводный,
Торжественная мощь, вся в грозах, вся в лучах,
И сердца вечный пыл, и свет мечты в очах.

Такие стихи принимались всерьез. Под нарядом громких слов и пышных султанов, под театральным размахиванием жестяным мечом, под картонными шлемами все та же неизлечимая легковерность какого-нибудь Сарду — отважного водевилиста, превращающего историю в балаган. Что было общего между действительностью и бессмысленным героизмом Сирано? Эти господа переворачивали небо и землю, подымали из гробов императора и его легионы, отряды Лиги, кондотьеров Возрождения, воскрешали смерчи, опустошавшие наш мир,— и все для того, чтобы показать какого-нибудь паяца, бесстрастно взирающего на резню в окружении целой армии рыцарей и гаремных пленниц и чахнущего от идиотской романтической любви к женщине, увиденной мельком десять или пятнадцать лет тому назад, или же короля Генриха IV, подставляющего себя под нож убийцы, потому что к нему охладела любовница.

Вот таким образом эти милейшие молодые люди изображали королей и героев в интимной обстановке. Достойные отпрыски знаменитых простачков времени «Великого Кира», этих велеречивых служителей идеала — Скюдери, Ла Кальпренеда,— певцов ложного героизма, героизма невозможного, всегда враждебного героизму истинному... Кристоф с удивлением замечал, что французы, считающие себя такими тонкими, лишены чувства юмора.

Но они превзошли самих себя, когда в моду вошла религия. Тогда актеры постом читали в театре «Гетэ» проповеди Боссюэ под аккомпанемент органа. Еврейские авторы писали для еврейских актрис трагедии о святой Терезе. В театре «Бодиньер» ставили «Крестный путь», а в «Амбигю» — «Младенца Иисуса», в «Порт-Сен-Мартен» — «Страсти Христовы», в «Одеоне» — «Иисуса», в Зоологическом саду исполнялись оркестровые сюиты на тему «Христос». А один блестящий говорун, поэт сладострастной любви, даже прочел в «Шатле» публичную лекцию «Об искуплении». Понятно, из всего Евангелия эти снобы лучше всего запомнили Пилата — «Что есть истина?» и Магдалину, безумную деву. Их Христы — завсегдатаи парижских бульваров — неизменно были в курсе последних тонкостей салонного законодательства.

Кристоф сказал:

— Это уж совсем гадость. Воплощенная ложь. Я задыхаюсь. Уйдем скорее!

Однако среди этого современного делячества великое классическое искусство сохранялось подобно тому, как возвышают-

ся развалины античных храмов среди бьющих на оригинальность построек современного Рима. Если не считать Мольера, Кристоф не мог еще оценить эти произведения. Ему не хватало глубинного понимания языка, а следовательно, и проникновения в дух нации. Наиболее чужой была для него трагедия XVII века — область французского искусства, наименее доступная иностранцам именно потому, что помещается она в самом сердце Франции. Он находил ее скучной, холодной, сухой, отталкивающе педантичной и жеманной. Действие вялое или натянутое, герои отвлеченные, как доказательства ритора, или же бесцветные, как разговор светских дам. Карикатура на античные сюжеты и античных героев. Выставка разума, логики, психологических условностей и вышедшей из моды археологии. Речи, речи и речи — вечная французская болтовня. Кристоф с иронией заявлял, что он отказывается решать, хорошо это или плохо — просто тут нет ничего интересного; какие бы положения ни отстаивались поочередно златоустами из «Цинны», ему было совершенно безразлично, которая из этих говорильных машин в конце концов победит.

Он заметил, однако, что французская публика иного мнения и рукоплещет весьма громко. Но вряд ли это могло рассеять недоразумение: Кристоф смотрел теперь на трагедии Корнеля и Расина сквозь призму публики и узнавал в современных французах иные черты классиков, только в искаженном виде. Так проницательный взгляд улавливает в увядшем лице старой кокетки прелестные черты ее дочери, зрелище, мало способствующее возникновению любовной иллюзии!.. Подобно членам одной семьи, привыкшим часто видеть друг друга, французы не замечали сходства. Но Кристоф был им поражен и даже преувеличивал его: только это сходство он и видел. Современное искусство представлялось ему карикатурой на великих предков, и великие предки, в свою очередь, представлялись в карикатурном виде. Он не отличал уже Корнеля от множества его потомков — поэтов-риторов, помешанных на том, чтобы создавать повсюду возвышенные и нелепые конфликты чувства и долга. А Расин сливался со своими правнуками — мелкотравчатыми парижскими психологами, многозначительно копающимися в собственных сердцах.

Все эти великовозрастные школьники не видели ничего за пределами своих классиков. Критики продолжали без конца спорить о «Тартюфе» и «Федре». И никогда не уставали. Уже стариками они продолжали упиваться все теми же шутками, от которых приходили в восторг еще детьми. И так бу-

дет, пока существует эта нация. Ни в одной стране мира культ прадедов и прапрадедов не пустил таких глубоких корней, как во Франции. Остальной мир их не интересовал. Сколько французов ничего не читало и ничего не желало читать, кроме того, что было написано во Франции при Великом короле! В театрах не ставили ни Гете, ни Шиллера, ни Клейста, ни Грильпарцера, ни Геббеля, ни Стриндберга, ни Лопе де Вега, ни Кальдерона, ни вообще кого-либо из великих писателей других стран, за исключением античной Греции, наследниками коей они себя величали (как и прочие народы Европы). Время от времени их начинало тянуть к Шекспиру. Для проверки у них было две школы толкователей: одни играли «Короля Лира» в духе буржуазного реализма, как комедию Эмиля Ожье; другие обращали «Гамлета» в оперу с бравурными ариями и фиоритурами в манере Виктора Гюго. Им и в голову не приходило, что действительность может быть поэтической, а поэзия — естественным языком сердца, до краев переполненного жизнью. Но Шекспир казался им фальшивым. И тогда они быстро возвращались к Ростану.

Однако за последние двадцать лет были сделаны попытки обновить театр; тесный круг парижской литературы расширился; с притворной смелостью она стала касаться любых вопросов. И даже раза два-три бурные схватки на площади одним ударом разрывали завесу условностей. Но кое-кто тут же спешил залатать прорехи. Существуют же на свете слабонервные отцы, предпочитающие не видеть вещи такими, каковы они есть. Дух светскости, классическая традиция, рутина мысли и формы, отсутствие глубины и серьезности удерживали их в смелых порывах на полдороге. Самые острые проблемы превращались в затейливую игру ума; и все в конце концов сводилось к вопросу о женщинах — наших милых женщинах. Ах, какой печальный вид приобретали на французских подмостках призраки великих творений — героической анархии Ибсена, евангелия Толстого, сверхчеловека Ницше!..

Парижские писатели из кожи лезли вон, лишь бы походить на людей, произносящих новое слово. В сущности же все они были консерваторами. Не было в Европе другой литературы, где бы так безраздельно царило прошлое, «вечное вчера», в толстых журналах, в больших газетах, в субсидируемых театрах, в академиях. Париж играл в литературе ту же роль, что Лондон в политике: роль сдерживающей узды для европейской мысли.

Французская Академия стала некоей палатой лордов. Дух учреждений, созданных еще при старом режиме, продолжал навязывать свои устарелые нормы новому обществу. Революционные элементы отбрасывались или быстро приручались, к великому своему удовольствию. Даже когда правительство делало в политике социалистические жесты, в искусстве оно шло на поводу у академических школ. Против академий боролись только кружки, и боролись плохо. Ибо каждый из членов кружка ждал лишь случая пробраться в Академию — и тогда уж старался перещеголять любого академика. Впрочем, шел ли писатель в авангарде или плелся в обозе, он всегда был пленником своей группы и идей своей группы. Одни замыкались в своем академическом credo, другие — в credo революционном; а в конечном итоге и то и другое — шоры.

Чтобы отвлечь Кристофа, Сильвен Кон предложил свести его в театры особого жанра — последнее слово парижской утонченности. Там показывались убийства, изнасилование, разные виды безумия, пытки, выколотые глаза, вспоротые животы,— короче, все то, что могло дать встряску нервам и удовлетворить скрытые варварские инстинкты ультрацивилизованной верхушки общества. Такие спектакли являлись приманкой для хорошеньких женщин и светских хлыщей, тех самых, что стойко высиживали часами в душных залах Дворца правосудия и слушали скандальные процессы, болтая, смеясь и поедая конфеты. Но Кристоф с негодованием отказался. Чем больше он знакомился с французским искусством, тем отчетливее ощущал запах, поразивший его с первых же шагов, сначала вкрадчивый, потом упорный, удушливый: запах смерти.

Смерть — она таилась повсюду, под всей этой роскошью, за всей этой шумихой. Кристофу стало теперь понятно, почему он сразу же проникся таким отвращением к некоторым из здешних шедевров. Не безнравственность отталкивала его. Нравственность, безнравственность, аморальность — что это значит? Кристоф никогда не изобретал себе нравственных теорий; он любил великих поэтов и великих музыкантов прошлого, которые отнюдь не были святошами; встречаясь с большим художником, он не спрашивал у него свидетельства об исповеди; скорее он мысленно вопрошал:

«Здоров ли ты?»

Здоровье — в этом все дело. «Если поэт болен, пусть полечится,— говорит Гете.— А когда вылечится, будет писать».

Парижские писатели были больны; если же среди них попадался здоровый, он стыдился своего здоровья, скрывал его и старался приобрести какую-нибудь болезнь посерьезней. Болезнь их выражалась не в той или иной черте их искусства — в любви к наслаждению, в крайней вольности мысли, в склонности к разрушительной критике. Все эти черты могут быть — и бывали, смотря по обстоятельствам,— и здоровыми и нездоровыми; в них не заключалось зародыша смерти. Если во французском искусстве присутствовала смерть, то таилась она не в этих склонностях, а в самих людях, в том, как они любили, разрушали, критиковали. И Кристоф тоже любил наслаждение, любил свободу. Он восстановил против себя общественное мнение родного городка, открыто защищая те самые идеи, которые он слышал теперь из уст многих парижан, но в их устах эти идеи возмущали его. А ведь идеи были те же. Но только звучали они иначе. Когда Кристоф нетерпеливо сбрасывал иго великих мастеров прошлого, когда он шел войной на ханжескую эстетику и мораль, для него это не было игрой, как для здешних вольнодумцев, а серьезным, по-настоящему серьезным делом; и бунт свой он поднял во имя жизни, жизни плодотворной, чреватой грядущими веками. А тут все сводилось к бесплодному наслаждению. Бесплодному. Бесплодие. В этом и заключалась разгадка. Бесплодный разврат ума и чувств. Великолепное, блиставшее остроумием и талантом искусство и, конечно, красивая форма, традиция красоты, сохранявшаяся нерушимой, несмотря на все чужеземные наслоения,— театр здесь был настоящим театром, стиль — стилем, драматурги знали свое ремесло, писатели умели писать,— словом, довольно красивый скелет искусства и мыслей, в прошлом доказавших свою мощь. Но только скелет. Звонкие слова, бряцание фраз, металлическое позвякивание идей, сталкивающихся в пустоте, игра ума, чувственный рассудок и рассудочные чувства. Все это служило лишь для эгоистического наслаждения. Все клонилось к смерти. Явление, подобное грозному уменьшению населения Франции, которое Европа безмолвно наблюдала и принимала к сведению. Столько ума и тонкости, столько чувств растрачивалось в постыдном духовном онанизме! А сами они этого не замечали. Они смеялись. И только их смех успокаивал Кристофа: раз эти люди еще умеют смеяться, значит, не все потеряно. Они нравились ему гораздо меньше, когда напускали на себя серьезность; и ничто его так не оскорбляло, как попытки писателей, видевших в искусстве только орудие на-

слаждения, выдавать себя за жрецов какой-то бескорыстной религии.

— Мы художники,— самодовольно повторял Сильвен Кон.— Мы творим искусство для искусства. Искусство всегда чисто; в нем все целомудренно. Мы исследуем жизнь как туристы, которым все служит развлечением. Мы гурманы редкостных наслаждений, вечные донжуаны, влюбленные в красоту.

— Вы лицемеры,— резко обрывал его Кристоф.— Простите, что я вам так говорю. Я считал до сих пор, что лицемерна только моя страна. В Германии мы лицемерно твердим об идеализме, преследуя лишь собственные выгоды: мы воображаем себя идеалистами, а думаем только о себе. Но вы гораздо хуже: вы прикрываете словами «Искусство» и «Красота» (с большой буквы) свое французское сластолюбие или же говорите об Истине, Науке, умственном Долге, а сами, как Пилат, умываете руки и не желаете знать, к каким последствиям приведут ваши возвышенные искания. Искусство для искусства?.. Великолепная вера! Но вера только для сильных. Искусство? Схватить жизнь, как орел хватает свою добычу, и, унесши ее ввысь, воспарить с нею в прозрачно-ясных просторах... Для этого требуются когти, широкие крылья и могучее сердце. Но вы — вы только воробьи, которые, найдя кусочек падали, тут же его кромсают и с писком вырывают друг у друга. Искусство для искусства?.. Несчастные! Разве искусство — негодная пажить, предоставленная нищим бродягам? Конечно, оно наслаждение, и самое упоительное. Но покупается оно ценой ожесточенной борьбы, и лавры его венчают победу силы. Искусство есть укрощенная жизнь. Властитель жизни. Кто хочет быть Цезарем, должен иметь душу Цезаря. Вы же только театральные короли: для вас это роль, которую вы играете, сами в нее не веря. Есть такие актеры, которые прославляются благодаря своему уродству, а вы пытаетесь превратить ваши уродства в литературу. Вы любовно лелеете недуги своего народа, его страх перед любым усилием, его любовь к наслаждению, чувственную философию, иллюзорный гуманизм — все, что изнеживает и расслабляет волю и отнимает у нее все стимулы для действия. Вы ведете его прямо в курильни опиума. И вы сами хорошо это знаете, но вы остерегаетесь сказать: там тебя ждет смерть. Ну, а я утверждаю: где смерть, там нет искусства. Искусство — живительная сила. Самые честные из ваших писателей настолько малодушны, что даже когда повязка спадает с их глаз, они притворяются, будто ничего не видят.

У них хватает бесстыдства говорить: «Это опасно, согласен, тут есть яд; но это так талантливо». Все равно, как если бы в уголовном суде судья сказал о бандите: «Да, конечно, он негодяй, но он так талантлив!..»

Кристоф недоумевал: чем-то все-таки занята французская критика. Не то чтобы критиков было мало, искусство кишело ими. Но сквозь это кишение уже не видно было самих произведений.

Кристоф вообще не питал особенно нежных чувств к критике. Он даже не склонен был признавать полезным такое обилие художников, составляющих как бы четвертое или пятое сословие в современном обществе: он видел в этом примету эпохи, которая, устав, поручает другим заботу наблюдать жизнь, уполномочивает других чувствовать за себя. Тем более постыдной считал он неспособность смотреть собственными глазами даже на отражение жизни, потребность обзаводиться еще и посредниками, создавать отражения отражений,— словом, иметь критиков. Если бы еще эти отражения были верными! Но они отражали лишь переменчивые настроения окружающей толпы. Совсем как те зеркальные стекла в музеях, где отражаются вместе с расписным потолком лица любопытных, пытающихся его рассмотреть.

Было время, когда эти критики пользовались во Франции неограниченным авторитетом. Публика преклонялась перед их приговорами; она почти готова была ставить их выше самих художников, как художников умных (два эти слова в ее глазах, по-видимому, не сочетались). Потом критики невероятно расплодились, авгуров стало слишком много — в ущерб ремеслу. Когда из такого множества людей каждый утверждает, что он единственный обладатель единой истины, никому из них нельзя верить; в конце концов они сами перестают себе верить. Пришло разочарование, и, по свойственной французам привычке, они сразу ударились в противоположную крайность. Только что они уверяли, что знают все, а теперь стали уверять, что ничего не знают. И они гордились этим, даже щеголяли. Ренан внушил этому мягкотелому поколению, что всего изящнее, утверждая что-то, сейчас же опровергнуть это или, по крайней мере, подвергнуть сомнению. Он был из тех, о ком апостол Павел говорил: «У них всегда «да, да», потом же «нет, нет». Вся французская аристократия духа восторгалась этим символом двоедушной веры. В нем проявились ленивый ум и

«Жан-Кристоф». Книга пятая.

слабый характер. О художественном произведении больше не говорили, что оно хорошее или плохое, правдивое или лживое, умное или глупое. Говорили:

— Может быть... Нет ничего невозможного... Не знаю... Умываю руки...

Если в театре ставилась какая-нибудь гадость, они не говорили:

— Это гадость.

А говорили:

— Синьор Сганарель, оставьте, пожалуйста, эту манеру выражаться. Наша философия предписывает обо всем говорить с неуверенностью; посему вы не должны говорить: «Это гадость»,— а говорить: «Мне кажется... Мне представляется, что это гадость... Но я не уверен в этом. Возможно, что это шедевр. И почем знать, может быть, и на самом деле это шедевр».

Уж этих-то критиков никак нельзя было обвинить в тираническом отношении к искусствам. Когда-то Шиллер преподал им урок, напомнив маленьким тиранам прессы своего времени, в чем состоит, как он грубовато выразился «обязанность слуг»:

«Дом, куда явится королева, прежде всего должен быть чист. Живее! Подметайте комнаты. Для этого вас и позвали сюда, господа.

Но едва Она явилась, прочь за дверь, лакеи! Не подобает служанке разваливаться в кресле госпожи!»

Надо отдать справедливость современным критикам. Они больше не садились в господское кресло. Было выражено желание, чтобы они стали слугами, и они стали слугами. Но нерадивыми слугами: они не подметали совсем, и комната приобрела запущенный вид. Они и не думали наводить порядок и чистоту, а сидели сложа руки, возложив всю работу на хозяина, на очередного тогда кумира — Всеобщее голосование.

Правда, с некоторых пор началась реакция против анархической дряблости. Несколько более энергичных умов предприняли кампанию — еще очень робкую — за оздоровление общества; но Кристоф не видел, чтобы в их собственной среде что-нибудь изменилось. К тому же этих людей не слушали или же над ними насмехались. Если по временам случалось, что какой-нибудь сильный художник поднимал бунт против искусства, авторы высокомерно отвечали, что правы они, ибо публика довольна. И этого бывало достаточно, чтобы заткнуть рот всякому, кто возражал. Публика высказала свое мнение, а мнение публики — высший закон в искусстве! Однако следо-

вало подумать о том, что мнение развращенной публики, высказывающейся в пользу своих развратителей, может быть отвергнуто и что не публике подобает руководить художником, а художнику публикой. Религия Числа — числа зрителей и цифры сборов — властвовала над художественной мыслью этой торгашеской демократии. Вслед за авторами и критики послушно провозглашали, что главное назначение художественного произведения — нравиться. Успех — закон; и когда успех длителен, остается только преклониться перед ним. И они старались предугадать колебания на бирже наслаждения, прочесть в глазах публики, что она думает о том или ином произведении. Забавно, что и публика, со своей стороны, старалась прочесть в глазах критиков, что следует думать о том или ином произведении. Так обе стороны переглядывались и читали в глазах друг друга только собственную неспособность решить что-либо.

Однако именно сейчас назрела потребность в бесстрашной критике. В анархической республике всемогущая мода редко обращается вспять, как то бывает в консервативных странах: она неизменно движется; в результате постоянно создается видимость лжесвободы духа, против которой почти никто не решается выступить. Толпа не способна высказаться; в глубине души она неспокойна, но никто не осмеливается сказать то, что втайне чувствует. Будь критики людьми мужественными, найди они в себе смелость быть сильными, какой бы они обладали властью! Здоровый и сильный критик (думал Кристоф, наш юный деспот) мог бы в несколько лет сделаться Наполеоном общественного вкуса и загнать в сумасшедший дом все психозы искусства. Но у вас нет больше Наполеона... Все ваши критики, во-первых, живут в отравленном воздухе и перестали это замечать. Во-вторых, ни у кого из них не хватает смелости говорить. Все они знакомы между собой: составляют одну компанию и обязаны ладить друг с другом; среди них нет ни одного независимого. Чтобы стать таковым, пришлось бы пожертвовать светским обществом и даже дружескими связями. У кого же хватит на это мужества в эпоху безволия, когда даже лучшие не уверены, окупает ли правильность откровенной критики те неприятности, которые она может причинить? Кто согласится, из чувства долга, превратить свою жизнь в ад? Кто решится пренебречь общественным мнением, бороться с людским тупоумием, разоблачать посредственность очередных героев дня, защищать безвестных и одиноких художников, отданных на растерзание зверям, кто решится внушать

умам, могущим только повиноваться, уважение к властительным умам? Кристофу приходилось слышать, как критики говорили на премьере, где-нибудь в фойе театра:

— Фу, как скверно! Да это же провал!

А на другой день в своих рецензиях толковали о шедевре, о новом Шекспире, о дуновении гения, пронесшемся по зрительному залу.

— Талантами ваше искусство не обижено,— говорил Кристоф Сильвену Кону,— но ему не хватает характеров. Вам бы большого критика, какого-нибудь Лессинга, какого-нибудь...

— Буало? — насмешливо подсказал Сильвен Кон.

— Да, пожалуй. И один Буало вам нужнее, чем десять талантливых художников.

— Если бы у нас был Буало,— отвечал Сильвен Кон,— его не стали бы слушать.

— Если бы его не стали слушать, это значило бы, что он не Буало,— возразил Кристоф.— Да что Буало! Если бы даже я, грешный, сумел когда-нибудь сказать вам в лицо всю правду, без прикрас, вам пришлось бы все выслушать и проглотить волей-неволей.

— Бедняга! — хихикнул Сильвен Кон.

У него был такой уверенный вид, и, казалось, он так был доволен всеобщей дряблостью, что Кристоф, глядя на своего собеседника, вдруг почувствовал: человек этот в сто раз более чужой во Франции, чем он, иностранец.

— Нет, не может этого быть,— снова сказал Кристоф, как в тот вечер, когда с отвращением выходил из театра на Бульварах.— Есть еще другое.

— А что вам нужно еще? — спросил Кон.

Кристоф упрямо повторил:

— Франция.

— Франция — это мы,— отвечал, прыснув, Сильвен Кон.

Кристоф с минуту пристально смотрел на него, потом тряхнул головой и повторил свое:

— Есть еще другое.

— Ну что ж, ищите, милый,— сказал Сильвен Кон и захохотал во все горло.

Искать Кристофу пришлось долго. Они основательно запрятали это другое.

Одно впечатление все сильнее овладевало Кристофом, по мере того как он пристальнее приглядывался к тем идеям, которые служили бродилом для парижского искусства: женщина властвовала над этим космополитическим обществом. Она занимала в нем несоразмерно большое место. Она уже не довольствовалась ролью подруги мужчины. Она навязывала мужчине как верховный закон свое стремление наслаждаться. И мужчина соглашался. Когда народ старится, он вручает свою волю, свою веру, самое свое существование той, что расточает наслаждение. Мужчины создают искусство, зато женщины создают мужчин (если только сами не берутся за создание произведений искусства, как это имело место в тогдашней Франции); вернее, не создают, а предают их. Разумеется, вечно женственное всегда являлось возвышающим началом для лучших из мужчин; но для обыкновенных людей и для упадочных эпох есть, как кто-то сказал, женственное начало иного порядка — оно тоже вечно, но оно тянет их вниз. Это-то женственное начало и было властителем дум, самодержавной властью Республики.

Кристоф с любопытством наблюдал парижанок в некоторых салонах, благо туда ему открыли доступ рекомендации Сильвена Кона и собственный талант виртуоза. Подобно большинству иностранцев, он безжалостно распространял на всех француженок те суждения, которые возникли у него на основании встреч с двумя или тремя типами парижанок,— обычно это были молодые женщины, невысокого роста, уже чуть-чуть потрепанные, с гибкой талией, с крашеными волосами, мило-

видные, в большой шляпе на немного крупной для туловища голове; резкие черты, одутловатые щеки, довольно правильный нос, часто вульгарный и обычно нехарактерный; взгляд живой, но лишенный глубины, хотя каждая француженка считала, что глаза у нее горящие и огромные; красиво очерченные губы, искусная мимика рта; пухлый подбородок; вся нижняя часть лица свидетельствовала о сугубо земных наклонностях этих изящных особ, которые даже в разгар любовной драмы помнят о светских условностях и о своем хозяйстве. Хорошенькие, но не породистые. Почти в каждой из этих светских дам чувствовалась развращенная или мечтающая быть развращенной буржуазка со всеми повадками своего класса: благоразумием, расчетливостью, холодностью, практичностью, эгоизмом. Мелкое существование. Жажда наслаждений, проистекающая гораздо чаще от чисто рассудочного любопытства, чем из потребности чувств. Воля твердая, но с большой примесью упрямства. Все были прекрасно одеты и отличались автоматическим изяществом движений. Легко и грациозно подправив волосы и гребенки ладонью или тыльной стороной руки, они всегда садились с таким расчетом, чтобы можно было любоваться собой — а также наблюдать за соседями — в каком-нибудь близко или далеко висящем зеркале, не говоря уже о ложках, ножах, серебряных кофейниках, любой полированной и блестящей поверхности, на которой они ловили за обедом или за чаем свое мимолетное отражение, интересовавшее их больше всего на свете. Они соблюдали за столом строжайшую гигиену: пили воду и отказывались от всех кушаний, которые могли бы нанести ущерб идеальной белизне их напудренной кожи.

В кругах, где вращался Кристоф, процент евреек был довольно велик, и они привлекали его, хотя он не забыл печального опыта с Юдифью Маннгейм и уже не строил себе никаких иллюзий на их счет. Сильвен Кон ввел его в несколько иудейских гостиных, где его приняли предупредительно и умно, как это вообще свойственно евреям, умеющим ценить ум. Кристоф встречался на обедах с финансистами, инженерами, газетными воротилами, международными маклерами, современными работорговцами,— словом, с деловыми людьми Республики. Они были проницательны и деятельны, равнодушны, любезны, порывисты и замкнуты. Кристоф, глядя на этих людей, собравшихся вокруг роскошного стола, уставленного яствами и цветами, каждый раз спрашивал себя, сколько уже совершенных преступлений таится за этими упрямыми лбами и сколько еще будет совершено. Почти все они были безоб-

разны. Но женщины в массе производили довольно эффектное впечатление. Не следовало только рассматривать их слишком близко: большинство не могло похвастать изяществом линий и красок. Зато много блеска, грубоватая плотскость, роскошные плечи, гордо красовавшиеся под устремленными на них взглядами, и огромное умение пользоваться своей красотой и даже своим уродством для уловления мужчин. Художник обнаружил бы в некоторых из них древнеримский тип, тип женщин времен Нерона или Адриана. Встречались также лица с картин Пальма Веккья, с чувственным выражением, с массивным подбородком, неприметно переходящим в шею, что, впрочем, не лишено было животной красоты. У других были пышные вьющиеся волосы, пламенный, вызывающий взгляд: чувствовалось, что они хитры, колки, готовы на все, в них было больше мужского, чем в других женщинах, но зато и больше женственности. Из общей массы выделялся порой более одухотворенный профиль. Чистые его линии, минуя Рим, восходили к древнему Ливану: была в нем поэзия тишины, гармония пустыни. Но когда Кристоф подходил ближе и прислушивался к фразам, которыми Ревекка обменивалась с Фаустиной-римлянкой или святой Варварой-венецианкой, перед ним оказывалась все та же парижская еврейка, ничем не отличающаяся от всех прочих, и даже больше парижанка, чем сами парижанки, еще менее естественная и еще более фальшивая,— из тех, что умеют злословить с самым спокойным видом, глазами мадонны раздевая душу и тело человека.

Кристоф переходил от группы к группе, не решаясь примкнуть ни к одной из них. Мужчины говорили об охоте с кровожадностью, о любви с животной грубостью и только о деньгах — здраво, с холодной и насмешливой уверенностью. Дела обделывались в курительной. Кристоф слышал, как об одном красавце с розеткой в петлице, который разгуливал между дамами, картавя тяжеловесные комплименты, говорили:

— Как! Неужели он на свободе?

В уголке салона две дамы вели разговор о романе молодой актрисы с одной светской женщиной. Иногда устраивались концерты. Просили Кристофа поиграть. Задыхавшиеся поэтессы, обливаясь потом, распевали на апокалиптический лад стихи Сюлли-Прюдома и Огюста Доршена. Знаменитый комедиант приезжал торжественно декламировать «Мистическую балладу» под аккомпанемент небесных звуков органа. Музыка и стихи были так глупы, что Кристофа мутило. Но наши римлянки восторгались и от души хохотали, показывая свои вели-

колепные зубы. Играли также Ибсена. Эпилог борьбы великого человека против столпов общества оказался прекрасным развлечением!

Далее, все эти люди, разумеется, считали своим долгом рассуждать об искусстве. Тошно было слушать. Особенно женщин, которые охотно говорили об Ибсене, о Вагнере, о Толстом,— ради флирта, из вежливости, от скуки, по глупости. Как только разговор переходил на эту почву, никто не мог их остановить. Болезнь была заразительна. Приходилось выслушивать мнение об искусстве — банкиров, маклеров, работорговцев. Тщетно старался Кристоф уклониться от ответов, переменить тему разговора: к нему упорно приставали с болтовней о музыке, о высокой поэзии. Прав был Берлиоз, сказавший, что «здесь пользуются этими словами с таким хладнокровием, точно говорят о вине, флирте и других пошлостях». Какой-то врач-психиатр узнавал в героине Ибсена одну из своих пациенток, но находил, что она гораздо глупее той. Какой-то инженер был искренне убежден, что в «Кукольном доме» самое симпатичное лицо — муж. Знаменитый актер — великолепный комик,— запинаясь, изрекал вибрирующим голосом непререкаемые истины насчет Ницше и Карлейля; он же клялся Кристофу, будто не может видеть картины Веласкеса — Веласкес был кумиром дня — «без того, чтобы крупные слезы не заструились у него по щекам». Но тем не менее он сознавался — Кристофу, по крайней мере,— что, сколь высоко он ни ценит искусство как таковое, еще выше ставит он искусство жить, действовать и что, если бы это от него зависело, он выбрал бы себе роль Бисмарка. Порой на этих собраниях присутствовал какой-нибудь из присяжных умников. Однако разговор от этого выигрывал не намного. Кристоф сравнивал слова, которые приписывались умникам, с тем, что они действительно говорили. Чаще всего они вообще ничего не говорили, ограничиваясь загадочными улыбками; они жили на ренту своей репутации и не желали рисковать ею. Особняком стояли несколько болтунов, чаще всего южан. Эти болтали обо всем. Никаких критериев; все ставилось на одну доску. Такой-то — настоящий Шекспир. Такой-то — Мольер. Такой-то — Иисус Христос. Они сравнивали Ибсена с Дюма-сыном, Толстого — с Жорж Санд; разумеется, только для того, чтобы доказать, что все берет свое начало во Франции. Как правило, они не знали ни одного иностранного языка. Но это их не смущало. Аудитории было вовсе не важно, правда или нет то, что они говорят. Важно было, чтобы говорились вещи забавные и по воз-

можности лестные для национального самолюбия. Иностранцам здорово доставалось — за исключением кумира дня,— будь то Григ, Вагнер, Ницше, Горький, д'Аннунцио — безразлично. Мода длилась недолго, и в одно прекрасное утро кумир неизбежно попадал в мусорный ящик.

В то время кумиром был Бетховен. Бетховен — кто бы мог подумать? — стал модным композитором. По крайней мере, среди светских людей и литераторов; ибо музыканты немедленно отшатнулись от него, следуя законам механики, управляющей художественным вкусом во Франции. Чтобы знать, каких держаться взглядов, француз прежде всего выясняет, что думает его сосед, и тогда либо присоединяется к его мнению, либо утверждает нечто прямо противоположное. Видя, что Бетховен становится популярным, наиболее изысканные музыканты начали находить его недостаточно изысканным; они желали опережать общественное мнение, а вовсе не плестись у него в хвосте; предпочитали прямой разрыв с публикой общему с ней мнению. Так, Бетховен стал у них глухим, крикливым стариком, а некоторые утверждали даже, что хоть моралист он, пожалуй, почтенный, но слава его как музыканта сильно раздута. Эти дурные шутки были не по вкусу Кристофу. Восторги светских людей тоже не радовали его. Если бы в тот момент Бетховен прибыл в Париж, он стал бы героем дня; на свою беду, он умер сто лет назад. Успех Бетховена был обусловлен не столько его музыкой, сколько более или менее романтическими подробностями его жизни, рассказанными в чувствительных жизнеописаниях. Его свирепую львиную маску превратили в виньетку к романсу. Дамы умилялись; каждая намекала, что, если бы она была знакома с композитором, он не был бы так несчастен,— великодушие тем более непритворное, что говорившую нельзя было поймать на слове: «старик» уже ни в чем не нуждался. Вот почему виртуозы, капельмейстеры, устроители концертов открывали в себе бездну благоговения перед Бетховеном и, на правах его представителей, пожинали предназначенные ему лавры. Пышные фестивали, по очень высоким ценам, давали светским людям случай проявить свою щедрость,— а иногда также «открыть» ту или иную симфонию Бетховена. Комитеты из актеров, светских и полусветских людей и государственных мужей, уполномоченных Республикой печься о судьбах искусства, вдруг оповещали мир, что они собираются воздвигнуть памятник Бетховену; на подписных листах, наряду с именами нескольких порядочных людей, слу-

живших ширмой для прочих, ставила свои имена вся та сволочь, которая попирала бы ногами живого Бетховена.

Кристоф смотрел и слушал. Он стискивал зубы, чтобы не сказать дерзости. Весь вечер он сидел со злым и напряженным лицом. Он не мог ни говорить, ни молчать. Говорить не потому, что хочется, и не потому, что приятна беседа, а просто из вежливости, потому что надо говорить,— казалось ему унизительным. Высказывать сокровенные свои мысли ему не дозволялось. Говорить банальности было выше его сил. Но и таланта вежливо молчать у него тоже не было. Если он смотрел на своего соседа, то слишком пристальным и острым взглядом: помимо воли он изучал его, а того это обижало. Если он говорил, то искренне верил в то, что говорит: это шокировало всех и даже его самого. Он ясно сознавал, что был здесь не на месте, и, достаточно чуткий, чтобы уловить тон среды, в которой его присутствие вносило диссонанс, досадовал на свое поведение не меньше самих хозяев. Он сердился и на себя и на них.

Когда же среди ночи он выходил на улицу и оставался в одиночестве, ему становилось так нестерпимо тошно, что не хватало мужества идти домой пешком; хотелось тут же броситься на землю, как бывало, когда он, маленький виртуоз, возвращался с вечеров у герцога и с трудом удерживался от такого же порыва. Иногда у него оставалось всего пять-шесть франков до конца недели, и все же он тратил два из них на фиакр. Он опрометью бросался в экипаж, лишь бы очутиться подальше, и всю дорогу стонал от отвращения. И он продолжал стонать дома, в постели, засыпая... Потом вдруг разражался хохотом, вспомнив какую-нибудь нелепую фразу. Он ловил себя на том, что сам повторял ее, передразнивая жесты говорившего. На следующий день и даже спустя несколько дней он иногда, гуляя в одиночестве, начинал вдруг рычать, как дикий зверь... Зачем ходил он к этим людям? Зачем он к ним ходит? Зачем принуждает себя повторять чужие жесты, чужое кривлянье, притворяться, будто интересуется тем, что вовсе его не интересует? Но вправду ли не интересует? Год тому назад он бы и часу не мог усидеть с этими людьми. Теперь же они забавляли его, хоть и по-прежнему раздражали. Неужели и он стал заражаться парижским равнодушием? И им овладело беспокойство, уж не сдал ли он. Но нет, напротив, он становился сильнее. В чуждой среде он стал свободнее духом. Глаза его невольно раскрывались на великую Комедию жизни.

Впрочем, нравилось ему это или нет, а приходилось мириться с такой жизнью, если он хотел, чтобы его творчество стало известно парижскому обществу, а парижское общество интересуется художественными произведениями, лишь поскольку оно знакомо с самим художником. Приходилось искать связей, если он хотел кормиться уроками, которые мог получить только в домах мещан и филистеров.

А потом, у каждого ведь есть сердце; и сердце помимо нашей воли привязывается; оно находит, к чему привязаться, в какую бы среду ни попало; и если бы не привязывалось, не могло бы жить.

В числе других учениц Кристоф давал уроки дочери богатого автомобильного фабриканта, Колетте Стивенс. Отец ее был выходец из Бельгии, сын обосновавшегося в Антверпене англо-американца и голландки; мать — итальянка. Настоящая парижская семья. Для Кристофа — да и для многих других — Колетта Стивенс олицетворяла собой тип французской девушки.

У этой восемнадцатилетней девицы были черные бархатистые глаза, которыми она нежно поглядывала на молодых людей; зрачки, как у испанки, заполнявшие всю орбиту влажным блеском; чуть длинноватый капризный носик, который она, когда говорила, слегка морщила с задорными гримасками; растрепанные волосы; неправильное, но смазливое личико, с неважной запудренной кожей и простоватыми пухленькими щечками и губками, напоминавшее мордочку надувшегося котенка.

Миниатюрная, прекрасно одетая, обольстительная, дразнящая, с жеманными, вкрадчивыми, деланно наивными манерами, она разыгрывала из себя маленькую девочку и часа по два раскачивалась в качалке, восклицая что-нибудь вроде: «Нет! Не может быть!..»

За столом она хлопала в ладоши, когда подавали ее любимое блюдо; в гостиной курила папиросу за папиросой, при мужчинах прикидывалась, будто нежно любит своих подруг,— бросалась им на шею, ласково гладила им руки, шептала что-то на ухо, говорила наивности, а иногда и колкости, преискусно-нежным и слабеньким голоском; при случае она этим же голоском как ни в чем не бывало умела сказать и большую непристойность, а еще лучше — вызвать на непристойность своего собеседника, и все это с самым простодушным

выражением паиньки-девочки, поблескивая томными, с тяжелыми веками, плутоватыми глазами, лукаво косясь по сторонам; она подстерегала все сплетни, подхватывала любую двусмысленность, вечно старалась поймать на удочку чье-нибудь сердце.

Это глупое кривлянье, эти щенячьи ужимки, эта деланная простоватость ни в малейшей степени не прельщали Кристофа. Ему было не до уловок развращенной девчонки, они даже не забавляли его. Ему нужно было зарабатывать себе на хлеб, спасать от смерти свою жизнь и свои замыслы. Все эти салонные попугайчики интересовали его лишь постольку, поскольку они доставляли ему средства к существованию. Они платили ему, а он за деньги обучал их добросовестно, наморщив лоб, ничем не отвлекаясь; он решил не поддаваться ни скуке этих уроков, ни поддразниванью своих учениц, когда попадались кокетливые, вроде Колетты Стивенс. И самой Колетте он уделял не больше внимания, чем ее маленькой двоюродной сестре, молчаливой и застенчивой девочке тринадцати лет, воспитывавшейся у Стивенсов, которой он также давал уроки.

Хитренькая Колетта прекрасно почувствовала, что с Кристофом все ее авансы пропадут даром; в то же время она ловко сумела в одно мгновение приспособиться к его вкусам. Для этого не понадобилось даже никаких усилий. Она действовала инстинктивно. Колетта была женщина. Она, как волна, не имела определенной формы. Чужая душа являлась для нее как бы сосудом, форму которого она, когда нужно, усваивала — иногда просто из любопытства, а иногда по необходимости. Чтобы жить, ей постоянно требовалось быть кем-то другим. Вся неповторимость ее личности заключалась в том, что она никогда не оставалась самой собой. Она слишком часто меняла сосуды.

Кристоф привлекал ее по многим причинам, главной из которых было то, что она сама не привлекала его. Он привлекал ее также тем, что не походил ни на кого из ее знакомых молодых людей,— никогда еще не попадался ей сосуд столь нескладный и столь замысловатой формы. И, наконец, обладая врожденной способностью определять с первого взгляда точную цену сосудов и людей, она ясно сознавала, что отсутствие внешнего лоска возмещается у Кристофа своего рода добротностью, какой лишены ее парижские куколки.

Она занималась музыкой, как занимается ею большинство праздных барышень. И слишком много и слишком мало. То

есть она почти всегда была занята музыкой и почти ничего в ней не смыслила. Она бренчала на рояле по целым дням — от безделья, из любви к позе, ради чувственного развлечения. Иногда она играла, как другие катаются на велосипеде. Иногда играла хорошо, даже прекрасно, со вкусом, с душой (почти верилось, что у нее тоже есть душа: для этого ей было достаточно представить себя на месте человека, действительно обладавшего душой). До знакомства с Кристофом она способна была любить Массне, Грига, Томэ. Но она способна была также разлюбить их после знакомства с Кристофом. И теперь она играла Баха и Бетховена очень часто (что, по правде говоря, не бог весть какая похвала); но поразительнее всего то, что она их любила. В сущности, она любила не Бетховена, не Томэ, не Баха и не Грига,— она любила ноты, звуки, свои пальцы, бегавшие по клавишам, дрожанье струн, царапавшее и приятно щекотавшее ей нервы.

В салоне аристократического особняка, обтянутом немного блеклыми шпалерами, с водруженным на мольберте портретом дородной г-жи Стивенс, которую модный художник изобразил чахнущей, как цветок без воды, с глазами умирающей и с закрученной в спираль талией, желая, вероятно, выразить таким образом исключительность ее миллионерской души,— в большом салоне с окнами, выходившими на старые, запорошенные снегом деревья, Кристоф всегда заставал Колетту у рояля, за бесконечным повторением все тех же фраз, ласкавших ей слух мягкими диссонансами.

— А! — восклицал, входя, Кристоф.— Кошечка снова замурлыкала!

— Невежа! — отзывалась со смехом Колетта.

(И протягивала ему немного влажную руку.)

— ...Послушайте-ка вот это. Разве не прелестно?

— Восхитительно,— отвечал Кристоф равнодушным тоном.

— Да вы не слушаете!.. Извольте выслушать внимательно.

— Я слушаю... Ведь это все одно и то же.

— Ах, вы не музыкант! — с досадой говорила она.

— Как будто тут дело в музыке!

— Как! Не в музыке?.. Так в чем же тогда, скажите, пожалуйста!

— Вы сами отлично знаете, а я не скажу, потому что это не совсем пристойно.

— Тем более вы должны сказать.

— Вы требуете?.. Пеняйте на себя!.. Знаете, что вы делаете с вашим роялем?.. Флиртуете.

— Вот еще!

— Да, да. Вы ему говорите: «Милый рояль, душка рояль, скажи мне что-нибудь любезное, еще поласкай меня, поцелуй меня!»

— Да замолчите же! — обрывала Колетта, полусмеясь, полусердито.— Вы не имеете ни малейшего понятия об учтивости.

— Верно, ни малейшего.

— Вы дерзкий... А если даже это так, разве это не значит, что я по-настоящему люблю музыку?

— Нет уж, смилуйтесь, не будем примешивать сюда музыку.

— Но это же сама музыка! Красивый аккорд — ведь это поцелуй!

— Вот вы и проговорились.

— Разве не правда?.. Почему вы пожимаете плечами? Почему вы хмуритесь?

— Потому что мне противно слушать.

— Час от часу не легче!

— Мне противно слушать, когда говорят о музыке, как о распутстве... О, вы в этом не виноваты! Виновата ваша среда. Все это пошлое общество, что вас окружает, смотрит на искусство как на какой-то дозволенный разврат... Ну ладно, хватит!! Сыграйте-ка мне сонату.

— Нет, нет, поговорим еще немного.

— Я здесь не для того, чтобы разговаривать, а чтобы давать вам уроки музыки... Ну, шагом марш!

— Вы очень любезны! — отвечала Колетта, раздосадованная, но в глубине души восхищенная этим грубоватым обращением.

И Колетта играла заданный урок, стараясь изо всех сил, а так как способности к музыке у нее были, то получалось вполне прилично, иногда даже довольно хорошо. Кристоф, которого трудно было провести, смеялся в душе над ловкостью «продувной девчонки, игравшей так, точно она чувствует то, что́ играет, хотя в действительности ничего не чувствует». И он проникался к ней какой-то насмешливой симпатией. Колетта же пользовалась любым предлогом, чтобы возобновить разговор, занимавший ее гораздо больше, чем урок. Тщетно Кристоф отговаривался тем, что не станет высказывать все свои мысли, ибо боится оскорбить ее,— ей всегда удавалось добиться своего; и чем оскорбительнее были слова Кристофа, тем меньше она обижалась: в том-то и заключалось ее развле-

чение. Но так как Колетта была тонкая штучка и понимала, что Кристоф больше всего любит искренность, то не уступала ему ни пяди и спорила до слез. Расставались они самыми лучшими друзьями.

Однако никогда у Кристофа не возникло бы ни малейшей иллюзии насчет этой светской дружбы, никогда не установилось бы между ними и тени интимности, если бы в один прекрасный день Колетта не сделала ему признания — невзначай или из прирожденного кокетства.

Накануне у ее родителей был прием. Колетта смеялась, болтала, флиртовала напропалую; но на следующее утро, когда Кристоф пришел на урок, она встретила его утомленная, измученная, поблекшая, с лицом в кулачок. С трудом она выговорила несколько слов и казалась вся какой-то потухшей. Она села за рояль, стала играть вяло, наврала, попробовала поправиться, опять сбилась, резко оборвала игру и сказала:

— Нет, не могу... извините меня... Может быть, немножко погодя...

Кристоф спросил, не больна ли она. Она ответила, что нет.

«Просто не в настроении... С нею это бывает... Смешно, конечно, но не надо на нее сердиться...»

Он предложил перенести урок на другой день, но она упросила его остаться.

— Только минутку... Сейчас все пройдет... Какая я глупая, не правда ли?

Он чувствовал, что ей не по себе, но не хотел расспрашивать и, чтобы переменить тему разговора, сказал:

— Вот что значит слишком блистать на вечере! Вы совсем вчера себя не щадили.

Она иронически улыбнулась:

— Зато про вас этого нельзя сказать.

Кристоф звонко расхохотался.

— Вы, кажется, не произнесли ни одного слова,— продолжала она.

— Ни одного.

— А между тем у нас были интересные люди.

— Да, редкостные болтуны и умники. Я теряюсь, когда наблюдаю вашу французскую бесхарактерность,— тут всё понимают, всё прощают и ничего не чувствуют. По целым часам говорят о любви и об искусстве! Просто тошнит.

— Однако это должно бы вас интересовать,— если не любовь, то, во всяком случае, искусство.

— Об этих вещах не говорят: их делают.

— А если не можешь делать? — спросила Колетта, скривив губы.

— Тогда предоставьте это другим,— со смехом отвечал Кристоф.— Не все созданы для искусства.

— А для любви?

— И для любви.

— Сжальтесь! Что же нам тогда остается?

— Семья, хозяйство.

— Благодарю покорно! — обиженно проговорила Колетта.

Она снова попробовала играть, снова наврала, ударила по клавишам и жалобно простонала:

— Нет, не могу!.. Положительно я ни на что не годна. Думаю, что вы правы. Женщины ни на что не годны.

— Сознаться в этом — уже чего-то стоит,— добродушно заметил Кристоф.

Она посмотрела на него пристыженным взглядом девочки, которую бранят, и сказала:

— Не будьте таким суровым!

— Я не говорю дурно о хороших женщинах,— весело возразил Кристоф.— Хорошая женщина — рай на земле. Но только рай на земле...

— ...никто никогда его не видел.

— Я не такой пессимист. Я говорю: да, я его никогда не видел, но очень возможно, что он существует. Я даже решил, что отыщу его, если вообще он существует. Да это не так легко. Хорошая женщина и гениальный мужчина — весьма редкие птицы.

— А остальные мужчины и женщины, значит, не в счет?

— Напротив! Только остальные и идут в счет... для света.

— А для вас?

— Для меня они не существуют.

— Вы суровы! — повторила Колетта.

— Как вам сказать! Надо же кому-нибудь быть суровым. Хотя бы для блага других!.. Если бы в этом мире не было разбросано немного камней, его затянуло бы тиной.

— Да, верно, вы счастливый — ведь вы такой сильный,— печально сказала Колетта.— Но не будьте слишком строги к людям — особенно к женщинам, если они слабы... Вы не знаете, как тяготит нас наша слабость. Пусть мы хохочем, флиртуем, кривляемся, а вы уж думаете, что у нас в голове больше ни-

чего и нет, и презираете нас. Ах, если б вы могли прочесть все, что происходит в душе маленьких женщин от пятнадцати до восемнадцати лет, начинающих выезжать и пользующихся успехом, который обеспечивает им их шумная жизнь,— если бы вы могли прочесть, что происходит в них после того, как они натанцевались, наговорили глупостей, парадоксов, горьких истин и все со смехом, пока не рассмешат кавалера; после того как они отдали частицу своего существа разным болванам и тщетно искали в глазах каждого искру света, которого там и быть не может,— если б вы их видели, когда они, вернувшись домой ночью, запрутся в своей тихой спальне и бросятся на колени в смертной тоске одиночества!..

— Возможно ли это? — воскликнул изумленный Кристоф.— Как! И вы, вы тоже так страдаете?

Колетта не ответила, но на глаза ее навернулись слезы. Она попробовала улыбнуться и протянула Кристофу руку; тот взволнованно схватил ее.

— Бедная девочка! — проговорил он.— Если вы страдаете, почему вы не откажетесь от такой жизни?

— Что же прикажете нам делать? Нам нечего делать. Вы, мужчины, можете добиваться свободы, можете делать все, что хотите. Но мы, мы всегда замкнуты в кругу светских обязанностей и удовольствий: для нас выхода нет.

— Кто же вам мешает освободиться, подобно нам заняться делом, которое вам нравилось бы и обеспечивало бы, как и нам, независимость?

— Как и вам? Бедный господин Крафт! Не очень-то оно вас обеспечивает!.. Но, по крайней мере, оно вам нравится. А для какого дела созданы мы? Нет такого дела, которое бы нас интересовало. Да, я знаю, мы теперь вмешиваемся во все, притворяемся, будто нас привлекает и то, и другое, и третье, хотя нас это вовсе не касается; но нам так хочется чем-нибудь заинтересоваться! Я не отстаю от других. Занимаюсь благотворительностью, состою в комитетах. Бываю в Сорбонне, хожу на лекции Бергсона и Жюля Леметра, на исторические концерты, на классические утренники и все что-то записываю, записываю... сама не знаю, что записываю!.. и стараюсь убедить себя, что это страшно меня увлекает или, по крайней мере, полезно мне. Но ведь это совсем не так, я сама прекрасно знаю, как все это мне безразлично и как скучно!.. Пожалуйста, не презирайте меня: я говорю вслух то, что думают все. Я не глупее других. Но к чему мне философия, история и наука? Что же касается искусства, то — вы видите — я бренчу на рояле, мажу дрянные акварельки,

да разве это может наполнить жизнь? В нашей жизни только одна цель — замужество. Но, вы думаете, весело выйти замуж за одного из этих господ, ведь мы с вами видим их насквозь. Знаем их истинную цену. Увы, я не умею утешать себя, как ваши немецкие Гретхен, из всего создающие себе иллюзии... Разве это не ужасно? Смотреть вокруг себя, видеть своих замужних подруг, их супругов и думать, что придется поступить так же, как они, изуродовать себя физически и духовно, стать такой же пошлой!.. Уверяю вас, нужно быть стоиком, чтобы примириться с такой жизнью и такими обязанностями. Не все женщины способны на это... А время идет, годы текут, молодость уходит; и, однако же, есть в нас что-то хорошее, путное, но оно ни на что не пригодится, оно умирает с каждым часом, и нам скрепя сердце придется отдать лучшее, что мы имеем, какому-нибудь идиоту, ничтожному существу, которое ты презираешь и которое будет тебя презирать!.. И никто нас не понимает! Для людей мы точно какая-то загадка. Еще можно понять мужчин, когда находят нас пустыми и взбалмошными! Но женщины, казалось бы, должны нас понимать! Ведь и они были такими же, как мы, пусть припомнят... Ничего! Никакой помощи от них. Даже родные матери нас не знают и ничуть не пытаются узнать. Вся их забота — выдать нас замуж. А в остальном — живи, умирай, устраивайся как хочешь! Общество бросает нас всецело на произвол судьбы.

— Не отчаивайтесь,— сказал Кристоф.— Опыт жизни каждый должен проделывать заново. Если у вас есть мужество, все пойдет хорошо. Ищите за пределами вашего круга. Ведь должны же быть честные люди во Франции.

— Они есть. И я их знаю. Но как они скучны!.. И потом, вот что я вам скажу: мир, в котором я живу, мне не нравится, но думаю, что теперь я уже не смогу жить вне его. Я к нему привыкла. Я нуждаюсь в известном комфорте, в известной роскоши и тонкости, принятой в нашем кругу; правда, одних только денег для этого недостаточно, но они тем не менее необходимы. Не очень-то это для меня лестно, я понимаю. Но я знаю себя, я слабая... Не сторонитесь же меня, узнав мои маленькие слабости. Будьте со мною добрым. Мне так полезно разговаривать с вами! Я чувствую, что вы сильный, здоровый; я верю вам всецело. Будьте немножко мне другом, хотите?

— Очень хочу,— ответил Кристоф.— Но я-то что могу сделать?

— Выслушивайте меня, давайте мне советы, подбадривайте. У меня часто такой сумбур в мыслях! Тогда я просто не знаю, куда себя девать. Я думаю: «Зачем бороться, зачем терзаться?

То или другое, не все ли равно? Все равно — кто! Все равно — что!» Ужасное состояние. И мне не хочется поддаваться ему. Помогите мне! Помогите!..

Она казалась удрученной, постаревшей на десять лет и смотрела на Кристофа добрыми, покорными и умоляющими глазами. Он пообещал ей все, о чем она просила. Тогда она оживилась, заулыбалась, повеселела.

А вечером смеялась и флиртовала, как всегда.

Начиная с этого дня, они регулярно вели дружеские разговоры. На уроках они были одни: она поверяла ему все, что ей приходило на ум, а он добросовестно старался понять ее и что-нибудь посоветовать; она выслушивала его советы, а то и увещания серьезно, внимательно, как примерная, благонравная девочка,— это ее веселило, занимало, даже поддерживало; она благодарила Кристофа растроганными, кокетливыми взглядами. Но в ее жизни ровно ничего не изменилось: стало только одним развлечением больше.

Весь день был сплошной вереницей превращений. Вставала она поздно, около двенадцати. Ее мучила бессонница, и засыпала она только на рассвете. Целый день она ничего не делала. Бесконечно твердила строчку какого-нибудь стихотворения, музыкальную фразу, пережевывала какую-нибудь мысль, обрывок мысли или разговора, вспоминала понравившееся ей лицо. Окончательно она приходила в себя только к четырем или пяти часам вечера. А до тех пор бродила с опухшими глазами, капризная, заспанная. Оживлялась она только тогда, когда являлись подружки, такие же болтливые, такие же падкие до парижских сплетен. Они вместе до изнеможения спорили о любви. Анализ любовных чувств был вечной темой их разговоров наряду с нарядами, чужими тайнами, злословием. У Колетты имелся еще и кружок праздных молодых людей, которые не могли не проводить два-три часа в день среди юбок и сами вполне могли бы носить юбку, ибо и души и разговоры у них были чисто бабьи. Кристофу отвели свой час: час духовника. Колетта мгновенно становилась серьезной и сосредоточенной — той самой молодой француженкой, о которой Бодлей пишет, что «в исповедальне она развивает какую-нибудь заранее подготовленную тему, образец ясности и блестящего построения, где все, что следует сказать, расположено в строгом порядке и распределено по определенным категориям». Облегчив душу, она начинала веселиться вовсю. И с приближением вечера все больше молодела: отправ-

лялась в театр, где ее ожидало никогда не приедавшееся удовольствие узнавать в зале вечно одни и те же лица — удовольствие не от пьесы, которую играли, а от давно знакомых актеров, у которых лишний раз подмечались хорошо известные изъяны. Злословила с приходившими в ложу насчет сидевших в соседних ложах или же насчет актрис. Находила, что у инженю голосок кисленький, «как позавчерашний майонез», или что платье у премьерши «похоже на абажур». Или же выезжала на вечера; там удовольствие заключалось в том, чтобы показать себя, если только она бывала интересной (что зависело от случая, ибо нет ничего капризнее парижской красоты); там освежался запас злословия насчет туалетов и физических недостатков других женщин. Разговоров в обычном смысле слова там вообще не велось. Домой она возвращалась поздно. С большой неохотой ложилась спать (в этот час парижанки типа Колетты чувствуют себя наиболее свежими). Вертелась вокруг стола. Перелистывала книгу. Смеялась в одиночестве, вспоминая какое-нибудь слово или жест. Скучала. Чувствовала себя очень несчастной. Не могла заснуть. А по ночам на нее находили внезапные припадки отчаяния.

Кристоф, видевший Колетту лишь изредка в течение нескольких часов и присутствовавший лишь при некоторых из ее превращений, разбирался в них с трудом. Он недоумевал, когда же она бывает искренней: всегда или никогда. Колетта сама не могла бы ответить на этот вопрос. Как и большинство барышень, у которых за душой нет ничего, кроме праздных и затаенных желаний, она бродила в потемках. Она не знала, что она такое, потому что не знала, чего она хочет, да и не могла знать, не испытав. И вот она старалась испытать все на свой лад, с наивозможно большей свободой и наименьшим риском, стараясь рабски копировать окружающих, заимствуя у них моральную мерку. Она не торопилась делать выбор. Ей хотелось бы все сберечь, чтобы всем воспользоваться.

Но с таким другом, как Кристоф, это оказалось нелегко. Он еще допускал, что ему могут предпочесть людей, которых он не уважал и даже презирал, но не допускал, чтобы его равняли с ними. У каждого свой вкус, но прежде всего надо иметь вкус.

Кристоф был тем менее склонен к снисходительности, что Колетта, по-видимому, с каким-то особенным удовольствием коллекционировала вокруг себя молодых людей наименее приемлемого для него типа: отвратительных снобов, по большей части богатых и, уж во всяком случае, праздных или имеющих сине-

куру в каком-нибудь министерстве, что, в сущности, одно и то же. Все писали, вернее, утверждали, что пишут. Писательство стало положительно психозом при Третьей республике. А главное, оно было удобной ширмой для тщеславных бездельников,— ведь умственная работа всегда труднее поддается контролю и открывает широкий простор блефу. О своих великих трудах они лишь изредка роняли сдержанные, но почтительные замечания. Посмотреть — так они насквозь проникнуты важностью своей задачи, изнемогают под ее непосильным бременем. Сначала Кристоф чувствовал даже некоторую неловкость оттого, что не знал их произведений и имен. Робко пробовал он навести справки; особенно хотелось ему узнать, что написал тот, кого единодушно называли выдающимся драматургом. И с удивлением услыхал, что сей великий драматург создал всего только один акт, переделанный из романа, который, в свою очередь, был склеен из серии рассказов, или, вернее, заметок, печатавшихся в одном из их ежемесячных журналов за последние десять лет. Багаж остальных был не более увесистым: две-три пьески, две-три повестушки, два-три стихотворения. Были такие, что сумели прославиться одной статейкой. Другие — книгой, «которую собирались писать». Они выражали презрение к большим полотнам и придавали огромное значение размещению слов и фраз. Слово «мысль» часто повторялось в их разговорах, но, по-видимому, употреблялось оно не в общепринятом смысле, а лишь в применении к мелким особенностям стиля. Однако же в числе их были и великие мыслители, и умы иронические, которые писали свои глубокие изречения всегда курсивом, чтобы они не прошли незамеченными.

Все исповедовали культ своего «я» — единственный их культ вообще. Они хотели бы, чтобы и другие его исповедовали. Но беда в том, что другие были уже заняты. Что бы они ни делали — говорили, ходили, курили, читали газету, встряхивали волосами, смотрели вокруг, здоровались друг с другом,— они думали только об одном: присутствуют ли при этом зрители. Комедиантство свойственно молодым людям — и прежде всего наиболее никчемным людям, то есть праздным. Особенно стараются они ради женщины, ибо желают ее, а еще более жаждут сами стать предметом ее желания. Но не брезгают и первым встречным: распускают хвост ради случайного прохожего, который в лучшем случае проводит их недоуменным взглядом. Кристоф часто встречал таких павлинчиков, они имелись и среди пианистов, и среди скрипачей, среди мазилок, молодых актеров, и все гримировались под какую-нибудь знаменитость: Ван-Дей-

ка, Рембрандта, Веласкеса, Бетховена — или играли какую-нибудь роль: хорошего художника, хорошего музыканта, хорошего мастера, глубокого мыслителя, веселого малого, неотесанного мужика, человека природы... Проходя по улице, они искоса поглядывали по сторонам,— обращают ли на них внимание. Кристоф знал, к чему они клонят, и с коварным равнодушием нарочно отводил глаза. Но конфуз их длился недолго: через два шага они уже пыжились перед следующим прохожим. Посетители салона Колетты были более утонченны: они гримировали главным образом свой ум, подражая двум-трем образцам, которые сами были копиями. Или же выступали олицетворением какой-нибудь идеи: Силы, Радости, Жалости, Солидарности, Социализма, Анархизма, Веры, Свободы,— для них это были лишь роли. Они обладали талантом превращать заветнейшие мысли в литературщину и смотрели на самые героические порывы человеческой души как на модные галстуки.

Но стихией, в которой они чувствовали себя наиболее привольно, была любовь,— тут уж они были хозяевами. Они постигли все секреты, всю казуистику наслаждения; их изощренная фантазия изобретала все новые казусы в надежде с честью решить их. Этим всегда занимались люди, которым нечем заняться: за неумением любить они «занимаются» любовью, а главное — толкуют ее. Их комментарии бывали куда пространнее основного текста, весьма жиденького. Социология служила приправой к самым скабрезным мыслям: в те времена все прикрывалось флагом социологии; как бы они ни наслаждались, удовлетворяя свои пороки, им чего-то не хватало, если они не убеждали себя, что, поступая так, они подготовляют наступление новой эры. Чисто парижский вид социализма: социализм эротический.

В числе вопросов, страстно волновавших тогда эту маленькую «академию любви», было равенство полов в браке и прав их в любви. Известно, что встречались славные молодые люди, честные, немножко смешные, протестанты — скандинавы или швейцарцы,— требовавшие равенства в добродетели: мужчины, подобно женщинам, должны вступать в брак девственными. Парижские казуисты требовали иного равенства — в нечистоплотности: женщины, подобно мужчинам, должны вступать в брак оскверненными,— должны иметь право заводить любовников. Париж до такой степени был пресыщен адюльтером в воображении и на практике, что это блюдо начало уже приедаться; в литературном мире пробовали заменить его более оригинальным изобретением: проституцией молодых девушек,— я разумею

проституцию упорядоченную, всеобщую, добродетельную, благопристойную, семейную и при всем том — социальную. Одна только что вышедшая талантливая книга как раз и трактовала этот вопрос: на четырехстах страницах, с забавным педантизмом, в ней изучалась, «по всем правилам Бэконова метода», «наилучшая организация наслаждения». Словом, полный курс свободной любви, где говорилось об изяществе, благопристойности, хорошем вкусе, благородстве, красоте, истине, стыдливости, нравственности,— настоящий Беркэн для светских девушек, желавших пойти по дурной дороге. Книга эта была на данный срок евангелием, которым восторгался маленький двор Колетты, а сама она постоянно толковала ее. Естественно, как и все новообращенные, Колетта и ее окружение оставляли без внимания все, что еще могло быть в этих парадоксах верного, правильно подмеченного и даже человечного, и запоминали только самое худшее. Никогда не упускали они случая сорвать с этой клумбы самые ядовитые из всех ее обсахаренных цветочков,— афоризмы в таком роде: «вкус к сладострастию может только обострить вкус к труду»; «чудовищно, чтобы девственница стала матерью, не изведав наслаждения»; «обладание мужчиной-девственником является для женщины естественной подготовкой к сознательному материнству»; долг матери — «создать свободу для дочери с такой же деликатностью и благопристойностью, с какой она поощряет свободу своих сыновей»; придет время, «когда девушки будут возвращаться от своих любовников с такою же естественностью, с какою возвращаются теперь с лекции или после визита к своим подругам».

Колетта со смехом заявляла, что все эти наставления весьма разумны.

Кристоф приходил в ужас от таких разговоров. Он преувеличивал их значение и зло, которое они могут причинить. Французы слишком умны, чтобы давать практическое применение своей литературе. Эти карликовые Дидро,— разменная монета философии великого Дени,— являются в повседневной жизни, подобно гениальному Панургу Энциклопедии, такими же добропорядочными и такими же трусливыми буржуа, как и все прочие. Именно потому, что они так робки в своих поступках, они утешаются тем, что совершают (в мыслях) поступки, находящиеся на грани возможного. В такой игре нет риска.

Но Кристоф не был французским дилетантом.

Одному из окружающих Колетту молодых людей она, по-видимому, оказывала предпочтение. Понятно, что он казался Кристофу несноснее всех других.

Это был сын разбогатевших буржуа, из той молодежи, что занимается литературой для избранных и разыгрывает из себя патрициев Третьей республики. Звали его Люсьен Леви-Кэр. У него были широко расставленные глаза, быстрый взгляд, нос с горбинкой, толстые губы, светлая остроконечная бородка а ля Ван-Дейк, преждевременно намечавшаяся плешь, которая, однако, его не портила, вкрадчивая речь, изящные манеры, тонкие и мягкие руки, таявшие в чужой руке. Он держался с подчеркнутой любезностью, чуть ли не рыцарски учтиво даже с теми, кого не любил и от кого всячески старался отделаться.

Кристоф уже видел его на первом литературном обеде, куда его пригласил Сильвен Кон; и хотя они не обменялись ни одним словом, Кристоф при первых же звуках его голоса сразу почувствовал к нему необъяснимое отвращение, истинные причины которого он понял лишь впоследствии. Любовь иногда вспыхивает внезапно, как молния. То же самое бывает и с ненавистью,— или (чтобы не смущать кротких душ, которых пугает это слово, как и все вообще сильные страсти) скажем так: нравственно здоровый человек чутьем узнает врага и занимает оборонительную позицию.

В противоположность Кристофу Леви-Кэр представлял дух иронии и разложения, дух, который мягко, вежливо, исподтишка подкапывался под все великое, что было в умиравшем старом обществе: под семью, брак, религию, родину; в искусстве — под все мужественное, чистое, здоровое, народное; под всякую веру в идеи, в чувства, в великих людей, в человека. В основе всего мышления этих людей лежало лишь то чисто механическое удовольствие, которое получают они от анализа ради анализа,— какая-то животная потребность подтачивать мысль, какой-то инстинкт могильного червя. И наряду с этим идеалом грызуна на ниве культуры — чувственность проститутки и синего чулка одновременно, ибо у него все было или становилось литературой. Все служило ему литературной темой: его успехи у женщин, собственные пороки и пороки друзей. Он писал романы и пьесы, где с большим мастерством рассказывал об интимной жизни своих родных и знакомых, о своих собственных похождениях и связях, в числе прочих и о связи с женой своего лучшего друга; портреты были сделаны с большим искусством; все хвалили сходство: и публика, и жена, и друг. Добившись признаний или благосклонности женщины, он не мог не рассказать об этом в очередной книге. Казалось бы, подобная нескромность должна внести холодок в его отношения с партнершами. Ничуть не бывало: они даже не очень смущались; для виду, правда, они сер-

дились, но в глубине души были в восторге, что прохожие увидели их совсем голыми; раз с них не сняли маску — стыдливость их пребывала в спокойствии. Со своей стороны, сам автор не вносил в свои сплетни никакого оттенка мстительности, ни даже, пожалуй, вкуса к скандалу. Он был не худшим сыном и не худшим любовником, чем обычные люди. В тех самых главах, где он бесстыдно разоблачал своего отца, мать и любовницу, были страницы, где он говорил о них с поэтической нежностью и теплотой. В действительности, он питал большую привязанность к своей семье, но у людей его породы нет потребности уважать то, что они любят; даже наоборот: сильнее всего они любят то, что могут немного презирать,— предмет их привязанности кажется им тогда более близким, более человечным. Менее чем кто-либо они способны понять, что такое героизм и особенно — что такое чистота. Они смотрят на эти качества чуть ли не как на проявление фальши или умственной слабости. Само собой разумеется, они глубоко убеждены, что лучше всех понимают героические образы в искусстве, а потому судят о них с бесцеремонностью близких родственников.

Леви-Кэр пришелся как нельзя более ко двору в обществе наивничающих развратниц из числа богатой и праздной буржуазии. Для них он был компаньонкой, чем-то вроде распутной служанки, ничем не связанной и более опытной, чем они, просвещавшей их и являвшейся для них предметом зависти. С ним они не стеснялись и, держа в руке светильник Психеи, с любопытством разглядывали голого андрогина, любезно предоставлявшего себя в их распоряжение.

Кристоф не мог взять в толк, как это Колетта, девушка, по-видимому по природе тонко чувствующая и трогательно стремившаяся избегнуть разлагающего влияния своей среды, находит удовольствие в таком обществе... Кристоф не был психологом. Люсьен Леви-Кэр в этом отношении во сто раз превосходил его. Кристоф был поверенным Колетты; но сама Колетта была поверенной Люсьена Леви-Кэра. Преимущество неоценимое. Женщине всегда приятно думать, что она имеет дело с мужчиной, который слабее ее. Таким образом она удовлетворяет и наихудшие свои наклонности, и то, что в ней есть самого лучшего,— инстинкт материнства. Люсьен Леви-Кэр хорошо это знал; одно из самых верных средств тронуть женское сердце — задеть эту таинственную струну. Кроме того, Колетта чувствовала себя слабой, порядком малодушной, и хотя сознавала, что ее инстинкты не очень ее красят, однако вовсе не желала с ними расставаться. Слушая рассчитанно

дерзкие признания своего друга, она с удовольствием убеждалась, что и все прочие не лучше ее и что надо принимать человеческую природу, как она есть. Поэтому она со спокойной совестью отказывалась от борьбы со слишком приятными наклонностями и позволяла себе еще одну роскошь: утверждать, что она права и что мудрость не в том, чтобы возмущаться, а в том, чтобы быть снисходительной к слабостям, которых — увы! — одолеть нельзя. Практическое применение подобной мудрости не могло быть слишком обременительным.

Для человека, умеющего смотреть на жизнь безмятежным взором, постоянный контраст, существующий в обществе между крайней утонченностью внешней культуры и бесстыдным скотством, придает жизни какую-то пряную остроту. В каждом салоне, если только он не выставка ископаемых и окаменелостей, можно наблюдать два пласта, два слоя разговоров, лежащих на разной высоте: в одном, доступном слуху всех, ведут беседу умы; в другом, различаемом лишь немногими, хотя гораздо более громком, ведут беседы инстинкты, скоты. Эти два слоя часто противоречат друг другу. В то время как умы обмениваются условной монетой, тела говорят: Желание, Неприязнь, или же чаще: Любопытство, Скука, Отвращение. Хотя зверь уже укрощен веками цивилизации и затравлен, как жалкие львы в клетке зверинца, он все же не перестает мечтать о подходящей для себя добыче.

Но Кристоф не поднялся еще до того бескорыстия ума, которое приходит лишь с возрастом, когда умолкают страсти. Он отнесся слишком серьезно к роли советчика Колетты. Она просила у него помощи; и вот на его глазах она беззаботно идет навстречу опасности. Поэтому он перестал скрывать свою враждебность к Люсьену Леви-Кэру. Последний сначала принял по отношению к Кристофу позу безупречной и иронической вежливости. Он тоже почуял врага, однако не считал его страшным: он незаметно, но тонко высмеивал его. Он, конечно, предпочел бы добиться поклонения Кристофа, что обеспечило бы добрые отношения между ними; но именно этого-то он никогда и не мог добиться: он сам это чувствовал, ибо Кристоф не владел искусством притворяться. Тогда Люсьен Леви-Кэр постепенно перешел от чисто отвлеченного соперничества мысли к тщательно замаскированной мелкой личной войне, трофеем которой должна была стать Колетта.

Между обоими своими друзьями Колетта тщательно соблюдала равновесие. Ее привлекало нравственное превосходство и талант Кристофа, но привлекала также забавная безнравствен-

ность и остроумие Люсьена Леви-Кэра, доставлявшие ей больше удовольствия. Кристоф не скупился на поучения, и она выслушивала их с трогательной покорностью, которая его обезоруживала. Колетта была девушка довольно добрая, правда скорее из слабости, просто по мягкосердечию, однако прямоты ей недоставало. Она играла комедию, притворяясь единомышленницей Кристофа. Она хорошо знала цену такому другу, как Кристоф, но не желала приносить жертв ничему и никому, она хотела для себя только удобств и удовольствий. Поэтому она скрывала от Кристофа, что по-прежнему принимает Люсьена Леви-Кэра; она лгала с очаровательной непринужденностью светских молодых женщин, которые с детства упражняются в немаловажном искусстве сохранять всех своих друзей, всем быть приятной. В оправдание она говорила, что не хочет доставлять огорчений Кристофу; но на самом деле она лгала, ибо знала, что он прав, а ей хотелось делать то, что ей нравится, не ссорясь, однако, с ним. Кристоф порой догадывался об этих хитростях; тогда он журил ее и бранился. Она продолжала играть сокрушенную раскаянием, любезную и немного печальную девочку и строила ему нежные глазки — feminae ultima ratio [1]. Колетта искренне печалилась при мысли, что может потерять дружбу Кристофа; она старалась быть обаятельной и серьезной; и на некоторое время ей удавалось обезоружить Кристофа. Но рано или поздно должен был наступить конец. К раздражению Кристофа бессознательно примешивалась некоторая доля ревности. А к лукавству Колетты — маленькая, совсем маленькая капелька любви. Тем более бурный готовился разрыв.

Однажды, уличив Колетту во лжи, Кристоф потребовал, чтобы она сделала окончательный выбор между Леви-Кэром и им. Она попробовала увернуться, но в заключение заявила, что вправе водить дружбу, с кем ей заблагорассудится. Возражать было нечего, и Кристоф понял, что он смешон; но он сознавал также, что его требовательность проистекает не из эгоизма: ему хотелось ее спасти, хотя бы вопреки ее воле. И он довольно неуклюже продолжал допытываться. Но она отказалась дать ответ.

— Значит, Колетта, вы не хотите, чтобы мы были друзьями? — спросил он.

— О нет! — отвечала она.— Мне будет очень тяжело лишиться вашей дружбы.

— Но вы не пожертвовали бы ничем ради нее?

---

[1] Высший аргумент женщины *(лат.)*.

— Не пожертвовала бы? Какое нелепое слово! Зачем всегда надо жертвовать одним ради другого? Что за глупые христианские идеи! Право, вы, сами того не сознавая, превратились в старого клерикала.

— Очень может быть,— ответил Кристоф.— Для меня — либо одно, либо другое. Между добром и злом у меня нет середины, даже толщиной в волосок.

— Да, я знаю,— сказала она.— За это я вас и люблю. Очень люблю, уверяю вас, но...

— Но вы и его очень любите?

Она засмеялась и, бросив на Кристофа самый нежный взгляд, самым сладким голосом попросила:

— Останьтесь!

Он готов был уступить и на сей раз. Но вошел Люсьен Леви-Кэр и был встречен тем же нежным взглядом и тем же сладким голоском. Кристоф молча поглядел на комедию, разыгрываемую Колеттой, и ушел с твердым намерением порвать с ней. Ему было грустно. Как это глупо — постоянно привязываться и постоянно попадаться в ловушку.

Возвратясь домой и машинально перебирая книги, он от нечего делать раскрыл Библию и прочитал:

«...И сказал Господь: за то, что дочери Сиона надменны, и ходят, подняв шею и обольщая взорами, и выступают величавой поступью, и гремят цепочками на ногах,

Оголит Господь темя дочерей Сиона, и обнажит Господь срамоту их».

Он расхохотался, вспомнив об уловках Колетты, и лег спать в отличном расположении духа. И тут он подумал, как глубоко, должно быть, проникла в его сознание парижская зараза, если чтение Библии вызывает в нем смех. Но это не помешало ему в постели повторять слова приговора, изреченного великим судьей и насмешником,— и он старался представить себе головку своей юной приятельницы после свершения этого приговора. Он уснул, смеясь потихоньку, как ребенок. И перестал думать о своем новом горе. Одним больше, одним меньше... Он уже начинал привыкать.

Он по-прежнему давал Колетте уроки музыки, но теперь всячески отклонял ее попытки возобновить дружеские разговоры. Как ни печалилась, ни дулась она, к каким ни прибегала маневрам, он упорно стоял на своем. Отношения их испортились. Она сама под разными предлогами стала откладывать

уроки. Он же всячески уклонялся от приглашений на вечера Стивенсов.

Ему надоело парижское общество, стала невыносимой эта пустота, эта праздность, нравственная немощь, неврастения, беспричинная и бесцельная сверхкритика, убивающая сама себя. Он недоумевал, как целый народ может жить в этой затхлой атмосфере искусства для искусства и наслаждения ради наслаждения. Однако народ этот жил, был когда-то великим и играл еще довольно заметную роль в мире: во всяком случае, такое создавалось впечатление. Где же этот народ черпал силу жить? Ведь он не верил ни во что — ни во что, кроме наслаждения...

Однажды, когда Кристоф, погруженный в такие мысли, шел по улице, ему встретилась ревевшая толпа молодых мужчин и женщин, которые впряглись в коляску, где сидел старый священнослужитель, раздавая благословения направо и налево. Немного подальше он увидел, как французские солдаты взламывали ударом топора двери церкви, а какие-то господа с орденами отбивались от них стульями. Тут Кристоф подумал, что французы, оказывается, еще во что-то верят,— хотя неизвестно во что. Ему объяснили, что это государство отделяется от церкви после столетия совместной жизни, и так как церковь не желает уходить по доброй воле, то государство, пользуясь своим правом и силой, выбрасывает ее за дверь. Кристоф нашел этот способ действий не слишком любезным, но ему до такой степени надоела анархическая всеядность парижских литераторов и художников, что он с удовольствием смотрел на людей, которые готовы были подставить себя под удары ради своих убеждений, пусть самых нелепых.

Присмотревшись получше, он увидел, что таких людей во Франции много. Политические газеты сражались между собой, как герои Гомера: ежедневно печатали они призывы к гражданской войне. Правда, все это ограничивалось словами и до рукопашной доходило редко. Однако не было недостатка и в простачках, весьма склонных претворять в действие преподанную им мораль. И тогда Франция становилась свидетельницей любопытных сцен: целые департаменты выражали намерение отделиться от Франции, солдаты дезертировали полками, префектуры пылали, конные сборщики податей предводительствовали отрядами жандармов, крестьяне вооружались косами и ставили на паперти котлы с кипятком, чтобы дать отпор вольнодумцам, взламывавшим церкви во имя свободы, народные заступники влезали на деревья и держали оттуда речи к винодельческим провинциям, которые восставали против провин-

ций, изготовлявших спирт. Миллионы этих французов так долго грозили друг другу кулаками, так надсаживали глотки, что в конце концов то там, то сям начинали не на шутку тузить друг друга. Республика заискивала перед народом, а потом избивала его. Народ, со своей стороны, иногда карал сынов народа — офицеров и солдат. Так одна сторона доказывала другой превосходство своих убеждений и своих кулаков. Кто следил за этим издали, по газетам, мог подумать, что Франция откатилась на несколько веков назад. И Кристоф обнаружил, что Франция — скептическая Франция — была страной фанатиков. Но фанатиков какого толка? Вот этого он не мог постичь. За или против религии? За или против разума? За или против родины? Фанатиков всех толков. Казалось, что они фанатичны ради удовольствия быть таковыми.

Однажды вечером Кристоф заговорил об этом с одним депутатом-социалистом, которого он иногда встречал в салоне Стивенсов. Хотя Кристоф уже не раз беседовал с ним, он и не подозревал, кто его собеседник: до сих пор они говорили только о музыке. С изумлением узнал он, что этот светский человек был лидером крайней политической партии.

Ашиль Руссэн был красивый краснощекий мужчина с белокурой бородкой, сильно картавивший, приветливый. Но, несмотря на известное изящество, в нем, особенно в его манерах, чувствовалась вульгарность и недостаток воспитания: он чистил в обществе ногти, имел простонародную привычку, разговаривая, хватать собеседника за отворот сюртука, брать его под руку; был большой любитель поесть и выпить, покутить, посмеяться, в чем сказывалась жадность до жизненных благ, свойственная некоторым выходцам из низов, ринувшимся к власти; гибкий, ловко преображавшийся в зависимости от среды и собеседника, в меру экспансивный, умевший слушать и на лету схватывать чужую мысль; в общем, симпатичный, умный, всем интересовавшийся — по природной и благоприобретенной склонности, а также из тщеславия; честный — в той мере, в какой собственные интересы не требовали отречения от этой добродетели или же когда было опасно поступиться ею.

У него была довольно красивая супруга, высокая, хорошо сложенная, широкоплечая женщина, со стройной, слишком стянутой талией, как того требовали роскошные туалеты, чересчур рельефно обрисовывавшие ее пышные округлости; лицо, обрамленное вьющимися черными волосами; большие черные

глаза навыкате; немного выдающийся подбородок. В общем, она была бы миловидна, если бы ее не портило слишком крупное лицо со сложенным сердечком ртом и присущее многим близоруким непрерывное моргание. Походка у нее была деланная, вприпрыжку, как у трясогузки, речь жеманная; при всем том очень обходительная и любезная дама. Она происходила из богатой купеческой семьи, была свободна от предрассудков, добродетельна и свято относилась к бесчисленным светским обязанностям, не говоря уже о тех, которые она добровольно взяла на себя. Следуя своим артистическим и благотворительным склонностям, она завела приемы, насаждала искусство в народных университетах, участвовала в филантропических обществах, занималась детской психологией,— и все это без горячего увлечения, без глубокого интереса — по врожденной доброте, покорности модным веяниям и безобидному педантизму молодой образованной женщины, как будто отвечающей урок у доски и считающей делом чести знать заданное назубок. У нее была потребность чем-то занять себя, но не было потребности интересоваться предметом своих занятий. Таков тип женщин, снедаемых лихорадкой деятельности: они не расстаются с вязанием, точно от безостановочного и никому не нужного движения их спиц зависит спасение мира. Кроме того, она, подобно «вязальщицам», была исполнена мелкого тщеславия порядочной женщины, подающей своим поведением пример всем прочим.

Депутат относился к жене с презрительной нежностью. Он не ошибся в выборе: с ней было и приятно и спокойно. Она была красива, щедро дарила ему супружеские радости, и он не требовал от нее ничего больше, так же как и она от него ничего больше не требовала. Он любил ее и изменял ей. Она мирилась с этим, лишь бы не посягали на причитающуюся ей долю. Может быть, она даже находила в этом известное удовольствие. Она была спокойна и чувственна. Натура одалиски.

У них было двое прелестных ребятишек четырех и пяти лет, которыми она в качестве примерной матери занималась с тем же ласковым и холодным вниманием, с каким следила за политической деятельностью своего мужа и последними новинками моды и искусства. Получалась довольно причудливая для этого круга смесь передовых идей, ультрадекадентского искусства, светской суеты и мещанской чувствительности.

Они пригласили Кристофа бывать у них. Г-жа Руссэн считалась хорошей музыкантшей и премило играла на рояле; у нее было мягкое и уверенное туше; садясь за инструмент, она

наклоняла голову и, не отрывая глаз от клавишей, высоко подбрасывала руки при каждом ударе,— она чем-то напоминала клюющую зерно курицу. Несмотря на хорошие способности и довольно солидное по сравнению с большинством француженок музыкальное образование, она относилась с глубочайшим равнодушием к внутреннему смыслу музыкальных произведений: музыка была для нее сменой нот, ритмов и нюансов, которые она слушала или воспроизводила механически точно; души в музыке она не искала, так как и сама прекрасно обходилась без души. Эта любезная, неглупая и простая женщина, всегда готовая оказать услугу, отнеслась к Кристофу так же приветливо, как к прочим своим знакомым. Кристоф не чувствовал к ней за это особенной признательности; она не привлекала его,— он просто не замечал ее существования. Может быть, он бессознательно не прощал ей снисходительности, с какой она делила мужа с его любовницами,— ведь не могла же она не знать о его похождениях. Пассивность Кристоф почитал самым ненавистным из всех пороков.

С Ашилем Руссэном он сошелся ближе. Руссэн любил музыку, как и другие искусства, по-своему — грубовато, но искренне. Он хвалил симфонию с таким видом, словно держал ее в своих объятиях. Образование у него было самое поверхностное, но он умел показать товар лицом; в этом отношении он немало почерпнул у жены. Кристоф сразу привлек внимание Руссэна, который видел в молодом музыканте такого же энергичного плебея, каким был сам. К тому же ему было интересно понаблюдать самому этого чудака (он вообще с ненасытным любопытством наблюдал людей) и узнать, какое впечатление на него произвел Париж. Прямота и грубость замечаний Кристофа забавляли его. Он был в достаточной мере скептиком, чтобы признать их правильность. Немецкое происхождение Кристофа ничуть не смущало Руссэна. Наоборот, он гордился тем, что стоит выше таких предрассудков, как отечество. А в общем, он был искренне «человечен» (это было его основное достоинство),— он питал симпатию ко всему человеческому. Но это не мешало ему сохранять твердую уверенность в превосходстве всего французского — старая раса, старая культура — над немцами и подсмеиваться над ними.

Кристоф встречался у Ашиля Руссэна с другими политическими деятелями, вчерашними или завтрашними министрами. Он очень охотно поговорил бы с каждым из них в отдельно-

сти, если бы эти знаменитости удостоили его такой чести. Вопреки широко распространенному мнению, он находил их общество более интересным, чем общество знакомых ему литераторов. Они обладали более живым умом, им не были чужды интересы, волновавшие человечество. Блестящие говоруны, в большинстве южане, все они были поразительно поверхностны,— черта, роднившая их с писателями. Само собой разумеется, они были почти круглыми невеждами в искусстве, особенно иностранном, но сами полагали, что знают в нем толк, а некоторые из них даже по-настоящему любили искусство. По своему составу иные кабинеты министров напоминали кружки любителей литературы при некоторых парижских журнальчиках. Один писал пьесы. Другой пиликал на скрипке и был отчаянным вагнерианцем. Третий малевал натюрморты. И все без исключения собирали картины импрессионистов, читали декадентские книжки, кокетничали своей склонностью к ультрааристократическому искусству, столь враждебному их убеждениям. Кристофу было неловко видеть, как министры-социалисты или радикалы-социалисты, эти апостолы обездоленных классов, строят из себя знатоков по части утонченных наслаждений. Конечно, они вправе были поступать, как им угодно, но Кристоф находил их поступки не особенно честными.

Однако забавнее всего, что эти люди — в частных разговорах скептики, сенсуалисты, нигилисты, анархисты,— переходя к действию, тотчас становились фанатиками. Эти парижские вольнодумцы, едва очутившись у власти, превращались в маленьких восточных деспотов: их охватывала мания всем управлять, на все накладывать свою лапу; ум у них был скептический, но темперамент тиранов. Уж слишком велик был соблазн: иметь в своем распоряжении чудовищный чиновничий аппарат администрации, созданный некогда величайшим из деспотов, и не злоупотреблять своей властью. В результате получилась своего рода республиканская империя, с примесью, в последние годы, какого-то атеистического католицизма.

В течение некоторого времени политики притязали на владычество только над плотью — проще сказать, над имуществом: души они оставляли в покое, ибо таковые нельзя превратить в наличные деньги. С другой стороны, душа не занимается политикой: считалось, что она выше или ниже политики; политика рассматривалась во Франции как прибыльная, но мало почтенная отрасль торговли и промышленности; интеллигенты презирали политических деятелей, политические деятели презирали интеллигентов. Однако недавно произошло сближение, а

«Жан-Кристоф». Книга пятая.

затем был даже заключен союз между политиками и худшими представителями интеллигенции. Новая сила выступила на сцену, присвоив себе неограниченную власть над умами: это были антиклерикалы. Они договорились с другой силой — властями, увидевшими в них усовершенствованный механизм политического деспотизма. Они стремились не столько разрушить церковь, сколько заменить ее — и действительно, они образовали церковь Свободной Мысли, у которой имелся свой катехизис и свои обряды, свои крестины, свои таинства причастия, брака, свои поместные, областные и даже вселенские соборы в Риме. Неописуемо шутовское зрелище представляли собой эти тысячи жалких баранов, которым непременно требовалось собираться в стада, дабы «мыслить свободно»! Правда, их свободомыслие заключалось в запрещении, во имя Разума, свободно мыслить другим, ибо они верили в Разум, как католики в пресвятую деву, подобно им не подозревая, что Разум, так же как и дева, сам по себе ничто и что черпать нужно из другого источника. И подобно тому как у католической церкви была своя армия монахов и конгрегации, которые исподтишка вливали яд в кровь нации и уничтожали всякое проявление враждебной им жизни,— так и у антикатолической церкви были франкмасоны, главная ложа которых, Великий Восток, вела точный учет всех секретных донесений, ежедневно поступавших туда со всех концов Франции от ревностных доносчиков. Республиканское государство втайне поощряло святой сыск этих нищенствующих монахов и этих иезуитов Разума, которые терроризовали армию, высшую школу и все государственные учреждения, и не замечало, что под видом служения ему свободомыслящая братия намеревалась подменить собой государство и незаметно установить атеистическую теократию, ни в чем не уступающую теократии парагвайских иезуитов.

Кристоф встречал у Руссэнов кое-кого из этих ханжей. Они соперничали друг с другом в провозглашении фетишей. В данное время они ликовали по поводу того, что добились удаления распятия из судебных залов. Они воображали, будто уничтожили религию, уничтожив несколько кусков дерева. Другие завербовали в свои ряды Жанну д'Арк вместе с ее хоругвью Девы, изъяв ее у католиков. Один из отцов новой церкви, генерал, воевавший с французами иного церковного толка, произнес антиклерикальную речь в честь Верцингеторикса: он прославлял в лице галльского вождя, которому антиклерикалы соорудили памятник, дитя народа и первого бойца Франции против Рима (читай — римской церкви). Морской министр, желая ozdo-

ровить дух флота и заодно взбесить католиков, назвал один броненосец «Эрнестом Ренаном». Другие свободные умы занялись оздоровлением искусства. Они подчищали классиков XVII века, не допуская, чтобы имя божье пятнало басни Лафонтена. Они изгоняли это имя даже из классической музыки, и Кристоф слышал, как один старый радикал («Быть радикалом в старости,— говорил Гете,— верх глупости») негодовал, что в народном концерте осмелились исполнить духовные Lieder Бетховена. Он требовал изменения их текста.

Другие, еще более радикальные, домогались полного и окончательного упразднения всей духовной музыки и закрытия школ, где она преподавалась. Тщетно один из министерских руководителей изящных искусств, который в этой Беотии слыл афинянином, толковал, что музыкантов все же следует обучать музыке, «ибо,— говорил он,— отправляя солдата в казарму, вы учите его сначала обращению с ружьем, а потом уже стрельбе. Точно так же дело обстоит с молодым композитором; голова его кишит мыслями, но он не способен еще овладеть ими». Пугаясь собственной храбрости, оговариваясь на каждой фразе: «Я старый волнодумец... Я старый республиканец...» — он отважно заявлял, что «ему совсем не важно знать, что собой представляют сочинения Перголезе — оперы или мессы; ему важно только, что они произведения человеческого искусства». Но собеседник с беспощадной логикой возражал «старому вольнодумцу» и «старому республиканцу», что «есть две музыки: та, что поется в церкви, и та, что поется в иных местах». Первая враждебна Разуму и Государству; поэтому Разум Государства обязан уничтожить ее.

Эти глупцы были бы не столько опасны, сколько смешны, если бы за ними не стояли люди действительно мыслящие, на которых они опирались и которые были такими же, как и они,— и даже, быть может, более рьяными — фанатиками Разума. Толстой говорит об «эпидемических внушениях», царящих в религии, в философии, в политике, в искусстве, и в науке,— «люди ясно видят безумие этих внушений только тогда, когда освобождаются от них. До тех же пор, пока они находятся под влиянием их, внушения эти кажутся им столь несомненными истинами, что они не считают нужным и возможным рассуждение о них». Таковы, например, увлечение тюльпанами, вера в колдунов, поразительная слепота литературной моды; религия Разума была одним из таких безумств. Она заразила и самых глупых и самых просвещенных людей, от мелкой сошки из палаты депутатов до самых блестящих умов университета. У последних

это безумие было более опасным, ибо у первых оно уживалось с блаженным и тупым оптимизмом, который расслаблял их волю, вторые же держали наготове свое оружие,— лук их был натянут и клинок отточен фанатическим пессимизмом, который, не строя себе иллюзий насчет глубоких противоречий между Природой и Разумом, с тем большим ожесточением бросался в бой за отвлеченную Свободу, отвлеченную Справедливость и отвлеченную Истину против дурной Природы. В основе всего этого лежал кальвинистский, янсенистский, якобинский идеализм, старая вера в непоправимую испорченность человека и убеждение в том, что сокрушить ее может и должна лишь непримиримая гордыня избранных, в которых живет Разум — дух божий. Это был вполне французский тип, тип интеллигентного француза, не страдающего «человечностью». Булыжник, твердый, как железо, совершенно непроницаемый и дробящий все, к чему он прикоснется.

Кристоф был потрясен тем, что услышал у Ашиля Руссэна от этих помешанных резонеров. Все его представления о Франции перевернулись. Он полагал, следуя ходячему мнению, что французы — народ уравновешенный, общительный, терпимый, любящий свободу. Вместо этого он видел маньяков, одержимых отвлеченными идеями, помешанных на логике, всегда готовых принести других в жертву какому-нибудь из своих силлогизмов. Они постоянно говорили о свободе, но меньше всего были способны понимать и терпеть ее. Ничто не могло сравняться с холодной и жестокой деспотичностью этих характеров, проистекавшей из рассудочной страстности или из желания всегда оставаться правым.

Это не было особенностью одной партии. Все партии были таковы. Они ничего не желали видеть за пределами своей политической или религиозной программы, своего отечества, своей провинции, своей группы, своих ограниченных мозгов. Среди них были антисемиты, расходовавшие все силы своего существа на бешеную ненависть ко всем баловням судьбы, ибо они ненавидели всех евреев и называли евреями всех, кого ненавидели. Были националисты, ненавидевшие (добряки ограничивались презрением) все другие нации и называвшие иностранцами, ренегатами или предателями своих соотечественников из лагеря инакомыслящих. Были антипротестанты, убежденные, что все протестанты — англичане или немцы, и требовавшие их изгнания из Франции. Были сторонники Запада, не желавшие признавать ничего, лежащего на восток от Рейна; северяне, не желавшие признавать ничего к югу от Луары; южане, называвшие

варварами всех, кто жил к северу от Луары; были такие, что гордились принадлежностью к германской расе, и такие, что гордились принадлежностью к галльской расе; и — самые безумные из всех — «римляне», кичившиеся поражением своих предков; были бретонцы, лотарингцы, провансальцы и альбигойцы; были карпантрасцы, понтуазцы, кемперкорантенцы, и каждый признавал только себя, превращая свое «я» в жалованную грамоту, и не терпел, чтобы кто-нибудь смел быть иным. Что поделаешь с этой породой? Они не внемлют никаким доводам; они созданы, чтобы сжечь весь мир или чтобы самим быть сожженными.

Кристоф думал: «Какое счастье, что у такого народа — республика, ибо при республиканском строе все эти маленькие деспоты уничтожают друг друга. Но если бы кто-нибудь из них достиг трона, то прочим не осталось бы даже воздуха, чтобы дышать».

Он не знал, что у народов-резонеров есть одна добродетель, которая их спасает: непоследовательность.

У французских политиков в ней не было недостатка. Их деспотизм смягчался анархизмом: они непрестанно колебались между двумя крайностями. Если слева они опирались на фанатиков мысли, то справа опорой их были анархисты мысли. Возле них увивалась целая толпа социалистов-дилетантов, мелких карьеристов, которые остерегались принять участие в битве до выяснения ее исхода, но плелись в тылу армии Свободной Мысли и после каждой ее победы набрасывались на останки побежденных. Не ради разума трудились поборники разума... «Sic vos non vobis...» [1] А ради этих космополитических искателей наживы, беззаботно попиравших традиции страны и разрушавших веру вовсе не для того, чтобы на ее месте утвердить другую, но для того, чтобы утвердиться самим.

Кристоф встретился у Руссэнов и с Люсьеном Леви-Кэром. Он не очень удивился, узнав, что Люсьен Леви-Кэр — социалист. Он подумал лишь, что успех социализму, наверное, вполне обеспечен, раз уж Люсьен Леви-Кэр примкнул к нему. Но он не знал, что Люсьен Леви-Кэр сумел приглянуться и противоположному лагерю, где ему удалось сблизиться с самыми антилиберальными деятелями в области политики и искусства, даже с антисемитами. Кристоф спросил Ашиля Руссэна:

[1] Таким образом, вы не ради себя (работаете) *(лат.)*.

— Как вы можете терпеть у себя таких людей?

Руссэн отвечал:

— Он так талантлив! А потом, он работает на нас, разрушает старый мир.

— О да, разрушает,— сказал Кристоф.— Разрушает так основательно, что я не совсем себе представляю, из чего вы будете строить. Уверены ли вы, что у вас останется достаточно материала для возведения нового дома? Ведь вашу постройку уже подтачивают черви.

Не один Люсьен Леви-Кэр подтачивал социализм. Социалистические газеты кишели писателишками, представителями искусства для искусства, салонными анархистами, захватившими все дороги, ведущие к успеху. Они преграждали путь другим и заполняли своими декадентскими подделками под мысль и своей struggle for life [1] газеты, именовавшие себя рупором народа. Они не довольствовались доходными местечками: им требовалась слава. Никогда еще не воздвигали столько статуй и с такой поспешностью, никогда еще не раздавалось столько речей у подножья глиняных гениев. Блюдолизы славы время от времени устраивали своим великим людям банкеты, и вовсе не по поводу создания ими новых трудов, а по поводу награждений: ордена трогали их чуть ли не до слез. Эстеты, сверхчеловеки, инородцы, министры-социалисты — все единодушно праздновали каждое новое вступление в ряды Почетного легиона, учрежденного корсиканским офицером.

Руссэна забавляло изумление Кристофа. Он вовсе не считал суждения немца о своих коллегах такими уж нелепыми. Сам он, в беседах с Кристофом с глазу на глаз, отзывался о них не очень-то лестно. Ему ли было не знать их глупости и их плутней; но это не мешало ему поддерживать их, чтобы и от них, в свою очередь, получить поддержку. И если в интимном кругу он не стеснялся говорить о народе презрительно, то на трибуне был неузнаваем. Откуда брались тогда высокие, гнусавые, чеканные, торжественные ноты, фальцет, благородная дрожь в голосе, напоминавшая блеянье, широкие величественные жесты; он взмахивал руками, как крыльями: он подражал Мунэ-Сюлли.

Кристоф старался разгадать, насколько искренне Руссэн верит в свой социализм. Ясно, что в глубине души он в него совсем не верил,— для этого он был слишком большим скептиком. И все же какой-то частицей сознания он в него верил; и хотя

[1] Борьба за жизнь *(англ.)*.

он отлично знал, что это лишь частица (и далеко не самая важная), он все же построил соответственным образом свою жизнь и определил линию своего поведения, ибо так ему было удобнее. Речь шла не только о практических выгодах, но и о насущных жизненных интересах, о самом смысле его существования и деятельности. Социалистическая вера стала для него чем-то вроде государственной религии. Разве не таково большинство людей? Жизнь их покоится на религиозных, моральных, социальных, а то и чисто практических верованиях (вере в свою профессию, в свой труд и в свое место в жизни), хотя в глубине души ни во что это они не верили. Но они знать этого не желали,— чтобы жить, им необходимо подобие веры, официальный культ, которого каждый сам является жрецом.

Руссэн был еще не самый худший из них. В его партии имелось немало людей, для которых социализм или радикализм был неким положением — неизвестно даже, играло ли тут роль честолюбие,— слишком уж это было близорукое честолюбие, которое не шло дальше непосредственной наживы или ближайших выборов! И все это с таким видом, будто они верили в новое общество. Может быть, когда-то и верили, но сейчас они думали лишь о том, как бы поделить ризы умиравшего общества. Близорукий оппортунизм состоял на службе жадного до наслаждений нигилизма. Высокие интересы будущего приносились в жертву эгоизму текущей минуты. В угоду избирателям посягали на армию, в угоду им посягнули бы и на отечество. Нельзя сказать, чтобы это объяснялось непониманием: они отлично понимали, что нужно делать, но не делали, потому что это потребовало бы слишком больших усилий. А им хотелось устроить собственную жизнь и жизнь нации с наименьшей затратой сил. Сверху донизу царил один и тот же принцип максимального наслаждения при минимальных усилиях. Этот беспринципный принцип был единственной путеводной нитью в политической неразберихе, где вожди подавали пример анархии, где непоследовательная политика гналась за десятью зайцами разом и упускала их всех одного за другим, а воинственная дипломатия уживалась с пацифистским военным министерством, где военные министры уничтожали армию в целях ее оздоровления, а морские — призывали к стачке рабочих арсенала, где военные инструкторы проповедовали отвращение к войне, где все — и офицеры, и судьи, и революционеры, и патриоты — были дилетантами. Словом, всеоб-

щая политическая деморализация. Каждый ждал от государства должностей, пенсий, орденов; и государство действительно щедро осыпало ими своих опекаемых: знаки отличия и должности раздавались сыновьям, племянникам, внучатным племянникам, лакеям власть имущих; депутаты голосовали за повышение собственных окладов; бесстыдно сорили деньгами, должностями, званиями, расточая достояние государства. И пример, даваемый в верхах, вызывал, как зловещее эхо,— недобросовестность в низах: школьные учителя учили бунту против отечества, почтовые чиновники сжигали письма и телеграммы, заводские рабочие бросали песок и наждак в колеса машин, рабочие арсеналов разрушали арсеналы, поджигали корабли; шло чудовищное уничтожение трудящимися плодов собственного труда, шло уничтожение не богачей, а самого богатства.

И в довершение всего избранные умы занимались обоснованием по существу и по форме этого самоубийства, совершаемого народом во имя своих священных прав на счастье. Извращенный гуманизм подрывал различие между добром и злом, умилялся перед «безответственной и священной» личностью преступников, капитулировал перед преступлением и отдавал в его власть общество.

Кристоф думал:

«Франция опьянена свободой. Побушевав, она свалится мертвецки пьяная. А очнется уже в полицейском участке».

В этой демагогии больше всего Кристофа возмущало то, что самые жестокие политические насилия спокойно совершались людьми, заведомо бесхребетными. Несоответствие между этими неустойчивыми людьми и беспощадно суровыми делами, которые они совершали сами или одобряли, было вопиющим. Казалось, что в них уживается два противоречивых начала: непостоянство характера существ без веры и глухая ко всем доводам доктринерская мысль, которая губит жизнь. Кристоф недоумевал, почему мирные буржуа, католики, офицеры, которыми помыкали, не вышвырнут вон всю эту компанию. Как и обычно, мысли Кристофа нетрудно было угадать, и Руссэн однажды сказал ему со смехом:

— Конечно, мы бы с вами так и сделали, не правда ли? С такими стоит ли церемониться? Эти молодцы не способны ни на какой решительный шаг; они годны лишь на то, чтобы препираться. Юродствующая аристократия, поглупевшая в своих клубах, продавшаяся американцам и евреям, желая доказать свою причастность к новейшим веяниям, радуется той оскорбительной роли, какую ей приписывают в романах и модных пье-

сах, и рукоплещет своим оскорбителям. Брюзжащая буржуазия, которая ничего не читает, ничего не понимает и не желает ничего понимать, которая умеет только высмеивать впустую, озлобленно и бесцельно, знает только одну страсть — спать на своем денежном мешке,— и ненавидит всех и вся, кто ее беспокоит, даже тех, кто работает,— зачем, мол, они копошатся и мешают ей дрыхнуть! Если бы вы получше узнали этих людей, уверяю вас, вы признали бы нас симпатичными...

Но Кристоф чувствовал лишь великое отвращение и к тем и к другим, ибо, по его мнению, гнусность притесняемых не могла служить оправданием гнусности притеснителей. Он часто встречался у Стивенсов с представителями богатой и скучающей буржуазии, которую ему описывал Руссэн.

...l'anime triste di coloro,
Che visser senza infamia e senza lodo... [1]

Он прекрасно понимал, что позволяло Руссэну и его друзьям не только быть уверенными в своей власти над подобными людьми, но и в своем праве злоупотреблять этой властью. Орудий этой власти у них было предостаточно. Тысячи слепо повинующихся, безвольных чиновников; придворные нравы; республика без республиканцев; социалистическая пресса, восторженно встречающая приезжих коронованных особ; лакейские души, пресмыкающиеся перед титулами, галунами, орденами: чтобы держать их в повиновении, достаточно было время от времени бросать им кость или орден Почетного легиона. Если бы нашелся король, который пообещал бы пожаловать дворянство всем гражданам Франции, все граждане Франции стали бы роялистами.

Политика была несложным делом. Из трех сословий восемьдесят девятого года первое было уничтожено; второе — изгнано или взято под подозрение; третье, пресыщенное своей победой, спало. Что же касается четвертого, которое теперь поднималось, грозное и ревнивое, то с ним пока еще нетрудно было справиться. Упадочная республика обращалась с ним, как упадочный Рим с ордами варваров, когда он уже не в силах был отогнать их от своих границ: она вербовала их к себе на службу, и они тотчас становились ее самыми верными сторожевыми псами.

---

[1] ...тот жалкий люд, что в мире жил без хулы и славы бытия *(итал.).— Данте, «Божественная комедия», «Ад», песнь III.*

Буржуазные министры, называвшие себя социалистами, исподтишка переманивали на свою сторону наиболее умных представителей рабочей верхушки; они обезглавливали партию пролетариев, вливали их свежую кровь в свои жилы, а взамен пичкали рабочих буржуазной идеологией.

Любопытными образчиками этих попыток привлечения народа на сторону буржуазии были в те времена народные университеты. Они представляли собой лавчонки, где торговали самыми путаными знаниями de omni re scibili. Там брались обучать, как гласила программа, «всем отраслям наук физических, биологических и социологических: астрономии, космографии, антропологии, этнографии, физиологии, психологии, психиатрии, географии, лингвистике, эстетике, логике и т. д.». От такого изобилия лопнули бы мозги даже у Пико делла Мирандола.

Конечно некоторые из этих учреждений при своем возникновении, да и теперь еще, одушевлены были искренним идеализмом и желанием, не лишенным даже некоторого величия, приобщить массы к благам истины, красоты и великой нравственной жизни. Рабочие, заполнившие после тяжелого трудового дня душную аудиторию и в жажде знаний превозмогавшие усталость, представляли трогательное зрелище. Но какой это был обман! Не считая нескольких подлинных апостолов, умных и отзывчивых, нескольких добрых душ, исполненных лучших намерений, но беспомощных в жизни,— сколько туда слетелось глупцов, болтунов, интриганов, писателей без читателей, ораторов без слушателей, педагогов, пасторов, краснобаев, пианистов, критиков — и все они дружно забрасывали народ изделиями своего изготовления! Каждый старался сбыть свой товар. Наиболее успешно заманивали публику продавцы волшебных эликсиров, философствующие ораторы, которые перетряхивали целые груды общих идей с обязательным упоминанием социального рая в качестве апофеоза.

Народные университеты служили также рынком для сбыта сверхаристократического эстетства: декадентских гравюр, стихов и музыки. Чаяли, что с пришествием народа обновится дух и возродится раса. И для начала прививали ему все ухищрения буржуазной мысли! Народ воспринимал их с жадностью не потому, что они ему нравились, а потому, что они были буржуазными. Кристоф, которого как-то привела в такой университет

г-жа Руссэн, услышал в ее исполнении Дебюсси, сыгранного для народа между «Песенкой» Габриэля Форэ и одним из последних произведений Бетховена. Он сам постиг последние произведения Бетховена, лишь постепенно и упорно развивая свой вкус и мысль, и потому участливо спросил у соседа:

— А вы понимаете это?

Тот, напыжившись, как рассерженный петух, ответил:

— Разумеется! Чем я хуже вас?

И в доказательство того, что он не хуже, стал требовать повторения фуги, вызывающе поглядывая на Кристофа.

Озадаченный Кристоф поспешил скрыться; он думал о том, что этим скотам удалось отравить даже самые чистые истоки нации,— народа больше не существовало.

— Сами вы народ! — сказал какой-то рабочий одному из таких благодетелей, хлопотавшему об открытии народных театров.— Я такой же буржуа, как и вы!

Однажды вечером, когда над потемневшим городом расстилалось бархатистое, как восточный ковер, небо, переливавшее темными, чуть блеклыми тонами, Кристоф шел по набережной от собора Парижской богоматери к площади Инвалидов. В сгущавшихся сумерках башни собора вздымались, словно руки Моисея, воздетые к небесам во время битвы. Золотое чеканное копье Сент-Шапель, точно шип расцветших терний, вырывалось ввысь из каменных ножен домов. По другую сторону реки раскинулся царственный фасад Лувра, в усталых очах которого отблеск закатного солнца зажег последнюю вспышку жизни. На просторах площади Инвалидов, за окружавшими ее рвами и горделиво возвышавшимися стенами, парил в величавом одиночестве купол темного золота, как симфония далеких побед. А Триумфальная арка на холме, словно героический марш, открывала нечеловеческое шествие императорских легионов.

И Кристофу вдруг ясно представился образ умершего исполина, необъятное тело которого раскинулось по этим просторам. В ужасе остановился он, созерцая гигантские остатки легендарного племени, под чьими размеренными шагами звенела земля, поглотившая ныне его,— племени в шлеме купола Инвалидов, племени, препоясанного Лувром, охватившего небо своими тысячерукими соборами и утвердившего над миром две торжествующие стопы Наполеоновской арки, у подножья которой копошились теперь лилипуты.

Без всяких стараний со своей стороны Кристоф приобрел некоторую известность в парижских кругах, куда ввели его Сильвен Кон и Гужар. Весь оригинальный облик Кристофа, который неизменно появлялся либо с Коном, либо с Гужаром на театральных премьерах и в концертах, внешняя некрасивость и сила, даже смешные его повадки, грубоватые, неуклюжие манеры, странные откровения, нетронутый, но широкий и самобытный ум, а главное — романические рассказы Сильвена Кона о его проделках в Германии, о его стычках с полицией и о бегстве во Францию привлекли к Кристофу праздное и суетное любопытство огромного салона той космополитической гостиницы, в которую обратился «весь Париж». Пока Кристоф держался настороже, наблюдая, прислушиваясь, стараясь понять, прежде чем самому высказаться, пока еще не были известны его произведения и заветные мысли, к нему относились довольно доброжелательно. Французам нравилось в нем то, что он не мог ужиться в Германии. Особенно же французские музыканты были тронуты, словно некоей данью уважения их таланту, несправедливыми суждениями Кристофа о немецкой музыке (по правде сказать, речь шла об его уже устаревших суждениях, под большей частью которых он теперь бы не подписался, а именно — о двух-трех когда-то напечатанных им в одном немецком журнале статьях, из которых Сильвен Кон извлек несколько парадоксов и распространял их с собственными добавлениями). Кристоф интересовал этих людей и к тому же был безвреден, ибо не посягал ни на чье место. При желании он мог легко стать гением того или иного кружка. Для этого достаточно было ничего не писать или писать как можно меньше, а главное — не исполнять своих произведений и пичкать различными идеями Гужара и присных, которые избрали своим девизом знаменитое изречение, лишь слегка его видоизменив:

Стакан мой невелик, но пью я... из чужих стаканов.

Сильная личность подчиняет своему влиянию прежде всего молодых людей, предпочитающих чувствовать, а не действовать. Такой молодежи собиралось немало вокруг Кристофа. По большей части это были праздные, безвольные существа, не знающие ни цели, ни смысла в жизни,— существа, которых страшит один вид письменного стола, страшит перспектива остаться наедине с собой; они часами просиживают в кресле, бродят из одного кафе в другое, а оттуда в театр, лишь бы не возвращаться домой, лишь бы не увидеть в зеркале свое лицо. Они приходили,

удобно располагались и часами вели те бесплодные разговоры, после которых у их собеседника оставалось чувство растяжения желудка, а у них все та же тошнота, пресыщение и вместе с тем ощущение голода, когда и есть хочется, и кусок в горле застревает. Они увивались за Кристофом, как пудель Гете, как неотвязные пиявки, искавшие чьей-нибудь души, чтобы присосаться к ней и выжить.

Тщеславный глупец был бы польщен этой свитой паразитов. Но Кристофа не соблазняла роль кумира. Вдобавок, ему было не по себе от тупости и кривлянья поклонников, открывавших во всем, что он делал, самые нелепые намерения: ренановщину, ницшеанство, розенкрейцерство, гермафродитизм. Он разогнал их. Он не был создан для пассивной роли. Его постоянной целью была деятельность. Он наблюдал, чтобы понять, и старался понять, чтобы действовать. Свободный от предрассудков, он хотел знать все, изучал все формы музыкального мышления и все средства музыкального выражения других стран и других эпох. И то, что признавал истинным, уже не выпускал из рук. В отличие от изучаемых им французских композиторов, виртуозных изобретателей новых форм, истощавших свои силы на непрерывные выдумки и бросавших эти выдумки на полпути, он заботился не столько об обновлении музыкального языка, сколько о том, чтобы придать ему больше энергии: он старался быть не элегантным, а прежде всего сильным. Страстная энергия противостояла в нем французскому духу утонченности и размеренности. Презрение к стилю ради стиля. Лучшие французские художники напоминали ему мастеров, изготовлявших предметы роскоши. Один из изысканнейших парижских поэтов дошел до того, что даже составил «рабочий каталог современной французской поэзии», куда занесен был каждый «поэт с его материалом, изделиями и товарами» — там перечислялись «хрустальные люстры, восточные ткани, золотые и бронзовые медали, фамильные кружева, цветная скульптура, расписной фаянс, поставляемые фабрикой такого-то или такого-то из собратьев». Самого себя он изображал «в углу обширной литературной мастерской штопающим старые ковры или счищающим ржавчину с вышедших из употребления бердышей». Это представление о художнике как об опытном мастере, поглощенном исключительно техническим усовершенствованием своих изделий, не лишено было красоты. Но оно не удовлетворяло Кристофа; вполне признавая профессиональное достоинство такого художника, он презирал прикрываемое им убожество. Он не понимал, как можно писать только для того, чтобы писать. Кри-

стоф говорил не слова,— он говорил — он хотел передать словами — существо вещей:

Ei dice cose, e voi dite parole... [1]

После долгого роздыха, когда Кристоф еще только проникался впечатлениями нового мира, в нем вдруг проснулась потребность творить. Антагонизм, обнаруживавшийся между ним и Парижем, удесятерял его силы, яснее обрисовывал его личность. Разлив страстей повелительно требовал художественного выражения. Они были разнообразны, но все заявляли о себе с одинаковым пылом. Он чувствовал потребность создавать произведения, где могла бы излиться переполнявшая его сердце любовь, а также и ненависть, где нашла бы выход воля к самоутверждению, равно как и к самоотречению, где прозвучали бы голоса всех демонов, споривших в нем и имевших одинаковое право на жизнь. Едва выражал он одну свою страсть в какомнибудь произведении (иногда у него даже не хватало терпения довести его до конца), как уже бросался навстречу противоположной страсти. Противоречие только кажущееся: вечно меняясь, он оставался неизменным. Все его произведения были различными путями, ведущими к одной и той же цели; душа его была, как горная цепь: он взбирался на нее по любой тропинке; одни тропинки неторопливо и мягко извивались в тени; другие, каменистые и знойные, круто вздымались к солнцу, но все вели к божеству, восседавшему на вершине. Любовь, ненависть, воля, самоотречение, все силы духа, доведенные до высшего накала, соприкасаются с вечностью, уже причастны к ней. Каждый носит вечность в себе: и верующий и атеист; и тот, кто видит во всем жизнь, и тот, кто во всем ее отрицает, и тот, кто сомневается во всем — и в жизни, и в отрицании жизни; так было и с Кристофом, душа которого обнимала все эти противоречия сразу. Все противоречия переплавляются в вечной Силе. Для Кристофа важно было пробудить эту Силу в себе и в других, подкидывать охапку за охапкой в костер, разжечь огонь Вечности. Яркое пламя вспыхнуло в его сердце среди дышащей сладострастием парижской ночи. Он, воображавший себя свободным от всякой веры, сам был факелом веры.

Трудно было найти лучшую мишень для французской иронии. Вера — одно из тех чувств, которые меньше всего прощает утонченное общество, ибо само оно утратило ее. Глухая или на-

[1] Я говорю — вещи, а ты говоришь — слова... *(итал.)*

смешливая неприязнь большинства зрелых людей к мечтаниям юношей в значительной степени питается горькой мыслью о собственном прошлом, когда и у них были свои честолюбивые мечты, так и не претворенные в жизнь. Всякий, кто изменил своей душе, всякий, кто носил в себе творческий замысел и не осуществил его, думает: «Если я оказался неспособен совершить то, о чем мечтал, почему это должно удаться им? Я не желаю, чтобы они были удачливее».

Как часто Гедды Габлер попадаются в нашем обществе! Сколько глухого недоброжелательства направлено на уничтожение новых и свободных сил, сколько пускается в ход изощренности, дабы убить их молчанием, иронией, взять измором, лишить мужества, а в подходящую минуту прибегнуть к какому-нибудь коварному соблазну!..

Тип этот встречается во всех странах. Кристоф познакомился с ним еще в Германии. Против людей такого рода он был неуязвим. Он применял простую систему обороны — нападал первый; при первом же заигрывании он объявлял им войну; своих опасных друзей он силою принуждал стать врагами. Но если эта прямота была самой действенной политикой в ограждении и сохранении своей личности, то она не способствовала успеху его артистической карьеры. Снова начались мытарства, уже испытанные в Германии. Тут он ничего не мог поделать. Изменилось лишь одно: его характер, который стал слишком веселым.

Кристоф отважно поверял первому встречному свои критические суждения о французских художниках и нажил таким образом множество врагов. Он даже не позаботился обеспечить себе,— по примеру людей предусмотрительных,— поддержку какого-либо кружка. Ему нетрудно было бы найти артистов, готовых восхищаться им, лишь бы он сам ими восхищался. Ведь нашлись же такие, что восхищались им в кредит — в ожидании, что и он воздаст им тем же. Они смотрели на человека, которого хвалили, как на должника, обязанного, когда наступит срок, оплатить вексель. Это было выгодным помещением капитала. Но только не с Кристофом. Он не платил по векселям. Хуже того, он имел дерзость находить посредственными произведения композиторов, находивших хорошими его произведения. А они затаивали злобу и клялись при первой возможности отплатить ему той же монетой.

Наряду с другими своими оплошностями Кристоф имел неосторожность начать войну с Люсьеном Леви-Кэром. Тот всюду попадался ему на дороге, и Кристоф не в силах был скрыть сво-

ей крайней неприязни к этому мягкому и вежливому господину, который не делал никакого явного зла и казался даже добрее, во всяком случае, гораздо благоразумнее Кристофа. Леви-Кэр вызывал его на споры; и как бы ни был незначителен повод, разговор всегда принимал, по вине Кристофа и к удивлению присутствующих, неожиданно резкий оборот. Создавалось впечатление, будто Кристоф ищет предлога, лишь бы ринуться очертя голову на Люсьена Леви-Кэра; но ни разу удар не попал в цель. Враг его с редкостной ловкостью умел разыгрывать благородство, даже когда был заведомо неправ; защищался он с изысканной вежливостью, еще ярче подчеркивавшей невоспитанность Кристофа. Вдобавок Кристоф плохо говорил по-французски и пересыпал свою речь жаргонными, а то и просто крепкими словечками, которые, как большинство иностранцев, он усвоил быстро, но употреблял не к месту,— понятно, он не мог противостоять тактике Леви-Кэра и на его иронически-благодушные замечания отвечал яростными наскоками. Все становились на сторону Леви-Кэра, ибо никто не замечал того, что смутно чувствовал Кристоф: лицемерия кроткого Леви-Кэра, который, столкнувшись с неодолимой для себя силой, старался задушить ее неприметно и без шума. Леви-Кэр не спешил, считая, как, впрочем, считал и Кристоф, что время работает на него, Леви-Кэра, но он ставил ставку на разрушительное действие времени, а Кристоф верил в созидание. Леви-Кэр без труда отдалил от Кристофа Сильвена Кона и Гужара, равно как понемногу вытеснил его самого из салона Стивенсов. Он создал вокруг Крафта пустоту.

Кристоф сам способствовал этому. Не принадлежа ни к какой партии, или, вернее, будучи против партий вообще, Кристоф не мог никому угодить. Он не любил евреев, но еще меньше любил антисемитов. Кристофу была мерзка эта низость масс, восстающих против могущественного меньшинства не потому, что оно дурно, а потому, что оно могущественно,— этот призыв к низменным инстинктам, к зависти и ненависти. Евреи видели в нем антисемита, антисемиты — еврея. Что же касается художников, то они чувствовали в нем врага. Вступая в область искусства, Кристоф бессознательно более выказывал себя немцем, чем был на самом деле. В противовес парализующей изнеженности определенного сорта парижской музыки, Кристоф прославлял яростную волю, мужественный и здоровый пессимизм. А когда в его произведениях звучала радость, то выражалась она безвкусно, с плебейской пылкостью, что заставляло морщиться даже аристократических опекунов народного искусства. Форма у него была трудная и суровая. Он не прочь был даже

из духа противоречия подчеркнуть некоторое пренебрежение к стилю, равнодушие к внешней оригинальности, что должно было неизбежно коробить французских музыкантов. Поэтому те из них, кого он познакомил со своими произведениями, распространили на них без дальних слов презрение, которое питали к презираемому ими запоздалому вагнерианству немецкой школы. Кристофа это ничуть не беспокоило; он тихонько посмеивался, повторяя немножко переделанные применительно к случаю стихи одного чудесного музыканта французского Возрождения:

Смущаться нечего, когда толкует свет:
«В гармонии Кристоф куда бедней, чем тот,
А в контрапункте он куда бедней, чем этот».
Кой-чем богат и я, чего у прочих нет.

Но когда он пожелал исполнить свои произведения в концертах, все двери оказались закрытыми. И без того уж приходилось возиться с молодыми французскими музыкантами, чтобы добиться исполнения их произведений, или, вернее, воспрепятствовать этому. Кому же была охота отвоевывать место для какого-то никому не известного немца.

Кристоф не стал упорствовать в своих попытках. Он заперся у себя и снова принялся писать. Его не очень интересовало, услышат парижане его музыку или нет. Он писал для собственного удовольствия, а не ради успеха. Подлинного творца не заботит будущее его творений. Он похож на тех художников Возрождения, которые были полны радости, расписывая фасады домов, хотя и знали, что через десять лет от их работы не останется и следа. И Кристоф спокойно трудился в чаянии лучших времен, как вдруг к нему пришла неожиданная помощь.

Кристоф был увлечен в это время драматической формой. Он не решался свободно отдаваться потоку своего внутреннего лиризма. Хотелось ввести его в русло определенных сюжетов. И впрямь, молодому таланту, еще не овладевшему собой и даже не знающему в точности, что он такое, весьма полезно добровольно поставить себе границы и замкнуть в них свою постоянно ускользающую душу. Такие шлюзы необходимы, они позволяют направлять течение мысли. К несчастью, у Кристофа не было сотрудника-поэта; ему приходилось черпать себе сюжеты в легендах или в истории.

Среди образов, носившихся перед ним в последние месяцы, были и библейские. Библия, которую мать подарила ему, как спутницу в изгнании, явилась для него источником долгих меч-

таний. Хотя он читал ее без всякого религиозного чувства, однако нравственная, или, лучше сказать, жизненная энергия, которую излучала эта иудейская Илиада, служила ему родником, где он отмывал по вечерам со своей обнаженной души копоть и грязь Парижа. Его мало трогал священный смысл текста, но Библия все же была для него священной книгой, ибо с ее страниц веяло дыханием дикой природы и первобытных характеров. Он упивался этими гимнами во славу земли, сжигаемой пламенем веры, во славу содрогавшихся гор, ликующих небес и людей, подобных львам.

Особенную нежность он чувствовал к отроку Давиду. Он не наделял его ни насмешливой и мальчишеской улыбкой юного флорентийца, ни трагической сосредоточенностью, какие мы видим в знаменитых статуях Вероккио и Микеланджело,— он не знал этих шедевров. Давид рисовался ему поэтичным пастушком с чистым сердцем, в котором жил героизм, неким Зигфридом юга, более утонченной породы, с более гармоничным телом и мыслями. Как ни восставал Кристоф против латинского духа, он незаметно пропитывался им. На искусство влияет не только искусство, не только идея, но и все окружающее: люди и вещи, жесты и движения, линии и свет. Воздух Парижа — чудодейственно силен: он обламывает самые мятежные души. И менее всякой другой способна сопротивляться германская душа: тщетно драпируется она в свою национальную гордыню,— из всех европейских душ она скорее всего теряет свои национальные особенности. Душа Кристофа уже начала, незаметно для него самого, перенимать от латинского искусства трезвость, ясность чувства и даже в известной мере пластическую красоту. Об этом свидетельствовал его «Давид».

Кристофу захотелось изобразить встречу отрока Давида с Саулом; он задумал ее как симфоническую картину с двумя действующими лицами.

На пустынной поляне, среди цветущего вереска, лежит, мечтая под солнечными лучами, юный пастух. Мягкий свет, жужжанье насекомых, тихий шелест трав, серебристый перезвон колокольчиков, сама земля баюкают грезы отрока, не сознающего своего божественного предназначения. То беспечно зазвучит его песенка, то польются в лад с нею звуки свирели, сливаясь с ласкающим ухо безмолвием полей; и песня эта так радостно-спокойна, так прозрачна, что, слушая ее, не думаешь больше ни о радости, ни о горе и веришь, что таким он был, что все начиналось так... Вдруг гигантская тень распростерлась над полями: все замирает,— жизнь как будто уходит в поры земли. Лишь по-

прежнему спокойно льется песня свирели. Является измученный видениями Саул. Снедаемый тоской, безумный царь мечется, как яростное самосжигающее пламя под неумолимым дыханием урагана. Царь молит, проклинает, борется с пустотой вовне и в себе самом. И когда в изнеможении он падает на землю, в тишине снова слышится немолчная светлая песнь пастушка. Тогда Саул, стараясь умерить удары смятенного сердца, молча подходит к лежащему мальчику, молча глядит на него, садится рядом и кладет горячую руку на голову пастуха. Давид, не смутившись, оборачивается и видит царя. Положив голову на колени Саула, он продолжает прерванную игру. Вечерние тени сгущаются; Давид засыпает с песней на устах, а Саул плачет. И в звездной ночи вновь возносится гимн воскресшей природе и благодарственная песнь выздоравливающей души.

Сочиняя эту сцену, Кристоф был так поглощен радостью творчества, что не думал о средствах, какими она может быть передана, ему даже не приходила в голову мысль, что его «Давида» можно поставить в театре. Он рассчитывал на концертное исполнение, в случае если его удостоят такой чести.

Однажды он заговорил об этой вещи с Ашилем Руссэном и в ответ на просьбы познакомить его с новой вещью сыграл отдельные отрывки на рояле; к немалому его изумлению, Руссэн пришел в бурный восторг и объявил, что эту симфонию непременно нужно воплотить на парижской сцене и что он берется это устроить. Изумление Кристофа возросло еще больше, когда через несколько дней он убедился, что Руссэн всерьез отнесся к делу; когда же он узнал, что Сильвен Кон, Гужар и даже Люсьен Леви-Кэр заинтересовались затеей Руссэна, то перестал даже изумляться,— он просто остолбенел. Значит, личная неприязнь этих людей отошла на второй план перед их любовью к искусству,— а это было уже полной неожиданностью для Кристофа. Меньше всех хлопотал об исполнении своего детища он сам. Его «Давид» не предназначался для театра: было нелепостью ставить его на сцене. Но Руссэн так настаивал, Сильвен Кон так убеждал, Гужар так ручался за успех, что Кристоф поддался искушению. Он проявил малодушие. Ему так хотелось услышать свою музыку!

Перед Руссэном открывались все двери. Директора театров и артисты наперерыв старались ему угодить. Как раз в то время одна газета устраивала музыкальное утро с благотворительной целью. Решили поставить «Давида». Подобрали хороший оркестр. Что же касается певцов, то Руссэн уверял, что нашел для роли Давида идеальную исполнительницу.

Начались репетиции. Оркестр довольно удачно справился с первым чтением партитуры, хотя, по французскому обыкновению, хромала дисциплина. Исполнитель партии Саула обладал не очень сильным, но приличным голосом и умел владеть им. В роли Давида выступала красивая, статная, полная, хорошо сложенная особа, но пела она пошло, с ухватками кафешантанной дивы и с излишней чувствительностью, которая еще утяжелялась мелодраматическими трелями. Кристоф морщился. После первых же тактов ему стало очевидно, что с ролью она не справится. В перерыве он подошел к присутствовавшему на репетиции вместе с Сильвеном Коном импресарио, которому было поручено устройство концерта. Тот встретил его с сияющим лицом.

— Ну что, довольны?

— Да,— отвечал Кристоф,— мне кажется, наладится. Одно только плохо: певица. Ее необходимо заменить. Скажите это ей в деликатной форме; вы человек опытный. И вам, наверное, нетрудно будет найти мне другую.

Импресарио страшно смутился и посмотрел на Кристофа с таким видом, точно не понимал, шутит тот или говорит серьезно. Наконец он воскликнул:

— Это невозможно!

— Почему невозможно? — удивился Кристоф.

Импресарио лукаво перемигнулся с Сильвеном Коном и сказал:

— Ведь у нее талант!

— Ни малейшего.

— Как!.. Такой прекрасный голос!

— Никакого голоса.

— И потом, такая красивая женщина!

— На это мне наплевать.

— Однако вреда от этого не бывает,— со смехом заметил Сильвен Кон.

— Мне нужен Давид, и притом Давид, умеющий петь, а прекрасная Елена мне не нужна,— отрезал Кристоф.

Импресарио в замешательстве потер нос.

— Ах, как это неприятно, как неприятно...— промолвил он.— Ведь она же превосходная артистка... Уверяю вас. Может быть, сегодня она не в ударе. Прорепетируйте с ней еще раз.

— Попробую,— сказал Кристоф,— но, по-моему, это только потеря времени.

Репетицию повторили. Но получилось еще хуже. С большим трудом Кристоф дотянул до конца. Он нервничал. Его замечания — сначала холодные, но вежливые — делались все бо-

лее сухими и резкими, несмотря на явные усилия певицы угодить автору и ее кокетливые взгляды, которыми она старалась завоевать его расположение. Импресарио благоразумно прервал репетицию в момент, когда дело начало принимать угрожающий оборот. Желая загладить дурное впечатление от замечаний Кристофа, он расшаркивался перед певицей и расточал ей тяжеловесные комплименты, как вдруг Кристоф, наблюдавший эту сцену с нескрываемой досадой, повелительным тоном подозвал его и заявил:

— Дело ясно. Эта особа мне не подходит. Это очень неприятно, я понимаю, но ведь не я ее пригласил. Устраивайтесь, как вам угодно.

Импресарио кивнул с озабоченным видом и равнодушно проговорил:

— Я тут ни при чем. Обращайтесь к господину Руссэну.

— А при чем тут господин Руссэн? — удивился Кристоф.— Я не стану его беспокоить по таким пустякам.

— Лучше уж побеспокоить,— иронически заметил Сильвен Кон.

И он указал на Руссэна, который как раз входил в зал.

Кристоф пошел ему навстречу. Руссэн, в великолепном настроении, воскликнул:

— Как! Уже кончили? А я надеялся захватить кусочек. Ну, дорогой маэстро, что скажете? Довольны?

— Все идет превосходно,— ответил Кристоф.— Не знаю, как и благодарить вас...

— Что вы! Помилуйте!

— Одно только никак не ладится.

— Что такое, скажите скорей! Мы все устроим. Мне очень хочется, чтобы вы были довольны.

— С певицей не ладится. Между нами говоря, она ниже всякой критики.

Сияющее лицо Руссэна вдруг застыло, и он проговорил ледяным тоном:

— Вы меня удивляете, дорогой мой.

— Она никуда не годится, решительно никуда,— продолжал Кристоф.— Ни голоса, ни вкуса, ни школы, ни тени таланта. Вам повезло, что вы не слышали ее писка!..

Руссэн, лицо которого все более и более вытягивалось, оборвал Кристофа и резко заметил:

— Я хорошо знаю мадемуазель де Сент-Игрен. Она очень талантливая артистка. Я большой ее поклонник. В Париже все знатоки разделяют мое мнение.

И, повернувшись спиной к Кристофу, он подошел к артистке, предложил ей руку и вышел вместе с ней. Оторопевший Кристоф молча проводил глазами парочку. Тогда Сильвен Кон, наслаждавшийся этой сценой, взял Кристофа под руку и, спускаясь по лестнице, сказал ему со смехом:

— Да неужели же вы не знали, что она его любовница?

Тут Кристоф понял. Значит, это ради нее, а вовсе не ради него ставили пьесу! Ему стал теперь ясен энтузиазм Руссэна, его щедрость, рвение его приспешников. Сильвен Кон рассказал ему историю этой самой Сент-Игрен: певичка из мюзик-холла, блеснувшая в театральных заведениях соответствующего рода, возмечтала, как и многие ее товарки, о подмостках, более достойных ее талантов. Она рассчитывала, что Руссэн устроит ей ангажемент в Оперу или в «Опера комик», и Руссэн, охотно шедший ей навстречу, усмотрел в постановке «Давида» прекрасный случай для того, чтобы без риска показать парижской публике вокальные данные новой трагической актрисы в роли, почти вовсе не требовавшей игры, но весьма выгодно подчеркивавшей изящество ее форм.

Кристоф внимательно выслушал до конца всю историю; потом высвободил свою руку из руки Сильвена Кона и расхохотался. Он хохотал долго. Нахохотавшись, он сказал:

— Как вы мне противны! Как вы все мне противны! Вам нет дела до искусства. Всюду и везде женщины. Ставят оперу для танцовщицы, для певицы, для любовницы такого-то или любовника такой-то. У вас в голове одно свинство. Ну что ж, я на вас не в претензии: вы таковы и оставайтесь такими, если уж вам это нравится,— барахтайтесь в своем болоте. Но нам с вами надо расстаться: мы не созданы для совместной жизни.

Распрощавшись с Коном, он вернулся домой и написал Руссэну, что забирает обратно свою пьесу, не скрыв мотивов своего поступка.

Это был полный разрыв с Руссэном и всем его кланом. Последствия не замедлили сказаться. Газеты уже было подняли шум вокруг предполагавшейся постановки,— история ссоры композитора с исполнительницей стала предметом оживленных пересудов. Какой-то дирижер заинтересовался «Давидом» и исполнил его на одном из воскресных утренников. Эта удача оказалась роковой для Кристофа. «Давида» освистали. Друзья певицы сговорились проучить дерзкого, а публика, которой симфоническая поэма показалась скучной, охотно присоединилась к приговору знатоков. В довершение неудач Кристоф, желая блеснуть талантом пианиста, имел неосторожность выступить в том

же концерте с фантазией для рояля и оркестра. Во время исполнения «Давида» публика, щадя певцов, до некоторой степени сдерживалась, но когда перед ней появился сам автор, игра которого к тому же была небезукоризненна, слушатели дали волю своим чувствам. Кристоф, выведенный из себя шумом в зале, резко оборвал пьесу на середине и, насмешливо взглянув на притихшую публику, заиграл: «Мальбрук в поход собрался».

— Вот что вам нужно! — заносчиво крикнул он, встал и ушел.

Поднялась невероятная суматоха. Кричали, что он оскорбил публику и должен принести свои извинения с эстрады. На другой день газеты растерзали в клочья смешного немца, который получил по заслугам от Парижа — законодателя вкусов.

И затем снова пустота, полная, абсолютная. Еще раз Кристоф остался одиноким, более одиноким, чем когда-либо, в большом городе, чужом и враждебном.

Но его это не огорчало. В нем уже утверждалась мысль, что такова, видно, его судьба и что таким он останется всю жизнь.

Он не знал, что великая душа никогда не бывает одинокой, что, как бы ни обошла ее дружбой скупая судьба, рано или поздно она сама создаст себе друзей, что, сама исполненная любви, она излучает вокруг себя любовь и что даже в тот самый час, когда он считал себя обреченным на вечное одиночество, Кристоф был богаче любовью, чем все счастливцы на земле.

У Стивенсов жила девочка тринадцати — четырнадцати лет, которой Кристоф давал уроки одновременно с Колеттой. Она приходилась двоюродной сестрой Колетте; звали ее Грация Буонтемпи. По-деревенски здоровая, с золотистой кожей и нежным румянцем на пухленьких щечках, с немного вздернутым носиком, большим, резко очерченным, полуоткрытым ртом, с круглым, выделявшимся своей белизной подбородком, со спокойными, мягко улыбающимися глазами и выпуклым лбом, обрамленным густыми и длинными шелковистыми волосами, спускавшимися вдоль щек легкой волной, без завитков, девочка эта напоминала маленькую мадонну Андреа дель Сарто с широким лицом и прекрасным молчаливым взором.

Грация была итальянка. Родители ее жили почти круглый год в деревне, в большом поместье на севере Италии: долины, луга, каналы. С крыши, где была устроена терраса, виднелась волнообразная линия золотистых виноградников, прорезанных черными силуэтами кипарисов. А дальше шли поля, поля. Ти-

шина. Слышно было лишь мычанье волов, пахавших землю, да резкий крик крестьянина, шедшего за плугом: «Ihi! Fat innanz!..» [1]

В деревьях звенели стрекозы, вдоль каналов квакали лягушки. А ночью безбрежная тишина, залитая серебряными потоками лунного света. Время от времени доносились издалека ружейные выстрелы,— то дремавшие в шалашах полевые сторожа предупреждали вора, что они бодрствуют. И, услышав сквозь сон эти выстрелы, местные жители поворачивались на другой бок, как будто вдали просто пробили часы, мирно отмечавшие бег ночи. И тишина снова обволакивала душу мягким широким плащом.

Жизнь вокруг маленькой Грации казалась дремотной. На девочку почти не обращали внимания. Она мирно росла, овеянная ласковым спокойствием. Ни волнений, ни торопливости. Грация была ленива, любила бесцельно бродить и долго спать. По целым часам лежала она, растянувшись, в саду. И ее медленно уносила тишина, словно мушку, попавшую на поверхность полузасохшего в жару ручейка. Иногда вдруг она беспричинно вскакивала и принималась бегать. Бегала она, как зверек,— изящно и легко, чуть склонив набок головку. Настоящий козленок, который карабкается и прыгает среди камней ради удовольствия прыгать. Грация разговаривала со всеми: с собаками, с лягушками, с травой, с деревьями, с соседями, с домашними животными. Обожала все окружающие ее маленькие существа, да и большие тоже, но с последними была сдержаннее. Людей она видела мало. Поместье было уединенное и находилось в стороне от города. Редко-редко по пыльной дороге медленно проходил степенный крестьянин или проплывала, высоко подняв голову и выпятив грудь, красивая крестьянка с яркими на загорелом лице глазами. Целые дни Грация проводила одна в молчаливом парке, никого не видела, никогда не скучала, ничего не боялась.

Однажды на пустынную ферму забрался бродяга, решив стащить курицу. Он в недоумении остановился перед лежавшей в траве девочкой, которая, напевая песенку, с аппетитом уплетала бутерброд. Она спокойно взглянула на пришельца и спросила, что ему здесь нужно. Он ответил:

— Дайте мне что-нибудь, не то я рассержусь.

Она протянула ему бутерброд и сказала с улыбкой:

— Не надо сердиться.

---

[1] Эй! Пошел!.. *(итал.)*

Бродяга ушел.

Мать Грации умерла. Отец, очень добрый и бесхарактерный старик, чистокровный итальянец, крепкий, веселый, сердечный, похожий на большого ребенка, был совершенно неспособен руководить воспитанием дочери. Приехавшая на похороны сестра старика Буонтемпи, г-жа Стивенс, поразилась, увидев, в каком одиночестве растет ребенок. Желая отвлечь девочку от постигшего ее горя, она решила увезти ее на время в Париж. Грация расплакалась, и старик отец тоже, но, когда г-жа Стивенс принимала какое-нибудь решение, оставалось только покориться: никто не мог ей перечить. Она считалась в семье государственным умом и у себя в Париже управляла всеми: мужем, дочерью, любовниками, ибо не забывала ни о долге, ни об удовольствиях,— словом, была женщина практичная и пылкая, а также очень светская и очень деятельная.

Переселенная на парижскую почву, спокойная Грация стала обожать свою взбалмошную красивую двоюродную сестрицу, что забавляло Колетту. Ласковую дикарочку начали вывозить в свет, водить по театрам. С ней продолжали обращаться как с ребенком, да и сама она считала себя маленькой девочкой, хотя уже перестала ею быть. Иные свои чувства — порывы безграничной нежности к предметам, к людям, к животным — она уже начинала скрывать и пугалась их. Втайне она была влюблена в Колетту: таскала у нее ленты, носовые платки, часто в ее присутствии лишалась даже дара речи и, поджидая ее, зная, что сейчас увидит свой кумир, дрожала от нетерпения и счастья. Когда в театре, в ложе, где она сидела, появлялась ее хорошенькая кузина, сверкая обнаженными плечами и привлекая к себе все взгляды, на лице Грации появлялась добрая, застенчивая, ласковая, сиявшая любовью улыбка, и сердце ее таяло, когда Колетта обращалась к ней с вопросом. В белом платье, с распущенными по смуглым плечам красивыми черными волосами, Грация, покусывая кончики своих длинных перчаток, в разрез которых она машинально всовывала палец,— поминутно оборачивалась во время спектакля к Колетте, чтобы поймать дружеский взгляд, разделить с нею удовольствие, сказать ей своими ясными карими глазками: «Я вас очень люблю!»

На прогулках по лесу в окрестностях Парижа она ходила за Колеттой как тень, садилась у ее ног, забегала вперед, чтобы сломать ветку, которая могла ее задеть, или спешила положить в лужу камешек. А когда однажды вечером озябшая Колетта попросила у нее шарф, Грация даже взвизгнула от удовольствия (после чего сразу же смутилась), от счастья, что богиня заку-

тается как бы в частицу ее самой, а шарф потом вернется к ней, пропитанный ароматом обожаемой Колетты.

Некоторые книги, некоторые прочитанные тайком страницы поэтов (ей все еще давали детские книги) также вызывали у нее сладкое волнение. А еще больше — музыка; хотя ей и говорили, что она еще не может понимать музыки, и сама она убеждала себя, что ничего в ней не понимает, она бледнела и покрывалась испариной от волнения. Никто не знал, что в такие минуты происходит с ней.

В остальном она была девочкой ласковой, ветреной, ленивой, любила полакомиться, краснела от каждого пустяка, то молчала по целым часам, то говорила без умолку, хохотала или плакала, как ребенок, без всякой видимой причины. Она была смешлива,— любая мелочь забавляла ее. Никогда не пыталась она разыгрывать из себя взрослую даму. И оставалась ребенком. А главное, была добра, неспособна никого огорчить и страдала от малейшего неласкового слова. Трогательно скромная, всегда готовая отступить в тень, преисполненная желания любить все и восхищаться всем, что казалось ей красивым и хорошим, она наделяла людей качествами, которых у них не имелось.

В Париже занялись ее образованием, которое оказалось очень запущенным. И она стала брать уроки музыки у Кристофа.

Впервые она увидела его на одном многолюдном вечере у тетки. Кристоф, не умевший применяться к публике, играл нескончаемое *адажио,* вызывавшее у слушателей зевоту; казалось, вот-вот оно кончится, но оно все длилось, и конца ему не предвиделось. Г-жа Стивенс изнывала от нетерпения. Зато Колетта наслаждалась от души: она смаковала комизм положения и отнюдь не осуждала Кристофа за его полное равнодушие к окружающим,— она чувствовала в нем силу, и это ей нравилось, но все получалось действительно комично, и ей вовсе не хотелось выступать в его защиту. Одна только маленькая Грация была до слез растрогана музыкой Кристофа. Она притаилась в уголке гостиной, но в конце концов не выдержала и убежала, чтобы скрыть свое волнение, а также потому, что ей было больно видеть, как все насмехаются над Кристофом.

Через несколько дней, за обедом, г-жа Стивенс сказала в присутствии девочки, что она будет брать уроки музыки у Кристофа. Грация так смутилась, что уронила ложку в тарелку с супом и забрызгала себя и свою кузину. Колетта недовольно проворчала, что прежде следовало бы научиться прилично вести себя за столом. Г-жа Стивенс добавила, что в таком случае при-

шлось бы пригласить в учителя кого-нибудь другого, но уж не Кристофа. Грация была счастлива, что ее выбранили вместе с Кристофом.

Кристоф начал давать ей уроки. Грация сидела ни жива ни мертва, вся съежившись, не в силах пошевелиться, и когда Кристоф положил руку на ее ручонку, поправляя позицию пальцев на клавишах, она чуть не упала в обморок. Больше всего она боялась плохо сыграть при нем, но, сколько ни старалась, разучивая уроки до изнеможения, до того, что Колетта, выйдя из себя, начинала сердиться, все же в присутствии Кристофа она играла плохо, у нее захватывало дух, пальцы деревенели или становились мягкими, как вата; она не выдерживала такта, делала бессмысленные ударения. Кристоф бранил ее и уходил недовольный, а Грации хотелось умереть.

Кристоф не обращал на нее никакого внимания; он был занят только Колеттой. Грация завидовала дружбе кузины с Кристофом, и хотя страдала, однако доброе ее сердечко радовалось за них обоих. Она признавала все превосходство Колетты над собой и потому находила вполне естественным всеобщее восхищение ею. Но когда ей пришлось сделать выбор между Колеттой и Кристофом, она почувствовала, что сердце ее не на стороне Колетты. Просыпавшаяся в ней женщина подсказала, что Кристоф страдает от кокетства Колетты и от настойчивых ухаживаний за нею Люсьена Леви-Кэра. Грация и раньше чувствовала необъяснимую неприязнь к этому человеку и окончательно возненавидела его, как только узнала, что Кристоф его ненавидит. Она не могла понять, как это Колетте доставляет удовольствие сталкивать Кристофа с Леви-Кэром. В душе она начала строго осуждать Колетту, уличила ее несколько раз в мелкой лжи и круто изменила свое обращение с ней. Колетта заметила перемену, но не могла догадаться о причине ее и приписала все детскому капризу. Однако было несомненно, что она утратила свою власть над Грацией,— это показал ей один незначительный факт. Однажды вечером, во время прогулки по саду, Колетта с кокетливой нежностью привлекла к себе Грацию, чтобы укрыть ее своим пальто, потому что начал накрапывать дождь; но Грация, для которой еще недавно было бы несказанным счастьем прильнуть к груди обожаемой кузины, холодно отстранилась. И когда Колетта находила некрасивой какую-нибудь музыкальную пьеску, заданную Грации, Грация продолжала играть ее с прежним удовольствием.

Все ее внимание было теперь поглощено Кристофом. С прозорливостью любви догадывалась она об его страданиях. А ее настороженная детская наблюдательность даже преувеличивала его мучения. Ей казалось, что Кристоф влюблен в Колетту, меж тем как он питал к ней только взыскательную дружбу. Грация думала, что он несчастен, и сама была несчастна из-за него. Бедняжка не получала никакой награды за свою заботу: она расплачивалась за Колетту, когда та выводила Кристофа из себя; помрачневший Кристоф вымещал свое дурное настроение на маленькой ученице, досадливо подчеркивая все ее промахи. Однажды утром, когда Колетта довела его чуть не до бешенства, Кристоф был на уроке так резок, что Грация лишилась остатков самообладания и совсем сбилась; Кристоф сердито заметил ей, что она фальшивит; тогда она окончательно запуталась; он рассердился, дернул ее за руку, закричал, что из нее никогда ничего не выйдет и что ей лучше заняться кухней, шитьем, всем, чем угодно, только, ради бога, не музыкой! Незачем терзать чужой слух таким враньем. И ушел, не докончив урока. Бедная Грация обливалась слезами не столько от обиды, сколько от огорчения, что, несмотря на все свои старания, не может доставить учителю удовольствие и что расстраивает своей глупостью любимого Кристофа.

Она затосковала еще пуще, когда Кристоф перестал бывать у Стивенсов. Ей захотелось вернуться домой. Эта девочка, здоровая телом и духом, даже в сокровенных своих мечтаниях сохранившая деревенскую безмятежность, чувствовала себя чужой в шумном городе, среди неврастеничных и издерганных парижанок. Она постепенно научилась довольно верно судить об окружавших ее людях, но не смела высказывать свои суждения вслух. Но она была, как и отец, робка и слабовольна,— по доброте, по скромности, по неуверенности в себе. Безропотно подчинялась и властной тетке, и привыкшей всех тиранить Колетте. Не решалась попросить своего старенького папу, которому писала каждую неделю длинные нежные письма: «Дорогой папочка, возьми меня, пожалуйста, домой!»

И старый отец тоже не решался взять ее, несмотря на все свое желание, ибо в ответ на его робкие намеки г-жа Стивенс возразила, что Грации хорошо в Париже, гораздо лучше, чем с ним, и что для ее воспитания необходимо оставить девочку здесь.

Однако наступил момент, когда изгнание стало слишком мучительным для нежной души южанки, и пришлось отпустить ее на волю к солнцу. Случилось это после концерта Кристофа.

Грация была на нем со Стивенсами; и ее до боли потрясло гнусное зрелище толпы, которая веселья ради глумилась над артистом... И не просто артистом... Над тем, кто в глазах Грации был живым воплощением искусства, олицетворением всего божественного в жизни. Ей хотелось заплакать, убежать. Но пришлось вытерпеть до конца гам, свистки, шиканье, а по возвращении к тетке еще выслушивать оскорбительные рассуждения, серебристый смех Колетты, обменивавшейся с Люсьеном Леви-Кэром притворными соболезнованиями. Запершись в своей комнате, Грация зарылась в подушки и рыдала до поздней ночи: она вслух говорила с Кристофом, утешала его, готова была отдать свою жизнь ради него, ради того, чтобы он был счастлив, и отчаивалась из-за собственного бессилия. С тех пор Париж окончательно ей опротивел. Она обратилась к отцу с просьбой взять ее. Она писала: «Я не могу больше здесь жить, не могу, я умру, если останусь здесь еще немного».

Отец тотчас же приехал; и как ни трудно было им выдержать борьбу с грозной теткой, отчаяние придало им силы.

Грация вернулась в их огромный, по-прежнему сонный парк. Радостно встретилась она с милой природой, с милыми ее душе существами. Из Парижа она унесла с собой и все еще хранила в своем наболевшем и только теперь обретавшем спокойствие сердце чуточку северной грусти, которая, словно туманная дымка, понемногу таяла на солнце. По временам она думала о несчастном Кристофе. Лежа часами на лужайке и слушая знакомые голоса лягушек и цикад или сидя за роялем, к которому теперь ее влекло чаще, она мечтала о друге, о первом своем друге; часами тихонько разговаривала с ним и ничуть не удивилась бы, если бы он вдруг открыл дверь и вошел в комнату. Она написала ему письмо и после долгих колебаний послала, не подписав своего имени; как-то утром тайком от всех она отправилась полями за три километра в дальнюю деревушку и с бьющимся сердцем опустила в почтовый ящик свое послание — хорошее, трогательное, где говорила Кристофу, что он не одинок, что он не должен отчаиваться, что о нем думают, его любят, молятся за него,— жалкое письмо, глупо затерявшееся по дороге и так и не дошедшее до него.

Потом потянулись однообразные, безмятежные дни. И снова глубокий итальянский мир, дух покоя, тихого счастья, немой созерцательности снизошли в целомудренное, молчаливое сердце далекой подруги Кристофа, сердце, где продолжало теплиться, как неугасимый огонек, воспоминание о нем.

Но Кристоф ничего не ведал о простодушной любви, издали осенявшей его,— о любви, которой впоследствии суждено было занять столько места в его жизни. Он не знал также, что на том самом концерте, где его так грубо оскорбили, присутствовал и его будущий друг, милый спутник, которому предстояло идти с ним бок о бок, рука в руке.

Кристоф был одинок. Считал, что одинок. Впрочем, это нисколько не угнетало его. Он не чувствовал теперь той горькой тоски, которая томила его когда-то в Германии. Он окреп, возмужал; он знал, что так оно и должно быть. Его иллюзии насчет Парижа рассеялись: люди везде одинаковы, надо с этим мириться, а не упорствовать в ребяческой борьбе с целым светом: надо быть самим собой, сохранить спокойствие. Как говорил Бетховен: «Если мы отдадим жизни все наши жизненные соки, то что же останется нам для более благородного, более возвышенного дела?» Кристоф с необыкновенной ясностью осознал свой собственный характер и характер своего народа, который некогда так строго осуждал. Чем больше его угнетала атмосфера Парижа, тем сильнее испытывал он потребность искать прибежища у себя на родине, в объятиях поэтов и композиторов, вобравших в себя все лучшее, что в ней есть. Стоило ему открыть их книги, и комнату тотчас наполнял голос залитого солнцем Рейна, освещала приветливая улыбка покинутых старых друзей!

Как он был неблагодарен! Как мог он не открыть раньше сокровища их чистых и добрых сердец? С краской стыда вспоминал он все, что наговорил несправедливого и оскорбительного о них, когда жил еще в Германии. Тогда он видел только их недостатки, их неуклюже церемонные манеры, их слезливый идеализм, их притворство, их приступы малодушия. Ах, какая это была мелочь по сравнению с их огромными достоинствами! Как мог он быть таким жестоким к их слабостям и какими трогательными казались они ему теперь даже благодаря этим слабостям — какими человечными! Наступила реакция, и сейчас его привлекали как раз те из них, кто особенно пострадал от его несправедливости. Чего только не наговорил он в свое время о Шуберте или о Бахе! И вот теперь он чувствовал такую близость к ним. Теперь эти великие души, в которых он с таким нетерпением искал смешные и нелепые черты, склонялись над изгнанником, заброшенным на чужбину, и с ласковой улыбкой говорили ему: «Брат наш! Мы здесь. Мужайся! И на нашу долю выпало больше бед, чем положено человеку... Пустое! С этим можно справиться...»

Он слышал бушевание безбрежной, как океан, души Иоганна Себастьяна Баха: ревут ураганы и ветры, проносится облаком жизнь; народы, опьяненные ликованием, болью, яростью, и над ними — кроткий князь Мира, Христос; города, разбуженные криками ночной стражи, с радостными возгласами устремляются навстречу божественному жениху, чьи шаги сотрясают мир; дивный кладезь мыслей, страстей, музыкальных форм, героической жизни, шекспировских озарений, савонароловских пророчеств, пасторальных, эпических, апокалиптических видений,— и все это заключено в приземистом, скромном тюрингенском органисте, с двойным подбородком, с блестящими глазками под морщинистыми веками и высоко поднятыми бровями... Кристоф так ясно его видел! Вот он — суровый, жизнерадостный, немного смешной, с головой, наполненной аллегориями и символами, готикой и рококо, вспыльчивый, упрямый, безмятежно ясный, страстно любящий жизнь и томящийся по смерти; Кристоф видел его в школе — гениального педанта среди грязных, грубых, нищих, покрытых коростой учеников, с хриплыми голосами, негодяев, с которыми он ругался, иногда даже дрался, как крючник, и однажды был сам избит; видел его в семье, окруженным кучей детей — их было двадцать один человек, из которых тринадцать умерли раньше отца, а один уродился идиотом; остальные, хорошие музыканты, устраивали для него домашние концерты... Болезни, похороны, ядовитые споры, нужда, непризнанный гений, и над всем этим — его музыка, его вера, избавление и свет, прозреваемая, предчувствуемая, желанная, завоеванная радость — бог, дыханье божье, обжигавшее его до костей, поднимавшее дыбом волосы, метавшее громы из его уст... О Сила! Сила! Благословенна гроза Силы!..

Кристоф жадно впивал в себя эту силу. Он чувствовал благотворное действие могучей музыки, льющейся из немецких душ. Часто музыки посредственной, даже грубой — пусть. Важно, что она есть, что она течет полноводной рекой. Во Франции музыку собирают капля по капле, пропустив через пастеровские фильтры в тщательно закупоренные флаконы. И эти потребители тепленькой водицы брезгливо морщатся перед потоками немецкой музыки! Выискивают ошибки немецких гениев!

«Жалкая мелюзга! — думал Кристоф, позабыв о том, что сам недавно был также смешон.— Они, видите ли, находят ошибки у Вагнера и у Бетховена! Им нужны гении, свободные

от всех недостатков!.. Как будто бушующий ураган заботится о том, чтобы не нарушить раз установленного порядка!..»

Он шагал по Парижу, гордый избытком своей силы. Пусть он остался непонятым — тем лучше, тем свободнее он будет. Чтобы создать, как подобает гению, мир, целиком построенный согласно законам его души, нужно всецело погрузиться в этот мир. Художник никогда не бывает слишком одинок. Самое ужасное видеть собственную мысль отраженной в зеркале, которое искажает и умаляет ее. Никогда не следует делиться с другими своими замыслами прежде, чем не осуществишь их,— иначе не хватит мужества дойти до цели, ибо тогда вместо своего собственного замысла будешь вынашивать лишь жалкие, подсказанные со стороны мысли.

Теперь, когда ничто уже не отвлекало Кристофа от его мечтаний, они били фонтаном из всех уголков его души, из-под каждого камня его тяжкого пути. Он пребывал точно в трансе. Все, что он видел и слышал, рождало в нем образы, не похожие на то, что он видел и слышал. Нужно было просто жить — и тогда вокруг тебя оживали твои герои. Их чувства сами просились к нему в душу. Глаза прохожих, случайно донесенная ветром фраза, блик света на зеленой лужайке, щебет птиц в Люксембургском саду, отдаленный звон монастырского колокола, бледное небо, маленький его кусочек, видневшийся из окна комнаты, оттенки звуков и красок — разные в разные часы дня,— все это он видел не своими глазами, а глазами существ, созданных его мечтами. Кристоф был счастлив.

Между тем жить становилось все труднее. Он потерял те немногие уроки музыки, которые были его единственным источником существования. Стоял сентябрь, парижское общество еще не съехалось в столицу, и было нелегко найти новых учеников. У него остался только один — умный и чудаковатый инженер, решивший стать в сорок лет знаменитым скрипачом. Кристоф играл на скрипке посредственно, но все же гораздо лучше своего ученика; в течение некоторого времени он давал ему три урока в неделю, по два франка за час. Но через полтора месяца инженеру надоела скрипка, и он внезапно открыл, что его настоящее призвание — живопись. Когда он поведал об этом открытии Кристофу, тот долго смеялся, но, посмеявшись, подсчитал свои капиталы и обнаружил в кармане ровно двенадцать франков, уплаченных учеником за последние уроки. Это его ничуть не взволновало; он только подумал, что придется, не откладывая, изыскивать другие источники заработка, в частности, снова обойти издательства. Невеселая перспекти-

ва!.. Ну что ж! Не стоит заранее портить себе настроение. Погода была чудесная. И он отправился в Медон.

Он изголодался по ходьбе. Во время ходьбы в нем колосилась нива музыки. Он был полон музыкой, как улей медом, и смеялся, прислушиваясь к золотистому жужжанию пчел. Обыкновенно это была музыка, богатая модуляциями. И ритмы — скачущие, навязчивые, как видения... Извольте-ка находить ритмы, когда вы одеревенели от сидения в комнате! Вы мало-помалу становитесь годны только на то, чтобы склеивать гармонии, хрупкие и застывшие, как эти парижане!

Устав от ходьбы, он прилег отдохнуть. Деревья уже наполовину облетели; небо синело, как барвинок. Кристоф забылся, погрузившись в мечтания, окутанные мягкой дымкой, подобно осенним облакам. Кровь стучала в жилах. Он вслушивался в стремительное течение своих мыслей. Они приливали отовсюду: юные и древние миры шли друг на друга войной, клочья отмерших дум, давние гости, паразиты, поселившиеся в нем, как жители в городе. Вспомнились слова, сказанные когда-то Готфридом на кладбище, где покоился Мельхиор,— в нем были погребены и не давали ему покоя все его неведомые предки. Он слушал голоса этих многообразных жизней, любил органный шум этого векового леса, полного чудовищ, как лес Данте. Теперь он не боялся их, как в пору юности. Ибо теперь у них появился хозяин: его воля. И ему любо было щелкать бичом, чтобы ревом отозвались залегшие звери, любо было удостовериться в богатстве своего зверинца. Он не был одинок. Нет. Ему не грозило одиночество. Он был целой армией, многими поколениями радостных и здоровых Крафтов. Целый народ против враждебного Парижа, против здешнего народа; борьба была равной.

Он переехал из своей скромной комнаты, которая стала ему не по средствам, и поселился в квартале Монруж, сняв мансарду, где отсутствие всех удобств возмещалось обилием воздуха. Здесь вечно был сквозняк. Но Кристоф рад был, что может дышать свободно. Из окна виднелся целый лес парижских труб. Переезд занял не много времени. Кристоф обошелся ручной тележкой, которую катил сам. Из всей его движимости самым драгоценным для него предметом был, наряду со старым чемоданом, слепок маски Бетховена,— такие слепки получили впоследствии широкое распространение. Он упаковал маску так тщательно, словно она — редчайшее произведение искусства. С ней он не разлучался. Она была его единственным прибежищем в Париже. И была также его нравственным

барометром. Маска отмечала яснее, чем даже он сам, температуру его души, наиболее сокровенные его мысли: то обложенное тучами небо, то вихрь страстей, то тихую безоблачную погоду.

Пришлось сильно урезать питание. Кристоф ел только раз в сутки, в час дня. Он купил толстую колбасу и повесил ее за окном,— основательный кусок колбасы с краюхой хлеба и чашка кофе собственного приготовления составляли для него роскошный обед. Но он с удовольствием съел бы два таких обеда. Он сетовал на свой превосходный аппетит. Корил себя, обзывал обжорой, который только и думает, что о своем брюхе. А брюха у него почти не оставалось: он стал поджарым, как отощавший пес. Но сколочен он был крепко, обладал железным здоровьем и ясной головой.

Он редко тревожился о завтрашнем дне. Хватало денег прожить до вечера, и то хорошо. И только когда не осталось ни гроша, он решил обойти издателей. Работы не нашлось нигде. Он уже возвращался домой с пустыми руками, но, проходя мимо музыкального магазина, где Сильвен Кон когда-то познакомил его с Даниэлем Гехтом, вдруг решил войти туда, совсем позабыв, что уже бывал здесь и что результат посещения получился не слишком приятный. Первый, кого он увидел, был сам Гехт. Кристоф хотел тотчас же повернуть обратно, но поздно: Гехт его уже заметил. Дабы Гехт не подумал, что он обратился в бегство, Кристоф смело шагнул вперед, не зная еще, что скажет издателю, и готовый на любую дерзость, ибо был убежден, что Гехт не постесняется его оскорбить. Но опасения его оказались напрасными. Гехт холодно протянул Кристофу руку, явно для вежливости осведомился о его здоровье и, не дожидаясь просьбы Кристофа, пригласил его жестом в кабинет и даже посторонился, чтобы дать ему дорогу. Втайне он очень обрадовался этому посещению, которое предвидел в своей гордыне, но уже давно перестал ждать. Не подавая виду, он все эти месяцы внимательно следил за Кристофом; не пропускал ни одного случая познакомиться с его музыкой; был на злосчастном концертном исполнении «Давида», почувствовал всю красоту этого произведения и в своем презрении к публике ничуть не удивился, что оно было встречено в штыки. Вряд ли в Париже нашелся бы другой человек, способный лучше его оценить самобытность Кристофа как художника. Но он ни за что бы не сказал ему об этом, и не только потому, что был задет отношением Кристофа к себе, но и потому, что любезные фразы не шли ему на язык: таково уж было несчаст-

ное свойство его характера. Гехт, искренне расположенный помочь Кристофу, сам не сделал бы и шага для этого: он ждал, чтобы Кристоф пришел к нему первый и попросил. И теперь, когда Кристоф действительно пришел, Гехт не только не воспользовался великодушно случаем, дабы загладить воспоминание о происшедшем между ними недоразумении и тем избавить своего посетителя от унизительных разговоров, но, напротив, потешил свое самолюбие, предоставив Кристофу подробно изложить свою просьбу, и постарался навязать ему, по крайней мере на первый раз, работу, которую Кристоф в прежнее свое посещение с негодованием отверг. Он поручил ему к завтрашнему дню переложить для гитары и мандолины пятьдесят страниц нот. После этого случая, довольный, что заставил Кристофа смириться, он стал находить менее неприятные для него занятия, но делал это с таким отсутствием душевной теплоты, что невозможно было чувствовать к нему признательность; только крайняя нужда заставляла Кристофа обращаться к нему с новыми просьбами. Во всяком случае, при всем своем отвращении к таким работам Кристоф предпочитал добывать свой кусок хлеба так, чем получать подачки Гехта, как тот однажды предложил. И хотя предложил он тогда от чистого сердца, Кристоф понял, что Гехту хочется сначала его унизить. Нужда заставляла Кристофа соглашаться на любые условия, но он решительно отказывался принимать благодеяния; он покорялся необходимости работать для Гехта: отдавая за деньги свою работу, он квитался с ним, но не желал обязываться ему. Кристоф не был Вагнером, бесстыдно попрошайничавшим ради своего искусства; для Кристофа искусство не было важнее его души, и он подавился бы куском хлеба, не заработанным собственным трудом. Однажды, принеся заказ, над которым он просидел целую ночь, он застал Гехта за столом. Заметив бледность Кристофа и невольно брошенный им взгляд на еду, Гехт догадался, что он ничего не ел, и предложил ему позавтракать. Намерение у Гехта было доброе, но он слишком явно дал почувствовать, что угадал нужду Кристофа, так что его гостеприимство похоже было на милостыню: Кристоф скорее умер бы от голода, чем принял ее. Он не мог отказаться от приглашения сесть за стол (ему требовалось переговорить с Гехтом), но не прикоснулся к еде, сославшись на то, что только что позавтракал. Желудок его сводило от голода.

Кристоф охотно расстался бы с Гехтом, но другие издатели были еще хуже. Имелись, конечно, богатые дилетанты, ко-

торые разрешались подчас обрывками музыкальных фраз, но не могли даже записать их. Они приглашали Кристофа и напевали ему что-то невразумительное.

— Ну как? Разве не прекрасно?

Они предлагали ему «развить их тему» (то есть написать целиком),— и произведение выходило под их именем в каком-нибудь крупном издательстве, после чего они начинали верить, что сами сочинили все это. Кристофа познакомили с одним таким любителем, дворянином довольно старинного рода, долговязым суетливым субъектом, который то и дело называл его «дорогим другом», брал под руку, щедро изливал на его голову неумеренные восторги, хихикал ему прямо в ухо, сыпал нелепости и непристойности вперемежку с патетическими возгласами: «Бетховен! Верлен! Оффенбах! Иветта Гильбер!..» Он заваливал Кристофа работой, но забывал платить. Рассчитывался он приглашениями к завтраку и рукопожатиями. В конце концов он прислал Кристофу двадцать франков, и Кристоф позволил себе роскошь и глупость отослать их обратно. В тот день у него не было в кармане и двадцати су, а предстояло истратить двадцать пять сантимов на письмо матери. Был день рождения Луизы, и Кристоф во что бы то ни стало решил хоть как-то отметить этот день: мог ли он лишить ее удовольствия, которого она так ждала от своего мальчика. В последнее время она стала писать ему чаще, несмотря на то, что писание стоило ей больших усилий. Она томилась одиночеством. Но она не могла и подумать о поездке в Париж: слишком она была робка, слишком привязана к своему городу, к своей церкви, к своему дому и боялась путешествий. Если бы она и захотела приехать, у Кристофа не хватило бы денег на двоих: не каждый день у него хватало даже на собственное пропитание.

Как он обрадовался посылке от Лорхен, молоденькой крестьянки, из-за которой у него произошла стычка с прусскими солдатами! Лорхен писала, что выходит замуж, сообщала, как поживает его мать, и посылала корзину яблок и лепешку, пусть съест за ее здоровье. Подарок пришелся весьма кстати. В тот вечер у Кристофа наступил великий пост: от подвешенной за окном колбасы осталась только бечевка. Кристоф сравнивал себя со святыми отшельниками, которым ворон приносил пищу на их скалу. Но у ворона, видно, был не один отшельник на иждивении, ибо больше он не прилетал.

Несмотря на все эти неудачи, Кристоф не терял бодрости. Он сам стирал белье в умывальной чашке и чистил башмаки,

насвистывая, как дрозд. Он утешался словами Берлиоза: «Будем выше житейских невзгод и радостно затянем всем знакомый веселый припев: «Dies irae...» [1] И он напевал его иногда, прерывая пение, к великому негодованию соседей, громкими раскатами смеха.

Он жил строгой, целомудренной жизнью. Недаром кто-то сказал: «Любовные похождения — занятие праздных и богатых людей». Нужда, вечная погоня за куском хлеба, более чем скромные потребности и лихорадка творчества завладели Кристофом, у него теперь не было ни времени, ни желания думать о наслаждениях. Это было больше чем простое равнодушие; из протеста против Парижа он ударился в своего рода аскетизм. Он ощущал страстную потребность в чистоте, отвращение ко всякой грязи. Это не значило, что он был защищен раз навсегда от страстей. В иные минуты он поддавался им. Но его страсть оставалась целомудренной, даже когда он уступал ей, ибо он искал не наслаждения, а полноты бытия, и дарил себя целиком. И когда замечал, что обманулся в своих ожиданиях, с яростью отворачивался. Похоть Кристоф выделял из всех прочих грехов, как грех поистине смертный, ибо он грязнил самые истоки жизни. Это легко поймут все, в ком древняя христианская основа не окончательно еще погребена под чужеродными наносами, все, кто чувствует себя и поныне сынами могучих племен, ценой героической дисциплины воздвигших западную цивилизацию. Кристоф презирал космополитическое общество, для которого наслаждение было единственной целью, единственным credo. Конечно, благо тем, кто ищет счастья, желает видеть людей счастливыми, борется с принижающими человека пессимистическими верованиями, скопившимися за двадцать веков существования варварского христианства. Но лишь при одном условии — пусть это будет великодушная вера, желающая добра другим. А вместо этого что мы видим? Самый жалкий эгоизм. Горсточка прожигателей жизни старается «извлечь» для своих чувств максимум наслаждений с минимумом риска, вполне мирясь с тем, что все прочие от этого страдают. Знаем мы их салонный социализм!.. Но ведь им-то известно лучше всего, что их учение о наслаждении устраивает лишь жирных «избранных», находящихся на откорме, для бедных же оно — отрава...

«Наслаждения — занятие богачей».

---

[1] «День гнева...» *(лат.)* — слова из реквиема.

Кристоф не был богачом и не имел к тому ни малейших задатков. Когда ему случалось заработать немного денег, он торопился сейчас же истратить их на наслаждение музыкой, отказывал себе в еде и шел на концерт. Он брал самые дешевые места, на райке театра «Шатле», и насыщался музыкой: она заменяла ему и ужин и любовницу. Он так давно был лишен счастья, так изголодался по нему, так умел наслаждаться им, что даже посредственная игра оркестра не могла его смутить: на два-три часа он погружался в блаженство; даже безвкусица исполнения и фальшивые ноты вызывали у него лишь снисходительную улыбку: он оставлял свою критику за дверью, он приходил сюда любить, а не судить. Вокруг него были люди, которые так же, как и он, не шевелясь, с полузакрытыми глазами, отдавались потокам грез. И чудилось Кристофу — вся эта толпа, забившаяся во мрак, сжавшаяся в комок, похожа на огромного кота, упивающегося сладострастными и кровавыми видениями. В густой золотистой полутьме причудливо вырисовывались чьи-то лица,— загадочная прелесть и безмолвный восторг их привлекали взоры и сердце Кристофа; он тянулся к ним, слушал их ушами и минутами сливался с ними душой и телом. Случалось, что кто-нибудь из сидящих рядом замечал взгляд Кристофа, и тогда завязывалась на короткие часы концерта та смутная близость, что проникает до самых глубин нашего существа, но исчезает бесследно, как только перестает звучать музыка, как только обрывается ток, соединявший души. Состояние это хорошо известно всем, кто любит музыку, особенно когда ты молод и отдаешься своим ощущениям непосредственно: музыка по своей сути до такой степени родственна любви, что насладиться ею сполна можно лишь с другом; и в концерте невольно блуждаешь глазами по рядам кресел в поисках друга, с которым можно было бы разделить слишком огромную для тебя одного радость.

Среди таких друзей на час, которых Кристоф выбирал, чтобы полнее упиться сладостью музыки, его привлекала одна фигура, попадавшаяся ему на глаза на каждом концерте. Это была молоденькая девица, которая, должно быть, обожала музыку, ничего в ней не понимая. У нее был профиль зверька, прямой коротенький носик, еле выдававшийся над линией пухлых губ и нежного подбородка, тонкие приподнятые брови и светлые глаза,— беззаботная мордочка, светящаяся радостью, смехом, невозмутимым спокойствием. Эти испорченные девушки, эти молоденькие парижские работницы лучше всего, быть может, отражают ныне исчезнувшую душевную ясность, ясность аттичных

статуй и мадонн Рафаэля. То лишь краткий миг в их жизни, первое пробуждение страсти, увядание уже близко. Но они изведали, по крайней мере, пусть один, но прекрасный час.

Кристоф с удовольствием смотрел на девушку: хорошенькие лица всегда благотворно действовали на него; он умел любоваться ими без вожделения; черпал в них радость, силу, покой и даже добродетель. Она, само собой разумеется, быстро заметила обращенные на нее взгляды, и между ними, без всякого умысла, возник магнетический ток. А так как они встречались приблизительно на тех же концертах и тех же местах, то скоро узнали вкусы друг друга. При некоторых музыкальных фразах они обменивались понимающими взглядами; если ей особенно нравилось какое-нибудь место, она слегка высовывала кончик языка, точно облизывалась; а желая показать неодобрение, презрительно вскидывала кверху свою хорошенькую мордочку. К этим гримаскам примешивалась небольшая доля невинного актерства, без которого почти не обходятся, когда чувствуют на себе чужие взгляды. При исполнении серьезных пьес девушка любила придать своему лицу сосредоточенное выражение, повернувшись в профиль, вся как бы поглощенная музыкой, но со смеющимися ямочками на щеках, а сама уголком глаза наблюдала, смотрит ли на нее Кристоф. Они очень подружились, хотя не обменялись еще ни одним словом и даже не сделали попытки (Кристоф — по крайней мере) встретиться при выходе.

Наконец случай свел их: на одном вечернем концерте их места оказались рядом. После минутного замешательства они с улыбкой переглянулись, и завязался дружеский разговор. У нее был прелестный голосок, и она наговорила много глупостей о музыке, потому что ничего в ней не понимала, а хотела притвориться понимающей; но зато страстно ее любила. Любила и дрянную и хорошую, и Массне и Вагнера; только посредственная музыка наводила на нее скуку. Музыка была для нее негой; она впивала ее всеми порами своего тела, как Даная золотой дождь. У нее замирало сердце, когда исполняли увертюру к «Тристану», а во время «Героической симфонии» она чувствовала себя добычей, уносимой с поля битвы. Она сообщила Кристофу, что Бетховен был глухой, но что, если бы она знала его, она все равно очень бы его полюбила, несмотря на его ужасное безобразие. Кристоф возразил, что Бетховен вовсе не был так безобразен; тогда они заспорили о красоте и о безобразии, и она согласилась, что все зависит от вкуса: что красиво для одного, может показаться некрасивым другому — «мы не луидо-

ры, чтобы нравиться всем». Кристоф предпочел бы, чтобы она молчала,— так он понимал ее гораздо лучше. Во время исполнения «Смерти Изольды» она протянула ему руку; рука была вся влажная; он держал ее в своей руке до самого конца пьесы: они чувствовали, как текут по их сплетенным пальцам волны симфонии.

Они вышли вместе; было около полуночи. За разговорами они не заметили, как добрались до Латинского квартала; она взяла его под руку, и он проводил ее до дому; но у дверей, в ту самую минуту, когда она собиралась объяснить ему дорогу, он покинул ее, не обратив внимания на зовущий взгляд. В первую минуту она оторопела, потом рассердилась; потом расхохоталась над его глупостью; потом, вернувшись в свою комнату и раздеваясь, опять разозлилась и под конец тихонько расплакалась. Увидя его снова в концерте, она решила быть с ним резкой и равнодушной, на правах обиженной. Но он был так детски прост, что она не выдержала роли. Они снова принялись болтать, однако на сей раз она была сдержаннее. А он, хотя и говорил сердечным тоном, но очень учтиво и все о серьезных, прекрасных вещах — о музыке, которую они слушали, о том, что значит для него музыка. Она следила внимательно за его мыслью и старалась думать так же, как он. Смысл его слов часто ускользал от нее, но она все же им верила. Она чувствовала к Кристофу уважение и благодарность, хотя не очень это показывала. По молчаливому уговору они говорили только на концертах. Однажды он встретил ее в компании студентов. Они церемонно раскланялись. Никому она не рассказала о новом знакомстве. В глубине ее души был теперь маленький священный заповедник, нечто прекрасное, чистое, умиротворяющее.

Так Кристоф одним своим присутствием, одним фактом своего существования стал для нее источником душевного спокойствия. Повсюду, где он проходил, он оставлял след присущего ему света. Сам он даже не подозревал об этом. Рядом с ним, в одном с ним доме жили люди, которых он никогда не видал и которые, сами того не ведая, попадали в сферу его благодетельного излучения.

Уже несколько недель Кристоф, хотя пост его стал более строгим, не мог скопить денег на концерты; наступала зима, и он коченел в своей комнате под самой крышей; невозможно было усидеть за столом. Чтобы согреться, он спускался на ули-

цу и бродил по Парижу. Он обладал счастливой способностью забывать на время кишевший вокруг город и уноситься в необозримую даль времен. В такие минуты ему достаточно было увидеть над шумной улицей мертвую и холодную луну, повисшую в небесной пучине, или катившийся в белом тумане солнечный диск, и тут же уличный шум смолкал для него, Париж погружался в безбрежную пустоту, и вся окружающая жизнь представлялась лишь призраком былой жизни, кипевшей давно-давно... много веков тому назад... Малейший, неуловимый для обычного глаза знак могучей и дикой жизни природы, лишь прикрытой ливреей цивилизации, воскрешал перед ним все многообразие естественной жизни. Травка, пробивавшаяся между камнями мостовой, молодые побеги стянутого чугунным ошейником дерева, томившегося без зелени и без воздуха на мертвенном песке бульвара; пробежавшая собака, пролетевшая птица — последние остатки фауны, заселявшей первобытную землю и уничтоженной человеком; рой мошек; невидимое поветрие, бич целого квартала,— этого было довольно, чтобы в спертом воздухе парижской человеческой теплицы веяние Духа Земли освежило ему лицо и подстегнуло его энергию.

По нескольку дней он не обменивался ни с кем ни словом; голодный, он часами бродил по улицам и часами неустанно мечтал. Лишения и молчание обостряли в нем эту болезненную наклонность. Его посещали тяжелые кошмары, мучительные сны: ночь за ночью ему снился старый дом, комната, где он жил ребенком; его преследовала музыка. Днем же он разговаривал с обитавшими в нем существами и с теми, кого он любил,— далекими и умершими.

Однажды к концу сырого декабрьского дня, когда иней покрывал застывшие лужайки, серые крыши домов, и купола расплывались в дымке, и омываемые густым туманом деревья, с голыми, тоненькими, мечущимися на ветру ветками, казались водяными растениями на дне океана,— Кристоф, уже второй день чувствовавший озноб, забрел, желая согреться, в Лувр, едва ли не в первый раз.

До сих пор живопись не особенно трогала его. Он был слишком поглощен своим внутренним миром, чтобы отчетливо воспринимать мир красок и форм. Они действовали на него лишь в своих музыкальных отражениях, доходили до его сознания лишь искаженным эхом. Конечно, чутьем он смутно угадывал тождество законов, управляющих гармонией как зрительных, так и звуковых форм, чувствовал общность глубоких истоков души, откуда берут начало и река красок, и река звуков, омы-

вающие два противоположных берега жизни. Но он знал лишь один из этих берегов и терялся в царстве зримого. Поэтому от него ускользала тайна наиболее изысканной и, пожалуй, наиболее естественной прелести ясноокой Франции, царицы в мире света.

Даже если бы Кристофа очень интересовала живопись, он все же оставался слишком немцем, чтобы легко приспособиться к столь чуждому восприятию вещей. Он не принадлежал к тем немцам новейшего толка, которые отрекаются от германского мирочувствования и убеждают себя, будто они без ума от импрессионизма или французского искусства XVIII века, а нередко даже проникаются твердой уверенностью, что понимают все это лучше самих французов. Если Кристоф и был варваром, то без всякой позы. Розовые зады на картинах Буше, жирные подбородки Ватто, скучающие пастухи и пухленькие, затянутые в корсет пастушки, слащавые — точно взбитые сливки — чувства, стреляющие глазками скромницы Грёза, подобранные подолы сорочек Фрагонара — вся эта лирика раздевания вызывала в нем не больше интереса, чем какой-нибудь изящный фривольный журнальчик. Он не воспринимал богатой и блестящей гармонии этих картин; сладострастные, подчас меланхоличные грезы старой цивилизации, самой утонченной в Европе, были ему чужды. Не ценил он также и XVII века с его помпезным благочестием и парадными портретами: холодная сдержанность самых серьезных мастеров этой эпохи, какая-то душевная бесцветность, разлитая в высокомерных произведениях Никола Пуссена и на бледных лицах Филиппа де Шампэнь, отталкивали Кристофа от старого французского искусства. Из новых он не знал никого. А если бы и знал, то не оценил бы. Единственный современный художник, обаянию которого он поддался в Германии, базелец Беклин, не мог подготовить его к восприятию латинского искусства. Кристоф до сих пор помнил ощущение удара, полученное от полотен этого грубого таланта, пропахшего землей и хищными ароматами сказочно-звериного мира, которым художник населил эту землю. Глаз его, обожженный этим резким светом, привыкший к необузданной пестроте этого пьяного дикаря, с трудом привыкал к полутонам, к разорванным и мягким гармониям французского искусства.

Но нельзя жить безнаказанно в чужом мире. Он неизбежно накладывает на тебя свою печать. Как ни отгораживайся от него, все же рано или поздно вдруг почувствуешь происшедшую в тебе перемену.

Что-то изменилось и в Кристофе в тот вечер, когда он бродил по залам Лувра. Он устал, замерз, он был голоден, он был одинок. Вокруг него в пустынной галерее сгущались сумерки, и уснувшие формы оживали. Молчаливо и безучастно двигался Кристоф между египетскими сфинксами, ассирийскими чудовищами, персеполисскими быками, скользкими змеями Палисси. Он чувствовал себя в атмосфере волшебных сказок, и сердце его наполнялось каким-то таинственным волнением. Грезы человечества, странные цветы души оплетали его со всех сторон.

Здесь в золотисто-пыльном воздухе картинной галереи, в этом саду ярких и сочных красок, на этих лугах киновари и лазури, где спирает дыхание, Кристоф, уже во власти лихорадки, уже на пороге болезни, был сражен как ударом грома. Он шел, почти ничего не видя, одуревший от голода, расслабляющей жары и этой оргии образов; голова у него кружилась. Дойдя до конца галереи, выходящей на Сену, он остановился перед «Милосердым самаритянином» Рембрандта, ухватился обеими руками, чтобы не упасть, за ограждающую картины железную решетку и на минуту прикрыл глаза. А когда открыл их и увидел прямо перед собой Рембрандтово полотно, застыл в очаровании.

День угасал. Свет был уже далеким, уже мертвым. Невидимое солнце поглощал мрак. Был тот волшебный час, когда истомленную дневными трудами, сонную, окоченевшую душу посещают видения. Все молчит, слышно лишь биение крови в жилах. Нет сил пошевелиться, трудно дышать, и такая печаль и беззащитность... Если бы упасть в объятия друга... Молишь о чуде, чувствуешь, что оно совершится... Оно совершается! В сумерках пылает золотой поток, брызжет на стену, на плечо человека, который несет умирающего, омывает эти будничные предметы и этих обыкновенных людей, и все приобретает восхитительную мягкость, окружается божественным ореолом. Это сам бог заключил в свои страшные и нежные объятия этих обездоленных, слабых, уродливых, нищих, грязных людей, этого завшивевшего слугу в сползших чулках, эти уродливые головы, неуклюже теснящиеся в окне, эти апатичные существа, которые пугливо молчат,— все это жалкое человечество Рембрандта, это стадо темных, скованных душ, которые ничего не знают и ничего не могут, как только ждать, трепетать, плакать, молиться. Но учитель здесь. Его самого не видно,— виден лишь его ореол и его лучезарная тень, падающая на людей...

Кристоф нетвердыми шагами вышел из Лувра. Голова у него болела. Он ничего не видел перед собой. На улице накрапывал дождь, но Кристоф не замечал ни луж на мостовых, ни хлюпавшей в башмаках воды. В этот предвечерний час желтоватое небо над Сеной освещалось каким-то внутренним пламенем — точно светом лампы. Кристоф уносил с собой чей-то завораживающий взгляд. Ему казалось, что окружающего не существует: экипажи не сотрясают с безжалостным грохотом мостовую; прохожие не задевают его мокрыми зонтиками; он не идет по улице, а, может быть, сидит у себя дома и мечтает, может быть, даже вовсе не существует... И вдруг (он так ослабел!) у него зарябило в глазах, он почувствовал, что падает, как сноп... Но это длилось лишь мгновение: он сжал кулаки, выпрямился и овладел собой.

В этот самый момент, в ту самую секунду, когда сознание вновь выплыло из бездны, взгляд его встретил на противоположной стороне улицы чей-то хорошо знакомый взгляд, который как будто призывал его. Кристоф в изумлении остановился, припоминая, где он уже видел эти глаза. Только через несколько секунд он узнал этот нежный и печальный взор: то была учительница-француженка, по его вине потерявшая место в Германии,— девушка, которую он потом так долго искал, чтобы попросить прощения. Она тоже остановилась и, не замечая толкотни, смотрела на Кристофа. Вдруг он увидел, что она пытается выбраться из потока прохожих, хочет перейти улицу, чтобы добраться до него. Он бросился ей навстречу, но плотная цепь экипажей разделила их; еще несколько мгновений он видел, как она металась по другую сторону этой движущейся стены; он решил во что бы то ни стало перейти улицу, чуть не попал под лошадь, поскользнулся, упал на липкий асфальт и едва не погиб под копытами. Когда он поднялся, весь покрытый грязью, и перешел на другую сторону, она уже исчезла.

Он хотел пуститься вдогонку за ней. Но голова закружилась еще больше, и ему пришлось отказаться от этой попытки. Начиналась болезнь, он чувствовал это, хотя и не хотел признаваться. Он решил вернуться домой как можно позже и выбрал самый длинный путь. Напрасная пытка: пришлось сдаться; ноги у него подкашивались, он еле двигался и с трудом дотащился до дому. На лестнице он совсем задохнулся и вынужден был присесть на ступеньках. Вернувшись в свою нетопленную комнату, он решил пересилить болезнь и не ложиться; он сидел на стуле, весь взмокший, с тяжелой головой, с трудом переводя дыхание, в его измученной лихорадкою голове гулко отдавались

лихорадочные ритмы музыки. В мозгу проносились фразы из «Неоконченной симфонии» Шуберта. Бедный милый Шуберт! Когда он писал эту симфонию, он тоже был одинок, тоже в лихорадке и полусне, в том состоянии оцепенения, которое предвещает великий сон; он грезил у камелька; дремотная музыка колыхалась вокруг него, подобно стоячим водам; он вслушивался в нее, как засыпающий ребенок, который по двадцать раз повторяет фразу из сочиненной им самим, полюбившейся ему сказки; приходит сон, приходит смерть... До Кристофа донеслась и другая музыка,— горячие руки, закрытые глаза, усталая улыбка, музыка, полная вздохов сердца, мечтающая о смерти-избавительнице — первый хор из кантаты Иоганна Себастьяна Баха: «Милосердный боже, когда же ты ниспошлешь мне смерть?..» Отрадно было отдаваться ласковым звукам, набегающим медленными волнами, гулу далеких и приглушенных колоколов... Умереть, раствориться в покое земли!.. «Und dann selber Erde werden» («После самому стать прахом»).

Кристоф стряхнул с себя этот болезненный бред, эту смертоносную улыбку сирены, которая подстерегает ослабевшие души. Он встал и попробовал пройтись по комнате, но не мог держаться на ногах. У него зуб на зуб не попадал от озноба. Пришлось лечь. Он чувствовал, что на сей раз заболел серьезно, но не сдавался: он был не из тех, что, заболев, поддаются своему недугу; он боролся, не хотел быть больным, а главное — твердо решил ни за что не умирать. Ведь у него была мать, которая ждала его. Ему надо было столько сделать, он не даст убить себя. Он стискивал зубы, выбивавшие дробь, напрягал уже непослушную волю,— так хороший пловец продолжает бороться с захлестывающими его волнами. Каждое мгновение он погружался в пучину; то были бредовые мысли, бессвязные образы, воспоминания о родине или о парижских гостиных; как наваждение звучали ритмы и фразы, кружившиеся, кружившиеся, точно лошади в цирке; вдруг в глаза ударял золотой свет из «Милосердного самаритянина»; страшные фигуры во мраке; потом пропасть, тьма. Затем он всплывал вновь, прорывался сквозь туманности, которые то кривлялись уродливыми масками, то отступали, и стискивал кулаки и челюсти. Старался воскресить в памяти всех, кого любил в настоящем и в прошлом, милое лицо, промелькнувшее на улице, образ дорогой матери; но самой несокрушимой скалой было его внутреннее «я», не поддававшееся распаду,— я, «коему и смерть не в смерть»... Скалу снова покрывало море; прибоем уносило душу, волны отбрасывали ее прочь. И Кристоф метался в бреду, выкрикивая бессмысленные слова,

дирижируя воображаемым оркестром, подражая звуку различных инструментов: тромбонам, трубам, цимбалам, литаврам, фаготам, контрабасам... фыркал, пыхтел, яростно колотил кулаками. В несчастном его мозгу клокотала загнанная внутрь музыка. Уже несколько недель он не слышал музыки, не играл сам — он был как котел, готовый взорваться под напором пара. Некоторые фразы точно буравом сверлили ему мозг, пробивали барабанную перепонку, и он выл от боли. А когда кончались приступы, он падал на подушку, изнемогший, весь в поту, обессиленный, задыхающийся. Он поставил у кровати графин с водой и все время жадно пил. От каждого шума в соседней комнате, от хлопанья двери он вскрикивал. Он с болезненным отвращением чувствовал кишение человеческих существ вокруг. Но воля его все еще боролась, воинственными фанфарами вызывала на бой демонов...

Und wenn die Welt voll Teufel wär,
und wollten uns verschlingen,
so fürchten wir uns nicht so sehr...

(И если б мир был полон демонов и они разверзли бы пасть, чтобы поглотить нас, мы не слишком испугались бы...)

И над океаном раскаленного мрака, где носился его дух, внезапно воцарялось затишье, пробивался свет, слышалось умиротворяющее рокотанье скрипок и виол, праздничные звуки труб и рожков,— из больной души стеной вставала несокрушимая песнь, как хорал Баха.

Когда он метался в горячке, борясь с призраками и с мучительным удушьем, ему вдруг почудилось, будто дверь открылась и в комнату вошла женщина со свечой в руке. Он подумал, что бредит. Попытался было заговорить. Но не смог и бессильно повалился на подушку. Время от времени, когда волна просветления выносила его из глубин на поверхность, он чувствовал, что кто-то поправляет ему подушку, укрыл ноги одеялом, приложил к спине что-то горячее, а в ногах кровати видел входившую раньше женщину и смутно узнавал ее черты. Потом появилось другое лицо — доктор, который осматривал его. Кристоф не слышал, что говорил доктор, но догадался, что его хотят отправить в больницу. Он попробовал возражать, крикнуть, что не надо, что он хочет умереть здесь один, но из горла его вырвались только нечленораздельные звуки. Женщина поняла, она вступилась за больного и успокоила его. Кристоф никак не мог припомнить,

где он видел ее раньше. Как только ему удалось, ценой невероятных усилий, составить связную фразу, он спросил ее, кто она такая. Она ответила, что она его соседка по мансарде, что она услышала через стену его стоны и, решив, что он нуждается в помощи, позволила себе войти. Она почтительно попросила его не утомлять себя. Он повиновался. К тому же этот недолгий разговор лишил его последних сил,— он замер в неподвижности и замолчал, но мозг его продолжал работать, мучительно собирая разрозненные воспоминания. Где он ее видел?.. Наконец вспомнил: да, он встречал ее в коридоре мансарды; она была служанка, и звали ее Сидония.

Полузакрыв глаза, он незаметно разглядывал ее. Это была низенькая женщина, с серьезным бледным лицом, выпуклым лбом, зачесанными наверх и обнажавшими виски волосами, ширококостная, курносая, с ласковым и пристальным взглядом голубых глаз, толстыми, плотно сжатыми губами; степенная, скромная, она не могла преодолеть некоторой скованности движений. Самоотверженно и деятельно, без лишних слов ухаживая за Кристофом, она строго соблюдала расстояние между ними, как бы подчеркивая, что она только служанка и не забывает о границах между классами.

Но все же, когда Кристофу стало лучше и он уже мог разговаривать, Сидония, ободренная его простотой и сердечностью, мало-помалу стала вести себя более непринужденно, хотя и сейчас постоянно была начеку; чувствовалось, что она чего-то не договаривает. В ней уживались смирение и гордость. Из ее рассказов Кристоф узнал, что она бретонка. На родине у нее остался отец, о котором она, впрочем, говорила неохотно, но Кристоф сам без труда догадался, что отец этот вечно пьянствовал, вел разгульный образ жизни и сваливал всю работу на дочь; она не сопротивлялась из гордости и аккуратно отсылала ему часть заработка, отлично понимая, куда пойдут деньги. У нее была еще младшая сестра, которая готовилась к экзамену на учительницу и которой Сидония очень гордилась. В сущности, только благодаря ей сестра и могла учиться. Сидония трудилась упорно, как вол.

Хорошо ли ей живется у хозяев? — спросил как-то Кристоф. Да, но она хочет бросить это место. Почему? Разве она недовольна своими хозяевами? О нет. Хозяева очень добры к ней. Так, может быть, она мало зарабатывает? Нет, достаточно...

Он не мог понять, в чем тут дело, старался понять, старался вызвать ее на откровенный разговор. Но она рассказала толь-

ко о своей однообразной жизни и о том, как трудно заработать кусок хлеба, но не жаловалась: работа не пугала ее, она была для нее потребностью, почти что удовольствием. Сидония ничего не сказала ему о том, что больше всего тяготило ее,— о скуке. Он сам об этом догадывался. Мало-помалу он научился читать в ее душе, руководясь подлинной симпатией, которая обостряла присущее ему чутье, так же как обостряла его болезнь и воспоминание о такой же трудной, полной тяжелых испытаний жизни, которая выпала на долю его любимой матери. Он представлял себе совершенно ясно, как будто речь шла о нем самом,— это тусклое, нездоровое, противоестественное существование, обычное существование, на которое буржуазное общество обрекает прислугу; не злобой, а равнодушием хозяев объяснялось то, что иногда по нескольку дней она не слышала от них ни слова, кроме приказаний. Долгие, бесконечные часы в душной кухне, окошко которой, до половины закрытое ящиком для хранения провизии, выходило на грязную, когда-то белую стену. Ее радости — небрежно брошенная похвала за вкусный соус, за хорошо зажаренную телятину. Жизнь в четырех стенах, без воздуха, без будущего, без единого проблеска желания и надежды, без всяких интересов. Хуже всего ей приходилось, когда хозяева уезжали в деревню. Из экономии они ее не брали с собой, платили полагающееся ей месячное жалованье, но не давали денег на поездку к родным,— если хочет ехать — пусть едет на собственный счет. Она и не хотела и не могла поехать — так и оставалась одна в пустой квартире. Она не чувствовала никакого желания выходить и даже не разговаривала с другими служанками, которых отчасти презирала за грубость и испорченность. Не искала никаких развлечений, была серьезная, бережливая и боялась дурных знакомств. Все время она сидела на кухне или в своей конурке, откуда из-за труб едва можно было разглядеть верхушку дерева в больничном саду. Она ничего не читала, пробовала было работать, тупела, скучала, плакала от скуки. Она обладала редкостной способностью плакать, плакать без конца: слезы были ее отрадой... Но когда ей становилось уж совсем скучно, она не могла даже плакать, а вся точно замирала, не чувствовала биения собственного сердца. Потом делала над собой усилие или жизнь сама незаметно возвращалась к ней. Тогда она начинала думать о сестре, прислушивалась к игравшей вдалеке шарманке, часами о чем-то мечтала, не спеша высчитывала, сколько ей понадобится дней, чтобы кончить работу или скопить ту или иную сумму, сбивалась со счета, начинала считать снова, засыпала. Дни проходили...

Эти приступы подавленности чередовались со вспышками детской и задорной веселости. Она подтрунивала над другими и над собой. Она понимала, что́ за люди ее хозяева, и верно судила о них, умела рассказать о том, как они с жиру бесятся, о барыниных истериках и хандре, о так называемых занятиях так называемого «избранного общества», о том, как хозяева вдруг ахали и охали по поводу какой-нибудь картины, музыкальной пьесы, книжки стихов. Обладая несколько грубоватым здравым смыслом, одинаково далеким и от искушенности парижской прислуги, и от беспросветной глупости провинциальных слуг, восхищающихся только тем, чего они сами не понимают, Сидония относилась с почтительным презрением к бренчанию на рояле, к болтовне, ко всем прочим совершенно ненужным и вдобавок крайне скучным развлечениям, занимающим так много места в фальшивом существовании праздных умов. И невольно сравнивала про себя подлинную жизнь, стоившую ей такой борьбы, с выдуманными радостями и горестями этой роскошной жизни, в которой все кажется порождением скуки. Впрочем, она не возмущалась. Так уж водится, так полагается. Она со всеми мирилась — и со злыми людьми и с глупыми. Говорила:

— Всяк по-своему нужен.

Кристоф ошибался, когда думал, что она находит утешение в религии; однажды Сидония, заведя речь о богачах и счастливцах, сказала:

— В конце концов все уравняются.

— Когда же? — спросил он.— После социальной революции?

— Революции! О, до тех пор много воды утечет! Я в эти глупости не верю. Всегда одно и то же будет.

— Так когда же все уравняются?

— Ну, понятно, после смерти! Прах — он и есть прах.

Его очень удивил этот спокойный материализм. Он не решился спросить: «Но если нет ничего, кроме этой жизни, разве не ужасно такое существование, как ваше, в то время как другие живут счастливо?»

Словно угадав его мысль, она продолжала покорным и вялым тоном, но не без иронии:

— Каждый себе придумывает что-нибудь в утешение. Не может каждый вытащить счастливый номер. Не повезло,— значит, ничего не поделаешь!

Она даже не помышляла подыскать себе место за пределами Франции (ее приглашали, например, в Америку), где могла

бы иметь лучший заработок. Мысль покинуть страну не умещалась в ее голове. Она говорила:

— Камень — везде камень, а не подушка.

В ней гнездился какой-то скептический и насмешливый фатализм. Она принадлежала к той породе неверующих или не очень крепких в своей вере людей, жизнь которых не оправдана и разумом, но которые при всем том обладают огромной живучестью,— к тому трудолюбивому и апатичному, беспокойному и покорному французскому крестьянству, которое не слишком любит жизнь, но крепко за нее держится и не нуждается в искусственных поощрениях, чтобы сохранить бодрость.

Кристоф, не знавший французского крестьянства, удивился, поняв, как равнодушна эта простая крестьянская девушка ко всякой вере; он восхищался ее привязанностью к жизни, жизни безрадостной и лишенной цели, но еще больше его поражало крепкое нравственное чувство, которому не нужно было никаких дополнительных устоев. До сих пор он видел во Франции людей из народа лишь в кривом зеркале натуралистических романов и современных литературных теорий, сочиняемых всякими посредственностями, которые, в противоположность литераторам века пасторалей и Революции, с удовольствием представляли себе естественного человека как порочное животное, и тем старались оправдать собственные пороки... С изумлением убеждался он в неподкупной честности Сидонии. Тут дело было не в морали, а в безотчетном чувстве и в гордости. У нее была своя аристократическая гордыня. Ибо глупо думать, что слово «народ» означает только «чернь», у народа есть своя аристократия, как и среди буржуазии есть люди, которые отнюдь не могут считаться ее сливками. Аристократия, то есть люди с более чистыми инстинктами, может быть более чистой кровью, чем у остальных, знающие об этом, сознающие свои достоинства. Гордость для них в том, чтобы ничем себя не уронить. Их меньшинство; но даже если они оттеснены в сторону, все знают, что им принадлежит первое место и одно их присутствие служит уздой, сдерживающей прочих. Прочие вынуждены равняться по ним или делать вид, что равняются. Каждая провинция, каждая деревня, каждая группа людей является в какой-то мере подобием того, чем являются их аристократы; каковы они, таково и общественное мнение,— здесь оно крайне сурово, там — снисходительно. И наблюдающееся сейчас анархическое засилие большинства не ослабит внутреннего авторитета безгласного меньшинства. Более серьезную угрозу для последнего представляет отрыв от родной почвы и распыление по большим городам. Но даже и в этом слу-

чае затерянные в чужой среде, разобщенные друг с другом представители этой крепкой породы сохраняют свои особенности, не смешиваются с окружающим. Из всех диковинок, которые Кристоф видел в Париже, Сидония не знала почти ничего и не старалась узнать. Чувствительная и нечистоплотная газетная литература интересовала ее так же мало, как и политические новости. Она даже не слыхала о существовании народных университетов; а если бы и слыхала, то, вероятно, они не привлекли бы ее, как не привлекали церковные проповеди. Она делала свое дело, думала свою думу, и ее ничуть не беспокоило, что она думает не так, как другие. Кристоф похвалил ее за это.

— Что же тут особенного? — удивилась она.— Я такая же, как и все. Вы, значит, не видели французов?

— Вот уже год, как я живу среди французов,— ответил Кристоф,— и все, кого я встречал, думают только о развлечениях или подражают тем, кто развлекается. Других я не видел.

— Еще бы,— сказала Сидония.— Вы видели только богатых. Богатые всюду одинаковы. Вы еще ничего не видели.

— Ваша правда,— согласился Кристоф.— Но я начинаю видеть.

Впервые перед ним предстал тот французский народ, который, кажется, жил извечно на этой земле, который составляет с нею одно целое, который видел, как приходили и уходили столько племен завоевателей, столько калифов на час, но сам прочно стоит на своей земле.

Кристоф понемногу поправлялся и начал вставать с постели.

Первой его заботой было, как бы возместить Сидонии расходы, которые она понесла во время его болезни. Так как он не мог еще бегать по Парижу в поисках работы, он решился, правда не сразу, написать Гехту: он просил его выдать аванс под ближайшую работу. Со свойственной ему удивительной смесью равнодушия и благожелательности Гехт заставил Кристофа ждать ответа более двух недель — двух недель, в течение которых Кристоф жестоко страдал. Он отказывался прикасаться к еде, которую ему приносила Сидония, и, лишь уступая ее настояниям, ограничивался стаканом молока и куском хлеба, в чем горько упрекал себя, говоря, что кормится на чужой счет. Наконец Гехт прислал ему просимую сумму, не написав от себя ни слова, и за все месяцы, что проболел Кристоф, Гехт ни разу

не справился об его здоровье. Он обладал талантом не располагать к себе людей, даже делая им добро. Впрочем, объяснялось это тем, что добро он делал не любя.

Сидония заходила каждый день на минутку, после полудня и вечером. Она готовила обед Кристофу. Она возилась совершенно бесшумно; потихоньку от Кристофа старалась навести у него порядок; увидя плачевное состояние белья, ни слова не говоря, унесла его к себе и все перечинила. Незаметно их отношения стали более задушевными. Кристоф много говорил ей о своей старушке матери. Сидония была растрогана; она представляла себя на месте одинокой, разлученной с сыном Луизы и проникалась к Кристофу материнским чувством. И сам он, разговаривая с ней, бессознательно старался возместить отсутствие того семейного тепла, без которого особенно трудно обойтись, когда ты слаб и болен. С Сидонией он чувствовал себя ближе к Луизе, чем с кем бы то ни было. Он поверял ей иногда и свои композиторские огорчения. Она жалела его так, как могло жалеть ее мягкое сердце, но не без иронии к этим артистическим печалям. Это тоже напоминало ему мать и было благотворно.

Он старался вызвать Сидонию на откровенность, но она была гораздо более замкнута, чем он. Он шутя спрашивал, не собирается ли она замуж. Она отвечала своим обычным, смиренным и насмешливым тоном, что прислуге это не дозволяется: не оберешься хлопот. Да и не так-то легко найти хорошего человека. Мужчины ведь отъявленные обманщики. Увиваются за вами, когда знают, что у вас есть деньги; а скушают ваши денежки — и поминай как звали. Довольно она насмотрелась на такие проделки, и испытать это удовольствие на себе ей неохота. Она не сказала Кристофу, что у нее и у самой когда-то расстроилась свадьба: ее «нареченный» бросил ее, когда убедился, что весь свой заработок она отдает родным. Кристоф видел, как она по-матерински играет во дворе с соседскими детьми. А встретив на лестнице, она горячо их целовала и старалась, чтобы никто не заметил этого. Кристоф вспоминал некоторых известных ему парижских дам и сравнивал их с Сидонией: она была неглупа и ничуть не более безобразна, чем многие из них; на их месте, думал Кристоф, она вела бы себя гораздо лучше. Сколько ушедших втуне сил, здоровых задатков, жизни, и никому до этого нет дела! Зато сколько живых мертвецов безнаказанно коптят небо, отнимая у других место под солнцем и заслуженное счастье.

Кристоф, не раздумывая, привязался слишком сильно к Сидонии и позволял баловать себя, как большое дитя.

В иные дни он замечал, что Сидония ходит как в воду опущенная, но объяснял это ее тяжелой жизнью. Раз она внезапно встала, прервала на полуфразе разговор и ушла, сославшись на какую-то работу. А после того, как однажды Кристоф разговорился было с ней по душам, она на некоторое время совсем прекратила посещения и с тех пор стала держать себя крайне сдержанно. Кристоф недоумевал, чем он мог ее обидеть. Спросил у нее об этом. Она взволнованно ответила, что ничем он ее не обидел, однако продолжала его сторониться. Через несколько дней она заявила, что уезжает: отказалась от места и покидает свою комнатку. В холодных и церемонных выражениях поблагодарила его за доброе к ней отношение, пожелала здоровья ему и его матушке и попрощалась. Он был так поражен этим внезапным решением, что не нашелся, что сказать; начал было расспрашивать о причинах, побудивших ее к такому шагу, но она отвечала уклончиво. Он спросил, нашла ли она другое место; она ничего не ответила и, чтобы прекратить дальнейшие расспросы, ушла. На пороге он протянул ей руку; она чуть крепче обычного пожала его руку, но лицо ее не дрогнуло, и до последнего мгновения с него не сходило все то же натянутое и холодное выражение. Она ушла.

Он так и не понял почему.

Казалось, зиме не будет конца. Сырость, туман, грязь. Неделя за неделей не выглядывало солнце. Кристоф хотя и оправился, но не выздоровел окончательно. В правом легком все еще чувствовалась болезненная точка, медленно зарубцовывавшаяся ранка, и приступы нервного кашля не давали спать по ночам. Доктор запретил ему выходить. С таким же успехом он мог бы предписать ему уехать на Ривьеру или на Канарские острова. Как мог он не выходить! Если бы он не ходил за своим обедом, обед не пришел бы к нему сам. Ему прописывали также лекарства, на приобретение которых у него не было средств. Поэтому он перестал обращаться к врачам, только деньги переводить напрасно; кроме того, он всегда чувствовал себя с врачами неловко: они не могли понять друг друга, как будто жили на разных планетах. Врачи относились с ироническим и немного презрительным участием к этому бедняге музыканту, воображавшему себя центром вселенной, тогда как он был лишь соломинкой, подхваченной потоком жизни. Его унижало осматривание, ощупывание, выстукивание. Он стыдился своего больного тела. Думал: «Как я буду рад, когда оно умрет!»

Несмотря на одиночество, болезнь, нищету, десятки поводов для уныния, Кристоф терпеливо шел своим путем. Никогда еще он не был так терпелив. Он сам себе дивился. Болезнь часто бывает благодеянием. Сокрушая тело, она освобождает душу, очищает ее; в ночи и дни вынужденного бездействия на поверхность сознания всплывают мысли, которые страшатся слишком яркого света и в обычное время никнут под обжигающим солнцем здоровья. Кто никогда не был болен, тот не познал себя целиком.

Болезнь подействовала на Кристофа на редкость умиротворяюще. Благодаря ей он очистился от всего, что было в нем грубого. Какими-то более тонкими органами воспринимал он отныне мир таинственных сил, обитающих в каждом из нас, но заглушаемых шумом жизни. С того дня, когда, уже заболевая, он посетил Лувр — незабываемое воспоминание,— он жил в атмосфере, родственной той, что исходила от полотен Рембрандта,— мягкой, теплой и глубокой. Он тоже ощущал в своем сердце волшебные отблески невидимого солнца. И хотя он был неверующим, однако знал, что не одинок: какой-то бог вел его за руку, туда, куда должно было идти. И он доверился ему, как малый ребенок.

В первый раз за много лет он пользовался вынужденным отдыхом. После длительного умственного напряжения, предшествовавшего болезни и еще теперь дававшего о себе знать, даже затянувшееся выздоровление стало для него отдыхом. Кристоф, уже несколько месяцев живший настороженной жизнью дозорного, чувствовал, как взгляд утрачивает былую мучительную пристальность. Он не утратил от этого своей силы,— только стал человечнее. Мощная, но чем-то страшная жизнь гения отодвинулась на задний план; он ощущал себя таким же человеком, как и все прочие, он освободился от фанатизма ума, от жестокости и беспощадности, свойственных творящему. Он уже ни к чему не горел ненавистью, не думал о том, что́ раньше выводило его из себя, а если и думал, то лишь пожимал плечами, меньше уделял внимания собственным невзгодам и больше чужому горю. После встречи с Сидонией он стал больше думать о маленьких людях, безмолвно страдающих и безропотно преодолевающих трудности жизни во всех уголках земли, и — забывал о себе. Обычно не склонный к чувствительности, он испытывал теперь приливы беспричинной нежности, которую порождает иногда телесная слабость. По вечерам, облокотившись на подоконник, он глядел в окно и слушал таинственные звуки ночи... чей-то голос, который пел в соседнем доме и волновал, как вся-

кий исходящий издалека голос, звуки Моцарта, которого в простоте души разыгрывали детские ручонки... он думал: «Слушайте все вы, кого я люблю и кого не знаю! Вы, кого еще не обожгло жизнью, вы, лелеющие великие замыслы, сознавая всю их неосуществимость, вы, борющиеся против враждебного мира,— я хочу, чтобы вы были счастливы,— так хорошо быть счастливым!.. О друзья мои, я знаю, что вы здесь, и протягиваю вам руки... Нас разделяет стена. Камень за камнем я разрушаю ее; но в то же время я разрушаю себя. Соединимся ли мы когда-нибудь? Дойду ли я до вас, или снова между нами вырастет стена — смерть?.. Нужды нет! Пусть я буду всю жизнь одинок, лишь бы только я мог работать для вас, делать вам добро и лишь бы вы полюбили меня немножко, потом, после моей смерти!..»

Так выздоравливающего Кристофа питали своим молоком две добрые кормилицы: «Liebe und Not» (Любовь и Нищета).

В этом состоянии умиления Кристоф чувствовал потребность сблизиться с людьми. И хотя он был еще очень слаб и сознавал все неблагоразумие своего поведения, он выходил рано утром, в час, когда народ, разлившись по шумным улицам, шел на далекую заводскую окраину к месту работы, или вечером, когда рабочие возвращались по домам. Ему хотелось поглубже окунуться в освежающие волны сочувствия людей. Он ни с кем не заговаривал. И даже не пытался заговорить. Ему достаточно было смотреть на проходящих людей, разгадывать их мысли, любить их. С теплым участием присматривался он к этим торопливо шагавшим труженикам, на лицах которых уже в час утренней свежести лежала печать утомления,— на лица юношей и девушек с поблекшей кожей, с напряженным выражением, со странными улыбками,— на эти прозрачные и подвижные лица, по которым пробегала тень желаний, забот, где внезапно вспыхивала и тут же потухала ирония,— он смотрел на весь этот умный, слишком умный народ, на эту не совсем здоровую толпу больших городов. Все шли быстро, мужчины — читая на ходу газету, женщины — грызя подковку с маком. Кристоф охотно отдал бы месяц своей жизни за то, чтобы вот эта растрепанная блондинка с заспанным лицом, проскользнувшая мимо него нервными постукивающими шажками козочки, могла поспать лишний часок-другой. О, она не отказалась бы от лишнего часа отдыха! Как было бы хорошо выбросить из плотно закупоренных в этот час квартир всех богатых бездельниц, пресыщенных своим благополучием, и водворить на их место, в их постели, в их спо-

койную жизнь эти хрупкие, горячие и усталые тела, эти непресыщенные, ничем не примечательные, но живые и жадно тянущиеся к жизни души. Теперь он был полон снисходительности к ним и улыбался их смышленым и измученным личикам, в которых светилось столько лукавства и простодушия, дерзкой и наивной жажды удовольствия, а под всем этим — стойкая, честная и работящая душа. И он не сердился, когда некоторые из них смеялись ему прямо в лицо или подталкивали друг друга локтем, показывая подружке долговязого парня с горящими глазами.

Он подолгу мечтал на парижских набережных,— любимая его прогулка. Здесь хоть отчасти утихала его тоска по великой реке, баюкавшей его детство. Ах, конечно, Сена не Vater Rhein! Не его богатырская мощь. Не его широкие горизонты, необозримые просторы, в которых парит и растворяется душа. Сероглазая река в бледно-зеленом одеянии, с тонкими и четкими контурами, река грациозная, с гибкими движениями, с расчетливой небрежностью раскинувшаяся в роскошном и строгом убранстве своего города, в браслетах мостов, в ожерельях памятников, улыбающаяся своей миловидности, как вышедшая на прогулку хорошенькая парижанка... Неповторимый свет Парижа!.. Он первый полюбился Кристофу в этом городе; он мягко, так мягко пронизывал его и мало-помалу, совсем незаметно, обновил его сердце. Свет этот был для Кристофа прекраснейшей музыкой, единственной подлинной музыкой Парижа. Целые вечера он проводил на набережных или в садах старой Франции, наслаждался гармоничной игрой света на листве, омываемой лиловым туманом, на серых статуях и вазах, на матовом камне королевских дворцов, впитавших в себя свет многих столетий, — в этой тончайшей дымке, сотканной из солнечных лучей и молочной мглы, разлит среди клубов серебристой пыли дух жизнерадостной французской нации.

Однажды вечером, облокотившись на парапет набережной у моста Сен-Мишель и поглядывая на воду, он рассеянно перелистывал книги расположившегося здесь букиниста. Он раскрыл наудачу разорванный том Мишле. Ему уже попадались книги этого историка, и тогда ему не очень понравилось французское бахвальство, способность опьяняться собственными словами, какая-то захлебывающаяся речь. Но в тот вечер он с первых же строк был захвачен: он набрел на окончание процесса Жанны Д'Арк. Он знал Орлеанскую деву по Шиллеру, но до сих пор она была для него только романтической героиней, которую великий поэт наделил вымышленной жизнью. Теперь же

ему внезапно предстала действительность, и она захватила его. Он читал, читал, и сердце его сжималось от трагически ужасной и величественной повести; и когда он дошел до того места, где Жанна узнаёт, что вечером она должна умереть, и от страха лишается чувств, руки его задрожали, на глазах выступили слезы, и он должен был прервать чтение. Болезнь изнурила его: он стал до смешного чувствителен, и сам сердился на себя. Он хотел дочитать, но уже смеркалось, и букинист стал закрывать ящики. Кристоф решил купить книгу; он пошарил в карманах — у него нашлось всего шесть су. Уже не в первый раз он так нищал; безденежье не тревожило его: он только что купил провизии на обед и рассчитывал получить завтра от Гехта небольшую сумму за переписку нот. Но ждать до завтра было так трудно! Зачем он истратил на обед свои последние деньги? Ах, если бы букинист согласился принять в обмен на книгу хлеб и колбасу, лежавшие у Кристофа в кармане!

На другой день он отправился рано утром к Гехту за деньгами, но, проходя мимо моста, носящего имя архангела битв — «райского брата» Жанны,— не утерпел и остановился. Драгоценный том лежал на прежнем месте; он прочел его до конца, на что ушло около двух часов. Опоздав в издательство, он в поисках Гехта пробегал зря почти целый день. Наконец он получил новый заказ и деньги и тотчас же побежал покупать книгу. Он боялся, как бы его не опередили. Конечно, беда невелика: найти другой экземпляр — дело несложное, но Кристоф не знал, редкая это книга или нет; кроме того, ему хотелось иметь именно этот экземпляр, а не какой-нибудь другой. Книголюбы легко превращаются в фетишистов. Страницы, разбудившие их фантазию, даже и грязные и захватанные, для них священны.

В тишине ночи Кристоф перечитал евангелие Жанны; на сей раз никакие условности не заставляли его сдерживать свое волнение. Он проникся бесконечною скорбью, нежностью, жалостью к бедной маленькой пастушке в грубом, красном крестьянском платье, рослой, застенчивой, с тихим голосом, грезившей под звон колоколов (она любила их не меньше, чем Кристоф), с прелестной тонкой улыбкой, исполненной кротости и доброты,— к этой девушке, всегда готовой заплакать от любви, от сострадания, от слабости; ибо она была так мужественна и одновременно так женственна, так чиста и отважна, эта девушка, укрощавшая дикие порывы армии разбойников и спокойно, с трезвым бесстрашием, с чисто женской проницательностью и мягким упорством, в течение долгих месяцев, одинокая и всеми преданная, она расстраивала козни своры церковников и закон-

ников — волков и шакалов, с налитыми кровью глазами,— всей этой своры, обступившей ее со всех сторон.

Больше всего трогала Кристофа ее доброта, нежность сердца,— то, что она плакала после победы, плакала по мертвым врагам, плакала о своих оскорбителях, утешала их, когда они страдали от ран, облегчала их кончину, не питая горьких чувств к тем, кто предал ее; даже на костре, когда пламя уже взвилось, она не думала о себе, но тревожилась о напутствовавшем ее монахе и убеждала его отойти. Она была «добра во время самой жестокой схватки, добра среди злых, миролюбива даже на войне. Войну, это торжество дьявола, она осветила духом божиим».

И Кристоф, думая уже о себе, говорил: «А я не внес в свою борьбу духа божьего».

Он перечитывал прекрасные слова ее евангелиста: «Быть добрым, оставаться добрым среди людских несправедливостей и суровостей судьбы... Хранить кротость и доброжелательность среди стольких ожесточенных распрей и пройти испытания, не дав им коснуться своих душевных сокровищ...»

И Кристоф повторял: «Я грешен. Я не был добр. Мне не хватало добрых чувств. Я был слишком суров. Простите. Вы, с кем я борюсь, не считайте меня своим врагом. Я хотел бы и вам делать добро... Но надо же помешать вам делать зло...»

И так как святым он не был, то ему довольно было вспомнить о врагах, чтобы ненависть его ожила с прежней силой. Меньше всего прощал он своим врагам то, что, глядя на них, глядя через них на Францию, нельзя было представить себе, что на этой земле мог возрасти когда-либо цветок такой чистоты, такого геройства и вдохновенной поэзии. И, однако же, все это было. Кто осмелится утверждать, что такие цветы не возрастут здесь вторично? Современная Франция вряд ли была хуже Франции Карла VII, той развращенной нации, из недр которой вышла Орлеанская девственница. Храм был теперь пуст, осквернен, полуразрушен. Ну и что же! Божий глас вещал тут.

Кристоф искал француза, которого он мог бы полюбить ради своей любви к Франции.

Стоял конец марта. Уже несколько месяцев Кристоф ни с кем не обмолвился ни словом, не получал ниоткуда писем, кроме редких и коротеньких записочек от старушки матери, не знавшей, что он болен, и скрывавшей от него свою болезнь. Все его связи с миром ограничивались хождением в магазин Гехта, где он получал или сдавал работу. Он старался бывать там в часы,

когда Гехт отсутствовал, чтобы избежать разговоров. Предосторожность излишняя, ибо единственный раз, когда они встретились, Гехт самым безучастным тоном осведомился о его здоровье — и все.

Так он пребывал заточенным в темнице молчания, как вдруг, однажды утром, получил приглашение от г-жи Руссэн на музыкальный вечер: его звали послушать знаменитый квартет. Письмо было очень любезное, и сам Руссэн приписал в конце несколько сердечных строк. Он немного раскаивался в своем разрыве с Кристофом. Тем более что за это время успел поссориться со своей певичкой и теперь судил о ней без всякого снисхождения. Он был не злой человек; например, он не сердился долго на тех, с кем поступал несправедливо. И искренне удивился бы, если бы его жертвы проявляли бо́льшую щепетильность, нежели он сам. Поэтому, когда он имел удовольствие вновь встречаться с ними, он первый, не колеблясь, протягивал им руку.

Сначала Кристоф пожал плечами и поклялся, что ни за что не пойдет на вечер. Но по мере приближения дня концерта решимость его слабела. Он задыхался, не слыша человеческой речи и особенно не слыша музыки. Однако он продолжал твердить, что ноги его не будет у этих людей. Но в назначенный вечер все-таки пошел, стыдясь своего малодушия.

И был наказан. Очутившись вновь среди знакомых ему политиков и снобов, Кристоф сразу же почувствовал прежнее отвращение,— пожалуй, еще более сильное, чем раньше: за месяцы одиночества он отвык от этого зверинца. Слушать музыку здесь, в такой обстановке, было прямым святотатством. Кристоф решил уйти после первой же части. Он обводил взором все это сборище отталкивающих физиономий и фигур. Вдруг на том конце салона он уловил чей-то пристальный взгляд, впрочем тут же отведенный в сторону. Взгляд этот резко отличался от всех прочих пресыщенных взоров удивительной сердечностью и чистотой. Это были робкие, но кристально ясные глаза, настоящие французские глаза, которые, раз взглянувши, смотрят с совершеннейшей правдивостью, ничего в себе не утаивая, и от которых, пожалуй, не укроются и ваши тайны. Кристоф узнал эти глаза. Но лицо, которое они озаряли, было ему незнакомо. На Кристофа смотрел молодой человек лет двадцати — двадцати пяти, небольшого роста, шатен, слегка сутулый, тщедушный, с безбородым, болезненным лицом и неправильными, тонкими чертами, немного ассиметричными, отчего выражение его всегда было не то что тревожное, но какое-то неуверенное, и эта неуверенность, так противоречившая спокойному взгляду,

придавала ему своеобразное обаяние. Незнакомец стоял в дверях, и никто не обращал на него внимания. Кристоф еще несколько раз посмотрел на него и каждый раз, встречая эти глаза, «узнавал» их: он был почти уверен, что уже видел эти глаза, но лицо было ему незнакомо.

Не сумев, по обыкновению, скрыть свои чувства, Кристоф направился к молодому человеку, но, подходя, стал думать, что же он ему скажет; он замедлил шаги, нерешительно глядя по сторонам, словно случайно бродил по залу. Однако молодой человек сразу догадался, что Кристоф идет к нему, и так оробел при мысли о предстоящем разговоре, что решил пробраться ближе к двери, но от застенчивости не мог пошевелиться. Они очутились лицом к лицу. Прошло несколько секунд, прежде чем им удалось подыскать тему для разговора. Пока продолжалось это молчание, каждый думал, как он, должно быть, смешон. Наконец Кристоф посмотрел молодому человеку в глаза и уже без всяких предисловий спросил, улыбаясь, грубоватым тоном:

— Вы не парижанин?

При этом неожиданном вопросе молодой человек, несмотря на смущение, улыбнулся и ответил, что нет. Его слабый, глуховатый голос напоминал звук какого-то хрупкого инструмента.

— Я так и думал,— продолжал Кристоф.

И, заметив, что незнакомец немного сконфужен этим странным замечанием, прибавил:

— Это не в упрек вам.

Но молодой человек сконфузился еще больше.

Снова наступило молчание. Молодой человек силился заговорить, губы его дрожали; чувствовалось, что он приготовил какую-то фразу, но ему не хватает решимости произнести ее. Кристоф с любопытством смотрел на это подвижное лицо со слишком тонкой кожей, под которой было видно каждое нервное подергивание мускулов; оно казалось слепленным из совсем иного материала, чем лица всех прочих посетителей этого салона — лица массивные, плотные, служившие как бы продолжением шеи, лишь куском туловища. А здесь душа проступала во всем; все было насыщено духовной жизнью.

Ему так и не удалось заговорить. Кристоф добродушно продолжал:

— Что вы здесь делаете, в этой компании?

Он говорил очень громко, с той удивительной непринужденностью, которая создавала ему столько врагов. Обеспокоенный молодой человек невольно осмотрелся кругом, как бы желая удостовериться, не слышит ли их кто-нибудь. (Это движение не

понравилось Кристофу.) Потом вместо ответа юноша спросил с милой неловкой улыбкой:

— А вы?

Кристоф расхохотался своим грубоватым смехом.

— В самом деле, что я здесь делаю? — весело отозвался он.

Молодой человек вдруг решился.

— Как я люблю вашу музыку! — проговорил он сдавленным голосом.

И замолк, вновь безуспешно стараясь побороть свою робость. Он краснел и чувствовал, что краснеет, отчего краснел еще больше: краска залила ему даже виски и уши. Кристоф с улыбкой смотрел на него и чувствовал желание расцеловать своего нового знакомого. Молодой человек кинул на Кристофа отчаянный взгляд.

— Нет,— проговорил он,— я положительно не могу, не могу говорить об этом... по крайней мере, здесь...

Кристоф взял его за руку и беззвучно рассмеялся, не раскрывая своего губастого рта. Он чувствовал, как тонкие пальцы незнакомца легонько дрогнули в его ладони и с невольной нежностью пожали ее, а молодой человек почувствовал крепкое, сердечное пожатие сильной руки Кристофа. Шумный салон перестал существовать для них. Они были одни и поняли, что они — друзья.

Это продолжалось не более секунды; вдруг г-жа Руссэн тихонько ударила веером по руке Кристофа и сказала:

— Я вижу, вы уже познакомились, и незачем представлять вас друг другу. Этот мальчик пришел сегодня только ради вас.

Тогда, немного смутившись, они отодвинулись друг от друга.

— Кто это? — спросил Кристоф г-жу Руссэн.

— Как! — воскликнула она.— Разве вы не знаете? Это молодой поэт, он пишет очень милые стихи. Один из ваших поклонников. Он хороший музыкант, прекрасно играет на рояле. Не дай бог критиковать вас в его присутствии: он просто влюблен в вас. На днях он чуть не поссорился из-за вас с Люсьеном Леви-Кэром.

— Молодец! — одобрительно проговорил Кристоф.

— Да, я знаю, вы несправедливы к нашему бедному Люсьену. А ведь он вас тоже любит.

— Ах, не говорите мне этого! А то я возненавижу себя.

— Да уверяю вас.

— Нет! Нет! Он не смеет.

— Как раз то же говорил ваш поклонник. Вы оба сумасброды. Люсьен толковал нам одно ваше произведение. И пред-

ставьте, этот робкий юноша, которого вы только что видели, вскочил, дрожа от гнева, и запретил ему даже говорить о вас. Нет, каково самомнение!.. К счастью, я была тут и обратила все в шутку; юноша в заключение даже извинился.

— Бедный мальчик! — сказал Кристоф.

Он был взволнован.

— Куда же он пропал? — продолжал он, не слушая г-жу Руссэн, заговорившую о чем-то другом.

Он пошел искать его. Но незнакомый друг исчез. Кристоф вернулся к г-же Руссэн.

— Скажите, как его зовут?

— Кого? — спросила та.

— Того, о ком вы мне говорили.

— Вашего поэта? Его зовут Оливье Жанен.

Имя Жанен прозвучало в ушах Кристофа как эхо знакомой музыки. Перед его глазами проплыл силуэт молодой девушки. Но новый образ, образ друга, тотчас заслонил его.

Кристоф возвращался к себе. Он шагал по парижским улицам, среди толпы. Он ничего не видел, ничего не слышал: чувства его были закрыты для окружающего мира. Он был точно озеро, отделенное от всего мира цепью гор. Ни ветерка, ни звука, ни волнения. Покой. Он повторял:

«У меня есть друг».

Над романом «Жан-Кристоф» Ромен Роллан работал более двадцати лет.

Первоначальный замысел книги относится к весне 1890 года, когда Роллан впервые представил себе будущего героя, «который видит и судит современную Европу глазами Бетховена». Замысел этот был еще очень расплывчатым и неконкретным. В последующие годы, работая над другими произведениями, Роллан постоянно возвращался к образу «современного Бетховена», обдумывая план книги, делая черновые зарисовки и наброски.

«Первый четкий чертеж целого сложился в мае 1896 года»,— писал впоследствии Роллан. Однако и план 1896 года претерпел затем значительные изменения.

Вначале писатель думал создать роман, еще более обширный по охвату действительности, чем его окончательный вариант. Роллан хотел поставить в центре книги не одного, а двух героев, которые дополняли бы друг друга. Рядом с новым Бетховеном на страницах книги должен был появиться революционер типа Мадзини. Кристоф должен был принять участие в революционных событиях в Германии и Польше. Эта неосуществленная часть по первоначальному замыслу следовала за книгой «Подруги» и должна была предшествовать швейцарскому эпизоду, встрече с Анной Браун из книги «Неопалимая купина». Затем Роллан отказался от намерения написать «том о Революции и международных социальных схватках» и заменил эту часть главами, рассказывающими о более знакомом ему французском рабочем движении (начало «Неопалимой купины»).

К концу 90-х годов у Роллана были написаны отдельные главы, эпизоды. «Младенец Кристоф» родился в сентябре 1895 года, первые строки «Зари» написаны у его колыбели. С тех пор он незримо сопро-

вождал каждый мой шаг... В 1897 году мне явилась Грация... Один за другим без всякой последовательности по зернышку сыпались эпизоды романа. В феврале 1898 года я повстречался с Коринной, и мы стали добрыми друзьями. В 1900 году неожиданно в дверь ворвалась Анна из «Неопалимой купины» (Р. Роллан, Воспоминания, «Художественная литература», М. 1966, стр. 448). Создавая отдельные страницы будущей книги, Роллан еще не был уверен в замысле целого и вначале не намеревался публиковать эти эскизы.

В 1901 году он вновь возвращается к плану романа, и если раньше в центре книги должно было быть героическое жизнеописание «истории великой души», то теперь все явственней и отчетливее начинает выступать социальная тема «Ярмарки на площади».

Интересно отметить, что герой будущего романа, отдельные страницы которого уже были написаны, очень долго не имел имени. Роллан в письмах обычно называл его «Бетховеном».

Имя Жан-Кристоф возникает только в 900-е годы. В письмах к Софье Бертолини в 1903 году Роллан писал: «Вы должны стать крестной матерью моего героя, дать ему имя, я еще не уверен в нем (странный же я отец! Сыну уже семь лет, и он все еще не крещен!). Я ищу имя солидное, крепко стоящее на ногах, имя старого музыканта вроде Генделя, например, Жан-Кристоф». Это имя и осталось за героем.

Окончательное осуществление замысла «Жан-Кристофа» связано с именем журналиста и писателя, друга Роллана тех лет, Шарля Пеги[1]. В 1900 году Пеги начал издавать журнал «Двухнедельные тетради». Он широко предоставил страницы журнала Роллану. Это окрылило писателя, так как он не надеялся найти издателя, который рискнул бы печатать многотомный роман, подписанный тогда еще мало известным именем.

В дневнике Роллана есть запись: «Сегодня, 20 марта 1903 года, я окончательно начинаю писать «Жан-Кристофа».

Роман создавался в трудные для Роллана годы. Большую часть времени писатель вынужден был отдавать педагогической работе. Иногда у него появлялись сомнения в возможности довести до конца свой грандиозный замысел. В ноябре 1904 года он писал: «Мне кажется, что произведение это никогда не будет кончено, я слишком много должен сказать».

Книги «Заря» и «Утро» были написаны в июле — октябре 1903 года; «Отрочество» — июль — октябрь 1904 года; «Бунт» — июль 1905 — весна 1906 года; «Антуанетта» — август — конец октября 1906 года; «Ярмарка на площади» — июнь — конец августа 1907 года; «В доме» — конец ав-

[1] В 1905 году в связи с увлечением Пеги католическими и националистическими идеями Роллан разошелся со своим другом. Шарль Пеги был убит в начале первой мировой войны. В 1944 г. Роллан напишет об издателе «Двухнедельных тетрадей» книгу — «Шарль Пеги».

густа 1907 — сентябрь 1908 года; «Подруги» — июнь — начало сентября 1909 года; «Неопалимая купина» — конец июля 1910 — июль 1911 года; «Грядущий день» — конец июля 1911 — июнь 1912 года.

Наконец, 2 октября 1912 года Роллан записывает в дневнике: «Я закончил «Жан-Кристофа». Час, которого я с нетерпением и страхом ждал столько лет, наступил». Таким образом, непосредственная работа над романом потребовала около десяти лет напряженнейшего труда.

В работе над романом писатель использовал огромное количество материалов. Им были прочитаны сотни специальных книг, статей, журналов.

Биография Жан-Кристофа во многом повторяет биографию Бетховена, в ней использованы отдельные эпизоды из жизни Гуго Вольфа, немецкого композитора XIX века, воспоминания композитора Рихарда Штрауса.

Роллан не раз предупреждал своих читателей, чтобы они не стремились отождествлять персонажи книг с реальными лицами. Однако современники и историки литературы установили реальные прототипы многих его героев. Так, Франсуаза Удон имеет много общего с известной итальянской актрисой Элеонорой Дузе; для образа Коринны использованы многие черты актрисы Коры Лапарсери, первой исполнительницы роли Аэрта в одноименной драме Р. Роллана. В социалисте Леви-Кэре современники легко узнали Леона Блюма, впоследствии одного из лидеров правых социалистов. Некоторые черты Софьи Бертолини воплотились в образе Грации Буонтемпи. Юдифь Маннгейм во многом напоминает первую жену Роллана Клотильду Бреаль и т. д.

Описание быта Германии, Швейцарии, жизни маленького провинциального французского городка и, наконец, «Ярмарки на площади» основано главным образом на личных наблюдениях и впечатлениях автора, который не раз бывал во всех местах, о которых идет речь в книге.

Роман «Жан-Кристоф» печатался частями, по мере написания отдельных книг с февраля 1904 года по октябрь 1912 года. За это время Ш. Пеги выпустил семнадцать номеров «Двухнедельных тетрадей», целиком посвященных «Жан-Кристофу».

Номера «Двухнедельных тетрадей» выходили небольшим тиражом, около трех тысяч экземпляров. Они расходились очень быстро, поэтому еще до того, как роман был полностью закончен и напечатан в журнале, издатель Оллендорф стал публиковать его отдельными книгами.

«Заря», «Утро», «Отрочество» вышли в свет у Оллендорфа в 1905 году, «Бунт» — в 1907 году, «Ярмарка на площади» и «Антуанетта» — в 1908 году, «В доме» — в 1909 году, «Подруги» — в 1910 году, «Неопалимая купина» — в 1911 году и «Грядущий день» — в 1912 году.

Подготавливая роман к изданию, Роллан сделал общую правку текста, внес некоторые небольшие изменения,— так он исключил из

книжного варианта страницы, содержащие отрицательную оценку немецкой литературы.

Писатель потом не раз думал переделать отдельные главы и части романа, но так этого и не осуществил. В 1913 году, подготавливая новое издание, он признавался: «Перечитал с пером в руках четыре первых тома «Жан-Кристофа» для нового издания. Я не в состоянии вести эту работу дальше. Она поедает слишком много времени. К тому же с меня довольно! Снова переживать такую жизнь; нет, я не могу, спасаюсь бегством...» (Р. Роллан, Собр. соч., т. 14, М. 1958, стр. 784).

Роман остался, следовательно, почти в таком виде, в каком его прочитали читатели «Двухнедельных тетрадей».

Все рукописи «Жан-Кристофа» были в 1920 году переданы писателем в Нобелевский архив при Шведской академии в Стокгольме. После смерти Ромена Роллана они поступили на хранение в его парижский архив. Рукопись «Антуанетты», книги, особенно дорогой писателю, была им подарена архиву департамента в Невере, откуда будто бы была родом Антуанетта.

Окончательным изданием романа принято считать издание Альбена Мишеля (1921 г.), по тексту которого и сделан настоящий перевод. Для этого издания Роллан несколько изменил расположение томов; если раньше десять книг были разбиты на три большие части, то теперь Роллан остановился на четырехчастном делении всего романа.

Из всех многочисленных французских изданий особо следует упомянуть издание Альбена Мишеля 1925—1927 годов, иллюстрированное известным художником — графиком Франсом Мазерелем, которого Роллан хорошо знал с 1915 года, со времени совместной борьбы против империалистической войны 1914—1918 годов. С 1924 по 1926 год Мазерель создает шестьсот шестьдесят шесть гравюр на дереве, посвященных «Жан-Кристофу». С тех пор в представлении читателей многих стран «Жан-Кристоф» неразрывно связан с иллюстрациями Мазереля, которому удалось необыкновенно тонко уловить образный строй, стилистическую особенность огромного романа-эпопеи, что не раз отмечал и сам Роллан.

«Жан-Кристоф» принес Ромену Роллану мировую славу. Признание к роману пришло не сразу. Первые три книги прошли почти незамеченными, но присуждение им в 1905 году премии журнала «Счастливая жизнь» [1] привлекло внимание и читателей и критики.

Книга «Ярмарка на площади» вызвала резкие нападки на Роллана, его обвиняли и в германофильстве, и в недостатке патриотизма.

В 1913 году роман был отмечен Большой премией Французской Академии, которая оценила его только как «психологическую поэму

[1] Затем эта премия получила название премии Фемина.

чувств». С резкими нападками на роман выступили писатели-академики националистической и католической ориентации Баррес, Бурже и Думик. В 1916 году Роллан был удостоен за роман Нобелевской премии. «Жан-Кристоф» оказал большое влияние на формирование мировоззрения ряда писателей. Об этом вспоминают Роже Мартен дю Гар, Жан-Ришар Блок. В 1910 году Ж.-Р. Блок горячо благодарил писателя «за то моральное освобождение», которое принес ему и многим другим читателям «Жан-Кристоф».

Постепенно книга завоевала признание широких читательских масс как во Франции, так и за границей. О ней с восторгом отзывались Уэллс, Стефан Цвейг и другие писатели. «Жан-Кристоф» стал любимой книгой прогрессивной Франции. Морис Торез вспоминал: «За решетку моей тюрьмы проник и Ромен Роллан, и его «Жан-Кристоф» был мне товарищем в уединении» (Морис Торез, Сын народа, М. 1950, стр. 60).

В России роман стал известен в 1911 году, когда в издательстве «Вечерний звон» появились его первые тома. В 1918—1923 годах вышло первое советское издание «Жан-Кристофа». Двухтомное издание романа 1936—1937 годов было напечатано со всеми иллюстрациями Ф. Мазереля. Для первого русского издания своего собрания сочинений, начатого в 1930 году, Роллан написал к роману специальное предисловие, где он раскрывает идею произведения и рассказывает историю его написания.

Стр. 44. *Он говорит о Регуле, об Арминии, о стрелках Лютцова, о Кернере, о Фридрихе Штабсе...*— Речь идет о героях римской и немецкой истории. Регул — римский консул; попав в плен к карфагенянам, был ими отпущен под честное слово в Рим, чтобы уговорить римлян принять условия, выгодные Карфагену. Но Регул призвал соотечественников продолжать войну, сам же, верный слову, вернулся в Карфаген и был там замучен (II в. до н. э.). Арминий — вождь германского племени херусков; в 9 г. н. э. разбил римского полководца Вара. Лютцов Адольф — командир прусских стрелков, выступавших в 1813 году против Наполеона. Кернер Карл Теодор — немецкий поэт из отряда Лютцова. Штабс Фридрих — немецкий студент, совершивший 15 октября 1809 г. в Вене покушение на жизнь Наполеона, был затем расстрелян.

Стр. 45. *...речь шла о битве под Иеной.*— 14 октября 1806 г. под городом Иеной Наполеон разгромил прусскую армию.

Стр. 47. *Таунус* — невысокий прирейнский горный массив.

Стр. 54. *Жоффруа де Сент-Илер* (1772—1849) — французский ученый-зоолог. Выдвинул прогрессивную для своего времени научную теорию единства строения организмов животного мира.

Стр. 55. *Ницше* Фридрих (1844—1900) — реакционный немецкий философ, утверждавший антидемократический культ героя — сверхчеловека. Здесь имеется в виду его работа «Происхождение трагедии из духа музыки» (1872), где доказывается стихийная иррациональная «дионистическая» природа всякого искусства. Дионис *(Бахус)* — в античной мифологии бог вина.

Стр. 69. *De Profundis* (л а т.) — начало католического псалма «De Profundis clamavi» — «Из бездны воззвал...»

Стр. 73. *Искушение святого Антония.*— Согласно христианской легенде, дьявол искушал отшельника Антония (III—IV вв.) соблазнами мирских благ, устрашал кошмарными видениями.

Стр. 82. *...как те джинны... запечатанные печатью Соломона.*— Имеется в виду арабская сказка из книги «Тысяча и одна ночь» о рыбаке, нашедшем кувшин, запечатанный оттиском перстня древнееврейского царя и мудреца Соломона. В кувшине был заключен джинн. По преданию, на перстне древнееврейского мудреца, царя Соломона (Сулеймана), было вырезано одно из тайных имен аллаха; тот, кто знал это имя, будто бы имел власть над джиннами, птицами и ветрами.

Стр. 120. *...заиграл увертюру к «Кориолану».*— Речь идет об увертюре Бетховена (1807 г.) к драме австрийского драматурга Коллина. Кориолан — римский полководец (V в. до н. э.). История Кориолана послужила также сюжетом для одноименной трагедии Шекспира (1607).

Стр. 134. *Кондотьер* — предводитель наемных отрядов в Италии (XIV—XV вв.); здесь — человек, готовый за деньги взяться за любое дело, пойти на любую сделку.

Стр. 140. *...подобно другому прославленному старцу...*— Имеется в виду Гете, умерший в возрасте восьмидесяти трех лет.

Стр. 146. *...когда давали «Валькирию»...*— Речь идет об опере немецкого композитора Рихарда Вагнера (1813—1883) «Валькирия», написанной на сюжет из древнегерманского эпоса.

Стр. 167. *...как Шиллеру, убежать из отчего дома...*— В 1782 г. Шиллер вынужден был бежать из Вюртембергского герцогства, где ему грозил арест за тираноборческую драму «Разбойники».

Стр. 190. *...настоящая кранаховская девушка.*— Кранах Лукас (1472—1553) — художник немецкого Возрождения, автор многочисленных портретов.

Стр. 201. *...перечитывал или слушал «Эгмонта» или «Ромео»...*— Речь идет о драме Гете «Эгмонт» и трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта».

Стр. 202. *...с нарисованным на нем байрейтским театром.*— Имеется в виду театр в небольшом городке Байрейте в Баварии, построенный Вагнером для исполнения своих опер.

Стр. 220. *...там упоминалось имя «Минна»...*— Речь идет о драме Лессинга «Минна фон Барнхельм» (1767).

Стр. 268. *...томлением Керубино...*— Керубино — персонаж комедии Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (1784), юный паж, по-детски влюбленный в свою крестную мать, графиню Альмавива.

Стр. 279. *...как у мадонн Филиппо Липпи.*— Филиппо Липпи (1406—1469) — итальянский художник.

Стр. 311. *«...Я не умерла...»* — строки из стихотворения Микеланджело Буонарроти (1475—1564) (Сб. «Эпиграммы и эпитафии»), величайшего гения итальянского Возрождения, скульптора, архитектора, художника, поэта.

Стр. 312. *...приходит черед подыматься на Голгофу веков.*— Подыматься на Голгофу — совершать свой путь страданий. Согласно христианской легенде, Иисус Христос сам нес на гору Голгофу крест, на котором его должны были распять.

Стр. 384. *...вспоминались слова Основы...*— Основа — персонаж из комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь», ткач.

Подобно пизанской Vergognosa...— Vergognosa — Стыдливая (и т а л.) — статуя работы скульптора Бенодцо Гоццоли.

Стр. 386. *Подобно сыну Ноя, он набрасывал покров...*— Согласно библейской легенде, патриарх Ной, напившись вина, заснул, сбросив одежды. Его сын Хам стал смеяться над ним, а сыновья Сим и Иафет прикрыли наготу отца.

Стр. 387. *Великий Себастьян* — Иоганн Себастьян Бах.

Стр. 388. *Герои тетралогии.*— На сюжет из древнегерманской мифологии Вагнер создал тетралогию «Кольцо Нибелунгов» («Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид», «Сумерки богов»).

Стр. 393. *Клейст* Генрих (1777—1811) — поэт и драматург немецкого романтизма.

Геббель Фридрих (1813—1863) — немецкий поэт-драматург, писавший свои ранние драмы, в том числе «Юдифь», под сильным влиянием романтизма.

Стр. 397. *Бёклин* Арнольд (1827—1901) — швейцарский художник, автор ряда аллегорических произведений.

Стр. 398. *Кундри* — персонаж оперы Вагнера «Парсифаль», злая волшебница.

Стр. 411. *Davidsbündler* (н е м.) — члены «Союза Давида». «Союз Давида» — студенческая свободомыслящая организация ревнителей искусства, выступавшая против мещан, обывателей-филистеров и названная в честь библейского певца царя Давида, победившего героя филистимлян — Голиафа. Слово «филистер» ведет свое происхождение от слова «филистимлянин».

Стр. 416. *Еврейка Массейса.*— Речь идет о картине фламандского художника Квентина Массейса (1466—1530) «Меняла с женой», хранящейся в Лувре.

Стр. 425. *Кэк-уок* — танец американских негров, очень популярный в Европе в начале XX в.

Стр. 427. *Гаде* Нильс Вильгельм (1817—1890) — датский композитор.

Стр. 429. *Амфортас* — персонаж оперы Вагнера «Парсифаль», смертельно раненный владелец волшебного замка.

Crociato (итал.) — крестоносец; речь идет об опере Мейербера «Крестоносец в Египте» (1824).

Один — высший бог в древнескандинавской мифологии, бог битв и бурь, ему служат девы-воительницы — валькирии.

Стр. 435. *...de omni re scibili* (лат.) — «обо всех вещах познаваемых»; формула итальянского ученого-гуманиста Пико Делла Мирандола (XV в.), отличавшегося поразительной универсальностью своих знаний и предложившего защитить ученые труды по всем наукам.

Стр. 436. *Граф Гобино* Жозеф-Артур (1816—1882) — французский реакционный философ; в книге «Опыт о неравенстве человеческих рас» проповедовал расовую теорию, утверждал идеал сверхчеловека.

Ванфридский двор.— «Ванфрид» — название виллы в Байрейте, где жил Вагнер, место паломничества его поклонников.

Стр. 439. *Несравненный Сакс* — Ганс Сакс (1494—1576), немецкий народный поэт из Нюрнберга, по профессии сапожник, выведен в опере Вагнера «Майстерзингеры».

Стр. 445. *«Орленок», «Мадам Сан-Жен».*— Имеются в виду французские пьесы, популярные в начале XX в. «Орленок» (1900) — историческая драма Ростана, «Мадам Сан-Жен» (1893) — историческая комедия французского драматурга Сарду.

«Тоска».— Здесь речь идет о драме В. Сарду (1887), на ее сюжет написана одноименная опера Пуччини.

Стр. 449. *...она будет играть Гамлета.*— Речь идет о знаменитой французской актрисе Сарре Бернар (1844—1923), которая много гастролировала. С. Бернар исполняла и ряд мужских ролей: Гамлета, Лоренззаччо (в одноименной драме Мюссе), герцога Рейхштадского в драме Ростана «Орленок».

Он не совсем мирился с... переодеванием бетховенской Леоноры.— Леонора — персонаж оперы Бетховена «Фиделио» (1805). Желая спасти заключенного в тюрьму мужа, она переодевается в мужское платье и под именем Фиделио поступает в услужение к тюремщику.

Стр. 450. *Шанмеле* Мари (1642—1698) — выдающаяся французская трагическая актриса, ученица Расина, одна из основателей декламаторской актерской школы классицизма.

Арль — город Прованса, в Южной Франции.

Стр. 455. *Иезавель* — по библейскому преданию, израильская царица, отличавшаяся деспотизмом и жестокостью.

Стр. 465. *...как в «Клятве Горациев».*— Три брата Горации—легендарные герои древнеримской истории, завоевавшие победу Риму в борьбе с городом Альбой. Здесь имеется в виду картина французского художника Жака-Луи Давида (1748—1825), изображающая сцену клятвы Горациев перед боем.

Стр. 468. *Блюхер* (1742—1819) — прусский генерал-фельдмаршал, главнокомандующий прусской армией во время войны Пруссии с Наполеоном (1813—1815).

Стр. 477. *«Гимн Эгиру»* — произведение немецкого императора Вильгельма II, воспевающее Эгира, в древнегерманской мифологии — великана, победителя морей.

Стр. 478. *Луи-Филипп* — король Франции с 1830 по 1848 г., ставленник крупной финансовой буржуазии.

Стр. 480. *Бебель* Август (1840—1913) — один из основателей социал-демократического движения в Германии.

Стр. 493. *...скитавшийся по Кавказу и Исфагану...*— Исфаган или Исфакан — древнее название провинции в центральной части Ирана.

Стр. 503. *Он познакомился со следующими французскими писателями...*— Далее идет перечисление третьестепенных писателей, творчество которых отнюдь не представляет французскую литературу. В этом списке посредственностей тонут великие имена Расина, Беранже, Гюго, Вольтера, Руссо и некоторых других.

...обнаружил... Декларацию молодой Германской империи...— Имеется в виду версальский акт 18 января 1871 г. об учреждении Германской империи.

Фредерик Констан де Ружмон — французский писатель, историк; имеется в виду его книга «О благочестии и пробуждении религиозного сознания в Германии» (1842).

Стр. 504. *Он взял другую книгу.*— Далее Роллан приводит примеры искажения истории Франции и неверной, необъективной оценки явлений французской литературы.

...«принадлежал к общине монахов Пор-Рояля, основавшей институт для молодых девиц под Парижем».— Монастырь Пор-Рояль в XVII — начале XVIII века был центром янсенизма, борьбы с иезуитами. С монастырем Пор-Рояль были связаны драматург Жан Расин (1639—1699) и ученый, философ Блез Паскаль (1623—1662).

Институт для молодых девиц под Парижем — школа для благородных девиц, основанная в XVII в. в Сент-Сире, она не имела никакого отношения к монастырю Пор-Рояль.

Стр. 505. *Трафальгар* — мыс в Испании, где 21 октября 1805 г. английская эскадра адмирала Нельсона разгромила франко-испанский флот.

Великий король — французский король Людовик XIV, в царствование которого французский абсолютизм достиг своего расцвета.

Стр. 511. *Шюц* Генрих (1585—1672) — немецкий композитор, автор духовной музыки.

Стр. 519. *Serva padrona* (и т а л.) — служанка-госпожа, персонаж одноименной оперы итальянского композитора Перголезе (1733), самоуверенная, ловкая, разбитная женщина.

Стр. 529. *Weltbürger* (н е м.) — «Граждане мира». Так называли себя немецкие просветители XVIII в., в частности, Гете и Шиллер, подчеркивая тем самым свое отрицательное отношение к шовинистическим настроениям современников.

Стр. 552. *...гимн старца Симеона «Nunc dimittis».*— «Nunc dimittis» (л а т.) — «Ныне отпущаеши».— Имеется в виду эпизод из Евангелия от Луки. Старцу Симеону было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Иисуса Христа. Когда младенца Христа принесли в храм, он взял его на руки и запел «Ныне отпущаеши (раба твоего с миром)».

Стр. 559. *Вечный Жид.*— Согласно евангельской легенде, Иисус Христос проклял еврея Агасфера, отказавшего ему в пристанище, и обрек его на вечное скитание.

Стр. 565. *Подобно... Гегелю, ожидавшему лишь Лейпцига и Ватерлоо, чтобы приспособить свою философию к идее прусского государства...*— Поражение Наполеона под Лейпцигом (1813 г.) и под Ватерлоо (1815 г.) привело к падению его империи и к восстановлению феодальных порядков в Германии. Философ-идеалист Гегель, будучи с 1818 г. профессором Берлинского университета, пришел к примирению с существующим социальным порядком и к признанию прусской монархии венцом развития общества.

Стр. 566. *Мозер* (1720—1794) — немецкий писатель.

Госпожа де Сталь Жермена (1766—1817) — французская писательница, речь идет о ее книге «О Германии» (1810).

Вильгельм Телль — герой восстания швейцарцев против австрийского господства (XIV в.), ему посвящена одноименная драма Шиллера (1804).

Берне Людвиг (1786—1837) — немецкий писатель, публицист.

Стр. 567. *Даже после семидесятого года...*— Имеется в виду поражение Франции в войне с Пруссией в 1870 г.

Стр. 577. *...которую он встретил, как Елеазар Ревекку, возле источника...*— Согласно библейской легенде, патриарх Авраам послал раба Елеазара на поиски невесты для своего сына Исаака. Елеазар встретил в Мессопотамии у колодца Ревекку и привел ее в дом Авраама.

Стр. 600. *...как не терпится жене Сганареля, чтобы ее отколотили.*— Речь идет о Мартине, персонаже комедии Мольера «Лекарь поневоле» (1666) (2 сцена I акта).

Стр. 607. *Он открыл книгу на самых мрачных строках...*— Далее следуют строки Библии из книги Иова. Согласно библейской легенде, бог

обрушил на пророка Иова все мыслимые несчастья, но тот не утратил своей веры.

Стр. 613. *...само регентство, красные каблучки, кавалер Лозен.*— Регентство — правление герцога Орлеанского во время малолетства короля Людовика XV (1715—1723); придворные нравы регентства отличались крайней распущенностью. Щеголи этого времени носили туфли на высоких красных каблуках. Лозен, придворный Людовика XIV, приобрел скандальную известность своими любовными похождениями, в которых были замешаны дамы высшего круга.

Стр. 627. *...творения Мюссе, недавно ставшие общественным достоянием...*— По истечении срока наследники поэта потеряли имущественные права на поэтическое наследие Мюссе.

...в одном из театров на Бульварах.— На кольце Больших Бульваров в Париже расположено большинство коммерческих театров столицы.

Сент-Бёв Шарль (1804—1869) — французский поэт-романтик, известный литературный критик, близкий друг семьи В. Гюго.

Стр. 628. *Гауптман* Герхарт (1862—1946), *Зудерман* Германн (1857—1928) — немецкие писатели и драматурги.

Либерман Макс (1847—1935) — немецкий художник, импрессионист.

Штраус Давид (1808—1874) — немецкий богослов.

Штраус Иоганн (1825—1899) — австрийский композитор, автор вальсов.

Штраус Рихард (1864—1949) — немецкий композитор, автор симфоний и опер.

Стр. 629. *...как Сганарель знал латынь...*— Речь идет о 6-й сцене II акта комедии Мольера «Лекарь поневоле».

Ваал — верховное божество у древних финикийцев и других народов Средиземноморья, ему приносились человеческие жертвы.

Стр. 634. *Падеревский* Игнатий (1860—1941) — польский композитор и пианист.

Стр. 635. *Ода «К радости»* — Ода Шиллера, включенная Бетховеном в финал «Девятой симфонии».

Стр. 637. *Бочка Данаид.*— Пятьдесят дочерей аргосского царя Даная в брачную ночь убили своих мужей, за что были обречены богами вечно наполнять водой бездонную бочку (античная мифология).

Стр. 639. *Наподобие господина Журдена...*— Журден — невежественный, глупый буржуа, персонаж комедии Мольера «Мещанин во дворянстве» (1670).

Рамо и Куперен — французские композиторы XVIII в.

Стр. 640. *«Налой»* — героико-комическая поэма французского поэта XVII в. Н. Буало, высмеивающая борьбу двух священников из-за налоя.

Подобно «тупоконечникам» и «остроконечникам» Свифта...— «тупоконечники» и «остроконечники» — две враждующие партии лилипутов из сатирического романа английского писателя Свифта «Путешествия Гулливера» (1726). Одни предлагали разбивать яйцо с тупого конца, другие — с острого.

«Журналь офисьель» — официальный орган французского правительства, публикующий парламентские отчеты.

Созий — персонаж комедии Мольера «Амфитрион» (1667), хитрый слуга; его девиз — угождать всем: «Я в мире, господа, со всеми на земле» (сцена 1, акт I).

Стр. 641. *...за исключением одного — прекрасного... художника, по происхождению бельгийца.*— Речь идет о композиторе Андре Гретри (1741—1813), по происхождению бельгийце.

Сады Армиды.— Армида — персонаж поэмы итальянского поэта XVI в. Торкватo Тассо «Освобожденный Иерусалим», прекрасная волшебница, обитающая в чудесных садах.

Стр. 643. *Кейп, Бодри, Поттер* — художники. Кейп и Поттер — голландские художники XVII в. Бодри — французский художник XIX в., расписавший фойе Большой парижской оперы.

Стр. 644. *...опьяненные примером Вагнера, восклицали: «Я тоже поэт!»* — Рихард Вагнер сам писал либретто для всех своих опер.

Стр. 645. *Франк* Цезарь (1822—1890) — французский композитор и органист. Роллан высоко ценил его творчество.

Стр. 647. *...улыбался при мысли о возможности нового восемнадцатого брюмера.*— 18 брюмера — 9 ноября 1799 г. Наполеон совершил государственный переворот, давший ему всю полноту власти в стране.

...она приняла латинское название...— Речь идет о Scola cantorum (Певческая школа), основанной в 1896 г. в Париже композитором Венсаном д'Энди и помещавшейся на улице Сен-Жак.

Стр. 648. *...не то что боннский медведь.*— Речь идет о Бетховене, уроженце г. Бонна.

Стр. 650. *...пригласили Кристофа в «Опера комик» на «Пелеаса и Мелисанду».*— Опера Клода Дебюсси, написанная на сюжет одноименной драмы Метерлинка, была поставлена в 1902 г. Эта дата позволяет определить время приезда Кристофа в Париж — конец 1901 г.

...найдет свой путь в Дамаск.— Имеется в виду христианская легенда об апостоле Павле. Грешник Савл по пути в Дамаск, потрясенный явившимся ему видением, уверовал в Христа и, приняв имя Павла, стал ревностным проповедником христианства.

Стр. 653. *Художники александрийского толка.*— Имеется в виду изысканное искусство эпохи эллинизма (IV в. до н. э.). Центром эллинистической культуры был город Александрия.

Стр. 655. *...повернулся спиной ко всем этим ученым Вагнерам...* — Речь идет о персонаже трагедии Гете «Фауст» — о лжеученом, начетчике, схоласте Вагнере, пытавшемся создать искусственного человека — Гомункула.

Стр. 658. *Баррес* Морис (1862—1923) — французский писатель националистической ориентации, реакционный политический деятель.

Стр. 662. *Самсон* — по библейской легенде, богатырь, обладавший невероятной силой. Филистимляне обманом взяли его в плен, ослепили и обратили в рабство. Приведенный на посмешище в храм филистимлян, Самсон в ярости разрушил колонны храма. Рухнувший храм раздавил Самсона и его врагов.

Стр. 663. *Антигона* — героиня античной мифологии, персонаж одноименной трагедии Софокла (V в. до н. э.).

Стр. 664. *...пример короля Марка вскружил всем голову...* — Король Марк — персонаж средневекового рыцарского романа «Тристан и Изольда» — терпимый и очень снисходительный муж.

...подобно оленю святого Губерта... — Согласно средневековой католической легенде, святому Губерту будто бы однажды явился олень, в рогах которого сиял крест.

...разрывающихся, подобно Химене, между страстью и долгом... — Химена — героиня трагедии Корнеля «Сид» (1636). Ее возлюбленный Родриго убил на дуэли ее отца. Химена любит Родриго, но из чувства долга требует его смерти.

Стр. 665. *Получался Синяя Борода, избиваемый своими женами...* — Такое ироническое переосмысление сюжета «Синей Бороды» дано в новелле Анатоля Франса «Семь жен Синей Бороды» (1908).

...Полифем, выкалывающий себе глаз... ради счастья Акиса и Галатеи. — Полифем — в античной мифологии одноглазый циклоп, из ревности обрушивший скалу на пастушку Галатею и пастуха Акиса.

Стр. 666. *Скюдери* Мадлен де, *Ла Кальпренед* — французские писатели XVII в., авторы галантных, псевдогероических романов. *«Артамен, или Великий Кир»* (1649—1653) — роман Мадлены де Скюдери.

Боссюэ Бенинь — французский религиозный писатель и проповедник, славившийся своим красноречием (XVII в.).

Стр. 667. *«Цинна»* — трагедия Корнеля (1640).

Стр. 672. *Авгур* — в Древнем Риме жрец — прорицатель, толковавший «волю богов» по пению и полету птиц.

Ренан Эрнест (1823—1892) — французский историк, философ-релятивист, утверждавший относительность и субъективизм человеческого познания, скептически относившийся к религиозным догмам. Ренан оказал большое влияние на современников.

Стр. 675. *Буало* — Никола Буало-Депрео (1636—1711), французский поэт, критик, был известен смелостью и решительностью своих сужде-

ний, он первый оценил творчество молодого Расина, смело выступал против признанных литературных авторитетов. Буало сформулировал основные эстетические правила классицизма в поэме «Поэтическое искусство» (1674).

Стр. 679. *Карлейль* (1795—1881) — реакционный буржуазный философ, пользовавшийся большой популярностью в буржуазных кругах в 900-е годы, утверждавший антидемократический культ героя, сверхчеловека, в частности, в книге «Герои, культ героев и героическое в истории» (1841).

Бисмарк Отто Леопольд (1815—1898) — прусский политический деятель, поборник грубой силы, прусского милитаризма, способствовавший объединению Германии под эгидой Пруссии.

Стр. 688. *Бергсон* Анри (1859—1941) — французский философ-идеалист, утверждавший роль мистической интуиции в познании мира.

Жюль Леметр (1853—1914), французский писатель и критик, его статьи, лекции отличались крайним субъективизмом.

Стр. 690. *Бодлей* Томас (1545—1613) — английский ученый и дипломат, автор записок о Франции.

Стр. 694. *...«по всем правилам Бэконова метода»...* — Бэконов метод — индуктивный метод рассуждений от частного к общему, введенный английским философом Ф. Бэконом (1561—1626).

Беркэн Арно (1747—1791) — французский писатель для детей и юношества, сентиментальный и дидактичный.

...подобно гениальному Панургу Энциклопедии... — Здесь речь идет о французском философе-просветителе, создателе Энциклопедии Дени Дидро; имеется в виду его галантный роман «Нескромные сокровища». Панург — веселый вечный студент, любящий наслажденья, персонаж романа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль».

Стр. 696. *...держа в руке светильник Психеи...* — Психея — жена бога любви Амура, который являлся к ней только по ночам, и она не имела права видеть его лицо. Движимая любопытством, однажды ночью Психея зажгла светильник, капля масла упала на Амура, тот проснулся и навсегда исчез. Миф о Психее рассказан в романе римского писателя Апулея «Метаморфозы, или Золотой осел» (II в. н. э.).

Стр. 699. *«...И сказал Господь: за то что дочери Сиона...»* — Далее приводятся строки из Библии, из книги пророка Исайи, гл. III.

Стр. 700. *...государство отделяется от церкви...* — Законопроект об отделении церкви от государства был внесен в парламент в октябре 1904 г. и утвержден после ожесточенных дебатов 9 декабря 1905 г. Во исполнение этого закона закрывались монастырские школы, часть церковного имущества передавалась благотворительным организациям.

...держали... речи к винодельческим провинциям, которые восставали против провинций, изготовлявших спирт. — Имеются в виду волне-

ния виноделов на юге Франции в 1907 г., выступавших против производства крепленых вин на севере страны.

Стр. 705. *Конгрегации* — объединения католических монастырей одного Ордена; особенно могущественной была конгрегация иезуитов.

Франкмасоны — буквально: «вольные каменщики», члены тайной аристократической организации религиозно-философского характера, считавшие основателем своего общества легендарного каменщика Хирама, строителя Иерусалимского храма. Эта организация начиная с XVIII в. была очень распространена во многих странах.

Теократия парагвайских иезуитов.— В начале XVII в. иезуиты организовали свое независимое государство в Парагвае, которое просуществовало до середины XVIII в.

Верцингеторикс — вождь галлов, возглавивший в 52 г. до н. э. восстание против римлян.

Стр. 706. *...в этой Беотии слыл афинянином...*— Жители Беотии в Древней Греции считались людьми отсталыми и невежественными, в отличие от афинян.

Стр. 707. *Кальвинизм* — реформатское религиозное течение XVI в., выступившее против католической церкви. *Янсенизм* — движение внутри католицизма, возникшее во Франции в XVII веке.

Стр. 709. *...в ряды Почетного легиона...*— Орден Почетного легиона был учрежден Наполеоном I в 1802 г.

Мунэ-Сюлли (1841—1916) — французский трагический актер, исполнитель ролей героев в классических трагедиях.

Стр. 713. *Любопытными образчиками... были в те времена народные университеты.*— На основе рабочих кружков самообразования в 90-х годах были созданы народные университеты; вскоре они попали под влияние анархо-синдикалистов, которые их использовали, чтобы отвлечь рабочих от политической борьбы.

Стр. 714. *На просторах площади Инвалидов... парил в величавом одиночестве купол темного золота...*— Речь идет о Соборе инвалидов, построенном в 1679—1706 гг. В 1840 г. в Собор был перенесен прах Наполеона I.

Триумфальная арка.— Арка воздвигнута в Париже в 1806—1836 гг. на площади Звезды в честь побед наполеоновских войск. Под сводами арки начертаны имена генералов и маршалов, принимавших участие в войнах Республики и Империи.

Стр. 715. *...знаменитое изречение...*— Далее следует ироническая перефразировка строк поэта Альфреда де Мюссе: «Бокал мой невелик, но из него лишь пью я» (посвящение к поэме «Уста и чаша»).

Стр. 716. *...как пудель Гете...*— В трагедии Гете «Фауст» Мефистофель под видом черного пуделя является к Фаусту.

Стр. 718. *Как часто Гедды Габлер попадаются в нашем обществе!* — Гедда Габлер — героиня одноименной драмы Ибсена (1891).

Стр. 721. *Отрок Давид.*— Имеется в виду легендарный библейский царь; в юности он был пастухом, любимцем царя Саула, чью тоску разгонял игрой на свирели.

Стр. 726. *«Мальбрук в поход собрался»* — шуточная песенка, высмеивающая английского полководца герцога Мальборо (XVIII в.), неудачно воевавшего против Франции.

Стр. 734. *...дивный кладезь мыслей... савонароловских пророчеств...*— Савонарола (XV в.) — известный итальянский монах-проповедник.

Стр. 736. *...этого векового леса, полного чудовищ, как лес Данте.*— «Божественная комедия» Данте начинается с описания мрачного леса, в котором заблудился поэт и где он повстречался с Рысью, Львом и Волчицей (аллегорические образы Зависти, Властолюбия и Алчности).

Стр. 739. *Иветта Гильбер* — французская эстрадная певица, известен ее портрет работы художника Тулуза-Лотрека (1894).

Стр. 742. *Даная* — по греческой мифологии, дочь аргосского царя, заключенная отцом в башню. Царь богов Зевс проник к ней в виде золотого дождя.

Стр. 743. *«Смерть Изольды»* — эпизод из третьего акта оперы Вагнера «Тристан и Изольда».

Стр. 746. *Палисси* Бернар (XVI в.) — французский ученый, химик, художник-керамист, создатель эмалевых блюд с изображением трав, рыб, змей.

«Милосердый самаритянин».— Картина Рембрандта «Притча о милосердом самаритянине» написана на сюжет евангельской притчи о милосердном человеке из Самарии, который помог лежащему на дороге раненому путнику.

Стр. 761. *Современная Франция вряд ли была хуже Франции Карла VII ...из недр которой вышла Орлеанская девственница.*— Орлеанская девственница — крестьянская шестнадцатилетняя девушка Жанна Д'Арк, сумевшая в критический для Франции момент Столетней войны, когда почти вся страна была занята англичанами, воодушевить деморализованные войска французского дофина Карла, освободить Орлеан и провести Карла в Реймс, где он был коронован под именем Карла VII (1422 г.).

И. Лилеева

СОДЕРЖАНИЕ

И. Лилеева. История великой души 5

ЖАН-КРИСТОФ

КНИГА ПЕРВАЯ. ЗАРЯ. *Перевод О. Холмской*

Часть первая 29
Часть вторая 52
Часть третья 92

КНИГА ВТОРАЯ. УТРО. *Перевод Н. Жарковой*

Часть первая. Смерть Жан-Мишеля 129
Часть вторая. Отто 164
Часть третья. Минна 188

КНИГА ТРЕТЬЯ. ОТРОЧЕСТВО. *Перевод Н. Жарковой*

Часть первая. В доме у Эйлера 235
Часть вторая. Сабина 277
Часть третья. Ада 320

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ. БУНТ. *Перевод Р. Розенталь*

Предисловие к первому изданию 371
Часть первая. Зыбучие пески 373
Часть вторая. Пески засасывают 444
Часть третья. Освобождение 515

КНИГА ПЯТАЯ. ЯРМАРКА НА ПЛОЩАДИ.
Перевод А. Франковского

Предисловие к первому изданию. Диалог автора со своей тенью 599
Часть первая 603
Часть вторая 676

Примечания *И. Лилеевой* 766

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

СЕРИЯ ТРЕТЬЯ

Том 175

Ромен Роллан

ЖАН-КРИСТОФ, КНИГИ 1—5

*

Редактор Р. Родина

Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти

Художественный редактор
Л. Калитовская

Технический редактор
Л. Фейлер

Корректор Д. Эткина

*

Сдано в набор 16/VII 1969 г. Подписано в печать 13/X 1969 г. Бумага типографская № 1 $60\times84^{1}/_{16}$. 49 печ. л. 45,72 усл. печ. л. 46,77 уч.-изд. л. + 1 вкл. + 8 накид. = 47,6. Тираж 300 000 экз. Заказ № 124. Цена 1 р. 90 к.

Издательство «Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

*

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова
Главполиграфпрома Комитета по печати
при Совете Министров СССР.
Москва, М-54, Валовая, 28